УДК 572
ББК 87
И89

Публикуется в рамках Программы фундаментальных исследований Президиума РАН
«Историко-культурное наследие и духовные ценности России»

Ответственные редакторы:
А. П. Деревянко, А. Б. Куделин, В. А. Тишков

Утверждено к печати Отделением историко-филологических наук РАН

И89 **Историко-культурное наследие и духовные ценности России** / отв. ред. А. П. Деревянко, А. Б. Куделин, В. А. Тишков; Отд. ист.-филол. наук РАН. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2012. – 644 с.: ил.

ISBN 978-5-8243-1662-9

В книге отражены важнейшие результаты по Программе фундаментальных исследований Президиума РАН «Историко-культурное наследие и духовные ценности России» (2009–2011 гг.). В реализации программы приняли участие исследователи научных учреждений Отделения историко-филологических наук, Отделения общественных наук, а также региональных отделений и центров Российской академии наук. Основными направлениями по программе были: древнейшее наследие и истоки творческих начал человека; археологические древности России; цивилизационные и геополитические особенности истории и становление гражданского общества в России; традиции и новации в культуре народов; историко-культурное наследие в языке, литературе и фольклоре; философское осмысление историко-культурного наследия; музейные и архивные фонды: изучение и обеспечение нового качества доступа к культурному наследию. В итоговых статьях по этим направлениям представлены классические интерпретации отечественного историко-культурного достояния, включая памятники материальной и духовной культуры населения на территории нашей страны. Предложены исторические оценки, связанные с потребностями современного развития России и ее нового геополитического положения. Раскрыто мировое значение отечественного историко-культурного наследия и высокие стандарты духовных ценностей российского народа.

Для археологов, историков, антропологов, социологов, лингвистов и широкого круга читателей.

УДК 572
ББК 87

ISBN 978-5-8243-1662-9

© Отделение историко-филологических наук РАН, 2012
© Институт этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН, 2012
© Коллектив авторов, 2012
© Российская политическая энциклопедия, 2012

ВВЕДЕНИЕ

Россия и ее народ обладают древней и сложной историей. Наша страна является создателем и хранителем богатого историко-культурного наследия мирового значения. Российский цивилизационный комплекс формировался на обширной территории преимущественно на основе русской этнокультурной традиции и православного христианства с участием носителей многих хозяйственно-культурных традиций, религий и духовных ценностей. Все это вместе составляет одну из важнейших основ национальной и этнокультурной идентичности россиян, основу гражданской солидарности и российского патриотизма.

В последние десятилетия в Российской Федерации сформировался устойчивый интерес к проблемам сохранения национального исторического наследия, этнокультурного разнообразия, этническим культурным и бытовым традициям, языкам и фольклору, практическому использованию народных знаний (календарные праздники и обряды, ритуалы, мифология, народная медицина и т. п.) – всему тому, что составляет живую ткань современной культуры народов России и является частью общего национально-культурного наследия страны. Его изучение и охрана – важная сфера общественной и государственной деятельности, связанная с укреплением государственной целостности России, способствующая единству общества, его стабильности и развитию.

Фундаментальная отечественная наука призвана изучать проблемы историко-культурного наследия, пополнять новым научным знанием представления граждан о российском историко-культурном наследии и способствовать его сохранению, пропаганде и использованию в сфере народного просвещения, включая образование молодого поколения. До момента принятия соответствующей программы Президиума РАН в 2009 г. такого рода исследования не были скоординированы между научными учреждениями в системе РАН и не поддерживались в рамках единой программы, хотя такая настоятельная потребность существовала. Выполненные в рамках трехлетней программы исследования в этой области пополнили академическую науку новым знанием о российском историко-культурном наследии, способствовали его сохранению, пропаганде и более активному использованию в государственной политике и в сфере образования. Программа имела междисциплинарный характер, в ней участвовали ученые научных учреждений Отделения историко-филологических наук, а также Отделения общественных наук и региональных отделений и центров РАН. Были разработаны научные проекты по семи направлениям. Остановимся кратко на самых важных результатах.

По направлению «Древнейшее наследие и истоки творческих начал человека» проведены комплексные исследования стоянок Приморского Дагестана с микроиндустриями раннеплейстоценового возраста. На Рубасе-1 изучен комплекс артефактов из слоя, датирующегося на основании естественно-научных данных рубежом плиоцена – эоплейстоцена. Это позволяет считать раннепалеолитическую микроиндустрию Рубаса-1 одной из древнейших на территории Евразии. Наиболее близкие аналогии данным ассамбляжам прослеживаются в материалах стоянки Дарвагчай-1. Многолетние работы на стоянке были завершены и позволили получить представительную коллекцию микроизделий. В районах расположения обоих памятников велись работы по изучению условий накопления плиоценовых и плейстоценовых отложений. Материалы стоянок позволили изучить появление и изменение древнейших индустрий с микроорудиями в большом хронологическом интервале (1,8–0,4 млн лет) в принципиально новом районе – приморской зоне Дагестана, что дает возможность включить кавказский регион в зону появления и распространения этих специфических ассамбляжей. Подтверждено предположение о двух направлениях развития раннепалеолитических индустрий (олдувайская и микроиндустриальная традиции). Определено место дагестанских комплексов в кругу других раннепалеолитических микроиндустрий Старого Света, выдвинуто предположение о возможных причинах и ходе формирования данной культурной традиции.

Прослежено развитие древнейших культурных традиций на основных этапах палеолитического времени в Северной и Центральной Азии. Накоплен значительный объем археологических и естественно-научных данных, позволяющих строить обоснованные хронологические схемы заселения человеком этой территории на различных этапах антропогена. Установлено, что наиболее развернутую характеристику процесса перехода к верхнему палеолиту демонстрируют археологические и палеогеографические материалы палеолитических комплексов Горного Алтая. Показано, что культурные тенденции, характерные для алтайских комплексов

ранней поры верхнего палеолита, во многом предопределили пути становления и развития верхнепалеолитических традиций в Центральной и Северной Азии.

Опубликован корпус источников по наскальной живописи Урала эпохи энеолита и бронзового века. Предложены новые варианты их интерпретации с позиций мифа и ритуала, темы графического воспроизведения на скалах с помощью зооморфного кода структуры модели мира древних уральцев, их представлений о пространственно-временном континууме.

Результатом работы над созданием генеральной базы радиоуглеродной хронологии эпохи раннего металла в Евразии и над ее периодизацией явились системно обработанные 4680 радиоуглеродных определений абсолютного возраста различных археологических образцов. Результаты датировок распределялись по разнообразным комплексам четырех древнейших металлургических провинций Евразии: а) Балкано-Карпатской – 900; б) Циркумпонтийской – 2500; в) Западно-Азиатской (или Евразийской) – 700; г) Восточно-Азиатской – 90. По иным металлургическим провинциям – Кавказской, Европейской, Ирано-Анатолийской и т. п. – в генеральной базе данных было обработано дополнительно 490 определений абсолютного возраста проанализированных образцов. Проведенная работа позволила откорректировать картину не только абсолютной, но и относительной хронологии важнейших металлургических провинций и основных археологических культур и общностей, входивших в упомянутые провинции на пространствах Евразийского континента.

По направлению «Археологические древности России» на основе историко-ландшафтных, архитектурно-археологических, архивных и иных материалов анализировалось развитие городского ландшафта в процессе урбанизации Москвы. Специальное внимание было уделено проблеме взаимоотношения традиционной схемы истории Москвы и всей истории Московского периода с материалами, получаемыми для того же периода в археологии. В результате удалось установить, что археологическая картина развития Московского государства существенно зависит от традиционных сюжетов «большого нарратива». Между ними формируется новая система отношений, предполагающая возможность постановки исторической археологией вопросов, требующих дальнейшего изучения в области письменных источников; складывается собственно археологический нарратив, сюжеты которого углубленно разрабатываются в полевых и лабораторных исследованиях, но они не индуцированы, не совпадают и не предопределены сложившейся системой исторических представлений. Существует высокая степень корреляции археологических выводов с устойчивыми версиями исторического повествования, что крайне важно для борьбы с пара- и квазинаучными концепциями, а также с волюнтаристскими трансформациями объективной картины развития Московской Руси, рисуемой на основе анализа комплексных историко-археологических материалов.

Применение методов естественных наук в изучении культовых и погребальных комплексов юга Западной Сибири позволило получить интересные данные об инокультурных влияниях на погребальный обряд. Обобщен опыт совместных археолого-геофизических исследований по поиску, идентификации и характеристике отдельных элементов культовых комплексов. Значимые открытия были сделаны в области изучения искусства эпохи бронзы. На территории Республики Хакасия раскопаны четыре окуневских кургана раннего этапа культуры, содержавшие свыше 40 захоронений различной степени сохранности. Обнаружено свыше 20 плит с рисунками, меняющих представления о времени формирования и о путях развития окуневской изобразительной традиции. Найдено несколько уникальных художественных предметов с антропоморфными и зооморфными изображениями, некоторые из них представляют собой высокохудожественные миниатюрные роговые копии каменных изваяний, где прослеживается трехчастная вертикальная структура элементов, отвечающая классическим канонам: наверху – объемное антропоморфное изображение или голова птицы, в середине – личина, внизу – хищник с оскаленной пастью.

По направлению «Цивилизационные и геополитические особенности истории и становление гражданского общества в России» получила разработку концепция места России в цивилизационной системе народов и стран Центральной и Восточной Европы XVII–XX вв. на основе подхода к цивилизации как феномену общественного развития, как социокультурной структуре, включающей в себя соподчиненные элементы экономической, социальной и политической организации общества. Была предпринята попытка построить целостную концепцию формирования и становления сети русского православного присутствия в мире, осмыслить специфику православного миссионерства, его взаимоотношения с дипломатическими и политическими институтами; оценить в этом контексте возможности компромисса между логикой чисто церковных задач и политической целесообразностью. Была воссоздана сложная картина становления государственно-церковных отношений в условиях смены политических элит в процессе формирования режимов советского типа, по-

казана степень воздействия советского фактора на отношения властных структур к вероисповедным институтам в процессе эволюции этих режимов и вступления их в период политических кризисов.

Были пересмотрены существующие в общественном сознании представления об эффективности российских реформ второй половины XIX в. и о происхождении российских революций начала XX в. Сделан вывод о том, что эти революции произошли вопреки положительным тенденциям в экономическом, социальном и политическом развитии страны в 1861–1913 гг., выражавшимся в высоких темпах экономического роста, повышении жизненного уровня населения и либерализации политического режима. Показана роль либерально-радикальной общественности в организации протестных движений против самодержавия и политического режима после конституционной реформы 1905–1906 гг. и ее роль в свержении монархии в 1917 г.

Прослежено влияние правительственной политики на развитие институтов самоуправления с целью формирования гражданского общества в России. Выявлен комплекс архивных и других источников, позволяющих рассмотреть принципы формирования командно-административной системы в 1920–1930-е гг.: переписи населения, обследования семей управленцев, переписка, анкеты. В архивах США и Франции выявлены и изучены уникальные материалы по истории русской «дипломатии в изгнании» и русской эмиграции, которые позволили по-новому взглянуть на историю России начала XX в., историю российской дипломатии и русской эмиграции.

Проведено исследование современной этнической политики в регионах России, осуществлен анализ практикуемой в данной сфере системы принятия решений в зависимости от устоявшихся методов управления, законодательной поддержки, развитости институтов гражданского общества. Изучен опыт реализации этнокультурных прав населения, позитивные и негативные стороны общественной деятельности в этом направлении. Варианты политики региональных властей и встречных общественных инициатив в отношении мигрантов и новых этнических сообществ изучены как региональные модели предупреждения ксенофобии и экстремизма на этнической и религиозной почве.

Восстановлена событийная сторона продвижения русских в Байкальский регион, проведена детальная реконструкция хода событий и их причинно-следственных связей с выявлением наиболее значимых фактов как военных, так и мирных контактов российской власти и переселенцев с бурятскими, тунгусскими, монгольскими племенами; рассмотрены причины и экономические, географические, этнические обстоятельства, определившие движение русских на восток, а затем русские позиции в Байкальском регионе; определены методы и средства, которые применяла русская власть при подчинении аборигенного населения.

По направлению «Традиции и новации в культуре народов России» на основании архивных источников и полевого материала выявлена взаимосвязь культуры повседневности, традиционного сознания и менталитета русских в исторической динамике XVIII–XXI вв. Особое внимание уделено соотношению повседневного и героического в различных сферах народной жизни. Основной результат работы исследований повседневности – доказательство применимости гендерной теории для анализа привычного и обыденного, выявления эвристической значимости раздельного анализа мужского и женского быта, образа и стиля жизни мужчин и женщин. Новой темой стало изучение игровых способов формирования самооценки и социальной иерархии, гендерной сегрегации и своеобразия форм поведения в виртуальном игровом пространстве.

Большое внимание уделено изучению современного состояния праздничных традиций народов России. Например, в ходе экспедиций в Республике Карелия выявлены малоизвестные праздники, представлена исчерпывающая информация о них (карельский Кегри; русский Киселев день, вепский Пирагникад, праздник Белого цветка и др.). При сравнительном изучении праздников карелов, вепсов и русских обнаружены аналогии и различия; на местных материалах разработаны вопросы соотношения таких понятий, как обычай, обряд, праздник, классификация обрядов и праздников.

В рамках Программы предпринято изучение города, городского населения, урбанизационных процессов. Особенностью антропологического подхода явилось рассмотрение культурных смыслов городского пространства, этнических анклавов и сегрегированных сообществ с позиций культурного отличия и разнообразия. Среди методологических преимуществ следует назвать углубленное использование качественных методов исследований, позволяющих сделать более детальный анализ этно- и социокультурных процессов. В результате полевых работ был собран и подвергнут аналитической обработке обширный корпус фактического материала о различных, в т. ч. и по численности населения, городах: от малого города до мегаполиса. Продемонстрирована специфика изменений в социальной, хозяйственной, религиозной сферах жизни населения городов, в той или иной степени обладающих либо до недавних пор сохранявших выраженное этнокультурное своеобразие.

На основании архивных и этнографических материалов воссоздана история распространения

христианства на Северном Кавказе и проанализировано современное состояние христианского возрождения в регионе. В приложении к Северному Кавказу разработаны понятия *традиционного* и *нетрадиционного* в исламе и в подходах к исламу, а также понятий *официального* и *неофициального*, *нового* ислама; установлены формы передачи и распространение традиционных и новых форм исламского знания.

Значительно расширены существовавшие ранее представления о специфике историко-культурного наследия народов Севера и Сибири, в частности шорцев, кетов и эвенков. Выявлена вариативность и локальная специфика задействования разных аспектов и символов наследия в современной картине мира аборигенных народов региона.

Определены основные направления этнокультурных процессов татар Западной Сибири в XVIII–XIX вв. – заимствования сибирскими татарами явлений народной культуры у соседних коренных народов Сибири и Северного Казахстана, распространение общих черт в культуре сибирских татар в связи с усилением консолидационных процессов внутри всего массива и внутри отдельных групп, возрастание объема общих явлений в материальной культуре сибирских татар и русских в связи с интенсификацией их взаимоотношений друг с другом и включением вместе с другими национальностями Российской империи в общий процесс формирования исторической (социально-политической) общности россиян.

Важные результаты достигнуты по направлению «Историко-культурное наследие в языках, литературах и фольклоре народов России» в области исследования языков народов мира. Записан большой корпус текстов на языках четырех самых малочисленных народов Сибири и Дальнего Востока, в частности, впервые сделаны записи на «говорке» (таймырском пиджине), являющимся одним из исчезающих языков и настоятельно требующим максимально полной документации.

В новом свете предстает исследование русского языка. Впервые в практике корпусной лингвистики подготовлен представительный корпус русского языка XVIII в. объемом 3 млн словоупотреблений. При его составлении решался ряд проблем, связанных прежде всего с источниками и репрезентацией текстов. Для адекватного представления морфологической информации и анализа морфологической и лексической вариативности составлена база данных представленных в корпусе морфологических и лексических вариантов (3000 уникальных словоформ).

Новые методики применены при изучении идиолекта М. В. Ломоносова как феномена русской культуры середины XVIII в. Разработана методика исторической реконструкции семантического содержания лексики с историко-культурным компонентом, подготовлены лексикографические очерки об отдельных лексических единицах идиолекта М. В. Ломоносова, позволяющие представить нашему современнику язык М. В. Ломоносова как уникальный факт русской и европейской культур.

Важные аналитические результаты достигнуты в области исследования литератур и фольклора народов мира. Очерчен основной круг проблем актуальных для современного этапа исследования Кирилло-Белозерского монастыря как книжного центра Древней Руси. Выявлены новые аспекты рассмотрения известных литературных памятников в свете изучения их кирилло-белозерских списков (Толковая палея, Старчество, Задонщина и т. д.). Обнаружены новые подходы (изучение гимнографического и литургического материала в его сборниках) к творчеству знаменитого книжника Ефросина.

Определены параметры и сферы взаимодействия русской литературы XX–XXI столетий с дискурсами медиа, политики, повседневного общения. Проведен теоретический анализ соотношения категорий дискурса и жанра в системе коммуникативных взаимодействий литературы и общества. При этом тексты разной жанровой природы рассмотрены как явления различных дискурсивных практик общения. Установлены тенденции развития дискурсивных стратегий современной русской литературы в социокультурном пространстве России рубежа XX–XXI столетий.

На основе собирательских программ осуществлено большое число экспедиций в России и за рубежом. Получены оригинальные результаты исследования языка и народной духовной культуры старообрядцев, проживающих в северо-восточной Болгарии, на юго-востоке Румынии и юго-западе Украины. На основании полевых исследований подтверждено первоначальное предположение о единстве традиции этих русских переселенцев, составляющих практически непрерывный территориальный континуум в Добрудже.

По направлению «Философское осмысление историко-культурного наследия» апробированы новые подходы к современной теоретизации и концептуализации представлений о культурном наследии и духовном потенциале России. Разработано теоретическое понятие *духовный потенциал России* и обоснована его роль в становлении культуры планетарного мира. Выделены наиболее важные и актуальные для современности аспекты темы вечного и преходящего в культурном наследии России, такие как зарождение и последующее развитие в российском общественном сознании идей революционаризма и «новых людей», поглощение одного

из основных типов отечественного философствования религиозно-философской традицией, трансформация феномена наследия и исторической памяти в связи с «постнациональной ориентацией культуры памяти».

Разработана философско-филологическая концепция русского космизма, приемы и принципы художественно-философского повествования в творчестве Н. Бердяева, П. Флоренского, Л. Шестова, В. Розанова, М. Пришвина, И. Бунина, А. Платонова, вопросы культурно-исторических особенностей формирования философской мысли в России. Установлено, что эффективной стратегией разрешения культурных конфликтов, возникающих в процессе модернизации традиционных обществ, является социокультурный неотрадиционализм, когда цивилизационные инновации используются как инструмент возрождения и сохранения этнокультурных традиций.

Анализ современных концепций философии истории показал, что в мировой науке сегодня не существует единой объяснительной теории, позволяющей интерпретировать исторический процесс как единый мировой процесс. В настоящее время в значительной степени преодолено отношение к культурологическим и историческим теориям, акцентирующим специфику и своеобразие отдельных культурных и этнических форм жизни как к чему-то исключительному. Очевидно, что связь уникального с общим в культурно-историческом процессе не может быть установлена путем априорного схематизирования, а требует конкретного изучения и понимания.

По направлению «Музейные и архивные фонды: изучение, введение в научный оборот, обеспечение нового качества доступа к культурному наследию» изучен комплекс не известных ранее научной общественности архивных документов по истории отечественной биологии XIX–XX вв., показывающих огромный вклад русских и советских ученых в мировую науку, их международные связи. Выставки-исследования «Личность в российской генетике. 20–30 годы XX века» и «Российские биологи в Институте Пастера», опубликованные материалы тематического круглого стола показали роль российских ученых, Академии наук и ее научно-исследовательских учреждений в развитии биологии этого периода, проблемы и трудности на пути научных исследований, влияние личности ученого на выбор исследовательских направлений и тем, методов изучения.

Осуществлена подготовка к изданию «греческой» посольской книги № 2 (РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. Кн. 2) – важный исторический источник, ранее не издававшийся, который охватывает период с 1582 по 1588 г. Посольская книга рассказывает о связях России XVI в. с Балканами и Ближним Востоком, с вселенскими патриархами – константинопольским, александрийским, антиохийским, иерусалимским, монастырями Афона, Синая, Константинополя и др. Среди документов, включенных в Посольскую книгу, имеются также грамоты и записи 1582–1588 гг., характеризующие отношения России с Польско-Литовским государством, Данией, Турцией, Грузией и др. Документы показывают различные формы «милостыни» (денежные пожертвования, заступничество перед султаном, право сбора «милостыни» в России, право беспошлинного проезда и др.), использовавшиеся Россией для поддержки православного духовенства «христианского Востока».

Археографическое исследование 42 рукописей из не известной науке части собрания М. Н. Тихомирова привело к формированию двух функционально различных, но структурно сопряженных друг с другом подходов к представлению книжного произведения в блоках научного описания. Каждый из блоков характеризуется определенным набором полей, разной степенью полноты содержания и разной глубиной передачи значимой для исследователей информации об источнике. В ходе археографического исследования откорректированы названия некоторых книжных произведений, время их создания, место в литературной истории. По расшифрованным записям на рукописных кодексах составлено представление о владельцах и местах пребывания того или иного кодекса.

Полученные в 2009–2011 гг. в ходе реализации Программы материалы нашли отражение в более 200 монографиях и сборниках статей, а также в подготовленных к публикации и находящихся в печати работах. Таким образом, объединение усилий специалистов различных областей знания в рамках Программы внесло существенный вклад в решение фундаментальных научных проблем, а также позволило провести более глубокий анализ актуальных политических и социальных проблем современности.

РАЗДЕЛ 1. ДРЕВНЕЙШЕЕ НАСЛЕДИЕ И ИСТОКИ ТВОРЧЕСКИХ НАЧАЛ ЧЕЛОВЕКА

Е. В. Беляева, В. П. Любин

РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРОТОДИЗАЙНА В РАННЕМ ПАЛЕОЛИТЕ НА ПРИМЕРЕ АШЕЛЬСКИХ РУБИЛ КАВКАЗА

При исследовании истоков творческих начал человека особый интерес вызывает вопрос о времени и факторах формирования таких важнейших инструментов производственной деятельности, как технология и дизайн. Технология обозначает всю совокупность знаний о многообразных способах обработки и переработки различных материалов, веществ, энергии и информации, которые применяются человеком для своего жизнеобеспечения и всестороннего развития. Технологии нацелены на получение конкретных продуктов и характеризуются определенными методами, приемами и последовательностью операций. Понятие «технология» широко применяется при характеристике даже самых начальных этапов производственной деятельности. Ее зачатки, как считает большинство исследователей, наблюдаются уже в наиранних палеолитических индустриях.

Когда к сугубо функциональным, утилитарным принципам проектирования и изготовления различных объектов добавляется эстетическая или символическая составляющая, это определяется как художественно-техническое конструирование материального мира, или дизайн. Хотя данное понятие родилось в эпоху индустриального производства, деятельность современных профессиональных дизайнеров имеет очень долгую предысторию, которую обычно характеризуют как «протодизайн». Это понятие означает, что в изделиях человека наряду с утилитарными функциями систематически отражается влияние сугубо культурных факторов, включая традиционные нормы, эстетические предпочтения, кодирование социальной или сакральной информации и т. п. На первый взгляд кажется, что протодизайн должен возникнуть в обществах с достаточно развитой материальной культурой. Однако, прослеживая появление культурно-нормативных и эстетических составляющих в предметах материальной культуры, некоторые исследователи считают возможным видеть истоки протодизайна в каменном веке – в неолите и мезолите (Луков, Останин, 2007). Основываясь на анализе археологических материалов, мы присоединяемся к менее распространенному, но, как будет показано ниже, вполне правомерному выводу о том, что зачатки протодизайна обнаруживаются в еще более глубокой древности – в каменных изделиях раннепалеолитического человека (Ulrich, 2006).

Протодизайн, разумеется, не мог возникнуть ранее того, как стали складываться технологии, поскольку именно они являются инструментом его воплощения в человеческих изделиях. Кроме того, очевидно, что протодизайн должен был зарождаться по мере усложнения мировосприятия и поведения ранних людей, включая становление у них социокультурных норм и эстетических предпочтений. Говорить о протодизайне правомерно начиная с того периода, когда появляются распознаваемые и предпочитаемые «модели» различных изделий, начинают создаваться формы каменных орудий с избыточными с точки зрения непосредственной функции характеристиками, а устойчивость некоторых морфологических и технических норм может быть объяснима лишь их встроенностью в культурный «код». Все это впервые наблюдается, на наш взгляд, в ашельскую эпоху, когда, судя по антропологическим и археологическим данным, произошли огромные сдвиги в психофизическом развитии ранних людей. Первые проявления протодизайна были обеспечены также ростом технологической оснащенности создателей ашельских индустрий.

Чтобы аргументировать данный тезис, необходимо вкратце рассмотреть основные аспекты развития производственной деятельности в раннем палеолите.

Древнейшие изделия из камня обнаружены на сегодня в Восточной Африке, в геологических слоях, возраст которых, судя по данным физических методов абсолютного датирования, составляет около 2,6 млн лет назад (Semaw, 2000). На протяжении

первого миллиона лет господствовали каменные индустрии олдованского типа, изготовители которых отбирали подходящие отдельности пригодного для расщепления каменного сырья (гальки, желваки, плитчатые обломки) и грубо оббивали их края с одной или двух сторон, получая небольшие сколы с острыми краями. Этой же оббивкой на отдельностях сырья оформлялись лезвия или острия, что превращало их в орудия – чопперы с односторонней обработкой рабочего края либо чоппинги, демонстрирующие двустороннюю обработку. Один и тот же предмет мог выступать в роли как нуклеуса для получения сколов, так и орудия (Plummer, 2004; Torre, Mora, 2005).

Все исследователи, изучавшие наиранние олдованские индустрии (2,6–1,9 млн л. н.), сходятся в том, что уже в это время наблюдается намеренный отбор наиболее пригодных для расщепления пород, транспортировка каменного сырья и понимание основных принципов его расщепления. В некоторых памятниках самой ранней поры олдована зафиксированы устойчивые последовательности срабатывания нуклеусов, включая двустороннее скалывание. Эти данные свидетельствуют о формировании определенных технических навыков (Roche et al., 1999; Semaw, 2000), а также о возникновении ограниченных мысленных операционных моделей типа «ноу-хау» (Lumley, 2006). Степень технологического развития в разных индустриях варьирует, что объяснимо как неравномерностью их развития, так и локальными особенностями, связанными, в частности, со свойствами обрабатываемого каменного сырья. Позднейшие олдованские индустрии (примерно 1,8–1,4 млн л. н.) демонстрируют более сложные технологии расщепления камня. Среди них отмечена технология радиального расщепления нуклеусов, которая отчасти сопоставима с позднейшими леваллуазскими технологиями среднего палеолита (Torre et al., 2003). Это указывает на довольно высокий уровень развития абстрактного мышления, включая мысленное моделирование как технологической цепочки, так и некоторых характеристик конечного продукта (Torre et al., 2003). Однако морфолого-типологический ассортимент олдованских изделий, как подчеркивают их исследователи, носит все же очень ограниченный характер, а стандартизация практически отсутствует (Leakey, 1971; Shick, Clark, 2003; Lumley et al., 2005; Torre, Mora, 2005). Олдованские технологии были направлены на получение определенных функционально значимых элементов, но не имели отчетливой формообразующей направленности. Формы олдованских орудий были обусловлены, главным образом, естественной формой, размерами и поделочными качествами сырья (Haviland et al., 2007). Таким образом, понятие протодизайна в отличие от технологии еще неприложимо к изделиям олдованского этапа раннего палеолита.

В ашельскую эпоху (около 1,8–0,25 млн л. н.) происходят очень значительные, даже принципиальные изменения в технологиях обработки камня и в морфологическом репертуаре каменных индустрий. В начале этой эпохи ашельские индустрии сосуществовали с олдованскими, а ее финал частично совпал с появлением ранних среднепалеолитических индустрий. Начало ашеля в Восточной Африке знаменуют две кардинальные инновации, которые тесно взаимосвязаны. Во-первых, развиваются более разнообразные и вместе с тем более устойчивые технологии расщепления, которые направлены на получение сколов-заготовок как для мелких орудий, так и, что особенно важно, для макроорудий (Isaac, 1969; Leakey 1975; Torre, Mora, 2005). Во-вторых, изощренные технические приемы обработки и более специализированный подход к получению заготовок находят отражение в спецификации орудийного набора, ведущую роль в котором играют макроорудия (ручные рубила, пики, кливеры, нуклевидные скребки и др.). Каждый из названных классов ашельских макроорудий выделяется благодаря специфическому комплексу морфологических признаков. В отличие от олдованских ядрищ-чопперов основные ашельские макроорудия, и в первую очередь ручные рубила, представляют собой не простое сочетание рабочих и аккомодационных элементов, оформленных на отдельностях сырья, а целостные трехмерные формы, намеренно изготовленные посредством модификации исходной заготовки. Иначе говоря, на этом этапе впервые появляется моделирование орудий. Самым характерным типом ашельских орудий и настоящим символом этой эпохи считаются ручные рубила. Именно эти орудия позволяют, на наш взгляд, наиболее объективно оценить уровень технологических возможностей создателей ашельских индустрий, а также степень проявления протодизайна.

Обосновывая данное положение, начнем с общепринятых дефиниций этой разновидности орудий. Ашельские ручные рубила, или бифасы, определяются как крупные и удлиненные орудия, изготовленные из уплощенных отдельностей породы или сколов-заготовок путем полной или частичной оббивки обеих сторон заготовки таким образом, что ее края на большей части периметра превращаются в лезвия, а дистальный конец в той или иной мере заостряется. Очертания рубил в плане варьируют от овальной формы до подтреугольной, а поперечное сечение является чаще линзовидным (Bordes, 1961; Kleindienst, 1962; Brezillon, 1971; Любин, Беляева, 2004). Для них характерна тенденция к симметрии формы относительно центральной оси и фронталь-

ной плоскости изделия. Большинство исследователей подчеркивают, что создание таких сложных орудийных форм путем значительной модификации изначальной заготовки предполагает наличие определенных мысленных моделей, или «шаблонов», а также высокую технологическую оснащенность (Gowlett, 1986; Gowlett, 2006; Haviland et al., 2007; Nowell et al., 2003).

В разных регионах ашельской ойкумены рубила изготавливались из разнородного каменного сырья, которое отличалось своими поделочными качествами, природной формой и размерами отдельностей породы. В раннеашельских африканских и ближневосточных индустриях (1,6–1,4 млн л. н.) ручные рубила изготавливались из уплощенных желваков и обломков пород преимущественно вулканического происхождения (например, Нариокотоме в Кении, Консо Гардула в Эфиопии, Убейдия в Израиле и др.). Они оформлялись путем грубой оббивки, благодаря чему формы этих рубил еще не очень правильны и далеки от симметрии (Asfaw et al., 1992; Bar-Yosef, Goren-Inbar, 1993; Saragusti et al., 1998; Roche et al., 1999; Sharon, 2007). Однако немногим позже на ряде африканских памятников уже фиксируется зарождение скалывания крупных отщепов с нуклеусов-блоков (например, Кооби Фора в Кении, 1,5–1,6 млн л. н.). Вначале эти крупные заготовки использовались, главным образом, для оформления скребел (Isaac, 1977). Вскоре, как показывают несколько более поздние ашельские памятники Олдувайского ущелья в Танзании, ручные рубила уже изготавливаются преимущественно на крупных отщепах размером от 10 см и более (Leakey, 1971, 1975; Torre, Mora, 2005). Постепенно начал складываться целый набор специальных технологий, которые обеспечивали не только крупные размеры, но и довольно правильные очертания сколов-заготовок (Sharon, 2007), что способствовало довольно быстрому переходу к более уплощенным, симметричным и стандартизованным формам ручных рубил. С конца раннего плейстоцена (около 1,0–0,8 млн л. н.) производство рубил из специальных крупных сколов начинает господствовать практически во всех ашельских индустриях Африки (Isaac, 1969). В среднем плейстоцене такие ашельские «индустрии с большими отщепами» (Large Flake (LF) industries) получают распространение не только внутри Африки, но и широко за ее пределами – в Южной Европе (Испания, юг Франции), на Ближнем Востоке (Аравия, Левант, Турция), в Индии и отчасти на Кавказе (Sharon, 2007). Заметим, что подобный технологический подход к изготовлению ручных рубил мог развиваться только там, где каменное сырье встречалось в виде очень крупных отдельностей (блоки, валуны), из которых можно было оформлять нуклеусы для снятия больших отщепов.

В других районах Европы и Азии, куда распространились ашельские индустрии, люди чаще всего были вынуждены переходить на иное сырье (окремненные породы, а также кварцит, песчаник и т. п.), доступные отдельности которого имеют обычно более скромные размеры. Большинство ашельских рубил на европейских и азиатских стоянках изготовлено либо из желваков и галек, либо из естественных обломков сырья уплощенной формы. Неодинаковые поделочные качества используемого сырья и разнообразие его природных форм и размеров способствовали вариабельности форм поздних евразийских рубил. Вырабатывались оптимальные для конкретного сырья технологии, причем гальки, желваки и плитчатые обломки в отличие от сколов часто делали задачу мастера более сложной и требовали намного более интенсивной, чаще всего полностью бифасиальной обработки для превращения их в рубила (Jones, 1994). В начальной стадии изготовления многие такие рубила имеют вид нуклеусов – радиальных или даже леваллуазских в случае наличия стадии уплощения корпуса орудий. Завершающая обработка рубил для придания им окончательной формы и выпрямления лезвий требовала особенно продуманной и искусной оббивки, поскольку даже один неудачный скол мог порой привести к непоправимому браку. Наиболее совершенные позднеашельские рубила из любых типов заготовок часто демонстрируют поистине ювелирную обработку, включая ретушное приострение лезвий. Таким образом, в рубилах представлена квинтэссенция технологического развития ашельских индустрий.

Зачатки протодизайна мы усматриваем в тех морфологических чертах рубил, которые не обусловлены непосредственной функцией этих орудий и сугубо технологическими аспектами. Инструментальная функция рубила как рубяще-режущего орудия обеспечивается определенными характеристиками и компоновкой рабочих и аккомодационных элементов. Его рабочими элементами являются сходящиеся продольные лезвия и заостренный конец. Как аккомодационные элементы рассматриваются встречающиеся у некоторых рубил необработанные «пятки» на базальном конце или «обушки» на одном из краев, что делает более удобным захват орудия. Данная «техническая форма» (Филиппов, 1983) сама по себе не требует обязательной симметрии, а оптимальным вариантом ее, с точки зрения максимальной протяженности лезвий, является подкаплевидная (Jones, 1994; Sharon, 2007). Однако очертания рубил в различных ашельских индустриях демонстрируют довольно широкую морфологическую вариабельность. Очертания их варьируют от подтреугольных до овальных и даже подпрямоугольных, не говоря уже о более сложных

формах. Следовательно, мы вправе заключить, что многообразие форм рубил отражает нечто большее, нежели их орудийную функцию.

Разумеется, как отмечалось, на технологию, а следовательно, и на морфологию рубил влияли естественные формы и поделочные качества сырья. Однако эти объективные факторы не могут объяснить весь спектр морфологического разнообразия рубил, тем более что оно наблюдается и в рамках единой сырьевой базы. Никак не могут быть связаны с сырьем такие качества большинства рубил, как осевая симметрия и тенденция к гармоничным пропорциям, которые могли возникать только благодаря сознательным усилиям изготовителя. Наконец, внутри отдельных индустрий или их группировок существует, как правило, тенденция к воспроизводству отдельных типов рубил или, по меньшей мере, к соблюдению ряда морфологических норм. Таким образом, ашельские ручные рубила впервые в истории явственно демонстрируют намеренное оформление в определенном стиле (Tattersall et al., 1988), что означает, иными словами, проявление протодизайна. Многие специалисты полагают, что наличие предпочитаемых типов рубил, а также стремление к симметричности очертаний и тщательность отделки свидетельствуют о большей или меньшей эстетической составляющей формы этих орудий (см., например: Clark, 1974; Wymer, 1982; Le Tensorer, 2006). Наряду с «рабочими» рубилами, у которых эстетическая функция лишь дополняет утилитарную, порой встречаются рубила, имеющие избыточно тщательную отделку или такую форму, которая едва ли позволяет использовать их как эффективный инструмент. У таких рубил, вероятно, преобладала уже не орудийная, а, скорее, эстетическая или символическая функция, что делает их особенно ярким примером протодизайна (Беляева, Любин, 2011).

Рассмотрим теперь развитие технологий и протодизайна на основе морфологического анализа коллекций ашельских рубил, найденных на Кавказе. Технологические аспекты изготовления рубил исследовались путем анализа качества и формы выбранной отдельности сырья, последовательности и приемов скалывания, реконструируемых по системе негативов и их взаиморасположению, а также по поперечным сечениям, отражающим общий принцип формообразования этих двусторонних орудий. Важную роль играет учет технологического контекста – незаконченных рубил, обработка которых была прекращена на разных стадиях, вероятных отходов от этой обработки, а также сопровождающих нуклеусов и сколов, которые дают дополнительную информацию о техническом потенциале индустрии. К протодизайну, как уже говорилось, мы относим те особенности рубил, которые не предопределены объективными свойствами исходного материала, функцией орудия и логикой технологического процесса, а следовательно, должны зависеть в основном от предпочтений мастера и культурных норм, которыми он руководствуется.

На Кавказе имеется не более десяти пунктов, где ашельские индустрии с рубилами залегают в соответствующих плейстоценовых отложениях. Подавляющее большинство их находится в Закавказье – пещерные стоянки Кударо 1, Кударо 3 и Цона на южном склоне Центрального Кавказа, пещерная стоянка Азых в юго-восточной части Малого Кавказа (Любин, 1998; Любин, Беляева, 2004) и, наконец, недавно обнаруженные памятники открытого типа на северной окраине Закавказского нагорья, в Лорийской области Армении – Даштадем 3, Куртан, Мурадово и Карахач (Любин, Беляева, 2006; Асланян и др., 2007; Любин, Беляева, 2010).

Коллекции ашельских рубил, происходящих из стратифицированных памятников, невелики – от единичных экземпляров до полусотни. Основная масса обнаруженных на Кавказе ручных рубил была собрана именно на поверхностных местонахождениях. Более двух тысяч орудий данной категории собрано на местонахождениях Закавказского нагорья. Расположенные за его пределами другие подобные памятники Южного Кавказа доставили около двух сотен рубил. Наименее богат ручными рубилами Северный Кавказ, где на пространственно разбросанных памятниках обнаружено в общей сложности немногим более полусотни таких орудий (Любин, 1998; Любин, Беляева, 2006; Любин, Беляева, 2010).

Поскольку необходимо вычленить технологические аспекты вариабельности рубил, их морфологический анализ должен проводиться в контексте используемой сырьевой базы. По наличию каменного сырья, использовавшегося палеолитическим человеком, на Кавказе нами выделяются две основные петрографические провинции (Любин, Беляева, 2006). Первая тянется вдоль Большого Кавказа и включает преимущественно известняковые хребты. Из каменного сырья, пригодного для расщепления, здесь представлены, в основном, осадочные породы: разнообразные кремнистые породы, а также сланцы и песчаники. Кремень являлся наилучшим сырьем, но он встречается лишь в отдельных районах этой провинции. Основные месторождения кремневого сырья разных достоинств разбросаны на Кубанском Кавказе (Белореченско-Лабинское междуречье), в Сочинско-Абхазском Причерноморье, в Дагестане, в Имеретии (Грузия). В первичном залегании кремень встречается в виде конкреций, желваков и пластов в толщах известняков. Ранние люди едва ли могли добывать кремень из таких месторождений и использовали, видимо, вто-

ричные источники – россыпи, образующиеся в результате разрушения участков кремнесодержащих толщ, а также русловые и террасовые галечники. Объемы кремневого сырья и его концентрация в таких вторичных источниках, как правило, относительно невелики. Отметим также, что даже в природном залегании отдельности кремня редко имеют крупные размеры, а переотложение приводило, очевидно, к дальнейшему уменьшению их средних размеров. Последнее, по нашему мнению, должно было ограничивать размеры кремневых рубил и препятствовало массовому производству крупных орудий типа рубил в тех районах Кавказа, где главным сырьем в палеолите был кремень. Подобное сырье никоим образом не благоприятствовало, разумеется, и изготовлению рубил из крупных отщепов.

Изверженные породы связаны с субмеридиональной зоной вулканизма в полосе Транскавказского поперечного поднятия, тянущегося от Закавказского нагорья через Центральный Кавказ (Казбекско-Эльбрусский район) вплоть до Ставропольской возвышенности. Наиболее богаты лавовым сырьем внутренние области Закавказского нагорья, образованные вулканическими конусами, хребтами и плато. В южной части (Центрально-Армянское вулканическое нагорье) господствует обсидиановое сырье, а в северной (Ахалкалакско-Джавахетское нагорье) – дацит и андезит. Андезитовое сырье представлено также на обоих склонах Центрального Кавказа (Северная и Южная Осетия, Ингушетия). Качество этих вулканических пород может варьировать. Так, если обсидиан в подавляющем большинстве случаев имеет изоморфную структуру, то дацит может быть представлен как стекловатыми разновидностями (гиалодацит), напоминающими обсидиан, так и флюидальными, что приводит к раскалыванию по параллельным плоскостям. Подчеркнем, что в основных вулканических районах соответствующие породы часто представлены в огромных объемах, а их природные отдельности, в отличие от кремня, часто имеют крупные и очень крупные размеры (блоки и плитчатые обломки дезинтегрированных лавовых потоков, валуны, вулканические бомбы). Это обстоятельство можно рассматривать как одну из причин обилия рубил на Закавказском нагорье и уменьшения их количества в более северных районах Кавказа.

До недавнего времени на Кавказе обнаруживались только поздние верхнеашельские рубила, причем многие из них встречались вне стратиграфического контекста, а их примерный возраст определялся типологически, путем сопоставления с рубилами из датированных стратифицированных стоянок позднего ашеля в других регионах. В такой ситуации можно было исследовать в основном пространственную вариабельность, отражающую как технологическую адаптацию к различной сырьевой базе, так и влияние разных культурных традиций (Любин, 1998; Любин, Беляева, 2006). В последние годы, однако, на Закавказском нагорье, в северной Армении (Лорийское вулканическое плато), удалось обнаружить памятники с ранне-, средне- и позднеашельскими индустриями (Карахач, Мурадово, Куртан, Даштадем-3), которые впервые дают возможность проследить развитие ашельских рубил в рамках большого хронологического интервала (Асланян и др., 2007; Любин, Беляева, 2010) (см. вклейку: с. 1, ил. 1).

Исходным хронологическим репером для раннего ашеля Кавказа являются абсолютные U-Pb датировки вулканического пепла в карьере Карахач (1,94–1,75 млн л. н.) (Presnyakov et al., in press), которые сближаются с датировками пеплового слоя олдованской стоянки Дманиси, расположенной примерно в 35 км к северо-востоку, на территории южной Грузии (Lumley et al., 2002). В пепловом слое Карахача и в отложениях под этим пеплом обнаружены изделия раннеашельского облика, включая примитивные рубила. Сходная по технико-морфологическим и типологическим характеристикам индустрия (крупные пики и чопперы, грубые рубила, мелкие орудия со скребковыми и острийными рабочими элементами) залегает в нижних уровнях многослойного памятника Мурадово (слои 5–8), которые, вероятно, должны быть близкими по возрасту. В общей сложности в нижних слоях Мурадово и в Карахаче обнаружено около двух десятков изделий, которые могут быть определены как примитивные рубила или рубиловидные орудия.

Данные орудия, подобно всем изделиям этих индустрий, изготовлены из местных разновидностей андезито-дацитовых пород, которые демонстрируют как однородную, так и слоистую структуру. Это сырье обладает большой вязкостью и не благоприятствует получению крупных отщепов. Исходными заготовками служили его естественные отдельности, представленные плитчатыми обломками, а также обломками более объемной формы, включая обломки валунов. При расщеплении плитки слоистого сырья дают, как правило, не раковистый излом, а ровный или ступенчатый. При оформлении орудий из этого сырья преобладает крутая и полукрутая краевая оббивка или уплощающие сколы вдоль слоистой структуры обрабатываемого предмета. Несколько рубиловидных орудий из слоистой породы имеют обушки и пятки, сделанные крутой обивкой (см. вклейку: с. 1, ил. 1: 3). Линия их лезвийных участков, приостряемых плоскими сколами, носит ломаный характер, переходя из плоскости одной стороны орудия в другую. Рубила из

более однородного сырья отличаются более раковистыми негативами без резких заломов. Среди них также преобладают орудия с пятками и обушками, а лезвия чаще расположены не по оси продольного сечения, а в плоскости каждой из сторон. Все эти рубила довольно массивны, что наряду с участками крутой оббивки придает им сходство с пиками. Последние, напомним, характеризуются очень большой массивностью корпуса, оформляемого крутой обивкой, а основным рабочим элементом их является острый дистальный конец.

Острия описываемых рубил в большинстве случаев хорошо выделены, однако специальное заужение дистального конца практиковалось редко. Большинство рубил имеет неправильную субовальную форму, т. е. их максимальная ширина приходится на среднюю часть орудия. Реже встречаются неправильные субсердцевидные формы. Интенсивность обработки варьирует: встречаются как рубила с довольно скудной краевой и частично двусторонней оббивкой (см. вклейку: с. 1, ил. 1: 3), так и оббитые почти полностью. Расположение и последовательность сколов оббивки в каждом случае зависели, видимо, от формы исходной заготовки и тех операций, которые требовались для ее превращения в рубиловидное орудие. Иначе говоря, обработка этих орудий не следовала определенным технологическим схемам и носила сугубо ситуационный характер. Весьма вероятно, что оббивка этих рубил производилась не одноразово, а периодически, по мере утилизации орудий. Создается впечатление, что все эти орудия отражают начальную выработку технической формы рубила. Такая важная характеристика рубил, как правильность и симметричность очертаний, у данных ранних рубил выражена еще очень слабо. Элементы протодизайна, соответственно, также практически не просматриваются, исключая склонность к субовальным очертаниям и, возможно, частое оформление обушков. Последнее, правда, объяснимо описанными свойствами исходных плитчатых заготовок.

К среднему ашелю можно, видимо, отнести индустрию стоянки Куртан и слои 3–4 в Мурадово, в которых еще продолжают встречаться такие архаичные ашельские формы, как пики и чопперы, но в целом ассортимент орудий и их обработка имеют более развитый характер (Любин, Беляева, 2010; Беляева, 2011). Приблизительно оценить возраст этих индустрий позволяют естественно-научные данные по Куртану. На этом памятнике две палеопочвы с ашельской каменной индустрией (слои 2–3) залегают на пемзовых песках, датирование которых аргон-аргоновым методом (^{39}Ar – ^{40}Ar) показало абсолютный возраст 1,49±0,01 млн л. н. (S. Hynek, личное сообщение), а U-Pb датирование – 1,496±0,021 млн. л. н. (С. Л. Пресняков, личное сообщение). Из этих палеопочв происходят зубы носорога *Stephanorhinus hundsheimensis*, который жил в диапазоне 1,4–0,5 млн л. н. (M. Belmaker, личное сообщение). Куртанские палеопочвы демонстрируют обратную полярность магнитного поля, но в низах слоя 3 зафиксирован уровень с положительной полярностью, предварительно соотносимый с эпизодом Харамильо (около 1 млн л. н.) (U. Kircher, личное сообщение). Таким образом, культурные отложения в Куртане можно предварительно датировать концом раннего плейстоцена. Мурадовская индустрия слоев 3–4 имеет, вероятно, сходный возраст.

В слоях 3–4 Мурадово найдены около десятка рубил и рубилец, а в Куртане – лишь четыре таких орудия. Отметим, что в данных слоях Мурадово изменяется тип сырья: почти все орудия и все рубила сделаны из более податливого для обработки гиалодацита. Большинство рубил, как и в более древних индустриях данного района, имеют обушки. Форма этих рубил варьирует, но преобладают субовальные очертания – значительно более правильные и симметричные, нежели у более ранних орудий данного типа. Отдельные орудия демонстрируют приближение к субсердцевидной форме. Сходные рубила из гиалодацита изредка встречаются также среди подъемных материалов, собранных на местонахождении Благодарное в окрестностях Мурадово и на некоторых других местонахождениях Лорийского плато (Даштадем, Пахгахпюр). На фоне преобладающих в сборах позднеашельских изделий, речь о которых пойдет ниже, эти среднеашельские, по всей видимости, рубила выделяются массивным сечением корпуса, оббивкой крупными сколами и извилистыми, лишенными тонкой отделки лезвиями.

С точки зрения технологии, особенно интересно крупное (24,5 см), незаконченное обработкой ручное рубило, найденное в раскопе Мурадово на границе слоев 3 и 4. Крутыми или почти отвесными краевыми сколами, нанесенными по всему периметру исходной плитчатой отдельности, ей были приданы правильные овальные очертания, с характерным для ручных рубил расширением базального конца и сужением или приострением дистального. Эта краевая оббивка не только намечает очертания рубила, но и формирует ударные площадки, которые мастер использовал для обработки одной из сторон орудия крупными уплощающими снятиями. Последующие операции, которыми, по всей видимости, должны были стать срезание краевых вспомогательных площадок и обработка второй стороны с приострением продольных лезвий, выполнены не были (Асланян и др., 2007). Данное рубило демонстрирует переход от наблюдавшейся у более древних рубил ситуационной чередующейся оббивки краев к более сложной технологии,

предполагающей заранее спланированные стадии обработки. Небольшое количество рубил, найденных в слоях 3–4 Мурадово, при вариабельности их очертаний не позволяет с полной уверенностью отчленять те характеристики, которые связаны с формой заготовок, от элементов протодизайна. Тем не менее бросается в глаза преобладание у них субовальных очертаний и систематическое оформление обушков. Не исключено, что в этом уже отражается местная традиция, истоки которой лежат в раннем ашеле данного района.

Что касается Куртана, то местное сырье – риолит и базальт – отличается невысокими поделочными качествами. Риолит представлен преимущественно плитчатыми обломками, но, как правило, небольшими, и образует рваные занозистые плоскости расщепления. Базальт, происходящий из местного лавового потока, в целом поддается обработке несколько лучше, но порой имеет пористую или слоистую структуру, которая мешает отделке лезвий. Данное сырье придает индустрии довольно архаичный вид, хотя по возрастным показателям и по морфолого-типологическим характеристикам оно все же соотносится, по всей видимости, со средним ашелем. Характерно, что немногочисленные изделия из галечно-валунного сырья и андезита имеют более развитый облик (скребла, небольшие отщепы и нуклеусы).

В Куртане найдены лишь четыре рубила. Три небольших рубила из риолита и базальта оформлены очень грубой, частично двусторонней оббивкой. Грубость обработки этих рубил и их единичность объяснимы, видимо, низким качеством местного сырья. Судить о протодизайне в данном случае затруднительно. Отметим все же, что в плане эти бифасы имеют варьирующие, но в целом субовальные очертания, которые, как и в слоях 3–4 Мурадово, более правильны, нежели у описанных выше более древних рубил из Карахача и нижних уровней Мурадово.

Четвертое рубило резко выделяется на фоне прочих и является уникальным в пределах всего Кавказа. Оно найдено в Куртане на границе слоев 2 и 3 и изготовлено из приносного андезитового сырья. Особенности его формы: крупные размеры (24 см), округлая массивная базальная треть и очень длинное, словно бы «оттянутое» от основной части корпуса кирковидное острие – массивное в основании и сужающееся, приостренное в дистальной части. Самый кончик острия обломан в древности (см. вклейку: с. 1, ил. 1: 2). По критериям Ф. Борда (Bordes, 1961) данное рубило определяется как копьевидное, причем заметная вогнутость одного из лезвий отчасти сближает его с микокскими бифасами. Более всего это орудие напоминает копьевидные бифасы среднеашельской стоянки Латамна в Сирии (Clark, 1965).

Описываемое куртанское рубило имеет очень правильную форму, симметричную в плане относительно длинной оси. Его продольное и поперечное сечения также симметричны. Линии обоих лезвий слегка извилистые в базальной части и почти прямые в дистальной половине, базальная часть приострена. Подобная обработка выполнена довольно интенсивной оббивкой, однако мелкая ретушная подправка краев отмечена лишь на ряде участков. Судя по массивности и сильно удлиненным пропорциям, это рубило явно изготовлено не из отщеповой заготовки, которые характерны, как мы покажем ниже, для позднеашельских бифасов Лорийского плато. Уплощение корпуса с временных площадок, нередко встречающееся среди поздних рубил, в данном случае также не производилось. Таким образом, технологические приемы изготовления этого бифаса выглядят менее развитыми, нежели у большинства позднеашельских орудий такого рода. Тем более поражает точный расчет и искусность мастера: моделировка изделия и исполнение каждого удара практически безупречны (Беляева, 2009). Изощренная форма и тщательная отделка этого рубила явно избыточны для обычного инструмента. Более того, сколько-нибудь интенсивное использование такого орудия крайне сомнительно, поскольку длинное и относительно тонкое острие, как показывает утрата его кончика, легко повредить или вовсе обломить. Данное рубило, имевшее, по всей видимости, не только и не столько утилитарную функцию, можно рассматривать как явный пример протодизайна.

Поздний ашель Лорийского плато представлен как большими подъемными коллекциями разрозненных изделий, так и стратифицированным комплексом стоянки Даштадем-3 (Асланян и др., 2007; Kolpakov, 2010; Любин, Беляева, 2010). Ранее на Закавказском нагорье поздний ашель был выделен только по материалам местонахождений, доставивших преимущественно ручные рубила (Любин, 1998; Любин, Беляева, 2006). Обнаружение данного памятника позволило впервые получить полное представление об орудийном составе этих индустрий и их технологическом контексте. Маломощный культурный слой стоянки, вскрытый на площади около 30 кв. м, содержал почти 2,5 тыс. изделий из гиалодацита. Обнаружено 59 ручных рубил (22,4 %), включая незаконченные обработкой экземпляры, а также более 200 мелких орудий на сколах или небольших обломках дацита (леваллуазские остроконечники, скребла, скребки, ножи, зубчато-выемчатые и др.). Среди продуктов расщепления хорошо представлены леваллуазские отщепы и пластины (Kolpakov, 2009). Данная индустрия, безусловно, представляет собой поздний ашель фации леваллуа. Преобладают уплощенные

симметричные бифасы (см. вклейку: с. 1, ил. 1: 1), значительная часть которых изготовлена из крупных отщепов. По очертаниям они подразделяются на сердцевидные и субсердцевидные, овальные и субовальные, подпрямоугольные, включая «арковидные», и некоторые другие своеобразные формы. Имеются незаконченные обработкой рубила: крупные отщепы с начальным оконтуриванием и приострением лезвий, а также бифасы в стадии уплощения. Последние напоминают крупные леваллуазские нуклеусы, однако характерные очертания и начальное оформление лезвий указывают на истинный характер этих предметов.

Аналогичные материалы обнаружены в переотложенном состоянии в слоях 1–2 стоянки Мурадово, где вместе с леваллуазскими изделиями обнаружено одно подсердцевидное рубило. Леваллуазские продукты расщепления из гиалодацита и ручные рубила, сближающиеся по всем показателям с бифасами из Даштадем-3, составляют абсолютное большинство находок на всех местонахождениях Лорийского плато (Асланян и др., 2007; Любин, Беляева, 2010). В более чем двадцати пунктах здесь было обнаружено свыше 300 ручных рубил позднеашельского типа.

Среди заготовок явно доминируют отщепы, т. е. мы имеем дело с LF-индустрией. На это указывает преобладание частичных бифасов, сохранивших более или значительные участки брюшка или спинки скола, около 60 %. Многие из полных бифасов тоже могли быть изготовлены из отщепов, но интенсивная обработка не позволяет установить характер первоначальной заготовки. Об использовании отщеповых заготовок для изготовления бифасов красноречиво свидетельствуют найденные вместе с бифасами 11 крупных отщепов (15–20 см) со следами начального оформления лезвий и оконтуривания. В этом районе были найдены и огромные нуклеусы-блоки с негативами, размер которых достигал 25 см. При оформлении бифасов примерно в равной мере использовались как удлиненные сколы, так и укороченные, т. е. с осью скалывания перпендикулярно оси будущего орудия. Унифасы практически отсутствуют: ударный бугорок и сама поверхность брюшка обычно подтесывались. В большинстве случаев эта обработка была минимальной или же производилась путем уплощающих сколов, снимавшихся с краевых площадок, образовывавшихся после оконтуривания предмета крутой оббивкой. Это отразилось в большом количестве плоско-выпуклых частичных бифасов – более 60 %. Однако наблюдаются также случаи изначального оконтуривания-приострения краев скола, в результате чего плоско-выпуклая форма отщепа превращалась в подлинзовидную.

Если исходной заготовкой был естественный обломок породы в виде плакетки, можно наблюдать двояко-плоское поперечное сечение бифасов с приострением лишь прикраевой зоны. Очень редко использовались уплощенные вулканические бомбы. Помимо наличия остатков корки на обеих сторонах рубил косвенным указанием на подобные заготовки являются, на наш взгляд, также следы ядрищного утончения корпуса, которое требовалось для более массивных, как правило, неотщеповых заготовок. Оно производилось уплощающими сколами со специальных площадок, оформлявшихся на боковых краях или – реже – концах орудия. Порой остатки этих площадок сохраняются, а при их полном срезании о подобной обработке говорит система крупных субпараллельных сколов, которые бывают как встречными, так и однонаправленными. Особо отметим двустороннее противолежащее уплощение – 11 случаев. В четырех из них помимо двустороннего поперечного площадочного утончения было сделано еще продольное утончение базального конца. По существу, здесь применялась техника контролируемого уплощающего скалывания со специально оформленных площадок, т. е. поначалу эти бифасы «обстругивались», очевидно, подобно леваллуазским нуклеусам.

Поражают очень крупные размеры гиалодацитовых бифасов Лорийского плато. Средняя длина составляет 14,6 см, почти 40 % бифасов имеют длину более 15 см, а 12 из них находятся в диапазоне 20–24 см. При этом почти 60 % этих рубил относятся к немассивным, что объяснимо, очевидно, отмеченным преобладанием отщеповых заготовок. В целом господствуют довольно крупные, широкие, в меру удлиненные рубила с плавным приострением или закруглением дистальных концов. Наиболее многочисленные морфологические группы – овальные и сердцевидные, которые демонстрируют вариабельность по пропорциям, очертаниям, степени заострения концов, выпуклости краев и т. п. Среди своеобразных отметим явное присутствие «домиков», у которых края субпараллельны в базальной части и резко сходятся в дистальной, а также «арковидных» форм – с субпараллельными краями и плавным закруглением или заострением дистального конца. К последним примыкают сегментовидные формы, у которых одно лезвие прямое, а другое выпуклое. Встречаются бифасы с поперечным лезвием, обушковые бифасы и подлистовидные. Хотя описываемые «рабочие» рубила не демонстрируют жесткой дифференциации и стандартизации форм, можно все же говорить о том, что их изготовители придерживались определенного «модельного ряда». Почти идеальная правильность очертаний и очень тщательная отделка некоторых экземпляров также говорят о несомненных проявлениях протодизайна. Сказанное выше в отношении поздних лорийских бифасов можно экстраполировать, види-

мо, судя по беглому личному знакомству, и на верхнеашельские рубила из сходного сырья, найденные на к северу от Лорийского плато на местонахождениях Чикиани и Персати (Южная Грузия).

Верхний ашель южной, обсидиановой зоны Закавказского нагорья, также относится к LF-индустриям и характеризуется леваллуазским технологическим контекстом. Ручные рубила местонахождения Сатани-дар (Паничкина, 1950) и группы местонахождений Джрабер-Фонтан-Кендарасы (Любин, 1961) близки вышеописанным лорийским рубилам по набору основных типов, среди которых доминируют сердцевидные и овальные, а также по обилию частичных бифасов (35–40 %), по распространению плоско-выпуклой обработки и применению различных приемов ядрищного уплощения орудий. В Сатани-даре помимо обсидиана для изготовления рубил использовался также дацит, что дает возможность сопоставить влияние этих двух типов сырья на технологию обработки бифасов. Если среди дацитовых рубил Сатани-дара почти половину составляют частичные бифасы на отщепах, то среди обсидиановых таковых насчитывается не более четверти, т. е. дацит чаще использовался в виде сколов, нежели обсидиан. Бросается также в глаза то, что среди обсидиановых рубил доля массивных бифасов намного выше (57 %), чем среди дацитовых (15,6 %). Это связано с тем, что заготовками обсидиановых рубил чаще становились как массивные сколы, так и уплощенные обломки породы. Чем больше размеры этих рубил, тем они, как правило, массивнее и тем больше среди них полных бифасов с интенсивной двусторонней обработкой. Можно предположить, что такие тенденции отражают хрупкость обсидиана, что мешало получать большие и одновременно относительно тонкие сколы-заготовки для рубил. Моделирование же форм бифасов из массивных отщепов или в особенности из различных обломков породы требовало более интенсивной двусторонней обработки. К этому же вел и более раковистый характер раскалывания обсидиана по сравнению с гиалодацитом. Неизбежную при чередующейся обработке обсидиановых бифасов извилистость лезвий позволяла преодолеть лишь их тщательная мелкая оббивка или ретушь.

Общее технико-морфологическое сходство между ручными рубилами Сатани-дара, раздансских местонахождений и памятников Лори объяснимо, видимо, как аналогичным технологическим контекстом, так и общими корнями. Имеются, однако, специфические варианты очертаний ручных рубил, связанные, видимо, с местными традициями. Они явно отражают не столько влияние сырья и заготовок, сколько желаемую мастером модель, т. е. протодизайн. Среди таких форм можно назвать, например, сатанидарские бифасы с одним или двумя уступами – «плечиками» (Любин, 1981. С. 14), а также арковидные и сегментовидные лорийские бифасы. Особенно яркими свидетельствами протодизайна являются отдельные экземпляры, поражающие правильностью и гармоничностью очертаний, а также исключительно тщательной отделкой, граничащей с подлинным искусством.

Среди стратифицированных памятников Южного Кавказа наибольший интерес представляет пещера Кударо-1 (Центральный Кавказ), где найдены 26 рубил из окремненных пород (12), сланца (8) и песчаника (6) (Любин, Беляева, 2004). Средняя длина – 12,8 см. Характерна большая доля частичных бифасов на отщепах (61,5 %) и наличие рубилец, что сближает Кударо-1 с позднеашельскими памятниками Армении. Возраст стоянки также указывает на поздний ашель. Однако почти половина рубил относится к массивным, включая 6 рубил на отщепах. Некоторые массивные рубила демонстрируют грубую чередующуюся оббивку. Технологический контекст индустрии является нелеваллуазским. Не исключена технологическая и типологическая «архаизация» пришлой с юга позднеашельской индустрии ввиду перехода на некачественное разнородное сырье. В связи с этим важно отметить, что в расположенных южнее ашельских местонахождениях Южной Осетии, где имеются рубила, находящие соответствия как в армянских, так и в кударских материалах, порода, из которой они сделаны, является приносной и аналогична дациту лорийских местонахождений в северной Армении. Благодаря разнородному сырью кударские рубила демонстрируют значительную вариабельность, причем многие, в особенности сланцевые бифасы, далеки от классических образцов. В то же время несколько тщательно отделанных рубил с совершенными формами говорят о том, что протодизайн был вовсе не чужд и кударским мастерам.

Преобладающими чертами рубил, найденных на Причерноморском побережье и на Северном Кавказе, являются использование окремненного сырья, относительно небольшие размеры, заготовки в виде галек или плоских желваков, массивность форм (Щелинский, 2007; Любин, Беляева, 2011). Наиболее архаичные формы отмечены на Кубани (Саратовская) и в Дагестане (Любин, Беляева, 2006). Ядрищное уплощение фиксируется редко, в частности, оно отмечено на кубанском местонахождении Абадзехская, где существует леваллуазский контекст (Любин, 1998). Малочисленность и разнородность причерноморских и северокавказских рубил не позволяет судить о предпочтении тех или иных форм. Вновь отметим, однако, что среди них есть образцы, совершенство формы и отделки которых говорит о несомненном проявлении протодизайна.

Как и по всей ашельской ойкумене, ручные рубила, обнаруженные в разновременных ашельских памятниках Кавказа, показывают постепенное совершенствование технологий и возрастающую роль протодизайна. Однако прослеженное на примере рубил развитие технологий и протодизайна в этом регионе имеет свои особенности. Современные данные говорят о том, что создатели раннеашельских индустрий Кавказа, обитавшие на Закавказском нагорье, производили ручные рубила путем грубой оббивки подходящих, преимущественно плитчатых отдельностей вулканических пород. Технологический арсенал кавказских раннеашельских индустрий был поначалу весьма ограничен, а формообразование бифасов было практически полностью обусловлено сырьевым фактором. В отличие от раннего ашеля Восточной Африки, где основной заготовкой рубил очень быстро стали крупные отщепы, на севере Закавказского нагорья раннеашельские индустрии формировались на местном лавовом сырье, доступном в виде разноразмерных плитчатых обломков и нередко имевшем слоистую структуру. Такие отдельности сырья едва ли могли использоваться для скалывания крупных отщепов, однако позволяли отбирать среди них подходящие заготовки для макроорудий. Однако массивность многих подобных заготовок, наличие боковых граней и нередко слоистость самой породы затрудняли оформление корпуса бифасов и продольных лезвий. Формирование контура орудий в значительной мере производилось путем крутой оббивки, а приострение лезвий удавалось выполнить лишь на некоторых участках. Названные особенности местного сырья и заготовок вели к тому, что многие из рассматриваемых раннеашельских рубил в той или иной мере сближаются с распространенными здесь пиками, вплоть до того, что их можно определить как пиковидные рубила. Таким образом, в раннем ашеле Кавказа техническая форма ручного рубила еще только вырабатывается, а протодизайн практически отсутствует.

Редкие пока экземпляры кавказских среднеашельских бифасов демонстрируют более сложные приемы обработки, позволяющие более интенсивную модификацию исходных заготовок. Наряду с технологическим развитием впервые фиксируются несомненные признаки протодизайна: тенденция к правильным симметричным очертаниям и изготовление бифасов, форма и обработка которых не предопределены ни сырьевым, ни функциональным факторами. В позднем ашеле на Кавказе развиваются технологии, адаптированные к разным типам сырья, и наблюдается широкая вариабельность форм ручных рубил. Протодизайн вносит несомненный вклад в формирование различных типов, или моделей, рубил. В полной мере протодизайн проявляется в изготовлении бифасов, выделяющихся на фоне прочих столь эстетически совершенной формой и столь ювелирной отделкой, что допустимо видеть в них не столько утилитарную, сколько социальную функцию («престижные» орудия?). Прослеживая изменения в технико-морфологических характеристиках кавказских рубил от раннего до позднего ашеля, мы наблюдаем не только технологическое развитие, но и постепенный переход от простых технических форм к сознательному формотворчеству и наделению каменных изделий новыми функциями.

Список литературы

Асланян С. А., Беляева Е. В., Колпаков Е. М., Любин В. П., Саркисян Г. М., Суворов А. В. 2007. Работы армяно-российской археологической экспедиции в 2003–2006 гг. // Записки Института истории материальной культуры РАН. № 2. С. 142–154.

Беляева Е. В. 2009. Уникальное древнекаменное орудие из Северной Армении // Природа. № 4. С. 63–66.

Беляева Е. В. 2011. Исследования ранне-среднеашельской стоянки Куртан на севере Армении // Записки Института истории материальной культуры РАН. № 6. С. 37–45.

Беляева Е. В., Любин В. П. 2011. Ашельские рубила и истоки протодизайна // Российский археологический ежегодник. № 1. СПб. С. 77–99.

Луков Вл. А., Останин А. А. 2007. Дизайн. Тезаурусный анализ. М.

Любин В. П. 1961. Верхнеашельская мастерская Джрабер (Армения). КСИА 52. С. 59–67.

Любин В. П. 1998. Ашельская эпоха на Кавказе. СПб.

Любин В. П., Беляева Е. В. 2004. Стоянка Homo erectus в пещере Кударо-I (Центральный Кавказ). СПб.

Любин В. П., Беляева Е. В. 2006. Ранняя преистория Кавказа. СПб.

Любин В. П., Беляева Е. В. 2005. Человек и каменное сырье в палеолите Кавказа // Археоминералогия и ранняя история минералогии // Материалы Международного семинара. Сыктывкар, Республика Коми, Россия. 30 мая – 4 июня 2005 г. Сыктывкар. С. 107–109.

Любин В. П., Беляева Е. В. 2010. Новые данные о раннем палеолите Армении // Древнейшие обитатели Кавказа и расселение предков человека в Евразии / ред. С. А. Васильев и В. Е. Щелинский. СПб. С. 107–126.

Любин В. П., Беляева Е. В. 2011. Страницы ранней преистории Абхазии. СПб.

Паничкина М. З. 1950. Палеолит Армении. Л.

Филиппов А. К. 1983. Проблемы технического формообразования орудий труда в палеолите // Технология производства в эпоху палеолита / ред. А. Н. Рогачев. Л. С. 9–71.

Щелинский В. Е. 2007. Палеолит Черноморского побережья Северо-Западного Кавказа (памятники открытого типа). СПб.

Asfaw B., Beyene Y., Suwa G., Walter R. C., White T. D., WoldeGabriel G., Yemane T. 1992. The earliest Acheulean from Konso-Gardula // Nature 360. P. 732–735.

Bar-Yosef O., Goren-Inbar N. 1993. The Lithic Assemblages of the Site of Ubeidiya, Jordan Valley. Qedem 34. Monographs of the Institute of Archaeology. Jerusalem.

Bordes F. 1961. Typologie du Paleolithique Ancien et Moyen. Paris.

Brezillon M. 1971. La denomination des objets de Pierre taillee. Paris.

Clark G. World Prehistory: A New Outline. Cambridge.

Clark J. D. 1965. The Middle Acheulian occupation site at Latamne, Northern Syria // Annales Archeologiques Arabes Syriennes. T. 16 (2). Damas. P. 31–74.

Clark J. D. 1974. Africa in prehistory: Peripheral or paramount? Man 10 (№ 2), 190.

Gowlett J. A. J. 1986. Culture and conceptualisation: The Oldowan-Acheulian gradient // Stone Age Prehistory / eds. G. N. Bailey and P. Callow. Cambridge. P. 243–260.

Gowlett J. A. J. 2006. The elements of design form in Acheulian bifaces: Modes, modalities, rules and language. Axe Age: Acheulian Tool-making from Quarry to Discard / eds. N. Goren-Inbar and G. Sharon . London. P. 203–221.

Haviland W. A., Walrath D., Prins H. E. L., McBride B. 2007. Evolution and Prehistory: the human challenge. Belmont.

Isaac G. 1968. The Acheulian site complex at Olorgesailie: a contribution to the interpretation of Middle Pleistocene culture in East Africa. Unpublished doctoral thesis. Cambridge.

Isaac G. 1969. Studies of early culture in East Africa // World Archaeology 1. P. 1–27.

Isaac G. 1977. Olorgesailie: Archaeological Studies of a Middle Pleistocene Lake Basin. Chicago.

Jones P. R. 1994. Results of experimental work in relation to the stone industries of Olduvai Gorge // Olduvai Gorge – excavations in Beds III, IV and the Masek Beds (1968–1971). Vol. 5. / eds. M. D. Leakey and D. A. Roe. Cambridge. P. 254–298.

Kleindienst M. R. 1962. Components of the East African Acheulian assemblage: an analytic approach // Actes du IVeme Congres Panafricain de Prehistoire et de l'Etude du Quaternaire. Vol. 40 / ed. G. Mortelmans. Tervuren (Belgique). P. 81–105.

Kolpakov E. 2009. Late Acheulian site of Dashtadem 3 in Armenia // Paleoanthropology. P. 3–31.

Leakey M. D. 1971. Olduvai Gorge, vol. III: Excavations in Beds I and II, 1960–1963. Cambridge.

Leakey M. D. 1975. Cultural patterns in the Olduvai sequence // After the Australopithecines / eds. K. W. Butzer and G. L. Isaac. Paris. P. 477–493.

Le Tenzorer J.-M. 2006. Les cultures acheuleennes at la question de l'emergence de la pensee symbolique chez Homo erectus a partir les donnees a la forme symetrique et harmonique des bifaces // C. R. Paleovol 5. P. 127–135.

Lumley H. de. 2006. Il y a 2,5 millions d'annees. Un seul majeur de hominisation. L'emergence de la pence conceptuelle et des strategies maitrisees du debitage de la Pierre // C. R. Paleovol 5. P. 119–126.

Lumley H. de, Nioradze M., Barsky D., Cauche D., Celiberti V., Nioradze G., Notter O., Zvania D., Lordkipanidze D. 2005. Les industries lithiques preoldowayennes du debut du Pleistocene inferieur du site de Dmanissi en Georgie // L'Anthropologie 109. P. 1–182.

Nowell A., Park K., Metaxis D. and Park J. 2003. Deformation modeling: A methodology for the analysis of handaxe morphology and variability Multiple Approaches to the Study of Bifacial Technologies / eds. M. Soressi and H. L. Dibble. Philadelphia. P. 193–208.

Plummer T. 2004. Flaked stones and old bones: Biological and cultural evolution at the dawn of technology // Yearbook of Physical Anthropology 47. P. 118–164.

Presnyakov S. L., Belyaeva E. V., Lyubin V. P., Rodionov N. V., Antonov A. V., Saltykova A. K., Berezhnaya N. G. and Sergeev S. A. In press. Age of the earliest Paleolithic sites in the northern part of the Armenian Highland by SHRIMP-II U-Pb dating of zircons from volcanic ashes // Gondwana Research.

Roche H., Delagnes A., Burgal J.-P., Feibel C., Kibunjia M., Mourre V., Texier P.-J. 1999. Early hominid stone tool production and technical skill 2.34 Myr ago in West Turkana, Kenya // Science 399. P. 57–60.

Saragusti I., Sharon I., Katzenelson O., Avnir D. 1998. Quantitative Analysis of the Symmetry of Artefacts: Lower Paleolithic Handaxes // Journal of Archaeological Science 25. P. 817–825.

Semaw S. 2000. The world's oldest Stone Age artefacts from Gona, Ethiopia: their implications for understanding stone technology and patterns of human evolution between 2.6–1.5 million years ago // Journal of Archaeological Sciences 27. P. 1197–1214.

Sharon G. 2007. Acheulian Large Flake Industries: Technology, Chronology and Significance. BAR Intern. Series 1701. Oxford.

Shick K., Clark J. D. 2003. Biface Technological Development and Variability in Acheulian Industrial Complex in the Middle Awash Region of the Afar Rift, Ethiopia // Multiple Approaches to the Study of Bifacial Technologies / eds. M. Soressi and H. L. Dibble. Philadelphia. P. 1–30.

Tattersall I., Delson E. and van Couvering J. (eds.). 1988. Encyclopedia of Human Evolution and Prehistory. New York, London.

Torre I. de la, Mora R., Dominguez-Rodrigo M., Luque L., & Alcala L. 2003. The Oldowan industry of Peninj and its bearing on the reconstruction of the technological skills of Lower Pleistocene hominids // Journal of Human Evolution 44. P. 203–224.

Torre I. de la, Mora R. 2005. Technological strategies in the Lower Pleistocene at Olduvai beds I & II. ERAUL 112. Liege.

Ulrich K. T. 2006. Design: Creation of Artifacts in Society. Philadelphia.

Wymer J. 1982. The Palaeolithic age. New York.

Е. В. Леонова, О. И. Александрова

ДИНАМИКА КУЛЬТУРНЫХ ПРОЦЕССОВ В ВЕРХНЕМ ПАЛЕОЛИТЕ – МЕЗОЛИТЕ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО КАВКАЗА (ПО МАТЕРИАЛАМ МНОГОСЛОЙНЫХ ПАМЯТНИКОВ НАВЕС ЧЫГАЙ И ПЕЩЕРА ДВОЙНАЯ)

Исследования каменного века Кавказа ведутся в течение многих десятков лет. Накоплены богатейшие археологические материалы, относящиеся в том числе к эпохам верхнего палеолита и мезолита. Но, к сожалению, состояние большой части ранее полученных источников не позволяет использовать их в полной мере для решения проблем, связанных с периодизацией и хронологией, сменой и развитием археологических культур, динамикой развития каменных и костяных индустрий на рубеже плейстоцена и голоцена. В конце 1980-х и в 1990-е гг. выходит ряд работ, посвященных критическим обзорам источников по верхнему палеолиту Кавказа, переосмыслению материалов, и предприняты попытки создания периодизационных схем, но исследователями отмечается ущербность источников, связанная как с их сохранностью, так и с уровнем методики раскопок прошлых лет (Любин, 1989; Амирханов, 1994; Амирханов, 1996). С середины 1990-х гг. начинается новый этап исследований верхнего палеолита Северного Кавказа. К настоящему времени уже накоплены данные из раскопок 1990–2000-х гг., исследованных на качественно новом методическом уровне с привлечением разнообразных естественно-научных методов, проведена ревизия старых коллекций, для которых получены серии дат, что позволяет вносить значительные коррективы в представления о каменных и костяных индустриях, их хронологии и периодизации (Голованова, 2008; Беляева и др., 2009; Александровский, Александровская, 2009). Состояние источников по мезолиту Северного Кавказа в целом похоже на состояние верхнепалеолитического корпуса, но уступает по масштабам проведенных работ. Наиболее интенсивно велись исследования мезолитических памятников региона в 1950–1970-е гг. (Формозов, 1963; Бадер, Церетели, 1989), а новые полевые исследования памятников эпохи мезолита были предприняты только начиная с середины 2000-х гг. (Деревянко и др., 2004; Зенин, Орлова, 2006; Леонова, 2008; Леонова, 2009).

В 2006 и 2007 гг. Е. В. Беляевой были открыты мезолитические слои в навесе Чыгай и пещере Двойная соответственно (Беляева, Александровский, Леонова, 2009; Леонова, 2009). Начиная с 2007 г. Прикубанским отрядом и Губской экспедицией ИА РАН ведутся раскопки навеса Чыгай, с 2008 г. – пещеры Двойная. Оба памятника стратифицированные: в навесе Чыгай прослежены слои эпох энеолита, мезолита и верхнего палеолита; в пещере Двойная – три мезолитических слоя. Полная стратиграфическая колонка на обоих памятниках пока неизвестна, глубина раскопов колеблется от 2,2 м до 3 м. Оба памятника находятся в 9 км к ЗЮЗ от станицы Баракаевская Мостовского района Краснодарского края, на левом берегу р. Губс (левый приток р. Ходзь). Навес Чыгай расположен на высоте 44 м над уровнем воды в реке (801 м над уровнем моря), на небольшой площадке шириной около 9 м, обрывающейся к реке крутым облесенным склоном и ограниченной с запада-северо-запада скальным выступом. Площадь раскопа 2007–2011 гг., включившего в себя шурф 2006 г., составляет 20 кв. м^2, но около 10 м^2 захватывают участок у края склона за капельной линией, где резко падает количество находок с плохо выраженной стратиграфией.

Пещера Двойная находится в 30 м востоку от навеса Чыгай, примерно на том же гипсометрическом уровне – 46 м над уровнем воды в реке. Площадь раскопов в пещере составила около 16 м^2, в центре грота в 2007 г. был заложен разведочный шурф 1,5х1 м, который вписан в общую квадратную сетку, но пока не соединен с основной площадью раскопа. Дневная поверхность внутри большого грота имеет заметный наклон с севера на юг (в сторону выхода).

В навесе Чыгай разрез включает в себя 14 литологических горизонтов (Леонова, 2009), археологические находки встречаются во всей толще отложений и на поверхности. Часть находок из верхней толщи – рыхлой супеси с щебнем – происходит с плато, где расположено средневековое поселение (Школьная поляна). В послойном распределении инвентаря, зафиксированного в стратифицированной части раскопа, выявляется несколько пиков: наибольшее количество находок приходится на литологические слои 5, 9 и 10–14.

По данным палинологического анализа, слои, залегающие выше слоя 8, сформировались уже в эпоху голоцена, а слой 8, по мнению палинологов, «один из наиболее холодных в климатическом отношении отрезков стадиала»[1].

В стратиграфических разрезах пещеры Двойная выделено 9 литологических подразделений, в

слоях 4–7, 9 залегают материалы эпохи мезолита. К настоящему моменту на площади раскопов исследованы два мезолитических слоя, залегающих под толщей современных и позднесредневековых отложений и отделенных от позднейших наслоений мощным десквамационным горизонтом (Леонова, 2009; Леонова, Александрова, в печати). Мезолитические слои не отделены стерильной прослойкой и залегают непосредственно друг за другом, второй (нижний) культурный слой ближе к центру пещеры подстилается тонкой (2–3 см) белесовато-серой прослойкой разложившегося известняка, а в привходовой части – мелкими и средними обломками щебня. Ниже залегает третий мезолитический (?) культурный слой[2].

Таким образом, на двух соседних памятниках на сегодняшний день исследованы слои, относящиеся к верхнему палеолиту (навес Чыгай), мезолиту (навес Чыгай и пещера Двойная) и, вероятно, энеолиту (навес Чыгай).

Достоверно к верхнему палеолиту можно отнести находки из 10–14 литологических слоев навеса Чыгай, исследованных на площади 6 м^2, общей мощностью от 0,4 до 1 м^3. Это пачка отложений очень плотного суглинка: чередуются сероватобелесые (слои 10 и 12), белесовато-желтоватые (слои 11 и 14) и серовато-желтоватые (слой 13) суглинки с бóльшим или меньшим количеством щебня и обломками известняка. Границы слоев иногда маркированы тонкими углистыми линзочками или известняковыми плитками, а в толще слоя 13 прослежены тонкие углистые и золистые прослоечки. Верхнепалеолитический слой насыщен каменными артефактами; кости животных, как правило, сильно раздроблены и плохой сохранности, определимые единичны. В плане фиксируются тонкие слабоуглистые линзочки, к некоторым из которых приурочены вертикально стоящие по 2–3 в группе небольшие (до 10–15 см) осколки известняка и осколки крупных трубчатых костей. Площадь раскопа 2006–2010 гг. со стороны склона ограничивает крупная глыба известняка (Леонова, 2009; 2009 а), полностью оконтуренная только раскопками 2011 г. за счет прирезки в сторону склона, размерами 3х2,5х1,3 м, подошва которой точно совпадает с нижней границей 12-го слоя – десквамационного горизонта. Формирование этого горизонта могло быть связано или с резким перепадом температур, или с сейсмической активностью. Последнее предположение представляется наиболее вероятным, так как по данным палинологического анализа спектры, полученные из образцов слоя 13 и 11, практически идентичны и рассматриваются как единый спорово-пыльцевой комплекс, а в образце из слоя 12 (плотный белесый суглинок с большим количеством крупного обломочного материала) споры и пыльца единичны и количество их недостаточно для статистической обработки, и, «возможно, его (слоя. – *Е. Л.)* образование происходило в иное время» (заключение Е. А. Спиридоновой, А. С. Алешинской, М. Д. Кочановой). То есть слой 12 сформировался в очень короткий промежуток времени и не связан с резкими климатическими изменениями.

Каменные артефакты из литологических слоев 10–14 по технико-морфологическим характеристикам гомогенны, поэтому полученную коллекцию мы рассматриваем суммарно (около 3000 артефактов, включая находки из раскопок 2011 г., не учтенные ниже в описании, так как еще находятся в обработке). В дальнейшем возможно и более дробное членение материалов, так как методика раскопок и фиксации позволяет проводить полноценный пространственный анализ.

В качестве сырья использовался преимущественно коричневато-серый местный кремень, но также есть изделия из белого и различных оттенков желтого кремня, единичны сколы и обломки орудий из обсидиана. Первичное расщепление направлено на получение пластинок и микропластинок; пластин и изделий из них немного. Большинство ядрищ одноплощадочные, торцевые или при высокой степени утилизации уплощенные. Площадки скошенные, гладкие или подправленные ретушью. Есть два экземпляра двуплощадочных нуклеусов с противолежащими фронтами скалывания; один обломок одноплощадочного нуклеуса с круговым фронтом снятия, один – вторичный одноплощадочный в начальной стадии расщепления от отщепов, у которого площадкой служило брюшко массивного отщепа. Все ядрища сильно сработаны.

Скребки (43 экз.), все концевые из пластин, пластинок и пластинчатых отщепов, иногда имеют на боковых сторонах подправку ретушью, у нескольких изделий проксимальный конец орудия подправлен плоскими сколами на брюшке. Есть несколько экземпляров скребков с боковой выемкой у лезвия (см. вклейку: с. 2, ил. 1).

Резцов значительно меньше – 26 экземпляров (см. вклейку: с. 2, ил. 1): резцов с площадкой, подготовленной резцовым сколом (угловые) – 12 (7 из осколков и отщепов, 5 из пластинок и пластин); ретушных – 11 (9 из пластин и пластинок, заготовкой для еще двух послужили сколы подправки нуклеуса); на сломе заготовок всего три.

Два орудия из пластин сочетают скребковое лезвие на дистальном конце и угловой резец на проксимальном (см. вклейку: с. 2, ил. 1).

В коллекции также два целых подтреугольных скребла из отщепов и еще один обломок (см. вклейку: с. 2, ил. 1); шесть долотовидных орудий, одна стамесочка и 12 выемчатых орудий.

Наиболее многочисленную группу орудий составляют разнообразные микролиты (см. вклейку: с. 2, ил. 1).

Фрагментов микропластинок и пластинок с притупленным крутой ретушью по спинке краем – 33. Как правило, край, сформированный ретушью, неровный. Ретушь на изделиях или «неагрессивная» краевая, или вертикальная по всей толщине заготовки, срезающая край пластинки или микропластинки примерно на $^1/_3$ или на $^1/_2$ ширины заготовки.

Пластинка с притупленной спинкой, у которой один из концов оформлен полукрутой ретушью, формирующей слегка выпуклый край, а другой конец скошен – 1.

У трех фрагментов пластинок с притупленным краем сохранившийся конец оформлен полукрутой или крутой ретушью, по форме слабо выпуклый (скребковидное окончание).

Два фрагмента пластинок с притупленным вертикальной ретушью краем прямым или слабо скошенным концом, оформленным полукрутой (под 45°) ретушью по спинке. Еще у 5 фрагментов пластинок с притупленным краем один конец оформлен плоской подтеской по брюшку.

Прямоугольников 2 (еще два целых экземпляра из микропластинок были найдены в 2011 г.) из пластинок, оформлены крутой и полукрутой ретушью по спинке, концы орудий слегка скруглены, у одного орудия со стороны проксимального конца подтеска по брюшку.

Еще два фрагмента пластинок с притупленным краем – ретушь с края плавно переходит на конец, формируя дугообразное окончание.

Пластинка и пластина с усеченным прямо крутой ретушью концом – 2. Еще у двух пластинок, одна из которых из красного (сургучного) обсидиана, на конце ретушью оформлена неглубокая выемка.

Пластинка со скребковидным слабо скошенным окончанием и прилегающий к нему выемкой – 1. Конец оформлен крутой мелкой ретушью по спинке, выемка – крутой ретушью по брюшку.

Пластина со слабо скошенным крутой ретушью по брюшку концом – 1.

Микропластинка с выемками у проксимального конца – 1.

Острий 8. Острие подтреугольных очертаний в плане из пластины, у которой вертикальной среднефасеточной ретушью по спинке косо усечен один из краев, образуя точечный конец. Противоположный конец слабо выпуклый (скребковидный), оформлен крутой, почти вертикальной ретушью со спинки, поперечное сечение орудия подтреугольное. Острие из пластины, у которой проксимальный конец дугообразно срезан крутой ретушью по спинке – 1. Обломок острия из пластинки с притупленным вертикальной ретушью краем и дугообразным концом, приостренным двусторонней полукрутой по спинке и плоской по брюшку ретушью. Острие из пластины с косо усеченным вертикальной ретушью дистальным концом и скребковым лезвием на проксимальном, на одном из краев небольшая выемка (см. вклейку: с. 2, ил. 1: 19).

Еще в коллекции 5 горбатых острий (только 1 целое, остальные представлены в обломках, в том числе одно с «шипом»).

Целый экземпляр из пластинки, у которой один край оформлен вертикальной с брюшка и частично встречной ретушью, образующей в средней части орудия горбинку (тупой угол), основание срезано крутой ретушью по спинке.

Кроме каменных артефактов в коллекции верхнепалеолитического слоя имеется два изделия из кости: обломок острия и иголка. Иголка сохранилась почти целиком, прорезное ушко было сломано в древности. Сечение плоское, длина изделия 3,7 см.

Прямые аналогии каменному инвентарю из верхнепалеолитического слоя можно найти в материалах первого верхнепалеолитического слоя Губского навеса 1 (Амирханов, 1986. С. 46–51). Только материалы из Губского навеса 1 значительно беднее (всего 33 каменных орудия). Но основные технико-типологические характеристики каменного инвентаря совпадают полностью: расщепление направлено на получение пластинок и микропластинок, ядрища в подавляющем большинстве одноплощадочные призматические, во вторичной обработке преобладает крутая и вертикальная ретушь, при оформлении микролитов формирующая неровный край. В обоих коллекциях присутствуют такие специфические формы, как острия с горбатой спинкой, пластинки и микропластинки с притупленным краем и скошенным с брюшка или спинке концом. В Губском навесе 1 отсутствуют прямоугольники и пластинки со скребковидным окончанием, скребла, единичны резцы, что связано, вероятно, с бедностью коллекции и спецификой вскрытого участка.

Также целый ряд аналогичных форм есть в коллекции из раскопок Губский навес 7 (Сатанай), включая специфические формы: горбатые острия, микропластинки с притупленным краем и со скошенным концом, прямоугольники, микропластинки с притупленным краем и скребковидным окончанием. Но в целом разнообразие форм каменного инвентаря из Губского навеса 7 во много раз превосходит набор, полученный из раскопок верхнепалеолитического навеса Чыгай, что подтверждает предположения о смешанном характере коллекции Губского навеса 7.

За пределами Губского ущелья пока нет точных аналогий материалам из верхнепалеолитического слоя, но есть упоминание о находках в верхнепа-

леолитических слоях пещеры Мезмай пластинки с притупленным краем и скребковидным окончанием – слои 1-3, 1-А (Голованова, 2008. С. 83. Рис. 9: 11; 11: 13), а также пластинки с притупленным краем и двумя скребковидными концами (прямоугольник?) из слоя 1–4 (Голованова, 2008. С. 104. Рис. 10: 10).

Десквамационный горизонт, зафиксированный в навесе Чыгай (слой 12) и разделяющий верхнепалеолитический культурный слой, вероятнее всего связан с сейсмической активностью и может послужить стратиграфическим репером для синхронных памятников региона. Подобные горизонты обвалов отмечались и в навесе Сатанай (Амирханов, 1986), и в пещере Касожская. Л. В. Голованова связывает образование этого горизонта с ледниковым максимумом (Голованова, 2009. С. 83).

Коллекция изделий из кремня слоя 9 пока немногочисленна – 44 артефакта, но отличается от материалов из других слоев однородностью сырья (нет ни одного изделия из желтого кремня, все артефакты из местного кремня серых оттенков) и полным отсутствуем микропластинок (из слоя происходит всего 9 пластинок и 5 пластин); нуклеус 1 – торцевой – уплощенный с прямой нефасетированной площадкой, морфологически выраженных орудий 2: концевой скребок и пластинка с притупленным краем. Коллекция слоя 9 навеса Чыгай столь невыразительна, что до получения дополнительных материалов ее сложно как-либо интерпретировать. Отмеченные выше однородность сырья и отсутствие микропластинок может быть связано как с культурной спецификой, так и с особенностью вскрытого участка.

Большая часть коллекции из нижнего (второго) мезолитического слоя пещеры Двойная была получена лишь в ходе раскопок в 2011 г. и пока находится в стадии обработки, но уже на данный момент можно дать общие характеристики материалов. В качестве сырья использовался в основном местный коричневато-серый, а также белый и желтый различных оттенков кремень, есть единичные находки осколков и отщепов из обсидиана. В предыдущие годы раскопок к нижнему мезолитическому слою было отнесено около 700 предметов, но в 2011 г. коллекция пополнилась еще почти на 3000 находок. Расщепление, вероятно, происходило на месте (довольно большое количество сильно сработанных ядрищ и технологических сколов их подправки) и было направлено на получение пластинчатой заготовки (преобладают пластинки при наличии и пластин, и микропластинок). Нуклеусы одноплощадочные с гладкими скошенными площадками, торцевые и уплощенные. Один одноплощадочный вторичный нуклеус сделан из массивной пластины. Наличие двух конических нуклеусов в целом не противоречит общему контексту коллекции нижнего слоя, но не исключено, что они могли попасть и из вышележащего слоя. Скребки концевые на пластинах, один из которых дублированный (6) и отщепах (2) (см. вклейку: с. 3, ил. 2: 8–12). Скребло из первичного отщепа одно (см. вклейку: с. 3, ил. 2: 21). Резцов всего 4: 3 ретушный на пластинах и один угловой из отщепа (см. вклейку: с. 3, ил. 2: 18–20). Много выемчатых орудий, включая выемчато-зубчатые, из пластин (11) и отщепов (2) (см. вклейку: с. 3, ил. 2: 13–17). Микропластинок с притупленным краевой крутой ретушью краем 3. Пластинка с противолежащей крутой по спинке и полукрутой по брюшку ретушью по периметру 1. Группа острий разнообразна, но не образует устойчивых серий. Фрагмент острия из пластины с дугообразно притупленным краем 1. Острий типа граветт из пластинок 3 (1 целое и 2 фрагмента). Острие из пластины с естественным перообразным окончанием, у которой на проксимальном конце мелкой крутой краевой ретушью по спинке по одному краю и плоскими фасетками с брюшка выделен черешок, медиальная и дистальная части заготовки оставлены без вторичной обработки – 1. Острие из пластины с одним косоусеченным крутой ретушью по спинке краем и дугообразным основанием, оформленным полукрутой ретушью по брюшку, – 1.

Геометрические микролиты представлены симметричными трапециями с прямыми (1) и слабовогнутыми ближе к вершине краями (1); и трапеции с суженным ретушированным верхним основанием (3). Но абсолютно преобладают сегменты, ранее в коллекции представленные всего двумя экземплярами, но в 2011 г. их найдено более двух десятков.

В ансамбль второго мезолитического слоя был включен фрагмент кремневого «стержня» – пластины с усеченными вертикальной ретушью краями, формирующими полукруглое сечение орудия, но в коллекции верхнего мезолитического слоя была обнаружена другая часть этого же предмета – клювовидное в профиле острие с ретушированными вертикальной и крутой ретушью сходящимися краями. Без предварительного пространственного анализа сложно отнести это орудие к тому или иному культурному слою.

Изделия из кости единичны, обломки костяных острий и две подвески из зубов животных.

Из верхнего слоя происходит чуть более полутора тысяч предметов из камня. Сырьевая база не отличается от более ранних материалов. Среди нуклеусов преобладают подконические и конические ядрища с прямыми, подправленными ретушью площадками (5), а также найдено 2 одноплощадочных уплощенных нуклеуса для микропластинок. Появление таких ядрищ, вероятно, связано с развитием техники отжима.

Скребков 37, все концевые с дугообразным и дугообразным скошенным лезвием, на пластинах (5), один экземпляр с суженным лезвием, и отщепах (32),

Резцов всего 8, все на сломе или окончании пластин.

Выемчатых орудий 15 (13 из пластин и 2 из отщепов). Долотовидных орудий 7. Также в коллекции один обломок лезвия рубящего орудия.

Из верхнего мезолитического слоя происходит серия из 13 острий на микропластинках и пластинках со срезанным примерно под 45° концом, встречающихся только в верхнем слое. Острие из отщепа со сходящимися ретушированными полукрутой нерегулярной ретушью по спинке краями – 1. Обломок острия с дугообразно ретушированным краевой крутой ретушью одним краем – 1, три обломка острий из пластинок с одним притупленным краем. Обушковый нож на пластине 1. Еще в коллекции четыре фрагмента «стрежней» с клювовидным окончанием, один из которых упоминался выше.

Разнообразны формы пластинок с притупленным краем: пластинка с крутой краевой ретушью по спинке по периметру заготовки – 1; пять фрагментов пластинок с притупленным крутой ретушью краем; одна пластинка со скошенным ретушью концом и частично ретушированным краем; одна пластинка с притупленным полукрутой ретушью по брюшку краем и широкой выемкой на противоположном краю; один фрагмент пластинки с притупленными ретушью краями, образующими широкую неглубокую выемку с одной стороны и участок зубчато-выемчатого края – с другой.

Тронкированных пластин и микропластинок 3.

К геометрическим микролитам отнесено 23 изделия (см. вклейку: с. 4, ил. 3: 1–7, 12–20).

Пластинки с кососрезанным основанием и дугообразно затупленным крутой ретушью краем были интерпретированы нами как один из вариантов сегментов. Таких довольно низких слабо асимметричных сегментов 5. Единичны высокие симметричные сегменты 2.

Высоких трапеций со слабо вогнутыми сторонами и с суженным выпуклым ретушированным верхним основанием две. Еще две трапеции с прямым верхним основанием (в одном случае основание ретушировано). Высоких симметричных трапеций с прямыми концами 3. Из верхнего слоя происходит высокий равнобедренный треугольник, вероятнее всего, это случайная форма, которая может продолжить ряд высоких симметричных трапеций с суженным верхним основанием. Последняя группа трапеций представлена выразительной серией из семи экземпляров (см. вклейку: с. 4, ил. 3: 1–6), встречается только в верхнем слое. Это высокие симметричные трапеции со слабовогнутыми концами и с выемкой на верхнем основании (т. н. рогатые трапеции).

Кроме каменного инвентаря из верхнего слоя происходят два фрагмента костяных оправ с пазом для ножа (см. вклейку: с. 3, ил. 2: 1), две подвески из зубов животных и одна подвеска из галечки с отверстием (см. вклейку: с. 3, ил. 2: 2,3), роговой посредник.

Мезолитический слой 5 из навеса Чыгай крайне беден находками; на вскрытой площади зафиксировано всего 56 каменных артефактов: 32 отщепа, 2 пластины, 16 пластинок и 4 микропластинки, 1 торцевой одноплощадочный со скошенной нересетушированной площадкой нуклеус, 1 двойной резец из отщеп (на сломе заготовки и угловой). Но, на наш взгляд, усматривается явное сходство мезолитического 5 из навеса Чыгай по характеристикам структуры культурного слоя (окраска, особенности структуры и обилие раковин моллюсков Helix), а также по параметрам заготовок, типологической невыразительности материалов, с материалами слоя М1 из грота Сосруко (Бадер, Церетели, 1989. С. 100). По обилию раковин моллюсков Helix и общим технологическим характеристиками каменного инвентаря можно предположить, что временной разрыв между бытованием мезолитического слоя навеса Чыгай и верхнего мезолитического слоя пещеры Двойная в археологическом отношении был незначительным.

Таким образом, совершенно очевидно наличие как минимум двух культурных слоев эпохи мезолита в пещере Двойная, имеющих структурные особенности и различающихся по составу каменного инвентаря. Отсутствие каких-либо стерильных прослоек между слоями, сходство вмещающих отложений (коричневатая гумусированная (?) рыхлая супесь) разрешает предположить, что хронологический разрыв выявленных двух периодов обитания в пещере был не очень велик.

Ближайшие аналогии материалам культурных слоев пещеры Двойная находятся в коллекции из раскопок навеса Губский 7 (Сатанай), расположенного примерно в 2 км ниже по течению в этом же ущелье (Амирханов, 1986). Но в коллекции единого (?) культурного слоя навеса Сатанай можно отыскать аналогии формам как из верхнего культурного слоя пещеры Двойная, так и из нижнего, а также и из верхнепалеолитического слоя.

Как уже отмечалось ранее (Леонова, 2009 а), материалы верхнего культурного слоя пещеры Двойная находят прямые аналогии в памятниках Кабардино-Балкарии (навес Бадыноко), где зафиксированы культурные отложения, содержащие раковины моллюсков Helix и острия со скошенным концом, а также был обнаружен фрагмент костяной оправы с пазом для вкладышей (Деревянко и др., 2004).

«Рогатые» трапеции встречаются также в материалах слоя 3 стоянки Чох (мезолитический слой

D), один экземпляр есть в материалах мезолитического слоя Каменномостской пещеры, а также известны в нестратифицированных памятниках Северного и Восточного Прикаспия и довольно широко распространены в раннем неолите Средней Азии (Амирханов, 1987; Формозов, 1965; Виноградов, 1981; Археология Нижнего.., 2006).

Наметить хронологию рассмотренных материалов пока можно предварительно по данным палинологического анализа, приведенным выше, и радиоуглеродным датам, полученным для навеса Чыгай и памятников верхнего палеолита – мезолита Северо-Западного Кавказа и сведенным в таблицу.

Таблица

Памятник, слой	Радиокарбон. дата (не калиб.)	Материал	Лабораторный номер	Ссылка
Мезмайская, сл. 1А–3	28510 ± 850	Кость	AA-41855	Голованова, 2008. С. 82
Мезмайская, сл. 1А–1	19330 ± 90 20100 ± 90	Кость –»–	GrA-35437 GrA-35439	Голованова, 2008. С. 82
Касожская Гор. 4–6	20030 ± 650	Кость	LE-4988	Голованова, 2008. С. 82
Касожская Гор. 3	21200 ± 390	Кость	LE-4986	Голованова, 2008. С. 82
Мезмайская, сл. 1–4	16260 ± 100 21050-110/+120	Кость Кость	GIN-12901 GrA-25933	Голованова, 2008. С. 82
Мезмайская, сл. 1–3	12960 ± 60 13860 ± 70	Кость –»–	GrA-25965 GIN-12900	Голованова, 2008. С. 82
Мезмайская, сл. 1–2	12360 ± 60	Кость	GrA-35434	Голованова, 2008. С. 82
Сатанай (Губский н. 7)	11200±110	Кость лошади	Ki – 14280	Александровский и др., 2009
Чыгай, сл. 4, 6, 7	11060 ± 190	Раковины наземных моллюсков	ЛЕ – 8314 (IGSB – 1357)	Леонова, 2009 а
Касожская Гор. 1	10400 ± 340	Кость	LE-4987	Голованова, 2008. С. 82
Чыгай (Губский н. 5), сл. 4, 6	10545±120	Раковины наземных моллюсков	ЛЕ – 8314 (IGSB – 1356)	Леонова, 2009 а
Чыгай (Губский н. 5), сл. 4, 5, 6	10300±130	Раковины наземных моллюсков	ЛЕ – 8313 (IGSB – 1358)	Леонова, 2009 а
Чыгай, сл. 5	9600±100	Кость	Ki – 13465	Леонова, 2008. С. 69
Двойная, шурф 1, гл. 150–170	10240±250	Уголь	Ki – 14486	Отбор образцов А. Л. Александровского, публикуется впервые
Двойная, шурф 1, гл. 120–130	8880 ± 60	Кость	Ki – 14485	Александровский иссл. 2007 г. Отбор образцов А. Л. Александровского, публикуется впервые
Двойная шурф 1, гл. 105–110	8330 ± 70	Кость	Ki –14484	Отбор образцов А. Л. Александровского, публикуется впервые
Сатанай (Губский н. 7), Г. 2	7780 ± 200	Кость	LE-4982	Голованова, 2008. С. 82
Сатанай (Губский н. 7), Г. 1	7950 ± 140	Кость	LE-4981	Голованова, 2008. С. 82

Таким образом, материалы навеса Чыгай и пещеры Двойная позволяют проследить историю заселения исследуемого микрорегиона от поздней поры верхнего палеолита до мезолита. На протяжении этого отрезка времени не прослеживается резкой смены технологических традиций расщепления кремня, которое направлено на получение пластинчатой заготовки (во всех рассмотренных индустриях преобладают пластинки, есть микропластинки и пластины), но при этом нельзя про-

следить плавного гомогенного развития индустрии на протяжении всего периода. В позднем мезолитическом слое пещеры Двойная преобладают ядрища для отжима пластинок и микропластинок и соответствующие им заготовки, которые полностью отсутствуют в верхнепалеолитическом слое навеса Чыгай. В коллекции из верхнепалеолитического слоя навеса Чыгай нет ни одной формы геометрических микролитов, характерных для мезолитических слоев (сегментов, трапеций), и, наоборот, специфические формы (горбатые острия, микропластинки с скребковидным окончанием, микропластинки с притупленной спинкой и скошенным концом), присущие верхнепалеолитической индустрии, отсутствуют в мезолитических ансамблях. «Самобытность» рассмотренным коллекциям придает полное отсутствие асимметричных вытянутых треугольников, широко распространенных в верхнепалеолитических и мезолитических памятниках Закавказья, а также присутствующих в материалах мезолитических слоев стоянки Чох на Северном Кавказе (Бадер, Церетели, 1989).

Направление развития (или смены) мезолитических индустрий от более ранних без трапеций и с большим количеством сегментов к более поздним, где среди геометрических микролитов доминируют трапеции, совпадает и с направлением развития или сменой мезолитических индустрий горного Крыма (Бибиков и др., 1994).

Но ближайшие аналогии материалам мезолитических ансамблей из верхнего слоя пещеры Двойная и 5-го слоя навеса Чыгай находятся в памятниках Кабардино-Балкарии (навесы Сосруко и Бадыноко), а восточные связи древних насельников (как в эпоху мезолита, так и в верхнепалеолитическое время) подтверждаются и находками изделий из обсидиана, который широко распространен в Баксанском ущелье.

Список литературы

Александровский А. Л., Александровская Е. И. Новые естественно-научные исследования археологических памятников в пещерах Губского ущелья (Кубанский Кавказ) // Адаптация культур палеолита–энеолита к изменениям природной среды на Северо-Западном Кавказе. СПб., 2009.

Амирханов Х. А. Верхний палеолит Прикубанья. М., 1986.

Амирханов Х. А. Чохское поселение. М., 1987.

Амирханов Х. А. К проблеме эволюции и периодизации верхнего палеолита Западного Кавказа // Российская археология. 1994. № 4.

Амирханов Х. А. Верхний палеолит Прикубанья. М., 1986.

Археология Нижнего Поволжья. Т. 1. Каменный век. Волгоградское научное издательство, 2006.

Бадер Н. О., Церетели Л. Д. Мезолит Кавказа // Мезолит СССР. М., 1989.

Беляева Е. В., Александровский А. Л., Леонова Е. В. Новые исследования в бассейне р. Губс (Кубанский Кавказ) // АО. 2006. М., 2009.

Беляева Е. В., Леонова Е. В., Любин В. П., Александровский А. Л., Александровская Е. И. Палеоэкологическая динамика и обитание человека в Губском микрорегионе (Кубанский Кавказ) в среднем палеолите–мезолите // Адаптация культур палеолита–энеолита к изменениям природной среды на Северо-Западном Кавказе. СПб., 2009.

Бибиков С. Н., Станко В. Н., Коен В. Ю. Финальный палеолит и мезолит горного Крыма. Одесса, 1994.

Блажко А. В. Раскопки верхнепалеолитической стоянки в Короткой пещере на Северо-Западном Кавказе // АО. М., 2006.

Голованова Л. В., Дороничев В. Б. Новые данные по позднему палеолиту Мезмайской пещеры // Четвертая Кубанская археологическая конференция. Краснодар, 2005.

Голованова Л. В. Об одной важной черте верхнего палеолита Кавказа // Наследие Кубани. Вып. 1. Краснодар, 2008.

Голованова Л. В. Динамика изменения среды и культуры в позднем палеолите Северо-Западного Кавказа // Пятая Кубанская археологическая конференция. Краснодар, 2009.

Деревянко А. П., Зенин В. П., Анойкин А. А., Рыбин Е. П., Керефов Б. М., Виндугов Х. Х. Бадыноко – новое многослойное местонахождение каменного века в Кабардино-Балкарии // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири. Т. Х. Ч. 1 сопредельных территорий. Новосибирск, 2004. С. 70–76.

Зенин В. Н., Орлова Л. А. Каменный век Баксанского ущелья (хронологический аспект) // XXIV Крупновские чтения. Нальчик, 2006.

Леонова Е. В. Исследования верхнего палеолита и мезолита Северо-Западного Кавказа // Труды II (XVIII) Всероссийского археологического съезда в Суздале. Т. 1. М., 2008.

Леонова Е. В. Новые исследования памятников верхнего палеолита–мезолита в Губском ущелье (предварительные результаты) // Адаптация культур палеолита–энеолита к изменениям природной среды на Северо-Западном Кавказе. СПб., 2009.

Леонова Е. В. К вопросу о хронологии и периодизации позднеплейстоценовых–раннеголоценовых памятников Северно-Западного Кавказа (по материалам последних исследований в Губском ущелье) // РА. № 4. 2009 а.

Леонова Е. В., Александрова О. И. К характеристике мезолита Северо-Западного Кавказа (по материалам пещеры Двойная) // КСИА. В печати.

Любин В. П. Палеолит Кавказа и Северной Азии // Палеолит мира. Л., 1989.

Формозов А. А. Обзор исследований мезолитических стоянок на Кавказе // СА. № 4. 1963.

Формозов А. А. Каменный век и энеолит Прикубанья. М., 1965.

Примечания

[1] Заключение Спиридоновой Е. А., Алешинской А. С., Кочановой М. Д. по результатам палинологических исследований по разрезу на памятнике навес Чыгай.

[2] Слои 8 и 9 были выявлены в ходе полевых исследований 2011 г., на большей части площади раскоп был законсервирован на уровне кровли 9-го литологического слоя.

[3] Слой 13 исследован пока на площади около 4 кв. м, а на уровень слоя 14 раскоп выведен только на площади около 1 кв. м, раскоп законсервирован.

Л. В. Лбова

ФОРМЫ ЗНАКОВОГО ПОВЕДЕНИЯ В КОМПЛЕКСАХ РАННЕЙ СТАДИИ ВЕРХНЕГО ПАЛЕОЛИТА СИБИРИ (ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ)

Введение

Изобразительная деятельность как форма знакового поведения и «палеолитическое искусство» неотделимы от первобытного сознания и могут быть правильно поняты в рамках всего социокультурного контекста в связи с другими сторонами жизни древнейшего общества, с его мировоззрением как единой и цельной системой. Говоря о синкретизме знаковой деятельности в целом, мы имеем в виду нерасчлененность в нем основных форм творчества – изобразительного искусства, религиозных представлений, театра, музыки, танца, а также начала науки. Важно то, что все эти формы знакового поведения тесно связаны с многогранной жизнью людей, способами передачи информации, обрядами посвящения, продуцирующими обрядами, различными ритуалами, жизнью мифологических героев и их выражением через систему знаков, в том числе и материализованных в предметно-образный ряд. Именно благодаря этому качеству изобразительная деятельность в различных своих проявлениях на ранних этапах истории человечества могла успешно выполнять различные социальные функции. Украшения, ритуальные маски, статуэтки, персональная орнаментация и наскальные рисунки и другие изобразительные формы и художественные изделия, используемые при совершении обрядов посвящения, так же как игры, танцы, театрализованные представления, составляют «одну из связей, соединяющих различные поколения и служащих именно для передачи культурных приобретений из рода в род» (Плеханов, 1958. С. 346). Изобразительная деятельность, сохранившаяся в археологических источниках каменного века, рассматривается как продукт социальной и биологической эволюции (Шер, 2000. С. 84). Но необходимо отметить, что нейрофизиологические предпосылки знакового поведения сформировались задолго до начала верхнего палеолита, и, возможно, знаковое поведение было присуще не только человеку современного физического типа (Вишняцкий, 2005. С. 5). Географическое распространение и хронология древнейших свидетельств символической деятельности предполагает полицентрический генезис, при этом не исключено, что характер, формы и функции знакового поведения могли не совпадать. Ряд исследователей считают, что главной причиной символизма на различных территориях и в разное время могла быть именно необходимость выработки специальных способов хранения и передачи культурной информации; в дальнейшем формы символизма эволюционировали, меняли функции, утрачивая при этом утилитарный смысл (Mithen, 1996. С. 256–264; Вишняцкий, 2005. С. 52). Именно такая парадигма лежит в основе современных исследований феномена как «палеолитического искусства», так и иных форм знаковой деятельности.

В археологической науке накоплен значительный опыт описания, интерпретации, датирования, классификации древнейших проявлений первобытной культуры и творчества. Хорошо известны русскоязычному читателю фундаментальные работы отечественных (З. А. Абрамовой, А. Д. Столяра, Б. А. Фролова, А. Я. Шера, В. Б. Мириманова и др.) и зарубежных ученых (А. Брейля, Т. де Шардена, Э. Тэйлора, Ж. Гардена, К. Леви-Стросса, А. Леруа-Гурана, М. А. Маршака, Р. Беднарика, П. Бана, Ж. Клотта и др.).

Исследования в этой области в основном были сосредоточены в Западной Европе, которая дала более 370 местонахождений выдающихся памятников палеолитического искусства, обнаруженных в пещерах, гротах и на открытых стоянках. Исследования последних десятилетий позволяют

предполагать, что признаки знакового поведения и искусство палеолита в мире не могут быть однообразными. Появились свидетельства более древнего искусства по возрасту, чем европейское (Беднарик, 2004. С. 35–45; D'Errico et all., 2003. P. 1–70). В отечественной науке анализу последних событий, связанных с новыми концепциями и открытиями в области первобытного искусства, посвящен ряд ключевых статей и монографий. В них обозначены основные проблемы и подходы сегодняшней науки в исследовании первобытного искусства и культуры (Шер, 2000; 2006; Шер и др., 2004; Вишняцкий, 2005; Куценков, 2007; Лбова, Табарев, 2009; и др.). В ходе реализации проекта был получен ряд данных, позволяющих представить материалы сибирского палеолита в качестве устойчивых маркеров знакового поведения с возрастными характеристиками в пределах 35–40 тыс. л. н., а возможно, и ранее.

Материалы и факты

Проблема генезиса и ранних форм символизма как поведенческого комплекса активно обсуждается в рамках дискуссии становления культуры человека современного физического типа. В рамках данной дискуссии П. Мелларсом был предложен список технологических и культурных особенностей, свидетельствующий о наличии у их носителей признаков современного поведения. Данная концепция «списка» основывалась в первую очередь на восприятии как эталонных, имевшихся на тот момент материалов верхнего палеолита Европы. Автором осуществлена попытка увязать технологические и культурные изменения в европейских культурах верхнего палеолита с прибытием на континент анатомически современных людей, обладающих более совершенными когнитивными способностями в период 50–30 тыс. л. н. Среди этого «списка черт» важное место занимали различные формы символической активности, включающие язык, нательные украшения, предметы персональной орнаментации и формы искусства (Mellars, 2005. P. 13).

За последнее время накоплено большое количество данных, достаточно аргументированно показывающих, что переход к комплексу современного поведения – явление куда более сложное, нежели доминировавший на протяжении 1990-х гг. подход в рамках концепции «списка черт». Переход к верхнему палеолиту и новым поведенческим стратегиям происходил на разных территориях и с различной динамикой (McBrearty, Brooks, 2000. P. 531; Mellars, 2005. P. 12–15; Вишняцкий, 2006. С. 10).

Необходимо отметить, что основные признаки знакового поведения (и как комплекса, и как отдельных его элементов), свойственного человеку современного физического типа в археологических коллекциях и культурных горизонтах ранней стадии верхнего палеолита Сибири, выявлены на ряде хорошо изученных стратифицированных археологических местонахождений. Знаковое (символическое, ритуальное, неутилитарное) поведение, свойственное ранней форме Homo sapiens sapiens, довольно устойчиво выглядит в археологическом контексте начала верхнего палеолита Северной Евразии (Деревянко, 2011. С. 19–21; Lbova, 2010. P. 9–13).

Интерес представляет как археологический контекст находок (горизонты обитания, структуры культурного слоя, особенности размещения и т. д.), их хронологическая позиция, так и сами предметы, их морфологическая, технологическая, семантическая характеристика. Проблема исследования форм древнейшей знаковой деятельности человечества, появление и формирование культурных архетипов на этапе начального этапа верхнего палеолита в Сибири рассматривается нами на основе анализа технологии и морфологии изделий, отражающих символическую деятельность, присутствия музыкальных инструментов и красящих веществ, свидетельств ритуальных действий, что составляет основу парадигмы изучения и интерпретации предлагаемых материалов.

За последние годы на территории Сибири получена представительная серия предметов, свидетельствующих о существовании символической, знаковой деятельности на ранних этапах формирования культуры человека современного физического типа. Обозначенные комплексы в технологическом отношении устойчиво ассоциируются с пластинчатыми индустриями начального этапа верхнего палеолита. На сегодня коллекцию изделий составляют более 150 предметов из кости, скорлупы, камня, раковин, бивня. Артефакты обнаружены при раскопках стратифицированных комплексов Монголии (раскопки С. А. Гладышева, Ж. Жобера), Забайкалья (раскопки М. В. Константинова, Л. В. Лбовой, В. И. Ташака), Приангарья (раскопки Г. И. Медведева, Н. И. Дроздова и др.), Алтая (раскопки А. П. Деревянко, В. Т. Петрина, М. В. Шунькова, А. Н. Зенина и др.). Большая часть материалов не опубликована, что значительно затрудняет дальнейшие работы по классификации, интерпретации и поиску аналогий. Обозначенные комплексы датированы в пределах 28–30 – 40–50 тыс. л. н., в технологическом отношении характеризуют начальный этап верхнего палеолита и ассоциируются (за исключением одного случая) с культурой человека современного физического типа (см. таблицу).

Таблица

Территория	Памятник, слой	Датировка	Материалы	Публикация
Монголия	Толбор–4 к.г. 5	>41 тыс. л. н.	Бусины (скорлупа яиц страуса)	Не опубликовано
	Толбор–15 к.г. 7	29–30 тыс. л. н.	Бусины (скорлупа яиц страуса)	Не опубликовано
	Доролж–1 (Эгийн-Гол)	30–32 тыс. л. н.	Бусины (скорлупа яиц страуса)	Jaubert J. et al., 2004
Забайкалье	Подзвонкая	30–44 тыс. л. н.	Бусины, кольца	Ташак, 2009
	Хотык (уровень 2, 3)	28–38 тыс. л. н.	Бусины, подвески, кольца (камень, кость, раковины моллюска)	Лбова, 2000
	Каменка (А)	30–40 тыс. л. н.	Бусины, пронизки, фрагмент диадемы, изделия (камень, кость, скорлупа яиц страуса, бивень)	Лбова, 2000
	Варварина Гора (уровень 2)	29–35 тыс. л. н.	Бусины, подвеска (камень)	Окладников, 1977; Лбова, 2000
	Толбага	26–35 тыс. л. н.	Подвески, скульптура (кость)	Константинов, 1994
Приангарье	Переселенческий пункт I (стоянка Герасимова)	25–35 тыс. л. н.	Изделия (камень)	Когай С.А. и др., 2007
	Военный госпиталь	22–30 тыс. л. н.	Бусины, пронизки, изделия (кость, бивень)	Черский, 1872
	Щапово		Подвеска	Козырев, Слагода, 2008
	Усть-Кова	27–32 тыс. л. н.	Бусины, скульптура (бивень)	Васильевский, Дроздов, 1983
Алтай	Денисова пещера, слой 11	29–48 тыс. л. н.	Бусины, пронизки, подвески, браслет, изделия (камень, кость, зубы)	Деревянко, Шуньков, Волков, 2008; Деревянко, 2009
	Пещера Страшная, слой 3 (гор. 2)	27–30 тыс. л. н.	Подвеска (кость)	Зенин, 2007
	Кара-Бом, уровень 5	40–44 тыс. л. н.	Подвески (кость)	Деревянко, Рыбин, 2003
	Усть-Каракол, слой 9	29–34 тыс. л. н.	Подвеска (камень)	Деревянко, Рыбин, 2003
	Малояломанская пещера	30–34 тыс. л. н.	Подвеска (зуб)	Деревянко, Рыбин, 2003
	Усть-Канская пещера (привходовая площадка)	?	Подвеска (кость)	Руденко, 1960
Кузнецкий Алатау	Малая Сыя	25–35 тыс. л. н.	Бусины, подвески, изделия, скульптура (камень, кость, рог)	Ларичев, 1978; Холюшкин, 2009

Предварительная классификация позволяет разделить всю коллекцию изделий по функциональному признаку на три группы: нательные украшения со сверлением (бусины, подвески, кольца, браслеты, диадемы), предметы неизвестного назначения (простых и сложных форм, орнаментированные и неорнаментированные) и скульптура. По технико-морфологическим характеристикам можно выделить:

– простые плоские формы (круглые или квадратные бусины или их заготовки из бивня, скорлупы яиц страуса, камня, дентина, моллюсков);

– простые объемные формы (сверленые небольшие гальки талька, стеатита; сверленые зубы, кости, в т. ч. трубчатые);

– сложные (фигурные) плоские изделия, неорнаментированные и орнаментированные (из камня, кости);

– сложные объемные изделия (украшения, предметы фигуративного творчества, скульптура), неорнаментированные и орнаментированные (камень, кость, бивень).

Можно обозначить подобную группу изделий в качестве маркеров личного статуса, групповой или

индивидуальной самоидентификации, предметов культовых действий, украшений, способов передачи информации, музыкальных инструментов и т. п. Изобразительные символы могли выступать как средство социальной коммуникации, имеющие адаптивное значение и играющие определенную роль в жизнеобеспечении и структуре верхнепалеолитических сообществ (Barton et al., 1994. P. 185–207; Mellars, 2005. P. 20–27; Лбова, Ванхаерен, 2011. С. 36–38). В дальнейшем, с развитием видов знакового творчества, вероятно, происходило и изменение основной функции предметов; традиционные формы могли утрачивать первичное значение и становились элементами иной культурной (знаковой) системы. В любом случае необходимость выработки специальных вспомогательных способов хранения и передачи культурной информации древним человеком является основным элементом в распространении поведенческого комплекса.

Гравировка как вид декорирования отмечается в археологических материалах еще в ашельскую и мустьерскую эпоху. Обсуждение хронологии и характера этих меток, выемок, линий, технология нанесения и прочее – отдельная тема. В нашем случае для описания предметов употребляется термин «орнаментация», подчеркивая тем самым определенную, повторяющуюся организацию простого элемента (линии, насечки, нарезки, выемки). Из последних открытий хотелось бы отметить сенсационные результаты исследований группы Университета Бордо-1 (Франция) под руководством П. Ж. Тиксиера, которой представлены уникальные материалы из пещеры Дипклоф (Южная Африка) древнейших символических изображений (орнамента) в виде параллельных и скрещенных линий, вырезанных на скорлупе яиц страуса. Последние использовались как емкости для воды. Всего найдено 270 фрагментов от 25 яиц. Находки происходят из слоев, датированных около 60 тыс. л. н. (TL и OSL), и ассоциируются с деятельностью человека современного физического типа. Подобные находки известны и в более ранних комплексах пещеры Бломбос, датируемых около 75 тыс. л. н. в Южной Африке, что позволяет ставить вопрос о более раннем возрасте графической традиции, чем предполагалось ранее (Texier et all., 2010. P. 7621–7622).

Нужно отметить, орнаментация изделий начальной стадии верхнего палеолита – явление довольно редкое. Явно выраженная орнаментация встречается в материалах комплексов Малая Сыя (Холюшкин, 2009. С. 137–145), Подзвонкая (Ташак, 2009. С. 50–62), Хотык, уровень 2 (Лбова, Волков, 2010. С. 57–67), Переселенческий пункт-1 (Герасимова). В этих случаях зафиксирован довольно простой вариант орнамента – регулярные насечки, радиально оформляющие тело или элементы изделия (плоские и объемные варианты). Элементы декора и морфология изделий предполагает и особый интерес ко всему культурному комплексу этих памятников. Необходимо отметить технологическую устойчивость декорирования предметов, законченность композиции и формы в целом. Выявленные элементы орнамента и сами предметы находят аналогии с элементами морфологически и хронологически близких изделий из белемнита в Костенках-17 на Русской равнине; Миток Малул Галбен в Румынии (Королева, 2011. С. 39).

Рассматривая орнамент как особый вид искусства, можно предположить, что он является более выразительным, четким и часто встречаемым способом выражать абстракции на предметах следующей, классической стадии верхнего палеолита. Искусствоведы считают, что изобразительные элементы, играющие декоративную роль, геометрические знаки, орнамент, выражающие чувство ритма, симметрии, имеют связь с проявлениями ритма и симметрии в природе, с положительной реакцией человека на правильную форму (Филиппов, 2004).

Дальнейшее развитие традиции декорирования мы наблюдаем в более позднее время – в эпоху классической стадии верхнего палеолита. Узоры, нанесенные на костяные изделия из сибирских стоянок [Мальта, стоянки Островской (Талицкого), Ачинской стоянки и др.] характеризуют разнообразие и вариабельность геометрических форм: спирали, замкнутые круги на плоскости выполнены ямочным орнаментом и кавернами; спиральные линии, опоясывающие стержни, волнообразные и параллельные прямые, выполненные тонкой сплошной линией. Многочисленны композиции из рядов неглубоких круглых ямок-точек, регулярных ритмичных нарезок, прямых и косых линий, шевронов, зигзагов, заполняющих определенные плоскости и пояски. Организованный орнамент украшает изделия из кости и бивня, бляхи и пластины, лопаточки и шилья, а также так называемые жезлы начальников ряда предметов классической стадии верхнего палеолита Евразии. Эта реакция, отраженная в размеренном чередовании элементов орнамента, в графических и пластических символах, выражающих в виде симметрии или повтора равновесие, постоянное соотношение частей, соотносима с идеей порядка, стабильности и представляет собой этап на пути к осознанию понятия закономерности.

Категорию скульптурных изображений раннего этапа верхнего палеолита составляют пока немногочисленные находки. Древнейшим скульптурным антропоморфным изображением палеолита на сегодня признаны антропоморфные статуэтки из позднеашельского горизонта Берехат-Рам в Израиле (возраст более 230 тыс. л. н.) и Тан-Тан в Марокко, происходящая из среднеашельского ком-

плекса. Наиболее ранней бесспорной скульптурой раннеориньякской эпохи являются находки в Швабии (Германия): «Венера» из Хохле-Фельс, зооаморфная скульптура из Хохленстейн-Стадель, Гейсенклестер и Вогельхерда; «Венера» из Кремс-Рехберг (Австрия) с возрастом 30–35 тыс. л. н. (Pettitt, 2008. P. 908–917).

В сибирских материалах образцы скульптурных форм довольно редки, и их датировка крайне проблематична. На сегодня известно всего несколько предметов: уникальная находка изображения мамонта с характерной художественной трактовкой тела «громоздкого и неуклюжего существа» в нижнем комплексе Усть-Ковы с датами от 28 до 32 тыс. л. н.; скульптура головы медведя, выполненная на отростке шейного позвонка шерстистого носорога, с ярко выраженной индивидуальностью: особый колорит медвежьей морде придает характерная нижняя губа и проработанный участок носа, обнаруженной на поселении Толбага в Западном Забайкалье, в слое с датами 35–25 тыс. л. н.; скульптура черепахи из темного кремнистого сланца, обнаруженная в жилищной конструкции, сопровождающаяся подвесками из агальматолита и следами разнообразной краски, а также небесспорные скульптуры из камня и рога из Малой Сыи (возраст 33–35 тыс. л. н.).

В более поздних сибирских комплексах классического и финального палеолита скульптура из бивня, камня, кости, глины составляет довольно солидную коллекцию антропоморфных, зооморфных, орнитоморфных, ихтиоморфных изображений (Мальта, Буреть, Усть-Кова, Новая Сыда, Майна, Мухор-Тала, Устиновка-1 и др.).

Выделение красящего вещества в качестве компонента знаковой деятельности на сегодня обсуждается относительно материалов ашельского времени. Применение пигмента восходит к эпохе 800 тыс. л. н. и считается вполне обычным ко времени 300 тыс. л. н. на трех основных континентах (Беднарик, 2004. С. 35–45). Следы пигмента и артефакты со следами использования (шарики охры, «мелки» из гематита, кусочки минерала со следами истертости, следы охры на предметах и т. п.) отмечены во многих культурных слоях раннего верхнего палеолита Сибири (Кара-Бом, Малояломанская пещера, Подзвонкая, Варварина Гора и др.) (Деревянко, Рыбин, 2003. С. 27–50). Нужно отметить, что применение различных красок (красной, черной, белой, зеленой, желтой) отмечается исследователями как компонент культурного слоя, так и в качестве следов на артефактах (Хотык, Каменка, Малая Сыя).

Музыкальная деятельность является одной из важных составляющих знакового поведения, характеризующего комплекс культуры и поведения человека современного физического типа. Открытие серии костяных флейт и свистков в раннеориньякских комплексах Европы (в Бельгии, Франции, Германии, Австрии), возможное присутствие и более сложных инструментов указывают на существование устойчивых музыкальных традиций уже на рубеже 40 тыс. л. н. В общей сложности количество находок в Евразии, интерпретируемых как музыкальные инструменты, в первую очередь флейты и/или свистки, ударные инструменты, трещотки, идиофоны и т. п., составляет более 230 ед. (Morley, 2003. P. 7).

В археологических коллекциях, датированных ранним этапом верхнего палеолита на территории Сибири, находки таких инструментов являются уникальными. При раскопках многослойного комплекса Хотык в западном Забайкалье (3-й уровень, возраст комплекса 30–38 тыс. л. н.) нами был обнаружен фрагмент изделия, интерпретируемого как фрагмент свистковой флейты, находящего полные аналогии в европейских раннеориньякских комплексах музыкальных инструментов (Лбова, Кожевникова, Волков, 2010). В других забайкальских опорных местонахождениях – Каменка-А и Подзвонкая (даты 35–45 тыс. л. н.) – были обнаружены находки, квалифицируемые простейшие аэрофоны (свистки и их фрагменты) (Лбова и др., 2010. С. 124–131; Кожевникова и др., 2011. С. 155–161).

Парциальные погребения животных и иные свидетельства ритуальной активности человека на ранней стадии верхнего палеолита – явление довольно распространенное и хорошо изучено на европейских материалах. Для сибирской территории – тема новая и предполагает детальную ревизию планиграфических ситуаций раскопанных комплексов, что является задачей довольно сложной. В качестве примера можно привести ситуацию, отмеченную в культурном горизонте 3 многослойного комплекса Хотык в Западном Забайкалье (Лбова, 2008. С. 64–66). В центральной зоне раскопа было обнаружено скопление костей, в котором планиграфически четко читались конечности лошади, установленные вертикально копытами вниз, позвоночный столб, на который был уложен череп лошади. Скопление сопровождалось пятнами черного, белого, розового, зеленого, желтого цветов, большим количеством гематитовой слюдки, обычной слюды и дымчатого кварца. Среди предметов, обнаруженных в скоплении, выделены остроконечники (целые и сломанные), скребла, нуклеусы, предметы неутилитарного назначения (подвески, бусины, кольца из камня). Особый интерес вызывает концентрация экзотического сырья – кварца, в том числе и раух-топаза, а также красной, желтой и зеленой яшмы. Восточнее в 2 м от этой зоны раскопом была выявлена иная оригинальная ситуация, которая может быть

обозначена как «парциальное погребение». В центральной зоне раскопа обнаружено намеренное захоронение в кладке из небольших плит ноги (или костей–?) носорога с засыпкой охрой, сопровождающееся изделиями из цветной яшмы, кварца, изделиями из кости и бусинами. Нижняя конечность (бедренная и берцовые кости) изначально была уложена на довольно большую горизонтальную плиту и впоследствии обложена небольшими плитками по окружности. Рядом, в 0,5 м восточнее, обнаружена лопатка бизона с вырезанными «женскими знаками». В нашем случае очевиден результат ритуального поведения, возможно, связанного с продуцирующими обрядами.

Интерпретационные построения выявленного планиграфического сюжета, на наш взгляд, предварительно могут укладываться в рамках обрядовой практики на уровне реконструкции обрядов продуцирующего или посвятительного цикла. Предполагается, что обряды продуцирующего и посвятительного цикла представляют собой единый первообряд, реконструируемый на уровне гипотезы для объектов палеолитического возраста. Практически все известные в этнографии продуцирующие обряды имеют компоненты использования красной краски, или крови, посещение особых сакральных мест, имитацию животных или растений (использование костей, фигур, рисунков, символов и т. п.). Продуцирующие обряды и культы по своему характеру признаны как наиболее архаичные и направлены на природу – источник и основу существования человека (Лбова, 2008. С. 66).

Заключение

В первобытном, как и в традиционном, обществе художественное творчество не преследует личных целей. Искусство, точно так же как религия, обряд, является выражением коллективного начала, служит целям всего коллектива в целом. Наряду с другими формами культуры оно является воплощением и выражением общих, устоявшихся представлений данного социума и выполняет идеологическую функцию. Встроенность изобразительной и иной художественной деятельности в синкретический первобытный комплекс означает невычлененность концепции, соответствующей этому виду деятельности, о чем, в частности, свидетельствует отсутствие в языках многих этносов специального термина для обозначения искусства. В первобытном обществе, так же как и в традиционном обществе, изобразительная деятельность переплетается со всеми иными аспектами культуры, в том числе с мифологией, религией, обрядом. Она существует с ними в нерасторжимом единстве, образуя то, что называется первобытным синкретическим комплексом.

Последние открытия в Африке представляют очень древние даты возникновения скульптуры и графических традиций, но означает ли это время зарождения портативного искусства или будет предложен иной термин, адекватно отражающий наше представление о форме знакового поведения?

Сбор и анализ новых данных, определения дефиниций поставит под сомнение различные ассоциации, связанные с портативным, мобильным искусством и расширит наши знания о доисторических обществах. Предполагается, что предметы портативного искусства (изобразительной деятельности) могут стать одними из самых информационных категорий артефактов. При этом важен полный археологический контекст находки. Это в равной степени касается идентификации культурных групп и сетей обмена (объекты, методы, идеи, концепции) и может оказаться уникальным инструментом для создания точной общей хронологии и периодизации. Сибирские материалы начальной стадии верхнего палеолита вполне корректно выглядят в стадиальном и территориальном контексте. В целом артефакты демонстрируют наличие развитого в технологическом и типологическом отношениях древнейшего в Евразии комплекса предметов с устоявшейся системой изготовления и обработки, выраженного в стилистически выдержанных сериях изделий. Комплексы нательных украшений, включающих сверленые клыки, когти, кости животных, изделия из камня (подвески, бусины, кольца), антропоморфные или зооморфные предметы, примитивные музыкальные инструменты (свистки, свистковые флейты, идеофоны и т. д.), парциальные или целые погребения животных, характеризуют довольно ранний этап становления знаковой культуры (символического поведения) ранней формы человека современного физического типа практически одновременно или даже чуть раньше с процессами, происходящими на территории Европы.

Современное состояние изученности древнейших форм искусства позволяет направить усилия специалистов на поиск и формирование новых моделей интерпретации и изучения искусства первобытности на основе знакомства с новыми фактами, определение дефиниций и иных терминов палеоискусства, тафономии и хронологии, регионального распределения фактов и доказательств присутствия древнейших форм творчества на разных континентах, уточнение традиций и стилей в искусстве палеолита, переоценку явления как глобального, общемирового и общечеловеческого. Выражаем надежду, что комплексные интеграционные исследования археологов, искусствоведов, этнологов, антропологов, биологов, психологов, религиоведов и философов, специалистов естественно-научного профиля в скором будущем раскроют механизмы

появления первых абстракций, их символическое значение и историко-социальный смысл, генетические истоки творчества и его природу.

Список литературы

Barton C. M., Clark G. A., Cohen A. E. Art as information explaining Upper Palaeolithic art in Western Europe // World Archaeology. Vol. 26. N 2. 1994. P. 185–207.

D'Errico F. C. Henshilwood, Lawson G., et al. Archaeological evidence for the origins of language, symbolism and music: an alternative multidisciplinary perspective. Journal of World Prehistory. 2003. № 17. P. 1–70.

Jaubert J., Bertran P., Fontugne M., Jarry M., Lacombe M., Leroyer S., Marmet C., Taborin E., Tsongbaatar Y. Le Paléolithique supérieur ancien de Mongolie Dőrőlj-1 (Egiin-Gol): Analogies avec les données de l'Altai et deSibérie.Oxford: Archaeopress, 2004. P. 225–241.

Lbova L. Evidence of the Modern Human Behavior in the Baikal zone during Early Upper Paleolithic period // Bulletin of the Indo-Pacific Prehistory Association. Vol. 30 (2010). Unversity of Washington. P. 9–13.

McBrearty S., Brooks A. S. The revolution that wasn't: A new interpretation of the origin of modern human behavior // Journal of Human Evolution. 2000. Vol. 39. P. 453–563.

Mellars P. The Impossible Coincidence A Single – Species model for the Origins on Modern Human Behavior in Europe // Evolutionary Antropology. 2005. № 14. P. 12–27.

Mithen S. The Prehistory of the Mind: a search for the origins of art, religion, and science. London: Thames and Hudson, 1996. 357 p.

Morley I. The evolutionary origins and archaeology of music // Darwin College Research Report DCRR-002. Cambridge: Cambridge University, 2003. 277 p.

Pettitt P. Art and the Middle-to-Upper Paleolithic transition in Europe: Comments on the archaeological arguments for an early Upper Paleolithic antiquity of the Grotte Chauvet art // Journal of Human Evolution. № 55 (2008). P. 908–917.

Texier P. J., Porraz G., Parkington J., Rigaud J. P., Poggenpoel C., Miller C., Tribolo C., Cartwright C., Coudenneau A., Klein R., Steele T., Verna C. A Howiesons Poort tradition of engraving ostrich eggshell containers dated to 60,000 years ago at Diepkloof Rock Shelter, South Africa. Proceedings of the National Academy of Science USA. 2010. April, 27. № 107 (17). P. 7621–7622.

Беднарик Р. Интерпретация данных о происхождении искусства // Археология, этнография и антропология Евразии. № 4 (20). 2004. С. 35–47.

Вишняцкий Л. Б. Информационный взрыв и изобразительная деятельность // Археология, этнография и антропология Евразии. № 1 (21). 2005. С. 51–54.

Вишняцкий Л. Б. Культурная динамика в середине позднего плейстоцена и переход к верхнему палеолиту: Автореф. дис. ... канд. ист. наук. СПб., 2006. 37 с.

Васильевский Р. С., Дроздов Н. И. Палеолитические скульптурные изображения из Восточной Сибири // Пластика и рисунки древних культур. Новосибирск: Наука, 1983. С. 59–65.

Деревянко А. П. Переход от среднего к верхнему палеолиту и проблема формирования Homo sapiens sapiens в Восточной, Центральной и Северной Азии. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2009. 328 с.

Деревянко А. П. Формирование человека современного анатомического вида и его поведения в Африке и Евразии // Археология, этнография и антропология Евразии. 2011. № 3 (47). С. 2–31.

Деревянко А. П., Рыбин Е. П. Древнейшие проявления символической деятельности палеолитического человека на Горном Алтае // Археология, этнография и антропология Евразии. 2003. № 3 (15). С. 27–50.

Деревянко А. П., Шуньков М. В., Волков П. В. Палеолитический браслет из Денисовой пещеры // Археология, этнография и антропология Евразии. № 2 (34). 2008. С. 13–25.

Зенин А. Н. Отчет об археологических исследованиях пещеры Страшная в 2006 г. Новосибирск, 2007 (рукопись).

Кагай С. А., Липнина Е. А., Медведев Г. И., Новосельцева В. М., Ощепкова Е. Б., Хензыхенова Ф. И., Клементьев А. М. Палеолитическое местонахождение Герасимова I: новая жизнь Переселенческого пункта I // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий: материалы годовой сессии Института археологии и этнографии СО РАН 2007 г. Новосибирск: Изд-во Ин-та археологии и этнографии СО РАН, 2007. Т. XIII. С. 110–113.

Кожевникова Д. В., Лбова Л. В., Волков П. В. Простейшие аэрофоны в комплексах раннего верхнего палеолита (материалы Забайкалья) // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология. Том 10, вып. 5: Археология и этнография. 2011. С. 155–161.

Козырев А. С., Слагода Е. А. «Щапово» – новое геоархеологическое местонахождение верхнего плейстоцена в г. Иркутске // Антропоген. Палеоантропология, геоархеология, этнология Азии: Сб. науч. тр. / отв. ред. Г. И. Медведев. Иркутск: Оттиск, 2008. С. 81–89.

Константинов М. В. Каменный век восточной провинции Байкальской Азии. Улан-Удэ – Чита: Изд-во Читинского гос. пед. ин-та, 1994. 179 с.

Королева Э. А. Палеолитическое искусство Карпато-Днестровского региона // Археология, этнография и антропология Евразии. 2011. № 1 (45). С. 34–42.

Куценков П. А. Психология первобытного и традиционного искусства М.: Прогресс-Традиция, 2007. 232 с.

Ларичев В. Е. Скульптура черепахи с поселения Малая Сыя и проблема космогонических представлений верхнепалеолитического человека // У истоков творчества. Новосибирск: Наука, 1978. С. 32–69.

Лбова Л. В. Палеолит северной зоны Западного Забайкалья. Улан-Удэ: Изд. БНЦ СО РАН, 2000. 240 с.

Лбова Л. В. Признаки знакового поведения в комплексах начальной поры верхнего палеолита в Забайкалье // Труды II (XVIII) Всероссийского Археологического съезда в Суздале. М.: Изд-во Института археологии РАН, 2008. С. 64–66.

Лбова Л. В., Ванхаерен М. Системы персональной орнаментации в контексте вариабельности культур раннего верхнего палеолита Евразии // Археология Южной Сибири. К 80-летию Я. А. Шера. Вып. 25. Кемерово: РИО КемГУ, 2011. С. 36–40.

Лбова Л. В., Волков П. В. Технология изготовления нательных украшений в эпоху верхнего палеолита (материалы местонахождниея Хотык, Западное Забайкалье) // Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2010. Т. 9. Вып. 7: Археология и этнография. С. 57–67.

Лбова Л. В., Волков П. В., Кожевникова Д. В. Свидетельства древнейших музыкальных традиций в археологии Сибири (начальная стадия верхнего палеолита) // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология. Т. 9. Вып. 5: Археология и этнография. 2010. С. 124–131.

Окладников А. П. Отчет об археологических работах Саянского отряда Северо-Азиатской комплексной экспедиции ИИФФ СО АН СССР за 1977 г. Новосибирск, 1978 (рукопись).

Плеханов Г. В. Избранные философские произведения. Т. 5. М., 1958. С. 346.

Руденко С. И. Усть-Канская пещерная палеолитическая стоянка // МИА. 1960. № 79. С. 104–125.

Ташак В. И. Символизм в начале верхнего палеолита Западного Забайкалья // Записки ИММК РАН. СПб.: Изд-во Дмитрий Буланин, 2009. № 4. С. 50–62.

Филиппов А. К. Хаос и гармония в искусстве палеолита. СПб: ЛООО, 2004. 224 с.

Холюшкин Ю. П. Поселение Малая Сыя – ранний этап верхнего палеолита Сибири (к проблеме начала становления культур Homo sapiens в Северной Азии) // Астроархеология – естественно-научный инструмент познания протонаук и астральных религий жречества древних культур Хакасии. Красноярск: Город, 2009. С. 137–145.

Черский И. Д. Несколько слов о вырытых в Иркутске изделий каменного периода. Изв. СОРГО. 1872. Т. 3. № 3. С. 167–192.

Шер Я. А. Первобытное искусство: факты, гипотезы, методы и теория // Археология, этнография и антропология Евразии. 2000. № 2. С. 77–87.

Шер Я. А. Первобытное искусство: учеб. пособие / Я. А. Шер; при участии Н. С. Бледновой и С. В. Крюкова. ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет». Кемерово: Кузбассвузиздат, 2006. 351 с.

Шер Я. А., Вишняцкий Л. Б., Бледнова Н. С. Происхождение знакового поведения. М.: Науч. мир, 2004. 279 с.

***В. В. Питулько*[1], *Е. Ю. Павлова*[2], *П. А. Никольский*[3], *В. В. Иванова*[4]**

СИМВОЛИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЕРХНЕПАЛЕОЛИТИЧЕСКОГО НАСЕЛЕНИЯ АРКТИЧЕСКОЙ СИБИРИ (БУСЫ И ПОДВЕСКИ ЯНСКОЙ СТОЯНКИ)

Введение

Свидетельства символической деятельности людей верхнего палеолита, происходящие из археологических памятников различных регионов Северной Евразии, весьма разнообразны. Бусы и простейшие подвески из зубов животных среди них часто весьма многочисленны, однако их массовые находки в большинстве случаев происходят из погребений, например, в Сунгире (Бадер, 1998), в Ушках (Диков, 1977), в моравских памятниках (Svoboda et al., 1996). Наряду с прочими их принято относить к предметам с неутилитарной функцией или к «искусству» в широком значении этого слова.

Когда говорят об искусстве палеолита Сибири, обычно подразумевают всемирно известные стоянки Мальта и Буреть, открытые соответственно в 1928 М. М. Герасимовым (1932) и 1936 гг. А. П. Окладниковым (1940). Это были не первые свидетельства символической деятельности в сибирском палеолите, но, несомненно, наиболее значительные находки как в качественном (антропоморфная и зооморфная скульптура, «символические» изображения, орнаментированные изделия, подвески и бусы, гравированные изображения), так и в количественном отношении, составляющие около $^1/_5$ всех предметов искусства, найденных на палеолитических стоянках Сибири. Согласно последней по времени краткой сводке (Medvedev, 1998) их общее количество незначительно превышало 600 предметов. В хронологическом плане большинство предметов искусства принадлежит памятникам, существовавшим после последнего ледникового максимума, однако стоит отметить, что наиболее развитый и разнообразный мальтинско-буретский комплекс предметов искусства относится к началу Сартанского криохрона. К тому же времени (22 тыс. – 21 тыс. л. н.) относятся и памятники Русской Равнины, характеризующиеся расцветом творческой деятельности (Абрамова, 1962; Abramova, 1995).

За последнее десятилетие количество сибирских стоянок, в материалах которых представлены неутилитарные предметы, несколько увеличилось. В основном это памятники, характеризующие ранний верхний палеолит, в том числе его начальные этапы. Древнейший в Сибири комплекс со следами проявления символической деятельности имеет возраст 43,300±1800 (GX–17596) – стоянка Кара-Бом, уровень 5. Наиболее многочисленный из них (31 неутилитарный предмет) происходит из слоя 11 Денисовой Пещеры с возрастом >37,235 (Деревянко, Рыбин, 2003). Так или иначе подавляющее большинство сибирских находок, связанных с символической деятельностью человека раннего верхнего палеолита, известно из южной части центральной Сибири и Забайкалья – стоянки Хотык, Каменка, Подзвонкая и др. (Лбова, 2000; Деревянко, Рыбин, 2003; Ташак, 2009).

За пределами этой области до начала работ на Янской стоянке (Pitulko et al., 2004) такие находки известны лишь из позднейших памятников верхнего палеолита – Ушки I, слой 6 и 7 на Камчатке (Диков, 1977; 1979), из недатированного нижнего комплекса стоянки Хета в Верхнем Приколымье, предположительно имеющего финально-плейстоценовый возраст (Слободин, 1999) и из Берелехского геоархеологического комплекса в бассейне Нижней Индигирки (Pitulko, 2011). Из последнего происходит также гравированное изображение мамонта (Abramova, 1995). Результаты исследований Янской стоянки, расположенной в нижнем течении р. Яна на севере Яно-Индигирской низменности под 71° с. ш., существенно расширяют этот краткий список как в качественном, так и в количественном отношении, а также хронологически. В настоящей работе рассматриваются бусы из бивня мамонта и кости, подвески из зубов животных, бивня мамонта и неорганических материалов (см. вклейку: с. 5, ил. 1).

Янская стоянка: находки бус

Коллекция бус Янской стоянки (см. вклейку: с. 5, ил. 1) происходит из раскопок в пункте Северном, являющемся одним из компонентов пространственной структуры памятника (Pitulko et al., 2004; Питулько, Павлова, 2010). Необходимо напомнить, что культурный слой вмещают многолетнемерзлые отложения II надпойменной террасы р. Яны. Его возраст определен в интервале 28,500 – 27,000 л. н. серийными[14]. С датами, полученными по фаунистическим остаткам, прямым датированием органических артефактов и очажных масс (Питулько, Павлова, 2007; 2010). Они дополнительно контролируются датами подстилающих и перекрывающих отложений. На участке стоянки, исследованном в пункте Северный, вскрыто сплошным раскопом и изучено около 1700 м^2 культурного слоя. Из этого участка происходит вся рассматриваемая ниже коллекция предметов декоративно-прикладного искусства – бус и подвесок, за исключением одной подвески из резца лошади, найденной в участке Яна-В в 400 м выше по течению в ходе пробных работ.

Культурный слой Янской стоянки, залегающий практически с момента формирования в многолетнемерзлых условиях, обязан им разобщенностью единой прежде древней обитаемой поверхности на различные по конфигурации и площади полигоны, образованные вследствие роста повторно-жильных льдов. Ширина жил варьирует по разрезу, а на уровне культурного слоя составляет 2–3 м. Культурный материал в пределах таких полигонов полностью сохраняет состояние in situ, за исключением криогенных деформаций в краевых зонах (Питулько, 2008; Питулько и др., 2011), тогда как центральные области грунтовых столбов полностью инситны и сохраняют изначальное положение, археологический материал и планиграфию.

Находки бус в Янской стоянке весьма многочисленны (табл. 1).

Таблица 1

Янская стоянка. Общая характеристика коллекции бус, подвесок и заготовок для их производства

Байджарах	Бусина (шт.)	Фрагмент бусины (шт.)	Пронизка/ фрагмент пронизки (шт.)	Подвеска типа куртак (шт.)	Подвеска/ фрагмент подвески из зуба (шт.)	Зуб-заготовка (без отверстия) для производства подвески (шт.)	Заготовка/ фрагмент бусины из бивня подквадратной формы с отверстием (шт.)	Заготовка/ фрагмент бусины подквадратной формы без отверстия (шт.)	Прямоугольная заготовка для производства бус из бивня (шт.)	Заготовка для производства бус из кости (шт.)
Бесовский	65	4								
Школьный		1	1/1							
Шахтерский	222	61	5/1		5/0		18/2	23/1	7	1
Нижнеручейный	443	80	22/8		3/0	3	11/5	8/0	8	

Окончание табл. 1

Байджарах	Бусина (шт.)	Фрагмент бусины (шт.)	Пронизка/ фрагмент пронизки (шт.)	Подвеска типа куртак (шт.)	Подвеска/ фрагмент подвески из зуба (шт.)	Зуб-заготовка (без отверстия) для производства подвески (шт.)	Заготовка/ фрагмент бусины из бивня подквадратной формы с отверстием (шт.)	Заготовка/ фрагмент бусины подквадратной формы без отверстия (шт.)	Прямоугольная заготовка для производства бус из бивня (шт.)	Заготовка для производства бус из кости (шт.)
Ручейный	305	33	12/2		1/0		3/1	0/1	10	
Большой Ручейный	1196	85	63/16	1	16/1	31	14/10	28/0	13	6
Пионерский	35	2	5/4				2/1			
Пионерский 1	178	13	9/6		1/0		22/8	95/0	35	19
Пионерский 2	94	5	4/0		2/0		8/2	1/0	4	
Пионерский 3	17	2	4/2	1			7/3	12/1	2	
Торфяной	74	4	5/0		2/0		4/0	3/0		
Западный	5		1/1		1/0					
Северный	12	1	3/0		0/1		3/0			
Восточный	180	6	8/4	4	5/0		10/6	1/0	2	8
Центральный	239	74	13/6	2	10/5		25/4	4/0	11	4
Центральный 1	104	9	2/2		1/1		8/2	6/0	4	
Центральный 2	174	68	7/0		5/0	5	9/2	6/0	6	1
Центральный 3	274	29	25/0		1/0	7	13/2	16/1	7	2
Учительский	295	33	9/0		1/0	2	21/1	11/0	11	
Учительский 1	149	22	2/0				6/0	1/0	1	
Большой 1	364	62	14/4	1	21/0	7	71/29	132/3	60	6
Большой 2	54	25	1/0				6/1	3/0	4	
Большой 3	30	4	1/1				10/0	1/0		
Большой 4	35	11	3/0			8	4/1	1/0		
Крайний	84	11	5/3				6/12	57/2	22	10
Крайний 1	102	8	4/0		1/0		7/3	18/2	4	
Крайний 2	44	5				3		1/0		
Дальний	140	20	9/1		1/0		23/10	15/1	9	
Общая сумма	**4914**	**678**	**237/62**	**9**	**77/8**	**66**	**311/105**	**443/12**	**220**	**57**

В общей сложности встречено 5888 предметов, отнесенных к данной категории, а также около 900 заготовок или незавершенных изделий. Необходимо отметить, что и в таблице, и на рисунках (см. вклейку: с. 6, ил. 2; с. 5, ил. 3) находки бус, их фрагментов, различных заготовок и незавершенных изделий сгруппированы по участкам раскопанной площади (полигонам). Это позволяет избежать избыточной в данном случае дробности представления материала. Подчеркнем особо, что выбор размера участка и его конфигурация никак не связаны с прошлым или настоящим действием человеческого фактора, т. е. является случайным.

Построенные диаграммы, учитывающие главные характеристики материала (см. вклейку: с. 6, ил. 2; с. 5, ил. 3), наглядно отражают особенности его пространственного распределения. Бросается в глаза наличие выразительного кластера в центральной части раскопа (см. вклейку: с. 6, ил. 2) – группа из пяти полигонов, в дополнение к которому следует отметить необыкновенно высокую концентрацию бус в северо-западном углу раскопа (см. вклейку: там же), а также в восточной его части. Значительные концентрации всегда присутствуют на участках с очагами.

Помимо участков, на которых в значительном количестве представлены законченные изделия (см. вклейку: там же), выделяются площади, связанные с производством бус (см. вклейку: с. 5, ил. 3). Выявлено три таких участка – байджарахи (полигоны) Пионерский 1, Большой 1 и Крайний. Интересно, что только в одном случае (Большой 1) можно отметить совпадение пика для количества законченных изделий (N=364) и их фрагментов (N=62) таковым для заготовок (N=132), незавершенных изделий и различных полуфабрикатов (см.: табл. 1; вклейку с. 5, ил. 3).

Выделено два типа бус. Бусы 1-го типа (простые круглые бусы) изготовлены преимущественно из бивня мамонта (см. вклейку: с. 5, ил. 1: 2), хотя встречаются и изделия из кости зайца (?). Судя по отсутствию одностороннего износа поверхности или односторонней выработки отверстий (хотя изредка встречаются и такие предметы), это действительно бусы, а не нашивные украшения на одежду. Бусы 2-го типа представляют собой скорее пронизки, сделанные из диафиза костей конечностей мелких животных (см. вклейку: с. 5, ил. 1: 6, 7). Пронизки имеют в средней части кольцевую нарезку (как правило, замкнутую или почти замкнутую). Длина изделия приблизительно соответствует утроенной длине (высоте) простых круглых бус.

Находки бус обоих типов представлены в 834 квадратах из примерно 1700 раскопанных, т. е. фактически в половине из них, но в различной степени – от единичных находок (см. вклейку: с. 7, ил. 4: 3, 4) до значительных концентраций (первые сотни предметов на квадрат). В ряде случаев они представлены в линейных группировках изделиями одного типа (см. вклейку: с. 7, ил. 4: 5, 6, 7) или сочетаниями бус 1-го и 2-го типа (см. вклейку: с. 7, ил. 4: 8; с. 8, ил. 5, с. 9, ил. 6). Характерной деталью этих украшений является окраска минеральным красителем красного цвета, сохранившаяся как на поверхностях изделий, так и во внутренней части, в отверстии для нанизывания и возле него (см. вклейку: с. 8, ил. 5). Как важную деталь, необходимо отметить, что людьми Янской стоянки использовались как бусы, созданные из бусин одного типа (1-го, простых круглых), так и комбинированные, с участием бус 1-го и 2-го типов, образующих последовательность 1–3–1 – после бусины 2-го типа (пронизка с кольцевой нарезкой) следует три бусины 1-го типа, за ними – еще одна пронизка, и так далее (см. вклейку: с. 8, ил. 5; с. 9, ил. 6). К дальнейшему обсуждению этих подробностей авторы намерены обратиться позже.

Бусы 1-го типа изготовлены из бивня мамонта и представлены полным технологическим контекстом (табл. 1; см. вклейку: с. 5, ил. 3; с. 9, ил. 7). Его составляют полуфабрикаты – выструганные из бивня мамонта пластинки шириной ~8–9 мм и толщиной до 4–5 мм (см. вклейку: с. 7, ил. 4: 1; с. 9, ил. 7: 9, 16), заготовки – отделенные от таких пластинок кусочки бивня мамонта подквадратных очертаний со скругленными углами (см. вклейку: с. 7, ил. 4: 2; с. 9, ил. 7: 10, 11, 13, 14, 17, 18), незавершенные изделия с незаконченным сверлением (см. вклейку: с. 9, ил. 7: 12, 15, 19) или сломанные в процессе изготовления. Вторая стратегия изготовления таких бус представлена аналогичными по смыслу продуктами – полуфабрикатами в виде струганых стержней из бивня мамонта, отделенными от них заготовками, незаконченными изделиями с начатым сверлением (или расколотыми в процессе изготовления бусинами). Вторая стратегия, судя по количеству незавершенных изделий, является заметно более редкой, дополнительной. Особо следует подчеркнуть, что встречающиеся в культурном слое стоянки полированные стерженьки из бивня мамонта с регулярными круговыми нарезками к производству бус отношения не имеют.

Необходимо отметить, что подквадратные «бусины» с биконическим сверлением, получавшиеся в результате выполнения технологических шагов (2), (3) и (4), являются именно промежуточной формой, а не конечным продуктом. В пользу такого предположения говорит отсутствие среди них тех, которые имели бы те или иные следы износа – например, асимметрию отверстия или заполировку одной из плоских поверхностей. Таких среди них не имеется ни одной. Более того, подквадратные «бусины» (т. е. почти завершенные бусины 1-го типа), а также находящиеся в аналогичной стадии обработки бусины, изготовленные по дополнительной технологии (из струганых бивневых стерженьков), имеют «разлохмаченные» углы, оставшиеся после подрезки краев пластинок (первые) и «граненую» струганую поверхность – вторые. Для того чтобы избавиться от этих дефектов и получить по возможности идеальные по форме и размеру круглые бусины, выполнялись заключительные операции по приданию формы, по шлифовке и полировке изделий.

Обе стратегии могут быть описаны как несколько последовательных шагов: (1) формирование полуфабриката – пластинки или стержня из бивня мамонта, линейный размер которой (или которого) в среднем составлял 5–10 см и ограничивался удобством обработки, при ширине/диаметре 4–7 мм; (2) производство надрезов с боков пластинки или по кругу на стержне; (3) слом выделенной части полуфабриката для получения подквадратной или цилиндирической заготовки; (4) подготовка отверстия биконическим сверлением; (5) нанизывание полученных заготовок на спицеобразное приспособление для удержания группы заготовок в плотной упаковке (либо стягивание их в такую упаковку с помощью жилки с узлом и воротка); (6) шлифовка поверхности на абразиве (первоначально относительно крупном, затем мелком). Во многих случаях выполнялась и полировка. Последовательность операций для обеих технологий производства бус 1-го типа (основной, из пластинок бивня мамонта, и дополнительной, из стерженьков из того же материала) показана на схеме (см. вклейку: с. 10, ил. 8).

На заключительной стадии изготовления производилось окрашивание минеральным красителем красного цвета. Таким образом, при изготовлении

бус людьми Янской стоянки выполнялись следующие операции: строгание, резание, двустороннее сверление специально подготовленным острием или углом отщепа, абразивная обработка материалом различной зернистости, полировка. Можно также заметить, что операции сверления проводились скорее всего каким-то специально подготовленным инструментом. На это косвенно указывают метрические характеристики внешних и внутренних диаметров отверстий в бусах 1-го типа, которые различаются по средним, минимальным и максимальным значениям на 0,2 мм (табл. 2).

Относительно технологии изготовления бус первого типа можно сделать еще несколько замечаний. Так, шагу (1) – изготовление полуфабриката (стержня или прямоугольной пластинки) – предшествовал этап расщепления/расчленения бивня. Такие операции вряд ли осуществлялись специально для получения подобных полуфабрикатов, в качестве исходной формы сырья здесь выступали скорее всего отщепы, сколы и щепки бивня мамонта, во множестве получавшиеся в ходе выполнения операций обработки бивня, связанных с получением заготовок для острий, форешафтов и прочих изделий из бивня мамонта, встречающихся на Янской стоянке во множестве (Питулько, 2010). Следует отметить, что для получения полуфабрикатов использовались, вероятнее всего, отщепы и щепки комлевой части бивня, где стенки конусов роста имеют толщину, достаточную для получения нужных по высоте бусин. Это было важно с точки зрения долговечности изделий, поскольку предотвращало расслоение. Некоторая часть бусин тем не менее была произведена не из идеальных заготовок и оказалась расслоена. Расслоение часто бывает параллельным, однако встречаются также изделия, расслоившиеся по диагонали.

Операции (5) и (6) были необходимы для получения стандартных, одинаково сбалансированных и плотно прилегающих друг к другу бусин. Только таким путем можно было получить плотно уложенные линейные группы (см. вклейку: с. 7, ил. 4: 7, 8; с. 8, ил. 5; с. 9, ил. 6). Вероятно, плотная укладка бусин в ожерелье была важной в смысле усиления его прочности за счет изоляции его основы (нитки, жилки) от внешних механических воздействий. Можно предполагать, что основа, использовавшаяся для нанизывания бус, была достаточно тонкой – среднее значение составляет < 2,4 мм (внутренний диаметр отверстия составляет 2,4 мм, однако понятно, что нитка должна быть тоньше), а минимальное <1,2 мм (табл. 2).

В общих чертах технология изготовления бус подобна той, что описана Р. Уйатом для производства ориньякских (White, 1995), а также, на основании предположений С. А. Семенова, сунгирских бус (White, 1997). Во всех этих случаях идет речь о массовом производстве стандартных изделий, по этой причине логика начальных этапов процесса идентична. Заключительные стадии обнаруживают заметные различия. Так, ориньякские бусы, анализированные Уайтом, имеют специфическую форму и требовали индивидуальной обработки на заключительном этапе. Сунгирские бусы – простые, существуют в трех вариантах (округлые, подквадратные, овальные), однако все они уплощенные (Семенов, 1968; Бадер, 1998).

Отличительной чертой янской технологии являются заключительные технологические шаги, ведущие к превращению подквадратной заготовки с отверстием, полученным биконическим сверлением, в цилиндрическую бусину – короткий цилиндр с отношением высоты к ширине 1:2. Средние (наиболее часто фактически встречающиеся значения) для бус 1-го типа – высота 2,1, внешний диаметр – 4,0 мм. Размах вариаций достигает существенных пределов и изменяется для высоты в интервале 0,9–3,6 мм, для диаметра – в интервале 3,0–6,2 мм (табл. 2). Метрические показатели, приведенные в табл. 2, оценивались на основании промеров относительно небольшого числа предметов, выбранных из массива случайным образом. Выборкой охарактеризованы участки раскопа в пункте Северном за все годы работ. Полученные результаты ясно указывают на то, что существенных изменений в статистике наблюдений уже ожидать не приходится. Метрика изделий указывает на обработку высокого класса точности.

На ил. 9 приведены графики, отражающие «золотой стандарт» янских бус как 1-го, так и 2-го типа. На основании распределений метрических признаков (высота и диаметр) для бус 1-го и 2-го типа (длина и диаметр), а также данных табл. 2 можно утверждать, что связь в метрике этих изделий не случайна, ибо отношение 1:2 выдерживается и для бус типа 2 (пронизок из диафизов костей мелких животных). Сравнение средних значений диаметров бус обоих типов говорит об их практически полной идентичности – 4,0 мм для бус типа 1 и соответственно 3,8 мм для бус типа 2 (табл. 2). Как уже отмечалось выше, бусы 2-го типа (пронизки с круговой нарезкой в центральной части) изготавливались из кости I и II фаланг задних лап и длинных костей конечностей. Следовательно, именно этим размером был задан стандарт диаметра бус 1-го типа, которые производились из бивня мамонта.

Бусы 2-го типа – пронизки с центральной круговой нарезкой (см. вклейку: с. 5, ил. 1: 6, 7; с. 7 ил. 4: 4; с. 8, ил. 5; с. 9, ил. 6) – изготовлены из костей конечностей зайцев путем последовательного отрезания кусочков диафиза. Для изготовления таких бус чаще всего использовались I и II задние фа-

Таблица 2

Метрические показатели бус Янской стоянки (мм)

Параметр	Среднее	Минимальное	Максимальное
Бусы 1-го типа (N=232)			
Высота	2,1	0,9	3,6
Диаметр	4,0	3,0	6,2
Диаметр отверстия внешний	2,8	1,6	4,0
Диаметр отверстия внутренний	2,4	1,2	4,2
Бусы 2-го типа, пронизки (N=218)			
Длина	7,5	3,4	14,6
Диаметр	3,8	1,9	7,7

ланги зайца и, реже, плюсневая и пястная кости (см. вклейку: с. 9, ил. 7: 1–8). Длинные кости, имеющие существенно больший диаметр, использовалась в относительно редких случаях.

Таблица 3

Характеристика отходов производства пронизок (бусы 2-го типа) для байджараха Большой 1

Вид	Название кости	Количество
Плейстоценовый заяц	Метатарсальная кость, проксимальная часть	5
Плейстоценовый заяц	Большая берцовая кость, дистальная часть	1

Последовательность изготовления таких пронизок показана (см. вклейку: с. 11, ил. 10). От выбранной кости отделялись эпифизы с тем, чтобы освободить более или менее протяженный кусок диафиза. Полученный полуфабрикат далее скорее всего размечался на отрезки нужного типоразмера, на которых выполнялась кольцевая нарезка. Полученные заготовки отделялись от исходного полуфабриката и были затем готовы к использованию. Отделение готовых пронизок проводилось путем выполнения глубокого кругового надреза и слома, в отдельных случаях неудачного. В большинстве случаев плоскость среза расположена под прямым углом к оси полуфабриката, однако изредка концы пронизок обрезаны под углом 45°. Средние метрические показатели изделий приведены в табл. 2.

Характерной чертой данных предметов является следование стандарту диаметра (около 4 мм) и отношению длина/диаметр, которое, как и для бус 1-го типа, составляет 1:2. Вариация размеров изделий (min-max) значительна (табл. 2), однако на данный момент нет оснований говорить о существовании нескольких достоверных размерных классов (измерения выполнены для 100 % целых пронизок, найденных в ходе раскопок). Как крупные, так и мелкие пронизки были для чего-то необходимы (так же, как крупные или мелкие бусы 1-го типа), однако эта потребность не привела к появлению стандарта.

Сопоставление количественных показателей для бус 1-го (N=5592) и 2-го типов (N=299), при котором учтены целые изделия и фрагменты, показывает, что их количество различается на порядок. Это, безусловно, говорит о том, что преимущественно использовались бусы 1-го типа, тогда как бусы 2-го типа выступают в качестве какого-то важного дополнительного (смыслового?) элемента готового украшения. Об этом же говорит и их пространственное распространение, они встречаются преимущественно единично, не образуют концентрации, имеется три участка их производства (байджарахи Пионерский 1, Большой 1 и Крайний), совпадающие с участками производства бус 1-го типа. В значительном количестве готовые пронизки встречены только в кв. J40 (байджарах Центральный 3), где участвуют в конструкции «ожерелья» (см. вклейку: с. 8, ил. 5; с. 9, ил. 6). При его расчистке найдено *in situ* 19 пронизок и еще 1 попала в промывку, дополнительно в прилежащих квадратах найдено 9 шт. пронизок, которые также могут иметь отношение к этой находке.

Приготовление краски для окрашивания бус

Бусы, найденные при раскопках Янской стоянки, сохраняют следы нанесенного на них красного минерального красителя. Его присутствие заметно на поверхностях изделий, а также в отверстиях бус. Окрашивались уже готовые изделия, однако окраска скорее всего обновлялась неоднократно за время жизни украшения.

Краситель, использовавшийся для их окраски, производился непосредственно на стоянке из полимиктового песчаника, в состав которого входит гематит (Питулько, Иванова, 2010). Сырье имеет слабую розоватую окраску. Обнажения таких песчаников известны в долине р. Яны, выше по течению от Янской стоянки. Ее культурный слой заметно насыщен мелкой крошкой этой породы, полученной в ходе измельчения сырья на начальной стадии производства, а также мелкими комочками готовой краски и изделиями в форме «карандашей» или «мелков». Судя по химическому составу образцов и ядерно-магнитным спектрам вещества, краска изготовлена из смеси минерального красителя и жиров. Соотношение жирных кислот и их состав позволяют предположить, что использовался жир северного оленя (Tinoco, 1982). Процесс изготовления краски включал в себя измельчение сырья с последующим

извлечением охры вымыванием. Образовавшаяся паста высушивалась и затем смешивалась с жиром, который был необходим для придания массе необходимой консистенции. Его наличие имело также косметическое значение, поскольку в чистом виде эта краска, как любая грязь, сушит кожу.

С операциями измельчения и истирания сырья для приготовления краски связаны массивные тяжелые орудия наподобие пестов и терочников, изготовленные из гранитных валунов небольшого размера. И те, и другие имеют хорошо выраженные следы износа, поскольку применявшееся сырье обладает твердостью, примерно равной твердости полевого шпата (5,5 по шкале твердости минералов).

Янская стоянка: подвески

Среди подвесок представлены как серийные, так и уникальные формы. К серийным изделиям относятся подвески из зубов животных (см. вклейку: с. 5, ил. 1: 1, 4, 5) и кольцеообразные подвески из бивня мамонта (см. вклейку: с. 12, ил. 11). Уникальные формы представлены преимущественно изделиями из минерального сырья, хотя среди них встречаются и предметы, изготовленные из кости, например плоская подвеска неправильной формы с центральным отверстием, выполненным биконическим сверлением (см. вклейку: с. 5, ил. 1: 9). Для ее производства использован фрагмент стенки массивной кости, вероятнее всего, какой-то черепной. Другой необычный предмет из этой категории находок получен при пробных раскопках на участке Яна-В (см. вклейку: с. 5, ил. 1: 11). Это подвеска из резца лошади с зарубкой в корневой части.

Подвески, изготовленные из минерального сырья, немногочисленны. К ним относится изделие из мягкого минерала смолянисто-черного цвета (антраксолит, разновидность окаменевшего битума) со сверленым биконическим отверстием (см. вклейку: с. 5, ил. 1: 10). Она удлиненной формы, отверстие для подвешивания расположено асимметрично, одна из сторон – прямая, искусственно сформированная. Вблизи отверстия имеется группа штрихов неясного назначения. В целом она напоминает условно переданную голову какого-то животного, скорее всего плейстоценовой лошади. Другая подвеска изготовлена из янтарной галечки красного цвета и имеет двойную круговую нарезку (см. вклейку: с. 5, ил. 1: 8). Янтарь низкого качества, хрупкий и скорее всего имеет местное происхождение. В пределах региона он описан для о-ва Новая Сибирь (мыс Утес Деревянных Гор на южном берегу острова Новая Сибирь) в примерно 600 км к северу от Янской стоянки, там же встречаются антраксолиты, угли, окаменевшая миоценовая флора (Гаккель, 1967), что подтверждается в том числе полевыми наблюдениями авторов.

Кольцеобразные подвески из бивня представлены в небольшом количестве (8 шт.), в основном фрагментами (см. вклейку: с. 12, ил. 11: 5–7). К этой же группе изделий условно отнесено кольцеобразное изделие из бивня мамонта (см. вклейку: с. 12, ил. 11: 8). Диаметр изделий составляет 2,5–3 см, толщина – около 0,5 см, диаметр центрального отверстия – около 1 см на начальной стадии изготовления, впоследствии увеличивается приблизительно до 2 см.

Имеются изделия различной степени готовности. Для их производства использовались естественные щепки бивня мамонта (см. вклейку: с. 12, ил. 11: 1) и, вероятно, отщепы, в которых первоначально по контуру прорезалось отверстие. В результате данной операции появлялись «таблетки» из бивня мамонта, являющиеся специфическим отходом производства (см. вклейку: с. 12, ил. 11: 2–4). На следующем этапе формировался внешний контур подвески и расширялось отверстие. Аналогичные серийные изделия впервые были найдены Н. Ф. Лисицыным в Сибири на Верхнем Енисее в стоянке Куртак 4. Возраст этого памятника близок ко времени существования Янской стоянки и (на основании нескольких радиоуглеродных дат) определен в интервале 26 тыс. – 23 тыс. л. н. (Лисицын, 2000). Этот специфический культурный элемент мы предлагаем именовать в дальнешем «подвесками типа Куртак» (см. вклейку: с. 12, ил. 11: 5–7).

Среди предметов, отнесенных к подвескам, на Янской стоянке наиболее распространены подвески из зубов животных, встреченные в количестве 81 шт. За исключением подвески из резца лошади (см. вклейку: с. 5, ил. 1: 11), обнаруженной при пробных раскопках в пункте Яна-В, все остальные происходят из раскопок в пункте Северном (см. вклейку: с. 5, ил. 1; с. 6, ил. 2; с. 13, ил. 12; табл. 1 и 3). Они встречаются как единично (см. вклейку: с. 13, ил. 12: 5–7), так и небольшими группами (по два-три предмета), однако, будучи найденными в значительном количестве на том или ином участке (полигоне) в пределах раскопа, чаще всего оказываются рассеяны на небольшой площади – около квадратного метра или чуть более (см. вклейку: с. 13, ил. 12: 8).

Относительно редкой находкой являются «клады» заготовок для изготовления наборов таких подвесок. В них компактной группой всегда представлено семь предметов. Компактность залегания и в особенности количество сложенных вместе зубов (чаще всего резцов), а также повторяемость находок на различных участках раскопа однозначно указывает на намеренность действий, совершенных в прошлом (см. вклейку: с. 13, ил. 12: 1–4). Всего

встречено пять таких достоверных групп, и происходят они из тех же участков, на которых осуществлялось изготовление бус и пронизок. В коллекции имеется дополнительно некоторое количество изолированных зубов, встреченных единично и группами по 2–3 предмета в условиях, не предполагающих их случайное попадание в культурный слой, т. е. вне фаунистического контекста, которому они могли бы принадлежать. Они скорее всего также являются заготовками зубных подвесок, однако данное утверждение не будет доказательным. В отношении упомянутых пяти группировок сомнения, по приведенным соображениям, отсутствуют, тем более что в одной из таких групп в кв. К34, байджарах Центральный 3, из семи зубов «клада» два перфорированы (см. вклейку: с. 13, ил. 12: 1).

Помимо особенностей пространственного размещения зубов подвесок животных с перфорацией корня или зарубками внимания заслуживает также их видовой состав. Легко заметить, что зубы хищных составляют здесь явное меньшинство – 11 из 81 шт., причем песцу принадлежат 9 экз. клыков (как верхних, так и нижних), а волку – только 2 зуба, клык и премоляр. Остальные принадлежат крупным травоядным (перечислено в порядке возрастания) – лошади, бизону или овцебыку, северному оленю (см.: табл. 3; вклейку: с. 13, ил. 12). С учетом зубов-заготовок из «кладов» преобладание зубов северного оленя (с перфорацией, нарезками или без оных) является абсолютным. Как интересную деталь следует отметить присутствие в наборах молочных резцов северного оленя.

Украшения из зубов различаются по способу подвешивания и методу оформления отверстия. Простейшим и наиболее редким в Янской коллекции является способ подвешивания с помощью небольшой зарубки или кольцевой нарезки, сделанной в корневой части зуба. Таких изделий всего четыре, два из них – зубы лошади, два других принадлежат волку (табл. 4). Вероятнее всего, эти предметы носились как самостоятельные украшения-подвески, подобные рассмотренным выше формам, встреченным единично (подвески из антраксолита, янтаря и др.).

Все остальные имеют отверстия, выполненные односторонним или биконическим сверлением (видимо, в последнем случае с дополнительной зенковкой внутренней части отверстия, выполнявшейся с тем, чтобы придать ему цилиндрические очертания). Отмечены случаи повторной перфорации, выполнявшейся после повреждения первоначального отверстия. Перфорация прорезанием полностью отсутствует.

Отверстие чаще всего располагали в корневой части зуба на уровне примерно $^{2}/_{3}$ общей его длины, измеренной от поверхности коронки к кончику

Таблица 4

Характеристика видовой принадлежности единичных находок и групп сверленых подвесок и их заготовок из зубов млекопитающих (раскопки Янской стоянки 2003–2010 гг.)

Вид	Характеристика артефакта	Число единичных находок	Число групп	Число в группе	Общее число
Северный олень, резец	Сверленый зуб	23	2	7	37
Северный олень, резец молочный	Сверленый зуб	9			9
Северный олень, резец молочный	Несверленая заготовка	6	2	7	15
Бизон, резец	Сверленый зуб	3	3	7 2+1 резец сев. оленя 2+5 неопр. зубов-заготовок	14
Лошадь, резец	Сверленый зуб	1			1
Лошадь, резец	Зуб с зазубриной в корневой части	2			2
Волк, клык	Зуб с зазубриной в корневой части	1			1
Волк, первый нижний премоляр	Зуб с зазубриной в корневой части	1			1
Песец, клык	Сверленый зуб	9			9

корня. Перед сверлением отверстия поверхность корня подготавливали, формируя абразивной обработкой плоские ровные поверхности, удобные для начала работы. В точке сверления, видимо, наносились ориентирующие штрихи. Уплощение, вероятно, было необходимо не только технологически, но и функционально, в ходе монтажа украшения. Возможно, в этих композициях участвовали крупные бусы и пронизки, в небольшом числе имеющиеся в коллекции.

Как было показано выше, есть основания думать, что по крайней мере часть этих украшений содержала семь зубных подвесок (возможно, были и другие наборы, но случай с семеркой, в отличие от них, очевиден). Можно определенно сказать, что среди таких композиций из перфорированных зубов травоядных (считая и наборы зубов в «кладах») преобладают те, в которых представлены зубы животных одного вида – бизона или овцебыка (1 случай), или

северного оленя (4 случая), еще в одном случае точно присутствуют зубы бизона (2 шт.), остальные не определены. Подобная картина отмечена в группе из трех подвесок, найденных совместно, где имеется два зуба бизона (овцебыка?) и один северного оленя.

Обсуждение результатов и дискуссия

Рассмотрим первоначально предметы, встреченные при раскопках в пункте Северный Янской стоянки в единичных количествах. Несмотря на малочисленность, данные находки весьма информативны. Прежде всего, это относится к кольцеобразным подвескам, определяемым как подвески типа Куртак. Они встречаются в Сибири, помимо Янской стоянки, в памятнике Куртак IV в Минусинской котловине, где, как и янские, имеют доледниковый возраст в интервале 26 тыс. – 23 тыс. л. н. или чуть древнее (Лисицын, 2000), а также в стоянке Хотык в Забайкалье, имеющей существенно более древний возраст – около 40 тыс. л. н. или древнее (Ташак, 2009). В слое 3 этого памятника найден фрагмент подобного кольца, изготовленного из мягкого камня. Возраст горизонта определяется в интервале от 34 тыс. до 26 тыс. л. н. Различную степень сходства с янскими имеют находки из Денисовой пещеры (Деревянко и др., 2003; Деревянко, Рыбин 2003), стоянки Каштанка I (Лисицын, 2000), Усть-Кова (Medvedev, 1998), при этом только Каштанка I существенно моложе Янской стоянки. Известны такие предметы и за пределами Сибири, например, в ориньякском комплексе стоянки Спи на северо-востоке Франции (Taborin, 2004).

Интересна находка пуговицеобразной костяной поделки с центральным отверстием (см. вклейку: с. 5, ил. 1: 9). Подобные изделия, но изготовленные из ископаемой скорлупы яиц страуса, известны в Забайкалье в стоянке Подзвонкая (Ташак, 2009). Прочие подвески, встреченные в единичных экземплярах, изготовлены из антраксолита (см. вклейку: с. 5, ил. 1: 10) и янтаря (см. вклейку: с. 5, ил. 1: 9). Янтарная подвеска находит аналогии в мальтинских материалах, где подобное изделие с двойной нарезкой для привязывания трактуется как антропоморфное изображение (Medvedev, 1998). В обоих случаях трудно сказать, так ли это, но янские подвески из минерального сырья в любом случае дают ценную информацию о дальности и направлении перемещений населения. Оба вида сырья доступны на о. Новая Сибирь, соответственно можно заключить, что обитатели Янской стоянки перемещались примерно на 600–700 км по меридиану.

Как было показано выше, в коллекции украшений из Янской стоянки широко представлены массовые типы изделий, известные в различных памятниках верхнего палеолита Евразии во все его эпохи – подвески из зубов животных, мелкие бусы (которые часто рассматривают в качестве подобия бисера) из бивня мамонта и кости, пронизки с нарезками. Это серийные формы простейших украшений. В отношении этих предметов можно сказать, что они встречаются практически повсеместно, однако в относительно небольших количествах, например, в известнейших Костенковских стоянках (Абрамова, 1962; Abramova, 1995), Мальте (Medvedev, 1998), Афонтовой Горе (Астахов, 1999), Авдеево (Gvozdover, 1995) и других, гораздо менее известных памятниках, например, в гроте Бобылек на Урале (Волков и др., 2007).

Исключение составляют комплексы, происходящие из погребений – сунгирские (Бадер, 1998; Житенев, 2007), моравские (Svoboda et al., 1996), ушковский (Диков, 1977; 1979). На стоянках-поселениях в массовых количествах бусы встречаются редко, можно указать только бусы-нашивки, по Г. В. Григорьевой, из Юдиново (Григорьева, 2003–2004). Технология их изготовления тем не менее, если и не документирована надежно находками, то угадывается. Все эти изделия, встреченные на памятниках, существование которых охватывает примерно 30 000 лет, изготовлены из различных материалов, часто из разновидностей мягкого камня, из кости, рога северного оленя, бивня мамонта, скорлупы страуса. В обзоре находок бус из верхнепалеолитических стоянок в связи с публикацией коллекции бус Юдиново Г. В. Григорьева обратила внимание на то, что в Сибири количество бус из бивня мамонта весьма невелико, в противоположность памятникам Русской равнины (Григорьева, 2003–2004). До недавнего времени данное наблюдение было вполне справедливо.

Присутствие этих предметов – бус всех разновидностей и простейших подвесок – в основном в погребальных комплексах невольно порождает миф об элитарности погребенных и эксклюзивности украшений, использованных, возможно, непосредственно для этого ритуального акта. Материалы, добытые при раскопках Янской стоянки, наравне с юдиновскими, где Г. В. Григорьевой описано более 10 000 бус (Григорьева, 2003–2004), показывают, что эти простые украшения широко использовались людьми верхнего палеолита в повседневной жизни. Они любили себя украшать, имели для этого достаточно времени и возможностей, а также видели в этом некий смысл, который мы называем символическим поведением. В дополнение к огромной, около 6000 экземпляров, серии бус, в Янской стоянке встречены неутилитарные предметы из камня и янтаря (см. вклейку: с. 5, ил. 1), а также специфические подвески из бивня мамонта. Наиболее важными чертами Янского комплекса украшений, на

наш взгляд, являются: их планиграфия, технология изготовления, числовые ритмы, взаимосвязь с комплексом материала стоянки.

Произведенный анализ пространственного размещения материала в пределах площади, раскопанной на участке Северный Янской стоянки, в первом приближении позволяет высказать суждение о некоторых планиграфических закономерностях. Так, совершенно очевидно, что при достаточно широком распространении в ее пределах бус обоих типов выделяются концентрации, тяготеющие к площадкам с очагами/очажными пятнами. Подобное вполне нормально для ряда археологических памятников и обсуждаемо для Юдиново (Григорьева, 2003–2004), Авдеево (Gvozdover, 1995), ряда костенковских памятников (Рогачев, Праслов, 1982), а также, видимо, и других объектов.

На Янской стоянке (раскоп Северный) некоторым из таких площадок присущи контексты производства бус и подвесок из зубов животных, с которыми пространственно связаны также области распространения разнообразных микроорудий с притупленным краем и долотовидных (Питулько, 2010), и отходов бивнеобработки, в том числе от тонких операций в виде мелкой и мельчайшей стружки. Как интересную деталь стоит отметить, что имеется планиграфическое совпадение областей культурного слоя, связанных с производством бус 1-го (простых круглых) и 2-го типов (пронизок с кольцевой нарезкой), а также подвесок из зубов животных.

Полные контексты производства бус из бивня мамонта встречаются редко и, похоже, не найдены нигде, кроме Юдиново (Григорьева, 2003–2004) и Янской стоянки. В ряде памятников, впрочем, имеются предметы, которые связываются исследователями с данными процедурами – в Елисеевичах (Хлопачев, 2006), Авдеево (Gvozdover, 1995), Афонтовой Горе (Астахов, 1999), гроте Бобылек (Волков и др., 2007) и других стоянках.

Реконструированные технологии все в целом сходны между собой до определенного этапа. Единственным исключением является технология производства бус из тонких пластинок бивня мамонта, изученная в Юдиново Г. В. Григорьевой (Григорьева, 2003–2004). Процесс их производства осуществлялся путем расслоения бивня по конусам роста, в результате чего получались тонкие ромбические или подквадратные мелкие бляшки с прорезным отверстием.

Г. В. Григорьева, следуя интерпретационному шаблону, называет их бусами-нашивками. К сожалению, факт использования их в качестве именно нашивок никак не доказывается, следовательно, так же как и в остальных случаях (Сунгирь, моравские погребения), это сомнительное утверждение. Часто упоминаемые в качестве возможной аналогии расшитые бисером изделия народов Севера, известные в этнографической современности, во-первых, далеко не так многочисленны, а во-вторых, расшивка бисером появляется после момента контакта с европейцами, при этом такое шитье не замещает никаких искони существующих способов украшения одежды, орудий труда и других изделий. Народы Севера любили и умели украшать свои изделия, однако практиковались повсеместно вышивка (преимущественно подшейным волосом северного оленя), аппликация, окрашивание, трафаретное нанесение рисунка, гравировка, плетение (Иванов, 1954; 1963).

В погребениях верхнего палеолита (например, в Сунгире и в Дольни Вистонице) имеются во множестве и бусы, и подвески из зубов, положение которых относительно костных остатков погребенных допускает мысль о нашивном способе их крепления к одежде, однако серьезной доказательной базы в ее поддержку нет. Наиболее вероятна такая возможность для головных уборов, украшенных композициями из зубов животных, однако и здесь существует альтернатива в виде «ожерелья», закрепленного на головном уборе в сборе. Однозначно нашивными украшениями можно считать различные «бусины» или бляшки с двумя отверстиями, которые встречаются нечасто, но представлены в том числе и в сибирских памятниках, в частности, в Усть-Канской и Денисовой пещерах (Деревянко, Рыбин, 2003).

Прочие известные технологии производства бус, включая янскую, основаны на использовании относительно тонких, специально подготовленных пластинок бивня, которые расчленялись на заготовки, в которых либо до этого, как в гроте Бобылек (Волков и др., 2007) и Афонтовой Горе (Ауэрбах, Сосновский, 1932), либо после, как в Сунгире (Семенов, 1968; White, 1997), прорезывались либо сверлились отверстия. Интересно, что в ряде случаев эта работа выполнялась односторонним сверлением, тогда как в янской технологии – биконическим.

Те же принципы производства заготовок для бус/подвесок известны в раннем верхнем палеолите Западной Европы (White, 1995), однако прилагались к штучной работе, имитирующей формы клыков благородного оленя. Их распространенность во времени и пространстве соответственно объясняется универсально-рациональным отношением к задаче, конвергенцией. Тем не менее полный «комплект» технологических шагов, навыков и умений янских людей верхнего палеолита дает основания думать об этой технологии как, возможно, о культурно специфичной.

Бусы из бивня, известные из других памятников Сибири, Урала, Русской равнины, при всем разно-

образии форм (подквадратная, округлая, овальная) и типоразмеров (в основном 10–13 мм по максимальному измерению), имеют нечто общее. Все они – плосковыпуклые, с толщиной до 5 мм, самые тонкие – 2,5 мм – известны в Сунгире (Бадер 1998; Григорьева, 2003–2004). Бусы 1-го типа из Янской стоянки – простые круглые (цилиндрические) – имеют в среднем высоту 2,1 мм при диаметре 4,0 мм, т. е. отношение высота/диаметр составляет 1:2. Этот стандарт неуклонно соблюдается и размножается в тысячах копий, при этом бусам путем довольно сложных дополнительных операций придается цилиндрическая форма. Более того, метрические параметры бус 1-го типа жестко увязаны с таковыми бус 2-го типа (пронизок). Таким образом, обитателями Янской стоянки практиковалась весьма сложная, совершенная технология производства бус из бивня, на настоящий момент не имеющая аналогии в верхнем палеолите Северной Евразии.

Изделия, подобные бусам 2-го типа (пронизки) Янской стоянки, широко представлены в памятниках верхнего палеолита Северной Евразии. Они имеются в Денисовой пещере (Деревянко и др., 2003), Каменке (Лбова, 2000), Мальте (Medvedev, 1998) и Афонтовой Горе (Астахов, 1999), в памятниках Русской равнины (Абрамова, 1962; Григорьева, 2003–2004; Abramova, 1995) и других стоянках. Их размеры довольно разнообразны, а количество не настолько велико, чтобы говорить о следовании какому-либо стандарту. На Янской стоянке такой стандарт есть, он выражается в пропорции 1:2 (длина/диаметр), средние значения 7,5 и 3,8 мм и, как уже отмечалось, связан со стандартом диаметра бус 1-го типа. Важным, на наш взгляд, является наличие декоративных элементов, нанесенных дополнительно на поверхности пронизок из трубчатых костей мелких животных, для Янской стоянки это чаще всего фаланги и плюсневые кости плейстоценового зайца. Пронизки Янской стоянки украшены всегда, кроме двух случаев (две нарезки), только одной кольцевой нарезкой, тогда как предметы из Денисовой пещеры (Деревянко и др., 2003) и Маркиной Горы (Синицын, 2005) имеют по несколько таких элементов. В Сибири в сопоставимых по возрасту объектах такие пронизки известны в Забайкалье, в Каменке (Лбова, 2000; Деревянко, Рыбин, 2003).

Выше было отмечено, что на Янской стоянке бусы 2-го типа заметно (на порядок) уступают количественно бусам типа 1 (табл. 1). Их меньше примерно в 20 раз, что указывает на редкость использования этого элемента и, следовательно, его специфичность.

За выявленным для бус Янской стоянки стандартом производства также стоит какая-то смысловая специфика. Понятно, что стандарт бус 1-го типа зависит от диаметра бус типа 2, проще изготовить требуемое количество бус нужного диаметра, чем подобрать подходящие по диаметру косточки к уже готовым бусам. Однако в таком случае могли бы быть выбраны любые другие трубчатые кости мелкого зверя, и не обязательно зайца, например, песец вполне подошел бы, и его костные остатки представлены в культурном слое. Тем не менее использовались кости стопы зайца, более крупные – чрезвычайно редко.

В комплексе фауны Янской стоянки представлены мамонт, шерстистый носорог, плейстоценовый бизон, северный олень, овцебык, лошадь, медведь, волк, росомаха, песец, плейстоценовый заяц, обский и копытный лемминги, а также куропатка. Количественно преобладают кости лошади и зайца, остатки мамонта чрезвычайно малочисленны (Pitulko et al., 2004; Питулько, 2010), однако вблизи стоянки имелся практически неисчерпаемый источник сырья для производства орудий и украшений из бивня – массовое скопление костных остатков мамонтов YMAM (Basilyan et al., 2011).

Вероятно, имелся какой-то символический смысл, предопределявший использование для изготовления бус костей именно зайца. В то же время здесь может проявляться абсолютно практическая причина, связанная с использованием обитателями Янской стоянки меха зайца для пошива одежды.

Массовая добыча зайца (а речь идет о сотнях животных) возможна осенью, и это, очевидно, дает некоторый ответ относительно времени обитания стоянки. Такой промысел возможен только при условии использования силковой снасти. Его целью скорее всего было не столько пополнение запасов пищи, сколько добыча шкурки – легкого и теплого, но очень непрочного меха, который мог использоваться для изготовления нижнего белья, стелек и внутренних чулок для сапог. На эту мысль наводит обилие скелетных остатков зайцев, найденных в культурном слое Янской стоянки в анатомическом порядке. Это предположение, как представляется, отчасти подкрепляет наблюдение Ж. Малори (2002), согласно которому охотники одного из поселений района Туле в Гренландии добывали за сезон от 1000 до 1500 зайцев исключительно с целью получить их шкурки, а мясо в пищу употребляли редко, находя его безвкусным.

Продолжая разговор о бусах Янской стоянки, нельзя не обратить внимание на числовой ритм, имеющийся в композиции «ожерелья» из кв. J40 (см. вклейку: с. 8, ил. 5; с. 9, ил. 6). В нем три бусины 1-го типа (простые круглые) следуют за бусиной типа 2 (пронизкой с кольцевой нарезкой в центральной части), затем рисунок повторяется. Можно считать это чистым проявлением эстетиз-

ма, однако можно вспомнить и о том, что В. А. Туголуков (1979) пишет о системе счета юкагиров, обитающих на севере Яно-Индигирской низменности с давних пор. Юкагирская система счета весьма необычна, ее основой служат цифры 1 и 3. Пятерка также известна, как и у многих других народов. Она присутствует практически во всех системах счета, как справедливо указывал О. Н. Бадер (1998), однако в юкагирской системе заметной роли не играет, она просто есть, как пять пальцев на руке. Все числа, кроме числа «пять», у юкагиров образуются из комбинаций троек и единиц.

Бусы из ожерелья в кв. J40 также содержат ритм один-три. Более того, пронизка с нарезкой зрительно выглядит как две расположенные рядом простые круглые бусины. Таким образом, предметов в одном звене ритма четыре, но обозначают они «пять». Безусловно, потенциальными оппонентами может быть поднят вопрос о том, в какой мере корректно сравнивать юкагирскую систему счета, известную в исторической современности, с объектами доледникового возраста, пускай даже и найденными в пределах современного обитания ее носителей. Действительно, глубина разрешающей способности сопоставления археологических и этнографических данных является величиной неизвестной. В то же время существуют многочисленные примеры, допускающие мысль о том, что некоторые базовые представления, закрепленные в символическом поведении человека, могут существовать на протяжении первых десятков тысяч лет (Schuster, Carpenter, 1996).

В правомерности подобных утверждений убеждает, в частности, сравнительный анализ североевразийских и американских мифологий, проведенный недавно Ю. Е. Березкиным (2007) в связи с проблемой заселения Нового Света. В минимальном хронологическом выражении время миграции в Новый Свет из Сибири может быть оценено около 14 тыс. – 13 тыс. л. н., и, стало быть, собранный за последние 100–150 лет фольклор определенно существовал на протяжении всего этого времени. Таким образом, параллель между юкагирской системой счета и достоверным числовым ритмом «один-три», найденном в материалах Янской стоянки, представляется вполне уместной.

Еще одной важной чертой комплекса изделий, представленного бусами 1-го и 2-го типов, является обычай нанесения на них красного красителя. Операция скорее всего повторялась неоднократно. Практически все бусы обоих типов имеют его следы (чаще всего изнутри, однако и наружные стороны сохраняют достаточно краски для того, чтобы ее увидеть, особенно на влажных предметах). Аналогичные действия отмечены исследователями на ряде памятников Алтая и Сибири – Кара-Бом и Малояманская пещера (Деревянко, Рыбин, 2003), Хотык, Подзвонкая (Ташак, 2009), Каменка и Варварина Гора (Лбова, 2000). Необходимо отметить, что Янская стоянка с возрастом около 28 тыс. л. н. является среди них наиболее молодым памятником, относящимся к концу раннего верхнего палеолита Алтай-Сибирского региона или к самому началу его средней стадии.

Подчеркнем, что А. П. Деревянко и Е. П. Рыбин (2003), впервые отметившие распространение окрашенных украшений на Алтае и юге Сибири, в Байкальской области, обращают внимание на связь этих предметов с контекстами пластинчатых индустрий, в том числе очень ранних. Камнеобработка Янской стоянки, сопровождающая рассматриваемый в настоящей работе выразительный комплекс предметов неутилитарного назначения, является ярко выраженной отщеповой индустрией.

В Европейской части России подобные проявления символического поведения людей верхнего палеолита не описаны, и, следовательно, его можно понимать как макрорегиональную специфику, связанную, вероятнее всего, с общностью населения, практиковавшего этот обычай. Не будучи технологически или природно обусловленным, он мог быть распространен только вместе с его носителями и существовал как минимум в интервале от ~44 тыс. л. н. – по датировке из Кара-Бом, уровень 5 (Деревянко, Рыбин, 2003), до ~28 тыс. л. н. (по датировкам Янской стоянки).

Употребление минеральных красителей красного цвета, собирательно именуемых «охрой», чрезвычайно широко распространено во все эпохи каменного века, в виде следов применения либо в качестве готовых продуктов, тогда как контексты производства красок достаточно редки (в том, что наиболее распространена именно красная краска, нет никакой мистики, из чего бы ее ни делали, там обязательно есть окислы железа, а это один из наиболее распространенных элементов земной коры, проще изготовить только черную краску из костровой сажи, однако она гораздо менее удобна, поскольку сильно мажется). Один из контекстов производства краски представлен в материалах Янской стоянки.

В массовых количествах «охра» встречается, как правило, в погребениях, в связи с чем этот факт неизменно рассматривается как свидетельство развитой символической деятельности. Красный цвет «охры» ассоциируют с символикой огня, крови, жизни, сложными представлениями о загробной жизни и пр. Видимо, уже невозможно установить, кто первым придумал это, однако применение охры в погребальных ритуалах имело, возможно, абсолютно практический смысл, точнее, так могло казаться тем, кто их проводил.

В ходе работ на Янской стоянке их участники, ежедневно сталкивающиеся, с одной стороны, с мелкими комочками и примазками красной краски, рассеянной в культурном слое, а с другой стороны, с кровососущими насекомыми, обратили внимание на то, что участки кожи, натертые красной краской из слоя, никогда не подвергаются атакам кровососов. Они даже не пытаются сесть на такой участок. Дело здесь, видимо, в изменении теплофизических свойств кожного покрова, в результате которого насекомое теряет способность к «наведению на объект». Таким образом, это был, возможно, древнейший репеллент (просто измазать лицо и руки грязью недостаточно, она плохо держится и сушит кожу, а жир, входящий в состав краски, как раз предотвращает и то, и другое). В областях земного шара, где есть ежесуточное чередование темного и светлого времени, нанесение красной краски на лицо или тело (в теплых краях) может быть полезным еще и в темное время суток, поскольку красный цвет в темноте не виден. Эти свойства красной краски были, безусловно, хорошо известны тем, кто ее производил.

Им также было прекрасно известно, что происходит с мертвым телом. Оно разлагается, пожираемое в том числе насекомыми, червями, личинками. В таком случае, если известно, что тело, натертое красной краской, не представляет интереса для кровосущих насекомых, с которыми люди каменного века сталкивались в летний период ежедневно, эта практика могла бы быть перенесена на погребальные процедуры. Изначально желание предохранить покойного от укусов тех, кто мог попытаться добраться до его плоти, вполне могло быть побудительным мотивом для использования «охры» в погребальном ритуале, т. е. использование засыпок из охры первоначально имело практическое назначение.

Стремление сохранить своих мертвых было свойственно человеку во все времена, по этой причине позднее, в том числе в Сибири, практиковалось бальзамирование, определенно использовалась мерзлота, а в отдельных случаях создавалась намеренно локальными пятнами на основании знаний о формировании так называемых гольцовых льдов; возможно, непомерно глубокие могильные сооружения на юге Сибири и в Монголии создавались с той же целью – приблизиться, насколько возможно, к многолетнемерзлому горизонту. В этой связи предположение о причине использования охры в погребениях кажется не лишенным смысла.

Другая категория массовых находок личных украшений представлена на Янской стоянке подвесками из зубов животных. Большинство из них имеют сверленое отверстие для подвешивания, нарезки сделаны только в четырех случаях. Они весьма интересны в видовом отношении – полностью преобладают крупные травоядные, а среди них – северный олень, тогда как хищные представлены преимущественно песцом (см. вклейку: с. 13, ил. 12; табл. 4), волк чрезвычайно редок, хотя в фаунистическом материале стоянки прекрасно представлен как посткраниальным, так и краниальным скелетом; имеются и целые черепа (см. вклейку: с. 12, ил. 13). В целом это вполне обычная разновидность украшений, широко представленная в памятниках верхнего палеолита Северной Евразии пространственно и хронологически (Абрамова, 1962; Бадер, 1998; Abramova, 1995; Gvozdover, 1995; Svoboda et al., 1996), в том числе и в Сибири (Астахов, 1999; Деревянко, Рыбин, 2003; Medvedev, 1998). Как справедливо отметил В. С. Житенев (2007), наиболее интересными являются случаи, когда таких подвесок много.

В обзоре материалов Восточной Европы В. С. Житенев обращает внимание на то, что в памятниках раннего и среднего палеолита на этих территориях заметно преобладают подвески из зубов песца/лисицы (Житенев, 2007; табл. 1). Характернейшим примером может служить Сунгирь, где таких подвесок известно более 200, Костенки 15 (около 180 экз.) или Авдеево (175 экз. – Старый объект, 145 экз. – Новый). Стоянок, в материалах которых такие изделия представлены десятками, также довольно много: Зарайская, Костенки 4, 14, 17, Хотылево II, Авдеево и др. На основании планиграфии находок в погребениях Сунгиря и Дольни Вистонице В. С. Житенев предполагает, что порядок использования подвесок из зубов животных связан, прежде всего, с головными уборами и поясами. Это весьма возможно, однако, как уже было отмечено в отношении бус, требует специальных доказательств, поскольку «ожерелья» из клыков песца/лисицы могли быть нашиты на головной убор в сборе либо помещены в могилу непосредственно во время акта погребения и размещены соответствующим образом. В то же время пояса с расшивкой зубами животных известны этнографически на Северо-Западе США и на Чукотке в материальной культуре эскимосов (Степанова, 1949). И в том, и в другом случае использовались передние зубы северных оленей, снятые вместе с кусочком челюсти и пришитые к основе пояса в сборе.

Тем не менее в проанализированных В. С. Житеневым (2007) выборках налицо сознательный выбор определенных классов зубов песца/лисицы, таким образом, людьми верхнего палеолита Русской равнины сбор материала для «украшений» осуществлялся на основании каких-то смысловых значений создаваемой композиции. Подчеркнем еще раз, что в янских материалах травоядные, а среди них северные олени, полностью преобладают,

что также является несомненным признаком сознательного символического поведения.

Говоря об особенностях планиграфического распространения подвесок из зубов животных, В. С. Житенев (2007) обращает внимание в том числе на так называемые кладики из заготовок, отмечая при этом, что не всегда можно с уверенностью трактовать эти скопления как разовый намеренный акт, поскольку происходят они из полузакрытых или открытых комплексов. В качестве примеров тем не менее приведены скопления из Авдеево – либо по 29, либо 14 зубов, и из Зарайской стоянки (32 зуба). Скопления заготовок для подвесок из зубов, обнаруженные при раскопках Янской стоянки, всегда включают в себя семь предметов; таких скоплений обнаружено пять, в четырех из них были собраны резцы северного оленя (в двух случаях молочные).

Можно предполагать, что сверленые подвески из резцов травоядных входили преимущественно в какие-то композиции. Для индивидуальной носки, подобно изделиям из минералов и некоторым костяным (см. вклейку: с. 5, ил. 1), были предназначены подвески с нарезками в корневой области. На основании находок групп подвесок и их заготовок, в которых с заметной повторяемостью представлено по 7 предметов, можно говорить о том, что число «семь» имело в жизни янских людей определенное значение.

Про магию числа «семь» написано огромное количество работ. Нет ни одной религии мира, где семерка не играла бы заметной роли, и ни одного народа, в фольклоре которого она не была бы обыграна как фактор удачи, осторожности и т. д. Существует и обширная археологическая литература на эту тему, в которой обсуждаются истоки этой магии.

Крупный знаток первобытной археологии Ф. Энгельс однажды заметил, что из точных наук в древности развивалась «сперва астрономия» (Энгельс, 1961: 500). Не вполне понятно, как именно ему удалось установить последовательность обретения человечеством фундаментальных знаний об окружающем мире, однако точно известно, что эта идея была благодарно воспринята как руководство к действию и творчески развита первоначально в советской, а затем и российской историографии. Наиболее яркими представителями данного направления являются Б. А. Фролов и В. Е. Ларичев. Поиск астрономических знаний продолжается (Бродянский, 2003; Дворянинов, 2006; Ларичев, 2003; и др.), но, хотя это по-своему увлекательно, мы не станем обсуждать в данный момент ни достоверность выводов, ни материал, привлекаемый для их обоснования.

Б. А. Фроловым в 1965 г. была предложена гипотеза о происхождении «ритма семь», а затем и «магической семерки» в палеолите из наблюдений людей за Луной с последующим выделением времени (семь дней) одной ее фазы. Это сильное заключение, предполагающее созерцательность натуры людей палеолита, наличие у них достаточного количества свободного времени, а также хорошие метеоусловия для наблюдений, характерные для проживания во внеполярной области. Но люди жили и за Полярным кругом, а там на протяжении значительного времени (в полярный день) Луну видно не очень хорошо, а в остальную часть года видно не всегда, потому что пурга на 10–14 дней – явление в тех краях вполне ординарное.

Не только Э. Б. Фролов и В. Е. Ларичев любят рассуждать о древних календарях, вычисляя ход времени по Мальтинской бляхе (Ларичев, 1986), по которой при желании можно вычислить и конец Света. Следует упомянуть, что для нее предложена недавно вполне реалистичная трактовка орнамента как наглядного пособия по разделке шкур/кож на ремни (Прието, Карденас, 2005–2009). Возвращаясь к теме календаря, нельзя не вспомнить о календаре юкагиров, поскольку этот маленький арктический народ, по причине удаленности мест проживания, до последнего времени оставался практически не затронут цивилизацией. Здесь, например, до сих пор в ходу такие малопонятные «цивилизованному» человеку меры расстояния или времени, как «переход» или «бак бензина».

Сведения о календарных знаниях юкагиров, собранные В. И. Иохельсоном в 1901 г. на севере Яно-Индигирской низменности, весьма наглядно подвергают сомнению достоверность календарных вычислений по артефактам эпохи палеолита. Так, В. И. Иохельсон (2005) пишет, что «они исчисляют больше времен года, чем мы». Всего их насчитывают шесть, и границы этих сезонов вряд ли соответствовали в прошлом какой-либо фиксированной дате. Они не считают дней в году, а также недели, и у них не было названия дней недели. Времен года у юкагиров шесть, среди них лето, осень, зима и три весны (1-я, 2-я, 3-я, после которой вновь наступает лето). Начало года считается от (примерно) летнего солнцестояния. Справедливости ради следует отметить, что понятие месяца у юкагиров имелось, и это был лунный месяц (в году – двеннадцать, но это мало о чем говорит, поскольку даже римляне до введения юлианского календаря обходились календарной системой, в которой месяцев было десять).

Таким образом, юкагиры создали типичный календарь, привязанный к хозяйственному циклу и местной фенологии (соответствует ей в точности, по многолетним личным наблюдениям авторов), обычный для этнических групп, в исторической современности практиковавших систему хозяйства, до некоторой степени подобную верхнепалеолити-

ческой. Ни количество дней, ни даже количество недель в таких календарных системах значения не имеет. Именно так обстояли дела и в верхнем палеолите, поэтому вычисление лунных месяцев и недель по узорам на артефактах – просто игра ума.

Тем не менее магия семерки существует и существовала всегда и везде. Рациональное объяснение этому феномену нашел, на наш взгляд, Дж. Миллер (Miller, 1956). Оно основано на физиологии и принципах действия человеческой памяти, т. е. психофизиологически обусловлено. Магическое число семь плюс-минус один или два связано со способностью удерживать в оперативной памяти объекты, явления, понятия. Оптимальное число – семь, по сей причине и чудес света – семь, и в меню компьютерных программ – семь пунктов, магия семерки находит применение в правилах управления персоналом и т. д. (см., например: Букалов, 1999; Скопылатов, Ефремов, 2000).

Вряд ли люди Янской стоянки знали столь глубоко свойства человеческого мозга, но считать они определенно умели. Ритм числа «семь» скорее всего также связан с какими-то счетными операциями. Он может являться мнемоническим средством либо неким символом.

Можно попытаться определить его смысл, обратившись ко всей совокупности данных о личных украшениях, рассматриваемым в настоящей работе, и к некоторым общеизвестным фактам. Прежде всего, следует обратить внимание на фаунистический материал Янской стоянки, в котором одним из наиболее массовых промысловых видов (если не самым массовым) является северный олень (Pitulko et al., 2004; Питулько, 2010). Далее отметим, что в состав краски, производившейся на стоянке, входит жир этого животного, и его же зубы используются наиболее часто для изготовления подвесок наравне с зубами других травоядных, зубы хищных представлены минимально, волк – крайне редко. В то же время на стоянке известны его остатки, в том числе полные черепа, установленные мордой вверх в центре кострища, никогда более не использовавшегося (см. вклейку: с. 12, ил. 13). Таких случаев три, что говорит о специфическом ритуальном/символическом поведении янских людей, оставлявших голову волка в качестве знака (?), возможно, демонстрирующего их право на территорию.

Возможным предположением, в таком случае, будет отождествление этих людей с волками. Волк – злейший естественный враг северного оленя, поедает его, и охотится, во всяком случае зимой, стайно. Он обладает также привычкой выть на Луну или просто на небо, на котором в северном полушарии отлично видно созвездие, которое мы называем Большой Медведицей (а в нем, кстати, семь звезд). Люди, практикующие коллективную охоту на северных оленей, вполне могли найти ассоциативную связь между поведением волков и своим собственным. Возможно, они и называли себя «народ волка».

Заключение

Янская стоянка (стоянки) являются, несомненно, местом постоянного или, по крайней мере, долговременного обитания людей. В то же время очевидно, что территория обитания этой группы населения была достаточно широка, достигая современных Новосибирских островов примерно в 600 км к северу от стоянки.

Набор личных украшений Янской стоянки, рассмотренный в настоящей работе, позволяет сделать ряд важных выводов. Прежде всего, это касается выявленных аналогий. Несмотря на то что они найдены в удаленных территориально и не всегда совпадающих по времени существования объектах, можно определенно утверждать, что при всей разнице в облике каменных индустрий Янская стоянка входит в тот же круг памятников, что и стоянки юга Сибири. Особенно важны в этой связи подвески типа Куртак, в том или ином количестве встреченные в пределах всего региона. Чрезвычайно важным поведенческим моментом является обычай прокрашивания бус/подвесок, впервые проявляющийся около 44 тыс. л. н. на Алтае, но распространенный впоследствии в пределах всего региона вплоть до арктических территорий.

Реконстриированная технология производства бус из бивня мамонта является одной из наиболее совершенных в Северной Евразии. Массовость производства бус двух типов и полное отсутствие на данный момент на стоянке погребальных комплексов показывает, что изделия, часто рассматриваемые как эксклюзивные, на самом деле являются предметом повседневного использования.

Установлено, что в символическом поведении янских людей заметную роль играли числовые ритмы, выраженные в организации композиций из бус и подвесок из зубов животных. Характерной особенностью последних является полное преобладание травоядных видов, в особенности северного оленя. Статистика подобных находок в верхнепалеолитических памятниках Сибири невелика, однако складывается впечатление, что и в других стоянках для изготовления подвесок использовались зубы травоядных. Это отличает, с нашей точки зрения, символическое поведение населения сибирского региона от восточноевропейского, где преобладают, наоборот, зубы хищных.

Характерной особенностью янских композиций из зубов животных является участие в них семи зубов одного вида. Тот же числовой ритм известен

позже в ожерелье из стоянки Мальта, однако реализован с помощью иных средств. Сложное символическое поведение янских людей связано, возможно, с тотемными представлениями.

Благодарности

Авторы считают своим долгом выразить признательность руководству Программы фундаментальных исследований Президиума РАН «Историко-культурное наследие и духовные ценности России» за оказанную поддержку, а также поблагодарить всех, кто принимал участие в очень непростых полевых работах на Янской стоянке, участвовал в обсуждении и обработке материалов. Осуществление значительной части проделанной работы было бы невозможным без многолетней ее поддержки в рамках проекта «Жохов, 2000» фондом Rock Foundation (Нью-Йорк, США). Отдельная благодарность А. О. Машезерской (графика), П. И. Иванову (фотоработы), В. Я. Стеганцевой (обработка изображений). Специальная благодарность А. О. Машезерской за блестящую догадку и экспериментальную проверку на себе эффективности действия «палеорепеллентов».

Список литературы

Абрамова З. А. Палеолитическое искусство на территории СССР. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1962. 151 с.

Астахов С. Н. Палеолит Енисея. Палеолитические стоянки на Афонтовой Горе в г. Красноярске. СПб.: Европейский Дом, 1999. 207 с.

Ауэрбах Н. К., Сосновский Г. П. Материалы по изучению палеолитических индустрий и условия их нахождения на стоянке Афонтова Гора II // Труды Комиссии по изучению Четвертичного периода. № 1. С. 45–114.

Бадер О. Н. Сунгирь. Палеолитические погребения / Н. О. Бадер, Ю. А. Лаврушин (ред.) // Позднепалеолитическое поселение Сунгирь (погребения и окружающая среда). М.: Научный Мир, 1998. С. 5–164.

Березкин Ю. Е. 2007. Мифы заселяют Америку (ареальное распределение фольклорных мотивов и ранние миграции в Новый Свет). М.: О. Г. И. 359 с.

Бродянский Д. Л. Мужские календари из второго Бойсманского могильника (Приморье) // Древние культуры Северо-Восточной Азии. Астроархеология. Палеоинформатика. Новосибирск: Наука, 2003. С. 143–149.

Букалов А. В. Феномен структурирования психоинформационного пространства: иерархия объемов человеческого внимания, памяти и мышления // Соционика, ментология и психология личности. 1999. № 2. С. 3–11.

Волков Р. Б., Широков В. Н., Улитко А. И. Изделия из кости, бивня и рога с верхнепалеолитической стоянки в гроте Бобылек // РА. 2007. № 4. С. 102–106.

Гаккель Я. Я. (ред.). Новосибирские острова. Л.: Гидрометеоиздат, 1967. 212 с.

Герасимов М. М. Мальта. Палеолитическая стоянка. Иркутск, 1931. 18 с.

Григорьева Г. В. Планиграфия бус-нашивок верхнепалеолитического поселения Юдиново // Stratum Plus. 2003–2004. С. 467–481.

Дворянинов С. А. Редчайшая календарная запись ломаными наконечниками стрел // IV Диковские чтения. Материалы научно-практической конференции. Магадан: СВКНИИ СВНЦ ДВО РАН, 2006. С. 96–97.

Деревянко А. П., Рыбин Е. П. Древнейшее проявление символической деятельности палеолитического человека на Горном Алтае // АЭАЕ. 2003. № 3. С. 27–50.

Деревянко А. П. и др. Природная среда и человек в палеолите Горного Алтая. Новосибирск: ИААЭТ СО РАН, 2003. 447 с.

Диков Н. Н. Археологические памятники Камчатки, Чукотки и Верхней Колымы (Азия на стыке с Америкой в древности). М.: Наука, 1977. 391 с.

Диков Н. Н. Древние культуры Северо-Восточной Азии (Азия на стыке с Америкой в древности). М.: Наука, 1979. 352 с.

Житенев В. С. Подвески из зубов животных ранней и средней эпох верхнего палеолита Русской равнины / Н. Б. Леонова (ред.) // Проблемы археологии каменного века (к юбилею М. Д. Гвоздовер). М.: Дом еврейской книги, 2007. С. 40–61.

Иванов С. В. Материалы по изобразительному искусству народов Сибири XIX – начала XX в. // Труды ИЭ (н. с.). 1954. Т. XXII. 838 с.

Иванов С. В. Орнамент народов Сибири как исторический источник // Труды ИЭ (н. с.). 1963. Т. 81. 505 с.

Иохельсон В. И. Юкагиры и юкагиризованные тунгусы. Новосибирск: Наука, 2005. 674 с.

Ларичев В. Е. Мальтинская пластина из бивня мамонта – счетная календарно-астрономическая таблица древнекаменного века Сибири // Проблемы реконструкций в археологии. Новосибирск: Наука, 1986. С. 45, I–XVI.

Ларичев В. Е. Преждевременное открытие (к началу изучения древнекаменного века Сибири) // Древние культуры Северо-Восточной Азии. Астроархеология. Палеоинформатика. Новосибирск: Наука, 2003. С. 162–186.

Лбова Л. В. Палеолит Северной зоны Западного Забайкалья. Улан-Удэ: БНЦ СО РАН, 2000. 240 с.

Лисицын Н. Ф. Поздний палеолит Чулымо-Енисейского междуречья. СПб.: Петербургское востоковедение, 2000. 231 с.

Малори Ж. П. Последние короли Туле. СПб.: Петрополис, 2002. 908 с.

Окладников А. П. Буреть – новая палеолитическая стоянка на Ангаре // СА. 1940. № 5. С. 290–293.

Питулько В. В. Основные сценарии раскопочных работ в условиях многолетнемерзлых отложений (по опыту работ на Жоховской и Янской стоянках, Северная Якутия) // АЭАЕ. 2008. № 2 (34). С. 26–33.

Питулько В. В. Расселение и адаптации древнего человека на Северо-Востоке Азии в позднем неоплейстоцене / А. П. Деревянко, А. Б. Куделин, В. А. Тишков // Адаптация народов и культур к изменениям природной среды, социальным и техногенным трансформациям. Программа фундаментальных исследований Президиума РАН. М.: РОССПЭН, 2010. С. 38–46.

Питулько В. В., Иванова В. В. Производство и применение красного минерального красителя на палеолитической Янской стоянке (Восточная Якутия) // III Северный Археологический Конгресс. 8–12 ноября 2010 г. Ханты-Мансийск. Тезисы докладов. Ханты-Мансийск, 2010. С. 46–47.

Питулько В. В., Павлова Е. Ю. Возраст памятников палеолита Яно-Индигирской низменности и особенности радиоуглеродного датирования отложений ледового комплекса / Г. И. Зайцева, М. И. Кулькова (ред.) // Радиоуглерод в археологических и палеонтологических исследованиях. Материалы конференции, посвященной 50-летию радиоуглеродной лаборатории ИИМК РАН. 9–12 апреля 2007 г. Санкт-Петербург. СПб.: ТЕЗА, 2007. С. 155–161.

Питулько В. В., Павлова Е. Ю. Геоархеология и радиоуглеродная хронология каменного века Северо-Восточной Азии. СПб.: Наука. 264 с.

Питулько В. В. и др. Особенности вертикального распределения вещества в краевых областях мерзлотных полигонов и его значение для датирования четвертичных отложений криолитозоны / О. П. Корсакова, В. В. Колька (ред.) // Материалы VII Всероссийского совещания по изучению четвертичного периода: «Квартер во всем его многообразии. Фундаментальные проблемы, итоги изучения и основные направления дальнейших исследований». 12–17 сентября 2011 г. Апатиты: Геологический ин-т Кольского НЦ РАН, 2011. Т. 2. С. 149–153.

Прието А., Карденас Р. А. Мальтинская пластинка из бивня: технологический чертеж эпохи палеолита // Stratum Plus. 2005–2009. № 1. С. 334–336.

Рогачев А. Н., Праслов Н. Д. (ред.). Палеолит Костенковско-Борщевского района на Дону. 1879–1979. Л.: Наука, 1982. 285 с.

Семенов С. А. Развитие техники в каменном веке. Л.: Наука, 1968. 362 с.

Синицын А. А. Стилистический аспект анализа. Кремневый инвентарь, орнаменты, нательные украшения / А. П. Деревянко, М. В. Шуньков (ред.) // Актуальные вопросы Евразийского палеолитоведения. Новосибирск: ИААЭт СО РАН, 2005. С. 172–178.

Скопылатов И. А., Ефремов О. Ю. Управление персоналом. СПб.: СПбГУ, 2000. 24 с.

Слободин С. Б. Археология Колымы и Континентального Приохотья в позднем плейстоцене и раннем голоцене. Магадан: СВКНИИ ДВО РАН, 1999. 234 с.

Степанова М. В. Два эскимосских пояса из собрания МАЭ // Сборник МАЭ. 1949. Вып. XI. С. 62–72.

Ташак В. И. Символизм в начале верхнего палеолита Западного Забайкалья // Записки ИИМК РАН. 2009. № 4. С. 50–62.

Туголуков В. А. Кто вы, юкагиры? М.: Наука, 1979. 152 с.

Фролов Б. А. Числа в графике палеолита. Новосибирск: Наука, 1974. 237 с.

Хлопачев Г. А. Бивневые индустрии верхнего палеолита Восточной Европы. СПб.: Наука, 2006. 261 с.

Abramova Z. A. L'art Paléolitique d'Europe Orientale et de Sibérie. Grenoble: Gérôme Millon Editions, 1995. 367 p.

Basilyan A. E., Anisimov M. A., Nikolskiy P. A., Pitulko V. V. Wooly mammoth mass accumulation next to the Paleolithic Yana RHS site, Arctic Siberia: its geology, age, and relation to past human activity // Journal of Archaeological Science. 2011. Vol. 38. P. 2461–2474.

Gvozdover M. Art of the Mammoth Hunters: The Finds from Avdeevo (Oxbow Monograph 49). Oxford: Oxbow Books, 1995. 186 p.

Medvedev G. I. Art from Central Siberian Palaeolithic sites / A. P. Derevyanko (ed.). The Paleolithc of Siberia. Urbana and Chicago: University of Illinois Press, 1998. P. 132–137.

Miller G. A. The Magical Number Seven, Plus or Minus Two: Some Limits on our Capacity for Processing Information // Psychological Review. 1956. № 63. P. 81–97.

Pitulko V. V. The Berelekh Quest: A Review of Forty Years of Research in the Mammoth Graveyard in Northeast Siberia // Geoarchaeology. 2011. Vol. 26 (1). P. 5–32.

Pitulko V. V., Nikolsky P. A., Girya E. Y., Basilyan A. E., Tumskoy V. E., Kulakov S. A., Astakhov S. N., Pavlova E. Y., Anisimov M. A. Yana RHS Site: Humans in the Arctic before the Last Glaciation // Science. 2004. Vol. 303 (5654). P. 52–56.

Schuster C., Carpenter E. Patterns that Connect // New York: H. N. Abrams Publishers, 1996. 313 p.

Svoboda J., Ložek V., Vlček E. Hunters between East and West. The Paleolithic of Moravia. New York and London: Plenum Press, 1996. 307 p.

Taborin Y. Langage sans parole. Paris, 2004. 217 p.

Tinoco J. Dietary requirements and functions of a-linolenic acid in animals // Progress in Lipid Research. 1982. № 21. P. 11–45.

White R. Ivory personal ornaments of Aurignacian age: technological, social, and symbolic perspective // Hahn J., Menu M., Taborin Y., Walter P., Widemann F. (eds). Le Travail et l'usage de l'ivoire au Paleolithique Supereiur. Ravello: Centro Universitario Europeo per I Bene Culturali, Actes de la Table Ronde. 1995. P. 29–62.

White R. Intégrer la complexité sociale et opérationnalle: la construction matériale d'identité sociale à Sungir // Camps-Fabrer H. Préhistoire d'os. Provence: L'Universite de Provence, P. 319–333.

Примечания

[1] Институт истории материальной культуры РАН, Санкт-Петербург.

[2] Арктический и антарктический НИИ, Санкт-Петербург.

[3] Геологический институт РАН, Москва.

[4] ВНИИ океангеологии им. И. С. Грамберга, Санкт-Петербург.

А. П. Бужилова[1, 2], *М. В. Добровольская*[1], *М. Б. Медникова*[1]

ПОЗДНЕПАЛЕОЛИТИЧЕСКИЕ АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ РУССКОЙ РАВНИНЫ В ИССЛЕДОВАНИИ ИСТОКОВ КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА

Введение

Изучение различных признаков погребального обряда у наиболее ранних представителей верхнего палеолита имеет важное значение для решения целого ряда вопросов, связанных с пониманием характера первобытной культуры. Культурный контекст погребения, наличие или отсутствие инвентаря и охры при скелетах, трупосожжение или трупоположение – все это, как и многое другое из элементов погребального обряда, результат проявления сложных религиозных представлений и верований древнего населения.

Для выяснения эволюции в развитии той или другой стороны погребального обряда крайне важно детальное изучение наиболее ранних свидетельств погребальных манипуляций с телом умершего.

В нашей работе рассмотрены антропологические материалы из всемирно известных позднепалеолитических памятников Сунгирь и Костенки VIII (Тельмановская стоянка) с целью реконструкции на основе результатов биоархеологического исследования мотивации того или иного вида культурной деятельности в погребальной практике.

Кремневый инвентарь сунгирской стоянки, на которой были обнаружены погребения взрослого мужчины и детей, демонстрируют черты сходства с инвентарем древнейших стоянок костенковской группы на Среднем Дону, в особенности памятника Костенки I (Бадер, 1984). Как утверждает автор раскопок, перед нами, возможно, единая культурная общность, широко расселившаяся в бассейнах Дона, Клязьмы и, вероятно, Печоры. Рассматриваемые памятники имеют определенные черты сходства и с синхронными материалами т. н. позднеселетской культуры на западе Европы (Бадер, 1984).

Если подойти к хронологии более строго, то следует отметить, что несколько десятков палеолитических памятников, в число которых входит и Тельмановская, расположенных на Среднем Дону (Костенковско-Боршевский район), в целом отражают всю эпоху верхнего палеолита. Однако каждый из них может быть соотнесен или с узким периодом существования, или представлять группу разновременных стоянок, или демонстрировать непрерывное и долгое существование культуры.

Таким образом, культурный контекст этих памятников чрезвычайно труден для интерпретации. Очевидно, привлечение дополнительной информации, полученной из других источников, например, антропологии, может стать важным в решении вопросов реконструкции культурной деятельности человека.

Погребение сунгирского мужчины: материалы к реконструкции захоронения

К погребениям на Сунгире обращались многие исследователи, в том числе и антропологи; последние – благодаря хорошей сохранности трех из девяти обнаруженных на этом памятнике скелетов. Результаты полного антропологического исследования впервые были опубликованы в коллективном сборнике в 1984 г. В конце 90-х гг. костные останки подверглись дополнительным исследованиям современными методами (Homo sungirensis, 2000). В частности, это дало возможность поднять вопрос о ритуальном значении погребальных комплексов и возможном жертвоприношении детей, захороненных в совместном погребении (Бужилова, 2000).

В 2009 г. в результате пересмотра некоторых считавшихся утерянными частей скелета взрослого сунгирца появилась еще одна возможность обсудить причины смерти не только детей, но и взрослого индивида в контексте погребального обряда (Trinkaus, Buzhilova, 2010).

Известное позднепалеолитическое захоронение мужчины на Сунгире отличается многочисленными проявлениями обряда, что дает основание судить о сложной и многогранной погребальной практике в эпоху палеолита и очевидной неординарности погребенного.

Судя по реконструкции автора раскопок – Н. О. Бадера (1998), над основным захоронением располагался камень-валун и череп человека (женщины). Захоронение взрослого мужчины выделяется наличием угольной выстилки дна ямы, засыпкой костяка охрой, а также многочисленными костяными нашивками (исчисляющимися в тысячах) на многослойной верхней одежде, наличием костяных амулетов и прочих ритуальных атрибутов на теле погребенного. Тело располагалось на спине в вытянутом положении со скрещенными в области

таза руками. По мнению специалистов, оно было практически не потревожено за исключением области груди, кости которой пострадали посмертно от процессов смены температуры в периоды эпохальных климатических изменений. О. Н. Бадер (1998) отмечает, что в области колен лежали костяной и каменный ножи.

Исследователи, анализировавшие этот материал в разное время, обращали внимание на очевидный зрелый возраст умершего, что подтверждалось преимущественно признаками на черепе (Хрисанфова, 1984. С. 102). По результатам последней комплексной оценки с применением разнообразных морфологических критериев, индивид Сунгирь 1 умер в зрелом возрасте, разменяв пятый десяток (Бужилова и др., 2000).

При анализе погребального комплекса были предприняты попытки оценки археологического возраста погребения методом радиоуглеродного анализа. Разброс значений оказался наибольшим при оценке непосредственно костной ткани погребенного. Суммируя данные разных лабораторий, можно сказать, что погребение было организовано примерно 20–28 тыс. л. н. (некалиброванные даты, по Homo sungirensis, 2000), в то время как данные археологии сужают этот интервал на четыре тысячи лет в сторону удревнения. Последние данные прямого датирования костяка с использованием пробоподготовки в ультрафиолете дали сходную с представлениями археологов дату 27,050 ± 210 (KIA-27006) (Dobrovolskaya et al., 2011).

Неординарность погребальных комплексов на Сунгире потребовала специальной оценки различных костных повреждений – травм, которые могли бы объяснить причину смерти индивида.

При внимательном исследовании костей черепа индивида Сунгирь 1 было обнаружено несколько дефектов. Г. Ф. Дебец (1967. С. 162) был первым, кто отметил на лобной кости «выпуклость по медианной линии, происхождение которой неясно». Проведенная нами дифференциальная диагностика показала, что в области расположения метопического шва в верхней его части ближе к месту нахождения переднего родничка фиксируется фрагментарный краниостеноз протяженностью около 31 мм, обусловленный преждевременным заращением или аномальным отсутствием фрагмента метопического шва. Известно, что метопический шов, так же как и передний родничок ко второму-пятому году жизни человека должны закрываться, так как происходит окостенение хрящевой ткани. При преждевременном зарастании части метопического шва или при аномальном отсутствии этого фрагмента, задержка роста костей происходит в направлении, перпендикулярном к зоне аномалии, а компенсаторный рост черепа осуществляется в сторону сохранившихся швов (Михайлов, 1989). Таким образом, при росте черепа преждевременно закрытая область приводит к образованию выпуклого по форме дефекта, что мы и наблюдаем на примере индивида Сунгирь 1. По клиническим данным известно, что нарушения процесса формирования черепных швов определяются различными причинами, в том числе эндокринными дисфункциями, внутриутробными инфекциями, последствиями родовых травм, нарушениями обмена веществ, такими, как рахит, гипофосфатемия и гипертироидизм (Barnes, 1994). Для взрослого индивида эта патология не могла стать причиной смерти.

Помимо этого дефекта, на лобной кости справа рядом с фрагментарным краниостенозом был отмечен скол костной ткани, овальный по форме и не более 40 мм в длину. Края его, как и недостающая часть костной ткани, подвергнуты реставрации мастикой, которая даже после удаления методом плавления нарушает сохранность костных краев и не позволяет проводить исчерпывающий палеопатологический анализ. Несмотря на это, удалось провести дифференциальную диагностику и показать, что этот дефект не прижизненная травма, а следствие посмертного повреждения черепа в ходе раскопок. Помимо результатов судебно-медицинского анализа, у нас есть подтверждение, полученное непосредственно от автора раскопок. Из записок О. Н. Бадера (1998. С. 10) становится ясным, что «погребение было обнаружено ниже культурного слоя при контрольном исследовании подстилающего грунта. До момента обнаружения черепа работа велась путем тонкого соскабливания земли лопатой; лопата и натолкнулась на череп, оставив на нем след, но не разрушив его».

Следует подчеркнуть, что грунт был твердым и вязким, и позднее при расчистке костяков использовались специальные деревянные палочки, чтобы не повредить костей скелета обнаруженного индивида.

Кости посткраниального скелета при оценке их на предмет прижизненных повреждений не дали положительного результата. Однако в ходе инвентаризации сохранившихся после раскопок фрагментов скелета было обнаружено отсутствие нескольких мелких костей скелета, и в т. ч. первого и второго грудных позвонков (Бужилова, Лебединска, 2000. С. 49–50). В 2009 г. часть этих костей была обнаружена в отдельном пакете вместе с некоторыми фрагментами посткраниального скелета из другого позднепалеолитического памятника. Вновь «обретенные» останки сунгирца были подвернуты тщательному исследованию после их очистки от слоя погребальной почвы.

В результате на первом грудном позвонке с левой стороны был зафиксирован подпрямоугольной

формы дефект от колющего удара, нанесенного под углом около 40° по отношению к вертикальной оси позвоночника. Размер дефекта не превышает 10 х 2 мм (см. вклейку: с. 14, ил. 1). Края его сглажены без острых сколов, что не характерно для посмертных повреждений сухой (без мягких тканей) кости. Таким образом, обнаруженный дефект позвонка мог быть следствием ранения в область груди при жизни индивида и незадолго до его смерти, так как каких-либо отчетливых следов заживления костной ткани не отмечается.

Судя по конфигурации дефекта и анатомического расположения самого позвонка, удар был нанесен в подключичную область с левой стороны. Объект, вонзившийся в кость, летел с большой скоростью. Заметим сразу, что повреждения на левой ключице, так же как и на сохранившихся ребрах, не обнаружены. Для идентификации орудия и для подтверждения общего заключения о прижизненной травме был проведен анализ позвонка методом микрорентгенотомографии. В анализ были включены параметры с большим число виртуальных «срезов» костной ткани в трех плоскостях, имитировавших гистологический срез. Это позволило не разрушить ценный научный объект, как происходит при традиционном гистологическом анализе. В качестве оборудования использовался микротомограф SkyScan 1172, находящийся в ведении геологического факультета МГУ[3].

Уже на одном из вертикальных срезов можно было «прочитать» форму и вычислить размеры внутреннего дефекта позвонка. Отсутствие следов заживления костной ткани подтвердило первоначальное мнение о смертельном характере травмы.

Дефект оказался подтреугольной формы с глубиной (т. е. высотой треугольника) не более 6,5 мм, с более или менее равными противоположными сторонами и с третьей, самой длиной стороной не более 10 мм (что и составило длину наружной части дефекта) (см. вклейку: с. 14, ил. 1). Толщина треугольной формы объекта, нанесшего такое разрушение, была незначительной, так как повреждение кости в этой плоскости не более 2 мм толщиной. Возможно, травма костной ткани позвонка сунгирца произошло от прямого воздействия навершия наконечника дротика треугольной формы с равными сторонами (размеры ранения дают возможность подобрать аналогии из имеющейся коллекции артефактов). Глубина раны в теле позвонка не более 7 мм, т. е. незначительная, и не могла сама по себе стать причиной смерти индивида. По-видимому, были задеты жизненно важные кровеносные сосуды в области шеи.

При анализе топографии венозных сосудов и расположения ранения можно предположить, что каменный наконечник мог задеть или одну из ветвей яремной вены, или даже край сонной артерии. Как известно, кровотечение из общей сонной артерии может стать причиной скорой гибели. Даже в современных условиях почти все такие раненые погибают на месте. Вероятно, потеря крови послужила причиной смерти этого человека. Можно выдвинуть различные версии произошедшего: от случайного ранения на охоте до ритуального убийства. Однако без наличия дополнительных сведений все заключения такого рода будут весьма спекулятивными.

Заметим, что для этого периода каменного века фиксируется несколько захоронений, объединяемых тем, что в них присутствует красная охра. В некоторых случаях охрой покрыто все тело погребенного, как у индивида Сунгирь 1; нередко выделяются какие-либо анатомические участки тела (Zilhão and Trinkaus, 2002; Formicola, 2007). Семантика применения красной охры обсуждается в разноплановых дискуссиях, но так и не предложено устраивающее всех объяснение появления такой особенности в погребальной практике человека (культ огня, крови и проч.).

В контексте обнаруженных деталей рисуется картина смерти индивида Сунгирь 1: его рана, задевшая один из кровеносных сосудов, должна была сопровождаться обильной кровопотерей, что, вероятно, и привело к гибели. Картина скоропостижной смерти пожилого (а значит, уважаемого) члена общества, залитого кровью, могла побудить членов группы захоронить погибшего, имитируя пролитую кровь большим количеством охры. Судя по равномерности распределения ее по костям скелета, не исключена вероятность, что в процессе погребальных приготовлений тело могли обмазать составом охры с жиром помимо очевидной подсыпки красной охрой самой ямы в захоронении.

Скопление обугленных костей человека из западного (южного) жилища Тельмановской стоянки

Многослойная позднепалеолитическая Тельмановская стоянка начала исследоваться еще в предвоенное время П. П. Ефименко (Ефименко, Борисковский, 1957. С. 79). В 50–60-е гг. под руководством А. Н. Рогачева Костенковским отрядом экспедиции ЛОИА АН СССР исследования были продолжены. В период полевого сезона 1959 года «на небольшом участке на границе кв. И-52, И-53, З-52 в культурном слое было обнаружено скопление интенсивно обожженных черепных костей человека» (Рогачев, 1960. С. 41). В наше время прямое радиоуглеродное датирование обугленных костей черепа человека дало дату 23020±320 (OxA-7109) (Синицын и др., 1997. С. 50).

Ранее приводились свидетельства в пользу того, что некоторые погребения мустьерского и верхнепалеолитического времени ассоциируются с очагами или демонстрируют следы локального обугливания. Это послужило основой для предположения о семантической (культовой?) связи между останками погребенного и очагом (Обермайер, 1913. С. 214, 492). Поэтому мы отнеслись с особым вниманием к возможности рассмотреть следы присутствия огня на костях индивидов из жилища Тельмановской стоянки в связи с погребальной обрядностью.

Скопления фрагментированных костей из второго слоя южного (западного) жилища содержат мелкоразмерные части костей скелета, в разной степени видоизмененные огнем.

Цветность костей неодинакова. В скоплении присутствует незначительное число полностью кремированных фрагментов (серовато-беловатого оттенка и серого цвета). Все светлые фрагменты костей представляют трубчатые кости (см. вклейку: с. 15, ил. 2). До проведения микроскопического анализа судить о том, относятся они к человеку или животному, преждевременно. Подавляющее большинство обнаруженных в этом слое фрагментов окрашено в темно-бурые, светло-бурые и черные цвета.

Как известно, в практике криминалистических экспертиз цветность кости используется для реконструкции температуры обжига (Звягин, 2000. С. 341; Steward, 1979. С. 59; Walker, Miller, 2005. С. 222). Фрагменты темных оттенков отражают процесс термической обработки около 200–300°С. Светло-серые фрагменты формируются при температуре около 800°С. Проведенные ранее экспериментальные данные показали, что при прокаливании сухой кости динамика цветности существенно отличается от изменения окраски при сжигании сырой кости. Поэтому основывать мнение о температуре обжига только на показателях цветности рискованно. Необходимо учитывать хрупкость костных фрагментов как добавочный проверяющий признак. В данном случае костная ткань сохранила свою упругость, не крошится, фрагменты не разделяются на более мелкие. Отсутствие деформирующих трещин также указывает на то, что обжиг и обугливание происходили тогда, когда кость была уже *in situ* и на ней не было мягких тканей. Нами не обнаружены следы преднамеренного освобождения скелета от мягких тканей, поэтому можно с большой долей уверенности предположить, что обжигу (около 300°С и около 800°С) подверглись уже скелетированные останки. Таким образом, намечается две группы костей, подвергнутые как относительно менее, так и более высокой температуре.

Среди фрагментов костей выделены кости черепа человека (см. вклейку: с. 15, ил. 2). Заметим, что среди них не встречены оттенки серого и белого каления, как следствие высокой температуры обжига. Также важно отметить, что на некоторых фрагментах следы термического воздействия неравномерны. Цветность фрагмента кости может варьировать от темно-бурого до обычной окраски без следов температурного воздействия. Следы обугливания располагаются как на внешней, так и на внутренней поверхностях костей черепа, а также на поверхности сломов фрагментов, что указывает на воздействие огня уже на фрагменты черепа, а не на череп в целом. Ни на одном из исследованных фрагментов не встречены термические деформации в виде трещин или измененной анатомической формы.

В данном исследовании мы предприняли попытку топографической оценки фрагментов серого каления и обугленных костей. К сожалению, не все скопления костей сохранили шифровки с точными привязками к квадратам раскопок. На чертежах локализация костей также не отражена. Известно лишь, что скопления располагались примерно в двух метрах от центрального кострища жилища. Возможно, часть костей происходит из этого кострища. Большинство же фрагментов подверглись лишь незначительному воздействию температуры, т. е. располагались на периферии огня.

Все приведенные факты и предположения позволяют реконструировать ситуацию, в результате которой произошло обугливание и кремирование костей.

Скелетированные останки индивидов (не менее двух) находились в жилище. Обугливание уже фрагментированных частей человеческих костей произошло в одно и то же время, на что указывает сходный характер обугливания фрагментов. Как показали раскопки А. Н. Рогачева, массовое скопление кремня (обожженного в том числе) и костей находилось на одном уровне – дневной поверхности жилища в непосредственной близости от скопления костных фрагментов. Исследователь отмечает окрашенность охрой квадратов И-53 и И-54 (Рогачев, 1960. С. 40). Эти квадраты либо соответствуют расположению костных фрагментов, либо непосредственно прилегают к ним. Не строя предположений, отметим, что охра практически маркирует расположение костных фрагментов. На самих фрагментах следов красных оттенков обнаружено не было. В этом контексте присутствие скелетированных останков в жилище, и прежде всего черепов, может быть рассмотрено как одно из проявлений культовой практики.

Итак, проведенное исследование представляет новую категорию палеоантропологических находок для палеолита Европейской части России – скеле-

тированные останки людей в жилище. Вероятно, к известным аналогиям могут быть отнесены некоторые находки, которые, как правило, были идентифицированы при повторном пересмотре археозоологических материалов из слоев стоянок:

1. Диафиз бедренной кости из слоя стоянки Дольни Вестонице 35 (OxA8292 22840±200BP) (Trinkaus et al., 1999. С. 167);

2. Изолированная левая бедренная кость вблизи очага Пшедмости 27 (Ulrich, 1996. С. 44) и некоторые другие фрагментированные останки этого же памятника.

Изолированный диафиз бедренной кости из погребения детей на Сунгире также может быть рассмотрен в контексте находок Тельмановской стоянки, так как на нем были обнаружены следы неоднократного использования, что свидетельствует о том, что этот объект долгое время «жил» среди людей, а не был сразу же захоронен (Козловская, 2000. С. 436).

Свидетельство трепанации черепа на фрагменте, обнаруженном в слоях Тельмановской стоянки

Доисторические операции на краниальном своде неоднократно становились поводом для частных и обобщающих публикаций. В них обсуждались особенности оперативного вмешательства на черепе человека, процесс заживления и перспективы выживания после такой операции. В научной литературе прочно утвердилось представление о том, что трепанация черепа принадлежит к числу древнейших операций в истории человечества (Медникова, 2001, 2004; Trepanation.., 2003). В настоящее время различают несколько видов трепанаций в зависимости от формы и глубины повреждения, среди них т. н. поверхностные или символические трепанации.

Специализированное исследование хронологии и географии поверхностных прижизненных повреждений на своде черепа выявило глубокую древность этой традиции и заставило предполагать действительно символическую и сакральную подоплеку таких манипуляций с телом человека, представлявших собой разновидность скарификации (Медникова, 2001. С. 125; 2003. С. 147; 2007. С. 48). Глубокие шрамы могли наноситься в строго определенном месте головы в момент прохождения обряда посвящения и в знак приобретения нового статуса.

До настоящего времени самым древним случаем прижизненной хирургической трепанации считается пример из мезолитической Васильевки на Украине. Заслуга в идентификации этой трепанации принадлежит И. И. Гохману (Гохман, 1966. С. 25). Этот случай был параллельно описан на страницах журнала «Вопросы антропологии» учеником Д. Г. Рохлина В. А. Гойхманом (1966. С. 111–118). Убедительно доказано, что операция выполнена сверлением за годы до смерти пациента.

В настоящий момент этот случай остается самым ранним опубликованным примером прижизненного трепанирования в Евразии, с учетом прямого датирования скелетных останков из данного погребения – 10,060+105 BP OxA-3807 (Jacobs, 1993).

В поле внимания Ильи Иосифовича Гохмана находились и другие, не менее уникальные палеоантропологические материалы, связанные с трепанационной проблематикой. На протяжении долгих десятилетий И. И. Гохман заботливо сохранял чрезвычайно фрагментарные и сложные для изучения традиционными морфологическими методами скелетные останки Homo из раскопок Тельмановской стоянки. Некоторые фрагменты вызывали его особый интерес и неоднократно демонстрировались коллегам. Илья Иосифович щедро делился своими соображениями, планировал написать отдельную работу, но, к сожалению, методический уровень антропологии и плохая сохранность находок долгое время заставляли откладывать реализацию этих планов, так и не воплотившихся в публикации.

Развитие методик недеструктивного изучения скелетного материала в последние годы открывает новые возможности. Таким методом стала цифровая микрофокусная рентгенография – новейший способ оценки состояния костной ткани при патологических и деструктивных процессах, позволяющий исследовать мелкие и малоконтрастные детали изображения костных элементов при значительном увеличении объекта без нарушения его анатомической формы.

В рамках данного сообщения особого внимания заслуживает фрагмент свода черепа из Тельмановской стоянки, ранее склеенный из трех частей (двух более крупных и одной более мелкой) под № И-52, И-52, И-53, что позволяет определить топографию их залегания (см. вклейку: с. 16, ил. 3). Максимальная длина реконструированного фрагмента – 83 мм, его ширина – 58 мм. В своем отчете автор раскопок отмечает, что в квадрате И-53 обнаружен «необожженный обломок черепа (6х4 см) с круглой вмятиной снаружи» (Рогачев, 1960. С. 71).

По характерным особенностям экзо- и эндокрана рассматриваемый объект может быть ассоциирован с верхне-центральной частью лобной кости (т. н. чешуей). Идентификации фрагмента способствует сохранность венечного шва на значительном протяжении справа и рельеф со стороны эндокрана. Например, характерный для теменных костей сосудистый рисунок отсутствует.

В центральной части склеенного участка свода с внешней стороны можно видеть область локального понижения костной поверхности подокруглой формы, окаймленного зоной васкулярной реакции, что отражает местное усиление кровоснабжения. Вертикальное расстояние от верхнего края фрагмента до углубления – порядка 28 мм. Диаметр углубления достигает 10 мм при максимальной глубине в центральной части до 2 мм. При соотнесении с общей конфигурацией сохранившейся части лобной кости (венечный шов вверху) ямка локализуется в стороне от центра кости ближе к дистальной части, чем к орбитальной; со стороны эндокрана на фрагменте не сохранился лобный крест; хотя лобный бугор не акцентирован, его область определяется достаточно хорошо. С учетом выделенных признаков – это, по-видимому, правая часть лобной чешуи.

При визуальном рассмотрении с правой стороны фрагмента в его верхней части заметна возможная зажившая травма продолговатых очертаний: 8 мм в длину, до 1,5 мм в ширину. Контур ее прямой, но дно поверхности повреждения неровное. На сломе кости, прилегающем к дефекту, также видно небольшое локальное понижение костной поверхности.

Микрофокусная рентгеносъемка производилась в режиме 20 кВ, 120 мкА, время экспозиции 15 с. Полученные изображения помогают прояснить характер наблюдаемых на лобной кости изменений.

Во-первых, предположение о прижизненной травме справа, по-видимому, не имеет под собой оснований. Очевидно, перед нами результат разрушительных посмертных процессов.

Тем больший интерес представляет рассмотрение округлого повреждения в центре лобной кости. На рентгенограмме выявляется обширная зона склеротизации (см. вклейку: с. 16, ил. 3). Это означает, что ямка в центральной части лба появилась при жизни. Мало того, прошел успешный процесс заживления этого округлого по форме шрама, затронувшего не только тонкие в этом месте свода мягкие ткани, но и костную ткань, включая верхнюю пластинку компакты и частично слой спонгиозы. Повреждение могло быть нанесено за месяцы и даже за годы до смерти индивидуума.

Здесь мы подходим к следующему моменту: необходимости возрастной идентификации. Исходя из состояния шва, это был молодой индивид, и его венечный шов еще не был облитерирован. Судя по толщине чешуи лобной кости, этот фрагмент мог принадлежать как ребенку, так и индивиду в возрасте старшего подростка или молодого взрослого.

К сожалению, архивные данные не дают нам веских оснований связывать с этим индивидуумом другие фрагменты, обнаруженные при раскопках, но даже самые приблизительные оценки позволяют понять, что краниальные фрагменты с Тельмановской стоянки принадлежали как минимум двум взрослым людям в возрасте *adultus*. Один из них мог быть обладателем интересующего нас фрагмента лобной кости, в центре которой встречен хорошо заживший дефект округлой формы.

Итак, цифровая рентгенография убедительно демонстрирует, что углубление на лобной кости появилось при жизни. Склеротизация зоны вокруг этой ямки говорит о полном заживлении этого поверхностного повреждения. Морфологических проявлений инфекции не наблюдается. Точно так же можно отвергнуть версию онкологического заболевания, поскольку в таком случае разрушения шли бы изнутри, из диплоэ, а не со стороны внешней компактной пластинки и сопровождались бы не локальной поротизацией окаймляющей наружной поверхности, а образованием глубинной сети кровеносных сосудов. От колющей или тупой травмы повреждение отличает отчетливая округлая форма в виде кратера с ровными краями по периметру углубления. Наиболее часто травмы такой формы сопровождаются радиальными разломами (трещинами) по периметру дефекта, и края углублений при вдавленном переломе могут заживляться «рваным» краем. А ровная округлая форма дефекта (как в нашем случае) может наблюдаться лишь при полном переломе внешней и внутренней пластинки черепа от удара значительной силы с частыми радиальными трещинами по периметру. В нашем же случае потревожена только верхняя пластинка черепа с незначительным и равномерным удалением части диплоэ.

Итак, перед нами – поверхностный, глубокий шрам несколько справа от центра лобной кости взрослого индивидуума вследствие, по-видимому, инструментального воздействия.

В верхнем палеолите такие шрамы встречались, и они были интерпретированы как вероятные последствия символического трепанирования (Медникова, 2002. С. 138; 2003. С. 151; 2004. С. 125; 2007. С. 48–52).

Е. Влчек опубликовал информацию о странных травмах на некоторых мужских черепах из Дольни Вестонице (краниумы DV 13, 11–12, 16) (Vlcek, 1995. P. 209). Чешский исследователь предположил, что эти повреждения были получены подростками, проходившими инициацию и вступавшими в ритуальное противоборство, в котором они и могли быть травмированы.

Однако абсолютно идентичное расположение шрамов (по два шрама у каждого – в области брегмы и чуть справа от центра лобной кости), на наш взгляд, говорит о преднамеренном характере шрамирования у моравских кроманьонцев (Медникова,

2003. С. 151–152). Характерно, что такие рубцы не встречены на женских черепах, а только у взрослых мужчин.

Мало того, антропологические критерии позволили нам точно определить возраст символического трепанирования в популяции кроманьонцев южной Моравии. В тройном погребении Дольни Вестонице II символические трепанации обнаружены у юноши DV13, скончавшегося в 17–19 лет, и не наблюдаются у юноши DV14, скончавшегося в 16–17 лет (половозрастные определения приводятся по каталогу Sladek V. et al., 2000). Очевидно, если символические трепанации сопряжены с возрастными испытаниями, ритуалы происходили примерно в 17 лет. Хотя пол индивидуума DV15 в относительно недавней обобщающей публикации остается дискуссионным (Sladek V. et al., 2000), чаще всего он оценивается как женский. Женщина (?) DV15, умершая в 20-летнем возрасте, не проходила испытаний, подобно индивидууму DV13. Напротив, мужчина DV16, скончавшийся в 45–55 лет, задолго до смерти прошел процедуру символического трепанирования.

На наш взгляд, локализация дефектов на мужских черепах Дольни Вестонице в верхней части головы (область брегмы) сходна с локализацией углубления, описанного Г. Ульрихом на черепе верхнепалеолитического «шамана» Брно II. Это погребение давно привлекло внимание исследователей с точки зрения реконструкции социального статуса (напр., Oliva, 2000 a, b). На черепе «шамана» Г. Ульрих (Ullrich, 1982. Fig. 3) идентифицировал следы посмертных манипуляций: параллельные надрезы, свидетельствующие об очищении краниума от мягких тканей. Он также обратил внимание на треугольное углубление в лобно-теменной области. Оно, скорее всего, не было прижизненным, а появилось перимортально, поскольку прослеживается прямая связь между ним и серией надрезов, идущих вдоль стреловидного шва (Г. Ульрих, личное сообщение, 2009). К сожалению, стандартное рентгеновское или томографическое изучение этого образца до сих пор не проводилось, и поэтому нет данных о возможных микроскопических следах заживления, недоступных при визуальном обследовании. Таким образом, в настоящий момент следы манипуляторного воздействия на краниуме мужчины Брно 2 наиболее аргументированно интепретируются как последствия погребального обряда.

Обращаясь к семантике предсмертного или посмертного рубцевания свода черепа у моравского кроманьонца из Брно, обладавшего к тому же особым сакральным статусом, заметим, что, по данным этнографии, необходимым условием попадания в «туземный рай» и благополучного загробного существования часто становилась прижизненная манипуляция с телом, обычно производившаяся при вступлении в мир «настоящих», взрослых людей, т. е. при инициации подростков (Медникова, 2007. С. 129). Так, Н. Н. Миклухо-Маклай записал легенду островитян Пелау, объясняющую традицию перфорации носовой перегородки. Островитяне, не прошедшие этой процедуры, лишены полноценного загробного существования, их душа (делеп) обречена томиться на дне моря в огромной раковине (Миклухо-Маклай, 1993. С. 230). У меланезийцев племени коита сходные представления обязывают прокалывать носовую перегородку умершему, которому эту операцию не успели сделать при жизни (Медникова, 2007. С. 132). Поэтому, возможно, нет нужды семантически противопоставлять прижизненное символическое трепанирование юношей и предсмертную (посмертную?) скарификацию пожилого, наделенного сакральным статусом мужчины, тем более что эти люди принадлежали к единому пласту верхнепалеолитического населения.

Мы остановились на этих аналогиях так подробно, потому что локализация символической трепанации на фрагменте лобной кости с Тельмановской стоянки (несколько справа от центра) абсолютно идентична прижизненным шрамам у мужчин из Дольни Вестонице. Поскольку у нас нет теменных костей именно от этого черепа, нельзя сказать, были ли другие шрамы.

Тем не менее мы предлагаем рассматривать повреждение на черепе из Костенок VIII (Тельмановская стоянка) в ряду наиболее древних случаев символической трепанации. Распространение сложных обрядов инициации является закономерным следствием сложных идеологических представлений, полностью сформировавшихся в ту эпоху, отражающих наряду со сложными погребальными обрядами, развитием изобразительного искусства богатство духовного мира верхнепалеолитического человека.

Список литературы

Бадер О. Н. 1998. Сунгирь. Палеолитические погребения // Позднепалеолитическое поселение Сунгирь (погребения и окружающая среда). М.: Научный мир. С. 5–152.

Бадер О. Н. 1984. Палеолитические погребения и палеоантропологические находки на Сунгире // Сунгирь: антропологическое исследование. М.: Наука. С. 6–13.

Бужилова А. П. 2000. Парные и непарные коллективные захоронения верхнего палеолита. Критерии отбора погребенных // Homo sungirensis. Эволюционные и экологические аспекты исследования человека верхнего палеолита. 2000 / под ред. Т. И. Алексеевой и Н. О. Бадера. М.: Научный мир. С. 441–448.

Бужилова А. П., Козловская М. В., Медникова М. Б. Определение пола и возраста сунгирских индивидуумов.

Сунгирь 1 // Homo sungirensis. Эволюционные и экологические аспекты исследования человека верхнего палеолита. 2000 / под ред. Т. И. Алексеевой и Н. О. Бадера. М.: Научный мир. С. 54–55.

Бужилова А. П., Лебединская Г. В. 2000. Сохранность антропологического материала // Homo sungirensis. Эволюционные и экологические аспекты исследования человека верхнего палеолита. 2000 / под ред. Т. И. Алексеевой и Н. О. Бадера. М.: Научный мир. С. 49–53.

Гойхман В. А. 1966. О трепанации черепа в эпоху мезолита // Вопросы антропологии. Вып. 23. С. 111–118.

Гохман И. И. 1966. Население Украины в эпоху мезолита и неолита. М.

Дебец Г. Ф. 1967. Скелет позднепалеолитического человека из погребения на Сунгирской стоянке // Советская археология. № 3. С. 162.

Ефименко П. П., Борисковский П. И. 1957. Тельмановское палеолитическое поселение (раскопки 1937 года) // Палеолит и неолит СССР. Т. 3. 1957. С. 7–17.

Звягин В. Н. 2000. Диагностические исследования в судебно-медицинской экспертизе идентификации личности // Медико-криминалистическая идентифиация. М. С. 341–348.

Козловская М. В. 2000. Бинарные оппозиции в погребальной обрядности сунгирских захоронений // Homo sungirensis. Верхнепалеолитический человек: экологические и эволюционные аспекты исследований / под ред. Т. И. Алексеевой, Н. О. Бадера. М. С. 431–437.

Медникова М. Б. 2001. Трепанации у древних народов Евразии. М. 303 с.

Медникова М. Б. 2002. Ритуальное превращение у древних народов Евразии по данным антропологии: символические трепанации // Мир психологии. № 3. С. 227–238.

Медникова М. Б. 2003. Ритуальное посвящение у древних народов Евразии: символические трепанации // Археология, этнография и антропология Евразии. № 1 (13). С. 147–156.

Медникова М. Б. 2004. Трепанации в древнем мире и культ головы. М. 208 с.

Медникова М. Б. 2007. Неизгладимые знаки. Татуировка как исторический источник. М. 216 с.

Миклухо-Маклай Н. Н. 1993. Собрание сочинений: в 6 т. Т. 3. М. 215 с.

Михайлов А. Н. 1989. Рентгенодиагностика и диагностика болезней человека. М.: Высшая школа.

Обермайер Х. 1913. Доисторический человек. СПб.

Рогачев А. Н. 1960. Отчет об исследовании палеолита в Костенках в 1959 г. // Архив ИА РАН, Р-1. 1960. С. 40–41.

Синицын А. А., Праслов Н. Д., Свеженцев Ю. С., Сулержицкий Л. Д. 1997. Радиоуглеродная хронология верхнего палеолита Восточной Европы // Радиоуглеродная хронология палеолита Восточной Европы и Северной Азии: проблемы и перспективы. СПб. С. 21–66.

Хрисанфова Е. Н. 1984. Посткраниальный скелет взрослого мужчины Сунгирь 1 // Сунгирь: Антропологическое исследование. М.: Наука. С. 100–139.

Barnes E. 1994. Developmental defects of the axial skeleton in palaepathology. Colorado.

Dobrovolskaya M., Richards M. P., Trinkaus E. 2011. Direct radiocarbon dates for the Mid Upper Paleolithic (Eastern Gravettian) burials from Sunghir, Russia // Bull. Mem. Anthropol. Paris. C. 1–7.

Formicola V. 2007. From the Sunghir children to the Romito dwarf. Aspects of the Upper Paleolithic funerary landscape // Current Anthropology. № 48. P. 446–453.

Homo sungirensis. Эволюционные и экологические аспекты исследования человека верхнего палеолита. 2000 / под ред. Т. И. Алексеевой и Н. О. Бадера. М.: Научный мир.

Jacobs K. 1993. Human postcranial variations in the Ukranian Mesolithic / Neolithic // Current Anthropology. V. 34.

Oliva M. 2000 a. Some thoughts on Pavlovian adaptations and their alternatives // Hunters of the Golden Age. W. Roebroeks (ser. ed.). Leiden. P. 219–227.

Oliva M. 2000 b. The Brno II Upper Palaeolithic burial // Hunters of the Golden Age. W. Roebroeks (ser. ed.). Leiden. P. 143–153.

Sladek V., Trinkaus E., Hillson S. W., Holliday T. W. 2000. Skeletal Catalogue and osteometrics of the Gravettian Fossil Hominids from Dolni Vestonice and Pavlov // The Dolni Vestonice sudies. V. 5. Brno. 244 p.

Steward T. D. 1979. Essentials of forensic anthropology.

Trepanation. History – discovery – theory. 2003 / editors S. Finger, R. Arnott, C. U. M. Smith. Lisse. 406 p.

Trinkaus E., Buzhilova A. 2011. The death and burial of Sunghir 1 // International Journal of Osteoarchaeology. (wileyonlinelibrary.com) DOI: 10.1002/oa.1227.

Trinkaus E., Jelinek J., Petitt P. B. 1999. Human remains from the Moravian Gravettian: The Dolni Vestonice 35 femoral diaphysis // Anthropologie. № 37. C. 167–175.

Ullrich H. Artificial injuries on fossil human bones and the problem of cannibalism, skull-cult, and burial rites // Man and his origin. Anthropos (Brno). V. 21. P. 253–262.

Ulrich H. 1996. Prsedmosi – an alternative model interpreting burial rites //Anthropologie. Vol. 34. C. 299–306.

Vlcek E. 1995. Genetische und palaoethnographische Aspekte der Mammutjagerpopulation von Dolni Vestonice // Man and environment in the Palaeolithic, Proceedings of Symposium Neuwied (Germany). 1993 / J. Ullrich (ed.). Liege. P. 209–221.

Walker P. L., Miller K. P. 2005. Time, temperature, and oxygen availability: an experimental study of the effect of envinronmental condition on color and organic content of cremated bone //American Journal of Physical Anthropology. Vol. 40. C. 222.

Zilhão J., Trinkaus E. 2002. Social implications // Portrait of the Artist as a Child. The Gravettian Human Skeleton from the Abrigo do Lagar Velho and its Archeological Context / J. Zilhão and E. Trinkaus (eds.). Trabalhos de Arqueologia 22. P. 519–541.

Примечания

[1] Институт археологии РАН, Москва.

[2] НИИ и Музей антропологии МГУ, Москва.

[3] Работа проведена Д. Коростом. Авторы выражают искреннюю благодарность сотруднику геологического факультета МГУ за проведенное исследование и трехмерную реконструкцию позвонка.

Е. Г. Дэвлет, Е. Ю. Гиря

ТРАСОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕТРОГЛИФОВ СРЕДНЕГО ЕНИСЕЯ

Традиционно наскальные изображения делятся на росписи и петроглифы. Росписи, или наскальная живопись, – это изображения, выполненные сухим «мелком», влажным пигментом или специально приготовленной краской, в которую добавлена жидкость и с измельченным пигментом смешан наполнитель. Петроглифы – любые фигуративные или нефигуративные элементы, выполненные за счет удаления части скальной поверхности выбивкой (пикетажем), гравировкой, выскабливанием, пришлифовкой и др. способами или их сочетанием. Исследованию пигментов и красок, применявшихся с древности для выполнения изображений на скалах, как в пещерах, так и на открытых поверхностях, посвящена обширная литература. Реже в фокусе внимания исследователей оказывалась техника выполнения петроглифов.

Начиная с 2006 г. на различных памятниках наскального искусства нами осуществлялось изучение техники выполнения петроглифов пикетажем. Выбитые изображения преобладают во многих региональных традициях наскального искусства России, в ходе проекта предпринята попытка их трасологического исследования. Ставилась задача применить сложившиеся в российской трасологии методики и подходы [Семенов, 1957; Семенов, Щелинский, 1971. С. 19–30] к исследованию петроглифов и с этих позиций определить признаки, отличающие пикетаж металлическими и каменными орудиями. Исследование было инициировано вопросами, возникшими при изучении петроглифов Пегтымеля (Чукотка), поскольку сомнения вызывала возможность нанесения многих из них орудиями из камня [Диков, 1971; Дэвлет, 2010; Devlet, 2008, 2012]. С местонахождением наскального искусства заполярной Чукотки в настоящее время связан наибольший массив собранной нами информации по технологии пикетажа [Гиря, Дэвлет, 2010]. Эти наблюдения удалось дополнить при поддержке Программы Президиума РАН: были осуществлены исследования на материалах других местонахождений Красноярского и Хабаровского края, Хакасии, Мурманской обл., Азербайджана [Вяткина, 1949; Окладников, 1971; Пяткин, Мартынов, 1985; Заика, Дроздов, Макулов, 2005; Фараджева, 2009; Шумкин, 2009]. В поле зрения также попали материалы музейных собраний: петроглифы Онежского озера и плитки из кургана Аржан-2 (Государственный Эрмитаж) [Čugunov, Parzinger, Nagler, 2010], материалы из культурного слоя местонахождений Ла Мадлен, Ложери-От и Ла Блан (музей Лез-Эйзи-де-Тайак, Франция) и др.; они стали частью эталонной коллекции следов орудий, которыми в древности создавались выбитые изображения на камне* [Дэвлет, 2010 а].

Летом 2009 г. было проведено трасологическое исследование некоторых петроглифов Шалаболинской писаницы, расположенной на правом берегу притока Енисея р. Туба [Дэвлет, Гиря, 2011]. В последние годы на этом памятнике выявлено немало новых изображений [Дроздов, Заика, Березовский, 2002; Дроздов, Заика, Марченко и др., 2003; Заика, Дроздов, Березовский и др., 2004; Заика, Дроздов, Березовский, 2006]. Целью работ было определение материала орудий, которыми выполнены петроглифы. Была рассмотрена выборка петроглифов нижнего яруса, в которой выявлены как выполненные каменными орудиями, так и выбитые металли-

* Авторы выражают глубокую признательность за содействие в исследовании ректору Красноярского гос. педагогического университета д. и. н. Н. И. Дроздову, к. и. н. В. И. Макулову (КГПУ), директору Гобустанского национального историко-художественного заповедника к. и. н. М. Н. Фараджевой, А. Р. Ласкину (НПЦ по охране и использованию памятников истории и культуры Хабаровского края), к. и. н. А. Н. Мазуркевичу и К. В. Чугунову (Гос. Эрмитаж), к. и. н В. Я. Шумкину (ИИМК РАН), Администрации Чукотского АО и всем сотрудникам Петроглифической экспедиции ИА РАН, а также нашим французским коллегам J. J. Cleyet-Merle, Conservateur general, Directeur du Musée National de Préhistoire (MNP), Les Eyzies-de-Tayac; A. Morala, Ingénieur d'études, Musée national de Préhistoire, Les Eyzies-de-Tayac; J. M. Geneste, Conservateur général du patrimoine, Directeur du Centre National de Préhistoire, Périgueux; H. Plisson, Chargé de recherche CNRS, PACEA, Université Bordeaux 1, Talence.

ческими инструментами изображения (см. вклейку: с. 17, ил. 1–3) [Гиря, Дроздов, Дэвлет, Макулов, 2011].

Избранный для изучения фрагмент выбитого изображения с примыкающей природной скальной поверхностью покрывался апробированным в реставрации смываемым защитным слоем, препятствующим повреждению камня [Кочанович, Дэвлет, 2006]. С этого участка снимался силиконовый оттиск (матрица), защитный слой смывался водой. С силиконового негативного оттиска затем выполнялась гипсовая отливка, точно воспроизводящая позитивный рельеф камня с фрагментом изображения (см. вклейку: с. 17, ил. 1.*2*; с. 20, ил. 4). Использование снятых в поле со скальных поверхностей со следами пикетажа силиконовых оттисков позволило в дальнейшем в лабораторных условиях исследовать особенности техники нанесения изображений на макро- и микроуровне. Подобные копии следов пикетажа полноценно сохраняют информацию об орудиях, которыми были нанесены петроглифы.

Для характеристики микрорельефа использовался метод теневого сечения: микрорельеф обрисовывался при помощи линейной тени, которую отбрасывает нить, расположенная горизонтально поверхности отливки, освещенная с одной стороны под углом в 45°. Линейная тень точно очерчивает поверхность со следами обработки (см. вклейку: с. 20, ил. 4.*2*). Меняя положение нити, можно получить информацию о любом (поперечном, продольном и т. д.) сечении рельефа поверхности, размеры следов измеряются с помощью программного обеспечения Altami Studio. При необходимости можно получить данные о высоте изучаемого микрорельефа в абсолютных величинах, но на данном этапе мы не задавались этой целью.

При описании техники выполнения изображений использовалась градация по глубине выбивки от исходной поверхности (поверхностный/мелкий, средний, глубокий пикетаж), по форме отдельных лунок различие делалось между округлым, линейным, фигурным видами пикетажа.

Для описания плотности нанесения пикетажа использовался не численный подсчет отдельных лунок (следов ударов), а их соотношение (сплошной, плотный и разреженный пикетаж). Таким образом, пикетаж характеризуется как:

– сплошной (следы отдельных ударов перекрывают друг друга);

– плотный (расстояние между отдельными следами ударов примерно сопоставимо с диаметром одной лунки);

– разреженный (расстояние между отдельными лунками превышает диаметр следа от одного удара).

Сплошной пикетаж, в котором следы ударов перекрывают друг друга, мало информативен для трасологического анализа, и особое внимание следует обращать на одиночные, выходящие за контур лунки. В этом случае наибольшего внимания заслуживают эскизы и незавершенные изображения. Глубокие и средние по глубине лунки передают очертания формы орудия пикетажа сравнительно точно, в то время как поверхностный пикетаж в этом аспекте менее информативен. Даже если орудие пикетажа достаточно глубоко проникает в камень, оставшийся след чаще всего не представляет собой точный негатив его рабочей части. Степень сохранности также во многом определяет возможности трасологического анализа, и выветренные изображения зачастую непригодны для достоверного исследования материала орудий, которым они были нанесены.

Большая часть экспериментов по пикетажу была осуществлена на алевролитах и песчаниках Чукотки, слагающих скалы Кайкуульского обрыва, протянувшегося вдоль р. Пегтымель. Были применены орудия из кварца (отбойники и посредники), шлифованного камня (шлифованные каменные тесла в роговых рукоятях – как посредники), бронзы (посредники), железа (посредники). Исследовалась специфика следов от ударов, нанесенных под углом в 90 и 45°, результаты зафиксированы по той же методике, что и следы выбивки на исторических петроглифах. Большая часть экспериментов была посвящена моделированию выбивки с использованием орудий из кварца, выходы которого представлены вблизи петроглифов, и железа. Орудия из камня, бронзы и железа показали различную эффективность для выполнения пикетажа. Инструменты из оловянистой (7 %) бронзы были признаны наименее производительными: их рабочие участки сминались очень быстро, после 10–20 ударов. Орудия из мягкого железа после нанесения 20–30 ударов также оказались малопригодны. Достаточно продолжительно и эффективно работали лишь кварцевые и железные орудия, а также каменные шлифованные тесла.

Использование кварцевых орудий для выбивки петроглифов неминуемо связано с постоянным и достаточно интенсивным выкрашиванием их рабочих концов: ударная часть весьма динамично изменяется, и остаются разноразмерные следы угловатой в плане формы. Выполнение среднего и глубокого пикетажа со стабильной формой лунок кварцевыми орудиями практически невозможно. Использование инструментов из железа на некристаллических породах позволяет производить более 500 лунок, стабильных по очертаниям в плане и профиле. Если в ходе использования орудие специально не подправлялось, все угловатые в сечении рабочие концы заостренных металлических орудий различной формы (треугольных, квадратных и

т. д.) по мере развития износа оставляют округлые в плане следы.

Основные критерии различия следов выполнения пикетажа кварцевыми и железными орудиями можно сформулировать таким образом: регулярный по форме и размерам, часто подокруглый в очертаниях отдельных лунок, глубокий при относительно узком входном отверстии пикетаж возникает при использовании орудий из железа. Нерегулярный по форме и размерам, угловатый в очертаниях отдельных выбоин, с широкими входными отверстиями пикетаж – результат использования кварцевых орудий. Основной диагностирующий признак, отличающий следы ударов, оставленные каменным орудием-посредником, от следов работы орудием из железа, – быстрое изменение рабочей части каменного инструмента, следы от которого динамично трансформируются от подокруглых или подквадратных к вытянутым линейным.

Указанные различия были прослежены при исследовании нижнего яруса петроглифов Шалаболино. Примером изображений, выполненных каменным орудием, в рассмотренной выборке Шалаболинских петроглифов могут служить несколько зооморфных фигур, изображение лодки и одно незавершенное [см. вклейку: с. 17, ил. 1,*1*; с. 18, ил. 2,*1*; см. также с. 22, ил. 6].

Одна из наиболее известных групп петроглифов нижнего яруса Шалаболино включает реалистичное изображение лося и несколько изображений лодок с седоками, обозначенными вертикальными черточками, здесь же имеется посетительская надпись, одна из которых относится к 1936 г. [см. вклейку: с. 17, ил. 1] [Пяткин, Мартынов, 1985, ил. 4]. Изображение лося – результат работы каменным инструментом [см. вклейку: с. 17, ил. 1,*1*]. Силиконовые оттиски были сняты с трех участков выбитой фигуры, на всех прослежена сходная динамика трансформации формы рабочего края каменного орудия по мере его использования [см. вклейку: с. 20, ил. 4]. Так, следы пикетажа, которым выполнена голова животного, различны по форме. На морде – это подквадратные и подокруглые в плане следы ударов, а на участке рогов они имеют вытянутую, полулунную и неправильно-линейную форму. Выбоины линейной и вытянутой полулунной форм весьма различны по длине (от 2.5 до 10 мм) и ширине (от 2 до 4,5 мм). В профиле рельеф пикетажа пологий, без резких перепадов между пиками и депрессиями [см. вклейку: с. 20, ил. 4,*2*]. Сходная динамика изменения формы следов орудий прослеживается на исследованных фрагментах ног лося: подокруглые (на участке, близком к брюху) следы пикетажа сменяются вытянутыми линейными по мере удаления от тела, превращаясь в выраженно-линейные там, где должны располагаться копыта изображенного животного. Подобное изменение формы следов пикетажа – характерная черта работы каменным орудием-посредником из твердой изотропной породы камня. Подготовленный пикообразный конец по мере использования быстро крошился, инструмент превращался в долотовидное орудие. В наших экспериментах по моделированию пикетажа кварцевыми отбойниками и посредниками на пегтымельском материале отмечены аналогичные изменения формы рабочего края инструмента и такая же динамика трансформации очертаний отдельных следов ударов. Подправлял ли древний художник одно орудие несколько раз или по мере износа рабочего края заменял, определить невозможно.

На одной плоскости с фигурой лося размещено изображение лодки с седоками, показанными вертикальными штрихами. С фрагмента был снят тестовый оттиск, изучение которого показало, что этот петроглиф нанесен каменным посредником с пикообразным притупленным рабочим концом [см. вклейку: с. 21, ил. 5]. Несмотря на то что на данном изображении преобладает сплошной перпендикулярный поверхности пикетаж и большинство выбоин перекрывают друг друга, на некоторых участках удалось проследить очертания отдельных лунок в плане: это разнофигурные многоугольники. Они относительно неглубокие при значительной ширине, достигающей 5 мм по наибольшему измерению.

Для наскального искусства Среднего Енисея характерны парциальные изображения быков [см. вклейку: с. 18, ил. 2,*1*]. Рассмотренная фигура изображена обращенной головой вправо, по контуру выбиты голова, грудь, спина и часть крупа. На морде имеются следы пикетажа и пришлифовки. Возможно, таким образом была намечена частичная проработка головы силуэтом. Силиконовые оттиски были сняты с двух участков данного изображения: с головы и крупа. Для выполнения контура был применен каменный посредник с долотовидным рабочим концом. Следы ударов преимущественно прямые, крупные, достигают 11 мм в длину и 4 мм в ширину, преобладает серповидная форма отдельных выбоин. Отмечена небольшая пришлифовка от контура морды до глаз. Другим орудием выполнен пикетаж вне линии контура. Эти следы представляют собой группу выбоин неправильно-прямоугольных очертаний размерами 4–6 мм.

Каменным посредником нанесено еще одно контурное изображение быка с частичным заполнением силуэтной выбивкой [см.: Дэвлет, Гиря, 2011. Рис. XI]. Следы пикетажа относительно неглубокие полулунные и разнофигурные (многоугольные в плане). Мелкие – около 4 мм в диаметре, крупные полулунной формы – до 4,5 мм шириной и до 11 в длину.

Разреженный пикетаж, выполненный долотовидным каменным орудием (типа *piece esquille*), был обнаружен на незаконченном (антропоморфном?) изображении [см. вклейку: с. 22, ил. 6]. Пикетаж разреженный, фигурный. Следы ударов имеют полулунную форму, расположены изолированно. Особенно четко прослеживается изменение очертаний лунок, возникающее по мере выкрашивания каменного лезвия орудия от удара к удару.

Многие наскальные изображения Шалаболино были выполнены с применением металлических инструментов. Примером могут служить петроглифы тагарского времени VII–III вв. до н. э., в рассмотренной выборке это фигуры вооруженных мужских персонажей, а также изображение лошади [см. вклейку: с. 19, ил. 3; с. 23, ил 7,*1*].

Среди сюжетов шалаболинских петроглифов встречаются антропоморфные фигуры, представленные в фас, ноги в профиль, которые в раскинутых в стороны руках держат предметы вооружения. На головах воинов изображался отросток – то ли элемент прически, то ли, что более вероятно, остроконечный головной убор. Головной убор антропоморфных фигур тагарской эпохи был определен как главная «диагностирующая» деталь [Советова, 2005. С. 80]. Замечательные открытия В. И. Молодина и Н. В. Полосьмак на Алтае позволяют составить представление о головных уборах и париках алтайской элиты. Теперь есть основания сопоставлять изображения окончаний некоторых тагарских колпаков с ак-алахинскими навершиями [Полосьмак, Баркова, 2005].

На Шалаболино было проанализировано изображение двух вооруженных мужских персонажей, нанесенное прямыми и скошенными ударами острым металлическим орудием [см. вклейку: с. 23, ил. 7,*1*]. Следы пикетажа округлой формы единообразны по размеру: от 1 до 1,5 мм в диаметре. Они относительно глубокие: ширина входного отверстия близка по размеру к глубине проникновения орудия. Подобные следы свидетельствуют об использовании довольно тонких металлических орудий с острым округлым в сечении рабочим концом.

Расположенная ниже фигура лошади нанесена очень мелким и стабильно округлым по очертаниям в плане, с единообразно пологим, вогнутым (U-образным) дном пикетажем. Диаметр следов – от 1 до 1,5 мм. Это изображение также могло быть выбито с помощью орудия типа шила.

Одиночный антропоморфный вооруженный персонаж выполнен прямыми и скошенными ударами острым металлическим посредником [см. вклейку: с. 19, ил. 3]. Судя по следам пикетажа, орудие имело острый уплощенный рабочий конец с линзовидным сечением. Среди следов ударов присутствуют и округлые, и миндалевидные в плане выбоины. Размер миндалевидных: длина до 3,4 мм, ширина до 1,2, диаметр округлых – до 1,4. Возможно использовались два инструмента с различным сечением рабочих концов: один с округлым, а другой с линзовидным [Дэвлет, Гиря, 2011. Рис. XII]. Нельзя исключить и иную возможность: после того как орудие с уплощенным рабочим элементом затупилось, оно было переточено в острие с круглым сечением.

Примером пикетажа, выполненного более крупным инструментом из металла, может служить силуэтное изображение рыбы [см. вклейку: с. 17, ил. 1,*3*]. Выбивка сплошная, следы ударов однообразно округлые до 3 мм в диаметре. По пропорциям узкие, умеренно глубокие, преобладают прямые, но имеются и нанесенные под углом. В данном случае можно предполагать использование металлического посредника с затупленным округлым рабочим концом.

Изображение оленя с развернутой головой, заполненной силуэтной выбивкой, и телом, рассеченным вертикальными линиями, выполнено металлическим инструментом с округлым притупленным рабочим концом [см. вклейку: с. 24, ил. 8]. Пикетаж сплошной, на отдельных участках плотный, следы ударов однообразно округлые с пологой U-образной донной частью. Средний диаметр входных отверстий отдельных выбоин – 1,6 мм.

Еще одна исследованная группа включает изображения двух копытных и выбитого между ними знака (?), который смыкается с мордой размещенного слева животного и перекрывает круп изображенного справа [см. вклейку: с. 23, ил. 7.*2*]. Все составляющие группу элементы – результат работы металлическим посредником с острым округлым рабочим концом. Трасологически анализировался пикетаж, которым выполнен каждый из элементов группы. Голова расположенного справа животного и ноги, расположенного слева, выполнены прямыми ударами, следы пикетажа преимущественно подокруглых очертаний [см. вклейку: с. 25, ил. 9]. К морде размещенного слева животного примыкает полоса, составляющая часть другого петроглифа. На этом участке форма отдельных лунок имеет вытянутые каплеобразные очертания и свидетельствует о том, что они выполнены преимущественно скошенными ударами. Прослежены и некоторые различия в размерах следов ударов на трех рассматриваемых участках: преобладание лунок диаметрами от 2 до 2,3 мм – для головы правого зооморфа, от 1,85 до 2 мм – для ног животного слева, от 2,5 до 3 мм – для пикетажа, которым нанесен знак. Указанные отличия могут быть результатом применения различных орудий. Для получения достоверного решения необходимо скопировать и исследовать в лабораторных условиях все указанные

изображения целиком либо хотя бы их более широкие участки.

Интересен палимпсест, включающий две антиподально развернутые фигуры быков [Заика, Дроздов, 2008. Рис. 1; *1,3*]. Нанесенная силуэтом нижняя перекрывает парциальную верхнюю, которая выполнена по контуру с силуэтным заполнением головы [см. вклейку: с. 18, ил. 2,*2,* 2,*3*]. Обе фигуры выбиты металлическими орудиями, оставлявшими регулярные округлые следы ударов. Выбоины на верхнем изображении, имеющие диаметр от 1,2 до 1,4 мм (на морде животного) и до 2 мм (на крупе), были сделаны орудием с очень узким и острым шилообразным концом. Следы пикетажа на участке нижнего изображения крупнее, размерами от 2 до 3,5 мм, с более пологим U-образным дном.

Неподалеку от изображения лося и лодок в небольшой нише выбиты две зооморфные фигуры. Спину и брюхо размещенного слева животного пересекают следы заточки инструмента [см. вклейку: с. 26, ил. 10]. Размещенное справа контурное изображение выполнено прямыми и скошенными ударами металлическим посредником с округлым рабочим концом. Пикетаж сплошной и плотный, следы округлые размером до 4,5 мм, по пропорциям узкие и глубокие.

Следы заточки тонкого округлого в сечении инструмента различимы на фигуре слева. Это прямые, с плавными изгибами на отдельных участках, варьирующие по длине линии, узкие (от 1 до 1,5 мм), с одинаковым U-образным профилем. Неподалеку от указанной группы следов обнаружены V-образные в сечении следы заточки инструмента с угловатым (скорее всего треугольным) профилем сечения.

В целом размеры следов пикетажа, которые документированы и проанализированы для петроглифов Шалаболино и интерпретированы как сделанные с помощью каменных орудий, варьируют от 2,6 до 11 мм по наибольшему измерению. Размеры следов, оставленных металлическим инструментом, – от 1 до 4,5 мм. Пикетаж металлом отличает высокая степень стандартизации форм и размеров следов ударов, относящихся к одному и тому же изображению. Они весьма единообразны по размеру (2–2,5 мм в диаметре) и по форме: округлые в плане с плавно вогнутым, U-образным дном. Исключение составляют редкие примеры очень мелкого пикетажа. Следует отметить, что сходные формы и размеры (около 2,3 мм) имеют следы пикетажа на посетительской надписи, послужившие сравнительным материалом [см. вклейку: с. 17, ил. 1,*1,* 1,*2*].

В ходе полевых и лабораторных экспериментально-трасологических исследований петроглифов Шалаболино получены данные, которые показали пригодность разрабатываемой методики анализа, но требуется провести еще немало экспериментов и пополнить полевые и лабораторные наблюдения новыми материалами. Для корректного описания техники выполнения шалаболинских петроглифов и орудий, которыми они наносились, нам представляется важным получить в дальнейшем данные о характере следов, которые могли быть оставлены на песчанике в результате работы бронзовыми орудиями. Необходимо уделить специальное внимание сбору морфометрических наблюдений, анализ которых может позволить в будущем выделять изображения, выполненные одним и тем же орудием или орудиями с аналогичными рабочими участками. Для этого также необходимы дополнительные серии экспериментов.

Список литературы

Вяткина К. В. Шалаболинские (тесинские) наскальные изображения // Сборник Музея антропологии и этнографии. М.; Л., 1949. Т. XII.

Гиря Е. Ю., Дэвлет Е. Г. Некоторые результаты разработки методики изучения техники выполнения петроглифов пикетажем // Уральский исторический вестник. № 1 (26). Екатеринбург, 2010. С. 107–118.

Гиря Е. Ю., Дроздов Н. И., Дэвлет Е. Г., Макулов В. И. О работах по трасологическому изучению петроглифов Шалаболино // Наскальное искусство в современном обществе. К 290-летию научного открытия Томской писаницы. Материалы международной научной конференции. Т. 2. Кемерово: Кузбассвузиздат, 2011. (Труды Сибирской Ассоциации исследователей первобытного искусства. Вып. VIII.)

Диков Н. Н. Наскальные изображения древней Чукотки. Петроглифы Пегтымеля. М., 1971.

Дэвлет Е. Г. Новое в исследовании наскального искусства Северной Евразии // III Северный археологический конгресс: доклады: 8–13 ноября 2010. Ханты-Мансийск. Екатеринбург; Ханты-Мансийск, 2010. С. 180–208.

Дэвлет Е. Г. Проект по исследованию наскальных изображений // Институт археологии. Новые полевые проекты / под. ред. чл.-корр. РАН. Н. А. Макарова. М.: ИА РАН, 2010 а. С. 40–43.

Дэвлет Е. Г., Гиря Е. Ю. «Изобразительный пласт» в наскальном искусстве и исследование техники выполнения петроглифов Северной Евразии // Древнее искусство в зеркале археологии. К 70-летию Д. Г. Савинова. Кемерово, 2011. (Труды Сибирской Ассоциации исследователей первобытного искусства. Вып. VII.)

Дроздов Н. И., Заика А. Л., Березовский А. П. Исследования Шалаболинской писаницы (по результатам работ 2001–2002 гг.) // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Новосибирск, 2002. Т. VIII.

Дроздов Н. И., Заика А. Л., Марченко Л. А., Макулов В. И., Березовский А. П., Журавков С. П., Емельянов И. Н., Бабина М. С., Чуракова Е. В. Результаты ис-

следования Шалаболинской писаницы (итоги работ 2002–2003 гг.) // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Новосибирск, 2003. Т. IX. Ч. 1.

Заика А. Л., Дроздов Н. И. Новые петроглифы Шалаболинской писаницы // Труды II (XVIII) Всероссийского археологического съезда в Суздале. М., 2008. Т. III. С. 28–30.

Заика А. Л., Дроздов Н. И., Березовский А. П. Результаты исследований Шалаболинской писаницы в 2005–2006 годах // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Новосибирск, 2006. Т. XII. Ч. 1.

Заика А. Л., Дроздов Н. И., Березовский А. П., Ключников Т. А., Журавков С. П. Шалаболинские петроглифы (итоги исследований 2004 г.) // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Новосибирск, 2004. Т. X. Ч. 1.

Заика А. Л., Дроздов Н. И., Макулов В. И. Исследование Шалаболинских петроглифов (итоги работ 2004 г.) // Археология Южной Сибири: идеи, методы, открытия. Сборник докладов международной научной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения чл.-корр. РАН С. В. Киселева (Минусинск, 20–26 июня 2005 г.). Красноярск, 2005. С. 152–155.

Кочанович А. В., Дэвлет Е. Г. Об изготовлении резервных и выставочных копий петроглифов Кайкуульского обрыва // Пегтымельская тетрадь. М., 2006. С. 47–50.

Окладников А. П. Петроглифы Нижнего Амура. Л., 1971.

Полосьмак Н. В., Баркова Л. Л. Костюм и текстиль пазырыкцев Алтая (IV–III вв. до н. э.). Новосибирск, 2005.

Пяткин Б. Н., Мартынов А. И. Шалаболинские петроглифы. Красноярск, 1985.

Семенов С. А. Первобытная техника. (Опыт изучения древнейших орудий и изделий по следам работы). МИА 54. М.; Л., 1957.

Семенов С. А., Щелинский В. Е. Микрометрическое изучение следов работы на палеолитических орудиях // СА. 1971. № 1. С. 19–30.

Советова О. С. Петроглифы тагарской эпохи на Енисее (сюжеты и образы). Новосибирск, 2005.

Фараджева М. Н. Наскальное искусство Азербайджана. Баку, 2009 (на азерб. языке).

Шумкин В. Я. Новые уникальные петроглифические комплексы Лапландии // Археологические открытия 1991–2004 гг. Европейская Россия / отв. ред. чл.-корр. РАН Н. А. Макаров. М.: ИА РАН, 2009. С. 95–105.

Čugunov K. V., Parzinger H., Nagler A. Der Skythenzeitliche Fürstenkurgan Aržan 2 in Tuva. Mainz, 2010.

Devlet E. Rock Art Studies in Northern Russia and the Far East // Rock Art Studies. News of the World 3. Oxbow, 2008.

Devlet E. Rock Art Studies in Northern Eurasia // Rock Art Studies. News of the World 4. Oxbow, 2012.

Г. Г. Король

СРЕДНЕВЕКОВОЕ ИСКУССТВО САЯНО-АЛТАЯ (ТОРЕВТИКА МАЛЫХ ФОРМ: ВОЗМОЖНОСТИ ИСТОРИЧЕСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ)

Средневековое декоративно-прикладное искусство Саяно-Алтая периода своего расцвета в конце I тыс. представлено популярной в среде тюркских и других воинов категорией ременных и прочих украшений из цветного (редко драгоценного) металла снаряжения всадников, а также женскими украшениями, редкими экземплярами торевтики из драгоценного и цветного металла. Широкое распространение подобные украшения (торевтика малых форм) с характерным для того времени декором получили в Кыргызском каганате[1]. В последней четверти I тыс. в степной Евразии и на сопредельных территориях становится популярным новый для прикладного искусства стиль. Он характеризуется впечатляющей декоративностью изделий воинского снаряжения, основанной на господстве растительной орнаментации, имеющей тенденцию к геометризации и подразумевающей подчиненную роль зооморфных и других изображений. Формирование особого «постсасанидского» искусства раннесредневековых кочевников впервые отмечено Т. Арне (Arne, 1914). Г. А. Федоров-Давыдов определил его как орнаментализм нового стиля, «степной орнаментализм» (1976. С. 61).

Представление о политической ситуации рассматриваемого времени помогает понять, как мог в среде раннесредневековых кыргызов восточной части Саяно-Алтая появиться один из самых ярких вариантов декоративного орнаментального стиля степной Евразии. В то же время в западной части Саяно-Алтая на территории кимако-кыпчакского этнополитического объединения (или Кимакского каганата) на Северном Алтае и Верхнем Прииртышье подобные изделия торевтики малых форм также пользовались большим спросом. При этом декор представлен одним из вариантов упомянутого стиля, близким к варианту енисейских кыргызов, но имевшим и свои отличия, и предпочтения в мотивах

и композициях. Наиболее популярные мотивы и композиции декора в период экспансии енисейских кыргызов были хорошо известны в пределах всего Саяно-Алтая и на прилегающих территориях.

Базой для формирования орнаментального стиля в степной Евразии в раннем Средневековье были в первую очередь интенсивные контакты разного уровня новых «хозяев» Великой Степи – тюркских политических объединений – с крупными государствами, с мастерами и искусством оседлых земледельческих народов. Питательная среда для восприятия новаций – самобытная основа традиционной духовной и материальной культуры тюркских и других кочевых и оседлых племен. Это относится и к саяно-алтайскому искусству.

В структуре декора рассматриваемого декоративно-прикладного искусства преобладает растительный тип. Остальные – геометрический, зооморфный, включающий орнитоморфный, и антропоморфный составляют в целом незначительный процент, хотя есть микрорегионы (например, северо-западные предгорья Алтая и Верхнее Прииртышье), где зооморфный декор чрезвычайно популярен.

Состав элементов и мотивов в подавляющем большинстве заимствован из искусства Среднего Востока, Средней Азии, Восточного Туркестана, Китая. Эти заимствования вполне осмысленные в соответствии с традиционным мировоззрением, верованиями, мифологией, вкусами. Отметим растительный код (особенно варианты «древа жизни»), наиболее тесно связанный с мировосприятием тюрков, отразившемся в их мифологии и ритуальной обрядности (подробнее см. Традиционное.., 1990. С. 43–63; Сагалаев, 1991).

Основная характерная черта рассматриваемого искусства – *многообразие художественных особенностей* – проявляется в наборе мотивов и композиций преобладающего растительного декора. Помимо обычных для любого растительного орнамента трилистников, пальметт, симметричных побегов, цветов, цветочных розеток и т. п., представлены и особые мотивы. Среди них – «виноградные гроздья и лоза». История мотива лозы с гроздьями винограда в азиатском искусстве восходит к византийским или римским образцам, а также к искусству Ближнего Востока. В китайском искусстве до VI в. мотив неизвестен. После 650 г. распространяются популярные в Китае зеркала с декором, в котором сочетаются изображения винограда и животных (львов) и который С. Камманн считает результатом манихейского влияния; у манихеев виноград – плод и символ Света (Cammann, 1953). «Минусинский край» на Среднем Енисее – крупнейший центр находок танских зеркал за пределами империи Тан (618–907), в том числе их местных, по мнению исследователей, отливок. При этом среди большого количества различных танских зеркал предпочтение отдавалось именно зеркалам с этим мотивом (Лубо-Лесниченко, 1975. С. 23, 24). Наиболее популярен вариант «виноградных гроздьев и лозы» в виде расщепленной пальметты, вырастающей из бутона другой пальметты. Эта композиция на прямоугольных бляшках с прорезью (характерная форма тюркских ременных украшений) известна не только из саяно-алтайского региона, но и Средней Азии, очень близкие варианты происходят из Восточной Сибири (Бурятия), реплики есть в Восточной Европе (Король, 2008. Рис. 41–43). Вариант композиции популярен и на украшениях других форм (см. вклейку: с. 27, ил. 1,*9*). Мотив виноградной лозы с гроздьями известен и в иных композициях (см. вклейку: с. 27, ил. 1,*7,* 1,*8*).

Другой «особый» мотив связан с буддийским искусством. Это «цветок смоквы» в виде шляпки с высокой округлой тульей и опущенными книзу полями из удлиненных лепестков, с лентой между ними (см. вклейку: с. 27, ил. 1,*3*). Цветы и само дерево смоквы, священное дерево Будды, дерево мудрости, в буддийском искусстве связывалось с Буддой и сонмом бодхисатв (Williams, 1960. P. 43, 44). Под влиянием этого искусства китайцы изображают мифическое дерево фусан с подобными же цветами. Мотив широко распространен в раннесредневековых росписях пещерных монастырей, в том числе манихейских, Турфанского оазиса в Восточном Туркестане. Там представлены разные варианты иконографии, некоторые из них идентичны имеющимся в искусстве Саяно-Алтая, где мотив – один из наиболее популярных в растительном декоре (подробнее см.: Король, 2008). Возможно, сюда он, как и некоторые другие мотивы, попадает именно из Восточного Туркестана.

Геометрический декор (помимо обычных и распространенных в декоративном искусстве разного времени многих народов элементов прямолинейного и криволинейного орнамента) при преобладании криволинейных мотивов включает также мотивы, связанные с буддийским искусством. Это «пламенеющая жемчужина», *cintamani* (см. вклейку: с. 27, ил. 1,*2*), и «бесконечный узел» (см. вклейку: с. 27, ил. 1,*1*), в позднейшем искусстве – «узел счастья». Первый мотив – в буддизме знак триединства Будды – широко распространен в танском искусстве Китая. *Cintamani* – это и символ богатства и благополучия, и исполняющий желания драгоценный камень. Обладание человека жемчужиной гарантирует исполнение любого желания, изображение ее служит амулетом против огня (Williams, 1960. P. 436). Напомним, что и у древних тюрков был известен магический камень «яда», с его помощью можно было управлять погодой и пр. (Мифы.., 1988.

С. 681). В декоративном искусстве Саяно-Алтая этот символ мог иметь не только благопожелательное значение, как и многие другие, но и связываться с небесными жизненными силами в соответствии с традиционными верованиями.

Второй мотив – символический «узел счастья», широко известный в азиатском искусстве знак буддийского происхождения (первоначально имел религиозный смысл), как и другие буддийские символы – атрибут изображения Будды и бодхисатв. Эти символы (в том числе «узел») ассоциировались также с разными частями тела человека, приносимыми в жертву Будде. Узел означал и священный знак на подошве ноги Будды как символ долголетия и восьми буддийских заповедей (Williams, 1960. P. 289). На Дальнем Востоке мотив известен в искусстве чжурчжэней Приморья XII – начала XIII в., будучи заимствованным, по мнению исследователей, от соседних кочевников (Гусева, Шавкунов, 1976). В позднейшем искусстве мотив «узел счастья» (символ бесконечности) популярен у монголоязычных народов, а также тувинцев Саяно-Алтая, потомков средневековых кочевников (Вайнштейн, 1974. Рис. 69, *2*; 71, *5* и др.; Кочешков, 1979. Рис. 58, *2*; 60; 84).

Разнообразен в рассматриваемом искусстве и набор мотивов зооморфного ряда. Он включает как обычных представителей фауны, так и фантастических животных. Возможно, изображения оленей[2], олених, особенно с «цветком лотоса» в качестве основания, на котором стоит животное (см. вклейку: с. 27, ил. 1,*4*), восходит к буддийскому искусству (Кореняко, 2002. С. 174).

К мотиву, широко распространенному в буддийской иконографии и в восточноазиатском искусстве в целом, можно отнести образ гротескового льва «шицза», восходящего семантически к «льву Будды», защитнику закона и стражу священных храмов, символу доблести и энергии, обязательно дополняющих мудрость, характерные иконографические особенности изображения которого хорошо известны и подробно описаны (Кореняко, 2002. С. 28, 116, 117). В саяно-алтайском искусстве, вероятно, этот образ представлен своеобразными вариантами (один из них см. вклейку: с. 27, ил. 1,*5*), воспроизводящими крылатое животное, гораздо более похожее на собаку, чем гротесковый лев «шицза». Суть образа крылатой собаки восходит, по-видимому, к иранскому мифологическому Сэнмурву, известному и в манихействе. Но иконографическая его реализация воспроизводит в той или иной степени черты льва «шицза» (морда мопса, грива льва или ее остатки, пропорции тела, пышный хвост-плюмаж и даже «вылезающие из орбит глаза»).

В наборе мотивов можно видеть образ рыбы, в том числе парных рыбок (см. вклейку: с. 27, ил. 1,*6*). Происхождение мотива и такой же формы украшений-подвесок восходит к древнекитайскому искусству. Там он считается древнейшим из известных, популярным вплоть до современности символическим мотивом, имеющим несколько значений и являющимся защитой от злых сил и бедствий (Yetts, 1912. P. 10). Пара золотых рыб – распространенный буддийский символ счастья и единства (Williams, 1960. P. 192; Буддизм, 1992. С. 93). Как отголосок буддийской символики он сохранился в традиционном искусстве народов Саяно-Алтая. В обрядовой практике шаманистов, мифологии хорошо известна роль «добрых духов», эренов (или онгонов), воплощенных в специально изготовлявшихся фигурках самых разных животных, птиц, а также рыб (Вайнштейн, 1974. С. 241–243. Рис. 66, *1, 2*; Иванов, 1979. Рис. 66, 155; Кореняко, 2002. Рис. LI, *3*).

Представлены птицы: мифические фениксы, а также петухи, небольшие птички и особенно много уток и гусей, в том числе летящих. Мотив летящей птицы у сибирских народов имеет глубокие местные корни, хорошо известно особое место водоплавающих птиц в мифологии тюрков.

На примере иконографии фениксов: «классической» (китайской) хищной птицы с подчеркнуто загнутым клювом, в основном с приподнятыми или распахнутыми крыльями (см. вклейку: с. 28, ил. 2*А*, *1–8;* с. 29, *Б, 29, 30, 32*), и в виде петушка (утки) со сложенными крыльями и поднятым пышным хвостом птиц семейства фазановых (см. вклейку: с. 29, ил. 2*Б*, *16–20, 24, 26–28*) – можно продемонстрировать потоки культурного влияния на Саяно-Алтай. Первый вариант попал сюда, видимо, через Восточный Туркестан, как и ряд других ярких декоративных мотивов, о чем уже говорилось. Второй – широко распространен на Среднем Востоке и в Средней Азии, но он также известен и в Китае. На наш взгляд, варианты этого вида птиц (в виде петушка) в искусстве Саяно-Алтая связаны с культурными влияниями западного направления (через Среднюю Азию). Таким образом, основные потоки культурного влияния на раннесредневековый Саяно-Алтай и прилегающие территории проявлены в вариантах декоративного мотива «птицы-феникса», что подчеркивает синкретизм искусства кочевников.

Антропоморфные изображения (подробнее см.: Король, 2008) представляют «личины», преимущественно в виде подвесок. Среди них – передающие портретные черты лица, отражающие конкретные антропологические типы. Есть условные образы, включающие и мифические существа. К антропоморфным изображениям можно отнести фигурки всадников. Три неполных набора и отдельные предметы украшены антропоморфно-сюжетными изо-

бражениями. Их иконография и семантика детально исследованы. Отметим выявленный на основе их изучения синтез культурных традиций с заимствованными элементами иконографии. Иконография деталей свидетельствует о влиянии искусства Среднего и даже Переднего Востока, Средней Азии, Восточного Туркестана.

Другая характерная черта рассматриваемого искусства – *наличие «серийных изделий»*. В их декоре преобладают растительные композиции. Предметы таких серий встречаются повсюду в Саяно-Алтае (подробнее см.: Король, 2008). В качестве примера можно назвать две наиболее популярные художественные серии (в серию входят варианты композиции с разной осью симметрии в зависимости от формы предмета). Самая многочисленная по числу известных предметов – группа «цветок смоквы – центр растительного узора» (141 экз.), максимальная концентрация – в Минусинской котловине, но известны также в Тыве и во всех микрорегионах Алтая, включая Верхнее Прииртышье, Кузнецкую котловину. Вторая – композиция с пальметтами и центральной лепестковой розеткой (138 экз.): основные находки концентрируются на Среднем Енисее, но остальные практически очерчивают границы наибольшего влияния Кыргызского каганата периода экспансии: от Иртыша на западе до Забайкалья на востоке. Именно серийные изделия считались, по-видимому, наиболее престижными при декорировании ременных украшений всадников.

Комплексное изучение рассматриваемых предметов, включающее и исследование технологии их изготовления, в том числе состав металла[3], позволяет утверждать, что с многообразием художественных особенностей торевтики малых форм неразрывно связана еще одна характерная черта – *многообразие технологических традиций*. Обобщенно их можно представить в следующем виде.

Технологические традиции

Универсальная технологическая схема (основная масса изделий)

Тонкостенное литье с использованием восковой модели в сочетании со вставным сердечником, образующее рельефную декорированную поверхность с хорошо проработанными деталями. Создавались пустотелые украшения с *рельефным декором*, имитирующие объемные изделия. В качестве матрицы (штампа) могло использоваться уже имеющееся готовое изделие.

Вариант – *ажурное литье*. Часто создавались высокохудожественные изделия.

Другие технологические схемы (единичные изделия)

– Литая заготовка с плоской поверхностью покрывалась *гравированным декором*.

– Литая заготовка декорирована с помощью техники *таушировки (насечки) медью по бронзе*.

– Штамповка (редко – иная культурная традиция; чаще – этап деградации искусства).

Приемы вторичной обработки поверхности литых изделий

– Дополнительные врезные линии, подчеркивающие выразительность рельефного декора.

– Фон обработан пуансоном с разными рабочими окончаниями (редко; хронологический признак позднего этапа существования торевтики малых форм).

– Золочение поверхности (часто); серебрение (редко); лужение (характерно для Алтая).

Использовались оптимальные с технологической точки зрения сплавы, позволяющие за счет их жидкотекучести добиться точного и тонкого воспроизведения и репродуцирования декорированной поверхности. Преобладает оловянно-свинцовая бронза с разным количеством олова и свинца. Представлены оловянная бронза, свинцовая бронза, единичные случаи мышьяковой бронзы. Выявлены латунь, в том числе так называемая золотая латунь с высоким содержанием цинка; сложная латунь. Можно отметить, что изготовление подобных вещей из сплавов с цинком требовало профессиональных навыков городского ремесленника.

Отдельные группы составляют предметы, изготовленные на основе сплава серебра с медью (особенность западной части рассматриваемого региона). Есть незначительное число медных изделий.

Следующая характерная черта – *несколько уровней качества изготовления предметов*. Это проявляется в качестве отливки, подборе металла для ее изготовления, тонкостях проработки деталей декора. Отчетливо выделяются изделия высокохудожественные, изготовленные с применением качественных стандартных сплавов (и латунь – лишь один наиболее редкий из них). Основной же массив составляют аналогичные или близкие по художественному оформлению вещи, изготовленные, вероятно, из переплавленных остатков металла, что не могло не сказаться на уровне качества исполнения орнаментально-декоративных композиций. Особенно наглядно соотношение разных уровней качества прослеживается в исследованных «серийных изделиях». Характерна ситуация, когда сходные по форме и декору накладки изготовлены из металла с

разной рецептурой. При этом как в крайне редких «минисериях» с антропоморфно-сюжетным декором, так и в широко распространенных сериях с растительной орнаментацией наряду с предметами из оловянной и оловянно-свинцовой бронзы есть 1–2 латунных предмета отличного качества.

Комплексное исследование позволяет выделить «первичные», сложные по рисунку и качественные по изготовлению, и «вторичные» изделия с аналогичным декором, но более низкого качества. Например, набор «личины» (18 предметов) из Тюхтятского клада внешне (за счет декора) воспринимается как абсолютно однородный. Внимательный анализ иконографических деталей декора и их интерпретация показали, что это далеко не так (Конькова, Король, 2007). Интересен набор и тем, что отличается от всех остальных исследованных групп и наборов однородностью состава металла: целиком изготовлен из сложной латуни. Но при этом в нем все же присутствуют «первичные» и «вторичные» изделия, судя по качеству декора и особенностям формы, т. е. комплект не был изготовлен за один прием, а дополнялся новыми предметами, изготовленными по художественному образцу сохранившихся ременных украшений хорошего качества. Вероятна реставрация полного комплекта по причине его изношенности, потерь, поломок. Изготовление новых предметов осуществлялось путем переплавки старых в условиях других технологических традиций и возможностей: другая технология в изготовлении матриц; наличие железных пластин на обороте; неумелый рисунок декора.

В некоторых случаях можно проследить и дальнейшую цепочку отливок с ухудшением качества вплоть до полной «размытости» или утере деталей иногда при сохранявшейся четкости основного рисунка, а также переходу к другому типу декора – гравировке. Яркий пример – бляхи-зажимы или игольники с изображением летящей утки с ветвью в клюве. Известно семь таких предметов (Король, 2008. С. 19, 22. Табл. 1). У четырех из них исследован химический состав металла. Выявлены три типа сплавов: сложная латунь (1 экз.) с хорошим изображением, с тщательной проработкой многочисленных деталей (см. вклейку: с. 30, ил. 3,*2*); оловянно-свинцовая бронза (2 экз.), при этом на одном из предметов орнамент выполнен гравировкой (см. вклейку: с. 30, ил. 3,*9*) в подражание литому (см. вклейку: с. 30, ил. 3,*8*); и почти чистая медь (1 экз.) – в художественном отношении относительно качественное изделие (см. вклейку: с. 30, ил. 3,*5*), с проработкой деталей, кроме цветущей ветви. Очевидно, что первичный вариант – это изделие из сложной латуни. Остальные предметы представляют, вероятно, цепочку вторичных отливок, в том числе разные способы декорирования.

Среди изученного массива предметов выделяются изделия разного уровня качества со следами ремонта, в том числе грубыми способами (см. вклейку: с. 30, ил. 3,*10*). При этом встречаются вновь изготовленные отливки по отремонтированным предметам (видны следы ремонта оригинала).

Совместно с Л. В. Коньковой нами разработана модель уровней качества и производства изделий (Король, Конькова, 2007. С. 27, 28). В обобщенном виде ее можно представить следующим образом.

Модель уровней (I–IV) качества (1) и производства (2) торевтики малых форм Саяно-Алтая

I. (см. вклейку: с. 30, ил. 3,*1,* 3,*2*). **1** – высокохудожественные; иногда из латуни; единичные изделия.

2 – «импорт» из городских ремесленных центров, где производили и латунные изделия.

II. (см. вклейку: с. 30, ил. 3,*3,* 3,*4*). **1** – высокое качество (в том числе декор), но чуть хуже уровня I; латуни нет; много изделий.

2 – ремесленное производство в городах на торговых путях Центральной Азии.

Творческий синтез из разных источников.

Изделия уровней I и II часто визуально идентичны.

III. (см. вклейку: с. 30, ил. 3,*5–7*)**. 1** – тиражирование изделий I и II уровней с ухудшением качества и *деградацией* декора; качество металла разное (может быть очень хорошим), часто – вторичный металл (переплавка); основная масса изделий.

2 – колонии мастеров-ремесленников – выходцев из городских центров, приближенные к территориям массового спроса.

IV. 1 – очередное тиражирование (см. вклейку: с. 30, ил. 3,*8,* 3,*9*) для восполнения наборов, в том числе по отремонтированным образцам; вторичный металл – переплавка, в том числе латунных предметов; качество металла разное: от хорошего до очень плохого; декор плохой и очень плохой; много изделий. Ремонт предметов (см. вклейку: с. 30, ил. 3,*7,* 3,*10*).

2 – «местное» производство, мастеров-художников среди литейщиков нет или они очень низкого уровня; возможно, переход к гравированному рисунку в подражание литому.

Если отличительная черта предметов I уровня – единичность и высокое качество, II уровня – большее количество и синтез (особенно художественный) из разных источников, то характерная особенность III–IV уровней – многократное тиражирование предметов с ухудшением качества, особенно декора. Самый низкий уровень (IV) предпо-

ложительно связан с ремонтом ременной гарнитуры на местах.

Таким образом, можно говорить не только о разных источниках (по художественным особенностям), но и о нескольких уровнях формирования (по технологическим особенностям) массива рассматриваемых изделий, отражающих сложные и разнообразные культурные контакты в Центральной Азии раннего Средневековья. Хорошо вычленяются иноземные художественные влияния (буддийские символы; виноград и др.), возможно, как уже говорилось, с территорий Восточного Туркестана, Средней Азии, а также из Афганистана, Ирана. К тому же часть именно этих изделий имеет оригинальные составы: преимущественно латунь, сплав, производство которого в эпоху раннего Средневековья связано со Средней Азией, Северным Афганистаном, Северной Индией (подробнее см.: Король, Конькова, 2007. С. 27). В сущности, система производства и распространения торевтики малых форм в период относительной политической стабильности времени экспансии Кыргызского каганата носила надэтнический характер и формировалась в системе сложных культурных связей и разделения труда.

В 20-х гг. X в. начался период условной нестабильности для Кыргызского каганата и всего рассматриваемого региона. После появления на востоке степной Азии новой политической силы – киданей, создавших свое государственное объединение, империю Ляо (916–1125), кыргызы вернулись на Енисей (политическую карту региона этого времени см.: Овчинникова, Длужневская, 2000. Карта на обороте титула). По-видимому, основные источники поступления качественной торевтики малых форм были теперь отрезаны от Саяно-Алтая. Постепенно в течение второй половины X в. ременные украшения из цветного металла в восточной части региона (Верхний и Средний Енисей) стали замещаться железными с серебряной таушировкой (аппликацией) и, по-видимому, уже с конца X – начала XI в. полностью сменили их, став одним из маркеров новой археологической культуры енисейских кыргызов (подробнее см.: Кызласов, 1983; Овчинникова, Длужневская, 2000). В западной же части – на Алтае и Верхнем Прииртышье – напротив, во второй половине X – первой половине XI в. продолжалось использование ременных украшений из цветного металла (см., например: Могильников, 2002; Горбунова и др., 2009), хотя их качество стало заметно хуже, в составе сплава используется больше серебра. Выше уже говорилось об этой особенности, которая, как выяснилось, характеризует поздний этап развития торевтики малых форм (конец I – начало II тыс.). Ухудшение качества, как уже говорилось, особенно видно по декору. Среди мастеров-литейщиков явно не было хороших художников, и изделия отливались по сохранившимся, но затертым образцам прежнего времени или их копиям. Детали (особенно растительные элементы) некогда популярных композиций теряли смысл и постепенно исчезали, а попытки тщательней проработать элементы, например зооморфных мотивов, выглядят грубыми и неумелыми.

Проведенное недавно комплексное исследование (подробно см.: Король, Конькова, 2011) части (77 предметов) коллекции XIX в. П. К. Фролова (Отдел Востока Государственного Эрмитажа) из северо-западных предгорий Алтая, район Змеиногорска, показало, что оно включает украшения преимущественно как раз этого времени – второй половины X – первой половины XI в.

Предметы представляют разные технологии. На фоне традиционной технологии литых изделий по восковой модели со вставным сердечником (представленной выше) часть литых предметов (с характерным декором и формами ременных украшений конца I – начала II тыс. Саяно-Алтая) изготовлена не по восковой модели, а с использованием матриц из камня или дерева, в грубой форме воспроизводящих оригинальные изделия (накладки с изображением оленя с ветвистыми рогами). Видимо, это связано с особым происхождением таких образцов: предположительно «местное» воспроизводство, ремонт набора, т. е. восстановление необходимого числа накладок на месте с помощью доступных возможностей, вне основных ремесленных территорий. Отдельные предметы – штампованные.

Суммарный анализ результатов исследования состава металла позволил выделить три практически равные группы: сложная латунь; сплавы на основе серебра («грязное» серебро); многокомпонентная бронза (и единичные исключения).

Микрорегион происхождения коллекции – северо-западные предгорья Алтая (юг Алтайского края) – примыкает к зоне так называемого Рудного Алтая (Восточно-Казахстанская обл. в Верхнем Прииртышье), известного значительными и разнообразными рудами металлов, в том числе медными (точнее медно-свинцово-цинковыми) с высоким содержанием серебра (самая большая концентрация по сравнению с Уралом и Кавказом) и серебряными месторождениями. В число последних входит и Змеиногорское («на Змеевой горе»), первое из открытых на Алтае в первой четверти XVIII в., где попутно с серебром добывалось золото. Медные (колчеданные) месторождения Алтая характеризуются не только обилием микропримесей собственно серебряных минералов, но и большой группы «сложных серебряно-медных сульфидов и сульфосолей сурьмянистого ряда» (Большая.., 1950. С. 140; Рудные.., 1978. С. 80, 81).

Возможно, часть вещей из рассмотренного собрания П. К. Фролова из района Змеиногорска связана происхождением именно с этим регионом. Это в первую очередь предметы из «грязного» серебра, а также многокомпонентных сплавов с большим содержанием микроэлементов (мышьяк, сурьма). Существует, однако, мнение, что предположительно разрабатывавшиеся в более ранние эпохи «чудские копи», в том числе в Рудном Алтае и прилегающих предгорьях, в Средневековье были заброшены (потребности в серебре восполнялись импортом из Средней Азии и Ирана) и вновь открыты только в Новое время (см.: Король, Конькова, 2007. С. 29, 30).

Следует подчеркнуть: исследованные ранее составы металла предметов, найденных в восточных регионах Саяно-Алтая (Минусинская котловина, Тыва), не дают устойчивых наборов (коллекций) на основе сплава серебра, там они единичны. Это специфика предметов, происходящих из северо-западных предгорий Алтая, Рудного Алтая.

Состав металла трети исследованных предметов из собрания П. К. Фролова («грязное серебро» – сплав на основе серебра или с большим его содержанием на основе меди со значительным количеством дополнительных компонентов: олова, свинца, цинка) предположительно результат определенной технологии производства с использованием местных полиметаллических руд, насыщенных серебром, с добавлением латунного лома (вероятно, из качественных изделий предшествующего периода) и последующего изготовления изделий. Зафиксированное в целом невысокое качество обработки, декора таких предметов (хотя металл может быть качественным), на наш взгляд, подтверждает это предположение.

Треть изделий – из сложной латуни. В восточной части Саяно-Алтая, подчеркнем, латунные изделия чаще всего отличного качества[4]. Здесь же (западная часть Саяно-Алтая) наоборот. И это, по-видимому, хронологическая особенность исследованной коллекции. Практически все латунные изделия в ней вторичные и явно изготовлены на основе латунного лома. При этом в металле группы «грязного» серебра отмечено также значительное содержание элементов, говорящих об использовании латуни в качестве легирующего компонента, возможно, в виде лома, как и в случае с латунными предметами.

Из 77 исследованных по составу металла предметов собрания П. К. Фролова высокое качество (при хорошей сохранности) можно отметить лишь для четырех, изготовленных преимущественно из многокомпонентной бронзы (см. вклейку: с. 31, ил. 4,*1–3*), один ажурный – из латуни (см. вклейку: с. 31, ил. 4,*4*). Это скорее всего оригинальные первичные изделия, представляющие, возможно, первый уровень качества. Три из них (см. вклейку: с. 31, ил. 4,*2–4*) с наиболее сложным и тонким декором – действительно художественные изделия. Заметим, что помимо оригинального первичного латунного ажурного предмета в коллекции есть второй латунный ажурный предмет с идентичным декором – определенно вторичный[5].

Таким образом, основной массив исследованных изделий представляет III и IV уровни качества и производства ременных украшений (по рассмотренной выше модели). Коллекция в целом позволяет увидеть наличие разных технологий, художественных предпочтений, качества не только в отношении технологических особенностей, но и декора. Наиболее важный вопрос, возникающий при получении результатов подобного комплексного исследования, – что они могут дать для понимания исторической ситуации в регионе. Такое многообразие из компактного микрорегиона северо-западных предгорий Алтая говорит о контактной зоне, где, возможно, работали ремесленники разного этнического происхождения, со значительно утраченными первоначальными традициями изготовления художественного металла. Контакт этот мог происходить не только между востоком и западом (Саяно-Алтай и казахстанские степи), но и севером и югом – по Иртышу, соединявшему этот горный и предгорный регионы с таежной зоной Западной Сибири, которая была поставщиком драгоценных мехов и других товаров. Часть произведенных ременных украшений могла уходить на север в обмен на эти товары.

Наличие или отсутствие аналогий из других регионов Саяно-Алтая (с точки зрения художественных особенностей и состава металла) позволяет говорить не только о связях между ними, но и предполагать сокращение этих связей с середины X в. и разрушение вероятной надэтнической системы производства ременных украшений.

Материалы рассмотренной коллекции дают возможность в очередной раз ставить вопрос об особенностях экономики степных и прилегающих предгорных и горных территорий и связи ее с политической ситуацией конкретного времени. При исследовании торевтики малых форм Саяно-Алтая в целом отмечались симбиозные связи с ремесленными центрами, с развитой системой производства художественного металла малых форм, с колониями мастеров-ремесленников, что позволяло снабжать коллективы кочевников необходимой продукцией. Никакая мелкая локальная мастерская не могла их обеспечить. Подобные мастерские, повторимся, занимались преимущественно ремонтом предметов, иногда – восстановлением наборов на своем уровне.

В коллекции П. К. Фролова с Алтая преобладают изделия как раз таких локальных мастерских, где создавалась продукция довольно низкого качества на основе доступных материалов. Это, по всей видимости, вполне можно интерпретировать как свидетельство определенных исторических процессов, происходивших в этом регионе в X–XI вв. после ухода с активной политической арены Центральной Азии Кыргызского каганата и выхода на нее новых объединений кочевников с востока.

Комплексный анализ торевтики малых форм, в котором важно внимание к любым деталям и на первый взгляд мелочам, позволяет в итоге выходить на уровень проблем экономики средневековых обществ и наглядно демонстрировать, что мир жителей степей, предгорий, горных степных долин и соседних цивилизаций с высокоразвитыми ремесленными и художественными традициями был в значительной степени интегрирован. При смене условно стабильных исторических периодов на противоположные происходило разрушение сложившихся экономических взаимосвязей. Это неизбежно отражалось на материальном мире: интеграция сменялась локализацией. В конкретной ситуации, рассмотренной здесь, на западе Саяно-Алтая высокое качество уступило место низкому качеству «местного» производства изделий из цветного металла, на востоке региона на смену пришла другая технология (производство ременных украшений из железа с серебряной отделкой), более мобильная, дешевая и доступная.

Список литературы

Археологические памятники в зоне затопления Шульбинской ГЭС. Алма-Ата, 1987.

Басандайка. Томск, 1947 (Тр. Томского гос. ун-та; Т. 98).

Большая Советская Энциклопедия. Т. 2. М., 1950.

Буддизм: Словарь. М., 1992.

Вайнштейн С. И. История народного искусства Тывы. М., 1974.

Гаврилова А. А. Сверкающая чаша с Енисея (к вопросу о памятниках уйгуров в Саяно-Алтае) // Бронзовый и железный век Сибири. Новосибирск, 1974. С. 177–183.

Горбунова Т. Г., Тишкин А. А., Хаврин С. В. Средневековые украшения конского снаряжения на Алтае: морфологический анализ, техника изготовления, состав сплавов. Барнаул, 2009.

Грязнов М. П. История древних племен Верхней Оби. М.; Л., 1956 (МИА; № 48).

Гусева Л. Н., Шавкунов Э. В. О происхождении одного орнаментального мотива у чжурчжэней // Новейшие археологические исследования на Дальнем Востоке СССР. Владивосток, 1976. С. 143–147.

Елькин М. Г. Курганный могильник позднего железного века в долине реки Ур // Изв. лаборатории археологических исследований. Кемерово, 1970. Вып. 2. С. 81–92.

Иванов С. В. Скульптура алтайцев, хакасов и сибирских татар. Л., 1979.

Каогу. 1960. № 2 (на кит. яз.).

Каогу. 1965. № 5 (на кит. яз.).

Кляшторный С. Г., Савинов Д. Г. Степные империи древней Евразии. СПб., 2005.

Конькова Л. В. Дальневосточные бронзы и традиции цветной металлообработки в степной Азии. Дис. ... д-ра истор. наук. М., 1996 (рукопись).

Конькова Л. В., Король Г. Г. Опыт комплексного исследования набора средневековых ременных украшений из Саяно-Алтая // Теория и практика археологических исследований. Вып. 3. Барнаул, 2007. С. 89–96.

Конькова Л. В., Король Г. Г. Художественно-технологические особенности наиболее распространенной группы средневековой торевтики малых форм Саяно-Алтая // Археология степной Евразии. Кемерово; Алматы, 2008. С. 185–200.

Конькова Л. В., Король Г. Г. Состав металла и технология изготовления средневековых ременных украшения из могильников Хойцегор и «На Увале» (Южное Забайкалье) // Торевтика в древних и средневековых культурах Евразии. Барнаул, 2010. С. 63–67.

Кореняко В. А. Искусство народов Центральной Азии и звериный стиль. М., 2002.

Король Г. Г. Искусство средневековых кочевников Евразии. Очерки. М.; Кемерово, 2008 (Тр. САИПИ; Вып. V).

Король Г. Г., Конькова Л. В. Производство и распространение раннесредневековой торевтики малых форм в Центральной Азии // РА. 2007. № 2. С. 25–32.

Король Г. Г., Конькова Л. В. Средневековые ременные украшения из Минусинской котловины: собрания XIX в. в коллекциях Эрмитажа // Теория и практика археологических исследований. Вып. 5. Барнаул, 2009 а. С. 139–149.

Король Г. Г., Конькова Л. В. Средневековые ременные украшения из раскопок в Тыве в коллекциях Государственного Эрмитажа // Роль естественно-научных методов в археологических исследованиях. Барнаул, 2009 б. С. 287–296.

Король Г. Г., Конькова Л. В. Коллекции Отдела Востока Государственного Эрмитажа в исследованиях средневековой торевтики малых форм из Саяно-Алтая и прилегающих территорий // Археологические вести. ИИМК РАН. Вып. 16 (2009). СПб., 2010. С. 135–150.

Король Г. Г., Конькова Л. В. Коллекция первой трети XIX в. из Эрмитажа: средневековая торевтика малых форм с Алтая // Изобразительные и технологические традиции в искусстве Северной и Центральной Азии. М.; Кемерово, 2011 (Тр. САИПИ; Вып. IX). С. 121–156.

Кочешков Н. В. Декоративное искусство монголоязычных народов XIX – середины XX века. М., 1979.

Кызласов И. Л. Булавки древних хакасов // Археология Южной Сибири. Кемерово, 1977. С. 87–104.

Кызласов И. Л. Аскизская культура Южной Сибири X–XIV вв. М., 1983 (САИ; Вып. Е3-18).

Кызласов Л. Р., Король Г. Г. Декоративное искусство средневековых хакасов как исторический источник. М., 1990.

Лубо-Лесниченко Е. И. Привозные зеркала Минусинской котловины. М., 1975.

Миллер Г. Ф. История Сибири. М.; Л. 1937. Т. 1 (Переизд.: М., 1999).

Мифы народов мира: Энциклопедия: в 2-х т. Т. 2. М., 1988.

Могильников В. А. Кочевники северо-западных предгорий Алтая в IX–XI вв. М., 2002.

Овчинникова Б. Б., Длужневская Г. В. «Дружинное захоронение» енисейских кыргызов в центре Тывы. Екатеринбург, 2000.

Рудные месторождения СССР. В 3-х т. Т. 3. М., 1978.

Смирнов Я. И. Восточное серебро. СПб., 1909.

Торгоев А. И. О хронологии наременных украшений Семиречья // Степи Евразии в древности и Средневековье. Кн. II. СПб., 2003. С. 285–289.

Традиционное мировоззрение тюрков Южной Сибири. Знак и ритуал. Новосибирск, 1990.

Федоров-Давыдов Г. А. Искусство кочевников и Золотой Орды. М., 1976.

Формозов А. А. Страницы истории русской археологии. М., 1986.

Arne T. J. La Suède et l`Orient. Upsal, 1914.

Cammann S. The Lion and Grape Patterns on Chinese Bronze Mirrors // Artibus Asiae. Ascona, 1953. Vol. 16. № 4. P. 269–291.

Williams C. A. Encyclopedia of Chinese Symbolism and art Motives. New York, 1960.

Yetts W. P. Simbolism in Chinese Art. Leyden, 1912.

Список сокращений

АлтГУ– Алтайский государственный университет

ГИМ – Государственный Исторический музей

ГЭ, ОАВЕиС – Государственный Эрмитаж, Отдел археологии Восточной Европы и Сибири

ГЭ, ОВ – Государственный Эрмитаж, Отдел Востока

ИИМК – Институт истории материальной культуры РАН

РА – Российская археология

САИ – Свод археологических источников

САИПИ – Сибирская Ассоциация исследователей первобытного искусства

Примечания

1 Ядро Кыргызского каганата сложилось на Среднем и Верхнем Енисее еще в начале VIII в. в период Второго тюркского каганата, а после разгрома кыргызами уйгуров в 840 г. и падения Уйгурского каганата кыргызы вышли на просторы Центральной Азии. Начался период экспансии Кыргызского каганата (середина IX – начало X в.), когда значительные территории на востоке, севере, юге и западе от Енисея попали под влияние культуры каганата (подробнее см.: Кляшторный, Савинов, 2005).

2 Среди них есть и явные реминисценции скифосибирского стиля (олени с характерной иконографией рогов); есть и элементы, пришедшие из иранского или согдийского искусства (развевающийся шарф на шее животного и др.).

3 Состав металла исследовался специалистом по древнему и средневековому цветному металлу д-ром истор. наук Л. В. Коньковой (1996). Результаты нашего совместного комплексного исследования ряда коллекций торевтики малых форм, а также некоторые обобщения опубликованы (см., например: Король, Конькова, 2007; 2009 а, б; 2010; 2011; Конькова, Король, 2008; 2010). Здесь использованы опубликованные профессиональные наблюдения Л. В. Коньковой, за что приношу ей искреннюю благодарность, и некоторые положения совместных разработок.

4 Исследования латунных изделий из Тывы и Минусинской котловины середины IX – начала X в. показали, что среди них присутствуют оригинальные (первичные) изделия, произведенные в мастерских с высоким уровнем ремесленного производства. Металл для их изготовления был очень качественный, латунный лом вряд ли использовался. По-видимому, это справедливо именно для этой территории данного хронологического периода.

5 Отливка и изображение чуть худшего качества. При этом металл отличается от первого не только добавлением свинца, но и по геохимическим показателям, т. е. он был изготовлен либо в том же ремесленном центре в другое время, либо декоративная композиция была использована в другой мастерской.

Н. Н. Крадин

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КОЧЕВЫХ ИМПЕРИЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ И ГОСУДАРСТВ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

Введение

Начиная с глубокой древности можно проследить следы культурных контактов народов Центральной Азии и Дальнего Востока. Биологические антропологи отмечают сходство физического облика населения Сибири и Дальнего Востока еще в эпоху камня. В более поздние периоды мы наблюдаем обмен технологиями земледелия и культивируемыми растениями между прибрежными и глубоко континентальными районами, на территории Приморья прослеживаются следы появления ранних очагов металлургии, пришедшей с запада из Центральной Азии. С этого момента начинается многоэтапный обмен идей и материальных ценностей между прибрежными и континентальными районами.

Для более позднего времени известны контакты и влияние «кочевых империй» Центральной Азии, определявших геополитическую расстановку сил к северу от Китая, на процессы, происходившие в дальневосточном регионе (хунну, тюрки, уйгуры). В эпоху классического Средневековья соотношение сил изменилось. Лидерство перешло к народам Дальнего Востока, которые создали громадные империи, включавшие не только дальневосточные территории, но и значительную часть Монголии и Китая (кидани, чжурчжэни). В этот период взаимодействие между Центральной Азией и Дальним Востоком еще более усилилось.

Следующий важный этап взаимоотношения народов региона связан с монгольским завоеванием. В этот период монголы замкнули цепь международной торговли в единый комплекс сухопутных и морских путей. При этом мобильная система коммуникаций номадов (в первую очередь евразийский степной коридор) занимала одно из ключевых мест в трансляции политической, технологической и культурной информации.

Последний этап соотносится с маньчжурскими завоеваниями и формированием территории Цинского Китая, а также началом освоения Российским государством Сибири и Дальнего Востока. В этот период в Восточной Азии сложилась геополитическая конфигурация, которая с некоторыми изменениями сохраняется и поныне.

В настоящей статье будет уделено внимание двум важным аспектам темы. Сначала речь пойдет о принципах динамики биполярной структуры Внутренней Азии. Далее будет раскрыт один из механизмов «антропологии движения», будут показаны некоторые факторы трансляции культурных инноваций в регионе, связанные с масштабными насильственными переселениями больших масс людей.

Биполярная структура мир-империй Восточной Азии

В истории Восточной Евразии начиная с эпохи хунну сложилась биполярная картина мира: китайские династии на юге и кочевые империи на севере. При этом прослеживается несколько циклов геополитической динамики китайских династий и степных империй. Первая из широко известных концепций принадлежит К. Виттфогелю. По его мнению, можно выделить три модели такого взаимодействия: (1) при кочевых династиях Ляо (907–1125 гг.) и Юань (1206–1368 гг.) масштабы культурного взаимопроникновения между номадами и земледельцами были ограничены. Такую модель можно назвать как «сопротивляющуюся культурным изменениям»; (2) напротив, при чжурчжэньской династии Цзинь (1115–1234 гг.) возникла ситуация, благоприятная для культурного симбиоза. Виттфогель определил ее как «поддающуюся культурным влияниям»; (3) маньчжурская династия Цин (1644–1911 гг.) представляла некую промежуточную форму[1].

К сожалению, в этой фундаментальной книге была проигнорирована роль собственно кочевых империй (хунну, тюрки, уйгуры). Впоследствии этот недостаток был исправлен в концепции японского историка Тамуры Дзицудзо[2]. Тамура включил в свою схему не только «завоевательные» династии, но и более ранние политии номадов (хунну, тюрок, уйгуров), которые взаимодействовали с Китаем на расстоянии. В то же время он указал на важные отличия между династиями Ляо и Юань. Кидани противостояли сунскому Китаю один-на-один. При монголах ситуация была более сложной. Помимо монголов северным и южным китайцам структурно противостояла многочисленная группа *сэму* – тюрко- и ираноязычных выходцев из Средней Азии. В целом выделяются два больших цикла в истории Северной Евразии: (1) цикл древних империй кочевников засушливой зоны Внутренней Азии (II в. до н. э. – IX в. н. э.): хунну, сяньби, жужани, тюрки,

уйгуры; (2) цикл средневековых завоевательных династий, происходивших из таежной (чжурчжэни, маньчжуры) или степной (кидани, монголы) зон (X – начало XX в.): Ляо, Цзинь, Юань, Цин. Общества первого цикла взаимодействовали с Китаем на расстоянии, государства второго завоевывали земледельческий Юг и создавали симбиотические государственные структуры с дуальной системой управления, оригинальными формами культуры и идеологии.

Однако почему сначала доминировали кочевые империи, которые эксплуатировали Китай на расстоянии, а потом им на смену пришли империи, ставшие завоевателями Китая? Частично ответ на этот вопрос содержится в концепции Т. Барфилда[3]. Согласно его воззрениям, можно выделить синхронность процессов роста и упадка кочевых империй (он называет их «теневыми империями») и аналогичных процессов в Китае. Действительно, цикл подъема и упадка ранней династии Хань и степной империи Хунну почти совпадает. Когда в Китае начинались смуты и экономический кризис, система дистанционной эксплуатации кочевников переставала работать и имперская конфедерация разваливалась на отдельные племена до тех пор, пока не восстанавливались мир и порядок на юге. Такая циклическая структура политических связей между народами Китая, Центральной Азии и Дальнего Востока, по мнению Т. Барфилда, повторялась трижды в течение двух тысяч лет: от хунну до жужаней, от тюрков до гибели Юань и от Мин до Синьхайской революции, которая прервала эту круговую эволюцию.

Барфилд не только констатировал синхронность процессов роста и упадка кочевых империй и аналогичных процессов в Китае, но и заметил, что завоевание Китая было делом, как правило, «маньчжурских народов». Развал централизованной власти и в Китае, и в Степи освобождал последних от давления как со стороны кочевников, так и со стороны китайцев. Освобожденные от внешнего прессинга народы Маньчжурии создавали свои государственные образования и захватывали земледельческие области на юге. Особенно преуспели в завоеваниях кидани, чжурчжэни и маньчжуры. Такая циклическая структура политических связей между народами Китая, Центральной Азии и Дальнего Востока, по мнению Т. Барфилда, повторялась трижды в течение двух тысяч лет.

Концепция вызвала немало справедливых нареканий со стороны историков. Ряд исследователей писали, что Барфилд преувеличивает роль внешних факторов. На самом деле более важными для создания империи были внутренние причины. Барфилда обвиняли в некорректности выборки («модель с тремя примерами и двумя исключениям»), отсутствии жесткой корреляции между ритмами подъема упадка Китая и кочевых империй. В частности, история формирования Первого и Второго тюркских каганатов не вписывается в синхронную модель циклов между кочевыми империями и Китаем[4].

Идеи Барфилда развивает изящная модель «петли обратной связи», предложенная П. В. Турчиным[5]. Ее суть заключается в том, что кочевники и земледельцы оказывали воздействие друг на друга в течение длительного времени. Набеги номадов предполагали централизацию земледельцев, что, в свою очередь, требовало объединения степняков в более крупные формирования. «Начальная “анизотропия” (т. е. неодинаковость свойств среды. – *Н. К.*) в военной мощи на земледельческо-степном фронтире, таким образом, устанавливает автокаталитический процесс, заканчивающийся безудержным ростом размеров политий по обе сторон границы»[6].

Как бы то ни было, никто не будет отрицать наличие циклов в истории Китая. Наиболее адекватно специфику этих процессов описывает структурно-демографическая модель Голдстоуна – Нефедова – Тручина. Рост населения приводит к увеличению нагрузки на ресурсы и росту цен. Параллельно с этим осуществляется увеличение численности элиты государственного аппарата (согласно первому закону Паркинсона, для конфуцианского Китая это особенно актуально). Производители не способны платить чрезмерные налоги, что приводит династию к кризису и краху[7].

К сожалению, Т. Барфилд не учел того обстоятельства, что для степных империй был характерен свой династический цикл – «цикл Ибн-Хальдуна», связанный с перепроизводством степной элиты. Впервые еще в XIV в. Ибн-Хальдун подметил, что династии, созданные кочевниками, живут не более трех-четырех поколений и от поколения к поколению они теряют способность к групповой консолидации (*асабийя*). Теоретически данный механизм должен был функционировать примерно следующим образом. Поскольку в имперских конфедерациях кочевников в среде элиты распространен полигамный брак, воспроизводство высших страт должно было осуществляться в геометрической прогрессии. Допустим, что некий правитель степного общества имел как минимум пять сыновей от пяти жен. При таких темпах воспроизводства он должен был бы иметь 25 внуков и 125 правнуков! При этом если на детей приходилось в качестве наследства примерно по 20 % совокупного ресурса политии, то уже на каждого из внуков – всего по 0,8 %.

Опыт эмпирического изучения истории Хуннской кочевой империи позволил выделить три четких цикла перепроизводства элиты в хуннском об-

ществе: соответственно 209–126, 126–60 гг. до н. э., 30 г. до н. э. – 48 г. н. э. Переход между первым и вторым циклами завершился относительно мирной сменой системы престолонаследия от брата к брату. Второй цикл завершился тридцатилетней гражданской войной. А последний, третий, цикл привел к окончательному распаду на Северную и Южную конфедерации хунну. Эти циклы почти точно совпали со структурно-демографическими циклами династии Хань[8].

Данная закономерность в последние годы получила солидное теоретическое обоснование. П. Турчиным была построена изящная математическая модель, в которой учтены такие показатели, как высокая скорость умножения элиты, доходы государства, снижение асабийи[9]. А. В. Коротаев развил и углубил эти идеи, применив их к истории средневекового Египта[10].

Важно отметить, что в эпоху династии Хань китайский цикл почти полностью совпал с циклами хуннской элиты. Однако впоследствии из-за разной продолжительности структурно-демографических циклов в Китае и циклов численности элиты степных конфедераций их такты часто не совпадали. Так, кризис и гибель Второго Тюркского и Уйгурского каганатов пришлись на периоды стабильности в империи Тан. Однако все циклы империй монгольских степей вписывались в хронологические рамки 45–85 лет, что соответствовало трем-пяти поколениям (табл. 1).

Таблица 1

Династические циклы степных империй Внутренней Азии

	Цикл, годы	Цикл, лет	Кол-во ханов	Кол-во поколений
Империя Хунну	209–126	83	3	3
	126–60	66	12	4,5
	30 BC – 48 AD	84	8	3
Жужаньский каганат	414–492	78	6	5
	492–552	60	4	4
Тюркский каганат 1	552–630	78	12	5
Тюркский каганат 2	682–740	58	6	3
Уйгурский каганат	742–795	53	7	5
	795–839	44	5	4
Империя Чингисхана	1206–1260	46	4	3

Если говорить о верификации данной модели эмпирическими данными, то необходимо заметить, что наибольшее количество фактов по численности семей элиты обеспечено источниками по истории монгольских ханств. В частности, известно, что у Чингисхана было около 500 жен и наложниц. Сын его единокровного брата Бельгутая Джауту имел 100 сыновей, за что получил шутливое прозвище «сотник». У хагана Хубилая было 22 сына от 4 жен и еще 25 сыновей от наложниц[11]. Можно только представить, какое это было огромное потомство – наследники Потрясателя Вселенной! Уже во времена Джувейни так называемый золотой *уруг* (т. е. род) Чигисхана составлял порядка 20 тыс. человек[12].

Империя Чингисхана не прошла полный Ибн-Хальдуновский цикл, поскольку ее размеры были настолько велики, что ресурсов хватило на всех потомков основателя империи. Держава благополучно разделилась после смерти хагана Мунке (1259 г.) на отдельные части из-за невозможности управления такой огромной территорией. Уже во времена Угедея, чтобы проехать все владения чингисидов с запада на восток понадобился бы не один месяц. Когда умирал хаган, целостность империи оказывалась под угрозой, начинался длительный период регентства и власть оказывалась в руках кого-либо из близких родственников. Регентство длилось до тех пор, пока курултай не избирал нового правителя степной империи. Монгольская держава была настолько велика, что проходили долгие месяцы и годы, прежде чем удавалось собрать достаточный «кворум» из родственников, который был бы легитимен принимать подобные решения. Различные силы выдвигали своих кандидатов, но часто положение регентов давало им определенные преимущества (в наши дни это назвали бы «административным ресурсом»).

Однако после разделения империи перед всеми правителями улусов встала проблема обеспечения ресурсами представителей царствующей элиты. Так, в Китае монголы были изгнаны обратно в степь после одного цикла. Как писал Б. Я. Владимирцов: «Дело дошло до того, что давать в удел было уже нечего. Чингисханидов стало так много, что всем уже не хватало оттоков и аймаков в удел и владение. К концу XVII в. в разных местах монгольского мира появляются совсем мелкопоместные нояны, а затем младшие члены феодальных семей не получают уже в удел настоящих albatu, они должны удовлетворяться одними “домашними слугами” да обычным кочевым достоянием, скотом в первую очередь. Благодаря этому значительное число чингисханидов оказывается в положении совершенно таком же, в каком были представители высшего класса albatu, т. е. табунаги, сайды и т. д.»[13]

Возможно, только в Оттоманской империи нашли решение задачи Ибн-Хальдуна. Там механизм наследования был институализирован таким образом, что круг естественных претендентов был

сужен до одного кандидата. Участью других был шелковый шнурок или другие менее гуманные варианты снятия своей кандидатуры. Это несколько увеличило светские циклы Османского государства до 200–300 лет[14].

Депортация людей, идей и технологий

Культурное влияние может транслироваться различными средствами: через движение материальных объектов, распространение текстов и вербальной информации, контакты носителей различных культур и т. д. Это предмет изучения антропологии движения[15]. В данной работе я хотел бы обратить внимание на роль такого важного фактора, как насильственное перемещение больших масс людей на дальние расстояния. С этической точки зрения, война, массовые убийства и депортации не имеют и не могут иметь никакого исторического оправдания. Однако в долговременной перспективе, как это ни парадоксально, эти события стимулировали интенсивный межкультурный обмен, создание оригинальных культурных инноваций и стилей.

По данным письменных источников, хорошо известно, что кочевники в периоды существования степных империй многократно нападали на Китай и угоняли в плен земледельческое население. Первой из кочевых империй была Хуннская держава (209 г. до н. э. – 48 г. н. э). У хунну существовали поселения и городища, жители которых занимались земледелием и ремеслом. Наиболее изученным из оседлых памятников хунну является Иволгинское городище, расположенное на территории современной Бурятии около г. Улан-Удэ. Многолетними археологическими исследованиями вскрыта значительная площадь, исследовано более 50 жилищ, а также много иных хозяйственных и прочих сооружений. Материалы раскопок городища и синхронного ему могильника опубликованы практически полностью[16].

Большинство жителей городища занимались земледелием, оседлым животноводством, рыболовством. Наряду с сельским хозяйством часть жителей занималась ремесленным производством. Полиэтничность городища подтверждается различиями в конструктивных особенностях жилищ, погребальном обряде на синхронном городищу могильнике и краниометрическими данными. Некоторые категории инвентаря (земледельческие орудия), станковые сосуды, иероглифические надписи на артефактах обнаруживают аналогии с китайскими материалами. Большое количество в остеологическом материале городища таких животных, как собака (29 %) и свинья (15 %), в совокупности с широко используемой на городище традицией строительства «канна» невольно наводит на мысль о том, что, возможно, определенная часть жителей городища являлась выходцами с Дальнего Востока. Известно, что собака является традиционных деликатесом народов Маньчжурии и Корейского полуострова, а свинья с глубокой древности входила в число излюбленных деликатесов «восточных иноземцев»[17].

Как следует оценивать статус жителей Иволгинского городища в составе Хуннской империи – как сложившуюся систему доминирования кочевников и эксплуатацию ими земледельцев или же как партнерские торгово-обменные связи между двумя хозяйственно-культурными группами общества? Очевидно, что номады имели в целом более высокий общественный статус в Хуннской кочевой империи. Это прослеживается хотя бы в отличиях в количестве и разнообразии сопроводительного инвентаря в захоронениях, а также в различиях погребальных конструкций Иволгинского могильника и могильников Дэрестуйский Култук, Черемуховая и Ильмовая падь[18]. Данный факт предполагает возможность существования определенной эксплуатации населения поселений и городищ. В то же самое время нельзя забывать, что в среде низших социальных групп Ханьской империи бытовало мнение о привольном образе жизни иммигрантов в среде кочевников. Единственная проблема – это опасность быть пойманным китайскими пограничниками во время побега[19].

Скорее всего, в Хуннской державе существовал достаточно широкий спектр отношений между кочевниками и земледельцами. Это могли быть как поселения, заселенные пленниками-рабами, так и населенные пункты, жители которых имели статус полувассальных данников, обязанных поставлять номадам определенное количество земледельческой и ремесленной продукции или даже общины земледельцев, поддерживавшие взаимовыгодные экономические и торговые связи с кочевой частью населения степной империи при условии общего военного и политического доминирования кочевников[20].

В китайских хрониках нет никакой информации о городе, существовавшем на северной окраине Хуннской империи. Однако есть информация о причине создания оседлых поселений в период существования Сяньбийской державы (130–180 гг. н. э.). Известно, что основатель Сяньбийской державы Таньшихуай был обеспокоен нехваткой продовольствия. По этой причине он приказал переселить «с востока» в район Лаохахэ около 1000 семей народа вожэнь, занимавшегося рыболовством, с тем чтобы они восполняли номадам недостаток пищи рыбной ловлей[21]. Помимо пленных ремесленников и земледельцев у сяньби было немало иммигрантов из Китая. Именно благодаря им первоначальный ввоз металлического оружия контрабандным спо-

собом из Китая в III в. был заменен собственным производством предметов вооружения из металла[22].

Киданьская империя Ляо (907–1125 гг.) открыла новый этап во взаимоотношениях между Китаем и соседними народами. Их взлет был обусловлен кризисом и распадом династии Тан и запустением степи, вызванным разгромом Уйгурского каганата енисейскими кыргызами. Кидани сначала подчинили несколько небольших государств, образовавшихся на обломках Танской империи. Позднее они завоевали большую часть Северного Китая. Впервые под властью так называемых восточных «варваров» оказалась почти вся территория Северного Китая. В этом многонациональном государстве кочевники кидани («ядро-метрополия») составляли всего пятую часть населения (750 тыс. чел.). Кроме них в состав империи входили земледельцы китайцы – более половины населения (2400 тыс. чел.), бохайцы (450 тыс. чел.), некиданьские (так называемые варварские) скотоводческие и охотничьи (200 тыс. чел.) народы. Общая численность населения державы составляла 3 млн 800 тыс. чел.[23]

По мере включения в состав империи значительных земледельческих территорий появилась потребность создания более сложного управленческого механизма. Кидани возводили крупные города, в которых воздвигали пышные дворцы и храмы, селился императорский двор и чиновники. Численность известных киданьских городищ приближается к полусотне[24]. На территории Монголии в долинах Керулена и Толы открыто 15 киданьских городищ[25]. Они были предназначены сдерживать местных кочевников, а также, по всей видимости, обеспечивать прямые контакты Ляо с тантугами и государствами Средней Азии, минуя Сун.

Начиная с 2004 г. российскими учеными совместно с монгольскими коллегами ведутся стационарные исследования археологических памятников киданей в Монголии. Эти исследования проводились за счет средств грантов РГНФ (№ 02-01-00176а, 06-01-91915е/G, 06-01-91915е/G, 07-01-92002а/G, 07-01-92071е/G, 08-01-00265а, 08-01-92072е/G, 09-01-00042е/G, 10-01-18137е/G), а также при финансовой поддержке Программы фундаментальных исследований Президиума РАН «Историко-культурное наследие и духовные ценности России» (№ 09-I-П25-03).

Исследования на городище Чинтолгой-балгас (2004–2008 гг.) дают разнообразные сведения о социально-экономической жизни в империи Ляо[26]. Памятник расположен в центре Монголии, примерно в 200 км к западу от Улан-Батора. Городище представляет собой почти правильный прямоугольник со сторонами 1,2 км на 0,6 км, ориентированный почти по сторонам света. Городище окружено двумя валами. На основном вале 35 башен, 5 ворот с Г-образным захабом. Городище разделено внутренним валом на северную (административную, элитную) и южную (жилую) части. Прослеживаются следы трех улиц киданьского времени.

В центральной части раскопа (2004–2005 гг.) в наиболее возвышенной части были обнаружены остатки глинобитного здания квадратной формы. В северо-западной части раскопа были найдены остатки наземного жилища с *каном* (отопительная система, типичная для бохайской и чжурчжэньской культур). Трехканальный кан был ориентирован по линии Север – Юг. В его южной части находился очаг. С восточной стороны от кана было зафиксировано скопление игральных альчиков. С севера за пределами жилища располагались три большие сосуда (хума), врытые в землю. Еще чуть дальше к северу была зафиксирована кирпичная стенка, идущая по линии Запад – Восток. По всей видимости, она отделяла жилище (и/или квартал) от улицы.

В 2006–2008 гг. исследования велись на другом раскопе, расположенном к западу от раскопа первых двух лет. Здесь были найдены остатки еще двух жилищ верхнего строительного горизонта с Г-образными канами в каждом из них. Граница между жилищами была определена по кладке черепицы, расположенной на уровне пола. Основания южных стенок обоих жилищ были укреплены крупными камнями. Кроме того, с этой стороны были зафиксированы большие плоские камни, являвшиеся базами для столбовых конструкций. Это дает основание говорить, что город имел компактную квартальную застройку. Жилые районы города состояли из кварталов, которые должны были делиться улицами и переулками. Внутри кварталов достаточно скученно располагались жилища.

Помимо канов в процессе раскопок были найдены многочисленные категории артефактов, имеющие аналогии в культуре Бохая. В первую очередь это так называемые фишки – кружки диаметром от 1 до 7 см, сделанные из стенок глиняных, глазурованных и фарфоровых сосудов, фрагментов черепицы и камня. Подобные «фишки» нередко фиксируются на бохайских памятниках Приморья. Другая важная черта – типичные бохайские горизонтальные ленточные ручки. Наряду с ними на круговой керамике Чинтолгой-балагаса встречается и другая разновидность горизонтальных ручек – козырьковые. Подобные ручки найдены на самом изученном бохайском памятнике в Приморском крае – Краскинском городище. Среди найденных в ходе раскопок городища Чинтолгой-балгас костяных изделий обращает на себя внимание вырезанный из рога игральный кубик с нанесенными на грани в виде высверленных ямок-точек числами от 1 до 6. Аналогичный по размерам и исполнению кубик найден в 2007 г. на бохайском Абрикосов-

ском селище в Уссурийском районе Приморского края[27].

Это дало основание предположить, что в число жителей городища входили бохайцы, которых киданы начали депортировать со своей родины вскоре после завоевания государства Бохай в 926 г. При тщательном исследовании истории киданьского государства «Ляо ши» А. Л. Ивлиеву удалось в главе 37 найти данные, согласно которым при создании киданьских пограничных крепостей в долине р. Толы для обеспечения воинов продовольствием было переселено 700 семей бохайцев, чжурчжэней и ханьцев, которые были расселены в Чжэньчжоу (т. е. на территории городища Чинтолгой-балгас) и подчиненных ему городах Фанчжоу и Вэйчжоу. На эту территорию было отправлено для несения воинской службы две «тьмы» (20 000 киданьских воинов)[28].

Наиболее крупномасштабный период миграций и депортации народов связан с созданием империи Чингисхана и монгольскими завоеваниями XIII в. Монголы замкнули цепь международной торговли в единый комплекс сухопутных и морских путей. Впервые все крупные региональные ядра (Европа, Исламский мир, Индия, Китай, Золотая Орда) оказались объединенными в единую цепь[29]. С этого времени границы Ойкумены значительно раздвинулись, политические и экономические изменения в одних частях света стали играть гораздо большую роль в истории других регионов мира[30].

Монголы очень скоро осознали нехватку подготовленных кадров в различных областях деятельности, но еще быстрее поняли, что квалифицированный специалист является таким же ресурсом, как скот или материальные средства. В течение уже первых десятилетий существования империи они провели масштабную мобилизацию человеческих ресурсов. Только после захвата Хорезма в Монголию было угнано по данным письменных источников, 100 тыс. ремесленников[31] – фантастическая цифра, которая явно преувеличена. Однако масштабы все равно выглядят впечатляюще. Вторая волна насильственной депортации ремесленников была связана с походами на государство Цзинь. Многих из ремесленников послали в Среднюю Азию. Третья масштабная волна уже относится к 1255–1259 гг., когда Хулагу присоединил к владениям империи территорию Ирана.

Посредством насильственного переселения масс людей или путем вовлечения в эти процессы массы авантюристов, искателей наживы и приключений монголы создали предпосылки для начала беспрецедентного межкультурного обмена и интеграции между культурами, религиями и цивилизациями. Китайские техники и инженеры сопровождали монгольские армии, вторгавшиеся в страны ислама. Значительные группы населения с территории империи Цзинь были переселены в Мерв и Тебриз для занятия ремеслом и сельским хозяйством. По приказанию Хулагу были построены буддистские храмы на территории Хорасана, Армении и Азербайджана. Археологическими исследованиями изучены остатки одного такого храма неподалеку от Мерва. Конструкция объединяет местные и дальневосточные строительные традиции. В среднеазиатских городах существовали китайские кварталы[32].

Это создавало возможности для расширения все новых и новых связей, формирования вкусов. Однако не нужно забывать, что монголы не ставили своей целью создать сеть глобальных информационных коммуникаций. Они были одержимы идеей покорения мира, и следовательно, многие результаты их контактов с другими культурами и цивилизациями оказались непреднамеренными. Транзиты «высоких технологий» в большей степени были следствием деятельности политической воли правителей Монгольской империи, нежели внутреннего развития экономики и торговли. В результате сформировались обширные и постоянные сети культурных и технологических контактов между ремесленниками, инженерами, художниками и другими представителями интеллектуального труда разных народов и государств. Все это стало основой для технологического и культурного обмена, способствовало претворению в жизнь новых возможностей и уникальных открытий, которым через несколько столетий было суждено перевернуть весь мир.

Наглядным воплощением смешения культур и народов стал Каракорум – столичный город Монгольской державы. Столица была разделена на несколько участков. В одной зоне располагались усадьбы аристократии и хаганский дворец, в другой были расселены чжурчжэньские и китайские ремесленники, третья была занята мусульманскими купцами. В городе существовало не менее четырех рынков, церкви и кумирни различных конфессий. Какая только речь не звучали в Каракоруме. По словам европейских путешественников, здесь можно было встретить чжурчжэней и китайцев, жителей Средней Азии, аланов, армян, венгров, греков, грузин, немцев, русичей, французов (при всей условности этих этнических наименований для того времени)[33].

Археологические материалы и музейные коллекции подтверждают данные сведения. Можно проследить близость концевых дисков черепицы на чжурчжэньских памятниках Приморья и средневековых памятниках Монголии. Типичные чжурчжэньские каны найдены на многих археологических объектах монгольского времени: в Каракоруме, Хирхиринском городище в Забайкалье, городище Дён-терек

в Тыве. На городище Дён-терек в Тыве найдены скульптурные украшения головы дракона, птицы феникс, почти идентичные находкам из Приморья. Подробное описание фарфоровых и поливных изделий из Каракорума, сделанное Л. А. Евтюховой, определенно указывает на его цзиньское и сунское происхождение, особенно таких сортов, как цзюньяо, цычжоу. Некоторые орнаменты на сосудах имеют сходство с клиновидным орнаментом древнерусской керамики из Старой Рязани[34].

Помимо столицы есть другие памятники городской культуры Монгольской империи. Первый из них – Хирхиринское городище – находится на юге Забайкальского края. Памятник представляет собой несколько групп усадебных комплексов, протянувшихся по линии запад – восток почти на два километра и примерно на 700 м по линии север – юг. В западной части располагалась самая большая цитадель (110–100 м), которая была окружена валом и рвом. Внутри находилось здание дворцового типа (15х30 м) и несколько других строений. Предполагается, что главное здание было одноярусным и сверху было покрыто черепичной крышей[35]. Вокруг цитадели располагались усадьбы. Одни из них стояли отдельно друг от друга, другие объединялись в сложную систему кварталов, улиц и проулков. К западу от главной цитадели находилось еще несколько крупных комплексов. Считается, что Хирхиринское городище было ставкой Исунке – сына Хасара, родного брата Чингисхана.

В 9 км к северо-востоку от городища в распадке Алестуй находится отдельно стоящая усадьба. Она представляет собой насыпную платформу высотой до 1,5 м, размером 20х30 м, вытянутую по линии Север – Юг. Вокруг платформы расположен невысокий вал (0,3–0,5 м), прямоугольной формы, размером 70х70 м. Вал ориентирован почти по сторонам света. Он условно обозначен нами как основной двор. К северному валу пристроен еще один обвалованный участок прямоугольной формы размером 70х35 м. В 2009–2011 гг. была изучена западная половина усадьбы. Общая площадь раскопа за три года оставила 450 кв. м. Была вскрыта северная часть двора между каменным валом и зданием, а также вся западная половина платформы с прилегающей частью пандуса. Она была сложена из плотной глины серого цвета. На поверхности платформы было зафиксировано множество находок черепицы, кирпичей и их обломков, другие категории артефактов. Важное значение имеет находка нескольких остатков дымоходных конструкций – канов с 4–5 дымоходными каналами. Кроме канов была найдена печка, сложенная из кирпичей.

Культурный слой оказался очень насыщенным. Из находок было встречено большое количество железных гвоздей различных размеров, обломки различных железных и бронзовых изделий, плоский наконечник стрелы, каменное лощило, обломок лемеха, куски шлака, обломки тигля, железный замок, втулки ступицы колеса, венчик и куски стенки железных котлов, фрагменты бересты с отверстиями, игральные фишки из черепицы и изделия из черепицы прямоугольной формы с отверстиями, большое количество кирпичей. Наиболее массовым материалом, обнаруженном при исследовании усадьбы является кровельная черепица. Типологически черепица усадьбы Алестуй сопоставима с черепицей Хирхиринского городища и имеет много общего с чжурчжэньской черепицей Приморья[36].

Другой всемирно известный памятник этого же времени – Кондуйский дворец – находится примерно в 50 км к северу от Хирхиринского городища. Свое название памятник получил от р. Кондуй. Он также исследовался С. В. Киселевым. Дворцовое здание располагалось на двухметровой глиняной платформе, имевшей форму креста. Платформа была выстлана кирпичным полом. К ней вели пять кирпичных пандусов – по два с востока и запада и главный вход с юга. С северной стороны пандуса не имелось. Подобная планиграфическая структура сочетает в себе принципы организации пространства китайских (и опосредованно чжурчжэньских) зодчих и традиции организации пространства монголоязычных кочевников (выход из юрты на юг, северная сторона – *хоймор* – самая почетная, запретная). Внутри здания были расположены 37 каменных баз, которые являлись фундаментами деревянных колонн. Здание, видимо, состояло из нескольких частей – аванзала, проходных коридоров, зала для приемов, жилых покоев или вспомогательных помещений. Сверху дворец был покрыт зеленой поливной черепицей, украшен изображениями драконов. Стены дворца также были украшены изображениями животных и фантастических существ[37].

Последствия создания монгольской империи с полным основанием можно назвать средневековой глобализацией[38]. Однако эта глобализация оказалась недолговечной. Чума, быстро распространившаяся по Старому Свету благодаря развившейся системе торговых коммуникаций[39], а также изгнание монголов из Китая, упадок Золотой Орды явились наиболее важными звеньями в цепи событий, приведших к ее гибели[40]. Как только изменилось соотношение сил, монголы были изгнаны в степь, пропала необходимость в дворцах и крупных оседло-земледельческих поселениях. В год Куликовской битвы минскими войсками был сожжен Каракорум, который после этой трагедии так и не смог восстановиться. Та же участь ждала и пышные дворцы, воздвигнутые юаньской элитой в забайкальских степях. Они сгорели в пожаре междоусоб-

ных конфликтов наследников Чингисхана. Память о них была забыта, и только на рубеже XVIII–XIX вв. остатки Кондуйского дворца были переоткрыты и использованы при строительстве православной церкви Рождества Богородицы в селе Кондуй[41].

Примечания

1 Wittfogel K. A., Feng Chia-Sheng. History of Chinese Society. Liao (907–1125). Philadelphia, 1949 (Transactions of the American Philosophical Society, new series, 36). P. 24–25.

2 Tamura Jitsuzo. The Study of Conquest Dynasties in China. Vol. 1–3. Kioto, 1974 (in Japanese).

3 Барфилд Т. Опасная граница: кочевые империи и Китай (221 г. до н. э. – 1757 г. н. э.). СПб., 2009; он же. Теневые империи: формирование империй на границе Китая и кочевников // Монгольская империя и кочевой мир. Т. 3. Улан-Удэ, 2009.

4 Wright D. Wealth and War in Sino-nomadic Relations // The Tsing Hua Journal of Chinese Studies, n.s. Vol. 25. 1995. No 3; Di Cosmo N. Ancient China and its Enemies: The Rise of Nomadic Power in East Asian History. Cambridge, 2002; Drompp M. Imperial State Formation in Inner Asia: The Early Turkic Empires (6th to 9th Centuries) // Acta Orientalia Hungaricae. Vol. 58. 2005, No 1; Васютин С. А. К вопросу о взаимодействии Первого Тюркского каганата и Китая в свете концепции «биполярного мира» Т. Барфилда // Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2010. Вып. 10. № 1; Scheidel W. The Xiongnu and the Comparative Study of Empire // Xiongnu Archaeology: Multidisciplinary Perspectives of the First Steppe Empire in Inner Asia. Bonn, 2011.

5 Turchin P. Theory for formation of large empires // Journal of Global History. Vol. 4. 2009. No 1.

6 Ibid. P. 197.

7 Goldstone J. A. Revolution and Rebellion in the Early Modern World. Berkeley, 1991; Турчин П. В. Историческая динамика. На пути к теоретической истории. М., 2007; Нефедов С. А. Война и общество. Факторный анализ исторического процесса. История Востока. М., 2008; Turchin P., Nefedov S. Secular Cycles. Princeton: Princeton University Press, 2008.

8 Крадин Н. Н. Причины упадка и гибели Хуннской державы // Вестник ДВО РАН. 1996. № 2; он же. Империя Хунну. 2-е изд. М., 2002.

9 Турчин П. В. Указ. соч.

10 Коротаев А. В. Долгосрочная политико-демографическая динамика Египта: Циклы и тенденции. М., 2006.

11 Рашид ад-Дин. Сборник летописей. Т. I, кн. 2. М.; Л., 1952. С. 57, 59, 68; Книга Марко Поло. М., 1956. С. 104–105.

12 Juvaini. Genghis Khan. The history of the World-Conqueror by ‘Ala ad-Din ‘Ata-Malik Juvaini. Translated by J. A. Boyle. Manchester, 1997. P. 594.

13 Владимирцов Б. Я. Общественный строй монголов. Монгольский кочевой феодализм. Л., 1934. С. 175.

14 Turchin P., Hall T. Spatial Synchrony Among and Within World-Systems: Insights from Theoretical Ecology // Journal of World-Systems Research. Vol. 9. 2003. No 1. P. 54.

15 Головнев А. В. Антропология движения. Екатеринбург, 2009.

16 Давыдова А. В. Иволгинский комплекс (городище и могильник) – памятник хунну в Забайкалье Л.: Издво ЛГУ, 1985. 112 с. она же. Иволгинский археологический комплекс. Т. I. Иволгинское городище. СПб., 1995; Т. II. Иволгинский могильник. СПб., 1996.

17 Давыдова А. В. Иволгинский археологический комплекс. Т. I. Иволгинское городище; Крадин Н. Н. Империя Хунну.

18 Крадин Н. Н., Данилов С. В., Коновалов П. Б. Социальная структура хунну Забайкалья. Владивосток, 2004.

19 Материалы по истории сюнну (по китайским источникам). Введ., пер. и коммент. В. С. Таскина. М., 1973. С. 41.

20 Kradin N. N. Settled Population in the Xiongnu Empire: Ivolga fortress settlement example // New Perspectives on Xiongnu Studies in Ancient East Asian Culture. Seoul, 2010.

21 Материалы по истории древних кочевых народов группы дунху. Введ., пер. и коммент. В. С. Таскина. М., 1984. С. 80, 331.

22 Там же. С. 78, 324.

23 Wittfogel K. A., Feng Chia-Sheng. Op. cit. P. 58.

24 Ивлиев А. Л. Городища киданей // Материалы по древней и средневековой археологии юга Дальнего Востока СССР и смежных территорий. Владивосток, 1983.

25 Очир А., Энхтур А., Эрдэнэболд Л. Хар бух балгас ба туул голын сав дахь хятаны уеийн хот, сууринguud. Улан-Батор, 2005.

26 Киданьский город Чинтолгой-балгас / Н. Н. Крадин, А. Л. Ивлиев и др. М., 2011.

27 Там же.

28 Kradin N. N., Ivliev A. L. Deported Nation: the fate of Bohai peoples of Mongolia // Antiquity. Vol. 82. 2008. No 316; Ibid. The Downfall of the Bohai state and the ethnic structure of the Kitan city of Chintolgoi balgas, Mongolia // Current Archaeological Research in Mongolia. Bonn, 2009; Крадин Н. Н., Ивлиев А. Л. Бо-

хайцы в Монголии в эпоху Ляо // Адаптация народов и культур к изменениям природной среды, социальным и техногенным трансформациям. М., 2009.

[29] Abu-Lughod J. Before European hegemony: The World-System A. D. 1250–1350. N. Y., 1989.

[30] Крадин Н. Н., Скрынникова Т. Д. Империя Чингисхана. М., 2006.

[31] Рашид ад-Дин. Указ. соч. С. 217.

[32] Allsen T. Culture and Conquest in Mongol Eurasia. Cambridge, 2001.

[33] Книга Марко Поло. С. 156; Путешествия в восточные страны Плано Карпини и Рубрука. М., 1957. С. 41, 58, 77, 137, 138, 139, 143, 144, 161.

[34] Древнемонгольские города / отв. ред. С. В. Киселев. М., 1965. С. 93–95, 99–101, 216–258, 320, рис. 20–22, 29, 33, 41, 74–75, 103–104; Шавкунов Э. В. Культура чжурчжэней-удигэ XII–XIII вв. и проблема происхождения тунгусских народов Дальнего Востока. М., 1990. С. 225, 226; Артемьев А. Р. Новые исследования древнемонгольских городов Восточного Забайкалья // Вестник ДВО РАН. 2005. № 2. С. 9; Саранцева С. Е. Черепица Хирхиринского городища в собрании Забайкальского Краевого краеведческого музея им. А. К. Кузнецова // Труды III (XIX) Всероссийского археологического съезда. Т. II. СПб., М.; Вел. Новгород, 2011; Саранцева С. Е., Колосов В. К., Васильев С. Г. Предварительные результаты исследования черепицы Кондуйского городка в Забайкалье // Древние культуры Монголии и Байкальской Сибири: Мат. межд. конф. Т. 2. Иркутск, 2011.

[35] Древнемонгольские города. С. 23–58.

[36] Крадин Н. Н., Харинский А. В., Луньков А. Л., Ковычев Е. В. Предварительные результаты исследования усадьбы Алестуй в Забайкалье // Древние культуры Монголии и Забайкалья. Мат. межд. научн. конф. Улан-Удэ: Изд-во БГУ, 2010.

[37] Древнемонгольские города. С. 323–369.

[38] Kradin N. N. Chinggis Khan and pre-industrial globalization: world-system perspective // Mongolica: An International Annual of Mongolian Studies. Vol. 22 (43). 2010. P. 345–365.

[39] McNeill W. Plagues and Peoples. N. Y., 1976.

[40] Крадин Н. Н., Скрынникова Т. Д. Указ. соч.

[41] Крадин Н. П. Архитектурные памятники Кондуя // Археология и культурная антропология Дальнего Востока. Владивосток, 2002; Градостроительство Сибири / отв. ред. В. И. Царев. СПб., 2011. С. 48–54.

А. А. Анойкин

МНОГОСЛОЙНАЯ СТОЯНКА СРЕДНЕГО–ВЕРХНЕГО ПАЛЕОЛИТА ТИНИТ-1 (РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН)

Определение специфики переходных процессов и становления культуры человека современного физического типа в палеолитическое время на территории Евразии составляет важнейшее направление в исследованиях палеолита. В настоящее время памятники финала среднего–начала верхнего палеолита хорошо изучены на территории Европы, Леванта, Центральной Азии. Вместе с тем на Кавказе, являющимся своеобразным связующим мостом между европейской и азиатской частями континента, стоянок этого времени известно крайне мало, а внимание исследователей было сосредоточено в основном на вопросах первоначального заселения территории и развитии на ней ашельских и ранних среднепалеолитических индустрий. Основная часть известных в настоящий момент на Кавказе верхнепалеолитических памятников сосредоточена в долине р. Риони и вдоль черноморского побережья, при этом большая их часть относится к финалу палеолитического времени. В центральной части Кавказа изучались палеолитическая индустрия пещеры Мыштулагты Лагат (Северная Осетия), материалы которой практически не опубликованы, а также навесы Сосруко и Бадыноко (Кабардино-Балкария), археологические комплексы которых относятся к верхней границе палеолита (Замятнин, Акритас, 1957; Палеолит.., 1984; Деревянко и др., 2004 а; Любин, Беляева, 2006). На Северо-Восточном Кавказе до последнего времени было известно только несколько комплексов подъемного материала на территории Дагестана, которые по технико-типологическим параметрам были отнесены к верхнему палеолиту (Котович, 1964). Ситуация в регионе изменилась с началом работ в Дагестане совместной экспедиции нескольких институтов РАН (ИАЭТ СО РАН, ИА РАН и ИЭА РАН) под общим руководством академика А. П. Деревянко (Деревянко и др., 2004 б). В ходе археологических исследований последних лет в бассейнах рек Дарвагчай и Рубас было открыто более 20 памятников палеолита, в том числе несколько многослойных объектов. Хронологический интервал индустрий этих местона-

хождений охватывает все основные этапы древнего каменного века от ранних стадий нижнего палеолита, маркирующих время первоначального заселения Кавказа, до развитого верхнего палеолита, что позволяет представить общую картину развития древнейших культур на территории каспийского побережья Северного Кавказа (Деревянко и др., 2007; Деревянко и др., 2009).

Поздние этапы палеолитического времени в этом районе Кавказа характеризуют в первую очередь стратифицированные комплексы, связанные с мощными лессовидными суглинками, венчающими разрезы на стоянках Рубас-1 (верхний комплекс) и Тинит-1 (Анойкин и др., 2007; Деревянко и др., 2008). При этом наиболее представительные и информативные материалы были получены при раскопках многослойного памятника Тинит-1.

СтоянкаТинит-1(41º55□□'01"с.ш.,48º02□□'01"в.д.; а. в. – 724 м) была обнаружена сотрудниками Дагестанского палеолитического отряда в ходе разведочных работ 2007 г. в верхнем течении р. Рубас в 0,5 км к северо-западу от с. Тинит (Табасаранский район Республики Дагестан) (см. вклейку: с. 32, ил. 1,*А*) (Деревянко и др., 2007). В 2007 г. в пределах предполагаемой территории памятника было заложено два разведочных шурфа и проведены сборы подъемного материала с прилегающей склоновой территории.

Участок местности, где расположен памятник, представляет собой глубоко врезанную узкую долину ручья (правый приток р. Рубас), по бортам которой фиксируется серия разновысотных слабо выраженных террасовидных поверхностей, местами сливающихся друг с другом. Осмотр обнажений и имеющееся геологическое описание района (Геологическая карта.., 1961) позволяет предполагать их следующее строение. Цоколь террасовидных поверхностей сложен прибрежно-морскими отложениями акчагыльского возраста ($N_2^3{}_{ak}$), представленными преимущественно глинами и песчаниками. Морские осадки перекрыты мощным (до 20 м) чехлом склоновых отложений, обильно насыщенных крупнообломочным (глыбово-щебнистым) материалом, состоящим преимущественно из отдельностей известняка, с незначительным включением кремня. Толща крупнообломочных склоновых отложений перекрывается пачкой лессовидных суглинков (до 10 м) с редким включением щебня. Венчает разрез современная почва, также незначительно обогащенная щебнистым материалом. Ее мощность на отдельных участках составляет более 0,5 м.

Стационарные исследования памятника проводятся с 2008 г. Всего в ходе работ 2007–2010 гг. на объекте сплошным раскопом был изучен участок общей площадью 86 кв. м. Толща рыхлых отложений вскрыта по всей площади раскопа на глубину □ 3–3,5 м, а на 10 кв. м – до 5,5 м от уровня дневной поверхности. Кроме того, с целью уточнения стратиграфической ситуации на памятнике и для определения границ распространения археологического материала на северном склоне площадки, где расположен объект, была заложена серия из четырех разведочных шурфов 2х1 м (см. вклейку: с. 32, ил. 1,*Б*) (Анойкин и др., 2009 а). При работах на раскопе выделено 9 литологических слоев, содержащих 11 горизонтов залегания археологического материала (далее – а. г.) (Деревянко и др., 2008). Стратиграфическая ситуация на шурфах (наиболее удаленный от раскопа шурф № 3 расположен в 130 м ниже по северному склону) в основном повторяет строение разреза раскопа, варьируется лишь мощность выделенных геологических тел. В целом вскрытые в ходе раскопочных работ на объекте отложения представляют собой толщу субгоризонтально залегающих, переслаивающихся монотонных темно-коричневых и серо-коричневых суглинков с незначительным содержанием мелкого обломочного материала, на отдельных участках сильно биотурбированых (большое количество нор грызунов). Генезис отложений – эолово-делювиальный.

Ниже приводится сокращенное описание разреза раскопа 2009 как наиболее полно отражающего стратиграфическую ситуацию на памятнике (сверху–вниз) (Анойкин и др., 2009) (см. вклейку: с. 32, ил. 1*В*):

1. Суглинок темный серо-коричневый, плотный, в кровле – включения современного мусора. Содержит единичные каменные артефакты в переотложенном состоянии. Истинная мощность (и. м.) – 0,2–0,3 м.

2. Суглинок темно-коричневый плотный. В средней части встречаются редкие ходы землеройных животных. Содержит материалы а. г. 1–2. И. м. – 0,2–0,8 м.

3. Супесь коричневато-серая (при высыхании – светлая, белесая) пористая, пылеватая, с массой древесного угля (фрагменты до 1 см). Отложения сильно биотурбированы (множество нор) особенно в подошве. Содержит материалы а. г. 3. И. м. ~ 0,1–0,45 м.

4. Суглинок темно-коричневый плотный, сходен с отложениями слоя 2. Отличие в сильно биотурбированной кровле, вертикальной тонкой трещиноватости и табачном оттенке отложений. И. м. ~ 0,65–1,0 м. Содержит материалы а. г. 4–5.

5. Супесь коричневато-серая (при высыхании – светлая, белесая) пористая, пылеватая, сходна с отложениями слоя 3, однако не выдержана по простиранию и также трещиновата. Из-за постоянного подъема поровых вод местами отложения не высыхают и имеют темно-коричневый цвет. Содержит материалы а. г. 6. И. м. – 0,2–0,5 м.

6. Суглинок темно-коричневый (при высыхании – светло-коричневый) плотный. Отложения также разбиты многочисленными тонкими (1 мм), вероятно, гравитационными трещинами. Подошва слоя падает по азимуту 0–10˚ под углом до 10˚. Содержит материалы а. г. 7–8. И. м. ~ 0,2–0,7 м.

7. Суглинок темно-коричневый плотный, сходен с отложениями слоя 4. Содержит материалы а. г. 9. И. м. ~ 0,15–0,5 м.

8. Темно-коричневая (при высыхании – коричневая) песчанистая глина. Отличается от слоя 7 уменьшением в составе песчаных зерен. Содержит материалы а. г. 10 и 11. И. м. ~ 1,2–1,7 м.

9. Серовато-коричневатый (белесый) суглинок. Текстура пятнистая за счет большого содержания карбонатов. Поверхность напластования разбита трещинами. Археологических материалов не обнаружено. Видимая мощность – до 0,6 м.

Планиграфический анализ условий залегания археологического материала наряду с данными стратиграфии свидетельствует о том, что он залегает in situ и претерпел минимальные пространственные перемещения в постседиментационный период. Практически все изделия имеют горизонтальную или близкую таковой ориентацию, небольшой вертикальный разброс внутри археологических горизонтов и согласное залегание относительно вмещающих геологических тел. В ходе работ выделено несколько четко локализованных крупных скоплений артефактов с минимальным вертикальным разбросом предметов, при этом большая часть входящих в них находок апплицируется между собой. Основной массив находок связан со средней частью разреза (сл. 3–5), и насыщенность артефактами резко снижается к подошвенной части. Вместе с тем и на самых нижних уровнях вскрытой толщи отложений, даже при резком сокращении площади раскопочных работ (до 10 кв. м), фиксируется присутствие археологического материала. Также во всех отложениях, вмещающих культурные остатки отмечалось присутствие примазок древесного угля и разрозненных угольков, иногда достаточно крупных. Примечательно обнаружение в сл. 4 двух небольших (до 2 см) изометричных обломков охряно-красного и оранжевато-красного цвета, представляющих собой тонкодисперсный агрегат гидроксидов железа, вероятно, с примесью глинистых минералов (определение Н. А. Кулик). Состав, структура материала и особенности его залегания позволяют предполагать, как более вероятное, искусственную природу их нахождения в суглинках слоя. Возможно, они были принесены на памятник как куски природной коричневато-оранжевой краски (Анойкин и др., 2009 б).

Остатки позвоночных в раскопе не обнаружены, что может объясняться как предполагаемой низкой скоростью седиментации и разрушением костей и зубов на дневной поверхности до захоронения, так и разрушающим действием агрессивной химической среды вмещающих отложений (кальций-абсорбирующие кислотные почвы), вызывающим быструю деструкцию остеологического материала.

Все артефакты на Тините-1 изготовлены из кремня и сильно окремненных пород (желвачный кремень, сильно окремненный известняк наружной части кремневых желваков и пластовый кремень), которые залегают в коренных условиях на расстоянии 1–2 км от памятника и прослежены в нескольких обнажениях. Кремень встречается в верхнемеловых (датский ярус) известняках (Cr_{2d}) в виде линз различной мощности и протяженности, а также желваков в среднем не более 0,3 м в поперечнике. Желвачный кремень более высококачественный, он менее трещиноват и более однороден. Пригодна к расщеплению также периферия желваков, нередко представляющая собой прослои сильно окремненного известняка. Кроме источников на участках коренного залегания кремня древний человек мог использовать также отдельностями этого сырья, встречающимися в обломочных фракциях известняка, залегающего в переотложенном состоянии в непосредственной близости от стоянки. При этом для всех видов местного каменного материала характерны в различной степени внутренние дефекты, что определяется геологической историей района (данные Н. А. Кулик).

В ходе археологических работ 2007–2010 гг. на общей площади раскопа в стратифицированном залегании было обнаружено 1605 экз. каменных артефактов. По археологическим горизонтам (а. г.) (см. вклейку: с. 34, ил. 3: 1-6) :

А. г. 1 (27 экз.): нуклеусы – 2 (одноплощадочный монофронтальный, несет следы неоднократного переоформления и смены плоскости и направления скалывания, истощен) (см. вклейку: с. 33, ил. 2,*8*); торцовый одноплощадочный монофронтальный для пластин на крупном сколе); нуклевидные обломки – 1, пластины – 5, пластинчатые отщепы – 4, отщепы – 7, тех. сколы – 2, обломки, осколки – 5, чешуйки – 1.

Орудийных форм (1 экз.) – представлен пластинчатым отщепом с ретушью.

А. г. 2 (88 экз., из них 18 экз. и 32 экз. в двух локальных скоплениях): нуклеусы – 3 (одноплощадочные монофронтальные для удлиненных заготовок – 2, двухплощадочный монофронтальный для удлиненных заготовок), нуклевидные обломки – 1; пластины – 9, пластинчатые отщепы – 9, отщепы – 30, тех. сколы – 18, обломки, осколки – 14, чешуйки – 1.

Орудийный набор (10 экз.) представлен продольным скреблом, скреблом-ножом, невырази-

тельным концевым скребком, зубчато-выемчатым изделием на крупном отщепе и сколами с ретушью (6) [(пластина, пластинчатый отщеп, технические сколы (2), отщепы (2)].

А. г. 3 (179 экз.): нуклеусы – 1 (одноплощадочный монофронтальный для удлиненных заготовок, находится в начальной стадии эксплуатации), нуклевидные обломки – 1, пластины – 7, пластинчатые отщепы – 13, отщепы – 75, тех. сколы – 40, сколы леваллуа – 1; обломки, осколки – 12, чешуйки – 29.

Орудийный набор (12 экз. без учета нересушированных леваллуазских заготовок) представлен атипичными концевыми скребками (3), угловым резцом, ножом со скошенным ретушированным обушком, невыразительной проколкой, зубчато-выемчатым орудием на пластинчатом отщепе, ретушированным остроконечным пластинчатым сколом, отщепами с ретушью (4), часть которых имеет подтреугольную форму и удлиненные пропорции, а также нересушированным леваллуазским отщепом.

А. г. 4 (141 экз., из них 44 экз. в одном локальном скоплении): нуклеусы – 4 (одноплощадочные монофронтальные для удлиненных заготовок – 2, один с сильно скошенной ударной площадкой, истощенный; двухплощадочный монофронтальный для удлиненных заготовок и одноплощадочный бифронтальный для удлиненных заготовок, с сопряженными фронтами снятия); нуклевидные обломки – 1, пластины – 26, пластинчатые отщепы – 22, отщепы – 29, тех. сколы – 24, обломки, осколки – 24, чешуйки – 11.

Орудийный набор (8 экз.) представлен небольшим продольным скреблом с вогнутым рабочим краем, выполненным на техническом сколе, скреблом-ножом, мелким концевым скребком на удлиненном обломке, ножом с обушком-гранью – 1, плоским резцом и сколами с ретушью (3) (пластина, пластинчатый отщеп, отщеп).

А. г. 5 (362 экз.): нуклеусы – 7 (одноплощадочные монофронтальные для удлиненных заготовок – 2; двухплощадочные монофронтальные для отщепов, истощенные – 2; двухплощадочный монофронтальный с продольно-поперечным направлением снятий; подпризматический пирамидальной формы для мелких пластин (см. вклейку: с. 33, ил. 2,*13*), торцовый для микропластин (?) на сколе); фрагменты нуклеусов – 2; нуклевидные обломки – 9; пластины – 27, пластинчатые отщепы – 20, отщепы – 106, тех. сколы – 40, сколы леваллуа – 8 (см. вклейку: с. 33, ил. 2,*11*), обломки, осколки – 121, чешуйки – 22. Все сколы леваллуа удлиненные или близкие таковым.

Орудийный набор (23 экз., без учета нересушированных леваллуазских заготовок) представлен атипичным леваллуазским остроконечником, мелким угловатым скреблом на леваллуазском сколе (см. вклейку: с. 33, ил. 2,*4*), концевым скребком на техническом сколе, двумя атипичными скребками, выполненными на мелком нуклеусе и отщепе леваллуа, небольшим ножом с естественным обушком (см. вклейку: с. 33, ил. 2,*2*), двумя ножами с обушком-гранью, двумя угловыми резцами и одним изделием, близким таковым, зубчато-выемчатыми изделиями на пластинчатых отщепах (2), выемчатым орудием на леваллуазском отщепе, ретушированной пластиной со скошенным дисталом, отщепами с ретушью (5), обломками с ретушью (2) и мелким фрагментом орудия (возможно, небольшой участок рабочего лезвия скребла).

А. г. 6 (711 экз.): галька – 1, нуклеусы – 10 (одноплощадочные монофронтальные для удлиненных заготовок), плоские – 2 (см. вклейку: с. 33, ил. 2,*3*); двухплощадочный монофронтальный для небольших отщепов, сильно истощенный; одноплощадочные бифронтальные подпризматические, с сопряженными фронтами, для удлиненных заготовок – 2 (см. вклейку: с. 33, ил. 2,*14*); бифронтальный двухплощадочный встречный, плоский (по одному краю ретушная подработка, возможно, оформление лезвия скребла) (см. вклейку: с. 33 ил. 2,*16*); леваллуазские монофронтальные, для отщепов – 2; радиальный монофронтальный; радиальный бифронтальный (возможно, заготовка бифасиального изделия), фрагменты нуклеусов – 3; нуклевидные обломки – 9, пластины – 53, пластинчатые отщепы – 33, отщепы – 258, тех. сколы – 59, сколы леваллуа – 14 (см. вклейку: с. 33, ил. 2,*7,* 2,*10,* 2,*12*), обломки, осколки – 235, чешуйки – 37. Большинство сколов леваллуа удлиненные или близкие таковым.

Орудийный набор (30 экз., без учета нересушированных леваллуазских заготовок) представлен остроконечниками леваллуа (3), в том числе и одним с регулярной ретушью; удлиненными сколами леваллуа с ретушью (2); фрагментом двойного продольного скребла, близкого по характеру отделки к категории скребел-ножей (см. вклейку: с. 33, ил. 2,*6*); скреблами-ножами (2); невыразительными боковыми и концевыми скребками (6), в большей части выполненных на отщепах; ножами (3); угловым резцом; шиповидным и зубчато-выемчатым орудиями, транкированно-фасетированным изделием (?) (см. вклейку: с. 33, ил. 2,*15*); атипичным удлиненным остроконечником, сколами с ретушью [(пластины (2), пластинчатые отщепы (2), отщепы (2)], обломком с ретушью и отбойником.

А. г. 7 (44 экз.): нуклеусы – 3 (одноплощадочный монофронтальный для удлиненных заготовок; двухплощадочный монофронтальный для удлиненных заготовок со снятием заготовок во встречных направлениях; торцовый монофронтальный

одноплощадочный для удлиненных заготовок, со следами неоднократного переоформления), нуклевидные обломки – 1, пластины – 2, пластинчатые отщепы – 4, отщепы – 14, тех. сколы – 6, сколы леваллуа – 1 (см. вклейку: с. 33, ил. 2,*1*), обломки, осколки – 11, чешуйки – 2.

Орудийный набор (3 экз.) представлен ножами (2), в том числе выполненном на пластине леваллуа и отщепом с ретушью.

А. г. 8 (20 экз.): нуклеусы – 1 (двухплощадочный монофронтальный для удлиненных заготовок со снятием заготовок во встречных направлениях); нуклевидные обломки – 1; пластины – 1, пластинчатые отщепы – 4, отщепы – 6, тех. сколы – 4, обломки, осколки – 2, чешуйка – 1.

Орудийный набор (2 экз.) представлен ножом с естественным обушком (см. вклейку: с. 33, ил. 2,*5*) и выемчатое орудие на отщепе.

А. г. 9 (19 экз.): нуклеусы – 2 (леваллуазский овальный для отщепов (см. вклейку: с. 33, ил. 2,*9*), леваллуазский монофронтальный овальный для удлиненных заготовок с противолежащей вспомогательной ударной площадкой), нуклевидные обломки – 1; пластины – 3, отщепы – 7, тех. сколы – 1, сколы леваллуа – 1, обломки, осколки – 4.

Орудийных форм, кроме неретушированных леваллуазских заготовок (отщеп), нет.

А. г. 10 (11 экз.): нуклевидные обломки – 1; пластины – 1, пластинчатые отщепы – 1, отщепы – 4, обломки, осколки – 3.

Орудийный набор (2 экз.) представлен отщепом с ретушью (по ряду признаков может быть отнесен к невыразительным скребкам) и выемчатым изделиям на отщепе.

А. г. 11 (3 экз.): пластины – 1, пластинчатые отщепы – 1, отщепы – 1.

Орудийных форм нет.

Кроме артефактов, зафиксированных в инситном залегании, в коллекции Тинита-1 представлен нестратифицированный материал, полученный при просмотре грунта обрушившихся фрагментов стенок раскопа, захвативших верхнюю часть разреза. Предположительно он соотносится к а. г. 2–5. В коллекции (35 экз.) представлены: нуклеусы – 1 (бифронтальный двухплощадочный ортогональный, один из фронтов скалывания оформлен на торцовой грани), пластины – 5, отщепы – 6, обломки – 23.

Орудийный набор представлен остроконечником с ретушью, который может быть отнесен к леваллуазским формам.

Дополнительную информацию об облике палеолитических индустрий стоянки дает археологический материал из разведочных шурфов, в котором, несмотря на крайнюю его немногочисленность, присутствуют отдельные яркие формы нуклеусов и орудий. Наиболее представительные коллекции получены из двух шурфов – № 3 и № 6, при этом последний находится в непосредственной близости от раскопа (18 м в западном направлении), и насчитывают 20 и 13 экземпляров каменных артефактов соответственно. В отложениях вскрытых шурфами № 4 и № 5 зафиксированы единичные обломки кремня и мелкие фрагменты сколов. В шурфе № 6 археологический материал залегал на двух уровнях, по своему положению, возможно, коррелирующимися с а. г. 6 и 9 раскопа. В верхнем уровне были представлены два отщепа, а в нижнем 11 предметов, в том числе: нуклеус – 1 (леваллуазский овальный для отщепов), леваллуазские сколы – 2, пластины – 2, отщепы – 3, обломки, осколки – 4. Орудийный набор (2 экз.) представлен мустьерским остроконечником на конвергентном пластинчатом леваллуазском сколе и обломком с ретушью. Часть коллекция из шурфа 3 также может быть соотнесена с материалами раскопа. Так, по соответствию включающих археологический материал литологических тел, а. г. 4 раскопа соответствует коллекция из 10 предметов (девять отщепов и обломок с ретушью). Комплекс артефактов из нижних горизонтов шурфа (глубина 5–6 м от дневной поверхности) не имеет прямых аналогов в материалах раскопа и по своим технико-типологическим показателям ближе к «архаичной» составляющей коллекции подъемных сборов 2007 г., относящихся, вероятно, к начальным этапам среднего палеолита (Деревянко и др., 2007). Всего в низах шурфа 6 зафиксировано 10 экз. артефактов. Это скол пластинчатых пропорций, два отщепа и семь обломков, имеющих ретушную обработку. Орудийный набор (7 экз.) представлен продольным скреблом, зубчато-выемчатым орудием и пятью обломками с ретушью (один по ряду признаков может быть отнесен к невыразительным скребкам).

Технико-типологический анализ обнаруженных на стоянке каменных индустрий позволяет отнести их к широкому культурно-хронологическому интервалу в рамках финала среднего – начала верхнего палеолита и разделить на две основные группы, из которых одна включает а. г., залегающие в верхней части разреза (а. г. 1–4), а другая – те, что локализуются в его средней и нижней частях (а. г. 5–11).

В индустрии нижних археологических горизонтов (а. г. 5–11) представлены следующие категории продуктов первичного расщепления: нуклеусы – 23, нуклевидные обломки – 27, пластины – 89, пластинчатые отщепы – 62, отщепы – 397, тех. сколы – 110, сколы леваллуа – 24, обломки, осколки – 376; чешуйки – 62, в том числе 71 заготовка, преобразованная вторичной отделкой в орудийные формы. Процентное соотношение значимых категорий пер-

вичного расщепления (без учета обломков, осколков, чешуек и колотых галек) в коллекции выглядит следующим образом: нуклевидные – 6,8 %; пластины – 12,2 %, пластинчатые отщепы – 8,5 %, отщепы – 54,2 %, тех. сколы – 15,0 %, сколы леваллуа – 3,3 %.

Среди типологически выраженных нуклеусов наиболее массовой категорией являются ядрища параллельного принципа раскалывания (12) разных модификаций (одноплощадочные монофронтальные, одноплощадочные бифронтальные, двухплощадочные монофронтальные со скалыванием во встречных направлениях и др.), ядрища, направленные на производство как удлиненных заготовок, так и отщепов. Степень сработанности нуклеусов сильно варьируется. Также в группе нуклевидных изделий присутствуют яркие экземпляры леваллуазских ядрищ как для отщепов, так и для удлиненных остроконечных заготовок, присутствуют редкие радиальные формы. В единичном экземпляре присутствуют мелкие разновидности торцовых и подпризматических ядрищ, предназначенных для изготовления мелких сколов удлиненных пропорций.

Индекс пластинчатости в среднем составляет 12,7, незначительно колеблясь по а. г. Размерность сколов в целом соответствует параметрам ядрищ (от 3,2 см до 8,9 см, средняя длина 5,1 см); так, 75 % заготовок имеют размер от 2 до 6 см (при этом $^{3}/_{4}$ из них – 2–4 см), а более крупные предметы составляют лишь 6 % в коллекции. Следует отметить, что более половины сколов фрагментированы. По огранке дорсалов сколы разделились следующим образом: естественная – 1,8 %, гладкая – 11,7 %, параллельная однонаправленная – 40,7 %, параллельная бинаправленная – 5,6 %, продольно-поперечная – 28,2 %, конвергентная – 6,2 %, радиальная – 0,1 %, бессистемная – 6,2 %. Анализ также показал, что из 415 сохранившихся остаточных ударных площадок естественные составляют 2,8 %, гладкие – 53,3 %, точечные и линейные – 18,4 %, двухгранные – 13,1 %, фасетированные – 12,5 %. Анализ сколов показывает довольно частое использование приема предварительной подготовки значимых для регулярного скалывания заготовок участков нуклеуса, в частности, подправки «карниза», следы которой зафиксированы на 12,9 % сколов, в том числе снятие карниза – 6,9 %, редукция ударной площадки – 1,8 %, обратная редукция ударной площадки – 4,2 %.

Во вторичной отделке основным приемом являлась ретушь, в основном краевая одно- и двухрядная, мелкая, чешуйчатая, полукрутая и крутая, дорсальная. Также фиксируется единичное использование техники резцового скола. Анкоши небольшие и неглубокие, как правило, подправленные ретушью. Орудийный набор в коллекции а. г. 1–4 количественно незначителен – 72 экз., или 6,2 % от значимых категорий первичного расщепления. Наиболее яркими и многочисленными формами являются леваллуазские заготовки (в том числе и остроконечные) и орудия на них, скребла, в том числе и скребла-ножи, невыразительные скребки, ножи небольших размеров, угловые резцы и категория зубчато-выемчатых изделий. Стоит также отметить артефакт из а. г. 6, диагностируемый, как возможное транкированно-фасетированное орудие, т. е. тип, который является характерным для финальных комплексов среднего палеолита во многих индустриях Западной Азии.

В индустрии верхних археологических горизонтов (а. г. 1–4) представлены следующие категории продуктов первичного расщепления: нуклеусы – 10, нуклевидные обломки – 4, пластины – 47, пластинчатые отщепы – 48, отщепы – 141, тех. сколы – 84, сколы леваллуа – 1, обломки, осколки – 55; чешуйки – 45, в том числе 32 заготовки, преобразованные вторичной отделкой в орудийные формы. Процентное соотношение значимых категорий первичного расщепления в коллекции выглядит следующим образом: нуклевидные – 4,2 %; пластины – 14,0 %, пластинчатые отщепы – 14,3 %, отщепы – 42,1 %, тех. сколы – 25,1 %, сколы леваллуа – 0,3 %.

Среди типологически выраженных нуклеусов наиболее массовой категорией являются одноплощадочные монофронтальные ядрища, направленные на производство удлиненных заготовок (6). Они имеют различную степень сработанности, от начальной стадии эксплуатации, когда реализуется несколько сколов до сильно истощенных, несущих следы неоднократного переоформления и переноса направления и плоскости расщепления. Наличие различных вариантов данной техники утилизации нуклеусов демонстрируют более редкие двухплощадочные монофронтальные (2) и одноплощадочные бифронтальные (1) ядрища. В единичном экземпляре зафиксирован торцовый одноплощадочный монофронтальный нуклеус на крупном сколе, предназначенный для изготовления пластин.

Несмотря на то что все имеющиеся в коллекции а. г. 1–4 ядрища предназначались для производства удлиненных заготовок, индеек пластинчатости в среднем составляет только 17,9, колеблясь от 24,6 в а. г. 2 до 11,6 в а. г. 3. Вместе с тем, если рассматривать пластинчатые отщепы тоже как пластинчатые формы, то Ilam резко возрастает и его значение, например, а. г. 4, достигает 45,4. Размерность сколов в целом соответствует параметрам ядрищ (от 3,5 см до 9,2 см, средняя длина 6,1 см); так, 75 % заготовок имеет размер от 2 до 6 см (при этом $^{2}/_{3}$ из них – 2–4 см), а более крупные предметы составляют лишь 10 % в коллекции. Следует отметить, что более половины сколов фрагментированы. По

огранке дорсалов сколы разделились следующим образом: естественная – 0,9 %, гладкая – 10,7 %, параллельная однонаправленная – 43,7 %, параллельная бинаправленная – 8,5 %, продольно-поперечная – 30,8 %, конвергентная – 2,8 %, радиальная – 0,9 %, бессистемная – 1,6 %. Анализ также показал, что из 219 сохранившихся остаточных ударных площадок естественные составляют 2,3 %, гладкие – 65,8 %, точечные и линейные – 11,5 %, двухгранные – 18,2 %, фасетированные – 2,3 %. При этом в верхних горизонтах широко использовалась практика предварительной подготовки значимых для регулярного скалывания заготовок участков нуклеуса, в частности, подправка «карниза», следы которой зафиксированы на 14,2 % сколов, в том числе, снятие карниза – 6,3 %, редукция ударной площадки – 4,4 %, обратная редукция ударной площадки – 3,5 %. Следует отметить, что в некоторых случаях редуцированная поверхность дополнительно пришлифовывалась.

Во вторичной отделке основным приемом являлась ретушь, в основном краевая одно- и двухрядная, мелкая, чешуйчатая, полукрутая и крутая, дорсальная. На единичных предметах фиксируются субпараллельная ретушь и перенос подработки на вентральную плоскость. Также применялись подтеска и резцовое скалывание. Анкоши мелкие, часто подправлены ретушью. Орудийный набор в коллекции а. г. 1–4 количественно незначителен – 32 экз., или 7,4 % от значимых категорий первичного расщепления. Среди орудий наиболее массово представлены удлиненные сколы с ретушью, атипичные скребки и категория режущих изделий (скребла-ножи и ножи). Также присутствуют резцы и небольшие скребла. В единичных экземплярах зафиксированы проколка, ретушированная остроконечная заготовка и зубчато-выемчатое орудие.

Дополнительный материал, характеризующий индустрии верхних а. г. стоянки, дало применение метода ремонтажа, в результате чего для а. г. 2 и 4 была получена серия сборок разной степени сложности, как демонстрирующих весь цикл первичного расщепления, так и отражающих один технологический этап. Всего по материалам этих а. г. получено 6 представительных склеек, включающих от 5 до 44 элементов. Их анализ позволил заключить, что основным вариантом расщепления камня в верхних горизонтах Тинита-1 была своеобразная подпризматическая техника, когда для регулярного расщепления использовались удлиненные уплощенные заготовки, как естественные, так и специально подготовленные, с наличием ровных торцевых поверхностей. Начальным этапом утилизации служила подготовка прямой ударной площадки одним крупным снятием, после чего с полученной плоскости производилось скалывание краевых технических снятий, для придания начальной выпуклости фронтальной плоскости нуклеуса. Далее происходила реализация небольших серий удлиненных заготовок, также без предварительной подправки элементов ядрища. При этом зоной скалывания являлась смещающаяся в ходе утилизации выпуклость, образованная плоскостью фронта и краем негатива предыдущего скола. Общий цикл подразделяется на несколько однотипных коротких серий, когда после скалывания нескольких последовательных снятий расщепление вновь начиналось от ребра нуклеуса. В некоторых случаях ударная площадка и фронт скалывания переносились (переоформление или смена плоскости), однако общая концепция утилизации объема ядрища не изменялась.

Общий анализ археологических материалов стоянки Тинит-1 показал, что на объекте представлены комплексы достаточно большого культурно-хронологического интервала, определяемого рамками верхнего–среднего палеолита. По своим технико-типологическим характеристикам материалы верхних культурных горизонтов (а. г. 1–4) соответствуют периоду начала позднего палеолита. Об этом свидетельствует комплекс данных, включающих типологический состав орудий (скребки, резцы, ретушированные пластины), характер первичного расщепления, в том числе способы оформления и утилизации ядрищ, реконструированные методом ремонтажа, а также применение верхнепалеолитической техники скола. Последняя проявляется в присутствии технологического приема редуцирования края ударной площадки подтеской с частой последующей пришлифовкой, что четко читается на ряде сколов, в том числе и входящих в состав полученных сборок. В нижних горизонтах (а. г. 5–11), напротив, фиксируется использование более архаичных техник расщепления, о чем свидетельствуют фасетированные и двухгранные площадки у части заготовок; присутствие технических сколов оформления леваллуазских ядрищ и сколов, морфологически близких целевым леваллуазским заготовкам, а также присутствие таких типов нуклеусов, как леваллуазские и радиальные. Кроме того, здесь отсутствуют явные свидетельства применения верхнепалеолитической техники скола. В орудийном наборе заметный процент составляют скребла, часть орудий выполнена на леваллуазских заготовках, отсутствуют яркие верхнепалеолитические формы, фиксируется возможное присутствие транкированно-фасетированных изделий. В целом комплексы нижних горизонтов, видимо, можно относить к финалу среднего палеолита.

Выводы о культурно-хронологическом делении материалов стоянки находят подтверждение и в данных, полученных при радиоуглеродном датировании образцов угля из культуросодержащих

отложений. В настоящий момент для памятника получено две абсолютные даты, выполненные в AMS-лаборатории Аризонского университета (г. Тусон, США): для сл. 3 (а. г. 3) – 43900±2000 (AA93915), для кровли сл. 6 (а. г. 7) – >43700 (AA93916).

Исследования, проведенные в последнее время в долине р. Рубас, подтверждают ее перспективность для археологического изучения (Деревянко и др., 2009). В результате работ, кроме комплекса местонахождений раннего и среднего палеолита обнаружен редкий для кавказского региона многослойный палеолитический объект открытого типа, чья индустрия может быть отнесена ко времени среднего–верхнего палеолита. Об этом свидетельствуют особенности техники первичного расщепления, включая характеристику сколов, типологию ядрищ и технику скалывания, параметры орудийного набора, а также стратиграфическое положение стоянки. Отдельные яркие позднепалеолитические типы орудий в верхней части разреза, наряду с фиксирующимися специфическими верхнепалеолитическими приемами первичного расщепления, и хорошо выраженные элементы леваллуазской технологии и среднепалеолитическая техника скола, отличающие нижние горизонты стоянки, позволяют предполагать большой временной интервал существования памятника. К сожалению, специфика индустрии, в первую очередь малый процент орудийных форм, а также слабая изученность региона в целом не позволяют в настоящее время дать более точную характеристику обнаруженным технокомплексам. Более обоснованные выводы о культурно-хронологической привязке этих ассамбляжей, их генезисе и ближайших аналогиях можно будет сделать при продолжении работ, что позволит получить репрезентативную выборку артефактов, а также после проведения комплекса естественнонаучных исследований, что позволит уточнить хронологию памятника.

Материалы обнаруженных в ходе работ последних лет на палеолитических памятниках Дагестана позволяют значительно расширить наши знания о развитии древнейших культур Восточного Кавказа. Учитывая перспективы исследований, можно утверждать, что ход развития древних культур отражен в дагестанских материалах на значительном временном отрезке палеолитической эпохи. Все это позволяет охарактеризовать Дагестан как одну из самых перспективных на настоящий момент областей Кавказа в плане палеолитоведения.

Список литературы

Анойкин А. А., Борисов М. А., Лещинский С. В., Зенин И. В. Новые данные о стоянке Тинит-1 (по материалам шурфов 2009 г.) // Материалы Годовой сессии Института археологии и этнографии СО РАН 2009 г. Т. XV. Новосибирск: Изд-во Ин-та археологии и этнографии СО РАН, 2009 а. С. 28–33.

Анойкин А. А., Борисов М. А., Лещинский С. В., Зенин И. В. Исследования многослойной палеолитической стоянки Тинит-1 (Южный Дагестан) в 2009 г. // Материалы Годовой сессии Института археологии и этнографии СО РАН 2009 г. Т. XV. Новосибирск: Изд-во Ин-та археологии и этнографии СО РАН, 2009 б. С. 22–27.

Анойкин А. А., Славинский В. С., Борисов М. А. Палеолитический многослойный комплекс стоянки Рубас-1. (Республика Дагестан): предварительные результаты // Северная Евразия в антропогене: человек, палеотехнологии, геоэкология, этнология и антропология. Т. I. Иркутск: Изд-во Иркутского госуниверситета, 2007. С. 14–25.

Геологическая карта СССР масштаба 1:200 000. Лист К-39-XIX, XX. Объяснительная записка. М., 1961. 76 с.: карта.

Деревянко А. П., Амирханов Х. А., Зенин В. Н., Анойкин А. А., Рыбин Е. П. Разведка объектов каменного века в Республике Дагестан в 2004 г. // Материалы Годовой сессии Института археологии и этнографии СО РАН 2004 г. Т. X. Новосибирск: Изд-во Ин-та археологии и этнографии СО РАН, 2004 б. С. 65–69.

Деревянко А. П., Анойкин А. А., Борисов М. А., Лещинский С. В., Зенин И. В. // Материалы Годовой сессии Института археологии и этнографии СО РАН 2008 г. Т. XIV. Новосибирск: Изд-во Ин-та археологии и этнографии СО РАН, 2008. С. 36–41.

Деревянко А. П., Анойкин А. А., Зенин В. Н., Лещинский С. В. Ранний палеолит Юго-Восточного Дагестана. Новосибирск: Изд-во Ин-та археологии и этнографии СО РАН, 2009. 124 с.

Деревянко А. П., Анойкин А. А., Славинский В. С., Борисов М. А., Кулик Н. А. Тинит-1 – новая многослойная палеолитическая стоянка в долине р. Рубас // Материалы Годовой сессии Института археологии и этнографии СО РАН 2007 г. Т. XIII. Новосибирск: Изд-во Ин-та археологии и этнографии СО РАН, 2007. С. 72–77.

Деревянко А. П., Зенин В. Н., Анойкин А. А., Рыбин Е. П., Керефов Б. М., Виндугов Х. Х. Бадыного – новое многослойное местонахождение каменного века в Кабардино-Балкарии // Материалы Годовой сессии Института археологии и этнографии СО РАН 2004 г. Т. X. Новосибирск: Изд-во Ин-та археологии и этнографии СО РАН, 2004 а. С. 70–76.

Замятнин С. Н., Акритас П. Г. Раскопки грота Сосруко в 1955 г. // УЗ Каб.-Балк. НИИ. Т. 13. Нальчик, 1957. С. 35–47.

Любин В. П., Беляева Е. В. Ранняя предыстория Кавказа. СПб.: Петербургское востоковедение, 2006. 108 с.

Котович В. Г. Каменный век Дагестана. Махачкала: б/и, 1964. 224 с.

Палеолит СССР. М.: Наука, 1984. 384 с.

Е. В. Акимова, И. В. Стасюк, Е. Н. Кукса, Ю. М. Махлаева, Е. А. Томилова, В. М. Харевич

СОХРАНЕНИЕ ДРЕВНЕЙШЕГО АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ В ЗОНАХ ИСКУССТВЕННЫХ ВОДОХРАНИЛИЩ СРЕДНЕЙ СИБИРИ

Создание крупных водохранилищ в долинах Ангары и Енисея неизбежно приводит к безвозвратному уничтожению археологических памятников, в том числе эпохи палеолита. Никакие спасательные работы, ограниченные сроком подготовки ложа водохранилища, не способны решить эту проблему. Опыт Красноярской экспедиции 1960-х гг., как и сегодняшний опыт Богучанской экспедиции, показывает, что памятники, расположенные на II–III надпойменных террасах, составляют только часть всего массива местонахождений, реально сконцентрированных в долине крупной реки. Процесс разрушения покровных отложений долин рек вместе с содержащимися в них культурными остатками после повышения уровня водохранилищ неостановим и захватывает как высокие террасы, так и горное обрамление долин. Обнажение толщ позднe-, средне- и раннеплейстоценового возрастов, безусловно, делает доступными местонахождения, расположенные на большой глубине и имеющие более древний возраст. Но в то же время абразионные процессы переводят объекты с культурными отложениями, погребенными в лессовых толщах, в разряд объектов с экспонированными культурными отложениями, тем самым резко уменьшая их информационную ценность, особенно при разрушении многослойных памятников.

В изучении палеолитических объектов в зоне водохранилищ видится два основных аспекта.

1. Работы по изучению палеолита на Красноярском водохранилище были разорваны по времени. Можно выделить два периода определенной интенсификации исследований: конец 1950-х – 1960-е гг., до затопления, когда шли широкие разведочные работы и полноценные спасательные раскопки на небольшом количестве объектов, представлявшихся наиболее перспективными (Абрамова, 1979 а, 1979 б; Абрамова, Астахов и др., 1991), и последняя четверть XX – начало XXI в., когда уже сформировалось ложе водохранилища и были безвозвратно утрачены памятники нижнего и среднего ярусов террас Енисея (Хронстратиграфия.., 1990; Дроздов, Артемьев и др., 1990; Археология.., 1992; Дроздов, Чеха, 1992; Лисицын, 2000; Дроздов, Артемьев и др., 2007; Акимова, 2006; Акимова, Стасюк, 2009; Стасюк, Акимова, 2008; и др.). Но и на начальном этапе, и на современном изучается незначительная часть памятников. Это связано как с организационными и финансовыми проблемами, так и с резким недостатком кадров. В результате мы не имеем цельной картины среднеенисейского палеолита даже на уровне картографическом. Сегодня изучение палеолита в зоне будущего Богучанского водохранилища может пойти по этому же пути: хоздоговорные работы в жесткие сроки – прекращение работ в связи с прекращением финансирования, случайные находки разрушенных палеолитических объектов и трудоемкие попытки развернуть работы на экспонированных памятниках. Отдаленность и труднодоступность района, его меньшая заселенность и соответственно необходимость в значительно больших объемах финансирования в конечном итоге могут привести к тому, что наши знания об ангарском палеолите останутся на уровне спасательных работ, и мы потеряем значительный пласт древнейшего археологического наследия Сибири.

2. На протяжении долгого времени в палеолитоведении Средней Сибири не было новых идей (за исключением работ Н. Ф. Лисицына о стадиальном членении позднего палеолита Енисея) (Лисицын, 2000). Изучение палеолитических объектов шло в двух направлениях: стремление найти более древние памятники (рисс-вюрм, миндель-рисс...) и стремление уложить известные позднепалеолитические памятники в рамки двух параллельных культур – афонтовской и кокоревской. В результате был упущен целый пласт местонахождений раннего этапа позднего палеолита, а местонахождения с инвентарем, выпадающим из привычных шаблонов, оставались невостребованными. Проблемы эволюции среднеенисейского палеолита при отсутствии информации о связующих звеньях (Нижняя Ангара, малые реки Ангаро-Енисейского и Енисейско-Обского междуречий) разрабатывались в рамках Средней Сибири.

Палеолитические местонахождения в зоне абразии Красноярского водохранилища

Сегодня источниковая база среднеенисейского позднего палеолита еще достаточно широка. Абразия береговой линии на всем протяжении водохранилища продолжает разрушать археологические памятники, расположенные на верхних террасах и

склонах. При этом новые объекты выявляются не только по мере абразионного разрушения многометровых покровных толщ, но и при продолжающейся эрозии береговых отмелей. Примером является стоянка Саженцы, открытая в 2008 г. на участке, регулярно обследуемом в 1980–1990-е гг. (Акимова, Стасюк и др., 2009). Заливы, образующиеся в нижнем течении притоков Енисея, вскрывают памятники в тех удаленных от русла Енисея районах, где поиски не проводились никогда (Дербинский, Ижульский заливы) (Акимова, Дроздов и др., 1996; Акимова, Стасюк, 2007, 2008; и др.). Существуют территории, не исследованные археологически, потенциал которых неизвестен и непредсказуем (в частности, Сисимский, Тубинский и др. заливы). При этом колебания уровня водохранилища, имеющие, как правило, техногенную основу, не прогнозируемы. Учет археологических объектов, разрушающихся на всем протяжении обоих берегов Красноярского водохранилища, невозможен при отсутствии регулярной и непрерывной работы по обследованию береговой отмели на всем ее протяжении. Учитывая, что реальной стабилизации берегов водохранилища в будущем не предвидится, процесс разрушения археологических объектов в покровных отложениях древних террас неостановим.

Многолетний опыт изучения позднего палеолита в зоне действующего Красноярского водохранилища (т. е. растущего, переживающего периоды сброса воды и подъема воды с активизирующейся абразией берегов) позволяет высказать следующие суждения.

1. При затоплении в 1960–1970-е гг. уничтожены нижние и средние ярусы енисейских террас, вероятно, заселяемые человеком в более теплые периоды времени (голоцен, интерстадиалы позднего плейстоцена) и расположенные, как правило, на уровнях нижних террас. Обрушение уровней верхних террас и горного обрамления долины, содержащих объекты «холодных» периодов, происходит в период «стабилизации» водохранилища. Так, в Дербинском заливе, где комплексные исследования велись на протяжении десяти лет, присутствуют памятники конощельского, раннегыданского и финальносартанского времени. Памятники первой половины сартанского времени не найдены. Близкая ситуация в Куртакском и Новоселовском археологических районах (Лаухин, Акимова, 2000).

2. К ранней стадии позднего палеолита, датированной позднекаргинским временем, не так давно относились только Сабаниха и Куртак IV (Лисицын, 2000). В середине 1990 – начале 2000-х гг. эта группа многократно пополнилась стоянками Дербины (Дербина IV, V, Усть-Малтат I, II, Покровка I, II и др.), Куртака (Каштанка III–IV и др.) и, видимо, Приморска. Нижняя возрастная граница этих памятников не выходит за рамки конощельского времени, за исключением наиболее древнего по облику Усть-Малтата II, для которого допускается датировка в пределах малохетского времени.

Наиболее представительная группа объектов ранней стадии позднего палеолита выявлена в Дербинском заливе. Для каменного инвентаря этих памятников характерны пластинчатая индустрия с остроконечниками, концевыми скребками, режущими, скребущими (скоблящими) формами орудий на пластинах. На отщепах и сколах изготовлены долотовидные орудия, проколки. Наиболее архаичный облик археологического материала демонстрирует Усть-Малтат II, где проявляются черты «архаичности» дербинских индустрий – леваллуазские традиции в технике первичного расщепления, массивность бифасов и практически полное отсутствие микрорасщепления (см. вклейку: с. 35, ил. 1). Более молодыми по сравнению с данными комплексами выглядят Дербина IV, V, Усть-Малтат III с листовидными бифасами и Покровка I и II, где не зафиксированы бифасы клинковых форм. Была высказана гипотеза о том, что по мере развития индустрии меняются такие ее параметры, как степень пластинчатости инвентаря, формы нуклеусов и бифасов-клинков. По правому приустьевому участку Малтата тенденция к «деградации» пластинчатости при одновременном увеличении доли призматического и микрорасщепления увеличивается вверх по течению, достигая максимума в индустрии Усть-Малтата I (см. вклейку: с. 36, ил. 2). Близкая ситуация просматривается и на левом приустьевом участке Малтата, где подобная тенденция, но с некоторой сдвижкой во времени, проявляется вверх по течению Дербины, от Усть-Малтата II к Дербине IV и, вероятно, Дербине VII (Стасюк, Акимова, 2009; Харевич, 2010; Харевич, Стасюк, 2008; Харевич, Акимова и др., 2010).

Соответственно даты, полученные из культурных горизонтов опорных памятников района – Дербина IV (22–21 тыс. л. н.), Дербина V (30–29 тыс. л. н., 22–21 тыс. л. н.), Усть-Малтат I (12 тыс. л. н.), – свидетельствуют не о возрасте артефактов, а исключительно о времени их переотложения по склону. Это подтверждают как геоморфологическое положение самих памятников, так и устойчивое сочетание группировок дат, связанных с начальными этапами периодов похолоданий (конощельского, гыданского, послекокоревского). Данная гипотеза может быть подтверждена или опровергнута только дальнейшими исследованиями, получение комплекса новых дат с разных объектов, в первую очередь со стоянки Усть-Малтат I, занимающей явно обособленное положение среди ранневерхнепалеолитических индустрий Дербины.

В Дербинском заливе, на местонахождении Покровка II, была сделана редчайшая антропологическая находка – лобная кость homo sapiens – анатомически современного человека без каких-либо проявлений монголоидности и неандерталоидности, прямое датирование которой показало возраст 27740+150 BP (OxA-19850) (Бужилова, Добровольская, Медникова, 2009; Akimova E., Higham T. и др., 2010).

3. Для этапа раннего сартана (гыданская стадия) реперными памятниками традиционно являлись Афанасьева Гора, Тарачиха, Шленка, Новоселово XIII с индустрией «мелких пластин», снятых с небольших нуклеусов призматических форм (Лисицын, 1996, 2000). Именно с «мелкопластинчатой» традицией связана средняя стадия позднего палеолита для Енисея в ее «классическом» варианте. Близкими к ним являются Каштанка 1 (Хроностратиграфия) и Саженцы (см. вклейку: с. 37, ил. 3), делая группу памятников средней стадии еще более пестрой по составу. Известны отдельные стоянки с мелкими ретушированными пластинами (Волчиха I, II, Трифоновка, Камжа), но без надежной хронологической привязки (Акимова, 2006, 2008, 2010). Особое значение, вероятно, может иметь открытие двухслойной стоянки Серебряковка в окрестностях Красноярска с датами в пределах 19–17,5 тыс. л. н. и специфической индустрией, только перекликающейся со стоянками типа Афанасьевой горы (Акимова, Мотузко и др., 2009).

4. Работы последних лет показали, что «мелкопластинчатая традиция» не прекращается 15 тыс. л. н., а развивается до конца сартанского периода параллельно кокоревской и афонтовской археологическим культурам. Об этом свидетельствуют стоянки Дербины (Малтат, Конжул, Ближний Лог), по типологии каменного инвентаря близкие Афанасьевой горе и Тарачихе, но по возрасту относящиеся к самому концу палеолита (10–12 тыс. л. н.). Здесь найдены уплощенные одноплощадочные монофронтальные и двухплощадочные бифронтальные нуклеусы, пластинки с ретушью по краю и концу, концевые скребки, долотовидные орудия, резцы, каменные сверленые бусины (см. вклейку: с. 38, ил. 4). Высказана гипотеза о том, что в условиях определенной изоляции в Дербинском археологическом районе сформировался своеобразный рефугиум с сохранением традиционных приемов обработки камня, но адаптированных к особенностям местного каменного сырья (Акимова, 2008). Возможно, в подобных условиях оказались и носители позднекаргинской индустрии крупных пластин, сохранившей в бассейне Енисея признаки усть-каракольской традиции, имеющей на Алтае более древние датировки (Стасюк, Акимова, 2009).

5. Варианты проявлений культур поздней стадии, датированной второй половиной сартанского времени, выходят далеко за рамки традиционной пары «афонтовская-кокоревская». О значительно большем многообразии археологических культур на Среднем Енисее свидетельствуют другие памятники Ижульского и Дербинского заливов. Для Дербины IVA и IX характерны небольшие концевые скребки, долотовидные орудия (в массовом количестве), выемчатые орудия на пластинчатых сколах. Первичное расщепление представлено невыразительными формами одноплощадочных монофронтальных нуклеусов небольших размеров (см. вклейку: с. 40, ил. 6). При определенном сходстве между ними и индустрией Конжула-Малтата на Дербинах IVA и IX полностью отсутствуют пластинки с ретушью по краю и концу (см. вклейку: с. 39, ил. 5). Неясно положение Лысого Лога II с мелким инвентарем, пока не имеющем аналогов ни в памятниках типа Малтата, ни в памятниках типа Дербины IVA и IX. Особняком также располагаются Лысый Лог I и памятники левого берега Дербины: Дербина I, III, VIII, Сухая Ссора, Сырая Ссора, Подснежное. За пределами водохранилища в окрестностях Красноярска – это Уртень, Есауловка III, Солонцы, отдельные слои Лиственки. Все эти памятники располагаются по малым притокам Енисея.

Ко второй половине сартанского времени относятся три антропологические находки: нижняя челюсть ребенка из 12Г культурного слоя Лиственки (Акимова, 1998) и фрагмент лобной кости, найденный на Афонтовой Горе II еще в 1937 г. Если дербинский человек конощельского времени является европеоидом без каких-либо признаков неандертолоидности, то у лиственского ребенка эти признаки присутствуют (Шпакова, 1997; Акимова, Дроздов и др., 2005). Для афонтовского же человека характерна выраженная монголоидность (Дебец, 1946). В результате к концу позднего палеолита не складывается даже видимости сколько-либо цельной картины: археологическая пестрота подкрепляется противоречащими друг другу антропологическими материалами.

Таким образом, опыт работ последних лет в зоне Красноярского водохранилища позволяет сформулировать современное представление о хронологии, периодизации и многообразии локальных проявлений позднепалеолитических индустрий Среднего Енисея.

Перспективы исследований на Красноярском водохранилище не определены. Переориентация на хоздоговорные работы на Богучанской ГЭС заставила прекратить все работы на Енисее. Однако процесс разрушения берегов здесь неостановим. Вполне реальной представляется перспектива полного уничтожения местонахождений позднего палеоли-

та Енисея в зоне Красноярского водохранилища в ближайшие десятилетия.

Позднепалеолитические местонахождения в зоне строительства Богучанской ГЭС

На протяжении многих десятилетий единственным позднепалеолитическим памятником Северной Ангары считалась Усть-Кова в Кежемском районе, открытая А. П. Окладниковым в 1937 г. и изучавшаяся Н. И. Дроздовым в 1970–1990-е гг. (Береговая, 1961; Дроздов, 1981, 1987; Васильевский, Бурилов и др.; 1988, Дроздов, Лаухин, 1979; Лаухин, Дроздов и др., 1980; Дроздов, Чеха, 1990 и др.). Несмотря на многочисленные разведочные работы, других достоверных объектов палеолитического возраста в те годы найдено не было.

Спасательные археологические работы в зоне Богучанского водохранилища (2008–2011 гг.) позволили выявить новые позднепалеолитические памятники (Постнов, 2010; устные сообщения). Однако судить об облике североангарского палеолита и степени его «единства» до публикации материалов авторами раскопок невозможно.

В 1980-е гг. Н. И. Дроздовым на Усть-Кове было выделено три палеолитических комплекса: поздний (в пределах 15–11 тыс. л. н. – в коричневом суглинке), средний (около 24 тыс. л. н. – в карбонатизированном суглинке), ранний (около 33–28 тыс. л. н. – в погребенной почве) (Дроздов, 1981; Васильевский, Бурилов и др., 1988; и др.). Ранний комплекс был достоверно зафиксирован только в раскопах 1976–1977 гг., в последующие годы материал, за исключением единичных обломков костей, в погребенной почве обнаружен не был. Выделение двух верхних горизонтов было недостаточно обосновано и не нашло подтверждения (Акимова, Блейнис, 1985). Итоги раскопок Усть-Ковы сезона 2011 г. позволяют окончательно отказаться от гипотезы этих двух разновременных горизонтов и рассматривать единый позднепалеолитический культурный комплекс.

Палеолитический культурный слой залегает в коричневом легком суглинке, переходящем к низу в карбонатизированный суглинок. Археологический материал рассредоточен в диапазоне 30–50 см, непосредственно выше солифлюированной погребенной почвы. Обломки одних и тех же изделий залегают как в коричневом, так и в карбонатизированном суглинках. Как неоднократно отмечалось, подстилающий горизонт погребенной почвы имеет позднекаргинский возраст (Дроздов, Лаухин, 1979; Дроздов, Чеха, 1990; Чеха, 1990), но вызывает вопрос время его переотложения, которое может не соответствовать гыданской стадии. Позднеплейстоценовая толща разбита мощными криогенными трещинами с шириной в устье до 1–1,5 м и глубиной до 1,5–2 м. Раскопки 1980-х гг. отчетливо демонстрировали ситуацию сноса палеолитического материала по мере вытаивания трещин и отложение его по их бортам и дну. Вытаивание и заполнение трещин происходило в начале голоцена, о чем свидетельствуют как структура вмещающих отложений, так и отдельные предметы неолитического времени на уровне подстилающего пойменного аллювия.

Как и в прежние годы, наибольшая плотность археологического материала прослеживается вдоль бровки террасы. Каменный инвентарь сопровождается остатками костей двух мамонтов – молодого и взрослого, в частичном анатомическом порядке со следами расчленения и погрызов.

Каменный инвентарь из раскопов 2011 г. включает призматические двуплощадочные бифронтальные нуклеусы, сегментовидный бифас типа «улу» и обломки заготовок листовидных бифасов, скребловидные и ножевидные орудия на крупных пластинах, долотовидное орудие на отщепе, резцы, небольшие чопперы-струги на гальках, проколки и провертки как на небольших пластинчатых сколах, так и на крупных пластинах и массивных ретушированных сколах с коническим шлифованным жальцем (см. вклейку: с. 40, ил. 6). Индустрия имеет явно пластинчатый характер.

Из бивня мамонта изготовлены плоские округлые бусины и шлифованное изделие неопределенного назначения эллипсоидной формы, круглое в сечении (см. вклейку: с. 41, ил. 7).

Горизонт, содержащий позднеплейстоценовые остатки, прослеживается от приустьевого участка Ковы вдоль Ангары на протяжении не менее 800 м на различных гипсометрических уровнях, соответствующих различным геоморфологическим единицам: участку II ковинской (I ангарской?) террасы на стрелке Ковы (9 м) и II ангарской террасы выше ее по течению Ангары (14–16 м). Теоретически нет препятствий для обнаружения стоянок палеолитического возраста и в покровных отложениях, и в аллювии террас самой Ковы. Работы 2010 г. выявили перспективы изучения палеолита вдоль р. Ковы, где в отложениях I ковинской террасы найдены предметы, вероятно, доголоценового (раннеголоценового?) возраста (стоянка Усть-Кова I, пункт II) (Акимова, Горельченкова.., 2010). Бифас листовидной формы имеет прямые аналоги в материалах палеолитического культурного слоя Усть-Ковы, в то время как клиновидные нуклеусы для него не характерны.

В целом современное понимание палеолитической стоянки Усть-Кова как археологического комплекса позволяет предположить более слож-

ный характер памятника. Вероятнее всего, речь должна идти о комплексе позднепалеолитических местонахождений, культурные горизонты которых формировались в течение длительного времени, а их современный облик связан с разнообразием как синхронных времени их формирования природных процессов, так и с разнообразием эпигенетических явлений, влияние которых не позволяет выявить устойчивые взаимосвязи между отдельными комплексами плейстоценовых индустрий Усть-Ковы. Подобная ситуация, по опыту работ на Красноярском водохранилище, может быть названа «рассеянным многослойным памятником» (Стасюк, Акимова и др., 2000).

Находки последних лет показывают, что ресурсы Усть-Ковы как уникального позднепалеолитического объекта еще не исчерпаны. Более того, продолжение работ позволит надеяться не только на пополнение археологической коллекции, не имеющей пока аналогов в палеолите Сибири и Ангары, но и на решение вопросов, связанных с процессом заселения Северной Ангары.

Заключение

Опыт изучения позднего палеолита на Красноярском водохранилище позволяет предполагать, что Богучанское водохранилище не только создаст те же проблемы, разрушая и перерабатывая толщи вмещающих культурные слои отложений, но и продемонстрирует определенные общие закономерности «палеолита большой реки».

1. Возможно, на Ангаре будет прослеживаться зависимость высоты места расположения памятника от климатического периода: более низкие отметки для теплых и более высокие – для холодных периодов.

2. Палеолитические памятники не могут быть расположены только вдоль магистрального русла. Новые объекты неизбежно выявятся после образования заливов в нижнем течении притоков Ангары. Возможно, что между памятниками, близкими по типологии инвентаря, будут хронологические различия: более ранние будут располагаться по берегам самой Ангары и более поздние – по берегам ее притоков.

3. Палеолит Северной Ангары не должен относиться к одной археологической культуре и быть замкнутым в одних хронологических рамках. На Усть-Кове материал привязан к двум стратиграфическим позициям: в погребенной почве каргинского времени и суглинку второй половины сартанского времени. При этом вполне допустимы варианты залегания палеолитических горизонтов в покровных отложениях ковинской террасы и на поверхности аллювия. Новые памятники, открываемые сегодня на Северной Ангаре, вероятно, продемонстрируют как другие варианты дислокации культурных отложений, так и другой облик инвентаря.

4. В процессе разрушения береговых отложений и заполнения ложа Богучанского водохранилища, вероятно, проявится классическая ситуация «рассеянного многослойного памятника», известная нам по Красноярскому водохранилищу (Каштанковский участок Куртакского района, залив Малтат в Дербинском заливе, Новоселовская группа палеолитических местонахождений).

Наши сегодняшние знания о палеолите Северного Приангарья неполны, отрывочны и не систематизированы. Введение в научный оборот новых объектов, безусловно, сделает картину более объемной и рельефной, но необходимой полноты не даст. По сути, ограничение нашей деятельности спасательными работами вдоль русла Ангары не позволит выполнить саму задачу изучения палеолита Северного Приангарья как археологической эпохи этого региона.

Список литературы

Абрамова З. А., Астахов С. Н., Васильев С. А., Ермолова Н. М., Лисицын Н. Ф. Палеолит Енисея. Л., 1991. 158 с.

Акимова Е. В., Стасюк И. В. Изучение позднего палеолита Дербинского залива (Красноярское водохранилище, Сибирь) // Четвертичная геология, георфомология, геоэкология Беларуси и сопредельных территорий. Материалы Междунар. научн. семинара, посвящ. 80-летию со дня рождения Л. Н. Вознячука, Минск (25–26 сентября 2009 г.) / Бел. гос. пед. ун-т им. М. Танка; ред. А. Ф. Санько. Минск: Право и экономика, 2009. С. 16–21.

Акимова Е. В. «Средний этап» позднего палеолита в Приенисейской Сибири // Современные проблемы археологии России. Материалы всероссийского археологического съезда. Новосибирск, 2006. С. 94–96.

Акимова Е. В. Раннесартанская индустрия мелких пластин в финале позднего палеолита Среднего Енисея: к проблеме формирования археологических рефугиумов // Проблемы биологической и культурной адаптации человеческих популяций. Т. 1. Археология. Адаптационные стратегии древнего населения Северной Евразии: сырье и приемы обработки. СПб.: Наука, 2008. С. 37–47.

Акимова Е. В. Финальный палеолит залива Малтат (Дербинский археологический район) // Вестник НГУ. Новосибирск, 2010. С. 75–85.

Акимова Е. В., Блейнис Л. Ю. Палеолитическая стоянка Усть-Кова (по материалам 1982 г.) // Археологические и этнографические иследования в Восточной Сибири: итоги и перспективы. Иркутск: Изд-во ИГУ, 1986. С. 63–65.

Акимова Е. В., Дроздов Н. И., Лаухин С. А. , Оводов Н. Д., Томилова Е. А., Стасюк И. В., Чеха В. П. Архео-

логические исследования в Ижульском заливе // Древности Приенисейской Сибири. Красноярск: Изд-во КГУ, 1996. Вып. 1. С. 47–61.

Акимова Е. В., Дроздов Н. И., Чеха В. П., Лаухин С. А., Орлова Л. А., Санько А. Ф., Шпакова Е. А. Палеолит Енисея. Лиственка. Красноярск; Новосибирск: Универс; Наука, 2005. 180 с.

Акимова Е. В., Мотузко А. Н., Колямкин В. Н., Чеха В. П. Новая позднепалеолитическая стоянка Серебряковка (Средний Енисей) // Проблемы археологии, этнографии и антропологии Сибири и сопредельных территорий. Мат-лы Годовой сессии Ин-та археологии и этнографии СО РАН 2009 г. Т. XV. Ч. I. Новосибирск: Изд-во Ин-та археологии и этнографии СО РАН, 2009. С. 11–17.

Акимова Е. В., Стасюк И. В. Итоги изучения палеолита Дербинского залива в 1998–2007 гг. // Проблемы археологии, этнографии и антропологии Сибири и сопредельных территорий. Мат-лы Годовой сессии Ин-та археологии и этнографии СО РАН 2007 г. Т. XIII. Новосибирск: Изд-во Ин-та археологии и этнографии СО РАН, 2007. С. 8–11.

Акимова Е. В., Стасюк И. В., Кукса Е. Н., Мотузко А. Н. Позднепалеолитическая стоянка Саженцы в зоне Красноярского водохранилища // Вузовская научная археология и этнография Северной Азии. Иркутская школа 1918–1937. Иркутск: Изд-во ИГУ, 2009. С. 175–181.

Археология, геология и палеогеография палеолитических памятников юга Средней Сибири (Северо-Минусинская впадина, Кузнецкий Алатау и Восточный Саян) / Н. И. Дроздов, В. П. Чеха, Е. В. Акимова, Е. В. Артемьев, В. Г. Кольцова, А. А. Бокарев, Н. Д. Оводов, Н. В. Мартынович, А. С. Вдовин, Л. А. Орлова, А. Ф. Ямских, В. Е. Ларичев, Ю. П. Холюшкин, Л. Д. Сулержицкий. Красноярск: Зодиак, 1992. 130 с.

Береговая Н. П. Палеолитические местонахождения СССР. МИА 81. М.; Л., 1960. С. 81.

Бужилова А. П., Добровольская М. В., Медникова М. Б. Лобная кость homo из верхнепалеолитического местонахождения Покровка II в Сибири // Вестник Московского университета. Серия XXIII. Антропология. № 3. 2009. С. 4–13.

Васильевский Р. С., Бурилов В. В., Дроздов Н. И. Археологические памятники Северного Приангарья. Новосибирск: Наука, 1988. 244 с.

Дебец Г. Ф. Фрагмент лобной кости человека из культурного слоя стоянки Афонтова Гора II под Красноярском // Бюллетень Комиссии по изучению четвертичного периода. 1946. № 8. С. 73–77.

Дроздов Н. И. К вопросу о культурной принадлежности палеолитической стоянки Усть-Кова (Северное Приангарье) // Проблемы антропологии и археологии каменного века Евразии. Иркутск: Изд-во ИГУ, 1987. С. 81–83.

Дроздов Н. И. Каменный век Северного Приангарья. Автореферат дис. ... канд. истор. наук. Новосибирск, 1981. 16 с.

Дроздов Н. И., Артемьев Е. В., Макулов В. И., Чеха В. П., Дроздов Д. Н. Куртакский геоархеологический район – выдающийся естественно-археологический объект в Средней Сибири // РА. № 4. 2007. С. 32–41.

Дроздов Н. И., Лаухин С. А. Палеолитическое местонахождение в устье р. Кова (среднее течение Ангары) // Древние культуры Сибири и Тихоокеанского бассейна. Новосибирск: Наука, 1979. С. 38–41.

Дроздов Н. И., Лаухин С. А., Чеха В. П., Кольцова В. Г., Бокарев А. А., Викулов А. А. Куртакский археологический район. Геология и археология Трифоновского и Куртакского участков. Красноярск, 1990. Вып. 1. 88 с.

Дроздов Н. И., Чеха В. П. Палеомерзлотные явления на палеолитической стоянке Усть-Кова и проблемы сохранности культурных слоев // Хроностратиграфия палеолита Северной, Центральной и Восточной Азии и Америки. Новосибирск, 1990. С. 174–180.

Дроздов Н. И., Чеха В. П. Этапы развития каменного века Средней Сибири в эпоху плейстоцена // Палеоэкология и расселение древнего человека в Северной Азии и Америке. Красноярск: Зодиак, 1992. С. 92–97.

Куртакский археологический район. Новые данные к хроностратиграфии палеолита Куртакского археологического района. Красноярск: ПО «Сибирь», 1990. Вып. 3. 112 с.

Лаухин С. А., Дроздов Н. И., Панычев В. А., Орлова Л. А. Усть-Кова на Ангаре – самая древняя датированная радиоуглеродным методом палеолитическая стоянка между Уралом и Леной // Доклады АН СССР. 1980. Т. 254. № 2. С. 182–185.

Лисицын Н. Ф. Средний этап позднего палеолита Сибири // РА. № 4. 1996. С. 5–17.

Лисицын Н. Ф. Поздний палеолит Чулымо-Енисейского междуречья. Труды ИИМК РАН. Том II. СПб., 2000. 230 с.

Постнов А. В. Результаты полевых исследований стоянки Большая Пеленда // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Мат-лы Годовой сессии Ин-та археологии и этнографии СО РАН 1997 г. Т. XVI. Новосибирск: Изд-во Ин-та археологии и этнографии СО РАН, 2011. С. 565–568.

Стасюк И. В., Акимова Е. В. Ранние комплексы позднего палеолита Дербинского археологического района (Средняя Сибирь, Красноярское водохранилище) // Труды II (XVIII) Всероссийского археологического съезда в Суздале. Т. 1. М.: Изд-во ИА РАН, 2008. С. 161–166.

Стасюк И. В., Акимова Е. В., Томилова Е. А. Поздний палеолит Дербинского археологического района: первые итоги и перспективы исследований // Палеогеография каменного века. Корреляция природных событий и археологических культур палеолита Северной Азии и сопредельных территорий. Красноярск: Изд-во КГПУ, 2000. С. 127–128.

Харевич В. М. Начальная стадия верхнего палеолита Среднего Енисея Автореферат дис. ... канд. истор. наук. Новосибирск, 2010. 25 с.

Харевич В. М., Акимова Е. В., Стасюк И. В. Каменная индустрия позднепалеолитического местонахождения Дербина V (Красноярское водохранилище) // Вестник НГУ. Новосибирск, 2010. С. 86–96.

Харевич В. М., Стасюк И. В. Техника первичного расщепления позднепалеолитического местонахождения Усть-Малтат 2 (Средний Енисей) / Вестник НГУ. Т. 7. Вып. 3. 2008. С. 84–95.

Хроностратиграфия палеолитических памятников Средней Сибири (бассейн Енисея). Путеводитель экскурсии Международного симпозиума / Н. И. Дроздов, В. П. Чеха, С. А. Лаухин, Е. В. Акимова, В. Г. Кольцова, Е. В. Артемьев, А. А. Бокарев, В. П. Леонтьев, А. А. Викулов. Новосибирск: Изд-во Института истории, филологии и философии СО АН СССР, 1990. 184 с.

Чеха В. П. Геохимические индикаторы и некоторые палеогеографические особенности стоянки Усть-Кова // Хроностратиграфия палеолита Северной, Центральной и Восточной Азии и Америки. Новосибирск, 1990. С. 293–295.

Шпакова Е. Г. Одонтологический материал верхнепалеолитической стоянки Лиственка (Красноярский край) // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Мат-лы Годовой сессии Ин-та археологии и этнографии СО РАН 1997 г. Т. III. Новосибирск: Изд-во Ин-та археологии и этнографии СО РАН, 1997. С. 132–137.

Akimova E., Higham T., Stasyk I., Buzhilova A., Dobrovolskaya M., Mednikova M. A new direct radiocarbon AMS date for an upper Palaeolithic human bone from Siberia // DOI: 10.1111/j.1475-4754.2010.00532.x- University of Oxford. 2010. Archaeometry. 2010.

А. П. Деревянко, С. В. Маркин

СИБИРЯЧИХИНСКИЙ ВАРИАНТ СРЕДНЕГО ПАЛЕОЛИТА КАК ЭЛЕМЕНТ КУЛЬТУРЫ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ВЕРХНЕГО ПЛЕЙСТОЦЕНА АЛТАЯ

Средний палеолит Северной Азии представляют различные по сохранности стоянки, сосредоточенные преимущественно в регионах Южной Сибири. Районом особой концентрации таких объектов признается Алтай, где представлены пещерные и открытые стоянки в отложениях террас. Среди них особняком стоят два многослойных карстовых объекта (пещеры Окладникова, Чагырская) северо-западного Алтая, материалы которых сопоставимы с мустьерскими комплексами ряда регионов Евразии и особенно Юго-Западной Европы, Закавказья, Передней Азии (Деревянко, Маркин, 1992; 1998; Деревянко, Маркин, Зыкина, Зыкин, 2009; Деревянко, Маркин, Зыкин, 2009; Derevianko, Markin, 1995). Допускается, что индустрии двух пещер образуют особый вариант регионального среднего палеолита, для обозначения которого предлагается название «сибирячихинская индустриальная линия развития» или «сибирячихинский вариант среднего палеолита» (Деревянко, 2009, 2010; Derevianko and Markin, 2011).

Обе пещеры представляют собой разные карстовые образования. Обращенная на юг пещера Окладникова, расположенная в поясе низкогорного Алтая в бассейне р. Ануй, состоит из различного рода взаимосвязанных и отдельных полостей – навес (высота над уровнем близлежащего водотока 14 м), грот, несколько разноэтажных галерей, а также ряд удаленных от входов залов. Пещера Чагырская, расположенная в среднегорном районе Алтая, приуроченная к участку долины р. Чарыш, дренирующей отроги северного склона Тигерекского хребта, северной экспозиции, имеет два зала, примыкающие под углом друг к другу. Высота объекта – 25 м над уровнем реки. Пещеры многослойные (Окладникова, сл. 7, 6, 3, 2, 1; Чагырская, сл. 6а, 6б, 6в/1, 6в/2), содержащие однотипные индустрии, не образующие какой-либо прерывистости.

В пещере Окладникова большая часть пещерных отложений (слои 2, 3, 6, 7) формировалась в условиях теплого климата при развитии разнотравно-лугово-степной растительности. Определенные вариации наблюдаются лишь в увлажненности климатических обстановок. Завершение образования рыхлой толщи (слой 1) происходило в несколько иных условиях, а именно в условиях открытых, слабооблесенных, лугово-травных пространств, при более влажном и холодном климате, чем современный. Палеонтологические материалы, поступившие со всего разреза, определяют «смешанный» состав позднеплейстоценового териокомплекса, подчеркивающий своеобразие палеогеографии горных территорий. Не является исключением и авифауна, состоящая из представителей разнообразных биотопов, что также характерно для горных областей (Деревянко, Маркин, 1992, 1998).

В Чагырской пещере (сл. 6а–6в/2) представлены виды крупных животных, адаптированные к различным ландшафтным зонам – степным, лесостепным и скальным местам обитания (Васильев, 2009). Это носорог, мелкая и крупная кобаллоидная лошадь, бизон – як, северный и благородный олень, сибирский горный козел, архар. Встречены единичные кости мамонта, волка и лисицы. Есть кости пещерной гиены. Большинство остатков (примерно 81 %) принадлежат копытным и хоботным, гораздо

меньше (примерно 19 %) к *Carnivora*. Среди мелких млекопитающих, по данным В. С. Зажигина, выделяются остатки обского лемминга (*Lemmus sibiricus*) из средней части слоя 6а и желтой пеструшки (*Eolagurus luteus*), отмеченной в отложениях пещеры по всему разрезу. Оба вида в отдельные интервалы среднего и позднего плейстоцена, широко распространенные в Евразии, являлись типичными элементами перигляциальной фауны млекопитающих и соответствовали периодам наибольшего похолодания или оледенения. Палинологический анализ разреза Чагырской пещеры реконструирует степные условия времени формирования слоев 6а, 6б и 6в/1 и холодных листопадных лесов в период накопления слоя 6в/2 (Рудая, 2010).

Структура стоянок имеет много общего, что отразилось, прежде всего, на характере фракционирования кремневых остатков. В индустриях разнослойных объектов характерно небольшое количество свидетельств о расщеплении исходного сырья. Небольшой процент нуклеусов, а также краевых и полукраевых основ в составе коллекций, если не исключают, то значительно ограничивают этот цикл обработки камня непосредственно в пещерах. Вместе с тем представляются немалыми объемы орудийных форм, превышающие подчас 20 %. Скорее всего, расщепление горных пород обитателями пещер производилось где-то на стороне, возможно, прямо на берегу близлежащих рек. На стоянки доставлялись лишь заготовки, превращенные здесь в орудийные формы. Следствием этого процесса следует считать значительные объемы сколов отделки, являющиеся производными процесса ретуширования, составляющие более 30–40 % от общего количества сколов. Соотношение показателей между нуклеусами, потенциальными заготовками и орудиями свидетельствует, что каждая 2–4-я заготовка подвергалась вторичной отделке. Вполне очевидно, что оба памятника возможно квалифицировать как охотничьи лагеря, в чем кроется причина преимущественно однотипного типологического состава скребел и скребел-ножей. Хозяйственная деятельность первобытных коллективов пещеры Окладникова была связана с охотой на крупных животных, в основном лошадей, аргали, носорогов, бизонов, благородных оленей. В пещере Чагырской преобладание остатков бизона (более 54 %) может служить отражением охотничьей специализации коллективов людей.

Установлено, что в качестве основного сырья при образовании технокомплексов Чагырской пещеры использовалось четыре типа местных пород: осадочные (песчаники, алевролито-песчаники – 23 % всех артефактов), роговики (16 %), эффузивы (27 %) и яшмоиды (около 33 %), среди которых большинство (29 %) – высококремнистые яшмоиды засурьинской свиты (Кулик, Маркин, 2009). Отмечается, что в составе аллювия р. Чарыш, к левому борту которого приурочена пещера, содержатся все разновидности каменного сырья, используемые для образования артефактов, но с иным количественным распределением пород. Здесь эффузивные разности составляют больше половины галечного материала, в то время как содержание осадочных пород и особенно роговиков значительно ниже их содержания в индустрии памятника. Особенно мало засурьинских яшмоидов. Такие показатели свидетельствует о целенаправленном отборе сырья. В пещере Окладникова немалая роль при производстве артефактов также принадлежит засурьинским яшмоидам (25,8 % изделий). Однако дальнейшее петрографическое сравнение пород стоянок показывает, что в целом они различаются по использованию каменного сырья. Так, в пещере Окладникова использование роговиков составляет всего 5 %, большинство же изделий (65 %) выполнено на осадочных породах, и прежде всего на мелкозернистых песчаниках (Кулик, Маркин, 2003). Таким образом, однотипные наборы индустрий, представленные в пещерах, при одинаковом используемом сырье имеют все же существенные петрографические отличия, а сырьевой фактор не является основным при формировании подобного типа культуры в среднем палеолите региона.

Для технокомплексов данных пещер, из каких бы осадков они не происходили, характерен однотипный инвентарь (см. вклейку: с. 42, ил. 1–2), основанный на радиальном расщеплении горных пород, следствием которого является обилие сколов со смещением корпуса заготовки от оси снятия. В пещере Окладникова помимо радиальных представлены образцы ядрищ, отражающие технологии параллельного и леваллуазского раскалывания. Соответственно в индустриях этой пещеры представлены немногочисленные примеры удлиненных артефактов и изделия с леваллуазской морфологией. Типологической основой набора орудий являются скребла и орудия типа déjeté, достигающие в совокупности в определенных слоях памятников 90 % всего объема вторично преобразованных артефактов. Среди скребел большинство одинарных боковых и поперечных форм, меньше двойных параллельных и конвергентных орудий, единичны скребла с ретушью по периметру, утонченной спинкой, типа полукина, ретушью с брюшка и противолежащей отделкой. Немаловажным явлением представляется наличие разнообразных скребел-ножей, имеющих естественные и искусственные обушки либо противолежащие рабочим ретушированным кромкам, либо примыкающие к ним под углом. Отметим, что обушковые формы являются одним из характерных признаков технокомплексов обе-

их пещер. Орудия типа déjeté двойных и тройных комбинаций различаются по количеству (двойные, тройные и др.) и положению активных кромок (диагонально скошенные, диагонально-поперечные и др.), их ориентации, форме (двояковыпуклые, выпукло-вогнутые, прямовыпуклые и др.), отделке и углу (остроугольные, прямоугольные и др.) схождения. Леваллуазские острия, а также единичные орудия верхнепалеолитический типологии (скребки, резцы, долотовидные орудия, проколки) представлены только в технокомплексах пещеры Окладникова. Немногочисленные группы артефактов образуют, подчас единичные, зубчатые изделия, ретушированные анкоши, остроконечники. В пещере Окладникова представлены бифасы – обушковые формы с косым утолщенным краем (сл. 7, 3, 2), в Чагырской пещере обнаружены плоско-выпуклые бифасы овальных очертаний (подошва слоя 66) с утолщенным основанием и уплощенной активной кромкой, образованной конвергенцией продольных краев. Из слоя 7 пещеры Окладникова происходит образец бифаса плоско-выпуклого сечения, с вытянутым рабочим участком, боковыми плечиками и забитой пяточной частью. Идентичной представляется в индустриях пещер и отделка орудий, в равной степени реализуемая при организации рабочих кромок изделий и их отдельных частей. Вторичная обработка осуществлялась в основном с помощью разнообразных ретушных отделок. Преобладает ретушь лицевая, полукрутая, средняя, полуглубокая и захватывающая, двурядная и чешуйчатая. Подчеркнем, что большинство орудий, и прежде всего скребел, образованы с помощью интенсивной, модифицирующей ретуши, возможно, неоднократно переоформляющей артефакты в процессе их эксплуатации. Отмечается отделка, образующая обушковые части и выделяющая рабочие элементы орудий (ретушь, разнообразные анкоши). Выделяются и различного рода утончения заготовок с целью удаления бугорков, подтески базальных частей, исправления кривизны профиля, уплощения кромок и угла схождения лезвий артефактов типа déjeté (Деревянко, Маркин, 1992; Деревянко, Маркин, Зыкина, Зыкин, 2009; Деревянко, Маркин, Зыкин, 2009).

В целом структура технокомплексов обеих пещер характерна для среднего палеолита, развивающегося в сторону мустьерских черт, где руководящими формами артефактов являются прежде всего скребла разнообразных комбинаций. Отметим, что последствия развития данных технокомплексов не отмечаются в региональных (алтайских) вариантах начала верхнего палеолита.

В обеих пещерах представлены антропологические материалы в виде одонтологических остатков и частей посткраниального скелета. В пещере Окладникова (сл. 7, 3, 2, 1) это фаланги, коленная чашечка, пяточные, бедренные, плечевые кости, зубы взрослых и детей, принадлежащие неандертальскому антропологическому типу (Krause, Orlando, Serre et al., 2007; Медникова, 2011). В Чагырской пещере обнаружены второй верхний премоляр взрослого человека (сл. 6 в/1, гор. 2); 1 первый шейный позвонок взрослого человека (сл. 6б, гор. 4); нижний резец (правый медиальный) взрослого человека (сл. 6 в/1, гор. 3); задняя поверхность дистального мыщелка правой большой берцовой кости взрослого человека (сл. 6 в/1, гор. 3); молочный зуб (левый клык нижней челюсти) ребенка возраста между 7 и 8 годами жизни. Одонтологический материал также определяет неандертальский тип носителей культуры данной пещеры (Viola et al., 2011).

Временные показатели пока установлены для технокомплексов из пещеры Окладникова, абсолютный возраст которой колеблется в интервале 44 800–33 500 л. н., что соответствует каргинскому времени. Отметим, что начальная стадия сложения среднепалеолитических индустрий на Алтае, судя по материалам из базальных отложений Денисовой пещеры (слои 22, 21) и нижней части разреза стоянки Усть-Каракол 1 (слой 19), приходится на вторую половину среднего плейстоцена в интервале 282–133 тыс. л. н. Материалы большинства пещерных и открытых стоянок (Денисова Усть-Каракол 1, Страшная со слоями, образующими среднюю часть разреза, Окладникова, Усть-Канская, Тюмечин 1, 2, нижние слои Кара-Бома) относятся ко времени 100–44,8 тыс. л. н. (Деревянко, Шуньков, 2002, 2004; Зенин, Ульянов, 2007; Палеолитические комплексы.., 1998; Постнов, 2006; Природная среда и человек.., 2003; Шуньков, 1990). Наконец, самые поздние (верхний слой пещеры Окладникова) комплексы среднего палеолита региона, согласно радиоуглеродным датам, датируются возрастом 33,5 тыс. л. н. (Деревянко, Маркин, 1992). Очевидно, в этих временных пределах следует рассматривать вариант регионального среднего палеолита, представленный необычными материалами из пещер Окладникова и Чагырской. Возможно, малочисленность объектов сибирячихинского варианта среднего палеолита свидетельствует о небольшой группе его носителей, приникшей на Алтай, которые в течение короткого времени были растворены в иной культурной и антропологической среде (Деревянко, 2011). Если учитывать отмеченные возрастные показатели пещеры Окладникова и материалы 11-го слоя пещеры Денисовой (около 50 000 л. н.), где представлены типичные верхнепалеолитические индустрии ориньякского облика, все более отчетливо определяется проблема взаимоотношения неандертальцев и человека иного антропологического облика в палеолите Алтая на

стадии смены культур. Отметим, что на костном материале Денисовой пещеры недавно была выделена геномная последовательность, принадлежащая ранее неизвестному гоминиду (Krause Fu et al., 2010; Reich Green et al., 2010). Данные взаимоотношения одновременно сосуществовавших разных гоминид и их отличных материальных культур в палеолите Алтая и в целом Евразии еще предстоит оценить.

Список литературы

Васильев С. К. Остатки териофауны из пещеры Чагырская (северо-западный Алтай) по материалам раскопок в 2007 и 2008 годах // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий: Материалы Итоговой сессии Института археологии и этнографии СО РАН 2009 г. Новосибирск: Изд-во Ин-та археологии и этнографии СО РАН, 2009. Т. XV. С. 50–54.

Деревянко А. П. Переход от среднего к верхнему палеолиту и проблема формирования *Homo Sapiens* в Восточной, Центральной и Северной Азии. Новосибирск: Изд-во Института археологии и этнографии СО РАН, 2009. 328 с.

Деревянко А. П. Три сценария перехода от среднего к верхнему палеолиту. Сценарий первый: переход к верхнему палеолиту на территории Северной Азии //Археология, этнография и антропология Евразии. 2010. № 3 (43). С. 2–32.

Деревянко А. П. Формирование человека современного анатомического вида и его поведение в Африке и Евразии //Археология, этнография и антропология Евразии. 2011. № 3 (47). С. 2–31.

Деревянко А. П., Маркин С. В., Зыкина В. С., Зыкин В. С. Чагырская пещера: исследования в 2009 году // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий: Материалы Итоговой сессии Института археологии и этнографии СО РАН 2009 г. Новосибирск: Изд-во Ин-та археологии и этнографии СО РАН, 2009. Т. XV. С. 129–132.

Деревянко А. П., Маркин С. В. Возможности выявления климатических изменений в каргинских и сартанских осадках ряда пещерных археологических памятников Алтая // Проблемы реконструкции климата и природной среды голоцена и плейстоцена Сибири. Новосибирск: Изд-во Ин-та археологии и этнографии СО РАН, 1998. С. 127–131.

Деревянко А. П., Маркин С. В. Мустье Горного Алтая (по материалам пещеры им. Окладникова). Новосибирск: Наука, 1992. 224 с.

Деревянко А. П., Маркин С. В. Мустье юга Северной Азии в сравнении со средним палеолитом Восточного Средиземноморья // Палеоэкология плейстоцена и культуры каменного века Северной Азии и сопредельных территорий (Материалы международного симпозиума). Т. 1. Новосибирск: Изд-во Института археологии и этнографии СО РАН, 1998. С. 100–106.

Деревянко А. П., Маркин С. В., Зыкин В. С. Новый объект среднего палеолита на Алтае // Древнейшие миграции человека в Евразии: Материалы международного симпозиума. Новосибирск: Изд-во Института археологии и этнографии СО РАН, 2009. С. 101–106.

Деревянко А. П., Шуньков М. В. Индустрии с листовидными бифасами в среднем палеолите Горного Алтая // Археология, этнография и антропология Евразии. 2002. № 1. С. 16–41.

Деревянко А. П., Шуньков М. В. Становление верхнепалеолитических традиций на Алтае // Археология, этнография и антропология Евразии. 2004. № 3. С. 12–40.

Зенин А. Н., Ульянов В. А. Стратиграфические исследования в пещере Страшная // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СОРАН, 2007. Т. XIII. С. 105–109.

Кулик Н. А., Маркин С. В. Петрографическая характеристика среднепалеолитических индустрий из Чагырской пещеры // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий: Материалы Итоговой сессии Института археологии и этнографии СО РАН 2009 г. Новосибирск: Изд-во Ин-та археологии и этнографии СО РАН, 2009. Т. XV. С. 151–157.

Кулик Н. А., Маркин С. В. Петрография индустрии пещеры им. Окладникова (северо-западный Горный Алтай) // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Т. IX. Новосибирск: Изд-во Института археологии и этнографии СО РАН, 2003. С. 148–153.

Медникова М. Б. Посткраниальная морфология и таксономия представителей рода *Homo* из пещеры Окладникова на Алтае. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2011. 128 с.

Палеолитические комплексы стратифицированной части стоянки Кара-Бом / А. П. Деревянко, В. Т. Петрин, Е. П. Рыбин, Л. М. Чевалков. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1998. 279 с.

Постнов А. В. К проблеме технологической «однородности» разновозрастных палеолитических комплексов Усть-Канской пещеры // Современные проблемы археологии России. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СОРАН, 2006. Т. 1. С. 137–139.

Природная среда и человек в палеолите Горного Алтая / А. П. Деревянко, М. В. Шуньков, А. К. Агаджанян, Г. Ф. Барышников, Е. М. Малаева, В. А. Ульянов, Н. А. Кулик, А. В. Постнов, А. А. Анойкин. Новосибирск: Изд-во Ин-та археологии и этнографии СО РАН, 2003. 448 с.

Рудая Н. А. Палинологическая характеристика отложений палеолитической стоянки Чагырская пещера (Алтайский край) // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий: Материалы Итоговой сессии Института археологии и этнографии СО РАН 2010 г. Новосибирск: Изд-во Ин-та археологии и этнографии СО РАН, 2010. Т. XVI. С. 132–136.

Шуньков М. В. Мустьерские памятники межгорных котловин Центрального Алтая. Новосибирск: Наука, 1990. 160 с.

Derevianko A. P. and Markin S. V. Sibiryachikhinsky version sites of the Altai Middle Paleolithic industries //

Characteristic Features of the Middle Paleolithic Transition in Eurasia. Novosibirsk: Publishing Department of the Institute of Archaeology and Ethnography SB RAS, 2011. P. 40–49.

Derevianko Anatoly P., Markin Sergei V. The Mousterian of the Altai in the Context of the Middle Paleolithic Culture of Eurasia // The definition and interpfetation of Levallois Technology. Monografs in World Archaeology No. 23. Prehistory Press. Madison, Wisconsin, 1995. P. 473–484.

Viola B., Markin S. V., Zenin A., Shunkov M. V. and Derevianko A. P. Late Pleistocene hominis from the Altai mountains, Russia // Characteristic Features of the Middle Paleolithic Transition in Eurasia. Novosibirsk: Publishing Department of the Institute of Archaeology and Ethnography SB RAS, 2011. P. 207–213.

Krause J., Fu Q., Good J., Viola B., Shunkov M. V., Derevianko A. P., Pääbo S. The complete mitochondrial DNA genome of an unknown hominin from southern Siberia // Nature. 2010. Vol. 464. № 7290. P. 894–897.

Krause J., Orlando L., Serre D., Viola B., Prüfer K., Richards M. P., Hublin J. J., Hänni C., Derevianko A. P., Pääbo C. Neanderthals in Central Asia and Siberia // Nature. 2007. Vol. 449. P. 902–904.

Reich D., Green R. E., Kircher M., Krause J., Patterson N., Durand E. Y., Viola B., Briggs A. W., Stenzel U. Johnson P. L. F., Maricic T., Good J. M., Marques-Bonet T., Alkan C., Fu Q., Mallick S., Li H., Meyer M., Eichler E. E., Stoneking M., Richards M., Talamo S., Shunkov M. V., Derevianko A. P., Hublin J. J., Kelso J., Slatkin M. & Paabo S. Genetic history of an archaic hominin group from Denisova Cave in Siberia // Nature. 2010. Vol. 468. № 7327. P. 1053–1060.

А. П. Деревянко, М. В. Шуньков, Е. П. Рыбин

КУЛЬТУРА ПЕРВОБЫТНОГО НАСЕЛЕНИЯ СЕВЕРНОЙ АЗИИ НА РУБЕЖЕ СРЕДНЕГО И ВЕРХНЕГО ПАЛЕОЛИТА

Введение

В настоящее время в результате археологических раскопок в Африке и Евразии накоплен большой фактический материал, позволяющий предложить гипотезу о трех крупных географических зонах, в которых 100–30 тыс. л. н. происходил процесс перехода от среднего к верхнему палеолиту (Деревянко, 2009, 2011). Африканская зона 80–40 тыс. л. н. характеризуется индустриями финала среднего палеолита, переходного периода и раннего этапа верхнего палеолита (ховисонс порт, стилбей, даббан, атер, сангоана и др.). В них на смену архаичным индустриям со значительным включением элементов среднего палеолита приходят пластинчатые технокомплексы, включающие орудия геометрических форм и предметы неутилитарного назначения. Позднее 35–30 тыс. л. н. в Африке вновь распространяются индустрии более «архаичного» типа. Китайско-малайская зона, куда входят Восточная и Юго-Восточная Азия, характеризуется доминированием до 30–25 тыс. л. н. орудий на отщепах и специальных заготовках. В Евразийской зоне – на Ближнем Востоке, в Западной и Восточной Европе, на Балканах, в Северной и Центральной Азии в период 80–40 тыс. л. н. развивались индустрии, для которых характерны постепенная стандартизация орудийного набора на пластинчатых заготовках.

Исследования последних десятилетий в Северной Азии позволили получить обширные материалы, свидетельствующие, что переход от среднего к верхнему палеолиту представляет сложную картину автохтонного развития и миграций, эволюционных процессов и интрузивных явлений в развитии материальной культуры и поведенческих характеристик человека в контексте взаимодействия различных популяций рода *Homo*.

Территория Северной Азии в силу своей огромной протяженности делится на несколько регионов, отличающихся своеобразием культурных процессов формирования верхнего палеолита. Среди них Алтай, Прибайкалье, Забайкалье и Монголия, которая географически является частью Центральной Азии, но в культурно-генетическом отношении характеризуется чертами североазиатского верхнего палеолита.

Алтай

Наиболее подробную и содержательную картину перехода к верхнему палеолиту в восточной части Евразии демонстрируют материалы палеолитических стоянок Российского Алтая, расположенных на границе Северной и Центральной Азии. В последние годы на этой территории исследованы многослойные комплексы, которые в совокупности представляют достаточно протяженную во времени стратиграфическую колонку нижнего, среднего и верхнего плейстоцена, отражающую развитие культуры первобытного человека от ранней поры до заключительной стадии палеолита.

Первоначальное заселение территории Алтая человеком произошло не позднее 800 тыс. л. н. (Деревянко, Шуньков, 2005) в результате распространения в Евразии первой волны миграции древних популяций человека из Африки. На наиболее древней стоянке Карама выделено четыре культуросодержащих горизонта. Самый верхний из них ориентировочно датируется около 600 тыс. л. н. Из-за малочисленности населения или в результате ухудшения природно-климатических условий после 600 тыс. л. н. эта территория оставалась незаселенной и только около 300 тыс. л. н. сюда проникла новая волна архантропов с совершенно другой индустрией, чем галечная караминская. Для нее характерны леваллуазский и параллельный принципы расщепления. С этого времени на Алтае прослеживается непрерывное развитие палеолитической культуры, т. е. происходит процесс не только заселения, но и освоения этой территории ранними гоминидами.

В первой половине верхнего плейстоцена развитие среднепалеолитических индустрий проходило в рамках единой культурной традиции, внутри которой до недавнего времени выделялись два основных технических варианта – денисовский и карабомовский (Деревянко, Шуньков, 2002). Главные особенности индустрий денисовского варианта выражены в наличии признаков использования преимущественно параллельного и радиального расщепления, в преобладании среди инвентаря скребел разных модификаций и присутствии относительно небольших, но достаточно выразительных наборов леваллуазских изделий. Несколько иной характер имеют индустрии кара-бомовского варианта. Для первичной обработки камня в них использовалось главным образом леваллуазское расщепление, в основном техника пластинчатого скола. Типологический облик инвентаря определяли леваллуазские формы, которые сочетались с орудиями зубчато-выемчатой и верхнепалеолитической групп.

Не имея серьезных оснований связывать эти технические варианты с обособленными группами первобытного населения – носителями самостоятельных культурных традиций, можно предположить, что индустриальные различия отражали скорее всего разные сочетания природно-климатических, производственно-хозяйственных, геолого-петрографических и других факторов. Вывод о развитии алтайских индустрий в пределах единого культурного поля косвенно подтверждается данными о том, что каждый из двух вариантов ранней поры верхнего палеолита не обязательно напрямую был связан с более близким ему вариантом среднепалеолитической технологии. Например, если каменные индустрии нижних культурных слоев стоянок Усть-Каракол и Ануй-3 принадлежали кара-бомовскому варианту среднего палеолита, то на раннем этапе верхнего палеолита эти индустриальные цепочки должны были логично продолжить кара-бомовскую техническую традицию, однако этого не произошло, и дальнейшее развитие технологического процесса на этих многослойных стоянках пошло по усть-каракольской линии. Такие изменения возможны только в рамках единой системы культурного развития.

В палеолите Алтая особняком длительное время оставалась индустрия пещеры Окладникова (Деревянко, Маркин, 1992). Технико-типологический комплекс, полученный при раскопках этой пещеры, существенно отличается от других известных палеолитических индустрий Алтая: он более мустьероидный, с большим количеством конвергентных скребел типа déjeté. Судя по результатам радиоизотопного датирования, возраст культуросодержащих слоев находится в хронологических рамках 44–33 тыс. лет. В это время на территории Алтая уже распространилась верхнепалеолитическая культура, а в пещере Окладникова доминировала среднепалеолитическая с небольшим процентом верхнепалеолитических орудий. Изучение митохондриальной ДНК костных останков человека из пещеры Окладникова показало, что они принадлежат неандертальцам (Krause et al., 2007). Недавнее открытие на Алтае Чагырской пещеры с технико-типологическим комплексом такого же типа позволило выделить особую среднепалеолитическую индустрию – сибирячихинскую – и соотнести ее с неандертальцами (Деревянко, Маркин, Зыкин, 2009). По всей видимости, около 50 тыс. л. н. на территорию Алтая проникла небольшая по численности популяция неандертальцев с мустьероидной индустрией. Несмотря на достаточно хорошую изученность этой территории, пока известны только два местонахождения – пещеры Окладникова и Чагырская, где выявлены культуросодержащие горизонты с сибирячихинской мустьероидной индустрией. Неандертальцы пришли, видимо, с юга, с территории Средней Азии, где известны мустьерские местонахождения типа пещеры Тешик-Таш. Пришлая популяция могла быть ассимилирована автохтонным населением или была уничтожена в случае антагонистических взаимоотношений между ними.

Материалы многослойных комплексов свидетельствуют о том, что в период от 50 до 40 тыс. лет на Алтае в ходе последовательной трансформации среднепалеолитических культурных традиций формировались индустрии ранней поры верхнего палеолита. Для индустриальных комплексов этой эпохи, несмотря на ряд общих технологических признаков, характерны индивидуальные черты, которые позволяют выделить две самостоятель-

ные линии развития – усть-каракольскую и карабомовскую (Деревянко, Шуньков, 2004).

Усть-каракольский вариант развития объединяет индустрии Усть-Каракола, Денисовой пещеры, Ануя-3, Тюмечина-4 и, видимо, Ушлепа-6 и пещеры Страшная. В системе первичного расщепления в этих индустриях вместе с техникой параллельной редукции леваллуазских и простых площадочных нуклеусов начинают широко использоваться приемы серийного снятия удлиненных заготовок с призматических, конусовидных и торцовых нуклеусов, в том числе клиновидной формы. Прямым следствием прогрессивных технологических процессов явилось зарождение техники микропластинчатого расщепления, применявшейся как для получения собственно микропластин, так и для подготовки специальных форм верхнепалеолитических орудий.

В типологических списках этих индустрий заметную роль играют скребла, в основном продольных вариантов, и зубчато-выемчатые орудия. В небольших количествах присутствуют изделия леваллуа. Самую выразительную часть орудийного набора образуют изделия верхнепалеолитических типов. Среди них наиболее показательны т. н. ориньякские формы – концевые скребки на пластинах; скребки высокой формы, образованные микропластинчатыми снятиями; срединные резцы, в том числе многофасеточные; крупные пластины с регулярной ретушью по продольному краю, а также микропластины с притупленным краем. Характерным элементом этих индустрий являются орудия со следами двусторонней обработки, в первую очередь выразительные бифасы листовидной формы. Важно отметить присутствие в ранней верхнепалеолитической коллекции Денисовой пещеры орудий и украшений из кости, которые практически полностью повторяют традиционный набор ориньякских изделий из классических комплексов Западной Европы и Ближнего Востока, – подвески из зубов животных, костяные пронизки с симметричными рядами глубоких широких нарезок, раковины моллюсков с искусственным отверстием, а также подвески из мягкого поделочного камня. На сегодняшний день набор индивидуальных украшений из Денисовой пещеры является наиболее представительным и древним в палеолите Северной Азии.

Кара-бомовский вариант развития ранней верхнепалеолитической традиции представлен индустриями Кара-Бома, Кара-Тенеша и Малояломанской пещеры (Деревянко, Петрин, Рыбин, 2000). Они несут отчетливо выраженный пластинчатый характер. Большинство нуклеусов имеет параллельные грани и предназначено для получения удлиненных сколов. Сохраняют свою роль отдельные элементы техники леваллуа. Вместе с тем отмечены признаки использования новых технических приемов, характерных для скалывания микропластин, в том числе с торцовых разновидностей нуклеусов. Основным продуктом расщепления являются крупные пластины. В орудийном наборе заметное место занимают зубчато-выемчатые формы. Однако ведущими в составе инвентаря являются орудия верхнепалеолитической группы, оформленные главным образом на крупных пластинчатых заготовках: концевые скребки, срединные резцы, ножи с ретушированным обушком, удлиненные остроконечники с вентральным уплощением основания и пластины с ретушью продольных краев. В этих индустриях отмечены также отдельные ориньякские элементы, единичные образцы бифасиальных изделий и личных украшений, однако они встречаются эпизодически и не образуют устойчивых технико-типологических сочетаний. В целом облик карабомовского индустриального варианта определяется прежде всего серийным производством крупных пластин и на их основе орудий.

Определенные изменения происходили и в системах мобильности, способах организации пространства стоянок и символической деятельности человека (Деревянко, Рыбин, 2003). Хотя имеющиеся данные не позволяют проследить более тонкие изменения, такие как эволюция общественной организации коллективов, однако появление персональных украшений позволяет предположить значительные изменения в социальной сфере. Ярким подтверждением того, что у населения Алтая 50–40 тыс. л. н. были поведенческие модели, характерные для человека современного анатомического типа, являются костяная индустрия (иглы, шилья) и предметы неутилитарного назначения (см. вклейку: с. 44, ил. 1, 2) из кости, камня, раковин (бусы, подвески и т. д.). Уникальными находками в Денисовой пещере оказались кольцо и браслет из камня (см. вклейку: с. 44, ил. 3), при оформлении которых использовались внутренняя расточка, сверление, пиление, шлифование и полировка (Деревянко, Шуньков, Волков, 2008). Заметно расширились в это время территориальные связи первобытных коллективов, о чем свидетельствуют примеры импорта каменного сырья на расстояние более 200 км, а скорлупы яиц страуса, найденной в отложениях Денисовой пещеры, – более 1000 км.

Таким образом, благодаря широкому временному охвату и большому объему фактического материала культурно-хронологическая последовательность алтайского палеолита может рассматриваться в качестве базовой модели перехода к верхнему палеолиту в восточных районах первобытной ойкумены.

В этой связи особый интерес вызывает проблема антропологической принадлежности носителей этих культурных традиций. Учеными Института

археологии и этнографии СО РАН совместно с палеогенетиками Института эволюционной антропологии им. Макса Планка (г. Лейпциг) получены данные, позволяющие предположить существование ранее неизвестной группы гоминидов (Krause et al., 2010; Reich et al., 2010). Антропологические остатки, найденные в культурном слое начальной стадии верхнего палеолита в Денисовой пещере, принадлежали гоминиду, существенно отличавшемуся по типу митохондриальной и ядерной ДНК как от человека разумного *Homo sapiens*, так и от неандертальца *Homo neandertalensis*.

Анализ секвенированного генома ископаемого человека из Денисовой пещеры показал его принадлежность группе гоминидов, имеющей общего предка с неандертальцами, но разную историю развития популяции – их эволюционное расхождение произошло около 640 тыс. л. н. Вместе с тем установлено, что отделение этой популяции от линии развития человека современного анатомического типа произошло около 1 млн л. н. Новая популяция гоминидов обозначена как «денисовцы», которая, возможно, была широко распространена в восточной части Азии в период верхнего плейстоцена. Эта популяция не участвовала в предполагаемом дрейфе генов от неандертальцев к евразийцам, который составил 1–4 %. Однако данные показывают, что она оставила 4–6 % своего генетического материала в геномах современных меланезийцев.

Полученные результаты показывают, что на континенте Евразия в период верхнего плейстоцена вместе с человеком современного физического типа существовало еще как минимум две формы гоминидов: форма Западной Евразии, где на основании широко известных морфологических признаков она обозначается как неандертальская, и восточная форма, к которой относятся денисовцы. Совокупность археологических данных – наборы каменных и костяных орудий, предметы символической деятельности, способы и приемы жизнеобеспечения – свидетельствует о том, что для денисовцев характерно поведение человека современного физического облика.

Прибайкалье

На территории Прибайкалья одним из бесспорных стратифицированных объектов древнейшего этапа верхнего палеолита является стоянка Макарово-4, расположенная в долине верхнего течения Лены. Возраст культуросодержащих отложений стоянки по результатам AMS-датирования определен более 38 тыс. лет (Goebel, Aksenov, 1995). Однако с учетом особенностей геологической позиции и степени эоловой корразии находок для макаровских артефактов был предложен более ранний возраст – древнее нижней хронологической границы изотопной стадии 3 (Медведев, 2001). Для этой индустрии характерно главным образом параллельное и субпараллельное расщепление, направленное на серийное получение пластин с плоских монофронтальных нуклеусов. Среди заготовок выделяются небольшие и средние по размерам удлиненные сколы с параллельными гранями на дорсальной поверхности. Удлиненные сколы служили основой для изготовления продольных разновидностей скребел, концевых скребков, поперечных резцов, ножей и проколок. Достаточно представительную группу образуют пластины, ретушированные по одному из продольных краев. Особо выразительна в составе орудий серия листовидных остроконечников на удлиненных сколах средних размеров с бифасиально уплощенным основанием (Аксенов, Шуньков, 1978; Аксенов, 1987). Напомним, что специальное утончение основания являлось характерным техническим приемом оформления остроконечников в индустриях кара-бомовского типа (Рыбин, 2000).

В Прибайкальском регионе к начальной стадии верхнего палеолита, возможно, относятся также скопления расщепленного камня на местонахождении Арембовского, зафиксированные в каргинских отложениях высокой террасы Ангары (Воробьева, Семин, 1990). Это местонахождение является скорее всего специализированной палеолитической мастерской, расположенной недалеко от выходов аргиллита. Материалы местонахождения представлены в основном продуктами первичного расщепления плиток аргиллита, среди которых устойчивые группы образуют плоские удлиненные нуклеусы и заготовки-пластины. Типологически выраженный инвентарь включает небольшие наборы концевых скребков, скребел и остроконечников, оформленных на удлиненных сколах, а также серию ретушированных пластин.

Забайкалье

Все известные в Забайкалье среднепалеолитические индустрии характеризуются неупорядоченным ситуационным раскалыванием, нацеленным на производство аморфных отщепов. Орудийный набор представлен отщепами с нерегулярной ретушью, зубчато-выемчатыми орудиями и скреблами. Наиболее изученные стоянки финала среднего палеолита дислоцируются в долине р. Оны в двух районах. Первый связан с горой Хэнгэрэктэ, на склонах которой в большом количестве имеется материал хорошего качества, служивший исходным сырьем для изготовления орудий. В этом районе выявлено семь стоянок, объединенных в три местонахождения: Хэнгэр-Тын Скальная, Хэнгэр-Тын-2 и Барун-Алан. Все они с поверхностным залегани-

ем палеолитических находок. Большинство стоянок следует отнести к мастерским (Ташак, 2005). Первичное расщепление на этих местонахождениях представлено в основном леваллуазскими нуклеусами для снятия пластин и отщепов. В меньшей мере использовался радиальный принцип скалывания. В орудийном наборе наиболее многочисленны скребла различных модификаций: продольные и поперечные, обработанные краевой дорсальной и вентральной средне- и крупнофасеточной ретушью; поперечные, оформленные на длинном дистальном конце широких и коротких отщепов; с прямым лезвием. Обнаружены также рубящие орудия, в т. ч. типа чоппингов. Значительная часть артефактов имеет среднедефлированную поверхность.

На расстоянии около 20 км от стоянок в районе горы Хэнгэрэктэ, на левом берегу р. Оны исследуется местонахождение Хотык со сложной стратиграфией. Выделено десять стратиграфических подразделений и шесть разновременных уровней залегания артефактов (Лбова и др., 2003 а). В этой индустрии преобладают нуклеусы ортогональной и дисковидной формы. Орудия труда включают скребла, зубчато-выемчатые и клювовидные изделия, а также отщепы с ретушью.

Наиболее близкими в хронологическом и техническом отношениях к алтайской ранней верхнепалеолитической пластинчатой традиции в Забайкалье являются материалы стоянок Толбага (слой 4), Варварина Гора (слой 3), Каменка (комплекс А), Хотык (уровень 3) и Подзвонкая (Константинов, 1994; Лбова, 2002; Ташак, 2002 а). Геологически стоянки приурочены к пролювиально-делювиальным отложениям древних конусов выноса или склоновых шлейфов террасоувалов. Согласно стратиграфической позиции в разрезах и данным радиоуглеродного датирования, формирование этих отложений происходило в каргинское время, а самые ранние даты установлены для нижнего культурного комплекса стоянки Подзвонкая – 43 900 ± 960 лет (Ташак, 2002 а) и для комплекса А стоянки Каменка – 40 500 ± 3 800 л. н. (Лбова, 2002). На местонахождениях ранней поры верхнего палеолита Забайкалья в первичном расщеплении сохраняются реликтовые формы – радиальные, ортогональные и леваллуазские нуклеусы. Но их количество незначительно и присутствуют они не на всех местонахождениях. Технологической основой забайкальских индустрий служили приемы параллельного скалывания с нуклеусов уплощенной и подпризматической формы, включавшие элементы торцовых снятий. Система параллельного расщепления обеспечивала широкий выбор пластин в качестве заготовок орудий. На удлиненных сколах крупных и средних размеров оформлено подавляющее большинство орудий. В их составе серийно представлены остроконечники и резцы, концевые скребки и проколки, долотовидные изделия и ретушированные пластины. Характерным компонентом этих комплексов являются наборы т. н. предметов неутилитарного назначения, включающие подвески, бусины и пронизки, изготовленные из трубчатых костей птиц, скорлупы яиц страуса и мягкого поделочного камня (Лбова и др., 2003 б; Ташак, 2002 б). Следует отметить также уникальное скульптурное изображение головы медведя, вырезанное палеолитическими обитателями Толбаги из зубовидного отростка шейного позвонка шерстистого носорога (Константинов и др., 1983). Интересно, что некоторые поделки, как и персональные украшения кара-бомовского круга, были обнаружены в сходном планиграфическом контексте возле очагов или других хозяйственно-бытовых объектов.

Забайкалье, являясь одной из наиболее удаленных на восток Евразии областей распространения пластинчатых культур начала верхнего палеолита, представляет значительный интерес для реконструкции характера первых верхнепалеолитических адаптаций к палеогеографическим условиям контактной зоны крупных природно-ландшафтных областей Северной и Центральной Азии (Рыбин, Лбова, Клементьев, 2005).

Существование в Забайкалье индустрий, основанных на импортном сырье (Каменка А является примером комплекса, каменные артефакты которого изготавливались из сырья, принесенного с расстояния около 80 км), свидетельствует о значительном размере освоенных территорий. Возможно, подобный феномен основан на приспособлении гоминидов к более открытым остепненным аридным ландшафтам. Забайкальские комплексы позволяют предположить существование специализации систем поселений, в число которых входят как сезонные охотничьи лагеря, так и большие базовые поселения с четко выраженными поселенческими структурами (Подзвонкая, Хотык, Толбага, Каменка А). Это может объясняться ответом мигрирующих популяций на более суровые и менее предсказуемые условия окружающей среды, требующие больших усилий по обеспечению жизнедеятельности.

Монголия

Ранние верхнепалеолитические комплексы Монголии обнаруживают достаточно близкое сходство с материалами кара-бомовской традиции. Важное место среди них занимает пещера Цаган Агуй в Гобийском Алтае, в плейстоценовой толще которой зафиксирована стратиграфическая последовательность генетически связанных материалов раннего, среднего и верхнего палеолита (Деревянко и др., 2000). Ранняя верхнепалеолитическая индустрия

Цаган Агуя (Большой грот, слой 3) датирована AMS-методом в диапазоне 33–30 тыс. л. н. Для нее характерно устойчивое развитие техники параллельного расщепления с нуклеусов леваллуазских, протопризматических и торцовых форм, ориентированной на скалывание пластин и удлиненных конвергентных заготовок.

Переход от среднего к верхнему палеолиту хорошо прослеживается в культуросодержащих горизонтах стратифицированных памятников в бассейне р. Селенга. Стоянки Орхон-1 и 7 расположены на второй террасе р. Орхон (Деревянко, Кандыба, Петрин, 2010). Наиболее древний культуросодержащий горизонт, относящийся к финалу среднего палеолита (^{14}C-даты: 45 100 ± 1700; 59 500; 62 500 ± 4500 л. н.), обнаружен на местонахождении Орхон-7. Он залегал в пойменной фации аллювия. Первичное расщепление характеризуется в основном одно- и двуплощадочными монофронтальными нуклеусами; представлены также ортогональные, радиальные, леваллуазские и торцовые формы. Почти все нуклеусы предназначены для получения коротких и укороченных отщепов. Только на торцовых формах имеются негативы пластинчатых снятий. Для орудийного набора характерны скребла с вогнутым и прямым лезвием, боковые и угловые скребки, зубчато-выемчатые орудия.

Начальный этап верхнего палеолита, согласно стратиграфической позиции и радиоуглеродным датам (40 000 ± 700 и 40 500 л. н.), представляют материалы культуросодержащего горизонта 3 в раскопах 1 и 2 стоянки Орхон-1, а также горизонт 6 в раскопе 1 и горизонт 4 в раскопе 2 стоянки Орхон-7. Третий культуросодержащий горизонт залегает в покровных отложениях, перекрывающих осадки пойменного аллювия. Первичная обработка камня в этой индустрии связана с призматическим, леваллуазским и торцовым расщеплением. Леваллуазские ядрища имеют скошенные, слегка выпуклые ударные площадки, оформленные многочисленными мелкими снятиями. Призматические ядрища имеют выпуклый фронт для снятия пластинчатых сколов. Среди орудий представлены одинарные и двойные скребла с прямым, вогнутым и выпуклым лезвием, скребки с прямым и скошенным лезвием; зубчато-выемчатые, выемчатые и шиповидные изделия, ножи, пластинчатые сколы с ретушью.

Археологические материалы из вышележащих слоев Орхона-1 и 7 отражают следующий этап в развитии ранних верхнепалеолитических индустрий, который датируется в диапазоне 39–38 тыс. лет. В индустриях этого периода преобладают одноплощадочные монофронтальные нуклеусы для продольного и поперечного снятия пластинчатых сколов и отщепов. В орудийном наборе возросло число зубчато-выемчатых и бифасиально обработанных изделий, но уменьшилось количество скребел, среди которых преобладали изделия с прямым лезвием. В коллекции представлены скребки, преимущественно боковые, угловые и концевые, а также шиповидные и комбинированные орудия.

В долине нижнего течения р. Толбор, правого притока Селенги, исследуется комплекс хорошо стратифицированных палеолитических памятников. Наиболее информативной и изученной является стоянка Толбор-4, материалы которой позволяют проследить развитие индустрий на раннем и среднем этапах верхнего палеолита. Индустрии из культуросодержащих горизонтов 1–3 объединены в технико-типологический комплекс, отражающий средний этап верхнего палеолита, а индустрии из горизонтов 4–6 относятся к ранней стадии верхнего палеолита (Деревянко и др., 2006). Из нижнего горизонта 6 по кости получена дата 37 400 ± 2600 л. н., а горизонт 5 датирован по костяному шилу – более 41 050 л. н. Анализ технологии расщепления позволил установить вверх по разрезу, от нижнего слоя до горизонта 4, уменьшение размеров нуклеусов и сколов. Вместе с тем в индустриях всех горизонтов прослеживается тенденция производства пластин как ведущего типа заготовок для изготовления орудий, хотя удельный вес отщепов среди продуктов расщепления достаточно велик.

Типологический состав орудийного набора в нижних горизонтах примерно одинаков как по основным категориям, так и по «редким» типам орудий. Характер и специфика вторичной обработки также сходны. Типологический облик инвентаря определяют три основных компонента – скребки (концевые, угловые, с «носиком», высокой формы), шиповидные орудия и зубчато-выемчатые изделия. Среднепалеолитический компонент представлен невыразительными малочисленными скреблами, удельный вес которых несколько возрастает вверх по разрезу (Деревянко и др., 2007).

На многослойной стоянке Толбор-15 к начальной стадии верхнего палеолита относятся нижние археологические горизонты 6 и 7. Для этого комплекса по скорлупе яйца страуса получена AMS-дата 29 150 ± 320 л. н. Индустрии характеризуются параллельным расщеплением, направленным на получение крупных пластин с плоских нуклеусов. В вышележащем горизонте 5, датированном возрастом 28 460 ± 310 л. н., обнаружены клиновидные микронуклеусы, утилизируемые отжимной техникой. На сегодняшний день это самые древние клиновидные микронуклеусы с отжимным расщеплением, известные на территории Монголии (Гладышев и др., 2010).

Формирование индустрий раннего этапа верхнего палеолита на севере Монголии происходило, как

и на Алтае, на местной основе, на базе одного более древнего среднепалеолитического технокомплекса. В Монголии значительно меньше стратифицированных объектов финального этапа среднего палеолита, чем на территории Алтая, поэтому менее четко прослеживается преемственность между средним и верхним палеолитом.

Заключение

Согласно современным данным, наиболее наглядно процесс перехода от среднего к верхнему палеолиту в Северной Азии иллюстрируют материалы многослойных комплексов Алтая. Алтайский вариант перехода к верхнему палеолиту хронологически и содержательно особенно близок к ближневосточному евразийской модели. Это можно объяснить тем, что евразийская модель в целом формировалась на индустриальной основе, характерной для первобытных популяций второго глобального миграционного потока (Деревянко, 2009). Достигшая Алтая группа мигрантов не встретила здесь более древнего населения; это было второе «первичное» заселение территории. В последующем палеолитические индустрии развивались на Алтае в основном независимо от других культур на фоне благоприятных природных условий.

Палеолитические индустрии Алтая (300–20 тыс. л. н.) относятся к наиболее хорошо изученным в Евразии. Стратегия палеолитоведения в ИАЭТ СО РАН в последние десятилетия строилась таким образом, чтобы главное внимание сосредоточить на изучении палеолитических комплексов в долинах рек Ануй и Урсул, находящихся на небольшом расстоянии друг от друга. В этом районе несколькими экспедициями одновременно исследовались шесть стоянок в пещерах и около десяти открытого типа. Все палеолитические местонахождения удалены от Денисовой пещеры не более чем на 100 км. Отложения большинства из них включают 20 и более литологических образований, как правило, культуросодержащих. В полевых и лабораторных исследованиях принимают участие археологи, геологи, геоморфологи, палеонтологи, антропологи, геохронологи, палеопедологи ИАЭТ СО РАН, других научных центров и вузов Новосибирска, Москвы и Санкт-Петербурга, а также зарубежные ученые.

Многослойная стратиграфия стоянок наиболее полно отражает процессы осадконакопления. Изучение ископаемых объектов из вмещающих пород позволяет реконструировать палеоклиматическую, палеогеографическую обстановку, состав растительных ассоциаций и животный мир во второй половине среднего – верхнем плейстоцене. Индустрии, включенные в разновозрастные литологические слои, отражают развитие культуры человека за последние 300 тыс. лет.

Индустрии среднего палеолита на территории Алтая характеризуются поразительной гомогенностью. Это не означает, что они не развивалась. Изменения имели место и были обусловлены определенными причинами. Например, стоянки, относящиеся к 70–60 тыс. л. н., отличаются от более ранних большей долей зубчатых, выемчатых и близких к ним форм. Согласно палинологическим данным, в это время увеличилось количество темнохвойных пород. Более широкое распространение зубчатых и выемчатых орудий свидетельствует об адаптации человека к меняющимся экологическим условиям, переходе к более активному использованию в хозяйстве изделий из дерева. С этих позиций следует рассматривать и появление на стоянках Усть-Каракол и Ануй-3 бифасиальных изделий.

На финальном этапе среднего палеолита (60–50 тыс. л. н.) в индустриях Алтая наметились две линии развития – кара-бомовская и усть-каракольская. Одной из причин такого разделения могло быть формирование разных адаптивных стратегий. Стоянка Кара-Бом расположена на абсолютной высоте – 1100 м, а Усть-Каракол и Денисова пещера – 680 м. Несомненно одно: обе эти традиции вызревали в процессе эволюции единой среднепалеолитической культуры. На их основе 50–40 тыс. л. н. сформировались два варианта ранних верхнепалеолитических индустрий. Уникальность многослойных палеолитических стоянок Алтая, находящихся на сравнительно небольшом расстоянии друг от друга, состоит в том, что они позволяют проследить эволюцию от среднепалеолитических к верхнепалеолитическим индустриям. Появление кареноидных и некоторых других ориньякоидных форм в усть-каракольском варианте не результат миграций, а следствие эволюции местной индустрии, и это явление конвергентного порядка.

Около 50 тыс. л. н. в алтайских индустриях появились подпризматические нуклеусы, отжимное расщепление (мягкий отбойник применялся и в более раннее время), кареноидные формы, скребки различных модификаций, резцы и многие другие элементы верхнепалеолитической культуры, истоки которых хорошо прослеживаются на финальном этапе среднего палеолита. Важной особенностью этих индустрий является присутствие многочисленных костяных орудий и украшений из кости, бивня мамонта, зубов животных, скорлупы яиц страуса, раковин моллюсков и поделочного камня.

Около 45 тыс. л. н. на Алтае появилась сибирячихинская индустрия мустьерского типа, принадлежавшая представителям неандерталоидного таксономического типа. Появление нового населения с совершенно другой индустрией контрастно

выделяется на всем историко-культурном фоне палеолита Алтая. Видимо, эта небольшая по численности популяция была вытеснена человеком современного физического типа из Средней Азии (Узбекистан, пещера Тешик-Таш). Она недолго просуществовала на территории Алтая, либо пришельцы были ассимилированы местным населением, либо вымерли.

На основе археологических материалов из пещер и стоянок открытого типа на Алтае можно сделать вывод, что на этой территории начиная с 300 тыс. л. н. палеолитические традиции развивались без заметного влияния извне. В результате эволюционного развития 50–40 тыс. л. н. сформировались черты, присущие верхнепалеолитической эпохе. Особая важность изучения палеолита Алтая определяется тем, что в этом регионе человеком второй миграционной волны с позднеашельской индустрией был сформирован особый ареал культурно-исторического развития. То, что индустрии развивались при минимальном влиянии извне, свидетельствует скорее всего о мультирегиональной эволюции человека. Следовательно, миграции людей современного анатомического типа из Африки на эту территорию, так же как в Восточную и Юго-Восточную Азию, не было. Таким образом, денисовский человек и его материальная культура развивались на юге Сибири конвергентно. Денисовцы оставили 4–6 % своего генетического материала в геноме современных меланезийцев, поэтому их нельзя относить к тупиковой ветви в эволюции человека.

Список литературы

Аксенов М. П. Инвентарный комплекс Макарово-IV // Проблемы антропологии и археологии каменного века Евразии. Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та, 1987. С. 23–25.

Аксенов М. П., Шуньков М. В. Новое в палеолите Верхней Лены // Древняя история народов юга Восточной Сибири. Иркутск: Изд-во Иркут. гос. ун-та, 1978. Вып. 4. С. 31–55.

Воробьева Г. А., Семин М. Ю. Стоянка Арембовского // Стратиграфия, палеогеография и археология юга Средней Сибири. Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та, 1990. С. 67–71.

Гладышев С. А., Олсен Д., Табарев А. В., Кузьмин Я. В. Хронология и периодизация верхнепалеолитических памятников Монголии // Археология, этнография и антропология Евразии. 2010. № 3. С. 35–42.

Деревянко А. П. Переход от среднего к верхнему палеолиту и проблема формирования *Homo sapiens sapiens* в Восточной, Центральной и Северной Азии. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2009. 328 с.

Деревянко А. П. Верхний палеолит в Африке и Евразии и формирование человека современного анатомического типа. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2011. 560 с.

Деревянко А. П., Зенин А. Н., Рыбин Е. П., Гладышев С. А., Цыбанков А. А. Развитие каменных индустрий верхнего палеолита Северной Монголии (по данным стоянки Толбор) // Человек и пространство в культурах каменного века Евразии. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2006. С. 17–42.

Деревянко А. П., Зенин А. Н., Рыбин Е. П., Гладышев С. А., Цыбанков А. А., Олсен Д., Цэвээндорж Д., Гунчинсурен Б. Технология расщепления камня на раннем этапе верхнего палеолита Северной Монголии // Археология, этнография и антропология Евразии. 2007. № 1. С. 16–38.

Деревянко А. П., Кандыба А. В., Петрин В. Т. Палеолит Орхона. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2010. 384 с.

Деревянко А. П., Маркин С. В. Мустье Горного Алтая. Новосибирск: Наука, 1992. 223 с.

Деревянко А. П., Маркин С. В., Зыкин В. С. Новый объект среднего палеолита на Алтае // Древнейшие миграции человека в Евразии. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2009. С. 101–106.

Деревянко А. П., Олсен Д., Цэвээндорж Д. Петрин В. П., Кривошапкин А. И., Гунчинсурэн Б. Многослойная пещерная стоянка Цаган-Агуй в Гобийском Алтае (Монголия) // Археология, этнография и антропология Евразии. 2000. № 1. С. 23–36.

Деревянко А. П., Рыбин Е. П. Древнейшее проявление символической деятельности палеолитического человека на Горном Алтае // Археология, этнография и антропология Евразии. 2003. № 3. С. 27–50.

Деревянко А. П., Петрин В. Т., Рыбин Е. П. Характер перехода от мустье к позднему палеолиту на Алтае (по материалам стоянки Кара-Бом) // Археология, этнография и антропология Евразии.

Деревянко А. П., Шуньков М. В. Индустрии с листовидными бифасами в среднем палеолите Горного Алтая // Археология, этнография и антропология Евразии. 2002. № 1. С. 16–42.

Деревянко А. П., Шуньков М. В. Становление верхнепалеолитических традиций на Алтае // Археология, этнография и антропология Евразии. 2004. № 3. С. 12–40.

Деревянко А. П., Шуньков М. В. Раннепалеолитическая стоянка Карама на Алтае: первые результаты исследований // Археология, этнография и антропология Евразии. 2005. № 3. С. 52–69.

Деревянко А. П., Шуньков М. В., Волков П. В. Палеолитический браслет из Денисовой пещеры // Археология, этнография и антропология Евразии. 2008. № 2. С. 13–25.

Константинов М. В. Каменный век восточного региона Байкальской Азии. Улан-Удэ; Чита: Изд-во Ин-та общественных наук БНЦ СО РАН; Чит. пед. ин-т, 1994. 264 с.

Константинов М. В., Сумароков В. Б., Филиппов А. К., Ермолова Н. М. Древнейшая скульптура Сибири // КСИА. 1983. № 173. С. 78–81.

Лбова Л. В. К проблеме перехода от среднего к верхнему палеолиту (материалы Западного Забайкалья) // Археология, этнография и антропология Евразии. 2002. № 1. С. 59–75.

Лбова Л. В., Волков П. В., Базаров Б. А., Намсараев Д. В. Геоархеологические комплексы эпохи палеолита Западного Забайкалья // Природная среда и человек в неоплейстоцене. Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2003 а. С. 30–61.

Лбова Л. В., Резанов И. Н., Калмыков Н. П., Коломиец Л. В., Дергачева М. И., Феденева И. К., Вашукевич Н. В., Волков П. В., Савинова В. В., Базаров Б. А., Намсараев Д. В. Природная среда и человек в неоплейстоцене (Западное Забайкалье и Юго-Восточное Прибайкалье). Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2003 б. 208 с.

Медведев Г. И. О геостратиграфии ансамблей эолово-коррадированных артефактов Байкальской Сибири // Современные проблемы евразийского палеолитоведения. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2001. С. 267–272.

Рыбин Е. П. К вопросу о «руководящих ископаемых» в индустриальных комплексах ранней поры верхнего палеолита Горного Алтая // Палеогеография каменного века. Корреляция природных событий и археологических культур палеолита Северной Азии и сопредельных территорий. Красноярск: РИО КГПУ, 2000. С. 123–126.

Рыбин Е. П., Лбова Л. В., Клементьев А. М. Орудийный набор и поселенческая специфика комплексов ранней поры верхнего палеолита Западного Забайкалья // Палеолитические культуры Забайкалья и Монголии (новые памятники, методы, гипотезы). Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2005. С. 69–80.

Ташак В. И. Подзвонкая: Палеолитические материалы Нижнего комплекса (Республика Бурятия) // Археология и культурная антропология Дальнего Востока и Центральной Азии. Владивосток: Изд-во ДВО РАН, 2002 а. С. 25–33.

Ташак В. И. Обработка скорлупы яиц страусов в верхнем палеолите Забайкалья // История и культура Востока Азии. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН. 2002 б. Т. 2. С. 159–164.

Ташак В. И. Вариант развития среднепалеолитических индустрий Западного Забайкалья // Переход от среднего к позднему палеолиту в Евразии: Гипотезы и факты. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2005. С. 393–404.

Goebel T., Aksenov M. Accelerator radiocarbon dating of the initial Upper Paleolithic in Southeast Siberia // Antiquity. 1995. Vol. 69. № 263. P. 349–357.

Krause J., Fu Q., Good J., Viola B., Shunkov M. V., Derevianko A. P., Pääbo S. The complete mitochondrial DNA genome of an unknown hominin from southern Siberia // Nature. 2010. Vol. 464. P. 894–897.

Krause J., Orlando L., Serre D., Viola B., Prüfer K., Richards M. P., Hublin J. J., Hänni C., Derevianko A. P., Pääbo S. Neanderthals in Central Asia and Siberia // Nature. 2007. Vol. 449. P. 902–904.

Reich D., Green R. E., Kircher M., Krause J., Patterson N., Durand E. Y., Viola B., Briggs A. W., Stenzel U., Johnson P. L. F., Maricic T., Good J. M., Marques-Bonet T., Alkan C., Fu Q., Mallick S., Li H., Meyer M., Eichler E. E., Stoneking M., Richards M., Talamo S., Shunkov M. V., Derevianko A. P., Hublin J.-J., Kelso J., Slatkin M., Pääbo S. Genetic history of an archaic hominin group from Denisova Cave in Siberia // Nature. 2010. Vol. 468. No 7327. P. 1053–1060.

А. Н. Зенин, В. Н. Зенин, Н. А. Кулик

ФЕНОМЕН БИФАСИАЛЬНЫХ ИНДУСТРИЙ РАННЕГО И СРЕДНЕГО ПАЛЕОЛИТА КАСПИЙСКО-АРАЛЬСКОГО РЕГИОНА

Определение основных путей и этапов заселения древними гоминидами Евразии – одно из наиболее актуальных направлений в археологии палеолита. Важнейшим аспектом изучения данной проблемы является рассмотрение вопросов, связанных с проникновением носителей леваллуа-ашельских традиций на территорию Центральной Азии. Один из миграционных маршрутов пролегал, вероятно, через территорию Каспийско-Аральского региона.

Процесс первоначального заселения Евразии берет начало примерно 2 млн л. н. На пути из Африки через Ближний Восток и Аравию древнейшие популяции проникли на Кавказ, в Центральную (Среднюю) Азию, Индостан и Юго-Восточную Азию. Наиболее ранние стратифицированные местонахождения палеолитического инвентаря на Кавказе (Дманиси, Азых, Рубас 1, Айникаб, Мухкай, Богатыри, Родники и др.) принадлежат эпохе Матуяма (Lumley et al., 2005; Гусейнов, 1985; Деревянко и др., 2009; Амирханов, 2007; Щелинский, Кулаков, 2009). В Центральной Азии древнейший стратифицированный палеолитический комплекс выявлен В. А. Рановым на местонахождении Кульдара в Таджикистане, возраст которого оценивается около 0,9 млн л. н. (Ранов, Шеффер, 2000; Додонов, 2002). Редкие артефакты выявлены в эоплейстоценовых/ранненеоплейстоценовых конгломератах высокой террасы р. Арыстанды на юге Казахстана (Медоев, 1982; Додонов, 2002).

Судя по имеющимся оценкам возраста стратифицированных местонахождений, проникновение древних популяций на Кавказ произошло раньше,

чем в Центральную Азию. Если Кавказ заселялся скорее всего с Ближнего Востока (Деревянко, 2009), то в вопросе путей заселения Центральной Азии много неясного. Возможно, древние миграции осуществлялись с юга (Иран, Афганистан, Пакистан), но нельзя исключать и возможность проникновения носителей галечных и ашельских индустрий с Кавказа.

Первое появление индустрий с ручными рубилами фиксируется на Африканском континенте примерно 1,7–1,5 млн л. н. и знаменует начало длительной (более 1 млн лет) ашельской эпохи. В последующее время индустрии с бифасами распространяются на Ближний Восток (1,4–0,9 млн л. н.) и далее – в Индию (0,67 млн л. н.), на Кавказ (~ 0,7–0,5 млн л. н.) и в Европу (~ 0,6–0,45 млн л. н.) (Mishra S. et al., 1995; Деревянко, 2009). По мнению А. П. Деревянко (Деревянко, 2009), миграционное продвижение носителей ашельской индустрии с Ближнего Востока на восток Евразии началось не позднее 450 тыс. л. н.

Проявлением этой глобальной миграционной волны следует, видимо, считать и многочисленные местонахождения с морфологически выраженным ашельским инвентарем в Западной Туркмении, Западном и Центральном Казахстане (Любин, 1984; Медоев, 1982; Волошин, 1990). На восточном побережье Каспия комплексы раннего палеолита с бифасами известны на территории полуострова Мангышлак и Красноводском плато. На Мангышлаке А. Г. Медоевым были выделены раннепалеолитические комплексы, в которых леваллуазская технология сочетается с ашельскими типами орудий. Подавляющее большинство местонахождений выявлено в поверхностном залегании и не имеет стратиграфического обоснования возраста палеолитических комплексов. Культурно-хронологическая оценка индустрий чрезвычайно сложна и дается преимущественно на основе косвенных признаков – геоморфологического положения, сохранности поверхности артефактов, анализа сырьевых ресурсов и технико-типологических параметров. А. Г. Медоев (Медоев, 1982) древний палеолит Мангышлака («протолеваллуа – ашель», «леваллуа – ашель I и II») относил к хронологическому диапазону от «позднего плиоцена до конца среднего плейстоцена». В. П. Любин (Любин, 1984) считает, что «бифасы Мангышлака, Сары-Арка и Прииртышья... типологически являются мустьерскими и верхнеашельскими», а А. Г. Медоев «чрезмерно удревняет возраст своих находок».

На Мангышлаке обнаружено более 20 местонахождений, представляющих собой мастерские на выходах сырья. Каменные артефакты различаются степенью сохранности поверхности, при этом сильнодефлированные изделия, как правило, приурочены к наиболее низким участкам рельефа местности. Сильнодефлированные комплексы включают нуклеусы с леваллуазской морфологией, скребла, зубчато-выемчатые формы, а также бифасы ашельского облика.

На северном побережье Аральского моря обнаружен ряд местонахождений, материалы которых относятся к разным этапам палеолита, включая ранний. В первую очередь заслуживают внимания комплексы на восточном побережье залива Бутакова. Памятники располагаются непосредственно на выходах сырья (песчаник светло-серого цвета) и характеризуются высокой концентрацией каменных артефактов, отражающих полный цикл обработки камня от первичного расщепления до подготовки орудийных форм. Наиболее выразительная коллекция каменных артефактов получена на памятниках Арал-2, Арал-А и Арал-С. В системе первичного расщепления сильнодефлированной серии ведущее положение занимают одноплощадочные монофронтальные, леваллуазские и радиальные нуклеусы. Для леваллуазских нуклеусов характерны гладкая ударная площадка с частичной подправкой дуги скалывания, оформление одной из латералей и основания нуклеуса в виде острого ребра, подготовка выпуклого фронта скалывания центростремительными сколами. Такие нуклеусы предназначены для получения заготовок в виде отщепов крупных и средних размеров. В орудийном наборе присутствуют скребла, орудия с «шипом», разнообразные зубчато-выемчатые формы. Особого внимания заслуживает необычайно большое число бифасиально обработанных орудий, среди которых наиболее примечательны крупные, плоские, листовидные бифасы. Сходные по основным показателям комплексы были обнаружены на северном побережье оз. Камыслыбас (севернее устья р. Сырдарьи). Так, в материалах пункта Арал-6 обнаружен фрагмент плоского листовидного бифаса ашельского облика (Деревянко и др., 1999).

Особый интерес представляют палеолитические комплексы Северо-Западного Казахстана, археологические материалы которых иллюстрируют, по-видимому, позднеашельскую линию развития. В первую очередь это касается уникальных индустриальных комплексов с большим количеством бифасов в Мугоджарских горах. Все обнаруженные местонахождения относятся к памятникам с поверхностным залеганием артефактов и являются мастерскими на выходах сырья с элементами стоянчного и поселенческого комплексов. Исходным сырьем служил легкодоступный кварцитовый песчаник в виде крупных блоков, желваков и плиток. Поверхность каменных артефактов отличается различной степенью сохранности – от сильнодефлированных до недефлированных. В системе первично-

го расщепления сильнодефлированных комплексов широко представлены леваллуазские нуклеусы для снятия отщепов и одно- и двухплощадочные ядрища параллельного и субпараллельного принципа расщепления, а также радиальные и ортогональные ядрища. Для леваллуазских нуклеусов характерны скошенная ударная площадка, подготовленная серией сколов, и подготовка выпуклого фронта скалывания центростремительными снятиями. В орудийном наборе заметную роль играют разнообразные скребла, выполненные, как правило, на крупных массивных сколах и плитках; изделия на пластинчатых заготовках немногочисленны. Устойчивыми сериями представлены орудия с «носиком», с «шипом», скребки, зубчато-выемчатые формы. Наиболее важным является наличие в данных комплексах двусторонне обработанных изделий – бифасов, рассматриваемых, как правило, в качестве рубил ашельского облика. Среди бифасов наиболее многочисленна серия листовидных (миндалевидных), овальных, сердцевидных форм. Единичными находками представлены подпрямоугольные бифасы, в виде «запятой», усеченным концом и неправильной формы. Практически все бифасы характеризуются крупными размерами. Необходимо отметить, что исходное сырье в виде плиток являлось удобным материалом для изготовления бифасов крупных размеров и правильных (листовидных и овальных) форм.

С открытием ашельских комплексов в Мугоджарах и Северном Приаралье (Деревянко и др., 2001; Деревянко и др., 1999) стало очевидным, что Каспийско-Аральский регион входит в зону распространения классических ашельских индустрий с бифасами. «Памятники Мугоджарских гор по технико-типологическим показателям индустрии и типу вполне сопоставимы с кавказскими объектами. На этом основании можно говорить о том, что хронологическая позиция ашельских комплексов Мугоджар (без уточнения нижней границы) в самом общем виде совпадает с возрастом аналогичных индустрий Кавказа» (Деревянко и др., 2001). Действительно, такое сопоставление индустрий представляется логичным ввиду их территориальной близости и наличия руководящих типов изделий (прежде всего, бифасов). Отсюда возникает ряд проблем, касающихся корреляции широко вариабельных ашельских индустрий Кавказа и Каспийско-Аральского региона. В настоящее время мы не располагаем данными о «культурной идентичности» индустрий, географически разделенных котловиной Каспийского моря, но допускаем такую вероятность. Речь идет о появлении ашельских индустрий Мангышлака, Мугоджар и, возможно, Приаралья в результате миграций с Северного Кавказа. В пользу последнего говорит, на наш взгляд, распространение индустрий с бифасами (ашель – верхний палеолит) в Северном и Центральном Казахстане. Для более южных территорий они не характерны.

На территории Кавказа известно более ста памятников различного типа ашельского времени, расположенных на Западном Кавказе и на юге Кавказского хребта. В последние годы были обнаружены палеолитические комплексы с бифасами на западном побережье Каспия (Дагестан). В хронологическом плане раннепалеолитические индустрии стоянки Дарвагчай-1 на данной территории синхронны с индустриями среднего ашеля с рубилами Ближнего Востока и Северной Африки, а также первым появлением ашельских бифасов в Западной Европе.

Судя по биостратиграфическим оценкам относительного возраста культуросодержащих отложений, индустрия Дарвагчая-1 является одной из древнейших на Кавказе и, возможно, предшествует появлению здесь классических ашельских индустрий. Технологические особенности микроиндустрии (техника дробления, перекрестное, однонаправленное и бипродольное расщепление, отсутствие радиального приема расщепления и каких-либо признаков леваллуазского метода и фасетирования площадок) в совокупности обособляют ее от классических ашельских индустрий. Все это скорее указывает на обособленность индустрии, ее специфику в сравнении с галечными и ашельскими комплексами. Присутствие в ней единичных орудий с двусторонней обработкой, возможно, связано с внешним заимствованием от проникших на Кавказ архантропов с ашельской индустрией. Присутствие классических ашельских комплексов с бифасами отмечается на ряде местонахождений открытого типа – Дарвагчай-залив 2 и 4, Дарвагчай-карьер, Дюбекчай, Чумус-иниц (Деревянко и др., 2005).

Палеогеографические исследования региона указывают, что на протяжении четвертичного периода происходило усиление аридизации. Но этот процесс носил не линейный, а циклический характер, что было обусловлено как тектонической активностью, так и глобальными колебаниями палеоклимата. Многочисленные палеолитические стоянки являются свидетельством того, что природно-экологические условия на территории Каспийско-Аральского региона в определенные периоды неоплейстоцена были благоприятны для проживания древних популяций. Наиболее оптимальной в палеоклиматическом и палеоландшафтном отношении была зона границы леса и степи, а в периоды аридизации климата – прибрежные зоны крупных внутренних водоемов.

Теоретически миграционные пути продвижения носителей ашельских традиций (ашельских попу-

ляций) с Кавказа на восток могли осуществляться вдоль северных и южных берегов Каспия в условиях трансгрессивного уровня моря. Основным препятствием такого допущения является отсутствие ашельских местонахождений в границах Прикаспийской низменности и ее обрамления. На возможность южного маршрута могут указывать единичные бифасы на стоянке Гяндж Пар (Biglari et al), в долине р. Керманшах и Восточном Азербайджане, в северо-западном Иране (Ранов, 1978), однако далее на восток в направлении Копетдага ашельские бифасы до сих пор не обнаружены (Вишняцкий, Любин, 1995).

Гипотеза о проникновении ашельских индустрий в районы Восточного Прикаспия с Северного Кавказа в условиях глубокой регрессии моря впервые была предложена В. П. Любиным (Любин, 1984) и положительно воспринята другими исследователями (Деревянко и др., 2001). С открытием ашельских рубил в Дагестане (Деревянко и др., 2005) стало возможным вновь обратиться к гипотезе северокавказского происхождения ашельских комплексов Восточного Прикаспия.

В своей работе мы основываемся на общепризнанных эпизодах плейстоценовой истории моря и картографических материалах, включая имеющиеся сведения о расположении ашельских комплексов с бифасами, о современных глубинах акватории Каспия и распространении на мелководьях крупных фракций каменных материалов (Кленова и др., 1962).

Наиболее раннее появление рубил в Дагестане фиксируется в верхнебакинских (b_2) отложениях (вторая половина раннего неоплейстоцена). Логично предположить, что миграция ашельского населения могла осуществляться во время последующих регрессий моря, но не позднее последнего межледниковья (5 ИКС). Исследователи плейстоцена Каспия для данного отрезка времени выделяют от двух (Рычагов, 1997) до пяти (Янина, 2009) регрессий. Нет согласия и в вопросе хронологии и глубины регрессивных этапов. Традиционно наиболее значительными считаются регрессии между бакинско-урунджикской (b_2-ur) и раннехазарской (hz_1) трансгрессиями, и между ранним и поздним (hz_2) хазаром. На схеме Г. И. Рычагова (Рычагов, 1997) уровень моря в период первой (сингильской) регрессии был ниже отметки –50 м абс., а, по данным Т. А. Яниной (Янина, 2009), достигал –75 м абс. О глубине внутрихазарской (черноярской) регрессии точных данных нет, но указывается, что она была значительной (Рычагов, 1997).

В рельефе шельфа и дна Каспийского моря исследователи отмечают серию ступенчатых перегибов – древних береговых линий. В западной части Среднего Каспия прослежены подводные террасы вдоль всего побережья на глубинах 4, 12–14, 22–26, 34–41 и 52–59 м. В восточной части береговые линии фиксируются на глубинах 4, 12–14, 20–23, 25–30, 36–40, 60–70 м. В северной части подводные террасы обнаружены на глубине 4, 6, 12–13 и 20–21 м (Кленова и др., 1962). Сведений о возрасте подводных террас крайне мало, и они весьма противоречивы. Так, возраст древней береговой линии, прослеживаемой на глубине 20 м, оценивается временем от послехазарской (ательской) до послехвалынской (мангышлакской) регрессий, а береговые линии на глубинах 25–30 и 36–40 м (восток Каспия), «очевидно, маркируют низкие стояния уровня моря еще в дохазарское время» (Леонтьев, 1968). Исходя из этих сведений, допустимо предположить вероятность миграционного маршрута по осушенному шельфу в диапазоне современных изобат – 20–50 м и глубже.

Другим важным фактором возможной миграции является наличие источников литоресурсов на шельфе Северного Каспия, пригодных для изготовления палеолитических орудий. На Мангышлакском пороге до изобаты – 20 м на схеме донных отложений Каспия (Кленова и др., 1962) отмечено распространение гравиев, что не исключает вероятность присутствия в них и галечных материалов. Сведениями о петрографическом составе терригенных материалов мы, к сожалению, не располагаем. На Мангышлаке палеолитические изделия выполнены из кремня датского яруса верхнего мела (Медоев, 1982). Аналогичное сырье широко использовалось и в Дагестане (Деревянко и др., 2009). Песчаники и кремнистые известняки использовались редко, в основном для изготовления крупных орудий. Близкий состав пород можно предполагать и на шельфе Северного Каспия. Их вынос мог осуществляться палеоруслами Сулака, Терека, Волги и Урала при понижении базиса эрозии в регрессивные стадии Каспия, но это лишь предположение.

Исходя из палеогеографических реконструкций четвертичной истории Каспия и расположения палеолитических местонахождений с бифасами, гипотеза о миграциях носителей ашельских традиций (ашельского населения) с Кавказа в Центральную Азию не имеет принципиальных препятствий. Продвижение популяций, владеющих ашельскими технологиями, могло осуществляться вдоль северного берега моря в периоды глубоких регрессий среднего неоплейстоцена (~ 11, 9 и 7 ИКС). Допустимо предположить, что более древние миграции с Кавказа (с галечными технологиями) в Центральную Азию могли осуществляться и по Апшеронскому порогу в период глубокой (–150–200 м) тюркянской регрессии Каспийского моря (~ 20–18 ИКС).

Поверхность Апшеронского порога (максимальная глубина 198 м) представляет собой слабо

наклоненную к северу равнину, полого спускающуюся к глубинам средней части Каспийского моря. Южный склон круто обрывается к Южно-Каспийской впадине и прорезан глубокими (более 200 м) долинами. Вдоль южного края порога протягивается цепь возвышенностей, поднимающихся на 50–70 м над поверхностью порога. Наиболее ровные участки поверхности порога приурочены к пологому склону Красноводской платформы, где обнаружены бакинские осадки в ненарушенном залегании, не прикрытые современными отложениями. На относительно повышенных участках среди бакинских пород иногда вскрываются более низкие горизонты. На поверхности бакинских отложений отмечаются железо-марганцевые корки, сцементированные ожелезненные прослойки, горизонты выветривания и небольшие трещины в виде карманов. Их образование связывают с субаэральной стадией существования бакинских пород. Апшеронский порог, таким образом, можно рассматривать как часть поверхности выравнивания, погрузившейся под уровень Каспия значительно позднее своего образования (Кленова и др., 1962).

В серии грунтовых проб с поверхности порога (глубина 185–192 м) подняты многочисленные гальки (кварцевый песчаник, черная кремнистая порода, глинистый сланец, известняк, кварцит) размером 1,5–5 см. Отдельные гальки одеты «пустынным загаром». На участках расположения подводных газо-грязевых вулканов («банок») часты выбросы обломков коренных пород. В составе образцов коренных пород (до 50 см в диаметре) в банке Ливанова определены алевролиты, мергели, известняки, сопочная брекчия, прочные кварцевые песчаники, доломиты и сидериты. Это позволяет думать о длительном периоде наземного существования поверхности порога, на которой за это время образовался почвенный слой с развитым иллювиальным горизонтом, частично смытый впоследствии при погружении бакинской поверхности под уровень моря (Кленова и др., 1962).

Особого внимания в рассматриваемой проблеме древних миграций заслуживают проявления в каспийском регионе грязевого вулканизма, сопровождающегося выбросами коренных пород и самовозгорающихся углеводородных газов. Ярким примером использования обломочных пород (окварцованные доломиты) из древних грязевых вулканов в качестве сырья для изготовления орудий являются стоянки Богатыри/Синяя Балка и Родники-1 и 2 в Приазовье (Щелинский, Кулаков, 2009). Из аналогичного сырья изготовлены многие орудия Ильской стоянки на Кубани (Е. Ю. Гиря, личное сообщение). Интригующим представляется и эффект самовозгорания углеводородных газов и их длительного (до двух и более лет) горения в виде факелов (Шнюков и др., 2009; Сокол и др., 2007; Сокол и др., 2008).

Приуроченность палеолитических местонахождений к ландшафтам грязевулканических провинций отчетливо проявилась в бассейне Хатрурим (пустыня Негев, Израиль). Здесь в 2007–2010 гг. при проведении геологических и археологических работ в пределах частично эродированных кратерных воронок и/или подводящих каналов древних грязевых вулканов обнаружено несколько мастерских по изготовлению орудий. Сырьем для производства орудий служили горные породы, прошедшие предварительную сортировку в жерле вулкана. В первом случае – гальки кремня, во втором – уникальные по свойствам метаморфические породы, прошедшие обжиг в горящих газовых струях (Сокол, Кох, 2010). По предварительным данным, выявленные комплексы являются ашельскими и среднепалеолитическими.

Грязевой вулканизм весьма характерен для тектонически активных зон нефтегазоносных бассейнов Азербайджана, Туркмении, Ирана, Ирака и др. (Сокол и др., 2008). Имеются сведения, что в среднеапшеронское время по всему побережью Каспийского моря происходили извержения грязевых вулканов (Кленова и др., 1962). Вполне возможно, что грязевые вулканы с газовыми факелами вдоль тектонически активных зон Ближнего Востока, Прикаспия и Приазовья способствовали процессам древнейших миграций в палеолите. Они могли обеспечивать людей источниками огня и литоресурсами.

Список литературы

Амирханов Х. А. Исследование памятников олдована на северо-восточном Кавказе. М.: ТАУС, 2007.

Вишняцкий Л. Б., Любин В. П. Палеолит Туркмении: древнейшие индустрии и проблема первоначального заселения // Археологический альманах. Донецк, 1995. № 4. С. 41–46.

Волошин В. С. Стратиграфия и периодизация палеолита Центрального Казахстана // Хроностратиграфия палеолита Северной, Центральной и Восточной Азии и Америки. Доклады Международного симпозиума. Новосибирск: Б. и., 1990. С. 99–106.

Гусейнов М. М. Древний палеолит Азербайджана. Баку: Элм, 1985.

Деревянко А. П. Заселение человеком Евразии в раннем палеолите // Древнейшие миграции человека в Евразии: Мат-лы международного симпозиума. Новосибирск: Изд-во Ин-та археологии и этнографии СО РАН, 2009. С. 5–28.

Деревянко А. П., Амирханов Х. А., Зенин В. Н., Анойкин А. А. Первые находки ашельских рубил в Дагестане // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Материалы Го-

довой сессии Института археологии и этнографии СО РАН 2005 г. Новосибирск: Изд-во Ин-та археологии и этнографии СО РАН, 2005. Т. XI, часть I. С. 49–53.

Деревянко А. П., Анойкин А. А., Зенин В. Н., Лещинский С. В. Ранний палеолит юго-восточного Дагестана. Новосибирск: Изд-во Ин-та археологии и этнографии СО РАН, 2009. 124 с.

Деревянко А. П., Петрин В. Т., Гладышев С. А., Зенин В. Н., Таймагамбетов Ж. К. Ашельские комплексы Мугоджарских гор (Северо-Западная Азия). Новосибирск: Изд-во Ин-та археологии и этнографии СО РАН, 2001. 136 с.

Деревянко А. П., Таймагамбетов Ж. К., Петрин В. Т., Гладышев С. А., Зенин А. Н., Зенин В. Н., Искаков Г. Т. Палеолитические местонахождения северного побережья Аральского моря // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Мат-лы VII Годовой итоговой сессии ИАЭт СО РАН. Декабрь 1999 г. Новосибирск: Изд-во ИАЭт СО РАН, 1999. Т. V. С. 46–49.

Додонов А. Е. Четвертичный период Средней Азии: Стратиграфия, корреляция, палеогеография. М.: ГЕОС, 2002. 250 с.

Кленова М. В., Соловьев В. Ф., Алексина И. А., Вихренко Н. М., Кулакова Л. С., Маев Е. Г., Рихтер В. Г., Скорнякова Н. С. Геологическое строение подводного склона Каспийского моря. М.: Изд-во АН СССР, 1962. 638 с.

Леонтьев О. К. Эволюция берегов Каспия в верхнем плиоцене и четвертичном периоде // Геоморфологический анализ при геологических исследованиях в Прикаспийской впадине. М.: Изд-во МГУ, 1968. С. 106–140.

Любин В. П. Палеолит Туркмении // Советская археология. 1984. № 1. С. 26–45.

Медоев А. Г. Геохронология палеолита Казахстана. Алма-Ата: Изд-во «Наука» Казахской ССР, 1982. 64 с.

Ранов В. А. Палеолит Переднеазиатских нагорий // Палеолит Ирана // Палеолит Ближнего и Среднего Востока. Л.: Наука, 1978. С. 213–226.

Ранов В. А., Шеффер Й. Лессовый палеолит // Археология, этнография и антропология Евразии. 2000. № 2. С. 20–32.

Рычагов Г. И. Плейстоценовая история Каспийского моря. М.: Изд-во МГУ, 1997. 268 с.

Сокол Э. В., Кох С. Н. В отблесках «вечных огней» // Наука из первых рук. 2010. № 5. С. 52–71.

Сокол Э. В., Новиков И. С., Вапник Е., Шарыгин В. В. Горение газов грязевых вулканов как причина возникновения высокотемпературных пирометаморфических пород формации Хатрурим (район Мертвого моря) // Доклады Академии наук. 2007. Т. 413. № 6. С. 1–7.

Сокол Э. В., Новиков И. С., Затеева С. Н., Шарыгин В. В., Вапник Е. Пирометаморфические породы спуррит-мервинитовой фации как индикаторы зон разгрузки залежей углеводородов (на примере формации Хатрурим, Израиль) // Доклады Академии наук. 2008. Т. 420. № 1. С. 1–7.

Шнюков Е. Ф., Сокол Э. В., Нигматулина Е. Н., Коржова С. А., Гусаков И. Н. «Огненное извержение» грязевого вулкана Карабетова Гора, 2000 г.: сценарий события, продукты извержения, минералогия и петрография плавленых пород // Геология и полезные ископаемые Мирового океана. 2009. № 4. С. 77–94.

Щелинский В. Е., Кулаков С. А. Каменные индустрии эоплейстоценовых раннепалеолитических стоянок Богатыри (Синяя балка) и Родники на Таманском полуострове (Южное Приазовье, Россия) // Древнейшие миграции человека в Евразии: Материалы международного симпозиума. Новосибирск: Изд-во Ин-та археологии и этнографии СО РАН, 2009. С. 188–206.

Янина Т. А. Палеогеография бассейнов Понто-Каспия в плейстоцене по результатам малакофаунистического анализа // Автореф. дис. ... докт. геогр. наук. М., 2009. 42 с.

Biglari F., Heydari S., Shidrang S. Ganj Par: The First Evidence for Lower Paleolithic Occupation in the Southern Caspian Basin, Iran. URL: http://www.cais-soas.com/CAIS/Archaeology/Pre-History/ganj_par.htm

Lumley H., Nioradze M., Barsky D. et al. The Pre-Oldowayen lithic industry from the beginning of the Lower Pleistocene at the Dmanissi site in Georgia // L'anthropologie. № 109. (2005). P. 1–182.

Mishra S., Venkatesan T. R., & Somayajulu B. L. K. Earliest Acheulian industry from Peninsular India // Current Anthropology. № 36 (5). 1995. P. 847–851.

В. Е. Медведев

О НЕКОТОРЫХ ПАМЯТНИКАХ ОСИПОВСКОЙ КУЛЬТУРЫ НАЧАЛЬНОГО НЕОЛИТА (ПРИАМУРЬЕ)

Одной из актуальных в археологии Дальнего Востока является проблема формирования наиболее ранних культур эпохи неолита. После открытия в Нижнем Приамурье в последних десятилетиях ушедшего века в памятниках осиповской культуры керамики и других, присущих неолитическому времени элементов, эту культуру стало возможным связывать с его самым ранним этапом – начальным неолитом. Количество выявленных комплексов осиповской культуры возрастает, однако процесс

введения в научный оборот полученных материалов и их анализ несколько отстает от результатов полевого поиска.

В данной работе представлены материалы трех памятников осиповской культуры, в разное время найденных в основном автором и пока не нашедших соответствующего отражения в научной литературе.

Первый памятник, где была собрана представительная коллекция подъемных каменных изделий, находится на правом берегу Амурской протоки в 1–1,5 км выше по течению Амура с. Осиновая Речка. Расположенный посреди Амура в районе Хабаровска и выше его о-в Большой Уссурийский как бы делит реку на две части – основное (северное) русло и его южную протоку, в которую впадает р. Уссури. На низменном острове, содержащем невысокие песчаные релки и единственный компактный каменистый останец, наиболее ранние следы пребывания человека связаны с ранним железным веком (польцевская культура). Правый берег Амурской протоки гораздо удобнее для обитания людей: он в виде крутых или пологих террас, возвышающихся над рекой и плавно переходящих в подошву Хехцира – западного отрога Сихотэ-Алиня.

В настоящее время на правом берегу Амурской протоки известны довольно многочисленные памятники древности и Средневековья, на ряде из которых в конце прошлого – начале нынешнего века проведены раскопки. Начало же целенаправленных археологических работ разведывательного характера на Амурской протоке, прежде всего в ее верхнем отрезке, связано с экспедицией А. П. Окладникова 1959–1960 гг., когда у сел Казакевичево и Бычиха был собран различный подъемный неолитический материал – керамика, относящаяся преимущественно к малышевской культуре, изделия из камня, а также материальные остатки раннего железного века и чжурчжэньского средневековья (Ларичев, 1961; Окладников, 1970. С. 187; Окладников, Деревянко, 1973. С. 113). До 1970-х гг. берега Амурской протоки археологами не обследовались, публикации о каких-либо находках отсутствуют.

Место нашего сбора артефактов в конце 1970-х гг. связано с северо-восточным склоном неширокой лощины, отходящей от края береговой террасы в сторону окраины с. Осиновая Речка. Различная по высоте надпойменная терраса Амурской протоки во многих местах пересечена образовавшимися тысячи лет назад оврагами, ныне больше похожими на заросшие деревьями глубокие лощины, иногда с текущими по дну их ручьями. Северо-восточная нижняя часть рассматриваемой лощины была приспособлена для полотна автомобильной дороги, подведенной к понтонному мосту, связывающему правый берег Амурской протоки с о-вом Б. Уссурийский. При расширении дороги был частично срезан упомянутый выше склон лощины. Собранные вещи располагались в галечно-щебенчатой осыпи склона на участке шириной до 6–7 м. Артефакты при земляных работах были извлечены, несомненно, из верхних покровных слоев супесей и суглинка на глубине около 1 м от современной поверхности. Высота террасы у места сбора находок составляет 12–14 м над уровнем реки. Заросшая древесно-кустарниковой растительностью ее поверхность не имеет внешних следов поселения в виде жилищных западин.

Всего найдено 55 артефактов, которые подразделяются на следующие группы. Среди орудий выделяется, прежде всего, серия бифасов – двусторонне оббитых и ретушированных остроконечников небольших и довольно крупных размеров. Остроконечники поменьше представляют собой метательные орудия – наконечники стрел. Первый наконечник листовидной формы изготовлен из плоской алевролитовой гальки с сохранившейся местами естественной ее поверхностью, размеры 4,7×1,7×0,6 см (см. вклейку: с. 45, ил. 1,*1*); второй – с подтреугольно-вытянутым пером и коротким выделенным черешком, тщательная, почти стелющаяся ретушь местами затерта, изготовлен из серовато-желтого алевролита, размеры 4,6×1,7×0,6 см (см. вклейку: с. 45, ил. 1,*2*). Третий наконечник стрелы с обломанным основанием, как и второй, обработан мелкой отжимной ретушью, боковые грани ровные и очень острые, материал – светло-серый алевролит, размеры 3,9×1,9×0,6 см. (см. вклейку: с. 45, ил. 1,*3*).

Два сравнительно крупных бифаса-остроконечника почти одинаковых размеров. Первый бифас – массивный линзовидного сечения. Обработан с обеих плоскостей средними и мелкими сколами, по периметру – эпизодическая ретушь. Использовался, скорее всего, в качестве наконечника копья; изготовлен из алевролита буро-коричневого цвета, размеры 10,5×4,4×1,9 см (см. вклейку: с. 45, ил. 1,*8*). Второй (см. вклейку: с. 45, ил. 1,*9*) – асимметричных очертаний, слегка изогнут вдоль длинной оси, несколько похож на полулунный нож: один конец более заострен, второй – расширен и заовален в черешковой части. Выпуклая плоскость оформлена более мелкими сколами, особенно вдоль краев, вогнутая – оббита заметно грубее. Сделан из темно-серого алевролита, размеры 10,4×4,5×1,1 см (см. вклейку: с. 45, ил. 1,*9*).

Остальные изделия представлены скребком, заготовками орудий, нуклеусами, пластинами и другими артефактами. Скребок (см. вклейку: с. 45, ил. 1,*4*) – округлой формы из отщепа алевролита серого цвета, рабочий край зубчатый, оформлен крутой ретушью, размеры 3,2×2,8×0,6 см.

Заготовка орудия наподобие макроскребка (см. вклейку: с. 45, ил. 1,*5*) изготовлена из массивной гальки окремнелого туфа светло-коричневого цвета. Сравнительно аккуратно мелкими и средними сколами обработан один расширенный рабочий торец, на остальной поверхности имеется лишь несколько сколов, размеры 6,5×4,1×2,7 см.

Заготовка орудия в виде скобеля (см. вклейку: с. 45, ил. 1,*6*) из грубо оббитой пластинчатой отдельности. Загнутая рабочая сторона с крутой мелкой оббивкой; материал – темно-серый алевролит плохого качества, размеры: 7,1×3,9×0,7–1,2 см.

Два нуклеуса: первый – округло-аморфный со следами беспорядочных снятий – изготовлен из темного, почти черного алевролита, размеры 4,1×3,5×2,6 см (см. вклейку: с. 45, ил. 1,*10*); второй – в виде заготовки неопределенных очертаний; материал – окремнелый туф светло-коричневого цвета, размеры 3,5×3,1×1,7 см.

Заготовка орудия из песочно-желтой гальки окремнелого туфа (см. вклейку: с. 45, ил. 1,*7*). Подовальная галька оформлена грубыми сколами с двух сторон по периметру, размеры: 5,6×3,4×1,5 см.

Из восьми найденных пластин или пластинчатых снятий три относятся к сравнительно крупным и пять – к средним или мелким. Все пластины неправильной подчетырехугольной (иногда почти прямоугольной) формы, их длина в два раза или чуть больше превышает ширину, следы ретуши отсутствуют.

Первая большая пластина длиной 7,1, шириной 3,3 и толщиной до 0,6 см изготовлена из бледно-серого алевролита. Вдоль боковых краев – следы утилизации. Использовалась в качестве ножа.

Вторая – неправильной формы, заметно расширена со стороны ударной площадки, у краев – следы использования. Материал – темно-серый алевролит, размеры: 6,5×4,2×0,3–0,9 см.

Третья пластина (по форме наподобие второй) со следами использования в качестве режущего инструмента. Материал – темно-серый алевролит, размеры 6,1×3,6×0,4–0,8 см.

Пластины средних и небольших размеров: первая могла использоваться как заготовка концевого скребка. Материал – темно-серый алевролит, размеры 3,2×2,4×0,6 см. Вторая – из золотисто-коричневого кремня с частью галечной поверхности, размеры 3,3×1,2×0,4 см. Третья пластина – из оранжево-желтого кремня, размеры 2,7×1,7×0,3 см. Четвертая – неправильной формы; материал – серый алевролит, размеры 2,9×1,6×0,3 см. Пятая пластина со следами галечной корки. Материал – темный кремень, размеры 2,6×1,6×0,4 см.

Наряду с представленными образцами каменной индустрии в коллекцию входят два обломка орудий: черешок, видимо, наконечника стрелы из кремня с двусторонней отжимной ретушью и часть клинка ножа полулунной формы из темного алевролита. Найдены также две колотые кремневые гальки размерами 3,0×2,5 см и 3,6×3,2 см, десять галечных сколов преимущественно подпрямоугольных и овальных очертаний. Материал – кремень, алевролит мягкого желтоватого цвета, размеры от 2,0×1,0 см до 5,0×3,2 см. Отходы производства включают двадцать два чешуйчатых, пластинчатых и бесформенных отщепа, из них 16 – из алевролита серых тонов, и 6 – из кремня от желтого до темно-серого цветов.

Как видно из описания коллекции, представленный в ней инвентарь по многим признакам определяется единым культурно-технологическим комплексом с наличием в нем некоторых черт архаики. Об этом, в частности, свидетельствует отсутствие в коллекции шлифованных изделий, весьма характерных для раннего, позднего (в незначительной степени и для начального) неолита Нижнего Приамурья. В технике изготовления изделий, прежде всего из алевролита, а также других пород камня отчетливо просматриваются два способа – бифасиальный и пластинчатый. При этом приоритет отдавался первому, используя который древние камнеобработчики Амурской протоки выделывали различные наборы листовидных бифасов. Подобное сочетание грубых галечных орудий (скребков, тесел, скребловидных инструментов), пластинчатых заготовок из галек с ярко выраженными группами бифасов-остроконечников хорошо известно из нижнеамурских материалов осиповской культуры начального неолита (поселения Гася, Госян, Хумми, Гончарка). Примечательно при этом, что на памятнике у понтонного моста, представляющем собой скорее всего неопределенной площади стоянку охотников и рыболовов, отсутствовала керамика. Между тем раскопки последних 30–35 лет памятников осиповской культуры позволили установить, что практически повсеместно в пределах ее ареала, главным образом на Среднеамурской равнине, 13–12 тыс. л. н. (по данным C^{14} – без калибровки) была налажена выделка весьма примитивной, но в то же время вполне пригодной для приготовления пищи на огне керамической посуды. Однако керамика начального неолита была еще не столь многочисленной, какой мы ее знаем по более позднему неолиту нижнеамурского региона. Поэтому даже достаточно широкие раскопки в начале 1960-х гг. поселения Осиповка у г. Хабаровска не позволили определить в то время присутствие в нем керамики (хотя, как позже выяснилось, она там имелась) и осиповская культура была отнесена к мезолиту (Ларичев, 1961. С. 265; Окладников, Деревянко, 1973. С. 83 – 84; 1977. С. 158–160).

Не найдена керамика осиповской культуры, судя по всему, и в ходе упомянутых выше разведы-

вательных работ 1959–1960 гг. на Амурской протоке (она в публикациях того времени ошибочно называется р. Уссури) у сел Казакевичево и Бычиха. Исчерпывающе описанный и проанализированный В. Е. Ларичевым неолитический материал представлен несколькими культурами – прежде всего, не выделенными тогда еще малышевской и, очевидно, вознесеновской. Исследователь на основе, как он пишет, многочисленных, выразительных, а также разнообразных находок осторожно и, пожалуй, справедливо приходит к выводу, что отсутствие среди них гобийских нуклеусов-скребков, широких листовидных наконечников копий и ножей, а также иволистных наконечников дротиков, обработанных изящной солютрейской по характеру ретушью, часто встречающихся в Осиповке, не позволяет отнести открытые памятники ко времени существования последней, т. е. к «мезолиту» (Ларичев, 1961. С. 264–265).

Вместе с тем с большой долей вероятности можно предположить, что среди разновременного материала из подъемных сборов разрозненного имеется каменный инвентарь, относящийся к осиповской культуре, «...серия больших чопперовидных скребел, изготовленных из галек, своеобразные нуклевидные инструменты, изготовленные из небольших галек разнообразных яшм, архаическое, мустьерское по облику скребло» (Ларичев, 1961. С. 265). Не обращаясь к детальному сопоставлению названных серий инвентаря с конкретными изделиями из раскопок памятников каменного века Приамурья, имеющих абсолютные даты по C^{14}, можно сказать, что перечисленный инвентарь соответствует инвентарю осиповской культуры. Особенно большое количество «чопперовидных скребел» (тесловидно-скребловидных орудий. – *В. М.*) «нуклевидных инструментов» зарегистрировано при раскопках осиповского слоя на поселении Гася у с. Сакачи-Алян, примерно в 120 км от с. Бычихи ниже по Амуру.

Второй памятник расположен на нижней окраине с. Синда у кирпичного завода, сразу за небольшим заливом протоки. В этом месте имеется удобная береговая терраса с отходящей от ее края довольно ровной мысовидной площадкой размерами примерно 10×10 м и высотой над уровнем протоки до 6–7 м. Поверхность площадки, включая крутые ее скаты, хорошо задернована, без следов каких-либо прежних сооружений и перекопов. Местность на окраине села, включая террасу, является одним из участков для выпаса домашних животных, поэтому на очищенной ими от растительности поверхности мысовидной площадки лежавшие вещи хорошо просматривались.

Все находки без исключения из камня. Это листовидный бифас-остроконечник размерами 8,2×3,5×0,9 см (см. вклейку: с. 46, ил. 2,*1*). Изготовлен из серого алевролита невысокого качества, очень сильно замыт. Обработан сплошь мелкой оббивкой, а по периметру – краевой ретушью. Вследствие замытости, окатанности, а также большой сработанности краев границы отдельностей сглаженно-аморфные. У орудия хорошо выделено симметрично оформленное острие, четко обозначен слегка зауженный черешок для крепления в древке или рукояти. Поперечное и продольное сечения остроконечника линзовидной формы. Служил, вероятнее всего, в качестве наконечника дротика, но мог использоваться и как нож для разделки рыбы и мяса.

Среди серии других каменных артефактов следует выделить колотую гальку, сколы и пластинку.

Колотая галька из окремнелой породы песочно-желтого цвета размерами 3,5×2,4×1,5 см (см. вклейку: с. 46, ил. 2,*2*). Расщеплена и слегка обколота вдоль длинной оси. По всей видимости, неудавшийся нуклеус или его заготовка.

Лыжевидный скол из окремнелого бежевого туфа, расширенный снизу и с хорошо выраженной ударной площадкой. На краях его узкой части – мелкая противолежащая ретушь, размеры 4,8×1,6×0,4 см. (см. вклейку: с. 46, ил. 2,*3*).

Пластинка неправильной формы, похожая на заготовку наконечника стрелы (см. вклейку: с. 46, ил. 2,*4*). В нижней ее половине, противоположной от заостренной верхней с ударным бугорком, у одного края – мелкая ретушь (или ретушь утилизации). Материал – мелкозернистый окремнелый сланец темно-серого цвета, размеры 2,9×1,3×0,3 см.

Скол неопределенной формы с гальки окремнелой породы темно-серого цвета (см. вклейку: с. 46, ил. 2,*5*). Острые края его в нескольких местах со следами ретуши утилизации, размеры 3,5×1,4×0,8 см.

Для общей характеристики данного памятника дополнительной информацией может служить система расположения, планиграфия собранных изделий. Размещались они не скоплениями, а рассеянно по всей мысовидной площадке, что дает основание считать ее освоенной древними полностью. Можно предположить, что стоянка включала в себя одно или несколько наземных жилищ людей, занимавшихся рыболовством и охотой.

Вряд ли стоянка относится к эпохе палеолита, поскольку представленный подъемный материал не позволяет судить об этом более или менее предметно. В то же время есть основания утверждать, что памятник не может квалифицироваться не только поздне-, но и средненеолитическим временем. Об этом свидетельствует не только отсутствие керамики, самого, пожалуй, распространенного материала на объектах названных периодов новокаменного века. В позднем неолите Нижнего Приамурья,

конкретно в вознесеновской культуре практически отсутствуют пластинчатые изделия. Не являются они преобладающими и на памятниках среднего неолита (кондонская культура), относительно мало их также в индустрии малышевской культуры. Для всех названных культур типичным является наличие значительной, а для вознесеновской преобладающей доли шлифованных изделий. Даже в недавно выделенной в нижнеамурском ареале мариинской культуре раннего неолита, датируемой по C^{14} в основном VIII–VII тыс. до н. э. (Медведев, 2006. С. 289–290), зафиксирован сравнительно высокий процент шлифованных орудий. Довольно убедительно в этой культуре представлена также керамика.

Вполне очевидно, что ни к одной из четырех указанных выше нижнеамурских неолитических культур стоянка не относится. Собранный на ней инвентарь в целом архаичнее известного в них материала. К тому же район протоки Синдинской вряд ли входит в ареал самой ранней мариинской культуры, функционирование которой предполагается на территории ниже по Амуру, преимущественно в северо-восточной его зоне. Синдинская стоянка находится на Среднеамурской равнине, в пределах которой открыто подавляющее большинство памятников осиповской культуры начального неолита (Медведев, 1982). Эта равнина служила осиповцам в качестве основного места проживания их в течение, по меньшей мере, четырех тысяч лет (X–XIII тыс. л. н.). Примечательно, что в осиповской культуре хорошо известны наконечники дротиков листовидной формы. Такие же тонкие линзовидные в сечении наконечники, как на Синдинской стоянке, выявлены при раскопках памятника Осиповка (Окладников, Деревянко, 1977. Табл. 106, *2*; 108, *4, 5*). Их много зарегистрировано на поселении Гася (Деревянко, Медведев, 1993. Рис. 44, *4*; 66, *3;* 68, *1*; 70, *4*; 1995. Рис. 45, *3*), а также Хумми (Лапшина, 1999. Табл. 50, *2, 3, 8*). Почти все наконечники изготовлены из алевролитов, главным образом, темно-серого и черного цвета. Для поселения Гася характерны также находки пластинчатых, лыжевидных сколов, пластин с ретушью и следами использования (Деревянко, Медведев, 1993. Рис. 67, *2, 3, 5;* 75, *4;* 1995. Рис. 46, *9, 12*), обнаружены они и на поселении Хумми. Можно добавить, что большинство осиповских нуклеусов с поселения Гася изготовлены из галек. Словом, есть убедительные основания считать, что стоянка на протоке Синдинской была оставлена создателями осиповской культуры и раскопки на ней могут дать информации значительно больше, чем получено при первоначальном ее обследовании.

Третий памятник обследовался в 1970–1980-х и в 2010 гг. Он расположен в 9 км к востоку от пос. Переясловка и в 6 км к северо-западу от с. Георгиевка на цокольном массиве правого берега р. Кия (правый приток р. Уссури) в непосредственной близости от хорошо известных в науке Киинских неолитических петроглифов (Окладников, 1971. С. 14, 60–62, 132).

Топографическая ситуация обусловлена существованием в данном месте длинного и сравнительно узкого отрога, примыкающего с ЮЗ к пологой куполообразной сопке. Юго-восточный край отрога с древности подвержен речной эрозии, образовавшей ровную линию выходов скального цоколя протяженностью около 200 м. Верхняя по течению реки часть скал имеет отвесные плоскости с названными выше петроглифами. Подошва обнажения перекрыта валунно-глыбовым материалом шириной 12–20 м. Северо-западный край отрога представляет собой крутосклонную бровку широкого заболоченного распадка – очевидно, палео-протоки или палео-залива – со следами эрозионных нарушений. Ширина отрога по линии СЗ–ЮВ составляет около 100–120 м, поверхность наклонная с понижением к ЮЗ (к долине поймы) от 18 до 3–4 м. Верхняя кромка скальных обнажений маркируется отметками 9–12 м.

Рыхлые отложения памятника, хорошо наблюдаемые в полотне пересекающей его грунтовой дороги, связаны в первую очередь с элювиальной переработкой кровли подстилающих скальных пород, осложнены склоновыми процессами, приводящими к формированию шлейфа выравнивания, и представлены, главным образом, суглинками охристых оттенков с редкими включениями обломочного материала.

Изделия из камня были обнаружены преимущественно в дорожных промоинах и на других участках разрушенного культурного слоя памятника, а также в шурфах. Среди многих десятков предметов выделяется группа галечных нуклевидных вещей различных размеров, в т. ч. крупных (10×5,2×3,8 см и более). Имеются грубые заготовки из галек тесловидно-скребловидных орудий или макроскребков, весьма распространенных в материалах осиповской культуры. Найдены также галечные рубящие орудия в форме тесел с симметричной затеской рабочей части и полукруглые инструменты наподобие скребел. Значительное место среди инвентаря занимают пластинчатые отдельности длиной до 6 см и шириной до 3 см, а также небольшие подпрямоугольные и трапециевидные пластинки длиной 2,3–3,8 см. При обработке изделий использовалась техника оббивки, в отдельных случаях рабочие края орудий со следами ретуши. Шлифованные орудия не найдены. Основным материалом у камнеобработчиков Киинской стоянки служили алевролиты, изредка кремневые, яшмовидные

породы. Геоморфологическая картина (рельеф, топография, сравнительно хорошая сохранность рыхлых толщ, высоты над уровнем реки) позволяют надеяться на обнаружение на памятнике или рядом с ним древнего горизонта, осиповского (возможно, и более раннего), предпосылкой которого можно считать рассмотренные выше каменные артефакты.

С конца прошлого века осиповская культура заметно привлекает значительный круг исследователей. Чем больше становится известно об этой культуре, существовавшей около 4–5 тыс. лет на довольно обширной территории бассейна нижнего и частично среднего Амура в финале плейстоцена и, возможно, в самом начале голоцена, тем удивительно ярче раскрывается сущность осиповского феномена северо- и восточноазиатской первобытной цивилизации. Такие, безусловно, древнейшие (по меньшей мере, дальневосточные составляющие осиповской культуры), как разнообразная по формальным и стилистическим атрибутам керамика, искусство (круглая скульптура, петроглифы), украшения (бусы, серьги), а также жилища-полуземлянки стали достоянием многих более поздних культур и в большинстве своем, по своей сути, сохранились до современности.

Многочисленные памятники осиповской культуры известны сейчас во многих местах ее ареала, включая правый берег Амурской протоки. Большая группа памятников зафиксирована в районе сел Казакевичево, Бычиха и Осиновая Речка (Шевкомуд, 2005). На некоторых из них начаты раскопки, получены коллекции каменного инвентаря, керамика, предметы искусства, культа. Однако несравненно большее число этих археологических комплексов, а также охарактеризованные здесь стоянки на р. Кие и протоке Синдинской кроме предварительных обследований пока еще не раскапывались.

Список литературы

Деревянко А. П., Медведев В. Е. Исследование поселения Гася (предварительные результаты, 1980 г.). Новосибирск: Институт археологии и этнографии СО РАН, 1993. 110 с.

Деревянко А. П., Медведев В. Е. Исследование поселения Гася (предварительные результаты, 1989–1990 гг.). Новосибирск: Институт археологии и этнографии СО РАН, 1995. 65 с.

Лапшина З. С. Древности озера Хумми. Хабаровск, 1999. 206 с.

Ларичев В. Е. Неолитические поселения в низовьях Уссури (с. Казакевичево) // Вопросы истории Сибири и Дальнего Востока. Новосибирск, 1961. С. 255–268.

Медведев В. Е. Некоторые итоги и перспективы археологии Нижнего Приамурья // Проблемы археологии и этнографии Сибири. Иркутск, 1982. С. 79–80.

Медведев В. Е. О культурогенезе в эпоху неолита в Нижнем Приамурье // Современные проблемы археологии России: Новосибирск: Изд-во Ин-та археологии и этнографии СО РАН, 2006. Т. I. С. 288–291.

Окладников А. П. Неолит Сибири и Дальнего Востока // Каменный век на территории СССР. М.: Наука, 1970. С. 172–193.

Окладников А. П. Петроглифы нижнего Амура. Л.: Наука, 1971. 335 с.

Окладников А. П., Деревянко А. П. Далекое прошлое Приморья и Приамурья. Владивосток: Дальневост. кн. изд-во, 1973. 440 с.

Окладников А. П., Деревянко А. П. Громатухинская культура. Новосибирск: Наука, 1977. 286 с.

Шевкомуд И. Я. Археологические комплексы финала плейстоцена – начала голоцена в Приамурье: новые исследования // Северная Пацифика – культурные адаптации в конце плейстоцена и голоцена. Магадан, 2005. С. 172–177.

А. Ф. Шорин, Н. М. Чаиркина, В. Н. Широков

ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ПРОЕКТУ «ИСТОКИ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ДРЕВНЕГО НАСЕЛЕНИЯ УРАЛА»

Наличие в Уральском регионе ярких и самобытных памятников, аналоги которым в других регионах Евразии отсутствуют или немногочисленны и по материалам которых возможна реконструкция не только материальной, но духовной культуры и культовой практики древнего населения, позволило заявить для исследования проект по теме, вынесенной в заголовок статьи.

Приоритетные цели проекта:

1) показать богатство и разнообразие культурного наследия народов Урала на ранних этапах их развития;

2) интегрировать результаты научных исследований в культуру современного общества с использованием публикаций, в том числе научно-популярного плана, археологических экспозиций и иных медийных проектов.

Объектом исследования явились уникальные археологические памятники горно-лесного Урала, материалы которых выявляют специфику региона на фоне мирового культурного наследия ранних обществ (Шорин, Чаиркина, Широков, 2011). Среди них пещерные святилища с изображениями верхнего палеолита (Игнатиевская, Серпиевския 2-я пещеры); писаницы эпох энеолита – Средневековья; болотные стоянки с хорошей сохранностью изделий из органики эпохи раннего металла (Горбуновский, Шигирский и др. торфяники); неолитические насыпные святилища – «чудские бугры» (Кокшаровский, Махтыльский, Усть-Вагильский и др. холмы). Пристальное внимание было уделено также культовым комплексам на территории стоянок эпохи камня – раннего металла. На основании анализа артефактов, происходящих с таких памятников, выявлялись истоки формирования материальной и духовной культуры, культовых воззрений, мифо-ритуальной практики первобытных коллективов, решались вопросы популяризации и сохранения археологического наследия региона. Обсуждение этих вопросов сопровождалось корректировкой абсолютной и относительной хронологии археологических памятников и культур региона, уточнением происхождения и исторических судеб носителей этих культур, выявлением вклада архаичных культур в культуру коренных народов (традиционных обществ) Урала и Западной Сибири. Такая работа на протяжении многих лет успешно велась в Институте истории и археологии УрО РАН исполнителями данного проекта. Результаты исследований по теме еще до начала работы проекта нашли заметное отражение в печати (Ščelinskij, Širokov, 1999; Широков, Чаиркин, Чемякин, 2000; Викторова, 2008; Культовые памятники горно-лесного Урала, 2004; Чаиркина, 2005; Широков, Чаиркин, Широкова, 2005; Миф, обряд и ритуальный предмет в древности, 2007; Широков, 2007).

В рамках проекта решались следующие задачи.

На материалах раскопок святилища Кокшаровский холм:

1) выделение маркеров сакрального пространства святилища;

2) сравнительная характеристика структурообразующих компонентов неолитического святилища Кокшаровский холм и святилищ коренных народов Урала XVII–XX вв. Выявление комплекса существенных признаков, сохранившихся в организации сакрального пространства коренных народов уральской языковой семьи (ханты, манси, удмурты) от культовой практики архаичных обществ региона. Анализ причин столь длительной «живучести» архаичного комплекса в культуре традиционных обществ;

3) определение хронологических позиций памятника.

На материалах торфяниковых стоянок региона:

публикация материалов раскопок культовой площадки эпохи энеолита и раннего железного века Скворцовская гора V на территории Шигирского торфяника; обработка неопубликованных материалов по VI разрезу и другим стоянкам Горбуновского торфяника, хранящихся в архивах и музеях Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Тагила.

На материалах наскальных изображений под открытым небом, а также Игнатиевской и Серпиевской 2-й пещер:

изучение графического и археологического контекста памятников, типологическая классификация изобразительных мотивов, выделение композиционных структур, статистика, прямые датировки, создание интерпретационных версий.

На материалах памятников Верхне-Исетского гранитного массива Уральской горной страны, раскрывающих особенности духовной культуры и мифо-ритуальной практики древних обществ Евразии:

1) обсуждение проблемы формирования и динамики знаковых систем и обрядов архаичных обществ эпохи камня и раннего металла;

2) исследования в области творческой деятельности древнего человека, связанной с идеей существования двух миров – «своего» и «чужого» на основе сопряжения археологических, этнографических, фольклорных и иных данных.

Решение этих задач нашло отражение в опубликованных или подготовленных к печати монографиях (Широков, 2009; Чаиркина, 2011), серии статей, в том числе в рецензируемых журналах (Шорин и др., 2009, 2011; Викторова, 2010; Кернер, 2010; Широков, 2010; Шорин, Шорина, 2011), участии в работе научных форумов, в том числе организации секции «Искусство, сакральное пространство и мифоритуальная практика древнего населения Севера» на III Международном Северном археологическом конгрессе в г. Ханты-Мансийске в ноябре 2010 г. (III Международный Северный археологический конгресс. Доклады. С. 164–209; Тезисы докладов. С. 163–222), проведении экспедиций по раскопкам святилища Кокшаровский холм, памятников Горбуновского торфяника и др.

В данной статье в силу ограниченности ее объема раскрываются только три из обозначенных задач, решенных в ходе выполнения проекта.

Первая из них – анализ материалов Кокшаровского холма, наиболее полно исследованного из искусственных насыпных сооружений эпохи неолита («чудских» или «богатых бугров», «жертвенных холмов»), аналогов которым в Евразии за пределами лесных районов Среднего Зауралья и прилегаю-

щих регионов севера Западной Сибири нет. Этот анализ проводился в двух аспектах. Во-первых, обосновывался культовый характер памятника за счет выделения в его материалах тех специфических признаков, которые можно рассматривать в качестве сакральных маркеров. Во-вторых, уточнялись хронологические позиции разнородных неолитических комплексов (кошкинского, кокшаровско-юрьинского (козловского), басьяновского (боборыкинского), полуденского), встреченных в культурных слоях памятника и окружающего его Юрьинского поселения, жителями которого это святилище и было возведено. Это крайне важно для корреляции не только внутренней хронологии памятника, но и хронологии неолитических культур Зауралья и прилегающих к нему территорий. Попутно решались задачи определения хронологических позиций энеолитического и средневекового комплексов, зафиксированных в верхних слоях насыпного холма, и обосновывался культовый характер средневекового батырского комплекса, отложившийся на вершине холма в интервале начала VII – середины VIII в. н. э.

Первый из названных аспектов раскрыт через особенности организации сакрального пространства анализируемого памятника (Шорин и др., 2009; Шорин, 2010). К ним относятся искусственный характер насыпи, сооружение которой потребовало огромного объема трудозатрат; отчленение сакральной площадки от профанного (жилого) пространства Юрьинского поселения, в центре которого святилище и расположено, двумя неглубокими и неширокими рвами; наличие на сакральной площадке остатков объектов, сооруженных из деревянных жердей или плах размером 2х2 м, а иногда и более, и высотой не менее 1 м, интерпретируемые как культовые постройки типа сумьяхов манси, культовых амбарчиков ханты, куалы удмуртов; присутствие рядом с некоторыми из таких сооружений объектов меньших размеров: 55х35, 80х55 см, которые есть основания сравнивать с жертвенными сундуками, берестяными коробами (пайпы), воршудными коробами для хранения прикладов, повсеместно отмеченных на святилищах манси, ханты, удмуртов, а также и других народов Евразии, например, ненцев, бурят и др. Рядом с некоторыми такими объектами и рвами (или в них) найдены перевернутые вверх дном сосуды либо их заменяли скопления фрагментов от нескольких сосудов, разбитых, вероятно, преднамеренно. В архаичных обществах подобные обряды практиковались при отправлении ритуальных действий. На святилище регулярно проводились также какие-то огненные ритуалы, следы которых фиксируются как на площадке (в культовых постройках), так и во рвах. Сами же постройки могли перекрываться чередующимися прослойками угля и светлого материкового песка; признак, также свойственный культовой практике архаичных и традиционных обществ. Сакральность комплекса усиливалась и тем, что святилище сооружено на преднамеренно подсыпанном мысу, образованном местом впадения небольшой речушки в озеро. С этого места в древности просматривалась значительная часть побережья Юрьинского озера. И святилище жителями неолитических поселков даже визуально воспринималось как центр окружающей территории (познанного мира), как священная гора.

Аргументация памятника как культового может быть усилена присутствием в его культурных слоях оригинальных или ряда массовых категорий артефактов. Но число последних на святилище и одновременном ему Юрьинском поселении качественно или количественно отлично, что и позволяют такие массовые категории находок считать задействованными в обрядовой практике. В качестве таких жертвенных даров-прикладов либо атрибутов самих культовых действий можно рассматривать «утюжки», изделия из глины сферической и биконической формы, тарелки-блюда, сосуды с символами орнито- или зооморфного содержания в виде объемных налепов, глиняную головку птицы и сланцевый шлифованный нож, обушковая часть которого оформлена в виде орнитоморфного изображения, сверленую каменную булаву в виде стилизованной головы животного – медведя или бобра, керамические «пряслица» и диски, кремневые и шлифованные наконечники стрел, часть из которых изготовлена в вотивных целях, тальковые стержни с насечками, которые могли быть задействованы в обрядах, связанных с использованием счета, возможно, шлифованные топоры, тесла, ножи (см. вклейку: с. 47, ил. 1). Интересно отметить, что большинство из них, как и абразивные плиты, представлено в обломках, что не исключает не только их поломку в ходе повседневной деятельности, но и ритуальное разбивание.

Интересна находка в заполнении одного из перевернутых вверх дном сосудов (дата этого сосуда кошкинской культуры – Ki-16389: 6020 ± 90 BP, 1σ 5040-4790 BC, 2σ 5250-4650 BC), найденного, кстати, рядом с одним из культовых объектов (№ 5), ожерелья из очень мелких плодов (орешков) травянистого растения воробейник лекарственный (Lithospermum officinalis L. – лат. «каменное семя») семейства Бурачниковые (Borraginaceae). Подобные находки столь глубокой древности из органических материалов в минеральных грунтах нечасты.

Скорее всего, вещевые приклады сопровождались и кровавыми жертвоприношениями. Во всяком случае, в культурных слоях святилища повсеместно встречаются мелкие кальцинированные

косточки диких животных, птиц и рыб. Это преимущественно лось и северный олень, реже бобер, редко медведь, лисица, волк, заяц, щука.

Прослеживаются интересные параллели святилищу Кокшаровский холм в маркерах сакрального пространства, свойственных как ранним культовым комплексам Северной Месопотамии (рубеж эпох мезолита – неолита, IX–VIII тыс. до н. э.), так и святилищам XIX–XX вв. народов уральской языковой семьи: манси, ханты, удмурты. Проистекать эти параллели могут из тождества основных мировоззренческих постулатов, особенно в мифологической картине мира, свойственных многим архаичным и традиционным обществам. Но одновременно допустима трактовка этих сходств и в плане возможной преемственности (генетической связи) культовых традиций неолитического населения, оставившего святилище Кокшаровской холм, и современных уральских народов.

На основании сопоставления данных относительной и абсолютной хронологии[1] уточнена хронология ранненеолитических кошкинских и кокшаровско-юрьинских (конец VI – рубеж V–IV тыс. до н. э.) и поздненеолитических полуденских и басьяновских комплексов Кокшаровского холма: рубеж V–IV – $^{3}/_{4}$ IV тыс. до н. э. (Шорин, 2009; Шорин, Шорина, 2011). Столь длительный период существования этого святилища также подчеркивает заметную его роль в культовой практике древних насельников Урала как одного из важных центров консолидации разнокультурных общин региона.

Второе направление исследований нашло отражение в монографии Н. М. Чаиркиной «Погребальные комплексы эпохи энеолита и раннего железного века Зауралья (по материалам погребально-культовой площадки Скворцовская гора V)», публикация которой будет осуществлена в конце 2011 г. (Чаиркина, 2011).

Погребально-культовая площадка Скворцовская гора V расположена в Свердловской области, на Шигирском торфянике, где в XIX в. во время добычи золота были найдены уникальные деревянные и костяные изделия, которые легли в основу знаменитой Шигирской коллекции. В археологической литературе Шигирский торфяник длительное время был известен благодаря материалам этой коллекции. Однако потенциал его береговых памятников, среди них – погребально-культовая площадка Скворцовская гора, не менее существенен. В процессе исследования памятника обнаружен многочисленный археологический материал эпохи мезолита – раннего железного века, выявлены энеолитические погребения и погребально-культовые комплексы раннего железного века. На территории Зауралья погребения в литосфере эпохи неолита и раннего металла немногочисленны; для эпохи поздней бронзы – раннего железного века (гамаюнская культура) они неизвестны; единичны для раннего железного века (иткульская культура). Сочетание погребальных комплексов разных эпох с ритуальными комплексами на одном памятнике – Скворцовской горе V – явление крайне редкое.

Используя разные подходы к интерпретации погребальных памятников, которые скорее не отвергают, а дополняют друг друга, проведена реконструкция материальной, духовной и социальной сферы жизни тех древних коллективов, что оставили эти погребальные комплексы.

Погребально-культовая площадка Скворцовская гора V в эпоху мезолита – раннего железного века функционировала, вероятно, как промысловая стоянка. В эпоху энеолита – как погребальная площадка. В могильной яме № 1, форма которой ассоциируется с очертаниями лодки, было захоронено три субъекта: взрослый мужчина (?), взрослый человек и ребенок. Индивидуумы захоронены в скорченном положении и, возможно, обернуты множественными пеленами. В погребении обнаружено большое количество разнообразного сопроводительного инвентаря: костяные подвески и бисер, обломки изделий из кости и костяной гарпун, каменные наконечники стрел, скребки и тесла. Энеолитическое погребение № 2 (останки принадлежат ребенку) с небольшим количеством сопроводительного инвентаря почти полностью разрушено современной ямой. В погребальном обряде этих захоронений фиксируются надмогильное сооружение в виде наброса камней, использование охры и частичная кремация.

Сравнивая данный комплекс с подобными в Зауралье, Нижнем Притоболье и севере Западной Сибири, можно констатировать, что на этой обширной территории в эпоху энеолита бытовали специфические погребальные комплексы, по-разному локализованные и организованные в пространстве. Не одинаковы размеры и формы погребальных конструкций, различна аранжировка и количество сопроводительного инвентаря. Вариабельность погребального обряда, в котором фиксируется наличие нескольких статусных единиц, находящихся явно в неодинаковом (неравном?) положении по отношению друг к другу, вероятно, характеризует сложность исследуемого социума. В погребальном

[1] Использованы радиоуглеродные датировки, полученные сотрудниками Киевской радиоуглеродной лаборатории НАН Украины в результате апробации методов датировки по C^{14}, выделенного из фрагментов керамической посуды. Эти даты успешно коррелируются с датами, полученными по углю в лаборатории археологической технологии Института истории материальной культуры РАН.

обряде не прослеживается ярко выраженная внутренняя стратификация, соответствующая нашему пониманию богатства, что заставляет сомневаться в наличии большого социального неравенства внутри коллективов. С другой стороны, численность и половозрастной состав погребенных не соответствуют размерам поселений, что допускает возможность существования альтернативных форм захоронения для населения, не относящегося к разряду «элиты». Возрастание в общей мировоззренческой концепции роли отдельного человека или группы лиц, отраженное в сонме антропозооморфных изображений, усложнение структуры и направленности ритуальных комплексов; наконец, появление специфичных погребальных комплексов, вероятно, являются показателями существования в энеолитическом социуме нескольких структур: половозрастной, семейно-брачной, мифологической, горизонтальных социальных структур, присущих эгалитарным обществам с элементами социальной иерархии. Сходство погребальной обрядности лесной полосы Восточной Европы, Урала и Западной Сибири, вероятно, обусловлено их общей неолитической, а может быть, и более ранней, генетической подосновой, системой динамичных связей между населением этих регионов.

В эпоху раннего железного века на Скворцовской горе V было сооружено несколько погребально-культовых объектов. Сооружение № 1 маркируется преднамеренным навалом (выкладкой) камней, изделиями из металла (наконечник стрелы и наконечник копья, 5 петельчатых блях, две поясные пряжки) и отдельными мелкими кальцинированными костями человека (см. вклейку: с. 48, ил. 2). Возможно, это полифункциональный объект – специфический клад (искусственный навал камней и скопление изделий из металла) и условно погребальный комплекс (помещены отдельные кости человека).

Погребение № 3 было совершено практически на поверхности. Над черепом человека и под ним обнаружены две бронзовые петельчатые бляхи. В могильной яме погребения № 4 в анатомическом порядке, как и в погребении № 3, располагались только кости нижних конечностей человека, остальные – в сильно фрагментированном состоянии – обнаружены в заполнении и рядом с могильной камерой, размеры которой превосходили «необходимое» для погребения пространство. Над ямой среди скопления камней обнаружен бронзовый нож. В заполнении и на дне камеры найдены развалы двух сосудов 2-го иткульского (исетского) типа раннего железного века.

Практически по всей поверхности раскопа зафиксированы отдельные мелкие кальцинированные кости и их скопления, идентификация большей части которых затруднена. Однако некоторые из них явно принадлежат человеку и могут интерпретироваться как наземные погребения. Степень обожженности и фрагментированности кальцинированных костей скорее указывает на кремацию на стороне и последующее оставление на площадке.

Рассмотренные объекты раннего железного века, вероятно, созданы населением иткульской культуры, возможно, при участии гамаюнских коллективов и аборигенным населением, восходящим к культурам эпохи поздней бронзы Зауралья.

Третья задача, решаемая в ходе выполнения проекта, связана с анализом наскальной живописи Уральского региона. Она нашла отражение в серии опубликованных (Широков, 2009, 2010) и подготовленных к печати монографий и статей. В них подведены итоги изучения наскальных изображений Южного, Среднего и Северного Урала. На Южном Урале выявлено 27 пунктов с древними рисунками, на Среднем и Северном – 54. На территории распространения южноуральских писаниц обнаружены археологические материалы, входящие в один культурный круг со среднезауральскими. Наиболее ранние из них связаны с энеолитом, с такими культурами, как гаринская, аятская, липчинская, суртандинская и кысыкульская. Именно в энеолитических памятниках с керамикой «гребенчатого геометризма», а также на костяных и деревянных изделиях, происходящих из торфяников, известно наибольшее число изображений птиц и копытных на сосудах. Эпоха бронзы характеризуется памятниками черкаскульского и межовского типов, а в Среднем Зауралье и коптяковского. Ранний железный век иткульско-гамаюнскими и гафурийскими комплексами, а раннее Средневековье бакальскими (неволинскими?) материалами. В целом массив наскальных рисунков «укладывается» в энеолит и бронзовый век. Тем не менее есть свидетельства продолжения нанесения рисунков на скалы и их подновления в последующее время, в эпоху Средневековья. Важными с точки зрения преемственности исторической традиции представляются сведения одного из жителей дер. Арасланово о почитании мансийской семьей еще в 60-е гг. XX столетия пещеры у Аракаевской писаницы.

На писаницах Южного и Среднего Урала фиксируются те же приемы выполнения изображений: тонированный силуэт, линейные и контурные рисунки, «рентгеновский» способ моделировки туловища животных. Темы изобразительных мотивов, а также иконография зооморфных и антропоморфных рисунков одинаковы. Но есть и отличия. На Южном Урале отсутствуют «скелетные» антропоморфные существа, а также нарисованные в трехчетвертном развороте. Среди птиц только одна выполнена в линейном стиле, отсутствуют «рент-

геновские» изображения. Нет авиаформ. Своеобразие южноуральским рисункам придают фигуры медведей, один из которых показан оригинальным линейным способом, а второй, с силуэтным туловищем и тремя конечностями, одной передней и двумя задними, в неестественном ракурсе. Неполностью сохранившееся изображение животного на Малоязской писанице, кажется, было нарисовано таким же способом. Набор нефигуративных мотивов схож со среднеуральскими материалами, но «беднее» их. Зафиксирована только одна гребневидная форма, отсутствуют окружности с отрезками-лучами, заштрихованные углы, многоугольные знаки, сетки с многоугольными ячейками. Другие, совпадающие типы мотивов менее вариабельны. Своеобразны на Южном Урале сложные меандры, «чашевидные» знаки и гарпунообразный мотив Тулпаровской писаницы, а также сегменты Малоязской. Тем не менее южноуральские писаницы в сравнении со среднеуральскими имеют много близких черт. Это проявляется как в общности сюжетов – копытные, водоплавающие перелетные птицы, антропоморфные персонажи, так и в их иконографии. Набор нефигуративных мотивов также имеет сходство. Разумеется, есть и заметные различия, однако схемы построения композиций весьма близки. Это позволяет обращаться при интерпретации сюжетов писаниц разных регионов Урала к этнографическим и фольклорно-мифологическим материалам не только обских угров, но шире, народов уральской языковой семьи, а, учитывая их постоянные контакты с предками индоевропейцев и алтайцев, также и к их культурному наследию. Антропологические остатки немногочисленных погребений в скальных убежищах и пещерах Урала также не противоречат этому выводу. Все они могут быть причислены к уральскому антропологическому типу.

Предложена объяснительная гипотеза создания рисунков на скалах, согласно которой гора/скала выступала как поле напряженного взаимодействия основных сфер мироздания, «стягивая» их смыслообразующие локусы, порождая особое, сакральное пространство или социальный пейзаж для мифоритуальной практики древнего уральского населения, выступая своеобразной моделью мира.

Разработаны вопросы, связанные с воссозданием содержания композиционных структур в наскальных изображениях Урала. Опираясь на утвердившиеся в научной среде представления о существовании в древности мифологического (мифопоэтического) мышления и аутентичной им картине мира, предложены новые варианты интерпретации древних рисунков с позиций мифа и ритуала. Особое значение имеют выделенные композиции «змея–копытное–птица», в различных вариантах воспроизводящие с помощью данного зооморфного кода структуры модели мира древних уральцев, их представления о пространственно-временном континууме и связанных с ними мифологическими представлениями.

Рисунки на скалах – это лишь часть сложной обрядово-ритуальной практики древнего населения Урала, фрагменты которой сохранились до настоящего времени в культуре коренных народов Урала и, шире, народов Севера. Их мифология и фольклор вместе с традиционными представлениями и культами прокладывают зыбкий путь познания в прошлое, которое не явлено нам в непосредственном опыте, а потому и не поддается однозначной верификации. Отсюда, а также исходя из многозначности изображений, лишенных письменного или вербального контекстов, следует вывод, согласно которому мы не в состоянии построить одну единственно верную реконструкцию содержания воспроизведенных на скалах фигур. Многоверсионные попытки истолкования наскального искусства необходимы еще и в силу иной логики, ее называют первобытной, мифологической, мифопоэтической, языческой и т. п., в соответствии с которой строились культурные коды создателей древних изображений.

Наскальные рисунки отражают в целом две важнейшие темы: привлечение добычи в ловушки и удержание ее в них; весеннее оживание природы и идея увеличения количества рыбы и зверя. Некоторые композиции отражают анимистические и тотемистические представления, связанные с идеей размножения в едином комплексе с весенним оживанием природы и растительности и появлением потомства, а также предками генеалогических групп, изображенными в момент исполнения ими танцев для счастья и удачи в промысле. Помимо этого, обоснована связь фигур и композиций с мифологическими представлениями древних уральцев и шаманской идеологией, а также их мемориальная функция. Вслед за В. Н. Чернецовым подчеркивается связь наскальных изображений с календарной обрядностью их творцов. Однако акцентируется внимание на том, что одной из важнейших особенностей такой обрядности было воспроизведение в ритуале космогонических/космологических мифов.

Список литературы

Викторова В. Д. Древние угры в лесах Урала (страницы ранней истории манси). Екатеринбург: Квадрат, 2008. 208 с.

Викторова В. Д. Тайны Верх-Исетского гранитного массива // Наука. Общество. Человек. Вестник Уральского отделения РАН. 2010. № 4. С. 107–115.

Культовые памятники горно-лесного Урала. Екатеринбург: УрО РАН, 2004. 432 с.

Кернер В. Ф. О некоторых фрагментах мировидения неандертальцев Европы // Наука. Общество. Человек. Вестник Уральского отделения РАН. Екатеринбург, 2010. № 4. С. 99–106.

III Международный Северный археологический конгресс. Доклады. 8–13 ноября 2010. Ханты-Мансийск. Екатеринбург: ИД «ИздатНаукаСервис», 2010. 328 с.

III Международный Северный археологический конгресс. Тезисы докладов. 8–13 ноября 2010. Ханты-Мансийск. Екатеринбург: ИД «ИздатНаукаСервис», 2010. 374 с.

Миф, обряд и ритуальный предмет в древности. Екатеринбург; Сургут: Магеллан, 2007. 260 с.

Чаиркина Н. М. Энеолит Среднего Зауралья. Екатеринбург: УрО РАН, 2005. 314 с.

Чаиркина Н. М. Погребальные комплексы эпохи энеолита и раннего железного века Зауралья (по материалам погребально-культовой площадки Скворцовская гора V). Екатеринбург: УрО РАН, 2011. В печати.

Широков В. Н. Уральские писаницы. Реки Реж и Ирбит. Екатеринбург: Банк культурной информации, 2007. 80 с.

Широков В. Н. Уральские писаницы. Южный Урал. Екатеринбург: Изд-во АМБ, 2009. 128 с.

Широков В. Н., Чаиркин С. Е., Чемякин Ю. П. Уральские писаницы. Река Нейва. Екатеринбург: Банк культурной информации, 2000. 50 с.

Широков В. Н., Чаиркин С. Е., Широкова Н. А. Уральские писаницы. Река Тагил. Екатеринбург: Банк культурной информации, 2005. 110 с.

Широков В. Н. Уральские писаницы. Южный Урал. Екатеринбург: Изд-во АМБ, 2009. 128 с.

Широков В. Н. Композиции с рисунками птиц, копытных и змей в наскальных изображениях Урала // Уральский исторический вестник. Екатеринбург, 2010. № 1 (26). С. 92–99.

Шорин А. Ф. Хроностратиграфия неолитических комплексов Кокшаровского холма в Среднем Зауралье: Матер. междунар. научн. конф., посвященной 100-летию Н. Н. Гуриной // Взаимодействие и хронология культур мезолита и неолита Восточной Европы. СПб.: ИИМК РАН, МАЭ РАН, 2009. С. 176–178.

Шорин А. Ф. Маркеры сакрального пространства святилища Кокшаровский холм // Уральский исторический вестник. 2010. № 1 (26). С. 32–42.

Шорин А. Ф., Вилисов Е. В., Круземент С. А., Шорина А. А. Древнее святилище на холме // Наука. Общество. Человек: Вестник Уральского отделения РАН. Екатеринбург: УрО РАН, 2009. № 3 (29). С. 95–101.

Шорин А. Ф., Чаиркина Н. М., Широков В. Н. Археологические памятники Урала в контексте древнего культурного наследия Евразии // Наука. Общество. Человек: Вестник Уральского отделения РАН. Екатеринбург: УрО РАН, 2011. № 2 (36). С. 117–123.

Шорин А. Ф., Шорина А. А. Хроностратиграфия неолитических комплексов святилища Кокшаровский холм // Археология, этнография и антропология Евразии. 2011. № 3 (47). С. 70–77.

Vjačeslav E. Ščelinskij, Vladimir N. Širokov. Höhlenmalerei im Ural. Kapova und Ignatievska. Die altsteinzeitlichen Bilderhöhlen im Südlichen Ural.Thorbecke, 1999. 170 с.

Список сокращений

ИИМК РАН – Институт истории материальной культуры Российской академии наук

МАЭ РАН – Музей антропологии и этнографии Российской академии наук

УрО РАН – Уральское отделение Российской академии наук

РАЗДЕЛ 2. АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ДРЕВНОСТИ РОССИИ

И. В. Ковтун

«ШАМАНСКИЕ» КОМПОЗИЦИИ ПИСАНИЦ р. ТОМИ

С 2005 г. Нижнетомским отрядом Кузбасской археологической экспедиции Института экологии человека СО РАН ежегодно проводятся комплексные изыскания на писаницах Нижнего Притомья и расположенных вблизи них археологических памятниках. Результатом полевых петроглифических работ стало открытие ранее неизвестных и существенное уточнение зафиксированных в 60-х гг. XX в. наскальных рисунков и композиций. Одним из итогов анализа полученных петроглифических материалов стало переосмысление содержания некоторых известных или уточненных композиций, а также смысловая интерпретация наскальных рисунков, обнаруженных участниками наших экспедиций. Так, среди изображений Томской, Новоромановской и Тутальской писаниц, а также местонахождения Крутая II, выделяется серия различных композиций, сюжеты которых, вероятно, связаны с шаманскими практиками.

Камлание и путешествие в Верхний мир

На Новоромановской писанице обнаружены два оригинальных лосеподобных образа без рогов, переданные стоящими на задних ногах. Данные изображения не имеют аналогов в нижнетомских петроглифах. Смысловое значение этих персонажей изобличает не характерная для животного поза и сопутствующие им атрибуты и аксессуары. Один из лосей «солнцеголов» и передан с «жезлом» в «руке» (см. вклейку: с. 49, ил. 1; с. 50, ил. 4,*2*). «Солнцеголовость» скорее всего указывает на связь данного персонажа с солнцем и Верхним миром. Второй же подобный «лось» наделен длинным вертикально задранным и распушенным хвостом, а его ноги вплотную примыкают к запечатленной под ним вертикальной «лестнице», напоминающей обыкновенную стремянку. Симптоматичной чертой данной конструкции являются семь поперечных «ступеней» (см. вклейку: с. 49, ил. 2, с. 50, ил. 3). Перечисленные изобразительные детали удостоверяют, что эти антропозооморфные или антропозооорнитоморфные сложные образы не имеют непосредственного отношения к обычным животным. Неестественно задранный кверху хвост второго лосеподобного персонажа, стоящего на двух ногах, выдает в нем человека, изображающего лося с птичьим хвостом (см. вклейку: с. 50, ил. 3). Аналогичный вывод, вероятно, справедлив и в отношении «лося с жезлом». Этот «лось» также не имеет рогов, но увенчан «солнечными» лучами. Рога лося являются символом теплого времени года. Поэтому здесь могут быть представлены лосиха, лосенок либо зимний безрогий лось. Наличие «солнечного» нимба склоняет меня к версии, по которой переодетый «солнцеголовым» лосем человек (шаман?) мог изображать известный сюжет о похищении зимой лосем (или лосихой) солнца и погоне за космическим животным, длящейся до весны. Тем более, что и фигура преследователя – лыжника, также расположена рядом с лосеподобным персонажем (см. вклейку: с. 49, ил. 1).

Подобные ритуальные переодевания – маскировки – неоднократно описывались исследователями сибирского шаманизма и связаны с шаманскими облачениями перед путешествиями при камлании в иные миры. Для подобных перемещений камы использовали и специальную «транспортную» атрибутику: чаще бубен или лыжи, реже – жезл. По словам селькупских шаманов, шаманский жезл изображает «дерево жизни» самого шамана. По этому дереву шаман поднимается в Верхний мир. «У селькупов в Тазовской тундре до последнего времени сохранились столбы – «сырысä по» – лестницы, по которым шаман “поднимался на небо”» (Прокофьева, 1940. С. 374). Возможно, именно такой жезл запечатлен в руке переодетого лосем шамана Новоромановской писаницы.

Одним из средств достижения Верхнего мира, символом которого и являлся лось, была особая лестница, по которой шаман взбирался наверх. Так, верховное божество алтайцев Ульгень живет за месяцем, солнцем, выше звезд. Путь к нему лежит через семь (или девять) препятствий. Он доступен только шаманам-мужчинам во время камлания. При этом шаман достигает только пятого препятствия и возвращается обратно (Анохин, 1924. С. 9). Комментируя эти наблюдения А. В. Анохина,

М. Элиаде отмечает: «Шаман взбирается на дерево или столб с семью или девятью тапты (ступенями-зарубками), представляющими семь или девять небесных уровней. “Препятствия”, пудак, которые он должен преодолеть, в действительности, как заметил Анохин, являются небесами, которых шаман должен достичь» (Элиаде, 2000. С. 257). Кроме этого, автор упоминает имеющие семь надрезов Космические Столпы, т. е. Мировое дерево остяков. Салимские (сымские – юги ? – *И.К.*) остяки, принося кровавые жертвы, делают на этом столпе семь надрезов. Этот столп уподобляется «чистому Серебряному Святому Столбу, разделенному на семь частей» из вогульских (мансийских) легенд, к которому сыновья верховного божества привязывают своих коней, когда посещают отца (Элиаде, 2000. С. 257, 267). М. Элиаде указывает на представления манси о достижении неба по лестнице из семи ступеней, а также на воззрения хантов, говорящих о семи богах и о семи небесах, констатируя, что «по всей юго-восточной Сибири распространена концепция семи небес» (Элиаде, 2000. С. 257–258). Действительно, в мифологической модели мира обских угров встречаются упоминания о лестнице или столбе, по которым можно подняться на небо. Здесь «на седьмом небе» в огромном светлом доме живет верховный бог Нуми-Торум (Айхенвальд, Петрухин, Хелимский, 1982. С. 179–180). Полагаю, именно такая вертикальная лестница, насчитывающая семь поперечных «ступеней», ведущих к месту обитания верховного божества, и изображена у ног переодетого лосем с птичьим хвостом новоромановского шамана. Последняя принадлежность также не случайна, т. к. в своем полете в Верхний мир шаман уподобляется не только мифологическому обитателю этой сферы – Космическому Лосю (Лосихе), но и его естественным насельникам – птицам. Так, например, костюм якутского шамана «представляет шкуру птицы», а отдельный аксессуар изображал хвост (Васильев, 1910. С. 42–43).

Схожие представления зафиксированы и у других коренных народов Сибири. У ненцев священный шест сымзы, на котором держится надочажное устройство, обычно отмечается семью, вырезанными на нем головами или личинами. По нему в преданиях взбирается в небо шаман, к которому слетаются призванные камланием духи. Само же небо состоит из семи священных земель (Головнев, 1995. С. 213, 217, 431). Верховное божество кетов Есь обитает выше седьмого неба в прозрачном, как стекло, дворце. Раньше выше седьмого неба обитала и жена Еся Хоседем, но ушла от него, став супругой месяца, за что вместе со своими слугами была низринута Есем на землю (Анучин, 1914. С. 3). Аналогичная измена с аналогичным персонажем сыграла роковую роль и в судьбе сброшенной Нуми-Торумом на землю матери Мир-сусне-хума Калтащь-эквы (см., напр.: Головнев, 1995 С. 550; и др.). Сходство дополняется одинаковым количеством сыновей, которых и у Хоседем, и у Калтащ-эквы насчитывается по семь. Как уже отмечалось, именно в угорской мифологии существует представление о семиступенчатой лестнице, ведущей на «седьмое небо».

В традиционных представлениях кетов земля имеет вид плоского диска, над которым простираются семь небес и под которым располагаются семь подземелий, что изображалось на внешней стороне шаманского бубна (Анучин, 1914. С. 14), своеобразном «путеводителе» кама по иным мирам. Верхний мир эвенков находится на востоке, дальше верховий соединяющей Нижний мир с Верхним мифической реки энгдекит, выше семи «туч» – шаманских небес (Василевич, 1957. С. 151). Нарымские селькупы верили, что от Земли до Неба растет семикорневое дерево с семью змеями-караульщицами в корнях, имевшее по семь сучьев на солнечной и ночной сторонах, по которому на небо доходят просьбы и жалобы людей. Зафиксировано у селькупов и представление о «седьмом небе», куда ведет лестница из земли шаманов (Головнев, 1995. С. 518, 525–526).

Приведенные представления сибирских народов М. Элиаде сопоставил с воззрениями ведийских ариев, у которых: «жертвенный столб (юпа) сделан из дерева, отождествляемого с Мировым Древом... Жертвенный столб становится чем-то вроде космической опоры: “Вознесись о ванаспати (Господин леса), на верхушку Земли!” – призывает его Ригведа...» По этой космической опоре жрец поднимается на Небо, сам или со своей женой. *Приставляя лестницу к столбу*, он обращается к жене: «Поднимемся на небо!..» (Элиаде, 2000. С. 369). Истоки же индоарийской концепции «семи небес» исследователь связывает «с влиянием вавилонской космологии, которая – хоть и косвенным образом – оставила свой отпечаток также на алтайских и сибирских концепциях» (Элиаде, 2000. С. 370).

Таким образом, на Новоромановской писанице изображена мизансцена, к смысловому содержанию которой восходят обско-угорские и, возможно, ненецкие, кетские, а также эвенкийские представления о «семи небесах» и о шаманской лестнице или шесте, использовавшихся камом для достижения различных небесных уровней. Установленная М. Элиаде типологическая близость мифологии Ригведы и евразийского шаманизма (Огибенин, 1968. С. 78–79; Элиаде, 2000), в свою очередь, позволяет проводить параллель между упомянутой ведийской мифологической доктриной, сопровождающейся ритуалом вознесения жреца и рассматриваемой композицией Новороманновской писаницы. Вероятно, на притомских скалах запечатлены следы

индоарийского влияния, время которого, по моему мнению, приходится на период распространения сейминско-турбинских бронз в финале III – первых веках II тыс. до н. э. (Ковтун, 2011. С. 331–338; и др.). Установленные ранние индоарийские заимствования в финно-угорских языках (Абаев, 1972. С. 27–29, 36; Гиндин, 1974. С. 154; Абаев, 1981. С. 84–86; Лелеков, 1982. С. 157; Кузьмина, 1997. С. 186; и др.) удостоверяют взаимодействие носителей данных диалектов. При этом именно мифология обских угров демонстрирует наличие двух ключевых составляющих новороmановской композиции, где присутствует семиступенчатая лестница и показана возможность человека подняться по ней до «седьмого неба». Следовательно, у этой шаманской мизансцены, вероятнее всего, «двойное авторство», объединяющее угорский (протоугорский) и индоарийский субстраты.

Шаман-лыжник и «оживление» бубна

Это одно из самых известных изображений Томской писаницы, к сожалению, так и не получившее исчерпывающего истолкования (см. вклейку: с. 50, ил. 5). Авторы первой публикации изображения полагали, что это: «фигура человека со звериной головой, сгорбленным, наклоненным вперед телом. В правой руке существо держит большой круг, похожий на петлю для ловли зверя или бубен. В другой руке у него палка. Ноги немного пригнуты в коленях и широко расставлены. На ногах надеты лыжи с загнутыми спереди концами. Человек легко идет на лыжах, упираясь палкой» (Окладников, Мартынов, 1972. С. 53). Авторы предполагали, что здесь, возможно, изображен «космический» охотник, преследующий «космического» оленя-солнце (Окладников, Мартынов, 1972. С. 215). Микалентная копия изображения, выполненная Е. А. Миклашевич, проявила новые детали персонажа и его атрибутов. Голова человека оказалась не «звериной», а скорее орнитоморфной, с ниспадающим сзади «локономхохолком», как у серой цапли (?), длинным «носомклювом» (?) и контррельефно выделенным глазом. «Горбатость» оказалась изогнутой в локте рукой, сжимающей у пояса лыжный посох. Подовальный атрибут, удерживаемый персонажем в вытянутой по направлению его движения руке, оказался не с одним, а с двумя ниспадающими линиями, напоминающими «веревку», перекинутую и свисающую с обечайки бубна (см. вклейку: с. 50, ил. 5). Если абстрагироваться от аксессуаров персонажа, включая лыжное снаряжение, то его поза и отчасти головной убор, как маска, соответствуют позе и головным уборам – маскам «пляшущих человечков» Томской и Новороmановской писаниц (см. вклейку: с. 50, ил. 4,*2,* 4,*3*). Все эти образы объединяет характерная поза на присогнутых ногах с одной рукой, отброшенной за спину, иногда с кистью у пояса, и другой, вытянутой вверх и(или) вперед. В иконографии перечисленных изображений имеются симптоматичные черты, присущие т. н. антропоморфам в грибовидных головных уборах (см. вклейку: с. 50, ил. 4,*4–7*): профильная проекция образов, полусогнутые ноги, особенное положение рук и необычные головные уборы (см. вклейку: с. 50, ил. 4,*2–7*) (Ковтун, Марочкин, Русакова, 2010. С. 92–93). Применительно к лыжнику Томской писаницы сходство дополняется наличием одного атрибута в вытянутой вперед руке и поддерживанием другого атрибута у пояса рукой, отброшенной за спину (см. вклейку: с. 50 ил. 4,*4–7*, 5). Время бытования изображений грибоголовых антропоморфов определено мною по сопутствующим им типам копий, ножа и кинжала от постсейминского времени до эпохи поздней бронзы включительно (Ковтун, 2009. С. 237–242). Думается, к нижнему горизонту этого периода следует относить рассматриваемый рисунок лыжника с Томской писаницы.

Содержание данного образа олицетворяет его атрибутика: лыжи, посох, головной убор – маска и большой подовальный предмет в вытянутой руке (см. вклейку: с. 50, ил. 5). Лыжи и посох указывают на сезонное время запечатленного действия: поздняя осень, зима или ранняя весна; а головной убор – маска и округлый предмет в вытянутой руке – на характер самого действа. Предполагаемая идентификация последнего атрибута в качестве бубна обусловлена внешним схематичным сходством изображенного предмета с шаманскими бубнами народов Северной Азии и противоречивостью его интерпретации как петли или аркана. Петля безусловно использовалась при охоте на зверя. Но данное приспособление не требует такой очевидной манифестации, которая придана подовальному предмету в руке лыжника. Рука персонажа вытянута вперед, а демонстрируемый атрибут возвышается над его головой, обозначив кульминационную точку всей композиции. Он знаменует движение лыжника, предшествуя и направляя (?) его продвижение в сторону истока реки (согласно ориентации на скальной плоскости) и, судя по диагональному наклону передней лыжи, вверх. Сомнительно, чтобы изобразительная передача тривиального охотничьего приспособления сопровождалась столь пафосной символизацией. Скорее всего здесь представлено олицетворение самого лыжника-шамана – шаманский бубен. Отсутствие рисунков и подвесок на бубне шамана-лыжника, вероятно, не исключает указанной интерпретации данного изображения, т. к. известно, что «у остяков и самоедов Западной Сибири на внешней поверхности бубна нет ни одного рисунка», а «угорским народам не-

известны рисунки на шаманских бубнах» (Элиаде, 2000. С. 164, 166).

Тем не менее окончательно исключать альтернативную версию пока преждевременно. Аркан и путы являются атрибутами двух ведийских божественных персонажей: царя мертвых – Ямы и Варуны (Невелева, 1975. С. 80). Поэтому, судя по выявленному мною в материалах нижнетомских писаниц индоарийскому субстрату, культурно-историческая атрибуция многих изображений требует принципиально иного подхода.

Головной убор – маска шамана-лыжника снабжена прорезью для глаз, переданной контррельефно. Не исключено, что ниспадающий сзади головы «локон-хохолок» может оказаться не имитацией затылочного оперения головы серой цапли, а обычными завязками шаманской налобной повязки, например, как у кетских шаманов (Анучин, 1914. С. 36). Маски – не самый распространенный атрибут в экипировке североазиатских шаманов. Но часто их функцию выполняют особые головные уборы, платки и т. п., полностью закрывающие голову и лицо шамана (Элиаде, 2000. С. 160–161). Возможно, подобный головной убор-маска закрывает лицо идущего на лыжах шамана Томской писаницы.

Небезынтересные параллели атрибутике томского шамана-лыжника обнаруживаются в селькупской этнографии. Полный костюм селькупского шамана включал в себя жезл «сомпыль тӱры» – шаманский посох («тӱры» – лыжный посох). Такую часть шаманского костюма имели не все шаманы, а только наиболее избранные получают от духов-предков приказание иметь «сомпыль тӱры». Эти немногие шаманы знают самую трудную дорогу в страну предков. Посох необходим шаману и как лыжный посох при переходе через ущелья в горах, теснины, и как оружие в борьбе с врагами (Прокофьева, 1949. С. 373). Селькупский шаман, спасающий своего сына, шаманит всю ночь, а утром: «Взял бубен и надев шаманский костюм, он встал на лыжи и отправился в путь... Он шел и пел свои песни. Шел так, будто кто-то ему подсказывал правильный путь» (Головнев, 1995. С. 505). При таком соответствии на Томской писанице запечатлен выдающийся представитель и старейшина своего цеха – «большой» и «сильный» шаман, решающий самые сложные проблемы соплеменников. Примечательно, что именно на бубнах «больших» селькупских шаманов рисунки часто вовсе отсутствовали (Прокофьева, 1949. С. 347). Шаман-лыжник направляется в сторону истока реки, где по представлениям многих сибирских народов находится Верхний мир (Мелетинский, 2006. С. 217). Бубен впереди шамана, возможно, исполнял роль чудесного «транспортного» средства и(или) «проводника-путеводителя» кама. Так, например, великий кетский шаман Дох поднимается на своем бубне, превратившемся в облако на небо (Анучин, 1914. С. 8). В представлениях селькупов бубен шамана являлся «живым оленем», на котором шаман путешествовал в Верхний мир. Одновременно бубен служил и «лодкой» шамана (Прокофьева, 1949. С. 350, 352). У других сибирских народов шаманский бубен также позволял шаману «летать» в пространстве, в качестве «тягловой силы» и «ездового» средства ассоциируясь с оленем, конем, козлом и т. п. (Прокофьева, 1949. С. 354; Прокофьева, 1981. С. 52; Элиаде, 2000. С. 161, 165; и др.). Не эти ли чудесные способности шаманского бубна обусловили нарочито акцентированное, кульминационное место данного изображения в композиции? Бубен запечатлен впереди и выше головы шамана, рука которого скорее держится за свисающее с обечайки бубна одно из двух окончаний «веревки», чем сама поддерживает его. Визуальный эффект, достигаемый данным изобразительным приемом, призван передать «буксировку» шамана-лыжника бубном. Шаман не держит бубен за располагавшиеся внутри него рукоять, кольцо или крестовину, а ухватился за один из концов, свисающих с обечайки бубна «веревки» (?), как за недоуздок. Бубен «летит», и шаман-лыжник едет-«летит» вслед за ним, держась за него. «Летит» в сторону истока реки и вверх, что подчеркнуто диагональной проекцией передней лыжи, провисшей при подъеме ступающей «в гору» ноги и расположением бубна выше головы ведомого им кама. Поэтому не он, а бубен главный персонаж всей мизансцены.

В чем же причина столь пристального внимания создателя композиции к основному шаманскому атрибуту? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо понять, когда происходит запечатленное действо. Лыжный период на юге Западной Сибири охватывает сравнительно продолжительный промежуток с поздней осени до ранней весны, т. е. с ноября по март–апрель. Но конструкции лыж для разных снежных сезонов у народов Сибири также различались между собой. Высота лыж шамана Томской писаницы несколько ниже высоты его пояса, что чрезвычайно мало для полноценного лыжного снаряжения. Судя по данному признаку, это скорее всего скользящие неподшитые мехом лыжи – голицы. Они отличались меньшей длиной сравнительно с подшитыми лыжами, но на них также ходили с посохом. На этот же тип лыж указывает и способ крепления ноги. Высоко оторвавшиеся от поверхности лыж пятки лыжника, вероятно, удостоверяют характерное для голиц крепление только петлей носка, тогда как подшитые лыжи имели двухпетельное или даже трехпетельное крепление, в котором закреплялась ступня и пятка. Именно такие, неподшитые лыжи – голицы использовались

при весенней охоте по талому снегу и насту, а также на короткие расстояния, возле дома, и женщинами или детьми (Антропова, 1953. С. 13, 15, 17, 18, 33). Подобная специализация нашла отражение даже в календарной системе южных селькупов, обозначавших апрель, как «месяц, когда ходят на клееных необшитых лыжах», или «в одной ноге лыжа, в другой голица», «половина на лыжах, половина на голицах» (Колесникова, 2010. С. 70). Метафоричное упоминание об «одновременном» использовании обоих типов лыж отражает переходность календарного периода, смену времен года, охотничьих сезонов и экипировки. Соответственно и голицы представлялись вещным символом подобного переходного ранневесеннего состояния. Поэтому их изображение в рассматриваемой мизансцене представляется указанием на календарное время запечатленного действа, приходящееся на март или апрель.

Именно к этому периоду селькупы приурочивали церемонию «оживления» шаманского бубна, происходившую весной (изредка осенью) в дни весенних перелетов птиц. «Оживление» бубна являлось коллективным праздником, на который съезжались даже родичи издалека. Новый бубен «оживляли», чтобы он стал «настоящим» и на нем можно было камлать. Процедура считалась сложной, и для ее проведения приглашался старый и опытный шаман, знающий трудную дорогу. Праздник длился семь дней. В первые дни шаман «собирал» оленя, из шкуры которого сделан бубен, и «оживлял» его. Затем шаман собирал своих духов-помощников и «показывал бубну-оленю дорогу на юг, к предкам». Путь был сложным и долгим. В земле кузнецов шаман получал подвески к бубну, а у конечного пункта – растущего высоко в горах «божьего рождающего солнечного духово-дерева» приносились жертвы (Прокофьева, 1949. С. 350–351). Как и селькупский кам, шаман-лыжник Томской писаницы «движется» в южном направлении, точнее на юг-юго-восток, к Верхнему миру. У него имеется атрибут, указывающий на опыт и силу для проведения такой сложной церемонии – посох. Подобно оленю-бубну селькупского шамана его также влечет за собой «летящий» бубен, который, как и новый бубен селькупского кама, не имеет подвесок, т. к. шаман-лыжник пока не достиг всех целей своего путешествия. Аналогичный обряд известен у кетов и бурят (Прокофьева, 1981. С. 52) и, возможно, архаичные элементы данных церемоний восходят к изображению шамана-лыжника с бубном на Томской писанице.

В искусстве эпохи бронзы Северо-Западной Азии идея чудесной или экстремальной буксировки лыжника имеет еще одно изобразительное воплощение. Она запечатлена в известной скульптурной группе навершия выгнутообушкового ножа из могильника Ростовка. Здесь облеченный жреческими прерогативами культурный герой или изображающий его шаман, социальный лидер и т. п. совершает ритуальный заезд на лыжах за жертвенным конем. Буряты, сойты, якуты, а также, видимо, алтайцы считали бубен шаманским «конем», а аналогичный его «оживлению» бурятский обряд освящения конных тростей также превращал их в «живых» коней (Васильев, 1910. С. 45; Прокофьева, 1981. С. 52; Элиаде, 2000. С. 165). В свою очередь селькупы считали, что бубен можно приносить в жертву за душу человека, как живого оленя (Прокофьева, 1949. С. 351). Поэтому бубен наделялся не только транспортно-тягловыми функциями коня и оленя, но и жертвенным потенциалом данных животных. Параллелизм перечисленных смыслов сводится к различной обрядовой интерпретации, эпохально схожей мировоззренческой доктрине в различной культурной среде. Ростовкинского лыжника, кстати, тоже едущего на голицах, буксирует лошадь, а шамана-лыжника Томской писаницы влечет за собой заменяющий ее бубен.

Список литературы

Абаев В. И. К вопросу о прародине и древнейших миграциях индоиранских народов // Древний Восток и античный мир. Сб. статей, посвященный проф. В. И. Авдиеву. М.: Изд-во Московского ун-та, 1972. С. 26–37.

Абаев В. И. Доистория индоиранцев в свете ариоуральских контактов // Этнические проблемы истории Центральной Азии в древности (II тыс. до н. э.). М.: Наука. Главная редакция восточной литературы, 1981. С. 84–89.

Айхенвальд А. Ю., Петрухин В. Я., Хелимский Е. А. К реконструкции мифологических представлений финно-угорских народов // Балто-славянские исследования. 1981. М.: Наука, 1982. С. 162–192.

Анохин А. В. Материалы по шаманству у алтайцев, собранные во время путешествий по Алтаю 1910–1912 гг. по поручению Русского Комитета для изучения Средней и Восточной Азии // Сборник Музея антропологии и этнографии при Российской Академии наук. Л.: Изд-во Российской Академии наук, 1924. Т. IV. 2. 148 с.

Антропова В. В. Лыжи народов Сибири // Сборник Музея антропологии и этнографии. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1953. Т. XIV. С. 5–36.

Анучин В. И. Очерк шаманства у енисейских остяков // Сборник Музея антропологии и этнографии при Императорской Академии наук. СПб.: Типография Императорской Академии наук, 1914. Т. II. 2. 90 с.

Василевич Г. М. Древние охотничьи и оленеводческие обряды эвенков // Сборник Музея антропологии и этнографии. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1957. Т. XVII. С. 151–185.

Васильев В. Н. Шаманский костюм и бубен у якутов // Сборник Музея по антропологии и этнографии

при Императорской Академии наук. СПб.: Типография Императорской Академии наук, 1910. Т. VIII. 47 с.

Гиндин Л. А. Некоторые ареальные характеристики хеттского. II (К балкано-хетто-лувийским изоглоссам в преданатолийский период) // Этимология.1972. М.: Наука, 1974. С. 149–159.

Головнев А. В. Говорящие культуры: традиции самодийцев и угров. Екатеринбург: УрО РАН, 1995. 606 с.

Ковтун И. В. О датировке антропоморфов в грибовидных головных уборах // Вузовская научная археология и этнология Северной Азии. Иркутская школа 1918–1937 гг.: Материалы всероссийского семинара, посвященного 125-летию Б. Э. Петри. Иркутск: Амтера, 2009. С. 237–242.

Ковтун И. В. Индоарийские диалекты и сейминско-турбинские бронзы // Этническая история и культура тюркских народов Евразии. Омск: Издатель-Полиграфист, 2011. С. 331–338.

Ковтун И. В., Марочкин А. Г., Русакова И. Д. Археологические комплексы в устье р. Долгая и культурно-хронологическая атрибуция петроглифов Новороmановской писаницы // Материалы научной сессии ИЭЧ СО РАН 2010 года. Кемерово, 2010. Вып. 2. С. 84–95.

Колесникова С. Ю. Календарь в традиционной культуре селькупов. Томск: Изд-во Томского политехнического ун-та, 2010. 136 с.

Кузьмина Е. Е. Финно-угры и индо-иранцы: динамика культурных связей // Балто-славянские исследования 1988–1996. М.: Индрик, 1997. С. 184–190.

Лелеков Л. А. Термин «арья» в древнеиндийской и древнеиранской традициях // Древняя Индия. Историко-культурные связи. М.: Наука, 1982. С. 149–163.

Мелетинский Е. М. Поэтика мифа. 4-е изд., репр. М.: Вост. лит-ра, 2006. 407 с.

Невелева С. Л. Мифология древнеиндийского эпоса (пантеон). М.: Наука, 1975. 118 с.

Огибенин Б. Л. Структура мифологических текстов «Ригведы» (Ведийская космогония). М.: Наука, 1968. 115 с.

Окладников А. П., Мартынов А. И. Сокровища томских писаниц. Наскальные рисунки эпохи неолита и бронзы. М.: Искусство, 1972. 255 с.: 38 ил.

Прокофьева Е. Д. Костюм селькупского (остяко-самоедского) шамана // Сборник Музея антропологии и этнографии. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1949. Т. XI. С. 335–375.

Прокофьева Е. Д. Материалы по шаманству селькупов // Проблемы истории общественного сознания аборигенов Сибири (по материалам второй половины XIX – начала XX в.). Л.: Наука, 1981. С. 42–68.

Элиаде М. Шаманизм: архаические техники экстаза. Киев: София, 2000. 480 с.

Kubarev V. D., Jacobson E. Répértoire des pétroglyphes d'Asie Centrale. Sibirie du sud 3: Kalbak-Tash I (République d'Altai). Paris, 1996. № 3. XXIII + 15 pl., 45 p., 662 fig.

И. П. Лазаретов, А. В. Поляков, Ю. Н. Есин, Н. И. Лазаретова

НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ОКУНЕВСКОГО КУЛЬТУРНОГО ФЕНОМЕНА

Окуневская культура Хакасско-Минусинской котловины, несомненно, представляет собой один из наиболее ярких феноменов в ряду археологических культур степной Евразии эпохи ранней и средней бронзы. Монументальные курганные сооружения, разнообразные могильные конструкции, динамичный погребальный обряд, многочисленный инвентарь, а главное – великолепное и разноплановое окуневское искусство традиционно привлекают пристальное внимание ученых к этой весьма немногочисленной группе памятников. Окуневской проблематике уже посвящено несколько коллективных монографий, отдельных тематических сборников и сотни статей. Едва ли найдется еще одна археологическая культура сопоставимого масштаба, материалы которой были бы практически полностью опубликованы и введены в научный оборот. Тем не менее вопросы происхождения, датировки и антропологической характеристики населения окуневской культуры по-прежнему остаются дискуссионными. В сложившейся ситуации каждый новый исследованный памятник способен коренным образом изменить наши представления о формировании и путях развития этого неординарного культурного феномена.

В 2009–2011 гг. в рамках программы фундаментальных исследований Президиума РАН «Историко-культурное наследие и духовные ценности России» по проекту «Формирование окуневского культурного феномена» были раскопаны четыре окуневских кургана уйбатского (раннего) этапа культуры, содержавших свыше 40 захоронений различной степени сохранности (Уйбат-Чарков, к. 1; Красный Камень, к. 1; Итколь II, к. 14 и к. 26).

Особый интерес вызывает архитектурный комплекс кургана 1 могильника Красный Камень, где

квадратная ограда размерами 12,5 на 12,5 м, имевшая дополнительные диагональные каменные выкладки, оказалась вписана в кольцо из менгиров диаметром 60 м. Судя по уцелевшим плитам, образующие его вертикальные камни устанавливались на удалении около 7 м друг от друга и были обращены широкой плоскостью к центральному захоронению. В пределах этого кольца к востоку от кургана располагалась прямоугольная ритуально-поминальная площадка размерами 6 на 6 м, оконтуренная врытыми на ребро плитами. Подобные ритуальные оградки, не содержащие захоронений, ранее были выявлены у целого ряда окуневских погребальных комплексов (Поляков, 2010). По своей архитектуре курган 1 могильника Красный Камень представляет практически точную, слегка уменьшенную копию известного окуневского комплекса Туим-Кольцо (Кызласов, 1987). Не исключено, что и другие окуневские ограды с диагональными кладками могли быть вписаны в аналогичные кольцевые сооружения из отдельно стоящих менгиров. Примечательно, что в центральных могилах четырех из шести исследованных курганов с диагональными каменными выкладками, где удалось определить половую принадлежность погребенных, оказались захоронены женщины репродуктивного возраста. Центральные могилы других окуневских курганов содержали индивидуальные мужские или коллективные погребения. Масштабность конструкций, необычная архитектура комплексов с диагональными каменными кладками указывает на повышенный социально-ритуальный статус таких объектов и позволяет рассматривать их как особый, довольно редкий тип окуневских погребальных сооружений.

Любопытную стратиграфическую ситуацию удалось проследить в кургане 14 могильника Итколь II, где комплекс афанасьевской культуры был повторно использован для захоронений в окуневское время. Круглая афанасьевская ограда оказалась аккуратно вписана в квадратное окуневское сооружение из врытых на ребро плит песчаника. Получившаяся конструкция, однако, не была симметричной, т. к. на момент перестройки часть ранней кладки уже оказалась разрушена и сползла вниз по склону. Здесь окуневцам пришлось отступить от афанасьевской ограды и включить образовавшийся плитняковый развал в пределы своего сооружения. Первоначальная могила была ими полностью уничтожена, разрозненные кости человека и фрагменты афанасьевского сосуда выброшены в межоградное пространство. Очищенная таким образом площадка была использована для устройства нескольких окуневских захоронений. В данном случае мы имеем дело с редчайшим для Хакасско-Минусинской котловины явлением, которое можно охарактеризовать как *впускной курган* в инокультурный могильник (Подольский, 1997. С. 117). Появление таких комплексов наряду с отдельными впускными захоронениями в курганы предшествующего времени, вероятно, связано с желанием заведомо пришлого окуневского населения подчеркнуть свои местные истоки и тем самым утвердить право на обладание данной территорией. Не случайно абсолютное большинство окуневских впускных погребений в афанасьевских курганах относятся к раннему этапу культуры. К началу черновского этапа эта традиция утратила свою актуальность и практически полностью угасла.

Могильные конструкции в исследованных курганах оказались чрезвычайно разнообразными. В них обнаружены захоронения в катакомбах, в обширных грунтовых ямах, в ямах с заплечиками и в каменных ящиках. Довольно отчетливо прослеживается общая линия развития погребальных сооружений: грунтовые ямы и ямы с заплечиками – ямы с каменным обрамлением их нижней части – каменные ящики. Причем с течением времени размер и глубина могил постоянно уменьшались, а каменные ящики как бы «всплывали» на поверхность. Абсолютным рекордсменом оказалось центральное захоронение кургана 1 могильника Уйбат-Чарков, где грунтовая яма с заплечиками размером 3,4 на 2,8 м (2,2 на 1,6 м по дну) была углублена в материк на 4,4 м. Грунтовые могилы аналогичной конструкции и глубины наряду с захоронениями в катакомбах характерны для комплексов позднеямного и переходного ямно-катакомбного времени степной зоны юга России. Вероятно, именно в этих районах следует искать истоки окуневской погребальной традиции.

Исследование кургана 1 в могильнике Уйбат-Чарков позволяет также поставить вопрос о дифференцированности погребального обряда в раннеокуневских комплексах по половому признаку. Все мужчины в этом кургане были захоронены на спине, с ногами, согнутыми и поднятыми коленями вверх, женщины располагались в скорченном виде на правом боку. Женские захоронения на правом боку обнаружены и в других ранних окуневских могильниках. Примечательно, что уже к финалу уйбатского этапа погребения на боку становятся редкостью. На черновском этапе культуры и мужчин, и женщин хоронят только в положении на спине. Это наблюдение позволяет определить половую принадлежность некоторых покойников из старых раскопок и уточнить хронологическую позицию целого ряда погребений, не содержавших надежных датирующих материалов.

Вещевой комплекс ранних окуневских курганов отличается значительным количеством и разнообразием предметов. В результате проведенных раскопок получена крупная серия керамических сосу-

дов, несколько медных ножей и шильев, множество украшений из клыков животных, кости и камня. Характерной особенностью ранней окуневской погребальной посуды является частое присутствие в зоне венчика пояска орнаментации из «жемчужин», выдавленных изнутри, а также интенсивная окраска внешней поверхности сосудов охрой. На горшках черновского этапа «жемчужины» заменяются на налепные шишечки или ямки, а наиболее показательной орнаментацией становятся прочерченные горизонтальные желобки в зоне венчика и в придонной части сосудов. В уйбатских комплексах регулярно обнаруживаются украшения в виде мраморных шариков с просверленным отверстием, а также костяные колечки, гладкие или с насечками, нарезанные из трубчатых костей животных. В погребениях позднего этапа эти категории предметов практически не встречаются и могут рассматриваться как дополнительный хронологический индикатор.

Несомненной удачей можно считать находку в ограде кургана 1 могильника Красный Камень клада каменных орудий из 7 предметов. В его состав входили три «топора», пест, «утюжок», прямоугольная плитка-абразив и терочник с изображением головы козла. Изделия были компактно уложены в небольшую ямку, выкопанную в насыпи рядом с одним из погребений. За исключением абразива, все изделия выполнены в единой технике (точечная выбивка с последующей шлифовкой), из одинакового материала (зеленая речная галька) и составляют единый функционально-ритуальный набор. Трассологиический анализ, выполненный О. Н. Загородней и Е. Ю. Гирей, показал, что явные следы износа прослеживаются только на «топорах». Их рабочие части местами выщерблены и вновь залощены до матового блеска. Один из краев лезвия «топоров» сработан и затуплен в заметно большей степени, чем другой. Вероятно, эти орудия предназначались и активно использовались для проведения земляных работ непосредственно на могильнике: прорубания оградных канавок, рыхления грунта при выборке могил, нарезки дерна. Пест, судя по наличию на торцевой поверхности микрочастиц охры, применялся для растирания красок в деревянной ступе. Вкрапления охры также обнаружены на всей поверхности терочника. Хотя найденные орудия и составляют единый комплект, они относятся к разным сферам трудовой деятельности. Ими можно было осуществлять земляные работы, растирать краски, производить заточку инструмента, делать выбивки. По-видимому, этот набор не принадлежал конкретно кому-то из погребенных в кургане людей, а предназначался для могильника в целом.

Наибольший интерес вызывает предмет, украшенный изображением головы козла. Это речная галька сигарообразной формы, подработанная пикетажем и шлифовкой. На ее утолщенном конце в технике низкого рельефа выполнены глаза, уши и рога животного. На брюшковой грани изделия оформлена плоская рабочая площадка. Оба конца предмета имеют достаточно выразительные следы «затертости от рук». Данная находка позволяет установить культурную и хронологическую принадлежность целой серии подобных изделий, происходящих из случайных находок, а также уточнить их функциональное назначение. Аналогичные предметы называют пестами, атрибутами фаллического культа, зооморфными жезлами или переносными изваяниями. Помимо формы и размеров их объединяет обязательное наличие на брюшковой или боковой грани орудия уплощенной площадки, характерной именно для терочников. Условия находки позволяют предположить, что данные орудия вовсе не предназначались для регулярного применения по своему прямому назначению, а входили в состав орудийных комплектов, необходимых для проведения погребальных и поминальных ритуалов непосредственно на могильнике. В нашем случае «топоры» из состава клада имели вполне реальную прикладную функцию, а пест, «утюжок», абразив и терочник использовались только для подготовки и проведения погребальных ритуалов. После совершения очередного захоронения комплект убирали в «хранилище» до организации следующих похорон. На всех известных нам орудиях изображены разные персонажи: бык, козел, хищник, рыба или змея. Возможно, это означает, что каждый из окуневских коллективов поклонялся своему тотемному животному, реальному или мифологическому, и использовал именно этот образ при проведении погребальных ритуалов.

В центральном женском захоронении кургана 1 могильника Красный Камень был найден прекрасно сохранившийся костяной гребень с антропоморфным изображением. В плане он выглядит как верхняя часть женской фигурки. Сдвоенные зубчики на верхней и боковых гранях изделия в сочетании со сквозными прорезями имитируют косички, обрамляющие сердцевидную личину. Контур человеческого лица, глаза, нос и рот переданы выступающими рельефными линиями. Собственно рабочая часть гребня состоит из 12 тонких, тщательно обработанных зубцов. Эта находка позволяет уточнить культурно-хронологическую принадлежность значительной серии антропоморфных изображений с косичками и сердцевидными личинами, выполненными на скальных писаницах Хакасско-Минусинской котловины и за ее пределами. Пожалуй, наиболее близким аналогом изображению на гребне из Красного Камня может считаться рисунок из грота Проскурякова на реке

Белый Июс. Представленные на нем персонажи также имели характерный сердцевидный абрис лица и косички (Есин, 2010. С. 71. Рис. 14: 3). Руки у центральной фигуры были согнуты в локтях и уперты в бока. Последнее изображение обнаруживает несомненное сходство с рисунком на плите из погребения 4 в могильнике Озерное на Алтае (Погожева, Кадиков, 1979. С. 84. Рис. 4), принадлежность которого к каракольской культуре некоторыми исследователями до сих пор подвергалась сомнению (Абдулганеев, Кирюшин, Кадиков, 1982. С. 60). Теперь же, благодаря находке гребня в могильнике Красный Камень, датировка такого рода персонажей эпохой ранней бронзы может считаться окончательно установленной.

Особо значимые открытия сделаны в области изучения окуневского искусства. В исследованных курганах обнаружено свыше 20 плит с рисунками, коренным образом меняющих наши традиционные представления о времени формирования и путях развития окуневской изобразительной традиции. Так, в кургане 1 могильника Уйбат-Чарков впервые в погребальном комплексе была обнаружена личина, выполненная в джойском стиле. Рисунки этой изобразительной группы весьма специфичны и отличаются от прочих окуневских личин сочетанием характерных, легко узнаваемых иконографических приемов: отсутствие контура лица, множественные поперечные линии с развилками на концах, обрамление зоны рта угловыми скобками. Абсолютное большинство известных личин джойского стиля сконцентрировано на нескольких скальных навесах, расположенных в труднодоступных горно-таежных районах на окраинах Хакасско-Минусинской котловины. К тому же рисунки эти нанесены не выбивкой, как на других писаницах, а выполнены охрой. Традиционно считалось, что их появление там связано с вытеснением части окуневского населения из степной зоны на таежную периферию под давлением андроновской экспансии. Это допущение теоретически могло бы объяснить и странную локализацию, и прогрессирующий упадок стиля окуневских антропоморфных изображений в поздний период их существования. Однако первая же находка личины джойского типа в погребальном комплексе полностью разрушает эту стройную концепцию. Захоронение в катакомбе кургана 1 могильника Уйбат-Чарков, в котором было обнаружено данное изображение, безусловно, относится к раннему этапу окуневской культуры. К тому же плита с личиной использована в нем в качестве простого строительного материала и установлена в погребении изображением вниз. Рисунок охрой выполнен на торцевой грани каменного блока и частично заходит на его боковую плоскость. Верхняя часть личины, расположенная на боковой плоскости, сохранилась заметно хуже, чем нижняя, прорисованная на узкой грани. Вероятно, камень с изображением, до помещения его в могилу, какое-то время находился на открытом воздухе. Тогда он располагался в горизонтальном положении и, возможно, представлял собой верхнюю часть скального выхода, на котором первоначально и были нанесены рисунки. В этом же погребении и также в переиспользованном состоянии обнаружена еще одна плита с выбитой окуневской личиной. Она почти в точности повторяет стелу из центрального захоронения кургана 1 могильника Уйбат V – отсутствие контура, глаза с черточками «бровей», рот, горизонтальная полоса на месте носа (Лазаретов, 1997. Табл. XI: 3). Эти находки позволяют утверждать, что первые рисунки, выполненные в джойском стиле, и изображения уйбатского типа появляются очень рано, еще на стадии формирования окуневской изобразительной традиции. Такое же сочетание вариантов личин, как в кургане 1 могильника Уйбат-Чарков, отмечено и на Малоарбатской писанице (Леонтьев, Капелько, Есин, 2006. С. 20. Рис. 6: 1, 2, 4). Аналогичные изображения ранних типов имеются также в составе других «иконостасов». Судя по ним, функционирование Малоарбатской писаницы и других горно-таежных местонахождений рисунков джойского стиля началось еще на уйбатском этапе окуневской культуры, задолго до андроновской экспансии. Их появление на периферии Хакасско-Минусинской котловины требует иного объяснения, не сопряженного с хронологическими причинами.

Картографирование личин джойского типа показало, что все известные нам местонахождения таких рисунков расположены на древних тропах, соединяющих Хакасско-Минусинскую котловину с современной Тывой и Кемеровской областью. Вероятнее всего, в местах установки стел с личинами джойского типа, а также возле скальных «иконостасов» совершались моления и жертвоприношения, имевшие целью добиться благосклонности высших сил на время конкретного похода. Минимальная вариабельность и монолитность изображений джойского стиля в сочетании с максимально широкой их географией наводит на мысль, что посвящались они не каким-то локальным духам конкретной местности, горы или реки, а некоему единому божеству, покровительствующему путешественникам и торговцам. Этот изобразительный пласт, по-видимому, представляет собой особый жанр искусства эпохи ранней бронзы, развивавшийся по своим собственным законам и длительное время существовавший параллельно с классическими окуневскими образцами, представленными на каменных изваяниях и стелах. Признание гипотезы о сопряженности личин джойского типа и древних торговых путей открывает перед нами новые возможности их даль-

нейшего целенаправленного поиска. Особенно перспективными в этом плане могут оказаться скальные выходы, расположенные в верховьях малых рек у горных перевалов Западных Саян и Кузнецкого Алатау.

Необходимость осторожного, строго дифференцированного подхода к проблемам датировки и интерпретации окуневского искусства лишний раз подчеркивают находки в кургане 26 могильника Итколь II. В этой небольшой каменной ограде было обнаружено 16 плит с различными изображениями. Большинство из них находились в разбитом и переиспользованном состоянии. Однако часть рисунков по времени соответствовали моменту строительства кургана и сохранились на своих первоначальных местах. Таковыми, вероятно, являются гравированные изображения быков, нанесенных на стенки двух погребальных ящиков и выполненных в «разливском стиле». Переиспользованные плиты с гравировками в стиле «тощих быков» ранее были обнаружены в могильниках Разлив X и Черновая XI (Пшеницына, Пяткин, 1993). По мнению Д. Г. Савинова, именно эти памятники маркируют финальную стадию существования окуневской культуры, а рисунки «разливского стиля» образуют самостоятельный и, по-видимому, самый поздний пласт в развитии окуневской изобразительной традиции (Савинов, 2005; 2006. С. 164). Они до сих пор не встречались на плитах из захоронений черновского этапа и закономерно считались постчерновскими. В действительности же оказалось, что изображения «тощих быков» наносились на стенки погребальных ящиков еще на уйбатском этапе культуры, задолго до момента формирования комплексов черновского типа.

В этом же кургане обнаружено каменное изваяние, вероятно, также сохранившееся на своем первоначальном месте. Оно было встроено в середину западной стенки ограды и развернуто внутрь кургана, лицевой стороной к центральной могиле. Сама личина довольно простая: овальный контур, два глаза, рот, изогнутая горизонтальная и две вертикальные линии, образующих нос. При этом в кургане обнаружено в разбитом и переиспользованном состоянии несколько фрагментов гораздо более сложных личин различных типов. Означает ли данная ситуация, что сложные и простые изображения являются здесь разновременными? Скорее всего, как и в случае с личинами джойского типа, мы имеем дело с разными проявлениями окуневского искусства, имеющими самостоятельную смысловую нагрузку и свою собственную линию развития. Данное изваяние, по-видимому, относится к особой категории окуневских изображений, которые можно обозначить как «погребальную» или «кладбищенскую» скульптуру. Подобная стела с простейшей личиной была встроена в надмогильное сооружение центрального захоронения кургана 1 могильника Уйбат III (Лазаретов, 1997. С. 35. Табл. III: 1; XI: 1). Еще в двух случаях (Уйбат V, к. 2; Итколь II, к. 14) удалось обнаружить ямы с каменной забутовкой, предназначенные для установки аналогичных изваяний. Все они располагались к западу от центральных могил курганов и, вероятно, предназначались для общения родственников с покойниками, исполняя роль связующего звена между миром живых и мертвых. Подобная функция не предполагала создания сложных, многоплановых образов, таких, как на монументальных каменных изваяниях окуневской культуры. Соответственно эта категория изображений, как и рисунки джойского стиля, должна рассматриваться отдельно от основной массы личин, выполненных на окуневских изваяниях и стелах. Ниже личины на этом же изваянии была выбита фигура тучного быка. Его синхронность гравированным изображениям в «разливском стиле» в данном случае очевидна. Еще три плиты с рисунками быков, выполненных в этой же манере, оказались разбиты и использованы в качестве простого строительного материала. Переиспользованных изображений в «разливском стиле» в кургане обнаружено не было. Не вполне ясно, отражает ли эта ситуация момент перехода от «тучного стиля» к «тощему» или же оба иконографических канона существовали параллельно, выполняя разные функции в рамках единой культурно-хронологической группы памятников.

В кургане 1 могильника Уйбат-Чарков, о котором уже говорилось в связи личинами джойского стиля, все плиты с изображениями находились в переиспользованном состоянии. Тем не менее применительно к ним можно отметить два исключительно важных момента. На стелах этого кургана прекрасно сохранились следы полихромной росписи. Поверхности найденных в нем плит были окрашены красной краской, а выбитые на них линии изображения проработаны черным цветом. Шесть образцов красок в настоящее время отправлены на анализ в Центр изучения доисторического искусства Э. Картальяка во Франции. Возможно, благодаря этому нам удастся выяснить состав красителей, а при наличии в них органики получить дополнительные радиоуглеродные даты. Пока же для этого кургана имеется только одна калиброванная дата, полученная по фрагменту деревянного перекрытия из могилы 11 – 2457–2142 до н. э. Судя по ней, курган 1 могильника Уйбат-Чарков является одним из самых ранних окуневских погребальных комплексов. Это обстоятельство подтверждается сравнительным анализом могильных конструкций, обряда и инвентаря. Тем удивительней выглядят находки в кургане фрагментов сразу нескольких

окуневских стел со сложными, многокомпонентными изображениями. Представленные на них личины обладают практически полным набором традиционных для окуневской художественной традиции изобразительных элементов. Если сопоставить эти изображения с личинами из заведомо более поздних курганов (Усть-Бюрь, к. 5; Итколь II, к. 26), то выяснится, что они представляют одного персонажа и составлены из одинаковых изобразительных элементов. Поздние личины отличаются от ранних только несколько большей декоративностью и изысканностью. Развитие этого образа, как и других окуневских божеств, главным образом, шло по линии эстетизации и многократного дублирования уже известных изобразительных элементов, благодаря чему окуневские личины со временем приобретали все более фантастический и вычурный облик.

Если уже на ранней стадии развития культуры окуневское искусство предстает перед нами в полностью сформировавшемся виде, то не является ли это косвенным доказательством его исходно афанасьевского происхождения? Эта точка зрения, особенно в отношении каменных изваяний со сложной трехчастной структурой изображения, неоднократно высказывалась рядом авторитетных авторов (Мачинский, 1997; Шер, 2007). Уникальные находки роговых подвесок в одном из погребений кургана 14 могильника Итколь II позволяют дать отрицательный ответ на этот вопрос. Там, в грунтовой яме с заплечиками оказалось захоронение ребенка, по-видимому, в берестяной колыбели. Конструкция самой могилы, обнаруженные в ней баночный сосуд с рядом «жемчужин» и мраморный шар с отверстием не дают оснований усомниться в принадлежности этого погребения к уйбатскому этапу окуневской культуры, причем его ранней части. Роговые подвески располагались в области грудной клетки ребенка. На четырех изделиях с различной степенью детализации воспроизведены головки животных: копытное, кабан (?), птицы. Еще четыре подвески представляют собой высокохудожественные миниатюрные роговые копии каменных изваяний. По крайней мере, на двух из них отчетливо просматривается трехчастная вертикальная структура элементов, отвечающая всем классическим канонам: наверху – объемное антропоморфное изображение или голова птицы, в середине – личина, внизу – хищник с оскаленной пастью. С учетом этих находок окуневская принадлежность теперь уже монументальных каменных изваяний едва ли может быть подвергнута сомнению.

Вопрос о конкретном месте и времени формирования окуневского феномена пока еще остается открытым. При описании погребальных сооружений ранних памятников уйбатского этапа культуры мы отмечали, что их ближайшими аналогами могут считаться могильные конструкции позднеямного и переходного ямно-катакомбного времени степной зоны юга России. Там же, на территории Северо-Западного Прикаспия и в прилегающих к нему районах Северного Кавказа можно обнаружить аналоги целому ряду изделий окуневской культуры: серебряные и бронзовые височные кольца, черешковые ножи, четырехгранные шилья, костяные колечки из спилов трубчатых костей. Во многих захоронениях этого региона присутствует посыпка охрой, остатки подушек, подстилок и покрывал из органических материалов. Все эти соответствия можно было бы признать эпохальными совпадениями, если бы не их любопытная корреляция с данными антропологии. В своей статье о происхождении и связях окуневской культуры А. В. Громов обратил особое внимание на брахикранные группы ямного и ямно-катакомбного населения с территории Калмыкии (Громов, 1997. С. 308). Это же направление связей, с акцентом на Северный Кавказ и Предкавказье, подтвердил К. В. Солодовников в поисках прародины европеоидного компонента в составе окуневской, каракольской и чаа-хольской культур (Солодовников, 2006. С. 19–20). Новейшие исследования краниологических серий Северо-Западного Прикаспия показали, что черепа ямной культуры этого региона, благодаря значительным широтным размерам мозгового и лицевого отделов, отличаются от всех известных краниологических серий ямной культурно-исторической общности (Казарницкий, 2011. С. 20). И именно эти особенности, в частности, ярко выраженная брахикрания, сближают ямные и ямно-катакомбные серии Калмыкии с черепами эпохи ранней бронзы Саяно-Алтая. Есть еще один дополнительный признак, равно представленный в двух антропологических сериях, казалось бы, столь удаленных регионов – очень специфическая затылочно-теменная деформация черепной коробки (Громов, 1995; Хохлов, 2006; Казарницкий, 2011. С. 17–18). Эта особенность столь зримо проявилась на черепах черновского этапа окуневской культуры, что невольно сложилось впечатление об ее отсутствии у предшествующего уйбатского населения Хакасско-Минусинской котловины (Громов, 1995. С. 72–74). Изучение Н. И. Лазаретовой новых материалов выявило наличие такой деформации в ранней краниологической серии окуневской культуры. Просто у уйбатцев она оказалась выражена заметно слабее, что еще больше сближает их с ямниками и ямно-катакомбниками Калмыкии. Примечательно, что в середине III тыс. до н. э. в регионе Северо-Западного Прикаспия распространяется восточноманычская катакомбная культура, характеризующаяся иным антропологическим типом населения и другими вариантами

черепных деформаций, кольцевыми или лобно-затылочными (Казарницкий, 2011. С. 22; Шишлина, 2007. С. 288). Большая часть представителей ямного и ямно-катакомбного населения вытесняются с занимаемой территории. И именно в это же время гиперфорфные европеоиды появляются на Саяно-Алтае, одновременно с распространением там обрядовых традиций и вещевого инвентаря, характерных для синхронных комплексов степной полосы юга Восточной Европы. Нам представляется, что все эти совпадения вовсе не случайны, а являются звеньями единого процесса, который можно охарактеризовать как вторую, постафанасьевскую, волну продвижения степных скотоводов далеко на восток (Лазаретов, 1994; 1997. С. 38–41).

Дополнительным и весомым аргументом в положительном решении вопроса о происхождении населения окуневской культуры могут стать данные по изучению ДНК ее представителей. В настоящий момент нами переданы в лабораторию Страсбургского университета для генетического анализа 44 образца от 4 афанасьевских и 18 ранних окуневских скелетов. Значение таких современных методов определения родства, по мере пополнения единой базы данных, будет возрастать, что позволит со временем составить более полную и достоверную картину миграций древнего населения.

Список литературы

Абдулганеев М. Т., Кирюшин Ю. Ф., Кадиков Б. Х. Материалы эпохи бронзы из Горного Алтая // Археология и этнография Алтая. Барнаул, 1982. С. 52–77.

Громов А. В. Антропологические особенности населения окуневской культуры // Проблемы изучения окуневской культуры. СПб., 1995. С. 70–74.

Громов А. В. Происхождение и связи окуневского населения Минусинской котловины // Окуневский сборник. СПб., 1997. С. 301–345.

Есин Ю. Н. Проблемы выделения изображений афанасьевской культуры в наскальном искусстве Минусинской котловины // Афанасьевский сборник. Барнаул, 2010. С. 53–73.

Казарницкий А. А. Палеоантропология эпохи бронзы степной полосы юга Восточной Европы // Автореф. дис. ... канд. ист. наук. М., 2011. 24 с.

Кызласов Л. Р. Письмо из энеолита // Задачи советской археологии в свете решений XXVII съезда КПСС. М., 1987. С. 143–145.

Лазаретов И. П. Окуневские могильники долины реки Уйбат (к вопросу о второй волне индоевропейцев в Южной Сибири) // Изучение древних культур и цивилизаций. СПб., 1994. С. 20–24.

Лазаретов И. П. Окуневские могильники в долине реки Уйбат // Окуневский сборник. СПб., 1997. С. 19–64.

Леонтьев Н. В., Капелько В. Ф., Есин Ю. Н. Изваяния и стелы окуневской культуры. Абакан, 2006. 236 с.

Мачинский Д. А. Уникальный сакральный центр III – середины I тыс. до н. э. в Хакасско-Минусинской котловине // Окуневский сборник. СПб., 1997. С. 265–287.

Погожева А. П., Кадиков Б. Х. Могильник эпохи бронзы у поселка Озерное на Алтае // Новое в археологии Сибири и Дальнего Востока. Новосибирск, 1979. С. 80–84.

Подольский М. Л. Два окуневских памятника на ручье Узунчул // Окуневский сборник. СПб., 1997. С. 113–122.

Поляков А. В. Поминальное сооружение окуневской культуры на озере Итколь // Древние культуры Евразии. СПб., 2010. С. 75–80.

Пшеницына М. Н., Пяткин Б. Н. Памятники окуневского искусства из кургана Разлив X // КСИА. 1993. № 209. С. 58–67.

Савинов Д. Г. К проблеме выделения позднего этапа окуневской культуры // Теория и практика археологических исследований. Вып. 1. Барнаул, 2005. С. 28–34.

Савинов Д. Г. О выделении стилей и иконографических групп изображений окуневского искусства // Окуневский сборник 2. Культура и ее окружение. СПб., 2006. С. 157–190.

Солодовников К. Н. Население Горного и лесостепного Алтая эпохи ранней и развитой бронзы по данным палеоантропологии // Автореф. дис. ... канд. ист. наук. Барнаул, 2006. 25 с.

Хохлов А. А. Черепа с искусственной деформацией эпохи бронзы Волго-Уральского региона // Искусственная деформация головы человека в прошлом Евразии. ŏPUS: Междисциплинарные исследования в археологии. Вып. 5. М., 2006. С. 47–52.

Шер Я. А. Была ли окуневская культура? // Окуневский сборник 2. Культура и ее окружение. СПб., 2006. С. 248–250.

Шишлина Н. И. Северо-Западный Прикаспий в эпоху бронзы (V–III тыс. до н. э.) – М., 2007. 400 с.

В. И. Гуляев, М. В. Добровольская, А. А. Шевченко

НА СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫХ РУБЕЖАХ СКИФИИ: ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В ЛЕСОСТЕПНОМ ПОДОНЬЕ В КОНЦЕ V–IV вв. до н. э.

Скифская эпоха (время с VII по III в. до н. э.) – одна из наиболее ярких страниц в истории племен и народов Восточной Европы, обитавших на территории Северного Причерноморья, от Дуная на западе до Дона на востоке. Именно тогда здесь появилось первое военно-политическое объединение государственного типа. Господствовали в нем скифы – кочевые ираноязычные племена, пришедшие в благодатные причерноморские степи не позднее VII в. до н. э. откуда-то «из глубин Азии» (как пишет Геродот).

Проблемы скифской археологии и истории всегда находились в центре внимания отечественной науки. Однако с распадом СССР бóльшая часть курганов и городищ, связанных со скифами, осталась в пределах суверенной Украины. В России же древности «европейских скифов» (т. е. живших между Дунаем и Доном) и особенно памятники эпохи расцвета Скифии (V–IV вв. до н. э.) встречаются только на Среднем и Нижнем Дону, на территории Воронежской, Белгородской и Ростовской областей.

Донские земли в тот период служили восточной окраиной скифских владений, но окраиной не захудалой, а весьма стратегически важной и богатой. Именно здесь проходили основные торговые пути древности. Именно здесь происходили и крупные этнокультурные процессы I тыс. до н. э.: миграции племен, торговые, культурные и политические контакты самых разных этнических групп – скифов, меотов, савроматов, предков финно-угров.

Ниже речь пойдет лишь о территории Среднего Дона. Географически он включает в себя современные Воронежскую и Белгородскую области целиком, а Липецкую, Волгоградскую и Ростовскую области – частично. По своим природно-климатическим условиям этот регион относится к лесостепной и, частично, степной зонам. Данная территория – обширная холмистая равнина, покрытая в ряде мест довольно густыми широколиственными лесами и орошаемая многочисленными реками и ручьями. Характерный признак Среднедонской Лесостепи – чередование открытых безлесных степных просторов со значительными лесными массивами.

Донская археологическая экспедиция Института археологии РАН (ДАЭ) ведет исследования памятников скифской эпохи на Среднем Дону с 1990 г. За этот период было изучено 4 городища и несколько курганных могильников (около 70 курганов) в Воронежской и Белгородской областях. С самого начала этих работ удалось наладить постоянное и тесное сотрудничество с представителями естественных наук (антропологами, палеозоологами, палеоботаниками, палеогеографами и др.).

В результате этих более чем двадцатилетних комплексных исследований история населения среднедонского региона в скифскую эпоху может в общих чертах быть воссоздана следующим образом.

В начале или середине V в. до н. э. какая-то довольно многочисленная группа кочевых или полукочевых скифских племен (место их исхода пока точно не известно, но оно почти наверняка находилось в пределах Европейской Скифии) утвердилась в Лесостепном Подонье, возведя там родовые курганные могильники и устроив укрепленные городища (см. вклейку: с. 51, ил. 1, с. 52, ил. 2).

Судя по всем имеющимся данным, в теплое время года (весна–лето–ранняя осень) эти кочевые или полукочевые скотоводы обитали в благодатных среднедонских краях, а на зиму уходили со стадами и семьями на юг, в более благоприятные для зимовки табунов и отар места. Городища-крепости на возвышенных мысах служили убежищами в момент обитания всей орды в регионе, а в холодное время года их покидали даже стоявшие там воинские гарнизоны. Для контроля за среднедонскими землями в это время года особых усилий не требовалось. Но в нескольких ключевых пунктах такие гарнизоны, их семьи и обслуживающий персонал все же, видимо, находились постоянно. Например, городище Большое Сторожевое на правом берегу Дона или Волошинское I городище на реке Тихая Сосна. Там культурный слой имеет толщину 60–80 см и насыщен находками (бытовая керамика, кости животных, жилища с очагами и т.д.), а на большинстве других городищ мощность такого слоя не превышает 20–30 см, что говорит о кратковременности пребывания там людей (см. вклейку: с. 51, ил. 1).

Учитывая крайнюю удаленность Лесостепного Подонья от главных центров Скифии и его пограничное положение на стыке двух крупных этнокультурных областей (финно-угры на севере, во-

инственные савроматы-сарматы на востоке) можно априори предполагать, что политическое положение данной скифской группы было довольно неустойчивым и что ей пришлось почти два столетия вести упорную борьбу за выживание и за обеспечение безопасности своих владений. Материалы из раскопок ДАЭ превращают это предположение в уверенность – в твердо доказанное заключение.

Но сначала остановимся на общей характеристике вооружения и военного дела у скифских племен. Известно, что главной опорой могущества Скифии было многочисленное и хорошо вооруженное войско, состоявшее в основном из конницы. «У скифского племени, – сообщает Геродот, – одно самое значительное из всех человеческих дел устроено самым мудрым образом сравнительно со всем, что нам известно. Самое же значительное их достижение состоит в том, что никто из тех, кто вторгся к ним, не может спастись бегством, а если они пожелают, чтобы их не обнаружили, захватить их невозможно: ведь они не основывают ни городов, ни укреплений, но все они, будучи конными стрелками, возят свои дома с собой, получая пропитание не от плуга, а от разведения скота, жилища у них на повозках. Как же им не быть непобедимыми и недоступными для нападения» (Геродот, IV, 46). И в этих словах «отца истории» нет ни малейшего преувеличения. Почти четыреста лет, до IV в. до н. э., скифы не знали поражений и были способны разгромить любого, даже самого сильного врага. Достаточно вспомнить провал похода на Скифию персидского царя Дария I Гистаспа с его 600-тысячной армией в 512 г. до н. э.

Из письменных свидетельств античных авторов мы знаем о необычайной воинственности обитателей Причерноморских степей. У скифов существовало много воинских обычаев и ритуалов, которые воспитывали у них храбрость и беспощадность к врагу. Как говорит Геродот, «скиф пьет кровь первого убитого им врага», «головы всех убитых им в бою относились к царю», с поверженных врагов снимали скальпы, а из черепов изготовляли чаши. Воинская дружба, скрепленная обрядом побратимства, способствовала стойкости войск.

Переднеазиатские походы VII в. до н. э. сыграли важную роль в становлении Скифии как государства. Можно себе представить этот ужас и смятение, которые охватили население процветающих городов и селений Передней Азии при виде бесчисленных конных орд скифов, сеявших вокруг себя опустошение и смерть. Скифы были необычайно мобильны и вездесущи. Ни одна армия древневосточных держав (включая воинственную Ассирию) не могла устоять в открытом бою против массы хорошо обученных и спаянных жесткой дисциплиной всадников. На протяжении нескольких десятилетий VII в. до н. э. скифы и их цари были господствующей силой в этом наиболее развитом регионе Древнего Мира. «Принимая участие в бурных событиях и войнах, проходивших на Ближнем Востоке в VII в. до н. э., постоянно меняя союзников, – отмечает известный украинский археолог и главный специалист по вооружению скифов Е. В. Черненко, – скифы обогатились знаниями тактики и стратегии великих переднеазиатских культур, научились воевать с разными противниками, получили бесценный военный опыт, пополнили состав своего вооружения образцами, стоящими на уровне лучших достижений военной техники той эпохи» (Черненко Е. В., 1997. С. 5).

Прежде всего, скифы заимствовали там и широко использовали впоследствии защитный металлический доспех – железный панцирь, которого раньше они, как и все другие кочевые народы Евразийских степей, попросту не знали. Речь идет об ассирийских чешуйчатых панцирях. «Их кожаная основа, – пишет Е. В. Черненко, – покрывалась набором из металлических (обычно железных) пластин сравнительно небольших размеров, которые образовывали покрытие наподобие рыбьей чешуи. Крепились пластины на основе и между собой с помощью кожаных шнуров или жил. Продуманная система набора позволяла располагать в любой точке доспеха пластины, лежащие в 2–3 слоя. Такой панцирь был достаточно удобен. Он не очень стеснял движения воина, позволяя ему управлять конем, стрелять из лука, сражаться мечом, копьем, боевым топором» (Черненко Е. В., 1997. С. 5).

Заимствовав переднеазиатский металлический доспех, скифские оружейники и кузнецы очень быстро освоили массовый выпуск собственной продукции подобного рода. К IV в. до н. э. железные чешуйчатые панцири на кожаной основе использовались конными скифскими воинами достаточно широко (Черненко Е. В., 1968. С. 22) (см. вклейку: с. 56, ил. 6, 8, 9).

Типично скифским изобретением следует считать так называемый «боевой» пояс, когда на кожаный ремень вертикально нашиваются (или прикрепляются) металлические (бронзовые или железные) узкие пластины. Пояс был непременной принадлежностью скифа-мужчины. На поясе носили весь набор оружия и снаряжения – меч, кинжал, горит (с луком и стрелами), точильный камень, нагайку и чашу. Эти пояса удачно дополняли панцири, защищая самое уязвимое место воина – его живот (Черненко Е. В., 1997. С. 6). Голову скифского всадника надежно защищал металлический шлем. В раннескифское время это были литые бронзовые массивные шлемы так называемого кубанского типа. Происхождение их связывают с Северным Китаем и Средней Азией. Одним из значительных

центров их производства в VII–VI вв. до н. э. являлся Северный Кавказ. Позднее, с V в. до н. э. в Скифию проникают шлемы античных типов – из Греции и с островов Средиземного моря. Это были достаточно легкие, кованные из золотистой тонкой бронзы защитные головные уборы, пользовавшиеся у скифской знати большой популярностью. Всего их было найдено в скифских курганах свыше 50 экземпляров (Кузнецов С. В., 2001. С. 133–134).

В конце V–IV вв. до н. э. обычная скифская шапка конической формы (из кожи или плотного войлока) также получает иногда металлическое покрытие из тех же пластин-«чешуек», что и на панцирях.

Ноги конного воина, особенно уязвимые, когда на него нападает пеший противник, были защищены либо греческими бронзовыми поножами (кнемидами), либо местным доспехом в виде кожаных штанов с железным «чешуйчатым» покрытием (Галанина Л. К., 1969. С. 7–12; Черненко Е. В., 1968. С. 112–113).

Наконец, надежным средством защиты воина был щит. Большинство щитов изготовлялось из дерева, прутьев и кожи и поэтому не сохранилось до наших дней. Мы знаем лишь, что они были невелики по размерам и имели разнообразную форму. Образцы скифских щитов можно видеть на предметах из золота и серебра, найденных в курганах высшей скифской знати. В ходе раскопок удалось найти немало остатков щитов с частичным (в виде блях-«умбонов») или сплошным «панцирным» покрытием из железных пластин (Черненко Е. В., 1997. С. 8–9) (см. вклейку: с. 56, ил. 6; с. 57, ил. 10).

Защиту имел не только сам воин, но и его боевой конь. Для предохранения от поражения головы коня еще со времен скифской архаики широко использовали бронзовые (литые или кованные) налобники в виде пластин овальной и ромбовидной формы. Есть основания полагать, что для защиты корпуса лошади делали нагрудники и попоны из толстой кожи, усиленные либо отдельными металлическими пластинами, либо «панцирным» набором. В кургане Скифская Могила в Черкесской области (Украина) была найдена металлическая овальная пластина (она лежала вместе с набором конской узды) для защиты передней части коня. Это V в. до н. э. (Мурзин В. Ю., Черненко Е. В., 1980. С. 155–167; Скорый С. А., Хохоровский Я., 2008. С. 132–141).

Главным оружием скифских воинов, как конных, так и пеших, были лук и стрелы. Самыми частыми находками из скифских курганов и поселений всегда являются наконечники стрел из бронзы, железа и совсем редко – из кости (см. вклейку: с. 54, ил. 4). Небольшой скифский сложный лук изготовлялся из различных пород дерева, кости и сухожилий и имел форму несколько растянутой греческой буквы «сигма». Средняя дистанция для реальной убойной стрельбы из скифского лука составляла от 120 до 150 м, а скорострельность – 10–12 выстрелов в минуту (Черненко Е. В., 1981. С. 140–141). Для той эпохи это было весьма эффективное и грозное оружие. Часто от разящей стрелы скифа не спасали даже щиты и панцири. Иногда скифские воины использовали и отравленные ядом стрелы.

Заметное место в составе скифского оружия занимали копья и дротики. Обычно длина их колеблется в пределах двух метров. Однако есть уже немало случаев находок длинных кавалерийских копий – «пик», длиной более трех метров. Короткие копья использовались для ближнего боя и для метания. Метали и дротики. Длинное копье всаднику надо было держать двумя руками, но при наличии легкого, но прочного седла (из дерева, войлока и кожи) и кожаных стремян, обеспечивалась достаточно удобная позиция для атаки противника (Черненко Е. В., 1997. С. 11; он же, 1984. С. 231–234) (см. вклейку: с. 55, ил. 5).

В курганах Скифии к настоящему времени найдено уже несколько сотен мечей и кинжалов. Как правило, они двулезвийные и имеют длину от 60 см до 1 м (таких свыше 25 %). Это оружие позволяло эффективно сражаться во всех видах конного и пешего боя. Изготовлению мечей скифские оружейники уделяли особое внимание. На их производство шел лучший металл, лучшая сталь (Мелюкова А. И., 1964. С. 71). Боевые топоры, булавы, клевцы и молоты использовались в сражениях гораздо реже, чем вышеназванные виды оружия.

Если учесть, что почти все могилы воинов с тяжелым защитным вооружением сопровождаются, как правило, захоронениями коней в полной сбруе (в степной зоне) или только уздечными наборами, имитирующими захоронение коня, то можно прийти к следующему выводу: упомянутые выше металлические доспехи использовались всадниками, а не пехотинцами и, следовательно, у скифов не позже конца V – начала IV в. до н. э. появилась тяжелая кавалерия (Черненко Е. В., 1984. С. 231–234). Намного больше стало известно и о длинных мечах у скифов. Их количество давно уже перевалило за 25 %. Таким образом, пришло время отказаться от старого взгляда на стратегию и тактику скифского войска, взгляда, который во многом сформировался на основе двух факторов: описаний Геродота по поводу скифо-персидской войны (атаки лавы легковооруженных скифских конных лучников и ее быстрый отход в случае неудачи) и на недостаточности наших сведений о вооружении скифских воинов по археологическим материалам. Хорошо известно, что сам характер вооружений той или иной армии во многом определяет стратегию

и тактику ее действий. Поэтому факт наличия у скифских всадников тяжелых защитных доспехов, длинных копий и мечей коренным образом меняет и наше общее представление о реальных действиях конного скифского войска. В сочетании все эти элементы дают нам образ типичного «катафрактария» – воина-рыцаря на коне (тоже защищенного доспехами), в железном «чешуйчатом» панцире, металлическом шлеме, поножах и с длинным копьем (и мечом) в руках. Безусловно, тяжелая конница скифов применяла и другие виды оружия: для дальнего боя – лук и стрелы, для средней дистанции – метательные копья и дротики, а для ближнего, рукопашного боя – длинные и короткие копья, длинные мечи и боевые топоры.

Е. В. Черненко убедительно показал в ряде своих работ, что скифские всадники имели тяжелый защитный доспех (шлемы, панцири, поножи, щиты), длинные копья-пики (свыше трех метров длины), длинные мечи (от одного метра и более) и, наконец, защитное снаряжение для своих боевых коней. Все это позволило ему прийти к выводу о необходимости пересмотра прежней точки зрения на вооружение и тактику скифского войска. «Известные в настоящее время материалы, – отмечает он, – позволяют уверенно говорить о появлении тяжеловооруженной панцирной конницы (т. е. «катафрактариев» – *В. Г.*) у племен Скифии и Кавказа уже в VI в. до н. э. ...» (Черненко Е. В., 1997. С. 18).

Но вернемся к территории Среднего Дона. В какой мере обитавшее там в V–IV вв. до н. э. население разделяло общескифские стандарты по части вооружения и конской сбруи? Уже само местонахождение области Среднего Дона на дальней северо-восточной окраине Скифии, в окружении зачастую враждебных племен (финно-угров на севере и кочевников-савроматов на востоке) делало жизнь местных скифов довольно беспокойной и опасной. Следует напомнить, что по своим богатым природным ресурсам и выгодному географическому положению Лесостепное Подонье всегда привлекало к себе алчные взоры ближних и дальних соседей. Все это предопределило необходимость формирования здесь боеспособного и хорошо организованного войска с соответствующим вооружением. Поэтому предметы вооружения и конской сбруи, находимые археологами в курганах и на городищах, – главный наш источник по интересующей проблеме. Изучение оружия помогает осветить вопросы военного дела жителей Среднего Дона в скифское время, характер военной организации, боевой порядок и состав войска, тактику ведения боя, общий уровень военного искусства.

К началу XXI в. на среднедонской территории было исследовано 9 курганных могильников скифской эпохи, в которых обнаружено свыше 250 захоронений V–IV вв. до н. э. И в 175 могилах (72 %) в том или ином составе найдены предметы вооружения – как наступательного, так и оборонительного. Наступательное оружие представлено мечами и кинжалами, копьями и дротиками, луками и стрелами. К доспехам относятся железные «чешуйчатые» панцири, боевые пояса, шлемы, поножи и щиты (см. вклейку: с. 56, ил. 8–9; с. 57, ил. 10).

В 1970 г. в своей докторской диссертации П. Д. Либеров подчеркнул, что на Среднем Дону на 118 раскопанных скифских кургана приходится 22 железных «чешуйчатых» панциря или почти в 20 % могил. То есть почти каждый пятый захороненный здесь мужчина-воин имел для своей защиты самый надежный для тех времен доспех. И это при том, что в отличие от степных областей Скифии, где покойника либо облачали в его панцирь, либо расстилали доспех и клали на него труп, по среднедонскому похоронному ритуалу панцирь вешали на железный крюк, вбитый в опорные столбы или деревянные стены гробницы. В условиях сплошного ограбления еще в древности эти доспехи могли сильно разрушить и даже вынести целиком за пределы кургана. Если мы сравним насыщенность могил Среднего Дона железными панцирями с родственными областями Приднепровской Лесостепи, то там, на Правобережье, на 500 раскопанных курганов придется 48 панцирей, а на Левобережье на 3400 насыпей будет 28 доспехов. Таким образом, насыщенность самым надежным защитным вооружением у среднедонских воинов – самая высокая по всей Скифии. В состав набора каждого панциря входили железные пластинки разных размеров и форм, из которых набирался ворот, грудная и спинная части панциря, оплечья, подол и рукава. Доспех, вероятно, имел вид рубашки с длинными рукавами и невысоким воротом. На боку панцири имели разрез, что облегчало их надевание. При изготовлении панцирей металлические пластины крепились на кожаную основу, для которой применялась плотная и прочная кожа спинной части крупного рогатого скота, которая обрабатывалась растительными дубителями (Савченко Е. И., 2004. С. 220).

На 2007 г. на Среднем Дону найдено 30 железных панцирей, которые распределяются по могильникам следующим образом: Частые Курганы – 12, с. Мастюгино – 4, Русская Тростянка – 3, Дуровка – 4, Колбино – 6 и Горки I – 1 экземпляр. Следует также напомнить, что у скифских воинов (особенно рядовых) широко применялись надежные доспехи из толстой воловьей кожи, на которую нашивались большие металлические бляхи и пластины. Остатки такого кожаного панциря найдены в кургане № 2 у с. Мастюгино (раскопки Н. Е. Макаренко, 1908 г.). К сожалению, такие панцири из органиче-

ских материалов до наших дней практически не сохраняются.

Особую роль играют в воинском доспехе железные панцири, нагрудная часть которых обтянута толстой золотой фольгой. Таких панцирей в Скифии IV в. до н. э. известно пока шесть экземпляров: Александропольский курган, Куль-Оба, Мелитопольский курган, Толстая Могила (все они так называемые «царские» и находятся либо в Степном Приднепровье, либо в Крыму), а также Частые Курганы под Воронежом (курган № 2, раскопки ВУАК) и у с. Мастюгино (курган № 11/16, раскопки П. Д. Либерова) в 60 км к югу от Воронежа. «Покрытие золотом железных и тщательная полировка бронзовых пластин, – отмечает Е. В. Черненко, – преследовали не только декоративные цели. "Блеск оружия вызывает у врага особый ужас", – писал военный теоретик древнего Рима Вегеций. Панцири с золотым набором могли быть и знаком отличия крупного военачальника...» (Черненко Е. В., 1968. С. 22, 35). Таким образом, «золотые доспехи» могут свидетельствовать о присутствии в IV в. до н. э. на среднедонской земле по крайней мере двух крупных военачальников. Вполне вероятно, что обилие железных «чешуйчатых» панцирей в рассматриваемом регионе – прямое отражение реалий того беспокойного времени: ведь скифы Среднего Дона, жившие на северо-восточной окраине большого государства, испытывали постоянное давление со стороны враждебных сил. Для успешной защиты своих земель среднедонское население должно было постоянно «держать под ружьем» довольно многочисленное и хорошо вооруженное войско, ядро которого составляли, видимо, профессиональные воины-дружинники. Количество уцелевших до наших дней в курганах скифского времени защитных доспехов (каждый пятый погребенный мужчина имел железный панцирь) определенно говорит о том, что тяжеловооруженная кавалерия составляла существенную часть местных воинских отрядов. Что касается других оборонительных доспехов, то они пока представлены немногочисленными экземплярами: остатки бронзового античного («фракийского типа») шлема (курган № 2 у с. Мастюгино), бронзовые греческие поножи IV в. до н. э. найдены – две пары в Мастюгинских курганах и одна в кургане № 10 у с. Горки Красненского района Белгородской области (Макаренко Н. Е., 1911. С. 52, 62; Гуляев В. И., Савченко Е. И., 2004. С. 49) (см. вклейку: с. 51, ил. 1).

Деревянные щиты с «панцирным» покрытием отмечены в среднедонских курганах трижды – в кургане № 23 группы «Частых Курганов», кургане № 3 у с. Мастюгино и кургане № 4 у с. Колбино. Изображение небольшого овального легкого щита из дерева и кожи можно видеть на знаменитой серебряной вазе с фигурами скифов из «Частых Курганов» (курган № 3) (Рис. 10). Непременный атрибут скифского воинского снаряжения – кожаный пояс с нашитыми на него вертикально металлическими пластинами – обнаружен в кургане № 3 у с. Мастюгино и в кургане № 3 у с. Колбино. Мечи и кинжалы общескифских типов V–IV вв. до н. э. встречены в 20 погребениях Среднего Дона. Они имеют различную длину и разное оформление рукояти (перекрестья и навершия). Длина некоторых из них достигает 90–100 см, и они явно предназначались для рубки с коня. Следует также обратить внимание на два меча из Колбинского курганного могильника с ажурными клинками и зооморфным оформлением рукояти, которые полностью повторяют парадные мечи из «царского» кургана Чертомлык в Степном Приднепровье (Гуляев В. И., 2009. С. 148) (см. вклейку: с. 53, ил. 3). В одном случае удалось проследить общую длину копья по наконечнику и втоку, лежащих вдоль стенки могилы. Это явно кавалерийская пика. Ее длина 3,32 м (курган № 12 у с. Терновое). Дата погребения – IV в. до н. э.

К числу локальных особенностей среднедонского вооружения следует отнести явное преобладание железных втульчатых наконечников стрел над бронзовыми в колчанах местных воинов. Во всем остальном и защитное, и наступательное оружие людей, погребенных в среднедонских курганах, полностью повторяет те образцы, которые господствовали в Степной Скифии в V–IV вв. до н. э. (Савченко Е. И., 2004. С. 151–277) (см. вклейку: с. 54, ил. 4).

Археологи часто любят цитировать строки из одного популярного стихотворения Ивана Бунина:

> Молчат гробницы, мумии и кости,
> Лишь слову жизнь дана.
> Из древней тьмы на мировом погосте
> Звучат лишь письмена...

Но в наши дни эти вроде бы бесспорные слова явно устарели. Благодаря колоссальным достижениям современной науки, «заговорили» вдруг и мертвые человеческие кости. Они теперь при активном участии антропологов – ценнейший источник информации, раскрывающий самые разные и подчас совершенно неожиданные стороны жизни древних людей. Одна из наиболее полных коллекций человеческих останков скифской эпохи из курганного могильника у сел Терновое и Колбино (в 90 км к югу от Воронежа) позволила антропологам сделать ряд важных выводов о былой жизни этих людей. Они не страдали какими-либо серьезными хроническими заболеваниями. Их пищевой рацион был хорошо сбалансирован и разнообразен. На зубах нет никаких следов кариеса. Причем

и мужчины и женщины питались одинаково. Но средняя продолжительность жизни была невелика: у женщин 33–35 лет, у мужчин 39–40 лет. По всем своим физическим признакам это было кочевое или полукочевое население (Добровольская М. В., 2009. С. 174–185) (см. вклейку: с. 58, ил. 11).

По отражению на костях физических нагрузок (мышцы шеи, плеч, бедер и т. д.) можно заключить, что все мужчины были конными воинами. А сравнительно небольшая продолжительность жизни многих из них была связана с повышенной военной активностью. Обследование скелетов позволило выявить на некоторых из них следы боевых ран и травм, в ряде случаев вызвавших смерть данного индивида. Так, в кургане № 7 у с. Терновое мужчина 30–39 лет имел на черепе над правой глазницей зажившую впоследствии рану, нанесенную каким-то тупым орудием. В кургане № 9 того же могильника мужчина 30–35 лет получил большую рану в области живота (следы в районе поясничного позвонка), нанесенного каким-то острым режущим орудием, что и стало причиной его смерти. Курган № 12 там же содержал захоронение воина 30–39 лет со следами рубленой раны на лицевой части черепа, впоследствии зажившей.

Последствия былых кровавых битв удалось проследить и в погребениях у с. Колбино: курган № 7, мужчина 45 лет, с проломом височной кости без следов заживления – т. е. явно смертельная рана; курган № 15 – мужчина 40–45 лет с переломом грудного позвонка (рана зажила, но позвоночник искривился) и со страшной раной на лицевой части черепа от удара колющим оружием (копьем?) снизу вверх; в кургане № 33 погребен мужчина 30–39 лет, раненый дважды – в лицо каким-то колющим орудием снизу вверх и в бедро режущим орудием, но обе раны благополучно зажили и человек жил еще какое-то время; у мужчины из кургана № 36 обнаружено проникающее ранение в затылочную часть черепа от бронзовой стрелы и ранение в область грудной клетки со спины тоже стрелой, от чего этот человек и умер.

В сражениях участвовали и женщины. И не всегда они выходили из боев без потерь. Погребенная в кургане № 15 у с. Колбино воительница довольно почтенного для тех времен возраста (ей было 40 лет), получила при жизни смертельную рану в брюшную полость каким-то острым режущим орудием (Добровольская М. В., 2009 а. С. 186–197).

Таким образом, судя по вышеизложенным фактам, обитатели благодатной среднедонской лесостепи вели довольно беспокойную и полную опасностей жизнь, отбивая постоянные набеги вражеских отрядов, что делало эту далекую северо-восточную границу Скифии поистине «огневой». И главными противниками местных скифов выступали скорее всего воинственные кочевые племена савроматов-сарматов, владения которых находились между Доном и Волгой.

Список литературы

Галанина Л. К. Греческие поножи Северного Причерноморья // АСГЭ. Вып. 7. Л., 1969.

Гуляев В. И. Парадные мечи V–IV вв. до н. э. из курганов Скифии // Археологические памятники Восточной Европы. Межвузовский сборник научных трудов. Вып. 13. Воронеж, 2009.

Гуляев В. И., Савченко Е. И. Новый памятник скифского времени на Среднем Дону // Археология Среднего Дона в скифскую эпоху. Труды Донской (Потуданской) археологической экспедиции ИА РАН, 2001–2004 гг. М., 2004.

Добровольская М. В. Палеодемография среднедонского населения раннего железного века // Археология Среднего Дона в скифскую эпоху. Труды Донской археологической экспедиции ИА РАН, 2004–2008 гг. М., 2009.

Добровольская М. В. Травматические повреждения на скелетных останках людей из курганных некрополей Среднего Дона // Археология Среднего Дона в скифскую эпоху. Труды Донской археологической экспедиции ИА РАН, 2004–2008. М., 2009 а.

Кузнецов С. В. Античные шлемы в курганах скифской военной элиты // Боспорский феномен. Ч. 2. Спб., 2001.

Мелюкова А. И. Вооружение скифов. М., 1964.

Мурзин В. Ю., Черненко Е. В. О средствах защиты боевого коня в скифское время // Скифия и Кавказ. Киев, 1980.

Савченко Е. И. Вооружение и предметы снаряжения населения скифского времени на Среднем Дону // Археология Среднего Дона в скифскую эпоху. Труды Донской (Потуданской) археологической экспедиции ИА РАН, 2001–2004. М., 2004.

Черненко Е. В. Скифский доспех. Киев, 1968.

Черненко Е. В. Скифские лучники. Киев, 1981.

Черненко Е. В. Длинные копья скифов // Древности Евразии в скифо-сарматское время. М., 1984.

Черненко Е. В. Военное дело скифов. Николаев, 1997.

Список сокращений

АСГЭ – Археологический сборник Государственного Эрмитажа

СПб. – Санкт-Петербург

Ю. А. Виноградов, М. Ю. Вахтина, В. А. Горончаровский,
С. В. Кашаев, Р. В. Стоянов, О. В. Шаров, И. Ю. Шауб

КУРГАННЫЕ ДРЕВНОСТИ БОСПОРА КИММЕРИЙСКОГО

Район современного Керченского пролива (древний Боспор Киммерийский) являлся одним из важнейших центров греческой колонизации Северного Причерноморья. Приблизительно на рубеже V–IV вв. до н. э. здесь сложилось крупное греко-варварское Боспорское царство. Важнейшая особенность этого единого государства или, иными словами, одна из составляющих «боспорского феномена» заключается в особой интенсивности и глубине греко-варварских взаимоотношений. Одним из проявлений этого «феномена» является большое количество курганов, расположенных по обеим сторонам пролива. Практически все они были раскопаны в XIX в., зачастую на очень низком методическом уровне. Тем не менее добытые тогда материалы вошли в золотой фонд мировой археологической науки, и каждое поколение исследователей должно возвращаться к их осмыслению. Подобные возвращения необходимы также и по той причине, что многие курганные памятники Боспора до сих пор не изучены и полностью не опубликованы.

Проект включал в себя два направления исследований. Первый задумывался как сборник статей «Курганные древности Боспора Киммерийского», второй был посвящен изучению курганного некрополя боспорской знати Юз-Оба.

I. Сборник «Курганные древности Боспора Киммерийского» включает десять крупных статей.

«Боспорские цари и боспорские курганы IV в. до н. э.» (Ю. А. Виноградов)

Вопрос о выделении среди массы боспорских курганов таких, которые бы могли принадлежать владыкам Боспора, чрезвычайно сложен и практически не разработан в научной литературе. Если обратиться к истории Боспорского царства IV в. до н. э., то мы точно знаем по именам как всех его правителей, так и годы их властвования: прежде всего, это Сатир I, Левкон I, Перисад I и Евмел. Есть все основания считать, что владык государства хоронили в курганах, которые должны отличаться грандиозностью, сложностью устройства погребальных сооружений, богатством инвентаря и т. д. Среди боспорских погребальных комплексов особый интерес, на наш взгляд, должны привлекать следующие курганы: у села Баксы, Острый, Царский и Золотой.

Баксинский курган является самым ранним в обозначенной группе. Его специальному рассмотрению посвящена статья Ю. А. Виноградова (см. ниже), в связи с чем можно отметить, что курган у с. Баксы скорее всего принадлежал боспорскому правителю Сатиру I.

Весьма непрост вопрос о погребении самого знаменитого правителя из ранних Спартокидов – Левкона I. При нем Боспор сложился как единое греко-варварское государство. Логично ожидать, что его погребение было совершено очень пышно и в особо важном месте. Курганом Левкона можно считать Острый, занимающий центральное место в некрополе Юз-Оба (Виноградов. 2011). Особенности этого погребального комплекса специально рассмотрены в отдельной статье Ю. А. Виноградова (см. ниже).

Царский курган является наиболее ярким, хрестоматийно известным памятником боспорской культуры и даже более того – самым знаменитым архитектурным сооружением, оставленным нам классической древностью на северном берегу Черного моря. Высота его насыпи достигает 17 м, площадь склепа составляет 18,60 кв. м, высота – около 9 м (Гайдукевич. 1949. С. 248; 1981. С. 43). Нет ни малейшего сомнения, что он мог быть возведен только во время экономического процветания и политического благополучия Боспорского государства, вероятнее всего, во второй половине IV в. до н. э. В это время здесь царствовал Перисад I. Неудивительно, что Царский курган принято связывать с этим владыкой (Gajdukevič. 1971. S. 272).

Золотой курган является самым крупным из всех перечисленных. Насыпь имела в высоту свыше 21 м (Гайдукевич. 1949. С. 246; ср.: Цветаева. 1957. С. 233). Склеп, открытый здесь в 1832 г., имел круглую форму (диаметр – 6,30 м), к нему примыкал длинный дромос. По размерам склепа Золотой курган заметно превосходил все известные нам погребальные камеры Боспора (Виноградов. 2010 а). К сожалению, это сооружение было полностью ограблено, но его принадлежность к разряду царских не вызывает ни малейших сомнений.

В научной литературе долгое время дискутировался вопрос о датировке Золотого кургана, связи конструкции его погребальной камеры или, по крайней мере, крепиды с микенской или киммерийской традицией. В. Ф. Гайдукевич, внимательно изучивший имеющуюся документацию, пришел к однозначному заключению, что все эти догадки

необходимо отклонить, «как совершенно необоснованные» (Гайдукевич. 1981. С. 21). Сооружение является результатом творчества боспорских архитекторов. Наличие штукатурки на стенах склепа позволяет считать его отнюдь не самым ранним. Круглая форма склепа также, вероятнее всего, является относительно поздним признаком.

Кроме грандиозного круглого склепа, в Царском кургане были обнаружены еще две погребальные конструкции. В 1832 г. Д. В. Карейша открыл каменный склеп четырехугольной формы, перекрытый уступчатым сводом и не имевший дромоса (Гайдукевич. 1981. С. 8, 9. Рис. 2). В 1853–1854 гг. А. Е. Люценко обнаружил еще один ограбленный четырехугольный склеп с уступчатым перекрытием свода (см.: Гайдукевич. 1981. С. 17). Дромос, также имевший уступчатое перекрытие, был пристроен к восточной стене склепа, при этом прохода из него в погребальную камеру не было сделано.

Можно считать, что Золотой курган является самым поздним в ряду подобных памятников времени расцвета Боспорского царства в IV – начале III в. до н. э.; во всяком случае, планировка его склепа, покрытие стен штукатуркой и пр. не противоречит этому. Как известно, после смерти царя Перисада в 310/9 г. до н. э. его сыновья (Сатир, Притан и Евмел) начали жестокую борьбу за престол (см.: Гайдукевич. 1949. С. 73–75; Виноградов. 2003. С. 77 сл.). Из рассказа Диодора об этой борьбе известно (Diod. XX. 22–24), что первым в ней погиб Сатир, второй жертвой междоусобицы стал Притан. Победа досталась Евмелу, под властью которого могущество Боспора еще более окрепло. Диодор рассказал о чудовищной жестокости Евмела по отношению к родственникам, но все-таки можно допустить, что он решил возвести свою гробницу рядом с могилами братьев. В таком случае, если считать, что «купольная» камера Золотого кургана принадлежала Евмелу, то в двух небольших четырехугольных склепах, вероятно сооруженных в спешке, могли быть погребены Сатир и Притан (Виноградов. 2010 а. С. 476).

В заключение необходимо подчеркнуть, что реконструированную последовательность возведения известнейших погребальных комплексов IV в. до н. э. и их соотношение с конкретными личностями из правящего на Боспоре дома (от Сатира I до Евмела) при современной изученности имеющихся материалов следует считать не более, чем рабочей гипотезой.

«Курган у села Баксы» (Ю. А. Виноградов). Место для возведения этого кургана было выбрано не случайно – с его вершины открывается прекрасный вид на пролив и азиатскую часть Боспора. Раскопками здесь руководил Н. П. Кондаков (1882 и 1883 гг.). Курган тогда выглядел весьма впечатляющим: диаметр – более 85 м, окружность основания – почти 190 м, высота – 10,60 м.

Под насыпью был открыт каменный склеп с уступчатым перекрытием свода (4,30 × 3,60 м, высота – 5,30 м). Бытует представление, что здесь было совершено два разновременных захоронения, но оно, скорее всего, ошибочно. Основное пространство склепа занимал большой деревянный саркофаг. Он был украшен костяными и янтарными вставками, а также резьбой, в том числе изображением крылатого солнечного диска. Никаких костных остатков в саркофаге не зафиксировано, отдельные кости были найдены в дромосе. Из погребального инвентаря здесь присутствовал меч с рукоятью, обтянутой золотым листом, несколько золотых бляшек, два деревянных посоха и пр. Рядом с саркофагом находились погребения трех коней.

В насыпи были обнаружены обломки большого краснофигурного кратера, который можно датировать концом V в. до н. э. или, может быть, чуть позднее. Кроме того, в насыпи были найдены амфорные фасосские клейма. Все они, по классификации В. И. Каца, относятся к группам B и C, т. е. датируются от середины 90-х до середины 70-х гг. IV в. до н. э. (Кац. 2007. С. 414). Охарактеризованные материалы, в общем, позволяют считать, что тризны на Баксинском кургане были произведены в первой четверти IV в. до н. э.

Из находок, происходящих из склепа, хорошо датирована лишь краснофигурная пелика. Специальное изучение этого сосуда показывает, что он относится к концу V в. до н. э. (Передольская. 1971. С. 54). Совсем не исключено, что погребение в склепе было совершено в самом начале IV в. до н. э., вероятнее всего, не позднее двух первых десятилетий столетия.

М. И. Ростовцев считал, что курган принадлежал кому-нибудь из самых высокопоставленных лиц Боспорского государства (Ростовцев. 1925. С. 395). С мнением этого исследователя следует согласиться. Более того, рассматриваемый памятник вполне можно считать царским. Хронологическая атрибуция погребения у села Баксы лучше всего может соответствовать Сатиру I, много сделавшему для расширения своих владений и умершего в 389/88 гг. до н. э.

«Острый курган под Керчью» (Ю. А. Виноградов). Среди практически забытых памятников Боспора выделяется Острый курган, занимающий центральное место в некрополе Юз-Оба. Этот курган представляется одним из самых любопытных и важных памятников Юз-Обы, т. е. некрополя боспорской знати времени расцвета государства в IV в. до н. э. Курган раскапывал А. Е. Люценко (1861 и 1862 гг.), а затем Н. П. Кондаков (1883 и 1885 гг.). Почти нет сомнения, что их внимание к

Острому кургану в значительной степени объясняется его огромными размерами (высота насыпи – 17 м, длина окружности – 240 м).

С южной стороны кургана А. Е. Люценко открыл гробницу № 29. Это была катакомба, вырубленная в грунте, в которую вел колодец, обложенный каменной кладкой. Катакомба была вырублена в его северной стороне, на глубине 6 м от поверхности скалы. Вход в камеру был перекрыт стеной из тесаных плит. Катакомба (6,40 × 4,60 м, высота – до 3, 90 м) имела двускатный потолок. Она оказалась полностью ограбленной.

Во время раскопок А. Е. Люценко была открыта крепида, имевшая форму правильного восьмиугольника, что нетипично для боспорских курганов. С восточной стороны она представляла собой ограду, состоящую из пяти рядов огромных каменных плит. Ряды кладки при этом лежали уступами с наружной стороны, создавая подобие лестницы. В насыпи над этой конструкцией были найдены обломки каменных плит с остатками греческих надписей. Любопытно также отметить, что в этой части насыпи встречалось большое количество обломков мрамора, что позволяет допустить, что на данном месте был поставлен какой-нибудь скульптурный памятник.

Данный погребальный комплекс можно относить к самому высокому рангу. Он имел грандиозную насыпь, а открытая в нем катакомба является одной из самых крупных по площади среди всех погребальных памятников Боспора. Острый курган вполне можно считать царским. Его точная хронологическая атрибуция вызывает очень большие затруднения, но практически нет сомнения, что он относится к IV в. до н. э.

Особое внимание должна привлекать открытая здесь катакомба. Подобные сооружения являются типичной особенностью скифского погребального обряда. Появление такого комплекса, как Острый курган, в некрополе боспорской знати указывает на главное направление культурных и политических связей Боспора с местными племенами, которые в IV в. до н. э. вели в степи Северного Причерноморья (Виноградов. 2005. С. 273).

Несмотря на явный недостаток археологических материалов, можно высказать предположение, что в катакомбе Острого кургана был погребен создатель Боспорского государства Левкон I (389/88 – 349/48 гг. до н. э.). Столь значимая в боспорской истории фигура, конечно, заслуживала погребения в особом месте, а учитывая дружеские связи Левкона со скифами (Polyaen. Strateg. VI. 9, 4), представляется вполне логичным, что при этом был использован особый, скифский тип погребальных сооружений.

«Курган на землях Мирзы Кекуватского» (Ю. А. Виноградов). Этот курган был раскопан А. Б. Ашиком в 1839 г. и стал хрестоматийно известным боспорским памятником. Здесь был открыт каменный склеп с очень богатым погребением знатного воина. К сожалению, этот курган часто путают с другим хрестоматийно известным памятником – Змеиным курганом. Дело в том, что тот был последним в цепи Юз-Оба на землях Керчь-Еникальского градоначальства, а западнее него, уже в частных владениях находились еще два кургана. Последним в этой цепи как раз и был курган Кекуватского. Путаницу, как нетрудно догадаться, ввело определение «последний».

В 1889 г. раскопки на последнем кургане Юз-Обы предпринял А. А. Бобринский, обнаруживший здесь каменный склеп. М. И. Ростовцев ошибочно полагал, что он провел раскопки Змеиного кургана (Ростовцев. 1914. С. 106, прим. 2), и этой точки зрения стали придерживаться многие ученые. Есть основания считать, что А. А. Бобринский обнаружил склеп, открытый А. Б. Ашиком за 50 лет до него.

Курган Кекуватского был одним из самых крупных в некрополе Юз-Оба. По измерениям А. А. Бобринского, его высота первоначально могла достигать 16 м. Иногда считается, что в кургане был открыт склеп с уступчатым перекрытием, но это не так. По словам А. Б. Ашика, свод был сделан «наподобие наших погребов», т. е. явно имел округлые очертания. Для датировки погребения большое значение имеет краснофигурная пелика «мастера Марсия», которую сейчас относят к 360 г. до н. э. (см.: Уильямс, Огден, 1995. С. 164. Рис. 50). По этой находке курган Кекуватского обычно датируют серединой IV в. до н. э. (Цветаева. 1957. С. 240; Яковенко. 1974. С. 65; Виноградов. 2010б. С. 529; Fless, Lorenz. 2005. S. 22).

«Основное погребение в кургане на Темир-Горе и его место среди памятников скифской архаики» (М. Ю. Вахтина)

Курган на хребте Темир-Гора в 6 км к северо-востоку от г. Керчь, раскопанный в 1869/1870 гг. П. И. Хицуновым и А. Е. Люценко, неоднократно привлекал внимание исследователей. Особенный интерес вызывало его центральное погребение, содержавшее знаменитую восточногреческую (милетскую) ойнохою, датированную 640–630 гг. до н. э. (Cook, Dupont. 1998. P. 36), остатки колчанного набора и костяные изделия в «зверином стиле». Обнаруженный в погребении греческий сосуд служит важнейшим хроноиндикатором, датирующим погребение. Скорее всего датировка погребения близка дате изготовления сосуда (Вахтина. 2005. С. 313). Заслуживают внимания и художественные костяные изделия в «зверином стиле» (Яковенко.

1976 а. С. 128–130. Рис. 1–3; Piotrovsky, Galanina, Grach. 1986. Fig. 3, 7), особенно костяной наконечник в виде «глаза и клюва», украшенный дополнительными изображениями (Яковенко. 1976 б).

Значение комплекса центрального погребения в кургане Темир-Гора чрезвычайно велико для понимания скифской архаики и вопросов, связанных с начальным периодом греко-варварских контактов на территории Северного Причерноморья. По набору погребального инвентаря это захоронение принадлежит к кругу относительно скромных (по сравнению, например, с синхронными «царскими» могильниками Прикубанья) аристократических погребений «пеших лучников», известных на территории степной зоны. Картографирование аналогий местных вещей из основного комплекса Темир-Горы показывает тяготение этого памятника к району Побужья – Приднепровья. Из этого же района (Немировское городище) происходят и находки греческих расписных сосудов, произведенных в одной мастерской с ойнохоей из Темир-Горы. Эти материалы в сопоставлении с данными Геродота и других письменных источников позволяют предположить, что в основном погребении кургана был захоронен скифский аристократ, связанный с традиционным путем скифских миграций из Приднепровья в Прикубанье через Керченский пролив (Вахтина, Виноградов, Рогов. 1980).

Визуальное обследование остатков насыпи кургана не противоречит высказанной точке зрения. Еще первые его исследователи отмечали прекрасный вид на оба моря, Черное и Азовское, который открывается с вершины насыпи. Добавим, что в непосредственной близости идет наиболее удобная в этом месте дорога к морю. Разведка, проведенная нами, показала перспективность доследования этого памятника, значительная часть которого осталась не затронутой раскопками.

«Семибратние курганы: хронология, анализ конструкции и инвентаря погребальных сооружений» (В. А. Горончаровский).

Семибратние курганы, исследовавшиеся в 1875–1876 и в 1878 гг., занимают возвышенность на левом берегу р. Кубань, вытянутую на расстояние около 300 м. Среди них № 2–7 находятся на одной линии и только самый крупный (№ 1) отдельно в 250 м к югу. Период возведения этих курганов (середина V – начало IV вв. до н. э.) практически совпадает со временем расцвета т. н. Синдского царства. Изучение архивных материалов по данным комплексам, связанным с захоронениями представителей правящего рода синдов, позволяет утверждать, что зафиксированные здесь обряд погребения и конструкция сооружений претерпевают значительные изменения, пройдя в своем развитии не два (Коровина. 1957. С. 184–186; Силантьева. 1967. С. 46–48; Алексеев. 2003. С. 296), а три этапа:

1. В середине третьей четверти V в. до н. э. захоронения совершались в сырцовых склепах с деревянным перекрытием, возведенных на материке (№ 2 и 4). Погребенные, ориентированные на В, помещались в отделения со стенками из сырцовых кирпичей или досок. С ними или отдельно захоронено до 13 лошадей.

2. В последней трети V в. до н. э. для погребения, ориентированного на В или СВ, использовалась каменная гробница, впущенная в угол сырцового склепа. Курган № 5 является сооружением переходного типа, так как сырцовый склеп в нем был возведен на материке в отличие от более позднего № 6, где он врезан в материк. Подобные изменения сопровождались постепенным увеличением предметов греческого импорта, вплоть до использования деревянного резного саркофага. Число захороненных лошадей уменьшалось.

3. Начиная с рубежа V–IV вв. до н. э. погребения связаны с каменными гробницами вытянутой формы, впущенными в материк. По соседству с ними располагаются сырцовые склепы с конскими костяками (№ 1, 3, 7). В одном случае зафиксирована каменная крепида (№ 7). Ориентация погребенных: на В или ЮВ. В самом позднем кургане № 1 захоронение двух лошадей носит символический характер.

Сделанные наблюдения позволяют говорить, что расположение большей части курганов на одной линии не случайно: они последовательно сооружались в направлении с З на В. Соответственно втиснутый между № 2 и 4 курган № 3, который иногда связывают с царем Гекатеем (Бутягин. 1996. С. 45; Власова. 2001. С. 131), оказывается более поздним по отношению к № 7. Скорее всего это объясняется, как невозможностью продолжить цепочку курганов по условиям рельефа местности, так и спешкой при погребении. При возведении самого позднего кургана № 1 место для него было выбрано к югу от № 2, с которого все и началось. Несомненна связь погребенных в Семибратних курганах с расположенным неподалеку античным городом, носившим название Лабрис (Семибратнее городище), где, возможно, находилась их резиденция.

«Сравнительный анализ трех некрополей Таманского полуострова: у мыса Тузла, у хутора Кротенко, Артющенко-2» (С. В. Кашаев)

В работе представлен сравнительный анализ трех некрополей, расположенных в южной части Таманского полуострова. В научной литературе за ними закрепились названия: «У мыса Тузла», «У хутора Кротенко», «Артющенко-2». Эти некрополи исследованы на достаточной площади, а получен-

ная при раскопках информация позволяет провести их сравнение.

Некрополь «У мыса Тузла» расположен на юго-западной оконечности полуострова, на берегу Черного моря, вблизи мыса Тузла, по которому он и получил свое наименование. Здесь имеются как курганные, так и грунтовые захоронения. Раскопки на Тузле проводились В. В. Шкорпилом и другими исследователями (Шкорпил. 1914. С. 21–58; 1918. С. 140–146; Соколов. 1919. С. 48; Зеест. 1953. С. 156–158; Сорокина. 1957. С. 6; Коровина 1964. С. 5–6; Кондрашев. 2001. С. 68–77; 2010. С. 97–104; Кондрашев, Пьянков. 2002. С. 97–104). По подсчетам Н. И. Сударева, в некрополе было исследовано 177 могил, из которых 133 относятся к VI–II вв. до н. э. (Сударев. 2005. С. 30).

Некрополь у бывшего хутора Кротенко (у мыса Панагия) исследовался В. В. Шкорпилом в 1913 г., им было открыто 42 могилы VI–II вв. до н. э. (Шкорпил. 1914. С. 58–71). Эти материалы не раз использовались в работах отечественных археологов (Соколов. 1919. С. 48; Ростовцев. 1925. С. 285; Кастанаян. 1959. С. 290–296; Коровина. 1962. С. 301–313; 1964. С. 7). Несколько погребений некрополя было исследовано под руководством В. Д. Блаватского (Блаватский. 1957. С. 121–123). По подсчетам Н. И. Сударева, в некрополе было исследовано 58 погребений античного времени (Сударев. 2005. С. 53).

Грунтовый некрополь Артющенко-2 расположен на берегу Черного моря, между мысом Железный Рог и Бугазским озером, в 4 км к юго-востоку от поселка Артющенко. Таманский отряд Боспорской экспедиции ИИМК РАН ведет здесь раскопки с 2003 г. (Кашаев. 2009. С. 188).

В 2003–2010 гг. на некрополе была исследована площадь примерно 2900 кв. м. Здесь было обнаружено 110 погребений, в том числе индивидуальные мужские, женские и детские захоронения, а также могилы, содержащие 2 (чаще всего мужской и женский) или 3 (мужской, женский, детский) костяка. Кроме того, имеются могилы с инвентарем, но без следов костяков – предположительно кенотафы. Из 110 погребений 76 – индивидуальные (69,1 %), 19 – парные (17,2 %), 7 – детские в амфорах (6,4 %) и 8 – кенотафы (7,3 %).

Самые ранние захоронения датируются концом VI в. до н. э., а самые поздние – первой четвертью II в. до н. э. Наибольшее количество исследованных погребений относятся к началу V – началу IV вв. до н. э., небольшая часть – к IV–III вв. до н. э., лишь отдельные захоронения датируются началом II в. до н. э. Большой интерес представляют индивидуальные и парные погребения в сырцовых склепах. Это наиболее показательные захоронения по обилию инвентаря, а также с точки зрения реконструкции погребального обряда (Кашаев. 2010. С. 8–96).

Проведенный анализ позволяет сделать вывод об общих чертах погребального обряда в трех могильниках, а также выделить особенности каждого из рассматриваемых некрополей.

«Из истории исследования кургана Кара-Оба» (Р. В. Стоянов)

Курган Кара-Оба является самым крупным в Восточном Крыму. Этот памятник раскапывался под руководством директора Керченского музея А. Е. Люценко в 1859–1861 гг., а затем, в 60-х гг. XX в., под руководством П. Н. Шульца (см.: Шульц. 1971). За время этих исследований были получены важные данные, объясняющие культурную принадлежность и конструктивные особенности памятника. Полученные материалы позволяют датировать его концом II в. до н. э. Единственная гробница, содержавшая коллективное захоронение, была открыта А. Е. Люценко. Несмотря на это некоторые исследователи считают, что Кара-Оба принадлежит какому-то скифскому или боспорскому царю. А. Н. Щеглов предполагал, что курган был насыпан над погребением воинов Митридата VI Евпатора, погибших в борьбе за покорение Боспора. Обе точки зрения не представляются убедительными, и, несмотря на многолетние исследования, вопрос о предназначении этого памятника все еще остается открытым.

«Курган по дороге к Аджимушкайской каменоломне в Керчи, открытый А. Б. Ашиком в 1841 году» (О. В. Шаров)

В 1841 г. директор Керченского музея А. Б. Ашик исследовал большой 11-метровый курган, лежавший по дороге к Аджимушкайской каменоломне; в нем были открыты два каменных склепа. Оба склепа были сооружены в эллинистическое время, а в римскую эпоху использованы вторично.

Склеп № 1 – уступчатый с коридором – находился с южной стороны кургана. Над сводом склепа были обнаружены кости лошади. Дверь в него была заложена камнями с надписью, сделанной красной краской (ARTAENNO). В склепе стоял оббитый свинцом деревянный гроб с похороненным в нем мужчиной в золотой диадеме и в золототканой тунике. Около правой руки лежали меч, железный наконечник копья с золотой обкладкой втулки, рядом найдены золотые бляшки от ножен меча, точильный камень, кинжал, рукоятка которого была обложена золотом, и сверху надето полихромное навершие. У ног мужчины найдены простая глиняная ваза, серебряные удила, пряжки, кольца и золотые бляшки конской узды, украшенные сердоликовыми вставками. При просеивании земли, по словам А. Б. Ашика, на полу были найдены 2 золотых кружка с оттисками монет Рискупори-

да II (III) (211/212–228 гг.). На основании хронологии граненых наконечников грызл и пластин-зажимов конской упряжи, а также пряжек типа «Келлер-А» комплекс можно датировать второй третью IV в. н. э.

Склеп № 2 – с полуцилиндрическим сводом, без коридора и специального входа – был открыт с северной стороны кургана. Он содержал женское погребение в деревянном гробу, головой на З. На голове женщины был золотой погребальный венок, в центре которого сделан квадратный медальон, разделенный на 9 квадратов, украшенных штампованным геометрическим орнаментом. В каждый из трех средних квадратов вставлено по халцедоновой камее. На шее погребенной висело филигранное золотое ожерелье с подвесками, украшенными вставленными в оправу изумрудами, бирюзой, аквамаринами, и застежкой в виде золотого барашка. В центре ожерелья расположена камея с женским портретом из сирийского граната в золотой оправе. В ушах висели серьги с львиными головками на концах, на руках были надеты широкие золотые браслеты, на пальцах – золотые перстни с бирюзой и гранатом. На основании даты полихромного ожерелья и браслетов комплекс женского погребения можно отнести к началу III века н. э.

«Боспорские курганы и религия Боспора» (И. Ю. Шауб)

Сопоставление погребальных сооружений и погребального инвентаря боспорян и греков метрополии, равно как и населения других северопричерноморских колоний, свидетельствует о яркой специфике, которая отличала загробные представления обитателей Боспора. Эта специфика нашла отражение прежде всего в сюжетах росписей так называемых «керченских ваз», преимущественно пелик, которые были самым характерным компонентом как богатых, так и рядовых погребений на Боспоре в IV в. до н. э. (Шталь. 2001; 2004; Шауб. 2007. С. 395 сл.), а также в изображениях, оттиснутых на изделиях торевтики (главным образом, на золотых нашивных бляшках).

Комплексный анализ всех этих памятников свидетельствует, что за всеми запечатленными в них образами стоят глубокие религиозные представления, связанные с посмертным существованием души (ее странствиями, борьбой с враждебными силами, приобщением к Великой богине и т. п.).

Совпадение большинства сюжетов на золотых штампованных бляшках из боспорских курганов с изображениями на аналогичных предметах из курганов Скифии, наряду со спецификой изображений, запечатленных на «керченских вазах», позволяет с уверенностью предположить, что оба эти явления были обусловлены воздействием варварской среды на религиозные представления боспорян.

II. «Некрополь боспорской знати Юз-Оба» (Ю. А. Виноградов). Эта часть проекта представляет собой самостоятельное, законченное исследование (12 авт. лист., 84 ил.), переданное для публикации в альманахе «Боспорские исследования» (Керчь).

Курганы некрополя Юз-Оба (Сто холмов) под Керчью хорошо известны в археологической литературе. Их цепь тянется в 7–8 км южнее горы Митридат, начинаясь на востоке, от берега Керченского пролива, точнее от двух мысов (Павловского и Ак-Бурунского), и теряясь на западе, в степи за современным Феодосийским шоссе. Название этого некрополя или даже краткую характеристику отдельных входящих в него погребальных комплексов можно найти в любой обобщающей работе по истории и культуре Боспора.

Главная заслуга в изучении Юз-Обы принадлежит директору Керченского музея древностей А. Е. Люценко, проводившего здесь раскопки в 1858–1863 гг. Позднее исследования некрополя проводили Н. П. Кондаков, А. А. Бобринский и В. В. Шкорпил. Накопленный ценнейший археологический материал, к сожалению, был введен в научный оборот лишь частично. М. И. Ростовцев опубликовал очень содержательный очерк о склепах Юз-Обы (Ростовцев. 1914. С. 99–109). По его стопам уже в советское время пошел К. Э. Гриневич, посвятивший данному памятнику довольно крупную статью (Гриневич. 1952).

Несмотря на имеющиеся успехи, мы точно не знаем даже количество курганов, входивших в некрополь Юз-Оба. М. И. Ростовцев привел данные или же просто упомянул о семи погребальных комплексах (Ростовцев. 1914. С. 99–109). В работе К. Э. Гриневича можно найти упоминания лишь о десяти курганах (Гриневич. 1952). На самом деле их, конечно, было больше. Если судить по имеющимся картам местности, Юз-Оба включала приблизительно пять-шесть десятков насыпей.

До сих пор остается не ясной хронологическая атрибуция Юз-Обы. М. И. Ростовцев датировал некрополь последними десятилетиями IV в. до н. э. (Ростовцев. 1914. С. 108), К. Э. Гриневич считал, что он сформировался в пределах 360–330 гг. до н. э. (Гриневич. 1952. С. 148). Есть все основания считать, что Юз-Оба принадлежит ярчайшему периоду в истории Боспорского царства, который приходится на вторую половину IV – начало III вв. до н. э. (Виноградов. 2010 б. С. 530).

Анализ архивных документов о некрополе Юз-Оба позволяет сделать несколько выводов, которые, по понятным причинам, до публикации всех имеющихся материалов могут носить лишь предварительный характер. Прежде всего, это касается количества исследованных курганов. На Павлов-

слом мысу их было три, на Ак-Бурунском – пять, на хребте Юз-Оба два кургана стали хрестоматийно известными – Змеиный и на землях Мирзы Кекуватского, А. Е. Люценко провел раскопки на семнадцати курганах, обозначенных им номерами (№ 1–17), на южном склоне древние гробницы были обнаружены в трех «малых» курганах, кроме того, четыре кургана следует обозначить по годам их исследования – 1883 г., 1909, 1940 и 1994 г. Общее количество, как легко подсчитать, составляет 34. Эту цифру, разумеется, следует считать условной, во всяком случае, отличающейся от количества всех курганов некрополя, что связано с целым рядом обстоятельств. В первую очередь логично ожидать, что раскопки были проведены не на всех памятниках, а это означает, что реальная цифра курганов Юз-Обы может быть больше, чем 34.

Во всех курганах Юз-Обы, за исключением Семнадцатого и Первого Павловского, были открыты древние гробницы, которые можно признать основными. К сожалению, имеющиеся описания отнюдь не всегда дают основания для суждений о типе погребальных сооружений. Несмотря на это досадное обстоятельство, основываясь на сравнительно надежных данных о 30 курганах, представляется возможным выделить эти типы и выяснить их количественное соотношение.

В. Ф. Гайдукевич считал, что среди типов погребальных сооружений Юз-Обы безусловно господствующим был склеп с уступчатым перекрытием (Гайдукевич. 1949. С. 254). Однако такие склепы были открыты всего в четырех курганах. Склепы с полуциркульным сводом, т. е. сооружения с уступчатым сводом, в которых уступы были срезаны, обнаружены в трех курганах. Имеются также четыре склепа с перекрытием из горизонтально уложенных плит. Склепы, конструкция перекрытия которых остается неизвестной, открыты еще в шести курганах. В общей сложности на Юз-Обе было открыто 17 склепов.

В количественном отношении им несколько уступают другие сооружения. Среди них выделяется грандиозная катакомба Острого (Десятого) кургана. Ингумации в грунтовых ямах, обложенных камнями и перекрытых каменными плитами, зафиксированы в пяти курганах. Грунтовые ямы, содержавшие кремации, обнаружены в семи.

Самым ранним в некрополе можно признать Девятый курган, который, как представляется, относится к концу первой – началу второй четверти IV в. до н. э. Этот курган расположен в восточной части Юз-Обы. Самым поздним является Третий курган на мысе Ак-Бурун (1875 г.), который можно датировать концом IV – началом III в. до н. э. Таким образом, некрополь Юз-Оба сформировался приблизительно за 75 лет. Практически он не выходит за пределы IV в. до н. э.

Поздняя группа погребений Юз-Обы (пять насыпей), относящихся к последнему десятилетию IV – началу III в. до н. э., представляет особый научный интерес. Прежде всего, поздние насыпи в основном отличаются весьма скромными размерами (от 2-х до 7 м в вышину). Кроме того, они демонстрируют новые черты материальной культуры. Три погребальных комплекса являются воинскими, при этом в двух из них найдены мечи синдомеотского типа. Из двух погребений происходят детали поясов. Эти находки позволяют судить об усилении культурных импульсов, пришедших на Боспор в последнем десятилетии IV в. до н. э. из районов Прикубанья, т. е. из меотосарматского мира (Виноградов. 2005. С. 294).

Весь комплекс некрополя Юз-Оба очень любопытен. Еще К. Р. Бегичев в этой цепочке заметил элемент ее ритмической организации, выразившейся в «шахматном порядке» расположения насыпей. Цепочка была наиболее распространенным и массовым типом курганных ансамблей ранних кочевников. Боспорские архитекторы использовали именно этот простой тип, позволявший получить на местности «оптический эффект ритмического строя, создававший при перспективном наблюдении иллюзию бесконечного ряда» (Чернопицкий. 1980, С. 185). Юз-Оба, несомненно, является важным памятником истории Боспора IV в. до н. э. Вероятно, и боспорянами этот курганный некрополь воспринимался приблизительно также, а именно как символ яркой и самобытной исторической эпохи, как вполне сложившийся ландшафтообразующий элемент, нарушать который, как представляется, было просто запрещено.

Список литературы

Алексеев А. Ю. Хронография Европейской Скифии VII–IV вв. до н. э. СПб., 2003.

Блаватский. Четвертый год работ Синдской экспедиции // КСИИМК. 1957. Вып. 70. С.118–129.

Бутягин А. М. Хронология Семибратних курганов и история Синдики // Курган: историко-культурные исследования и реконструкции // Труды конф. СПб., 1996. С. 44–45.

Вахтина М. Ю. «Скифский путь» в Прикубанье и некоторые древности Северного Причерноморья эпохи архаики // Вопросы истории и археологии Боспора. Воронеж – Белгород, 1991. С. 3–11.

Вахтина М. Ю. Греческое искусство и искусство Европейской Скифии в VII–IV вв. до н. э. // Греки и варвары Северного Причерноморья в античную эпоху. СПб., 2005. С. 297–415.

Вахтина М. Ю., Виноградов Ю. А., Рогов Е. Я. Об одном маршруте военных походов и сезонных миграций кочевых скифов // ВДИ. № 4. С. 155–161.

Виноградов Ю. А. Усобица сыновей боспорского царя Перисада I // МИАК. Вып. 3. Краснодар, 2003. С. 77–92.

Виноградов Ю. А. Боспор Киммерийский // Греки и варвары Северного Причерноморья в скифскую эпоху. СПб., 2005. С. 211–296.

Виноградов Ю. А. Императорская Археологическая комиссия и изучение древностей Боспора Киммерийского // Императорская Археологическая комиссия (1859–1917). СПб., 2009. С. 248–401.

Виноградов Ю. А. 2010 а. Золотой курган (Алтын-Оба) // Поль Дюбрюкс. Сборник сочинений. Т. I. СПб., 2010. С. 471–476.

Виноградов Ю. А. 2010 б. Курганный некрополь Пантикапея доримского времени // Там же. С. 526–532.

Виноградов Ю. А. Острый курган под Керчью (об одном забытом памятнике Боспора) // Боспорские чтения. XII. Боспор Киммерийский и варварский мир в период античности и средневековья. Взаимовлияние культур. Керчь, 2011. С. 49-54.

Власова Е. В. Семибратние курганы // БФ. 2001. Ч. 2. С. 127–132.

Гайдукевич В. Ф. Боспорское царство. М.; Л., 1949.

Гайдукевич В. Ф. Боспорские города. Уступчатые склепы, эллинистическая усадьба, Илурат. Л., 1981.

Гриневич К. Э. Юз-Оба (Боспорский могильник IV века до н.э.) // АИБ. Т. I. Симферополь, 1952. С. 129–147.

Зеест И. Б. Земляные склепы некрополя Тузлы // КСИИМК. 1953. Вып. 51. С. 156–158.

Кастанаян Е. Г. Грунтовые некрополи Боспорских городов VI–IV вв. до н. э. и местные их особенности // МИА. 1959. № 69. С. 257–295.

Кац В. И. Греческие керамические клейма эпохи классики и эллинизма (опыт комплексного изучения) // БИ. 2007. Т. XVIII.

Кашаев С. В. Некрополь Артющенко-2 // БИ. 2009. Т. XXII. С. 188–267.

Кашаев С. В. Исследования некрополя Артющенко-2 в 2007-2008 гг. // ΣΥΜΒΟΛΑ. Античный мир Северного Причерноморья. Новейшие открытия и находки. Вып. 1. М.; К., 2010. С. 88–96.

Кондрашев А. В. Спасательные раскопки Тузлинского некрополя (1995–1999 гг.) // Музейный вестник (к 25-летию музея-заповедника). Краснодар, 2001. С. 68–77.

Кондрашев А. В. Новые исследования у мыса Тузла на Таманском полуострове // ΣΥΜΒΟΛΑ. Античный мир Северного Причерноморья. Новейшие открытия и находки. Вып.1. М.; К., 2010. С. 118–124.

Кондрашев А. В., Пьянков А. В. О верхней хронологической границе Тузлинского некрополя // МИАК. 2002. Вып. 2. С. 97–104.

Копейкина Л. В. Расписная родосско-ионийская ойнохоя из кургана Темир-Гора // ВДИ. 1972. № 1. С. 147–159.

Коровина А. К. К вопросу об изучении Семибратних курганов // СА. 1957. № 2. С. 174–187.

Кузнецова Т. М. Загадки Темир-Горы // БФ. 2002. Ч. 2. С. 79–90.

Коровина А. К. Некрополь около мыса Панагии // АИБ. 1962. Т. II. С. 301–314.

Коровина А. К. Некрополи Синдики VI–II вв. до н. э. // Автореферат дис. ... канд. Истор. наук. М., 1964.

Передольская А. А. Кто же расписал пелику из Баксы? // Культура и искусство античного мира. Л., 1971. С. 45–55.

Ростовцев М. И. Античная декоративная живопись на Юге России. СПб., 1914.

Ростовцев М. И. Скифия и Боспор. Л., 1925.

Силантьева Л. Ф. Семибратние курганы и их значение для изучения культуры синдов // ТД науч. сессии Гос. Эрмитажа. Л., 1967. С. 46–48.

Соколов В. В. Карта древних поселений и могильников в районе станицы Таманской // ИТУАК. 1919. Вып. 56. С. 39–59.

Сорокина Н. П. Тузлинский некрополь. М., 1957.

Сударев Н. И. Грунтовые некрополи боспорских городов VI–II вв. до н. э. как исторический источник // Рукопись дис. ... канд. Истор. наук. М., 2005. Архив ИА РАН.

Чернопицкий М. П. Курганная группа как архитектурный ансамбль (опыт композиционно-художественного подхода // Материалы I Всесоюзной археологической конференции. Кемерово, 1980. С. 176–186.

Цветаева Г. А. Курганный некрополь Пантикапея // МИА. 1956. № 56. С. 227–250.

Шкорпил В. В. Отчет о раскопках в г. Керчи и на Таманском полуострове в 1911 г. // ИАК. 1914. № 56. С. 1–74.

Шкорпил В. В. Раскопки в г. Керчи и в Кубанской области в 1913–1915 гг. // ОАК. 1913–1915. 1918. С. 140–146.

Шульц В. П. Курган Кара-Оба близ Керчи (раскопки 1967–1969 гг.) // КСИА. 1971. Вып. 128. С. 55–62.

Шауб И. Ю. Миф, культ и ритуал в Северном Причерноморье VII–IV вв. до н. э. 2007.

Шталь И. В. Свод мифологических сюжетов античной вазовой живописи по музеям РФ м стран СНГ. Т. 1. М., 2001.

Шталь И. В. Свод мифологических сюжетов античной вазовой живописи по музеям РФ м стран СНГ. Т. 2. М., 2004.

Яковенко Э. В. Курган на Темир-Горе // СА. 1972. № 3. С. 259–267.

Яковенко Э. В. Скіфи Східного Криму в V–III ст. до н. э. Київ, 1974.

Яковенко Э. В. 1976 а. Предметы звериного стиля в раннескифских памятниках Крыма // Скифо-сибирский звериный стиль в искусстве народов Евразии). М., 1976. С. 128–137.

Яковенко Э. В. Древнейший памятник искусства скифов // СА. 1976 б. № 2. С. 236–240.

Cook R. M., Dupont P. East Greek Pottery. London; N-Y., 1998.

Fless F., Lorenz A. Die Nekropolen Pantikapaions im 4. Jh. v. Chr. // Bilder und Objekte als Identität und interkultureller Kommunikation im Schwarzmeergebiet. Rahden, 2005. S. 17–25.

Gajdukevič V. F. Das Bosporanische Reich. Berlin, 1971.

Piotrovsky B., Galanina L., Grach N. Scythian Art. Leningrad, 1986.

Список сокращений

АИБ – Археология и история Боспора. Симферополь

БФ – Боспорский феномен. Материалы международной конференции.

ВДИ – Вестник древней истории.

ИАК – Известия Императорской археологической комиссии.

КСИА – Краткие сообщения Института археологии.

ИАК – Известия Императорской археологической комиссии.

ИТУАК – Известия Таврической ученой архивной комиссии.

КСИИМК – Краткие сообщения Института истории материальной культуры АН СССР.

МИА – Материалы и исследования по археологии СССР.

МИАК – Материалы и исследования по археологии Кубани.

ОАК – Отчет Императорской археологической комиссии.

СА – Советская археология.

Н. А. Макаров, А. М. Красникова, И. Е. Зайцева

ФИНСКИЕ ДРЕВНОСТИ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ – СЕРЕДИНЫ I тыс. н. э. В СУЗДАЛЬСКОМ ОПОЛЬЕ

Финские культуры I тыс. н. э. представляют собой важное слагаемое в общей панораме культур лесной полосы Восточной Европы железного века и раннего Средневековья. Для характеристики этих культур существенную роль играют погребальные памятники – грунтовые могильники с погребениями по обряду ингумации и кремации, со свойственным для них сложным погребальным обрядом и богатыми наборами бытовых вещей, оружия и украшений (см. вклейку: с. 59, ил. 1). Сложившиеся в современной науке представления о культурных традициях и социальном устройстве финских племен Прикамья, Поволжья и Северо-Запада России во многом основываются на материалах эталонных погребальных памятников, исследованных в различных регионах. Эти знания существенно расширились в результате новых раскопок могильников в Прикамье (Голдина, 2003; Голдина, 2004; Голдина, Бернц, 2010), Окско-Сурском междуречье (Гришаков, 2005), Рязанском Поочье (Белоцерковская, 2003; Восточная Европа в середине I тысячелетия н. э., 2007. С. 133–275; Ахмедов, 2010; Ахмедов; 2010 а), Моложско-Шекснинском междуречье (Башенькин, 1995; Башенькин, 1996; Васенина, 1996; Башенькин, Васенина, 2006).

Однако на современном этапе изучения древностей I тыс. н. э. в лесной полосе Восточной Европы становятся все более заметными значительные пробелы в источниковой базе, на которой основываются научные построения о расселении и культуре финно-угорского населения. Во-первых, финские могильники I тыс. н. э. не исследованы и не выявлены во многих областях, которые по историческим источникам и топонимическим данным рассматриваются как часть финского культурного ареала. Очевидно, география могильников, имеющая выраженный «очаговый» характер, отражает существование в лесной полосе Восточной Европы отдельных территориальных групп финского населения, разделенных обширными неосвоенными территориями, но эта точка зрения поддерживается не всеми исследователями. Во-вторых, качество полевой документации по погребальным памятникам, исследованным раскопками в конце XIX – середине XX в. и получивших затем статус эталонных, не всегда дает возможности восстановить облик этих памятников с необходимой точностью и полнотой. Во многих случаях невозможно определить состав погребальных комплексов и их топографическую взаимосвязь, установить половозрастной состав погребенных, детализировать хронологию погребений, исследовать палеоэкологические аспекты жизни древних коллективов. В этой ситуации актуальными задачами являются поиски могильни-

ков в тех районах финского культурного ареала, где они ранее оставались неизвестными или малоизученными, систематизация и анализ материалов вновь выявленных погребальных памятников I тыс., исследованных в соответствии с современными стандартами полевой археологии, изучение погребальных памятников в контексте расселения и палеосреды.

На территории Волго-Клязьменского междуречья, исторического центра Ростово-Суздальской земли, где финны, как и во многих других областях Восточной Европы, были историческими предшественниками славян, финские погребальные памятники I тыс. н. э. единичны, в отличие от Прикамья, Среднего Поволжья и территорий в бассейне правых притоков Волги – Оки и Суры. До недавнего времени здесь был известен лишь один финский грунтовый некрополь второй половины I тыс. н. э. – Сарский могильник вблизи Ростова, древнейшие погребения которого датированы А. Е. Леонтьевым второй половиной VII в. (Леонтьев, 1996. С. 90–99). В 1999 г. под Александровым В. И. Вишневским был открыт и исследован Ратьковский могильник, некрополь с кремациями, древнейшие погребения которого датированы автором раскопок VI–VII вв. (Вишневский, Кирьянова, Добровольская, 2007). Что касается финских погребальных памятников более раннего времени – первой половины – середины I тыс. н. э., то они до последнего времени здесь были не известны вовсе.

Приступив в 2001 г. к систематическому обследованию территории Суздальского Ополья, Суздальская экспедиция Института археологии РАН ставила одной из задач полевых работ выявление грунтовых могильников I тыс. н. э., однако долгое время эти поиски оставались безрезультатными. В 2007 г. впервые за 150 лет изучения Суздальского Ополья на этой территории удалось обнаружить грунтовый могильник с ингумациями середины I тыс. н. э. Раскопками 2007–2010 гг. на вновь открытом памятнике у д. Большое Давыдовское в 20 км к северо-западу от Суздаля было исследовано 18 могильных ям с погребениями. Выразительные вещевые находки первой половины – середины I тыс. н. э. были сделаны и на некоторых других памятниках Суздальского Ополья. Таким образом, впервые получен материал, характеризующий культурную ситуацию на территории будущего исторического ядра Суздальской земли на стыке железного века и раннего Средневековья.

Могильник Большое Давыдовское 2

Могильник Большое Давыдовское 2 располагается на правобережье небольшой речки Урды, правого притока р. Ирмес, при выходе в ее долину проточного оврага. Площадка могильника перекрыта культурным слоем одноименного поселения площадью около 5 га, занимающего мыс между оврагом и р. Урдой. Селище Большое Давыдовское 2 входит в состав одной из наиболее крупных локальных групп средневековых поселений в бассейне р. Ирмес – гнезда поселений у с. Шекшово. Всего в Шекшовской локальной группе насчитывается 18 селищ X–XIII вв., наиболее крупное из них Шекшово 2, занимающее площадь около 19 га, тесно соседствует с селищем Большое Давыдовское 2. Вблизи селища Шекшово 2, в урочище Половецкая лужа, находился курганный могильник, в котором А. С. Уваровым в 1852 г. было исследовано около 240 курганов, в том числе более 100 насыпей с кремациями (Уваров, 1872; АКР, Ивановская обл., 1994. С. 79–90). Таким образом, могильник середины I тыс. н. э. располагается на территории археологического микрорегиона, являвшегося в конце I – начале II тыс. н. э. важным центром средневекового расселения и формирования древнерусской культуры.

Раскопками вскрыта площадь чуть более 850 кв. м (см. вклейку: с. 60, ил. 2). После разборки перемешанного распашкой культурного слоя толщиной до 40 см, а в северной части также прослойки темно-серого гумусированного суглинка (погребенного почвенного гумуса) при зачистке желтого материкового суглинка в раскопе обозначились контуры 18 могильных ям, содержавших погребения середины I тыс. н. э. (из них 17 – по обряду ингумации, 1 – полностью разрушено ямой древнерусского времени)[1].

Помимо этого на раскрытой площади зафиксировано более 100 материковых ям, часть которых можно с уверенностью датировать XI–XIII вв. Одна из них, расположенная в северной части раскопа (яма 80), представляет собой подполье древнерусской постройки середины XII в. При разборе ее заполнения были обнаружены мелкие фрагменты бронзовых изделий, которые можно связывать с погребальным инвентарем середины I тыс. н. э. и разрушенным погребением № 13.

Открытые погребения образуют два ряда, которые расходятся по направлению СЮ, отклоняясь от центральной оси на запад и восток под углом 10–15°. Расстояние между рядами погребений в северной части открытой площадки могильника составляет 2 м, в южной части достигает 8 м. Могильные ямы располагались на расстоянии от 1 до 3,5 м друг от друга.

[1] Нумерация погребений сплошная № 1–20, № 5 и 8 были даны ямам, ошибочно интерпретированным в 2008 г. как погребения древнерусского времени.

Все могильные ямы имели подпрямоугольную форму со скругленными углами, стенки их были вертикальными или имели небольшой уклон, дно было плоским или слабо вогнутым (см. вклейку: с. 60, ил. 3). Их размеры колебались от 1,3 до 2,8 м в длину при ширине от 0,45 до 1,2 м. Глубина от уровня современной поверхности составляла от 0,4 до 0,84 м, глубина от уровня материка колеблется от 0,06 м до 0,47 м.

Заполнение могильных ям составлено темным бурым суглинком с примесью желтого материкового суглинка. В засыпке почти всех погребений встречаются мелкие угольки и отдельные фрагменты древесного тлена. Практически во всех погребениях под вещевым инвентарем и перекрытыми им костными останками отмечены фрагменты древесной органики, волокна которой направлены по длинной оси ям. В 5 могильных ямах (погребения 3, 10, 12, 18, 19) фиксируются следы деревянных внутримогильных конструкций. Они представляют собой подпрямоугольные в плане углубления, перпендикулярные длинной оси могильной ямы и расположенные «в ногах» и «в головах» погребенного. В ряде случаев следы деревянных плашек фиксируются только с одной из сторон, как в погребениях 10 и 12. Подобные следы деревянных конструкций отмечены в нескольких погребениях Безводнинского могильника, относящихся к разным стадиям его существования (Краснов, 1982. С. 20. Рис. 10). Однако общий характер погребальных конструкций остается неясным – была ли это деревянная обкладка ям, настил или ящики, опиравшиеся на поперечные подкладки. В погребении 16 зафиксированы следы обугленной деревянной плахи, частично перекрывавшей погребение.

В лаборатории естественно-научных методов ИА РАН Л. Н. Соловьевой определены породы дерева из 12 могильных ям, всего 25 образцов, взятых с уровня, перекрывавшего и подстилавшего костные остатки. Установлено, что в 6 случаях это липа (погребения 3, 4, 5, 6, 11, 20), в двух случаях – дуб (п. 14, 18), в двух случаях – неопределимые лиственные породы (п. 15, 16), в одном случае – липа и хвойные породы (п. 18).

Все открытые погребения совершены по обряду ингумации. Кости погребенных – черепа, посткраниальный скелет фрагментарно сохранились в 17 захоронениях. Судя по остаткам костей и костному тлену, практически все погребенные лежали вытянуто на спине головой на восток. Исключением являются два индивида из коллективного погребения 3 (п. 3–3, 3–5) и второй индивид из погребения 17, лежащие головой на запад. Отличается поза одного из погребенных (п. 16), лежащего головой на восток, но на боку и, вероятно, в скорченном положении. Наилучшая сохранность костных тканей отмечена там, где кости были перекрыты многочисленными фрагментами бронзовых украшений и железными деталями костюма, в частности в погребениях 3–5, 20.

Определение антропологических материалов из погребений было произведено членом-корреспондентом РАН А. П. Бужиловой и д. и. н. М. В. Добровольской. Установлено, что костные останки 12 индивидов (погребения 1, 2, 3–2, 3–3, 3–5, 4, 6, 7, 11, 12, 17,2, 19) принадлежат детям в возрасте от 2 до 11 лет, костные остатки 10-х принадлежат взрослым. У одного из индивидов – ребенка 5–10 лет зажившая черепная травма на теменной кости (п. 17,2). Пол с уверенность определен лишь в трех случаях, по костным остаткам из погребений 3,1, 18 и 20, принадлежавших молодым женщинам. Анализ инвентаря, сопровождавшего захоронения, в сочетании с данными антропологии позволяет говорить о том, что среди 10 взрослых индивидов 3 мужчин и 7 женщин.

Существенно, что останки трех детей в возрасте 3–8 лет находились в больших могильных ямах длиной от 1,8 до 2,4 м – таким образом, размеры могильных ям не всегда могут рассматриваться как надежное основание для разделения погребений детей и взрослых.

В 15 могилах находились одиночные погребения, в одной (погребение 17) – коллективное, содержавшее останки 2 противолежащих индивидов. Особый интерес представляет погребение 3, содержавшее останки 5 индивидов – двух взрослых и трех детей, ориентированных головами на восток и на запад и лежащих параллельно друг другу. Справа от взрослого мужчины (3,4), ориентированного головой на восток, размещались 2 пары погребенных, лежащих ногами друг к другу – женщина (3,1) с находившимся на ней со смещением вправо ребенком (3,2), и двое детей с противоположной, западной, ориентировкой – один из которых (3,3) располагался на другом (3,5) с небольшим смещением влево. Судя по сохранившемуся анатомическому порядку костяков, непотревоженному инвентарю погребений и присутствию в могиле остатков единого погребального сооружения, занимавшего всю площадь ямы и опиравшегося на поперечные плашки, захоронения были произведены единовременно или через небольшой промежуток времени. Коллективные погребения сходного типа, с двумя или несколькими костяками, ориентированными в противоположные стороны и лежащими параллельно друг другу, известны в ранних мордовских могильниках – Ражкинском и Селиксенском (Гришаков, 2005. С. 29–30) и особенно широко – в Прикамье, в могильниках пьяноборской культуры (Агеев, Мажитов, 1986. С. 75, 77. Рис. 2, 2; Пшеничнюк, 1986. С. 41–42. Рис. 8; Пшеничнюк, 1986 а,

С. 70–73; Васюткин, Калинин, 1986. С. 97, 99; Агеев, 1992. С. 20), большая серия таких погребений исследована в Тарасовском могильнике (Голдина, 2003. С. 15; Табл. 13; С. 36; Табл. 34 и далее; Голдина, 2004. С. 304–305).

Во всех могилах, кроме детского погребения 19, присутствовал погребальный инвентарь. Как погребения взрослых мужчин и мальчиков атрибутированы захоронения, сопровождавшиеся бытовыми вещами, поясной гарнитурой и оружием: в том числе наконечниками копий и топорами. Как погребения женщин и девочек определены захоронения, содержавшие многочисленные бронзовые украшения, стеклянные бусы и отдельные находки бытовых предметов. Богатые наборы бронзовых украшений расчищены в погребениях 3,1, 18, 20, принадлежность которых женщинам установлена по антропологическим остаткам.

В контексте изучения погребального обряда значительный интерес представляет жертвенный комплекс, обнаруженный в погребении 3. В его составе около 40 целых и фрагментированных бронзовых предметов, большая часть из которых оплавлена. Среди бронзовых вещей два целых деформированных браслета из дрота квадратного сечения с углубленным декором азелинского типа и один оплавленный обломок такого браслета, три бронзовых проволочных колечка, мелкие оплавленные куски цветного металла, в числе которых определяются фрагменты смятых круглых блях, обломки поясных привесок, браслетов, гривен, височного кольца с лопастью и других украшений, а также бесформенные слитки металла. Очевидно, эти вещи представляли собой бронзовый лом, предназначенный для переплавки. Под ним найдены пружинные железные ножницы, половинка железных удил с бронзовым кольцом и остатки костяного гребня черняховского облика. Можно полагать, что бронзовые предметы были завернуты в ткань (сохранились ее фрагменты) и вместе с ножницами, гребнем и фрагментом удил помещены в короб, изготовленный из липы. Жертвенный комплекс, обнаруженный в погребении 3, размещался в зоне черепа индивида 3,4, видимо, взрослого мужчины. Следов костного тлена от черепа или фрагментов зубной эмали обнаружено не было. Остатки бедренных костей принадлежат взрослому молодому (?) индивиду, судя по сопровождающему инвентарю, включавшему наконечник копья и проушной топор – мужчине. Традиция помещения жертвенных комплексов в погребения является достаточно характерной для финских могильников Поволжья и Прикамья, на некоторых памятниках пьяноборской культуры (Тарасовский могильник, Мазунинский могильник) доля погребений с жертвенными комплексами составляет около 30 % (Голдина, 2004, С. 305). Согласно наблюдениям И. В. Белоцерковской, в могильниках рязано-окской культуры в IV–V вв. н. э. дары, в качестве которых выступали женские нагрудные или головные украшения, размещались, как правило, на черепе или рядом с ним (Белоцерковская И. В., 1997), что соответствует положению металлических вещей в погребении 3,4.

Коллекция вещей, происходящих из погребений, составляет, вместе с предметами из грабительских раскопок, переданными в ИА РАН, около 670 единиц; основную ее часть образуют детали костюма, изготовленные из цветных металлов, железа и стекла, представлены также немногочисленные орудия труда, предметы вооружения и бытовые вещи из железа, камня, глины и рога. Предметы, изготовленные из цветного металла, составляют около 45 % от всей коллекции. Приблизительно 47 % от всего массива находок из погребений приходится на изделия из стекла. Металлические украшения женского костюма включают такие категории, как височные кольца, гривны, браслеты, нагрудные пряжки, нагрудные и поясные подвески и нагрудные бляхи.

В числе наиболее выразительных металлических украшений – бронзовые височные кольца с лопастью, которые представляют собой проволочные спирали, закрученные в 2–3 оборота с раскованным щитком ромбовидной формы. Щиток декорирован жемчужным штампованным орнаментом. 18 подобных украшений найдено в 9 погребениях, интерпретированных как женские и детские (п. 2, 3–1, 4, 9, 11, 15, 16, 18, 20) (см. вклейку: с. 62, ил. 5: *1,2*). В двух случаях височные кольца с лопастью найдены по месту ношения – с двух сторон от черепа (п. 3–1, 18), в 5 случаях найдены рядом с черепом (п. 4, 9, 11, 15, 16), причем в погребении 11 они были вложены друг в друга, а в погребении 4 были вставлены друг в друга под углом 90°. Одно височное кольцо происходит из грабительских раскопок погребения 2, а одно, оплавленное, находилось в составе жертвенного комплекса в погребении 3. Височные перстнеобразные колечки есть почти во всех погребениях, атрибутированных как женские или детские.

Наборы украшений в 12 погребениях (из них 9 – детские) включали бронзовые шейные гривны, всего их, включая фрагменты, найдено 20. Из типологически определимых гривен можно выделить массивные круглодротовые с обрубленными концами (6 экз.) (см. вклейку: с. 62, 5: *3*), витые проволочные (3 экз.) (см. вклейку: с. 61, ил. 4: *11*), тордированную с обмоткой на концах и пластинчатым приемником (1 экз.), ромбического сечения с обмоткой на концах и пластинчатым приемником (2 экз.), круглопроволочную с перехлестнутыми концами и скользящей петлей (1 экз.), четырех-

гранные, в сечении массивные с геометрическим орнаментом «азелинского» типа (4 экз.) (см. вклейку: с. 61, ил. 4: *20*).

Среди 11 целых и фрагментированных браслетов можно отметить 7 экземпляров, относящихся к «азелинскому» типу (п. 2, 3–1, 3–5), массивный круглодротовый браслет с обрубленными концами (п. 3–5) и пластинчатый подтреугольного сечения браслет с тремя щитками с точечным орнаментом (п. 3–2), аналогии которому встречаются в рязано-окских древностях (Белоцерковская, 2007. С. 189. Рис. 4:13).

Перстни представлены 3 типами – спиральными из проволоки (п. 3–1, 3–5, 11, 15, 20), узким пластинчатым (п. 18; см. вклейку: с. 62, ил. 5: *4*) и ложноплетеным ажурным с тремя колоколовидными привесками (п. 3–5).

Из погребений происходит 22 бронзовых нагрудных и поясных застежек разнообразных типов. Среди них 7 типичных для позднедьяковских и рязано-окских древностей ажурных плетеных застежки (п. 3–4, 6, 12, 16, 18, 20; см. вклейку: с. 61, ил. 4: *1*; 5: *15, 17*), выполненных в технике литья по восковой модели. Так, застежка из погребения 16 представляет собой пряжку лировидной (?) формы с частичной обмоткой и отдельными S-видными декоративными элементами по внешнему краю. В погребении 18 найдены две застежки. Первая – круглая, в ее основе 2 кольца со сплошной обмоткой, на внешнем и внутреннем кольце треугольники ложной зерни (см. вклейку: с. 62, ил. 5: *15*). Вторая тяготеет к типу 1Д, выделенному И. В. Белоцерковской, и близка по форме застежке из могильника Заречье (п. 112) (Белоцерковская, 2000. С. 103) (см. вклейку: с. 62, ил. 5: *17*). Застежка из погребения 20 тяготеет к серии 2Б1 по И. В. Белоцерковской (Белоцерковская, 2000. С. 103) и близка по форме застежке из могильника Заречье (п. 4) (Белоцерковская, 1996, см. вклейку: с. 59, ил. 1: 7).

Выделяются две застежки, найденные в погребении 3 – это бронзовая кольцевидная с 4 трапециевидными выступами и железной иглой (п. 3–5) и цельнолитая подковообразная бронзовая фибула с раскованными концами и крестовидным орнаментом на концах и тремя секировидными выступами, подражающая фибулам с эмалями (п. 3–1).

Из нарушенного грабителями погребения 2 происходит массивная пластинчатая круглая бляха с орнаментом из концентрических кругов, отверстием в центре и крестообразно расположенными накладками, 4 фрагмента подобного украшения найдено в составе «клада» погребения 3.

Интересна круглая ажурная бляха из погребения 15. В ее основе 2 кольца: внутреннее со сплошной обмоткой, внешнее – ложноплетеная «косичка», между кольцами зигзаги из ложноплетеной «косички», по внешнему краю декор из треугольников ложной зерни. На обратной стороне – проволочные петельки для крепления.

Среди других деталей костюма многолепестковые бляшки-розетки (п. 3–1), которые использовались в составе нарукавных повязок, конусовидные бляшки с ложновитым валиком (п. 6, 10, 18, 20), ложнозерненые бантовидные накладки (п. 3–5, 6; см. вклейку: с. 61, ил. 4: *3*), колоколовидные привески разных типов (см. вклейку: с. 61, ил. 4: *8, 9, 12, 14, 19*), в том числе пирамидальные с цельнолитой петлей (п. 3–5) и конусовидные с треугольными прорезями (п. 18, 20; см. вклейку: с. 62, ил. 5: *5*), привески-лапки (см. вклейку: с. 61, ил. 4: *10, 16, 17*), трапециевидные привески и полая привеска-уточка (п. 3–5).

В погребении 20 расчищено сложносоставное шумящее украшение из кожаных (?) шнурков с бронзовыми обоймицами, с привешенными к ним колоколовидными беспетельчатыми привесками, круглыми в основании, непрорезными и с треугольными прорезями. Эти типы привесок достаточно распространены и встречаются в материалах Троицкого и Щербинского городищ (Дубынин, 1970. Табл. 18, 19; Розенфельдт, 1982. Рис. 2: *26-29*).

Среди деталей костюма нельзя не отметить бронзовые обувные пряжки с рамками D-образной формы и пластинчатыми щитками, встреченные в 2 погребениях (п. 4, 14). Также, возможно, к деталям обуви относятся четыре сегментовидных пластинчатых пряжки с прямоугольными пластинчатыми обоймами и треугольными пропилами по краям (из них только одна с язычком) и 3 удлиненные пятиугольные подвески на пластинчатых обоймах с треугольными пропилами, происходящие из нарушенного грабительскими раскопками погребения 2.

Железные пряжки разных форм немногочисленны и представлены 12 экземплярами (п. 1, 3–1, 3–3, 4, 10, 14, 17, 20).

Коллекция бус и подвесок насчитывает 302 стеклянных изделия. Большинство из них представлено бусами красного глухого стекла (34 украшения) и золотостеклянными пронизями (265 экземпляров); обнаружена также одна подвеска зеленого прозрачного стекла каплевидной формы. Стеклянные украшения происходят из коллективного захоронения 3, детского погребения 4, женских погребений 15, 18 и 20. Наибольшее количество бус – 122 экземпляра содержит погребение 15, 95 экземпляров – в погребении 20, 57 экземпляров – содержит могила 3–5; в остальных захоронениях они немногочисленны – каждому погребенному принадлежало от 1 до 16 находок. Золотостеклянные изделия, встреченные в погребениях, представлены мелкими, до 3 мм в диаметре, двух-шестичастными пронизями и их фрагментами. Среди бус красного

глухого стекла выделяются 2 крупных изделия диаметром 16–17 мм, изготовленные из отрезков тянутых палочек, которые происходят из захоронений 3–4 и 3–5. Остальные украшения из красного стекла представляют собой бусы и двух-четырехчастные пронизи диаметром 4–5 мм, выполненные из отрезков тянутых трубочек, а также единичную находку бисера (погребения 3–1/3–2). Бусы этих типов представляют собой массовую категорию для рязано-окских могильников и датируются в промежутке не ранее рубежа II/III вв. н. э. – не позднее рубежа IV/V вв. (Румянцева, 2007. С. 217–219).

Предметы вооружения представлены проушным топором с плавным расширением к окончанию обуха (п. 3–4), топором-кельтом (п. 10), двумя втульчатыми наконечниками копий с ромбическим очертанием пера (п. 3–4, 10).

Бытовые предметы немногочисленны и представлены находками из кости, глины и железа. Среди находок из железа 3 шила (п. 4, 18, 20), на одном из которых сохранились остатки деревянной рукояти, 2 иглы (п. 4, 20), 9 ножей с выпуклой и прямой спинкой (п. 3–4, 3–5, 4, 10, 15, 16, 17–1, 20), один из которых находился в ножнах с пластинчатым железным каркасом (п. 14). Подобная конструкция ножен встречается в материалах рязано-окских могильников периода 3А (Ахмедов, 2007. Табл. 19:8). Кроме того, следует отметить такую редкую находку, как железные ножницы (п. 3–4).

Среди предметов из глины 7 битрапецоидных пряслиц (п. 3–1, 10, 15, 16, 18, 20; рис. 5: *7*) и керамический лепной сосуд с насечками на венчике (п. 15). Следует отметить, что это единственная находка керамики в погребениях. Редкая встречаемость керамических сосудов в погребениях в Большом Давыдовском отличает погребальный обряд этого некрополя от могильников рязано-окской культуры, где керамика является одной из самых массовых категорий.

Изделия из кости и рога представлены находкой – односторонним гребнем черняховского облика, найденным в составе клада (п. 3–4) и сохранившегося только в виде фрагментарных отпечатков.

Вещевой набор из могильника Большое Давыдовское 2 в целом близок комплексам культуры рязано-окских могильников и позднедьяковским памятникам. Основываясь на современных разработках хронологии древностей рязано-окских могильников, дьяковской культуры и могильников Прикамья, вещевые комплексы из погребений могут быть отнесены ко второй половине III – началу V вв.

Мужские погребения сопровождались поясной гарнитурой, отдельными бронзовыми или железными деталями костюма – пряжками-сюльгамами, обувными застежками и единичными нашивными бляшками, бытовыми вещами – ножницами, ножами и в одном случае пряслицем, а также оружием – наконечниками копий и топорами.

Женские погребения сопровождались бронзовыми украшениями, в том числе височными кольцами с раскованной лопастью, встреченными во всех погребениях, гривнами разных типов, ажурными застежками, браслетами, многочисленными бляшками и привесками, стеклянными бусами, а также предметами быта, представленными глиняными пряслицами, железными ножами, шильями, иглами и одним лепным горшком. Какой-либо разницы в наборе инвентаря при попытке выделить разные возрастные группы не отмечено.

В детских погребениях встречены все категории находок, кроме предметов вооружения и поясной гарнитуры. Почти во всех погребениях присутствуют бронзовые гривны, застежки и мелкие металлические детали костюма. По сравнению с «взрослым» набором у детей найдено гораздо меньше бытовых предметов, среди них только 2 ножа, игла и шило. Они встречены только в погребениях детей в возрасте 8–11 лет (п. 3–5, 4). В целом среди детских погребений выделяются скудостью инвентаря или его отсутствием два погребения – № 19 и 17–2.

Проанализировав состав вещевой коллекции, можно предположить, что в частично разрушенном грабительскими раскопками погребении 2, в котором помимо гривны, браслетов азелинского типа, а также обувных пряжек, встречены фрагменты височного кольца с лопастью и массивная пластинчатая нагрудная бляха с концентрическими кругами, находился не только ребенок, костные останки которого определены антропологами, но и взрослая женщина. В рязано-окских могильниках Заречье и Кораблино подобные бляхи характерны именно для женских погребений, для них же более типичны и височные кольца с раскованной лопастью.

К сожалению, у нас не так много данных для полной реконструкции женского костюма, включающего одежду, обувь, детали одежды и украшения. Остатки органических материалов слишком фрагментарны и не позволяют судить о крое одежды и типе обуви, однако на основе материалов непотревоженных женских и детских погребений, в которых вещи лежат in situ, можно реконструировать металлический убор. Финский женский костюм отличается большим количеством деталей, среди которых можно выделить:

– украшения головы – шапочки с расшивкой или венчики, височные кольца с раскованными концами и перстнеобразные височные колечки;

– украшения шеи – гривны, ожерелья, составленные из привесок разного типа или бусы в виде ожерелья или расшивки ворота;

– нагрудные и поясные украшения – застежки разных типов, пряжки, поясные шумящие привески на шнурках с обоймицами, нашивные бляшки;

– украшения рук – браслеты разных типов, в том числе наборные из бляшек и пронизок на шнурке, перстни.

Полный набор всех выделенных категорий встречен только в погребениях 2, 3–1, 3–5, 6 и 18, т. е. отмечен и у взрослых женщин, и у детей. Таким образом, анализируя материалы могильника Большое Давыдовское, ограниченные небольшой серией, достаточно сложно говорить о реально существовавшем традиционном женском финском костюме. Вслед за И. В. Белоцерковской можно полагать, что часть украшений, например, массивные гривны и, вероятно, височные кольца с лопастью, «на детей, тем более – очень маленьких, при жизни и не надевали. Скорее всего весь этот набор представлял собой некий символ половой принадлежности погребенных» (Белоцерковская И. В., 2003).

Радиоуглеродное датирование погребений

Радиоуглеродным методом датированы 10 образцов углей и древесного тлена из 8 погребений. В 8 случаях для датирования отбирался древесный тлен с волокнистой структурой, представлявший собой остатки погребальных сооружений, в 2 случаях – угли, находившиеся под костными остатками или над ними, их точное происхождение и функции в погребальных комплексах не определены. Это первый опыт датирования могильников с ингумациями I тыс. н. э. в Волго-Окском регионе радиоуглеродным методом.

Суммарный диапазон десяти дат: 22–570 AD. Общий интервал пяти из этих дат (KIA38186; KIA38187; KIA38185; Ле-8877; KIA41064, погребения 3, 4, 9, 16, 20) соответствует 139–570 AD и хорошо сочетается с датировкой вещевых комплексов погребений, хронологическое положение которых определяется в рамках второй половины III – начала V в. н. э. К этой серии близка еще одна дата (Ле-8878, 50-330 AD, погребение 18), часть интервала которой согласуется с археологической датировкой погребального комплекса. Даты еще четырех образцов (KIA41060, KIA41062, KIA41063, KIA41065, погребения 14, 16, 18, 17) образуют суммарный интервал 22-208 AD, не соответствующий возрасту вещей из погребений. При этом для погребений 16 и 18 зафиксировано значительное расхождения радиоуглеродных дат, сделанных по образцам углей и древесного тлена, отобранным из одной и той же могильной ямы. Поскольку две из трех «ранних» радиоуглеродных дат получены в результате датирования древесного тлена от погребальных сооружений, находившихся в могилах (KIA41062, KIA41063), одним из объяснений расхождения радиоуглеродной и «вещевой» даты комплексов может быть использование для погребальных конструкций старых деревьев. Нельзя исключить и попадание в заполнение и на дно могильных ям при совершении захоронения почвенного гумуса.

Изотопные исследования антропологических материалов

Фрагментарность скелетных останков из могильника существенно ограничивает возможности классических антропологических методик в реконструкции биологического состояния, образа жизни и традиций питания палеопопуляции из Большого Давыдовского. В этой ситуации особое значение приобретает анализ изотопного коллагена костной ткани людей из захоронений, позволяющий составить представление об экологических условиях и своеобразии питания. В Лаборатории биогеоценологии и исторической экологии Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН были выделены образцы коллагена из костной ткани 9 индивидов из погребений в Большом Давыдовском, из костной ткани 2 индивидов синхронных рязано-окских могильников (Никитинского и Шокшинского), а также из костей травоядных и плотоядных животных из средневековых комплексов в Большом Давыдовском. Анализ и определение этих материалов были произведены д. б. н. А. В. Тиуновым и д. и. н. М. В. Добровольской. Это первый опыт изучения изотопного состава коллагена из скелетных материалов конца железного века – раннего Средневековья в лесной полосе европейской России. Интерпретация результатов предложена М. В. Добровольской.

Полученные данные показывают значительные различия в изотопных подписях местных животных (рыб, птиц, травоядных наземных животных) и людей. Эти различия, возможно, связаны с тем, что местная флора и фауна не были основными пищевыми ресурсами погребенных, однако окончательное объяснение может быть получено лишь после получения данных об изотопных подписях животных, костные останки которых относятся ко времени функционирования могильника.

Высокие показатели дельты для углерода позволяют предполагать, что в рационе индивидов из погребений в большей или меньшей степени присутствовали растения, фотосинтезирующие по типу С. 4. В среде культурных растений это просо. Просо в железном веке и раннем Средневековье было одной из ведущих культур в лесостепной и частично лесной зоне, высокое содержание его в археобо-

танических спектрах характерно для памятников скифов, дьяковской культуры, памятников гуннского времени в Подонье и раннеславянских поселений на территории Украины (Лебедева, 2004; Лебедева, 2009; Антипина, Лебедева, 2007). Значительный удельный вес проса зафиксирован в зерновых материалах селища Кибол VII в Суздальском Ополье, относящихся ко второй половине IV–VII вв. Изотопные подписи азота стабильно высоки, они соответствуют рациону питания, в котором присутствует значительная доля белков животного происхождения.

По изотопным характеристикам индивиды из Большого Давыдовского наиболее близки лесостепным и степным кочевникам различного возраста, в том числе индивидам из курганных погребений скифского времени на Среднем Дону и сарматского погребения Мухино II в Верхнем Подонье. При этом они отличаются от изотопных характеристик двух индивидов из рязано-окских могильников, более соответствующих показателям, которые могли сформироваться на основе местных пищевых ресурсов. При ограниченности сравнительных материалов подробная характеристика образа жизни и рациона питания по изотопному составу образцов костной ткани из Большого Давыдовского кажется преждевременной, однако полученные материалы указывают на близость палеопопуляции из Большого Давыдовского обитателям лесостепных ландшафтов и позволяют предположить, что они были мигрантами, продвинувшимися в Суздальское Ополье с юга.

Поселения и вещевые комплексы первой половины – середины I тыс. н. э. в Суздальском Ополье

В Суздальском Ополье в результате обследований 2001–2011 гг. выявлено около двух десятков поселений с лепной керамикой, которая может быть датирована в рамках первой половины – третьей четверти I тыс. н. э. Поскольку керамический материал сильно измельчен, культурный слой большинства памятников перемешан распашкой, а датирующие вещи в составе коллекций немногочисленны, уточнить датировку этих материалов в большинстве случаев затруднительно. Тем больший интерес представляют находки металлических украшений, деталей костюма и бытовых вещей на отдельных памятниках, существенные как для определения их хронологических позиций, так и для характеристики их культурного облика.

Наиболее яркой находкой является комплекс бронзовых украшений, обнаруженный на средневековом селище у с. Новгородское, вблизи р. Рпени, в окрестностях Владимира. Комплекс включает более 100 предметов, среди которых круглые плоские полированные бляхи с петлями на обратной стороне, круглые бляхи с выпуклым щитком (полусферическим или коническим), восьмеркообразные бляхи, трубчатые пронизки с расширяющимися концами, проволочные пронизки, мелкие скорлупообразные одночастные и двучастные нашивные бляшки и бочонковидные бусы. Вместе с украшениями были найдены два ножа – с прямой спинкой и серповидный с плавно выгнутой спинкой. Вещи найдены в виде компактного скопления, перекрытого перемешанным культурным слоем XII–XIII вв.; это единый комплект украшений, вероятно – остатки богато декорированного пояса. Характер находки до конца не ясен, возможно, она представляет собой клад. Подобные украшения не характерны для культур Волго-Клязьминского региона железного века, большинство из них имеет аналогии в погребальных памятниках пьяноборской культуры в Прикамье и могильниках андреевского-писеральского круга в Среднем Поволжье. Так, многочисленные аналогии круглым плоским полированным бляхам с петлями на обратной стороне представлены в могильниках пьяноборской культуры (Агеев, 1992. С. 37, 113, 124. Табл. 5, 2_5), в Андреевском кургане (Степанов, 1980. С. 33; Гришаков, Зубов, 2009. С. 26), в Климкинском могильнике (Михеев, 2009, с. 85, 91, рис. 5, А,10), отдельные находки подобных блях происходят из Рязанского Поочья (Ахмедов, 2003. С. 128–138) и Молого-Шекснинского междуречья (Башенькин, 1995. С. 8–9. Рис. 2, 3; Башенькин, Васенина, 2006. С. 76. Рис. 2, 2). Для пьяноборских могильников и памятников андреевско-писеральского круга (Писеральский могильник, Климкинский могильник) характерны и восьмеркообразные бляхи с ушком на обороте, служившие, вероятно, ременными накладками (Агеев, 1992. С. 43; Лещинская, 2009. С. 114, 121. Рис. 4, 3,5, 6, 8; Архипов, Шадрин, 1995. С. 126. Рис. 7, 5; Михеев, 2009. С. 85, 91. Рис. 5, В. 2). Комплекс может быть датирован концом I тыс. до н. э. – началом I тыс. н. э., с наибольшей вероятностью – I в. н. э. С этого же селища происходит железная пряжка с овальной рамкой и удлиненным трапециевидным щитком, неподвижно соединенным с рамой. Рамка украшена косым рифлением, щиток – точечным орнаментом, щиток крепился к ремню с помощью двух заклепок. Железные пряжки с овальными рамами и прямоугольными щитками, крепившимися к ремням заклепками, получили широкое распространение в мазунинской культуре во второй половине IV–V вв. (Останина, 1997. С. 64. Рис.13, *19, 21, 20*; рис. 14, *6*; Голдина, Бернц, 2010. С. 131–132. Табл. 230–231), однако в отличие от пряжки из Новгородской, все они имеют подвижный щиток.

Находки металлических украшений первой половины I тыс. н. э. зафиксированы также на двух поселениях на овражной системе, выходящей к р. Рпени, примерно в полутора км от селища Новгородское – на селищах Овчухи I и Овчухи 2. На первом из них найдены два ножа с чуть выпуклой спинкой и литая ажурная привеска в виде диска с двумя ложно-жгутовыми планками, заканчивающимися трехчастными петлевидными выступами. Подобные подвески характерны для пьяноборских древностей (Лещинская, 2009. С. 114, 120. Рис. 3, *3*) и памятников андреевско-писеральского круга, серия аналогичных подвесок найдена в Андреевском кургане в одном из женских погребений, датированном последней четвертью I – началом II в. н. э. (Гришаков, Зубов, 2009. С. 30, 53). На селище Овчухи 2 найдена сильно корродированная крестовидная фибула небольших размеров (длина – 5,8 см) с граненой головкой и ромбической ножкой – предположительно – серии 1 группы I по И. Р. Ахмедову (Ахмедов, 1999. С. 58–61; Ахмедов, 2008. С. 12–14).

Выразительная серия металлических украшений середины – третьей четверти I тыс. н. э., собранная при обследовании и раскопках поселений на р. Каменке у с. Кибол и с. Сельцо в ближайших окрестностях Суздаля уже введена в научный оборот (Макаров, Леонтьев, Шполянский, 2005. С. 196–215; Макаров, 2007. С. 7–16; Макаров, 2008. С. 13–17). Она включает колокольчатую привеску в виде четырехгранной пирамидки с шариками зерни, бронзовую пластинчатую обоймицу с пуансонным декором – деталь головного венчика, гладкую бутылковидную подвеску без ушка с цилиндрической нижней частью, бутылковидную привеску с рельефным декором в виде концентрических насечек в верхней части, найденные на поселении Кибол 7, и две пряжки – железную «В»-образную с округлым сечением рамки, орнаментированной нарезками, и зооморфным язычком и серебряную с калачевидной рамкой, изготовленную из дрота, массивного в передней части и зауженного в месте крепления к ремню, происходящих с поселения Сельцо 4. В культурном слое поселения Кибол 7 найдены также навитые печоночные бусы из красно-коричневого и красного глухого стекла (3 экз.), относящиеся к группам II и IV, по О. С. Румянцевой. Период наибольшего распространения подобных бус определяется в пределах V–VII вв. (Румянцева, 2007. С. 216–233). Для уточнения времени жизни на поселении Кибол 7 в I тыс. н. э. важная серия из семи радиоуглеродных дат, полученных по образцам органики из геомагнитных аномалий, исследованных бурением, и материковых ям в раскопе (Макаров, Федорина, Зайцева, Гроотс, 2012). Их общий хронологический интервал охватывает конец II – конец VII в. н. э. (170–690 AD, Ле-7653, Ле-7654, Ле-7930, Ле-8368, KIA38408), исходя из этих дат период наиболее высокой активности жизни на поселении определяется в пределах III–VII в. н. э.

Заслуживает внимания еще одна находка, сделанная в нескольких километрах севернее Кибольско-Селецкой группы селищ, на Поганом озере. Это крестовидная фибула серии 2 группы I по И. А. Ахмедову – вытянутых пропорций, длиной 7,9 см, с подтрапециевидной ножкой, площадкой на верхней пластине и длинным приемником. Четыре фибулы этой серии происходят из Рязанского Поочья (Шатрищенский могильник, Борковский могильник, пос. Прибрежное), наиболее близкой аналогией является фибула варианта «а» из погребения 21 Шатрищенского могильника. По мнению И. Р. Ахмедова, серия 2 – одна из наиболее ранних серий крестовидных рязано-окских фибул, бытование подобных украшений ограничено рубежом IV–V – первым десятилетиям V в. (период 3А). (Ахмедов, 1999. С. 58–61; Восточная Европа в середине I тысячелетия н. э., 2007. С. 144–146. Рис. 24)[2].

Таким образом, в Суздальском Ополье, помимо могильника Большое Давыдовское 2, выделяются две локальные группы памятников с находками украшений финских типов первой половины – середины I тыс. н. э. Часть находок связана с культурным слоем поселений. В обоих микрорегионах жизнь продолжалась длительный период: на р. Рпени в микрорегионе Новгородская-Овчухи, вероятно, с I в. н. э. до рубежа IV–V вв.; в Кибольско-Селецком микрорегионе – в течение нескольких столетий в интервале III–VII вв., возможно, на всем протяжении этого периода. Культурный облик поселений до конца не ясен. Следует отметить присутствие в керамическом комплексе этих памятников фрагментов лепных сковородок с бортиками и лепных сосудов с высоким прямым венчиком или венчиком-раструбом и уступом при переходе к плечику, так называемой керамики мощинского круга (Исланова, 2008. С. 35), выделенной первоначально по материалам мощинской культуры (Массалитина, 1994. С. 10; Массалитина, 2008. С. 111–113. Рис. 3, 4, *1, 2,* 7, *20, 21,* 9, *3,4*) и получившей, как теперь выясняется, широкое распространение от верховьев Десны и Оки и Верхнего Подонья до Верхнего Поднепровья и Ярославского Поволжья (Исланова, 2008. С. 35; Исланова, 2010. С. 203–207). На поселении Кибол 7 лепная керамика «мощинского круга» найдена в заполнении ям, датированных по С-14 второй половиной IV – первой половиной VI вв. и второй половиной IV–VII вв.

[2] Авторы признательны И. Р. Ахмедову за консультации по вопросам датирования крестовидных фибул.

В микрорегионе Шекшово – Большое Давыдовское следы поселения с определимой керамикой первой половины – середины I тыс. н. э. не обнаружены. Очевидно, поселение, соответствующее могильнику Большое Давыдовское 2, перекрыто или разрушено средневековым культурным слоем, покрывающим значительные участки вблизи могильника на берегах р. Урды и выходящих к ней овражных системах.

Материалы могильника Большое Давыдовское 2 вместе с другими находками последних лет, сделанными в Суздальском Ополье, открывают присутствие в Волго-Клязьминском междуречье ранее неизвестного пласта финских древностей первой половины – середины I тыс. н. э., заполняющего хронологическую лакуну между городищами дьяковской культуры и мерянскими памятниками конца I тыс. н. э., выделенными в 1990-е гг. А. Е. Леонтьевым (Леонтьев, 1996. С. 193–214; Леонтьев, 1999. С. 35–38). Погребальный обряд и парадный костюм населения, оставившего могильник Большое Давыдовское 2, и находки крестовидных фибул в двух других микрорегионах Ополья – на Рпени и на Поганом озере – указывают на тесную связь этого населения в IV–V вв. с культурой рязано-окских могильников. Весьма вероятно, что выходцы из Поочья составили основу древнего коллектива, оставившего некрополь на р. Урде. Вместе с тем для характеристики культурной ситуации первой половины I тыс. н. э. существенны свидетельства более дальних юго-восточных связей: находки на Рпени украшений I–II вв., распространенных на памятниках андреевско-писеральского типа и пьяноборской культуры, и элементы погребальной обрядности могильника Большое Давыдовское, имеющие аналогии в Прикамье (противолежащие погребения). Эти факты могут рассматриваться в более широком контексте, вместе с находками вещей пьяноборского облика и степного происхождения на ряде памятников лесной полосы центра и севера Европейской России (Башенькин, 1995; Башенькин, 1996. С. 146–148; Васенина, 1996. С. 151–158), которые иногда интерпретируются как отражение «выплесков» отдельных групп степного и лесостепного населения на север. Накопление новых материалов со временем даст возможность ответить на вопрос, отражают ли находки «восточных» украшений на памятниках Ополья первой половины – середины – I тыс. н. э. продвижение сюда выходцев из Среднего Поволжья и Прикамья или культурные контакты с этими регионами. На современном этапе археологического изучения Суздальского Ополья очевидно, что появление на р. Урде некрополя с ярким комплексом финских древностей, не имеющим основы в местной среде, не было изолированным эпизодом в культурной ситуации этого времени – оно может рассматриваться как одно из звеньев сложного процесса формирования в этом регионе новых групп финского населения, в котором существенную роль играли южные и юго-восточные импульсы.

Список литературы

Агеев Б. Б. Пьяноборская культура. Уфа, 1992.

Археологическая карта России. Ивановская область. М., 1994.

Антипина Е. Е., Лебедева Е. Ю. Структура сельского хозяйства у населения Острой Луки Дона в середине I тыс. н. э. (археобиологическая реконструкция) // Верхнедонской археологический сборник. Вып. 3. Липецк – Санкт-Петербург, 2007.

Архипов Г. А., Шадрин А. И. Исследование раннесредневекового кургана у д. Климкино // Археология и этнография Марийского края. Вып. 24. Йошкар-Ола, 1995.

Ахмедов И. Р., Белоцерковская И. В. Вещевые комплексы могильника Заречье 4 // Археологические памятники окского бассейна. Рязань, 1996.

Ахмедов И. Р., Белоцерковская И. В. О начальной дате рязано-окских могильников // Труды ГИМ. Вып. 96. М., 1998.

Ахмедов И. Р. Рязано-окские крестовидные фибулы // Исследования П. Д. Степанова и этнокультурные процессы древности и современности. Материалы научной конференции. Саранск, 1999.

Ахмедов И. Р. Комплекс предметов с городища Долматово Старожиловского района Рязанской области // Проблемы древней и средневековой археологии Окского бассейна. Рязань, 2003.

Ахмедов И. Р. Инвентарь мужских погребений // Восточная Европа в середине I тыс. н. э. Раннеславянский мир. Вып. 9. М., 2007.

Ахмедов И. Р. Окские фибулы // Лесная и лесостепная зоны Восточной Европы в эпохи римских влияний и Великого переселения народов. Вып. 1. Тула, 2008.

Ахмедов И. Р. Проблема «финального» периода культуры рязано-окских финнов (к современному состоянию вопроса) // Археология Восточной Европы в I тысячелетии н. э. Проблемы и материалы // Раннеславянский мир. Вып. 13. М., 2010.

Ахмедов И. Р. Короткие однолезвийные мечи из Никитинского могильника на Оке // Германия – Сарматия. II. Калининград – Курск, 2010.

Башенькин А. Н. Культурно-исторические процессы в Молого-Шекснинском междуречье в конце I тыс. до н. э. – I тыс. н. э. // Проблемы истории Северо-Запада Руси. Вып. 3. СПб., 1995.

Башенькин А. Н. «Домик мертвых» Куреваниха XX на р. Мологе // Древности Русского Севера. Вып.1. Вологда, 1996.

Башенькин А. Н., Васенина М. Г. 2006. Комплекс «домиков мертвых» у д. Куреваниха на р. Мологе (Вологод-

ская область) // Первобытная и средневековая история и культура Европейского Севера: проблемы изучения и научной реконструкции. Сборник научных статей и докладов международной научно-практической конференции. Соловки, 2006.

Белоцерковская И. В. Верхнеокские элементы в культуре рязанско-окских могильников // Исследования П. Д. Степанова и этнокультурные процессы древности и современности. Саранск, 1999.

Белоцерковская И. В. Некоторые черты погребального обряда рязанско-окских могильников // Проблемы древней и средневековой археологии Окского бассейна. Рязань, 2003.

Белоцерковская И. В. Инвентарь женских погребений // Восточная Европа в середине I тыс. н. э. Раннеславянский мир. Вып. 9. М., 2007.

Васенина М. Г. Курган у д. Криводино в Грязовецком районе Вологодской области // Древности Русского Севера. Вып. 1. Вологда, 1996.

Вишневский В. И., Кирьянова Н. А., Добровольская М. В. Ратьковский раннесредневековый финно-угорский могильник: хронология, культура, обряд // РА. 2007. № 2.

Восточная Европа в середине I тыс. н. э. Раннеславянский мир. Вып. 9. М., 2007.

Голдина Р. Д. Тарасовский могильник I–V вв. на Средней Каме. Т. I. Текст, каталог погребений. Ижевск, 2004.

Голдина Р. Д. Тарасовский могильник I–V вв. на Средней Каме. Т. II. Иллюстрации. Ижевск, 2003.

Гришаков В. В. Население верховьев Мокши и Суры накануне Средневековья. Саранск, 2005.

Гришаков В. В., Зубов С. Э. Андреевский курган в системе археологических культур раннего железного века Восточной Европы. Археология Евразийских степей. Вып. 7. Казань, 2009.

Дубынин А. Ф. Троицкое городище // Древнее поселение в Подмосковье. МИА. № 156. М., 1970.

Исланова И. В. Городище Отмичи. Раннеславянский мир и его соседи. Вып. 11. М., 2008.

Исланова И. В. Культурная принадлежность древностей середины I тыс. н. э. Верхнего Поволжья // Лесная и лесостепная зоны Восточной Европы в эпохи римских влияний и Великого переселения народов. Ч. 1. Тула, 2010.

Краснов Ю. А. Безводнинский могильник. М., 1980.

Лебедева Е. Ю. Археоботанические исследования на поселении Замятино-7 // Острая Лука Дона в древности. Замятинский археологический комплекс гуннского времени. М., 2004.

Лебедева Е. Ю. Продолжение археоботанических исследований на Ростиславльском городище дьяковской культуры // Аналитические исследования лаборатории естественно-научных методов. Вып. 1. Ред. Е. Н. Черных. М., 2009.

Леонтьев А. Е. Археология мери. К предыстории Северо-Восточной Руси. М., 1996.

Леонтьев А. Е. Меря // Финно-угры Поволжья и Приуралья в Средние века. Ижевск, 1999.

Лещинская Н. А. Заметки об азелинских древностях (в связи с исследованиями П. Н. Старостина) // Древняя и средневековая археология Волго-Камья. Сборник статей к 70-летию П.Н. Старостина. Казань, 2009.

Макаров Н. А., Леонтьев А. Е., Шполянский С. В. Сельское расселение в центральной части Суздальской земли в конце I – первой половине II тыс. н. э.: новые материалы // Русь в IX–XIV веках. Взаимодействие Севера и Юга. Отв. ред. Н. А. Макаров, А. В. Чернецов. М., 2005.

Макаров Н. А. Начальный период средневековой колонизации Суздальского Ополья по материалам новейших исследований // Археология Владимиро-Суздальской земли. Материалы научного семинара. Вып. 1. М., 2007.

Макаров Н. А. Средневековое расселение в Суздальском Ополье: новые результаты и перспективы исследований // Археология Владимиро-Суздальской земли. Материалы научного семинара. Вып. 2. М., 2008.

Макаров Н. А., Федорина А. Н., Зайцева Г. И., Гроотс П. М. Радиоуглеродные даты памятников раннего железного века – средневековья в Суздальском Ополье // РА. 2012. № 1.

Массалитина Г. А. Мощинская культура. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук. М., 1994.

Массалитина Г. А. Керамический комплекс нижнего слоя городища Воротынск // Лесная и лесостепная зоны Восточной Европы в эпохи римских влияний и великого переселения народов. Вып. 1. Тула, 2008.

Михеев А. В. Климкинский могильник (по материалам исследований 2003–2004 гг.) // Древняя и средневековая археология Волго-Камья. Сборник статей к 70-летию П. Н. Старостина. Казань, 2009.

Останина Т. И. Население Среднего Прикамья в III–V вв. Ижевск, 1997.

Розенфельдт И. Г. Древности западной части Волго-Окского междуречья в VI–IX вв. М., 1982.

Румянцева О. С. Хронология и периодизация стеклянных бус могильника Кораблино // II Городцовские чтения. Материалы научной конференции, посвященной 100-летию деятельности В. А. Городцова в ГИМ. Труды ГИМ. Вып. 145. М., 2005.

Румянцева О. С. Бусы массовых типов // Восточная Европа в середине I тыс. н. э. Раннеславянский мир. Вып. 9. М., 2007.

Степанов П. Д. Андреевский курган (к истории мордовских племен на рубеже нашей эры). Саранск, 1980.

Уваров А. С. Меряне и их быт по курганным раскопкам. Труды I Археологического съезда. М., 1872.

Э. Д. Зиливинская, Д. В. Васильев, П. В. Попов

ИССЛЕДОВАНИЯ САМОСДЕЛЬСКОГО ГОРОДИЩА В 2009–2011 гг.

В последние годы одним из наиболее интересных и обсуждаемых памятников в Нижнем Поволжье является городище Самосделка, расположенное в дельте Волги в 40 км от Астрахани. Этот памятник интересен тем, что достаточно крупное поселение возникает здесь уже в IX в. и продолжает непрерывно существовать до конца XIV в., когда территория подвергается затоплению из-за трансгрессии Каспийского моря. Большие размеры памятника (ок. 2 кв. км) и его расположение в низовьях Волги на острове, пересеченном несколькими древними протоками, позволили предположить, что здесь могла находиться столица Хазарского каганата Итиль (Плетнева, 2000. С. 193–194; Петрухин, 2006. С. 22–23). В дальнейшем были получены и другие данные, подтверждающие эту гипотезу: возможное наличие на городище крепости из обожженного кирпича в ранний период, остатки юртообразных жилищ в нижних слоях, керамика VIII–IX вв., результаты радиоуглеродных анализов, датирующих нижние слои этим же временем (Зиливинская, Васильев, 2008. С. 224–226). Тем не менее никаких прямых свидетельств о том, что Итиль располагался именно здесь, до сих пор нет, да и вряд ли они вообще могут быть получены. Также недоказуемым, но достаточно обоснованным является предположение, что на этом месте в постхазарское (домонгольское) время находился город, являющийся центром области Саксин (Васильев, Гречкина, Зиливинская, 2003. С. 83–123; Васильев, 2004. С. 264–269; Зиливинская, Васильев, Гречкина, 2006. С. 24–35).

Планомерные исследования на Самосдельском городище ведутся совместной комплексной экспедицией Института этнологии и антропологии РАН и Астраханского государственного университета с 2000 г. С этого времени и до 2008 г. экспедиция работала в рамках «Хазарского проекта», организованного Российским Еврейским Конгрессом (руководитель проекта В. Я. Петрухин, координатор – И. А. Аржанцева). В 2009–2011 гг. работы были поддержаны программой Президиума РАН «Историко-культурное наследие и духовные ценности России».

Эталонным для памятника является раскоп 1, заложенный в самом высоком месте городища, в центре предполагаемой крепости. Это позволило получить стратиграфический разрез наиболее выразительной части городища начиная от самого раннего периода его существования вплоть до середины XIV в. Площадь раскопа составила 428 кв. м при толщине культурного слоя 2,6–3,0 м. Раскоп 1 был заложен в 2000 г., когда наши знания о памятнике и его стратиграфии находились в зачаточном состоянии. Результаты его раскопок должны были дать ответы на многие неясные вопросы и помочь выработать методику исследований, соответствующую данному памятнику. Именно поэтому раскопки велись традиционными общепринятыми в российской археологии методами. Вся площадь раскопа была разбита на квадратные участки по 4 кв. м (2 м х 2 м). Первоначально на раскопе были оставлены поперечные и продольные бровки, но в 2001 г. все бровки были разобраны после фиксации, так как все они пересекали многочисленные сооружения и постройки. Стратиграфия прослеживалась в бортах раскопа. В некоторых случаях делались стратиграфические разрезы отдельных участков. Также фиксировались разрезы всех ям и сооружений. Поверхность раскопа вскрывалась на глубину 20 см (на 1 условный «штык» или «пласт»), после чего зачищалась для выявления пятен ям и контуров сооружений. На уровне каждого штыка снимался план раскопа и проводилась фотофиксация.

Все находки из раскопа, выбранные по квадратам и штыкам или соотнесенные с определенными сооружениями, уносились в лагерь для камеральной обработки. Массовый керамический материал заносился в статистические таблицы, а индивидуальные находки отбирались для дальнейшей обработки и включения в коллекцию. Также отбирались все кости животных для обработки археозоологами. Просеивание и промывание культурного слоя не проводилось. Промывание было невозможно, так как ближайшая вода находится на расстоянии около 1 км от раскопа. Просеивание культурного слоя практически остановило бы работы, так как он чрезвычайно насыщен находками. Достаточно сказать, что общее число фрагментов керамики, обработанной нами при ручной выборке, только с раскопа 1 превышает 120 тысяч, а число индивидуальных находок в разные годы доходило до 500.

Стратиграфические разрезы раскопа показали, что культурные напластования мощностью 2,6–3,0 м состоят из непрерывного чередования различных слоев. В основных разрезах содержится 25–35 слоев и прослоек. Некоторые из них имели толщину 3–5 см, мощность других достигала 60–80 см. Залегают они также далеко не горизонталь-

но. Кроме того, в плане границы между слоями не всегда хорошо прослеживаются, и некоторые слои перестают быть различимыми про простой зачистке. Поэтому вскрытие раскопа и фиксация находок «по слоям» представляется чрезвычайно трудоемкой и малоэффективной. Далеко не все слои можно интерпретировать, но в тех случаях, когда это возможно, например, если это развал жилища или поверхность двора или улицы, нами отмечался не только «штык», но и слой. Отделять же находки из слоя золы, выброшенной на улицу и из слоя помоев, выплеснутых на эту же улицу, вряд ли необходимо. Важным для понимания раскопа оказался слой сплошного пожара, прослеженный на уровне IX–X штыков. Незадолго до пожара или сразу после него происходит смена населения города. После пожара появляется лепная керамика с «пышным орнаментом», а также, как показали археозоологические исследования, происходит изменение системы питания населения. Примечательно, что на раскопе 2 также прослеживается горелый слой на том же уровне. Естественно, что этот слой является маркирующим, и необходимо отдельно фиксировать сооружения и находки до и после этого пожара.

Культурный слой Самосдельского городища изобилует остатками различных построек, поэтому имеет смысл разделять его на «строительные горизонты» и соотнести их с условными «штыками». Эта работа частично проделана, выделено не менее 8 строительных горизонтов, но здесь также встречаются значительные сложности. Из-за непрерывности существования памятника и достаточно интенсивной жизни на нем нижние слои сильно нарушены и переработаны более поздними ямами, которые перерезают друг друга и сливаются в обширные конгломераты. Поэтому четкие границы между горизонтами часто не выделяются. Пока мы можем судить о них приблизительно и разделить весь культурный слой на три периода: золотоордынский, домонгольский, или постхазарский, и хазарский. Культурный слой золотоордынского времени на 1 раскопе почти полностью разрушен при различных земляных работах. К нему можно условно отнести I и II штык. Слои с III по IX штык относятся к постхазарскому домонгольскому периоду. На уровне XI–XIII штыков залегает хазарский слой. Граница между ним и следующим находится примерно на уровне X штыка.

В нижних слоях на уровне материка были обнаружены юртообразные жилища. Юртообразные жилища на Самосдельском городище заглублены в землю, стены их выстроены из жердей и плетня, обмазанного глиной. Все они, без сомнения жилые, причем населяли их люди довольно высокого ранга. В них найдены медные и стеклянные вещи, лазуритовая подвеска, янтарь, небольшой золотой слиточек. Другой тип ранних жилищ – это легкие каркасные постройки квадратной или прямоугольной формы. Каркас обычно сделан из деревянных столбов и жердей, вкопанных в землю, пространство между ними заполнено камышом, а сверху стены обмазаны глиной (так называемые турлучные постройки). Пол жилищ может быть заглублен в землю, иногда довольно значительно. В этом случае они фактически являются полуземлянками. В. С. Флеров, исследовавший юртообразные жилища Восточной Европы в раннем Средневековье, считал их важнейшим признаком седентеризации (Флеров, 1996. С. 59). Этот же исследователь отмечал недолговечность существования во времени такого типа жилищ и быстрый переход населения Хазарского каганата, а также Волжской и Дунайской Болгарий к жизни в полуземлянках прямоугольного плана. Наземные турлучные жилища характерны для населения Северного Кавказа, в частности – «страны гуннов», т. е. Дагестана (Гмыря, 1995. С. 156–157). Скорее всего существовали и более капитальные постройки. На уровне материка мы находим остатки разобранных кладок из кирпича на известковом растворе или комбинированных – из кирпича, известняка и крупной гальки. На уровне IX–X штыков на всей площади раскопа прослеживается сплошной слой пожара, в котором гибнут многочисленные турлучные постройки.

Выше над ним располагаются большие многокомнатные дома, стены которых сложены из обожженного кирпича вторичного использования. Для возведения стен этих домов в рыхлом горелом слое были выкопаны фундаментные траншеи, которые были забутованы тщательно перемешанным культурным слоем. Сооружение фундамента из однородного грунта должно было препятствовать просадке и перекосу стен. Многокомнатные дома неоднократно перестраивались, сохраняя свою планировку в целом. Они датируются XI–XII вв.

В XIII–XIV вв. дома были преимущественно однокомнатными, с размерами примерно 4,5 х 3,5 м. Стены сложены из кирпичей вторичного использования, крыши скорее всего были перекрыты камышом. Интерьер помещений состоял из узких (30–60 см) суф с подпорными стенками из обломков кирпичей, полы глинобитные, застеленные циновками. Отопление осуществлялось при помощи печек или тандыров, которые соединялись с канами. В верхних слоях вскрыто пять наземных жилищ и землянка, которые образовывали единый жилой квартал. Три дома и землянка были обращены входами на небольшую площадь размерами 4 х 6 м. При этом все жилища были практически вплотную пристроены друг к другу. Такая плотность застройки может объясняться недостатком площади в городе, расположенном на острове. А возможно, такая пла-

нировка возникает под влиянием среднеазиатской (хорезмийской) градостроительной традиции. Такая же ситуация прослеживается на 2 и 3 раскопах, где также зафиксированы кварталы сплошной застройки.

В 2009 г. раскоп 1 был полностью доведен до материка. Раскопки велись в юго-западной его части. Здесь был доследован двухкомнатный дом (сооружение 25), размеры которого составляли 7,3 м х 4,05 м (см. вклейку: с. 63, ил. 1). Стены его сложены из сырцового кирпича и турлука. В комнатах были сделаны суфы и очаги. Полы и поверхности суф были вымощены обожженным кирпичом. Этот дом неоднократно перестраивался. В раннем периоде большую часть одного из его помещений занимал погреб, стенки которого были сложены из сырцового кирпича. Это квадратное в плане сооружение размерами 2,1 х 2,2 м имело глубину около 1 м. Сверху погреб был перекрыт досками пола.

В материке находились многочисленные ямы, как раннего периода, так и более поздних. Некоторые ямы служили скорее всего погребками. Их стенки укреплены деревянными плашками или плетнем. Еще одна группа ям, назначение которых не вызывает сомнений, – это бадрапы (выгребные ямы). Бадрапы встречаются в нижних слоях и непосредственно в материке, т. е. в самый ранний период существования города. Наличие их может служить свидетельством присутствия представителей оседлого городского населения из Средней Азии. Как известно, гигиенические сооружения в виде тошнау и бадрапов появляются в городах Средней Азии в VIII в. в связи с принятием ислама с его непременным требованием ритуальной чистоты (Анарбаев, 1981. С. 95–101). К наиболее интересным находкам из нижних слоев относятся лепной светильник на ножке, аналогии которому имеются в материалах второго и третьего этапа Джетыасарской культуры и на городищах Кескен-Куюк-кала и Куюк-кала в низовьях Сырдарьи (Левина, 1971. С. 81, 88), а также зооморфный носик сосуда скорее всего импортного происхождения. Аналогичные носики известны в поздних слоях Пенджикента (Беленицкий, Бентович, Большаков, 1973. С. 38). Редкой находкой является археологически целый стеклянный флакон с цилиндрическим горлом, крутыми плечиками и горизонтально отогнутым венчиком. Особенность формы и матовая поверхность изделия свидетельствуют, что он был выполнен дутьем в разъемные формы. Такие флаконы в IX–XII вв. создавались в большом количестве и распространялись в широком ареале исламского стекла от Туниса до Китая (Carboni, 2001. P. 147).

В 2009–2011 гг. наиболее активные работы велись на раскопе 2, который находится южнее раскопа 1. Основной целью начала работ на раскопе 2 была признана проверка гипотезы о наличии на городище цитадели, кирпичные стены которой могли быть разобраны в XI–XII вв. Предполагалось обнаружить в раскопе либо фундамент южной стены цитадели, либо траншею от ее выборки. В настоящее время раскоп площадью 520 кв. м вскрыт до уровня XI штыка, что соответствует хронологическому периоду X – начала XI вв. Отличает этот раскоп от раскопа 1 лучшая сохранность наиболее поздних слоев золотоордынского времени. Анализ сооружений в хронологическом порядке, т. е. в порядке их возникновения, позволяет проследить динамику развитие города на данном участке от X до XIV вв.

На уровне VIII–XI штыков находится слой пожарища X–XI вв. Здесь наблюдается очень пестрая и перемешанная картина разрушения многочисленных сгоревших сооружений из турлука, сгоревших в большом пожаре. Возможно, это были два пожара, разделенные небольшим временным промежутком. В таком случае один из них, ранний, относится к X в., а второй пожар – к XI в. Повсеместно встречаются пятна золы, углей, целые пласты горелых зерен проса, пятна серой и черной золы от сгоревших камышовых крыш. Отчетливо фиксируются в пестрой картине разрушения округлые пятна тандыров и очагов. Контуры стен отдельных сооружений не прослеживаются четко, так как они были снесены и разровнены.

Далее следует слой восстановления города после пожара в XI в. Поверх слоя разрушения развалин сгоревших сооружений (между VIII и IX штыками) зафиксирован слой обмазки глиной с большим количеством органики толщиной 10–15 см. Видимо, данная обмазка использовалась как нивелирующая прослойка и одновременно – как изоляция от пылеватого рыхлого слоя пожарища. Здесь, так же как и на раскопе № 1, зафиксированы фундаментные траншеи, пробивающие рыхлый горелый слой и заполненные перемешанным культурным слоем. Они выкопаны для устройства фундаментов стен сооружения 5 – большого многокомнатного дома из сырцового кирпича, который возник примерно в середине–конце XI в. и продолжал существовать вплоть до раннего золотоордынского времени.

Этот уровень фиксирует начало масштабных восстановительных, а точнее – перепланировочных работ, которые развернулись в центральной части города. Датируется этот слой пока довольно условно – с XI до начала XII в. Именно с этого уровня начинает фиксироваться кирпичное строительство из обожженного кирпича вторичного использования. То есть предположительно в этот период массово разбираются стены и башни цитадели хазарского времени. Кроме того, централизованно и единовременно строятся большие многокомнатные дома. Такие масштабные работы – их

следы прослеживаются на одном уровне на двух раскопах – говорят о том, что направляла эту деятельность единая сила, обладающая значительными ресурсами. Возможно, это была государственная власть. В это время значительным экономическим и политическим влиянием в регионе могли обладать только Хорезм и Волжская Болгария, которые являлись отдаленными соседями нижневолжского региона, но экономически были с ним тесно связаны. В слоях, соответствующих периоду восстановления города в постхазарский период, массовый керамический материал представлен красноглиняной гончарной ангобированной посудой билярского типа с псевдолощением по ангобу. Исходя из этого, можно сделать осторожное предположение, что начало города Саксина, с которым связываются этот и все вышележащие слои, совпадает с массированной экономической и политической экспансией Волжской Болгарии в дельту Волги.

В следующий период, который предположительно связывается с существованием здесь города Саксина (XI–30-е гг. XIII вв.), появляется правильная уличная планировка. Основным элементом планировки, который объединяет вокруг себя архитектурные объекты, вскрытые на раскопе 2, является узкая немощеная улица шириной 80–90 см, пересекающая раскоп с ЗЮЗ на ВСВ в его северной части. Улица фиксируется по чередующимся слоям серой золы (перегнившего навоза) и черного глиняного натопа, которые откладывались поочередно. Общая мощность уличного заполнения достигает 100–110 см. Таким образом, улица существовала довольно продолжительное время – возможно, более 200 лет. Помимо этого, выявлена перпендикулярная улица, которая была проложена в направлении с ССЗ на ЮЮВ. С обеих сторон она была плотно застроена жилыми строениями.

К данному слою относятся развитые и большие по площади архитектурные объекты. Первым из них является сооружение 5 (см. вклейку: с. 63, ил. 2). Оно представляет собой в плане прямоугольную постройку, ориентированную по оси ССЗ–ЮЮВ. Внешние размеры сооружения с запада на восток свыше 8 м, с севера на юг – 12 м. Капитальные стены сооружения сложены из сырцового квадратного кирпича размерами 24 х 24 х 5 см и частично облицованы изнутри и снаружи обожженным кирпичом на глинистом растворе. Северная и южная стены, а также южная часть западной стены выложены в оригинальной технике – с использованием комбинированной кладки, в которой перемежаются слои кладки из сырцового кирпича и пахсы, замешанной на основе просеянного культурного слоя. Основное помещение сооружения примыкает к западной стене. Оно квадратное в плане и обнесено со всех сторон капитальными стенами из сырца. Внутренние размеры помещения 4 х 3,5 м. В центре помещения располагалась округлая очажная яма, превращенная позже в тошнау.

С севера к центральному помещению примыкает прямоугольное помещение, интерьер которого не сохранился. С востока вдоль всего сооружения проходит длинный коридор, который к югу поворачивает к западу, образуя Г-образный кулуар. В более позднее время южная часть этого кулуара была разделена на два помещения, а восточная – на три. Сохранились остатки пахсовых перегородок между ними и дверной проем с остатками деревянного дверного косяка, а также отопительные системы в виде очагов и тандыров, встроенных в квадратные суфы-тумбы. В таком виде сооружение 5 существовало, немного видоизменяясь и ремонтируясь, вплоть до монгольского нашествия, когда оно было частично разрушено.

К северу от сооружения 5 в одно время с ним было построено сооружение 27. Оно было открыто в раскопе 2 неполностью – в него попали только два помещения. Эти два помещения пристроены одно к другому и вытянуты в линию вдоль улицы. От внешней стены западного помещения сохранилась лишь глубокая траншея выборки – она была сложена изначально из обожженного кирпича и разобрана полностью в начале XIV в. Западная стена выложена из сырцовых кирпичей, но усилена внутри кладки прослойками из обожженного кирпича. Стены восточного помещения и перегородка между помещениями сложены из сырцового кирпича. В массиве стен прослеживаются ямы от столбов, которые поддерживали крышу и служили основой для фахверковой конструкции стен.

В интерьере восточного помещения основным элементом является квадратная суфа-тумба в северо-западном углу, в которую был встроен тандыр. Около южной стены помещения расположена яма тошнау. В центре пола обнаружен вкопанный на две трети лепной котел приплюснуто-шаровидной формы и обломки лепной крышки с пестовидной ручкой, которая его закрывала. Котел был заполнен золой и углями и, видимо, служил очагом.

Внутри помещений были обнаружены следы рухнувшего деревянного перекрытия, покрытого мощным слоем глиняной обмазки. Поверх него лежали развалы крупных сосудов – хумов и горшков, стоявших, по всей видимости, на крыше сооружения 27. Полы внутри помещения сооружения 27 были земляными. Было прослежено множество слоев обмазки пола, которые говорят об очень длительном существовании сооружения 27 в таком виде – возможно, с конца XI в. до 30-х гг. XIII в. Остальные сооружения этого периода, которые выявлены в раскопе, – это дома, выложенные из сыр-

цового и обожженного кирпича, зачастую с каркасными конструкциями, встроенными в стены.

Таким образом, слой «саксинского» периода рисует нам картину очень активного обживания центрального участка городища в XI – начале XIII в. Сооружения были выстроены единовременно, о чем нам говорят их одноуровневость и подчиненность единому плану застройки.

Слой раннезолотоордынского времени (30-е гг. XIII в. – первая четверть XIV в.) отделяется от «саксинского» мощной прослойкой пожара, который связывается с монгольским вторжением. Сооружения, пережившие это нашествие, содержат следы пожара – прокаленные изнутри сырцовые стены, мощные прослойки сгоревших и рухнувших перекрытий, состоящие из обуглившихся досок и прокаленной глины.

Археозоологические материалы позволяют говорить о том, что через некоторое время после пожара началась разборка завалов, санитарная уборка улиц от тел погибших животных и людей (Яворская, 2011. С. 152–156). Тела людей были собраны и захоронены. Остались случайно неубранными лишь отдельные разрозненные части человеческих скелетов – в археозоологических коллекциях встречаются кости рук, ног, нижняя челюсть, которые носят следы пребывания в огне. Видимо, санитарная зачистка руин начата была после частичного разложения трупов погибших людей. Тела животных были собраны, заброшены в руины сооружений и завалены остатками стен. Очевидно, с этим процессом и связано разрушение стен сооружения 5.

После ликвидации первых последствий пожара было начато частичное восстановление разрушенных сооружений и обживание руин. Керамика, встречающаяся в заполнении восстановленных сооружений, мало чем отличается от керамики предмонгольского периода, что лишний раз свидетельствует о возвращении в город коренного населения – носителя местных традиций.

В целом в слоях XIII в. прослеживается картина частичного запустения города после монгольского нашествия и медленного, постепенного восстановления городской жизни.

Следующий слой представляет эпоху расцвета Золотой Орды – 30-е гг. XIII в. – первая четверть XIV в. Картина, которая прослеживается здесь, напоминает ситуацию постхазарского периода, когда центральная часть городища подверглась перепланировке и реконструкции. Масштабные работы по сносу руин сооружений предмонгольского периода, выравниванию поверхности и строительству новых домов можно предположительно связать с общим экономическим подъемом в Золотой Орде в период правления хана Узбека (1312–1342 гг.). Именно в этих слоях начинает встречаться монетный материал, который датируется в основном 30-ми годами XIV в. Данный слой насыщен остатками небольших слегка заглубленных в землю сооружений, которые были выстроены после сноса остатков домов предмонгольского времени.

Сооружения золотоордынского времени, обнаруженные на раскопе 2, выполнены в сочетании традиций предшествующих периодов, накопленных на городище с VIII в. по XIII и традиций золотоордынской архитектуры. Жилые дома представляют собой подквадратные в плане сооружения с Г-образными или П-образными суфами и традиционной для Золотой Орды системой отопления, состоящей из тандыров и канов. Ориентированы все дома одинаково – по линии ССЗ-ЮЮВ, что свидетельствует о наличии планомерной квартальной застройки на городище в XIII–XIV вв. Как правило, вход у сооружений находился с южной стороны: эта монгольская традиция закрепляется на городище именно в золотоордынский период.

В начале XIV в. уровень воды стал неожиданно и резко повышаться. В 30-х – 50-х гг. XIV в. происходит катастрофический подъем уровня воды в Каспийском море и за счет этого – подпор воды в реке. Территория городища оказывается затопленной и надолго скрывается под водой. На уровне поверхности, особенно хорошо это видно в южной части раскопа, данная местность перекрыта мощным слоем отложений окатанных фрагментов керамики, кирпича, костей животных, речной ракушки. Эти слоистые отложения соответствуют длительному – с середины XIV до середины XVIII в. – периоду затопления городища разлившейся рекой, в ходе которого случались отступления воды и повышения ее уровня. Значительная часть культурного слоя была уничтожена прибойными волнами; керамика, кирпич и кости, содержащиеся в нем, были омыты водой и окатаны, фактически превращены в гальку.

Основной массив находок на Самосдельском городище представлен керамикой. Коллекция, полученная в ходе исследований, исчисляется десятками тысяч фрагментов. Именно керамика является основным материалом, который может дать этнокультурную и хронологическую характеристику данному памятнику. Одним из результатов работ 2009–2011 гг. явилось создание предварительной типологии неполивной керамики Самосдельского городища (Попов, 2011. С. 60–89).

В основу типологии керамического комплекса была положена классификация Т. А. Хлебниковой, дополненная и доработанная Н. А. Кокориной (Хлебникова, 1984; Кокорина, 2002). В соответствии с ее положениями, на основании совокупности технологических и морфологических признаков, было выделено несколько этнокультурных групп. В качестве типологически значимых призна-

ков определялись состав теста, особенности формы сосуда, его отделки, орнаментации. Общая систематизация производилась путем выделения основных категорий массовой посуды по их функциональным признакам. Рассматривая в целом керамический комплекс, полученный в результате раскопок Самосдельского городища, можно сделать некоторые выводы.

Прежде всего, его изучение позволяет с довольно высокой степенью достоверности определить нижний хронологический рубеж существования памятника. Такие выводы можно сделать при изучении кочевнических котлов (см. вклейку: с. 64, ил. 3) (Попов, 2009). Аналогии данным котлам встречаются на довольно ограниченном числе памятников, расположенных в Семиречье, Южном Казахстане. Исследователи датируют бытование подобных форм в этих районах VII–IX вв. (Байпаков, 1986. С. 29–31, 48, 61; Сенигова, 1972. С. 39–40, 91; Бернштам, 1952. С. 243). Таким образом, появление данных сосудов на Самосдельском городище не может быть датировано позже IX в. Принимая во внимание тот факт, что котлы этих типов распространены только в нижних слоях памятника, мы можем датировать их IX в.

Анализ иных категорий посуды, обнаруживаемой в этих культурных напластованиях, не противоречит данной датировке. Так, в группе архаичной лепной керамики привлекает к себе внимание распространение низкокачественного кострового обжига, совершавшегося, по-видимому, на открытом огне. Такой архаичный технологический прием очень редко встречается в средневековом гончарстве, тем более в комплексе оседлого поселения. Его появление в материалах городища стало возможным вследствие проживания здесь групп номадов, сохранявших примитивные гончарные технологии. Особый интерес вызывает тот факт, что и оседлое население памятника использовало грубую, архаичную посуду наряду с гончарными формами более высокого качества исполнения и горнового обжига. Это свидетельствует об этническом родстве кочевого и оседлого населения. Морфологический анализ керамики данной группы позволяет связать ее с болгарскими племенами, сохранявшими в своей среде традиции кочевого образа жизни. Учитывая сообщения письменных источников о сохранении хазарами кочевого быта, этот комплекс возможно соотнести в том числе и с ними.

На городище также проживало оседлое болгарское население, которое, однако, испытывало мощное влияние кочевой культуры. Это нашло отражение в керамическом комплексе памятника. Прежде всего, необходимо отметить полное отсутствие кухонных сосудов, произведенных в условиях ремесленного производства: практически все найденные на городище гончарные горшковидные сосуды, вплоть до золотоордынского времени, использовались как столовая посуда. Это довольно резко контрастирует с результатами исследований на Саркеле – Белой Веже, на памятниках салтово-маяцкой культуры и Волжской Болгарии. На Самосдельском городище оседлое население в качестве кухонной посуды использовало лепные горшковидные формы придомного производства, а также, что самое примечательное, целый ряд типов котлов, характерных, прежде всего, для культуры номадов.

Также необходимо остановиться на происхождении болгар, являвшихся важной составляющей населения Самосдельского городища. Анализ керамического комплекса, выявленного на памятниках Волжской Болгарии, свидетельствует о его тесных связях с салтово-маяцкой культурой (Хлебникова, 1984. С. 234). Этот факт надежно указывает на исходный район миграций значительной части болгарского населения на Среднюю Волгу. Однако на Самосдельском городище мы не находим типов керамики, связанной своим происхождением с салтово-маяцкой культурой. Несмотря на то что нижние слои памятника датируются IX в., здесь не обнаружено керамики, характерной для синхронных поселений Подонья, Волжской Болгарии и других районов Восточной Европы. Изучение комплекса керамики Самосдельского городища показывает, что истоки ряда типов его гончарной посуды лежат в керамике Дагестанской Хазарии, в материалах городищ, расположенных в восточной части Северного Кавказа (см. вклейку: с. 65, ил. 4). Рекогносцировочные исследования в данном районе показали, что в материалах этих памятников также отсутствует посуда, характерная для салтово-маяцкой культуры. Подобная керамика не была обнаружена и при исследовании культурных слоев хазарского времени в Дербенте. Все эти данные свидетельствуют о культурном своеобразии северокавказских районов Хазарского каганата.

Согласно письменным источникам, первоначально центром Хазарии были степные районы восточной части Северного Кавказа. До арабо-хазарских войн именно здесь проживали хазары, а также этнически близкие к ним болгарские племена. Среди последних необходимо указать племя беленджер/баранджар, находившееся в кровном родстве с хазарскими каганами. В связи с этим можно предположить, что типы гончарной керамики, связанной своим происхождением с регионом Северного Кавказа, могут интерпретироваться как посуда хазар и тесно связанных с ними болгарских родов.

Еще одной составляющей керамического комплекса нижних слоев Самосдельского городища являются типы сосудов, своим происхождением связанные со среднеазиатскими территориями.

Прежде всего, это уже упоминавшийся комплекс лепных котлов. Эти сосуды имеют многочисленные аналогии на территории Семиречья, Южного Казахстана, Ферганы, Устуршаны и Согда. Исследователи единодушно интерпретируют их как керамику тюркоязычных номадов. Судя по всему, эти кочевники проникают в Нижнее Поволжье в результате масштабной миграции огузских племен в конце VIII – начале IX в., которые, судя по письменным источникам, начали свое движение с территории Семиречья (Попов, 2009. С. 153–187). Вероятно, именно с миграциями кочевников в комплекс городища попадает целый ряд гончарных форм, происхождение которых связано со среднеазиатскими территориями.

Археологические исследования целого ряда среднеазиатских поселенческих памятников свидетельствует о синкретичности материальной культуры городских центров Южного Казахастана, Семиречья, отчасти Согда, сложившейся в результате взаимодействия согдийской и тюркской составляющих (Байпаков, 1986. С. 187; Беленицкий, Бентович, Большаков, 1973. С. 185; Гафуров, 1976. С. 222–223; Жданко, 1968. С. 279). Культура тюркоязычных номадов испытывала мощное влияние оседлого населения, что выражалось в формировании специфического гончарного комплекса, в котором причудливо переплетались архаичные кочевнические традиции и достижения высокоразвитого ремесленного производства. На верность этого предположения указывает структура гончарного комплекса Самосдельского городища. Так, гончарные сосуды, связанные своим происхождением со среднеазиатским регионом, не составляют обособленного комплекса. Напротив, они органично вписались в керамическую традицию хазаро-болгарской основы населения памятника. Об этом свидетельствует общность технологических приемов: состав теста, характер обжига, орнаментация. Такое слияние могло быть только в том случае, если пришлое население не имело устойчивых гончарных традиций. Эта особенность характерна, прежде всего, для кочевого населения.

Анализ керамического комплекса памятника показывает, что между указанными группами населения происходят тесные межэтнические контакты и взаимовлияния. Это выразилось в том, что многие типы среднеазиатских сосудов, привнесенные кочевниками, органично влились в болгарское гончарство. Эти формы изготовлялись болгарскими мастерами, но с учетом вкусов иноэтничных потребителей. В связи с этим на многих сосудах, соотносимых с I общеболгарской этнокультурной группой, появляется аногбирование, не характерное для керамического производства Восточной Европы. Ярким примером взаимовлияния стало расположение на горловинах типично болгарских кувшинов налепов в виде бараньих рогов, что является проявлением культурных традиций населения бассейна Сырдарьи. Такое взаимовлияние стало возможным вследствие того, что номады не обладали устойчивой гончарной культурой. Планиграфическое и стратиграфическое распределение керамического материала в раскопе показывает, что население городища, несмотря на свое этническое происхождение, использовало одни и те же сосуды.

Во второй половине X века, видимо, в связи с падением Хазарского каганата, в керамическом комплексе памятника наблюдаются определенные изменения. Исследования памятников Волжской Болгарии свидетельствуют о том, что в X в. в их материалах появляются новые типы керамики: гончарные кувшины с высоким раздутым туловом, валикообразным венчиком, миски и чаши со спрямленной верхней частью, большие корчаги. Появление нового типа мисок, чаш и корчаг Т. А. Хлебникова интерпретировала как влияние кочевой периферии носителей традиции изготовления керамики «юго-восточных истоков». Однако наиболее вероятно, что подобные формы появились на Средней Волге под влиянием нижневолжского болгарского населения. По всей видимости, в число районов, исходных для распространения вышеуказанных кувшинов, также следует включить Нижнее Поволжье.

С падением Хазарского каганата в степи Восточной Европы наблюдается приток новых групп тюркоязычного населения, входящего в огузское объединение, появившегося в Поволжье и Прикаспии. Это нашло отражение в распространении на лепных формах, выявленных на памятнике, орнаментации «роскошного стиля», представленной свисающими гирляндами, прочерченными орнаментами с заполнением, оттисками штампа (см. вклейку: с. 66, ил. 5). Подобная отделка свидетельствует о проникновении в X в. на городище новых групп кочевого тюркоязычного населения.

В то же время на памятнике прослеживаются процессы в рамках существовавшего комплекса. В X в. наблюдается исчезновение баночной формы горшков, некоторых типов котлов. Эти процессы связаны с развитием гончарного ремесла и переходом значительных масс кочевников к оседлому образу жизни. В то же время наличие большого количества характерных для кочевников форм, прежде всего котлов, позволяет говорить о сохранении влияния номадов на культуру памятника.

В XI–XII вв. наблюдается усиление влияния культуры Волжской Болгарии. Это связано с расцветом данного государства, а также с развитием торговли, осуществляемой булгарским купечеством. В это время на городище появляются столо-

вая керамика высокого качества исполнения, с богатой орнаментацией в виде композиций из сетчатого лощения, каннелюр, волнообразных орнаментов, полос рифления, оттисков зубчатого штампа и т. д. Также в этот период продолжают выходить из употребления отдельные лепные формы.

Монгольское нашествие нанесло по населению города сильный удар. В этот период исчезают многие типы сосудов. Появляются новые типы гончарных кухонных горшков, сформировавшиеся под влиянием керамического производства столичных центров Золотой Орды.

Кроме керамики достаточно частыми находками на Самосдельском городище являются изделия из стекла. В комплекс стеклянных изделий входит обычный для большинства средневековых поселений набор украшений, таких, как бусы, подвески, браслеты, перстни. Кроме того, широко представлена стеклянная посуда и оконное стекло, причем количество этих изделий значительно превышает количество украшений. В настоящее время создана первичная классификация стеклянной посуды и проведен химический анализ состава стекла (Валиулина, Зиливинская, 2011. С. 63–76). В состав номенклатуры столовой посуды входят кубки, чаши, банки, флаконы и кувшины. На городище найдено значительное количество алхимической посуды, что свидетельствует о наличии сложных производств и поисках новых технологий. К химической посуде можно отнести многочисленные аламбики, а также фрагмент сосуда для декантации, фрагмент пробирки и стеклянный сфероконус. Наличие оконных стекол говорит о высоком уровне жизни населения Самосдельского городища.

Богатая коллекция стекла Самосдельского городища, номенклатура, общая стилистика формы и декора, химический состав стеклянных изделий имеют широкий круг аналогий в памятниках Ближнего Востока, Закавказья, Средней Азии и Волжской Булгарии, обнаруживая восточный облик самосдельского стекла, его датировку в пределах XI–XII вв. и два основных направления поступления стеклянной продукции на городище – ближневосточное – закавказское и среднеазиатское.

Также изучается достаточно представительная коллекция костяных изделий (Пальцева, 2011. С. 119–136). Она представлена несколькими основными категориями, которые отражают различные сферы человеческой деятельности. Это, прежде всего, бытовые предметы, такие, как ножи, кочедыки, лощила, игольницы, костяные рукоятки, шила, тупики, сумаки. Встречаются детали вооружения и конской сбруи – накладки на луки, колчанные крюки, навершия нагаек. Из кости изготавливались детали костюма (пуговицы), украшения (шпильки, бусины) и предметы туалета (копоушки). Для игр служили костяные шахматные фигурки и игральные альчики. Распространено было гадание на бараньей лопатке и ношение амулетов из клыков хищных животных и раковин каури.

Развитие косторезного производства на Самосдельском городище имеет свои особенности. Прежде всего, производство предметов из кости представляется как промысел, не выходящий за рамки домашнего, кустарного. Это мнение сложилось в результате сопоставления нескольких фактов: отсутствие представительной серии косторезной продукции, которые изготавливались бы для широких рыночных продаж, косторезного или хотя бы деревообрабатывающего инструментария, относительно небольшое число самих готовых изделий и отходов, которые представлены лишь разнородными фрагментами. Кроме того, в настоящее время на исследованной территории памятника не было обнаружено косторезной мастерской. Сопоставляя материалы других памятников, располагающихся на огромной территории, можно констатировать наличие культурных связей в первую очередь с хазарским и булгарским населением. И наконец, об этом свидетельствует высокий процент бракованных изделий и, как было уже сказано, отсутствие стандартных, похожих отходов производства.

Создается впечатление, что население Самосдельского городища в течение всего периода его существования занималось изготовлением костяных изделий для собственного потребления, без отрыва от основной деятельности. Представляется вполне закономерным для полуоседлого народа, занимающегося в первую очередь в силу природных и культурных факторов скотоводством, использовать костный материал, который был в изобилии в качестве сырья для орудий труда, украшений и т. п. На основе анализа функционального назначения ряда изделий из кости, можно также сделать вывод об активном развитии кожевенного производства, которое в первую очередь связано со скотоводством, а также с рыболовством. Так, тупики из бараньих лопаток, лощила из лошадиных астрагалов, лощила из лошадиных метаподий, так называемые «коньки», нож для разделки шкур животных или рыбы, кочедыки для плетения рыболовных сетей – все эти изделия составляют 33 % от всего количества костяных находок.

Также интересные выводы о различных сторонах жизни населения позволил сделать анализ двух текстильных изделий (Зиливинская, Орфинская, 2009. С. 359–370). Одно из них являлось остатками стеганой одежды, вероятно, халата из хлопчатой ткани. Ткани из хлопка, а возможно, и готовые изделия на Нижней Волге были привозными, скорее всего из Средней Азии. Другой фрагмент являлся

частью рыболовной сети, изготовленной из растительных волокон, возможно, местной конопли.

Таким образом, комплексное исследование яркого и интересного памятника – Самосдельского городища дает богатый материал для изучения не известного до сих пор периода в истории Нижнего Поволжья.

Список литературы

Анарбаев А. Благоустройство средневекового города Средней Азии. Ташкент, 1981.

Байпаков К. М. Средневековая городская культура Южного Казахстана и Семиречья, Алма-Ата, 1986.

Беленицкий А. М., Бентович И. Б., Большаков О. Г. Средневековый город Средней Азии. Л., 1973.

Бернштам А. Н. Историко-археологические очерки Центрального Тянь-Шаня и Памиро-Алая // МИА, № 26. М.; Л., 1952.

Валиулина С. И., Зиливинская Э. Д. Стеклянные изделия Самосдельского городища // Ученые записки Казанского государственного университета. Т. 152. Серия гуманитарных наук. Кн. 3. Ч. 1. Казань, 2010.

Васильев Д. В. О местоположении города Саксин // Проблемы археологии Нижнего Поволжья. 1 Международная Нижневолжская археологическая конференция, г. Волгоград, 1–5 ноября 2004 г. Тезисы докладов. Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2004.

Васильев Д. В., Гречкина Т. Ю., Зиливинская Э. Д. Городище Самосделка – памятник домонгольского периода в Низовьях Волги // Степи Европы в эпоху Средневековья. Т. 3. Донецк, 2003.

Гафуров Б. Г. Таджики: Древнейшая, древняя и средневековая история, М., 1976.

Гмыря Л. Б. Страна гуннов у Каспийских ворот. Махачкала, 1995.

Жданко Т. А. Номадизм в Средней Азии и Казахстане // История, археология и этнография Средней Азии. М., 1968.

Зиливинская Э. Д., Васильев Д. В., Гречкина Т. Ю. Раскопки на городище Самосделка в Астраханской области в 2000–2004 гг. // РА. 2006. № 4.

Зиливинская Э. Д., Васильев Д. В. О вероятной локализации города Итиля на Самосдельском городище в дельте Волги // Труды II (XVIII) всероссийского археологического съезда в Суздале. 2008 г. Т. II. М., 2008.

Зиливинская Э. Д., Орфинская О. В. Изделия из текстиля на Самосдельском городище // Степи Европы в эпоху Средневековья. Т. 7. Донецк, 2009.

Кокорина Н. А. Керамика Волжской Булгарии второй половины XI – начала XV века. Казань, 2002.

Левина Л. М. Керамика Нижней и Средней Сырдарьи в I тыс. н. э. // Труды Хорезмской экспедиции. М., 1971.

Пальцева Д. У. Костяные изделия Самосдельского городища // Самосдельское городище: вопросы изучения и интерпретации. Астрахань, 2011.

Плетнева С. А. Очерки хазарской археологии. Москва; Иерусалим, 2000.

Петрухин В. «Отмстить неразумным хазарам...». Хазарский каганат и евразийский аспект начала российской истории // Восточная коллекция. Лето 2006 г.

Попов П. В. Лепные котлы Самосдельского городища и проблема их этнической интерпретации // Степи Европы в эпоху Средневековья. Т. 7. Донецк, 2009.

Попов П. В. Предварительные итоги изучения керамики Самосдельского городища // Самосдельское городище: вопросы изучения и интерпретации. Астрахань, 2011.

Сенигова Т. Н. Средневековый Тараз, Алма-Ата, 1972. С. 39–40, 91.

Флеров В. С. Раннесредневековые юртообразные жилища Восточной Европы. М., 1996.

Хлебникова Т. А. Керамика памятников Волжской Болгарии: к вопросу об этнокультурном составе населения. М.: Наука, 1984.

Яворская Л. В. Основные результаты археозоологических исследований городища Самосделка (2005–10 гг.) // Самосдельское городище: вопросы изучения и интерпретации. Астрахань, 2011.

Carboni S. Glass from Islamic Lands: The al-Sabah collection. London, 2001.

А. В. Чернецов

СТАРАЯ РЯЗАНЬ – ЭТАЛОННЫЙ ПАМЯТНИК СРЕДНЕВЕКОВОЙ РУССКОЙ АРХЕОЛОГИИ

В 50 км на юго-восток от современной Рязани находится городище Старая Рязань – уникальный памятник археологии, единственная столица крупной земли – княжения домонгольской Руси, ставшая классическим *мертвым городом*.

Центр обширного Рязанского княжества, территория которого в несколько раз превосходила нынешнюю Рязанскую область, не смог оправиться после катастрофических событий зимы 1237 г. Старая Рязань оказалась первым крупным древнерус-

ским городом, осажденным монголами. Между тем она даже не являлась стратегической целью захватчиков – монголы располагали разведывательной информацией и знали, что наиболее серьезными противниками из числа русских князей, которых нужно было разгромить в первую очередь, были в те времена не правители Киева и Чернигова, а Владимиро-Суздальские князья. Путь из степей на Владимирщину шел через Рязанское княжество.

Из всех крупных княжеств и городов, разгромленных войсками Батыя, самые подробные и самые поэтические предания повествуют именно о Старой Рязани. Завоеватели потребовали десятой доли всего: представителей княжеского рода, простолюдинов, а также скота, в частности, коней – белых, вороных, бурых, рыжих и пегих. Ответ рязанских князей прозвучал достойно: «Коли нас не будет всех, все то ваше будет». Рязанские князья послали послов к Юрию Всеволодовичу владимирскому с просьбой о помощи, но тот отказал («хоте сам особь брань сотворити»).

В позднейших сказаниях о взятии Старой Рязани повествуется о том, как мученически погиб в ставке Батыя рязанский князь Федор Юрьевич, а его жена Евпраксия, узнав об этом, покончила с собой, бросившись с малолетним сыном Иваном с высокого терема и погибла («заразися»), отчего место события получило название «Заразск» (совр. Зарайск).

По-видимому, значительная часть рязанского воинства полегла при первой встрече с монголами на южных границах княжества. Вскоре последовала пятидневная осада столицы княжества, окончившаяся ее полным разорением. Эти драматические события нашли свое отражение на страницах «Повести о нашествии Батыя на Рязань» (часть «Повести о Николе Зарайском» – Лихачев, 1949).

Есть в повести и рассказ об остатке рязанского воинства, которое не смогло принять участие в основных боевых действиях и атаковало неприятеля под предводительством Евпатия Коловрата уже во владимирских пределах. Захватчики приняли их за воскресших мертвецов и смогли одолеть Евпатия только с помощью стенобитных орудий. Сам Батый не мог не отдать должного богатырю и сказал: «аще бы у меня такий служил, держал бых его против сердца своего».

Еще одна поэтическая легенда рассказывает о простой женщине Авдотье Рязаночке, которая вернулась в опустевший город и отправилась в дальний путь просить захватчиков вернуть пленников. Находчивый ответ Авдотьи оказался спасительным для рязанцев – по преданию, все пленники были отпущены.

Монголо-татарское нашествие было крупнейшей национальной трагедией средневековой Руси. И нет на Руси более кровоточащего, более памятного места, чем Старая Рязань. Легендарный Китеж на дне реального озера Светлояр – не более чем *фантом исторической памяти*, тогда как народная память о Старой Рязани – память подлинная. Вероятно, каждый русский знает, что трагедия Батыева нашествия началась со взятия Рязани, но мало кто сознает, что речь идет не о современной Рязани (средневековом Переяславле Рязанском), а о Старой Рязани... Впрочем, в окрестностях Старой Рязани об этом никогда не забывали.

Историческая память местного населения – источник ненадежный. Рассказы о том, что расположенное за валами городища село Шатрищи названо в память о находившихся здесь шатрах Батыева воинства, по-видимому, справедливы. А вот история о том, что части жителей Старой Рязани удалось каким-то чудом спастись, и они в память о своем спасении назвали новый городок на другом берегу Оки Спасском – типичная догадка, основанная на неправильно истолкованном созвучии. Спасск Рязанский, как и множество других Спассков и Спасов назван в честь церкви Спаса.

Известно, что П. Я. Чаадаев осуждал русских за то, что у них не сохранилось «пленительных воспоминаний», таких, как у народов Западной Европы. Между тем даже такая окраина средневековой Руси, как Муромо-Рязанская земля, поражает именно обилием подобных воспоминаний. Это не только предания о Батыевом нашествии, но и сказания о Добрыне Никитиче, которому приписывается рязанское происхождение, и с которым связаны урочища, расположенные на рязанской земле. Вспомним Илью Муромца, Петра и Февронию муромских (вещая дева Феврония – уроженка Рязанской земли).

Огороженная монументальными валами (остатки древних укреплений, которые некогда увенчивались стенами и башнями) Старая Рязань занимает площадь более 67 га (см. вклейку: с. 67, ил. 1). Много это или мало? Для средневековой Руси довольно много – чуть меньше, чем площадь Киева, Чернигова и Владимира – крупнейших городов того же времени; раза в полтора больше, чем московский Кремль.

Но главное в другом. Старая Рязань – один из крупнейших городов Древней Руси – почти полностью свободна для исследования раскопками. Здесь нет современной городской застройки. И именно здесь еще в 1822 г. были проведены первые археологические раскопки средневекового русского города.

Паника и суматоха, связанные со взятием города неприятелем, неизбежно вызывали у населения стремление спрятать и сохранить все наиболее ценное. В дальнейшем владельцы были убиты или

угнаны в плен, и тайна спрятанных сокровищ осталась неузнанной. Масштаб нашествия определил количество подобных находок — во многих городах они насчитываются десятками. Больше всего кладов найдено в номинальной столице Русской земли – Киеве. Есть они в Чернигове, Владимире, есть и в сравнительно небольших городах того времени – в Твери и Москве. Второе место после Киева по количеству найденных кладов занимает Старая Рязань.

Первый (и самый богатый) из старорязанских кладов был найден при дорожном строительстве в 1822 г. Теперь он хранится на видном месте в Оружейной палате Московского Кремля. Именно эта находка привела к тому, что Старая Рязань оказалась первым древнерусским городом, где были в том же году проведены – еще очень несовершенные – археологические исследования. Немаловажно, что уже в следующем, 1823 г. об этих исследованиях и о кладе была опубликована иллюстрированная книга (Калайдович, 1823): в те годы, когда все общество испытывало патриотический подъем, связанный с победой над Наполеоном, когда выходила пользовавшаяся исключительным читательским успехом многотомная «История государства Российского» Н. М. Карамзина, темп культурной жизни был иным, чем в наше время, когда публикации зачастую сильно запаздывают по отношению к находкам и раскопкам.

Авторы первых научных публикаций о старорязанских находках не были какими-то второсортными фигурами на интеллектуальном небосклоне своего времени. К. Ф. Калайдович (1792–1832) справедливо считается одним из «Колумбов российской истории». Это был блестящий знаток средневековых рукописей, консультировавший самого Н. М. Карамзина, публиковавший и комментировавший памятники народной поэзии. Книга Калайдовича вызвала серьезные критические замечания основателя археологического изучения славянских древностей в России, энтузиаста полевых разведочных исследований Зорияна Доленги-Ходаковского (псевдоним А. Чарноцкого, 1784–1825). Та же книга Калайдовича вызвала целую серию заметок А. С. Грибоедова по *локализации* ряда древних *топонимов* на территории Рязанского княжества и по *генеалогии* рязанских и муромских князей. Еще один известный автор, писавший о знаменитом кладе 1822 г. – президент Императорской Академии художеств А. Н. Оленин [(1763–1844) – Оленин, 1831] – один из первых исследователей, профессионально занимавшийся вещественными памятниками русской старины.

В 1832 г., когда на городище крестьяне откопали несколько каменных саркофагов на месте руин древнего храма, сюда был направлен академик Ф. Г. Солнцев, штатный иллюстратор многочисленных изданий, посвященных отечественным древностям. В 1834 г. на том же месте начинает раскопки купеческий сын Д. П. Тихомиров. Целью его работ было изучение располагавшихся внутри храма погребений знати и высшего духовенства. Скромное положение на социальной лестнице не помешало ему провести полевые исследования на неплохом для того времени уровне. Тихомиров понимал, что результаты раскопок необходимо оперативно публиковать, и оставил потомкам несколько книг и множество статей (Тихомиров, 1844). Во второй половине XIX в. к изучению Старой Рязани обращаются члены созданной в то время Рязанской ученой архивной комиссии.

В самом конце столетия на городище появился известный российский археолог, рязанский уроженец В. А. Городцов (1860–1945). Начав свой путь как дилетант-любитель (он служил первоначально офицером привилегированного гренадерского полка), В. А. Городцов стал крупным ученым, воспитавшим несколько поколений учеников (в том числе ряд «отцов-основателей» советской археологии). В. А. Городцов был неутомимым полевым исследователем, его разведки охватывают огромные территории. Вместе с тем это был передовой ученый, сразу оценивший *типологический метод* О. Монтелиуса, метод, ставший базовым для археологов всего мира.

В Старой Рязани В. А. Городцов появился в 1895 г., ограничившись только обмерами древних укреплений. В ходе небольших зачисток обнажений *культурного слоя* были выявлены древнерусские печи – объекты, на которые здесь ранее внимания не обращали.

Более чем через 30 лет, в 1926 г., судьба снова привела Городцова в Старую Рязань. На этот раз им были проведены значительные раскопочные работы, однако сам ученый считал их всего лишь рекогносцировочными и планировал развернуть здесь крупные раскопки. Однако обстоятельства сложились так, что полевой сезон 1926 г. в Старой Рязани для него оказался единственным – получить финансирование на продолжение работ ему не удалось (В. П. Даркевич, 1991).

Сразу после Великой Отечественной войны, в 1945 г. на памятнике возобновляются исследования под руководством крупного советского археолога А. Л. Монгайта (1915–1974). Это был необычайно эрудированный ученый, знаток в области истории науки, одновременно и высокопрофессиональный исследователь, и автор ряда увлекательных научно-популярных книг, посвященных археологии. Монгайт пришел на памятник хорошо подготовленным – еще во время войны он начал работу над диссертацией, посвященной Старой Рязани.

Естественно, в то время не могло быть и речи о раскопках, и молодой ученый тщательно собирал опубликованные и *архивные материалы*, работал с *музейными коллекциями*. Раскопки в Старой Рязани 1945–1950 гг. – по существу начало современного, подлинно научного изучения Старой Рязани. Их итогом явилась известная монография «Старая Рязань» (1955).

В дальнейшем А. Л. Монгайт переключается на изучение древностей Рязанской земли в целом (Монгайт, 1961), но в 1966 г. вновь возвращается на Старую Рязань. В это время археологи переходят к исследованию городища большими площадями, позволяющими оконтуривать усадьбы бояр и горожан. Новые раскопки сразу же увенчались блестящими находками – кладами 1966, 1967, 1968 и 1970 гг. С 1970 г. руководство экспедицией переходит к В. П. Даркевичу, прекрасному знатоку средневекового прикладного искусства (причем не только древнерусского). Работы продолжались до 1979 г. и были отражены в монографии В. П. Даркевича и Г. В. Борисевича 1995 г. После находки В. П. Даркевичем в 1992 г. в ходе небольших охранных раскопок замечательного клада золотых изделий возникает перспектива возобновления работ на памятнике. В 1994 г. начался новый этап работы экспедиции. Ее возглавил автор этой статьи. В 2011 г. новым начальником Старорязанской экспедиции назначен И. Ю. Стрикалов; А. В. Чернецов продолжает принимать участие в ее работе в качестве научного руководителя.

Немногое можно увидеть, впервые приехав на Старорязанское городище. От былого величия остались лишь протянувшиеся более чем на два километра грандиозные валы и рвы, да заросшие высокой травой фундаменты одного из древних соборов. Однако само расположение памятника на высокой террасе, эффектный вид на Оку с заливными лугами и старичными озерами на другой стороне реки производят неизгладимое впечатление.

Какова же сегодняшняя ситуация вокруг свидетеля *национальной трагедии*, памятника, для русских не менее значимого, чем Косово поле для сербов или Стена Плача для израильтян? Если мы сегодня стремимся отыскать отправные точки для создания национальной идеи, возрождения национальных святынь – можно ли оставить без внимания Старую Рязань?

Кроме национального, во многом, может быть, эмоционального отношения к Старой Рязани, она заслуживает внимания в академическом плане как эталонный пример древнерусского столичного города. Это значение обусловлено и тем, что основная часть памятника полностью свободна для исследователей, и тем, что перед нами памятник, просуществовавший как процветающий стольный город менее столетия – с середины XII в. по 1237 г. «Чистая» картина стольного города домонгольской Руси ни в каком другом месте не может быть прочтена с такой ясностью.

Старорязанский *археологический комплекс* включает в себя не только территорию, ограниченную валами. Частью средневекового города являлся также неукрепленный посад, заселение которого начинается одновременно с сооружением наиболее ранних древнерусских укреплений. Одно из массовых захоронений жертв монголо-татарского нашествия расположено за пределами средневекового города. С юго-востока от городища расположен крупный могильник дославянского населения (культуры *рязано-окских могильников*) IV–VIII вв. н. э., на котором исследовано более 200 погребений. К югу от городища обнаружены стоянки эпохи *верхнего палеолита* (около 20 тыс. л. н.). На территории посада Старой Рязани помимо находок эпохи Средневековья встречаются материалы *эпохи бронзы* и *раннего железного века*. В разные годы сотрудники экспедиции исследовали и эти памятники. Работы Старорязанской экспедиции распространялись и на более обширную округу памятника с целью вписать его историю в контекст окружавших город *поселенческих структур*. В результате было выявлено более 50 сельских поселений эпохи Средневековья, прослежена динамика их развития.

К сожалению, ситуация вокруг Старой Рязани на сегодняшний день остается сложной, во многом драматичной.

На первый взгляд может показаться, что со Старорязанским городищем все в порядке. Действительно, городище имеет статус *заповедника* и находится в ведении Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника. В соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР № 1327 от 30.08.1960 г. музей, а также подведомственное ему городище поставлены под охрану как *памятник истории и культуры федерального значения*. В 1979 г. институтом «Спецпроектреставрация» был подготовлен проект *музеефикации* городища (Панкин, 1987). Совместная Старорязанская археологическая экспедиция Института археологии РАН и Рязанского музея работает с 1945 г. С 1997 г. к работам экспедиции подключается Российский государственный гуманитарный университет.

Вместе с тем существовавшая в 70-е гг. экспозиция в помещении Преображенской церкви перестала существовать; опыт музеефикации руин Спасского собора XII в. оказался неудачным (отреставрированные фундаменты заросли травой и план собора «читается» только с воздуха). Возможности организации посещений памятника экскурсантами и паломниками реализуются в ограниченном масштабе.

Недостаточное внимание к уникальному памятнику, к сожалению, неизбежно влечет за собой негативные последствия. Часть из них связана с неблагоприятными природными факторами, другие – с антропогенными воздействиями (Чернецов, 2009).

Городище постоянно разрушается в ходе образования оврагов и оползней. Их динамику в 1999 г. начала исследовать группа геологов под руководством Е. И. Романовой. Проводившийся *мониторинг* позволяет установить темпы *деструктивных процессов*, в результате которых постоянно уменьшается площадь городища. Эти темпы таковы, что они превышают темпы изучения памятника, т. е. мы ежегодно теряем площади бóльшие, чем те, которые исследуются раскопками. В последние два-три года темпы развития оползней на склонах *надпойменной террасы* Оки приняли особенно угрожающий характер. Древнейшая часть памятника (так называемое Северное городище) разрушается оползнем шириной около 60 м и 5–6 м в высоту. Значительные оползни распространились и на склоны Южного городища. Подобные крупные обнажения представляют большой интерес для археологов, поскольку они дают яркую картину *стратиграфии* памятника, которую в других случаях удается получить только путем исключительных трудозатрат. Вместе с тем речь идет о безвозвратной утере больших объемов культурного слоя, причем на весьма важных участках.

Еще одна рана Старой Рязани – незаконные раскопки. Чаще всего это мелкие «закопушки», след прогулки с металлоискателем. Это, конечно, мелочь, но мелочь, запрещенная археологам-профессионалам. Сотрудники экспедиции тоже могли бы прочесывать всю площадь памятника и «ковырять» там, где зазвенит металлодетектор. Но археологам это запрещено – нельзя разрушать культурный слой памятника; если уж копать, то как минимум 4 х 4 м. Стало быть непрофессионалы опережают археологов по темпу! Усилия единичного «черного копателя» на Старой Рязани могли бы вызывать главным образом сожаление – учитывая масштабы памятника, вероятность успеха чрезвычайно невелика. Но когда таких «любителей» многие десятки (если не сотни), вероятность совокупного успеха оказывается довольно высокой. Что дальше? Клад может быть перехвачен ФСБ и попасть в музей, как это произошло с находкой 2002 г. (Великое княжество.., 2005. С. 191–197). Однако значительная часть информации о кладе была утрачена. Мы не знаем точного места его находки, нет данных о характере залегания отдельных объектов.

В 2005 г. сотрудник экспедиции И. Ю. Стрикалов обнаружил очередной след грабительской деятельности на довольно большой площади (клады, находимые в верхнем слое, как правило, были растащены пахотой на значительное расстояние). Здесь был заложен раскоп, причем удалось дособрать довольно много обломков ювелирных украшений, пропущенных грабителями, не сумевшими взять весь комплекс целиком. Культурный слой в этом месте городища невелик, однако в материке прослежены многочисленные ямы.

В одной из таких ям (располагавшейся в наземном жилище и связанной с печью) был найден еще один, второй на этой усадьбе, клад (Великое княжество.., 2005. С. 198–210). От грабителей его уберегло то, что он лежал слишком глубоко (метр с небольшим), где металлоискатель уже малоэффективен. Клад был сокрыт не в самой глубокой части ямы, а примерно на середине ее глубины в специально отрытом небольшом подбойчике-пещерке.

Клад лежал компактной кучкой. По-видимому, он был спрятан в кожаной сумке, фрагменты которой сохранились. В отличие от кладов, найденных близко к поверхности, он не был ни поврежден плугом, ни растащен, и мы можем быть совершенно уверены, что это именно тот полный комплект вещей, который был положен сюда в 1237 г.

В состав клада 2005 г. входят украшения, связанные с головным убором и ожерельем. Ожерелье состояло из девяти крупных (до 4 см) серебряных бусин с *зернью*, трех круглых медальонов, украшенных гравировкой и *чернью*, и двух сравнительно простых подвесок с растительными мотивами. Все три медальона несут на себе изображения *процветшего креста*. От подножия крестов вверх устремляются растительные побеги.

Один из медальонов, самый крупный, – очевидно, центральный, несомненно, был сделан главным мастером (см. вклейку: с. 68, ил. 2а). Его «превосходство» над двумя другими отразилось в том, что только он украшен еще и позолотой. Золочению подверглась кайма по краю медальона и сам крест. Мастер очень выразительно изображает птиц по сторонам креста и растительные побеги. Мелкие детали (например, лапы птиц) отмечены особой артистической небрежностью.

В кладах, найденных в Старой Рязани в разные годы, имеются ювелирные изделия, отмеченные признаками индивидуального почерка того же мастера. Речь идет и о трактовке изобразительных мотивов, и о *мелких технических приемах*.

Для изображений птиц на центральном медальоне клада 2005 г. характерны упитанность, «горбатые» клювы, специфическая разделка крыльев (противопоставленные пары двойных дуг); «штаны», обведенные двойным контуром. Все это вместе с плавными широкими лентами растительных побегов, несомненно, относится к индивидуальному почерку мастера (ср. второй медальон из того

же клада, очевидно, изготовленный в рамках одного заказа – все вещи новые, не ношенные).

Формальные признаки рассмотренных изображений птиц находят ближайшую аналогию в образах птиц на известном створчатом браслете из клада 1966 г. с изображением гусляра. Здесь отсутствуют поднятые кверху крылья и несколько упрощен дуговидный орнамент на крыле (очевидно, в связи с меньшими размерами птичек). Развитая форма декора крыльев представлена на том же браслете на изображениях сиринов и грифона. Одно из крыльев грифона простерто кверху, так же, как у птиц медальона. Окончания лап этих фантастических существ вполне аналогичны птичьим лапам медальона из клада 2005 г. Вполне аналогичных птичек можно видеть и на браслете из клада 1970 г. Здесь имеются и простертые кверху крылья птиц, и узнаваемая трактовка орнаментальной разделки крыла. Пальцы изображенных на этом браслете четвероногих такие же, как у птиц. Сами животные представлены в виде упитанных детенышей.

Среди находок 2010 г. на Северном городище представлен серебряный перстень с гравировкой, мотивом птицы, отмеченной теми же характерными признаками (см. вклейку: с. 68, ил. 3). Таким образом, почерк единичного выдающегося мастера прослежен в составе трех кладов и на одной единичной находке, локализуемых на участках, разбросанных по городищу.

Второй медальон из клада 2005 г. с крестом и птицами резко отличается от первого по стилю (см. вклейку: с. 68, ил. 2а). Рисунок побегов как будто тот же, но сами они стали узкими и менее плавными; их очертания более жесткие. Особенно заметна разница в манере двух мастеров при сравнении изображений птиц. В данном случае это довольно уродливые заморыши. Столь значительные стилистические отличия между вещами из комплекса украшений, явно выполненных одновременно, свидетельствуют, что и в Средние века ювелиры имели возможность проявить свою индивидуальность.

Три замечательных медальона – наиболее своеобразные находки из старорязанского клада 2005 г. Остальные вещи имеют близкие аналогии среди более ранних находок. Обнаруженный в кладе головной убор включает два чечевицеобразных *колта*, украшенных изображениями грифонов и чернью. Колты подвешивались на двойных наборах серебряных колодочек; сохранились даже остатки ткани и веревочек, которыми все это закреплялось. К височной части головного убора крепились колоколовидные *рясны* с длинными цепочками и привесками (см. вклейку: с. 68, ил. 4). В отличие от некоторых других предметов, рясны дошли до нас в прекрасном состоянии: они сохраняли свой блеск в момент их обнаружения, а подвески позванивали точно так же, как в XIII в. В состав клада входили также более 30 *трехбусинных колец* и полуколец; на серебряных бусинах, закрепленных на этих кольцах, представлены три разновидности орнамента. Все это разнообразное убранство довольно трудно было надеть одной женщине – у ее висков должны были находиться одновременно и колты с двойными низками колодочек, и рясны и наборы трехбусинных колец. Теоретически такое нагромождение возможно, но представляется маловероятным. Скорее всего перед нами драгоценности, предназначавшиеся нескольким лицам или же одному, носившему их попеременно. Обращает на себя внимание еще одна особенность клада: судя по богатству ювелирных изделий, в нем должны были бы находиться и другие украшения, такие, как перстни и браслеты. Видимо, в состав клада попало не все, что принадлежало его владельцу.

Судя по исключительному богатству (прежде всего по трудозатратам на отдельное изделие), клады принадлежали скорее князьям, чем боярам (последние первоначально мало отличались по зажиточности от богатых горожан). Род рязанских князей был весьма многочислен; вполне возможно совместное владение Старой Рязанью несколькими князьями – практика, известная позднее в Московском и Рязанском княжествах. В 1237 г. в Старой Рязани, помимо великокняжеской семьи, находилась вдовствующая княгиня и, вполне вероятно, и представители младших ответвлений княжеского рода.

В этой статье необходимо охарактеризовать вклад в изучение Старой Рязани, сделанный на современном этапе начиная с 1994 г., а также за последние 3 года, когда исследования проводились при поддержке Программы Президиума РАН «Историко-культурное наследие и духовные ценности России».

Вначале отметим масштабные многолетние исследования, способствовавшие решению крупных задач. Гигантские размеры памятника требуют посвятить решению каждой такой задачи ряд лет, а то и десятилетия. Одна из этих задач – исследование укреплений Старой Рязани в плане изучения стратиграфии и *хронологии* памятника, а также фортификационных конструкций. Здесь весьма важный прорыв был осуществлен в 1994–1997 гг. благодаря масштабным работам по изучению *разреза вала* древнейшей части города (Северного городища). Этот опорный для изучения памятника разрез был продолжен на площадку городища с тем, чтобы увязать этапы строительства и ремонта укреплений с последовательностью напластований площадки, и достиг длины 38 м.

Впоследствии экспедиция обратилась к изучению валов позднейшего, Южного городища, кото-

рые исследовались ранее экспедицией А. Л. Монгайта. Новые работы помогли несколько откорректировать и уточнить выводы предшественников. Работы на валах Южного городища продолжались до 2009 г. В 2010–2011 гг. экспедиция вновь обратилась к исследованию валов Северного городища. Это было связано с необходимостью проведения *охранных работ* вдоль фронта крупного оползня, разрушающего памятник. В ходе работ в поле зрения исследователей оказались как новый разрез вала, так и возможность проследить значительный участок *внутривальных конструкций* в плане (см. вклейку: с. 69, ил. 5).

Значение опорного разреза вала на Северном городище для стратиграфии и хронологии памятника тем более велико, что хронологические выводы опираются на впервые разработанную сотрудником экспедиции И. Ю. Стрикаловым детальную типологию и хронологию керамики Рязанской земли (в первую очередь по материалам Старой Рязани). Его исследование было защищено в 2006 г. в качестве кандидатской диссертации и в настоящее время готовится к печати в виде монографии.

Важным новым направлением работы экспедиции оказались работы на посаде. Предшествующие исследователи проводили здесь в основном небольшие работы, не дающие развернутой характеристики этой части города. Самый крупный раскоп был заложен на посаде в 70-х гг., причем вместо жилых и хозяйственных комплексов была обнаружена *братская могила* жертв монголо-татарского нашествия.

В 1997 г. удалось установить, что на территории посада имеется участок с влажным *культурным слоем*, в котором сохраняются *органические вещества* (что для основной части Старой Рязани нехарактерно – см. вклейку: с. 69, ил. 6). На этом месте был заложен небольшой раскоп площадью 72 кв. м. Участок оказался исключительно перспективным. Мощность культурного слоя превышает 3,5 м. Здесь были обнаружены фрагменты первой в Старой Рязани *берестяной грамоты*, каменная пластинка с именем ордынского хана, обломки дорогой привозной посуды, свинцовая *актовая печать*, следы сложного ремесленного производства, в том числе многочисленные фрагменты янтаря. В раскоп попал берег древнего ручья и периферийная часть усадьбы. Обнаруженный в раскопе сруб оказался дубовым, т. е. непригодным для дендрохронологического исследования. К сожалению, расширить площадь раскопа оказалось невозможным, т. к. к нему примыкают современные частные усадьбы.

В дальнейшем экспедиция продолжила изучение неукрепленного посада. Очевидно, что это не была часть города, заселенная исключительно беднотой (находки дорогих вещей, *предметов вооружения*). Экспедиция 1994–2011 гг. провела именно на посаде наиболее крупные и результативные исследования, несопоставимые с работами предшественников в этой части памятника.

В 2010 и 2011 гг. на посаде проводились ограниченные работы. Удалось расчистить несколько погребений, в которых сохранились *шитые золотом воротники* (очевидно, принадлежавшие представителям знати). Экспедиция планирует дальнейшие работы на посаде; возможно, удастся раскопать еще один участок с влажным культурным слоем.

В 1999–2004 гг. проводились значительные исследования руин Борисоглебского собора XII–XIII вв. (раскопками руководил Л. А. Беляев). Этот собор изучался в прошлом неоднократно начиная с Д. П. Тихомирова. Тихомирову не удалось полностью выявить план собора. Дело в том, что его внимание привлекали исключительно погребения в основном объеме храма, а имевшиеся с трех сторон *приделы* его не интересовали. В 1926 г. В. А. Городцов исследовал южный придел, а позднее А. Л. Монгайт – западный. Северный придел оставался не раскопанным; храм реконструировался как симметричный в плане. Работы Л. А. Беляева показали, что это не так. Северный придел храма, в отличие от южного, имел *апсиду* (собор был, таким образом, четырехапсидным). Оказалось, что северный придел заполнен каменными *склепами* (вероятно, это была княжеская усыпальница). Все склепы ограблены, но в заполнении обнаружены исключительно интересные находки: фрагмент серебряного тисненого *оклада иконы*, осколки *витражного стекла* с русской надписью). И внутри собора, и рядом с ним исследован ряд погребений в ямах. В одном из них обнаружен богатый головной убор из серебряных трехбусинных колец, сохранившийся вместе с тканью, к которой они крепились, что дает основания для реконструкции убора. Не все задачи по изучению руин собора были полностью решены, но продолжение исследований отложили до того времени, когда возникнет возможность *музеефикации* старинных кладок.

В 2008 г. в ходе *георадарного изучения* площадки Южного городища были выявлены четкие следы кладок Успенского собора, раскопанного А. Л. Монгайтом в 1949 г. (с тех пор местонахождение собора было известно лишь приблизительно). Небольшая разведочная траншея подтвердила наличие *фундаментных рвов* именно там, где на них указали геофизики. В случае, если будет принято решение о музеефикации собора, экспедиция готова провести повторное исследование этого участка.

Работы на площадках Северного и Южного городищ трудно назвать новыми направлениями в работе Старорязанской экспедиции. На этих ча-

стях памятника вклад наших предшественников пока остается непревзойденным. Тем не менее эти работы были необходимы. Во-первых, исследовалась территория, непосредственно примыкающая к месту находки клада 1992 г. Во-вторых, участок в южной части Южного городища, где были обнаружены крупные разрытия, связанные с *грабительскими раскопками*, свидетельствуют о том, что здесь были найдены скопления ценных находок, и, следовательно, располагались богатые усадьбы. О том, что такая тактика оправдана, подтверждает находка упоминавшегося клада 2005 г. В ходе работ на площадке Северного городища в 2009 г. был выявлен центр *ремесленного производства*, прослежены *горны*, найдены многочисленные *сопла*, а также несколько бронзовых *матриц* для оттискивания украшений из листового золота или серебра. Среди находок рядом с комплексом – *пряслице* из привозного (волынского) *шиферного сланца* с древнерусской *надписью*.

Раскопки на Старой Рязани нередко приводят к неожиданным находкам. Так, в 2011 г. на территории неукрепленного посада были обнаружены неплохо сохранившиеся остатки кирпичеобжигательного завода 40-х гг. XVIII в., на котором обжигали кирпичи для строительства расположенной рядом сельской Преображенской церкви того же времени (см. вклейку: с. 69, ил. 7). Это достаточно редкая находка, вызвавшая большой интерес как у музейных работников, так и у местного духовенства.

При всей значимости описанных выше больших и малых открытий, необходимо иметь в виду, что даже на укрепленной части Старой Рязани раскопано всего 6 % площади. Следовательно, наши представления об этом памятнике недостаточно достоверны даже в чисто статистическом плане. Полное исследование памятника при сохранении его теперешних темпов потребует нескольких столетий. Впрочем, то же самое касается и других крупных древнерусских городов, в частности Новгорода. Еще одна важная причина, которая обуславливает продолжение исследование памятника – необходимость его сохранения от негативных процессов как природного, так и антропогенного происхождения.

Среди древнерусских городов Старая Рязань как археологический памятник по своему научному значению уступает только Новгороду.

Начнем с тех оснований, которые как будто однозначно указывают на превосходство новгородских материалов. Пожалуй, наиболее весомое из них – исключительное значение Новгорода в деле сохранения *древнерусских традиций* после *монголо-татарского нашествия*. Это значение (не только для России, но и для Украины и Белоруссии) даже до сих пор оценено не в полной мере. Достаточно сказать, что *византийское* и *южно-славянское влияние* какое-то время распространялось на Руси преимущественно «через север» – через Новгород. Можно вспомнить о новгородском периоде в биографии таких видных деятелей культуры, как Феофан Грек и Пахомий Серб. По преданию, в первой половине XIII в. *чудотворный* византийский *образ* Николы прибывает в Рязанское княжество из Корсуни через Новгород. Позднее тем же кружным путем через Псков и Новгород едет из Италии в Москву невеста великого князя София Палеолог. Роль Русского Севера в эпоху ордынского нашествия ясно осознавалась русскими летописцами. «Яко же и древле Батый безбожный плени Русскую землю, но тогда останок еще и надежда Израилю оста от пленения, в Велицей России глава всем и начало князем и мати градовом, Великий Новъград со всею северною страною» (Псковские летописи, 1941. С. 122). Исключительное значение населения Русского Севера в сохранении культурного наследия средневековой Руси отразилось и в том, что северорусские певцы (главным образом старообрядцы) в своих былинах сохраняли воспоминания о древнем Киеве, Чернигове, давно забытые на Украине.

Есть и другие аргументы в пользу «превосходства» северных традиций. Они имеют источниковедческую природу. Среди русских *рукописей* до XIV в. включительно преобладают новгородские и псковские. То же касается сохранившихся храмов, *фресок* и икон. Продолжая сравнивать Новгород и Старую Рязань, отметим, что Новгород – более старый центр, в котором успели сложиться *традиции летописания, школы архитектуры и иконописи*. В Старой Рязани, по-видимому, трагическая гибель города прервала окончательное формирование этих традиций.

Еще один аргумент – чисто археологический. Средневековый Новгород – *ключевой памятник древнерусской археологии*. Он исключительно богат находками. Культурный слой Новгорода (наряду с некоторыми другими памятниками, в основном северорусскими) сохраняет органические вещества, в частности, деревянные изделия и знаменитые берестяные грамоты. Поскольку уникальность Новгорода как памятника археологии накладывается на его исключительно представительную *рукописную традицию*, его богатство памятниками архитектуры, письменности, живописи и прикладного искусства здесь открывают недостижимые в других местах возможности для *комплексного изучения* древнерусской культуры. При этом необходимо отдавать себе отчет в том, что взгляд на историю и культуру средневековой Руси исключительно через призму богатейших новгородских материалов неизбежно должен давать в известной мере искаженную картину.

Характер культурного слоя Новгорода не только позволяет составить чрезвычайно полное представление о материальной и духовной культуре города, но и очень точно датировать находки из культурного слоя. Это обусловлено разработкой *дендрохронологического метода* датировок, позволяющего по спилам бревен устанавливать дату рубки дерева с точностью до одного года, а для находок, залегавших между двумя *ярусами* мостовых и примыкающих сооружений, – до 20–30 лет. Такая степень точности является для археологии предельной и превращает новгородские находки в *эталон*, к которому обращаются все специалисты в области *славяно-русской археологии*.

Вместе с тем Новгород по ряду важных показателей уступает Старой Рязани. Так, в Новгороде археологи вынуждены ограничиваться теми участками, которые им выделяют строители и городские власти, в то время как в Старой Рязани ученые могут сами определять стратегию выбора площадей для раскопок в наиболее перспективных направлениях. В Новгороде, избежавшем монголо-татарского разгрома, отсутствуют характерные находки, связанные с этими драматическими событиями. Имеются в виду, прежде всего, клады дорогостоящих высокохудожественных ювелирных изделий, сокрытых в момент опасности.

В отличие от Новгорода, где культурный слой перенасыщен влагой, благодаря чему в нем хорошо сохраняются органические вещества, на площадке городища Старой Рязани органика практически не сохраняется. Однако при обследовании посада Старой Рязани удалось выявить значительный перспективный участок влажного культурного слоя, в котором хорошо сохраняется органика, в том числе остатки деревянных конструкций. Дальнейшее исследование этого участка, несомненно, поможет существенно расширить наши представления о *материальной* и *духовной культуре уникального памятника*.

Широкий подход к проблематике историко-археологического изучения Старой Рязани и Рязанской земли обеспечивается не только тем, что экспедицией ведутся значительные работы в Старой Рязани и ее ближайшей округе, но и тем, что коллектив экспедиции неоднократно подключался к крупным *коллективным проектам*. При этом обобщались не только результаты полевых работ исполнителей проектов, но и новые работы других исследователей, работавших в Рязанской земле. Итоги этих исследований позволили сформулировать новую *концептуальную модель* истории Рязанской земли и ее населения в Средние века. В общих чертах эта модель изложена во вводной статье к сборнику «Великое княжество Рязанское» (2005. С. 7–33). Значение этой модели тем более велико, что становится очевидным определяющее значение Рязанской земли для формирования такой крупной *этно-диалектной общности* восточного славянства, как *южновеликорусское население*, составляющее около половины русского народа.

Что же касается Старой Рязани, с ее исключительной, трагической судьбой, то можно утверждать, что этот ключевой памятник ни в коей мере не может рассматриваться как некая типовая модель развития крупного древнерусского города. Подобно другому важнейшему для археологов стольному городу средневековой Руси – Великому Новгороду, Старая Рязань отмечена яркими признаками неповторимой индивидуальности, во многом определившими ее драматическую историю (см.: Chernetsov, 2002).

Старая Рязань как важнейший, *эталонный памятник* древнерусской археологии – прекрасное место для научных мероприятий, таких, как полевые научно-практические семинары, школы молодых археологов и т. п. В 2002 г. здесь был проведен семинар «Старая Рязань. Археологическое изучение русского средневекового города и его округи» (Завьялов, 2004). В 2007 г. состоялся семинар «Древнерусский город в контексте этнокультурных, политических и поселенческих структур. К 770-летию трагедии Старой Рязани». Доклады участников семинара в настоящее время подготовлены к печати в виде сборника. В 2009 г. был проведен семинар «Восточноевропейский средневековый город. Проблемы музеефикации, *охраны и туристского использования*». К открытию семинара была приурочена эффектная презентация отреставрированного клада, обнаруженного Старорязанской экспедицией в 2005 г. В 2011 г. по инициативе коллектива Старорязанской археологической экспедиции в Рязани состоялась крупная международная научная конференция «Археология древнерусского города. Проблемы источниковедения, *становления государственности и культурогенеза*». Программа конференции включала организованную для участников экскурсию на городище Старая Рязань.

Список литературы

Археология древнерусского города XI–XV вв. Проблемы источниковедения, становления государственности и культурогенеза / Тез. докл. международной научной конференции. Рязань, 6–9 апреля 2011 г. Рязань, 2011.

Археология Рязанской земли. М., 1974.

Великое княжество Рязанское. Историко-археологические исследования и материалы. М., 2005.

Восточноевропейский средневековый город. Проблемы музеефикации, охраны и туристского использова-

ния / Полевой научно-практический семинар. Старая Рязань, 7–9 июля 2009 г. Тез. докл. М., 2009.

Даркевич В. П. Раскопки В. А. Городцова в Старой Рязани // Проблемы изучения древних культур Евразии. М., 1991. С. 140–163.

Даркевич В. П., Борисевич Г. В. Древняя столица Рязанской земли. М., 1995.

Древнерусский город в контексте этнокультурных, политических и поселенческих структур. Тез. докл. полевого историко-археологического семинара. Старая Рязань, 17–19 июля 2007 г. М., 2007.

Завьялов В. И. Полевой семинар «Старая Рязань: Археологическое изучение русского средневекового города и его округи» (23–28 июля 2002 г.) // Краткие сообщения Института археологии РАН. М., 2004. Вып. 216. С. 107–111.

Калайдович К. Ф. Письма к А. Ф. Малиновскому об археологических изысканиях в Рязанской губернии с рисунками найденных там в 1822 г. древностей. М., 1823.

Лихачев Д. С. Повести о Николе Зарайском. Тексты // Труды Отдела древнерусской литературы Института русской литературы (Пушкинского Дома) АН СССР. М.; Л., 1949. Т. VII. С. 257–406.

Монгайт А. Л. Старая Рязань // Материалы и исследования по археологии СССР. М., 1955.

Монгайт А. Л. Рязанская земля. М., 1961.

[Оленин А. Н.] Рязанские русские древности, или известие о старинных и богатых великокняжеских или царских убранствах, найденных в 1822 г. близ Старой Рязани. СПб., 1831.

Панкин А. Ф. Проект музеефикации городища Старая Рязань // Методические основы охраны и использования памятников археологии. М., 1987. С. 152–158.

Псковские летописи. М.; Л., 1941. Вып. I.

Стрикалов И. Ю. Керамика Рязанской земли XI–XV вв. Автореф. дис. ... канд. М., 2006.

Тихомиров Д. Исторические сведения об археологических раскопках в Старой Рязани. М., 1844.

Чернецов А. В. Раны Старой Рязани // Природа. 2009. № 12. С. 71–76.

Chernetsov A. V. Staraya Ryazan – Major Capital City of Medieval Russia: standard or exclusive model? // 3rd International Conference of Medieval and Later Archaeology. Centre. Region. Periphery. Medieval Europe. Basel, 2002. Hertingen, 2002. V. 3.

Dähne B. Staraja Rjazan'. Die Geschichte des Zentrums des Fürstentums Rjazan' bis zum Mongoleneinfall 1237 anhand archäologischer Quellen // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. Wiesbaden, 2007. Bd. 55. H. 3. S. 321–330.

Л. А. Беляев

АРХЕОЛОГИЯ И БОЛЬШОЙ НАРРАТИВ РУССКОЙ ИСТОРИИ: ОТ ОСНОВАНИЯ МОСКВЫ К ПЕТРОВСКИМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯМ

Содержание публикуемой статьи не столько отчетное, сколько проектное. Тем не менее ее название – очевидная инверсия темы «Московский период русской истории: археологическая версия», уже выполненной по Программе фундаментальных исследований Президиума РАН «Историко-культурное наследие и духовные ценности России». И это логично, поскольку статью без проекта не удалось бы не только написать, но даже задумать, она возникла как итог проделанной работы.

Работа эта состояла в консолидации и осмыслении бесчисленных конкретных исследований (*case studies*) по археологии XIV–XVII вв., постоянно расширяющих и уточняющих наши представления о Московском государстве, его корнях и особенностях развития. Анализ лег в основу недавно опубликованной книги, посвященной одному из наиболее синтетических сюжетов: истории развития Москвы как городского пространства (Баталов, Беляев, 2010). Еще раз демонстрировать состав обработанных данных в рамках статьи значило бы превратить ее в источниковедческо-историографический обзор. Поэтому решено представить результаты в форме, которая должна оказаться убедительной и для историков, и для археологов, и для культурологов. Ее суть – в сопоставлении двух нарративов, постоянно соприкасающихся в частностях, но никогда не сравниваемых напрямую, по всей протяженности Московского периода [похожая работа на материале «национальных» учебников по истории была предложена, например, Марком Ферро (1992); известная, хотя и более отдаленная, аналогия этому методу – сопоставление предметов музейного хранения и средневековых упоминаний о них, например: Стерлигова, 2009. С. 376–391]. Принадлежность *большого нарратива*[1], канва которого выработана историографией XVIII–XX вв., к сфере духовной жизни России очевидна, так же как очевидна возможность его трансформации (включая попытки преднамеренного разрушения) и/или размывания по ходу объективных процессов: развития *критики источников*, совершенствования специаль-

ных дисциплин (в том числе археологии) и перемен в социальном климате.

Для археологии чрезвычайно важной оказалась проблема изначального подхода, принцип постановки вопросов, целеполагание дискурса. Дело в том, что исторический нарратив[2] до сих пор всегда направлял поиск археолога, причем это сказывается даже в «доистории», поскольку сама парадигма исследования сформировалась в историографической традиции задолго до начала изучения дописьменного периода. Презумпция превосходства письменных источников и примат их достоверности в мире истории неколебимы: история задает вопросы археологам, а те на них отвечают[3]. Если гипотеза историка археологически не подтвердится, «неправильным ответом» считают допустимым пренебречь (в лекциях по-прежнему часто цитируется знаменитое: «Археология есть история, вооруженная лопатой»). Однако в последние полвека археология стала обзаводиться своим собственным (пусть до сих пор малоосознанным и вербализованным) нарративом. Пора хотя бы пунктирно обозначить контур, по которому взаимодействуют старый нарратив и формирующийся новый, пока тесно привязанный к традиционному, но обособляющийся при опоре на иной круг источников и соответственно иные методы их интерпретации.

К *археологии Московского периода* как особому разделу исследований мы за последнее десятилетие обращались не раз, доказывая ее важность, определяя специфику и оценивая возможности *историко-антропологического* и иных подходов (Беляев, 1999. С. 40–47; Беляев, 2005 а; Беляев, 2005 б; Беляев, 2006 в, Беляев, 2006 г; Беляев, 2006 д; Беляев, 2008; Беляев, 2009 а). Археология позволила выявить и показать некоторые механизмы, мало прозрачные для письменной истории: механизм культурной адаптации новшеств, формирования вкусов и бытовой среды, местных особенностей культуры (ее, так сказать, «московскость»)[4]. В этом направлении археологи, изучая жизнь Московского государства, интуитивно работают еще с середины XX в. [прежде всего, М. Г. Рабинович (1964) и др.; в наши дни, например: Кренке, 2009], оставаясь почти исключительно в рамках собственных материалов и опираясь на присущие археологии исследовательские процедуры.

Проблема соединения материальной и писаной истории Москвы, так же как ее локального (городского) измерения и общерусской истории – очень давняя. С нею пытался справиться И. Е. Забелин (не только архивист, но вполне профессиональный археолог), взявшись через несколько десятилетий после труда Н. М. Карамзина составить *историю Москвы*. Задача казалась сначала вполне рациональной: написать историю города, не тождественную истории княжества в целом. Но результат был спорным: одна (более удачная и всем знакомая) «История города Москвы» ограничилась изложением сказаний о возникновении города и архивных материалов по истории Кремля (Забелин, 1902), а другая (более поздняя, при жизни не опубликованная) превратилась в очень слабый популярный очерк истории Московского великого княжества, где для самого города почти не находилось места.

Синтез письменных и неписьменных материалов нелегко дается и современным ученым (например: Плюханова, 1995). И когда они берутся за общую фундаментальную историю города, под одним переплетом всегда оказывается набор очерков, основанных на принципиально разных источниках – письменных, картографических, материальных и иных. Историки при поддержке археологов брались за дело по меньшей мере трижды, но в «Истории Москвы» 1952 и 1997 гг. сведения археологии пришлось размещать отдельно от исторических, а в новейшей монографии В. А. Кучкина[5] ее данные использованы очень фрагментарно.

Можно сказать, что статья в известной мере ставит вопрос изучения и этого феномена, феномена отторжения письменного и археологического нарративов друг от друга. Поэтому для нее избрана свойственная историческому повествованию модель движения вдоль временного вектора (а не обычное для археолога движение *против* него). В качестве основного сюжета взята тема соотношения исследований в области археологии и тех базовых фактов, которые входят (лучше сказать – до недавнего времени входили) в состав большого нарратива, части той «обоймы» исторических фактов, которые образуют его костяк. Надеемся, что это упрочит и саму конструкцию большого нарратива русской истории, которую, как и само понятие нарратива в последние десятилетия, пытаются ревизовать с самых разных сторон. Методы и векторы этих ревизий разнообразны – от «разоблачения» исторического повествования как недостоверного и ангажированного историко-политического мифа (*гиперктирическая деконструкция большого нарратива*) до попыток его «усовершенствовать», «улучшить», упрочить искусственно конструируемыми, фальсифицированными фактами (см. об этом в сборнике: Петров, Шнирельман, 2011).

Приведем простой пример, взяв хрестоматийно известный, краеугольный для рассказа о Московском княжестве факт: битву на Куликовом поле. Напрямую порожденные этим сюжетом археологические исследования начались еще в XIX в., спорадически вспыхивали в XX (например, им были посвящены юношеские разведки С. З. Чернова, исследовавшего пути движения русских войска), а с последней четверти столетия на базе таких иссле-

дований возникла целая школа археологии, применяющая самые изощренные методы комплексных исследований и археологии ландшафта и сделавшая значительное количество неожиданных открытий (см. напр.: Куликово поле, 2003; Гоняный, Александровский, Гласко, 2007). В результате Верхний Дон стал чуть ли не самой изученной в археологическом отношении зоной Центральной России. Очевидно, что такое сосредоточение усилий не мотивировано внутренними потребностями археологии как науки, оно индуцировано сюжетом большого нарратива.

Правда, сам историко-литературный сюжет при этом раскрылся только отчасти, и даже не был ярко проиллюстрирован – но это связано не со слабостью методов археологии, а с тем, что историческое сознание, вольно или невольно, ставит перед археологией задачу на поиск слишком буквальных соответствий. Так, до сих пор не обнаружено захоронений, которые можно было бы напрямую связать с битвой, и это белое пятно постоянно пытаются заполнить, прибегая порой к почти анекдотическим приемам (например, была сделана попытка доказать присутствие в прошлом погребений в тех местах, где от них не осталось буквально никаких археологических следов, с помощью биохимических анализов почвы). Однако археология дала так много для понимания контекста Куликова поля и событий 1380 г., особенно в историко-географическом, историко-ландшафтном, поселенческом отношении, что сформировался целый пласт знаний и представлений, новое, детально восстановленное пространство (а ведь оно – один из важнейших факторов, обусловливающих ход событий; а что до подтверждения самого факта битвы, то даже случайные находки показательны: русские поля не вымощены золотыми перстнями с реликвиями и оружием).

Итак, археолог, работающий с историческим периодом, невольно попадает в круг нарратива и начинает не столько ставить собственные вопросы, сколько отвечать на вопросы истории. Попробуем «поддаться», пойдем навстречу историческому повествованию с открытыми глазами. Насколько нарратив в целом отвечает разработкам современной археологии?

В качестве канвы истории Москвы и Московского периода мы используем ряд общеизвестных событий/понятий/представлений, из которых ткань большого нарратива была соткана еще в XIX в., – их состав легко найти, например, в учебнике С. Ф. Платонова (1914) и в учебниках советской эпохи, следующих ему в составе сюжетов даже тогда, когда заявлено противопоставление «буржуазной схеме истории» от Н. М. Никольского (1934 и др. издания) до более поздних курсов. Этот ряд, конечно, не полон, поскольку археологии трудно представить сведения, скажем, о прекращении крестьянского выхода или церковно-устроительной деятельности Стоглава, но в опосредованном виде даже их воздействие может быть прослежено, например, на уровне изменений в крестьянских дворах, сельском расселении или в формах развития церковной иерархии Москвы.

В начале курса истории Москвы мы непременно встречаемся с рассуждениями о ее ландшафтно-географическом контексте. Природная обусловленность возникновения города традиционно считается предопределенной (во всяком случае, до известной степени) уникальностью местоположения на центральной части Русской равнины, а эту уникальность, в свою очередь, определяет сложное сочетание ландшафтных зон, образующих пеструю и контрастную, но в целом благоприятную для жизни человека систему. Естественное и свободное смешение исторических и природных разнородностей, как важнейшая черта пространства Москвы, постоянно отмечается. В районе Москвы человек жил уже в каменном и бронзовом веках, когда его вмешательство в природу резко возросло. Освоенные участки повторно использовали в раннем железном веке, когда формировалось земледельческое население, и скот пасся на тех же пастбищах, где его будут пасти вплоть до XIX в. (что прослеживается, например, в районе Дьякова городища). Структурированное хозяйственное пространство унаследовали славяне (по-видимому, не ранее конца X в.), а от них – жители Московского княжества и мы – их преемники (см.: Культура, 2004. Т. I; Кренке, 2011) реконструкция Лансмана.

Следующий за вопросом ландшафтной предопределенности появления Москвы историко-археологический сюжет связан с появлением в ее зоне славянского населения. Пространство Москворечья не имело природных топографических рамок, но было прорезано реками и оврагами: узлами людской концентрации служили их слияния и места переправ. Там возникали поселения и поля, за которыми хоронили их жителей, так что курганные могильники славян отделялись от жилой зоны участком пашни. Топографические реликты этой системы могли включиться позже в формирование средневековой Москвы, но памятников конца X – начала XI в. обнаружено пока крайне мало (о группе селищ в районе Данилова монастыря см.: Беляев, 1994/2010; Беляев, Кренке, Шуляев, 2010. С. 94–103). Только с XI и, особенно, в XII в. поселений в зоне будущей Москвы, к югу от нее, делается больше, они отмечены в крупных парковых зонах (Дьяково, Царицыно), по течению реки Москва и в центре современного города (например, в Занеглименьи: у Воскресенского моста, на Манежной площади и на Романовом дворе: Кренке, 2008; Кренке, 2009). О том, что их было еще больше, говорят ма-

териалы картографии и топонимики, фиксирующие не дожившие до эпохи научных исследований городища и курганные группы.

Таким образом, «археология пространства» Москвы до X–XI вв. проясняет нарратив и является единственным средством его дальнейшего совершенствования. Но при этом само накопление материала археологии постепенно вытесняет на периферию исторического сознания когда-то влиятельные текстовые мифологемы, например, представления о легендарных «селах красных боярина Кучки». До сих пор зона, включаемая в понятие Кучково поле, не дала следов раннего заселения: работы в зоне улиц Лубянки и, главное, в предполагавшемся центре «села», у церкви Троицы в Полях – не выявили объектов ранее XIII в. (Векслер, 2004. С. 297–302). Остается под вопросом и существование до середины XII в. (т. е. ранее упоминания в 1147 г.) поселения на месте будущего Кремля, на холме над слиянием Москвы-реки и Неглимны. На нем отмечены следы дьяковской культуры (городище?), но славянского слоя хотя бы XI в. или столь же ранних погребений – пока не обнаружено, а отдельные переотложенные находки не убеждают в его присутствии (Панова, 2003).

Поиск «Москвы до 1147 года» есть частный случай тенденции к удревнению объекта в сравнении с его традиционной датой – типового приема формирования археологического нарратива в «состязании» с большим нарративом, который начали применять еще в СССР, отпраздновав более чем сомнительное 1500-летие Киева (позже это поможет поставить вопрос о практически столь же существенном, на несколько столетий, удревнении Казани). Результаты таких акций обычно востребованы политическим истеблишментом и группами, искусственно формирующими национальную идентичность. Но и для самих археологов построение «хронологической иерархии» объектов сохраняет актуальность. Констатируем, что в случае с Москвой этот прием до сих пор не сработал, и два нарратива скорее подкрепляют друг друга в вопросе даты основания города, чем спорят.

Кроме того, археология достоверно показала, что пространство современной Москвы начало развиваться только после постройки княжеской крепости 1156 г. Керамическая стратиграфия убеждает, что центр возник при строительстве Кремля; его появление определило дальнейшее расширение зон заселения, которые заняли постепенно плато к северо-востоку (пахотный слой на Красной площади в районе Лобного места и Казанского собора восходит к XIII в., но ожидать здесь более ранней застройки трудно) и одновременно ближайшие окрестности за Неглимной и Яузой.

Для решения вопроса о планировке изначального Кремля материалов все еще крайне недостаточно, и предлагаемые реконструкции, основанные на восстановленном палеорельефе (в нем пока много неясного), аналогиях с другими древнерусскими крепостями и многолетних, но точечных, случайных наблюдениях, остаются гипотезами (Панова, 2003, там же библиография автора). Зато постепенно строится, благодаря обнаружению ранних, второй половины XII – первой трети XIII вв., кладбищ в Кремле, будущем Китай-городе и ближнем Занеглименьи (безымянное кладбище на месте здания Манежа), топография первых городских церквей; традиционная для старой литературы реконструкция их состава по данным топонимики мало надежна, так как сами топонимы зафиксируют поздно, на рубеже XV–XVI вв.

Ключевой для всей институциональной истории России сюжет татаро-монгольского нашествия, нарушившего развитие ее городов, все больше подтверждает свою реальность. Расширяется и обогащается деталями «география разгрома» Северо-Восточной Руси зимой 1237/38 гг.: следы нашествия отличаются от давно и хорошо известного Старорязанского городища на юго-востоке до северо-восточного Ярославля (где исследованиями А. В. Энговатовой обнаружена крепость первой половины XI в. и останки погибших при взятии города монголами) и северо-западного Торжка (раскрытие пожарных слоев Новоторжской экспедицией под рук. П. Д. Малыгина и Н. А. Сарафановой). В Москве следами нашествия считают два клада, обнаруженных в Кремле еще в конце 1980-х гг. (Панова, 1996), хотя их стратиграфическая связь с контекстом 1230-х гг. отсутствует. Тем не менее эта находка включила Москву в круг значительных городов домонгольской Руси (далеко не все подвергшиеся разгрому города дают клады драгоценностей) и поставила в повестку дня ожидание других кладов (вероятность того, что обнаружены именно те два, что только и были сокрыты в домонгольский период, ничтожно мала). Кроме того, оказалось, что в XII–XIII вв. площадь укрепленной части города была значительно большей, чем полагали ранее. В дальнейшем включенность города и раннего маленького княжества в состав улуса Джучи, как и всех вообще городов Северо-Восточной Руси, археологически мало определима, и попытки ее уловить можно смело отнести на счет влияния большого нарратива на археологию.

По сути дела, это касается всей истории Москвы второй половины XIII – первой трети XIV в., от создания удельного Московского княжества для Даниила Александровича до правления Ивана Калиты. Формирование первых элементов городской

структуры (дорог, церквей, урочищ) все еще вызывает массу сомнений, хотя существование в это время церковных кладбищ (Троица в Полях) и некоторых монастырей там, где мы их привыкли видеть (например, в Данилове и на месте Богоявленского за Торгом) – доказанный факт (Беляев, 1996–2010). В то же время важнейшие события, такие, как перенесение в Москву митрополии, на уровне материальной культуры фиксируется пока слабо. К следам этих событий можно отнести открытие незначительных остатков каменного Успенского собора 1326 г. (дискуссия по поводу их датировки и вероятности существования храма-предшественника в XIII в. может считаться закрытой, см.: Выголов, 1993. С. 94–109) и связываемых с летописно известными памятниками кладок других сооружений Соборной площади: белокаменного полигонального храма Иоанна Лествичника (Кавельмахер, Панова, 1995. С. 66–83) и пережившего уже две попытки гипотетической реконструкции Архангельского собора 1330-х гг. (Мосунов, 2009. С. 106–117). Однако сама идентификация и датировка кладок опирается только на летописные сведения о строительной деятельности Ивана Калиты, а не на археологические данные.

Все же в целом археологические материалы уверенно рисуют успешный рост Москвы в предордынский и ранний ордынский периоды (XIII – начало XIV в.), формируя известную параллель рассказу летописи о постепенном приспособлении Московского княжества к новой политической ситуации. За этим просматривается более сложная историческая конструкция, включающая объективную подготовленность города к выполнению новой роли. Так что привычный институциональной истории рубеж ордынского разгрома не исчезает, но его значение существенно элиминируется.

Белое пятно в археологии Москвы простирается до второй половины XIV в.; деятельность князей середины столетия в ней мало выражена и можно указать разве что на следы ее, постепенно проявляющиеся, кроме строительства храмов, в области сфрагистики (Янин, Гайдуков, 1998) и нумизматики, где первые выпуски московских монет на основе подражаний джучидскому чекану отнесены уже к правлению Ивана Ивановича Красного, т. е. к 1350-м гг. (Гайдуков, 2006. С. 47–49, там же библиография), хотя это принимается не всеми (Колызин, 2009. С. 442–447). Только с эпохи правления князя Дмитрия Донского и деятельности митрополита Алексия можно говорить о постепенной систематизации археологической картины, в которую включаются массовые находки (керамическая посуда, плитки для полов) и новые устойчивые маркеры церковного погребального обряда, характерные для Москвы[6].

Распределение таких находок, встречаемых от подмосковного Коломенского до Кремля, обнаруживает связь с рядом локусов, смутно известных письменным источникам. Яркие примеры такого рода – ранние слои монастырей Богоявленского за Торгом и Алексеевского на Остоженке (на месте нынешнего Зачатьевского)[7]. Эти локусы/топонимы постоянно находятся также в поле зрения историков ранней Москвы, но не включены прямо в большой нарратив. Их раскопки образуют тот путь, на котором археология постепенно формирует для второй половины XIV в. собственное исследовательское пространство.

Образец формирования еще более системного подхода для памятников XIV–XVI вв., сочетающий анализ письменных источников (прежде всего, актов) с археологическими и комплексными историко-ландшафтными исследованиями, разработан С. З. Черновым для окрестностей Москвы (Чернов, 2005; он же, 2005 а) и владений Троице-Сергиева монастыря, включая сюда археологию Радонежа и его окрестностей, которые устойчиво сохраняются в нарративе благодаря присутствию в нем очерка деятельности Сергия Радонежского (Чернов, 2010. С. 444–481). До известной степени можно говорить и об археологических откликах на житие митрополита Алексия, особенно по поводу его дипломатических контактов с Ордой, отражающихся на уровне реликвий (этот подход имеет уже длительную традицию; см.: Орешников, 1928. С. 171–185; Макарова, 1998) и восточных предметов, обнаруживаемых в слоях (китайский селадон и восточная керамика из Зачатьевского монастыря, раскопки под рук. автора в 2003–2011 гг.).

В число ключевых событий второй половины XIV в., которые должны были оставить заметные материальные следы, традиционно помещают строительство первых каменных стен Кремля, однако в археологическом плане они известны пока недостаточно (Панова, 2009. С. 14–43). Сравнимых по масштабу проектов этого времени мы не знаем (как и вообще примеров строительства, за исключением остатков церкви Рождества Богородицы; см.: Евдокимов, Яковлев, 2009. С. 64–87), а довольно обильно представленные в материалах Кремля резные камни храмов XIV–XV вв. плохо поддаются идентификации несмотря на самое пристальное исследование (Евдокимов, 2009. С. 128–145). В начале XV в. положение меняется – в княжестве строится ряд церквей, в основном монастырских соборов, которые сохранились до наших дней (Спасский в Андроникове, Троицкий в Сергиевой Лавре, Рождественский в Савине Сторожевском; Успенский на Городке в Звенигороде). По крайней мере два из них изучены сейчас археологически: Успенский (Алексеев, 2011) и Андроников, причем в Андроникове

монастыре установлено наличие более раннего, чем собор, кладбища, хронологически соотносимого с первым деревянным храмом (публикация ожидается; пока см.: Беляев, 2011 а. С. 51–66).

Примерно в тот же период, начиная с 1380-х гг., «раннемосковские» признаки типов изделий, ранее едва намеченные, обретают ясность и резко отделяются от аналогичных типов других центров. Речь идет об орнаментике московской и тверской надгробной плиты, о появлении в Москве антропоморфных каменных саркофагов (до этого, видимо, не существовавших; см.: Беляев, 1996; он же, 2006 а; он же, 2006 б), о возможных различиях в иконографии металлической пластики, об особенностях керамического производства. Есть попытки связать эти перемены с деятельностью митрополита Киприана (Романов, Романова, 2007. С. 261–269), что далеко не очевидно, уподобляя их одной из волн «южнославянского влияния», но сама ступень в развитии на рубеже XIV–XV вв. археологам рисуется наглядно. Это можно представить как определенную параллель с нарративом, рисующим первую четверть XV в. как этап «национального возрождения», символом которого уже более 100 лет остается Андрей Рублев. Его образ в составе большого нарратива оказал прямое воздействие на развитие исследований не только в области художественной, но отчасти и материальной культуры[8].

Интересно было бы сравнить «археологические» особенности культуры Москвы и Твери XIV–XV вв., сопоставив результаты с хорошо известной темой соперничества этих княжеств. Многие археологи, работающие с таким материалом, задаются подобным вопросом (достаточно просмотреть многочисленные выпуски «Тверского семинара»[9]), и некоторые отличия как будто, действительно, наблюдаются (саркофаги и плиты – сосуды с рельефным штампом – кресты и энколпии), но сопоставления на более массовом материале, в области керамики, пока еще не проводились, кроме отдельных случаев (Лапшин, 2009).

Важно, что путь для трансформации традиционного нарратива прокладывается не только при полевых исследованиях – тот же вектор обозначился и в традиционной «музейно-археологической» работе с вещами. Пересмотр собрания Оружейной палаты позволил выделить в ней пласт драгоценных статусных предметов, реликвий и инсигний, знакомых по текстам духовных московских князей и другим документам, причем их идентификация в ряде случаев оказалась достаточно неожиданной (Стерлигова, 2009. С. 376–391). Не менее неожиданные результаты дает серия палеографических анализов, проведенная А. А. Туриловым, существенно (иногда на 200 лет) изменившая представления о датах хрестоматийно известных вещей, образовывавших зрительный ряд институциональной истории России (например: Турилов, 2009. С. 392–399). Эти вещеведческие исследования существенно обогатили археологию XIV–XV вв.

Материалов рубежа XIV и первой половины XV в. из слоев Москвы (города и княжества) до последнего времени было немного, но работы 2007 г. в Кремле позволили разработать стратификацию дворов и деревянных построек, например, ряд построек на Подоле, а главное – показали сложность, насыщенность и богатство жизни этого времени, так же как явное присутствие в ней существенной восточной составляющей [одна из двух найденных там берестяных грамот (московская № 3) удивительным образом говорит о том же самом (Гиппиус, Зализняк, Коваль, 2011. С. 452–455)]. Важные для исторического нарратива военные события этого периода: войны с Литвой, набеги татар, особенно Тохтамыша и даже поход Тамерлана – находят некоторое отражение в археологии не только благодаря находкам предметов вооружения (Двуреченский, 2008), но и опосредованно, в городской церковной топографии, где сохраняются отзвуки этих событий в виде оснований храмов и монастырей (Сретенский и другие) на местах, связанных с встречами и проводами чудотворных икон.

Одним из самых острых остается вопрос о восточных элементах, включенных в культуру Московии XIV–XV вв. (очерк проблематики: Беляев, 2010 а. С. 18–27). Археология постепенно выявляет круг этих элементов, которые очевиднее всего в области монетной чеканки, связанной с политической зависимостью (из последних публикаций: Колызин, 2009, С. 442–447; Зверев, 2009. С. 448–457), в явной «ориентализации» технологии и декоративного стиля массовой керамики XIV–XV вв. (см. в т. ч. Беляев, 2007 б; С. 133–140), в традиционных сферах обмена Запада и Востока, таких, как торговля конями, и в иных формах коммуникации, таких, как переходы на службу (попытка выявить следы присутствия ордынцев на Руси: Коваль, 2010. С. 76–86).

Как успешную можно рассматривать стыковку исторического нарратива и археологии Москвы эпохи Ивана III. И дело не в том, что до нашего времени дошли здания, несомненно построенные Аристотелем Фиораванти и его преемниками-итальянцами. Часто возникает такое впечатление, что материальные памятники этого времени как бы работают на большой нарратив, подыгрывают ему. Потеки извести, ясно видимые в шурфах на остатках кладок Успенского собора, оставленные нанятыми Кривцовым и Мышкиным строителями, служат отличной иллюстрацией к фразе «ино не клеевито», сказанной вызванными из Пскова экспертами о примененном растворе извести. Столь же явно

укладываются в сведения о прекращении застройки гласиса вокруг нового Кремля (которая быстро развивалась как раз в XV в.) следы сплошного мощения мелким булыжником на глине, встреченные на Историческом проезде и затем – на всех раскопах Красной площади. Отмечены и вызванные этим изменения в планировке ближайших к стенам нового Кремля районов (вокруг Покровского и Казанского соборов, на участке Богоявленского монастыря и в других местах; см.: Чернов, Бойцов, 1991; Беляев, 1996–2010; он же, 2009 б).

Неожиданно находят подтверждение даже такие гипотезы, как деятельность Аристотеля Фиораванти в качестве чеканщика новой монеты, возможно, использовавшего опыт чеканки монеты в Болонье и в Венгрии: одна за другой в слоях Нового Иерусалима и Переяславля-Залесского обнаружены подлинная золотая монета и медная позолоченная подделка «марианского» дуката короля Матиаша Корвина (работы ИА РАН 2009 и 2011 г. соответственно). Это дополнение к ранее известным серебряным «чешуйкам» со словом «Орнистотель» обещает внести некоторую ясность в генезис такого элемента московской культуры XVI–XVII вв., как наградной «угорский золотой». Надпись на «орнистотелях», сделанная латиницей, непосредственно перекликается с иноязычной лапидарной эпиграфикой, в составе которой знаменитая закладная плита Антонио Солари во Фроловских воротах Кремля, надгробные надписи итальянцев первой половины XVI в. и германоязычные эпитафии конца XVI–XVII вв. (Дрбоглав, 1988).

Явная смена вектора с восточного на западноевропейский, очевидная в придворном быту и государственной символике, отражается и в рядовом материале (Beliaev, Chernetsov, 1999). Этот коренной перелом различим на уровне массовой городской продукции и вкусов москвичей. Уже приходилось писать о нескольких «стилевых рубежах» в керамическом производстве Москвы, где отчетливо маркированы: резкий технологический рывок второй половины XV в., явно индуцированный знакомством с нижне- или средневолжким вариантом центральноазиатской терракотово-красной керамической традиции; примерно через 100–150 лет, с конца XV в., достаточно заметный поворот к европейскому черно-белому стилю, путем лощения и морения подражающем в столовой посуде металлическим изделиям (этот стиль сохранится в течение всего XVI – первой половины XVII в.) и, если включить более поздние этапы – период со второй половины XVII в., время широкого использования «мраморировок» и появления подражаний фарфору и фаянсу (Розенфельдт, 1968; Московская керамика, 1991; Коваль, 2010 а).

Посуду интересно сопоставить в этом отношении с развитием такого важного для Руси элемента, как строительная керамика, которая начинает интенсивное развитие только под воздействием западных импульсов с конца XV в. Историческое повествование и археология здесь поразительно единодушны: к рассказу летописи о введении Фиораванти кирпича нового формата и более высокого качества добавляется ряд эпизодов того же и несколько более позднего времени: появление лотковой черепицы, как будто сошедшей с рисунка для трактата Перуцци; развитие фасадной терракоты как суррогата резьбы по камню (прежде всего в поясах-фризах, но также в оформлении порталов и карнизов), несущей ясные ренессансные мотивы («дельфин», «рог изобилия» и др.), а позже, к середине XVI в. – уникальные на Руси детали храма Покрова на Рву, точное происхождение которых не установлено, но общая принадлежность западной традиции очевидна (разнообразные пустотелые керамические элементы; огромный кирпич для выкладки архитектурного декора и столь же масштабные поливные вставки шатров, см.: Beljaev, 2007; Беляев, 2011 б; Баранова, 2011). Все больше новых материалов поступает благодаря активной работе в последнее десятилетие группы архитектурных археологов под рук. А. Л. Баталова на соборах Кремля (например: Мосунов, 2011. С. 14–23; Соловьева, 2011. С. 32–39; Баталов, 2011. С. 300–317).

Эти наблюдения отмечают развилку, от которой пути большого нарратива и данные натурных исследований, включая археологические, явно расходятся. После рассказа о постройке Кремля и его соборов иноземные мастера выпадают из летописного повествования и официальных документов надолго, чуть ли не на два столетия (хотя в нем есть эпизоды, просто провоцирующие обращение к этой теме, – хотя бы второй брак Василия III с Еленой Глинской и присутствие при дворе ее дяди, личности с европейским прошлым; иногда некоторые сюжеты этого периода вдруг всплывают в материале некрополей: Беляев, Романов, Шлионская, 2010. С. 156–165). Напротив того, археология, и прежде всего архитектурная археология, показывает нам деятельность иноземных мастеров как вне всякого сомнения продолжающуюся и оказывающую решающее воздействие на зодчество Московского государства (церковное, дворцовое, крепостное). К памятникам этого круга решительно относят объекты финальной стадии русско-итальянского строительства, такие, как Вознесенская и Георгиевская церкви в Коломенском (Баталов, 2003; Баталов, 2009. С. 158–196; Beljaev, 2007; Беляев, 2009 в; Беляев, 2011 б; Подъяпольский, 1991; Подъяпольский, 1996. P. 46–51; Швидковский, 2003). Особенно важно, что сюда же все чаще включают сооружения

эпохи Ивана Грозного, причем не только ранней его части (собор Покрова на Рву), но и времени опричнины (галереи кремлевского Благовещенского собора, ансамбль Александровой слободы). Таким образом, процесс впитывания европейских импульсов на почве материальной культуры выглядит гораздо более плавным, чем по данным письменных источников (хотя и там постепенно выявляются новые следы кросскультурных связей). Параллельно получению этих импульсов прослеживается их усвоение в достаточно широком слое населения Московии, дающее ряд образцовых моделей медленной «подстройки» сравнительно чуждых и необычных элементов к привычным функциям, вкусам, ремесленным навыкам (у столпообразных храмов появляются символически значимые и необходимые для православного богослужения алтари привычной трехчастной формы; сдвоенные каннелюры, перейдя с пилястр и капителей на грани надгробий, преобразуются постепенно в рудиментарные элементы орнамента, и т. п.).

Гораздо лучше процесс «соединения источников» идет на материалах, связанных с такой традиционно ключевой фигурой большого нарратива, как Иван Грозный. Сегодня можно говорить о своего рода «грозненской археологии» – в состав ее памятников включились привычные для читателя учебников «парные топонимы» Свияжск и Казань (Ситдиков, 2006); уже упоминавшаяся Александрова слобода (в которой архитектурно-археологические открытия совершаются с 1960-х гг., но их датировка все еще слишком противоречивы) и в самой Москве ее двойник – Опричный дворец. Не менее интересны и надгробия служилых иноземцев, в числе которых экзотическая персона Эльферфельдта, ранее известная только письменным источникам (см.: Беляев, 1996. С. 233–245). Тем не менее результаты археологических работ пока способны скорее разочаровать историков, привыкших, например, видеть Свияжск мощной крепостью (следы укреплений ищут там с 1970-х гг., но до сих пор не обнаружили), а Опричный дворец – своего рода альтернативным Кремлем (на территории дворца до сих пор отмечены только следы присутствия воинов-иноземцев и устройства для одновременного обслуживания больших масс людей, такие, как мощные кирпичные печи под котлы: Кренке, 2009). Многие детали исторического рассказа об Иване IV ярко иллюстрируются и раскрываются в деталях – например, давно изученные погребения царя и его сыновей в приделе Иоанна Предтечи в Архангельском соборе (Панова, 2011) позволили лучше представить их обряд погребения, воочию увидеть любимую посуду, составить суждение о физических особенностях и болезнях.

Ряд археологических объектов способен поддержать представления и о других исторических особенностях грозненского правления, например, о переселении («выводе») жителей других городов в Москву: в надгробных надписях время от времени встречается слово «веденец» с упоминанием города (Ярославль, Псков и др., см. Беляев, 2007 а. С. 133–142); фиксируется процесс регламентированного правительством заселения города по мере окружения его новыми линиями стен (возможно, именно он отражен в поздней картографии в виде «правильных» кварталов Занеглименья в черте Белого города). Есть попытки выделить в Москве конкретные зоны, заселявшиеся выходцами из других городов в том же Занеглименье. Интерес для исторического повествования представляют и новые сведения о традиционно упоминаемых больших государственных проектах последней трети XVI в.: постройке новых стен столицы (Белый и, позже, Земляной город) и Смоленской крепости (библиография: Носов, 2009).

Разумеется, такого рода памятники маркируют не только внутренние, но отчасти и внешнеполитические события, такие, как Ливонская война (в этом отношении было бы интересно привлечь ее памятники в современной Прибалтике, чего до сих пор, сколько известно, не делалось). Много нового для темы присоединения и освоения Сибири обещает быстро развивающаяся там т. н. русская археология (Черная, 2008. С. 482–515; она же, 2007). В области военной археологии вехи исторического повествования становятся важным стимулом для полевых исследований (например, обследован район битвы при Молодях и уточнено ее место).

Следуя далее за развитием большого нарратива, мы неизбежно приходим к Смутному времени и, в более общем виде, к теме «археологии катастроф». Она давно существует в историографии в латентном виде – достаточно упомянуть о характерных кладах Москвы Смутного времени с их воздействием на изучение нумизматики и, шире, политической и экономической истории страны (Векслер, Мельникова, 1999. С. 89–119); о попытках исследовать Тушинский лагерь (его материалы отложились в собрании ГИМ); о надгробных надписях, отразивших события Смуты (их сравнительно немного, но среди них известная эпитафия князя Ю. Ю. Мещерского, погибшего в 1607 г. «на государевой службе под Калугою» в сражении с войсками И. И. Болотникова). За последнюю четверть века в состав археологических памятников Смутного времени и последовавшей за ним эпохи первых Романовых вошли прямо связанные с именем князя Дмитрия Пожарского и его сподвижников Казанский собор (полностью раскопан в 1989–1991 гг.) и усыпальница рода Пожарских и Хованских в суздальском

Спасо-Евфимиевом монастыре (раскопки 2008 г.: Беляев, 2010 б; он же, 2011 в). Делаются попытки (разной степени удачности) исследовать и другие некрополи этого периода, начиная с крупнейшего кладбища боярской аристократии вне стен Кремля, некрополя Романовых и других знатных родов в Новоспасском монастыре, и кончая сельским кладбищем в с. Исупове под Костромой, на материалах которого была сделана квазинаучная попытка выделить «погребение Ивана Сусанина» (Петров, Беляев, Бужилова, 2011. С. 248–267). Все эти работы напрямую индуцированы сюжетами большого нарратива, влияние которого на археологию здесь самоочевидно и далеко не всегда благотворно. Тем не менее у «археологии Смуты» широкие перспективы – среди них не только темы военной археологии и персональной идентификации, но и смутно пока рисуемые перемены в быту и потреблении, обмене и производстве.

Эти перспективы делаются вновь заметны во второй трети XVII в., когда появляется возможность опереться на материалы Нового монетного двора (Романов двор – сюжет, идеально соотносимый с эпизодом «медного бунта»), отчасти – клады того же времени (например, клад-гигант с Гостиного двора, открытый в 1996 г. и до сих пор не обработанный, и другие: Векслер, Мельникова, 1999. С. 120 и др.) и комплексные архитектурно-археологические объекты типа Раската на Красной площади, остатки которого были обнаружены в 1989 г. (Чернов, 1998). Еще более удачным маркером технологического и художественного развития для московской археологии служат некоторые типы артефактов, например, изразец как особый феномен городской культуры московского периода (Баранова, 2011, там же библиография). Он способен рассказать о стилевом прогрессе, требованиях к комфорту жилища и статусной функции монументальных сооружений; в последних исследованиях рассматривается его важная функция медиатора общественных взаимосвязей, отражающая такие сложные явления в «надстройке», как попытка патриарха Никона соединить основы старого, «византийского» восприятия мира с достижениями уже зародившегося в Европе общества Нового времени. Наиболее ярко темы никоновских (архитектурных, технологических, церковно-политических) реформ, зарождение раскола и эпизоды этого сюжета, хорошо знакомые большому нарративу, отражены в последние годы (с 2009 г.) в проекте исследований Нового Иерусалима, который позволил детально познакомиться с резкими изменениями в технологиях производства строительных материалов, а также в единичных пока примерах производств, таких, как комплекс для литья колоколов.

Противоположный во всех отношениях пример дает современник патриаршего Нового Иерусалима, и также входящий в состав большого нарратива царский деревянный дворец в Коломенском. Хотя раскопки его остатков долго служили своего рода «археологическим миражом» (Беляев, Кренке, 1993. С. 72–113; Беляев, Кренке. 2005. С. 176–188; Беляев, Панова, 2011), они оказались достаточно заурядным объектом позднесредневекового строительства, который без иконографии и описаний современников не привлек бы такого внимания. Анализ наиболее интересных его материалов (картография изразцовых печей) позволяет, однако, понять, что подход к строительству этого, по-своему не менее передового и вестернизованного комплекса (см.: Бусева-Давыдова, 1993; Бусева-Давыдова, 1994), был гораздо менее радикальным и соответствовал скорее уровню статусного потребления, а не уникального проекта.

Завершающий период Московского царства, время правления детей царя Алексея Михайловича (царя Феодора, Софьи, соправителей Ивана и Петра), особенно после стрелецких восстаний и возвращения Петра I из-за границы, занимает в национальном нарративе особое место. Он отмечен в последние десятилетия такими яркими исследованиями, как ре-интерпретация и передатировка собора Высоко-Петровского монастыря – ключевого памятника для «допетербургской» вестернизации – в качестве произведения русско-итальянского времени, лишь слегка «подправленного» мастерами нарышкинского стиля и обрамленного новыми архитектурными кулисами. Такие объекты позволяют отчетливее описать некоторые особенности механизма усвоения культурных импульсов в Московии и пути формирования вкуса Петра и придворной знати, усвоившей многие формы западного стиля уже благодаря двухсотлетнему прямому контакту с ренессансно-барочными формами статусной архитектуры Москвы (считая такими дворец, соборный ансамбль и даже стены Кремля, а также многие постройки монастырей, городского посада и подмосковных дворов, вплоть до дворцового комплекса в селе Коломенское).

Наш экскурс демонстрирует, что археология занята, прежде всего, формированием «маркеров длительного времени», маркеров для постоянно действующих факторов, например, технологического развития, установления обмена и иных коммуникаций, изменения потребностей, вкусов, форм выражения статуса («археология потребления») и их систем, т. е. стилей (типология и, как ее частный случай, – иконография). Они сливаются воедино в таких глубоко синкретических по самой сути областях, как нумизматика и сфрагистика, маркеры памяти (надгробные памятники, эпиграфика),

строительное дело, церковное и дворцовое прикладное искусство (литургическая и церемониальная утварь).

В то же время историки предпочитают видеть в археологии фиксатора отдельных событий большого нарратива, последствия которых могли быть обширными или вполне локальными, едва выходящими за грань местной истории. В числе первых, прежде всего, исторические битвы и строительные проекты, начиная с закладки городов, в числе вторых (например) – рождение и смерть крупных, средних и даже рядовых деятелей истории.

Если сравнить избранный ряд исторических событий с перечнем археологических проблем, обсуждаемых на конференциях и в печати, то окажется, что эти ряды совпадают только частично, что археология ставит собственные вопросы, отчасти нарушая прерогативы историков. Более того, у археологии есть свое мнение по ряду других вопросов, историками не поднимаемым. Высказанное даже конспективно, это мнение способно существенно помочь пониманию основных вопросов развития города и государства.

Список литературы

Алексеев А. И. Звенигородский городок и его древности. Звенигород, 2011.

Баранова С. И. Русский изразец. Записки музейного хранителя. М., 2011.

Баталов А. Л. Итальянизирующая архитектура без итальянцев на Руси в XVI веке // Пинакотека. Т. 16/17. 2003 (1–2).

Баталов А. Л. Еще раз о происхождении шатра в русской архитектуре // Лазаревские чтения. М., 2009. С. 158–196.

Баталов А. Л. Церковь Воскресения Христова: К истории архитектурной деятельности Петрока Малого в Москве // МК XV. 2011. С. 300–317.

Баталов А. Л., Беляев Л. А. Сакральное пространство средневековой Москвы. М., 2010.

Беляев Л. А. Древние монастыри Москвы (конец XIII–XV вв.) по данным археологии. М., 1994; 3-е изд., доп., электр. М., 2010.

Беляев Л. А. Русское средневековое надгробие. Белокаменные плиты Москвы и Северо-Восточной Руси XIII–XVII вв. М., 1996.

Беляев Л. А. Древняя Русь в кругу средневековых цивилизаций и культур // Древнерусская культура в мировом контексте: археология и междисциплинарные исследования. М., 1999. С. 40–47.

Беляев Л. А. Московская Русь: от Средневековья к Новому времени. М., 2005.

Беляев Л. А. От Ивана III к Петру Великому: «московская культурная модель» в эпоху ранней глобализации (архитектурно-археологическая версия) // ВИЛИ. Т. 1. М., 2005. С. 185–197.

Беляев Л. А. (а). Русское средневековое надгробие XIII–XVII века. Материалы к своду. Вып. 1. М., 2006.

Беляев Л. А. (б). Новое в изучении надгробных памятников Средневековья // В книге: Беляев Л. А. Русское средневековое надгробие XIII–XVII века. Материалы к своду. Вып. 1. М., 2006. С. 7–30.

Беляев Л. А. (в). Маркировка древнерусского кирпича как культурно-историческое явление // София. Сборник статей к 70-летию А. И. Комеча. М., 2006. С. 67–88.

Беляев Л. А. (г). Европеизация России и ее исторические этапы: археологическая модель // Ростовский Архиерейский дом и русская художественная культура второй половины XVII века. Ростов, 2006. С. 7–16.

Беляев Л. А. (д). Археология Москвы и проблемы истории культуры позднего средневековья // Современные проблемы археологии России. Материалы Всероссийского археологического съезда (23–28. 10. 2006, г. Новосибирск). Новосибирск, 2006. Т. 1. С. 3–12.

Беляев Л. А. (а). Лапидарная эпиграфика Москвы XV–XVII вв.: современные проблемы // РА. 2007. № 1. С. 133–142.

Беляев Л. А. (б). «Бачини»: бытовая глазурованная керамика в архитектуре поздневизантийского периода // РА. М., 2007. № 3. С. 133–140.

Беляев Л. А. Новое в археологии Москвы: раскопки и культурно-исторические проблемы // ВИЛИ (Вестник истории, литературы, искусствоведения). Т. V. М., 2008. С. 40–56.

Беляев Л. А. (а). Зачем Москве археология? Исследования средневекового города и проблемы истории культуры // Труды Отделения историко-филологических наук. 2007. М., 2009. С. 433–446.

Беляев Л. А. (б). Образ, Храм и Город: раскопки участка Казанского собора на Красной площади в Москве // Археологические открытия 1991–2004 гг. Европейская Россия. [под ред. член-корр. РАН Н. А. Макарова]. М., 2009. С. 464–473.

Беляев Л. А. (в). Церковь Вознесения Господня в Коломенском – шедевр мировой архитектуры. М., 2009.

Беляев Л. А. (а). «Восточные влияния» или общеевропейский «ориентализм»? О методических подходах к характеристике исламских элементов в культуре средневековой Москвы // Русь и Восток в IX–XVI веках. М., 2010. С. 18–27.

Беляев Л. А. (б). Усыпальница князей Хованских и Пожарских в Суздальском Спасо-Евфимиевом монастыре: новый этап историко-археологических исследований // Исторические записки. Т. 13 (131). М., 2010. С. 313–340.

Беляев Л. А. (а). Заметки о фальсификатах в археологии // ФИИ КЭМ. С. 51–66.

Беляев Л. А. (б). Архитектура собора Покрова на Рву в контексте раннего европейского ориентализма // Покровский собор в истории и культуре России. М., 2011 (в печати).

Беляев Л. А. (в). Архангельский собор и боярские усыпальницы XVI–XVII веков // Архангельский собор

и колокольня «Иван Великий» Московского Кремля. 500 лет. М., 1911. Том II. С. 68–79.

Беляев Л. А., Кренке Н. А. Археологические исследования дворца царя Алексея Михайловича в Коломенском // Коломенское. Материалы и исследования. Вып. 4. М., 1993. С. 72–113.

Беляев Л. А., Кренке Н. А. Деревянный дворец конца XVII века в Коломенском: опыт археологической локализации // РА. 2005. № 4. С. 176–188.

Беляев Л. А., Кренке Н. А., Шуляев С. Г. Докремлевская Москва: новые данные по топографии и керамике Даниловских селищ IX/X–XIV вв. // РА. 2010. № 1. С. 94–103.

Беляев Л. А., Панова Т. Р. Дворец царя Алексея Михайловича XVII века. Историко-художественная реконструкция. М., 2011.

Беляев Л. А., Романов Н. С., Шлионская Л. И. Надгробия игумении Елены Девочкиной и схимницы Феофании в Новодевичьем монастыре // РА. 2010. № 2. С. 156–165.

Бусева-Давыдова И. Л. Об идейном значении Коломенского дворца // Архитектура мира. Вып. 2 . М., 1993.

Бусева-Давыдова И. Л. Царские усадьбы XVII в. в развитии русской архитектуры // Русская усадьба. Вып. 1 (17). М.; Рыбинск, 1994.

Векслер А. Г. Спасательная археология Москвы. Избранные статьи и материалы. М., 2004.

Векслер А. Г., Мельникова А. С. Российская история в московских кладах. М., 1999.

Выголов В. П. Об Успенском соборе 1326–1327 гг. в Московском Кремле // Древнерусское искусство. Проблемы и атрибуции. М., 1993.

Гайдуков П. Г. Русские полуденги, четверетцы и полушки XIV–XVII вв. М., 2006.

Гиппиус А. А., Зализняк А. А., Коваль В. Ю. Берестяная грамота из раскопок в Московском Кремле // Московский Кремль XV столетия: Т. I. М., 2011. С. 452–455.

Гоняный М. И., Александровский А. Л., Гласко М. П. Северная лесостепь бассейна Верхнего Дона времени Куликовской битвы. М., 2007.

Двуреченский О. В. Холодное наступательное вооружение Московского государства (конец XV – начало XVII века). Автореферат дисс. ... канд. Истор. наук. СПб., 2008.

Дробглав Д. А. Камни рассказывают... М., 1988.

Евдокимов Г. С., Яковлев Д. Е. Новые исследования церкви Рождества Богородицы в Московском Кремле // МК XIV, 2009. С. 64–87.

Евдокимов Г. С. Еще раз о резных поясах в раннемосковском зодчестве // МК XIV, 2009. С. 128–145.

Забелин И. Е. История города Москвы. М., 1902.

Зверев С. В. Клад золотоордынских монет и русских слитков XIV века из Московского Кремля // МК XIV, 2009. С. 448–457.

Зенкин С. Критика нарративного разума. Заметки о теории, 4 // НЛО. 2003. № 59.

История Москвы в шести томах. Т. I. Период феодализма XII-XVII вв. М., 1952.

История Москвы, 1997 – История Москвы с древнейших времен до наших дней: в 3 т. М., 1997. Т. I.

Кавельмахер В. В., Панова Т. Д. Остатки белокаменного храма XIV века на Соборной площади Московского Кремля // Культура средневековой Москвы XIV–XVII веков. М., 1995. С. 66–83.

Коваль В. Ю. Ордынцы на Руси // Русь и Восток в IX–XVI веках. М., 2010.

Коваль Ю. В. (а). Керамика Востока на Руси IX–XVII века. М., 2010.

Колызин А. М. Начало чеканки монет в Москве // МК XIV, 2009. С. 442–447.

Кренке Н. А. Археология парка «Царицыно». По материалам исследований экспедиции Института археологии РАН 2002–2008 гг. М., 2008.

Кренке Н. А. Археология Романова двора: предыстория и история центра Москвы. М., 2009.

Копосов Н. Е. Как думают историки. М., 2001.

Кренке Н. А. Дьяково городище. Культура населения бассейна Москвы-реки в I тыс. до н. э. – I тыс. н. э. М., 2011.

Куликово поле и Донское побоище. М., 2003 (Труды ГИМ, вып. 150).

Культура средневековой Москвы: исторические ландшафты. М., 2004–2006 Т. 1–3. [Под ред.: Л. А. Беляев, Н. А. Макаровой. С. З. Чернов, Н. А. Кренке].

Лапшин В. А. Тверь в XIII–XV вв. (по материалам раскопок 1993–1997 гг.). СПб., 2009.

Макаров Н. А., Энговатова А. В., Панова Т. Д., Беляев Л. А. Раскопки в Московском Кремле // Институт археологии Российской Академии наук. М., 2007. С. 42–43.

Макарова Т. И. Древнерусское наследие в ювелирном деле ранней Москвы. XIV век. М., 1998.

Московская керамика: новые данные по хронологии. М., 1991.

Мосунов Ю. П. Храм Архангела Михаила 1333 года в Московском Кремле. Анализ результатов исследований // МК XIV, 2009. С. 106–117.

Мосунов Ю. Н. Ренессансные порталы двух соборов Московского Кремля: Проблемы атрибуции // МК XV. 2011. С. 14–23.

Нация как наррация: Опыт американской и русской культуры. М., 2002 (Материалы IV Летней Фулбрайтовской гуманитарной школы в МГУ. Отв. ред. Т. Д. Венедиктова).

Никольский М. Н. Русская история в самом сжатом очерке. Ч. 1–2. М., 1934.

Носов К. С. Русские крепости конца XV–XVII в. СПб., 2009.

Орешников А. И. Перстень святого Алексея митрополита // Seminarium Kondakovianum. Прага, 1928. Т. 2.

Панова Т. Д. Клады Кремля. М., 1996.

Панова Т. Д. Историческая и социальная топография Московского Кремля в середине XII – первой трети XVI в.

(Опыт комплексного исследования). К проблеме формирования территории древнерусского города. Автореф. дисс. ... докт. истор. наук. М., 2003.

Панова Т. Д. Белокаменная крепость Москвы по данным археологии и письменных источников // МК XIV, 2009. С. 14–43.

Панова Т. Д. История изучения захоронений Архангельского собора // МК XV. 2011. С. 92–97.

Петров А. Е., Шнирельман В. А. Введение // ФИИ КЭМ. С. 5–14

Петров А. Е., Беляев Л. А., Бужилова А. П. Между наукой и областной администрацией: опыт фальсификации останков Ивана Сусанина с помощью заданной интерпретации археологических и судебно-криминалистических исследований // ФИИ КЭМ. С. 248–267.

Платонов С. Ф. Сокращенный курс русской истории для средней школы. СПб., 1914.

Плюханова М. Б. Сюжеты и символы Московского царства. СПб., 1995.

Подъяпольский С. С. Итальянские строительные мастера в России в конце XV – начале XVI века по данным письменных источников: опыт составления словаря // Реставрация и архитектурная археология: новые материалы и исследования. М., 1991.

Подъяпольский С. С. Итальянские мастера в России рубежа XV–XVI веков. Проблемы исследования // Архитектура в истории русской культуры. М., 1996. Р. 46–51.

Рабинович М. Г. О древней Москве. Очерки материальной культуры и быта горожан в XI–XVI вв. М., 1964.

Розенфельдт Р. Л. Московское керамическое производство XII–XVIII вв. М., 1968.

Романов В. В., Романова Е. А. Литургические поливные сосуды из раскопок Твери // Тверской археологический сборник. Том II. Вып. 6. Тверь, 2007. С. 261–269.

Ситдиков А. Г. Казанский Кремль: историко-археологическое исследование. Казань, 2006.

Соловьева Л. В. Античный гротеск и ренессансный декор порталов Архангельского собора // МК XV. 2011. С. 32–39.

Стерлигова, 2009 – Стерлигова И. А. Византийские драгоценности в Московском Кремле. XIV столетие // МК XIV, 2009. С. 376–391.

Турилов А. А. Чара великого князя Владимира Давыдовича — памятник русской культуры XIV столетия // МК XIV, 2009. С. 392–399.

Черная М. П. Русский город Сибири конца XVI–XVIII вв. в археолого-исторической ретроспективе. Автореф. дисс. ... докт. истор. наук. Томск, 2007.

Черная М. П. Русская археология как новое направление в сибиреведении // Московская Русь: проблемы археологии и истории архитектуры. М., 2008.

Чернов С. З. Фартина «Под Пушкою» на Красной площади в 1690-е – 1786 гг., по данным археологических раскопок 1989 г. // Памятники культуры. Новые открытия. 1997 год. М., 1998.

Чернов С. З. Домен московских князей в городских станах, 1271–1505 годы. М., 2005 (Культура средневековой Москвы. Исторические ландшафты. Т. II).

Чернов С. З. (а). Структуры землевладения Великого московского княжества в XIV–XV вв., по данным микрорегиональных комплексных исследований. Автореф. дис. ... докт. истор. наук. М., 2005.

Чернов С. З. Радонеж: от волости к княжескому уделу (1336–1456 гг.). Княжеские земли в центре удела // Сословия, институты и государственная власть в России. Средние века и раннее Новое время. Сборник статей памяти академика Л. В. Черепнина. М., 2010. С. 444–481.

Чернов С. З., Бойцов И. А. Раскопки в Историческом проезде и изучение Великого посада Москвы XIII–XIV вв. // СА. 1992. № 1. С. 211–230.

Ферро М. Как рассказывают историю детям в разных странах мира. М., 1992.

Швидковский Д. О. «Ренессанс в Москве» или «Московский Ренессанс Палеологов» ? // Искусствознание. М., 2003. Вып. 2/3.

Янин В. Л., Гайдуков П. Г. Актовые печати древней Руси X–XV вв. Т. III: Печати, зарегистрированные в 1970–1996 гг. М., 1998.

Beliaev L. A., Chernetsov V. A. The Eastern Contribution to Medieval Russian Culture // Muqarnas. An Annual on the Visual Culture of the Islamic World. Leiden, 1999. Vol. 16. P. 97–124.

Beljaev L. A. Italian artists in the Moscow Rus' from the Late 15th to the Middle of the 16th century: Architectural Concepts of Early Orientalism in the Renaissance Period // L'artista a Bizancio e nel mondo cristiano-orientale. A cura di Michele Bacci. Pisa, 2007. P. 269–302.

Список сокращений

МК XIV, 2009 – Московский Кремль XIV столетия. Древние святыни и исторические памятники. М., 2009

РА – Российская археология

СА – Советская археология

МК XV. 2011 – Московский Кремль XV столетия. Архангельский собор и колокольня «Иван Великий» Московского Кремля. 500 лет. Т. II. М., 2011.

ФИИ КЭМ – Фальсификация исторических источников и конструирование этнократических мифов. М., 2011.

Примечания

[1] Термин «нарратив» имеет в современном языке почти неограниченный спектр значений, так что нелишне уточнить, что здесь под ним понимается род идеологически ответственного повествования, «претендующего на истинность, "историческую правду"», или национальный миф, который «генетически восходит к мифам о происхождении» (Зенкин, 2003). Он по-

прежнему широко используется для формирования национальной идентичности и, как таковой, служит мишенью для критических атак. См. об этом, в частности: Нация, 2002; Копосов, 2001.

[2] Классический пример – работы недоброй памяти Шлимана, не выпускавшего из рук Гомера, в Троаде.

[3] Самые яркие примеры дают, конечно, религиозно окрашенные историографические традиции («римская школа христианской археологии», «библейская археология» и др.) – но и общий принцип подхода историков-не-археологов именно такой, просто в приличном обществе его не принято доводить до nec plus ultra.

[4] Позиция исследователя в данном случае вполне «москвоцентрична», что при поставленной задаче, естественно, и другие земли (например, Псков и Новгород) здесь почти не затрагиваются.

[5] Искренне благодарю Владимира Андреевича Кучкина за возможность ознакомиться с его важной для истории города монографией до публикации.

[6] Похожий «первичный набор» находок для этого времени засвидетельствован и в других городах Северо-Востока (Твери, Ростове), хотя они заметно различаются в деталях.

[7] Соотнесенность участка Зачатьевского монастыря с ранним Алексеевским монастырем строго доказывается археологически для XV–XVI вв. и со значительной долей уверенности – для второй половины XIV в.

[8] Возникла даже небольшая и крайне сомнительная в методическом отношении область, которую можно назвать «псевдоархеологией» Рублева (см.: Beljaev, 2007 a).

[9] Им издается непериодический сборник «Тверь, Тверская земля и сопредельные территории в эпоху средневековья».

В. А. Кисель

НОВЫЕ НАХОДКИ ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ ПЕТРОГЛИФОВ В ТЫВЕ

Петроглифические изображения Саяно-Алтая изучаются уже около двухсот лет. Все это время ученые основное внимание уделяли рисункам эпохи бронзы и раннего железного века. Творчество же этнографического периода, как правило, ими игнорировалось. По-видимому, главной причиной стал нерешенный вопрос, к какой конкретной области знания отнести позднюю петроглифику. Археологи считали и считают ее объектом исследования этнографии, этнографы же – археологии. В результате образцы народного искусства вызывали интерес лишь из-за их расположения вместе с древними памятниками. Впрочем, некоторые исследователи все же посвятили ряд публикаций этнографическим петроглифам. Так, наскальные рисунки алтайцев рассматривались в работах А. П. и Е. А. Окладниковых, В. Д. Запорожской, Э. А. Скорыниной, В. Д. Кубарева, Ю. В. Гричана, Е. П. Маточкина, В. И. Молодина, А. И. Мартынова, В. Н. Елина, Р. М. Еркиновой, И. В. Октябрьской, Д. В. Черемисина, М. Б. Слободзяна. Петроглифические изображения хакасов исследовались Л. Р. Кызласовым, Н. В. Леонтьевым, Д. Г. Савиновым, В. Ф. Капелько. Петроглифы тувинцев изучались А. Д. Грачом, С. И. Вайнштейном, М. А. Дэвлет, М. Е. Килуновской, Л. Д. Чадамба, М. Б. Слободзяном, С. В. Хавриным, В. А. Киселем.

Надо отметить, что в последние годы в научной среде наметился рост интереса к позднему петроглифическому творчеству, в частности к этнографическому наследию населения Саяно-Алтая. Однако работ по этой теме остается по-прежнему мало. К тому же большинство статей имеет тезисный, описательный характер. На сегодняшний день только книга Л. Р. Кызласова и Н. В. Леонтьева «Народные рисунки хакасов», вышедшая в 1980 г., остается единственным монографическим исследованием (Кызласов, Леонтьев, 1980).

Большинство ученых, обращавшихся к теме этнографических наскальных рисунков, рассматривали их на фоне древних изображений и в результате сравнения отмечали сюжетную и жанровую бедность поздней петроглифики. При этом подчеркивалось, что «бытовая сфера культуры становится основным объектом внимания людей», а петроглифы выступают обыкновенными «иллюстрациями вполне конкретных, наблюдавшихся повседневных явлений», демонстрирующими «разрыв не только с мифологической, но и с эпической традицией» (Савинов, 2009. С. 99–100; Савинов, 2009 а. С. 92). Нередко поздним петроглифическим памятникам отказывалось не только в наличии какого-либо «иррационального начала» (Савинов, 2009. С. 92), но даже в эстетической и смысловой ценности (Мартынов и др., 2006. С. 319).

Обычно современные петроглифисты выделяют пять жанровых направлений в памятниках этнографического времени. Это – тамги, изображения

животных, рисунки предметов и построек, сцены и картины повседневной жизни, нефигуративные отметки (Дэвлет, 1980. С. 124–130; Дэвлет, 1982. С. 116–117; Дэвлет, 1998. С. 194; Молодин, Черемисин, 2007. С. 99; Савинов, 2009. С. 99–100; Савинов, 2009 а. С. 92). В то же время часть исследователей представляет репертуар народного творчества более широко и включает в него изображения шаманов и шаманской атрибутики, рисунки транспортных средств, пейзажи, копии образов прошедших эпох, шаржи, порнографические композиции (Кызласов, Леонтьев, 1980. С. 66, 70–75; Телесова, 2005. С. 245–246; Черемисин, 2007. С. 401; Черемисин, 2008. С. 270–271; Маточкин, 2009. С. 147–148, 154). Особо следует отметить обнаруженные в Хакасии Л. Р. Кызласовым, Н. В. Леонтьевым и на Алтае Е. П. Маточкиным образы антропоморфных духов (Кызласов, Леонтьев, 1980. С. 67–68; Маточкин, 2009. С. 147–148, 154). Именно они ставят под сомнение вывод об отсутствии «иррационального начала» в поздней петроглифике.

С 2009 по 2011 г. Музей антропологии и этнографии РАН проводил петроглифические исследования в Республике Тыва[1]. Было установлено, что главным местом средоточия поздних наскальных рисунков, граффити, буквенных знаков и символов является юго-восточная часть Уюкского хребта Западного Саяна. Эта сравнительно небольшая территория находится между наиболее высокими вершинами – горами Догээ (1002 м над уровнем моря) и Сесерлиг (1182 м над уровнем моря) и примыкает к столице Тывы г. Кызыл. В количественном отношении петроглифические изображения значительно уступают граффити и буквенным знакам, которыми буквально испещрены наиболее удобные склоны и скальные выходы.

Скопление образцов народного творчества в этом районе объясняется не только непосредственной близостью к Кызылу, но и расположением горы Догээ возле места слияния Бий-Хема (Большой Енисей) и Каа-Хема (Малый Енисей). Догээ и Сесерлиг издавна воспринимались населением Тывы как сакральные места. На их скальных плоскостях нанесены петроглифы эпохи бронзы, скифского, хуннуского и древнетюркского периодов, а у подножий располагаются многочисленные древние курганы. Здешние наскальные изображения ранних периодов были неоднократно описаны в научной литературе (Чугунов, 1997. С. 237–239; Чугунов, 2007. С. 127–128; Килуновская, 1998. С. 161; Килуновская, 2007. С. 81, 88–89, 97–98; Наскальные изображения.., 2007). Однако памятники этнографического времени выпали из поля зрения исследователей, хотя их насчитывается более сотни. Поздние петроглифы очень разнообразны. Во-первых, они различаются техникой изготовления: некоторые выполнены гравировкой, другие – точечной выбивкой. Во-вторых, у них отсутствует единая стилистическая манера: порой в одном скоплении присутствуют разные по стилистике рисунки. В-третьих, несмотря на общий невысокий художественный уровень, часть образцов демонстрирует выдающиеся изобразительные способности авторов. Например, к неординарным произведениям современного творчества можно отнести фигуру оленя, выбитую на скальном выступе горной гряды, тянущейся на север от Догээ вдоль автомобильной трассы г. Кызыл – п. Кара-Хаак (см. вклейку: с. 77, ил. 1). Рисунок нанесен аккуратными точечными углублениями, создающими четкую контурную линию. У оленя показано крупное, несколько изогнутое туловище с маленьким загнутым вверх хвостом, четыре ноги с намеченными копытами, небольшая голова с одним ветвистым рогом и остроконечным ухом. Художнику удалось передать правдоподобный образ бегущего животного.

Большей частью выявленные этнографические петроглифы представляют животных, в основном козлов и оленей. Редко встречаются изображения собак и верблюдов, единичны рисунки лошади, коровы, фантастического существа. Кроме того, были зафиксированы антропоморфные фигуры, хотя поздняя датировка некоторых из них вызывает сомнения.

Внушительное число обнаруженных памятников представляет собой вариации на тему древних образов. Подражательный характер этих рисунков особенно ярко выражен в тех случаях, когда они включены в древние композиции. Наиболее показательным примером являются два скопления петроглифов на скальных выступах восточного склона Догээ. В первой композиции среди многочисленных древних зооморфных и антропоморфных рисунков выделяется фигура козла, выполненная довольно небрежно. Схематизм и условность изображения животного сближает его с древнетюркскими тамгообразными знаками, которые представлены здесь же, всего в 25–30 см. Однако этнографическое изображение выглядит как неудачная копия древних образцов. Другое показательное скопление расположено рядом с первым. Оно состоит из девяти фигур верблюдов. Все животные показаны строго в профиль и устремлены вправо (см. вклейку: с. 77, ил. 2). Судя по стилистическим особенностям, наиболее крупные изображения с четким контуром могут относиться к хуннускому или древнетюркскому периодам, а малые, выполненные неглубокой выбивкой и имеющие размытые очертания, – к этнографическому времени. Это скопление вызывает особый интерес, поскольку сам образ верблюда нечасто встречается в петроглифике Южной Сибири и Центральной Азии, а сочетание

разновременных рисунков животного – большая редкость.

Изображение реального предмета, точнее орудия охоты, было встречено в урочище Теректиг-Хем, расположенном на противоположном от горы Догээ берегу Бий-Хема. Здесь, на одном из камней насыпи средневекового кургана неглубокими царапинами выполнен рисунок ружья. Волнистой линией показан ружейный ремень, а вертикальным штрихом – мушка на стволе.

Бытовая сценка представлена на самой Догээ. Близ вершины горы на скальном выступе среди полустертых петроглифов, вероятно, древнетюркского периода, углубленными линиями нанесено изображение идущей влево лошади. Животное тянет за собой прямоугольную конструкцию с «антенной» (кибитка?) (см. вклейку: с. 78, ил. 3). Судя по различной технике и стилистке деталей рисунка, конструкция появилась позже фигуры лошади и была выполнена менее умелым мастером.

Нефигуративные отметки в виде рядов царапин, иногда соединяющихся в форме косой сетки, можно встретить во множестве мест очерченного района. Они располагаются как с петроглифическими изображениями, так и с граффити, символами, буквенными знаками.

Неожиданным открытием стали петроглифы неописанного ранее сюжетного направления – отображение астрономического явления. На скальной плоскости отрога, граничащего с трассой Кызыл – Кара-Хаак, возле фигуры козла, явно позднего происхождения, выбиты круг, полумесяц и дуга. По всей видимости, здесь представлены различные фазы Луны, хотя нельзя исключить и передачу этапов солнечного затмения (см. вклейку: с. 78, ил. 4).

Однако большего внимания заслуживают памятники политического и религиозного содержания. В них особенно ярко проявилась иррациональная составляющая поздних петроглифов. На северо-восточном склоне Догээ был обнаружен схематичный рисунок здания с вогнутой двухскатной крышей, которое скорее всего изображает буддистский храм – *хурээ*. Петроглиф нанесен на горизонтально лежащем камне неглубокими царапинами, должно быть, совсем недавно. Это *хурээ* можно поставить в общий ряд с рисунками других культовых построек – *субурганов*. Один из *субурганов* выполнен гравировкой на скале близ п. Мугур-Аксы Монгун-Тайгинского кожууна (см. вклейку: с. 79, 5), а другой – нанесен охрой под скальным навесом в местности Инитал (Килуновская, 1999. С. 232. Рис. 1, *1*).

К религиозным памятникам следует отнести и мантры, высеченные на скалах или выложенные побеленными камнями на горных склонах. Такие гравированные молитвы находятся недалеко от п. Нарын Эрзинского кожууна и п. Мугур-Аксы Монгун-Тайгинского кожууна. Они, вероятно, датируются XVIII–XIX вв. Эти священные надписи являются отражением традиции северного буддизма, которая когда-то была широко распространена в Тыве. После длительного периода забвения в настоящее время отмечена попытка ее возрождения. Так, в 2008 г. на юго-западном склоне горы Догээ из камней была сложена мантра «Ом мани падме хум». Молитва имеет внушительные размеры: длина ее 120 м, а ширина 20 м.

К сожалению, экспедиционные исследования не выявили ни шаманских изображений, ни воспроизведений образов антропоморфных духов. Это представляется странным, тем более что возле горы Сесерлиг находится важный сакральный памятник – шаманское дерево, возле которого ежегодно проводятся обряды (Кисель, 2008. С. 206–213).

Другое «нерациональное» направление петроглифики – политическое. Оно в полной мере восприняло и развило буддистский обычай изготовления надписей на горах. Первые политические надписи появились в Тыве в период установления советской власти. Тогда на горе Догээ была выложена аббревиатура *ТАР*, обозначавшая Тувинская Аратская Республика. Позже ее заменил псевдоним основателя СССР – *Ленин*[2].

Политические петроглифы появились приблизительно в то же время. Они представлены исключительно коммунистической символикой. Один из таких знаков находится недалеко от горы Догээ близ дачного поселка. На могильном поле Догээ-Баары, включающим погребально-поминальные памятники эпохи бронзы, скифского, хуннуского и древнетюркского времени, располагаются «восьмикаменники» – сооружения в виде окружностей, обозначенных восемью валунами. На одном из «восьмикаменников» на глыбе красноватого оттенка точечной выбивкой нанесены изображения серпа и молота. Возможно, создателя петроглифа вдохновил образ красного знамени (см. вклейку: с. 79, ил. 6)[3]. Советский символ легко узнаваем, хотя имеет отступления от классического образа: серп направлен влево, молот – вправо, а не наоборот. К тому же сельскохозяйственный инструмент перевернут обушковой частью вверх. Согласно рассказам местных жителей, изображение датируется периодом Тувинской Народной Республики (1921–1944).

В коммунистические сюжеты необходимо включить и петроглиф Ортаа-Саргола Улуг-Хемского кожууна, представляющий собой портрет В. И. Ленина (Дэвлет, 1982. С. 117), а также рисунок в местности Инитал, воспроизводящий образ И. В. Сталина (Килуновская, 1999. С. 233. Рис. 1, *2*). Параллелью тувинским политическим петроглифам служат алтайские изображения, среди которых встре-

чаются процарапанные портреты вождя мирового пролетариата, цитаты из классиков марксизма, «зубцы и звезды кремлевских стен» (Черемисин, 2004. С. 347; Черемисин, 2008. С. 270).

Таким образом, проведенные исследования позволили обнаружить этнографические петроглифы нескольких жанровых направлений: изображения зооморфных и антропоморфных фигур, копии образов предшествующих эпох, рисунки бытовых предметов, сцены повседневной жизни, образы религиозной и политической тематики, а также нефигуративные отметки. Поздние петроглифы количественно уступают другим образцам наскального творчества – граффити, буквенным знакам, тоже выступающим в роли наиболее доступных широким массам населения видов ландшафтной изобразительной деятельности. Несмотря на общую художественную простоту этнографических рисунков, им нельзя отказать в эстетической и смысловой значимости. Отсутствие в современном наскальном искусстве связи с мифологической и эпической традицией не привело к утрате мировоззренческой основы. Это демонстрируют буддистские и коммунистические изображения, которые внесли в современную петроглифику пропагандистскую, рекламную направленность, способствующие внедрению новых идей.

Список литературы

Дэвлет М. А. Рисунки на скалах (XVIII – начало XX вв.) // Новейшие исследования по археологии Тывы и этногенезу тувинцев. Кызыл, 1980. С. 124–130.

Дэвлет М. А. Петроглифы на кочевой тропе. М., 1982.

Дэвлет М. А. Петроглифы на дне Саянского моря (гора Алды-Мозага). М., 1998.

Килуновская М. Е. Быки Кара-Булуна // Древние культуры Центральной Азии и Санкт-Петербург. СПб., 1998. С. 159–163.

Килуновская М. Е. Шаманистические мотивы в наскальном искусстве народов Саяно-Алтайского нагорья // Международная конференция по первобытному искусству. Т. I. Кемерово, 1999. С. 232–238.

Килуновская М. Е. Рисунки на скалах Тывы // Сборник научных трудов в честь 60-летия А. В. Виноградова. СПб., 2007. С. 75–109.

Кисель В. А. Продолжение шаманской традиции в Туве (по материалам полевых исследований 2005–2007 гг.) // Радловский сборник: Научные исследования и музейные проекты МАЭ РАН в 2007 г. СПб., 2008. С. 206–213.

Кисель В. А., Хаврин С. В. Гора Догээ как археологический и этнографический памятник Тывы // Ученые записки / Тувинский институт гуманитарных исследований при Правительстве Республики Тыва. Кызыл, 2010. Вып. XXII. С. 87–94.

Кызласов Л. Р., Леонтьев Н. В. Народные рисунки хакасов. М., 1980.

Мартынов А. И., Елин В. Н., Еркинова Р. М. Бичикту-Бом – святилище Горного Алтая. Горно-Алтайск, 2006.

Маточкин Е. П. Современные рисунки алтайских чабанов // Древности Сибири и Центральной Азии. Горно-Алтайск, 2009. № 1–2. С. 143–155.

Молодин В. И., Черемисин Д. В. Петроглифы Укока // Археология, этнография и антропология Евразии, 2007. № 4. С. 91–101.

Наскальные изображения Центральной Азии. Сеул – СПб., 2007.

Савинов Д. Г. Парадигмы развития наскального искусства // «Homo Eurasicus» у врат искусства: Сборник научных трудов. СПб., 2009. С. 86–93.

Савинов Д. Г. Некоторые аспекты теоретического изучения петроглифов (по материалам Центральной Азии и Южной Сибири) // Археология, этнография и антропология Евразии, 2009 а. № 2. С. 92–103.

Телесова А. А. Камень из урочища Кыскынур (Юго-Восточный Алтай) // Мир наскального искусства: Сборник докладов междунар. научн. конф. М., 2005. С. 245–246.

Черемисин Д. В. К изучению наскальных изображений Алтая нового и новейшего времени // Изобразительные памятники: стиль, эпоха, композиции: Материалы тематической научной конференции. СПб., 2004. С. 346–349.

Черемисин Д. В. Исследование петроглифов юго-восточного Алтая в 2007 году // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий: материалы Годовой сессии Института археологии и этнографии СО РАН 2007. Новосибирск, 2007. С. 398–401.

Черемисин Д. В. К изучению новейших наскальных изображений Горного Алтая // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий: материалы Годовой сессии Института археологии и этнографии СО РАН 2008. Новосибирск, 2008. С. 269–274.

Чугунов К. В. Новые находки личин в верховьях Енисея // Окуневский сборник: Культура. Искусство. Антропология. СПб., 1997. С. 237–239.

Чугунов К. В. Могильник Догээ-Баары 2 как памятник начала уюкско-саглынской культуры Тувы (по материалам раскопок 1990-1998 гг.) // Сборник научных трудов в честь 60-летия А. В. Виноградова. СПб., 2007. С. 123–144.

Примечания

[1] Автор благодарит за оказанную помощь С. В. Хаврина, Д. В. Васько, М. А. Кисель, А. Б. Ковригина, О. К. Шыырапа.

[2] Распад СССР и изменение политического строя повлияли на характер надписей на Догээ. Они стали политически нейтральными, а часто даже личностными:

Тыва, *Кызыл*, *ДДТ* (популярная рок-группа), *love*, *Галя*, *Нина*. В последние годы гору венчает только одна надпись – *Догээ* (Кисель, Хаврин, 2010. С. 88–89).

[3] Первооткрывателем объекта следует считать археолога К. В. Чугунова, руководившего раскопками на Догээ-Баары.

В. А. Зах, С. Н. Скочина, О. Ю. Зимина, Н. Е. Рябогина, Е. Н. Волков, С. Н. Иванов, Д. Н. Еньшин

ДРЕВНОСТИ ПОБЕРЕЖЬЯ ОЗЕРА МЕРГЕНЬ

Территория Нижнего Приишимья частично входит в западно-сибирскую лесостепную провинцию и совпадает с северной оконечностью Ишимской наклонной равнины. Наиболее крупная водная артерия региона – р. Ишим берет начало в Казахском мелкосопочнике, в низовьях протекает по пониженной, заболоченной и залесенной местности, надвое рассекая равнину и в верхнем течении почти вплотную подходя к Тургайской ложбине. В южной части Нижнего Приишимья по левобережью находятся остатки древних ложбин стока, представляющие в настоящее время цепочку вытянутых водоемов. Одним из таких озер является Мергень, расположенное южнее г. Ишима и представляющее вместе с оз. Кислым и другими более мелкими группу ложбинно-гривно-озерных урочищ – реликт плейстоценовой эпохи.

Наиболее интересен северо-восточный берег озера Мергень и р. Мергеньки, соединяющей его с реками Карасуль и Ишимом, который человек впервые освоил в раннем голоцене. Благоприятные природные условия, масса удобных мест для сооружения поселений на мысу у истока Мергеньки во все времена начиная с каменного века привлекали человека.

Озеро и р. Мергенька, вытекающая из него, сформировали в основном три геоморфологических уровня. Первый – это современный берег водоемов, второй соотносится с высотной отметкой 3,0 м от современного уровня воды, третий находится на уровне 5,0 м и является самым древним в системе. Во всяком случае, этот уровень скорее всего соответствует второй надпойменной террасе р. Ишим, на которой и расположено озеро (Белецкая, 1987), является правым берегом стока плейстоценового времени. Можно предположить, что второй уровень сформировался в конце плейстоцена, а пойма – в голоцене.

Уникальность оконечности мыса на северо-восточном берегу озера Мергень заключается, прежде всего, в составе почвы, которая обладает исключительными свойствами консервации органических остатков, в которой сохраняются как кости крупных млекопитающих, так и мелкие (ребра и позвонки) и чешуя рыбы. Однако эти свойства проявляются в большей степени в прибрежной части озера и р. Мергеньки. Для уточнения границ распространения консервирующих почв и отложений в глубине мыса параллельно и перпендикулярно руслу были заложены шурфы, разрезы которых позволяют достаточно точно представить планиграфическое и высотное распространение покровных отложений террасы и их формирование. В пределах отметки 2,0 м от уровня воды в озере отложения представлены слоем черного с некоторыми вариациями цвета слегка запесоченного суглинка, мощностью 0,6–0,7 м. Мощность его уменьшается до 0,4 м по направлению от берега системы. Черный суглинок в нижней части иногда с коричневым оттенком лежит на плотном желтоватого цвета суглинке, представляющем собой тело террасы. В 110–120 м от берега речки и далее по всей террасе, что соответствует высотным отметкам 2,0–6,5 м и более, мощность отложений уменьшается и меняется их состав. Черный запесоченный суглинок сменяется черной, с постепенным переходом к серой, супесью, мощность которой колеблется в пределах 0,2–0,4 м. Супесь подстилается серым песком, мощностью 0,05–0,1 м ближе к руслу Мергеньки и 0,15–0,2 м в глубине террасы, отложения лежат на желтоватом суглинке.

Наслоения коррелируются с геоморфологическими уровнями; так, отметкам до 2,0 м в основном соответствует современный уровень поймы/высокой поймы р. Мергеньки и озера. В основном на этом уровне и прослежен темный с песком суглинок, в котором хорошо сохраняются кости и изделия из них. Можно предположить, что сформировался этот слой при непосредственном участии глинистых отложений, принесенных и осевших в затопляемой части поймы во время весенних половодий. Насколько часто происходили подтопления мыса – говорить сложно, но, судя по разности мощности слоев у края берега речки и на отметке 2,0 м, которая составляет около 0,2–0,3 м, глинистые на-

слоения сыграли заметную роль в формировании прибрежных пойменных отложений.

С другой стороны, косвенно о достаточно длительных периодах весенних половодий свидетельствует геоморфологическое положение кратковременных стоянок и древних поселков. В настоящее время на территории мыса открыто и частично исследовано пять ранних, относящихся к мезолиту и неолиту комплексов, за исключением первого, поселки были долговременные с основательно построенными жилищами. По нашему мнению все они были оставлены родственным населением, которое длительное время контролировало эту территорию, удобную для охоты, но особенно для запорного рыболовства.

Различное гипсометрическое положение древних поселков относительно уровня воды в водоемах и весенних разливов связано скорее всего с климатическими изменениями и колебаниями уровня грунтовых вод в голоцене.

Наиболее ранним в хронологическом плане является мезолитический комплекс Катеньки, расположенный в отдалении как от берега озера, так и от р. Мергеньки на отметке 3,0 м от уровня воды. Судя по палинологическим спектрам (Матвеев и др, 1994), комплекс существовал в бореальный период голоцена. Находки, среди которых встречались экземпляры с налипшими железистыми конкрециями, лежали на слое стерильного песка, на краю древнего водоема, в слое серой супеси, ниже почвенного горизонта. Вторым по времени обитания на этой территории считается поселение Мергень 3, расположенное на краю северо-восточного берега озера Мергень, на отметке 4,0–5,0 м от уреза воды. В настоящее время остатки древнего поселка находятся на достаточном удалении (300–500 м) от воды. Функционировало поселение скорее всего в период, когда озеро подходило к самой террасе, большая часть мыса была подтоплена, в том числе и слой с изделиями на Катеньке. Вероятно, в это время (нач. VI тыс. до н. э.) на каменных орудиях мезолитического комплекса и отложились окислы железа. О древности Мергени 3 (Зах, Скочина, 2002) свидетельствует также практически полное отсутствие почвенного покрова террасы, что как раз может соответствовать началу атлантического периода голоцена. Через некоторое время обводнения становятся реже, подтапливается только пойменная часть мыса, на наш взгляд, население покинуло поселение Мергень 3 и основало новый поселок Мергень 5, находящийся ближе к воде. Периферия поселения находится на уровне 2,5–3,0 м от уровня воды, маркирует оконечность мыса второго геоморфологического уровня. Впоследствии поселок переместился на самый край мыса (поселение Мергень 6) (Зах, Скочина, 2009), где, судя по количеству и углубленным стационарным жилищам, находился достаточно длительное время. Появление на поселении больших по площади и углубленных в материк жилищ с канавками (вероятно, дренажными) по периметру и минимальным количеством находок в заполнении свидетельствует о начале изменения режима и поднятии уровня грунтовых вод. Это может подтверждаться появлением грунтовых вод в глубоких ямах жилищ, при исследованиях поселения в 2002 и 2004 гг, когда отмечались сильные половодья на реках Тобол, Ишим и др.

Материалы поселения Мергень 7, открытого и исследованного в последние годы, имеют сходство с комплексом Мергень 6, козловскими Притоболья (Зах, 2009) и изылинскими Присалаирья и Приобья (Зах, 2003). Их сближает форма посуды, наплывы с внутренней стороны венчика и орнаментация отступающей палочкой в Притоболье и Приишимье в сочетании с гребенчатыми оттисками. Поселение Мергень 7 находится на уровне 4,0–6,0 м от уровня воды и оставлено, на наш взгляд, населением, покинувшим поселок Мергень 6, который стал периодически подтапливаться.

На основе стратиграфии, геоморфологического, спорово-пыльцевого и геохимических (Мергень 6) анализов спектров из культурных слоев поселков (Матвеев, и др., 1997) северо-восточного побережья оз. Мергень можно выделить пять типов ландшафтов, соответствующих определенным археологическим периодам.

Характер культурного слоя стоянки Катеньки, преобладание в составе пыльцы березы Betula sp. (79,9–87,3 %), небольшое количество индикаторов степных сообществ (7,8–16,3 %) свидетельствует о раннеголоценовых ландшафтах, скорее всего сформировавшихся на рубеже предбореального и бореального периодов (8500 л. н.). Спорово-пыльцевой состав проб, полученных из дерна и черной гумусированной супеси, разнообразнее по видам древесных и травянистых растений. Сокращение пыльцы березы и увеличение в составе спектров полыни и полынно-маревых свидетельствует об изменении ландшафтов, сокращении лесов и увеличении остепненных пространств.

Скорее всего мезолитическая стоянка (Зах, 1999) находилась у самой воды, на мысу, вдававшемся в акваторию обширного водоема, включающего оз. Мергень, современные высокую пойму и пойму вытекающей из него р. Мергеньки с рядом озер – плесов и займище, расположенное к северу от древнего поселка. Вероятно, в этот период времени озера Травное, Кислое, расположенные южнее Мергени, были единым бассейном и через долину р. Мергеньки соединялись с Ишимом. Террасы и межозерья были покрыты густым березовым лесом с небольшими зарослями ольхи, а по берегам водоемов –

ивы. На опушках и небольших прогалинах встречались полынно-маревые, сложноцветные и мхи.

Площадь памятника небольшая, сооружения и хозяйственные комплексы отсутствовали, в культурном слое изредка встречались единичные фрагменты угольков и пережженных костей. Каменный материал Катеньки включал орудия, изготовленные из яшмы, по составу и структурно-текстурным особенностям относящейся к довольно редкому типу – давлетовской кружевной яшме, коренные выходы которой расположены на Южном Урале (гора Карамалыташ), а также калканской яшмы. Большое количество изделий, изготовленных из слабо окварцованного среднезернистого кварцевого песчаника с халцедоновым цементом, окремненного мелкозернистого кварцевого песчаника. Источником этих пород скорее всего является русловой аллювий рек восточного склона Среднего и Южного Урала, Северного Казахстана и Зауралья (Зах, Скочина, 2010).

В мезолитическом слое памятника найдено 689 кремней: из них встречены нуклеусы, ножевидные пластины и их сечения, пластины и сечения с ретушью, резцы, резчики, скобели, острия, концевые скребки, геометрический микролит или же скошенное острие (?), скребки на отщепах, резец на отщепе и 288 отщепов.

Учитывая отсутствие в основном комплексе керамики, микролитичность каменного инвентаря, спорово-пыльцевой состав, характерный для разрезов послеледникового времени (аналогичная растительность начинает господствовать с рубежа предбореального и бореального периодов голоцена) (Хотинский, 1977), стоянку Катенька следует относить ко времени около 9 тыс. л. н.

В начале атлантического периода (7700–6300 л. н.) ландшафтно-климатическая ситуация, судя по спорово-пыльцевым образцам с поселения Мергень 3, мало изменилась, скорее всего произошло увеличение площади зарослей березы (пыльца Betula 95,0 %), сократились свободные от леса пространства (индикаторы степных ценозов – Artemisia и Compositae полностью исчезли). Не исключено, что в это время уровень существующего водоема поднялся, о чем может свидетельствовать геоморфологическое положение жилищ поселка Мергень 3, расположенного на краю террасы восточного берега оз. Мергень, на 4–5 м выше современного уровня воды в озере. Скорее всего в это время произошло частичное подтопление поселения Катенька. Однако спектры образцов, отобранные выше по разрезу при достаточно большом содержании пыльцы березы, уже содержат небольшое количество сложноцветных.

Из трех западин на поселении две из них, ближние к краю террасы, были исследованы раскопом площадью 288 кв. м. Оба сооружения имели почти круглую форму, отвесные стенки и два выхода, находящиеся друг против друга. Котлованы глубиной (от уровня материка) 0,54 и 1,1 м, площадь составляют около 54 и 68 кв. м (Зах, Скочина, 2002).

Постройки с Мергени 3 имеют достаточно широкие пространственные и временные аналогии. Круглые дома, иногда углубленные в землю, известны на поселении натуфийской культуры в Эйнане (Мелларт, 1982), на поселении Леуши 9 в бассейне р. Конды (Беспрозванный, 1985; 1997), на поселениях быстринского типа, в частности, на поселении Барсова Гора II/8 (Очерки истории.., 1999. С. 12), поселении ЮАО 9 (Алексашенко и др., 1984), поселении ЮАО 5 (Викторова, Зырянова, 2002), поселении ЮАО 15 (Ковалева, Варанкин, 1984), поселении Боборыкино 2 (Крижевская, 1977) и Юртобор 3 (Зах, 1995).

Керамический коплекс относится к раннему боборыкинскому этапу боборыкинской культуры – VI тыс. до н. э. (Зах, 2006). Посуда плоскодонная и круглодонная, горшковидной, слабопрофилированной и баночной форм. У днищ плоскодонных сосудов довольно часто отмечается орнаментированный выступ. Сосуды крупных размеров, высотой до 35 см, с толщиной стенок преимущественно 0,7–1,0 см. Орнаментированы в основном на $^1/_3$ поверхности. Орнамент выполнен прочерченными линиями, одинарной и раздвоенной отступающей палочкой, круглыми неглубокими ямками, на некоторых экземплярах под краем венчика нанесены глубокие круглые ямки, они наиболее характерны для комплексов Приишимья. В некоторых случаях отмечаются вертикально расположенные элементы – так называемые древовидные фигуры. Есть сосуды с выступами – «ушками» по краю венчика, по мнению некоторых исследователей, представляющими собой зооморфные изображения (Ковалева, Арефьев, 1993).

Характерной чертой посуды боборыкинского этапа является наличие неорнаментированных сосудов, их количество на разных памятниках варьирует. На поселениях Мергень 3 и Юртобор 3, с наиболее ранними и «чистыми» керамическими комплексами, они составляют 27,6 и 21,9 % соответственно. Одним из ранних признаков можно считать орнамент в виде мелких неглубоких ямочных вдавлений, он отмечен более чем на $^1/_5$ части сосудов боборыкинского этапа. К ранним, видимо, относятся узоры (горизонтальная линия, зигзаг, волна), выполненные в прочерченной технике. В какой-то степени показателем раннего этапа может служить незначительная доля сосудов, орнаментированных гребенчатыми оттисками, в основном «качалкой». На некоторых поселениях довольно большой процент составляет посуда, украшен-

ная одинарной и раздвоенной отступающей палочкой.

По углеродосодержащим остаткам из керамики поселения получены две даты (Ki – 17068 2410±60; Ki – 17069 5520±140 л. н.). Определения сделаны в радиоуглеродной лаборатории г. Киева. На наш взгляд, для боборыкинского комплекса эти даты сильно завышены[1]. Для аналогичных материалов с поселения Юртобор 3 из Притоболья по углю получены две даты (УПИ 559 7001±120; СОАН 5311 9025±70 л. н.).

Основным сырьем для изготовления орудий поселения Мергень 3 служили актинолит-эпидот-халцедоновая яшма, окремненный спонголит (яшмовидная порода), окремненный слабокарбонатизированный туффит (яшмоид), измененный псаммитовый кристаллолитокластический туф, ближайшие выходы которых приурочены к Южноуральской яшмовой провинции. Наряду с этим встречены изделия из окремненного апорироксенитового серпентинита с реликтовой полигональной структурой, неотсортированного кварцевого песчаника, мелкозернистого кварцевого песчаника с единичными хорошо окатанными обломками кварца и тонкозернистого кварцевого песчаника с гематитовым цементом, которые встречаются около г. Кустаная в верховьях р. Тобол.

В коллекции поселения Мергень 3 выделены функциональные группы орудий, такие, как нуклеусы, пластины с обработкой и без обработки краев, резцы, скребки на пластинах, скребки на отщепах, топоры и тесла из сланцевых пород камня. Отсутствуют скошенные острия. Одна трапециевидная пластина, имеющая ретушь с двух сторон брюшка, определяется как вкладыш для ножа. В коллекции поселения Мергень 3 есть ручной терочник для растирания охры. Интересен обломок изделия (светильник?) из мягкого коричневатого сланца, плитки которого в большом количестве встречаются на перекатах р. Ишим. Целое изделие, вероятно, представляло собой плитку подквадратной формы с закругленными и слегка приподнятыми краями. В центре, вероятно, каменным скребком выскоблено углубление, на дне его хорошо заметно пятно плотного, возможно, органосодержащего вещества.

В целом индустрия имеет ярко выраженный пластинчатый характер. Результаты трассологического анализа орудий показали, что ведущую роль на поселении Мергень 3 играла деревообработка. Не менее важны были кожевенное производство и разделка охотничьей добычи. Близкое соотношение различных видов деятельности (охота, обработка кожи, дерева, кости) отмечается и на ряде других боборыкинских поселений (Шаманаев, 2002. С. 16, 17; Алексашенко, 1986. С. 15). В целом каменный инвентарь поселения Мергень 3 во многом сходен с комплексами памятников боборыкинской культуры Нижнего Притоболья (Ковалева, Варанкин, 1976. С. 22; Ковалева, 1989. С. 59).

Наметившаяся аридизация климата в конце боборыкинского этапа приводит к постепенному переносу поселков ближе к водоемам. Вначале появляется поселение Мергень 5 на северо-восточном берегу, а затем Мергень 6 на самом мысу у истока р. Мергеньки из озера. В период существования неолитического поселка Мергень 6 происходит радикальное изменение климатических условий и соответственно ландшафтов.

Палинологические и геохимические исследования на поселении Мергень 6 позволили реконструировать особенности ландшафтно-климатических условий на побережье озера и детализировать локальные условия обитания человека в неолите, эпоху раннего металла и переходный период от бронзового к раннему железному веку.

Поселок приурочен к частично высокой пойме озера. Погребенные почвы и культурные слои были переработаны интенсивным антропогенным воздействием и почвообразовательным процессом и представляют собой луговые почвы с включением археологического материала. Отличаются высоким содержанием гумуса в мощным гумусовым горизонте, близким залеганием грунтовых вод, восходящей и нисходящей миграцией элементов по профилю и интенсивными внутрипочвенными процессами. Цветовые границы культурных слоев не сохранились. Почвенные и палинологические исследования образцов[2] из основных генетических горизонтов поселения Мергень 6 и современной почвы показали изменения в содержании фосфора и кальция[3], поступающие в почву с органическими остатками, а также изменения в составе пыльцы.

Палеоэкологические условия неолитического времени (кошкинский этап боборыкинской культуры V тыс. до н. э.) и климат были существенно теплее и суше современного, поселок окружали практически безлесные ландшафты, характерные для южной лесостепи. Доминировали фитоценозы остепненных разнотравно-полынных лугов. Несмотря на низкий уровень грунтовых вод, в неолите происходили экстремальные подтопления поселка. Так, на стратиграфии одного из жилищ выявлен слой «первого пола», отсыпка и слой «второго пола». В слое первого пола и отсыпки присутствуют остатки пресноводных губок, зеленых мхов, водоросли и пыльца околоводных растений. В вышележащих отложениях неолитического слоя их нет, а доминирует пыльца луговых трав и полыней. Вероятно, можно предположить, что на фоне общего дефицита увлажнения при функционировании поселения имели место и экстремально влажные годы/сезоны, не повлиявшие, однако, на общую

ландшафтно-климатическую ситуацию в раннем неолите. Эпизодичность этих явлений подтверждается также тем, что поселение не перенесли на более высокое место, а просто приподняли уровень пола. Ранненеолитический слой маркирован также яйцами гельминтов (группа цистод), паразитирующих в основном на рыбе – что полностью согласуется с присваивающим хозяйством, где ведущую роль играло запорное рыболовство.

Неолитический поселок Мергень 6 располагался на краю мыса и имел определенную, вероятно многослойную круговую организацию пространства. В центральной части находилось два жилища (14, 21) площадью более 100 кв. м, вокруг них располагались строения (3, 5, 8, 15, 16) меньших размеров и глубины. Внешний круг составляли постройки (1, 7, 9, 10, 13) с разной глубиной котлованов площадью около 25 кв. м (см. вклейку: с. 80, ил. 1). Постройки различаются и по конструкции, на полу больших и достаточно углубленных жилищ прослеживаются канавки по всему периметру котлованов. Не исключено, что они выполняли функцию дренажных канав при повышении уровня грунтовых вод или в большие половодья. В жилище 21 у северо-западной стенки найдено погребение ребенка, а в центральной части в узкой яме находились отдельные кости человека. Кроме этого, в постройке 15 и ямах возле жилищ найдены обломки черепа и челюстей.

Посуда изготовлена из глины с примесью песка, шамота и органики. Лепилась жгутовым способом, обжигалась в костре, о чем свидетельствует коричневый цвет поверхности керамики. Сосуды баночной, полуяйцевидной и закрытой формы со слабо выпуклыми боками, с прямым или слегка профилированным венчиком (см. вклейку: с. 81, ил. 2). Некоторые венчики имеют слабый наплыв с внутренней или внешней – «карнизик» – стороны. Срез венчиков украшался наколами. Днища круглодонные, плоские имеют по краям небольшой своеобразный выступ, который часто орнаментировался. Орнамент выполнен техникой отступания (которая преобладает), прочерчивания и наколами. В большинстве случаев орнамент имеет горизонтальную зональность, но встречается и вертикальное членение узоров. Встречаются неорнаментированные сосуды, но их меньше, чем на поселении Мергень 3, и наоборот – сосудов, украшенных оттисками гребенчатого штампа, становится больше.

Даты по углеродосодержащим остаткам из керамики, полученные в радиоуглеродной лаборатории г. Киева (Ki – 15908 6870±90; Ki – 17070 7290± 140 л. н.), кроме (Ki – 17071 3490±120 л. н.), которые явно завышены (возможно, заражены современным углеродом) не противоречат времени существования продатированных кошкинских комплексов.

Сырье, из которого изготовлен каменный инвентарь, представлено окремненным туффитом с реликтовой обломочной структурой, гематит-халцедоновой-апотуффитовой яшмоидной породой с текстурами взмучивания, ожелезненным, окремненным аподинитовым серпентинитом с петельчатой структурой, окремненным туфом кислого состава (яшмоид), ожелезненным, окремненным туфом (яшмоид), апопсаммитовой графит-халцедон-кварцевой породой с плойчатой структурой (лиддит), а также слабо раскристаллизованным обсидианом темно-коричневого цвета с раковистым изломом. Перечисленные породы преобладают в каменном комплексе поселка и тяготеют к восточным склонам Южно-Уральской яшмовой провинции. Нефритоподобная апотуфовая порода, среднезернистый кварцевый песчаник белого цвета с жирным блеском, окремненный кварцевый песчаник, мелкозернистый кварцевый песчаник с дендритами гидроокислов железа происходят скорее всего из небольших массивов в верховьях рек Тобола и Ишима или из русловых галечников.

Типологически на поселении выделены: нуклеусы и нуклевидные сколы, пластины с ретушью, пластины без ретуши, резцы, сверла, концевые скребки, наконечники стрел, скребки, орудия на отщепах, отщепы, шлифованные орудия: топорик, обломок песта, предмет неясного назначения, абразивы, отбойник.

Среди известных боборыкинско-кошкинских поселений Тоболо-Ишимского междуречья Мергень 6 занимает особое место в силу залегания культурных остатков во влажном суглинке, в котором хорошо сохраняется кость. Типологически выделяются проколки, кочедыки, струг, ножи, наконечники стрел, лопаточки для заглаживания керамики, топоровидные изделия – долота, тесла, иглы, орнаментир и т. д. Многие типы костяных орудий представлены значительными сериями, некоторые, например, вкладышевые ножи, наконечники гарпуна или проколка (наконечник стрелы) биконической формы, единичны. Большая часть костяных изделий относится к неолитическому периоду существования поселка (см. вклейку: с. 82, ил. 3). Наиболее представительны в коллекции различного рода острия, изготовленные из рога и трубчатых костей. В одних случаях использовались кости крупных животных, в других – трубчатые кости птиц. Достаточно большую серию представляют костяные изделия с загрубленными широкими краями, возможно «рыбочистки». Найдены костяные долота, изготовленные из крупных костей копытных. В заполнениях кошкинских сооружений обнаружено несколько костяных игл. Особая серия – изделия из расколотых вдоль или целых зубов, иногда резцов. Эмаль зуба с успехом могла заменять твердые

породы камня. Зубы, а иногда и относительно целые челюсти с подработанным коренным зубом или резцом использовались как скобели и резцы. Аналогичные орудия известны, например, в мезолитическом комплексе Веретье и на неолитическом поселении Иня 11 (Ошибкина, 1997; Зах, 2003). Некоторые костяные изделия орнаментированы насечками или зигзагообразными линиями, на одном хорошо видны следы, позволяющие реконструировать способ крепления его к рукояти.

Благодаря суглинистым почвам на поселении Мергень 6 хорошо сохранился и остеологический материал, который, что очень ценно, происходит и из слоев неолита и эпохи раннего металла. Данные материалы пока единственные в лесной части Тоболо-Ишимья, позволяющие реконструировать направления жизнеобеспечивающей деятельности древнего населения. Палеозоологические материалы исследовались П. А. Косинцевым и А. Е. Некрасовым, материалы частично опубликованы (1999). На ранних этапах функционирования поселка население добывало наряду с крупными млекопитающими и мелкие пушные виды, а также болотную, боровую дичь и рыбу.

Видовое разнообразие костей млекопитающих в неолитических слоях на поселении Мергень 6 свидетельствует о множестве приемов и способов охоты у кошкинского населения. Для пополнения мясных запасов охотились на лося, косулю, северного оленя, медведя, дикую лошадь. В основном ради меха добывались заяц, сурок, бобер, волк, лисица, куница, барсук и выдра. С собакой достаточно крупных размеров, которая не подходила для добычи норных животных, охотились, по мнению П. А. Косинцева, на крупных млекопитающих. Сурок и барсук добывались в теплое время года, лисица и куница скорее всего в конце осени и зимой, охота на остальных животных могла вестись круглый год (Косинцев, Некрасов, 1999).

Кроме того, население поселка охотилось на водоплавающую и боровую дичь. Обнаружены кости, принадлежащие 20 видам птиц из 6 отрядов. Большинство остатков орнитофауны представлено водоплавающими видами, среди которых доминируют поганкообразные. Большое количество костей, жаберных крышек и чешуи рыб свидетельствует об интенсивном занятии населения рыболовством. Определено четыре вида рыб: карась, язь, окунь и щука. Положение углубленных жилищ поселения Мергень 6 на краю мыса у самой воды, у истока речки из озера, где мог находиться запор с ловушками типа гимг, видовой и количественный состав животных, а также большое количество костей и чешуи рыбы в слое указывают на то, что здесь существовал долговременный поселок оседлых рыболовов и охотников.

В конце атлантического периода (6100–5300 л. н.), судя по спорово-пыльцевым спектрам, взятым из слоев, перекрывающих неолитическое жилище 2 на поселении Мергень 3, ландшафт был близок существовавшему в бореальный период голоцена. В спектрах вновь начинает доминировать пыльца березы. Сокращается пыльца представителей степных ценозов. Не исключено появление обширных водоемов. О начавшейся гумидизации климата и распространении древесных пород в этот период свидетельствует спорово-пыльцевые спектры на границе между ранее недифференцированными неолитическим и слоем раннего металла (гребенчато-ямочная общность, III тыс. до н. э.) поселения Мергень 6. В конце атлантического периода происходит подъем грунтовых вод, учащаются паводки, население кошкинского поселка, вероятно, постепенно переселяется на более высокую отметку и организует новое поселение Мергень 7. На мысовидном образовании второй абразивной террасы прослеживается 11 жилищных западин. Раскопом площадью 233 кв. м исследованы две углубленных камеры жилища площадью 50 и 80 кв. м, соединенных небольшим переходом. Котлованы подпрямоугольной со скругленными краями и более четкой прямоугольной формы. В камерах отмечены остатки, вероятно, настила, закрывавшего пол и укрепления стенок котлованов, выглядевшие как вытянутые канавки вдоль стен и в центральной части жилищ, в которые, по всей видимости, укладывались бревна, являющиеся обрешеткой. Аналогичные конструкции отмечены в больших по размерам постройках поселка Мергень 6. Расположение столбовых ямок в жилищах позволяет реконструировать их как полуземлянки с каркасно-столбовой конструкцией.

За пределами жилища у северного угла котлована была зафиксирована яма, ориентированная с севера на юг, с костями человека, уложенными в хаотичном порядке. Судя по количеству длинных костей, останки принадлежали, как минимум, двум особям. Кости в яме были обожжены и перемешаны с углем.

Керамический комплекс представлен отдельными фрагментами и развалами приблизительно от 50 сосудов, преимущественно открытой баночной формы с плоским, округлым и приостренным дном. Срез венчиков в равных долях плоский и округлый, украшен насечками, наколами и оттисками гребенки. У половины сосудов отмечены наплывы, практически во всех случаях украшенные прочерченной волной или линией. Основными элементами орнаментации являются линия, зигзаг-волна, выполненные в различных техниках нанесения, и наколы. Встречаются ямки и оттиски шагающей гребенки. В целом керамический комплекс дати-

руется эпохой неолита и является новым для этого региона Нижнего Приишимья. Находит аналогии в неолитических материалах Нижнего Притоболья, в частности, в козловских и полуденковских керамических материалах.

Что в принципе подтверждается датами по углеродосодержащим остаткам из керамики, полученными в радиоуглеродной лаборатории г. Киева (Ki – 17074 5720±120; Ki – 17081 5520±120 л. н.),

Коллекция изделий из камня насчитывает около 1500 предметов. В качестве сырья использовался серый, бордовый, черный кварцевый песчаник, красно-бежевая яшмовидная порода, кремнистый сланец, кремень различных расцветок, черный плитчатый сланец, зеленый сланец, крупнозернистый песчаник. Основная масса находок происходит из заполнения сооружений. В комплексе присутствуют шлифованные топоры, тесла, скобели, ножи, сверла, острия, наконечники стрел, терочник, многочисленные скребки, основная масса которых концевые и микролиты.

В конце атлантического – начале суббореального периодов в Приишимье преобладали лесостепные ландшафты с большей долей березовых лесов. Характерно появление пыльцы сосны и даже единично кедра и пихты. Пыльцы хвойных пород мало, но увеличение даже и ее ветрового заноса может рассматриваться как индикатор активного развития лесов в подтайге и свидетельствовать об общем региональном климатическом тренде в сторону увлажнения и похолодания. В составе пыльцы трав резко изменилась доминирующая группа – около поселения Мергень 6 массово расселились представители семейства цикориевых (цикорий, одуванчик, осот и др.), многие из которых относятся к сорнякам рудеральной группы и не отмечались в спектрах ранее. Заметное повышение концентрации биофильных элементов (прежде всего P_2O_5 на 0,5 % по сравнению с фоновыми значениями) свидетельствует о сравнительно небольших поступлениях дополнительного органического вещества в поселке в эпоху раннего металла.

Гидрологический режим водной системы вновь позволил населению основать поселок на самом краю мыса. По углю, собранному из прокала, связанного скорее всего с керамикой эпохи раннего металла, получена дата ИГАН 1839 3940±210 л. н., т. е. новое освоение мыса произошло в конце III – начале II тыс. до н. э. (Зах, 2009, с. 260). От этого времени сохранились остатки слабоуглубленных жилищ площадью около 50–60 кв. м с очагом и системой хозяйственных и столбовых ям. Керамический комплекс представлен 180 сосудами полуяйцевидной формы с прямыми или слегка наклонными внутрь стенками, закругленными, приостренными или плоскими краями венчиков, украшенными, как правило, гребенчатым или веревочным штампами. Поверхность сосудов полностью орнаментировалась, включая дно. Орнамент состоит из чередующихся оттисков гребенчатого штампа и рядов глубоких округлых, овальных или фигурных ямок. Каменный и костяной инвентарь эпохи раннего металла представлен скорее всего скребками округлой формы, наконечником копья с двухсторонней обработкой и рядом костяных изделий, с худшей сохранностью, чем неолитические, среди которых проколки, гребенчатый штамп, гарпун и иглы.

Из жилищ и ям эпохи раннего металла происходят кости лося, косули, медведя, волка, лисы, бобра, дикой лошади и кабана, а также болотной и боровой дичи. В культурном слое этого времени встречена масса костей карася, щуки, окуня и карповых (Косинцев, Некрасов, 1999).

С конца III до I тыс. до н. э. мыс у истока р. Мергеньки редко посещался небольшими коллективами охотников и рыболовов, а позднее и скотоводов, оставивших на берегах незначительное количество своей керамики.

Вновь территория мыса стала интенсивно осваиваться в переходное от бронзы к железу время (красноозерская культура), в этот период и отмечаются наиболее серьезные изменения локальных условий обитания. Спецификой спорово-пыльцевых спектров красноозерского слоя стало доминирование пыльцы сорняков рудеральной и пасквальной (пастбищной) группы – обилие пыльцы клевера ползучего, подорожника среднего, пастушьей сумки, разнообразных представителей зонтичных, конского щавеля, чертополоха и ворсянки. Кроме того, встречены оболочки яиц аскарид, паразитирующих на лошадях. В слое зафиксированы аномальные концентрации фосфора – более 2 % и кальция – более 8 %. Эти данные свидетельствуют об очень высокой антропогенной нагрузке на растительный покров, преобразовании коренных луговых фитоценозов около памятника на фоне выпаса домашних животных и очень большом поступлении дополнительной органики за счет содержания скота.

В спорово-пыльцевых спектрах этого времени замечается увеличение доли пыльцы березы, а в верхней части красноозерского слоя и пыльцы сосны. К началу раннего железного века отмечается общее увеличение доли лесов около поселения, что свидетельствует об улучшении условий увлажнения в лесостепи.

По всему мысу у истока из озера р. Мергеньки отмечаются ямы, заполненные черным суглинком, содержащие красноозерскую и керамику с гамаюно-иткульскими чертами (Зах и др., 2008), а иногда забутованные рыбьей чешуей. Жилищ не прослежено, не исключено, что мыс был площадкой

для заготовки рыбы, возможно, на реке находился запор, а поселок (Мергень 2) располагался на террасе. Это было скорее всего сезонное поселение населения с комплексным хозяйством, в котором большое место отводилось рыболовству. На Мергени 2 обнаружена лишь красноозерская посуда. Не исключено, что территория мыса использовалась в переходное время от бронзы к железу, по крайней мере, двумя группами населения: красноозерским, скорее всего местным, и гамаюно-иткульским, посуда которого находит аналогии, прежде всего, в Притоболье. Наряду с керамикой на Мергени 6 найдены бронзовые ножи, проколки, бронзовые и костяные наконечники стрел и роговые «клинья». По бронзовым изделиям и радиоуглеродной дате, полученной по чешуе рыбы СОАН 4927 2650± 70 л. н., комплексы переходного времени от бронзы к железу, происходящие из верхних горизонтов поселения Мергень 6, датируются в пределах VIII–VII вв. до н. э.

Таким образом, материалы комплекса разновременных поселков, расположенных на северо-восточной оконечности оз. Мергень, среди которых, несомненно, выделяется многослойное поселение Мергень 6, с консервирующими свойствами культурного слоя, кроме археологической информации дают возможность на основе стратиграфии, геоморфологического и спорово-пыльцевого анализов реконструировать палеоландшафты ранних периодов голоцена в этом регионе, а также провести корреляцию с данными из лесостепной зоны сопредельных территорий. Процесс климатических изменений и смены ландшафтов, происходящий в течение значительного промежутка времени бореального – суббореального периодов голоцена, вероятно, характерен не только для данного региона, а распространяется на все Нижнее Приишимье. Наряду с этим отмечается определенная взаимосвязь между палеоклиматическими процессами, освоением жизненного пространства и хозяйством древнего населения.

Первыми на берегах озера появилось аборигенное население мезолитических охотников. Впоследствии сюда приходят мигранты, вероятно, из Прикаспия или с сопредельных с ним территорий. С одной стороны, пришельцы начинают смешиваться с аборигенным населением, с другой – мы отмечаем постепенное развитие их культуры. Прослеживается, как скорее всего разные поколения одной группы населения (что может подтвердить или опровергнуть анализ ДНК костей с поселений Мергень 6 и 7) в неолитическое время, в зависимости от уровня грунтовых вод, переносили свои поселки с пойменного участка мыса на террасу.

Появление оседлости в среде неолитического населения, связанной скорее всего с запорным рыболовством, иллюстрирует кошкинский поселок, в культурном слое и заполнениях жилищ которого встречено большое количество мелких костей рыбы, что свидетельствует об огромной роли рыболовства в хозяйстве его обитателей.

Система озеро – протока (курья) – река позволяло населению, перегораживая неширокую речку запором, вылавливать стремящуюся выйти из озера после нереста рыбу гамгами, фитилями и прочими рыболовными приспособлениями, как это делают современные обско-угорские народы. Присутствие в неолитическом слое костей диких животных и собаки говорит о достаточно развитой охоте, причем, вероятно, с собакой.

Это место оказалось привлекательным и для рыболовов, и охотников в эпоху раннего металла, которые, в отличие от населения Нижнего Притоболья, занимающегося сетевым рыболовством, продолжали практиковать запорное, занимаясь при этом охотой, в том числе и на водоплавающую дичь. Привлекал мыс у истока р. Мергеньки из озера и население переходного времени от бронзы к железу, как удобное место для добычи и разделки рыбы и птицы. Однако территория мыса практически не интересовала скотоводов эпохи бронзы и средневековых кочевников, поскольку при аридных условиях речка сильно мелеет, а трава выгорает, что случалось в отдельные годы начавшегося тысячелетия.

Список литературы

Алексашенко Н. А. Хозяйство Нижнего Притоболья эпохи неолита и ранней бронзы (по данным анализа орудий труда): Автореф. дис. ... канд. истор. наук. Л., 1986. 18 с.

Алексашенко Н. А., Викторова В. Д., Панина С. Н. Жилища Андреевского озера (9 участок) // Древние поселения Урала и Западной Сибири. Свердловск: Изд-во УрГУ, 1984. С. 15–32.

Белецкая Н. П. Генетическая классификация озерных котловин Западно-Сибирской равнины // Геоморфология. № 1. Новосибирск, 1987. С. 50–58.

Беспрозванный Е. М. Мезолит таежной зоны Западной Сибири. (Предварительные итоги изучения) // Охранные археологические исследования на Среднем Урале. Екатеринбург: «Екатеринбург», 1997. Вып. 1. С. 26–38.

Беспрозванный Е. М. Первые мезолитические жилища в таежной зоне Западной Сибири // Проблемы древних культур Сибири. Новосибирск: Изд-во ИИФФ СО АН СССР, 1985. С. 91–95.

Викторова В. Д., Зырянова С. Ю. Поселение бобрыкинского типа на Андреевском озере – ЮАО 5 // ВАУ. Екатеринбург: Изд-во УрГУ, 2002. Вып. 24. С. 67–89.

Зах В. А. Археологические исследования в Приишимье в 1997 году // Вестник археологии, антропологии

и этнографии. Вып. 2. Тюмень: Изд-во ИПОС СО РАН, 1999. С. 146–150.

Зах В. А. Боборыкинский комплекс поселения Юртобор 3 в Нижнем Притоболье // Древняя и современная культура народов Западной Сибири. Тюмень, 1995. С. 12–28.

Зах В. А. Периодизация неолита лесного Тоболо-Ишимья // Археология, этнография и антропология Евразии. Новосибирск, 2006. Вып. 1. С. 70–83.

Зах В. А., Скочина С. Н. Каменное сырье комплексов Тоболо-Ишимья // Вестник археологии, антропологии, этнографии. Тюмень: Изд-во ИПОС СО РАН, 2010. Вып. 2 (13). С. 16–28.

Зах В. А. Хроностратиграфия неолита и раннего металла лесного Тоболо-Ишимья. Новосибирск: Наука, 2009. 320 с.

Зах В. А. Эпоха неолита и раннего металла лесостепного Присалаирья и Приобья. Тюмень, 2003. 168 с.

Зах В. А., Скочина С. Н. Поселение Мергень 3 // Вестник археологии, антропологии и этнографии. Тюмень. Вып. 4. Тюмень: Изд-во ИПОС СО РАН, 2002. С. 37–58.

Зах В. А., Скочина С. Н. Ранний комплекс поселения Мергень 6 в Нижнем Приишимье (по материалам 1990, 2002 и 2004 гг.) // Вестник археологии, антропологии, этнографии. Тюмень: Изд-во ИПОС СО РАН, 2009. Вып. 11. С. 16–28.

Ковалева В. Т. Неолит Среднего Зауралья. Свердловск: Изд-во УрГУ, 1989. 80 с.

Ошибкина С. В. Веретье 1. Поселение эпохи мезолита на Севере Восточной Европы. М.: Наука, 1997. 204 с.

Ковалева В. Т., Арефьев В. А. О семантике сосудов с рельефными зооморфными изображениями // ВАУ. Екатеринбург: Изд-во УрГУ, 1993. С. 107–119.

Ковалева В. Т., Варанкин Н. В. К вопросу о происхождении боборыкинской культуры // ВАП. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 1976. С. 21–29.

Ковалева В. Т., Варанкин Н. В. О соотношении кошкинских и боборыкинских комплексов: по материалам поселения на берегу Андреевского озера у Тюмени // СА. М.: Наука, 1984. № 1. С. 144–159.

Косинцев П. А., Некрасов А. Е. Промысловая деятельность людей из поселений, расположенных на берегу озера Мергень (Мергень 5 и 6) в неолите и энеолите // Экология древних и современных обществ. Тюмень: Изд-во ИПОС СО РАН, 1999. С. 100–106.

Зах В. А., Зимина О. Ю., Рябогина Н. Е., Скочина С. Н., Усачева И. В. Ландшафты голоцена и взаимодействие культур в Тоболо-Ишимском междуречье. Новосибирск: Наука, 2008. 212 с.

Крижевская Л. Я. Раннебронзовое время в Южном Зауралье. Л.: Наука, 1977. 160 с.

Матвеев А. В., Зах В. А., Ларин С. И., Дрябина Л. А., Матвеева Н. П. Доисторические культуры и палеогеография Мергенского археологического района // Археологические микрорайоны Западной Сибири. Омск: Изд-во Омск. ун-т, 1997. С. 76–114.

Матвеев А. В., Зах В. А., Ларин С. И., Дрябина Л. А., Матвеева Н. П. Археолого-палеогеографическое изучение комплекса доисторических памятников на оз. Мергень // Археологические микрорайоны Западной Сибири. Ч. 1. Омск, 1994. С. 59–63.

Мелларт Дж. Древнейшие цивилизации Ближнего Востока. М.: Наука, 1982. 150 с.

Очерки истории традиционного землепользования хантов (материалы к атласу). Екатеринбург: Изд-во «Тезис», 1999. С. 12.

Хотинский Н. А. Голоцен Северной Евразии. М.: Наука, 1977. 199 с.

Шаманаев А. В. Каменные индустрии мезолита – раннего бронзового века Нижнего Притоболья: Автореф. дис. ... канд. истор. наук. СПб., 2002. 23 с.

Примечания

1 Причиной этого скорее всего является сильное загрязнение образцов современным углеродом. Поселение исследовалось в 1990 г., материалы за 20-летний период в связи с частыми переездами ИПОС СО РАН хранились в разных местах, в том числе в подвале, который затапливался.

2 Рентгенфлуоресцентная спектроскопия выполнена в лаборатории геохимии и минералогии почв Института физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН, г. Пущино.

3 Здесь и далее интерпретация данных сделана А. С. Якимовым.

Н. Ф. Степанова

ЭПОХА БРОНЗЫ ГОРНОГО АЛТАЯ: КУРОТИНСКИЙ ТИП ПОГРЕБЕНИЙ

Эпоха бронзы Горного Алтая изучена крайне неравномерно. Основное количество памятников относится к ранней бронзе. Тем не менее и для этого промежутка времени остаются нерешенными вопросы хронологии, культурной принадлежности памятников, происхождения населения и многие другие. В связи с тем, что полевые работы в последние годы сократились, а поставленные вопро-

сы требуют решения, проводится анализ и ревизия имеющихся материалов, что позволило выделить куротинский, улитинский типы погребений, но место их среди памятников эпохи бронзы окончательно не определено (Степанова, 2009; 2010 а, б).

Впервые вопрос о выделении памятников куротинского типа был поставлен М. Д. Хлобыстиной на основании материалов могильника Курота-II, который она считала памятником второго этапа афанасьевской культуры (1975). С накоплением данных стало очевидным, что захоронения с ориентацией на СВ и В не характерны для афанасьевской культуры, им сопутствует ряд других нетипичных для этой культуры признаков (Степанова, 2005 а, б). Это послужило основанием вновь поставить вопрос о куротинском типе погребений и отнести к нему в общей сложности 35 объектов: помимо могильника Курота-II, все захоронения с направлением на СВ, СВВ и В, включая объекты, которые рассматривались как афанасьевские и культурная принадлежность которых определялась эпохой бронзы – погребения с баночными сосудами из Куроты-II, к. 4, Бойтыгема-2, к. 5, Берсюкты-1, к. 1 (Степанова, 2009; 2010 в). Эти захоронения объединены как тип погребений, а не памятников, т. к. исследованы на разных могильниках и не локализованы на отдельной территории. Нередко на памятнике раскопано по одному объекту, например, Озерное-II, Пещеркин Лог-1, и остается не ясным, насколько характерен подобный обряд для могильника в целом (Могильников, 1987; Деревянко, Молодин, Маркин, 1987). Исключение составляют Курота-II и Нижний Тюмечин-5, на которых исследовано 9 и 4 объекта и нет типичных афанасьевских захоронений (Киселев, 1951; Абдулганеев, Славнин, 2004). Возможно, три погребения с ориентацией на В раскопано на могильнике Бике-I* и еще одно подобное захоронение исследовано на расположенном рядом Бике-II (Кубарев, Киреев, Черемисин, 1990; Кубарев, Черемисин, Слюсаренко, 2001). К сожалению, материалы раскопок Куроты-II и Нижнего Тюмечина-5 сохранились не полностью. Все это не позволяет поставить вопрос о выделении типа памятников, а тем более новой археологической культуры.

Особенности погребального обряда. Каждый из вышеперечисленных памятников отличается от афанасьевских. *Могильник Курота-II* – отсутствием захоронений с характерным для афанасьевской культуры направлением на ЮЗ и преобладанием ориентации умерших на восток, количеством плоскодонных сосудов (из пяти – один остродонный, курильница, два плоскодонных горшка и банка), сложной конструкцией из дерева над могилой в кургане 1, погребением в могиле двух и трех человек, в одной из них с ориентацией в противоположном направлении (Киселев, 1951. С. 57–58. Табл. VI. Рис. 12–18; Степанова, 2005 а). В афанасьевских захоронениях в Горном Алтае захоронения трех человек исследованы только дважды – на могильниках Бертек-33, к. 2 и Сальдяр-1, к. 36, случаев ориентации погребенных в одной могиле в противоположных направлениях – не известно (Древние культуры Бертекской долины, 1994. С. 45; Ларин, 2005. С. 24). По надмогильным конструкциям Куроты-II нет полной ясности. Упоминается, что все 9 курганов земляные. На них выложены круги из камня. В кургане 2 было два концентрических круга. Кроме курганов здесь же находились 3 кольцевые выкладки. Раскопано 7 курганов и 2 кольца (Киселев, 1951. С. 57). По-видимому, часть раскопанных объектов – ограды-стенки. Несмотря на увеличившееся количество исследованных памятников, Курота-II по-прежнему выделяется по погребальному обряду и инвентарю среди афанасьевских.

К сожалению, много не ясно и с *могильником Нижний Тюмечин-5* (Абдулганеев, Славнин, 2004). Судя по сохранившимся записям, раскопано 4 объекта: две оградки-стенки и две из вертикально поставленных плит (ВПП), одна из которых имеет второе кольцо из ВПП вокруг могилы и забутовку из рваного камня между ними (см. с. 83 вклейку: ил. 1: *1–3*). Не известно, сколько объектов содержали захоронения. Не нарушено одно, в котором умершая уложена головой на В с остродонным сосудом с необычным для афанасьевской культуры орнаментом в виде треугольников с опущенными вершинами, высотой венчика и весом (см. вклейку: с. 83, ил. 1: *1–8*; с. 84, ил. 2: *2–22*). На другом объекте найдены сосуд баночной формы, придонная часть плоскодонного и фрагменты керамики с орнаментом в виде треугольных зон, как и на остродонном. Изделия отличаются необычной для афанасьевской керамики толщиной стенок до 1,2–1,4 см, дна – около 2 см. Банка по орнаменту, в т. ч. особенностям его нанесения, напоминает банку из Берсюкты-I, к. 1 (см. вклейку: с. 84, ил. 2: *3, 4*), у нее также имеются небольшие ушки (Кирюшин, Грушин, Семибратов, Тюрина, 2010). В целом этот памятник и по обряду, и по инвентарю не характерен для афанасьевской культуры.

Целый ряд необычных черт зафиксирован на *могильниках Бике-I и II* (Кубарев, Киреев, Черемисин, 1990; Кубарев, Черемисин, Слюсаренко, 2001). Это касается надмогильных конструкций, сооруженных в виде колец из рваного камня и валунов,

* При публикации материалов кургана 10 указывается ориентация погребенной на В, однако на рисунке – на З. Есть и другое несоответствие – в тексте: «У кисти левой руки находился раздавленный керамический сосуд», а на плане он у кисти правой руки (Кубарев, Киреев, Черемисин, 1990. С. 59–63. Рис. 25).

окаймляющих земляную насыпь, которая, как правило, прикрывает могильный холм, включающий галечный выброс (супесь) из ямы, составляющий дополнительное кольцо вокруг могильной ямы (см. вклейку: с. 83, ил. 1: *1–5*). В одном случае конструкция представляла сплошную овальную выкладку. Могилы перекрыты плахами или жердями. Преобладает ориентация погребенных на В, отмечено направление на З и нет на ЮЗ. Своеобразен керамический комплекс (см. вклейку: с. 83, ил. 1: 2–*18, 19*). Сосуды относятся к нескольким типам: остродонные с высоким венчиком и центром тяжести в средней части тулова, курильница (обломки найдены над могилой), так называемый биконический сосуд, имеющий аналогии на могильнике Бойтыгем-2, к. 1 (Абдулганеев, Ларин, 1994). Для афанасьевской керамики не характерны высокие венчики и подобные пропорции сосудов (Погожева, Рыкун, Степанова, Тур, 2006. Табл. 3–5). На памятнике нет керамики, украшенной качалкой. Кольцо из мелкой гальки в центральной части ограды такое же, как на объектах из Бике I и II, исследовано в ограде из Элекманара, в которой не было погребения, но среди камней найден черешковый нож (Степанова, 1993).

Куротинский тип погребений составляют обрядовые группы с ориентацией погребенных на СВ, В и СВВ, между которыми имеются некоторые различия, но сходства больше, чем с памятниками афанасьевской культуры (Степанова, 2009).

Группа погребений с СВ направлением (Бойтыгем-2, к. 5, Пещеркин Лог-1, к. 1, Ело-1, о. 1, Нижняя Тархата-1 и др.) составила основу куротинского типа (49 %). Из них около 50 % захоронений совершены в оградках-стенках, в 53 % конструкций, как часть надмогильного сооружения, зафиксированы насыпи из камня или земли, или же камни, которые могли быть остатками насыпи или центрального сооружения. Перекрытия имелись в 53 % могил (и, возможно, еще в 12 % могил), что выше общего показателя для афанасьевской культуры. Перекрытия чаще встречались в конструкциях с насыпями. Захоронения с охрой составляют около 80 %, безинвентарные – 59 %, без керамики – 65 % (для афанасьевской культуры захоронений без керамики выявлено около 40 %, безинвентарных около 30 %). Остродонные сосуды найдены в 17,5 % захоронений. Ни в одной могиле не прослежено остатков металла, за исключением находок из насыпи на Ело-1 (изделия из металла обнаружены в 18 % погребений афанасьевской культуры). Положение ног коленями налево составляет 60 % и только 13 % направо (в остальных коленями вверх и др.).

Захоронения с ориентацией на В (34 %) выявлены во всех типах надмогильных конструкций (Курота-II, к. 4, Нижний Тюмечин-5, огр. 2, Бике-I, к. 31, 35, Бике-II, к. 1, Зырянка и др.). Оградки-стенки составляют 25 %, и существует вероятность, что сооружения, у которых не определен тип конструкции (33 %), также оградки стенки. Остальные надмогильные конструкции – крепиды, кольца из крупных камней и валунов, насыпь, ограда из ВПП в комбинации с кольцом из равного камня или крепидой, ограда ВПП (Нижний Тюмечин-5) с дополнительным кольцом из ВПП вокруг могилы и забутовкой из рваного камня между кольцами из ВПП. Погребения без керамики и безинвентарные в этой группе составляют по 50 %. Остродонные и остродонно-шаровидные сосуды найдены в 42 % захоронений, плоскодонные – в 17 %. Все сосуды с острым дном из этой группы имеют необычные черты. В отличие от предыдущей группы, в 17 % захоронений зафиксированы остатки металла.

Погребения с ориентаций на СВВ составляют 17 % (Берсюкта-I, Бойтыгем-2, Курота-II и др.). Для третьей части из них тип надмогильной конструкции не установлен, столько же составляют ограды из ВПП, остальные – ограды-стенки и крепиды. Для этой подгруппы отмечено незначительное количество погребений с охрой (33 %) и безинвентарных (17 %). Захоронений с остродонными сосудами 33 %, с остродонно-шаровидными, круглодонными, плоскодонными и баночными по 16,5 %. В одной из могил было две курильницы, круглодонный и «биконический» сосуды (см. вклейку: с. 84, ил. 2: *10, 11, 16, 17*). Для афанасьевской культуры не характерно такое количество сосудов в могиле, их форма и орнамент. Курильницы также отличаются от афанасьевских, например тем, что у них нет ручек. Основное отличие погребений с ориентацией на СВВ от предыдущих заключается в том, что почти во всех могилах найден инвентарь, и мало захоронений с охрой. Однако тип надмогильных конструкций, положение погребенных, наличие плоскодонного и баночного сосуда сближают эти захоронения с группами с СВ и В ориентацией.

Некоторые объекты с плоскодонными и баночными сосудами имеют индивидуальные черты, выделяющие их внутри группы и среди афанасьевских. В частности, захоронение из Пещеркиного Лога 1, к. 1, отличается тем, что погребенный был уложен в могильной яме с уступами на спине с ногами, первоначально слабо подогнутыми коленями вверх, с необычным по составу и количеству инвентарем (шлифованный топорик, орудие типа стамески, кинжал, глиняный плоскодонный сосуд и др.) (см. вклейку: с. 83 ил. 1: *1, 7; 2–5*). Большинство вещей не имеют аналогий в афанасьевских могилах. Захоронение из Ело-1, о.1 выделяется находкой в ЮВ части ограды среди развала камней плоскодонного сосуда, сверху перекрытого небольшой плиткой. Он орнаментирован, как и сосуд из Пещеркиного Лога 1,

глубокими отпечатками штампа с приблизительно такой же длиной рабочего края (см. вклейку: с. 83, ил. 2: *6*). В сосуде находилось около 50 бусин и подвесок. В ограде обнаружены обломки берцовых костей крупного животного, обломанными концами углубленные в материк, возможно, закреплявшие перекрытие органического происхождения (Абдулганеев, Посредников, Степанова, 1997). Курган 5 из могильника Бойтыгем-2, в котором найден баночный сосуд, представлял собой насыпь с крепидным кольцом из более крупных камней. Могила перекрыта плитами у самого дна, а не на уровне древнего горизонта (см. вклейку: с. 83, ил. 1: *2, 4*; 2: *2*). Авторы раскопок отмечали, что надмогильная конструкция не имеет аналогий среди исследованных афанасьевских объектов, к специфичным признакам они отнесли также перекрытие могильной ямы у самого дна, форму сосуда (Абдулганеев, Ларин, 1994. С. 26).

Инвентарь. Помимо керамики в погребениях куротинского типа найдены немногочисленные изделия из камня, кости (рога) и металла. По функциональному назначению они подразделяются на орудия труда, украшения. Назначение некоторых предметов не установлено, например костяных лопаточек из Куроты-II.

Изделия из камня: 2 жезла (Курота-II, к. 2 и Кор-Кобы-1, к. 6), колотушка (Курота-II), 2 наконечника стрел (Первый Межелик-1, огр. 4), отщеп (Усть-Теплая). На могильнике Пещеркин Лог 1, к. 1 найдены кинжал с выраженной рукоятью, шлифованный топорик, орудие с дугообразным лезвием – типа стамески и долото и др. В насыпи кургана обнаружена заготовка топора. Находки из Пещеркиного Лога 1 в основном не имеют аналогий в афанасьевских погребениях, в отличие от жезлов.

Изделия из кости (рога): предмет из рога со следами искусственной обработки, возможно, нож (Кызык-Телань-1, к. 33), роговой перстень (Курота-2, к. 3), костяные лопаточки (Курота-II, к. 6). На могильнике Пещеркин Лог 1, к. 1 найдены проколки. Перечисленные предметы или не имеют аналогий в афанасьевских погребениях, или же относятся к категории редких находок, например проколки найдены на могильниках Усть-Куюмский и Урускин Лог-1.

Изделия из металла: медные височные кольца обнаружены на могильнике Курота-II, медная пронизка – в сосуде из Ело-1. В надмогильных конструкциях на могильниках Бике II, Элекманар, огр. 1 найдены бронзовое копье, нож. Копье из Бике II, вероятно не связано с погребением.

Украшения. В сосуде из Ело-1 находилось около 50 различного вида бусин: костяные (цилиндрические и в виде дисков), халцедоновые, медная спиралевидная пронизка, а также подвески из зубов животных.

Керамика обнаружена в 51 % захоронений. Остродонные и остродонно-шаровидные сосуды составляют – 44 %, плоскодонные и баночные – 37 %, с уплощенно-приплюснутым дном и круглодонные по 4 %, курильницы – 11 %. Это отличается от показателей для афанасьевской культуры, для которой плоскодонные сосуды не характерны, как для погребальных, так и поселенческих комплексов (менее 9 % в погребальных комплексах и практически не известны на поселениях).

Полностью не орнаментировано 8 % сосудов. Венчик, как правило, украшен так же, как и тулово. Наиболее популярен орнамент из горизонтальных параллельных рядов на 50 % сосудов, составляющих елочку (на афанасьевских 35 %) (Степанова, 2010 в). Исключение составляют изделия из Нижнего Тюмечина-5 и Каракола. В одном случае от шейки вершинами вниз расположены треугольники, в другом – пересекающиеся линии. Качалка, обычная для афанасьевской керамики, отмечена всего на одном сосуде из погребения, которое меньше других отличается от афанасьевских (ориентацией на СВ и наличием наконечников стрел).

Для украшения керамики использовались орнаментиры с зубчатым и гладким рабочим краем длиной до 2 см (у афанасьевских штампов длина рабочего края, как правило, больше 2–3 см). Отпечатки инструментов более глубокие, чем на афанасьевской керамике. К сожалению, по рисункам сложно определить, наносился орнамент гладким штампом или гребенчатым и инструменты с каким рабочим краем преобладали. Баночный и круглодонный сосуды из Бойтыгема-2 украшены штампами с крупными прямоугольными зубцами, из Зырянки – отпечатками ногтя, из Кара-Кобы-1, о. 8, вероятно, палочкой, обмотанной веревочкой. На сосудах из Берсюкты-1, Бойтыгема-2, Нижнего Тюмечина-5 орнамент нанесен способом, не выявленным на афанасьевской керамике. Горизонтальные ряды состоят из линий более широких и глубоких (в 2–3 раза), чем те, что получены от протаскивания острого конца инструмента. Они получены в результате выемки глины предметом с острым, как лезвие металлического ножа, рабочим краем, изогнутым в виде дуги. Движение проводилось иначе, чем при протаскивании: инструмент продвигался не на гончара, а от гончара. В результате глина вынималась, а не раздвигалась и не разрезалась, не «выталкивалась» по обе стороны от инструмента, и излишки ее не оставались по краям, как при протаскивании острого конца предмета.

Нельзя не отметить сходство банок из Берсюкты-1 и Нижнего Тюмечина-5 с одинаковым орнаментом и ушками-налепами без отверстий. Аналогично выполнено заглаживание внутренней поверхности обоих сосудов – штампом с мелкими

зубцами. Основное различие состоит в высоте изделий, и в том, что у находки из Нижнего Тюмечина-5 над ушком без отверстия имеется дополнительное ушко (или ушки) с отверстием, а венчик орнаментирован так же, как и тулово. Различается и оформление придонной части, т. к. диаметр дна у нижнетюмечинской находки больше диаметра тулова в месте их соединения, как и у плоскодонных сосудов из Кара-Кобы-1, огр. 8 и Нижнего Тюмечина-1, огр. 10, 14.

Сосуды с острым дном из куротинских погребений имеют отличия от афанасьевских по пропорциям, высоте венчиков, орнаменту и по другим признакам (см. вклейку: с. 84, ил. 2). Для афанасьевской керамики не характерны высокие венчики, как из могильников Бике-I, II, Нижний Тюмечин-5. Совершенно необычна форма биконического сосуда из Бойтыгема-2, к. 1. Сосуд из Зырянки неафанасьевского облика по всем признакам (форма, обработка поверхности, профиль венчика, орнамент). Фактически сходство только в том, что у него острое дно. Однако как отдельно взятый признак – острое дно не может быть показателем принадлежности к какой-либо культуре. Даже в Горном Алтае острое дно характерно не только для афанасьевской, но и, например, большемысской и неолитической керамики.

Итак, **захоронения куротинского типа** объединяет не только положение погребенного на спине с согнутыми в коленях ногами головой на СВ, В, СВВ, но и ряд других признаков – грунтовые могилы, окраска охрой, преобладание безынвентарных погребений. Для них характерны надмогильные конструкции округлой формы, сложенные из рваного камня и галечника, обычно уложенного плашмя (горизонтально), как правило, в форме кольца. Пространство внутри оград заполнялось камнями или возводилась насыпь, нередко сооружалось внутреннее кольцо вокруг могилы.

Необходимо отметить, что оград из вертикально поставленных плит (ВПП) немного, и в отличие от афанасьевских они, как правило, дополнялись вторым кольцом из камней и плит, насыпями и т. д. Незначительное количество составляют крепиды и кольца из крупного камня, также часто дополненные насыпями. В целом насыпи, как часть конструкции, встречаются в каждом из типов надмогильных сооружений. На некоторых объектах зафиксированы индивидуальные черты, не имеющие аналогий как среди погребений куротинского типа, так и афанасьевских, например перекрытие в нижней части могильной ямы (Бойтыгем-2, к. 5), уступы и разнообразный инвентарь (Пещеркин Лог-1, к. 1).

Погребения куротинского типа с афанасьевскими имеют сходство только по положению погребенного на спине с согнутыми в коленях ногами в грунтовой могиле и окраске охрой. По остальным признакам прослеживаются различия. Это относится к надмогильным конструкциям (для афанасьевской культуры характерны ограды из ВПП, куротинских погребений – оградки-стенки и, составляющие часть конструкции, насыпи), ориентации погребенных, керамике. Нельзя не отметить, что некоторые нетипичные черты зафиксированы и на афанасьевских, и на куротинских памятниках. Например, такому сооружению, как ограда из ВПП (Нижний Тюмечин-5) с дополнительным кольцом из ВПП вокруг могилы и забутовкой из рваного камня между кольцами из ВПП имеются аналогии на Сальдяре-1, к. 7, 37, где умершие были уложены головой на З, а в кургане 37 обнаружен плоскодонный сосуд (Ларин, 2005).

Керамика отличается от афанасьевской соотношением плоскодонных и баночных сосудов с остродонными; пропорциями, высотой венчика остродонных сосудов (у куротинских выше 2 см и ниже 1 см). Целый ряд различий связан с орнаментом. В частности, венчик украшен так же, как и тулово (у афанасьевских по-разному). Практически нет сосудов с качалкой. Зафиксированы способы орнаментации (Берсюкта-1, Нижний Тюмечин-5 и др.), не выявленные на афанасьевской посуде. Использовались инструменты с гладким и гребенчатым рабочим краем, в т. ч. с крупными прямоугольными зубцами. Длина рабочего края в основном около 2 см и менее (у афанасьевских больше 2 см и не характерно использование инструментов с гладким рабочим краем длиной более 1 см). Отпечатки штампов на куротинских сосудах, как правило, глубокие. Горизонтальные ряды оттисков в основном составляют елочку, а на афанасьевской керамике оттиски чаще наклонены в одну сторону.

Разнообразие форм сосудов, а также некоторые различия в погребальном обряде предполагают, что куротинские погребения не составляют единого комплекса. По крайней мере, выделяются 2 группы захоронений: 1) собственно куротинские (неафанасьевские) с плоскодонной керамикой, банками и безынвентарные – Курота-II, к. 4, Бойтыгем-2, к. 5, Берсюкта-1, к. 1, Пещеркин Лог-1, Ело-1, о. 1. и др.). 2) Афанасьевско-куротинские с плоскодонной и остродонной керамикой из Бике-II, к. 1, Кара-Кобы-1, огр. 8, Каракола и др., для которых характерно совмещение афанасьевских и куротинских черт.

Хронологическая и культурная *принадлежность*

Своеобразие большинства памятников, отнесенных к куротинскому типу погребений, отмечалось и ранее. Например, на основании материалов могиль-

ника Пещеркин Лог-1 было высказано предположение, что при дальнейших исследованиях, возможно, будут выявлены локальные варианты или особенности внутри афанасьевской культуры (Деревянко, Молодин, Маркин, 1987. С. 48). Материалы могильника Нижний Тюмечин-5 были датированы эпохой бронзы, а памятник, с точки зрения авторов, по погребальному обряду соответствует позднеафанасьевским (Абдулганеев, Славнин, 2004. С. 5).

Мнения о датировке могильника Курота-II расходятся. С. В. Киселев считал, что керамика служит аргументом в пользу большей молодости куротинских курганов по сравнению с куюмскими (Киселев, 1951). М. Д. Хлобыстина относила Куроту-II к ранним афанасьевским. Она предполагала, что в пользу его большей древности служат интенсивная окраска охрой и ориентация погребенных, но вынуждена была отметить несоответствие архаичных признаков погребального обряда с керамическим комплексом, производившим неархаичное впечатление (Хлобыстина, 1975). С. В. Цыб включил могильник Курота-II в раннюю группу афанасьевских памятников (Цыб, 1980; 1984). В. Н. Владимиров и Н. Ф. Степанова поддержали точку зрения С. В. Киселева о поздней датировке памятника (Владимиров, Степанова, 1994. С. 6; Степанова, 2005 а).

Захоронения с банками из Куроты-II и Бойтыгема-2 первоначально рассматривались среди афанасьевских. В настоящее время очевидно, что с афанасьевскими их объединяет только положение погребенного и применение охры. Однако оба этих признака не могут определять культурную принадлежность, т. к. были широко распространены в эпоху ранней бронзы. В Горном Алтае использование охры в этот период зафиксировано в каракольских памятниках. В то же время не известно ни одного афанасьевского погребения с банками.

Всего в Горном Алтае в погребальных комплексах найдено 8 банок – на Куроте II, к. 4, Бойтыгеме-2, к. 5, Берсюкте-1, к. 1, Нижнем Тюмечине-5, Балыкты-Юле, к. 2, Улите, в разрушенных погребениях в пос. Озерное и с. Кулада (Хлобыстина, 1975; Абдулганеев, Кирюшин, Кадиков, 1982; Ларин, 1988; Абдулганеев, Славнин, 2004; Степанова, 2010 а). Между собой памятники различаются по погребальному обряду (положение и ориентация погребенных, наличие и отсутствие каменных ящиков и др.). Находки из Озерного соотносят с каракольской культурой, из Улиты – с эпохой бронзы. Могильник Нижний Тюмечин-5, где вместе с банкой найдены и фрагменты плоскодонного сосуда по оформлению придонной части относящегося к куротинскому типу, также датирован эпохой бронзы.

Сосуды баночного типа, датированные эпохой бронзы, обнаружены на поселениях Кара-Тенеш, Малый Дуган, Тыткескень-6, Сары-Бел и др. (Погожева, Молодин, 1980; Степанова, 1990; Кирюшин, Тишкин, Степанова, Кунгурова, 1995; Кирюшин, Степанова, 1998; Погожева, 2006; Кирюшин, Семибратов, Кунгуров, Грушин, 2006). Керамические комплексы с банками и плоскодонной керамикой с поселений не связывают с афанасьевской культурой, но в то же время остается не ясным, с какими погребальными комплексами они функционировали одновременно. Возможно, что выше перечисленные захоронения с банками синхронны или одно-культурны некоторым из этих поселений.

Определяя относительную хронологию погребений куротинского типа, нельзя не учитывать, что в нескольких из них найдены остродонные сосуды. Это может свидетельствовать о контактах населения и о том, что ранние куротинские объекты одновременны с афанасьевскими. Вероятнее всего, сосуды с плоским дном появились у афанасьевцев под влиянием населения, в быту которого применялась подобная посуда. По оформлению придонной части куротинские и афанасьевские плоскодонные горшки подразделяются на 2 типа (Владимиров, Степанова, 1994. С. 6–7). Сосуды первого типа (Кара-Коба-1, огр. 8, Нижний Тюмечин-1, огр. 10, 14) вне всяких сомнений изготовлены афанасьевскими гончарами, которые, по-видимому, копировали чужие образцы. Сосуды второго типа (Курота-II, Ело-1, о. 1, Пещеркин Лог-1) практически не имеют сходства с афанасьевскими как по форме, так и по орнаментации. Вероятнее всего, они были изготовлены неафанасьевскими мастерами. Сосуды, близкие по форме плоскодонным горшкам из Пещеркиного Лога 1 и Ело-1, найдены на могильнике Покровка-4, своеобразие которого позволило П. И. Шульге выделить покровский тип захоронений (Шульга, 2006).

Вероятно, появление группы погребений, совмещающих афанасьевские и куротинские признаки погребального обряда, связано с тем, что происходило смешение населения с разными этнографическими традициями или разных археологических культур. По-видимому, появление ориентации на СВ и В, плоскодонной посуды у афанасьевского населения (Первый Межелик-1, огр. 4, Кара-Коба-1, огр. 8) – следствие контактов с населением, оставившего захоронения куротинского типа с банками и плоскодонной керамикой. Возможно, это население обитало длительное время в Горном Алтае и часть погребений, особенно с СВ ориентацией, могут быть соотнесены с ранними афанасьевскими и арагольскими (ориентация на СВ характерна и для неолита). М. Б. Медникова, анализируя антропологические материалы могильника Курота-II, пришла

к выводу, что группа из Куроты-2 относится не к ранним, а скорее к более поздним срокам бытования афанасьевской культуры на Алтае, поскольку комплекс морфофункциональных особенностей жителей высокогорья может сложиться только в ряду поколений (Медникова, 2010. С. 213). Этот вывод соответствует и археологическим наблюдениям.

Для могильника Нижняя Тархата-1 по костям человека получена дата СОАН-7862 – 4275±85 (Соенов, Трифанова, 2010. С. 176), которая не противоречит предположению, что на определенном этапе афанасьевское и куротинское население сосуществовало. Баночные сосуды характерны для окуневской и елунинской культур. Не исключено, что объекты куротинского типа с банками хронологически близки к ним. Черешковый нож с листовидным клинком из Элекманара, огр. 1 среди афанасьевских имеет немногочисленные аналогии. Большое количество похожих предметов найдено в памятниках новотиторовской, северокавказской, позднеямной культур, датируемых сер. III – сер. II тыс. до н. э. (Кореневский, 1978. С. 41–44, рис. 8–58; Гей, 2000. С. 151; и др.). С учетом всех этих данных, можно предположить датировку, по крайней мере, некоторых погребений куротинского типа сер. III тыс. до н. э., оставляя открытым вопрос о нижней и верхней хронологических границах.

Неафанасьевская принадлежность погребений с банками и некоторых с плоскодонной керамикой очевидна (Курота-II, к. 4, Бойтыгем-2, к. 5, Нижний Тюмечин-5, Берсюкта-I и др.). Захоронения с сосудами баночной формы предполагают в Горном Алтае археологическую культуру, отличную от афанасьевской и каракольской. Погребения куротинского типа имеют сходство с покровскими. Однако можно ли их относить к одной археологической культуре – в настоящее время сложно определить. Не ясно, как эта культура или культуры связаны с афанасьевской. Одно представляется очевидным, что афанасьевское население испытывало влияние инокультурного населения и не исключено, что и афанасьевцы оказывали на него влияние. Малочисленность захоронений и различия в погребальном обряде затрудняют определение их культурной и хронологической принадлежности. Ответы на вопросы могут быть получены в результате новых полевых исследований.

Список литературы

Абдулганеев М. Т., Кирюшин Ю. Ф., Кадиков Б. Х. Материалы эпохи бронзы из Горного Алтая // Археология и этнография Алтая. Барнаул, 1982. С. 52–77.

Абдулганеев М. Т., Ларин О. В. Афанасьевские памятники Бойтыгема // Археология Горного Алтая. Барнаул, 1994. С. 24–36.

Абдулганеев М. Т., Посредников В. А., Степанова Н. Ф. Афанасьевские могильники на р. Ело // Источники по истории Республики Алтай. Горно-Алтайск, 1997. С. 69–90.

Абдулганеев М. Т., Славнин В. Д. Материалы эпохи бронзы из раскопок у с. Ело (Центральный Алтай) // Археология и этнография Алтая. Вып. 2. Горно-Алтайск, 2004. С. 3–17.

Владимиров В. Н., Мамадаков Ю. Т., Цыб С. В., Степанова Н. Ф. Раскопки афанасьевского могильника Первый Межелик I в Онгудайском районе // Древности Алтая. Вып. 4. Горно-Алтайск. 1999. С. 31–41.

Владимиров В. Н., Степанова Н. Ф. Исследование погребального обряда методом автоматической классификации // Археология Горного Алтая. Барнаул, 1994. С. 3–8.

Гей А. Н. Новотиторовская культура. М., 2000. 223 с.

Деревянко А. П., Молодин В. И., Маркин С. В. Археологические исследования на Алтае в 1986 г. (предварительные итоги советско-японской экспедиции) // Советско-японские археологические исследования на Алтае. Новосибирск, 1987. 76 с.

Древние культуры Бертекской долины, 1994. 224 с.

Кирюшин Ю. Ф., Грушин С. П., Семибратов В. П., Тюрина Е. А. Афанасьевские погребальные комплексы Средней Катуни. Барнаул, 2010. 80 с.

Кирюшин Ю. Ф., Семибратов В. П., Кунгуров А. Л., Грушин С. П. Материалы эпохи бронзы с поселения Тыткескень-VI на Средней Катуни // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Т. XII, ч.1. Новосибирск, 2006. С. 165–369.

Кирюшин Ю. Ф., Степанова Н. Ф. Керамика эпоха ранней бронзы с поселений Средней Катуни // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Новосибирск, 1998. С. 245–249.

Кирюшин Ю. Ф., Тишкин А. А., Степанова Н. Ф., Кунгурова Н. Ю. Поселение Сары-Бел // Известия лаборатории археологии. Вып. № 1. Горно-Алтайск. 1995. С. 6–19.

Киселев С. В. Древняя история Южной Сибири. М., 1951. 642 с.

Кореневский С. Н. О Металлических ножах ямной, полтавкинской и катакомбной культур // СА. 1978. № 2. С. 33–48.

Кубарев В. Д. Древние росписи Каракола. Новосибирск, 1988. 172 с.

Кубарев В. Д., Киреев С. М., Черемисин Д. В. Курганы урочища Бике // Археологические исследования на Катуни. Новосибирск, 1990. С. 43–95.

Кубарев В. Д., Черемисин Д. В., Слюсаренко И. Ю. Бике-I, II: погребальные памятники афанасьевской культуры на Средней Катуни // Древности Алтая. Известия лаборатории археологии. Вып. № 6. Горно-Алтайск, 2001. С. 32–54.

Ларин О. В. Новые материалы эпохи ранней бронзы из Горного Алтая // Проблемы изучения культуры населения Горного Алтая. Горно-Алтайск, 1988. С. 13–21.

Ларин О. В. Афанасьевские памятники среднего течения Катуни // Проблемы изучения древней и средневековой истории Горного Алтая. Горно-Алтайск, 1990. С. 3–30.

Ларин О. В. Материалы эпохи раннего металла из Горного Алтая // Материалы по истории и этнографии Горного Алтая. Горно-Алтайск, 1993. С. 19–25, 6 ил.

Ларин О. В. Афанасьевская культура Горного Алтая: могильник Сальдяр-1. Барнаул, 2005. 208 с.

Медникова М. Б. Курота-2 и Куюм: данные антропологии и реконструкция условий жизни алтайских афанасьевцев // Афанасьевский сборник. Барнаул, 2010. С. 200–224.

Могильников В. А. Некоторые памятники эпохи раннего металла из Центрального Алтая // Проблемы истории Горного Алтая. Горно-Алтайск, 1987. С. 23–34.

Погожева А. П., Молодин В. И. Раскопки на поселении Кара-Тенеш (1978 г.) // Археологический поиск (Северная Азия). Новосибирск, 1980. С. 92–98.

Погожева А. П., Рыкун М. П., Степанова Н. Ф., Тур С. С. Эпоха энеолита и бронзы Горного Алтая. Ч. 1. Барнаул, 2006. 233 с.

Соенов В. И., Трифанова С. В. Погребение периода ранней бронзы на Нижней Тархате // Афанасьевский сборник. Барнаул, 2010. С. 172–176.

Степанова Н. Ф. Поселение Малый Дуган – памятник эпохи бронзы Горного Алтая // Проблемы археологии и этнографии Южной Сибири. Барнаул, 1990. С. 73–86.

Степанова Н. Ф. Исследования у с. Элекманар // Охрана и изучение культурного наследия Алтая. Тезисы. Ч. 1. Барнаул, 1993. С. 94–97.

Степанова Н. Ф. Могильник эпохи бронзы Курота-2 в Горном Алтае // Археология Южной Сибири: идеи, методы, открытия. Красноярск, 2005 а. С. 53–54.

Степанова Н. Ф. Некоторые итоги статистического анализа признаков погребального обряда афанасьевской культуры Горного Алтая // Западная и Южная Сибирь в древности. Барнаул, 2005 б. С. 121–125.

Степанова Н. Ф. Погребения куротинского типа эпохи бронзы в Горном Алтае // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Т. XV. Новосибирск, 2009. С. 391–395.

Степанова Н. Ф. Арагольский и улитинский типы погребений эпохи бронзы (Горный Алтай) // Хозяйственно-культурные традиции Алтая в эпоху бронзы. Барнаул, 2010 а. С. 24–37.

Степанова Н. Ф. Афанасьевская культура Горного Алтая и Енисея: погребальный обряд и керамика (сходство и различие) // Афанасьевский сборник. Барнаул, 2010 б. С. 177–187.

Степанова Н. Ф. Особенности орнаментальных композиций афанасьевской керамики из погребальных комплексов Горного Алтая // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2010 в. Т. XVI. С. 307–311.

Хлобыстина М. Д. Древнейшие могильники Горного Алтая // СА. 1975. № 1. С. 17–33.

Цыб С. В. Ранняя группа афанасьевских памятников и вопрос о происхождении афанасьевской культуры // Древняя история Алтая. Барнаул, 1980. С. 38–51.

Цыб С. В. Афанасьевская культура Алтая. Автореферат дис. ... Кемерово, 1984. 19 с.

Цыб С. В., Мамадаков Ю. Т., Степанова Н. Ф. Погребальное сооружение эпохи бронзы из Горного Алтая // Древности Алтая. Вып. 3. Горно-Алтайск, 1998. С. 22–28.

Шульга П. И. Новые материалы по афанасьевской культуре в бассейне Чарыша // Северная Евразия в эпоху бронзы: пространство, время, культура. Барнаул, 2002. С. 149–152.

Шульга П. И. Погребения эпохи энеолита-бронзы в долине Сентелека // Погребальные и поселенческие комплексы эпохи бронзы Горного Алтая. Барнаул, 2006. С. 47–72.

РАЗДЕЛ 3. ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЕ И ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИСТОРИИ, СТАНОВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В РОССИИ

В. В. Алексеев

ЦИВИЛИЗАЦИОННОЕ СВОЕОБРАЗИЕ РОССИЙСКИХ МОДЕРНИЗАЦИЙ

Вопросы о цивилизационном статусе России, месте страны в мире, о степени ее зависимости от внешнего контекста и собственной способности оказывать на него влияние, о соотношении универсального и уникального в ее истории, эндогенных и экзогенных факторов развития приобрели особую актуальность в современный постсоветский период, который характеризуется утратой приоритетного положения в мировом сообществе, трудными поисками путей и способов ее дальнейшего развития, необходимостью обретения новой национальной идентичности и консолидирующей национальной идеи.

В отечественной литературе стала популярной прямолинейная трактовка модернизации, непременно сопряженная с атрибутами Западной цивилизации, с рынком и либеральной демократией. Подобный подход, отмеченный явным западо-центризмом, существенно обедняет возможности его полноценного использования применительно ко всемирной истории. Дело в том, что, осуществляясь в различных цивилизационных средах, модернизация обретала различное содержание, опиралась на разные традиции. Исторические же и современные успехи целого ряда стран отнюдь не Западной цивилизации (Япония, Китай, Южная Корея и т. д.) свидетельствуют в пользу более широкого понимания самого модернизационного подхода, который должен учитывать не только исторический опыт стран Западной Европы и Северной Америки, но и других мировых регионов.

Всеобъемлющий и многомерный характер модернизации обусловливает необходимость самостоятельного анализа ее процессов на различных общественных уровнях, в том числе на цивилизационном. [Обоснование многоуровневого анализа модернизации дано в: (Побережников, 2009 б; он же, 2010 а; он же, 2010 г; он же, 2011 г. С. 144–152), где в качестве дифференцирующих факторов выступают цивилизационно-культурные контексты, фундаментальные матричные структуры и ценности, накладывающие отпечаток на модернизационную динамику]. Результаты комплексного исследования модернизаций в контексте цивилизационной динамики России XVIII–XX вв. нашли отражение в коллективной монографии «Цивилизационное своеобразие российских модернизаций (XVIII–XX вв.): пространственно-временной аспект» (Екатеринбург, 2011).

Целью данной публикации является подведение некоторых итогов проведенного анализа цивилизационных и геополитических особенностей российских модернизаций, внутренних и внешних факторов и измерений модернизационных трансформаций, их влияния на цивилизационно-культурный облик России.

Судьба российской цивилизации складывалась под действием множества внешних и внутренних факторов, способствовавших формированию цивилизационных критериев. Значительная часть из них специфична именно для России. Нами выделено около 20 критериев. Наиболее значимые: гигантские размеры территории, особое геостратегическое положение между востоком и западом; северный вектор развития, трудные условия воспроизводства человеческого существования; незащищенность естественными рубежами от посягательств извне; неоднородность развития, но длительность существования; православие – консолидирующая основа цивилизации; полиэтничность и многоконфессиональность народов, их толерантность; имперскость, державность, авторитаризм, унитаризм; длительность крепостничества, слабость капитализма, социализм; общинность, идеи социальной справедливости, нестяжательство, миссионизм; экономический, культурный и мировоззренческий экспансионизм; мобилизационный тип развития и др. (Алексеев, 2010 а; Он же, 2010 б).

Гигантские размеры территории образовались в ходе массовой колонизации. Наиболее активно этот процесс происходил в эпоху Великих географических открытий, когда территория Московского государства прирастала за год в размере целой страны – Швеции. Занимая вмещающее пространство Северной Евразии, она имеет особое положение между Востоком и Западом. По оценке англий-

ского геополитика Х. Дж. Маккиндера, это есть Хартленд (срединная земля), осевое государство, которое служит стабилизатором мировых процессов (Маккиндер, 1995. С. 163, 169; он же, 1994. № 1. С. 152–157). После крушения имперской России и распада СССР на ее бывшей территории образовалось 21 самостоятельное государство, что лишний раз свидетельствует о масштабах Российской цивилизации (Критерии успешности... 2010. С. 49).

Незащищенность естественными рубежами от посягательств извне проистекала от огромных пространств, не ограниченных крупными водными или горными преградами. Занимая срединное положение между Европой и Азией, Российская цивилизация обороняла не только себя, но и обе эти части света. Она спасала Европу от азиатов (Батый, Тамерлан), а Азию (до определенной поры) от европейской колонизации. При этом Россия в отличие от европейцев, присоединяя все новые и новые территории, не искореняла их аборигенов, а приобщала к своей цивилизации, сберегая от более жестоких захватчиков, сплачивала многочисленные этносы и конфессии вокруг нее. В этом заключается уникальность Российской цивилизации.

Неоднородность развития, но длительность существования – более 1000 лет – в очередной раз свидетельствует о цивилизационном статусе России. На протяжении тысячелетия были подъемы и спады, причем крутые, но линия существования не прерывалась, несмотря на, казалось бы, конец: татаро-монгольское, наполеоновское, гитлеровское нашествия, смуты начала XVII и XX вв., распад государства конца XX в. Оставались территория, природные условия, этносы и конфессии, особенности власти, культура и традиции, тип развития. Менялись масштабы, политические режимы, социальные страты, положение в мире, но суть цивилизации сохранялась, что свидетельствует о жизнестойкости ее природы.

Православие – консолидирующая основа Российской цивилизации. Оно стояло у истоков русской государственности, способствовало утверждению национального самосознания. Православие являлось не только религиозной ценностью, но и мировоззрением. Оно, как никакая другая религия, было терпимо к вере и культуре других народов, что способствовало их консолидации в Российской цивилизации. В XX в., несмотря на отделение церкви от государства и ее разгром, православие сохранялось в народной толще. С падением советского строя (в конце прошлого века) православие получило государственную поддержку и значительно расширило поле деятельности вплоть до того, что стало объектом критики Атлантической цивилизации вместо ненавистного ей до недавнего времени коммунизма.

Имперскость, державность, унитаризм, авторитаризм в первую очередь проявлялись в особой роли государства, которое в условиях огромных территорий, многонациональности и многоконфессиональности, отсутствии естественных рубежей защиты от постоянных притязаний иноземцев могло сохранить целостность и политическую самостоятельность цивилизации. На этих принципах вырастала огромная империя, где исповедовалась сильная царская власть. Государство в православии наднационально, что исключительно важно для многонациональной Российской цивилизации, которая формировалась не на этнической, а на православной общности.

Из православной веры, соборности и общинности проистекала идея социальной справедливости в отношениях между отдельными людьми и социокультурными стратами. На разных этапах цивилизации эти отношении или частично совпадали, или диаметрально расходились, но закон, как юридическое выражение справедливости, чаще всего был подчинен сознанию большинства населения, которое старалось жить по правде. Принципы социальной справедливости истолковывались в России из коллективных интересов, а не индивидуалистических. В этом кардинальное отличие от протестантизма, на основе которого формировался капитализм.

Экономический, культурный и мировоззренческий экспансионизм Российской цивилизации исходил из миссионизма православия, а позднее из коммунистической доктрины и проявлялся на разных этапах в различных формах. Так происходило во время христианизации вновь присоединяемых территорий, в многочисленных войнах и дипломатических демаршах имперской и советской эпох. Разница была в том, что в досоветский период упор делался на православие и русскую культуру, а в советский – на идеи социализма и коммунизма, которые после Второй мировой войны оказывали влияние на треть человечества. С развалом Советского Союза миссионизм и экспансионизм потеряли значение.

Сохраняя свою генетическую природу, Российская цивилизация менялась во времени в зависимости от разных обстоятельств, но решающую роль играли мировые трансформации, в частности, переход от традиционного аграрного общества к современному индустриальному, что повлияло на ее генотип. Это влияние было мало заметно в традиционном обществе, но получило огромное ускорение в индустриальном. Традиционное общество ассоциируется с начальными этапами существования цивилизации и получило завершенную форму в период империи, а индустриальное наиболее полно проявилось в XX в.

Вследствие запоздалости, обремененности феодальными пережитками, слабости национальной буржуазии, разрушения традиционного образа жизни и массовой маргинализации населения, отсутствия сформировавшегося актора трансформации, но при наличии мощных протестных сил позднеимперская модернизации привела страну не к углублению модернизационного перехода, а к антибуржуазной, антифеодальной, фактически к антимодернизационной революции 1917 г.

Если смотреть на эту революцию 1917 г. с позиций модернизационной парадигмы, то очевидно, что перед новым руководством страны встал вопрос: как перевести ее антимодернизационные тенденции в модернизационное русло, из медленной эволюционной стадии в революционный переход, от традиционного аграрного общества к индустриальному? Революция, возглавляемая большевиками, преследовала одновременно две противоположные цели с точки зрения цивилизационного подхода к историческому процессу. С одной стороны, она свергала нарождающиеся буржуазные отношения в России и тем самым нарушала естественный ход модернизационного перехода, а с другой стороны, уничтожала феодальные пережитки, которые тормозили этот переход. В первом случае была совершена историческая ошибка, во втором – историческое завоевание. Такой парадокс порождался тем, что большевики приняли побочное противоречие эпохи (классовый конфликт) за основное (переход от традиционного общества к современному) (Алексеев, 2004. С. 296).

Вся их стратегия и тактика накануне и в ходе Октябрьской революции, все их надежды и чаяния были связаны с мировой пролетарской революцией, которой предстояло уничтожить капитализм и провозгласить социализм. Без этого они не представляли себе перспективы России со слабым развитием промышленности, малочисленностью рабочего класса, подавляющим большинством крестьянского населения, нерешенностью аграрного вопроса и низким культурным уровнем. Из этого следует, что предпосылок социализма в самой России практически не было, в то время как задача перехода от традиционного аграрного общества к современному индустриальному давно стояла на повестке дня, хотя такими категориями тогда не мыслили.

В 1929 г. партия большевиков объявила «великий перелом». Его суть заключалась в переходе к развернутому строительству социализма, к началу полномасштабной модернизации страны, которая продолжалась практически до конца века. В отличие от капиталистической, советская модернизация шла под знаменем социального равенства, светлого будущего, именуемого социализмом. Революция, социализм и модернизация сливались в единое целое. Советская власть, с одной стороны, пошла дальше царского правительства в заимствовании западных идей модернизации – взяла на вооружение европейские принципы социализма и сделала их основополагающими в жизни России, а с другой стороны, отвергла порожденный тем же Западом капитализм. В результате она отказалась от наработанного веками опыта капиталистической модернизации и сосредоточилась на не изведанных никем основах социализма.

«Великий перелом» в представлениях той эпохи ориентировался на построение социализма в одной отдельно взятой стране, что рассматривалось как теоретический прорыв в будущее. Фактически же это была переориентация с аграрного на индустриальное развитие государства, т. е. переход от аграрного к индустриальному обществу – модернизации, что отвечало интересам державы и соответствовало основополагающей тенденции века. Такой подход являлся реалистичным. Время подтвердило его необходимость и результативность. Революция открыла дорогу для решения кардинальной проблемы российской истории, и это было сделано под популярным лозунгом социализма, хотя для его реализации в тогдашней России не было условий. В итоге модернизация двинулась вперед с большим ускорением и достигла финиша, а социализм задержался на старте.

Сталин одним махом сокрушил тысячелетнее традиционное общество в России. Это исторический факт, который бессмысленно отрицать даже при самом негативном отношении к его личности. Он открыл путь к современному индустриальному обществу под лозунгом социалистической перспективы. Судить о Сталине надо не с позиции «кодекса чести либерального менеджмента» или санкций Устава КПСС по отношению к проштрафившемуся партийному функционеру, а как о личности цивилизационного масштаба со всеми ее плюсами и минусами, цена которых непомерно велика.

Безусловно, что сталинская модель модернизации стала тяжелейшим испытанием для страны, но могла ли она еще сотню лет эволюционировать в сторону индустриального общества, когда ее основные конкуренты уже давно были там? Преодолеть вековую отсталость в короткий срок без революционной ломки институциональных устоев и менталитета архаического общества было невозможно. Революционные меры не могли не вызвать ответную негативную реакцию, которая безжалостно подавлялась. Это и породило почти столетнюю революцию в России. Она то затихала, то вспыхивала с новой силой, хотя и не носила формы открытой вооруженной борьбы. Последний ее всплеск, как ни странно, произошел на рубеже XX–XXI вв., когда страна уже преодолела стадиальное отставание и

включилась в мировую индустриальную цивилизацию (Алексеев, 2009 а).

Подводя итоги первого этапа советской модернизации, можно констатировать, что тогда был осуществлен революционный поворот от России традиционной, деревенской к современной, индустриальной, городской. Она мобилизовала все ресурсы традиционного общества для создания технологических основ современного и тем самым обеспечила «подушку безопасности» от ударов извне, вступила в соревнование с крупнейшими державами индустриальной эпохи. Тогда страна ушла от феодализма и капитализма, но не пришла к социализму. По меткому замечанию В. А. Красильщикова: «Большевикам удалось сделать то, чего не удалось ни Петру Великому, ни другим царям, пытавшимся проводить модернизацию в России: примирить выборочно некоторые принципы “модернити” с традиционными архетипами уравнительности и псевдоколлективизма, преодолеть социокультурный раскол в обществе, который ранее сопровождал модернизацию, – причем преодолеть, не отказываясь от ее имперской модели» (Красильщиков, 1999. С. 103).

Из приведенных фактов вытекает однозначный вывод о том, что страна шла по пути модернизации в русле мирового прогресса, и нет никаких оснований отлучать ее от этого, как делают некоторые политологи в сегодняшней России и за рубежом. Хотя наиболее объективные из них, например, крупный британский историк Э. Хобсбаум в своей знаменитой трилогии отмечал, что к середине XIX в. стало ясно, какие страны будут относиться к первой группе высокоразвитых государств, а какие ко второй – безнадежно отставших. Он пишет: «И если бы в 1930-х гг. Россия не развила промышленность для того, чтобы перепрыгнуть пропасть между отсталыми и развитыми странами, ей так и пришлось бы оставаться неподвижной, застывшей на полпути между большинством и меньшинством мирового сообщества. В истории XX в. нет лучшего примера того, как отсталая страна превратилась в передовую» (Хобсбаум, 1999. С. 251–252).

Нередко рассмотрение советской модернизации завершают концом 30-х гг. А что было дальше? Думается, что осуществлялся переход к позднеиндустриальной модернизации. Беспрецедентные мировые достижения были получены в области атомной энергии, ракетно-космической техники, электроэнергетики, машиностроения и в других отраслях экономики. СССР стал одной из двух стран мира (наряду с США), способных производить любой вид промышленной продукции, доступный в данное время человечеству. Тем самым было преодолено стадиальное отставание России от передовых индустриально развитых стран. В 1960 г. доля СССР в мировом промышленном производстве достигала 20 %, он входил в число мировых индустриальных гигантов, занимая передовые места по многим показателям.

Вместе с тем страна трудно вписывалась в тогдашние реалии мирового развития. Западные государства вступили в новый этап модернизации, связанный с научно-технической революцией. Они подняли роль государства в модернизационном процессе, что роднило их с СССР, но там, как и ранее, важнейшее значение играла модернизация «снизу» – свободная конкуренция многочисленных фирм и индивидуумов, которая в новых условиях сильно катализировала технический прогресс, связанный с достижениями отдельных ученых, инженеров, менеджеров. Вместо возрастающей потребности в индивидуализации труда и социальных потребностей Н. С. Хрущев поставил во главу угла коммунистическую общинность и заявил, что нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме, который был совершенно недостижим в то время. Отсюда движение за коммунистическое отношение к труду и быту вместо переключения внимания на судьбоносную значимость НТР для отечественной модернизации.

Под влиянием модернизации происходили значительные изменения в социально-демографической сфере. В 1960 г. произошло выравнивание численности городского и сельского населения СССР. К концу века по сравнению с его началом доля населения, занятого в сельском хозяйстве, сократилась с 80 до 20 %. Состоялся скачок в качестве жизни. За 1950–1960-е гг. среднедушевое потребление товаров возросло почти в 3 раза и достигло уровня, сопоставимого со стандартами среднеразвитых стран мира. Улучшение питания, жилищных условий, медицинского обслуживания привело к резкому повышению продолжительности жизни. В 1950-е гг. она увеличивалась в среднем на один год за год и к началу 1960-х гг. достигла 70 лет, что соответствовало уровню высокоразвитых стран, тогда как в начале века составляла 32 года.

Постепенно начиная со второй половины 1950-х гг. в экономике СССР стали нарастать трудности, связанные с демонтажем командной системы и непомерным ростом военных расходов, что трансформировало советскую модель модернизации. Более того, в мире начинался переход к постиндустриальному обществу, а советские лидеры не учли этого, сохранили старую структуру экономики. Попытка преодоления трудностей СССР была предпринята в середине 80-х гг. М. С. Горбачевым, но его перестройка провалилась, приведя экономику страны к катастрофе, а Советский Союз – к распаду. Его остатки с начала 1992 г. приступили к либеральным реформам, что привело к неконтролируе-

мому росту цен, резкому снижению уровня жизни, потере сбережений трудящихся и другим потрясениям. Наиболее негативно реформы сказались на индустрии, обороноспособности страны, науке и культуре, здравоохранении, всей социальной сфере (Алексеев, 2011).

Триумф и трагедия модернизационной динамики России вылились в фарс после распада Советского Союза и перехода к либеральным реформам. Возобладал поспешный курс на постиндустриальное общество, что привело к демодернизации, гибели половины индустриального потенциала страны. Ее удельный вес в мировом промышленном производстве упал с 9,1 % в 1900 г. до 4,4 % в 2000 г. (Кузык, 2008. С. 273). Теперь трудно понять, где она находится – в доиндустриальном или постиндустриальном мире?

Российская модернизация породила богатое индустриальное наследие, которое представляет основные этапы формирования индустриальной цивилизации и вызывает большой интерес в мире, что нашло отражение в международной серии «Коллекция наследия» (Alekseev, Alekseeva, 2011). Оно объемлет многокомпонентные заводские и горнорудные комплексы, включающие в себя производственную инфраструктуру, сложное оборудование и технологии; военно-промышленный комплекс; сотни поселений; колоссально преобразованные естественные ландшафты, измененный состав воды и воздуха; развитую систему выработки и передачи знаний. Кроме того, специфическая горнозаводская среда за столетия сформировала своеобразный менталитет населения, отразилась в его повседневности и художественном восприятии мира.

Масштабность проекта обусловила необходимость применения нескольких теоретико-методологических подходов, в их числе концепции диффузии инноваций. Использование этой концепции, основанной на идее распространения форм культуры из центров их выработки к периферии и культурного синтеза в ходе взаимодействия традиционной и инновационной культур, детерминируется тем, что модернизация применительно к России – цивилизационно обусловленный и изначально экзогенный феномен, а направления и практика изменений традиционного общества задавались образцами из Европы (Алексеева, 2010 в; она же, 2010 г; она же, 2010 е). На этой методологической платформе исследовались диффузионные механизмы российской модернизации XVIII – начала XX в., анализировалось соотношение эндогенных и экзогенных факторов модернизационной динамики российской цивилизации.

Дифференцированы основные концепты и модели диффузионизма, позволяющие унифицировать аналитические процедуры, способствующие моделированию процессов распространения инноваций в различных социумах (Алексеева, 2010 ж), проанализирована роль экзогенных факторов в обеспечении модернизационной динамики российской цивилизации применительно к конкретным культурным и производственным традициям (Алексеева, 2009 а): очерчены французские элементы в российской цивилизации (Алексеева, 2010 д); представлена роль уральской металлургии в истории и наследии мировой индустриальной цивилизации (Алексеев, Алексеева, 2009; Алексеева, 2009 б; она же, 2010 а; она же, 2010 б; Alekseev, Alekseeva, 2011); исследовалась проблема проникновения и адаптации европейских инноваций в аграрной сфере России имперского периода (Алексеева, 2010 з). Показано, как типологические черты российской цивилизации (на имперском этапе ее существования) с начала активного вовлечения России в европейский культурный круг претерпевали существенные трансформации. Аграрный тип жизнеобеспечения менялся на индуцированный Европой промышленный; православная духовность размывалась секуляризацией и рационализацией; деревня в ущерб себе питала развивавшийся по европейским архитектурным канонам город; одушевленное традиционное сознание сменялось стандартизованным европейским образованием, развитием наук и профессий; освященное церковью самодержавие вынуждено трансформировалось в сторону представительной политической власти; территориальная и социальная оседлость сменялась мобильностью; народные обычаи и культура оттеснялись на обочину европейским в основе театром, музыкой, изобразительным искусством, литературой; русский, национальный язык существенным образом видоизменялся под воздействием западноевропейских заимствований. То есть модернизация российской цивилизации была ответом на вызов Запада и шла в направлении тотальной трансформации ее социокультурных основ. Совершенствование и рационализация государственного управления, создание новых отраслей промышленности, их растущая механизация, развитие транспорта и средств коммуникаций, технологические и социальные преобразования в аграрной сфере, становление и развитие новых систем выработки и передачи знаний, утверждение и популяризация светского искусства, прогрессивные перемены в быту и повседневности начали развиваться в России в ходе ориентации на западный опыт и в существенной степени благодаря его внедрению. Их развитие разрушало Российскую цивилизацию в ее традиционном качестве; заимствование чужих порядков, вещей, языка модернизировало ее.

Показано, каким образом исторические паттерны российских модернизаций накладываются

на современность. Современная Российская модернизация вновь признается экзогенной, так как обусловлена давлением внешних факторов, а не внутренней потребностью элит / общества / народа. Представлено, как шаги, предпринятые российским правительством по реализации объявленной программы современной модернизации, по ряду позиций аналогичны событиям петровской модернизации, осуществлявшейся 300 лет назад.

Итак, на основе выбранных методологических оснований изучения экзогенных факторов в мировой и отечественной истории исследованы западноевропейские элементы в модернизации российской цивилизации в имперский период; внешние факторы российских модернизаций сопоставлены в историческом и современном аспектах.

Повторяемость диффузионных волн, а также воздействие механизма демографического цикла придавали цивилизационно-модернизационной динамике России определенную цикличность, которая еще более усиливалась в связи с повторяемостью периодов военной угрозы, которые требовали проведения военной модернизации и создания мобилизационной экономики (Нефедов, 2011 а; он же, 2011 б).

Геополитический фактор оказывал сильнейшее воздействие на цели, механизмы и характер российских модернизаций XVIII–XX вв., определяя в ряде существенных моментов их цивилизационное своеобразие. Именно геополитические императивы – интересы государственной обороны, обновления военно-технического потенциала, обеспечения хозяйственной автаркии и технико-экономической независимости – перманентно находились в центре модернизационных начинаний, обусловливая их «догоняющий», форсированный, государственно-центричный характер. Политика российских модернизаций и дореволюционного, и советского периодов неизбежно становилась способом решения геополитических задач, будучи результатом либо осознания необходимости экстренных военных усилий (Северная война), либо осмысления уроков военных поражений (Крымская война), либо стремления гарантировать страну от военных угроз (строительство «социализма в одной стране») (Зубков, 2008). В силу присущих России органических слабостей, коренящихся в недостаточной зрелости экономических и культурных предпосылок масштабной модернизации расширение геополитического базиса Российского государства, подхватывавшее эстафету предшествующих колонизационных процессов, становилось одним из исходных условий и необходимым компонентом важнейших модернизационных сдвигов. В рамках петровской модернизации начала XVIII в. экспансия как способ апроприации ресурсов для развития ярко проявилась в политике меркантилизма (Зубков, 2006). Она закрепила инерцию компенсаторной опоры государственных программ модернизации на экстенсивную эксплуатацию природных ресурсов, разнообразие и дешевизна которых поддерживались расширением подконтрольной государству территории (Зубков, 2011. С. 32–33, 35–36). Эта тенденция глубоко укоренилась в экономической практике и национальном менталитете, становясь чем-то вроде цивилизационного «кода» России. Экстенсивный прирост ресурсов и присвоение природной ренты не только превращались в один из мощных источников накоплений для целей модернизации, но и обусловливали – главным образом за счет фактора экономии масштаба – важные организационно-технологические сдвиги на стадии модернизационных «прорывов». С этим связаны, например, зарождение крупнозаводской промышленности на Урале и Алтае в петровскую эпоху, прокладка Транссиба на рубеже XIX–XX вв., крупнейшие программы освоения восточных регионов страны в советский период (Зубков, 2011. С. 39–40). В долгосрочном же плане экстенсивный путь развития ослаблял мотивацию к качественному обновлению технологических и социальных основ производства. Однако как типично российский вариант модернизации, он, возможно, был предопределен как раз спецификой развития экономики в относительно неблагоприятных природно-климатических условиях. В отличие от стран Европы, России пришлось, параллельно с промышленным развитием, вплоть до середины XX в. затрачивать громадные усилия на начальную – аграрную – «модернизацию» практически незатронутых освоением пространств Евразии (Зубков, 2010).

«Геополитизация» алгоритма российских модернизаций существенно влияла на динамику и характер присущих России отношений между «центром» и «периферией». Хотя в России центр и окраины, благодаря неиссякаемым потокам русской колонизации, развивались в основном в рамках единого геополитического и культурно-символического поля, растянутость колонизационных процессов во времени и пространстве оборачивалась значительным отставанием окраин в темпах экономического и культурного прогресса, своеобразием утверждавшихся там социальных форм. В результате усложнению и углублявшейся дифференциации российского общества воплощавший всесилие государства центр становился, по существу, единственным источником системных изменений в обществе, а окраины – убежищем несистемных, маргинализируемых социальных элементов и практик. Процессы, зревшие на окраинах, могли оказывать лишь опосредованное и ограниченное влияние на трансформацию общества – и в основном через из-

менение позиции центра (Алексеев, Зубков, 2006. С. 18–19).

В условиях модернизации социально-культурные различия «центра» и «периферии» уже трактовались как ясно выраженная дистанция между прогрессом и отсталостью, которая увеличивалась в той мере, в какой осуществляемая центром масштабная ресурсная эксплуатация вела к депривации российских окраин. Модернизация «догоняющего» типа не могла не фокусировать свои основные достижения на ускорении прогресса центра, в то время как вовлеченность окраин в процессы общественных преобразований всецело подчиняла их жизнь его интересам и воле, сковывая тем самым возможности их саморазвития. Как результат, деформированное, одностороннее развитие окраин препятствовало возникновению там сильных и жизнеспособных локальных центров, сильной диверсифицированной экономики. Необходимость преодолеть инерцию такого ущербного, несбалансированного развития страны уже в период капиталистической модернизации вызвала к жизни смелые проекты целенаправленного сдвига центра национальной экономической и культурной жизни на восток (С. Ю. Витте, Д. И. Менделеев, В. П. Семенов-Тян-Шанский), но только в советский период были предприняты масштабные практические попытки превратить эти идеи в реальность (Зубков, 2011. С. 44). Несмотря на достигнутые на этом поприще успехи, исторически сложившаяся инерция глубокой неравномерности развития «центра» и «периферии» продолжает оставаться одной из самых сложных общественных проблем России.

Цивилизационная специфика России способствовала обретению модернизацией фронтирного характера. Российская евразийская цивилизация складывалась постепенно, на протяжении столетий, расширяя при этом свою территорию во всех направлениях. В подобных условиях цивилизационная пограничность обусловливалась наличием фронтирных зон, где имели место этноцивилизационные контакты. Зонами такого цивилизационного пограничья в рамках евразийской цивилизации длительное время являлись восточные регионы страны, в частности, Урал и Сибирь, которые могут рассматриваться в качестве варианта фронтирной модернизации в XVIII – начале XX в. К числу особенностей фронтирной модернизации можно отнести большую подвижность населения, сохранявшее свою значимость освоение в разнообразных проявлениях, особая роль военного элемента, усиление гетерогенности в социальном, экономическом, культурном отношениях, причудливое переплетение традиции и новации в производственной, социально-институциональной, управленческой сферах, формирование анклавно-конгломератной пространственной структуры (Побережников, 2009 а; он же, 2010 б; он же, 2010 в; он же, 2010 д; он же, 2011 а; он же, 2011 б; он же, 2011 в).

Подводя общие итоги, следует признать, что рассмотренная совокупность и взаимосвязь признаков Российской цивилизации свидетельствуют о ее принадлежности к числу локальных цивилизаций, доказывает самобытность, самостоятельность цивилизационного статуса и его отличие от подобных сообществ в мировой истории, в частности от Западной цивилизации. Природа Российской цивилизации претерпела некоторые изменения в веках, а ее принципиальная трансформация произошла в двадцатом столетии.

Несмотря на гигантские катаклизмы XX в., Российская цивилизация в основном сохранила свою природу. По-прежнему остаются огромные размеры территории. Вследствие потери южных территорий даже увеличился удельный вес регионов, тяготеющих к Северу, сократились возможности выхода к морю. Осталась незащищенность естественными рубежами от посягательств извне, тем более что значительная протяженность границ после выхода союзных республик оказалась менее охраняемой. Усиление военной мощи, особенно после создания ракетно-ядерного щита, сделало цивилизацию менее уязвимой, но не вполне гарантированной от нападения в условиях современного международного положения.

Сохранились политическая самостоятельность и жесткость вертикали власти, хотя они подвергаются эрозии под воздействием либерализма и глобализма. Своеобразие форм государственного и социального развития, полиэтничность и многоконфессиональность, самобытность и оригинальность культуры остаются, хотя толерантность отношений между этносами и конфессиями после распада СССР поколебалась, а культура подверглась разрушительному воздействию со стороны Запада.

Принципиальному изменению и деградации подвергся изначально земледельческий характер экономики. Она стала преимущественно индустриальной и зависимой от зарубежных поставок продовольствия. Трудные условия воспроизводства человеческого существования по причине суровости климата на большой территории цивилизации, частой сменой форм собственности, многочисленных финансовых потрясений и отставания технического прогресса сохранились, но заметно уменьшились по сравнению с предшествующими веками. Не удалось добиться социальной справедливости. Цивилизация не ушла от мобилизационного типа прогресса. К началу XXI в. она потеряла такие черты, как экономический, культурный и мировоззренческий экспансионизм.

Список литературы

Алексеев В. В. Общественный потенциал истории. Екатеринбург, 2004. С. 296.

Алексеев В. В. Российская цивилизация (признаки, этапы развития, итоги и уроки) // Уральский исторический вестник. 2010 а. № 3. С. 4–14.

Алексеев В. В. Трансформация Российской цивилизации в XX веке // Историческая уралистика и русистика. Будапешт, 2010 б. С. 191–228.

Алексеев В. В. Модернизация России в контексте индустриальной цивилизации // В едином историческом пространстве. М., 2009 а. С. 179–192.

Алексеев В. В. Эволюция и революция в модернизационной динамике российской цивилизации // Модернизация в цивилизационном контексте: российский опыт перехода от традиционного к современному обществу. Екатеринбург, 2011. С. 4–28.

Алексеев В. В., Алексеева Е. В. Наследие индустриальной цивилизации // Урал индустриальный: Бакунинские чтения: материалы IX Всерос. научн. конф., посвящен. 85-летию д. и. н., проф. А. В. Бакунина. Екатеринбург, 8–9 окт. 2009. Екатеринбург: Издательский дом «Автограф», 2009. Т. I. С. 5–10.

Алексеев В. В., Зубков К. И. Проблема «центр-периферийных» отношений в российской истории // Восточные регионы России: стратегии и практики освоения. Новосибирск: Наука-Центр, 2006. С. 18–19.

Алексеева Е. В. Европейские инновации в цивилизационной динамике России (XVIII – начало XX в.) // Диффузия европейских инноваций в Российской империи: материалы Всероссийской научной конференции, 10–11 ноября 2009 г. / отв. ред. д. и. н. Е. В. Алексеева. Екатеринбург: ИИиА УрО РАН; Банк культурной информации, 2009 а. С. 5–14.

Алексеева Е. В. Изучение и сохранение индустриального наследия в мире и на Урале: актуальные методологические проблемы // Восьмые Татищевские чтения. Доклады и сообщения. Екатеринбург 27–28 мая 2010 г. / под ред. В. В. Запария и С. П. Постникова. Екатеринбург: УМЦ УПИ. 2010 а. С. 41–45.

Алексеева Е. В. Индустриальное наследие Урала как ресурс формирования ценностно-деятельностного отношения к истории // История как ценность и ценностное отношение к истории: сб. науч. ст. Екатеринбург, 2010 б. Часть II. С. 6–13.

Алексеева Е. В. Концепция диффузионизма: истоки, идеи, использование в исследовании истории России имперского периода // Историческая динамика России. Теоретические и источниковедческие аспекты. Екатеринбург: УГГУ, 2010 в. С. 10–27.

Алексеева Е. В. Роль экзогенных факторов в обеспечении модернизационной динамики российской цивилизации // Модернизация в цивилизационном контексте: российский опыт перехода от традиционного к современному обществу. Екатеринбург, 2010 г. С. 62–78.

Алексеева Е. В. Роль экзогенных факторов в формировании индустриальных цивилизаций // Цивилизационное своеобразие российских модернизаций: региональное измерение. Материалы Всероссийской научной конференции 2–3 июля 2009 г. Екатеринбург, 2009 б. С. 46–54.

Алексеева Е. В. Французские элементы в российской цивилизации // «Французский след» на Урале: Материалы «круглого стола». 23 июня 2010 г. Екатеринбург: Уральское литературное агентство, 2010 д. С. 7–19.

Алексеева Е. В. Эвристические возможности концепции диффузионизма в изучении взаимодействия европейской и российской цивилизаций. «Историческая русистика и уралистика на Урале и в Будапеште». Будапешт, 2010 е. С. 162–190.

Алексеева Е. В. Диффузионные концепты и модели в обществознании // Уральский исторический вестник. № 3 (28). 2010 ж. С. 23–31.

Алексеева Е. В. Европейские инновации в сельском хозяйстве Российской империи // Аграрная сфера в контексте российских модернизаций XVIII–XX веков: макро- и микропроцессы: сб. статей / науч. ред. Г. Е. Корнилов, В. А. Лабузов. Оренбург, 2010 з. С. 14–21.

Зубков К. И. Аграрная колонизация Евразии как первая российская «модернизация» // Аграрная сфера в контексте российских модернизаций XVIII–XX веков: макро- и микропроцессы: сб. статей. Оренбург: Изд-во ГУ «РЦРО», 2010. С. 99–104.

Зубков К. И. Геополитическая арена российских модернизаций XVIII–XX вв. // Модернизация в цивилизационном контексте: российский опыт перехода от традиционного к современному обществу: сб. науч. ст. / РАН, УрО, Институт истории и археологии. Екатеринбург, 2011. С. 32–40.

Зубков К. И. Геополитический фактор российских модернизаций XVIII–XX вв. // Российские модернизации XVIII–XX вв.: взаимодействие традиций и новаций: сб. науч. ст. / РАН, УрО, Институт истории и археологии; Уральский гос. университет. Екатеринбург: Банк культурной информации, 2008. С. 31–34.

Зубков К. И. У истоков промышленной политики России: меркантилизм и экспансия // Промышленная политика в стратегии российских модернизаций XVIII–XXI вв. Материалы Международной научной конференции, посвященной 350-летию Н. Д. Антуфьева-Демидова. Екатеринбург: Институт истории и археологии УрО РАН, 2006. С. 22–30.

Красильщиков В. А. Мировые модернизации и судьбы страны // Свободная мысль, 1999. № 1. С. 103.

Критерии успешности страны, цивилизации, человечества. Материалы постоянно действующего научного семинара «Россия в историческом и мировом пространстве». Вып. № 6. М., 2010. С. 49.

Кузык Б. Н. Россия в цивилизационном измерении: фундаментальные основы стратегии инновационного развития. М., 2008.

Маккиндер Х. Дж. Географическая ось истории // Полис. Политические исследования. 1995. № 4. С. 163–169.

Маккиндер Х. Дж. Круглый мир и достижения мира // Уральский исторический вестник. 1994. № 1. С. 152–157.

Нефедов С. А. История России. Факторный анализ. Т. I–II. М., 2011 а.

Нефедов С. А. Русская революция в контексте неомальтузианской теории // Модернизация в цивилизационном контексте: российский опыт перехода от традиционного к современному обществу. Екатеринбург, 2011 б. С. 135–147.

Побережников И. В. Административный фактор в рамках фронтирной модернизации Сибири (XVIII – начало XX в.) // Проблемы истории государственного управления и местного самоуправления Сибири в конце XVI – начале XXI в. Материалы VII Всероссийской научной конференции (Новосибирск, 6–8 июня 2011 г.). Новосибирск: Нонпарель, 2011 а. С. 24–29.

Побережников И. В. Использование модернизационной парадигмы при изучении региональной истории России (XVIII – начало XX в.) // Гуманитарные науки в Сибири. 2011 б. № 2. С. 37–41.

Побережников И. В. Макро- и микроуровни в изучении модернизации: постановка проблемы // Аграрная сфера в контексте российских модернизаций XVIII–XX веков: макро- и микропроцессы: сб. статей. Оренбург: Изд-во ГУ «РЦРО», 2010 а. С. 204–209.

Побережников И. В. Модель фронтирной модернизации (на примере восточных регионов России в XVIII–XIX вв.) // Становление индустриально-урбанистического общества в Урало-Сибирском регионе: подходы, исследования, результаты / Материалы межрегиональной научной конференции, 30 июня – 2 июля 2010 г. Новосибирск: «Параллель», 2010 б. С. 34–41.

Побережников И. В. Особенности фронтирной модернизации (на примере Урала XVIII–XIX вв.) // Документ. Архив. История. Современность: сб. науч. тр. Вып. 11. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2010 в. С. 202–210.

Побережников И. В. Творческий потенциал модернизационного подхода в историографическом дискурсе // Философия творчества, дискурс креативности и современные креативные практики: материалы междунар. науч.-практической конф. Екатеринбург, 2010 г. С. 365–375.

Побережников И. В. Урал в XVIII–XIX вв. (пример фронтирной модернизации) // Восьмые Татищевские чтения. Доклады и сообщения / Екатеринбург, 27–28 мая 2010 г. Екатеринбург: УМЦ УПИ, 2010 д. С. 308–310.

Побережников И. В. Урал в контексте евразийской цивилизации: становление образа // Уральский исторический вестник. 2009 а. № 4 (25). С. 23–31.

Побережников И. В. Уровни изучения модернизации: мировой, цивилизационный, страновый, региональный, локальный (теоретические аспекты) // Цивилизационное своеобразие российских модернизаций: региональное измерение: материалы Всероссийской научной конференции, 2–3 июля 2009 г. / отв. ред. И. В. Побережников. Екатеринбург, 2009 б. С. 55–65.

Побережников И. В. Фронтирная модернизация в контексте российской цивилизации // Модернизация в цивилизационном контексте: российский опыт перехода от традиционного к современному обществу. Екатеринбург, 2011 в. С. 47–61.

Побережников И. В. Теория модернизации: обновленный подход // Урал индустриальный: Бакунинские чтения: материалы Десятой юбилейной всероссийской научной конференции, 27–28 сентября 2011 г.: в 2 т. Екатеринбург, 2011 г. Т. 1. С. 144–152.

Хобсбаум Э. Век революции. Европа 1789–1848. Ростов-на-Дону, 1999. С. 251–252.

Alekseev V., Alekseeva E. L'Oural metallurgique, histoire et patrimoine. Edition francasise de Gracia Dorel-Ferre. Chambery: Universite de Savoie, 2011. 178 p.

К. И. Зубков

ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ АРЕНА РОССИЙСКИХ МОДЕРНИЗАЦИЙ XVIII–XX вв.: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Анализ динамики и факторной констелляции российских модернизаций XVIII–XX вв. предполагает среди прочего обратить внимание на такой питающий модернизационные процессы эндогенный ресурс, как изменяющееся геополитическое положение страны. Дискуссионной остроты этой проблеме добавляет то, что процессы, связанные с пространственным ростом государств и изменением их внешнего окружения, часто рассматривались в историографии как малозначащее и весьма несовершенное проявление социально-исторического развития – скорее как эпифеномен, или побочный результат, созидательно-творческой жизнедеятельности социума, а иногда – и как ее тормоз.

Этот стереотип влиял в свое время на трактовку многими российскими историками сущности колонизационных процессов, которые, по меткому определению В. О. Ключевского, составляли «основной факт» русской истории (Ключевский, 1987. С. 49–50). Например, Г. В. Вернадский рассматривал русскую колонизацию зауральских территорий как не более чем механическое расширение из исторического центра кругов застывшего «социального времени»: «То, что для Московской Руси уже прошлое, по мере удаления от Москвы, для Сибири может

еще быть настоящим. Наблюдая все пространство, где действует данное человеческое общество, в разрезе любого момента времени, мы можем видеть – все дальше и дальше, чем позже мы смотрим – эти застывшие круги, отзвуки того, что прежде жило в центре, но что там давно уже умерло» (Вернадский, 1914. С. 57). Явно или неявно историком проводилась мысль о том, что затраты созидательной энергии, которые общество вынуждено было расходовать на механические перемещения населения в конечном итоге оборачивались едва ли не приостановкой социально-культурного прогресса. М. К. Любавский ставил эту приостановку в зависимость от уменьшающейся «плотности» социальных взаимодействий, полагая, что именно «разбросанность населения» как прямое следствие колонизации явилась «сильным тормозом в ее (России. – *К. З.*) культурном развитии, в экономическом, умственном и гражданском преуспеянии» (Любавский, 2000. С. 24).

Не отрицая полностью такого рода зависимостей во взаимодействии социального и пространственного факторов развития, отметим все же их явную недостаточность для всеобъемлющей и диалектичной характеристики исторического развития. По сути, это – механистический взгляд, ставящий темпы развития в зависимость от «плотности» или «разреженности» социально-институциональной среды, от «бремени» пространства, может быть оспорен в нескольких отношениях – прежде всего, в теоретическом аспекте.

Английский социолог Э. Гидденс, обоснованно критикуя эволюционистские теории социальных изменений, отмечает в качестве одного из их недостатков представление об обществах, следующих определенной траектории развития, как о «закрытых» системах, или, иначе говоря, как о достаточно стабильных «единицах эволюции», что в корне неверно. Гидденс, безусловно, прав, подчеркивая, что в силу присущей человеку способности рефлексировать условия и факторы своего существования, «элементы строения “общества” или “культурной системы” меняются пропорционально изменениям, происходящим с теми характерными чертами и особенностями, на которых сосредоточиваются представителями эволюционизма» (Гидденс, 2005. С. 330–331). Это означает, что и средовые характеристики развития непосредственно и каждый раз по-новому вплетаются в те системные сочетания условий и факторов, которые делают возможным само это развитие.

Еще раньше эти сложные и не всегда очевидные нюансы взаимоотношений географического пространства и социума были подмечены В. О. Ключевским, который подчеркивал, что в колонизации следует видеть, по существу, не отдельную, изменяющуюся вместе с территорией, переменную русского исторического процесса, но целостность постоянно изменяющейся страны, где область колонизации «расширялась вместе с государственной ее территорией» и где народная жизнь, вследствие этого, с каждым приращением пространства получала «особое направление, особый склад и характер» (Ключевский, 1987. С. 50–51).

Кроме того, механистически понимаемый эволюционизм явно не учитывает переломных ситуаций в развитии общества (к которым можно относить, прежде всего, модернизационные сдвиги), когда осуществляемое за сравнительно короткие сроки масштабное приращение территории не только меняет границы и способ самоопределения этого общества, но и обеспечивает ему мощный прирост ресурсов для свершения тех социально-исторических изменений, на которые в обычном порядке уходили бы десятилетия и даже столетия.

Здесь уместно вспомнить богатое социологическим смыслом замечание В. О. Ключевского (высказанное в связи с ранней колонизацией северо-востока Руси) о двух формах взаимодействия общества с природой: в первом случае человек «приспособляется к окружающей его природе, к ее силам и способам действия», во втором – «их приспособляет к себе самому, к своим потребностям, от которых не может или не хочет отказаться» (Ключевский, 1987. С. 78–79). Очевидно, что речь в данном случае идет о противопоставлении присваивающего способа хозяйствования, как более примитивного и поверхностного, более зрелому и стимулирующему творческую энергию – производственному. То разделение данных способов хозяйствования, которое возникло на заре человеческой истории в порядке эволюционных изменений, на наш взгляд, не исчезает полностью и на более высоких стадиях исторического развития. Оно лишь приобретает новые – государственно-организованные и технологически-оснащенные – формы. Логично предположить, что при определенных исторических условиях общество может с меньшими затратами достигать сопоставимой меры материального богатства скорее захватом или колонизацией нового пространства (как вместилища разнообразных и почти даровых ресурсов), чем прогрессом производства на старой территориальной базе.

Обстоятельства, способные подвигать общество к такому выбору, могут быть различны. А.-В. Эспинас относит к числу важнейших факторов, стимулировавших в XVI–XVII вв. колониальную экспансию европейских держав, становление абсолютизма в рамках формирующихся национальных государств, которое сопровождалось, с одной стороны, гигантским ростом расходов на содержание крупных постоянных армий (как орудий нацио-

нальных устремлений), с другой – расцветом дворцовой роскоши, которая стала еще одним полем состязания властных честолюбий монархов (Эспинас, 1998. С. 56–57). Налоги с торговли и промышленности, по-видимому, не всегда могли адекватно покрывать эти расходы государственной власти, в связи с чем, в дополнение к последним, потребовалось обращение к чисто экспансионистским (и в этом смысле вполне «революционным») методам приумножения общественного богатства – включая «предпринимательство» самого государства на ниве колониальных авантюр и военных захватов. В этом случае мы имеем дело не с исключительным, но довольно типичным явлением, характеризующим определенную стадию европейского развития, в том числе развития стран, которые служили России примером для подражания, а в каком-то смысле – и прототипом самой российской модернизации.

С этими же мотивациями связан расцвет в Европе XVII–XVIII вв. политики меркантилизма, которая, в сущности, была одной из простейших форм накопления богатства и ярким выражением принципа полезности (меньше ввозить и больше вывозить, добиваясь сосредоточения в руках государства избыточного количества золотой и серебряной монеты). Наряду с теми стимулами, которые меркантилизм обеспечивал для внутреннего экономического подъема (создание мануфактур, введение таможенных барьеров), первичной и наиболее простой формой проявления этой политики была дистанционная торговля, тесно связанная с извлечением сверхдоходов из разницы цен на дефицитные и уникальные товары в местах их приобретения и местах их последующей перепродажи. Поэтому вполне понятно, почему пространственным выражением политики меркантилизма стала безудержная экспансия европейских держав, связанная с формированием заморских колониальных империй и установлением режимов монополии на торговлю метрополий со своими колониями (См. об этом подробнее: Зубков, 2006).

По-видимому, можно говорить о том, что на разных стадиях развития общества дистанционная торговля вообще являлась исторически первой формой складывания устойчивых рынков (не только международных, но и национальных), поскольку базировалась на простейшем (т. е. преимущественно присваивающем и весьма поверхностном) извлечении и выгодном обмене тех продуктов, которые обеспечивались какой-либо территорией, прежде всего, в силу ее естественного богатства, а не организации на ней сколько-нибудь развитого производства. В этом аспекте традиционный посыл марксистского экономического детерминизма, согласно которому торговый обмен всегда следует за производством, необходимо уточнить в том смысле, что присвоение богатств природы (колонизация) или других обществ (война) – это тоже вид производства. Возникая первоначально из простой разницы товарных номенклатур, присущих отдельным местностям, дистанционная торговля задает структуру стимулов, которые в дальнейшем поэтапно включают в позиции экономического обмена и другие факторы (качество, цена производства и т. п.), обусловливая возникновение более развитых форм производства. В свое время, при всей высокой оценке научных достижений С. В. Бахрушина, советская историография отмечала как методологический недостаток его работ то, что при изучении динамики складывания всероссийского рынка в XVI–XVII вв. историк обращал «главное внимание на торговлю, а не на развитие ремесла и крупного производства» (См.: Копылов, 1962). Непредвзятый взгляд на проблему позволяет утверждать, что в данном вопросе прав был все-таки С. В. Бахрушин, а не его критики.

Среди других значимых мотиваций выбора обществом экспансионистски-ориентированных способов увеличения своего ресурсно-материального потенциала можно выделить соображения социальной цены. Политика абсолютистских режимов, раз ступивших на путь внешних завоеваний, как правило, задавала логику самовоспроизводства такого курса. Вербовка солдат и заготовка вооружений, требовавшие колоссальных расходов, заставляли монархов проявлять чудеса изобретательности в нахождении новых финансовых источников, а это – в условиях узости доходной базы – вновь ориентировало их на войну. Внешняя экспансия как способ умножения материальных ресурсов общества выполняла в ряде случаев функцию стабилизации (в худшем варианте – консервации) сложившегося социального порядка, обеспечивая компромисс между традиционными структурами жизни и новыми потребностями общества.

Следует иметь в виду, что подобный стабилизирующий компромисс, достигаемый за счет внешней экспансии, мог выступать формой не только поддержания социального status-quo, но и развития общества, по крайней мере – подспудного изменения пропорций силы и влияния отдельных социальных агентов в рамках сохраняющегося социетального порядка. Территориальный рост Русского государства в конце XVI–XVII вв. происходил в русле расширения собственности абсолютистского государства (которая в силу сохранявшегося патримониального характера русской государственности была в первое время неотделима от собственности царского двора) и связанной с ней системы бюрократического контроля, так как вся земля за Уралом считалась «государевой вотчиной» и принадлежала казне, от которой как оседлое русское, так и кочевое

население получало земельные нарезки на особых правах.

Это, не нарушая прав и привилегий правящего феодального класса, в свою очередь, функционально и материально усиливало политическое могущество монарха-суверена, резко возвышая его фигуру над старой структурой социально-политических отношений, в той или иной мере отвечавших типу сословно-представительной монархии. Как отмечал русский эмигрантский историк В. Н. Иванов, подчиняемые государством «пустые земли» к востоку от Москвы представляли собой для будущих судеб российской монархии нечто совсем иное, чем края, расположенные к западу от столицы, где «живы были отголоски старины, крепки были западные влияния». Именно направляемая государством колонизация зауральских земель стала, по мнению историка, базой развития «спокойной русской государственности» (Иванов, 2002. С. 115). Таким образом, мы можем сделать предварительный вывод о том, что территориальная экспансия государства зачастую выступает в качестве компенсаторной, наиболее щадящей структуры старого порядка, формы развития общества.

Наконец, обсуждая причины, подталкивающие государства к выбору экспансионистских стратегий развития, нельзя сбрасывать со счетов и различия, наблюдаемые в их естественно-природном базисе, иначе говоря, в их «месторазвитии». Чем более неблагоприятным для интенсивной хозяйственной деятельности является комплекс природно-климатических условий страны (а $^{2}/_{3}$ России подпадает под эту квалификацию), тем большее значение в ее развитии должны приобретать экстенсивные факторы, рассчитанные скорее на первичное извлечение природной ренты из уникальных ресурсов, чем на стационарную интенсификацию хозяйственной деятельности (см. об этом подробнее: Горичева, 2004. С 48–59). В этом случае возможности государства опираться в своем развитии на присвоение природной ренты в виде освоения богатых баз естественных ресурсов всецело определяются средней вероятностью их обнаружения в ходе территориальной экспансии государства, а, следовательно, зависят от абсолютных размеров территории, находящейся под его контролем.

Переходя непосредственно к анализу геополитических параметров развертывания российских модернизаций XVIII–XX вв., мы можем обоснованно утверждать, что они определяли политику модернизации и в ее исходных предпосылках, и на уровне механизмов ее реализации. Почти весь замысел первой из российских модернизаций – петровской – имел своим прототипом типичную для стран европейской «полупериферии» XVII–XVIII вв. (Швеция, Пруссия, Турция) модель «военных революций». Определяющим моментом в инициировании политики модернизации была внешняя необходимость – стремление стран «полупериферии» не отстать от ведущих западноевропейских «центров силы», прежде всего – в наращивании военных возможностей и развитии военных технологий. В России именно это сообщило сильнейший толчок развитию военного производства – первого сектора экономики, в котором ощутимо проявила себя модернизация, распространившаяся затем на смежные отрасли, вовлеченные в снабжение армии. Большинство крупных предприятий, созданных в России в конце XVII – первой четверти XVIII в., производили продукцию, так или иначе связанную с военными потребностями государства (железо, вооружение, военное снаряжение) (см.: Предпринимательство и предприниматели России, 1997. С. 21). По данным В. В. Мавродина, промышленные предприятия «военного назначения» составляли в этот период 51 % всех вновь созданных предприятий, а об особой заинтересованности государства в таком развитии говорит тот факт, что 43 % всех предприятий были созданы на средства казны (Мавродин, 1983. С. 99). По справедливой оценке Х.-Х. Нольте, «армия в полупериферийных странах превратилась в своеобразного проводника модернизации» (Нольте, 1993. С. 19). Военный характер модернизации и особая роль армии как ее проводника до известной степени уравновешивали в модернизируемых странах (включая Россию) появление ростков новой – индустриальной – экономики и политическое восхождение абсолютизма, а в ряде случаев делали их органично дополняющими друг друга компонентами модернизационной модели развития. В России модернизация военно-экономической сферы, осуществляемая в условиях затяжной Северной войны, объективно не могла не усиливать в политике государства экстенсивных методов наращивания военного потенциала: и элементов экономической автаркии, и военно-захватных методов овладения наиболее ценными видами ресурсов. О прямой зависимости успехов в модернизации армии от расширения территориальных ресурсных баз довольно красноречиво свидетельствуют оценки военно-экономических возможностей России, изложенные в донесении резидента венского двора О.-А. Плейера от 1710 г.: «Железо у царя теперь из Сибири, и такое хорошее и мягкое, что даже и шведского не отыщешь лучше; дубового и другого крепкого леса с излишком, потому что рубить его запрещено под строжайшим наказанием, кроме как для царского употребления; серы и селитры вдоволь у них из Украины; для бомб и гранат ни в каком месте нечего и желать лучше железа тульского и из Олонца при Онежском озере по его твердости и хрупкости,

потому что при разрыве оно рассыпается на множество кусков; металла для литья пушек и мортир навезено из Польши, Ливонии, Финляндии и Литвы... Ружья уже больше им не нужно с такими расходами выписывать из-за моря: сибирское железо дает такие хорошие ружейные стволы, которые на примерной стрельбе всегда выдерживают тройной заряд безо всякой опасности. Все воинское платье у царя теперь из своей собственной земли...» (Плейер, 2001. С. 399).

Проявившаяся в петровских преобразованиях зависимость инициирующих импульсов модернизации от осознания верхами военной уязвимости страны и необходимости поддерживать геополитический баланс сил во взаимоотношениях с сильнейшими державами, по мнению Ф. Фукуямы, определила и все дальнейшее развитие России на протяжении не менее чем 350 лет. (Ф. Фукуяма определяет эту присущую российской правящей элите мотивацию к модернизации как амальгаму «военных амбиций» и осознаваемых параллельно с ними «сдерживающих препятствий»). Поражение России в Крымской войне 1853–1855 гг., несомненно, открыло прямой путь либеральным реформам Александра II, начиная с отмены крепостного права и кончая попытками внедрения европейских правовых институтов, как и впоследствии поражение царизма в Русско-японской войне 1904–1905 гг. дало толчок реформам П. А. Столыпина и экономическому подъему 1905–1914 гг. (Fukuyama, 1992. P. 75). При этом механизм, определяющий необходимость регулярного возобновления модернизационных «волн» как организуемых властью масштабных кампаний, коренится в двойственности самой модернизации, осуществляемой преимущественно «сверху». А. Гершенкрон в свое время объяснял этот феномен давлением исходной экономической отсталости модернизируемой страны: разрушая в процессе модернизации некоторые структуры традиционного общества, правящая элита использует для этого новые, «современные», формы бюрократического деспотизма, а они, в свою очередь, блокируют свободное развитие общества и в ходе новой модернизационной «сборки» вновь берут на вооружение преимущественно традиционные институты (Gerschenkron, 1962. P. 17) (Это черта в полной мере была унаследована и советской стратегией модернизации).

В еще более жесткой форме и с упреждающим, проективным видением развития мировой ситуации (а не post factum, после очередного военного поражения, как это было в дореволюционной России) идея необходимости модернизации (прежде всего, в виде крупномасштабной индустриализации страны) как геополитического императива была выражена в советской стратегии модернизации. Международные условия выживания «социализма в одной стране» изначально оценивались лидерами большевизма через призму непреодолимого антагонизма между капиталистическим Западом и Советской Россией, что, как предполагалось, будет перманентно создавать для последней военную угрозу. Пожалуй, яснее всего вытекающий из этого императив ускоренной модернизации выражала сталинская максима: «Мы отстали от передовых стран на 50–100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут» (Сталин, 1951. С. 38–39).

Сколь постоянным было воздействие геополитических императивов на мотивационную сторону инициирования российских модернизаций, столь же постоянной была и присущая России органическая слабость, коренящаяся в недостаточной зрелости экономических и культурных предпосылок масштабной модернизации. Поэтому вполне понятно, что политика российских модернизаций и дореволюционного, и советского периодов с неизбежностью приобретала характер геополитической задачи. Это выразилось, прежде всего, в компенсаторной опоре государственных программ модернизации на использование естественных природных богатств, которые могли возрастать вместе с расширением государственной территории. Достижения российских модернизаций в совершенствовании материального базиса экономики (вовлечение в хозяйственный оборот новых прогрессивных видов ресурсов, технологий и организация новых производств), как правило, были связаны с поисками или созданием новых территориальных ресурсных баз.

Императивы модернизации, сформированные комплексом геополитических задач (укрепление обороноспособности, автаркия, «догоняющий» характер развития), имели своим следствием не только преимущественную ориентацию на механическое приращение ресурсов развития за счет расширения их территориальной базы, но и сопутствующие ему качественные сдвиги в организации и технологиях производства.

В период петровской модернизации возросшая в связи с военными обстоятельствами потребность государства в черных и цветных металлах покрывалась уже не столько за счет их производства в старых металлургических районах (олонецкие, поволжские и подмосковные заводы), сколько стремительным по историческим меркам и широчайшим по территориальному охвату созданием горнометаллургических баз на востоке страны – почти одновременно на Урале, Алтае и в Забайкалье. Именно эти регионы, образовав стратегическую «ось» освоения восточных окраин России, обеспечили приращение военно-промышленных и общехозяйственных возможностей страны. При этом

суть такой территориально-экономической экспансии (заметим, осуществлявшейся в условиях военного времени и, в общем-то, не выходившей еще за пределы очагового развития) заключалась не просто в расширении вовлекаемого в развитие пространственно-географического ресурса, но в создании – за счет его возросшего разнообразия – принципиально новых комбинаций факторов производства. Исключительная роль природно-географических факторов в осуществлении петровской модернизации определялась, прежде всего, тем, что на ее начальном этапе политика размещения производства почти целиком исходила из того баланса экономии, который достигался перевесом естественно-природных факторов продуктивности (наличие богатейших и доступных для разработки ресурсов руды, леса, водной энергии и т. п.) над социально-экономическими и технологическими (Опыт российских модернизаций... 2000. С. 104–105). При примерно одинаковом уровне техники и социальной организации металлургического производства на Урале себестоимость производства полосового железа была более чем в 2–2,5 раза ниже, чем на олонецких и подмосковных заводах, и относить это следует почти целиком на счет благоприятных природных факторов (Дулов, 1983. С. 100). Однако дело заключалось не только в высоком качестве уральских железных руд и доступности богатейших запасов леса, но и в том, что само наличие крупных запасов топлива и сырья позволяло перейти к организации металлургического производства в принципиально ином, чем прежде, – крупнозаводском – масштабе. По-видимому, уже на этой стадии зарождения российской промышленности «экономия масштаба» становилась одним из основных факторов снижения себестоимости продукции, а сами крупнопромышленные формы производства определили на известный период времени принципиальную совместимость организационно-технических основ развития индустрии в России и на Западе, а кое в чем и временное превосходство России. Этот факт свидетельствует о том, что достигаемое в ходе территориальной экспансии количественное приращение ресурсов способно при определенных условиях порождать и новое качество производственной деятельности. В этом отношении естественно-природные факторы могут рассматриваться как факторы в подлинном смысле слова модернизационные.

Не будет преувеличением сказать, что первая российская модернизация стала возможной именно благодаря исключительным естественно-природным факторам и экстенсивным резервам роста экономики. Об этом ясно говорит сама динамика модернизационного «скачка» первой четверти XVIII в., отраженная в статистике производства черных металлов в России с 1700 по 1800 гг. За 1700–1725 гг. выплавка чугуна в стране выросла со 150 тыс. до 800 тыс. пудов (рост в 5,3 раза за 25 лет), а к 1767 г. – до 4,5 млн пудов (рост в 5,6 раза за более чем 40-летний период). К 1800 г. темпы прироста производства чугуна несколько замедлились, достигнув лишь 10 млн пудов (рост по сравнению с 1767 г. в 2,2 раза) (Дробижев, 1973. С. 233). Хотя в абсолютных показателях прирост на протяжении всего столетия имел нарастающую тенденцию, о собственно модернизационном «скачке» (не только количественном, но отчасти и качественном) более убедительно свидетельствует статистическая прогрессия (т. е. кратность этого промышленного роста), соотнесенная со скоростью перемен. За период 1700–1725 гг. ежегодный прирост производства составлял свыше 17 %, в 1725–1767 гг. – 11, а в 1767–1800 г. – только 4 %. Таким образом, пик прироста металлургического производства приходится как раз на начальный этап создания уральской металлургии и потому, как можно предположить, почти целиком был связан с экстенсивным ростом материально-производственной базы. За первую четверть XVIII в. на Урале, по данным Д. В. Гаврилова, было построено 23 крупных металлургических завода (Гаврилов, 2005. С. 86), что произвело подлинную революцию в русской металлургии.

Зависимость хода модернизации от расширения пространственно-географической сцены и связанных с этим факторов присвоения природной ренты ярко обнаруживается в политике государства (как главного в условиях России агента модернизации) по установлению контроля над добычей и распределением наиболее ценных и высокодоходных видов ресурсов, которые поэтапно вовлекались в хозяйственный оборот в ходе каждой очередной «волны» освоения окраинных территорий государства. Этому, прежде всего, служили различные виды экономической и торговой монополии государства. На восточных территориях первым по времени экономическим ресурсом, на который распространялась монополия государства, стала пушнина высшего качества, игравшая с XVI в. важную роль во внешней торговле России с европейскими странами и в пополнении казны. Стремясь оградить ясачные сборы от расхищения, а их естественную ресурсную базу – от быстрого истощения, правительство всячески ограничивало частный торговый оборот пушнины, а также запрещало нарушать земельные права инородцев на охотничьи угодья, вести с ними торговлю (особенно вином и табаком). В связи с быстрым истощением естественных ресурсов высококачественной пушнины в 1690-х гг. последовала целая серия указов, преследовавших частную скупку и оборот пушнины «первой руки»

служилыми людьми (Опыт российских модернизаций... 2000. С. 107).

В дальнейшем объектом государственной монополии становятся прииск и разработка месторождений золота и серебра. Хотя горное законодательство России, как правило, включало золото и серебро в число промыслов, с которых взималась горная подать, частная добыча этих драгоценных металлов в стране до 1812 г. находилась под запретом. Организация горного производства в России вообще находилась под сильным воздействием правительственной регламентации, направленной в конечном счете на резервирование в руках государства стратегически крупных объемов ресурсов военно-хозяйственного назначения: помимо установления монопольной собственности государства на недра, Берг-привилегия 1719 г. предусматривала взимание горной подати с производителей металла в виде $^{1}/_{10}$ части валового продукта (а не чистого дохода!) и право государства на преимущественную покупку в казну селитры и меди по установленной (часто заниженной) цене (см. об этом подробнее: Штоф, 1889). При той беспрецедентной организационно-экономической роли, которую государство приобретало в связи с присоединением новых территорий, вполне естественным становилось за счет их ресурсной базы и резкое расширение казенного сектора промышленности. Последний, как правило, включал в себя наиболее продуктивные и высокоценные ресурсные источники, относительно которых государство было заинтересовано в установлении прямого контроля за производством и распределением. Роль частного предпринимательства в этих условиях не могла быть вполне самостоятельной, поскольку, во-первых, базисные факторы производства (посессионное землевладение, т. е. приписка земель к частным заводам; горная регалия на полезные ископаемые; основной контингент рабочей силы в виде приписного крестьянства) продолжали составлять собственность государства, во-вторых, в любой момент они могли быть возвращены в казну (что происходило довольно часто). Так, например, произошло с демидовскими металлургическими заводами на Алтае, которые после открытия там богатейшего серебряного рудника (Змеиногорское месторождение) были взяты в 1747 г. в управление Кабинета и почти полностью перепрофилированы на выплавку серебра (Щеглов, 1993. С. 157). Фактически возможности доступа к ресурсам для частного предпринимательства были открыты лишь в той мере, в какой оно могло брать на себя риск и тяжесть первоначального промышленного освоения территории и тем самым страховать недостаточную эффективность казенного производства, либо тогда, когда продуктивность месторождений падала и они больше не представляли интереса для государства.

Вторая российская модернизация, инициированная «великими реформами» 1860–1870-х гг., в значительной степени унаследовала то решающее значение территориально-ресурсных факторов, которое определилось за полтора столетия до этого. После Крымской войны не только власть, но и русское общество пришли к осознанию того, что одной из главных причин поражения России в соперничестве с европейскими державами являлась узость ее воспроизводственной базы. Это стимулировало активные геологические и экономико-статистические исследования на неосвоенных территориях страны. Однако теперь пространственный фон развития существенно менялся. Если экспансионистский размах петровских преобразований позволял в значительной степени компенсировать недостаток рыночных стимулов развития методами прямой государственной регламентации и достигать благодаря этому максимально выгодных (отчасти естественных, отчасти принудительных) комбинаций основных факторов производства в отдельно взятых, изолированных очагах сосредоточения ресурсов, то отмена крепостного права, напротив, поставила процесс модернизации в жесткую зависимость от скорости и эффективности спонтанно развивающихся рыночных взаимодействий между территориями страны. Унаследованная послепетровской Россией структура военной империи до известной степени позволяла осуществлять форсированное экономическое развитие при сохранении разобщенности русской экономической жизни, патриархальной неразвитости обмена между отдельными регионами страны. Монополия низких цен за счет эксплуатации уникальных по своей продуктивности природных ресурсов (что предполагало их своеобразный экстенсивный «отбор» в громадных территориальных масштабах) и использование архаичных, во многом искусственно поддерживаемых, социально-правовых институтов предопределяли развитие крупных ресурсных регионов страны как относительно замкнутых хозяйственных и социальных «миров» (Опыт российских модернизаций... 2000. С. 113).

Вторая модернизация, стартовавшая под знаком преодоления технической и институциональной отсталости страны, в территориальном аспекте предполагала уже ставку на последовательное расширение «эффективной национальной территории» посредством развития рынка, пространственной мобильности основных факторов производства (прежде всего, капиталов и труда) и создания транспортной инфраструктуры. Тем не менее это не отменяло важной компенсаторной роли экстенсивных факторов в экономическом прогрессе

страны. К концу XIX в. отчетливо выявился такой лимитирующий развитие фактор, как узость сложившейся территориальной базы промышленного роста. Д. И. Менделеев в 1896 г. отмечал, что в России главные области «чисто промышленного, т. е. наиболее сложного и развитого быта» исчерпывались немногими центрами (Москва, Петербург, Рига. Варшава), пользовавшимися «выгодами торгового положения» ввиду близости к рынкам Европы, а локализация новых районов динамичного промышленного развития (Южный и Закавказский) в значительной мере определялась тяготением к берегам «теплых морей, занятых Россией сравнительно недавно и составляющих главный путь крупных международных торговых оборотов» (Менделеев, 1991. С. 40, 42, 44). С геополитической точки зрения, такая схема размещения производства не могла не формировать зависимого типа экономического развития, который в перспективе являлся тормозом прогрессивного структурного усложнения и технологического роста национальной промышленности, не говоря уже о вытекающих из этого последствий для военной безопасности страны. Выход из этой ситуации мог быть найден вновь только на путях пространственной экспансии – решительного сдвига центра тяжести промышленного развития в обширные континентальные районы внутренней России. «Восточная программа» С. Ю. Витте, о которой уже много писалось, находила весьма эффективную формулу такого развития: стимулируя развитие связей с мировым рынком, прежде всего – по линии привлечения инвестиций, эта стратегия ориентировалась главным образом на формирование самодовлеющего типа индустриального развития за счет освоения новых (в первую очередь восточных) рынков сбыта и освобождения страны от иностранной зависимости в части промышленного импорта (Азиатская Россия... 2004. С. 67). Следует учитывать и другое: движение промышленности на окраины с их земельным простором и громадными «запасами природных материалов», как отмечал Д. И. Менделеев, не сводилось лишь к простому ее рассеянию по территории страны: исключительно удачное сочетание в новых районах всех основных факторов производства способно было сделать их промышленное развитие «наиболее плодородным и выгодным для всей страны» (Менделеев, 1991. С. 44), т. е. сообщить, как и в петровскую эпоху, толчок качественному росту производства, переходу его на новую историческую ступень.

В еще большей мере значение пространственных факторов развития как важнейшей предпосылки и механизма осуществлений модернизации обнаруживается в советский период. Помимо тех «преимуществ» советского политического строя, с которыми большевики связывали возможность победы в соревновании с капитализмом, в том числе и в случае открытой военной конфронтации с ним, они первостепенное значение придавали именно физико-географической «диспозиции» советского социализма. В «Заметках по экономическим вопросам» (1926 г.) Л. Д. Троцкий отмечал, что именно в сочетании с пространствами России и ее естественными ресурсами политика индустриализации «может вполне обеспечить нашу хозяйственную и военную промышленность» и привести в конечном счете к достижению высшей производительности труда (Коммунистическая оппозиция в СССР, 1990. С. 170). Еще более определенно в июне 1931 г., на сессии Академии наук СССР, высказался по этому поводу Н. И. Бухарин: «Если *экономически* социализм утвердился в стране, уровень развития которой находится на мировой средней, то с точки зрения *естественных* условий социализм отвоевал себе страну, которая является самым мощным *единым* участком мировой территории... Таким образом, "*строительная площадка социализма занимает лучший участок мира*"». Законченное выражение этот «геополитический оптимизм» приобретает у Н. И., Бухарина, когда он объявляет гигантский пространственно-ресурсный потенциал Советской России едва ли не главным фактором, способным определить исход экономического соревнования с капитализмом: «Исторически вопрос о борьбе капиталистического и социалистического сектора мирового хозяйства стал так и в такой форме, что социализм получил в свое распоряжение первоклассную величину, будучи поставлен перед задачей освоения "Евразии". Если наиболее передовой капитализм вырос в Америке и обнаружил "американский" размах, социализм должен иметь еще больший, "большевистский" размах» (Бухарин, 1988. С. 42, 43). Таким образом, не только с позиций поддержания военной безопасности СССР, но и в самих исходных возможностях построения «социализма в одной стране» (т. е. вне развитых связей с мировым рынком и преимущественно на базе экономической автаркии) значение геополитического фактора виделось лидерам большевизма исключительно важным, если не решающим. По существу, оно таким было и в практической плоскости – в ходе осуществления программы индустриализации.

Таким образом, расширение геополитического базиса Российского государства, подхватывавшее эстафету предшествующих колонизационных процессов, становилось одним из исходных условий и необходимым компонентом важнейших модернизационных сдвигов. Экспансия как способ апроприации ресурсов рождала инерцию компенсаторной опоры государственных программ модернизации на экстенсивную эксплуатацию природных ресурсов, разнообразие и дешевизна которых поддержи-

вались расширением подконтрольной государству территории. Экстенсивный прирост ресурсов и присвоение природной ренты не только превращались в один из мощных источников накоплений для целей модернизации, но и обусловливали – главным образом за счет фактора экономии масштаба – важные организационно-технологические сдвиги на стадии модернизационных «прорывов». С этим связаны, например, зарождение крупнозаводской промышленности на Урале и Алтае в петровскую эпоху, прокладка Транссиба на рубеже XIX–XX вв., крупнейшие программы освоения восточных регионов страны в советский период. В долгосрочном же плане экстенсивный путь развития ослаблял мотивацию к качественному обновлению технологических и социальных основ производства. Однако, как типично российский вариант модернизации, он, возможно, был предопределен как раз спецификой развития экономики в относительно неблагоприятных природно-климатических условиях.

Список литературы

Азиатская Россия в геополитической и цивилизационной динамике. XVI–XX века // Алексеев В. В., Алексеева Е. В., Зубков К. И., Побережников И. В. М., 2004.

Бухарин Н. И. Избранные труды: История и организация науки и техники. Л., 1988.

Вернадский Г. В. Против солнца: Распространение русского государства к востоку // Русская мысль. 1914. № 1. С. 57.

Гаврилов Д. В. Горнозаводской Урал XVII–XX вв.: Избранные труды. Екатеринбург, 2005.

Гидденс Э. Устроение общества: Очерк теории структурации. 2-е изд. М., 2005.

Горичева Л. Естественно-природные условия развития национальных хозяйств России и Западной Европы // Мировая экономика и международные отношения. 2004. № 2. С. 48–59.

Дробижев В. З., Ковальченко И. Д., Муравьев А. В. Историческая география СССР. М., 1973. С. 233.

Дулов А. В. Географическая среда и история России. Конец XV – середина XIX в. М., 1983.

Зубков К. И. У истоков промышленной политики России: меркантилизм и экспансия // Промышленная политика в стратегии российских модернизаций XVIII–XXI вв.: Материалы Междунар. науч. конф., посвящ. 350-летию Н. Д. Антуфьева-Демидова. Екатеринбург, 2006. С. 22–30.

Иванов В. Н. Мы: Культурно-исторические основы русской государственности // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18. Социология и политология. 2002. № 2. С. 99–142.

Ключевский В. О. Сочинения: В 9 т. Т. I. Курс русской истории. Ч. I. М., 1987.

Коммунистическая оппозиция в СССР. 1923–1927 гг. Т. 1. М., 1990.

Копылов А. Н. Бахрушин // Советская историческая энциклопедия. Т. 2. М., 1962. Стлб. 177.

Любавский М. К. Историческая география России в связи с колонизацией. СПб., 2000.

Мавродин В. В. Основание Петербурга. 2-е изд. Л., 1983.

Менделеев Д. И. С думою о благе российском: Избр. экон. произведения. Новосибирск, 1991.

Нольте Х.-Х. Европа в мировом сообществе (до XX в.) // Европейский альманах. История. Традиции. Культура. 1993. М., 1993.

Опыт российских модернизаций XVIII–XX века. М., 2000.

Плейер О.-А. О нынешнем состоянии государственного управления в Московии в 1710 году // Лавры Полтавы / Юст Юль, Оттон Плейер. М., 2001. 397–413.

Предпринимательство и предприниматели России. От истоков до начала XX века. М., 1997.

Сталин И. В. Сочинения. Т. 13. М., 1951.

Штоф А. А. Горные подати на Западе Европы и у нас: (Очерк из истории горного законодательства) // Горный журнал. 1889. Т. IV. Кн. 10. С. 118–134.

Щеглов И. В. Хронологический перечень важнейших данных из истории Сибири. 1032–1882 гг. Сургут, 1993.

Эспинас А.-В. История экономических учений / Пер. с фр. СПб., 1998.

Fukuyama F. The End of History and the Last Man. L.; N.Y., 1992.

Gerschenkron A. Economic Backwardness in Historical Perspective. Cambridge, 1962.

И. В. Поткина

ГРАЖДАНСКИЕ ПРАВА В РОССИИ (В КОНТЕКСТЕ ЭВОЛЮЦИИ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ)

К гражданскому праву в дореволюционной России относили те нормы, которые определяли положение и регулировали отношения отдельных лиц как членов общества в их частной жизни. Иными словами, гражданское право определяло личные, семейные и имущественно-хозяйственные взаимосвязи. Одновременно оно распространялось и на отношения различных общественных организаций и учреждений с государством во главе, но только в той области, где они принимали форму частного хозяйства[1].

Русское гражданское право практически полностью избежало влияния римского права и романской теории. В результате оно не представляло собой цельной и замкнутой системы норм, вылившихся из естественных законов частной воли. Действовавший в дореволюционной России кодекс – это был всего лишь свод законов, наглядно свидетельствовавший о распределении создавших его первоисточников. Таким образом, гражданские права и обязанности подданных Российской империи оказались разбросаны по всему Своду законов, которые насчитывали на рубеже XIX–XX вв. 16 томов.

В это время российская семья как ячейка общества сохраняла основы, в той или иной степени преодоленные в странах Западной Европы, а именно: неограниченную власть мужа и отца, церковную форму брака. Что касается наследственного права, то в России, как и на Западе, оно находилось в жесткой взаимосвязи с родовым союзом и собственностью. При этом в нашей стране практически не существовало ограничений завещаний, что обуславливалось делением имущества на родовые и благоприобретенные, тогда как более развитые отношения возникают при твердом принципе свободы частной воли. Обязательственное право в Российской империи получило слабое развитие. Однако два его фундаментальных положения – сила частной воли и право надзора со стороны суда за соответствием обязательств общему порядку отношений – в законах были установлены[2].

В период составления свода законодатель в лице самодержавного государства ввел целый ряд новых форм, которые тем не менее не восполнили недостатки закона. Другая особенность русского гражданского права состояла в том, что именно судебная практика своими толкованиями восполняла существовавшие пробелы, благодаря которым, к примеру, появилась значительная часть обязательственного права. На юридические формы сильнейшее влияние оказывали и политические факторы. Как известно, субъектом права является любой человек, но в России в основе этой свободы для подавляющей части населения лежал принудительный законодательный акт – Положение об освобождении крестьян 19 февраля 1861 г. В то же время в русском праве оставались ограничения правоспособности, связанные с вероисповеданием, национальностью и сословием[3].

Гражданские законы, неравнозначные по своему смыслу гражданским правам, тем не менее во многом их определяют. Экономическая свобода, понимаемая как свобода промысловой деятельности, в качестве одной из составляющих гражданских прав была изложена в ряде законов Российской империи. К ним относились уставы торговый, о промышленности, кредитный, горный, путей сообщения, о налогах, а также Законы гражданские и о состояниях. В целом торгово-промышленное законодательство основывалось на принципах свободы, равноправия и бессословности, которые впервые были провозглашены в законах 1863 г. Впоследствии при пересмотре основных разделов Свода законов они были последовательно проведены во всех частях, которые регулировали промысловую активность. Однако эти важнейшие принципы предпринимательской деятельности на практике не были выдержаны до конца. Только с принятием нового Положения о государственном промысловом налоге 1898 г. окончательно отвергается сословное начало, и право на занятие торговлей и промышленностью становится независимым от приписки к купеческому сословию. Принципы свободы, равноправия и бессословности не были в равной степени распространены на все категории многонационального населения России. Исключение составляли евреи иудейского вероисповедания.

Отличительной особенностью отечественного предпринимательского права являлось сочетание ограничений с рядом льгот как общего, так и частного плана. Больше всего запретов и стеснительных правил содержали уставы горный и кредитный. Как правило, для иностранных бизнесменов они сводились к приграничным районам Российской империи и обуславливались ограждением интересов отечественных предпринимателей[4].

Из всей совокупности собственность являлась господствующим типом отношений в обществе,

и она же являлась фундаментальным принципом гражданских прав. Во второй половине XIX в. в России, прежде всего, на ее национальных окраинах, стали исчезать зависимые формы владения, к которым относилось чиншевое право*. В то время как другие исторические виды, общинное землевладение, в течение длительного времени на основной части территории империи поддерживались государством силой закона. И только в начале XX в. с проведением столыпинской аграрной реформы эта форма зависимого владения обнаружила устойчивую тенденцию к исчезновению. Строгое деление имуществ на родовые и благоприобретенные несло на себе отпечаток средневековых социально-политических форм. В то же время в русских законах не была точно определена система вещных прав, а это уже было следствием недостаточного влияния социально-политических факторов.

Современные обществоведы отмечают, что «"собственность" как юридическое понятие является реально существующей нормой (или совокупностью норм), которая регулирует отношения между людьми». С другой стороны, в ходе экономической деятельности происходит ее реализация, а это «есть не что иное, как вступление людей в определенные отношения в процессе общественного воспроизводства»[5]. В конечном счете существует три главных участника, три стороны, которые являются субъектами присвоения и которые обозначаются как агенты собственности: общество в целом в лице государства, частные владельцы и непосредственные производители, как индивидуальные, так и коллективные.

Право собственности

Будучи одновременно правовым и социально-экономическим институтом, собственность составляет базовый фундамент для развития предпринимательской деятельности. Она во многом определяет степень экономической свободы, показывая, какими возможностями обладали отечественные и зарубежные фабриканты и заводчики на рубеже XIX–XX вв. для реализации своих владельческих прав и предприимчивости.

Сам термин «собственность» не был известен коренным русским источникам закона. Он впервые появляется в российском законодательстве в самом начале XVIII в. как термин заимствованный из немецких источников. «Собственность» является переводом немецкого слова «Eigenthum», которое государство использовало в жалованных грамотах прибалтийским немцам, проживавшим на вновь приобретенных территориях. В последующие годы новое юридическое понятие продолжало носить локальный характер, оно применялось в указах, относящихся к окраинным территориям империи. В законодательные акты общероссийского значения этот термин попал лишь в конце XVIII в. – в Жалованные грамоты дворянству и городам в 1785 г. С этого момента «собственность» начинает заменять русский национальный термин «вотчинное и потомственное владение»[6]. Изначально понятие «собственность» в источниках было связано с владением недвижимостью, точнее, землей.

В течение всего XIX в. в результате законотворческой деятельности сам термин претерпел большие изменения. В конечном итоге определение права собственности в гражданских законах получило достаточно четкое и ясное выражение. Первой знаменательной вехой на этом пути стала систематизация и инкорпорация действующих российских законов, проводившаяся М. М. Сперанским в начале 1830-х гг., в результате чего появился общий Свод. В X том вошли Законы гражданские. Тогда впервые была сформулирована статья, давшая точное определение понятию права собственности. Однако она еще не обладала достаточной стройностью и лаконичностью. М. М. Сперанский выбрал следующую словесную форму: «Кто, быв первым приобретателем имущества по законному укреплению его в частную принадлежность, получил власть, в порядке гражданскими законами установленном, исключительно и независимо от лица постороннего владеть, пользоваться и распоряжаться оным вечно и потомственно, доколе не передаст сей власти другому, или кому власть сия от первого ее приобретателя дошла непосредственно или через последующие законные передачи и укрепления, тот имеет на сие имущество право собственности»[7].

После пересмотра всего Свода в 1857 г. и Законов гражданских в 1887 и 1900 гг. дефиниция 1832 г. осталась без изменений. Естественно, что к концу XIX в. при всей точности определения формулировка М. М. Сперанского не отвечала духу времени и представляла собой архаичный юридический текст.

Уже в первом издании Законов гражданских законодатель, осознавая несовершенство словесного выражения юридической нормы, вынужден был снабдить приведенную выше пространную формулировку не менее многословными описательными примечаниями, в которых объяснялось соотношение заимствованного термина с национальным. Такое положение сохранилось и во всех последующих обновленных изданиях Законов гражданских. Одно из примечаний давало пояснения, призванные устранить возникшую путаницу в связи с утверждением в российской юриспруденции нового поня-

* Права и обязанности вольных однодворцев в Польше, посаженных на поместные земли.

тия: «Право собственности на недвижимые имущества в законах часто означается под именем права вотчинного и крепостного, а также под именем вечного и потомственного владения. В сем смысле и лицо, имеющее право собственности, именуется владельцем»[8].

Второй знаменательной вехой в становлении и развитии юридического термина стали реформы Александра II. С одной стороны, кардинальные изменения в социально-экономическом устройстве страны объективно вели к необходимости всеобщего пересмотра действующего законодательства и приведения его в соответствие с новыми реалиями. Эта работа проводилась в 1880–1890-е гг., когда уже обозначились конкретные результаты реформ. С другой стороны, экономические изменения одновременно стимулировали и повседневную законотворческую деятельность. Во-первых, принятые новые законы публиковались в особых Продолжениях к томам Свода, а затем вносились в качестве статей в обновленные издания тех или иных законов. Во-вторых, правительствующий Сенат, опираясь на судебные разбирательства, имел возможность обобщать порождаемые жизнью проблемы.

В 1864 г. при Сенате были созданы два департамента, которые сыграли большую роль в разработке норм права не известных действующему закону. Судебная практика через разъяснения Гражданского кассационного департамента Сената не только уточнила и отрегулировала смысловое содержание понятия «право собственности», но и существенно расширила его границы. В 1869 г. в российской законодательной базе появилась сжатая и емкая формулировка, отвечавшая духу времени. Так появилось следующее определение: «Право собственности есть приобретенная в установленном законами порядке власть исключительно и независимо от постороннего лица владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом»[9].

С 1782 г. в российские юридические источники вошло положение, которое закрепило за владельцем земли право на ее поверхность и недра. Этот принцип в формулировке 1832 г. зафиксировали Законы гражданские: «По праву полной собственности на землю владелец ее имеет право на все произведения на поверхности ее, на все, что заключается в недрах, на воды, в пределах ее находящихся, и словом – на все ее принадлежности»[10]. В 1887 г. судебная практика внесла еще одно важное дополнение: собственнику земли отдавалась также власть и на воздушное пространство в границах владения поверхностью. С этого момента российская трактовка права собственности на землю приблизилась к понятию о нем в иностранных законодательствах[11].

По признанию русских правоведов Законы гражданские считались крайне несовершенным источником права, поскольку содержали в себе много архаичных статей. Они представляли собой совокупность разновременно возникших правил и в силу этого носили отпечаток разных эпох и различных укладов общественной жизни. Однако в отношении права собственности Законы гражданские отвечали требованиям того времени. Признаком подобного соответствия являлось следующее. По российским законам право собственности было не просто разложено на свои составные части, но они могли отдельно друг от друга фигурировать в гражданском обороте, главным образом на рынке недвижимости. Это имело непосредственное отношение к договорам об аренде и залоге имущества. Другими словами, владение, пользование и распоряжение отчетливо различались российским законом. Всего три года понадобилось Гражданскому департаменту Сената для того, чтобы утвердить уже на рубеже 1860–1870-х гг. в отечественном правоведении раздельное существование общепринятой триады. Благодаря судебной практике юриспруденция обогатилась следующим постановлением: «Право собственности слагается из трех отдельных прав: права владения, права пользования и права распоряжения. Когда все эти права слагаются в одном физическом или юридическом лице, тогда оно есть полное»[12].

В конечном итоге Законы гражданские оказались близки Общегерманскому уложению. К тому же отечественная трактовка освободилась от основного камня преткновения западноевропейской юриспруденции, т. к. в русском законодательстве право собственности было совершенно свободно от неотступной опеки владения. В 1884 г. сенаторы раз и навсегда развели отечественный термин и заимствованный, дав следующее определение: «Выражение закона “вечное владение” не равносильно выражению “право собственности”». По мнению дореволюционных юристов, дифференциация термина в России зашла так далеко, что движимые и недвижимые имущества по закону можно было приобретать и отчуждать как вместе, так и без права владения[13].

Данный вывод подкрепляется рядом других положений, принятых Гражданским департаментом Сената в пореформенное время, которые позволили максимально уточнить позиции закона. Детализация была крайне необходима для повседневной жизни, нередко порождавшей двусмысленность в имущественных отношениях в период кардинальной перестройки аграрного сектора экономики. С этой точки зрения, большое значение имело разъяснение сенаторов по поводу обособленного существования слагаемых триады: «Право собственности не прекращается через отделение от него одной из его составных частей; через такое отделение оно

делается лишь ограниченным, и собственник волен отделить от него право распоряжения». Не менее важным было и другое положение, которое установило соподчиненность названных трех элементов, придав решающее значение праву распоряжения[14].

Становление капиталистических отношений в промышленности и сельском хозяйстве, широкое развитие разнообразных организационных форм предпринимательства, а также связанное с этим увеличение числа совместных и корпоративных владельцев привело к необходимости уточнения позиций закона в вопросах общей и общественной собственности. Гражданский департамент Сената выдал на рубеже XIX–XX вв. ряд разъяснений по поводу прав и ответственности указанных категорий совладельцев, а также внес ясность в вопросы купли-продажи совместного имения. Во-первых, «соучастнику в общей собственности» принадлежало «право в соответствующей доле на каждую часть целого имущества». Во-вторых, каждый из них пользовался доходами и нес «все обязанности по имению соразмерно своей доле». И наконец, совладелец не мог приобрести исключительное право на свою часть в общей собственности, если она не была выделена ему другими партнерами по имению или предприятию[15].

В России общая собственность подразделялась на два подвида: наследственную и ненаследственную. В отношении каждого действовали свои особые правила раздела. Принципиальная разница состояла в том, что дела об укреплении в собственность части общего имущества, доставшегося по наследству, решались исключительно в судебном порядке. При этом раздел рассматривался лишь в качестве способа прекращения совместного владения. Что касается приобретенных имений, то Правила о судебном разделе к ним были неприменимы. Если совладельцами ненаследственного имущества являлись физические лица, то каждый имел право принудить других к его раздроблению. Но если таковым являлось юридическое лицо, то по решению, принятому в 1876 г., никто из соучастников не имел права требовать раздела, он мог лишь выйти «из общего владения, продав свою часть кому-либо»[16].

Сложнее обстояло дело с вопросами, связанными с реализацией совместного владения. Не сразу Гражданский департамент Сената нашел наиболее приемлемый вариант руководящего решения столь сложного вопроса, учитывавший в равной степени интересы конфликтующих сторон. С трудом найденная редакция положения звучала следующим образом: «Если соучастник продаст без согласия других все общее имение, то эти последние вправе требовать уничтожения акта, но лишь в частях, принадлежащих им»[17].

Взаимоотношения на почве общественной собственности не стали для сенаторов камнем преткновения. С 1869 по 1883 г. Гражданский департамент только трижды рассматривал ситуации, возникшие на почве данного института. Позиции закона оказались предельно ясными. Во-первых, собственником признавалось юридическое лицо, рассматривавшееся отдельно от его членов. Во-вторых, защита данного вида собственности принадлежала обществу в целом, а не лицам, его составляющим[18].

В пореформенные годы российское законодательство развивалось очень динамично. Гражданский департамент Сената в 1866–1910-е гг. в отношении права собственности на движимые и недвижимые имущества утвердил в общей сложности 151 определение. Некоторые из них явно несут на себе печать поиска наиболее приемлемого варианта. В первую очередь это относится к выработке общих положений самого понятия права собственности, когда сенаторы не сразу пришли к сбалансированному взгляду на полноту власти собственника и ее ограничения в законе. Потребовалось также немало времени для признания за совладельцем права на защиту своего владения не только от посягательств постороннего лица, но и другого собственника. Не сразу правительство определилось в вопросе о взаимоотношениях владельца имения и его арендатора[19].

Названное 151 постановление по годам распределилось следующим образом: в 1868–1880 гг., т. е. за 13 лет, Сенат выдал 106 руководящих решений, а в 1881–1908 гг. (без малого 30 лет!) – только 45. В первый период пики кассационной активности приходились на 1872, 1875, 1879 и 1880 гг., когда принималось более 10 решений в год. На втором этапе только в 1887 г. наблюдалась законотворческая активность, тогда было принято 7 постановлений, все остальные 27 лет департамент Сената принимал от 1 до 4 решений[20]. Следовательно, реализация социально-экономических реформ потребовала от правительства незамедлительного разъяснения позиций в сфере права собственности и его судебной защите. В результате деятельности Сената были созданы целые институты, неизвестные российскому закону, и поэтому часто практикующий юрист апеллировал не к Своду, а к решениям этого правительственного органа[21].

В 1882 г. правительство учредило специальную комиссию по составлению проекта гражданского уложения, работа которой затянулась на долгие 23 года. В 1905 г. наконец-то были опубликованы окончательные результаты ее деятельности в виде новой редакции кодекса, содержавшего 2640 статей. Проект Законов гражданских, выработанный на почве действующего права, не только максималь-

но вобрал в себя всю предшествующую судебную практику, но и заимствовал нормы, действующие в странах Европы и Америки, а также на западных окраинах империи[22].

Терминология проекта в области вопросов о владении и собственности, по мнению дореволюционных специалистов, была строго выдержанной. Основная статья действующих Законов гражданских была разложена на свои элементы, и прежнее описание права собственности заменялось в новом кодексе краткой теоретической формулой. При этом понятия «владение» и «владелец» уже не смешивались с терминами «собственность» и «собственник», как это было в прежнем Своде. Так, новое уложение гласило: «право собственности есть право полного и исключительного господства лица над имуществом, насколько это право не ограничено законом и правами других лиц». Другие статьи закрепили составные части триады, на которые распадалось право собственности: владение, пользование, распоряжение. И наконец, проект утверждал исключительность и независимость важнейшего социально-экономического института, признавая его свободным от обременения в пользу других лиц[23].

Положения проекта Законов гражданских, по свидетельству цивилиста А. М. Гуляева, окончательно освободились от своего национального характера, они воспроизвели развившуюся на почве источников римского права пандектную* (всеобъемлющую. – *И. П.*) теорию юридического владения. Однако статьи нового кодекса не являлись «простым заимствованием выводов ... доктрины uno actu». В конечном итоге большинство элементов русского национального «владения» вошло в заимствованное еще в XVIII в. «право собственности»[24].

Во всех развитых странах право собственности по своему существу ограничено законом. С этой точки зрения Российская империя следовала мировой тенденции. Внесословные и вненациональные общие легальные ограничения касались главным образом недвижимости, т. к. осуществление священного права собственности вне границ может обернуться бедствиями для всего общества. Установленные законом запреты стесняли полноту права и налагали на собственника известные обязанности в интересах общего блага, которые носили безличный характер. Социально-экономическое развитие страны и вызванное им усложнение форм общежития неизбежно приводили к упорядочению законодательным путем быта населения и к защите народного богатства.

С зарождением и становлением фабрично-заводской промышленности, железнодорожного дела, пароходства, строительства в XIX в. в России получили развитие старые общие ограничения права собственности. Они коснулись соседства, проблемы предупреждения пожаров, вопросов эстетичности городских построек, безопасности и благосостояния обывателей. Одновременно возникли новые лимитные нормы – в дорожном праве, в пользовании лесами, а также охоты и рыбной ловли. В конечном итоге собственнику недвижимости пришлось поступиться своими интересами во имя общественных и в пользу отдельных лиц.

Как показал В. И. Курдиновский, легальные стеснения в праве собственности подразделялись на две основные категории: 1) во владении и пользовании вещью и 2) в распоряжении. Если посмотреть на ту же проблему с позиций: личность и общество, то ограничения также распадаются на две части: они устанавливались законом в интересах публичных и в интересах отдельных лиц. В общей сложности российские законы различали 7 групп универсальных ограничений, стоявших на страже общегосударственных задач. Что касается защиты интересов отдельных лиц, то стеснение прав собственника происходило на почве соседства и вытекало из существовавшего права угодий[25].

Самыми важными для общества в целом являлись общие лимиты для владельцев недвижимостью, обусловленные институтом сервитута*. Этот термин не был известен ни русским источникам закона, ни кассационной практике Сената. Однако Свод все-таки зафиксировал отношения сервитутного права. В Законах гражданских насчитывалось в общей сложности 23 статьи, которые в русском законодательстве были объединены под общим названием «право участия в выгодах чужого имущества». К тому же судебная практика по мере необходимости развивала институт сервитута, принимая положения общего и частного характера. Уже в 1877 г. появилось следующее разъяснение: «Собственнику принадлежит право на все принадлежности земли в той мере, в какой оно не ограничено в пользу других»[26].

Начало крупномасштабного железнодорожного строительства в России заставило правительство отрегулировать взаимоотношения всех категорий собственников земель, возникавшие на этой почве. Правила о постройках, а также другие права владельцев территорий, смежных с железнодорожным полотном, были достаточно подробно проработаны в законе от 6 января 1869 г. Он был принят в допол-

* Пандекты – сборники систематически расположенных кратких извлечений из законов.

* Сервитут – право пользования чужим имуществом в определенных пределах (право прохода и проезда через соседний участок земли) или право на ограничение собственника в определенном отношении (например, запрещение прорубать окно в чужой двор).

нение к статьям Законов гражданских и Устава путей сообщения. Закон сформулировал пять основных ограничений, связанных с возведением разного рода зданий и складов вблизи колеи, определив минимально допустимые расстояния, диапазон которых колебался от 5 до 80 сажень. Помимо этого собственники смежных участков не могли рыть ямы и другие углубления, а также разрабатывать ископаемые, лежащие на поверхности земли. Им не разрешалось сажать деревья и кустарники, которые мешали обозрению дороги, а в зимний период способствовали образованию снежных наносов. Собственникам ручьев и протоков, снабжавших водой железнодорожные станции, запрещалось задерживать их течение или отводить русло. К тому же на расстоянии двух верст от станционного водоприемника вверх по течению голубых артерий нельзя было спускать в них промышленные отходы и нечистоты, делающие воду непригодной для использования[27].

В отношении собственников судоходных водных потоков Законы гражданские и Устав путей сообщения детально прописали их обязанности, связанные с беспрепятственным проходом кораблей и сплавом леса. Они сводились к следующему. Во-первых, нельзя было возводить какие бы то ни было преграды на судоходных реках, способствующие их засорению или препятствующие свободному плаванию. Во-вторых, собственники берегов обязывались предоставлять бичевник* для прохождения плавучих средств. В-третьих, в тех местах, где осуществлялся сплав леса, запрещалось строительство мостов на козлах, жердях и слабых сваях. И наконец, при мелководье владельцы речных мельниц должны были спускать воду по требованиям начальства судоходной дистанции[28].

Законы гражданские сформулировали основные ограничения, связанные с распоряжением недвижимостью. Они давали перечень нераздельных имуществ, которые не подлежали дроблению. Это: 1) фабрики, заводы, лавки, 2) земельные участки размером не более 8 десятин, полученные в собственность бывшими государственными крестьянами, а также теми помещичьими, которые были отпущены на волю до 19 февраля 1861 г., 3) арендные земли, 4) золотые прииски, 5) майоратные имения в Западных губерниях[29].

Российские законы налагали целый ряд специфических ограничений, связанных с сословной и религиозной принадлежностью собственника, его национальностью, подданством, а также с видами имуществ. В общей сложности насчитывалось 12 лимитирующих постулатов в праве распоряжения, включая куплю-продажу. Религиозные организации, как-то: церкви, архиерейские дома и монастыри, не могли отчуждать принадлежавшие им земли в посторонние руки. Только в случаях невозможности их использовать для удовлетворения собственных нужд они сдавались в наем. Причем закон запрещал церкви устраивать на таких землях торговые заведения от своего имени. Иными словами, государство предоставляло религиозным организациям право заниматься только своей непосредственной деятельностью, т. е. окормлением верующих, но не предусматривало для них возможность эксплуатации недвижимости с целью получения предпринимательского дохода.

Много ограничений накладывалось на собственников родового имущества, которым не разрешалось его дарить или завещать, минуя ближайших наследников. Однако в Законах гражданских был прописан ряд отступлений от этих жестких правил. Например, такое имение мог получить по завещанию супруг, переживший свою половину. Особо рассматривались ситуации, связанные со смертью бездетного владельца. В таких случаях имущество отписывалось любому одному или нескольким представителям того рода, из которого оно досталось.

Не менее жесткими были ограничения в праве распоряжения заповедными имениями, для которых предусматривался только особо оговоренный наследственный переход. Отчуждение такого имения с целью округления осуществлялось путем обмена на равноценный участок лишь с разрешения Сената. В весьма сложную ситуацию попадал владелец заповедного имущества, лишенный права отдавать его в залог или обременять долгами и повинностями. Только в случае резкого падения доходов по причине форс-мажорных обстоятельств и их недостаточности для восстановления хозяйства Сенат разрешал собственнику занять в указанном законом кредитном учреждении сумму, не превышавшую двухлетнего дохода с имения. Казаки, проживавшие в Полтавской и Черниговской губерниях, находились в сходном правовом положении. Их земля также не отчуждалась. Единственное, что они могли сделать, так это обменяться с помещиками и разночинцами землями с тем, чтобы ликвидировать чересполосицу. В исключительных случаях закон разрешал казакам продавать свои участки[30]. Таким образом, правительство законодательным путем сдерживало процесс размывания сословной собственности на землю.

Свобода распоряжения лимитировалась и при сдаче недвижимости в аренду и при отчуждении ее по акту мены. Законы гражданские вводили различные сроки арендных соглашений. Общее правило для всех владельцев устанавливало 12-лет-

---

* Бичевник – свободная береговая полоса вдоль реки шириной в 10 сажень.

ний период. Однако при этом были сделаны некоторые исключения. Во-первых, приобретенные в собственность пустоши можно было сдать на 30 лет, если предполагалось завести на них фабрики или заводы, а также обустроить дачные участки, расположенные в окрестностях обеих столиц. Правительство проявило заинтересованность в организации курортных мест в Ялтинском уезде Таврической губернии, дав свое согласие на отдачу в наем частных недвижимых имуществ сроком до 90 лет. Помещичьи и удельные земли закон разрешал арендовать на 36 лет. Для участков, отданных под строительство, максимально допустимые сроки эксплуатации не оговаривались.

В России действовало общее правило, по которому собственник недвижимого имущества лишался возможности отчуждать его по акту мены. Но все-таки она допускалась в целом ряде случаев, связанных с созданием более благоприятных условий для хозяйственной деятельности, а именно: для удобства выгона или его приобретения в случаях включения селений в черту города, для развода общих и чересполосных дач, для отвода крестьянских наделов и др.[31] Множество отступлений от жестких правил закона косвенно свидетельствовали о том, что первоначальная норма приходила в противоречие с реалиями повседневной жизни и возможностями осуществления рационально организованной хозяйственной деятельности.

Существовавшие в Российской империи виды универсальных и специфических ограничений права собственности были разбросаны по всему Своду законов: в Законах гражданских, о состояниях, об охоте, в уставах путей сообщения, горном, строительном, пожарном, лесном. Они также имелись в Своде кассационных положений. Если дать суммарную оценку постановлениям русского закона на фоне австрийского, общегерманского и французского законодательств, то общие заключения будут не в пользу отечественного права. Помимо традиционного недостатка – архаичности положений – русские нормы существенно отставали от потребностей времени. К памятникам старины относился целый ряд постановлений: о казачьих землях, о мене, сроках отдачи в аренду недвижимости, о родовых имуществах, а также о нераздельности крестьянских участков площадью менее 8 десятин.

Но больше всего нареканий вызывала та часть юриспруденции, которая была связана с разработкой и определением права соседства. В нем не было «не только общих начал, но и существенных подробностей». Между тем его значимость в период социально-экономической трансформации традиционного общества в сторону индустриального только возрастала. По образному выражению практикующих юристов основными задачами соседского права, которое должно представлять собою целую систему, являлись предупреждение «“брани” и столкновения в такой области, которая полна сплетений самого разнообразного характера» и примирение «двух могущественных и одинаково вооруженных противников»[32]. Иными словами, оно призвано установить взаимовыгодный и устойчивый баланс двух прав собственности.

В России соседское право возникло в XVII в. в период создания Соборного уложения царя Алексея Михайловича 1649 г. и с тех пор практически не изменилось[33]. Даже Гражданский кассационный департамент Сената за все годы своей деятельности в области соседского права принял только 10 постановлений, из которых 4 в той или иной степени носили общий характер. К началу XX в. эта важная часть законодательства в России так и не обрела своей стройной системы юридических определений. В 1902 г. сенаторы, очевидно, испытывая недостаточность проработки данного вопроса, вынуждены были признать, что российский «закон не исчерпывает всех ограничений, налагаемых соседским правом». Поэтому, как подчеркивалось, его постановления обобщались следующим руководящим положением, обязательным для судебной практики: «никто не свободен пользоваться своим правом так, чтобы лишить другого возможности пользоваться *его* правом»[34].

Быстрое развитие путей сообщения в XIX в. привело государство к осознанию необходимости отчуждения недвижимого имущества для их сооружения. Таким образом, помимо легальных общих ограничений законодательства всех стран определили законным путем и случаи лишения прав собственности во имя интересов государственных или общественных, разработав одновременно с этим процедуру компенсационного отчуждения недвижимости. Повсюду в цивилизованном мире такое принудительное отчуждение в каждом отдельном случае допускалось или сепаратным законом, или указом верховной власти. Названный принцип действовал и в Российской империи. Закон об экспроприации недвижимой собственности и правилах вознаграждения за принудительное отчуждение недвижимости впервые был введен 7 июня 1833 г. и обновлен 19 мая 1887 г. Последний был принят в дополнение к Законам гражданским[35].

Помимо этого Гражданский кассационный департамент Сената за 1870–1903 гг. рассматривал в общей сложности 27 раз обращения, связанные с проблемой экспроприации имущества на государственные и общественные нужды. В действующее законодательство судебная практика внесла немало существенных дополнений. Во-первых, к принудительному отчуждению приступали только в случае невозможности заключить доброволь-

ное соглашение. Во-вторых, участок земли, необходимый для строительства железной дороги, определялся исключительно административной властью. В-третьих, сам размер вознаграждения за имущества, отчуждаемые на общественные и государственные нужды, зависел от решения правительства, а не суда. Вместе с тем он не имел права проверять правильность оценки, произведенной комиссией. В-четвертых, при экспроприации земель жалобы частных собственников по вопросам оценки имения, размера компенсации и ее выдачи также подлежали ведению административной власти. В последних трех постановлениях отразилось не только верховенство в России административной власти над судебной, но и отношение правительства к строительству железных дорог как к государственной программе. Определенное оценочной комиссией вознаграждение за отчужденную землю выплачивалось в обязательном порядке до занятия участка. И наконец, собственник экспроприированного имения лишался права влиять на характер использования отобранного имущества[36].

Реализация постановлений действующего закона на практике выявила множество неудобств, которые возникали при строительстве железных дорог, особенно в срочном порядке. Их испытывали как владельцы земель, так и предприниматели, получившие концессию на возведение пути. Слабым местом стало своевременное определение точных размеров отчуждаемого участка, т. е. до составления текста постановления. Поэтому в именных указах правительство обычно прибегало к самым общим формулировкам, несмотря на то что закон требовал четкости и точности. Практика приносила далеко не утешительные данные. Так, в 1900 г. на основании 36 высочайших указов по МПС было отчуждено свыше 5,7 тыс. десятин земли, и только для 3 % площадей были определены точные размеры участков. При обозначении владельцев дело обстояло еще хуже: их имена были известны только в 0,25 % случаев[37].

Такая непростая ситуация порождала массу спорных вопросов и увеличивала расходы на компенсацию из строительного капитала компании. Более того, закон не предусматривал полного учета интересов и выгод собственника при определении вознаграждения за отобранные под предприятие земли. Принятые правительством постановления, как показала жизнь, имели множество пробелов. Во-первых, закон не давал точного механизма оценки отчуждаемого имущества. К тому же определение стоимости участков происходило при добровольном соглашении заинтересованных сторон, а предельные сроки для достижения взаимоприемлемого договора не устанавливались. Во-вторых, процедура обмена имения на однородное не была прописана и на практике никогда не применялась. Само Министерство земледелия и государственных имуществ неохотно уступало казенные земли на принципе безвозмездности для вознаграждения собственников за имения, отобранные у них для государственной же пользы. Сложившаяся ситуация подсказывала возможные решения проблемы, которые заключались в том, что закон должен был обязать предпринимателей возмещать ведомству полную стоимость земли из строительного капитала. В-третьих, закон обошел молчанием такую проблему, как малолетние владельцы или находящиеся под опекой, не дав никаких объяснений, как поступать администрации и предпринимателям в данном случае[38].

Эти недостатки были известны Государственному Совету еще до принятия новой редакции закона в 1887 г. На них обратила внимание специально созданная в 1874 г. комиссия под председательством статс-секретаря Д. А. Оболенского, занимавшаяся также изучением западноевропейской практики по данному вопросу. Рекомендации комиссии не были учтены законом, а в дальнейшем жизнь подтвердила их правильность. Таким образом, и в этом важнейшем для экономического развития страны вопросе действующее законодательство существенно отставало от требований времени. По мнению юристов, выход из сложившегося положения заключался в следующем. С одной стороны, необходимо было сохранить принятый законом административный порядок признания имуществ, подлежащих отчуждению, но, с другой – предоставить местным главным начальникам, под чьим надзором находилось проектируемое предприятие, соответствующие полномочия на определение занимаемых под строительство участков земли и их границы[39].

Проведение столыпинской аграрной реформы высветило еще один немаловажный для крестьянской России аспект в проблеме имущественных отношений. Закон 14 июня 1910 г., призванный утвердить в стране свободного и сильного единоличного собственника, отличался чрезмерным радикализмом в отношении института семейной собственности у крестьян. При его реализации могла произойти по усмотрению домохозяина безвозмездная экспроприация младших членов семьи, поскольку население было поставлено перед выбором: или семейная собственность, или единоличная. Слабым местом принятого закона являлось отсутствие положений, связанных с определением долей[40].

Между тем западноевропейская законодательная практика предлагала более мягкий вариант решения проблемы. Как известно, институт семейной собственности является фундаментом имущественного строя эпохи Средневековья. В своем раз-

витии (в сторону индивидуализма) он прошел несколько этапов и в XIX в. еще полностью не исчез. При формировании единоличной собственности отца законодательства европейских стран приняли ряд ограничений, которые коснулись свободы завещания и обязательного определения долей наследования членов семьи[41].

В России эволюция института семейной собственности происходила сходным образом. Полная имущественная раздельность родителей и детей установилась в российском законодательстве еще со времен Петра I. В пореформенные годы кассационная практика Сената отрегулировала саму процедуру раздела наследственного имущества[42]. Однако при этом следует подчеркнуть, что в отношении крестьян, самого многочисленного населения империи, действовала своя особенная система узаконений. С отменой крепостной зависимости в стране возникла своеобразная система крестьянского права. В отношении этого сословия Положение 1861 г. и практика Сената признали существование института семейной собственности в качестве основного в их жизненном укладе. Они по сути дела санкционировали то, что существовало в реальности[43]. Гражданский департамент трижды возвращался к этому вопросу, пока не выработал общее правило следующего содержания: «Выкупленная крестьянами земля как усадебная, так и полевая составляет не личную собственность домохозяина, а собственность всей семьи или двора»[44].

18 марта 1886 г. был принят закон о порядке разрешения семейных разделов в сельских обществах, который определил некоторые рычаги регулирования спорных вопросов и был призван притормозить сами разделы. К делимым имуществам относились полевые и усадебные земли, а также подати, повинности и недоимки. Для того чтобы раздел состоялся, требовалось, с одной стороны, согласие родителя или старшего члена семьи, а с другой – согласие $^2/_3$ всех крестьян, имевших право участвовать в сельском сходе[45]. В начале XX в. перед российской судебной практикой был поставлен вопрос о необходимости внесения в действующее законодательство корректив, связанных с легальной нормировкой имущественных прав всех членов семьи. Судебные инстанции, в которых скопилось достаточно большое количество дел о крестьянских разделах, в своих решениях, как правило, руководствовались обычным правом[46]. Сам факт стремления крестьян к выделу личного имущества в семейном подворном хозяйстве свидетельствовал о наличии у них как элементов частнособственнической идеологии, так и идеологии индивидуализма, свойственной «homo oeconomicus».

Подводя итог, можно сказать следующее. Принятое в российском законодательстве определение важнейшего социального института в обществе в целом соответствовало юридической практике развитых западных стран. Что касается самого процесса регулирования некоторых аспектов имущественных отношений, то довольно часто они не соответствовали требованиям времени. Российское законодательство обладало рядом специфических особенностей, которые были связаны с исторической традицией государственного строительства. В законах был прописан целый ряд ограничений на осуществление права собственности для непривилегированных сословий и национальных меньшинств. Данные изъятия, носившие дискриминационный характер, оказывали определенное негативное воздействие на предпринимательскую деятельность в России. На фоне законодательств западноевропейских стран в регулировании права собственности Российская империя выделялась не в лучшую сторону целым рядом особенностей, присущих только ей.

Правовое регулирование купли-продажи земли

Одним из важных аспектов создания условий для развития товарно-денежных отношений в экономике страны в целом и в аграрном секторе в частности являлось регулирование купли-продажи земли. В современной российской историографии отмечаются две важнейшие черты долговременного регулирования земельного рынка в России XIX в.: 1) жесткая позиция государства, 2) постепенное расширение, с одной стороны, круга лиц, обладавших правом купли-продажи, и с другой – категорий земельных имуществ, вовлекаемых в рыночный обмен[47].

Эти выводы требуют уточнения. По законам Российской империи земельная недвижимость не являлась товаром, а сделки по ее купле-продаже представляли собой гражданский оборот. В основе такой трактовки лежало следующее. Как правило, предметом товарной торговли является движимая вещь. В обороте и законе того времени недвижимость рассматривалась как объект, малопригодный к мобилизации в качестве товара. Учитывая ее хозяйственное и политическое значение, необходимо было иметь твердые, строго определенные и для всех очевидные формы перехода из одних рук в другие. В силу этого требование ограничения виндикации*, которое содействует свободной обращаемости товаров, не могло применяться в отношении

* Виндикация – истребование собственником своего имущества в судебном порядке от всякого третьего лица, владеющего этим имуществом без законных оснований.

недвижимости[48]. Поэтому земельная собственность и была исключена из категории товаров.

С этой точки зрения ситуация в России не была уникальной, сходное положение сложилось и в промышленно развитых Франции и Германии. Из стран, вступивших на путь социально-экономической модернизации общества, только Италия, имевшая за плечами богатый многовековой опыт разработки торгового права, ушла далеко вперед, причислив землю к товару[49]. Непризнание государством земли в качестве товара во многом объясняет, почему в России оно так активно вмешивалось в эту сферу частноправовых отношений, стараясь как можно дольше сохранить существование слабо связанных между собой корпоративных рынков. В данном случае следует подчеркнуть, что российская и зарубежная юриспруденция времен промышленной революции стояла на консервативных позициях, отставая от реалий времени.

Отечественные исследователи, специализирующиеся на изучении макроэкономических процессов в аграрном секторе народного хозяйства, гражданский оборот недвижимости в дореволюционной России рассматривают сквозь призму рынка, поскольку собственность является не только юридической категорией, но и социально-экономической. Они исходят из того, что полная свобода отчуждения и приобретения, движения и мобилизации земли являются основными чертами капиталистической собственности и земли как товара. Как было установлено, природа цен на нее носит специфический характер, и их движение вызывается изменениями ренты и заемного капитала. Анализ роста цен на землю в соответствии с колебаниями регулярных доходов, получаемых с этой категории недвижимости и ссудного процента, позволил И. Д. Ковальченко «выявить важные черты в развитии земельного рынка и земельных отношений», а также «установить зависимость динамики цен от закономерностей, присущих товарно-капиталистическим отношениям». В итоге он показал, что размеры земельной ренты в России были завышены. Это объяснялось привилегированным положением дворянства и приоритетом в обеспечении со стороны государства их частновладельческих прав на недвижимость, что привело в конечном итоге к узости земельного рынка[50].

Дальнейшие исследования в области аграрных отношений в России пореформенного времени во многом дополнили и уточнили картину, полученную в 1970–1980-е гг., придав ей более целостный и законченный характер. Н. А. Проскурякова обратила внимание на то, что существует взаимосвязь ипотеки и мобилизации земельной собственности, которая является своеобразным показателем уровня развития аграрного капитализма. Обработка материалов статистики долгосрочного кредита позволила доказать, что «независимо от целей государства как устроителя земельных банков и намерений самих заемщиков, система ипотечного кредита в конечном счете способствовала капиталистической перестройке сельского хозяйства». Более того, по форме организации, по основным принципам своего функционирования и по характеру воздействия на эволюцию аграрного сектора экономики пореформенной России ипотечный кредит носил буржуазно-коммерческий характер. К тому же бурное развитие операций Крестьянского банка и переход в него заложенных имений из Дворянского банка стали отражением процесса формирования бессословного частного землевладения[51].

Обнаруженные историками-экономистами значительные изменения в характере аграрных отношений на рубеже XIX–XX вв. в той или иной степени были обусловлены целым рядом институциональных аспектов экономического развития, в число которых входит создание правовых рамок для купли-продажи земли.

Одним из первых шагов правительства, расширивших круг участников оборота земельной собственности, стал именной указ от 12 декабря 1801 г. Александра I. В нем в целях «поощрения земледелия и промышленности» право покупки ненаселенных имений предоставлялось лицам недворянских сословий: купцам, мещанам, городским и казенным поселянам. Новый закон в своей постановочной части гласил: «Признали Мы нужным право приобретения всяких под разными именами известных земель без крестьян и владения всем тем, что на поверхности и в недрах их находится распространить на всех российских подданных» за исключением крепостных крестьян[52].

Указ имел большое значение для индустриального развития России и оказал позитивное влияние на складывавшуюся текстильную промышленность. Вначале она работала на дровяном, а потом и на торфяном топливе, и возможность покупки в собственность лесных угодий и пустошей создавала условия для обеспечения ее независимой жизнедеятельности. Так, в первой половине XIX в. характерными чертами становления предприятий клана Морозовых, основавших четыре крупнейшие фирмы, являлись процессы создания топливной базы и консолидации земельной собственности, приобретаемой главным образом у дворян[53].

После отмены крепостного права общее юридическое правило, принятое в начале века, было зафиксировано отдельной статьей Законов о состояниях, согласно которой все городские обыватели, т. е. почетные граждане, купцы, мещане, ремесленники, обладали правом владения или приобретения всеми разрешенными законом способами любой дви-

жимой и недвижимой собственности, в том числе и земельной, но за исключением населенных имений. Не менее важное значение для предпринимателей имела еще одна статья того же закона, по которой правом владения всеми видами имуществ среди прочих обладали и так называемые сословия лиц, т. е. «товарищества, компании и конкурсы»[54]. Процесс акционирования, охвативший русскую промышленность во второй половине XIX в., привел к тому, что в России появились крупные ассоциированные владельцы земельной собственности[55].

20 февраля 1803 г. Александр I подписал еще один указ, получивший название «Об отпуске помещиком крестьян своих на волю по заключении условий на обоюдном согласии основанных». Его значимость определялась не столько конкретными результатами, сколько воздействием на общественное сознание. Указом о свободных хлебопашцах верховная власть наносила первый удар по крепостническому мировоззрению, создавая юридический прецедент. Дело в том, что граф С. П. Румянцев, желая отпустить на волю часть своих крестьян, обратился с просьбой «утвердить в собственность продажею или на других добровольных условиях» за ними «участки из принадлежащих ему земель». В конечном итоге частный случай превратился в общее правило, закрепленное новым законом[56]. При желании помещика крепостной крестьянин получал возможность с обретением личной независимости одновременно стать через куплю-продажу и собственником земли. При Александре I на основании указа было заключено 160 сделок и освобождено 47 153 души мужского пола. К 1858 г. данная категория крестьянства насчитывала уже 216 тыс. чел.[57]

Освобождение крестьян не сделало их равноправным сословием Российской империи. Составляя подавляющее большинство подданных, они находились в наименее выгодном положении при реализации своих гражданских прав. Положение 19 февраля 1861 г. на словах даровало бывшим крепостным возможность пользоваться выкупленными с помощью государства наделами и усадьбами как своим достоянием[58].

Свободно продать землю крестьянин мог только в том случае, когда «право владения, пользования и распоряжения» соединялись «с укреплением имущества в одном лице». Запретительные меры в праве собственности для крестьян были обусловлены стремлением правительства удержать земли в руках этого сословия. Ограничения вводились в интересах сельского общества, т. е. общины. Положение 1861 г. не разрешало выкупленные крестьянские наделы отчуждать и закладывать посторонним лицам, не принадлежавшим данному обществу. Право собственности на приобретенную с помощью выкупной ссуды землю до момента ее уплаты тоже лимитировалось: общине запрещалось в течение 9 лет отдавать в чужие руки полученные угодья. Что касается подворных участков отдельных домохозяев, то до погашения ссуды их ни в коем случае нельзя было дробить, т. к. казна должна была исправно получать по ним платежи. Наделы, приобретенные в личную собственность, также не подлежали безусловному отчуждению. Во-первых, в течение 9 лет каждый такой участок разрешалось продавать только члену той же общины. Во-вторых, по истечении 9-летнего срока приобретенный надел продавался постороннему лицу в случае, если он уплатит долг по выкупной ссуде. Эти же земли до погашения займа нельзя было отдавать и в залог[59].

Временнообязанные отношения бывших помещичьих крестьян сохранялись до их выхода на выкуп, а с введением с 1883 г. Положения об обязательном выкупе они становились собственниками своих наделов только по выплате долгов по ссуде. Иными словами, право полной собственности для крестьян долгое время оставалось формальным, а надельные земли были исключены из безусловного и свободного гражданского оборота[60].

В Российской империи с отменой крепостного права появилась и численно небольшая категория крестьян-дарственников, получивших так называемый четвертной надел, минуя выкупную операцию, сразу в безусловное и полное общинное владение в соответствии с «Местным положением о поземельном устройстве крестьян, водворенных на помещичьих землях в губерниях Великороссийских, Новороссийских и Белорусских» и «Малороссийским положением». Именно в дарственной деревне, как показала О. Н. Бурдина, происходила более быстрыми темпами капиталистическая эволюция с вызреванием в ней элементов, присущих фермерским хозяйствам[61].

В 1880-е гг. ситуация с куплей-продажей земли в деревне существенным образом изменилась. 19 мая 1881 г. было утверждено мнение Государственного Совета «О главных основаниях предполагаемого порядка укрепления прав на недвижимое имущество». В Приложении к основному документу закреплялись права заимодавца за посторонним лицом, уплатившим сполна долг по обязательству, записанному в крепостную книгу[62]. В 1883 г. надельная земля при условии погашения долгов по ссуде становилась объектом гражданского оборота недвижимости, в результате чего быстрыми темпами стало развиваться так называемое кабацко-кулацкое землевладение. Кулаки-мироеды, как их назвали в народе, оплатив долги, скупали за бесценок крестьянские наделы. Процветали и другие виды ростовщичества, значительно усилившие социальную напряженность в деревне. Уже в 1887 г.

правительство, оценив негативные последствия, сделало попытку выправить вышедшую из-под контроля ситуацию. Сенат принял руководящее постановление, согласно которому «до погашения выкупной ссуды наделенный крестьянину участок не может быть отчуждаем»[63]. Но этого оказалось недостаточно, и поэтому в предупреждение социального взрыва были приняты новые законодательные акты 18 июня 1892 г., 24 мая и 14 декабря 1893 г. Первые два более известны как законы о ростовщичестве.

Данные постановления впоследствии стали составной частью уголовного уложения, а именно Устава о наказаниях. Различалось два вида наказуемого ростовщичества – денежное и сельское, принимавшего форму вещевого, т. е. ссуд хлебом и продуктами под обеспечение личного труда заемщика. Как свидетельствовали выборочные статистические данные, собранные в некоторых уездах в 1891 г., рост, взимаемый по таким ссудам, достигал 200 % и более годовых. Это приводило к закабалению сельского населения и, по признанию властей, препятствовало развитию его благосостояния. Поэтому закон от 24 мая 1893 г., принятый в развитие закона 18 июня 1892 г. об ответственности за ростовщические сделки по скупке хлеба, имел целью оградить нуждающиеся части населения от экономической эксплуатации. По Уставу о наказаниях «сделки на чрезмерно обременительных, не соответствующих местным обычаям, условиях, когда заимодавец воспользовался крайне тягостным положением заемщика», преследовались в судебном порядке. Закон 1893 г. в случае вещевого ростовщичества не определял норму, отсылая к местным обычаям, но давал возможность пресекать корыстные намерения лиц, которые превратили ростовщические операции в промысел[64]. Положительный смысл этих юридических актов заключался также и в том, что в 1890-е гг. в России еще не было создано условий для открытия учреждений сельского, по преимуществу мелкого, кредита. И бороться со столь негативными явлениями приходилось не экономическими, а административно-полицейскими мерами.

Что касается широко известного в литературе закона 14 декабря 1893 г., запрещавшего продажу надельных земель другим сословиям, то он стал логическим завершением постановлений 1892–1893 гг., направленных против ростовщичества в деревне. Устанавливались новые, очень жесткие правила купли-продажи крестьянских наделов. Для участка, стоимость которого не превышала 500 руб., требовалось согласие $^{2}/_{3}$ всех членов конкретного сельского общества, а также утверждение Губернского присутствия или Губернского по крестьянским делам присутствия. Если же стоимость отчуждаемого надела превышала 500 руб., то сделка должна была получить санкцию министров внутренних дел и финансов, а при покупке земли для горнопромышленных целей – и министра государственных имуществ. Одновременно с этим запрещался залог надельных земель у частных лиц и в частных учреждениях, даже при условии погашения выкупной ссуды[65].

Таким образом, сопоставительный анализ серии актов 1892–1893 гг., включая закон 14 декабря 1893 г., позволяет говорить о том, что правительство все-таки ставило заслон не развитию капитализма в сельском хозяйстве. Наоборот, оно пыталось обуздать в деревне крайние формы ростовщичества, связанного в том числе и с куплей-продажей земли[66].

Судебная практика на рубеже XIX–XX в. внесла важные дополнения к постановлению 1893 г. «О некоторых мерах к предупреждению отчуждения крестьянских надельных земель», которые лучше раскрывали общий смысл принятых мер. Во-первых, Сенат пояснил, что надельные земли, приобретенные отдельными крестьянами или состоявшие в их самостоятельном подворном пользовании, разрешалось приобретать и лицам, приписанным или приписывавшимся к какому-либо сельскому обществу. Во-вторых, Сенат указал на то, что закон 1893 г. не запрещал им продавать надельные земли как своим общинникам, так и крестьянам, принадлежавшим к другим сельским обществам[67]. Более того, названной серией постановлений создавались и препятствия для ускоренной люмпенизации деревни в условиях, когда город не мог обеспечить работой все высвобождающиеся руки. И только в начале XX в. с отменой выкупных платежей крестьяне, укрепив наделы в личное владение, вновь обрели право свободно отдавать за плату свои земли лицам, приписанным к данной общине. Однако судебная практика пошла значительно дальше, пояснив, что манифест 3 ноября 1905 г. и указ 9 ноября 1906 г. отменили правило о запрете продажи надельных земель некрестьянам[68].

Во второй половине XIX в. все категории земель, исключая церковные и монастырские, участвовали в обороте недвижимости. Что касается казенных, то они поступали в продажу или отдавались в аренду только по усмотрению правительства и с разрешения императора. При этом государство, передавая в частные руки свои земли, преследовало определенные народнохозяйственные задачи. Сохранилось огромное количество постановлений об отчуждении казенных и частных земель (в последнем случае компенсационное) под строительство железных дорог. Законодательная практика сохранила и примеры второстепенного свойства, не связанные с решением программы железнодорожного

строительства. Так, в 1905 г. министру земледелия в целях успешного использования казенных лесов предоставили право отдавать участки в арендное содержание размером до 100 десятин и на срок до 48 лет под устройство лесопильных заводов. При этом сдача земель в аренду заводчикам происходила без торгов[69].

Как это видно, крестьянские наделы подвергались наибольшим ограничениям, что было, в частности, закреплено Законами гражданскими. По ней характер населенных имений теряли только те усадьбы, в которых обязательные отношения между крестьянами и помещиками прекращались на основании ст. 385[70]. Частновладельческие земли, а это главным образом помещичьи имения, пользовались безусловным преимуществом и находились в свободном товарообороте.

Если посмотреть на проблему с точки зрения сословно-классовой структуры общества, то в наиболее привилегированном положении традиционно были дворяне, как это вытекает из предыдущего изложения. Однако и для них существовали определенные запреты. Во-первых, имения с неполным правом собственности и, следовательно, с особым порядком наследования (заповедные, временно заповедные и майоратные), не подлежали безусловной продаже, в случае совершения сделки требовалось высочайшее разрешение. Во-вторых, небогатые дворяне, получившие участки казенной земли для поселения, также ограничивались в праве купли-продажи. Несмотря на то, что закон предписывал церкви и монастырям использовать принадлежащую им земельную собственность для обеспечения своей жизнедеятельности, лица духовного звания, однако, могли ее и покупать, и продавать[71].

Что касается ограничений по национальному признаку, то париями российских законов стали евреи иудейского вероисповедания и поляки. Большинство запретительных статей на реализацию права собственности было вызвано конкретными политическими событиями, происшедшими в разных губерниях империи.

Для поляков поворотным моментом в их судьбе стал 1863 г. Польское освободительное восстание стало поводом для правительства, решившего пересмотреть сложившиеся в западном крае имущественные отношения между различными национальностями. В глазах высшей администрации положение было ненормальным: экономическому развитию и благоустройству 10-миллионного малороссийского, белорусского и отчасти литовско-жмудского населения, составлявшего подавляющее большинство проживавших на этих землях, мешало ничтожно малое число польских помещиков и мещан, сила которых заключалась в корпоративной замкнутости владения недвижимой собственностью[72].

После восстания 1863 г. именным указом 10 декабря 1865 г. в 9 западных губерниях*, которые действительно заселяли преимущественно украинцы и белорусы, полякам запрещалось приобретать новые имения. Правительство поставило перед собой четкую и недвусмысленную задачу: устранить всякую возможность экономического усиления польских помещиков в областях, издревле принадлежащих России. При этом законные права прежних владельцев никоим образом не стеснялись, и они сохраняли за собой поместья, приобретенные до опубликования указа. Однако имения высылаемых участников восстания подлежали обмену на равноценные в других губерниях или секвестру. В последнем случае они продавались лицам русского происхождения православного или протестантского вероисповедания. Гражданский кассационный департамент Сената тоже высказался по поводу указа 1865 г., разрешив полякам укреплять за собой земли, приобретенные до выхода закона давностью владения[73].

Ограничения в праве землевладения поляков не только сохранялись вплоть до конца XIX в., но и продолжали в целом усиливаться. При этом дискриминационные меры сопровождались одновременными изъятиями из закона, направленными на поддержку не очень богатых, но экономически активных слоев. В начале 1870-х гг. местным уроженцам польского происхождения, которые вели крестьянский образ жизни, было даровано право покупки земли (в количестве до 10 десятин) для ведения собственного хозяйства. 27 декабря 1884 г. для 9 западных губерний были изданы новые правила. Во-первых, помещики этих местностей лишались права отчуждения своих имений в пользу поляков. Во-вторых, запрещались залог и сдача имений в аренду на срок более 12 лет лицам, утратившим право приобретения поземельной собственности в этом регионе. Единственное, что разрешал закон, так это долгосрочную аренду земли до 30 лет с целью устройства фабрик и заводов. При этом ставилось условие: если в течение 12 лет предприятия так и не появятся, то договор о найме утратит силу[74].

1 ноября 1886 г. правительство приняло еще одно уточняющее постановление. Все без исключения свидетельства на покупку земли, выданные до 27 декабря 1884 г. как лицам русского, так и нерусского происхождения, теряли свою силу. При этом генерал-губернаторы и губернаторы наделялись

* Киевская, Подольская, Волынская, Виленская, Ковенская, Гродненская, Витебская, Могилевская и Минская.

правом выдавать или не выдавать подобные свидетельства, т. е. решение вопроса отдавалось на усмотрение местной власти. 2 февраля 1891 г. Комитет министров в дополнение к указанным законам принял еще одно постановление, согласно которому поляки утратили право пожизненного владения земельной собственностью в западных губерниях. И наконец, в январе 1901 г. последовало ограничение, по которому правительство установило предельные размеры разрешаемых к покупке участков для крестьян католического вероисповедания (до 60 десятин)[75].

С 1899 г. наблюдается обратная тенденция: постепенное снятие ограничений. По высочайшему повелению от 4 марта дворяне и мещане польского происхождения, проживавшие в условиях крестьянского быта, получили возможность повсеместно приобретать поземельную собственность, но так, чтобы общая площадь прежнего и нового участков не превышала 60 десятин. Однако коренной пересмотр всех ограничительных постановлений начинается с изданием именного указа 12 декабря 1904 г. «О предначертаниях к усовершенствованию государственного порядка». Пунктом 7 рескрипта предусматривалось снятие ограничений с инородцев, но за исключением тех, «которые вызываются насущными интересами Государства и явною пользою русского народа»[76].

1 мая 1905 г. Комитет министров принял постановление, которое призвано было реализовать положение именного указа. Ограничительные постановления конца XIX – начала XX в. отменялись. Отныне лица польского происхождения могли арендовать имения, а также принимать их в залог, приобретать в собственность и пожизненное владение всеми законными способами. С разрешения генерал-губернаторов и губернаторов восстанавливались их права на покупку земли вне городов и местечек в целях уничтожения чересполосицы и хозяйственного округления границ. Разрешалось и приобретение поземельной собственности, в размере, не превышающем 60 десятин, для устройства промышленных заведений. Более того, в 101 поселениях Западного края в пределах селитебной площади* покупка недвижимости, а также залог и аренда разрешались подданным империи без различия польского и русского происхождения[77]. Постановления 1905 г., включая положение Комитета министров от 11 ноября о снятии ограничений для поляков в 89 населенных пунктах губерний по западной границе, вновь были подтверждены 11 апреля 1906 г. Одновременно вводились дополнительные меры, суть которых заключалась в том, что поляки имели право производить все операции с недвижимостью в тех местах, где, сверх указанных в законе 1903 г. сельских местечек 14 губерний, евреям по докладу министра внутренних дел разрешалось постоянное проживание[78].

Российские евреи иудейского вероисповедания подвергались, пожалуй, самой жесткой дискриминации. Для этой категории подданных общее правило заключалось в том, что они могли быть собственниками недвижимых имений только в тех местностях, где закон разрешал постоянное проживание. В 1860-е гг. в черте оседлости, в которую входило 15 западных и южных губерний и области бывшего Царства Польского, стали вводиться первые ограничения в их правоспособности. По законам 5 марта 1864 г. и 23 июля 1865 г. в 9 губерниях (см. их перечень выше) местные помещики и крестьяне утратили право отчуждать свои земли в пользу евреев, а также какое-либо недвижимое имущество, за исключением мельниц, свеклосахарных и винокуренных заводов. Данное правило стало составной частью Законов гражданских, войдя в качестве примечания. В издании 1914 г. названной запретительной меры уже нет. Вдобавок к этому в Области Войска Донского, в Кубанской и Терской областях приверженцам иудаизма также запрещалось приобретать в собственность и содержать в найме или аренде недвижимые имущества. Несмотря на такие жесткие ограничения, они могли вступать в земледельческое состояние еще с 9 декабря 1804 г., согласно Положению об устройстве евреев. Данный акт вместе с тем урезал право распоряжения полученными от казны землями, которые не разрешалось продавать лицам неиудейской веры[79].

После убийства императора Александра II и последовавшей за этим событием серии кровавых столкновений на национальной и религиозной почве в целом ряде южных губерний, выразившееся в грубом насилии против личности и имущества евреев, правительство решило развести враждующие стороны[80]. В целом оно имело благое намерение улучшить в крае отношения между людьми разных национальностей и религиозных убеждений и снять острую социальную напряженность. Однако для этого были использованы простые и не всегда эффективные механизмы. Чтобы предотвратить дальнейшее экономическое разорение и закабаление коренного населения со стороны еврейских ростовщиков, верховная власть 3 мая 1882 г. приняла запретительный закон, сменив либеральный курс на более жесткий, консервативный. В результате иудеи в черте оседлости утратили право вновь селиться вне городов и местечек. Одновременно приостанавливалось совершение купчих и заклад-

* Селитебные земли – категория земель, предназначенная для строительства жилых и общественных зданий, промышленных предприятий, дорог, улиц и пр. в пределах городов и поселков городского типа.

ных крепостей на недвижимое имущество, а также заключение арендных договоров, доверенностей на управление и распоряжение имениями[81]. По поводу этого закона Сенат принял 12 разъяснительных постановлений, а в отношении права приобретения недвижимых имений – 37, суть которых сводилась к констатации того, что российские евреи не утратили права собственности на землю. Гражданский департамент рассмотрел и вопросы, связанные с такой юридической категорией, как давность владения. Запретив приобретать в собственность недвижимость, закон, как пояснялось, вместе с тем не ставил преграды для укрепления за евреями тех имений, на которые они приобрели уже это право давностью владения[82].

В начале XX в. правительство смягчило дискриминационные нормы 1882 г. 10 мая 1903 г. был принят закон, изменивший правила о поселении евреев вне городов и местечек. Вновь разрешалось свободное проживание в 101 населенном пункте в черте оседлости. Одновременно с этим лица иудейского вероисповедания повторно приобретали право покупки недвижимых имуществ в пределах селитебной площади, а также управления или распоряжения ими. И наконец, с разрешения министра внутренних дел по мере надобности допускалось пополнение списка поселений для постоянного места жительства[83]. Впоследствии правительство дважды расширяло перечень сельских пунктов черты оседлости, разрешенных для проживания. В декабре 1903 г. в него добавили 57 поселений, расположенных в 7 губерниях, а уже в ноябре 1905 г. – 133 в 15 губерниях[84]. Сделав первый шаг в сторону либерализации законов о евреях, правительство остановилось на полпути, по сути дела восстановив нормы, существовавшие в эпоху Александра II.

С воцарением Александра II в России наступил достаточно продолжительный период экономической либерализации, который привел к уравнению в гражданских правах подданных империи и иностранцев. В первую очередь это коснулось такой фундаментальной основы предпринимательской деятельности, как право собственности на недвижимые имения. 7 июня 1860 г. был принят закон, согласно которому иностранные бизнесмены могли свободно приобретать через куплю-продажу, по наследству, завещаниям, дарственным записям, отводам от казны и др. всякого рода движимые и недвижимые имущества. Впоследствии данное положение было зафиксировано в Законе о состояниях[85]. Однако эта норма не распространялась на вошедшие во второй половине XIX в. в состав России территории: Туркестанский край, Акмолинскую, Семипалатинскую, Уральскую и Тургайскую области, для которых вводились Положения об управлении. 14 марта 1887 г. были приняты новые правила приобретения в собственность недвижимости, а также владения и пользования ею вне портовых и городских поселений для иностранцев. Порядок, ограничивший их права, действовал в 10 губерниях бывшего Царства Польского и 11 западных губерниях России[86].

В 1892 г. в российском законодательстве впервые создается прецедент по ограничению прав иностранных выходцев, принявших российское подданство. В Волынской губернии в целях укрепления русского землевладения, как указывалось в преамбуле закона, были введены временные правила, которые сузили гражданские права иностранных поселенцев после длительного периода (с конца XVIII в.) поощрительной финансовой и налоговой политики по отношению к ним. Всем выходцам запрещалось водворение в сельской местности, приобретение земли в собственность, а также аренда. При этом имущественные права приехавших до опубликования закона сохранялись, а православные иностранные поселенцы, как и прежде, могли приобретать земельные имения. Несмотря на жесткие ограничения, прибывшие на постоянное жительство иностранцы получали бесплатные эмиграционные свидетельства без обращения за конфирмацией к императору[87].

Однако, как выяснилось вскоре, новые правила затронули интересы крупных землевладельцев, сдававших землю в аренду лицам названных категорий. Поэтому 19 марта 1895 г. были приняты измененные Временные правила о водворении в Волынской губернии лиц нерусской национальности, немного ослабившие ограничения 1892 г. Положение Комитета министров, подтвердив запрет на приобретение в собственность недвижимых имуществ вне городских поселений состоявшим в русском подданстве иностранным выходцам, а также лицам, переселявшимся из Привисленских губерний, поделило всех прибывших на людей, устроившихся в сельской местности до и после 1895 г. Первая категория поселенцев и их правопреемники в порядке наследования сохраняли свои имущественные права, вторая же категория попадала под действие Временных правил. В 1905 г. этот запрет был снят[88].

После отмены крепостного права в России стала формироваться новая система ипотечного кредита, которая окончательно сложилась к середине 1880-х гг. 10 акционерных земельных банков, 9 из которых были основаны в 1872 г., а один – Харьковский – в 1871 г., стали составной ее частью. Являясь по сути своей посредниками между владельцами недвижимой собственности и владельцами заемных капиталов, ипотечные банки выдавали долгосрочные ссуды под залог земли в сельской местности[89]. Это была их главная операция. Однако банки занимались и продажей заложенных и просрочен-

ных имений, согласно типовому уставу, разработанному в Министерстве финансов и утверждаемому каждый раз императором. Порядок проведения торгов был зафиксирован 9-ю параграфами, которые практически осуществлялись по усмотрению Правлений.

Это была еще одна сфера, в которой государство строго регулировало механизм купли-продажи земли, оговаривая финансовую сторону дела. В отдельных случаях вмешательство носило частный характер, а в других – рекомендательный. Так, 15 апреля 1880 г. было принято решение, во-первых, о переводе долга по просроченному имению на имя кредитного учреждения в случае безуспешности публичных торгов. Во-вторых, об обязательном изъятии банком из обращения закладных листов в размере непогашенной части ссуды, в том случае если покупатель отказывался от перевода долга и внесения всей покупной суммы сполна. В 1893 г. в очередной раз были скорректированы статьи уставов земельных банков, фиксировавшие порядок продажи имений. С этого времени сроки реализации поступивших в собственность ипотечных учреждений имуществ увеличивались в два раза[90].

4 мая 1882 г. было утверждено мнение Государственного совета «Об изменении порядка продажи с торгов, заложенных в поземельных банках имений». Оно было обязательным для правительственных кредитных учреждений, в частности, новым правилам в своей деятельности следовала Сохранная казна. Постановление предлагало провести некоторую корректировку установившегося порядка, еще более детализируя механизм купли-продажи. Торги могли проводиться как устно, так и посредством запечатанных объявлений, причем между этими видами устанавливалась своя последовательность. Все участники вносили задаток, равнявшийся сумме лежащих на имении недоимок. Принципиальное отличие от уставов акционерных банков состояло и в том, что залоговые суммы по правилам 1882 г. не переводились на покупщиков. Однако обозначенные в документе дополнения приобретали практическое значение только в том случае, если частные земельные банки в соответствии с решением общих собраний акционеров представляли ходатайства министру финансов об изменении правил, записанных в уставах[91].

Закон 1882 г. не находил практического применения до тех пор, пока правительство в 1897 г. не предприняло попытку заставить банки перейти на новый порядок при разработке законопроектов о вотчинной системе. Учреждения ипотечного кредита не только не спешили это делать, но и сумели противостоять намерениям государства, так как нововведения для них несли увеличение количества процедур и потока делопроизводственной документации, что было весьма обременительно[92].

В акционерных земельных банках объем операций по продаже имений в стоимостном выражении носил весьма скромный характер. Более того, согласно уставам они не занимались скупкой недвижимых имуществ за свой собственный счет, а следовательно, не могли стать инициаторами мобилизации земельного фонда страны.

Главным инструментом государственного регулирования купли-продажи являлся Крестьянский поземельный банк, созданный по инициативе министра финансов Н. Х. Бунге с целью облегчения ипотечного кредита для крестьян, предназначенного для покупки земли[93]. Проект его учреждения, подписанный 14 декабря 1881 г. тремя министрами, не допускал возможности выдачи ссуд крестьянам акционерными или земскими банками: «Покупка земли крестьянами и предоставление крестьянам особых для сего способов не может ввиду государственного значения такой меры сделаться предметом деятельности учреждений, стоящих вне непосредственного надзора правительства»[94].

18 мая 1882 г. было принято Положение о Крестьянском банке, а в апреле следующего года он открыл свои операции. Его принципиальное отличие от других учреждений ипотечного кредита состояло в том, что банк специализировался на ссудных операциях, непосредственно предназначенных для покупки земли. За первые 13 лет его существования крестьяне купили 2411,7 тыс. десятин. Следующий этап в истории банка был обусловлен принятием в 1895 г. нового устава, по которому он получал право покупать земли за счет собственного капитала для последующей перепродажи крестьянам на основании особых правил. Вследствие нововведений банк стал играть решающую роль в увеличении частного крестьянского землевладения. С 1895 по 1905 г. было продано уже 5804,7 тыс. десятин.

Однако коренной перелом в его деятельности наступил в 1905–1906 гг. и был тесно связан с новым аграрным курсом правительства – столыпинской реформой, которая преследовала цель создания фермерских хозяйств. 3 ноября 1905 г. был принят указ «Об облегчении задачи Крестьянского поземельного банка к увеличению площади малоземельных крестьян», по которому ссуды им выдавались в размере полной оценки с разрешения министра финансов и главноуправляющего земледелием и землеустройством. Банк также получил право приобретать земли в неограниченном количестве за счет средств от выпускаемых для этих целей свидетельств. Более того, он мог брать на себя долги при операциях с землями, заложенными в Дворянском и акционерных земельных банках. Все это

позволило государственному ипотечному учреждению резко форсировать свою деятельность по купле-продаже земли: за 1906–1915 гг. при помощи банка крестьяне приобрели 10 012,7 тыс. десятин. При этом с 1908 г. он стал продавать землю исключительно в единоличную собственность[95].

Масштабы деятельности Крестьянского банка по покупке и продаже в годы войны приобрели более скромный характер по сравнению с 1906–1910 гг. Закон 23 июля 1914 г. резко снизил объемы самостоятельных закупок, но все-таки не свернул их окончательно: в 1915 г. банк приобрел за свой счет 66, 2 тыс. десятин, тогда как в 1914 г. – 103,6 тыс.[96] Однако в 1916 г. он вновь вышел на уровень 1913 г., и было это связано с реализацией чрезвычайных общегосударственных мер в отношении подданных неприятельских стран. В 1915 г. правительство лишило эту категорию иностранных граждан права владения и приобретения в собственность недвижимого имущества в пределах империи, обязав их в принудительном порядке продавать свои имения коренным жителям России. 1 мая 1915 г. распоряжением министра финансов Крестьянскому банку предоставлялась полная свобода в покупках за свой счет земельной собственности австрийских, венгерских, германских, турецких подданных и состоящих в русском подданстве выходцев. В 1916 г. в Херсонской, Бессарабской и Таврической губерниях началась закупка имений немецких колонистов[97]. В конечном итоге благодаря целенаправленной деятельности банка крестьянская частная собственность на землю в начале XX в. стала второй по размерам формой землевладения после дворянской.

Таким образом, в дореволюционной России государство взяло на себя роль главного и единственного инициатора любого изменения условий купли-продажи земли. Законопринудительный характер регулирования рыночных отношений в деревне позволил правительству использовать процесс перераспределения земельной собственности в стране в соответствии с конкретными задачами экономической политики, в целом носившей продворянский характер. Регулирование процесса купли-продажи земли во многом отставало от потребностей социально-экономической трансформации общества. Тем не менее правительство, создавая правовые нормы и одновременно оставляя на этом пути множество препятствий, не могло не считаться с реальностью, и поэтому оно вынуждено было учитывать интересы более широких слоев населения. Обращают на себя внимание такие отличительные черты общей земельной политики, как ограждение интересов русских дворян-землевладельцев на западе империи, местного населения в приграничных районах, а также собственнических прав крестьянского сословия.

Примечания

1 Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. СПб., 1893. Т. 18 (IX[A]). С. 512.

2 Там же. С. 516.

3 Там же.

4 Подробнее об этом см.: Поткина И. В. Законодательное регулирование предпринимательской деятельности в России // История предпринимательства в России. Кн. 2. Вторая половина XIX – начало XX века. М., 2000.

5 Котовский Г. Г. Собственность как историко-экономическая категория // Собственность в XX столетии. К 80-летию академика В. А. Виноградова. М., 2001. С. 93, 95.

6 Гуляев А. М. Материалы для учения о владении по Полному собранию законов // Ученые записки императорского лицея в память цесаревича Николая. М., 1916. Вып. 10. С. 3–9.

7 Свод законов Российской империи. СПб., 1914. Т. X. Ч. I. Законы гражданские. Ст. 420.

8 Там же. Ст. 420. Примечание 1.

9 Свод кассационных положений по вопросам русского гражданского материального права за 1866–1910 годы / сост. Исаченко В. Л. (сенатор). СПб., 1911. С. 767.

10 Свод законов. Т. X. Ч. I. Законы гражданские. Ст. 424.

11 Свод кассационных положений. С. 768. Ст. 7796; Гуляев А. М. Русское гражданское право. Обзор действующего законодательства, кассационной практики правительствующего Сената и Проектов гражданского уложения. Пособие к лекциям. СПб., 1913. С. 10–11; Курдиновский В. И. К учению о легальных ограничениях права собственности на недвижимость в России. Одесса, 1899. С. 81–82;

12 Свод кассационных положений. С. 767. Ст. 7787.

13 Там же. С. 768. Ст. 7791; Трепицын И. Н. Переход права собственности на движимые имущества посредством передачи и соглашения. Одесса, 1903. С. 326, 328, 331.

14 Свод кассационных положений. С. 767–769. Ст. 7792, 7793, 7802.

15 Там же. С. 773. Ст. 7848, 7854, 7855.

16 Там же. С. 739–746. Ст. 7493, 7547, 7548, 7553.

17 Там же. С. 775. Ст. 7870.

18 Там же. С. 778. Ст. 7896, 7897.

19 Свод кассационных положений. С. 767–778.

20 Подсчитано по: Свод кассационных положений. С. 767–778.

21 Гуляев А. М. Русское гражданское право. С. 16; он же. Общие учения системы гражданского права в практике Гражданского кассационного департамента пра-

вительствующего Сената за пятьдесят лет. Пг., 1914. С. 7, 11.

[22] Гуляев А. М. Русское гражданское право. С. 17.

[23] Он же. Материалы для учения о владении. С. 86–87.

[24] Там же. С. 88.

[25] Курдиновский В. И. Указ. соч. С. 84, 377–382.

[26] Свод кассационных положений. С. 768. Ст. 7797.

[27] Полное собрание законов Российской империи (далее ПСЗ). II собр. Т. XLIV. № 46628; Курдиновский В. И. Указ. соч. С. 377–378.

[28] Курдиновский В. И. Указ. соч. С. 378–379.

[29] Свод законов. Т. X. Ч. 1. Законы гражданские. Ст. 394.

[30] Курдиновский В. И. Указ. соч. С. 382–384.

[31] Там же. С. 385–386.

[32] Там же. С. 386.

[33] Там же. С. 229, 386–387.

[34] См.: Свод кассационных положений. С. 778–779. Ст. 7798–7907.

[35] ПСЗ. III собр. Т. VII. № 4470.

[36] Свод кассационных положений. С. 860–862.

[37] Салов В. В. Отчуждение недвижимой собственности для государственной или общественной пользы. СПб., 1902. С. 18.

[38] Там же. С. 17, 24–26, 30–31.

[39] Там же. С. 4, 17, 20, 29.

[40] Шретер В. Н. Семейная собственность у крестьян. М., 1911. С. 1, 2, 41.

[41] Там же. С. 28–29.

[42] Свод кассационных положений. С. 739–746.

[43] Шретер В. Н. Указ. соч. С. 12.

[44] Свод кассационных положений. С. 451. Ст. 4605.

[45] ПСЗ. III собр. Т. VI. № 5578.

[46] Шретер В. Н. Указ. соч. С. 44.

[47] Литуев В. Н. Земельная собственность как дворянская монополия в капиталистической России. Теоретические вопросы, информационная база данных, управление земельным рынком. М., 1997. С. 54.

[48] Удинцев В. А. Русское торгово-промышленное право. Ч. 1. С. 107–108.

[49] Там же. С. 96–97, 108.

[50] Ковальченко И. Д., Милов Л. В. Всероссийский аграрный рынок. XVIII – начало XX века. Опыт количественного анализа. М., 1974. С. 249, 250, 282.

[51] Проскурякова Н. А. Земельные банки Российской империи. М., 2002. С. 456, 464, 465.

[52] ПСЗ, I собр. Т. XXVI. № 20075.

[53] ЦИАМ. Ф. 342. Оп. 1. Д. 3, 32. Подробнее см.: Поткина И. В. На Олимпе делового успеха. Никольская мануфактура Морозовых, 1797–1917. М., 2004. С. 48–49, 51–52.

[54] Свод законов Российской империи. СПб., 1899. Т. IX. Законы о состояниях. Ст. 508, 698.

[55] Боханов А. Н. Крупная буржуазия России (конец XIX в. – 1914 г.). М., 1992. С. 166–167.

[56] ПСЗ, I собр. Т. XXVII. № 20620.

[57] Корнилов А. А. Курс истории России XIX в. М., 1993. С. 69–70; Миронов Б. Н. Социальная история России. Т. 1. СПб., 2000. С. 396.

[58] Свод законов. Т. X. Ч. I. Законы гражданские. Ст. 423; Свод законов. Особое приложение к Т. IX Законов о состояниях. Положение о сельском состоянии. СПб., 1902. Ст. 9.

[59] Курдиновский В. И. Указ. соч. С. 353–354; Литуев В. Н. Указ. соч. С. 58–61.

[60] Подробнее см.: Литуев В. Н. Указ. соч. С. 58–61.

[61] Бурдина О. Н. Крестьяне-дарственники в России 1861–1907. М., 1996. С. 7–8, 191.

[62] ПСЗ, III собр. Т. I. № 176. Ст. 24.

[63] Свод кассационных положений. С. 452–53. Ст. 4611.

[64] Максимов В. Я. Закон о ростовщичестве, с изложением рассуждений, на коих он основан и разъяснениями Правительствующего Сената. М., 1911. С. 3, 8, 10, 19.

[65] ПСЗ, III собр. Т. XIII. № 10151. Ст. 1, 2, 3.

[66] Сходную точку зрения высказал В. Н. Литуев. См.: Литуев В. Н. Указ. соч. С. 61.

[67] Свод кассационных положений. С. 450–451. Ст. 4601, 4603.

[68] Там же. С. 451. Ст. 4602; Подробнее см.: Корелин А. П. Сельскохозяйственный кредит в России в конце XIX – начале XX в. М., 1988. С. 26.

[69] Собрание узаконений и распоряжений правительства (далее СУ). 1905. Отд. 1. Ст. 1014.

[70] Свод законов. Т. X. Ч. I. Законы гражданские. Ст. 385.

[71] Подробнее см.: Литуев В. Н. Указ. соч. Глава вторая.

[72] Курдиновский В. И. Указ. соч. С. 305.

[73] ПСЗ. II собр. Т. XL. Отд. 2. № 42759, 42760; Свод кассационных положений. С. 145. Ст. 1479.

[74] ПСЗ. III собр. Т. IV. № 2633; Курдиновский В. И. Указ. соч. С. 305–306.

[75] ПСЗ. III собр. Т. VI. № 3985; Т. XI. № 7422; Т. XXI. № 19618; Курдиновский В. И. Указ. соч. С. 306.

[76] СУ. 1905. Отд. 1. Ст. 574. Разд. IV; ПСЗ. III собр. Т. XXIV. № 25495.

[77] СУ. 1905. Отд. 1. Ст. 574.

[78] СУ. 1906. Отд.1. № 1050.

[79] Свод законов. Т. IX. Законы о состояниях. Ст. 780–783, 807, 811; Курдиновский В. И. Указ. соч. С. 302–304.

[80] См. подробнее: «На штык можно опереться, на него нельзя сесть» // Источник. 1993. № 3. С. 54—71.

[81] Свод законов. Т. IX. Законы о состояниях. Ст. 780–783, 807, 811.

[82] Свод кассационных положений. С. 145. Ст. 1479, 1481. А также С. 262–269.

[83] ПСЗ. III собр. Т. XXIII. Отд. 1, 2. № 22933.

[84] Там же. Отд. 1, 2. № 23664; Т. XXV. Отд.1, 2. № 26902.

[85] Свод законов. Т. IX. Законы о состояниях. Ст. 830.

[86] ПСЗ. III соб. Т. VII. № 4286.

[87] ПСЗ. III собр. Т. XII. № 8419, 8420.

[88] ГА РФ. Ф. 102. Д. 2. Оп. 73. Ч. 2 (1915). Д. 102. Л. 143–143 об.; ПСЗ. III собр. Т. XV. № 11477.

[89] Подробнее о деятельности акционерных земельных банков см.: Проскурякова Н. А. Указ. соч. Гл. 5.

[90] СУ. 1880. Ст. 303; ПСЗ, III собр. Т. XIII. № 9665.

[91] ПСЗ, III собр. Т. II. Отд. 2. № 845.

[92] Замечания правления Московского земельного банка на проект законоположения о вотчинной системе. М., 1897. С. 7–10.

[93] Подробнее о деятельности Крестьянского поземельного банка см.: Проскурякова Н. А. Указ. соч. Гл. 7.

[94] Степанов В. Л. Н. Х. Бунге. Судьба реформатора. М., 1998. С. 180.

[95] СУ. 1905. Отд. 1. Ст. 1754. Подробнее см.: Литуев В. Н. Указ. соч. С. 71–84; Степанов В. Л. Указ. соч. С. 186.

[96] Рихтер Д. И. Государственные земельные банки в России и их дальнейшая судьба. Пг., 1917. С. 10–11.

[97] СУ. 1915. Отд. 1. Ст. 1116.

В. В. Трепавлов

ОБРАЗЫ РЕГИОНОВ В ОБЩЕСТВЕННОМ СОЗНАНИИ И КУЛЬТУРЕ РОССИИ XVI–XIX вв.

Начиная с середины XVI в. Российская держава прирастала территориями по историческим меркам довольно быстро. Исследование взаимодействия народов и культур Евразии показывает, что образование единого российского народа, формирование его общей идентичности происходило и происходит постепенно и очень медленно. Требовалось значительное время, чтобы общественное сознание «переварило» факт обретения государством новых владений, превращения их жителей в соотечественников, россиян.

На протяжении XVI–XIX вв. Россия включила в свой состав обширные земли за пределами первоначального расселения русских на Восточно-Европейской равнине. Этим регионам предстоял процесс, который можно (и принято) обозначать емким понятием «освоение» – административное, хозяйственное, военно-политическое, культурное и т. д. Важным условием адаптации присоединенных территорий было их ментальное освоение, т. е. «привыкание» к их факту пребывания в составе государства, расширение знаний о них, формирование образов и стереотипов различных местностей в общественном сознании и культуре России.

В центре внимания данного проекта находятся историко-географические образы. Его участники (д. и. н. Н. Е. Бекмаханова, к. и. н. Л. С. Гатагова, к. и. н. А. В. Марчуков, д. и. н. В. В. Трепавлов, д. и. н. Э. П. Федосова) не ставили перед собой непосильную задачу написать полную и связную историю формирования таких образов в российской культуре и ментальности на протяжении четырех столетий. Каждый автор анализировал изучаемый регион исходя из имеющегося у него источникового материала и из своих исследовательских предпочтений. Кому-то было удобнее рассматривать весь край как историко-географический образ, кто-то сосредоточился на отдельных значимых географических объектах, для кого-то оказалось интереснее разбирать такой образ в рамках определенного литературного жанра (мемуары, беллетристика, записки путешественников и т. п.).

Исследование географического пространства через представления о нем имеет давнюю традицию, зародившуюся в западноевропейской географии, социологии и историографии. Для изучения пространства в истории важны работы французской Школы Анналов. Один из ее лидеров Ф. Бродель положил начало историко-географическим исследованиям – прежде всего, в своем знаменитом труде «Средиземное море и средиземноморский мир в эпоху Филиппа II» (Brodel, 1949). Большое внимание представлениям о географической среде и ее влиянию на историческое развитие уделяли основатели Школы Анналов Л. Февр и М. Блок. Активное осмысление пространства как культурно-географической и физической характеристики истории предпринимается немецкими авторами

(см., например: Löw, 2001; Schlögel, 2003; Schenk, 2007; Kusber, 2008. С. 52, 54). Американские культурологи и антропологи изучают географическое пространство через представления о нем различных социальных групп (см., например: Lowenthal, 1961; Lynch, 1960; Lynch, 1972; Tuan Yu Fu, 1972). В последние полтора десятилетия изучение географических образов получает все большее распространение и в отечественной науке (правда, по большей части географической, а не исторической). Вокруг соответствующего круга проблем сформировались целые субдисциплины – гуманитарная география и метагеография.

Наиболее заметны в этом отношении работы Д. Н. Замятина (Замятин, 2004; Замятин, 2006). Этому автору принадлежит четкое определение географических образов как явления: «Устойчивые пространственные представления, которые формируются в результате какой-либо человеческой деятельности (как на бытовом, так и на профессиональном уровне)... В общем смысле географический образ – это совокупность ярких, характерных, сосредоточенных знаков, символов, ключевых представлений, описывающих какое-либо реальное пространство (территории, местности, страны, ландшафты и т. д.)» (Замятин, 2004. С. 14–15). О. А. Лавренова формулирует несколько иначе, но тоже сводит дефиницию к набору представлений, выраженных в определенных знаковых проявлениях: образ территории – это «система представлений о географическом объекте, включающая в себя все нюансы его устойчивых культурных значений (в том числе стереотипные и символические)» (Лавренова, 1998. С. 12).

Нельзя не согласиться с этим подчеркиванием приоритетного значения знаково-символической составляющей, и не случайно в структуре рассматриваемого явления главное внимание исследователи уделяют именно знакам и символам, аккумулирующим особенности и закономерности исторического развития определенных пространств.

Н. Н. Родигина наметила ряд особенностей географических образов и выделила некоторые их функции. По ее мнению, им присущи, в частности, следующие характеристики (Родигина, 2006. С. 45, 46, 328). *Инерционность* – образы меняются медленнее, чем объективный мир, но существуют дольше, чем географические реалии, на которых они основаны. *Многослойность* – разные стороны образа обращены к различным социальным группам, их формирование зависит от социальной, профессиональной, региональной, конфессиональной принадлежности людей. *Противоречивость* – в индивидуальном и коллективном сознании могут уживаться противоположные представления об одном и том же географическом объекте, актуализируемые в зависимости от обстоятельств. *Антитетичность* – чисто смыслообразующие характеристики образа зачастую строятся как антитезы, бинарные оппозиции, противопоставление одного региона, хорошо знакомого, другому, отдаленному и малознакомому (автор ссылается на пример сопоставления Центральной России и Сибири).

Что касается функций, присущих географическим образам, то они сводятся к *информационной* (обогащение представлений о регионе), *коммуникативной* (включение региона в общее коммуникативное пространство государства), *идентификационной* (политическая идентификация и консолидация современников; формирование региональной идентичности), *социально мобилизующей* (привлечение внимания к проблемам региона), *контролирующей* (информирование о действиях власти в регионе, о внутриполитических проблемах на региональном уровне).

Изучение образа региона на протяжении длительного срока – тем более нескольких столетий, как в нашем случае, – предполагает его (образа) изменчивость. Представления о регионе меняются под воздействием увеличивающейся информации о нем, или, как афористично формулировал К. Боулдинг, image региона зависит от message о нем (или от него) (Boulding, 1956. С. 6–8). Важнейшим источником формирования образа в сознании современников выступают многообразные миграции, в том числе путешествия. В сознании тех, кто их предпринимает, образуется сложный синтез изначальных представлений (стереотипов) о посещаемой местности и личного опыта и впечатлений (Голубев, Куприянов, 2006. С. 381, 382; Замятин, 2004. С. 139; Лавренова, 1998. С. 14). Донося результаты своих наблюдений до читателей и слушателей, путешественники способствуют конструированию в общественном сознании и культуре устойчивого нового образа, который составляется из эндогенных и экзогенных элементов и в котором порой старые стереотипы сменяются новыми.

В подобных мыслительных построениях большое место нередко занимают всякого рода недостоверные сведения, искаженные и ложно понятые реалии, в общем то, что вместе составляет мифический географический образ, в котором географическое пространство переводится «из области, охватываемой восприятием, в область, охватываемую воображением» (Митин, 2004. С. 148). В итоге люди начинают расценивать далекие и недоступные края посредством парадоксальных оценочных критериев, вырабатывают комплиментарное и нон-комплиментарное отношение к тому или иному региону. Американские географы назвали эти подходы соответственно топофилией и топофобией.

К тому же информация о пространстве усваивается избирательно (Голд, 1990. С. 82). Человек наиболее полно и прочно усваивает сведения в первую очередь об интересующем его крае и зачастую не склонен воспринимать информацию, которая не соответствует его устоявшимся пространственным представлениям (он ее быстро забывает).

Наблюдения путешественников, донесенные до аудитории, а также написанные под их впечатлением и воздействием сочинения разного рода (от одической поэзии до фольклора) составляют один из основных компонентов образа пространства – ключевые тексты (Замятин, 2006. С. 481). Другими компонентами выступают визуальные символы (условно назовем их достопримечательностями) и мотивы репрезентации, т. е., по какому случаю данный регион фигурирует в общественном сознании, почему о нем вспоминают.

Мы уже неоднократно упоминали понятие стереотипа, которое тесно связано с понятием образа. Оба эти понятия являются продуктами восприятия каких-либо объектов (в нашем случае географических) и различаются по своим информационным и мотивационным характеристикам. Если в образе превалирует знание над эмоциональной оценкой, то в стереотипе наоборот (Егорова-Гантман, Плешаков, 1988. С. 22, 23; Стефаненко, 2003. С. 280). Стереотип представляет собой упрощенное, схематизированное, зачастую искаженное представление об объекте, имеющее яркую эмоциональную окраску. Американский журналист У. Липпман, который в своем фундаментальном труде «Общественное мнение» впервые ввел в обиход этот термин, понимал под стереотипом заранее принятое представление, не вытекающее непосредственно из собственного опыта человека (Lippman, 1922). Образ отличается от стереотипа большей полнотой и гибкостью, меньшей эмоциональностью, происхождением из персонального опыта, т. е. не передается готовым, как стереотип. Кроме того, образ гораздо более подвержен изменениям, модификациям, в отличие от стереотипных установок, царящих в мировоззрении и общественном сознании.

Все это относится и к стереотипам восприятия отдельных географических зон (регионов). Над умами довлеют сведения, почерпнутые из сообщений путешественников, но при этом темпы развития, освоения данного региона могут внести значительные коррективы в устоявшиеся представления (Голд, 1990. С. 153, 157–159).

Для изучения образов пространства применяется составление так называемых ментальных карт – графических отображений индивидуальных и групповых представлений о той или иной местности. При ментальном картографировании проявляется деление регионов на «свои» и «чужие». При этом первые сознательно или бессознательно оказываются протяженнее вторых. Наглядным и удачным примером служат схематические «каркасы геокультурного пространства России» XVIII и XIX – начала XX в., составленные О. А. Лавреновой на основании изучения русской поэзии за три столетия [Лавренова, 1998. С. 55, 78 (рис. 15, 16), 79]. В основе каждого «каркаса» лежит набор наиболее часто используемых топонимов: Уральские и Кавказские горы, реки Нева, Волга, Дон и Днепр, Черное и Каспийское моря, города Москва и Санкт-Петербург.

Перечисленные компоненты «каркаса» воспринимались как «свои». Кроме них, в составе государства имелись регионы, пользовавшиеся нейтральным отношением (условно говоря, «другие»), и «чужие» – с элементами враждебности. Например, Сибирь в XVIII в. была «чужой», а в следующем столетии превратилась в «другую».

В историографии также отмечена ориентация на центральные города государства и регионов как одна из базовых характеристик российского мыслительного пространства, ослабевающая, впрочем, по мере удаления от исторического ядра (Замятина, эл. ресурс). Если на Восточно-Европейской равнине мы изначально видим Смоленскую, Саратовскую и прочие губернии и области, названные по именам административных центров, то далее на восток – Степное генерал-губернаторство, Сибирскую губернию, Алтайский край и т. п. Но со временем эти отдаленные регионы как бы «дозревают» до обозначения по главным городам и появляются Тифлисская губерния, Хабаровский край и др.

Приблизительно на рубеже XIX–XX вв. в русской поэзии «отстраненный взгляд из европейской части России на весьма отдаленные и непонятные территории Урала и Сибири... сменяется ощущением взаимосвязанности различных, пусть даже и отдаленных, составляющих частей внутренней территории России» (Лавренова, 1998. С. 38).

Это лишь два из множества иллюстративных примеров взаимной адаптации окраин и Центра, проявление постепенности приспособления государственного управления к особенностям присоединенных регионов.

В структуре историко-географических образов главное внимание отводится знакам и символам, которые отражают особенности развития какого-либо региона или пункта. Именно в виде устойчивых, стереотипных знаков и символов откладываются в памяти и в представлениях людей сведения о различных местностях. Для эпохи Средневековья частой предпосылкой выделения географического локуса из ряда остальных были проявления сакральности – будь то действие неких природных сил (вулкан, целебные источники), связь с жизне-

деятельностью святого подвижника или средоточие такого мистического явления, как монархическая власть.

Одной из форм ментального освоения людьми заселенного ими пространства является сакральная топография. Она предполагает религиозно-мифологическое описание и понимание мира. «Земная» часть космографических воззрений включает два взаимосвязанных уровня: во-первых, систему представлений о строении сакрального ландшафта и о населении данной местности, во-вторых, систему реальных географических объектов, наделенных определенным сакральным смыслом (Теребихин, 1993. С. 4, 5). Эти уровни в совокупности и составляют религиозно-мифологический образ отдельной местности, региона, географического пункта как локальный вариант (диалект) общей картины мира.

Сакрально-топографические штудии начали проводиться в европейской историографии в связи с изучением средневековых городов с точки зрения организации «христианской городской среды». В центре внимания находятся прежде всего расположение храмов и приходов, отражение христианской символики в градостроительстве. Показателен в этом отношении цикл лекций известного историка церковной архитектуры Р. Краутхаймера о Риме, Милане и Константинополе, изданный в виде монографии (Krautheimer, 1983). В последнее время предпринимаются успешные попытки расширить территориальный охват исследований путем выхода за пределы христианской Европы, сопоставления сакральной топографии ее средневековых городов с городами исламского мира, выделения политической и религиозно-литургической составляющих в городском управлении и строительстве (Oesterle, 2009).

Такое «городское» направление успешно развивается и в российской исторической науке и культурологии. А. Л. Баталов и А. Л. Беляев использовали эту методологию при выполнении многолетнего проекта «Сакральная топография Москвы» (Баталов, Беляев, 1998; Беляев, 2005). Известны исследования сакральной топографии Смоленска, Саранска и др.

А вот проблема формирования образа не отдельного города, а целого региона, и к тому же в сочетании с присутствующими в нем элементами сакральности, не имеет в отечественной науке обширной традиции. Насколько нам известно, лишь Русский Север, Поволжье и Палестина (Святая Земля) удостаивались внимания по этому поводу.

При рассмотрении внутрироссийского символического пространства неизбежно встает вопрос о соотношении этнокультурного центра и периферии, т. е. великорусского ядра и прочих территорий. В XIX в. 28 или 29 губерний официально считались великорусскими (всех губерний было около полусотни). По мере удаления от основного ареала расселения русских нарастало количество неславянского населения, да и русские жители окраин все больше отличались по образу жизни и быта, по психологии и характеру от своих соплеменников, оставшихся на «прародине».

Главным источником формирования образов российского пространства было все-таки не административное, а культурное их освоение – прежде всего, отображение в литературных и философских текстах XIX–XX вв. Именно они конструировали общественное мнение в отношении той или иной территории империи.

Важнейшим средством формирования географических образов и стереотипов служила литература – как сообщения путешественников, так и написанные под их впечатлением публицистика и беллетристика. Немалое значение имело и изобразительное искусство. Художественное творчество являлось средством осмысления громадного российского пространства и его многообразных частей.

В рамках проекта исследованы образы таких регионов, как Поволжье, Урал, Сибирь, Прибалтика, Украина (Малороссия), Кавказ, Казахстан и Средняя Азия (Степной край и Туркестан). В качестве примера укажем на некоторые основные моменты в формировании образа Поволжского региона.

В судьбе государств и народов Восточной Европы он имел принципиальное, переломное значение. Именно вниз по Волге началось в XVI в. распространение границ России на юго-восток, именно в Поволжском регионе развернулось присоединение неславянских владений Московским государством, и Россия быстро (по историческим меркам) начала обретать имперский облик.

В обыденном сознании Волга традиционно воспринимается как символ нашей страны, ее непременная принадлежность. Ей посвящено множество песен и стихов. В большинстве дошедших до нашего времени фольклорных и литературных сочинений Волга изображена с теплотой и нежностью. Слова из знаменитой песни об утоплении Разиным персиянки «Волга, Волга, мать родная, Волга русская река» могли бы служить эпиграфом и квинтэссенцией этого огромного пласта русской культуры (Единственное монографическое исследование о Волге как элементе русской культуры (и при этом в сравнении ее с Рейном) принадлежит немецкому историку Г. Хаусманну (Hausmann, 2009). Однако изучение комплекса сведений о Волге и отношения к ней показывает, что далеко не только русским она доводилась «матерью», да и «русской рекой» в полном смысле она стала сравнительно недавно.

Поволжье являлось одним из регионов наиболее интенсивного взаимодействия этносов и культур в Восточной Европе. В бассейне среднего и нижнего течения Волги на протяжении тысячелетий менялись народы и государства, происходили миграции и завоевания. Во многом такая историческая насыщенность объяснялась географическим фактором. Данная зона находится в центре степного пояса Евразии. Поэтому потоки кочевых переселений с востока на запад, через «Ворота народов» (пространство между отрогами Южного Урала и Каспием), неизбежно пересекали Волгу. Кроме того, через ее низовья издавна проходили торговые трассы, в том числе северная ветвь Великого Шелкового пути. Волга служила и естественной меридиональной магистралью-ориентиром: вдоль нее и по ней пролегали торговые маршруты, а также маршруты сезонных перекочевок.

Долгое время берега реки являлись обиталищем различных кочевых племен. Начиная с Великого переселения народов здесь побывали гунны и савиры, древние тюрки и древние венгры, авары и хазары, огузы и печенеги, кипчаки и волжские булгары. В XIII в. Поволжье было завоевано монголами и вошло в состав Золотой Орды. После ее распада там образовалось несколько татарских государств и Ногайская Орда. Во второй половине XVI в. Волга на всем протяжении стала российской. Смена государств и господствующих этносов приводила к смене языков, культур и этнокультурных традиций. Но, как правило, ни одна культура не исчезала бесследно и сохранялась в качестве наследия, пережитков и заимствований у последующего иноэтничного населения. Это относится как к материальной, так и к духовной сферам – хозяйственным навыкам, промыслам, языку, фольклору и т. д. Подобное наследование характерно и для последнего по времени крупного этнического массива Поволжья – русских.

При этом вхождение полиэтничного Поволжского региона в состав России радикально изменило облик самого государства, а впоследствии и самосознание русского народа. Если на западных окраинах Российской империи, которые некогда входили в Речь Посполитую, подчеркивалась восточно-славянская общность, то на Волге «вспоминали», что в русском народе есть не только славянская, но финно-угорская и тюркская составляющие (Миллер, эл. ресурс).

Образ крупнейшей реки Восточной Европы присутствует в мифологии и фольклоре всех поволжских народов. Ее культ фиксируется в нескольких формах и отражает различные уровни осмысления реальности, трансформации ее в сознании. Образ реки составляет часть так называемой сакральной топографии, т. е. религиозно-мифологического описания и понимания горнего мира. «Земная» часть космографических воззрений включает несколько взаимосвязанных уровней: систему представлений о строении сакрального ландшафта (в данном случае поволжского) и о свойствах народов, населяющих край, а также систему реальных географических объектов, наделенных определенным сакральным смыслом (Теребихин, 1993. С. 4, 5). Эти уровни в совокупности и составляют религиозно-мифологический образ Волги и приволжских земель как локальный вариант (диалект) картины мира.

К нашему времени наиболее крупными этническими сообществами в Поволжском регионе оказались тюрки и славяне. Те и другие, как известно, имеют радикальные отличия в культуре, языке, исторической судьбе и проч. Однако Волга присутствует в традиционной культуре тех и других, и это присутствие обнаруживает некоторые общие черты. Великая река составляет важную часть сакральной топографии у русского и тюркских народов Поволжья, причем обращение в христианство или ислам не привело к исчезновению древнего культа Волги, но лишь вызвало переосмысление, частичное изменение ее места в народном сознании.

В этногонических преданиях Волга предстает как край ойкумены, крайний предел достижения странствующего народа, который стремится обрести родину. Наиболее разработана эта сюжетная линия в чувашских материалах. Во всех преданиях чувашей событийная канва сводится к миграции их предков в Поволжье с далекого юга (Юмарт, 1984. С. 93). Обретение родины на Волге – распространенная тема в тюркском фольклоре. Она заметна и в многочисленных вариантах «Огуз-наме» – свода этногонических преданий тюрков (Фазлаллах Рашид ад-Дин, 1987. С. 62, 63; Кононов, 1958. С. 43, 44).

Трактовка Волги, а также Яика-Урала как стержневых магистралей страны–родины фиксируется в текстах с X и XI вв. (Константин Багрянородный о печенегах, «Огуз-наме» о кипчаках) до XVI в. (ногайские грамоты) и, условно говоря, даже до первых десятилетий XX в. (активный сбор и запись вариантов татарского дастана «Идегей»). Можно предположить, что и те народы Поволжья, история которых слабо освещена источниками, также наследовали и передавали по эстафете своим преемникам подобные топографические интерпретации (хазары, саксины, волжские булгары, кипчаки и др.).

То же относится и к культу Волги как матери и символа отчизны. Улус Джучи в дастане «Идегей» неоднократно именуется *Идел-йорт* [в переводе С. Липкина: «Идиль, Отчизна-Дом», «отчий мой дом – Идиль-река» (Идегей. 1990. С. 128, 140)]. Она

действительно находилась в центре державы, вдоль нее пролегали ежегодные кочевки ханов Золотой Орды, а в низовьях находился *Тахт эли* – ханский домен со стольным городом Сараем. До настоящего времени у татар бытуют поговорки: *Идел йорт – имин йорт* (Страна Волги – добрая страна) и *Болгар йорты – Идел йорт* (Страна Булгар – страна Волги) (Гарипов,. 1994. С. 101; Татары, 2001. С. 473). Связь Булгара с Волгой и отождествление Волги с родиной, прослеживаемые от золотоордынских времен до современности, позволяют предполагать бытование аналогичных явлений и ранее, в эпоху независимой Волжской Булгарии.

Волга изначально осваивалась восточными славянами и была включена ими в картину мира лишь в верховьях. Кругозор русского человека Средневековья опирался на крупнейшие реки как стержневые ориентиры. Расширение пределов государства приводило и к расширению кругозора. Это естественно для архаического представления о радиальном пространстве, воспринимаемом в виде расходящихся от сакрального центра (в данном случае – «Святой Руси») концентрических кругов, которые затухают по мере приближения к границам неведомого (Топоров, 1988. С. 341). Долгое время малонаселенный регион на юго-востоке оставался чужим для славян, пристанищем лишь изгоев – казаков и разбойников.

Сакрально-топографическое осмысление территориального расширения России, присоединения к ней новых земель и народов – интересная, но пока малоизученная тема. На материалах Русского Севера она исследована Н. М. Теребихиным, который отметил важный принцип: «В процессе освоения (русскими. – *В. Т.*) инородческих и иноверческих земель Севера его пространство наделялось новым религиозно-мифологическим смыслом, включалось в сакральную географию Святой Руси, которая представляла собой земную проекцию христианского космоса» (Теребихин, 1993. С. 4). Полагаем, что сходные явления могут быть обнаружены и в случае с Поволжьем. Во всяком случае, уже в XII в. автор «Повести временных лет» уверенно использовал Волгу в качестве контактного звена между областями обитания потомства библейских патриархов: «...Потече Волга на восток и втечеть ... в море Хвалиськое. Тем же и из Руси (принадлежавшей к «жребию» праотца Яфета. – *В. Т.*) можеть ити в Болгары и в Хвалисы, и на восток доити в жребий Симов» (ПСРЛ. Т. 1. 1897. С. 7).

Наиболее активный приток русского населения в регион начался со второй половины XVI в. и продолжился в следующем столетии. Сначала сюда шли жители Русского Севера, Поморья. С середины XVII в. на юг двинулись крестьяне Верхнего Поволжья и «замосковных» уездов.

В заселении русскими Поволжья проявились черты, характерные впоследствии при заселении других восточных регионов. Наблюдалось сочетание организованных (санкционированных властями) и стихийных миграционных процессов. Стремление перебраться на Волгу и за Волгу диктовалось поиском свободных земель, социальным расслоением, усилением крепостничества в центральных районах государства, правительственными репрессиями против участников массовых движений (Разинщина, раскол), стихийными бедствиями на западе – голодом, засухами и т. п.

Нижнее Поволжье поначалу служило в основном военным форпостом государства с соответствующим составом русского населения. На протяжении первого столетия после завоевания татарских ханств это была почти безлюдная страна. Стремление закрепить Волжский путь ставило перед правительством задачу соорудить здесь систему городов-крепостей. С середины XVII в. установилась обычная для южного российского пограничья практика строительства сплошных укрепленных линий для защиты земледельческих поселений. Лишь тогда в регионе стало расти русское население, активно осваивающее местные ресурсы. Однако полноценное земледельческое и промысловое освоение развернулось только после исхода калмыков в Джунгарию в 1771 г.

В укромных местах Нижнего Поволжья (к югу от Самары) обосновались ватаги разбойников и общины казаков. Они заселяли территории завоеванных Казанского и Астраханского ханств и распавшейся Ногайской Орды. Следовательно, славянские мигранты оседали вперемежку со старым тюркским населением. Их взаимное влияние проявлялось в самых разнообразных аспектах, в различных сферах культуры. Одним из наиболее ярких признаков русского освоения Поволжья стало использование образа Волги в песенном и былинном фольклоре.

Прежде всего это культурное освоение – как вольными казаками, так и российскими подданными – проявилось в формировании своеобразного культа реки, в складывании образа «Волги-матушки». Песенный материал XVII–XIX вв. дает широкую панораму развития образа великой реки. Причем если в поздних произведениях Волга присутствует только как ритуальный элемент, как абстрактная «матушка», то в песнях XVII–XVIII вв. еще чувствуется новизна волжского ландшафта для славянских поселенцев. Бурлаку некрасовских времен она служила лишь абстрактной декорацией для излияния чувств: «Волга моя матушка, Русская река, Пожалей, родимая, Силы бурлака». А для казаков и крестьян-новоселов река выступала еще и как грозная стихия со своим характером, к которо-

му требовалось приноровиться (недаром говорили: «Волга ину пору мать, а ину мачеха»). Видимо, изначально, она, как и Яик, удостоилась эпитетов «великая» и «славная» и лишь затем стала «маткой», а впоследствии и «матушкой» (Волга, 1937. С. 41, 43–45, 83–85, 101, 106, 108, 109, 111–113, 155).

Русские первопоселенцы, в том числе казаки – выходцы из России, долгое время не могли воспринимать великую реку в ее низовьях с такой же теплотой, с какой к ней относились местные кочевники. Долгое время волжские берега служили обиталищем вольных казаков, а затем еще и приютом для различных изгоев и беглецов. Особенно долго манили «лихих людей» обширные степи левобережья. Частые и массовые разбои на реке и по ее берегам продолжались вплоть до 1840-х гг. – до открытия пароходного движения. Позднее асоциальные элементы, скапливавшиеся в регионе, сочли более привлекательным заработок в качестве бурлаков и грузчиков во время навигации и хлебного сплава.

При миграциях в Среднее и Нижнее Поволжье перед русскими объективно встала необходимость контактов с местными народами. При этом сами русские не составляли гомогенную этническую структуру с единой, общей для всех них идентичностью. Существовали специфические общности «внутри» русского этноса. Однако различия между ними являлись не более чем локальными вариантами единого цивилизационного, социально-культурного комплекса. Поэтому русская культура при всем своем региональном своеобразии приходила к нерусским народам приблизительно в одинаковых формах.

Унификации ее при внедрении в среду «инородцев» способствовали, во-первых, значительная роль государства при заселении окраин; во-вторых, единство доминирующей православной церкви и христианского культа «греческого закона», в котором, начиная со второй половины XVII в., уже не допускались местные вариации; в-третьих, господство единого литературного русского языка, применявшегося в официальных документах и прочих произведениях письменной культуры. На вновь осваиваемые земли были перенесены начала корпоративности (включая крестьянские «миры», посадские и казацкие общины, купеческие сотни, государственную бюрократию).

В Поволжье постепенно формировалась своеобразная цивилизационная модель, в которой черты славянской государственности сочетались с политическими традициями Востока. Этот синтез стал одной из важнейших характеристик уникальной российской цивилизации.

Таким образом, образ «Матери Волги» на протяжении огромного исторического периода был стержневым в картине мира у тюркского, финно-угорского и славянского населения Поволжского региона. Крупнейшая река Европы присутствует в мифологии и фольклоре всех местных народов. Исторические источники, памятники устного творчества и литературные произведения показывают, что своеобразный культ Волги традиционен для них. Ее место и роль в культуре, в том числе в сакральной топографии, сводятся к следующим позициям.

Во-первых, река являлась мифологическим антропоморфным персонажем, который находится в родственных отношениях с другими потоками и водоемами, вступал с ними в союзы или конфликты.

Во-вторых, она выступала в качестве компонента мифологизированной картины мира, проявляя себя в текстах то как ориентир и стержень мирового пространства, то как рубеж между различными (часто враждебными друг другу) мирами. В данном случае Волга составляла часть волшебного пространства, характерного для мифопоэтического отображения мира, – пространства замкнутого и ограниченного, сконцентрированного вокруг организующего центра, окруженного враждебным миром или хаосом.

В-третьих, Волга в эпической истории предстает как важный элемент изначального, постхаосного мира, заселяемого предками. В этой ипостаси она со временем превращается в обозначение страны и становится в народном сознании символом родины.

В русской художественной литературе образ Волги присутствует с конца XVIII в. Первооткрывателями его в нашей поэзии можно считать Н. М. Карамзина («Волга», 1793 г.) и И. И. Дмитриева («К Волге», 1794 г.), представлявшими великую реку как достойную гимнов часть природы, которой они поклонялись. В эпоху романтизма, у К. Н. Батюшкова, П. А. Вяземского, Н. М. Языкова и др., получили распространение «патриотические» пейзажи, где Волга выступала как символ России, неразрывно связанный с темой Родины. Литераторы середины – второй половины XIX в. ввели реалистический мотив Волги-труженицы и кормилицы с противопоставлением цветущей природе нищеты, невежества и бесправия волжан. В то время образ Волги и Поволжья становится одним из самых значительных духовно-консолидирующих центров русской культуры, река всегда изображается с положительной эмоциональной окраской. Наиболее заметные произведения такого рода были созданы Н. А. Некрасовым, В. А. Гиляровским и Н. П. Огаревым в поэзии, А. Н. Островским в прозе и драматургии, И. Е. Репиным в живописи. В последней трети столетия и в начале XX в. к волжской теме обращались писатели А. М. Горький и А. Н. Толстой, художник И. И. Левитан. Поэты «серебряного века» преподносили ее как «царицу великую рек»

(В. Я. Брюсов) и мистическую «Ра» (В. В. Хлебников). Подобное почитание Волги и даже своего рода поклонение ей было унаследовано русской культурой XX века.

Список литературы

Баталов А. Л., Беляев Л. А. Некоторые проблемы сакральной топографии средневекового русского города // Сакральная топография средневекового города. М., 1998. С. 13–22.

Беляев Л. А. Сакральная топография Москвы: храм–кладбище–город. К постановке вопроса // Культура средневековой Москвы. Исторические ландшафты. Т. III. М., 2005. С. 29–41.

Гарипова Ф. Г. Исемнәрдә-ил тарихы. Казан, 1994.

Голд Дж. Основы поведенческой географии. М., 1990.

Голубев А. В., Куприянов П. С. Представления об «Ином»: эволюция и механизмы (из российского опыта XIX–XX веков) // Россия и мир глазами друг друга: из истории взаимовосприятия. Вып. 3. М., 2006. С. 374–396.

Егорова-Гантман Е. В., Плешаков К. В. Концепция образа и стереотипа в международных отношениях // Мировая экономика и международные отношения. 1988. № 12. С. 19–33.

Замятин Д. Н. Метагеография. Пространство и образы пространства. М., 2004.

Замятин Д. Н. Культура и пространство. Моделирование географических образов. М., 2006.

Замятина Н. Новые образы пространства России. Электронный ресурс http:www.strana-oz.ru/?numid=7&article=301

Идегей. Татарский народный эпос. Казань, 1990.

Кононов А. Н. Родословная туркмен. Сочинение Абу-л-Гази хана хивинского. М.; Л., 1958.

Лавренова О. А. Географическое пространство в русской поэзии XVIII – начала XX вв. (геокультурный аспект). М., 1998.

Миллер А. Империя и нация в воображении русского национализма. Взгляд историка. Электронный ресурс http://polit.ru/lectures/2005/04/14/miller.html

Митин И. И. На пути к мифогеографии России: «игры с пространством» // Вестник Евразии. 2004. № 3 (26). С. 140–161.

ПСРЛ. – Полное собрание русских летописей. Т. 1. СПб., 1897.

Родигина Н. Н. «Другая Россия». Образ Сибири в русской журнальной прессе второй половины XIX – начала XX века. Новосибирск, 2006.

Стефаненко Т. Г. Этнопсихология. М., 2003.

Татары. М., 2001.

Теребихин Н. М. Сакральная география Русского Севера. Архангельск, 1993.

Фазлаллах Рашид ад-Дин. Огуз-наме. Баку, 1987.

Юмарт Г. Ф. Некоторые особенности развития жанра чувашских исторических песен // Исследования по чувашскому фольклору. Чебоксары, 1984. С. 91–119.

Boulding K. The Image. Ann Arbor, 1956.

Brodel F. La Méditerranée et le monde méditerranéen á l'époque de Philippe II. P., 1949.

Hausmann G. Mütterchen Wolga. Ein Fluss als Erinnerungsort vom 16. bis ins frühe 20. Jahrhundert. Frankfurt a. M., 2009.

Krautheimer R. Three Christian Capitals: Topography and Politics. Berkeley, 1983.

Kusber J. Mastering of the Imperial Space: the Case of Siberia. Theoretical Approaches and Recent Directions of Research // Ab Imperio. 2008. № 4. P. 52–74.

Lippman W. Public Opinion. N.Y., 1922.

Löw M. Raumsoziologie. Frankfurt a. M., 2001.

Lowenthal D. Geography Experience and Imagination. Towards a Geographical Epistomology // Annals of the Association of American Geographers. 1961. Vol. 51. № 3. P. 241–260.

Lynch K. The Image of the City. Cambridge (Mass.), 1960.

Lynch K. What Time Is This Place? Cambridge (Mass.), 1972.

Oesterle J. R. Kalifat und Königtum im Vergleich. Herrschaftsrepräsentation der Fatimiden, Ottonen und frühen Salier an religiösen Hochfesten. Darmstadt, 2009.

Schenk F. B. Das Paradigma des Raumes in der Osteuropäischen Geschichte // Zeitenblicke. 2007. B. 6. № 2. Электронный ресурс http://www.zeitenblicke.de/2007/2/schenk

Schlögel K. Im Raume lessen wir die Zeit. Über Zivilisationgeschichte und Geopolitik. München, 2003.

Tuan Yu Fu. Environmental Psychology: a Review // Geographical Review. 1972. Vol. 62. № 2. P. 245–256.

Е. А. Мельникова

ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ И ГЕОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДРЕВНЕРУССКОГО ГОСУДАРСТВА

Изучение ранней истории Древней Руси традиционно сосредоточено на проблемах внутреннего развития восточнославянского общества во второй половине I тыс. н. э., что рассматривалось в советской исторической науке и продолжает рассматриваться как основной фактор зарождения и становления государственности. При всей первоочередной важности этой проблематики, ее недостаточность представляется ныне очевидной, особенно в свете новейших исследований образования варварских государств в Западной и Северной Европе и теоретических обобщений в рамках политической антропологии. До сих пор не только не изучен, но и фактически не сформулирован второй из центральных для объяснения ранней истории Руси вопрос: в каком историческом контексте возникло и формировалось Древнерусское государство[1], какие экономические, политические, культурные явления и процессы общеевропейского или евразийского масштаба вызвали к жизни быстрое – на протяжении всего четырех столетий[2] – перерастание восточнославянских племенных структур в государственные и/или оказали воздействие на их трансформацию.

Работа над проектом «Геополитические факторы в историческом развитии Древнерусского государства» в рамках программы фундаментальных исследований Президиума РАН «Историко-культурное наследие и духовные ценности России» (2009–2011) имела основной целью наметить возможные пути изучения этой многогранной проблемы, выделить в ее составе основные вопросы и более подробно исследовать некоторые из них. Центральным, с точки зрения участников проекта, и наименее освещенным в отечественной науке был вопрос о трансконтинентальных путях, проходивших по территории Восточной Европы как геоэкономическом и геополитическом факторе социально-политического развития восточных славян, приведшем к образованию Древнерусского государства, что и стало первоочередным объектом исследования (Древнейшие государства, 2010). В дельнейшем оказалось возможным выдвинуть предположение о существовании в VIII–X вв. макрорегиона, охватившего всю северную периферию Европы от Англии на западе до Средней Волги на востоке и объединенного единой системой коммуникаций, которая эксплуатировалась на всем ее протяжении скандинавами, а на отдельных участках – фризами, англичанами, балтийскими и восточными славянами и по которой осуществлялись торговые, политические и культурные взаимосвязи между его отдельными областями.

Восприятие североевропейского пространства как единого региона было присуще уже древнерусскому летописцу начала XII в., который писал: «По сему же морю (Варяжскому, т. е. Балтийскому. – *Е. М.*) седять варязи семо ко въстоку до предела Симова, по тому же морю седять к западу до земле Агнянски и до Волошьски. Афетово бо и то колено: варязи, свеи, урмане, готе, русь, агняне, галичане...» (ПВЛ. С. 8). Этот регион был известен ему не по авторитетным (византийским) источникам, а из опыта предшествующих поколений. Балтийское море на ментальной карте летописца выступает организующим европейское пространство центром (Мельникова, 2010 в. С. 93), от которого отходят, охватывая Европу, две ветви, соответствующие трансконтинентальным путям, – восточная, образованная Балтийско-Волжским путем, и западная, огибающая Европу и выходящая в Средиземное море (Мельникова, 2010 а). На западе регион простирается до Англии и Северо-Западной Франции[3], чему соответствует отнесение к «варягам» англичан и «галичан»-галлов (франков) (ПВЛ. С. 8)[4]. На востоке же варяги достигают «предела Симова», т. е., в соответствии со средневековыми географическими представлениями, Центральной и Южной Азии[5].

Эта географическая модель имеет ближайшую параллель в древнескандинавской картине мира, пространство в которой также структурировано путями: прежде всего, восточным (*Austrvegr*) и западным (*Vestrvegr*) (Джаксон, 1994). Сходство как организации пространства, так и способа его описания (путевой, см. подробно: Мельникова, 2010 а. С. 334), а также центральное место в нем варягов (скандинавов) указывают на то, что пространственные представления русских летописцев восходят к скандинавской географической традиции, которая сложилась в эпоху викингов – в конце IX–X в., когда скандинавский мир включал территории Англии (Центральную Англию и Нортумбрию) и Франции (Нормандию) на западе и Северо-Запад Восточной Европы на востоке. Как древнерусскому летописцу, так и ранее скандинавам эпохи викингов, таким образом, все пространство от Нормандии и Англии на западе до Средней, а может быть, и Нижней Волги на востоке, полукружьем охватившее Европу с севера, представляется единым регионом.

Выделение в сознании средневековых писателей Североевропейского региона основывалось на реальной геополитической ситуации, которая сложилась в Европе в VIII–IX вв. Предположение А. Пиренна об экономическом упадке средиземноморской торговли в результате арабских завоеваний VII–VIII вв. (Pirenne 1939) было развито С. Булином, который показал, что разрушение системы средиземноморских коммуникаций, которая снабжала Западную Европу предметами роскоши, золотом и серебром, было компенсировано возникновением дальних путей из Северного моря через Балтику и реки Восточной Европы на восток (Bolin, 1953; Hodges & Whitehouse, 1983; McCormick, 1953). Начиная с VIII в. в Европе формируются две крупные экономические области: на юге, в исламском мире, процветает торговля с Передней Азией, Индией (Hodges & Whitehouse, 1983. P. 123–157); на севере в Каролингскую эпоху возникает и крепнет североморская система связей (Hodges & Whitehouse, 1983. P. 77–122; Untersuchungen, 1985), которая позднее охватывает Балтику, а затем и Восточную Европу. «Северная» система коммуникаций служила не только целям торговли, не меньшую роль в восстановлении экономических связей играли перемещение по ней престижных даров, платы наемникам, торговые пошлины и др. (Grierson, 1959).

Уже в эпоху Великого переселения народов структурирующую европейское пространство роль играли Дунай, отделявший позднюю Римскую империю от варварского мира, и Рейн, служивший границей между римскими провинциями в Галлии и Свободной Германией. Значение Рейна не угасло после распада Римской империи: начиная с VI в. он становится главной торговой магистралью, соединяющей Центральную и Южную Европу с Северным морем. Находки коптских сосудов и других предметов, а также византийских солидов на Среднем Рейне и даже в Центральной Швеции указывают на то, что между Южной Европой и франкской и свейской элитами существовали отношения обмена. Новая экономическая зона характеризуется образованием торговых центров (лат. emporium, др.-англ. wīk, др.-исл. vík) (Hodges, 1982; The Rebirth of Towns, 1988). При впадении Сены, Мааса и Рейна в Северное море во второй половине VII в. возникают Квентовик южнее совр. Булони, Домбург на о-ве Вальхерен, Дорестад в устье Рейна, который был также пунктом сбора 10-процентных торговых пошлин и чеканки монеты в Каролингской империи (Willemsen, 2009). Одновременно с ними на другом берегу Ла-Манша появляются Ипсвич, Хамвик, Лондон (Lundenwīc) и др. (Verhulst 1999). На западном побережье Ютландии разрастается Данкирке, возникший еще в I в. до н. э. как центр производства железа, но достигший расцвета в VI–VII вв. уже в качестве ремесленного и торгового поселения. О его участии в североморской торговле свидетельствуют тысячи обломков фризских сосудов и находки фризских скеаттов (Hansen, 1987–1988). К концу VII в. Североморский регион охвачен, таким образом, единой сетью коммуникаций, которая связывает Рейнскую область и Центральную Европу с юго-восточной Англией и Юго-Западной Ютландией. По Рейну и другим рекам Франкии в эмпории на берегах Северного моря поступают рейнское вино, жернова, оружие, гребни, сосуды (Ljungkvist, 2009); Англия и Данкирке, видимо, поставляют в основном шерсть, кожи, рабов. Однако меровингская империя не получает по этой сети те товары и в том количестве, которые были необходимы и уже стали привычными, прежде всего серебро, которое в большом количестве доставлялось с юга из Африки – не случайно франкские монеты VII в. постепенно девальвируются (Hodges, 1982. P. 29–39). Резко сокращается приток восточных тканей, сосудов, других предметов роскоши, а также пряностей.

Если Североморская торговля в VII в. находится в стадии становления, то в Балтийском регионе к этому времени уже существует развитая внутренняя сеть торговых путей, начавшая формироваться еще в бронзовом веке с виками в узловых пунктах (Мельникова, 2010 б). В IV–VI вв. усиливается значение Западной Балтики, где крупнейшим торговым центром становится Люннеборг на о. Фюн (Nielsen, Randsborg, Thrane, 1994) и откуда протягиваются торговые пути в глубь Балтики, в первую очередь, вдоль юго-восточного и восточного побережий Скандинавского полуострова к о. Борнхольм, о. Эланд, на котором возникают торгово-ремесленные поселения Экеторп и Исманторп и Средней Швеции, где на оз. Меларен вырастает Хельгё (Excavations at Helgö, 1961–1986). Если связи Западной Балтики были традиционно ориентированы на Центральную Европу, то Восточная Скандинавия имела давние контакты с восточным побережьем Балтики[6]. Начиная с V в. здесь возникают поселения готландцев и свеев, к VII в. прокладывается путь в глубь Восточной Европы по Финскому заливу до Ладожского озера. Главным стимулом, привлекавшим скандинавов на востоке в это время, была пушнина (Callmer, 1986; Noonan, 1986); не случайно древнейшие следы пребывания скандинавов на о. Тютерс в Финском заливе и на о. Риекалла в Ладожском озере – временные стоянки охотников (Kivikoski, 1939). Находки из Хельгё свидетельствуют о теснейших восточных связях эмпория.

Вплоть до второй половины VII в. Балтийский регион не обнаруживает сколько-нибудь устойчи-

вых контактов с Североморским, хотя такие товары, как пушнина, вероятнее всего, проникали в Западную Европу, а до Восточной Скандинавии доходили стеклянные сосуды из Англии, мечи (или клинки мечей) из Рейнской области, фризские скеатты (Ljungkvist, 2009. P. 34, 36, 37; Hill & Metcalf, 1984). Путь, связующий оба региона, огибал Ютландский п-ов с севера, где в Лимфьорде возникает поселение Линдхольм-Хёйе, значение которого как стоянки на трансевропейском пути возрастает в эпоху викингов (Ramskou, 1960).

Объединение торговых коммуникаций обоих регионов происходит в VIII в., когда устанавливается переход из одного региона в другой на Шлезвигском перешейке, где возникает, а к IX в. достигает расцвета Хедебю, крупнейший торговый и ремесленный центр Балтики (Jankuhn, 1986). Как считается, в основании раннего поселения участвовали фризы (Jankuhn, 1953). Его кардинальное значение для развития всего Балтийского региона знаменуют не только многочисленные свидетельства его широчайших международных связей, но и разгоревшаяся в конце VIII – начале IX в. борьба между Карлом Великим и правителями Хедебю за контроль над торговыми путями и центрами в юго-западном углу Балтики (Jankuhn, 1967; Мельникова, 2004).

Североморская торговля к концу VIII в. сосредоточилась по преимуществу в руках фризов, покоренных франками в 734 г. (Jankuhn, 1953; Jellema, 1955; Lebecq, 1992). Фризские монеты-скеатты (Hill & Metcalf, 1984) и предметы фризской торговли, вино, стеклянные изделия, оружие оседают на западном побережье Ютландии, где место Данкирке занимает расположенный поблизости Рибе (Jensen, 1991), и достигают Средней Швеции, где Хельгё в IX в. сменяется Биркой, Готланда, где вырастают такие центры, как Вестергарн, Павикен, Эстергарн, и, наконец, Северо-Запада Восточной Европы, где в середине VIII в. возникает Ладога, топография которой, а также некоторые ремесленные производства свидетельствуют о связях с Хедебю и присутствии в ней фризов (Кирпичников, 1985. С. 24–25; Давидан, 1962). Одновременно на землях поморских славян, балтов и прибалтийско-финских племен возникают такие центры, как Рерик, Ральсвик на о. Рюген, Менцлин на нижнем Пене, Волин в устье Одера, Трусо в устье Вислы (Херрман, 1985. С. 338–359; Filipowiak, 1985), ряд поселений в землях пруссов, Кауп и Апуоле на землях куршей (Кулаков, 1990. С. 9; Седов, 1987. С. 408–409), Гробиня – ливов (Nerman, 1958) и др. К концу IX в. южное и восточное побережье Балтики усеяно крупными и мелкими поселениями, обслуживающими торговый путь и принимающими участие в торговле.

Таким образом, на протяжении VIII в. формируется единый регион, от Фризии и Англии до Восточной Балтики, в котором наиболее активную роль играют фризы и скандинавы. Главным явлением этого времени, оказавшим наибольшее влияние на экономику балтийских стран эпохи викингов, равно как и на социально-политическое развитие населявших его народов, было включение в этот регион Восточной Европы, речные магистрали которой связали северо-европейскую систему коммуникаций с Востоком, превратив ее в трансконтинентальную.

Пролонгация балтийской коммуникационной системы на восток определяется временем формирования Балтийско-Волжского пути – второй половиной VIII в. (Дубов, 1989). Главными вехами формирования пути было основание вдоль него торгово-ремесленных поселений, таких, как Ладога, Городище под Новгородом (Рюриково), которое возникло в середине IX в. как военный опорный пункт и контролировало развилку путей от оз. Ильмень. Последующие этапы освоения пути связаны с основанием Сарского городища и Тимерёва; наиболее отдаленный от Балтики регион – вятский у поворота Волги на юг – отмечен концентрацией кладов арабского серебра IX в.

С середины VIII в. по Дону начинает поступать на север арабское монетное серебро. Древнейший клад с арабскими монетами 699–700 гг. найден в Ладоге в слоях 750–760-х гг., еще несколько кладов дирхемов датируются 770–790-ми гг. (Noonan, 1998; Кирпичников, 1985. С. 21–22; Кирпичников, Сарабьянов, 2003. С. 50–52, 58), а с начала IX в. монетное серебро достигает Готланда и Средней Швеции (Stenberger, 1958). Поток арабского серебра, хотя и переживавший периоды сокращения, завершил формирование единого «макробалтийского» региона, просуществовавшего до конца X в., когда импорт арабского серебра и в Скандинавию, и в Восточную Европу прекращается.

Этот регион в эпоху викингов объединялся тесными экономическими, культурными и этническими связями, в значительной степени осуществлявшимися скандинавами. Одни и те же викинги могли побывать в разных его частях, как, например, некий Асгаут, который «был на западе и востоке», как Олав Трюггвасон, воспитывавшийся на Руси и, возможно, посетивший Византию, а затем воевавший в Англии и в 995 г. вернувшийся в Норвегию. Арабские дирхемы, поступавшие в IX–X вв. сначала по Дону, а затем по Волге в Волховско-Ильменский регион и оттуда в Восточную Скандинавию (на Готланде найдено более 80 тыс. монет, в материковой Швеции – ок. 10 тыс.), достигали, пусть и в небольшом количестве, Дании (ок. 5 тыс. дирхемов; Jensen & Kromann, 1998), Норвегии (ок. 400) и даже

Исландии (ок. 10)[7] и Англии[8]. Несмотря на незначительность находок арабских дирхемов среднеазиатской чеканки во Франкии и Фризии[9], предполагается, что именно арабское монетное серебро (возможно, поступавшее и из Испании, где велась его добыча) позволило Карлу Великому провести реформу монетного дела в начале IX в. и восстановить содержание серебра в денарии, а Дорестаду – стать вторым по значению местом чеканки серебряной монеты в Каролингской империи (Hodges & Whitehouse, 1983. P. 109–110). В свою очередь, в Восточную Европу попадают западноевропейские монеты: полубрактеат Хедебю первой и крайне незначительной чеканки (ок. 825 г.) найден у дер. Кислая (Верхнее Поднепровье), более поздней и обширной чеканки (середина X в.) – в кладах из Кейла (Эстония, 20 монет), у дер. Денисы (Украина; клад содержал многочисленные фрагменты), на поселении в Тимерёве (Ярославское Поволжье) (Потин 1970), а английские пенни X в. и чеканки Кнута Великого (ум. 1035) встречаются в кладах Новгородской земли (Янин, Гайдуков 1996). Предполагается, что в Скандинавию вместе с монетами проникла и практика использования весового серебра, отчего в кладах присутствует огромное количество фрагментов монет и серебряных изделий (Sperber. P. 96). К редким находкам принадлежат три близких по типу кольца со вставками из полудрагоценных камней: в погребениях из могильника у Танеевки (№ 999) поблизости от Булгара на Средней Волге, в Тимерёве в Ярославском Поволжье (X в.) и в Бирке (Средняя Швеция, IX в.); в первом случае на вставке выгравирована арабская надпись «Во имя Аллаха», в двух других – «Аллах» (Duczko, 1998). Фризские гребни и сосуды получили широкое распространение от Ладоги до Англии. Уникальные деревянные замки-цилиндры, которыми запечатывались мешки с собранной в Новгородской земле данью, доставлявшейся в Новгород с конца X в., имеют прямые (и единственные) аналогии в скандинавском Дублине (Янин, 2001).

Материальные свидетельства единства Северного региона согласуются с относительной синхронностью социально-политических процессов, приведших к образованию скандинавских и древнерусского государств, что обнаруживается уже в V в., когда начинается колонизация скандинавскими племенами на западе – Англии (завоевание англами, ютами, саксами, в котором приняли участие и фризы) и на востоке – Восточной Прибалтики. На всем пространстве региона – от Квентовика до Ладоги – практически одновременно в VIII – первой половине IX в. возникают или возобновляют бурную деятельность эмпории. В IX–X вв. плотная сеть торгово-ремесленных поселений на всех участках трансконтинентального пути и его ответвлениях охватывает берега Балтийского моря и земли Восточной Европы, лежавшие вдоль Балтийско-Волжского пути.

Чрезвычайное значение двух скандинавских эмпориев – Хедебю и Бирки – обусловливает образование вокруг них политий уже в VIII и IX вв. Возникновение первого из них относят к 730-м гг., когда начинается строительство мощного оборонительного вала к югу от Хедебю, но его усиление отмечается франкскими источниками с конца столетия, когда правители Хедебю вступают в непосредственные отношения с Франкской империей. Становление предгосударственной политии в Средней Швеции также, возможно, началось в IX в.: о «королях» Бирки сообщает Римберт в «Житии св. Ансгария» (Римберт. С. 34). В конце того же столетия возникают скандинавские политии в Англии – Денло и в Ирландии – с центром в Дублине.

В середине – второй четверти IX в., вероятно, складывается политическое образование в Ладожско-Ильменском регионе (Мельникова, 1995; Масон, 1997), которое получило в литературе условное наименование «Русского каганата» (см. дискуссию последних лет о «Русском каганате»: Zuckerman, 2000. P. 95–120; сокращ. вар.: Цукерман, 2001; Калинина, 2003) – на основании сообщения «Бертинских анналов» под 839 г. о посольстве некоего «кагана» к императору Феофилу. Члены этого посольства назвали себя «росами», но на деле оказались свеонами (свеями) (Назаренко, 2010). Сказание о призвании Рюрика и его братьев (ПВЛ. С. 13), восходящее к местной устной традиции (Мельникова, Петрухин, 1995), очевидно, отражает не только (а, может быть, и не столько) конкретный факт установления власти предводителя одного из скандинавских отрядов, сколько сложившуюся к этому времени ситуацию: консолидацию восточнославянской и финской племенных элит, тяготевших к крупным центрам на Балтийско-Волжском пути, и контроль скандинавов над этим путем.

Ситуацию второй половины IX в. на Северо-Западе Восточной Европы характеризуют восточные писатели X в., сведения которых в рассказах об «острове» народа ар-рус (Ибн Русте, начало X в., «Худуд ал-‘алам», ок. 982 г., Гардизи, середина XI в.; восходят к несохранившимся сочинениям IX в.), и о трех видах («джинс») русов, населяющих Восточную Европу – «Славии», «Куявии» и «Артании/Арсе» (ал-Истахри, 930–950 гг., Ибн Хаукал, 950–960 гг.) позволяют до определенной степени реконструировать социально-политическую организацию и экономические основы раннегосударственного образования, сложившегося в Поволховье (Древняя Русь, 2010).

Население этой политии составляют народ ар-рус, традиционно отождествляемый со скандина-

вами, и ас-сакалиба – славяне[10]. Ее экономической основой является торговля, в которой доминирующую роль играют русы. Их торговая деятельность обеспечивается эксплуатацией местного населения, осуществляемой набегами, грабежами и захватом жителей в плен для продажи в качестве рабов – насильственным изъятием продуктов для непосредственного потребления и для использования в торговле. Существовал и более или менее упорядоченный сбор даней в натуральной форме путем объезда правителем подчиненной ему территории (полюдье). Отголоски даннических отношений славянского и финского населения Северо-Запада со скандинавами нашли отражение также в упоминании «варяжской дани» в «Сказании о призвании варягов», где сборщиками дани, как и у Гардизи, названы сами варяги. Впрочем, вероятнее, что сбор дани осуществлялся местной племенной знатью внутри каждого из племен.

Арабские авторы обращают специальное внимание на организацию торговли, указывая на ее регулярность и стабильность торговых путей, упорядоченность взаимоотношений торговцев с местной властью: выплата правителю «страны русов» десятины от торговой прибыли и обеспечение защиты купцов, которая осуществляется в соответствии с определенными правовыми нормами: по Гардизи, за оскорбление чужеземца (купца) обидчик обязан отдать потерпевшему половину своего имущества. Если эти известия не являются переносом восточных реалий на почву «острова русов», то они – важное свидетельство развитых и упорядоченных торговых отношений, которые уже оформлены правовыми нормами[11] и в которых активное участие принимает центральная власть. Именно наличие в обществе русов потестарных институтов (по меньшей мере, аппарата для сбора пошлин и наказания нарушителей установленных правил торговли) и центральной власти, сосредоточенной в руках «царя» («малика» или «хакана», по Ибн Русте) русов, позволяет говорить о возникновении здесь протогосударства.

В жизни Северо-Запада Восточной Европы IX в., таким образом, с отчетливостью вырисовывается главенствующая и организующая роль торговли по Балтийско-Волжскому пути (Mühle, 1991). Разветвленная сеть рек, впадающих в Ладожское и Ильменское озера и в Волгу, образовала широкую зону, связанную с функционированием пути. Наряду с центральными торгово-ремесленными поселениями в узловых местах пути в этой зоне возникает и множество более мелких поселений, жизнь на которых сопряжена с обслуживанием пути, поставками продовольствия и товаров (пушнины, воска, меда) в более крупные центры (Носов, Горюнова, Плохов, 2005). Археологически зону Балтийско-Волжского пути маркируют скандинавские древности, концентрирующиеся в крупнейших центрах и представленные в небольших количествах в более мелких[12].

Функционирование трансконтинентального торгового пути имело, по меньшей мере, два серьезных последствия для местных племенных обществ. Путь, точнее, богатства, проходившие по нему, привлекали племенную верхушку и вовлекали ее в торговую деятельность и ее обеспечение. Материалы как торгово-ремесленных поселений, так и некрополей около них свидетельствуют об их полиэтничном характере: скандинавы составляли лишь часть, причем не слишком большую, населения. Существует лишь один собственно «скандинавский» могильник в Восточной Европе – в урочище Плакун напротив Ладоги. Все остальные обнаруживают смешение северных и местных погребальных традиций.

Доступ к дальней торговле стимулировал ускоренное социальное развитие тех племен (или части племен), которые жили в зоне торгового пути: участие в торговле, прежде всего, поставка товаров, усиливало имущественное расслоение, выделение и обособление знати, наконец, обусловливало близость ее интересов к интересам скандинавов в создании благоприятных условий для торговли, во включении в торговую деятельность и получении максимальной прибыли при использовании местных ресурсов. Более того, именно местная знать имела наиболее естественный и легкий доступ к этим ресурсам.

Обеспечение безопасности плаваний по реками, особенно в местах, сложных для навигации (пороги, отмели и т. п.), или волоков, и торговой деятельности, равно как создание инфраструктуры пути, в первую очередь стоянок для ремонта судов, пополнения припасов и, по возможности, получения новых товаров, являлось первоочередной задачей, без решения которой нормальное функционирование пути было бы невозможно. Именно эту задачу и решали скандинавские вожди, установившие в IX в. более или менее устойчивые связи с племенными элитами этого региона: отголоском этих связей является сообщение Повести временных лет о дани, которую взимали с местных племен «варяги-находники» (ПВЛ. С. 12). Не случайно поэтому оформление государственных начал на Северо-Западе летописец связал именно с варягами, использовав в качестве этиологического предания о происхождении древнерусской правящей династии местное «Сказание о призвании варяжских князей». «Вокняжение» Рюрика, предводителя одного из многих викингских отрядов (в результате соглашения с местной знатью или путем захвата власти) стало итогом столетнего, по меньшей мере, функ-

ционирования трансконтинентального пути, соединившего Восток и Запад.

Перенос центра тяжести из Ладожско-Ильменского региона в Среднее Поволжье в конце IX–X в. был обусловлен изменением геополитической ситуации на юге Восточной Европы. Усиление Хазарского каганата, стремившегося монополизировать торговлю по Балтийско-Волжскому пути и чинившего препятствия прямым связям между Балтикой и Востоком, вызвало освоение Днепровского пути, открывавшего доступ в Византию и на Передний Восток. Формирование Балтийско-Днепровской магистрали («Пути из варяг в греки») завершается в последней четверти IX в., однако уже с середины этого столетия начинаются попытки скандинавов установить контроль над крупнейшим центром Поднепровья – Киевом и использовать его как опорный пункт для плаваний в Византию: об этом свидетельствует рассказ «Повести временных лет» об утверждении в Киеве «варягов» Аскольда и Дира (ПВЛ. С. 13) и надежно документированный византийскими источниками поход «росов» на Константинополь 860 г. (Кузенков, 2003). Маршрут по Днепру, с одной стороны, был значительно короче, нежели по Волге, с другой – он открывал доступ к богатейшим рынкам восточного Средиземноморья. Укрепившаяся в конце IX в. в Киеве военная элита, получившая название «русь», сосредоточила контроль над всей основной системой коммуникаций Восточной Европы: от ее начала на Ладожском озере до Средней Волги на востоке и Среднего Поднепровья на юге, и широко использовала это преимущество: ее экономика была по-прежнему ориентирована на внешнюю торговлю, теперь уже с Византией. Средства же для участия в ней собирались в виде даней с постепенно подчиняемых Киеву славянских племен или племенных объединений («княжений»).

Формирование единого Древнерусского государства в конце IX в., как ранее возникновение раннегосударственного образования в Ладожско-Ильменском регионе, явилось, таким образом, результатом геоэкономических и геополитических процессов, охвативших практически всю Европу и Ближний Восток в VIII–X вв.

Список литературы

Давидан О. И. Гребни Старой Ладоги // Археологический сборник Государственного Эрмитажа. 1962. Вып. 4. С. 103–108.

Джаксон Т. Н. Ориентационные принципы организации пространства в картине мира средневекового скандинава // Одиссей: Человек в истории. 1994: Картина мира в народном и ученом сознании. М., 1994. С. 54–64.

Древнейшие государства Восточной Европы. 2009 год. Трансконтинентальные и локальные пути как социокультурный феномен. М., 2010.

Древняя Русь в свете зарубежных источников. М., 2010. Т. III. Восточные источники / сост. Т. М. Калинина, И. Г. Коновалова.

Дубов И. В. Великий Волжский путь. Л., 1989.

Калинина Т. М. Восточные источники о древнерусской государственности (к статье: Цукерман К. Два этапа формирования Древнерусского государства) // Славяноведение. 2003. № 2. С. 15–19.

Кирпичников А. Н. Раннесредневековая Ладога // Средневековая Ладога (итоги археологических исследований). Л., 1985. С. 3–26.

Кирпичников А. Н., Сарабьянов В. Д. Старая Ладога – древняя столица Руси. СПб., 2003.

Кузенков П. В. Поход 860 г. на Константинополь и первое крещение Руси в средневековых письменных источниках // Древнейшие государства Восточной Европы. 2000 год. М., 2003. С. 5–172.

Кулаков В. И. Древности пруссов VI–XIII вв. М., 1990.

Массон В. М. Северный центр восточнославянской цивилизации в балтийском контексте // Современность и археология. СПб., 1997. С. 34–37.

Мельникова Е. А. Балтийская система коммуникаций в I тысячелетии н. э. // Древнейшие государства Восточной Европы. 2009 год. Трансконтинентальные и локальные пути как социокультурный феномен. М., 2010 б. С. 43–57.

Мельникова Е. А. Возникновение Древнерусского государства и скандинавские политические образования в Западной Европе: сравнительно-типологический аспект // Сложение русской государственности в контексте раннесредневековой истории Старого Света. СПб., 2009. С. 89–100.

Мельникова Е. А. Пространственная ориентация в «Повести временных лет» // Древнейшие государства Восточной Европы. 2006 г. Пространство и время в средневековых текстах. М., 2010 в. С. 73–94.

Мельникова Е. А. Пути в структуре ментальной карты составителя «Повести временных лет» // Древнейшие государства Восточной Европы. 2009 год. Трансконтинентальные и локальные пути как социокультурный феномен. М., 2010 а. С. 318–344.

Мельникова Е. А. Вступление норманнов в дипломатические отношения с Франкской империей // Historia animata. Памяти О. И. Варьяш. М., 2004. Ч. 3. С. 22–38.

Мельникова Е. А. К типологии предгосударственных и раннегосударственных образований в Северной и Северо-Восточной Европе. Постановка проблемы // Древнейшие государства Восточной Европы. 1992–1993 годы. М., 1995. С. 16–32.

Мельникова Е. А., Петрухин В. Я. Легенда о призвании варягов и становление древнерусской историографии // Вопросы истории. 1995. № 2. С. 44–57.

[Назаренко А. В.] Бертинские анналы // Древняя Русь в свете зарубежных источников. Хрестоматия. М., 2010. Т. 5 / сост. А. В. Назаренко. С. 17–21.

Носов Е. Н., Горюнова В. М., Плохов А. В. Городище под Новгородом и поселения северного Приильменья. СПб., 2005.

ПВЛ – Повесть временных лет / подгот. текста, пер., ст. и коммент. Д. С. Лихачева, М. Б. Свердлова; отв. ред. В. П. Адрианова-Перетц. 2-е изд., испр. и доп. СПб., 1996.

Потин В. Н. Русско-скандинавские связи по нумизматическим данным IX–XII вв. // Исторические связи Скандинавии и России. IX–XX вв. Сб. ст. Л., 1970. С. 64–80.

[Римберт]. Из «Жития святого Ансгария» / Пер. В. В. Рыбакова // Из ранней истории шведского народа и государства: первые описания и законы / отв. ред. А. А. Сванидзе. М., 1999. С. 21–56.

Седов В. В. Балты // Финно-угры и балты в эпоху Средневековья / отв. ред. В. В. Седов. М., 1987.

Славяне и скандинавы / пер. на русск. язык Г. С. Лебедева; под ред. Е. А. Мельниковой. М., 1985.

Удальцова З. В., Щапов Я. Н., Гутнова Е. В., Новосельцев А. П. Древняя Русь – зона встречи цивилизаций // Вопросы истории. 1980. № 7. С. 41–60.

Херрман Й. Ободриты, лютичи, руяне // Славяне и скандинавы. М., 1985. С. 338–359.

Цукерман К. Два этапа формирования древнерусского государства // Археологія. Киев, 2003. № 1. С. 76–94.

Янин В. Л. У истоков новгородской государственности. Великий Новгород, 2001.

Янин В. Л., Гайдуков П. Г. Новгородский клад западноевропейских и византийских монет конца X – первой половины XI в. // Древнейшие государства Восточной Европы. 1994 год. Новое в нумизматике. М., 1996. С. 151–170.

Bolin S. Mohammed, Charlemagne and Ruric // Scandinavian Economic History Review. 1953. Vol. 1. P. 5–39.

Callmer J. Verbindungen zwischen Ostskandinavien, Finnland und Baltikum vor der Wikingerzeit und das Rus'-Problem // Jahrbuch für Geschichte Osteuropas. 1986. Bd. 34. S. 357–369.

Duczko W. Viking Age Scandinavia and Islam. An Archaeologist's View // Byzantium and Islam in Scandinavia / Ed. E. Piltz. Jonsered, 1998. P. 110–111.

Excavations at Helgö. Stockholm, 1961–1986. B. 1–10.

Filipowiak W. Die Bedeutung Wolins im Ostseehandel // Society and Trade in the Baltic during the Viking Age / Ed. S.-U. Lindquist. Visby, 1985. S. 121–138.

From Viking to Crusader: Scandinavia and Europe 800–1200 / ed. E. Roesdahl and D. M. Wilson. Uddevalla, 1992.

Grierson Ph. Commerce in the Dark Ages: a Critique of the Evidence // Transactions of the Royal Historical Society. 5th ser. 1959. Vol. 9. P. 123–140.

Hansen H. J. Dankirke. Jernalderboplads og rigdomscenter // Kuml. 1989. B. 1987–1988. S. 201–240.

Hill D., Metcalf D. M. Sceattas in England and on the Continent. Oxford, 1984.

Hodges R. Dark Age Economics. The Origins of Towns and Trade AD 600–1000. L., 1982. P. 29–39.

Hodges R., Whitehouse D. Mohammed, Charlemagne and the Origins of Europe: Archaeology and the Pirenne Thesis. London, 1983 (2nd ed. 1989).

Jankuhn H. Der fränkisch-friesische Handel zur Ostsee im frühen Mittelalter // Vierteljahresschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. 1953. Bd. 40. S. 193–243.

Jankuhn H. Haithabu. Ein Handelsplatz der Wikingerzeit. 8 Aufl. Neumümster, 1986.

Jankuhn H. Karl der Grosse und der Norden // Karl der Große: Lebenswerk und Nachleben. Düsseldorf, 1967. Bd. 1: Persönlichkeit und Geschichte. 3. Auflage. S. 699–707.

Jellema D. Frisian Trade in the Dark Ages // Speculum. 1955. Vol. 30. P. 15–36.

Jensen J.S. & Kromann A. Cufic Coins in Denmark // Byzantium and Islam in Scandinavia / ed. E. Piltz. Jonsered, 1998. P. 71–76.

Jensen S. The Vikings of Ribe. Ribe, 1991.

Kivikoski E. Svenskar i österled under 500-talet // Finskt Museum. Helsingfors, 1939. S. 1–11.

Lane-Poole S. Catalogue of Oriental Coins in the British Museum. London, 1875–1890. Vol. I–X.

Lebecq S. The Frisian Trade in the Dark Ages: a Frisian or a Frankish/Frisian Trade? // Rotterdam Papers. Rotterdam, 1992. Vol. VII / ed. A. Carmiggelt. P. 7–15.

Ljungkvist J. Continental Imports in Scandinavia: Patterns and Changes between AD 400 and 800 // Foreigners in Early Medieval Europe. Thirteen International Studies on Early Medieval Mobility / ed. D. Quast. Mainz, 2009. P. 34, 36, 37;

McCormick M. Origins of the European Economy. Communications and Commerce AD 300–900. New York, 2001.

Mühle E. Die städtischen Handelszentrum der nordwestlichen Rus': Anfänge und frühe Entwicklung altrussischer Städte. Stuttgart, 1991.

Nerman B. Grobin-Seeburg. Ausgrabungen und Funde. Stockholm, 1958.

Nielsen P. O., Randsborg K., Thrane H. Archaeology of Gudme and Lundeborg. Copenhagen, 1994.

Noonan Th. Ninth-Century Dirham Hoards from European Russia: A Preliminary Analysis // Noonan Th. The Islamic World, Russia and the Vikings, 750–900. Aldershot, 1998. P. 47–117.

Noonan Th. Why the Vikings First Came to Russia // Jahrbuch für Geschichte Osteuropas. 1986. Bd. 34. P. 321–348.

Pirenne A. Mohammed and Charlemagne / transl. by Bernard Miall. L., 1939.

Ramskou Th. Lindholm Høje. Copenhagen, 1960.

Sperber E. Balances, Weights and Weighing in Ancient and Medieval Sweden. Stockholm, 1996.

Stenberger M. Die Schatzfunde Gotlands der Wikingerzeit. Stockholm, 1947–1958. B. 1–2.

The Rebirth of Towns in the West, A. D. 700–1050 / ed. R. Hodges, B. Hobley. L., 1988.

Untersuchungen zu Handel und Verkehr der vor- und frühgeschichtlichen Zeit in Mittel- und Nordeuropa / hrsg. K. Düwel et al. Göttingen, 1985. Bd. III. Der Handel des frühen Mittelalters.

Verhulst A. E. The Rise of Cities in North-Western Europe. Cambridge University Press, 1999.

Wikinger und Slawen / hrsg. von J. Herrmann. B., 1982.

Willemsen A. Dorestad. Een wereldstad in de middeleeuwen. Zutphen, 2009.

Zuckerman C. Deux étapes de la formation de l'ancien état russe // Les Centres proto-urbains russes entre Scandinavie, Byzance et Orient. Actes du Colloque International tenu au Collége de France en octobre 1997 / ed. M. Kazanski, A. Nercessian, C. Zuckerman. P., 2000. P. 95–120.

Примечания

1 Одним из немногих обращений к историческому контексту возникновения Древнерусского государства были работы о становлении предгосударственного образования на северо-западе Восточной Европы (в Волховско-Ильменском регионе) как проявлении процессов, охвативших в VIII–X вв. весь Балтийский регион: (Wikinger und Slawen; Славяне и скандинавы; Мельникова, 1995; Мельникова, 2009).

2 Достаточно напомнить, что у скандинавских племен, также развивавшихся без тесных контактов с античной цивилизацией, резкое социальное расслоение существовало еще в эпоху бронзы (1500–500 гг. до н. э.), но первые раннегосударственные образования относятся ко времени не ранее VIII в. (в Дании), а раннесредневековые государства возникают во второй половине X – первой половине XI в.

3 Название «Волошьская земля» происходит от этнонима «волъхва», сопоставимого с наименованием кельтского племени *вольки*, средневековое *valli* «валлоны», совр. *Walonreye* «Валлония»; соответствует др.-сканд. *vallir* и *Valland* – Нормандия и/или земли вдоль юго-восточного побережья Северного моря.

4 В «Сказании о призвании варягов» к ним также отнесены англичане (ПВЛ. С. 13).

5 В представлениях летописца, «предел Симов» начинался в низовьях Волги (ПВЛ. С. 7). См. подробнее: Мельникова, 2010 а. С. 332).

6 Отдельные, нерегулярные контакты с Восточно-прибалтийскими землями существовали с рубежа н. э., но лишь с этого времени они приобретают устойчивый характер.

7 Почти все арабские монеты, найденные в Дании, Норвегии и Исландии, чеканены в Средней Азии и нередко сочетаются с восточноевропейскими импортами, что безусловно указывает на их поступление через Восточную Европу.

8 Каталог арабских монет из собрания Британского музея (часть из них могла попасть в Англию западным путем) см.: Lane-Poole, 1875–1890. С деятельностью викингов определенно связан клад ок. 905 г., найденный в 1820 г. в Cuerdale (Ланкашир) и состоявший из 7500 монет, среди которых англо-саксонские, континентальные, арабские и около 100 фрагментов серебряных украшений (рубленое серебро), слитки, украшения общим весом ок. 40 кг. Клад попал в Англию из Ирландии после изгнания викингов из Дублина в 902 г. на их пути в Йорк (From Viking to Crusader. P. 323, № 361).

9 См. каталог исламских монет в кн.: McCormick, 2001.

10 Наименования «видов русов» сопоставляются с политическими образованиями: «Славия» (от этнонима «словене») в Волховско-Ильменском регионе, «Куявия» (от ойконима «Киев») – в Среднем Поднепровье и «Арса» (если принимать ее отождествление с позднейшим названием города Ростов), – вероятно, в Волго-Окском междуречье. Согласно «Повести временных лет», Киевскому государству предшествовали два независимых политических образования (в современной отечественной терминологии – «союзы племен», «племенные княжения», «славинии»): в Волховско-Ильменском регионе и в Среднем Поднепровье. Возникновение первого летописец связывает с местными славянскими и финскими племенами и деятельностью варягов («сказание о призвании варягов»), второго – со среднеднепровскими полянами («легенда о Кие»).

11 Косвенным, но чрезвычайно важным подтверждением правовой регламентации общественной жизни в регионе, и не только в сфере торговли, видимо, может служить само заключение местной знатью ряда-договора с варягами; более того, отразившиеся в «Сказании о призвании варягов» условия ряда указывают на высокий уровень правовой деятельности, охватывавший различные сферы жизни (см.: Мельникова, Петрухин, 1995).

12 Отсутствие карт распространения скандинавских древностей на территории Руси не позволяет сколько-нибудь точно очертить эту зону.

Д. В. Лисейцев

К ХАРАКТЕРИСТИКЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ МОСКОВСКОГО ЦАРСТВА В XVI–XVII вв.

Обобщенная схема исторического пути, пройденного Россией за XVI–XVII вв., хорошо знакома каждому ученому-историку. Преодолевшая к концу XV в. феодальную (или политическую – акценты могут варьироваться) раздробленность, централизованная Русь объединилась под властью Москвы и обрела независимость от Орды. XVI столетие прошло в России в борьбе великих князей и царей с «боярским сепаратизмом». Укреплению абсолютистских тенденций способствовало складывание в стране органов сословно-представительской власти и зарождение приказной бюрократии. После потрясений Смутного времени магистральная линия российской истории – формирование абсолютизма – получила свое продолжение. Однако в XVII столетии силы, ранее способствовавшие укреплению власти царей, стали препятствовать оформлению абсолютизма. Поэтому в затухании соборной практики в XVII в. принято видеть свидетельство укрепления абсолютизма, а приказы перестали отвечать его потребностям.

Изложенная выше схема кажется полностью логичной лишь на первый взгляд. С позиции этой схемы исторический путь России в XVI в. вполне схож с процессами, протекавшими синхронно в ряде европейских государств; он даже описывается теми же терминами. Однако едва речь заходит о XVII в., как Московская Русь внезапно оказывается на обочине цивилизованной Европы, становится отсталой полуварварской страной. Вывести ее из этого унизительного состояния оказалось возможным лишь путем полного сноса ее государственных структур и замены их рационально, по-европейски построенными властными органами. Налицо определенный сбой в логике, который весьма сложно объяснить с позиций традиционной историографической схемы.

Не последней причиной тому стало то, что отечественная историография оказалась в плену штампов, выработанных основоположниками западнического направления в исторической науке, проходившего становление в середине XIX в. Являясь выразителями чаяний известной части российской интеллигенции дореформенного периода, основоположники западничества приветствовали любые преобразования. Прославляя решимость Петра I идти путем радикальной ломки здания российской государственности, они одновременно критиковали те порядки, борцом против которых выступил царь-реформатор. Государственное устройство Московской Руси в такой обстановке было обречено выступить символом мракобесия и беспорядочности, прямой противоположностью рациональному, правильному и регулярному порядку управления в странах «просвещенного Запада».

Впрочем, в западнических рассуждениях о допетровской Руси выделяются два направления, которые, сходясь между собой в принципиальных вопросах, имели расхождения в частностях. Представители первого направления высказывали горестные сожаления о темноте и варварстве, господствовавших в Московской Руси до Петра I. Приведу несколько характерных высказываний. Например, в статье, опубликованной в 1855 г. в «Московских ведомостях», допетровской Руси отказывалось в праве именоваться государством: «Если мы видим в то время некоторые проблески государственной жизни, то это были только слабые зародыши того, что впоследствии совершено Петром Великим. Там, где существует кормление, ...где чиновник управляет государственными делами посредством своей прислуги, где вверенные управлению люди работают на своих правителей как на господ, – там, конечно, не может быть и речи о государстве» (Панов, 1855. С. 137). Несколько осторожнее в формулировках оказался патриарх западничества Б. Н. Чичерин, но и он не преминул охарактеризовать допетровскую эпоху «младенческой»: «Мы не можем требовать от эпохи младенческой, чтоб она носила на себе характер эпохи более зрелой и развитой... только беспорядок, господствовавший в администрации XVII века даст нам смысл преобразований Петра Великого» (Чичерин, 1856. С. I–II). Другой представитель этого направления, И. Е. Андреевский, отказывал Московскому государству в иных мотивациях деятельности, кроме фискального интереса: «Со вступления на престол императора Петра I правительственная жизнь России совершенно изменяется: цели и стремления направлены не к финансовым только расчетам, но к доставлению подданным благополучия. Преобразования Петра I, опирающиеся на неизвестные русской жизни и русским потребностям иноземные западноевропейские законодательства, стремятся коснуться всех сторон русской жизни и всюду пробудить потребности, кажущиеся преобразователю совершенно необходимыми для блага России» (Андреевский, 1864. С. 107).

Квинтэссенцией идей исследователей, отказывавших Московскому царству в праве считаться государством и не желавших замечать первые девять столетий ее истории, является работа В. Е. Романовского: «В этом периоде зарождаются государственные начала, и потому мы еще не вправе назвать его государственным, – который, строго говоря, начинается только с Петра I» (Романовский, 1897. С. 142, 154–155).

Несколько иначе смотрели на российскую государственность XVI–XVII вв. другие представители западничества. Они стремились обнаружить в допетровской Руси элементы государственных порядков, характерных и для Европы, отрицая при том наличие принципиальной специфики в развитии Московского царства. В частности, К. А. Неволин утверждал, что со времени княжения Ивана III «управление в России стало приобретать правильность, которой оно дотоле не имело» (Неволин, 1859. С. 120). В том же примерно ключе выстраивались умозаключения ряда исследователей начала XX в.: «Заведывание известным делом или кругом дел, сосредоточенное на более или менее продолжительное время в руках данных лиц, создавало некоторый определенный порядок в рассмотрении и решении дел, чем и полагалось начало несовершенным учреждениям, с малоустойчивой компетенциею, с постоянно изменяющимся по воле государей составом, со смешанными функциями власти и т. д.» (Филиппов, 1914. С. 498). В возможности двигаться своим собственным путем, отличным от европейского, России отказывали. Мысль о том, что государственная власть в России могла иметь иное, вотчинное происхождение, отчего-то казалась представителям этого направления унизительной: «Самая власть князя по отношению к земле и ее населению никогда не имела вотчинного характера, а всегда была властью государственной» (Вернер, 1907–1908. С. 5). Замечу, что подобные идеи в дальнейшем оказались усвоены и советской историографией, представители которой также не желали видеть возможности формирования государственных институтов иным путем, кроме универсальной, по их мнению, марксистской схемы: «Следов влияния дворцово-вотчинного управления на зарождение государственного управления не существовало, и «вотчинная теория» происхождения государственного управления должна быть отброшена» (Чернов, 1965. С. 293).

Итоги господства либерального западничества в отечественной историографии подведены в высказывании И. Е. Забелина: «Идеального в своей истории мы не допускаем. Какие у нас идеалы, тем паче герои! Вся наша история есть темное царство невежества, варварства, суесвятства, рабства и так дальше. Лицемерить нечего: так думает великое большинство образованных русских людей» (Забелин, 1999. С. 37).

Итак, одни представители западничества обвиняли Московскую Русь в том, что она была совершенно не похожа на Европу, другие с некоторым смущением пытались сделать свою родину бедным и отсталым родственником Европы. XX столетие в этом плане привнесло в историографию истории государственного строя Московской Руси лишь одно принципиальное новшество: вместо «бедного родственника» на страницах ряда исследований Россия превращалась едва ли не в опережавшую саму Европу в деле государственного строительства страну.

При этом традиция ориентироваться на европейские образцы, подгонять отечественную историю под выработанные европейской политической наукой схемы и терминологию так и осталась доминирующей тенденцией. Именно так самодержавие русских царей првратилось под пером исследователя в абсолютизм, Земские соборы были отождествлены с европейскими парламентами, а приказные служащие заслужили право именоваться бюрократией. Однако подобного рода сопоставление вводит исследователя в «порочный круг» абстрактной логики. Отождествив Земский собор с английским парламентом, ученый неизбежно начинает их сравнивать. Обнаружив при этом значительное число отличий, исследователь вынужден констатировать, что Земский собор был неправильным парламентом, вместо того чтобы сделать вывод о том, что парламентом Земский собор вовсе не был. Сравнивая европейскую бюрократию с приказными дьяками и подьячими, историк, оказавшийся в плену западнических схем, делает вывод о слабости или неправильности русской бюрократии, повторяя тем самым 150-летней давности мысли идеологов западничества.

Подобное самобичевание, в свою очередь, создает серьезный соблазн для зарубежных исследователей выносить российской цивилизации суровые приговоры, отводя ей место за пределами Европы. Так, американский ученый Д. Островски утверждает, что русские властные институты были всего лишь копией монгольских. Признавая свои построения умозрительными, он тем не менее заявляет: «Бремя поиска доказательств ложится на тех, кто станет утверждать, что Московское княжество создало свои собственные местные учреждения, независимые от монгольского влияния» (Островски, 2001. С. 143–158). Впрочем, и в этом вопросе у западных исследователей были российские предшественники в XIX в. Аналогии государственных институтов Московского царства и Золотой орды усматривал Ф. И. Леонтович. М. Ф. Владимирский-Буданов, споря с частными положениями Леонто-

вича, поддержал его в основном выводе, написав, что «можно, пожалуй, согласиться, что из семян, заброшенных татарщиною в XIII и XIV вв., слагается вообще такой характер Московского государства, который привел и здесь к тем же явлениям, какие раньше проявились у самих татар» (Владимирский-Буданов, 1879. С. 20–21). Н. П. Лихачев не без иронии прокомментировал идеи Леонтовича, написав: «Вопрос о влияниях дело щекотливое тем более, что у нас средние мнения признаются компромиссами посредственности, не могущей сказать чего-либо нового и своего, и потому, едва дело касается иноземных влияний, приходится считаться с трудами, в которых ум и талант увлекающегося исследователя служат для оправдания предвзятой идеи» (Лихачев, 1888. С. 4–5).

Осторожное замечание, сделанное Лихачевым, к сожалению, так и осталось незамеченным. Отечественная историческая наука в вопросах изучения государственного строя Московского царства была вынуждена идти в кильватере европейской историографии, с большим или меньшим успехом находя европейские аналогии явлениям и процессам российского прошлого. В этом отношении преемницей западничества оказалась и восторжествовавшая в отечественной исторической науке XX в. марксистская схема. Претендуя на универсальность, она описывала российские исторические реалии, оперируя понятиями «феодализм», «абсолютизм», «бюрократия» и т. д. Между тем представляется, что для верного понимания истории России того периода, когда она не была еще прочно интегрирована в европейскую цивилизацию, необходимо отказаться от заимствованных теоретических схем. В России XVI–XVII вв. сформировался особый тип социальных и политических отношений, настолько отличный от присущих Европе, что западноевропейские путешественники воспринимали их как нечто совершенно чуждое Европе, а потому, разумеется, азиатское. В этом плане весьма характерно высказывание английского дипломата Дж. Флетчера, посетившего Москву в конце XVI в.: «Образ правления у них весьма похож на турецкий, которому они, по-видимому, стараются подражать... Правление у них чисто тираническое: все его действия клонятся к пользе и выгодам одного царя» (Флетчер, 1991. С. 43).

Действительно, неограниченный характер власти русских монархов в первую очередь обращал на себя внимание европейских купцов и дипломатов. Поэтому анализ особенностей российской государственности XVI–XVII вв. представляется целесообразным начать именно с характеристики верховной власти последних Рюриковичей и первых Романовых. В отечественной историографии сложилась прочная традиция определять сложившуюся к концу царствования Петра I систему власти понятием «абсолютизм», разработанным на материале западноевропейской истории. Соответственно, XVI–XVII вв. рассматриваются как своего рода предыстория абсолютизма. Обращаясь к тому или иному этапу исторического развития России, исследователи обнаруживают то моменты усиления абсолютистских тенденций, то ослабление таковых. Из наиболее значительных монографий последних лет, развивающих эту схему, назову труд П. В. Седова «Закат Московского царства». С одной стороны, ученый выступает против традиционной схемы, согласно которой на протяжении XVII в. шло неуклонное укрепление самодержавия. Автором неоднократно отмечена принципиальная неограниченность власти царя Алексея Михайловича, который мог решить любое дело «по своему произволу», которому члены Боярской думы были способны противопоставить лишь «молчаливое пассивное сопротивление». Годы правления царя Федора Алексеевича, однако, характеризуются как время ослабления самодержавия: «воцарение юного и больного преемника показало, что власть царя в конце XVII в. была основана в значительной степени на его воле и возможностях лично контролировать управление страной вплоть до частных деталей». Окончательной победе абсолютизма, согласно выводам ученого, препятствовало «отсутствие сложившихся институтов сильной самодержавной власти» – регулярной армии и бюрократического аппарата (Седов, 2006. С. 51, 135, 148, 165, 173, 213, 216, 420). В конечном итоге, выступив сначала против традиционной историографической схемы, ученый пришел к вполне традиционному выводу, определив царскую власть конца XVII в. как «самодержавие с ближними людьми и придворной знатью» (Седов, 2006. С. 284), что не может не вызвать ассоциаций с ленинским определением формы правления в Русском государстве XVII в. как «самодержавия... с Боярской думой и боярской аристократией» (Ленин, 1961. С. 346).

В любом случае, оставаясь на прежних позициях, исследователям приходится вновь и вновь перечерчивать график, на котором будут отображаться периоды взлетов и падений самодержавной власти русских монархов, вплоть до начала XVIII в., когда эту власть станет можно, наконец, с облегчением обозначить европейским термином «абсолютизм». Думается, покинуть порожденный приверженностью европоцентричной терминологии замкнутый круг можно, лишь определившись с тем, какое содержание следует вкладывать в понятие «самодержавие». Если понимать под самодержавием постоянное личное участие царя в рассмотрении всех поступающих на рассмотрение верховной власти вопросов и игнорирование мнения ближайших со-

ветников – то мы должны будем согласиться с тем, что в XVII в., в сравнении с эпохой Ивана Грозного, самодержавие ослабло. Но в этом случае мы должны будем считать самодержавие субъективным и случайным явлением в российской истории. Если же под самодержавием подразумевать отсутствие юридических ограничений царской власти, потенциальную возможность для царя поступить вопреки мнению своего окружения, то об ослаблении самодержавия говорить у нас не будет оснований. Характерно и то, что, даже при болезненных и молодых царях московское боярство не предприняло ни одной сколько-нибудь серьезной попытки упрочить свое политическое положение, защитить свой статус первых советников царя законодательно. Лишь в эпоху Смуты мы сталкиваемся с отголосками попыток ограничения царской власти: править в совете с боярами и собором клялся Василий Шуйский (однако этот его шаг вызвал серьезное недовольство все того же боярства) (Новый летописец, 1998. С. 308–309). Похожие мотивы звучали в договорах об избрании на престол польского королевича Владислава. Можно видеть в этом, вслед за американским историком Р. Крамми, первый в России конституционный проект, но более близкой к реальности представляется точка зрения С. Ф. Платонова, отметившего «национально-консервативный характер» договоров, главной целью которых было обезопасить политическую систему от неограниченной власти иноземного и иноверного монарха (Крамми, 2001. С. 240–258; Платонов, 1937. С. 323–324).

В определенном плане вопрос о времени оформления самодержавия лишен смысла – оно существовало в Московском государстве изначально: государь «сам держал» свою вотчину и потому уже мог считаться самодержцем. Вотчинный характер власти московских государей неоднократно подчеркивался историками XIX в., в том числе и последователями западнического направления (для которых тезис о вотчинном происхождении российской государственности являлся лишним доказательством отсталости России). Пожалуй, наиболее емко об этой особенности устройства властных структур на Руси написал В. О. Ключевский, заметивший: «Князь удельного времени был государь с правами верховной власти... Но управление в княжестве того времени складывалось по типу частной привилегированной вотчины и заимствовало формы из круга частных юридических отношений. Такой политический акт, как передача княжества наследникам, совершался посредством духовной грамоты, по форме сходной с завещанием частного лица» (Ключевский, 1919. С.137).

Подобное отношение к собственной власти весьма характерно для московских великих князей. Известны слова Ивана III, сказанные им в связи с передачей престола наследнику: «Разве я не волен в своем внуке и в своих детях? Кому хочу, тому и дам княжение» (Соловьев, 1989. С. 335). С этими словами перекликается сформулированный Иваном Грозным принцип отношения к царской власти: «Жаловати своих холопей вольны, а и казнити вольны же». Подобная ситуация характерна для всего московского периода российской истории. То, что мы нередко именуем укреплением или ослаблением «абсолютистских тенденций», во многом объясняется лишь особенностями темперамента и личными способностями очередного монарха.

Интересно, что следы вотчинного взгляда на государство и государственную власть еще весьма заметны в языках славянских народов, и более всего – в русском. Характерно, что в русском языке для обозначения страны, державы и сегодня употребляется слово «государство», являющееся производным от слова «государь» [равно как слова «королевство», «царство», «княжество»; ср. kingdom (англ.), royaume (фр.)]. Современные обозначения государства в основных европейских языках имеют иное происхождение: state (англ.), l'Etat (фр.), Staat (нем.) – слова, имеющие значение «состояние», «штат», «распорядок». Но не менее интересные результаты дает сопоставление слов, которыми определяются понятия «власть» и «собственность». Нетрудно заметить, что существительное «власть» и глагол «владеть» в русском языке имеют общий корень. Равным образом в других славянских языках этимологическая связь между словами, обозначающими эти понятия, весьма заметна. Так, в белорусском языке власть обозначается словом «ўлада», собственность – «ўласнасць»; в украинском языке власть звучит как «влада», собственность, соответственно, «власність». Следы отождествления власти с владением, собственностью обнаруживаются и в польском языке, в котором слово «собственный» звучит как «własny». Если в славянских языках слово «власть» созвучна владению, то в западноевропейских языках она оказывается синонимична словам «возможность», «способность» – «the power» (англ.), «le pouvoir» (фр.).

Не следует, однако, думать, что московские государи и их подданные чужды были представлениям о своей вотчине как о государстве. Важным свидетельством разграничения в сознании русских монархов понятий о своем царстве как о государстве и о вотчине является регулярно встречающаяся в источниках формула «для своих государевых и земских дел».

На протяжении длительного времени в сознании русских людей государство идентифицировалось с государем, а государственные дела и интересы – с государевыми. Подобная особенность восприятия

государственной власти нашла свое отражение в дипломатической документации: отправляя за рубеж своего представителя, дипломатическое ведомство предписывало ему делать именно «государево» дело (например: «для твоего, государева... великого тайново дела»; «чтоб государеву делу порухи не было»; «а как у него в Нагаех учнет государево дело делатись...») [РГАДА. Ф. 52. «Сношения России с Грецией». Оп. 1. Д. 1. (1604 г.). Л. 5; Ф. 123. «Сношения России с Крымом». Оп. 1. Д. 2. (1607 г.). Л. 37; Ф. 127. «Сношения России с ногайскими татарами». Оп. 1. Д. 1. (1610 г.). Л. 29]. С начала XVII в. в некоторых официальных документах встречается формула «земское дело»; первые бесспорные случаи употребления подобного оборота относятся ко времени царствования Бориса Годунова. Спустя несколько лет выражение «земское дело» проникает на страницы дипломатической документации: в 1607 г. отправленный в Крым гонец имел инструкцию действовать так, «чтоб за тем государеву делу и земскому порухи не было» [РГАДА. Ф. 123. Оп. 1. Д. 2. (1607 г.). Л. 2]. Оборот «земское дело» использовался и в период «междуцарствия»: в грамоте, адресованной в ноябре 1610 г. польскому королю Сигизмунду и принцу Владиславу, руководители новгородской администрации сообщали, что они отправились на службу «для ваших государских и земских всяких дел». Год спустя, в октябре 1611 г. в грамоте от бояр к Сигизмунду III сообщалось, что руководители I Ополчения «вашему государскому и земскому делу поруху учинили» (РГАДА. Ф. 79. «Сношения России с Польшей». Оп. 2. Д. 14. Л. 1; Д. 25. Л. 1).

Подобная же терминология продолжала использоваться в первые годы царствования Михаила Романова. Замечу, что оборот «земские дела» наиболее активно употреблялся в периоды, когда положение правительства было непрочным. Словосочетание «земские дела» интенсивно использовалось в 1613–1614 гг., когда царь Михаил только утверждался на престоле. В документах этих лет часто встречаем формулировки вроде «для своего государева и земского дела»; «государевым и земским делом промышляти»; «нашему и земскому великому делу учинили мотчанья»; «как бы государьскому и земскому делу было прибыльнее»; «не радея о нашем и о земском деле» [РГАДА. Ф. 32. «Сношения России с Австрией и Германской империей». Оп. 1. Д. 1. (1613 г.). Л. 1; Ф. 53. «Сношения России с Данией». Оп. 1. Кн. 3. Л. 236; Ф. 77. «Сношения России с Персией». Оп. 1. Д. 1. (1613 г.). Л. 19; Ф. 123. Оп. 1. Д. 1. (1613 г.). Л. 66; Д. 2. (1614 г.). Л. 220]. В 1615–1616 гг. положение правительства Михаила Романова стабилизировалось, и оборот «земские дела» практически исчез из употребления. О «земских делах» вновь стали упоминать в официальных документах в 1617–1618 гг., когда положение московского правительства вновь стало тяжелым в связи с начавшимся в 1617 г. походом королевича Владислава на Москву [РГАДА. Ф. 35. «Сношения России с Англией». Оп. 1. Кн. 6. Л. 3 об. – 4; Ф. 89. «Сношения России с Турцией». Оп. 1. Д. 1. (1616 г.). Л. 105; Ф. 127. Оп. 1. Д. 2. (1618 г.). Л. 37; Д. 3. (1618 г.). Л. 32]. После заключения Деулинского перемирия с Речью Посполитой оборот «земские дела» был вновь вытеснен «государьскими делами».

В годы Смуты в документах появляется еще один оборот, который мог бы позволить предположить факт постепенного разрушения традиции идентификации государства исключительно с государем. Наряду с оборотом «государевы и земские дела» в делопроизводстве дипломатического ведомства стало употребляться понятие «государственные дела». В сентябре 1614 г. вернувшийся из Дании посланник оставил документацию посольства в Ярославле, «потому что, государь, было ...с такими государственными делами за злым воровским проездом проехать не мочно» [РГАДА. Ф. 53. Оп. 1. Д. 1. (1613 г.). Л. 163–164]. Однако полного разграничения понятий «государево» и «государственное» в XVII в. не произошло: в документации по связям России с Турцией в 1616–1617 гг., при описании отправленных к султану грамот упоминается «печать... большая государственная с полными титлы», «печать большая ж царственная»; там же говорится о «наших государственных и земских делах» [РГАДА. Ф. 89. Оп. 1. Д. 1. (1616 г.). Л. 17, 54, 57 об., 104]. Употребление в связке понятий «государственное» и «земское» позволяет предположить, что термин «государственное» в данном случае был употреблен в качестве синонима понятия «государево».

Отмеченное выше употребление в деловом языке XVII в. оборота «земские дела» заставляет высказать и некоторые соображения относительно другого феномена российской государственности этого периода – Земских соборах. Стремление исследователей любому явлению в историческом прошлом России найти аналог в западноевропейской истории привело к тому, что Земские соборы стали сравнивать с английским парламентом, французскими Генеральными Штатами или испанскими кортесами. Проведение этой аналогии делает как будто обоснованным определение Земских соборов как органа сословно-представительской власти, а Московской Руси – как сословно-представительской монархии. Между тем нельзя не заметить, что сходство русских соборов с европейскими сословно-представительскими органами весьма иллюзорно. Решения Земского собора не носили для царя обязательного характера, что постоянно оговаривалось

в стандартной формуле соборного приговора («как ты, великий государь, укажешь, так мы, холопы твои, приговорим»). Даже в период расцвета соборной практики правительство часто действовало наперекор мнению собора (например, в вопросе о введении пятин и десятин в период выхода из Смутного времени). Правовой статус Земского собора нигде не был определен, отсутствовали и четко оговоренные нормы представительства на соборе. Обыкновенно правительство распоряжалось прислать на собор «человека по три, и по четыре, и по пять». Наконец, Земские соборы не ограничивали монархическую власть, а, напротив, укрепляли ее.

Кажется, принципиально важным обратить внимание на одно обстоятельство, которое исследователями соборной практики игнорируется. Соборы XVI–XVII вв. именовались именно земскими, но никак не сословными или чиновными. Собор выражал мнение «земель» – областей и городов, а не сословий. Помимо Освященного собора и Боярской думы, в его состав входили представители городов, в массе своей – из служилого сословия. Участие купечества, посадских людей, крестьянства было необязательным и довольно редким.

Еще одной важной особенностью Земских соборов является их экстраординарность. Это был чрезвычайный орган власти, собиравшийся лишь в случае крайней необходимости, когда верховная власть чувствовала себя не вполне уверенно и желала придать своим действиям видимость всенародного одобрения. Но при этом подданные московских царей были убеждены, что принятие важнейших решений должно происходить «с совету всей земли». Экстраординарные ситуации требовали созыва экстраординарного властного органа. Не вызывало сомнений, например, что избрание нового государя по пресечении старой династии должно происходить не в узком кругу бояр, а на соборе. Именно нарушение этого принципа сделало крайне непопулярным Василия Шуйского.

Отдельно необходимо проанализировать вопрос об учреждениях центральной власти Московского царства – приказах. Им в европеизированной версии отечественной истории XVI–XVII вв. пришлось занять место зарождающейся бюрократической системы. Однако уже анализ начальной фазы генезиса приказной системы позволяет усомниться в бюрократичности приказов. Истоки приказной системы управления лежали вовсе не в великокняжеской Казне (которой, впрочем, тоже без достаточных оснований, приписывалась бюрократичность в противопоставление сугубо вотчинному Дворцу), а именно в системе органов дворцового управления. Ямские дьяки, которые первыми начинают упоминаться в памятниках московского делопроизводства с 70-х гг. XV в., несли службу не в ведомстве казначеев, а находились в подчинении дворецких, являясь дворцовыми дьяками (Лисейцев, 2009. С. 163–170). В основе приказного строя, как и в фундаменте всей системы власти Московского царства, лежали все те же вотчинные начала.

Замечу, что сам термин «бюрократия» имеет позднее происхождение и вошел в употребление только в середине XIX в. Весьма скоро данное понятие оказалось перенесено на реалии российской истории. Так, уже В. О. Ключевский не сомневался в возможности говорить о дьяках как о бюрократах: «...толпа дьяков в Боярской думе была выразительным признаком превращения аристократического совета в бюрократическое учреждение» (Ключевский, 1919. С. 338). Как правило, приказной или служилой бюрократией именуют московских дьяков и современные исследователи (Ерошкин, 1997. С. 61; Демидова, 1987; Павлов, 1988. С. 187–227; Рыбалко, 2011). Представляется, однако, что достаточных оснований именовать приказных людей бюрократией у нас нет.

В современной справочной литературе под бюрократией подразумевают «особый социальный слой, которому присущи иерархичность, строгая регламентация, разделение труда и ответственности в осуществлении формализованных функций, требующих специального образования» (Всемирная история, 2003. С. 94). Таково в конечном итоге содержание понятия «бюрократия» после отделения от него эмоционального налета, связанного с негативным отношением к бюрократизму как явлению общественно-политической жизни.

Прежде всего, приходится констатировать, что приказные служащие были слишком малочисленны, чтобы их можно было считать особым социальным слоем. На начало XVII в. в центральных органах власти одновременно несло службу не более 50 дьяков; численность подчиненных им подьячих была приблизительно вдесятеро выше. В общей сложности количество служащих центральных приказов не превышало 600 человек. С учетом того, что численность населения Московского государства на начало XVII столетия составляла около 6 млн человек, получается, что один «управленец» приходился в России на 10 тыс. человек. К концу XVII в. численность населения в России увеличилась в 2,5 раза. Соответствующим образом изменилось и количество приказных служащих: боярский список 1611 г. называет имена 72 дьяков (включая и городовых дьяков); к концу столетия дьяков насчитывалось около 150 (Богоявленский, 1937. С. 228–229). Для сравнения: во Франции середины XVII в. при 18-миллионном населении насчитывалось 46 тыс. чиновников, т. е. один «управленец» приходился примерно на 400 человек. В России того же времени, даже с учетом провинциальных служа-

щих, один чиновник приходился на 2250 человек. При этом площадью Московское государство превосходило Францию примерно в 30 раз (Писарькова, 2007. С. 46).

Итак, численность приказных людей была очень небольшой и не превышала 0,01 % населения Московского государства. Кроме того, московское дьячество XVII в. неотделимо от дворянского сословия. Уже для начала XVII в. случаи привлечения представителей непривилегированных сословий на службу в приказы были редкостью. Московский дьяк XVII столетия был связан с дворянством не только приобретенным статусом, но и социальным происхождением. По определению С. К. Богоявленского, дьяки XVII в. «обладали всеми данными, чтобы упрочить свое положение в качестве высшего бюрократического слоя, но они связали свои интересы с интересами дворянства и растворились в нем» (Богоявленский, 1937. С. 239).

Служебное положение дьяка определялось несколькими слагаемыми, среди которых самым значительным было место возглавляемого им ведомства в приказной иерархии. В этом плане дьячество отчасти напоминает верхушку служилого сословия с его местническими традициями. Однако следует указать на существенную разницу. Представители высших чинов государева двора получали назначения на наиболее почетные должности в соответствии со знатностью своего происхождения. Для дьяков, напротив, служебный статус в значительной мере определялся именно занимаемым постом.

В этом плане, следуя определению бюрократа как лица, обладающего властью в силу занимаемого им места, мы могли бы назвать дьячество бюрократией. Однако отсутствие зависимости места дьяков в приказной системе от выслуги лет, их активное перемещение из приказа в приказ и, наконец, невозможность говорить о них как об отдельной социальной группе – все это не дает оснований употреблять в их отношении термин «бюрократы». Неразрывная связь с дворянством, из среды которого дьяки выходили и в которое с легкостью возвращались, дает основание считать их служилыми людьми, дворянами, назначенными на канцелярскую службу (Лисейцев, 2009. С. 547–554).

Итак, по формальным критериям приказные служащие не подпадают под классические определения «бюрократии». Тем не менее стремясь доказать «бюрократичность» российских приказов XVI–XVII вв., исследователи нередко пытаются наделить эти учреждения всеми пороками бюрократических ведомств, наиболее вопиющими среди которых выступают взяточничество, медлительность в работе, запутанность и отсутствие четкого распределения функций между приказами.

Весьма часто заявляется о пересечении функционалов приказов территориальных и отраслевых. Замечу, однако, что вплоть до 1637 г. в России существовал лишь один приказ с сугубо территориальной компетенцией – приказ Казанского дворца, из которого впоследствии был выделен Сибирский приказ. Современники вполне уверенно ориентировались в «лабиринте» приказов. Бывали случаи, когда люди обращались не в тот приказ, но их быстро направляли в нужную сторону. Так, в начале 1614 г. шацкие воеводы получили из Москвы выговор за то, что отправили отписку по дипломатическому вопросу в Разрядный приказ вместо Посольского: «И так делают молодые люди, которым наши дела не в обычай, а вам ведати то мочно... о посольских делех пишут в Посольской приказ, а в Розряд пишут о ратных делех». Но те же воеводы получили выговор и за попытку четко следовать букве закона (отказались выдать деньги из кабацких расходов без распоряжения из приказа Казанского дворца: «А которые кабаки в Шатцком уезде, и те кабаки в приказе в Казанском дворце»). В ответ им было писано: «И мимо наш указ о указе к нам писать нечево, все вам указано подлинно, то дело вам и делать, а приказов наших не розделять и не розсужать: изо всех приказов указ посылают по нашему указу» [РГАДА. Ф. 127. Оп. 1. Д. 5. (1613 г.). Л. 101–102].

Другим общим местом в исследованиях, посвященных приказному строю, стало обвинение приказных служащих в преднамеренном затягивании решения дел, т. н. московской волоките. Попытки подойти к данному вопросу непредвзято стали предприниматься в научной литературе лишь недавно. О. В. Новохатко, проанализировав деятельность Разрядного приказа в конце 70-х гг. XVII в., пришла к выводу, согласно которому скорость решения дел в Разряде зависела от степени их важности: вопросы обороны страны решались в срок от 3 до 8 дней; ответы на запросы из других приказов составлялись в течение 1–5 дней (Новохатко, 2007. С. 588–592). Достаточно оперативно решались дела и в другом ведомстве – Посольском приказе (Лисейцев, 2003. С. 283–285). Анализ документации Казенного приказа за 1617 г. позволяет установить, что выдача наград отличившимся лицам осуществлялась в этом приказе также весьма оперативно. В подавляющем большинстве случаев челобитчик получал жалованье в день обращения в приказ или на другой день. Крайне редкими были случаи, когда выдачи жалованья приходилось дожидаться более двух недель. Можно согласиться с мнением О. В. Новохатко, предположившей, что выражение «приказная волокита» «отражало опыт взаимодействия частных лиц с приказами как судебными инстанциями» (Новохатко, 2007. С. 588). Судебные

дела в приказах, действительно, могли тянуться годами, но, как правило, виновниками этого являлись сами участники судебного процесса. Следовательно, справедливым можно признать разве что обвинение приказных служащих в мздоимстве и казнокрадстве (что, однако, не дает еще основания считать их бюрократами).

Суммируя вышеизложенное, можно констатировать, что история государственного строя Московского царства XVI–XVII вв. оказалось своего рода «заложницей» сформировавшегося в середине XIX столетия западнического историографического направления. Разрабатываемая преимущественно юристами «государственной школы», история допетровской Руси подгонялась порой под довольно умозрительные теоретические схемы, которые, будучи применимы к истории западноевропейских государств, мешали пониманию специфики исторического развития России. По сути, это была попытка «измерить» Россию даже не «аршином общим», а английскими ярдами и футами. Между тем логика исторического развития допетровской Руси имела иные основания. В фундаменте российской государственности лежало отношение к государству как к вотчине, собственности московских государей, что, в свою очередь, породило особый – самодержавный – тип власти (при своеобразных взаимоотношениях государей с боярами и земством) и особые, характерные только для Российского государства властные органы – приказы.

Список литературы

Андреевский И. Е. О наместниках, воеводах и губернаторах. Рассуждение магистра государственного права Ивана Андреевского, представленное в юридический факультет Императорского Санкт-Петербургского университета для получения степени доктора государственного права. СПб., 1864.

Богоявленский С. К. Приказные дьяки XVII века // Исторические записки. Т. 1. М., 1937. С. 220–239.

Вернер И. И. О времени и причинах образования Московских приказов // Ученые записки Лицея цесаревича Николая. Вып. 1–2. М., 1907–1908.

Владимирский-Буданов М. Ф. К истории права русских инородцев. Древний монголо-калмыцкий или ойратский устав взысканий (Цааджин-Бичик) Ф. И. Леонтовича. Киев, 1879.

Всемирная история: Энциклопедия. М., 2003.

Демидова Н. Ф. Служилая бюрократия в России XVII века и ее роль в формировании абсолютизма. М., 1987.

Ерошкин Н. П. История государственных учреждений дореволюционной России. М., 1997.

Забелин И. Е. Минин и Пожарский. Прямые и кривые в Смутное время. М., 1999.

Ключевский В. О. Боярская дума древней Руси. Пг., 1919.

Крамми Р. «Конституционная реформа» в Смутное время // Американская русистика: Вехи историографии последних лет. Самара, 2001. С. 240–258.

Ленин В. И. Полное собрание сочинений. Т. 17. М., 1961.

Лисейцев Д. В. Посольский приказ в эпоху Смуты. М., 2003.

Лисейцев Д. В. Приказная система Московского государства в эпоху Смуты. М., Тула, 2009.

Лихачев Н. П. Разрядные дьяки XVI века: Опыт исторического исследования. СПб., 1888.

Неволин К. А. Образование управления в России от Иоанна III до Петра Великого // Полное собрание сочинений К. А. Неволина. Т. 6. Исследования о различных предметах законоведения. СПб., 1859.

Новохатко О. В. Разряд в 185 году. М., 2007.

Новый летописец // Хроники Смутного времени. М., 1998. С. 263–410.

Островски Д. Монгольские корни русских государственных учреждений // Американская русистика: Вехи историографии последних лет. Период Киевской и Московской Руси: Антология. Самара, 2001. С. 143–171.

Павлов А. П. Приказы и приказная бюрократия (1584–1605 гг.) // Исторические записки. Т. 116. М., 1988. С. 187–227.

Панов А. Московские приказы // Московские ведомости. 1855. № 36. С. 135–137.

Писарькова Л. Ф. Государственное управление России с конца XVII до конца XVIII века: Эволюция бюрократической системы. М., 2007.

Платонов С. Ф. Очерки по истории Смуты в Московском государстве XVI–XVII вв. (Опыт изучения общественного строя и сословных отношений в Смутное время). М., 1937.

Романовский В. Е. Государственные учреждения древней и новой России. Тифлис, 1897.

Рыбалко Н. В. Российская приказная бюрократия в Смутное время начала XVII в. М., 2011.

Седов П. В. Закат Московского царства: Царский двор конца XVII века. СПб., 2006.

Соловьев С. М. История России с древнейших времен. Т. 8. М., 1989.

Филиппов А. Н. Учебник истории русского права. Юрьев, 1914.

Флетчер Дж. О государстве Русском // Проезжая по Московии (Россия XVI–XVII веков глазами дипломатов). М., 1991. С. 25–138.

Чернов А. В. О зарождении приказного управления в процессе образования Русского централизованного государства // Труды МГИАИ, 1965. Т. 19. С. 273–293.

Чичерин Б. Н. Областные учреждения России в XVII веке. М., 1856.

Е. Н. Марасинова

ОБРАЗ САМОДЕРЖАВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЯ И НАКАЗ УЛОЖЕННОЙ КОМИССИИ (К ИСТОРИИ ПРАВОВОГО СОЗНАНИЯ РУССКОГО ОБЩЕСТВА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVIII в.)

Актуальность и продуктивность использования исследовательских приемов *исторической антропологии* давно уже признана многими специалистами. Исследование общественного сознания прошлого позволяет глубже проникнуть в текст источника и получить результаты, которые сложно было заранее спрогнозировать.

В данной статье предпринята попытка воссоздания образа самодержавного законодателя в контексте анализа такого знакового документа эпохи, как Наказ Уложенной комиссии. Данный ракурс исследования позволил в конечном итоге углубить представления о механизме и результативности действия социального контроля престола, самоидентификации власти, ценностных приоритетах и правовом сознании высшего сословия.

Политическая теория абсолютизма отличалась убежденностью в особой силе закона и регулярного государства или *благоучрежденной* монархии, призванной установить разумный миропорядок. В рассматриваемый период сложился свой идеальный образ монарха, черты которого в той или иной степени должны были воплощаться в персонах реальных правителей. Одной из наиболее ярких эталонных характеристик венценосной особы века Просвещения считался дар успешного преобразователя, приобщающегося одновременно к искусствам и рациональным знаниям[1].

Политическое мышление XVIII в. образ монарха-законодателя связывало не с безграничной властью, а с талантом верховного правителя. Еще современники главную заслугу Екатерины II видели в укреплении силы «российского главного права» и введении «непреложных законов», которые и составляют «тело государства»[2]. Высшим достижением законодательной деятельности императрицы и современники, и историографы считают Наказ, который, однако, не имел никакой юридической силы, о чем писала и сама Екатерина: «Я запретила на оный инако взирать, как единственно он есть, то есть правила, на которых основать можно мнение, но не яко закон, и для того по делам не выписывать яко закон, но мнение основать на оном дозволено» (Екатерина II, 1865. Стб. 479–489).

Пожалуй, ни одно произведение, в котором воплотилась официальная доктрина российского абсолютизма, не привлекает до сих пор такого внимания исследователей и не порождает столь противоречивые оценки, как Наказ (см. некоторые последние работы по теме: Омельченко, 1993. С. 69–102; Плавинская, 1998. С. 8–19; Вальденберг, 2006. С. 115–127; Чумакова, Златопольская, 2006. С. 109–127 и др.). Неоднозначно трактуется вся история этой знаменитой инструкции, начиная от возникновения замысла и заканчивая оценкой современников и последующим влиянием на умонастроение в России и ее имидж в глазах европейского общественного мнения.

Интерпретация мотивов создания Наказа варьируется от стремления Екатерины обосновать хотя бы декларативно легитимность своего воцарения до целенаправленной разработки основ законодательства, призванного защитить интересы высшей бюрократии и правящего аристократического слоя. В данном контексте немаловажным представляется мнение самой императрицы, которая писала: «По возшествии моем на престол, <...> вывела я у себя в уме заключение, что образ мыслей вообще да и самый гражданской закон не может получить поправления инако как установлением полезных для всех в империи живущих и для всех вообще вещей правил, мною писанных и утвержденных. И для того я начала читать, потом писать Наказ Комиссии Уложения» (Екатерина II, 1865. Стб. 479–489).

Безусловно, Екатерина осознавала не только «преимущества», но и ответственность самодержца, «законодательная власть» которого, как уже упоминалось, «существует и предохраняется ради целости Империи и безопасности Империи и каждого подданного»[3] (См. также: Наказ, 1907. С. 6–7). О высокой миссии монарха она писала, еще будучи великой княгиней: «Нужно просвещать нацию, которой должен управлять. Нужно ввести добрый порядок в государстве, поддерживать общество и заставить его соблюдать законы» (Екатерина II, 1907. С. 647).

Кроме того, она, по всей видимости, догадывалась, что подавляющее большинство представителей правящей дворянской элиты нуждается в подробных инструкциях монарха. Незадолго до начала работы над Наказом императрица в «Секретнейшем наставлении» князю Вяземскому писала о Сенате: «Раболепство персон в сих местах находящих-

ся неописанное, и добра ожидать неможно, пока сей вред не пресечется; одна форма лишь канцелярская исполняется, и обдумать еще и ныне прямо не смеют, хотя в том интерес государственный часто страждет»[4]. Можно предположить, что понимание необходимости детальных разъяснений со стороны власти еще более укрепилось в сознании императрицы после истории с Комиссией о вольности дворянской. Работа этой Комиссии, учрежденной по именному указу «О рассмотрении акта, которым император Петр III дал вольность благородному российскому дворянству, и о приведении его содержания в лучшее совершенство»[5], практически ничем не закончилась. Подискутировав о привилегиях родовой и титулованной знати, о соотношении чинов и статуса высшего сословия, авторы «Доклада о проекте права дворянского» обратились к Екатерине за дальнейшими конкретными распоряжениями: «Законы следствием должны быть тех прав, которыми Ее Величеству угодно будет пожаловать российское дворянство; не знаючи же точно самых прав, ничего за подлинно не мо<жем> принять и за основание к сочинению законов. <...> И для того <...> не соизволит ли Е. И. В. всемилостивейше определить, именно какие вольности дворянству пожалованы будут и какие отменены или вовсе уничтожены»[6] (см. также: Омельченко, 2001. С. 89, 118–137). В данном случае речь шла не о какой-то политической и даже интеллектуальной беспомощности таких образованных, амбициозных и порой критически настроенных сановников, как граф А. П. Бестужев-Рюмин, граф К. Г. Разумовский, канцлер М. И. Воронцов, Н. И. Панин, князь М. Н. Волконский и других «едких пересмешников» Екатерининского царствования. Участникам Комиссии о вольности дворянской[7] была присуща характерная для правовой культуры абсолютизма уверенность, что и инициатива реформ, и последнее слово в законе принадлежит суверену. В начале 1765 г. Екатерина уже писала д'Аламберу, что «вот уже два месяца как занята по три часа каждое утро работою над законами этой империи»[8].

Нет единства между специалистами и по поводу вопроса об источниках «Наказа», ставшего действительно выдающимся компилятивным трудом[9]. Большинство исследователей склонны буквально понимать слова из письма самой императрицы, воспроизведение которых отсутствует в редкой работе, посвященной Наказу: «Я на пользу империи обобрала президента Монтескье, не называя его. Надеюсь, что если бы он с того света увидал меня работающею, то простил бы эту литературную кражу во благо двадцати миллионов людей, которое из того последует»[10]. Обычно в число «обобранных» просветителей часто еще включают адресата этого послания д'Аламбера, а также Ч. Беккария[11] (см. об этом, например: Чечулин, 1902. С. 306–317; Тарановский, 1904. С. 44–86; Клочков, 1917. С. 3–21; Raeff, 1963. P. 77–112; Brown, P. 42–59; Омельченко, 1977. С. 5–27; Омельченко, 1993. С. 74–102; Мадариага, 2002. С. 249–268 и др.). В то же время О. А. Омельченко полагает, что Екатерина при подготовке Наказа использовала не только трактат «О духе законов» (или более точно «О разуме законов»), но и примечания к тексту Монтескье, которые были сделаны голландским издателем и мыслителем Э. Люзаком, а также работу Я. Ф. Бильфельда «Политические установления». Исследователь вообще приходит к выводу, что французские просветители оказали, прежде всего, «внешне-литературное» влияние на стиль Наказа, в то время как содержание данной законодательной программы во многом определялось идеями Лейбница и концепциями немецкого полицеизма середины XVIII столетия (Омельченко, 1993. С. 76–102). В научной литературе, однако, редко упоминается такой российский источник Наказа, как доклад основателя Московского воспитательного дома и автора концепции создания третьего чина в России И. И. Бецкого «Генеральное учреждение о воспитании обоего пола юношества», обнародованный 12 мая 1764 г. и ставший основой главы XVI «О воспитании»[12].

Весной 1766 г. сложилась окончательная структура Наказа, а к открытию Уложенной комиссии летом 1767 г. законодательный проект Екатерины был готов. Оригинальный французский текст Наказа был переведен на русский, немецкий, латинский, а также итальянский и новогреческий, и издан не менее семи раз только при жизни императрицы. Екатерина несколько раз перечитывала русский перевод и лично следила за точностью переводов на другие языки. На протяжении всей своей жизни она обращалась к тексту Наказа и постоянно вновь и вновь пыталась внести те или иные изменения в созданное ею произведение. Так, например, по свидетельству Храповицкого, в 1787 г., во время южного путешествия в Крым, Екатерина, работая над законом о поединках, заметила: «Мы сами вынули из важнейшего закона об оскорблении величества неразличие слова с преступлением, 482-я статья Наказа». Спустя месяц, уже подъезжая к Киеву, императрица принимается за сопоставление текста Наказа и работ английского правоведа Вильяма Блэкстона и поручает Храповицкому сделать необходимые выписки. Статс-секретарь тогда зафиксировал в дневнике: «Взять наказ Ком[иссии] уло[жения] для сличения с записками из Блакстона по работе о сенате. Без огня читать неможно. <...> приказано взять в дорогу. Тут все интересованы, и закон останется навеки. Я сказал: мы сохранить умеем том, счастие всех составляющий. Говорено об утверждении самодержавства, о расправной пала-

те и генеральном суде. <...> Приказано дополнить справками, по сделанным замечаниям, всю выписку из Бакстона» (Храповицкий, 1862. С. 23, 27)[13].

Несмотря на то что Наказ включает многочисленные заимствования, это самостоятельное произведение со значительными фрагментами оригинального текста, объединенное и авторской мыслью, и авторской ответственностью за содержание. В исследовательской литературе нередко утверждается, что самодержавная императрица лишь «выхолостила» идейный пафос из работ, созданных в предреволюционной Франции (см., например: Белявский, 1963. С. 44–63; Павленко, 1964. С. 389–427). Однако точнее будет сказать, что основные положения разнообразных источников этой знаменитой инструкции адаптированы к реалиям российской действительности. Так Л. В. Милов, назвавший Наказ «идейной основой позитивной модернизации России в духе “просвещенного абсолютизма”», пишет: «Автор Наказа не скрывает, что текст основан на “Духе законов”, однако <...> это не помешало <ему> провести собственную политико-правовую концепцию. <...> К числу специфических моментов исторической судьбы России Екатерина II справедливо отнесла неизбежность монархического устройства Российского государства как способа самоорганизации общества. Это и есть основной “фундаментальный закон” России, ее “вечное право”» (Милов, 2006. С. 254–256). Действительно, Екатерина до тонкостей прописала свой политический идеал державы, защищенной от внешних врагов и «внутри поддерживаемой крепкими подпорами», «при спокойном царствовании законов» и «под образом правления», утвержденного «всего народа желаниями». Однако это прекрасно организованное государственное устройство могло быть обеспечено лишь при концентрации «всей власти, обороняющей все общество, в руках Самодержца». Включив в свой Наказ обилие цитат из Монтескье и других просветителей, императрица позаботилась о том, чтобы главный пафос документа был авторским. «Государь есть самодержавный; ибо никакая другая, как только соединенная в его особе, власть не может действовать сходно со пространством толь великого государства. Пространное государство предполагает самодержавную власть в той особе, которая оным правит. <...> Всякое другое правление не только было бы России вредно, но и в конец разорительно» (Наказ, 1907. С. 62, 38, 3).

Более того, по мнению ряда исследователей, взгляд Екатерины на Монтескье как на «гения, книги которого служат для блага человечества», а для нее самой являются «молитвенником»[14], не помешал ей перерабатывать идеи просветителя и даже вступать с ним с полемику. Так, Саймон Диксон усматривает в знаменитом постулате Наказа «Россия есть европейская держава» открыто выраженное несогласие императрицы с мыслями Монтескье об «отсталости восточной деспотии», правительницей которой она являлась (Dixon, 2009. P. 171–173). В 1766 г. Екатерина писала д’Аламберу: «Два уже года мои главные занятия заключаются в переписке и оценке начал президента Монтескье. Я стараюсь понять его и зачеркиваю сегодня то, что находила вчера очень хорошим»[15].

Существующие в исследовательской литературе противоречивые и даже диаметрально противоположные оценки Наказа связаны, прежде всего, с богатством его тематики, разнообразием функций и множественностью адресатов. Инструкция Екатерины представляла собой объемистый труд, включающий 20 глав, поделенных на 526 статей, к которым прилагались «дополнительные главы к Большому наказу», состоящие из 129 статей, и «Памятная заметка о наказе». В этом произведении раскрывались принципы организации государства, роль административных механизмов, основы правовой политики, законодательства, судопроизводства, уголовного права, а также начала сословно-статусного структурирования общества. В Наказе императрица рассчитывала теоретически обосновать необходимость преобразований, дать программу правовой деятельности, подготовить «умы людские к введению лучших законов», укрепить внутренний авторитет самодержавия и одновременно свой благоприятный имидж как в просвещенной Европе, так и в глазах последующих поколений. Подобные цели, с одной стороны, потребовали от нее проигнорировать главные постулаты концепции «естественного права», а также теории происхождения государства как результата «общественного договора» о разделении функций между членами общества, и провозгласить нерушимость абсолютизма в России. С другой стороны, Екатерина должна была лишь декларативно заявить о некоторых общепризнанных гуманитарных ценностях, таких, например, как равенство всех граждан перед законом, объективно утопичных в крепостническом обществе.

Эта по-своему драматичная полифункциональность Наказа и дала основания специалистам усматривать в знаменитой инструкции и простую маскировку классовой сущности самодержавия, и воплощение реформационного курса правительства на модернизацию, и законодательную программу политического консерватизма (см., например: Butler, 1966. P. 19–21; Ransel, 1972. P. 10–28; Федосов, 1987. С. 7–20). Единственно, в чем, пожалуй, нельзя упрекнуть автора Наказа, – это в неискренности[16]. В статье 453 Екатерина сама писала: «Надлежит, чтобы в законах видно было везде чистосердечие, <...> надобно им заключать в себе великую добро-

детель и незлобие» (Наказ, 1907. С. 132). Российская «законодательница на престоле», действительно, была глубоко убеждена, что лучший способ управления державой заключается в разработке идеальной системы «правильно» составленных законов. Отсюда проистекала решающая роль не просто монарха, а «просвещенного монарха», способного одарить общество теоретическими основами для действенного законотворчества.

При этом Екатерина как опытный тактик не стала заложницей своего Наказа и не превратила государственное строительство в реализацию утопического учения. Она на протяжении всего правления лишь при необходимости актуализировала те или иные положения своей политической программы в распоряжениях и рескриптах. Так, в именном указе от 1772 г., адресованном губернаторам Псковской и Могилевской губерний, присутствовали обстоятельные ссылки на Наказ, включающие цитаты и точное перечисление статей и глав этого документа. В частности, в указе говорилось: «Мы уже единожды навсегда во всей Российской Империи области за правило постановили, что в толь великом Государстве <...> весьма бы вредный <...> был порок, запрещение, или недозволение их различных вер[17] (см. 494, 495 и 496 статьи Наказа Комиссии Уложения 1767 года). <...> ныне вам предписуем всех тех жителей, кои присягу верности учинят, оставить при всем том, что каждый правильно имеет. Мы, впрочем, ссылаемся на V главу Наказа Комиссии Уложения, которая вам довольно объяснит обширное поле сей статьи без дальнего от Нас здесь распространения»[18]. Однако в таких законодательных актах, как сенатский указ «о пребывании крестьянам у своих помещиков в должном повиновении и послушании»; именной указ, данный сенату, «о запрещении продавать с молотка людей без земли»; сенатский указ по высочайше учрежденному докладу «о зачете умерших людей в крепостных работах за рекрут при предбудущих наборах», цитаты из Наказа казались неуместными. Данные документы были лишены отвлеченных рассуждений об «общем благе» и «безопасности каждого гражданина», зачитывались «в праздничные и Воскресные дни в селах, в приходских церквах и по торжкам, чтоб никто неведением не отговаривался», и имели отнюдь не рекомендательный характер[19].

Нельзя абсолютно согласиться и с мнением специалистов о том, что «правительство широко пропагандировало» Наказ (Омельченко, 1993. С. 83). Напротив, первоначально Екатерина ограничила круг лиц, которым был доступен текст инструкции, высшим штатом коллегий. При этом нижние канцелярские чины, а также служащие губернских, провинциальных и воеводских канцелярий из списка посвященных исключались: запрещалось делать текст высочайшего проекта публичным не только для «списывания», но даже для «прочтения». Разосланные в 1767 году всего 57 экземпляров надлежало хранить строго «на судейских столах при зерцалах», т. е. рядом с символической трехгранной призмой, на стенках которой воспроизводилось лично написанное Петром I «Зерцало правосудия» (См.: Butler, 2009. P. 91–101). Несколько позже «с предохранением прежних предосторожностей и добавлением таковых» присутствующим всех судебных мест, в том числе и губернских, было предписано «в свободное от текущих дел время, то есть в субботние дни», читать Наказ, однако «находиться при сем» разрешалось только секретарям и протоколистам[20]. Лишь постепенно число допущенных до законодательной программы императрицы увеличилось, а цитаты из Наказа стали появляться в публицистике, учебниках и даже прописях.

Однако главной «референтной группой» программного труда Екатерины оставались даже не депутаты распущенной через год Уложенной комиссии и не «присутствующие судебных мест», а представители высшей политической элиты России и европейские мыслители. Именно они стали первыми читателями Наказа еще до его первой публикации.

В процессе подготовки «для всех вещей вообще правил» Екатерина выслала д'Аламберу «некую тетрадь, при том же еще неокончен<ную>», надеясь на одобрение философа. Вскоре и Вольтер получил отредактированный французский текст «начал, долженствующих служить основанием наших новых законов»[21]. Дидро, которому также была доставлена копия Наказа, сделал письменные замечания по поводу законодательной программы российской императрицы (Diderot, 1992. P. 91–124; См. об этом подробнее: Чечулин, 1907. С. CXIV–CXXIX). Однако больше всего Екатерину интересовало «одобрение тех, для кого <Наказ> был написан»[22]. Сразу после завершения первоначального этапа работы нескольким придворным было поручено прочесть и сделать письменные комментарии к только что переведенному на русский язык и отредактированному самой императрицей тексту. Сохранившиеся «мнения» М. И. Воронцова, А. И. Бибикова, А. П. Сумарокова, В. Г. Баскакова, а также преосвященных Гавриила, Иннокентия и иеромонаха Платона[23] противоречат утверждениям об излишней для той эпохи либеральности законодательного проекта и настороженном отношении к нему «консервативной» политической элиты (см., например: Соловьев, 1889. С. 319–322). Нельзя полностью согласиться и с авторами, полагающими, что все высказанные соображения имели частный характер и не несли принципиально ничего нового ни для императрицы, ни для исследователей

истории Наказа. Напротив, представляется, что «мнения» ближайшего окружения Екатерины раскрывают смысл, который вкладывали представители политически активной части общества в такие важные понятия, как *закон*, *самодержец*, *суд*, *правосудие* и т. п. Кроме того, замечания императрицы, сделанные непосредственно в поданных записках, свидетельствуют о ее живом интересе к взглядам подданных, вернее, *знатных подданных*, и в то же время содержат важную информацию собственно о правовой концепции Екатерины.

Замечания М. И. Воронцова были выдержаны в стилистике послания на высочайшее имя и подписаны традиционно – «верноподданный и верный раб». Однако славословия и благодарности не заслоняют в этом небольшом документе отчетливые представления канцлера о сущности идеального правопорядка: законы должны быть «прочными», рассчитанными на многие годы, лишенными жестокости, каждому подданному следует гарантировать правосудие, а дворянству, разумеется, свободу и преимущества. А. И. Бибиков, будущий маршал Уложенной комиссии, напротив, отказался от комплиментарной части и изложил содержание письма строго по пунктам. Помимо демографических проблем, вопросов судопроизводства, а также «рукоделия и торговли», его интересовали и чисто «семиотические аспекты» – «мнится надобны объяснения, что закон государственный и что закон гражданский», «не все пороки политические суть пороки моральные <...> сие непременно должны знать творцы законов» и т. п. Наиболее детально проработал Наказ Василий Баскаков – рядом со многими из его комментариев Екатерина оставила свои соображения, а в конце послания отметила: «Все его примечания умны». Немаловажно, что Баскаков прекрасно понял смелость подготовленной инструкции и потому счел своим долгом предостеречь императрицу от возможных неправильных толкований: «В последний параграф не соблаговолено ли будет включить, что все намереваемые перемены не надлежит почитать законами, но только приуготовляемыми к оному, чтоб предупредить нестройства и самые смятения в народе от невежества оного»[24]. Показательно, что и граф Никита Панин после предварительного прочтения Наказа, заметил: «Ce sont des axiomes a renverser des murailles»[25] (Екатерина II, 1865. Стб. 479–489).

Несмотря на разные позиции авторов «мнений», представивших свои соображения по поводу Наказа, единую в целом стилистику отзывов нарушало лишь послание А. П. Сумарокова. Многие исследователи усматривали в позиции придворного драматурга и целенаправленную критику, и свидетельство неготовности русского дворянства к некоторым пусть даже декларативным положениям проекта императрицы (см., например: Омельченко, 1993. С. 82). Однако рассуждения Сумарокова и замечания, сделанные непосредственно в том же документе рукою Екатерины, можно назвать помимо всего прочего символичным и даже уникальным диалогом поэта и монарха. Неслучайно сама императрица пришла к выводу, что «воображение в поэте работает, а связи в мыслях понять ему тяжело. <...> Господин Сумароков – хороший поэт, но слишком скоро думает». Как представитель политической элиты Сумароков пишет о правах *сына отечества*, опасных перспективах отмены крепостничества, изначально существующей сословной структуре общества и соотношении *морального* и *политического закона*. Как поэт он выделяет в тексте Наказа наиболее стилистически удачные пассажи, в качестве веского довода приводит цитаты из своего собственной трагедии «Ярополк и Димина» и заканчивает послание мыслями о языке законов и «старом нашем складе», «ибо наши предки лучше нас писали, но я себя в число нынешних российских писателей не полагаю». Надо отдать должное императрице – в своих замечаниях она подхватила манеру легкой утонченной беседы двух просвещенных людей. Ее ответы точны, лаконичны и часто исполнены едкого юмора. По поводу скептического высказывания об авторе «Духа законов» императрица написала: «Многие критиковали Монтескье, не разумея его: я вижу, что я сей жребий с ним разделяю». На позитивный отзыв о статье, посвященной денежному обращению, замечено – «если только похвальное нашел – всю грамоту сжечь можно»[26].

Если императрица и не каждое замечание придворных и иерархов внесла в корректировку своего произведения, то, можно смело утверждать, что отреагировала и приняла к сведению она абсолютно все. Не исключено, что известная осторожность Екатерины при обнародовании Наказа была продиктована предостережениями Василия Баскакова «от невыразумления некоторыми прямой силы и намерений предписанных правил» и соответственно возможных «предосудительных толков». Обращает на себя внимание воспроизведение мыслей Сумарокова о «слоге Уложения царя Алексея Михайловича», где «чужих слов нет и склад, где вразумителен, там хорош». В 457 статье Наказа так и было сказано: «Слог Уложения блаженной памяти Царя Алексея Михайловича по большей части ясен, прост и краток; <...> никто не ошибется в разумении того, что слышит; слова в нем внятны и самому посредственному уму»[27] (см. также: Наказ, 1907. С. 133).

Однако, как известно, в отличие от Земского собора 1648 г., Уложенная комиссия не выполнила своей главной задачи и кодификации законодательства, а также создания нового Уложения не произо-

шло. Так называемое Большое собрание провело с 31 июля 1767 г. по 12 января 1769 г. 203 заседания. Оно обсудило целый ряд законодательных проблем (законы о дворянстве с особым выделением проблем остзейского дворянства, законы о купечестве и городском населении, о судоустройстве). Обсуждены были вопросы о положении государственных крестьян и положении всего крестьянства. Помимо Большого собрания в Комиссии работало 15 частных комиссий (государственного права, юстиции, о соотношении воинских и гражданских законов, о городах, о размножении народа, земледелии и домостроительстве, о поселении, рукоделии, искусствах и ремеслах и др.). Большое собрание прекратило работу в январе 1769 г., последний протокол № 204 был составлен 8 июля 1770 г. Частные комиссии работали до конца 1771 г. До 1776 г. кое-где еще проходили довыборы депутатов. С 1775 до 1796 г. Комиссия существовала как чисто бюрократическая инстанция.

Можно выдвинуть целый ряд причин, почему столь обстоятельно подготовленное и помпезно открытое общерусское собрание так и оставило империю без Уложения. К официальной версии начавшейся войны с Турецкой Портою следует непременно добавить определенную неготовность депутатов к законотворческой деятельности. Помимо различий и даже конфликтности интересов представителей тех или иных социальных групп в Комиссии, существовала еще и внутренняя убежденность каждого подданного в высочайшей прерогативе самодержца. Сторонний взгляд французского посла Сегюра запечатлел лишь внешнее проявление этой особенности менталитета русского общества второй половины XVIII столетия: «Собрание депутатов не оправдало тех надежд, которые оно пробудило, потому что члены его большей частью удалялись от цели, предначертанной правительством. Выбранные от Самоедов, дикого племени, подали мнение, замечательное своей простодушной откровенностью. “Мы люди простые, – сказали они, – мы проводим жизнь, пася оленей; мы не нуждаемся в Уложении. Установите только законы для наших русских соседей и наших начальников, чтобы они не могли нас притеснять; тогда мы будем довольны, и больше нам ничего не нужно”» (Сегюр, 1865. С. 320). Между тем в данном контексте мнение об абсолютном суверене как единственном источнике любого права уравнивает и далекие северные племена, и образованную элиту, и саму императрицу. С одной стороны, монархия действительно нуждалась в новом адаптированном к быстроменяющимся политическим обстоятельствам своде законов, но с другой стороны, созыв Комиссии имел очевидные демонстративные и пропагандистские цели. Может быть, именно поэтому Екатерина сетовала в записке А. И. Бибикову: «Я им велела сделать российской империи законы, а они делают апологию моим качествам»[28]. Но примерно в то же время императрица признавалась Вольтеру: «Я должна отдать справедливость народу: это превосходная почва, на которой быстро восходит хорошее зерно, но нам необходимы также аксиомы, бесспорно признанные за истинные»[29].

Определенную роль в довольно спешном роспуске Комиссии сыграли и смутные настроения среди частновладельческих крестьян, которые были связаны с бурным обсуждением положения податного сословия и могли спровоцировать серьезные выступления. Тот же Сегюр писал: «Между тем вследствие слухов о прениях, крепостные некоторых вельмож, побуждаемые надеждой на свободу, начали во многих местах волноваться» (Сегюр, 1865. С. 390). Однако резонно предположить, что главная причина так и не осуществленной цели Уложенной комиссии заключается в объективной сложности самого предприятия. Во время путешествия по Волге в 1767 г. Екатерина делилась своими мыслями с Вольтером: «Законы, о которых столько говорили, в конце концов еще не составлены. <...> Прошу вас представить себе, что эти законы должны служить и Азии, и Европе, какая разница в климате, в людях, привычках, даже мыслях!»[30]. Приблизительно те же соображения она высказывала и Никите Панину: «Эта Империя совсем особенная, и только здесь можно видеть, что значит огромное предприятие относительно наших законов, и как нынешнее законодательство мало сообразно с состоянием Империи вообще»[31].

Тем не менее безрезультатное завершение деятельности Уложенной комиссии не означало еще превращение Наказа в лишенную всякого влияния стилизацию трудов Монтескье и других мыслителей эпохи Просвещения. Инструкция, данная Уложенной комиссии, оказала глубокое воздействие на сознание всей политической элиты, однако, как это часто бывает, неожиданное и не контролируемое властью. Императрица с прекраснодушием абсолютного монарха полагала, что «Наказ Комиссии Уложения ввел единство в правила и в рассуждения, не в пример более прежнего: стали многие о цветах судить по цветам, а не яко слепые о цветах. По крайней мере стали знать волю законодавца и по оной поступать» (Екатерина II, 1865. Стб. 479–489).

Но нередко мыслящая элита воспринимала в Наказе не императив исключительности для России самодержавной формы правления, а просветительские рассуждения об «общем благе» и «равенстве перед законом». Показательно, что анонимный автор рукописи, резко осуждающей императрицу за фаворитизм и войны, развязанные, с его точки зрения, исключительно в угоду тщеславию Потем-

кина, отдает должное тексту Наказа. Как когда-то Курбский, он разделяет правление Екатерины на период, когда она была окружена «благоразумными и чистосердечными людьми», созывала Комиссию и работала над текстом инструкции, и «черные времена» господства «остроумных любимцев»[32]. Провозглашение ни к чему не обязывающих гуманитарных ценностей, таких, например, как пагубность пытки или недопустимость взяток, которые часто были далеки от повседневности, задавало, однако, довольно высокую планку политического сознания образованной части общества. Богатая непредсказуемыми поворотами социальная жизнь крепнущего и расширяющего свои границы государства иногда наделяла вольные просветительские рассуждения Наказа и силой исходящих от престола реальных инструкций, которым должны были следовать государственные чиновники. Наказ, безусловно, будил мысль, и неслучайно, спустя столетие, юный Лев Толстой запишет в дневнике: «18 марта [1847 г.] Я читал Наказ Екатерины и так как дал себе вообще правило, читая всякое серьезное сочинение, обдумывать его и выписывать из него замечательные мысли, я пишу здесь мое мнение о первых шести главах этого замечательного произведения». Интересно, что внимание Толстого привлекла также не официальная политическая доктрина, а соотношение христианской и общественной морали в инструкции: «Начиная свой Наказ Екатерина говорит: [Желание всякого честного человека в государстве состоит в том, чтобы видеть все отечество свое на самой высшней степени славы]. Это странная несообразность, ибо слава по понятиям христианской религии есть предмет скорее достойный порицания» (Толстой, 1937. С. 4–7).

Итак, несмотря на всю знаковость и масштабность таких проектов, как Наказ, и таких событий, как Уложенная комиссия, замена обветшавшему сборнику законов 1649 г. все же создана не была, а усложняющееся управление империей требовало постоянного обновления законодательной базы. Наказ же остался одним из самых парадоксальных произведений правовой мысли. Принятый с опасением политической и церковной верхушкой, не имеющий юридической силы, но обязательный для знания в каждом присутствии, нередко использующийся как инструкция при принятии законодательных решений, являющийся общепризнанной компиляцией и при этом авторским текстом, за который императрица готова была нести ответственность и несет ее, кажется, по сей день. Она была искренна в своей приверженности идеям «общего блага» и как каждый «просвещенный монарх» с подкупающим простодушием верила в возможное чудо «правильных законов». Созыв Уложенной комиссии, конкурс Вольного экономического общества, кампанию свободы слова в конце 1760 – начале 1770-х гг. никак нельзя назвать лицемерием.

Однако хорошо известно и другое законодательство Екатерины, связанное, например, с усилением крепостнической зависимости и жестоким преследованием податных людей за попытки обращения к престолу и т. п. «Главное же остается пока неясным, – пишет Л. В. Милов, – как могли ужиться в политике единой правящей элиты столь принципиально различные направления – субъективно осознанный либерализм и столь же осознанное “реакционное” феодально-крепостническое начало. Между тем <...> есть вполне реальная возможность дать наиболее убедительную оценку такой политике, как вполне целостному явлению. Для этого необходимо еще раз осознать кардинальнейшую особенность Российского государства <...> как общества с относительно низким объемом совокупного прибавочного продукта и жесткими рычагами государственного механизма» (Милов, 2006. С. 222–225).

Именно поэтому российское законодательство периода просвещенной монархии строилось не столько на идеях «общего блага», сколько на принципах прагматизма, здравого смысла и учета «готовности умов» к правильному восприятию и исполнению распоряжений власти. Заявив, что государство должно жить только по правилам, исходящим от престола, Екатерина сама принялась за составление указов, соединив в одной персоне и харизму законодателя, и профессионализм «законоискусника». «Оценивая то, что было сделано ею за многие годы, – пишет Е. В. Анисимов, – можно без особого преувеличения утверждать, что Екатерина II, десятилетиями работая над законодательством, в некотором смысле заменила собой целую Уложенную комиссию» (Анисимов, С. 285).

Список литературы

Анисимов Е. В. Императорская Россия. СПб., 2011.

Белявский М. Т. Вопрос о крепостном праве и положение крестьян в Наказе Екатерины II // Вестник Московского университета. Сер. 9: История. 1963. № 6. С. 44–63.

Вальденберг В. Е. Екатерина II и Монтескье в их политических воззрениях // Вопросы философии. 2006. № 1. С. 115–127.

Воронцов М. И. Проект М. И. Воронцова «Пункты для обсуждения вольности дворянства» // Архив князя Воронцова. М., 1880. Кн. 24. С. 518–519.

Екатерина II. Записки императрицы Екатерины Второй. СПб., 1907.

Екатерина II. Рассказ императрицы Екатерины II о первых пяти годах ее царствования // Русский архив. 1865. № 1–12. Стб. 479–489.

Клочков М. В. Наказ императрицы Екатерины II в судебной практике // Сб. ст. в честь М. К. Любавского. Пг., 1917. С. 3–21.

Куломзин А. Н. Первый приступ в царствование Екатерины II к составлению высочайшей грамоты дворянству российскому // Материалы для истории русского дворянства. СПб., 1885. Вып. II. С. 26–34.

Мадариага И. Россия в эпоху Екатерины Великой. М., 2002.

Милов Л. В. Россия при преемниках Петра I // История России XVIII–XIX веков. М., 2006. С. 127–378.

Наказ императрицы Екатерины II, данный Комиссии о сочинении проекта нового Уложения / под ред. Н. Д. Чечулина. СПб., 1907.

Омельченко О. А. «Законная монархия» Екатерины Второй: Просвещенный абсолютизм в России. М., 1993.

Омельченко О. А. Императорское Собрание 1763 г.: Комиссия о вольности дворянской. М., 2001.

Омельченко О. А. Наказ комиссии о составлении проекта нового Уложения Екатерины II. Автореферат. М.: МГУ, 1977.

Павленко Н. И. Идеи абсолютизма в законодательстве XVIII в. // Абсолютизм в России (XVII–XVIII вв.). М., 1964. С. 389–427.

Плавинская Н. Ю. Новые сведения о французских источниках «Наказа» Екатерины II // Россия и Франция XVIII–XX века. М., 1998. Вып. 2. С. 8–19.

Сегюр Л.-Ф. Записки графа Сегюра о пребывании его в России в царствование Екатерины II (1785–1789). СПб., 1865.

Соловьев С. М. Рассказы из русской истории XVIII столетия // Русский вестник. 1889. Т. XXXV. С. 319–322.

Тарановский Ф. В. Политическая доктрина в наказе Екатерины II // Сборник статей по истории русского права, посвященный профессору М. Ф. Владимирскому-Буданову. Киев, 1904. С. 44–86.

Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. М., 1937. Т. 46.

Федосов И. А. Абсолютизм // Очерки русской культуры XVIII в. М., 1987. Ч. 2. С. 7–20.

Храповицкий А. В. Памятные записки. М., 1862.

Чечулин Н. Д. Об источниках наказа // Журнал Министерства народного просвещения. 1902. № 4. С. 306–317.

Чечулин Н. Д. Французский Наказ, отосланный Вольтеру; замечания Дидро на Наказ // Наказ императрицы Екатерины II, данный Комиссии о сочинении проекта нового Уложения / под ред. Н. Д. Чечулина. СПб., 1907. С. CXIV–CXXIX.

Чумакова Т. В., Златопольская А. А. Работа В. Е. Вальденберга «Екатерина II и Монтескье в их политических воззрениях» // Вопросы философии. 2006. № 1. С. 109–127.

Brown A. H., Desnitsky S. E. Adam Smith and the Nakaz of Catherine II // Oxford Slavonic Papers. New Series, 1974. Vol. VII. P. 42–59.

Butler W. The Nakaz of Catherine the Great // The American Book Collector. 1966. Vol. XVI. № 5. P. 19–21.

Butler W. Russia and the Law of Nations in Historical Perspective. L., 2009.

Diderot D. Observations sur le Nakaz, 1774 // Diderot D. Political Writings: Cambridge Texts in the History of Political Thought. Cambridge, 1992. P. 91–124.

Dixon S. Catherine the Great. London, 2009.

Raeff M. The Weil-Ordered Police State: Social and Institutional Change through Law in the Germanics and Russia 1600–1800. Yale, 1963.

Ransel D. Catherine's Instruction to the Commission on Laws // Slavonic and East European Review. 1972. Vol. L. № 118. P. 10–28.

Примечания

1 См., например: Записка о воспитании детей, тут же писанная императрицей Екатериною II копия наставления, данного прусским королем Фридрихом-Вильгельмом подполковнику Рохову касательно воспитания старшего сына его величества 1779 г. (РГАДА. Ф. 2. Оп. 1. Ед. хр. 113).

2 См., например: Речь, говоренная от лица депутатов маршалом Ее императорскому величеству с признательностью за данный для сочинения Уложения Наказ (ПСЗ. Т. XVIII. № 12978. С. 349–355. 1767. 27 сентября); Неизвестный автор. Правило трактатов (РГАДА. Ф. 1274. Оп. 1. Ч. 1. Ед. хр. 162. Л. 264–265).

3 РГАДА. Ф. 10. Оп. 2. Л. 3 об. – 4.

4 Секретнейшее наставление князю Александру Вяземскому (РГАДА. Ф. 10. Оп. 1. Ед. хр. 10. Л. 2[г]). Этот документ всегда вызывал повышенный интерес у исследователей, неоднократно публиковался с небольшими разночтениями и, как следствие, имеет несколько списков. Только в Отделе рукописей Российской национальной библиотеки хранятся три копии данного текста, выполненные в начале и середине XIX в. (См.: ОР РНБ. Ф. 542. Ед. хр. 660; Ф. 73. Ед. хр. 157).

5 ПСЗ. Т. XVI. № 11751. С. 157. 1763. 11 февраля.

6 РГАДА. Ф. 16. Д. 235. Ч. 1. Л. 240 об., 244–275.

7 Материалы работы Комиссии сохранились в фондах 10 и 16 РГАДА. Проект М. И. Воронцова «Пункты для обсуждения вольности дворянства» был опубликован в «Архиве князя Воронцова» (Воронцов, 1880. С. 518–519). Черновой вариант проекта с пометками на полях Екатерины был напечатан А. Н. Куломзиным (Куломзин, 1885. С. 26–34). Окончательный текст доклада, представленный императрице в апреле 1763 г. и собственноручно ею переписанный (РГАДА. Ф. 10. Оп. 1. Ед. хр. 20), был частично представлен в Сб. РИО (Сб. РИО. 1871. Т. 7. С. 238–265). Наиболее полная публикация не только проектов Комиссии, но и протоколов ее заседаний принадлежит О. А. Омельченко (Омельченко, 2001).

8 Сб. РИО. Т. 1. 1868. С. 268.

9 В цели данной работы не входит детальное источниковедческое исследование содержания Наказа – речь

идет о его месте в развитии правового мышления и представлений о *законе* российской власти и политической элиты.

[10] Письмо Екатерины II д'Аламберу. 1765 // Сб. РИО. 1872. Т. 10. С. 29–31.

[11] Речь в данном контексте идет о следующих произведениях французских мыслителей: Ш. Л. Монтескье «О духе законов»; д'Аламбер «Разбор книги "О разуме законов"»; Ч. Беккарий «О преступлениях и наказаниях». Кроме того, указывается, что в Наказе были использованы статьи Дидро, д'Аламбера, Я. Бильфельда, Й. Х. Готтлоба фон Юсти, Ф. Кене из «Энциклопедии», «Философский словарь» Вольтера и ряд других, пока еще не идентифицированных источников.

[12] ПСЗ. Т. XVI. 1764. № 12103. С. 670.

[13] Кстати заметить, что труд Блэкстона «Commentaries on the Laws of England» был по распоряжению императрицы переведен на русский язык и опубликован в типографии, арендуемой Н. И. Новиковым [правда, вышел в свет только первый том четырехтомного издания: «Истолкования аглинских законов г. Блакстона» (переведенныя по высочайшему повелению великой законодательницы всероссийской; с подлинника аглинскаго перевел С. Е. Десницкий при участии А. М. Брянцева]. М. 1780–1782.

[14] Письмо Екатерины II д'Аламберу. 1765 // Сб. РИО. 1872. Т. 10. С. 29–31.

[15] Письмо Екатерины II д'Аламберу. 1766 // Сб. РИО. 1872. Т. 10. С. 131.

[16] Впоследствии Екатерина признавалась: «Два года я читала и писала, не говоря о том полтора года ни слова, последуя единственно уму и сердцу своему с ревностнейшим желанием пользы, чести и счастия империи» (Екатерина II, 1865. Стб. 479–489).

[17] Престол, например, всячески поддерживал переход в греческую церковь «новых подданных» и «иноверцев». Однако, несмотря на известное косвенное принуждение, проявлявшееся в освобождении «переменивших закон» от налогов, выплате им «повышенных кормовых денег» или «экстраординарных сумм», российский абсолютизм второй половины XVIII в. не прибегал к насильственному крещению. Ссылаясь на Наказ, Екатерина напоминала, что «нет подлинно иного средства, кроме <увещевания>, которым бы можно всех сих заблудших овец паки привесть к истинному верных стаду» (Наказ, 1907. С. 134; ПСЗ. Т. XXI. 1781. № 15263. С. 294; Т. XXII. 1785. № 16176. С. 331, Т. XXIII. 1793. № 17108. С. 410; и др.).

[18] ПСЗ. Т. XIX. 1772. № 13808. С. 508–509, а также см., например: ПСЗ. Т. XIX. 1773. № 14042. С. 831.

[19] См., например: ПСЗ. Т. XVI. № 11678; Т. XIX. № 13634. Т. XXII. № 16465 и др.

[20] Указ о рассылке Наказа, данного Уложенной комиссии, в присутственные места для хранения его на судейском столе при зерцале (ПСЗ. Т. XVIII. № 12977. С. 318–319. 1767. 24 сентября); указ о рассылке прибавлений к Наказу Комиссии сочинения проекта нового Уложения и о хранении оного в присутственных местах (ПСЗ. Т. XVIII. № 13092. С. 498. 1768. 28 марта – в этом указе речь также идет о «предосторожностях»); указ о предписании присутствующим всех судебных мест, дабы они по субботам съезжались в присутствие для чтения Наказа (ПСЗ. Т. XVIII. № 13107. С. 531–532. 1768. 28 апреля). См. также: Собственноручная записка императрицы Екатерины II относительно рассылки экземпляров «ново-общенародного узаконения» (РГАДА. Ф.10. Оп. 2. Ед. хр. 56).

[21] См.: письмо Екатерины II д'Аламберу. 1765 // Сб. РИО. 1872. Т. 10. С. 29–31; письмо Екатерины Вольтеру. 1765 // Сб. РИО. 1872. Т. 10. С. 35.

[22] Письмо Екатерины Вольтеру. 1765 // Сб. РИО. 1872. Т. 10. С. 35.

[23] Мнения о Наказе, сочиненном Екатериною II, Василия Баскакова и Александра Сумарокова с собственноручными замечаниями государыни // Сб. РИО. 1872. Т. 10. С. 75–87; отзывы о Наказе преосвященных Гавриила, Иннокентия и иеромонаха Платона // Снегирев И. М. Жизнь митрополита Платона. 2-е изд. Т. 2. М., 1856. С. 116–121;

Мнения графа Михаила Воронцова, Василия Баскакова, Александра Сумарокова, Александра и Фр. Бемера о законах Екатерины II с собственноручными примечаниями 1765, 1766, 1774 (РГАДА. Ф. 10. Оп. 1. Ед. хр. № 8).

[24] Мнения о Наказе, сочиненном Екатериною II. С. 75–87.

[25] Такими правилами можно разрушить здания.

[26] Мнения о Наказе, сочиненном Екатериною II. С. 82–87.

[27] Сб. РИО. 1872. Т. 10. С. 78,87.

[28] Записка Екатерины II А. И. Бибикову. 1767 // Сб. РИО. 1872. Т. 10. С. 271.

29 Письмо Екатерины II Вольтеру. 1765 // Сб. РИО. 1872. Т. 10. С. 35.

[30] Письмо Екатерины II Вольтеру. 1767. 29 мая. Казань // Сб. РИО. 1872. Т. 10. С. 204.

[31] Письмо Екатерины II Панину Н. И. 1767. 31 мая. Казань // Сб. РИО. 1872. Т. 10. С. 206.

[32] Авторская рукопись политического содержания с критикой внешней политики Екатерины II. 1794 // РГАДА Ф. 10. Оп. 3. Ед. хр. 594. Л. 1–11 об.

М. М. Сафонов

ПРОЦЕСС ПО ДЕЛУ ДЕКАБРИСТОВ КАК ФЕНОМЕН ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ РОССИИ

Большинство отечественных *декабристоведов* едва ли даже подозревают о том, что они являются адептами *ленинско-сталинской концепции движения декабристов*. Эта концепция создавалась в период с середины 1930-х гг. до средины 1950-х гг. и была тесно связана с отказом СССР от идеи мировой революции и принятым курсом на строительство социализма в одной отдельно взятой стране. Ее создание связано с именем М. В. Нечкиной. Ей принадлежит ведущее место среди ученых-декабристоведов, которые работали в рамках *формационного подхода* и признавали *классовую борьбу* движущей силой истории. Она больше, чем кто-либо, сделала для того, чтобы представить «открытое выступление» тайного общества «как органический элемент смены *общественно-исторических формаций* – смены *феодализма капитализмом*». Много сил положила она, чтобы доказать верность ленинской формулы: «В 1825 году Россия впервые видела выступление против царизма». (Нечкина, 1955. I. 19–29, 36–37). Речь шла только о революционном выступлении. Априори революционеры не могли иметь никаких связей с представителями правящих верхов. Поэтому исследовательница отказалась от рассмотрения обстоятельств *междуцарствия* (Сафонов, 1995. С. 169–172), кульминацией которых являлись события 14 декабря 1825 г. (Сафонов, 2001. С. 61–86). Вопрос же о возможной заинтересованности отдельных представителей правящих верхов в том, чтобы выступление тайного общества состоялось, отпадал сам собой.

Из противоречивых и разновременных высказываний Ленина М. В. Нечкина выстроила «цельную и полную глубокого содержания концепцию движения декабристов». Они, так же как и большевики, выступали против *самодержавия* и *крепостничества*, но первые в истории страны подняли вооруженное восстание против царизма, подготовленное революционной организацией во имя революции, цель которой заключалась в том, чтобы заменить отживающий феодальный строй новым, прогрессивным капиталистическим строем.

При истолковании ленинской концепции М. В. Нечкина опиралась на единственное высказывание И. В. Сталина по этому предмету. Во время беседы с писателем Э. Людвигом вождь большевиков поставил восстание декабристов в один ряд с Октябрьской революцией. В 1938 г. была опубликована «История Всесоюзной коммунистической партии (большевиков). Краткий курс». Эта книга, многократно переиздававшаяся, на два последующих десятилетия определила идеологическую и политическую жизнь страны. В ней была изложена пятичленная схема развития и смены общественно-исторических формаций как конфликта, вызываемого несоответствием *производственных отношений* уровню развития *производительных сил*, который разрешается путем революции. Сведенные вместе публицистические высказывания Ленина М. В. Нечкина вписала в пятичленную схему развития общественно-экономических формаций. В этой системе координат декабристы могли быть только революционерами, а их выступление – вооруженным восстанием во имя революции, предпринятой во имя победы капитализма над феодальным строем.

Созданная таким образом концепция движения декабристов называлась «*ленинско-сталинской*». После смерти вождя народов ее переименовали в «*ленинскую*», хотя, по сути, она так и осталось «*сталинской*». Эта концепция была положена в основу двухтомного труда М. В. Нечкиной (Нечкина, 1955. I. С. 47–48). Ее фундаментальный труд был издан в 1955 г. и на три последующих десятилетия определил русло и четко обозначил границы, в которых развивалось советское декабристоведение. Эта концепция благополучно дожила до наших дней, несмотря на начавшийся примерно с середины 1980-х гг. отказ от *марксистских парадигм* (Сафонов, 2008 А. С. 131–135).

Подавляющее число исследовательских работ, базирующихся на «ленинской» концепции, строится на использовании материалов *следственного процесса по делу декабристов*. Мемуары членов тайных обществ довольно существенно расходятся со следственным материалом. Однако, основываясь на мемуарах декабристов, невозможно выстроить концепцию движения декабристов, созданную в 1930–1950-е гг. Следственный материал рисует декабристов более радикальными деятелями, нежели они представляли себя в своих мемуарах, созданных на склоне лет после каторги и ссылки. Создатели «ленинской» концепции в конкретных исследованиях опирались главным образом на документы процесса по делу декабристов, но при этом не ставили перед собой важнейшего вопроса о том, как именно был получен тот материал, который отложился в следственных делах. Почти общим пра-

вилом исследователей было выбирать из огромного моря следственных показаний те из них, которые позволяли подкрепить фактическим материалом заранее выстроенные в соответствии с господствующей идеологией схемы. Так, в фундаментальном труде М. В. Нечкиной процессу по делу декабристов уделено всего несколько страниц. Вопрос же о том, насколько адекватно следственные материалы отразили движение декабристов, не поднимался вовсе.

В 1961 г., когда сталинская концепция движения декабристов уже окончательно установились в советской историографии, а методы ею освещенные стали общепринятой практикой, Ю. М. Лотман выступил с призывом изменить методы работы. Он не предлагал отказаться от господствующей концепции, активно используемой пропагандистской машиной коммунистического режима. Но в период хрущевской «оттепели» ученый просто указал на необходимость, прежде всего, изучить следственный материал как единый комплекс, являющийся основным источником наших представлений о декабризме. *Следственный фонд*, – писал исследователь, – «исключает частичное, цитатное использование отдельных показаний или вырывание лишь каких-то дел и требует от изучающего знания всего материала и понимания всего хода работ Следственного комитета, учета ежедневных поворотов событий и конкретных изменений в тактике судей и их жертв – каждой в отдельности. В этом смысле исследование, в котором рассматривался бы весь ход следствия день за днем, принесло бы не только большую научную, но и методологическую пользу. Огромные результаты сулит кропотливый труд по обзору материалов, проведенному не в порядке лиц и дел, а хронологически – день за днем, а где возможно, и час за часом. Такого рода материал даст в руки исследователя необходимые коэффициенты поправок точности тех или иных документальных свидетельств». (Лотман, 1961. С. 384–385). В течение полувека, истекших с того времени, когда прозвучал этот призыв Ю. М. Лотмана, большинство исследователей так и продолжали работать по методе, от использования которой он предостерегал. Нельзя сказать, что процесс по делу декабристов совсем выпал из поля зрения ученых. Но существующие в отечественной историографии работы, посвященные процессу декабристов, ограничивались лишь самым общим описанием хода расследования и более или менее подробным освещением отдельных следственных сюжетов, на основании которых давалась оценка всему следствию, а также достоверности полученных в ходе расследования материалов. (Федоров, 1988. С. 3–12). Обычно такого рода исследования сопровождались филиппиками в адрес следователей и обличениями царизма как такового – душителя прогресса и его сатрапов, применявших изуверские методы для получения нужных показаний, открывавших подследственным путь на эшафот. Но наряду с «разоблачительными» работами появился целый ряд серьезных исследований, в которых рассматривались либо отдельные виды документов, возникших в ходе процесса (Мироненко, 1986. С. 9–26; Эйдельман, 1993. С. 382–409), либо организация работы этого учреждения в целом (Эдельман, 2010. С. 7–34). Эти работы позволили иными глазами взглянуть на отельные составляющие работы следователей, глубже понять механизм деятельности *Следственного комитета*. Однако исследования, к созданию которых призывал Ю. М. Лотман, так и не появилось. *Смена парадигм*, проходившая в течение двух последних десятилетий, почти не затронула декабристоведение, несмотря на отказ от марксистских схем и замену терминологии на более современную.

А между тем даже предварительные попытки проследить шаг за шагом, какие материалы получало следствие, как оно ими распоряжалось, что и как докладывалось царю, каковы были последующие шаги следователей, открывают новые перспективы для исследования. Они дают возможность очень серьезно усомниться в достоверности основных выводов отечественных декабристоведов, изучавших движение декабристов на основе материалов следствия, взятых не в совокупности, а исследуемых фрагментарно в соответствии со схемами, предложенными *марксистским декабристоведением*. Кропотливое изучение следственного процесса со всеми его нюансами и тупиковыми направлениями позволят сделать неожиданные наблюдения.

При этом следует иметь в виду, что с самого начала расследования событий 14 декабря из него были исключены всю сюжеты, касающиеся обстоятельств возникновения междуцарствия, главными виновниками которого являлись члены императорской фамилии. (Сафонов, 2001. С. 61–89). Смерть петербургского военного генерал-губернатора М. А. Милорадовича (Сафонов, 2006. С. 12–30), допустившего выступление (Сафонов, 2011 б. С. 101–103), оказала негативное влияние на ход расследования. Глава тайной полиции скончался от ран, полученных на Сенатской площади. Император Николай решил, что ему гораздо выгоднее похоронить Милорадовича как человека, который своей жизнью заплатил за преданность престолу, нежели расследовать, почему он допустил выступление. Также не получили никакого развития всплывшие в ходе дальнейшего следствия факты, обличавшие Милорадовича. В феврале 1826 г. выяснилось, что он замял донос на тайное общество, поданный в 1820 г. корнетом Уланского полка А. Н. Роновым (ВД, 2001. XX. С. 243). А накануне 14 декабря, по-

лучив донос о готовившемся выступлении бывшего чиновника своей канцелярии Г. А. Перетца, не только не принял никаких мер, но, обругав доносчика, пригрозил посадить его в крепость (ВД, 2001. XX. С. 54, 84). Потенциальный цареубийца А. И. Якубович был конфидентом Милорадовича. Вечер накануне 14 декабря он провел в его компании. Подследственный не только не скрывал этого от следствия, но, напротив, даже пытался использовать это обстоятельство для своей личной защиты (ВД, 1926. II. С. 284). Но Следственный комитет этот сюжет не заинтересовал. Якубович, вступивший в переговоры с Николаем сразу же после смертельного ранения Милорадовича (Сафонов, 2004. С. 234–290), ни разу не допрашивался следователями на этот предмет. Впрочем, все эпизоды, участником которых был император, автоматически исключались из расследования. Так, важнейший эпизод, связанный с визитом Я. И. Ростовцева во дворец накануне выступления, когда один из членов тайного общества предупредил царя о готовившемся выступлении, был запретной темой для Следственного комитета. Хотя тщательное исследование этого темного эпизода значительно прояснило бы картину предыстории выступления. (Ильин, 2008. С. 1–298).

Важнейшим фактором, повлиявшим на работу Следственного комитета, было то, что ведущие его члены оказались в той или иной степени причастны к предыстории событий 14 декабря. Председатель Следственного комитета военный министр А. И. Татищев, генерал-адъютант А. Х. Бенкендорф и управляющий почтами конфидент императора А. Н. Голицын, все они, как и Милорадович, были причастны к тому, что накануне выступления не был арестован целый ряд заговорщиков. Имена их Николай узнал 12 декабря из рапорта И. И. Дибича и приказал произвести аресты (Боровков, 1898. С. 333; Междуцарствие, 1926. С. 194; Шильдер, 1898. IV. С. 419). Среди этих имен – К. Ф. Рылеев. Его своевременный арест сделал бы выступление 14 декабря почти невозможным. Что касается А. Х. Бенкендорфа, взявшего на себя расследование событий в столице, то он был в стане противников Николая до момента смертельного ранения М. А. Милорадовича (Сафонов, 2005 в. С. 88–97; Сафонов, 2009. С. 235–271).

На первом же допросе лидеры – К. Ф. Рылеев и С. П. Трубецкой – признали, что тайное общество существует, а все произошедшее является результатом его деятельности. Эти признания дали Николаю формальный повод учредить Следственный комитет с ограниченной задачей: расследовать лишь деятельность «зловредного общества», а не совокупность всех обстоятельств, в результате которых его открытое выступление стало возможным.

События 14 декабря были сложным явлением, в котором было несколько различных составляющих, и выступление тайного общества являлось лишь одним из них. Имела место скрытая борьба за власть правительственных верхов, ориентирующихся на различных претендентов на престол, выступление же декабристов было допущено ими с целью ослабить противников и усилить свои шансы в этой борьбе (Сафонов, 1996. С. 529–541). Но никаких следов этой борьбы по понятным причинам в документации следственного процесса не отложилось. Ни о каком участии дворянской элиты, не связанной непосредственно с тайными обществами, на следствии речи не шло. Понятно, что при таком методе расследования следственные материалы давали сильно искаженное представление о выступлении 14 декабря, о тайных обществах и движении декабристов в целом.

Важнейшим моментом расследования явилась заочная дуэль между лидерами тайного общества Рылеевым, Трубецким, Пестелем, развернувшаяся в стенах Следственного комитета. Она началась с первого же допроса и красной нитью прошла через все расследование (Сафонов, 2007. С. 53–94; Сафонов, 2008 б. С. 292–291). Оба руководителя северян заявляли, что именно он виновник всего, что произошло 14 декабря 1825 г., т. е. готовы были взять на себя ответственность. Но в то же время и тот, и другой стремились внушить следователям мысль, что его напарник все же виновнее его самого. При этом оба руководителя старались дистанцироваться от Пестеля. Лидер же южан строил свою защиту на демонстрации чуть ли не полного единомыслия с Трубецким, пытаясь свести разногласия с ним до различия взглядов по тактическим вопросам, не имеющим принципиального значения. Это скрытое противоборство изрядно запутало следствие, так что ни сами следователи, ни историки декабрьских событий так и не смогли четко уяснить, что же задумали лидеры, что из задуманного было исполнено, а что осталось невыполненным, почему это произошло и кто в этом виноват. (Сафонов, 2009 в. С. 152).

Учет устных и не фиксируемых допросов, изменения, вносимые в показания, сопоставление докладных записок Комитета и журналов его с письменными ответами подследственных на вопросные пункты – все это позволяет утверждать, что лидер северян Трубецкой сотрудничал со следствием, но сотрудничество это носило своеобразный характер. Обычно сотрудничество подследственного со следствием осуществляется по принципу: ты выдаешь своих товарищей, а мы сохраняем тебе жизнь. В случае с Трубецким дело обстояло иначе: ты рассказываешь только то, что нас устраивает, а мы делаем вид, что тебе верим. Трубецкой взял на себя

обязанность давать в своих показаниях такое освещение деятельности Тайного общества, какое вполне устраивало членов Комитета. Взамен следователи брали на себя обязанность принимать на веру показания Трубецкого, как бы фантастично они не выглядели (Сафонов, 2007. С. 58–59).

Прежде всего, это относится к так называемому «Манифесту к русскому народу». Советские декабристоведы объявили его *программным документом*. Они очень дорожили этим конспектом, потому что он давал возможность объявить события 14 декабря *вооруженным восстанием*, предпринятым во имя сокрушения *феодального строя*. При этом ученых не смущало, что в нем речь шла не об отмене крепостного права, а лишь о том, чтобы уничтожить рабовладельческий нарост на крепостничестве, сословный же строй сохранялся. Великий собор, предназначенный выработать новые основные законы, составлялся из депутатов отдельных сословий, т. е. в принципе лежавших в основе Уложенной комиссии 1767 г. Преобладающая роль в Великом соборе должна была принадлежать дворянству, и следовательно, оно получало возможность защитить свои сословные преимущества (Дружинин, 1951. С. 44). Источниковедческий анализ «Манифеста к русскому народу» никогда не проводился. Понятно, это было и не нужно – он не только прекрасно ложился в советскую концепцию декабризма, но был одним из китов, на которых она держалась. А между тем документ имел более раннее происхождение и непосредственно с событиями 14 декабря связан не был. (Сафонов, 2005 г. С. 88–90). За признанием этого факта должна последовать очень существенная переоценка того, каковы были настоящие планы тайного общества 14 декабря и что действительно происходило в этот день в Петербурге.

Ход следствия можно условно разделить на два принципиально отличающихся друг от друга этапа. Первый протекал с 14 декабря по 7 января. Он начался с допросов непосредственно задержанных на Сенатской площади после разгрома выступления и был почти всецело посвящен расследованию деятельности так называемого Северного общества. Преимущественно допрашивались люди, принимавшие непосредственное участие в подготовке выступления. Второй этап следствия происходил после подавления восстания Черниговского полка и заключения в Петропавловской крепости лидеров тайного общества, задержанных на юге. Этот этап начался 8 января, когда в Комитете, работавшем до этого дня как единой следственный орган, произошло распределение функций между членами, за которыми персонально было закреплено ведение дел так называемого Южного и Северного обществ. Он продолжался до 17 июня 1826 г., хотя фактически Комитет завершил свою работу 30 мая, когда члены его подписали итоговый документ – «Донесение Следственной комиссии». На втором этапе следствия фигурантами являлись главным образом руководители Южного общества. Их «разработка» во многом велась с намерением спроецировать полученные результаты на события в столице и с помощью этих данных интерпретировать все произошедшее в Петербурге 14 декабря, обличить или оправдать северных лидеров.

На первоначальном этапе у следователей была уверенность, что процесс скоро завершится и Николай ограничится наказанием нарушивших военную дисциплину. На этом коротком отрезке члены Комитета ограничились поверхностным исследованием истории образования и деятельности тайного общества. Следователи не потрудились даже узнать, как именно оно точно называлось. Они позволили уйти в песок всем сведениям о связях заговорщиков с высокопоставленными лицами из придворного окружения, спустили «на тормозах» данные о расчетах заговорщиков на содействие Сената и Госсовета. Но самое поразительное состоит в том, что следователи сделали все возможное, чтобы утаить от Николая планы *цареубийства* и спасти от смертной казни лидеров тайного общества. Так что через две недели после начала расследования не только Трубецкой, но даже и Рылеев стали надеяться на благоприятный для них исход следствия (Сафонов, 2009 г. С. 13–28; Сафонов, 2007. С. 58–67).

Но 5 января в Петербурге узнали о разгроме восстания Черниговского полка. А за день до этого с Пестеля, не знавшего о происшествиях на юге, сняли первый предварительный допрос. В тот момент Пестель еще рассчитывал на возможное сотрудничество с Николаем I. Поэтому он старался преувеличить силу, значение и масштабы влияния тайного общества, надеясь, что угроза, от него исходящая для Николая и его семьи, побудит самодержца выбрать путь преобразований, а не репрессий. Свою защиту Пестель строил так. Он пытался представить общество как единую радикальную организацию, не разделяя его на Северное и Южное. В нем с самого начала его существования обсуждалась идея цареубийства, первый проект которого был выдвинут уже осенью 1817 г. (ВД, 1927. IV. С. 80–83). И в этом радикализме всего тайного союза лидер южан надеялся растворить свою главнейшую в нем роль, рисуя себя человеком, который подчиняется решениям большинства. Но эта тактика себя не оправдала и Пестеля не спасла. Как раз наоборот. Упоминание о первом проекте цареубийства, к которому Пестель не имел прямого отношения, позволило придать следствию такое направление, что основным источником зла было признано Южное общество, а главным «злодеем» –

сам Пестель. Именно его имя связывалось теперь с идеей цареубийства, истребления императорской фамилии, учреждением республики. Поиски доказательств этого стали доминантой второго этапа расследования.

Поведение Пестеля на следствии, способ защиты, который он выбрал, оказались следствию на руку. Они позволили связать Рылеева с республиканскими планами, цареубийством, истреблением императорской фамилии, пропагандируемым членами южного общества. Следователи старались представить Рылеева адептом радикальных планов Пестеля, Трубецкого же – главным идейным противником лидера южан. Однако в начале февраля в руках следователей оказался материал о том, что и в Петербурге готовился вовсе не мирный переворот, а Трубецкой требовал принесения «на жертву» самого Николая. Комитету пришлось проявить необыкновенную изобретательность, чтобы вывести Трубецкого из-под удара. Именно тогда следователи представили целый каскад показаний членов Южного общества, сменяющих друг друга подобно временам года «проектов» цареубийства. Большинство из них были настолько несерьезны, что сами следователи едва ли верили, что речь действительно шла о подготовке покушения на царя и членов его семьи. В отличие от призыва Трубецкого, который накануне реального выступления тайного общества потребовал убийства Николая, все театрализованные декламации южан о «цареубийстве» относились к неопределенному еще очень далекому будущему, не считались обязательными к исполнению и именно так воспринимались и тем, кто их произносил, и теми, кто их выслушивал. Но эти показания, с умыслом представленные на обсуждения Комитета именно тогда, когда обвинение в цареубийстве смертельной угрозой нависло над несостоявшимся диктатором, помогли вытащить его из петли. Внимание пристально наблюдавшего за следствием Николая было настолько отвлечено представлявшимся в Комитет с подозрительной регулярностью ужасными планами готовившейся на юге расправы над его семьей и им самим, что призыв Трубецкого принести Николая «на жертву», прозвучавший 12 декабря, отошел на второй план, а потом буквально растворился в них. Тем временем Комитет занимался поисками виновника, на которого можно было бы переложить весь груз ответственности за готовившееся в столице цареубийство. Главным «режисидом» стал П. Г. Каховский. Под давлением следствия доведенный до отчаяния Каховский признался, что накануне выступления Рылеев поручил ему убить Николая. От Каховского ниточка потянулась прямо к Рылееву. Ему ничего не оставалось, как признаться и тем самым открыть себе путь на эшафот. Главная вина Рылеева заключалась в том, что он попытался воплотить в жизнь в Петербурге то, что Пестель лишь разрабатывал в Тульчине теоретически. Трубецкому в этой схеме отводилась роль вовремя раскаявшегося преступника (Сафонов, 2009 в. С. 150–234; Сафонов, 2007. С. 53–93).

При расследование первого проекта цареубийства 1817 г., так называемого Московского заговора следователи путем манипуляций показаниями скрыли, что Тайное общество решило покуситься на царя после того, как получило известие о намерении Александра I издать «манифест о вольности крепостных людей и крестьян» (Мироненко, 1989. С. 84–93: Мироненко, 1990. С. 239–240). То есть угрозой цареубийства заговорщики пытались помешать Александру I приступить к решению крестьянского вопроса.

Так расследование было превращено в процесс цареубийц. Заключительное «Донесение» Комиссии – обвинительный акт цареубийцам. Но сведя к цареубийству всю суть деятельности тайного общества, не стали выяснять, какое место акту убийства царя отводилось в его планах. «Донесение» не только утаило, во имя чего оно должно было быть предпринято, но и не объяснило того, почему в течение почти 10 лет его так и не совершили. Ученые справедливо объявили «Донесение» тенденциозным, имеющим целью дискредитацию осужденных и оправдание расправы над ними. Сами историки оказались в зависимости от этого документа. Они «перелицевали» «Донесение»: заменили негативные оценки позитивными, восстановили лакуны, касавшиеся планов преобразований, признали цареубийство средством политической борьбы против *самодержавия* и *крепостничества*. Но при этом сохранили изложенную в «Донесении» схему развития тайных обществ, приняли без оговорок приведенные там названия их, поверили в реальность готовившихся, но так и не совершенных актов цареубийства. Однако от ученых укрылся один из узловых моментов расследования, в котором, как в капле воды, отразился и сам феномен тайного общества, и то, как его расследовали: потенциальная угроза цареубийства являлась действенным средством борьбы тайного общества против попыток верховной власти реализовать свой вариант решения крестьянского вопроса. Иначе говоря, *план модернизации* страны.

В ходе расследования Комитету удалось скрыть, что более 10 лет в России существовал *духовно-рыцарский орден*. Он был связан с культом Иоанна Предтечи, но не являлся *масонской организацией*, а представлял собой одну из разновидностей *светских Мальтийских орденов*, возникших в Европе в первой четверти XIX в. Но это было хорошо известно А. И. Герцену. Не случайно логотип изда-

ваемой им «Полярной звезды», созданный по его заказу английским гравером В. Дж. Линтоном, содержал недвусмысленное указание на это. Линтон изобразил пять отрубленных голов вождей декабристов, а под ними поместил плаху с топором. Поскольку же декабристов повесили, а не обезглавили, это символическое изображение связывало декабристов с Иоанном Крестителем. Не случайно Искандер называл их *«рыцарями»*. «Это какие-то рыцари – писал Герцен, – кованные из чистой стали с головы до ног, войны пророки...» (Герцен, 1862. № 148). Когда Ленин писал статью «Памяти Герцена», чутье политика подсказало ему, что первые русские революционеры не должны быть «рыцарями». Поэтому Ленин пошел на изменение герценского текста. Цитируя Герцена, вождь большевиков заменил «рыцарей, кованных из чистой стали», на «богатырей». (Ленин, 1912. № 26). Эту подмену можно было бы объяснить тем, что Ленин хотел русифицировать текст. «Богатыри» звучало более по-русски. Но замена «воинов-пророков», на «воинов-сподвижников» означала: Ленин уловил, чтó именно имел в виду Герцен, связывая рыцарей с Иоанном Крестителем. Показательно и то, что М. В. Нечкина, патриарх советского декабристоведения, создавая ленинскую концепцию декабризма, тоже пошла на сознательную подмену. Разбирая, как Ленин воспользовался герценовским текстом, академик процитировала использованный Лениным текст Герцена. Но в этом якобы герценовском тексте она не подменила «рыцарей» на «богатырей» (Нечкина, 1955. I. С. 23). Сравнивая «текст Герцена» с ленинским текстом, М. В. Нечкина отметила, что Ленин заменил «пророков» «подвижниками», но про «рыцарей» не обмолвилась. Это не была случайная, бессознательная оплошность. Несколькими страницами выше, где речь шла о взглядах Герцена, М. В. Нечкина совершенно точно процитировала слова Искандера не о богатырях, но о «рыцарях, кованных с головы до ног из чистой стали». (Нечкина, 1955. I. С. 16). Обе подмены, вначале Лениным, а потом и М. В. Нечкиной, более чем символичны. Эти «филологические тонкости» отражают, как создавалась ленинская, а потом и сталинская концепция движения декабристов: путем затемнения сути тайного общества в России.

Духовно-рыцарский орден по своей сути аристократическая организация. Поэтому не удивительно, что у истоков его стояли потомки двух екатерининских фаворитов: племянник одного – М. Ф. Орлов и родной сын другого – М. А. Дмитриев-Мамонов, представители крупной земельной знати. Это был патриотический союз, с некоторым привкусом ксенофобии, созданный для противодействия польской политике Александра I. Он был призван противопоставить *«вестернизации» имперского периода* искусственную *«русификацию»*, под которой подразумевалось возвращение к основам общественной и культурной жизни *допетровской Руси*. Эта была *тираноборческая организация*. Только *императорская власть* воспринималось как личный *деспотизм и узурпаторство*, а государственный строй допетровской Руси с **Земскими соборами** и *Боярской думой* представлялся воплощением принципов народовластия.

В глазах крупной земельной знати польская политика Александра выглядела не только как создание в пределах Российской империи Царства Польского в границах, существовавших до *разделов Речи Посполитой*, но и как расширение территориальных пределов за счет земель, входивших в ее состав в более ранние времена. В таком контексте Александр воспринимался как *«враг Отечества»*. Все же *«верные сыны Отечества»* считали необходимым объединиться в *союз «спасения нации»* и апеллировать к теням «Шуйских и Пожарских» (Семевский, 1909. С. 400; Лотман, 1992. С. 303). *«Истинные и верные сыны Отечества»* собирались вернуться к истокам, т. е. восстановить государственное устройство России начала XVII в., когда после победы над польской интервенцией Земский собор избрал царя, а реальная власть принадлежала боярству и его органу – Боярской думе. Эта «русификация» *императорской России* мыслилась как возврат к конкретным историческим условиям начала XVII в. и восстановлению всего, что было утрачено с воцарением *династии Романовых*. И в этом смысле он мог называться Орденом восстановления. Не случайно И. Д. Завалишин при создании устава мнимого *Ордена Восстановления* отталкивался от реально существующего. Он назвал его *«Ordre de restitution»,* т. е. *«Орден реституции»*. В гражданском праве *реституция* – это возвращение сторонами договора всего полученного ими в его исполнение в случае признания договора недействительным. Отказ присягать новому монарху – модифицированная форма взятого из рыцарской практики *оммажа*, т. е. клятвы верности вассала своему сюзерену означала бы, что договор расторгнут и следует составить новый, с чистого листа.

Моделирование новой «старой» России осуществлялось с помощью идей современной западноевропейской публицистики и исторических реалий времен призвания Рюрика, описанных в труде Н. М. Карамзина. При создании такой «русской правды» проектируемая реальность XIX в. мыслилась как воплощение *принципа социальной справедливости*, в основе которой лежала *христианская идея* об исконном *природном равенстве всех людей,* взятая на вооружение *эпохой Просвещения*. Но при этом орден старался сохранить в непри-

косновенности благосостояние дворянства, прежде всего, его земельную собственность. Поэтому он предлагал личное освобождение крестьян без земли, или, в крайнем случае, с минимальным количеством ее. (Даже самый радикальный проект «Русской правды» исходил из принципа сохранения доходов дворян.) Это расходилось с представлениями Александра I о принципах освобождения. Царь тоже был сторонником идеи естественного равенства людей, но ее реализация виделась ему по-другому (Сафонов, 1988. С. 63).

Монарх не мог допустить, чтобы *реформа* пошла по сценарию дворян, потому что предлагаемый ими вариант в большей степени отвечал стремлению дворянства сохранить свое благосостояние. Монарх же вынужден был думать об интересах государства. А они не исчерпывались тем, чтобы дать *личное освобождение* от *крепостного рабства*, но требовали и сохранить налогоплательщика, и не превратить обезземеленного крестьянина в социально опасный элемент. При этом *отмену крепостного права* царь хотел произвести по тому варианту, который он считал наиболее целесообразным: производить не одновременное освобождение во всей стране, но осуществлять его постепенно по регионам, в соответствии с учетом местных условий.

Такова была суть конфликта между царем и тайным обществом, который чуть было не разрешился цареубийством. Его спровоцировало «несогласие государя дозволить содействие дворянства в деле такой важности, которое должно было совершенно изменить положение дворян, какова есть свобода крестьян, составляющих по существующим узаконениям достояние и главное имущество дворянства, на котором все его права основаны» (Трубецкой, 2011. С. 56).

Орден был создан как тираноборческая организация (Бокова, 2003. С. 257). Она пропагандировала идею цареубийства, но использовала ее лишь как средство *десакрализации самодержавной власти*. Однако острота конфликта с монархом с первых же месяцев существования ордена достигла такой степени, что рядовые члены порывались осуществить физическую расправу с царем, а руководители, как это было в первом случае с вызовом И. Д. Якушкина и потом повторялось всегда на протяжении последующих лет, останавливали добровольных цареубийц.

Наличие этого конфликта и невозможность разрешить его с помощью простого убийства помазаника, заставило Орден обратиться к мысли о необходимости преобразования государственного устройства. Сама идея представительного правления была вторичной, она стала реакцией на нежелание власти допускать дворянство до решения коренной проблемы – вопроса об отмене крепостного права. Верхи же землевладельческого дворянства, не желавшие ущемления своих интересов, видели в представительном правлении легальный инструмент, с помощью которого они могли бы их реализовать, т. е. не позволить правительству осуществить отмену крепостного права таким образом, чтобы она ущемила интересы дворян. Именно поэтому Александр, дав торжественное обещание ввести «*законно-свободные постановления*», так и не ввел их прежде, чем осуществил отмену крепостного права. Потенциальная же угроза цареубийства, исходившая от тайного общества и царю, несомненно, хорошо известная, являлась в действительности одним из тех объективных факторов, которые не позволили Александру I осуществить модернизацию страны. Феномен процесса по делу декабристов заключался в том, что он сумел скрыть это важнейшее обстоятельство. Осознав это, мы можем теперь глубже понять, почему путь России к гражданскому обществу был не таким прямым, как «тротуар Невского проспекта», а напоминал скорее «лабиринт минотавра» (Сафонов, 2011. С. 15).

Список литературы

Бокова В. М. Эпоха тайных обществ. М., 2003.

А. Д. Боровков и его автобиографические записки // Русская старина. 1898. № 11.

Восстание декабристов. Т. II. М.; Л., 1926.

Восстание декабристов. Т. XX. М., 2001.

Дружинин Н. М. Программа северных декабристов // Известия Академии наук СССР. Серия истории и философии. 1951. Т. VIII. № 1.

Герцен А. И. Концы и начала // Колокол. 2 октября 1862. № 148.

Ильин П. В. Между заговором и престолом. Я. И. Ростовцев в событиях междуцарствия 1825 года. СПб., 2008.

Ленин В. И. Памяти Герцена // Социал-демократ. 8 мая 1912. № 26. Лотман Ю. М. Рец. на кн.: Чернов С. Н. У истоков русского освободительного движения // Вопросы истории. 1961. № 5.

Лотман Ю. М. М. А. Дмитриев-Мамонов – поэт, публицист и общественный деятель // Лотман Ю. М. Избранные труды. Таллин, 1992.

Мироненко С. В. Журналы и докладные Следственного комитета записки по делу декабристов // Восстание декабристов. Т. XVI. М., 1986.

Мироненко С. В. Самодержавие и реформы. Политическая борьба в России в начале XIX в. М., 1989.

Мироненко С. В. «Московский заговор» 1817 г. и проблема формирования декабристкой идеологии // Революционеры и либералы России. М., 1990. С. 239–250.

Нечкина М. В. Движение декабристов. Т. I–II. М., 1955.

Сафонов М. М. Проблема реформ в правительственной политике России на рубеже XVIII–XIX. Л., 1988.

Сафонов М. М. Междуцарствие // Дом Романовых в истории России. СПб., 1995.

Сафонов М. М. Константиновский рубль и «немецкая партия» // Средневековая и Новая Россия. СПб., 1996.

Сафонов М. М. 14 декабря 1825 года как кульминация междуцарствии // 14 декабря 1825 года. Источники, исследования, историография, библиография. Вып. IV. СПб., 2001.

Сафонов М. М. (а). К изучению событий 14 декабря 1825 года: критический анализ мемуарных свидетельств о М. А. Милорадовиче (А. П. Башуцкий и Р. М. Зотов) // 14 декабря 1825 года. Источники, исследования, историография, библиография. Вып. VII. СПб., 2005.

Сафонов М. М. (б). Из истории междуцарствия: критический анализ мемуарных свидетельств С. П. Трубецкого // 14 декабря 1825 года. Источники, исследования, историография, библиография. Вып. VII. СПб., 2005.

Сафонов М. М. (в). А. Х. Бенкендорф 14 декабря 1825 г. // Немцы в Санкт-Петербурге (XVIII–XX вв.): биографический аспект. Вып. 3. СПб., 2005. С. 88–97.

Сафонов М. М. (г). Манифест к русскому народу // Декабриські читання. Тези Міжнародної науково-теоретичної конференції. Київ, 2005. С. 88–90.

Сафонов М. М. Генерал Милорадович и 14 декабря 1825 г. // История России. Исследования и размышления. СПб., 2006.

Сафонов М. М. К. Ф. Рылеев против С. П. Трубецкого (по материалам Следственного комитета) // Власть, общество и реформы в России: история, источники, историография. СПб., 2007.

Сафонов М. М. (а). Становление советской концепции восстания декабристов // Мавродинские чтения. 2008. Петербургская историческая школа и российская историческая наука: дискуссионные вопросы истории, историографии, источниковедения.

Сафонов М. М. (б). Зимний дворец в планах восстания 14 декабря 1825 г. // Декабристы. Актуальные проблемы и новые подходы. М., 2008.

Сафонов М. М. (а). На пути к правовому государству: парадоксы правительственного конституционализма на рубеже XVIII–XIX веков // Гражданское общество и правовое государство как факторы модернизации российской правовой системы. С. 286–290.

Сафонов М. М. (б). М. А. Милорадович, А. Ф. Бенкендорф, А. Ф. Орлов и Конногвардейский полк 14 декабря 1825 года // Декабристы в Петербурге. Новые материалы и исследования. СПб., 2009.

Сафонов М. М. (в). С. П. Трубецкой против К. Ф. Рылеева: борьба в руководстве тайного общества накануне 14 декабря 1825 года // Декабристы в Петербурге. Новые материалы и исследования. СПб., 2009.

Сафонов М. М. (г). Некоторые особенности расследования восстания декабристов. Дело полковника А. М. Булатова // Политическая Россия: Прошлое и современность. Исторические чтения. Вып. III. «Гороховая, 2» СПб., 2006.

Сафонов М. М. (д). «Во мне видеть должно главнейшее в последнем покушении...» (Г. С. Батенков в Следственном комитете) // Власть, общество и реформы в России XIX века: исследования, историография, источниковедение. СПб., 2009.

Сафонов М. В. (е). Об эволюции планов тайного общества в период междуцарствия // Декабристи в Украні : Досліження й матеріали. Т. 6. Київ, 2009.

Сафонов М. М. (а). Правительственный конституционализм в России в конце XVIII в. // Гражданское общество России и за рубежом 2011. № 2. С. 11–15.

Сафонов М. М. (б). Гибель русского Баярда // Родина. 2011. № 7.

Семевский. Политические и общественные идеи декабристов. Спб., 1909.

Трубецкой С. П. Записки: Письма И. И. Толстому, 1818–1823. СПб., 2011.

Федоров В. А. «Своей судьбой гордимся мы...». Следствие и суд над декабристами. М., 1988.

Шильдер Н. К. Император Александр Первый. Его жизнь и царствование. Т. IV. СПб., 1898.

Эйдельман О. Журналы и докладные записки Следственного комитета по делу декабристов // Из потаенной истории России XVIII–XIX веков. М., 1993.

Эйдельман О. Следствие по делу декабристов. М., 2010.

Н. В. Черникова

ЗАКОННОСТЬ И ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В РОССИИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX СТОЛЕТИЯ

Отсутствие четкого и общепризнанного ответа на вопрос, что представляет собой гражданское общество, каковы его составляющие, привело к возникновению в ряде исследований стремления рассматривать гражданское общество само по себе, в отрыве от государства, в котором гражданское общество якобы не нуждается[1]. Речь в данном случае, однако, может идти только о некой идеальной модели, до сих пор не получившей своего осуществления, поскольку, как показывает история, даже развитая демократия не исключает значительную роль государства и его институтов не только в за-

щите границ и обеспечении территориальной целостности, но и в регламентации жизни общества и его политической деятельности. В период становления и зарождения гражданского общества роль государства была еще большей. А в России второй половины XIX столетия государство (его бюрократический институт) получило особое значение в силу своеобразных сложившихся в стране условий.

В 1862 г. видный либеральный государствовед Б. Н. Чичерин заметил, что при отсутствии в России организованной буржуазии (а именно она, как известно, стала основой формирования гражданского общества в Западной Европе) ее роль может сыграть дворянство. Если же это последнее окажется неспособным на эту нетрадиционную роль, его место займет бюрократия, усилив тем самым давление правительства на общество[2]. Прогноз Чичерина полностью оправдался. В общественной жизни пореформенной России сохранялись сильные этатистские тенденции. Но в то же время нельзя не учитывать и тот факт, что это не остановило процесс формирования гражданского общества. Проводившиеся на протяжении второй половины XIX столетия реформы создали «управляемое самоуправление», ставшее, вместе с широко допускавшимися властью самодеятельными (главным образом, благотворительными, просветительскими и профессиональными) организациями, а также системой периодической печати первыми видимыми проявлениями формирования гражданского общества в России.

Сохранение на протяжении полувека тенденции раскрепощения общества «сверху» предполагает, однако, существование значительной страты государственных служащих, которым не чужда была внутренняя свобода, ощущение себя не винтиком бюрократической машины, а свободной личностью, гражданином своего государства. Но реализация этой свободы возможна была только на самом верху бюрократической лестницы. Профессор Петербургского университета, одновременно игравший заметную роль в аппарате министерства народного просвещения А. В. Никитенко знал, о чем писал, утверждая, что «всякий чиновник есть раб своего начальника, и право, нет рабства более жестокого и позорного, чем это рабство. <...> Он должен насиловать перед своим господином свою волю, свое чувство, свои убеждения, и как вообще начальник не любит в подчиненном ума, то этот подчиненный каждую минуту должен трепетать или за свою честь, или за свой жребий. <...> он поставлен в необходимость льстить, делать вид, что он разделяет взгляды и убеждения своего начальника, когда он вовсе их не разделяет и когда его собственные мнения диаметрально противоположны мнениям, которые он, однако, должен чтить как закон»[3]. Почти в тех же словах жаловался на собственную участь будущий министр внутренних дел, а тогда директор второго и заведующий третьим департаментом министерства государственных имуществ П. А. Валуев: «...мое положение почти нестерпимо <...>, я закабален служить. А между тем быть по службе покорным редакторским орудием кн. Долгорукова или Муравьева – ужасная доля»[4]. Похожие сетования на невозможность реализации собственных идей, принести пользу России вместе с критикой в адрес коллег-бюрократов можно встретить и на страницах дневников, воспоминаний и писем уже состоявшихся крупных чиновников[5]. Все это говорит о стремлении ведущих чиновников дистанцироваться от бездушной бюрократической машины... Однако реальность второй половины XIX столетия была такова, что добиться каких-либо перемен можно было только используя ее потенциал.

Иных возможностей не существовало. В это время только шло формирование институтов гражданского общества, и ни самоуправление, ни самодеятельные организации, ни периодическая печать не достигли еще такого уровня развития, который давал бы им возможность играть ту заметную роль, которую они получили в начале XX в. Все это и определило довольно пренебрежительное отношение многих чиновников к общественному мнению. И хотя, как показывает В. Я. Гросул, начиная с эпохи Великих реформ власть уже не только в лице отдельных своих представителей, но все более массово признавала значение общественного мнения[6], до завершения этого процесса было еще далеко. По свидетельству А. В. Никитенко, Валуев любил «повторять, что он не признает общественного мнения, что его у нас нет. Он не раз повторял это мне, Гончарову, Тройницкому»[7]. А ведь в это время Валуев был министром внутренних дел и автором проекта (1863) о привлечении общества к управлению – ежегодного созыва законосовещательного «съезда государственных гласных» из представителей губернских земских собраний и крупных городов. В 1869 г. общественное мнение стало предметом обсуждения покинувшего министерский пост П. А. Валуева и его преемника А. Е. Тимашева. Сановники сошлись на том, что зарождающееся в России и признаваемое в правительственной среде общественное мнение слишком зависит от прессы как единственного его выразителя и руководителя. «Сословные и общественные собрания ограничены известными предметами ведения и притом в большей или меньшей степени подцензурны. Правительство обыкновенно не имеет повода высказываться. Одна пресса энциклопедично и бесцензурно подготовляет, внушает или сочиняет то самое общественное мнение, которое она же впоследствии систематически проповедует»[8]. Тимашев по-

шел еще дальше, предупреждая о домогательствах «наших литературных коноводов нашего общественного мнения» «сделать правительство наше ответственным перед прессою»[9].

Недоверие к выражаемым в печати мнениям со стороны ведущих чиновников не носило спонтанного, эмоционального характера, а основывалось на определенных фактах. Многие из сановников империи имели опыт провинциальной службы, кроме того, по роду деятельности одни из них были знакомы с положением дел на местах и знали принципиальную гражданскую незрелость подавляющей части русского общества.

«Нам надо заботиться не столько о перемене правительства, сколько об утверждении в умах идей законности и правды. Нам худо не столько оттого, что нами худо управляют, сколько оттого, что мы сами не умеем управлять собою. Нелепо все сваливать на правительство, которое к тому же плоть и кровь от нашей плоти и крови»[10], – писал в дневнике А. В. Никитенко.

Недостаточный уровень подготовки большинства представителей самого общества к решению важных государственных вопросов приводил к принципиальной невозможности получить от них основанные на знании местной обстановки ответы. Земец Нижегородской губернии Веселовский, более двадцати лет проработавший в земстве, в начале 1890-х гг. так описывал складывающуюся ситуацию: «...бывало, спрашивают мнения “господ” гласных уезда: “какую систему высшего образования считаем мы за лучшую: классическую или реальную?” Вот мы, бывало, и ответим: “классическую”, потому что слово “реальное” что-то больно мудрено, не слыхивали, ну а “классическое” как будто попонятнее: это значит, должно полагать, чтоб робят в классы гонять, чтоб на улице зря не баловались. Гласным от крестьян даже понятно... так и решали, был грех... Да и теперь в этом роде решаем еще... Недостает, чтоб о типах военно-морского судостроения или об артиллерийском деле дозволяли рассуждать, на том основании, что хорошие флот и артиллерия служат-де (в конце концов) к *пользам* и нуждам и местного населения...»[11] Это опасение Веселовского вскоре оправдалось. Видный экономист профессор И. Х. Озеров писал в воспоминаниях о странной извращенности некоторых политических деятелей периода первой русской революции, пытавшихся принимать решения по важным вопросам, опираясь на мнение не специалистов, а непрофессионалов, лишь бы они были представителями общества, а не правительства. Так, на одном из совещаний лидер кадетской партии П. Н. Милюков спросил Озерова, следует ли Думе дать правительству ассигнования на постройку броненосцев с точки зрения стратегии. Озеров ответил, что этот вопрос надо адресовать военным специалистам, а не ему, но Милюков пытался именно от него добиться ответа[12].

Медленное вызревание гражданского общества, подмена рядом общественных деятелей сотрудничества с властью противостоянием ей существенно затрудняло возникновение уважительного отношения к обществу со стороны чиновничества. Однако для правительства до конца XIX столетия противостояние с обществом еще не ощущалось. Его отсутствие подтверждает и историк права В. В. Леонтович, утверждавший, что пропасть между общественностью и государственной властью разверзлась и начала расширяться только с 1895 г., после слов Николая II о «бессмысленных мечтаниях». Даже наиболее крупный политический кризис второй половины XIX столетия – 1878–1881 гг. – не привел к ощущению себя сановниками в состоянии войны, конфронтации с обществом. Их противником (это прослеживается по письмам и дневникам той поры) были маргинальные элементы, фанатики, говорить об «уступках» которым не имело никакого смысла и борьба с которыми – дело полиции. А раз нет противника, с которым можно вести переговоры о «степени уступок», подобные рассуждения в сановной среде вообще отсутствовали. Поэтому «ультралиберальные теории» в устах видных государственных деятелей, в отличие от периода первой русской революции, звучали очень редко и смущали слушателей: их, по свидетельству военного министра Д. А. Милютина, было «как-то неловко» слушать[13].

Таким образом, в течение второй половины XIX в. наиболее просвещенные представители бюрократии в своем стремлении раскрепощения общественной жизни и проведения реформ не могли опереться ни на общественное мнение, ни на общественные институты. Единственной опорой для них становился закон, который они уважали и которому служили. Можно даже сказать, что забота о законности в это время стала главным стремлением высшей (по крайней мере – высшей) бюрократии. Под законностью в данном случае мы имеем в виду как общее улучшение правового поля за счет новой, реформированной системы управления, так и приведение деятельности конкретных учреждений в соответствие с теми функциями, которые диктовались им учредившим их законом. Следствием такого положения был постоянный рост уважения к закону и его значению.

Это положение, принятое в дореволюционной историографии, было оспорено в советский период, когда официальным стало мнение о систематическом нарушении законного порядка движения

дел в царствование Александра III (1881–1894), произвольном переносе проектов законов из Государственного Совета в Комитет министров. Основанное на одном из высказываний В. И. Ленина[14], оно быстро превратилось в аксиому. Утверждения дореволюционных исследователей, что именно в царствование Александра III был восстановлен законный порядок решения дел и из ведения Комитета министров были изъяты не соответствующие его компетенции дела[15], просто не учитывались.

Анализ законодательной базы Российской империи проясняет ситуацию. Согласно статье 53 Свода Основных государственных законов, к законодательным актам относились уложения, уставы, грамоты, положения, наказы (инструкции), манифесты, указы, мнения Государственного Совета, доклады, удостоенные высочайшего утверждения. Причем, по Учреждению Государственного совета 1842 г., прохождение через Государственный Совет для всех законопроектов было не обязательно. Существовало 5 дополнительных путей принятия законопроектов, каждый из которых использовался только в определенных случаях. Через Государственный совет не проходили:

1) законопроекты по военному и морскому ведомству, которые не соприкасались с другими частями управления (с 1836 г.);

2) законопроекты, относящиеся к делам Кавказского края, Закавказья и Сибири, которые проходили через Кавказский и Сибирский комитеты;

3) законопроекты, проходящие через другие комитеты (напр., Еврейский комитет);

4) законы, выходящие в форме высочайших повелений, объявленных министрами, главноуправляющими или другими уполномоченными лицами;

5) положения, указы, инструкции административного характера, утверждаемые через комитет министров и министерские доклады.

Как отмечают исследователи, все эти законы имели одну общую черту – утверждение их императором[16], и принципиального различия (как теоретического, так и юридического характера) между законами разных наименований, утвержденными императором, не было[17]. Вместе с тем необходимо отметить, что в первой половине столетия стремление верховной власти (особенно это касается правления Николая I) сохранить контроль над бюрократической системой привело к большому значению именных указов. Сложился особый стиль управления, воспринятый и Александром II. К концу столетия участие императора в законодательной деятельности претерпело значительные изменения, в первую очередь это коснулось личных распоряжений императора.

В приведенных ниже таблицах не учтены именные указы, данные сенату, сенатские указы и утверждения императором решений различных комитетов. Сопоставление числа законопроектов, прошедших через обсуждение Государственным Советом, Комитетом министров или принятых в форме высочайшего повеления, наглядно рисует произошедшие перемены.

Распределение дел в январе – июле 1874 г.

	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль
Государственный Совет	28	10	17	23	32	16	15
Комитет министров	16	10	17	13	21	13	8
Именные указы, являемые главами ведомств	46	34	45	31	23	16	33

Распределение дел в январе – июле 1882 г.

	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль
Государственный совет	20	22	32	19	39	28	6
Комитет министров	13	11	14	14	9	8	8
Высочайшие повеления, объявляемые главами ведомств	17	12	19	12	27	15	13

Полное собрание законов. Собрание второе. Т. XLIX. Реестр хронологический.

Собрание третье. Т. II. Реестр хронологический.

Как видно из таблиц, на протяжении менее чем десятилетия стиль управления значительно изменился. В царствование Александра III более редкими становятся столь любимые его предшественником объявляемые главами ведомств именные указы. При Александре II их число значительно превышало количество дел, прошедших обсуждение в Государственном Совете или Комитете министров. Некоторое снижение их числа в мае – июне 1874 г. объясняется отсутствием императора в России. 19 апреля Александр II выехал за границу, сначала в Берлин, где присутствовал на обручении своего сына Владимира, затем в Штутгарт на свадьбу племянницы, великой княжны Веры Константиновны, потом отправился в Англию навестить дочь, в январе 1874 г. вышедшую замуж за второго сына английской королевы Виктории принца Альфреда, герцога Эдинбургского, наконец, 4 недели отдыхал в Эмсе и только 30 июня возвратился в Царское Село[18]. С июля число именных указов резко выросло.

При Александре III именные указы, объявляемые главами ведомств, превращаются в именные

повеления; название «именной указ» сохраняется за незначительным числом актов (от 1 до 4 в месяц; в таблицы не вошли). Число именных повелений резко снижается, количественно уступая делам, проходящим через высшие бюрократические инстанции.

Некоторое усиление законодательной деятельности в мае – июне связано с приближением вакационного периода и ее последующим ослаблением. Причем можно заметить, что летний спад оказывается более значительным в 1882 г. В отличие от 1874 г., все дела, прошедшие в это время через Государственнй Совет были приняты решением не Общего собрания, а различных департаментов этого учреждения, что позволяет сделать вывод о более четкой организации отпускного периода.

Не меньшее внимание уделялось законности при разрешении конкретных вопросов. Особенно ясно это видно при обсуждении сравнительно мелких законодательных актов. В качестве примера обратимся к рассмотрению Государственным Советом в 1884 г. представленного министром финансов Н. Х. Бунге проекта закона об изменении существующего порядка выдачи пенсий своекоштным воспитанникам казенных учебных заведений[19]. Суть дела заключалась в следующем. По закону дети, получавшие пенсию за заслуги своих отцов, продолжали ее получать во время обучения в учебном заведении, только если обучались не на казенный, а на свой счет или на счет разных организаций. Однако в этом случае пенсии не выдавались на руки матерям или опекунам, а поступали училищному начальству, которое передавало их в кредитные установления для приращения процентами, чтобы, оканчивая учебное заведение, воспитанник получал скопленную сумму уже сам. Так поступали и в случае, когда обучение шло за счет пенсий (правда, сумма, накопленная из остатков от оплаты, оказывалась крайне незначительной). Полученные деньги (150–400 рублей) шли обычно на «экипировку», первоначальное обзаведение и жизнь до приискания заработка. Проект министерства финансов об изменении этого порядка был откликом на просьбы родителей и опекунов выдавать пенсии им на руки с тем, чтобы они уже сами платили за обучение. Эта просьба соответствовала общим законам об опеке, по которым на обязанность родителей и опекунов возлагалось заведывание всем вообще имуществом малолетних, поэтому она встретила и понимание в министерстве, представившим проект о дополнении ст. 258 устава о пенсиях: «...при определении малолетних в казенные учебные заведения своекоштными воспитанниками и воспитанницами, на счет пожалованных им пенсий, сии последние выдаются на руки матерям и опекунам малолетних».

Проект рассматривался сначала в Соединенных Департаментах Закона и Экономии, затем в Общем собрании Государственного Совета, причем в обоих случаях возникло разногласие: меньшинство выступало за неизменность закона, а большинство поддержало мнение Бунге.

Аргументация меньшинства носила общий характер. Противники проекта утверждали, что существующий порядок более обеспечивает интересы малолетних, не давая матерям и опекунам бесконтрольно использовать пенсионные суммы, в том числе не только на необходимое, но и на излишества; а отсутствие денег при выпуске усложнит положение неимущих воспитанников. Изменение порядка, кроме того, многократно увеличит переписку по вопросу о пенсиях, поскольку (здесь защитники этой точки зрения опирались на свидетельства директоров учебных заведений ведомства министерства народного просвещения и императрицы Марии) за своекоштных воспитанников, за малым исключением, плата вносится не точно и есть случаи многократного напоминания родителям своекоштных воспитанников и даже исключения детей за неуплату. Не предвидится и полного освобождения учебного начальства от заведывания пенсиями, поскольку проект не затрагивал порядка в отношении обучающихся за счет разных сумм – на счет Кабинета или иных собственных сумм императора или особ императорской фамилии, или на счет капиталов, пожертвованных сословиями, обществами и частными лицами.

Позиция большинства на этом фоне выглядит менее развернуто. Без учета мелких пунктов, по которому между противниками развернулся спор, она сводилась к двум крупным положениям: а) «Передача пенсий училищному начальству, помимо лиц, заведывающих всем вообще имуществом малолетних, не соответствует законам об опеке» (л. 18–18 об.) и представляет собой, таким образом, «изъятие из общих постановлений наших гражданских законов об опеке и попечительстве. Подобные отступления от установленных законодательством начал должны быть допускаемы лишь тогда, когда применение общих правил сопряжено с действительными практическими неудобствами или приводят к явной несправедливости» (л. 33–33 об.). б) Капитализирование остатков от пенсий в ущерб удовлетворению действительных потребностей противоречит их задуманному законодателем предназначению – «доставлению несовершеннолетним средств к получению образования, а не к накоплению из сих сумм капитала» (л. 36 об. – 37).

Оспорить эту основанную на законе позицию большинства оказалось очень трудно. Доводы противников проекта о том, что суммы настолько невелики, что их нельзя назвать капиталами, что пен-

сия, согласно высочайшему повелению Николая I, на котором основана ст. 258, есть «неприкосновенная собственность», полученная за заслуги отцов, и «смешивать эту пенсию со всяким другим имуществом, могущим достаться или не достаться от родителей, нет никакого законного основания» (л. 29 – 29 об.) – оказались малоубедительны. Александр III согласился с большинством.

Отметим, что описанное разногласие не носило политического характера и не может быть объяснено противостоянием либеральных деятелей эпохи Великих реформ, после воцарения Александра III получивших назначение в Государственный Совет в качестве почетной отставки, и приближенных нового императора. На стороне меньшинства (11 человек) оказались не только известные консерваторы И. Д. Делянов и Т. И. Филиппов, но и опытный администратор и сенатор П. Н. Клушин, государственный контролер, а затем министр финансов Александра II С. А. Грейг, многолетний министр юстиции (1867–1878) того же царствования К. И. Пален. Большинство же (32 человека) представляли среди прочих члены императорской фамилии – председатель Государственного совета вел. кн. Михаил Николаевич и брат царя вел. кн. Владимир Александрович, будущий министр внутренних дел, преемник Д. А. Толстого И. Н. Дурново, будущий министр путей сообщения А. Я. Гюббенет. Разномыслие носило, таким образом, чисто правовой характер, и показательно, что сторонники широкого толкования закона с позиции практической целесообразности оказались в меньшинстве, уступив тем, кто основывался строго на его букве и духе.

Таким образом, можно сделать вывод, что к концу XIX в. провозглашение главенства закона, постоянно раздававшееся с высоты престола, с начала XVIII столетия перестало быть простой декларацией. Более того, даже в критические для государства периоды, при обсуждении чрезвычайных мер, закон в глазах входивших различных совещания чиновников оказывался выше страха перед беспорядками. Так, на Особых совещаниях 1878–1880 гг. на фоне роста терроризма и растерянности общества пытаясь выработать меры, направленные на то, чтобы справиться с чрезвычайной ситуацией, сановные участники совещаний так и не смогли выйти за привычные рамки. Особенно последовательны были министры юстиции граф К. Н. Пален, а затем сменивший его Д. Н. Набоков. На совещании 8 июля 1878 г. их стремление сохранить обычный порядок судопроизводства вывело из себя Валуева, который «опрокинулся» на Набокова и придерживавшегося той же точки зрения нового министра финансов С. А. Грейга[20]. Сам Валуев объяснял свою резкость реакцией «на странные разглагольствования» министра финансов... и министра юстиции... Последний, например, даже «после убийства шефа жандармов среди белого дня, на Михайловской площади, <...> как будто думал не о предупреждении или преследовании преступлений, а исключительно о неприкосновенности прав прокуроров»[21]. Защита Набоковым прокуроров понятна, т. к. речь шла об изъятии из-под прокурорского надзора ареста и административной ссылки лиц, подозреваемых в государственных преступлениях или участвующих в уличных беспорядках [22]. Несколько позже это стремление к законности привело к попытке поставить в рамки закона институт генерал-губернаторства, согласовать их права «с существующими узаконениями»[23].

Такая позиция сановников, несмотря на разговоры о радикальных мерах, привела к тому, что выработать общее направление действий им не удавалось. Все обсуждение сводилось к конкретным вопросам, относящимся к сфере действия их ведомств. Главным образом они охватывали сферу непосредственной борьбы со злоумышленниками – усиление полиции и ее прав, вопросы, касающиеся задержания, содержания и суда политических преступников, наблюдения за политическими ссыльными и противодействия их агитации в местах ссылки. Неоднократно поднимался вопрос о борьбе с агитацией, в том числе среди рабочих и студенчества, а также излишние вольности периодической печати и проч. Принимаемые решения и рекомендации, будучи направлены на решение конкретных проблем, также носили конкретный характер.

Распространенная в советской историографии трактовка этих мер как усиление полицейского произвола не вполне логична, поскольку все они (кроме указов о генерал-губернаторах) санкционировались законодательно, т. е. проводились через Государственный Совет или Комитет министров. Кроме того, наиболее радикальные законы неизменно подавались как временные, т. е. именно как таковые, независимо от их дальнейшей судьбы, воспринимались в бюрократической среде в период их составления. Таковы, например, закон 9 мая «О временном изменении подсудности и порядка производства дел по некоторым преступлениям»[24], «Высочайше утвержденные правила 1 сентября 1878 г.», содержавшие «необходимые меры к ограждению общественного спокойствия и безопасности», в т. ч. разрешении жандармам входить в любое время на фабрики и производить там обыски[25], а также Закон 9 августа «О временном подчинении дел о государственных преступлениях и о некоторых преступлениях против должностных лиц ведению военного суда, установленного для военного времени»[26].

При этом, однако, стремление к соблюдению законности приводило к тому, что само правитель-

ство, борясь с агитацией, становилось виновником распространения в обществе самых крайних идей. Издатель и журналист Н. П. Гиляров-Платонов жаловался в декабре 1879 г. что, запрещая журналам и газетам печатать отчеты о политических делах, велев руководствовать исключительно официальной информацией, предоставляемой «Правительственным Вестником» и заимствовать из него отчеты «без изменений и сокращении», правительство само популяризирует революционные идеи, причем сразу двумя способами, ибо, во-первых, «*Правительственный* же *Вестник*, к несчастью, слишком добросовестно передает показания преступников», фактически пропагандируя их идеи. А во-вторых, власти сами «торжественностью обстановки возвышают мальчишек. Мирского, например, следовало бы подвергнуть публичному телесному наказанию розгами и отдать затем в исправительное заведение, а не в каторгу, и именно в Соловецкий монастырь»[27].

Радикальные выступления общества не вызывали столь же радикальной реакции со стороны правительства. Когда в 1879 г. П. А. Шувалов выдвинул идею о высылке из Петербурга всех подозрительных лиц, он не встретил понимания у членов совещания[28]. Примечательно, что четверть века спустя, в разгар октябрьских событий 1905 г. также поступит и министр внутренних дел П. Н. Дурново. Этот решительный человек, впоследствии сыгравший значительную роль в успокоении революции, тогда отказался от предложения разом успокоить столицу, выслав из нее 700–800 человек и закрыть все типографии, печатающие революционные издания[29]. Это не было проявлением страха – в крайних случаях Дурново не останавливался перед применением суровых мер. Но в то же время слова «мы – конституционное правительство»[30] также не были в устах Дурново пустым звуком. По роду своей деятельности сановная бюрократия была тесно связана с исполнением закона, и его нарушение допускалось ею неохотно и только в самых крайних случаях.

В целом можно сказать, что вторая половина XIX в. стала временем создания в России основ правового государства, возникновение которого является одним из признаков формирования гражданского общества. Главенство закона не оспаривалось даже в кризисные для отечественной государственности периоды, и умудренные сановники пытались найти выход из ситуации, не нарушая закон, а лишь расширяя его рамки.

Примечания

1 См., напр.: Дарендорф Р. После 1989. Мораль, революция и гражданское общество. М., 1998. С. 89.

2 Чичерин Б. Н. Русское дворянство // Несколько современных вопросов. М., 1862.

3 Никитенко А. В. Дневник. М.; Л., 1955. Т. 2. Запись 22 сентября 1865 г. С. 534–535.

4 Валуев П. А. Дневник министра внутренних дел. М., 1961. Т. 2. Запись 7 ноября 1860 г.

5 См., напр.: Половцов А. А. Дневник государственного секретаря. М., 1966. Т. 2. Запись 12 ноября 1888 г. С. 103.

6 Гросул В. Я. Русское общество XVIII–XIX веков: Традиции и новации. М., 2003. С. 146, 305.

7 Никитенко А. В. Указ. соч. Т. 3. Запись 31 марта 1867 г. С. 79.

8 Щеголев П. Е. М. Н. Катков, П. А. Валуев и А. Е. Тимашев // Голос минувшего. 1914. № 4. С. 245.

9 Там же. С. 243.

10 Никитенко А. В. Указ. соч. Т. 3. Запись 19 августа 1866 г. С. 45.

11 ГА РФ. Ф. 677. Оп. 1. Д. 625. Л. 10.

12 Озеров И. Х. Мемуары // Вопросы истории. 1997. № 1.

13 Милютин Д. А. Дневник. Т. 3. Запись 24 мая 1878 г. С. 60.

14 Ленин В. И. ПСС. Т. 15. С. 328.

15 Исторический обзор деятельности Комитета министров. Т. 4. Комитет министров в царствование императора Александра III. СПб., 1902. С. 1–2.

16 См.: Кочаков Б. М. Русский законодательный документ XIX – нач. XX веков // Вспомогательные исторические дисциплины. Сб. ст. М.; Л., 1937. С. 325.

17 Развитие русского права в первой половине XIX в. М., 1994. С. 27.

18 Татищев С. С. Император Александр II. М., 1996. Кн. 2. С. 100.

19 РГИА. Ф. 1159. Оп. 1. Д. 335. Мемории общего собрания Государственного Совета. Ч. V. 1884, май. Л. 13 – 47 об.

20 Милютин Д. А. Дневник. Т. 3. С. 87. Запись 8 августа 1878 г.

21 Валуев П. А. Дневник 1877–1884. С. 29. Запись 6 сентября 1878 г.

22 О разрабатываемых совещанием вопросах см: Зайончковский П. А. Кризис самодержавия на рубеже 1870 – 1880-х годов. М., 1864. С. 77.

23 Письмо Е. М. Феоктистова М. Н. Каткову от 22 декабря 1879 г. // НИОР РГБ. Ф. 126. К. 12.

24 Полное собрание законов. Собрание второе. Т. 53. № 58488. 9 мая 1878 г.

25 В Полном собрании законов опубликованы не были. Их содержание и анализ см.: Зайончковский П. А. Указ. соч. С. 76–77.

[26] Полное собрание законов. Собрание второе. Т. 53. № 58778. 9 августа 1878 г.

[27] Письмо Н. П. Гилярова-Платонова – Н. В. Шаховскому от 5 декабря 1879 г. // РО РНБ. Ф. 847. № 502. Л. 1–1 об.

[28] Милютин Д. А. Дневник. Т. 3. С. 129. Запись 15 марта 1879 г.

[29] Герасимов А. В. На лезвии с террористами. С. 43.

[30] Там же.

С. В. Куликов

ПРОЕКТЫ КОНСТИТУЦИЙ ХАРИТОНОВА П. А., САЛОМОНА А. П. И ГРАФА ГЕЙДЕНА А. Ф. (НОЯБРЬ–ДЕКАБРЬ 1905 г.): НЕИЗВЕСТНЫЕ ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ ОСНОВНЫХ ЗАКОНОВ 1906 г.

Прочный правовой фундамент для развития гражданского общества в Российской империи заложили Основные государственные законы, утвержденные Николаем II 23 апреля 1906 г., что делает особенно актуальным изучение процесса их создания. Между тем до сих пор остаются неизученными первоначальные этапы этого процесса, связанные, прежде всего, с подготовкой в конце 1905 г. трех проектов новых Основных законов. Речь идет о проектах, составленных товарищем (заместителем) государственного секретаря П. А. Харитоновым (при участии сенатора Н. П. Гарина), директором Александровского лицея А. П. Саломоном и начальником Военно-походной канцелярии царя графом А. Ф. Гейденом (при участии Саломона). В историографии только В. С. Дякин, изучая другую тему, буквально в двух словах отозвался о проектах (Дякин, 1976. С. 244). Новые источники по истории этого этапа создания конституции 1906 г. (прежде всего – воспоминания Харитонова) были найдены и опубликованы автором настоящей статьи (Последняя архивная находка?.. 1996; Новые материалы... 1998; Институт экспертизы... 2004), перу которого принадлежат и основанные на анализе указанных источников несколько статей (Куликов, 1999; он же, 2001; он же, 2003; он же, 2004 б; он же, 2005; он же, 2006).

Прежде чем перейти к непосредственному рассмотрению поставленной проблемы, обратимся к личностям авторов проектов, поскольку именно индивидуальность каждого из них во многом обусловила содержание соответствующего проекта. Кроме того, несмотря на роли, сыгранные Харитоновым, Саломоном и Гейденом в истории дореволюционной России, они практически неизвестны не только широкому кругу любителей, но и профессиональным историкам.

Автор первого проекта новых Основных законов, Петр Алексеевич Харитонов (1852–1916), сын потомственного дворянина, сенатора А. А. Харитонова (1816–1896), в 1873 г., по окончании, с отличием, Училища правоведения, поступил на службу в Департамент Министерства юстиции. В 1876 г. товарищем министра юстиции становится Э. В. Фриш, который впоследствии способствовал карьерному росту Харитонова: уже в 1883 г. он назначается юрисконсультом Министерства юстиции. Это объяснялось не только традиционным покровительством правоведов друг другу (Фриш тоже окончил Училище правоведения), но и выдающимися деловыми качествами Харитонова. Не менее важно и другое – Фриш принадлежал к числу типичных представителей бюрократического либерализма и конституционализма (Кони, 1989. С. 282; Крыжановский, 1997. С. 124; Половцов, 2005. С. 213). Если бы Харитонов не был единомышленником Фриша, последний вряд ли столь участливо относился к его карьере.

В 1886 г. по инициативе Фриша, ставшего за три года до этого главноуправляющим Кодификационным отделом при Госсовете, Харитонов назначается старшим чиновником Отдела, в 1893 г., после слияния Кодификационного отдела с Госканцелярией, – помощником статс-секретаря Госсовета по Департаменту законов. В 1897 г. Харитонов, опять по предложению Фриша, начал исправлять должность статс-секретаря Госсовета в Департаменте гражданских и духовных дел, председателем которого являлся тот же Фриш (Лопухин, 2008. С. 115). В феврале 1904 г., в связи с назначением госсекретарем барона Ю. А. Икскуля фон Гильденбандта, Харитонов получил повышение, став товарищем госсекретаря, на посту которого в 1905–1906 гг. оказался буквально в эпицентре подготовки либеральных реформ, поскольку заведовал делопроизводством всех четырех особых совещаний, заседавших под председательством Николая II.

Если до 1905 г. свои взгляды Харитонов, естественно, не афишировал, то с этого времени стал открыто позиционировать себя как либерального

бюрократа, поскольку «превратился в решительного сторонника парламентарного строя» (Гурко, 2000. С. 117). Характерно, что либерализм Харитонова нисколько не тормозил его карьеры: в 1906 г. Николай II наградил Харитонова званием сенатора и назначил членом Госсовета, в 1907 – вручил ему министерский портфель госконтролера, наконец, в 1911 пожаловал сановника-либерала в статс-секретари его величества. Между тем император не мог не знать (по докладам председателей верхней палаты), что в Госсовете Харитонов сразу же вошел в либеральную Группу центра (ее членом он оставался до своей кончины) (Бородин, 1999. С. 274; Демин, 2006. С. 304–326), занимавшую «среднее положение между октябристами и кадетами» (Гурко, 2000. С. 228). При этом Харитонов тяготел именно к Конституционно-демократической партии (Переписка правых... 1996. № 1. С. 125; № 4. С. 138; Совет министров... 1999. С. 439), а потому в 1915 г. возглавлял группу «прогрессивных министров» (Гурко, 2000. С. 659) и прочился оппозицией в премьеры правительства, опирающегося на народное представительство (Из истории борьбы..., 1996. С. 150; Куликов, 2004 а. С. 43–70, 83–96). Смерть Харитонова в апреле 1916 г. прервала его политическую карьеру.

Проект новых Основных законов Харитонов подготовил при участии сенатора Н. П. Гарина: на это указал в своих воспоминаниях сам Харитонов (Новые материалы... 1998. С. 98, 99). С Гариным Харитонова связывала 19-летняя совместная служба сначала в Кодификационном отделе, а потом в Госканцелярии (подробнее о Гарине см.: Куликов, 2008. С. 50–51).

Второй проект новых Основных законов характеризовался Харитоновым как «составленный директором Императорского Александровского лицея А. П. Саломоном» (Новые материалы... 1998. С. 99). Александр Петрович Саломон (1853–1908) являлся сыном члена Государственного совета и сенатора П. И. Саломона (1819–1905), внука шведского купца. Большое влияние на формирование взглядов Саломона, отличавшихся либеральностью, оказал, кроме отца, дядя А. В. Головнин, министр народного просвещения в 1861–1866 гг. (Рубец, 1911. С. 228). Усвоению Саломоном либеральных взглядов способствовала не только родственная и околородственная среда, но и учеба в Александровском лицее, где, по словам графа С. Ю. Витте, «так хорошо» приготовлялся «либеральный мед» (Из архива С. Ю. Витте... 2003. Т. 2. С. 288).

В 1874 г., по окончании Лицея с золотой медалью, Саломон поступил в Госканцелярию – несомненно, по протекции Д. М. Сольского, тогда – ее начальника, госсекретаря. Во всяком случае, в глазах Харитонова Саломон был «близким человеком Д. М. Сольскому» (Новые материалы... 1998. С. 99.). Здесь, как в случае с Фришем и Харитоновым, сыграла роль не только корпоративная солидарность (лицеисты, подобно правоведам, всегда поддерживали друг друга), но и идейная близость между Саломоном и Сольским, типичным представителем бюрократического либерализма и конституционализма [С. А. Муромцев... С. 43–44; Львов (Клячко), С. 29; Редигер, 1999. С. 422; Из архива С. Ю. Витте... 2003. Т. 1. С. 211; Т. 2. С. 465]. Во время Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. Саломон получил ранение на фронте и по окончании войны прошел курс Николаевской академии Генерального штаба, но затем покинул армию и вернулся на гражданскую службу, поступив в 1881 г. в МВД, где в 1882–1891 гг. служил в Главном тюремном управлении. Превращаясь в крупного специалиста по пенитенциарному делу, Саломон продолжал оставаться либералом.

Упрочению в Саломоне либеральных взглядов содействовала его тесная дружба с выдающимся философом В. С. Соловьевым (Волконский, 1992. С. 72), начавшаяся в 1877 г. и продолжавшаяся до кончины последнего (Материалы к биографии Вл. Соловьева... 1992. С. 400). Поклонение культу Соловьева сделало Саломона частым посетителем салонов графини С. А. Толстой, княгини Е. Г. Волконской и принцессы Е. М. Ольденбургской, причем хозяйки этих салонов сочувствовали либерализму (Таганцев, 1919. С. 33; Половцов, 2005. С. 277). С 1894 г. Саломон являлся сотрудником «Вестника Европы» (М. М. Стасюлевич... 1913. С. 380), посещая салон их издателя М. М. Стасюлевича, где господствовал «просвещенный либерализм» и мечтали о введении в России «правового строя, иначе говоря, конституции» (Гурко, 2000. С. 279). Наконец, в 1890-е гг. Саломон активно сотрудничал в «Санкт-Петербургских ведомостях», редактор которых, князь Э. Э. Ухтомский, в конце XIX – начале XX в. находился «на левой стороне русской печати» (Амфитеатров, 2004. С. 104).

Хотя Саломон являлся представителем правительственного либерализма и конституционализма, это ни в коей мере не препятствовало его карьере – в 1896–1900 гг. он занимал пост начальника Главного тюремного управления (ГТУ), проведя ряд реформ, которые заметно гуманизировали существовавшую систему наказаний. Одна из таких реформ – упразднение в 1900 г. ссылки в Сибирь. Деятельность Саломона как начальника ГТУ находила полную поддержку Николая II (Рубец, 1911. С. 231). С должности начальника ГТУ Саломон перешел в Ведомство учреждений императрицы Марии, став директором Александровского лицея. Директорство Саломона (1900–1908 гг.) было, бесспорно, последней важной вехой в истории про-

славленного вуза – в это время существенному преобразованию подверглись буквально все стороны лицейской жизни согласно проекту, разработанному новым директором (Саломон, 1901. С. 1–70). Пребывание во главе Лицея способствовало упрочению отношений Саломона с Двором и лично Николаем II (Рубец, С. 231). Благоволение царя к Саломону выразилось в том, что в 1902 г. Николай II наградил директора придворным чином шталмейстера.

Поведение Саломона в 1905 г. предопределили его либеральные взгляды: несомненно, он сочувствовал земскому движению, осведомляя о нем графа Д. М. Сольского. По просьбе последнего Саломон познакомил графа с профессором Лицея, С. А. Муромцевым, оказавшимся к тому времени одним из лидеров земского движения, – встреча Сольского и Муромцева произошла 3 июля (С. А. Муромцев... 1911. С. 43–44, 226). Летом 1905 г. Саломон устраивал в Лицее для его учащихся вечерние лекции, на которых Муромцев рассказывал об оппозиционных съездах земских и городских деятелей (Павлова, 2002. С. 190). В марте 1906 г., явно в воздаяние разработки проекта Основных законов, Сольский предлагал назначить Саломона в Госсовет (Половцов, 1923. С. 97), куда он попал в мае 1908, но буквально через несколько дней скончался.

Третий проект новых Основных законов, согласно Харитонову, был составлен графом А. Ф. Гейденом при участии Саломона (Дякин, 1976. С. 244; Новые материалы... 1998. С. 99). Биография Александра Федоровича Гейдена (1859–1919) подтверждает, что автор третьего проекта – именно он. Гейден принадлежал к вестфальскому дворянскому роду XV в., представители которого в XVII в. переселились в Нидерланды, в 1790 г. – получили графское достоинство Священной Римской империи и с 1795 г. – состояли на российской службе, создав знаменитую военно-морскую династию. Отец Гейдена, генерал-адъютант Ф. Л. Гейден (1821–1900), финляндский генерал-губернатор (1888–1897) и член Госсовета, своей деятельностью зарекомендовал себя как представитель либеральной бюрократии (Суни, 1982. С. 38, 56, 57). Тем не менее семейство Гейденов пользовалось давней близостью ко Двору, а потому А. Ф. Гейден являлся другом детства будущего Николая II (Мосолов, 1992. С. 169).

Серьезно увлекаясь русской историей, Гейден первоначально изменил традициям рода и поступил на Историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета, где учился на одном курсе с С. Ф. Платоновым, который оценивал его как начинающего ученого весьма высоко (Платонов, 1920. С. 114, 115), особо выделяя кандидатскую диссертацию однокурсника (Гейден, 1886). Учась в Университете, Гейден сблизился с преподававшим там В. С. Соловьевым (Материалы к биографии Вл. Соловьева... 1992. С. 394, 395) и с Саломоном (Лукьянов, 1990. С. 175), а это дает веские основания для утверждения, что уже тогда молодой историк разделял либеральные взгляды. В 1882 г., по окончании Университета, Гейден поступил в Департамент духовных дел иностранных исповеданий МВД, однако через три года вернулся к семейной традиции и перешел с гражданской службы на военно-морскую, в Гвардейский флотский экипаж. В 1890-х гг. Гейден становится одним из первых в истории России военно-морских стратегов (Гейден, 1898).

Параллельно с научной карьерой Гейден успешно делал и придворную карьеру, с 1900 г. занимая должность начальника Канцелярии Императорской Главной квартиры, после реорганизации которой он (с 1904 по 1906 г.) – начальник Военно-походной канцелярии Николая II. Кроме того, с 1904 г. Гейден состоял и в Свите его величества, получив от императора военно-придворное звание флигель-адъютанта, будучи в это время, как «близкий человек к государю» (Киреев, 2010. С. 19), «особенно доверенным лицом» Николая II (Мосолов, 1992. С. 169). Еще более примечательно, что ближайший сотрудник монарха разделял либеральные взгляды, усвоенные графом еще в юности. Не случайно, что флигель-адъютант помогал императору при составлении Манифеста 26 февраля 1903 г. (Столыпин, 2004. С. 90–91), в котором впервые объявлялось о необходимости «усовершенствования государственного порядка», т. е. либеральных реформ. Судя по всему, Гейден являлся также сторонником конституции. В сентябре 1903 г. князь Г. М. Волконский, сын Е. Г. Волконской, послал Николаю II брошюру, в которой писал «о своевременности перехода к представительному образу правления и о настоятельной потребности включения в Основные законы Империи гарантий, обеспечивающих права личности». Через неделю именно от Гейдена Волконский получил письмо, сообщавшее, что его брошюра передана царю (Освобождение. 1903. № 8. 2 октября. С. 148).

В 1905 г. либерализм Гейдена проявился еще сильнее: именно он был одним из устроителей состоявшегося 6 июня приема императором депутации лидеров либеральной оппозиции во главе с князем С. Н. Трубецким и написал текст ответной речи Николая II (Богданович, 1990. С. 356), непосредственно в день приема встретил депутацию у царского дворца и принял от нее петицию для передачи монарху Николаю (Трубецкая, 1937. С. 211), наконец, присутствовал на самом приеме (Петрункевич, 1934. С. 377, 381). Гейден оказался у истоков Государственной думы, составив проект Манифеста о создании законосовещательной Думы, обсуж-

давшийся на Совещании сановников 30 июля при участии графа, причем окончательный текст Манифеста, подписанного Николаем II 6 августа, стал результатом соединения проектов Гейдена и Таганцева (Таганцев, 1919. С. 39). В конце 1905 г. Гейден принадлежал к числу сановников, к которым Николай II «питал доверие» и которые вызывались монархом, чтобы «выслушать их мнение» (Мосолов, 1992. С. 55). Причастность Гейдена к созданию новых Основных законов выразилась не только в составлении их проекта, но и в обсуждении этой проблемы в узком кругу наиболее близких к императору лиц. «Вечером, – записал Николай II 2 марта 1906 г., – у меня были Трепов (Д. Ф., дворцовый комендант. – *С. К.*) , Гейден ... по вопросу об Основных законах. Разговорились до 12 час.» (Николай II, 1991. С. 304). Однако политическая роль Гейдена вскоре сошла на нет – по причине изменения его служебного статуса. С августа 1906 г. Гейден являлся начальником Морской походной канцелярии Николая II, и проблемы военно-морской стратегии снова стали для графа наиболее актуальными. По семейным обстоятельствам Гейден был вынужден оставить и этот пост, хотя получил, в апреле 1908 г., звание контр-адмирала Свиты. Умер Гейден в 1919 г. в большевистском Петрограде.

Изучение биографий Харитонова, Саломона и Гейдена доказывает, что составление именно ими проектов новых Основных законов, особенно учитывая их политические взгляды, было не случайностью, а закономерностью. Каково же время составления этих проектов?

Подготовка новых Основных законов явилась непосредственным итогом издания Манифеста 17 октября 1905 г. В написанном Саломоном проекте Манифеста по поводу издания новых Основных законов от имени монарха говорилось: «Мы признали за благо, следуя внушениям совести Нашей и честности государевой, исполнить слово Наше и объявить ныне же и ввести в действие, по праву, Нам принадлежащему, как всероссийскому самодержцу — измененный, соответственно Манифесту Нашему 17 октября, Основной закон Российской империи, государственное устройство определяющий» (Новые материалы... 1998. С. 132). Судя по всему, вопрос о подготовке проекта новых Основных законов Николай II поднимал 24 октября 1905 г., когда принимал госсекретаря Икскуля-фон-Гильденбандта, и 3, 4 или 5 ноября, принимая Трепова (Николай II, 1991. С. 285, 287). «В начале ноября 1905 г., – вспоминал Харитонов, – Н. П. Гарин (сенатор), по поручению Д. Ф. Трепова, обратился ко мне с вопросом – не возьмусь ли я пересмотреть Основные законы и составить новый их проект в соответствии с Манифестом 17 октября 1905 г. Вместе с тем Н. П. Гарин заявил мне, что предлагаемый вопрос делается по высочайшему повелению» (Новые материалы... 1998. С. 98–99). Встреча Харитонова с Гариным состоялась не ранее 9 ноября 1905 г. – именно тогда Гарин был назначен сенатором (Куликов, 2008. С. 50). Хотя о его сенаторстве Харитонов мог упомянуть, имея в виду служебное положение Гарина на момент написания воспоминаний.

По-видимому, именно Гарин, хорошо зная Харитонова по предыдущей совместной службе, и порекомендовал его Трепову, а тот – Николаю II, на роль составителя новых Основных законов. Не исключено, однако, что мысль о привлечении Харитонова на эту роль могла принадлежать и самому царю, который знал Харитонова по особым совещаниям 1905 г. Так или иначе, но над составлением проекта Харитонов работал в ноябре и начале декабря, т. е. довольно долго. «Работа по Основным законам, – объяснял он это обстоятельство, – была мною несколько задержана, в виду спешных занятий по Совещаниям для выработки дополнительных к Положению 6 августа 1905 г. о выборах узаконений, где я также был членом-делопроизводителем. Между тем во время происходившего 5 декабря 1905 г. в Царском Селе заседания Совещания, под личным председательством государя императора, созванного для обсуждения проектов, выработанных Советом министров, о дополнительных в Думу выборах (Указ 11 декабря 1905 г.), во исполнение 2-го пункта Манифеста 17 октября 1905 г., во время перерыва, Д. Ф. Трепов объявил мне, что государь император ожидает от меня проект Основных законов. Вследствие сего предварительно уже набросанный мною проект я сообщил Н. П. Гарину; затем мы совместно его пересмотрели, после чего в исправленном виде Н. П. Гарин передал проект Д. Ф. Трепову» (Новые материалы... 1998. С. 98–99). Как представляется, дворцовый комендант передал харитоновский проект Николаю II 10 декабря, когда Трепов имел у монарха аудиенцию (Николай II, 1991. С. 292).

Проект Саломона создавался приблизительно одновременно с проектом Харитонова. Саломон датировал «Предисловие» к своему проекту «декабрем 1905 г.», но сам проект был готов не позднее 11 декабря 1905, когда царь утвердил новый избирательный закон, постановления которого в соответствующем разделе саломоновского проекта еще отсутствуют. «В Основные законы, – объяснял Саломон существование подобной лакуны, – должны входить как Учреждение Государственных палат, так равно и Положение о выборах в оные. Но эти части Основных законов не могут быть разработаны ранее, чем будет проектирована реформа Государственного совета» (Новые материалы... 1998. С. 111). Особое совещание под председательством Сольского для разработки необходимых измене-

ний в действующем Учреждении Государственного совета царь образовал 28 октября (Государственная канцелярия... 1910. С. 443). Следовательно, начало работы Саломона над проектом относится к концу октября – началу ноября, а ее продолжение – к ноябрю – началу декабря 1905 г., что подтвердил он сам. «В настоящее время, – писал Саломон в "Предисловии", – по высочайшему повелению разрабатывается в Особом совещании преобразование Государственного совета» (Новые материалы... 1998. С. 110).

Гейден мог начать подготовку проекта сразу после издания Манифеста 17 октября, находясь в отпуске, – это подтверждается тем, что законодательными функциями он наделил только Думу. К концу октября возник вопрос о наделении Госсовета правами, равными полномочиям Думы, и Гейден бы, естественно, учел данное обстоятельство, начни он составление проекта позднее.

По нашему мнению, царь имел все три проекта уже 10 декабря, когда он записал: «Вечером принял Трепова и много занимался» (Николай II, 1991. С. 292). Очевидно, что предметом усиленных занятий монарха были именно проекты, полученные от дворцового коменданта. Правомерность нашей даты подтверждается и воспоминаниями Харитонова. «18 декабря 1905 г., – писал он, – графом Д. М. Сольским получены были от государя императора три проекта Основных законов... Все три проекта переданы были Государем графу Дмитрию Мартыновичу для представления по ним его заключения» (Новые материалы... 1998. С. 99). Николай II не мог, получив проекты 17 или даже 16 декабря, на другой же день передать их Сольскому, предварительно не рассмотрев столь важные документы (Николай II, 1991. С. 292, 293).

Что же использовали авторы проектов в качестве их источников?

Прежде всего – отечественное законодательство, а именно – старые Основные законы. «Исходной точкой проекта, – подчеркивал Саломон в "Предисловии", – должны служить действующие Основные законы, из коих следует сохранить все то, что, не противореча букве и духу Манифеста 17 октября, имеет действительно характер законов основных, а также не является историческим пережитком веков минувших» (Новые материалы... 1998. С. 111).

Харитонов без всяких изменений инкорпорировал в свой проект главы прежних Основных законов о порядке престолонаследия, о совершеннолетии императора, регентстве и опеке, о его вступлении на престол и присяге подданства, о короновании и миропомазании царя, об императорском титуле и государственном гербе и о вере и Учреждение об Императорской фамилии, а также отдельные постановления глав о верховной власти и о законах.

Саломон привнес из старых Основных законов в новые большинство постановлений глав о престолонаследии, о совершеннолетии монарха, регентстве и опеке, о вступлении на престол и присяге подданства, о короновании и миропомазании, о титуле и гербе и о вере и некоторые постановления из глав о верховной власти, о законах и из Учреждения об Императорской фамилии.

Гейден же ввел в новые Основные законы, с небольшими дополнениями, не только те же главы, что и Харитонов, и Учреждение об Императорской фамилии, но и главу о законах (со всеми ее шестью разделами) и отдельные постановления главы о верховной власти.

Важнейшими источниками для проектов послужили Манифест 17 октября 1905 г., а также Судебные уставы 1864 г., Учреждение Государственной думы 6 августа 1905 г. и, в случае с Харитоновым, «Основные положения преобразования Государственного совета» – делопроизводственный документ, подготовленный для Особого совещания Сольского по пересмотру Учреждения Госсовета, судя по всему, тем же Харитоновым, поскольку он являлся членом-делопроизводителем Совещания (Государственная канцелярия... 1910. С. 443). Первое заседание Совещания состоялось 4 ноября 1905 г. (Высшие и центральные государственные учреждения... 1998. С. 60), причем «Основные положения» к этому времени были уже распечатаны (Таганцев, 1919. С. 108). «Основные положения» состояли из трех разделов: в первом – определялись права Думы и Госсовета, во втором – содержались постановления о личном составе верхней палаты, в третьем – регламентировался порядок ее внутреннего делопроизводства. Из 22 статей первого раздела (о Думе и Госсовете) 21 большей частью дословно вошли в проект Харитонова.

Второй источник проектов – иностранные конституции. В Объяснительной записке к проекту Основных законов Харитонов указывал, что он «составлен применительно к таковым же законам других государств» (Куликов, 2006. С. 273). «Иностранных конституций сборники, – вспоминал Харитонов, – уже у меня были; я их себе купил ранее для работ по составлению проектов Учреждений Государственной думы и Государственного совета; эти проекты разрабатывались мною для Совещания графа Д. М. Сольского, где я состоял членом-делопроизводителем» (Новые материалы... 1998. С. 98–99). Несомненно, что среди сборников, использованных Харитоновым, находился и первый том публикации под названием «Современные конституции», изданный в 1905 г. оппозиционными государствоведами В. М. Гессеном и бароном Б. Э. Нольде и содержавший тексты основных законов конституционных монархий (Современные

конституции... 1905). В качестве источников своего проекта Харитонов ссылался на конституции Австрии, Баварии, Бадена, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Греции, Дании, Испании, Италии, Нидерландов, Норвегии, Португалии, Пруссии, Румынии, Саксонии, Сербии, Швеции и Японии (Куликов, 2006. С. 274), причем в разговоре с Витте, во время одного из заседаний Совета министров в марте 1906 г., особо упомянул об итальянской, шведской и японской конституциях (Из архива С. Ю. Витте... 2003. Т. 1. С. 811).

Иностранные конституции использовали при подготовке своих проектов и Саломон с Гейденом. «Настоящий проект, – характеризовал свое творение Саломон, – неизбежно имеет характер компилятивной работы. Автору предстояло возможно крепко спаять в одно целое старое и новое, заимствуя это новое из чужестранной практики» (Новые материалы... 1998. С. 114). К началу XX в. догматика конституционного права относительно стабилизировалась, а потому оригинальное творчество на поприще создания конституционных актов было возможно только в плоскости комбинирования в одно целое уже проверенных на практике положений, а не конструирования неизвестных ранее норм.

Третий источник проектов Харитонова, Саломона и Гейдена – проекты, подготовленные оппозиционными государствоведами, что вполне объяснимо, если вспомнить о либеральных взглядах этих сановников. Вспоминая, как он «приступил к собиранию материалов, которые могли бы послужить путеводною нитью при составлении проекта новых Основных законов», Харитонов писал: «Я добыл от А. Г. Тимрота (статс-секретаря Государственного совета) привезенный им из-за границы “Проект русской конституции, выработанный группою членов «Союза Освобождения»” (Струве), а затем распорядился отпечатать в Государственной типографии проект (конституции), напечатанный в “Русских Ведомостях” 6 июля 1905 г. (№ 180), а также программу Конституционно-демократической партии, выработанную учредительным съездом партии 12–18 октября 1905 г.» (Новые материалы... 1998. С. 98–99). Проекты конституции, составленные лидерами «Союза Освобождения» и под руководством С. А. Муромцева (именно последний проект появился в «Русских Ведомостях»), и программу Кадетской партии Харитонов характеризовал в другом месте как «материалы, бывшие в виду при составлении проекта № 1» (Куликов, 2006. С. 277). Из 65 статей проекта Харитонова 59 (91 %) генетически связаны проектами «Союза Освобождения» и Муромцева, и кадетской программой (Куликов, 2006. С. 280).

Обращение к разработкам лидеров либеральной оппозиции, а не консервативного лагеря (например – В. И. Гурко, члена «Отечественного союза», или С. Ф. Шарапова), свидетельствует о подлинности либерализма не только Харитонова. Имея близкие отношения с Муромцевым по Александровскому лицею, Саломон мог получить от него как проект «Союза Освобождения», так и проект самого профессора Лицея, от Саломона же эти проекты, судя по всему, попали к Гейдену.

Какова же структура проектов Харитонова, Саломона и Гейдена?

Проект Харитонова состоит из 65 статей и шести глав: 1) Положения общие, 2) Об императорской власти, 3) О правах российских подданных, 4) О законах, 5) О Государственной думе и Государственном совете, 6) О председателе Совета министров, министрах и других должностных лицах. На самом деле статей и глав в этом проекте намного больше, поскольку Харитонов в статье 18 сохранил силу за постановлениями, которые содержались в перечисленных выше главах прежних Основных законов. Таким образом, в развернутом виде проект Харитонова насчитывает 205 статей и 12 глав, включая в себя, в качестве второго раздела конституции, Учреждение об Императорской фамилии (Новые материалы... 1998. С. 101–109).

Проект Саломона менее пространен, чем проект Харитонова, поскольку состоит из 88 статей и 12 глав: 1) О верховной власти, 2) О порядке наследия престола, 3) О совершеннолетии императора, правительстве и опеке, 4) О вступлении на престол и о присяге подданства, 5) О священном короновании и миропомазании, 6) О титуле императорского величества и о государственном гербе, 7) Об Императорском доме, 8) О вере, 9) О законах, 10) О правах российских граждан. Проект заканчивается двумя главами – 11 и 12: Об устройстве Государственных палат (т. е. Думы и Государственного совета) и О выборах в Государственные палаты, причем первая из них состоит из 32 статей, имеющих предварительный характер, поскольку к моменту окончания работы над проектом Учреждение законосовещательной Думы и старое Учреждение Госсовета еще не подверглись окончательному пересмотру в Особом совещании Сольского, вторая же из упомянутых глав, по причине незавершенности пересмотра прежнего избирательного закона, вообще оказалась не заполненной статьями (Новые материалы... 1998. С. 116–131).

Наиболее пространным является проект Гейдена, состоящий из 222 статей и двух разделов, первый из которых содержит 115 статей и 11 глав: 1) О верховной власти, 2) О порядке наследия престола, 3) О совершеннолетии императора, о правительстве и опеке, 4) О вступлении на престол и о

присяге подданства, 5) О священном короновании и миропомазании, 6) О титуле императорского величества и о государственном гербе, 7) О вере, 8) О законах, 9) О составе государства и государственном языке, 10) О правах российских граждан, 11) О Великом княжестве Финляндском. Второй раздел проекта Гейдена составляют 97 статей действовавшего Учреждения об Императорской фамилии (Новые материалы... 1998. С. 133–144).

Следовательно, во все три проекта их авторы включили специальную главу о правах российских подданных (граждан), создавая правовые предпосылки для развития гражданского общества, хотя, в противоположность Харитонову и Саломону, у Гейдена отсутствует особая глава о народном представительстве, что, однако, не означало третирования Думы, поскольку ее Учреждению, как и Положению о выборах в нее, граф придал статус основных законов.

Переходя к анализу наиболее важных статей проектов, остановимся, прежде всего, на трактовке их авторами отношений между монархом и палатами. У Харитонова в законодательстве верховная власть ограничивается однозначно, поскольку царь имеет право законодательствовать исключительно «совместно» с Думой и Госсоветом (ст. 8). У Саломона законодательная власть хотя и «принадлежит» императору, но «осуществлять» ее он может «не иначе, как чрез Государственные палаты, в порядке, Основными законами установленном» (ст. 4). Очевидно, и здесь ограничение царской власти в законодательстве проводится однозначно. Более того, согласно Саломону, Государственные палаты учреждаются «для участия в осуществлении законодательной власти и в делах высшего государственного управления» (Приложение, ст. 1), т. е. Саломон идет дальше Харитонова, ограничивая монарха не только в законодательстве, но и в управлении, и создавая правовые предпосылки для функционирования парламентарной системы. У Гейдена законодательная власть, как и у Саломона, также «принадлежит» императору, но «осуществляется» им «через Государственную думу, в порядке, Основными законами и Учреждением Государственной думы установленном» (ст. 2). Иными словами, у Гейдена в законодательстве царь ограничивается лишь Думой, а не Госсоветом, который, очевидно, должен был оставаться законосовещательным учреждением, что более соответствует буквальному смыслу Манифеста 17 октября.

В соответствии с идеей ограниченной монархии Харитонов (ст. 5) и Саломон (ст. 1), отказываясь от вековой российской традиции, не применяют по отношению к монарху прилагательные «неограниченный» и «самодержавный». Мотивируя необходимость устранения термина «неограниченный», Саломон писал в «Предисловии» к своему проекту, что он «несовместим с предрешенным Манифестом 17 октября участием Государственной думы в осуществлении законодательной власти». Сложнее обстояло дело с термином «самодержавный», который, не будучи синонимом термину «неограниченный», имеет, по мнению Саломона, «иной характер», указывая «скорее на источник верховной власти, чем на образ действия ее», однако, «во избежание недоразумений», термин «самодержавный» шталмейстер советовал не вводить в новые Основные законы. Наоборот, понятие «самодержец», полагал Саломон, «непременно должно быть сохранено, как драгоценное наследие исторического прошлого России и неотъемлемая принадлежность императорского титула» (Новые материалы... 1998. С. 111). Принимая во внимание отмеченное Саломоном отсутствие тождества между прилагательными «неограниченный» и «самодержавный», Гейден убрал только первое из них (ст. 1), отражая, несомненно, представления не только свои, но и Николая II, который уже в апреле 1906 г. также пошел на изъятие слова «неограниченный». Сохранение графом термина «самодержавный» лишний раз доказывает, что именно он является автором соответствующего проекта – шталмейстер, согласно вышеприведенным соображениям, выступил против этого.

По-разному авторы проектов решили вопрос о политической ответственности правительства. В конституции Харитонова министры коллективно ответствуют «за общий ход государственного управления» (ст. 63), но перед кем или чем именно – тактично умалчивается. Очевидно, что в данном случае речь идет о политической ответственности правительства перед палатами, т. е. парламентарной системе. Саломон и здесь идет дальше Харитонова, и прямо вводит особые статьи о политической ответственности министров «пред императором и Государственными палатами» (ст. 5) и даже перед одним народным представительством (Приложение, ст. 30). Подобное формальное закрепление политической ответственности правительства перед палатами имелось в то время только в конституционных актах Австралии и Франции (Куликов, 2010. С. 101). Таким образом, идею парламентаризма Саломон проводит более откровенно, чем Харитонов, недвусмысленно ограничивая царя и в законодательстве, и в управлении. Гейден оставляет за императором «власть управления во всем ее пространстве» (ст. 3), учреждая не парламентарную, а дуалистическую систему, противопоставляя принципу народного суверенитета принцип суверенитета монархического.

Рассмотрение проектов Харитонова (№ 1), Саломона (№ 2) и Гейдена (№ 3) показывает, что в

идеологическом отношении более либеральным из них является второй, более консервативным – третий, занимающий «золотую середину» – первый, который к тому же вышел из-под пера выдающихся кодификаторов. Вероятно, поэтому проект Харитонова сразу занял лидирующее положение. «Э. В. Фриш, которому я показывал проекты № 2 и № 3, – вспоминал Харитонов, – назвал их “любительскими”» (Новые материалы... 1998. С. 99). Именно харитоновский проект и лег в основу окончательной редакции конституции 1906 г.

Список литературы

Амфитеатров А. В. Жизнь человека, неудобного для себя и для многих: в 2 т. М., 2004. Т. 2.

Богданович А. В. Три последних самодержца. М., 1990.

Бородин А. П. Государственный совет России (1906–1917). Киров, 1999.

Волконский С. М. Мои воспоминания: в 2 т. М., 1992. Т. 2.

Высшие и центральные государственные учреждения России. 1801–1917 гг. Т. 1. СПб., 1998.

Гейден А. Ф. Из истории возникновения раскола при патриархе Никоне. СПб., 1886.

Гейден А. Ф. Практические занятия по прикладной морской стратегии на Курсе военно-морских наук. СПб., 1898.

Государственная канцелярия 1810–1910. СПб., 1910.

Гурко В. И. Черты и силуэты прошлого. Правительство и общественность в царствование Николая II в изображении современника. М., 2000.

Демин В. А. Верхняя палата Российской империи. 1906–1917. М., 2006.

Дякин В. С. Чрезвычайно-указное законодательство в России (1906–1914 гг.) // Вспомогательные исторические дисциплины. 1976. Т. 7. С. 240–271.

Из архива С. Ю. Витте. Воспоминания. Рассказы в стенографической записи. Рукописные заметки: в 2 т. СПб., 2003.

Из истории борьбы в верхах накануне Февральской революции: новые документы // Русское прошлое. 1996. Кн. 6. С. 148–180.

Институт экспертизы при создании Основных законов 1906 г. Неопубл. док. // Нестор. 2004. № 4. Наука и власть. Источники. Исследования. Рецензии. С. 29–64.

Киреев А. А. Дневник. 1905–1910. М., 2010.

Кони А. Ф. Избранное. М., 1989.

Крыжановский С. Е. Заметки русского консерватора // Вопросы истории. 1997. № 2. С. 115–130.

Куликов С. В. Граф С. Ю. Витте и П. А. Харитонов: эпизод из истории создания Основных государственных законов 1906 г. // С. Ю. Витте – выдающийся государственный деятель России. Мат-лы науч. конф. СПб., 1999. С. 73–77.

Куликов С. В. Власть науки и наука власти в России нач. XX в. // Россия XXI. 2001. № 5. С. 112–137; № 6. С. 44–65.

Куликов С. В. Примечание к с. 463 // Из архива С. Ю. Витте. Воспоминания. Рассказы в стенографической записи. Рукописные заметки: в 2 т. СПб., 2003. Т. 2. С. 549–552.

Куликов С. В. Бюрократическая элита Российской империи накануне падения старого порядка (1914–1917). Рязань, 2004.

Куликов С. В. Основные государственные законы 1906 г.: рецепция западного конституционализма в России нач. XX в. // Зарубежный опыт и отечественные традиции в российском праве. Мат-лы всеросс. науч.-метод. сем. СПб., 2004. С. 237–243.

Куликов С. В. Японские корни русской конституции // Родина. 2005. № 10. С. 72–75.

Куликов С. В. Бюрократические вариации на оппозиционную тему: источники Основных государственных законов 1906 г. // Проблемы российской истории. Вып. 6. М.; Магнитогорск, 2006. С. 270–289.

Куликов С. В. Гарин Н. П. // Государственный совет Российской империи. 1906–1917. Энцикл. М., 2008. С. 50–51.

Куликов С. В. Народное представительство Российской империи (1906–1917 гг.) в контексте мирового конституционализма нач. XX в.: сравнительный анализ // Таврические чтения – 2009. Актуальные проблемы истории парламентаризма в России (1906–1917 гг.). Межд. науч. конф. СПб., 2010. С. 11–109.

Лопухин В. Б. Записки быв. директора Департамента МИД. СПб., 2008.

Лукьянов С. М. О Вл. Соловьеве в его молодые годы: в 3 кн. М., 1990. Кн. 3. Вып. 2.

Львов (Клячко) Л. М. Звездная палата // Минувшие годы. 1928. № 3. С. 13–38.

М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке: в 5 т. СПб., 1911–1913. Т. 5. СПб., 1913.

Материалы к биографии Вл. Соловьева (Из архива С. М. Лукьянова) // Российский архив. 1992. Т. 2–3. С. 392–427.

Мосолов А. А. При дворе последнего императора. СПб., 1992.

Николай II Дневники. М., 1991.

Новые материалы к истории создания Основных государственных законов 1906 г. // Русское прошлое. 1998. Кн. 8. С. 91–164.

Освобождение. 1903. № 8. 2 октября. С. 148.

Павлова С. В. Императорский Александровский (быв. Царскосельский) лицей. СПб., 2002.

Переписка правых и др. мат-лы об их деятельности в 1914–1917 гг. // Вопросы истории. 1996. № 1. С. 113–133; № 4. С. 135–155.

Петрункевич И. И. Из записок общественного деятеля. Воспоминания // Архив русской революции. 1934. Т. 21.

Платонов С. Ф. Несколько воспоминаний о студенческих годах // Дела и дни. 1920. Кн. 2. С. 112–120.

Половцов А. А. Дневник // Красный архив. 1923. Т. 4. С. 63–128.

Половцов А. А. Дневник государственного секретаря: в 2 т. М., 2005. Т. 2.

Последняя архивная находка? Установлено имя автора первой российской конституции, которой 6 мая 1996 г. исполнилось бы 90 лет... // Час пик. 1996. № 93. С. 7.

Редигер А. Ф. История моей жизни. Воспоминания военного министра. В 2 т. М., 1999. Т. 1.

Рубец А. А. 1811–1911. «Наставникам, хранившим юность нашу». Памятная книжка чинов Императорского Александровского, быв. Царскосельского, лицея с 1811 по 1911 г. СПб., 1911.

С. А. Муромцев. Сб. ст. М., 1911.

Саломон А. П. Приложение № 1 к Докладной записке директора Императорского Александровского лицея его попечителю графу Н. А. Пратасову-Бахметеву. 9 мая 1901 г. СПб., 1901.

Совет министров Российской империи в годы Первой мировой войны. Бумаги А. Н. Яхонтова (записи заседаний и переписка). СПб., 1999.

Современные конституции. Т. 1. Конституционные монархии. СПб., 1905.

Столыпин П. А. Переписка. М., 2004.

Суни Л. В. Самодержавие и общественно-политическое развитие Финляндии в 80–90-е гг. XIX в. Л., 1982.

Таганцев Н. С. Пережитое. В 2-х вып. Пг., 1919. Вып. 1.

Трубецкая О. Н. Из пережитого // Современные записки. 1937. Кн. 64. С. 277–318.

Б. Н. Миронов

К ВОПРОСУ О ПРИЧИНАХ РУССКИХ РЕВОЛЮЦИЙ НАЧАЛА XX в.

В России после отмены крепостного права произошло настоящее экономическое чудо. В 1861–1913 гг. темпы экономического развития были сопоставимы с европейскими, хотя отставали от американских. Национальный доход за 52 года увеличился в 3,84 раза, а на душу населения – в 1,63 раза. И это несмотря на огромный естественный прирост населения, о котором в настоящее время даже мечтать не приходится. Население империи (без Финляндии) увеличилось за эти годы с 73,6 до 175,1 млн – в среднем почти по 2 млн ежегодно (Статистический ежегодник, 1916. I. С. 151). Душевой прирост объема производства составлял 85 % от среднеевропейского. С 1880-х гг. темпы экономического роста стали выше не только среднеевропейских, но и «среднезападных»: валовой национальный доход увеличивался на 3,3 % ежегодно – это даже на 0,1 больше, чем в СССР в 1929–1941 гг. (Селюнин, Ханин, 1987. С. 190), и только на 0,2 % меньше, чем в США, – стране с самыми высокими темпами развития в мире (Грегори, 2003. С. 22–23, 61–62). Развивались все отрасли народного хозяйства, хотя и в разной степени. Наибольшие успехи наблюдались в промышленности. Однако и сельское хозяйство, несмотря на институциональные трудности, прогрессировало среднеевропейскими темпами.

Но главное чудо состояло в том, что при высоких темпах роста экономики и населения происходило существенное повышение благосостояния, другими словами, индустриализация сопровождалась повышением уровня жизни крестьянства (86 % населения в 1897 г.) и, значит, происходила не за его счет, как общепринято думать.

На чем основывается такое заключение?

О росте благосостояния свидетельствуют увеличение индекса развития человеческого потенциала (с 0,171 до 0,308), который учитывает (1) продолжительность жизни; (2) уровень образования; (3) валовой внутренний продукт на душу населения (см. табл. 1).

Вывод о повышении благосостояния населения основывается также на данных о сельскохозяйственном производстве, налогах, потреблении, зарплате (Миронов, 2010. С. 621-640) и, наконец, на антропометрических сведениях (росте и весе). Финальный средний рост (длина тела, достигаемая в момент наступления полной физической зрелости) людей, получивший в специальной литературе название *биологического статуса*, широко применяется в экономической науке на Западе с конца 1960-х гг. и рассматривается в качестве альтернативного показателя уровня жизни. Использование антропометрических данных опирается на доказанный в биологии человека факт, что финальный средний рост людей характеризует степень удовлетворения базисных потребностей человека в пище, одежде, жилище, медицинском обслуживании и т. п. в течение всего периода физического созревания. Люди, чьи потребности удовлетворяются лучше, превосходят ростом тех, чьи потребности удовлетворяются хуже, и наоборот. С биологической точки зрения, человек до достижения полной физической зрелости превращает потребленные

Таблица 1

Индекс развития человеческого потенциала в России в 1851–1914 гг. (без Финляндии)

Годы	Население, млн	ВВП на душу населения*		Образование**			Средняя продолжительность жизни		Индекс развития человеческого потенциала
		Дол.	Индекс	Грамотность, %	Учащиеся, %	Индекс	Лет	Индекс	
1851–1860	73,5	701,0	0,381	14	1,4	0,098	27,1	0,035	0,171
1861–1870	78,4	675,9	0,374	17	1,9	0,120	27,9	0,048	0,181
1871–1880	91,7	666,4	0,372	19	2,3	0,134	28,8	0,063	0,190
1881–1890	110,6	679,9	0,375	22	2,5	0,155	29,7	0,078	0,203
1891–1900	125,8	790,7	0,402	28	3,5	0,198	31,2	0,103	0,234
1901–1910	147,6	928,1	0,430	33	5,5	0,250	32,9	0,132	0,271
1913	171,0	1036,0	0,449	40	7,9	0,293	36,0	0,183	0,308

* В долларах США 1989 г.

** Без Польши и Финляндии.

Подсчитано по: Воспроизводство населения. С. 61; Грегори, 2003. С. 22, 232–237; Демографическая модернизация, 2006. С. 292; Миронов, 1991. С. 82, 146; Миронов, 1994. С. С. 111–125; Очерки истории школы, 1991. С. 518, 525, 527, 529, 531.

продукты в энергию, которая затем расходуется на различные нужды – на поддержание жизнедеятельности организма, работу, учебу, спорт, борьбу с инфекциями, болезнями и т. п., а *чистый остаток* энергии от питания преобразуется в рост и при избытке питания – в вес. После достижения полной физической зрелости рост уже не изменяется, при понижении биостатуса происходит снижение веса, а при повышении – его увеличение. Из биологической теории следует, что в рамках одного этноса высокие люди, взрослые и дети, в массе своей лучше питались, имели лучший уход и жилищные условия, меньше болели и т. д., т. е. *в массе* обладали более высоким биостатусом, чем люди с низким ростом. Следовательно, *данные о среднем росте позволяют оценить, как удовлетворяются базисные потребности человека и благодаря этому судить о динамике благосостояния народа*. Подчеркнем, что средний рост – *равнодействующая* всех факторов, влиявших на физическое развитие человека, среди которых доходы, питание, интенсивность работы, миграции, социальная структура населения, уровень материального неравенства, заболеваемость, эпидемии, колебания климата. Вследствие этого конечный рост является *интегральным* показателем уровня жизни, оценивая его с точки зрения удовлетворения базисных потребностей людей. Особенно это верно для обществ, в которых львиная доля доходов тратится на поддержание жизни.

Анализ более 200 тыс. индивидуальных сведений о новобранцах и рабочих и 11,7 млн агрегированных данных обо всех призывниках в 1874–1913 гг. показывает, что конечный средний рост мужчин после Великих реформ увеличился на 5 см – со 164 до 169 см, при этом на 3,4 кг увеличился вес (с 63,1 до 66,5) и возросла мускульная сила. Отсюда следует, что уровень жизни россиян в пореформенное время повышался, так как ни рост, ни вес не могут увеличиваться без улучшения питания и условий жизни. Как указано, вывод о повышении уровня жизни на основе антропометрических сведений поддерживается данными о питании и сельскохозяйственном производстве, зарплате, доходах и платежах, смертности и рождаемости, здоровье и культуре, которые не столь точны и полны, как антропометрические. Таким образом, можно с уверенностью сказать, что повышение жизненного уровня коснулось всего населения в целом и прежде всего крестьянства.

Как известно, улучшение условий жизни рассматривается в теории модернизации в качестве главного критерия ее успешности (Tiryakian, 1985. С. 131–147). Поскольку имперская Россия модернизировалась и благосостояние населения росло, модернизацию следует признать успешной, несмотря на все издержки. Достигнутые в пореформенной России успехи позволяют сделать два важных вывода: (1) успехи и прогресс не исключают революции; (2) причины русских революций надо искать не в провале, а в успехах модернизации, в трудностях перехода от традиции к модерну.

На основе обобщения мирового опыта в политической социологии предлагается несколько объяснений происхождения революций в зависимости от того, какой фактор считается относительно более важным, – психосоциальное, структурное и по-

литическое. П. А. Сорокин сформулировал одно из *психосоциальных* объяснений: суть революции – в патологических и варварских действиях человека, свидетельствующих о полном разрыве с цивилизацией, дисциплиной, порядком и нравственностью. Патологическое поведение является реакцией на невыносимо тяжелые условия жизни и перерождается в революцию, когда ослабевшая власть утрачивает способность поддерживать порядок силой (Сорокин 1992. С. 266–294). Если концепция адекватна, логично ожидать увеличения числа преступников, суицидентов и психически больных среди наиболее бедной и угнетенной части населения в годы революции и предшествующих ей годах. Имеющиеся данные не подтверждают эту гипотезу.

Число осужденных общими судами на 100 тыс. населения составило в 1900–1904 гг. – 86, в 1905–1907 гг. – 82, в 1908–1912 гг. – 104 (Ли, 1997. С. 121–122), т. е. в годы Первой русской революции преступность понизилась. Похожая картина наблюдалась в годы Первой мировой войны, накануне второй русской революции. В 1914–1916 гг. по восьми судебным округам, за которые сохранились сведения о числе следствий, уровень преступности был в 1,3 раза ниже, чем в 1911–1913 гг., в том числе в городе он увеличился на 3 %, а в деревне уменьшился на 36 % (Тарновский, 1918. С. 98, 104, 109). Вряд ли это можно объяснить только уходом миллионов здоровых мужчин в армию. Во-первых, понизилась преступность женщин и детей, которые мобилизации не подлежали. Во-вторых, численность городского населения за четыре года войны, с 1914 по 1917 г., увеличилась с 20,4 млн до 25,6 млн или на 25,5 % (Волков, 1930. С. 264–271), а в городах совершалось около 36 % всех преступлений (Ежегодник России, 1911. С. 345, 353, 359; Гернет, 1922. С. 192). В-третьих, в деревне за 1914–1916 гг. число преступлений уменьшилось в большей степени (на 36 %), чем население: в армию было взято около 11 % всего населения и 23 % мужчин (Россия в мировой войне. С. 22). Сведения о преступности за 1917–1919 гг. не введены в научный оборот (возможно, они вообще не сохранились). Но данные за 1920–1924 гг. свидетельствуют о скачке преступности после революции: число осужденных в 1920–1924 гг. относительно 1911–1913 гг. увеличилось в 2,8 раза – с 883 до 2495 на 100 тыс. (Лунеев, 1997. С. 56–57; Миронов, 2003. Т. 2. С. 85). Для сравнения, в 2006-2009 гг. число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. достигло 2398 и было в 1,4 раза больше, чем в 1911–1913 гг.

По числу самоубийств на 100 тыс. населения во второй половине XIX – начале XX в. Россия среди 15 европейских стран, США и Японии находилась на предпоследнем месте, немного превосходя Испанию и в 8–10 раз уступая находившимся на первом месте Дании и Швейцарии (Лихачев, 1882. С. 177–181; Миронов, 2003. Т. 2. С. 416; Новосельский, 1910. С. 623). В годы первой русской революции 1905–1906 гг. коэффициент самоубийств понизился и стал повышаться только с 1907 г., после ее окончания, достигнув максимума к началу Первой мировой войны (см. табл. 2).

Таблица 2

Коэффициент самоубийств в России в 1902–1912 гг.

Год	1902	1903	1904	1905	1906	1907	1908	1909	1910	1911	1912
Суицидов на 100 тыс.	2,3	2,5	2,3	2,2	2,3	2,7	2,8	3,1	3,4	3,4	4,4

Источник: Отчет о состоянии народного здравия за [1902–1914] год.

Во время Первой мировой войны, если судить по Петрограду, Москве и Одессе, коэффициент самоубийств снизился в 2,8–3 раза (Тарновский, 1926. С. 192–193), а с ее окончанием стал расти и в целом по стране в 1923–1926 гг. превзошел довоенный уровень в 1,3 раза (5,6 против 54,4 на 100 тыс.). Для сравнения, в 1989 г. коэффициент самоубийств в Российской Федерации был в 5,9 раза выше, чем в 1912 г, (25,8 на 100 тыс.), в 1994 г. – в 9,5 раза (41,8 на 100 тыс.), в 2008–2009 гг. – после чего стала снижаться и составила 29 на 100 тыс. в 2008–2009 гг. – в 6,6 раза выше, чем в 1912 г. В 2000–2009 гг. по уровню самоубийств Россия занимает одно из первых мест в Европе (Труд. 02.02.2009).

Сведения о распространении психических расстройств также не подтверждают психосоциальную гипотезу происхождения русских революций. Представление об изменении их числа дают данные о пациентах психиатрических больниц. В 50 губерниях Европейской России с 1901 по 1914 г. число пациентов в клиниках увеличилось с 48 до 72 на 100 тыс., но по абсолютному значению оставалось незначительным (Отчет о состоянии народного здравия за [1885–1914] год; Общий свод, 1905. Т. 2. С. 187–189). Сравнение числа страдающих психическими расстройствами, по сведениям переписи населения 1897 г. и по отчетам больниц, обнаруживает, что за помощью в психиатрические лечебницы обращались примерно 10 из каждых 26 в ней нуждавшихся, следовательно, фактическое число душевнобольных превышало число пациентов примерно в 2,6 раза. Но даже если количество пациентов увеличить в 2,6 раза – до 234 тыс., т. е. до 187 на 100 тыс., все равно их было мало сравнительно с другими европейскими странами. На рубеже XIX в. в Австрии число пациентов с пси-

хическими расстройствами на 100 тыс. насчитывалось в Австрии – 223, в Норвегии – 263, в Дании – 302, в Англии и США – 305–323 (Жариков и др., 2003. С. 131). Намного больше было в советской и постсоветской России: в 1989 г. на учете в лечебно-профилактических учреждениях состояло 2656 тыс., или 1799 на 100 тыс. человек населения (Охрана здоровья в СССР, 1990. С. 44, 46–47), а в 2010 г. – 6 млн, или 5598 на 100 тыс., т. е. в 10 раз и 30 раз больше, чем в 1913 г. (Чуркин, Творогова, 2011. С. 23).

В годы первой русской революции, 1905–1907 гг., не наблюдалось взрывного увеличения числа пациентов. Учет лиц с психическими расстройствами во время Первой мировой войны, и особенно с конца 1917 г., был разрушен; после революции многие больницы закрылись или были перепрофилированы под школы, клубы, детские сады и ясли. В мае 1919 г., когда решением Совнаркома содержание всех психиатрических больниц было принято на государственный бюджет, в них находилось лишь 16 тыс. человек. По мнению специалистов, больницы должны были вмещать 200 тыс. пациентов (Ястребов, 2011), что мало отличалось от оценки числа душевнобольных на 1914 г. в 234 тыс. По-видимому, во время войны и революции не произошло большого изменения в числе психически больных.

Влияние революций на психическое здоровье активно обсуждалось в специальной литературе. Мнения разделись. Большинство полагало, что политические волнения не воздействуют ни на число, ни на течение психических расстройств, но некоторые психиатры такую связь усматривали, хотя дело не шло далее спекуляций. «Этиологическая связь между революционными событиями и развитием душевного расстройства не выявлена» (Юрьева, 2002. С. 173). Кроме того, вопрос о росте психических расстройств как факторе революционных событий даже не ставился; речь шла о воздействии революции на психику людей (Юрьева, 2002. С. 171–133).

Таким образом, снижение коэффициентов преступности и самоубийств и стагнация или «нормальное» увеличение числа психических расстройств во время войн и накануне революций не дает основания связывать происхождение революционных событий с ростом числа людей, склонных к патологическому поведению.

Вторая психосоциальная концепция, выдвинутая сторонниками структурно-демографической теории, в качестве важнейшей причины революции рассматривает омоложение населения. Согласно основоположнику теории Дж. Голдстоуну: «Быстрый рост удельного веса молодежи может подорвать существующие политические коалиции, порождая нестабильность. Большие когорты молодежи зачастую привлекают новые идеи или гетеродоксальные религии, бросающие вызов старым формам власти. К тому же поскольку большинство молодых людей имеют меньше обязательств в плане семьи или карьеры, они относительно легко мобилизуются для участия в социальных или политических конфликтах. Молодежь играла важнейшую роль в политическом насилии на протяжении всей письменной истории, и наличие “молодежного бугра” (необычно высокой пропорции молодежи в возрасте 15–24 лет в общем взрослом населении) исторически коррелировалось с периодами политических кризисов. Большинство крупных революций – включая и большинство революций XX в. в развивающихся странах – произошло там, где наблюдались особо значительные «молодежные бугры» (Goldstone, 1991. С. 11–12). Российские сторонники этой концепции полагают, что молодежный фактор в Русской революции 1917 г. был «“задействован” по всем параметрам» (Гринин и др., 2010. С. 388), не приведя, однако, доказательств, кроме ссылки на революционную активность студенчества. Проверим адекватность «молодежной теории». С этой целью проанализируем изменение возрастной структуры населения России и выясним, имелся ли в ней в начале XX в. молодежный бугор.

Теоретически в стране с более высокими темпами роста населения действительно должно быть больше молодых и меньше пожилых людей. Однако увеличение доли молодых происходит в большей степени не за счет революционного возраста в 15–24 года, а за счет лиц в возрасте 0–14 лет (Сови, 1977. С. 195, 199; Сови, 1977 а. С. 75). Многое зависит от конкретной ситуации, и далеко не всегда более высокому естественному приросту соответствует более молодое население (Брук, 1981. С. 140–158).

Теперь рассмотрим российский вариант начала XX в. Среднегодовой естественный прирост населения с 1861–1865 по 1911–1913 гг. увеличился с 1,42 % до 1,68 %. Сравнение возрастной структуры населения России в 1897 и 1920 гг. показывает, что эта прибавка в естественном приросте была недостаточна, чтобы существенно повлиять на долю лиц в возрасте 15–24 года (Общий свод 1905. Т. 1. С. 56–58; Статистический ежегодник, 1921. С. 38–61). Согласно двум последовательным переписям, с 1897 по 1920 г. доля лиц в возрасте 15–24 года во взрослом населении (в возрасте 15 лет и старше) уменьшилась с 30,0 % до 27,8 %, среди горожан – соответственно с 33,8 до 28,0 %, среди сельских жителей – с 29,3 до 27,7 %. Среди мужского населения доля молодежи сократилась еще больше – на 5,4 % вследствие военных потерь в Первую миро-

вую и Гражданскую войны. Доля молодых женщин приблизительно показывает, *какой бы была доля мужчин, если бы не военные потери*. В 1920 г. сравнительно с 1897 г. во всем взрослом населении доля женщин в возрасте 15–24 года осталась неизменной, среди городского на 0,2 уменьшилась, а среди сельского населения, наоборот, на 0,1 % увеличилась. Таким образом, никакого молодежного бугра и омоложения населения в интервале между 1896–1920 гг. не наблюдалось, гипотезу «молодежной революции» приходится отклонить.

Среди психосоциальных теорий наиболее популярна *теория относительной депривации*. Она делает акцент на психологической неудовлетворенности, вследствие противоречия между тем, что есть, и тем, что хочется и должно быть в соответствии с представлениями известных групп и индивидов (Gurr, 1970). Еще французский политолог XIX в. А. де Токвиль полагал, что революции происходят тогда, когда наступает улучшение материального положения населения, уменьшаются репрессии, смягчаются ограничения, улучшается политическая ситуация (Штомпка, 2005. С. 563–564). Между прочим, и теория конфликта указывает на относительную депривацию как на важнейшую причину социального конфликта (Козер, 2000). Именно *относительная депривация* наблюдалось в пореформенной России. Рост потребностей постоянно обгонял достигнутый уровень жизни. Все слои населения, и интеллигенция в наибольшей степени, постоянно хотели больше того, что имели, и больше того, что реально возможно было иметь при имевшихся в то время экономических и финансовых ресурсах, низкой культуре населения, невысокой производительности труда. «Повышенные ожидания» замечены в крестьянской (Burds, 1998. С. 181–182) и рабочей среде: «Положение рабочих медленно улучшалось, а сознание необустроенности быстро развивалось. Рост желаемых потребностей опережал увеличение предоставляемых возможностей, такая диспропорция, все увеличиваясь, оставляла все меньше возможностей для мирного урегулирования» (Володин, 2009. С. 147). С 1870-х по 1911–1913 гг. номинальный средний годовой заработок российских фабрично-заводских рабочих увеличился примерно на 33 % (со 190 до 254 руб.), сельскохозяйственных рабочих – на 75 % (с 57 до 100 руб.), учителей земских школ – на 188 % (со 135 до 390 руб., с квартирой и отоплением от школы). Однако и в 1870-е гг., и в начале 1910-х гг. все жаловались на плохое материальное положение, особенно учителя, считавшие свой заработок крайне недостаточным для интеллигентного человека, хотя в 1913 г. он был в 1,5 раза выше, чем у промышленных рабочих, а в 1870-е гг. – в 1,4 раза ниже. Как ни парадоксально, в еще большей степени сетовали на материальное положение учителя гимназий, чье годовое жалованье в 1910 г. равнялось 2100 руб., т. е. было в 5,4 раза выше, чем у земских учителей (Миронов, 2010. С. 670–671). В период Первой мировой войны депривация достигла критического уровня, так как быстро растущие ожидания натолкнулись на внезапное ухудшение условий жизни, а неудачи на фронте и большие военные потери отняли оптимизм и веру в конечную победу. Двойная, или прогрессирующая, депривация – относительно претензий и относительно прежних реальных достижений – оказалась особенно болезненной. Люди приобретали революционный настрой из-за опасения потерять то, чего ими с таким трудом удалось достигнуть. Американский социолог Дж. Дэвис утверждает, что подобная прогрессирующая депривация была причиной всех великих революций в истории (так называемая теория «J-кривой») (Davies, 1962. С. 5–19; Davies, 1971).

Структурные теории ищут источники революции преимущественно в поляризации общества, разделенного на привилегированные и угнетенные социальные группы, и в нарастающем конфликте групповых интересов. Если существует высокий уровень неравенства, то революция может легко разразиться при ослаблении государственных структур, защищающих господство привилегированных групп, например вследствие неудачной войны (Skockpol, 1979). Однако в России уровень экономического неравенства был умеренным, хотя налицо был глубокий социально-культурный раскол общества. Повышение жизненного уровня, наблюдавшееся в пореформенный период, не сопровождалось возникновением огромного имущественного неравенства – в России оно было на порядок ниже, чем в западных странах. Если сравнивать бедного крестьянина с Романовыми, Шереметьевыми, Юсуповыми и подобными русскими аристократами, то неравенство, конечно, было громадным, хотя и намного меньшим, чем в современной России между олигархами и остальным населением. Но если сравнивать большие группы населения, например, оценивать различие в доходах 10 % самых богатых и самых бедных (так называемый децильный коэффициент), то степень имущественного неравенства оказывается умеренной и существенно ниже, чем в развитых западных странах того времени. Децильный коэффициент имущественной дифференциации в России начала XX в. находились в интервале от 4 до 6, в США от 16 до 18, в Великобритании превышал 40 (Миронов, 2010. С. 655–660).

Относительно того, что поражения в Русско-японской войне и неудачи в Первой мировой войне ослабили власть и государственные структуры и

спровоцировали революции, среди историков наблюдается почти полный консенсус.

Наконец, *политические теории* происхождение революции видят главным образом в борьбе за власть между противоборствующими политическими элитами. Поэтому во время революции часто встречается *ситуация двоевластия*, означающая, что борющиеся политические блоки находятся в переходной ситуации равновесия (Штомпка, 2005. С. 570). Борьба элиты и контрэлиты за власть, как и двоевластие, действительно являются характерными чертами русских революций начала XX в.

Имеется еще один вариант политической теории – *перепроизводство элит*. Здесь главной причиной революции признается усиление борьбы внутри элиты, вызванного ее численным перепроизводством относительно имеющихся в наличии ресурсов. Недовольство элит напрямую ведет к ослаблению и в конечном итоге развалу государства, революциям и гражданским войнам (Турчин, 2007. С. 173–176, 257–259; Турчин, 2010). С точки зрения сторонников данной концепции, причина русской революции 1917 г. – *экзистенциальный кризис, вызванный недостатком ресурсов для элиты*. В сущности, это неомальтузианская концепция. Данные об изменении численности привилегированных страт не подтверждают эту гипотезу: доля любой привилегированной группы в населении страны в 1719–1913 гг. уменьшалась, естественно, сократилась и суммарная их доля – с 4,6 до 2,5 %, в том числе в пореформенное время, 1858–1913 гг., – с 3,2 до 2,5 %. Если российскую элиту идентифицировать на основании образования, то и в этом случае не приходится говорить о ее перепроизводстве относительно ресурсов. Доля людей с высшим образованием среди лиц в возрасте от 20 лет и старше составила в конце 1850-х гг. – 0,12 %, в 1897 г. – 0,23 %, в 1917 г. – 0,51 % (Миронов, 2010. С. 645–655). Экономика страны росла высокими темпами и предъявляла повышенный спрос на образованных людей, поэтому в них ощущался дефицит.

Каждая из упомянутых теорий подчеркивает большее значение того или иного фактора, необходимого для свершения революции. Однако для революции одинаково важны как сильно недовольные массы, так и энергичные умелые организаторы и лидеры. Не происходят они в условиях жестоких репрессий и лишений, ибо в этом случае массы обречены на конформизм и пассивность. Даже К. Маркс признавал, что крайнее обнищание, чрезмерные страдания и эксплуатация пролетариата не приводят к революции, потому что подавляют его общественное и революционное сознание (Волков и др., 2006. С. 464). Для революции необходимо наличие *ресурсов:* денег для организационных мероприятий, контактов со сторонниками и единомышленниками, времени и энергии для конспирации (хотя бы для некоторых социальных групп), развитых средств массовой коммуникации, хотя бы минимальный уровень гражданских прав и свобод, наконец, поддержка со стороны авторитетных социальных групп и организаций. Словом, революция становится возможной при одновременном действии всех перечисленных факторов.

С точки зрения механизма революционного процесса, выделяют *конструктивистскую* и *структуралистскую* модели. Первая модель рассматривает революцию как следствие целенаправленных действий лидеров, революционных групп или масс. В *«конспиративном»* варианте конструктивистской модели революции являются результатом агитационной или организационной деятельности профессиональных оппозиционеров и революционеров. Им удается убедить и мобилизовать к революционным действиям массы, которые вследствие этого становятся предметом целенаправленных манипуляций. Напротив, *«вулканический»* вариант первой модели большое значение придает стихийности действий масс, особенно остро ощущающих преследования, эксплуатацию, несправедливость, а также подчеркивает лавинообразный характер распространения революции, охватывающей все более широкие слои общества. Структуралистская модель рассматривает революцию как естественный результат формирования объективных социальных предпосылок, подготавливающих стихийное революционное выступление элит и масс. Однако в этом случае необходим своего рода спусковой крючок – либо ослабление аппарата насилия и репрессий, когда правящий класс проявляют слабость или неспособность к дальнейшему руководству (концепция *«кипящего котла»)*, либо наличие различных средств и разнообразных ресурсов (концепция *«найденного сокровища»)* (Штомпка, 2005. С. 559–572). Русские революции начала XX в. сочетали обе модели. Налицо были социальные, экономические, политические и культурные предпосылки, подготовившие массы к революционным действиям, энергичная и умелая организационная работа лидеров, а также стихийный лавинообразный характер распространения революции.

Революции начала XX в. произошли не потому, что Россия после Великих реформ 1860-х гг. вступила в состояние глобального перманентного кризиса, а потому, что общество не справилось с процессом модернизации (в смысле перехода от традиционного к современному обществу). Как и в других странах второго эшелона модернизации, ее ускоренное, а в некоторых случаях и преждевременное, проведение потребовало больших издержек и даже жертв – например, со стороны помещиков, у которых государство принудительно экспроприирова-

ло землю, хотя и за компенсацию. Это привело к лишениям и испытаниям для отдельных групп населения и не принесло равномерного благополучия сразу и всем. Велики оказались и побочные негативные последствия модернизации – рост социальной и межэтнической напряженности, конфликтности, насилия, девиантности во всех ее проявлениях – от самоубийства до социального и политического протеста. Необыкновенный рост всякого рода протестных движений явился, с одной стороны, порождением дезориентации, дезорганизации и повышенной напряженности в обществе, с другой – результатом получения свободы, ослабления социального контроля и увеличения социальной мобильности, с третьей – следствием роста потребностей, превышающих возможности экономики и общества их удовлетворить. *Конфликт традиции и модерна можно назвать системным кризисом модернизации*. Однако такой кризис не имеет ничего общего с тем пониманием системного кризиса, которое доминировало в советской историографии и до сих пор широко бытует в современной литературе, – как всеобщего и перманентного кризиса, превратившего российский социум в несостоятельную и нежизнеспособную систему, не способную развиваться и приспосабливаться к изменяющимся условиям жизни и обеспечивать благосостояние населения. «Упадок старого, вызванный ростом нового и молодого, – это признак здоровья», – справедливо полагал Хосе Ортега-и-Гассет. *Кризис российского социума был кризисом роста и развития*. Он не вел фатально к революции, а лишь создавал для нее предпосылки, только возможность, ставшую реальностью в силу особых обстоятельств – военных поражений, трудностей военного времени и непримиримой борьбы за власть между нарождающимся гражданским обществам в лице оппозиционной общественности и монархией.

Уроки русских революций начала XX в.

Пореформенное, 1861–1917 гг., и постсоветское, 1985–2010 гг., развитие России в одном отношении поразительно похоже, в другом – сильно различается. Сначала о сходстве. Огромные надежды накануне реформ сменились разочарованием с началом их проведения. Реформы сопровождались примерно десятилетним экономическим спадом, а затем в циклическом ритме происходил подъем. В первые 10–20 лет после реформы наблюдался громадный рост отклоняющегося поведения. Уже через 10–15 лет обнаружились темные стороны модернизации–вестернизации – повышение социальной напряженности и насилия, громадное увеличение девиантности. Развитие рыночной экономики стало дестабилизирующим фактором, так как рост экономики проходил неравномерно между городом и деревней, различными отраслями производства, социальными слоями, территориальными и национальными сообществами, породив у всех нереалистические ожидания и надежды на быстрое и существенное улучшение жизни. Появилась и быстро прогрессировала относительная депривация во всех слоях населения, ибо бедность плодит голодных, а улучшения вызывают более высокие ожидания. У части населения наблюдалась острая ностальгия по ушедшему строю жизни. В пореформенное время бóльшая часть русского крестьянства мечтала об экспроприации помещичьей земли, а в современной России значительная часть населения мечтает о национализации имущества крупных собственников. Сходство между двумя периодами состоит также в том, что в обоих случаях возникли представительные учреждения, независимый суд, получили развитие демократические либеральные институты гражданского общества – свободная пресса, добровольные общественные организации, общественное мнение, возросла социальная и политическая активность населения. В сущности, Россия в 1990-е гг. вернулась на прерванную революцией 1917 г. траекторию.

Теперь о различиях. Великие реформы 1860-х гг. были проведены эффективнее, чем реформы 1990-х гг. В первом случае все новые институты (в смысле норм и стандартизованных моделей поведения, правил взаимодействия при принятии решений), необходимые для успешного развития, создавались постепенно, с оглядкой на Запад, но с учетом российской специфики. Для уменьшения вероятности институциональных дисфункций использовалась стратегия создания *последовательных промежуточных институтов*, плавно, в несколько этапов соединяющих начальную и идеальную финальную конструкции. Например, создание института частной собственности на землю в среде крестьянства началось с сохранения действующей общинной собственности, которая затем трансформировалась в личную и, наконец, – в частную. Переход крестьянства от норм обычного права, например, от коллективной к индивидуальной ответственности, от беспроцентной ссуды к процентной и т. д., также проходил в несколько этапов. Демократизация общества началась с местного управления, которое рассматривалось как предварительная стадия для перехода к парламентаризму. При выборе нового института тщательно выбиралась страна-донор, откуда заимствовался образец. Вследствие такой стратегии только к началу XX в. сложилось либеральное и адекватное российским экономическим реалиям законодательство о предпринимательской деятельности и был создан прочный институт собственности, без чего невозможно успешное эконо-

мическое развитие. В начале XX в. была принята конституция, создано представительное учреждение, благодаря чему Россия превратилась в дуалистическую конституционную монархию. Именно так, медленно и постепенно, рекомендует проводить реформы современная экономическая наука. Данная стратегия *последовательных промежуточных институтов* сочетала преимущества «выращивания» и «конструирования» новых институтов и предоставляла возможность управления темпом институционального строительства (Полтерович, 2008. С. 4–24).

Напротив, в постсоветское время использовалась шоковая стратегия, без тщательной подготовки и предвидения последствий реформирования. Вводимые новые институты часто оказывались несовместимыми с культурной традицией и советской институциональной структурой, ввиду этого наблюдались либо их атрофия, перерождение или отторжение в результате активизации альтернативных институтов, либо институциональный конфликт или парадокс передачи, когда в ходе трансляции более эффективной технологии донор выигрывает за счет реципиента. Отсюда разочарование широких слоев населения в демократии, суде присяжных, парламенте, рынке.

Стратегия проведения реформ сказалась на их результатах. В первое десятилетие после реформ 1860-х гг. ВВП уменьшился не более чем на 5 %, так как лишь сельскохозяйственное производство сократилось примерно на 5 % сравнительно с 1850-ми гг. На транспорте, в сфере услуг, в финансовом секторе наблюдался прогресс, в промышленности – значительный рост производства благодаря проходившему промышленному перевороту (Лященко, 1956. С. 92–93, 101–104). В 1860-е гг. реальная зарплата рабочих в сельском хозяйстве выросла примерно на 65 %, хотя в промышленности (если судить по Петербургу) снизилась на 13 % (Миронов, 2010. С. 512, 523). Издержки шоковой терапии в постсоветской России оказались намного серьезнее: по данным Росстата, реальный ВВП России с 1990 по 1995 г. сократился на 22 %, реальные денежные доходы на душу населения в 1990-е гг. – более чем 2 раза и только в 2006 г. вернулись к уровню 1991 г., а в 2009 г. превысили его только на 19 %. Однако спустя 10 лет после реформ и в пореформенной, и в постсоветской России наступил быстрый экономический рост, который в обоих случаях можно назвать экономическим чудом.

В социальном плане важное отличие состояло в том, что пореформенная российская буржуазия создавала свое благосостояние собственным трудом, а потому берегла и дорожила своим бизнесом, не думала о том, как его свернуть на родине, перевести деньги за границу, а потом, в случае неблагоприятных обстоятельств, и самому туда уехать. Напротив, современная крупная российская буржуазия во многих случаях обладает собственностью, не заработанной тяжелым трудом. Для многих она скорее «подарок судьбы», до сих пор не обеспеченный твердо законом и контрактом между крупными собственниками, государством и обществом. Как свидетельствует Б. А. Березовский: «Вся элита в России на вахте; они приезжают в Россию, чтобы заработать деньги, а тратят они их не в России, тратят они их на Западе и хранят деньги на Западе, в западных банках, и дети их здесь учатся, и дома у них здесь, и отдыхают они здесь, их жены и любовницы здесь». (Березовский, 2010).

В политическом отношении очень важное отличие пореформенного от постсоветского периода состоит в том, что в современной России, несмотря на все несовершенство российской демократии, как законодательная, так и исполнительная власть может легально и мирно перейти из рук одной партии к другой – по крайней мере, это гарантирует конституция. Причем партии, входящие в Государственную думу, отличаются друг от друга по своим идеологиям, целям, задачам, что дает возможность избирателю найти своего представителя во власти. Благодаря этому социальные, политические и экономические конфликты имеют реальную возможность разрешиться мирно, т. е. без революции и баррикад, посредством рациональных методов регулирования. В переходном российском обществе конца XIX – начала XX в. рациональные методы регулирования конфликтов и снижения социальной напряженности еще не были освоены; предпосылки для самоподдерживающего эволюционного развития до конца не сформировались. В силу этого общество оставалось уязвимым для революционных катаклизмов. До 1905 г. конфликты могли мирно разрешиться только «по манию царя», вследствие того что законодательная и исполнительная власть была монополизирована в руках монарха и коронной бюрократии, а лишенные власти не имели легальной возможности ее получить. После 1905 г. оппозиция получила право и возможность участвовать в принятии законов, но в государственном управлении – лишь в слабой степени. Конституция не создала легальной возможности для мирного перехода исполнительной власти из рук монарха, что не позволяло назревавшим конфликтам мирно и легально разрешаться посредством перехода власти в руки оппозиции.

На основе опыта двух российских революций – 1905 г. и 1917 г. можно сформулировать некоторые положения относительно того, что помогает избежать революции.

Существование реальной оппозиции, готовой взять власть, и наличие реальной возможности для мирного перехода власти от одной политической силы к другой. Контрэлита должна иметь реальные шансы прийти к власти без революции.

Передача власти от проигравших к победителям мирным легальным путем должна укорениться в политическом сознании населения и стать политической традицией общества.

Циклическая смена политических, хозяйственных и интеллектуальных элит в результате конкуренции и борьбы и ротация кадров на всех уровнях управления и во всех сферах жизни.

Наличие легальных и реально действующих клапанов для мирного выражения социального и политического недовольства в форме демонстраций, забастовок, собраний, а также и в оппозиционных СМИ. Социальные конфликты должны разряжаться, а не подавляться.

Первоочередное удовлетворение требований среднего класса, поскольку революционная опасность со стороны белых воротничков несравненно больше, чем со стороны синих. Несмотря на малочисленность, именно средний класс выступил в авангарде революционного движения против существовавшего режима в начале XX в.; такую же роль он выполняет и в настоящее время. Если средний класс будет чувствовать себя хозяином жизни, он не станет ее разрушать посредством революции, даже если жизнь его не удовлетворяет. Он направит свою энергию на улучшение жизни.

Поддержание социально безопасного уровня имущественного и социального неравенства, учитывая, что в каждой стране он специфический. В начале XX в. в США при децильном коэффициенте неравенства порядка 16–18 и в Великобритании при коэффициенте порядка 70–80 не было даже намека на революционную ситуацию, потому что там считалось, что бедный сам виноват в своих несчастиях. Русские революции начала XX в. произошли при сравнительно невысоком коэффициенте дифференциации, равном 4–6, так как русские были и остаются чрезвычайно чувствительны к вопросу равенства.

Постоянное повышение благосостояния. Избегание войны и других рукотворных бедствий, ведущих к снижению уровня жизни и большим человеческим жертвам.

Уменьшение реальных и виртуальных различий в уровне благосостояния россиян и западных соседей. Существенная разница в доходах разжигает ощущение депривации, рождает недовольство достигнутым. Поскольку успехи соседей, как правило, кажутся неадекватно большими по пословице – «за чужим забором травка кажется зеленее», актуальным представляется постоянное разъяснение населению, что повышать уровень жизни возможно лишь при росте эффективности труда. Нельзя жить как в Германии или США, если производительность труда в России в 3–4 раза ниже, если россияне имеют много праздников, в массе работают меньше, болеют больше, разбазаривают природные богатства и не берегут энергию, воду, тепло, землю, воздух, лес.

Список литературы

Березовский Б. А. 2010. Интервью, Радио Свободы, 24.12.2010. Доступ: <http://www.svobodanews.ru/content/article/2257908.html>

Брук С. И. Население мира: Этнодемографический справочник. М., 1981.

Волков Е. З. Динамика народонаселения СССР за 80 лет. М., 1930.

Володин А. Ю. 2009. История фабричной инспекции в России 1882–1914 гг. М., 2009.

Воспроизводство населения СССР / А. Г. Вишневский, А. Г. Волков (ред.). М., 1983.

Гернет М. Н. Моральная статистика: Уголовная статистика и статистика самоубийств. М., 1922.

Грегори П. Экономический рост Российской империи (конец XIX – начало XX в): Новые подсчеты и оценки. М., 2003.

Гринин Л. Е. и др. 2010. История, математика и некоторые итоги дискуссии о причинах Русской революции // О причинах русской революции / Л. Е. Гринин и др. (ред.). М., 2010.

Демографическая модернизация России: 1900–2000 / А. Г. Вишневский (ред.). М., 2006.

Ежегодник России 1910 г. СПб., 1911.

Жариков Н. М., Морозов Г. В., Хритинин Д. Ф. Судебная психиатрия / Г. В. Морозов (ред.). 3-е изд. М., 2003.

Козер Л. А. Функции социального конфликта. М., 2000.

Ли Д. А. Преступность как социальное явление. М., 1997.

Лихачев А. В. Самоубийство в Западной Европе и России: Опыт сравнительно-статистического исследования. СПб., 1882.

Лунеев В. В. Преступность XX века. М., 1997.

Лященко П. И. История народного хозяйства СССР: в 2 т. 4-е изд. М., 1956.

Миронов Б. Н. История в цифрах: Математика в исторических исследованиях. Л., 1991.

Миронов Б. Н. Экономический рост и образование в России и СССР в XIX–XX веках // Отечественная история. 1994. № 4–5.

Миронов Б. Н. Социальная история России периода империи (XVIII – начало XX в.): Генезис личности, демократической семьи, гражданского общества и правового государства: в 2 т. 3-е изд. СПб., 2003.

Миронов Б. Н. Благосостояние населения и революции в имперской России: XVIII – начало XX века. М., 2010.

Новосельский С. А. Очерк статистики самоубийств // Гигиена и санитария. 1910. Т. 1. № 9.

Общий свод по империи результатов разработки данных первой всеобщей переписи населения, произведенной 28 января 1897 года: в 2 т. СПб., 1905.

Отчет о состоянии народного здравия и организации врачебной помощи населению в России за [1885–1914] год. СПб.; Пг., 1887–1916.

Охрана здоровья в СССР: Статистический сборник. М., 1990.

Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР (вторая половина XIX в.) / А. И. Пискунов (ред.). М., 1991.

Полтерович В. М. Стратегии модернизации, институты и коалиции // Вопросы экономики. 2008. № 4.

Россия в мировой войне: 1914–1918 годы. М., 1925.

Селюнин В., Ханин Г. Лукавая цифра // Новый мир. 1987. № 2.

Сови А. Общая теория населения: в 2 т. М., 1977.

Сови А. 1977 а. Экономические трудности и преимущества роста населения – Проблемы народонаселения: О демографических проблемах стран Запада. М., 1977.

Сорокин П. А. Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992.

Статистический ежегодник России [1910–1915]. СПб.; Пг., 1911–1916.

Статистический ежегодник 1918–1920 гг.: в 2 вып. М., 1921.

Тарновский Е. Н. Война и движение преступности в 1911–1916 гг. // Сборник статей по пролетарской революции и праву. 1918. Т. 5. № 1–4. С. 90–110.

Тарновский Е. Н. Сведения о самоубийствах в Западной Европе и в РСФСР за последнее десятилетие // Проблемы преступности. М.; Л., 1926.

Турчин П. В. Историческая динамика: На пути к теоретической истории. М., 2007.

Турчин П. В. Выстоять – исторический долг // Эксперт. № 16–17 (702). 26 апр. 2010.

Штомпка П. Социология: Анализ современного общества. М., 2005.

Чуркин А. А., Творогова Н. А. Распространенность психических расстройств в России в 2009 году // Вестник неврологии, психиатрии и нейрохирургии. 2011. № 1.

Юрьева Л. Н. История. Культура. Психические и поведенческие расстройства. Киев, 2002.

Ястребов В. С. Организация психиатрической помощи // Общая психиатрия / под ред. А. С. Тиганова. М.: НЦПЗ РАМН. Онлайн 12.10.2011 < http://www.psychiatry.ru/book_show.php?booknumber=28&article_id=101>

Burds J. Peasant dreams and Market Politics: Labor Migration and the Russian Village, 1861–1905. Pittsburgh, Pa., 1998.

Davies J. C. Toward a Theory of Revolution // American Sociological Review. February. 1962. Vol. 27.

Davies J. C. When Men Revolt and Why. New York, 1971.

Goldstone J. A. Revolution and Rebellion in the Early Modern World. Berkeley, 1991.

Gurr T. Why Men Rebel. Princeton, 1970.

Skockpol T. States and Social Revolutions. Cambridge, 1979.

Tiryakian E. The Changing Centers of Modernity // Comparative Social Dynamics: Essays in Honor of Shmuel N. Eisenstadt / E. Cohen, M. Lissak, U. Almagor (eds.). Boulder (CO), 1985.

М. В. Бибиков, Е. С. Токарева, Н. Т. Энеева

ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ РУССКОГО ПРАВОСЛАВИЯ ЗА РУБЕЖОМ (РУССКОЕ ПРАВОСЛАВНОЕ ПРИСУТСТВИЕ В МИРЕ ДО РЕВОЛЮЦИИ 1917 г.)

Становление Российской государственности неразрывно связано с крещением Руси святым равноапостольным великим князем Владимиром в 988 г. Образование государства сопутствовало рождению новой православной цивилизации – русского народа. Крестившиеся массы людей, ощущавшие себя до того частью различных славянских племен, осознали себя единым целым, объединенным общей жизненной целью, общей нравственной задачей. По словам святителя Московского Филарета (Дроздова), государство есть «союз свободных нравственных существ, соединяющихся между собою, с пожертвованием частью своей свободы для охранения и утверждения общими силами закона нравственности, который составляет необходимость их бытия. Законы гражданские суть не что иное, как применение к особым случаям истолкования сего закона, и ограды, поставленные против его нарушения»[1]. Возникновение народа и государственности на Руси как прямое следствие христианизации и воцерковления в конце IX–X вв. восточно-славянских племен, населявших средне-

русскую равнину, привело к тому, что религиозная интуиция стала основным фактором национальной самоидентификации русских, а охранение и создание условий для духовной самореализации стало основной целью их государственности.

Крестившись, Русь вошла в семью христианских народов, стала полноправным субъектом международной политики и мировой истории. Православие было воспринято Россией не просто как личное дело индивидуума, но как миссия, как государственное и общественное служение, принятое от Византии. С падением в 1453 г. Константинополя, «Второго Рима», в Русском государстве возникла концепция «Москва – Третий Рим», т. е. Москва – столица третьей по счету православной империи – защитницы и покровительницы вселенского православия. Сформулированная старцем псковского Спасо-Елеазарова монастыря Филофеем в послании к великому князю Василию III, эта идея была не отвлеченной умственной конструкцией, но соответствовала народному представлению о собственном назначении, о глубинных основах жизни страны.

Поэтому первой и естественной сферой внимания русских за пределами собственно русских земель являлось направление Ближнего Востока, в ареале которого находятся такие географические христианские святыни, как Иерусалим и Константинополь, Вифлеем и Афон. За Иерусалимом и Вифлеемом стоит Евангелие, за Константинополем – Византия, Восточная римская империя, Православное Царство; за Афоном – глубокая духовная православная традиция культуры. Ближневосточный регион существовал в русском сознании как регион Библейско-Византийский и являлся «землей обетованной», откуда в духовном смысле «есть пошла русская земля».

Непосредственная связь с историческими святынями осуществлялась не иссякавшим со времен крещения Руси потоком русских паломников на Ближний Восток, Афон, Патмос. Возвращаясь, паломники распространяли «по городам и весям» России свои рассказы о христианском Востоке, о хранящихся там преданиях, о чудесах, разносили привезенные реликвии, вещественные свидетельства реальности своего путешествия, – они были необходимыми участниками народной жизни, без которых невозможно представить себе традиционный русский уклад.

Утвердившаяся на Руси в XII в. практика паломничества в Святую Землю объясняет и факт распространения темы молитвенных странствий героев древнерусского фольклора – былин. Так, легендарный богатырь, преп. Илья Муромец, чтимый русский святой (ум. ок. 1188), чьи честные мощи находятся в Ближних, Антониевых, пещерах Киево-Печерской лавры, восставший от неизлечимой болезни (он без движения тридцать лет и три года «сиднем просидел на печи») благодаря пришедшим к нему «каликам перехожим», получает «силушку богатырскую», творит многочисленные ратные подвиги, а под конец жизни становится воином-странником, уверовав, что подвиг паломничества является богоугодным делом, исцеляющим недуги и утверждающим православие[2]. Былинный герой, новгородский ушкуйник Василий Буслаев, вместе со своей дружиной отправляется в Святую Землю с целью замолить свои грехи у Гроба Господня в Иерусалиме. Достигнув Святого Града, новгородцы поклонились Гробу Господню, а сам Василий отслужил панихиду по своему отцу, новгородскому боярину. Побывали гости и на святом Иордане, взошли на гору Фавор, совершив молитву на месте Преображения Господня. Там же Василий Буслаев преставился от земных дел. Похоронив его, дружинники вернулись в Великий Новгород. Видимую связь литературного отражения контактов Древней Руси и Палестины с реальными реликвиями из Святой Земли в современных храмовых и музейных коллекциях демонстрирует так называемый Иерусалимский крест XII в. из ризницы кафедрального собора в немецком городе Хильдесхайме. Это крест-мощевик новгородского происхождения с частицами палестинских святынь с надписью: «Господи помози рабу своему Илии стяжавшему крест сей в сей век и в будущий...» В связи с паломничеством в Святую землю находим и важнейшее свидетельство о пребывании Евфросинии Полоцкой в Иерусалиме в Русском монастыре Пресвятой Богородицы. Княгиня-игуменья поклонилась в Святом Граде Гробу Господню, сделала соответствующие пожертвования. Затем, однако, заболела (ей шел седьмой десяток) и преставилась[3]. Что касается свидетельства о Русском монастыре в Иерусалиме в последней трети XII в., текст «Жития Евфросинии Полоцкой» в этом отношении уникален. То, что княгиня останавливалась в Святом граде «у святыя Богородици в русском монастыри», является единственным, но очень важным упоминанием русской богородичной обители в Иерусалиме, существовавшей уже в XII в. Естественно думать, что русские монастыри в Иудейской пустыне возникли из потребностей паломнического движения русских людей. Пребывание игумена Даниила в Святой земле чаще всего относят к 1106–1107 гг., а описанное им участие в пасхальных торжествах приходится тогда на 14 апреля 1107 г. Итогом более чем двухлетнего «хожденья» Даниила по православному Востоку, шестнадцать месяцев из которого он посвятил Иерусалиму и другим Святым местам Палестины, стала книга «Житье и хожение Даниила, Русьскыя земли игумена». Она стала древнейшим

и совершеннейшим памятником жанра хождений («хожений»), получившего потом небывалое распространение в древнерусской литературе[4]. О популярности труда игумена Даниила свидетельствует то, что до нас дошло 152 рукописных списка сочинения. Итогом наблюдений Даниила стал вывод, что православные святыни сохраняются и почитаются, что отношение к русским паломникам и латинян, и палестинцев благоприятное и что долгий и небезопасный во времена военных действий путь в Палестину оправдан высокой целью приобщения к святыням. Описание игуменом Даниилом Святой земли – не просто путеводитель или историко-географический справочник (хотя следует отметить замечательную точность и пунктуальность приведенных свидетельств). Для автора его «хожение» – акт священнодействия, почти литургическое действо[5], в соответствии с принципами которого, постигнутыми паломниками в Иерусалиме, и следует описание святынь Палестины.

Итак, Ближний Восток столетиями существовал в русском народном восприятии как фон самоосуществления русской православной культуры, как не только географический, но и смысловой горизонт, в постоянном виду которого созидалась и осуществлялась история России. В самом общем виде под ним следует понимать постоянное чувство исторической и духовной связи России со сферой библейско-византийского региона, которое в разные эпохи принимало разные общественно-политические формы: от принятия на себя функции защиты христианского населения Ближнего Востока до концепции «Греческого проекта» (под которым подразумевалось восстановление православного греческого государства с Константинополем во главе). Российская империя, чувствовавшая себя правопреемницей империи Византийской в деле сохранения православной веры, общим достоянием многих народов, как входящих в империю, так и ищущих ее покровительства, полагала поэтому, что русский народ имеет «права на первородное наследство в древнем его духовном отечестве»[6].

Важным фактором русского православного присутствия на Ближнем Востоке является отношение к нему в Восточных Православных Патриархатах: восприятие русских, православной России и ее ближневосточной политики теми, на кого она была направлена, – православным населением Ближнего Востока. Прежде всего, речь идет, конечно, о Византии, о том образе Руси, который рисуют нам византийские письменные источники.

В первых исторических характеристиках Руси в Византии, например, у константинопольского патриарха Фотия в IX в., народ, называемый Рос, описывается как «превосходящий всех жестокостью и склонностью к убийствам», чему вторил в начале X в. в «Житии патриарха Игнатия» Никита Пафлагон: «запятнанный убийством более, чем кто-либо из скифов». «Неодолимый и безбожный», – по словам Продолжателя Феофана (середина X в.), народ росов, лишь обратившись к христианству, смирился и стал, согласно тому же Фотию, в его более поздней энциклике (867 г.) подданным и дружественным Византии[7]. В течение X–XII вв., когда русско-византийские союзы чередовались с войнами, образ Руси в византийских памятниках также был противоречивым и неоднозначным: русские в глазах византийцев оставались варварами, дикими и вероломными, хоть и усмиренными силой византийского оружия и православной веры.

Образ «христианнейшего народа Рос» впервые возникает в византийской традиции в XIII в. после крестоносного завоевания империи, в контексте поиска византийцами союзников. Никита Хониат впервые назвал русских «христианнейшим народом» в превосходной степени[8], а константинопольский патриарх Герман II, направляя в 1232 г. послание из никейского изгнания в папскую курию, в числе православных единоверцев среди эфиопов, ближневосточных сирийцев, иверов, авасгов, алан, лазов (?), готов и хазар выделяет неисчислимую в тысячах племен Русь, а также победоносное (после войн Калояна) Болгарское царство[9].

Решающими на пути становления образа «христианнейшей» Руси стали события одного столетия – середина XIV – середина XV в. Правда, византийские тексты в начале и в конце рассматриваемого периода сходны в теме – создание «каталога» православных народов-союзников ромеев отличается в исходных посылках. Сильвестр Сиропул, описывая события Ферраро-Флорентийского собора, передает речь византийского императора и патриарха, апеллировавших в 1348 г. к своим единоверцам «на востоке и западе» – иверам, черкесам, росам, влахам и сербам. В другом случае Сильвестр Сиропул несколько расширяет этот список, называя трапезундцев, иверов, черкесов, мингрел, готов, росов, влахов и сербов. Это позволило, по-видимому, уже самому императору Иоанну Кантакузину назвать самого себя в цитируемом им в «Истории» акте того же 1348 г. «василевсом эллинов, а также василевсом болгар, асанидов, влахов, росов и алан» – Ангелом Комнином Палеологом Кантакузином, добавляя к своему имени для вящего величия и все династические патронимы последних столетий. Вновь тема содружества православных народов возникает в Византии в последние десятилетия ее существования как государства. Хиосский грек-италиец, магистр Иоанн Канавуца в Комментарии к Дионисию Галикарнасскому, составленном во второй трети XV в. (между 1431 и 1455 гг.), назидательно восклицает: «Мы все – христиане, име-

ем единую веру и единое крещение, – пусть с варварами, – как-то болгарами, влахами, албанцами, русскими!» Наконец, в поствизантийской литературе, в поэмах, оплакивающих гибель Византии (например, Псевдо-Эммануил Георгиллас), вновь звучит тема христианского единства.

Тема возвышения Руси тесно переплетена в поздневизантийской церковно-дипломатической переписке с темой возвышения Москвы, куда переводится с благословения константинопольского патриарха митрополичья кафедра «всея Руси», о чем свидетельствует целая серия патриарших актов, в том числе 1326 и 1354 гг., связанных с митрополитами Петром и Алексеем, а великий князь Симеон (Гордый) и великие «короли» («гех») Московии и всея Руси – Иоанн (Иван Калита), затем его сын Иоанн, далее Димитрий (Донской), а также Василий (Дмитриевич I) – представляются оплотом христианского благочестия.

Наконец, утверждая патриаршество в Москве в конце XVI в., константинопольский патриарх Иеремия II[10] обусловливает данную привилегию Руси ее «святостью»[11]. Так завершился путь становления на Православном Востоке образа «христианнейшего народа Рос».

С падением Византии в 1453 г. Восточные Патриархи неоднократно получали от России щедрую помощь, и иногда даже сами приезжали за сбором пожертвований, например, Иерусалимские патриархи Феофан в 1619 г. и Паисий в 1649 г., Антиохийский патриарх Макарий в 1655 г. В 1650 г. Россию посетил Константинопольский патриарх Афанасий, причисленный позднее к лику святых. В XIX столетии по благословению святителя Филарета (Дроздова), митрополита Московского и Коломенского, для поддержки бедствовавших под турецким владычеством Восточных Патриархатов в Москве были открыты Александрийское, Антиохийское и Иерусалимское подворья.

«Самым родным, самым святым для себя местом на земном шаре русские люди считают «Матерь Церквей, Божие жилище», т. е. Святый Град Иерусалим, а духовною столицею христианства – Святую Гору Афонскую», – писал в 1915 г. архиепископ Антоний (Храповицкий)[12]. Афон, вобрав в себя квинтэссенцию духовной мудрости и духовного опыта Византии, стал, по существу, тем, воздвигнутым византийскими преподобными отцами, «Ноевым ковчегом», который один уцелел в то время, как бушующие штормы истории погребли в своей пучине Византийскую империю, объединявшую под единым государственным омофором многие православные народы. Афон сумел сохранить неприкосновенным свой особый статус в эпоху иноверного османского владычества и тем самым сохранить главное и лучшее, что дала Византия – православную святость и духовную культуру.

Духовное влияние Афона на Русь невозможно переоценить. В каком-то смысле можно, наверное, сказать, что образ «Святой Руси» есть непосредственное отражение афонского духовного идеала: это устремленность внутрь себя, к внутренним ценностям, неприятие внешнего, показного, кротость, смирение, крайняя терпеливость, нестяжательность, любовь к нищете «Христа ради», в то же время – отзывчивость, открытость, предельное гостеприимство («всемирная отзывчивость» русского национального характера по Достоевскому), тихое свечение молитвой, постоянная устремленность к ней, деревянные избы и великолепные каменные храмы, золото и роскошь во всем, относящемся к богослужению, и крайняя непритязательность в быту, – все это напоминает великие афонские монастыри, воздвигнутые во славу Божию, при абсолютной добровольной нищете и нестяжательности населяющих их монахов.

Понятие «русского Афона» многогранно. В него входит не только история русского подвижничества на Афоне, но и присутствие Афона в России – в его подворьях и святынях и в самой монашеской традиции. Начало монастырского строительства на Руси самым непосредственным образом связано с Афоном. Преподобный Антоний Печерский (ок. 983–1073), основатель Киево-Печерского монастыря, дважды совершал паломничества на Афон, где усвоил правила иноческой жизни. Там же был позаимствован опыт межкультурного общения и полиэтнического культурного строительства, ибо Святая Гора была средоточием не только греческой, но и грузинской, сирийской, болгарской, сербской, русской и даже латинской монастырской культуры. И в последующие века именно духовные импульсы, исходившие с Афона, имели определяющее влияние на характер духовной жизни в России. Так, паламитские споры и движение исихазма нашли свой духовный отклик в подвижничестве преподобных Сергия и Никона Радонежских, Нила Сорского, Серафима Саровского. В свою очередь, определенный духовный кризис XVII столетия, вызванный проникновением не только в светскую культуру, но и в духовное образование России западных влияний, заслонивших в какой-то мере собственную православную традицию, был преодолен благодаря трудам уроженца Малороссии афонского подвижника прп. Паисия Величковского, составившего и переведшего на русский язык корпус святоотеческих творений, вошедшего в русский обиход под именем «Добротолюбия» и оказавшего неоценимое влияние на духовную жизнь России в дальнейшем. Прямая линия духовного преемства ведет от прп. Паисия Величковского в русскую Оптину пустынь,

ставшую колыбелью православного духовничества в России XIX в. и сыгравшую огромную роль в воспитании духовных пастырей века XX.

Русский монастырь св. Пантелеймона, раскинувшийся на побережье в центре юго-западной части полуострова, является и в настоящее время одним из крупнейших на Афоне. Его история восходит к двум другим святогорским обителям: Пресвятой Богородицы Ксилурга («Древодела») и «Фессалоникийца» (Солунца). Древнерусское предание XVI в. относит честь основания русской монастырской жизни на Святой Горе св. равноапостольному великому князю Владимиру, вскоре после его крещения в 998 г. Первоначально Русский монастырь находился в монастыре Богородицы Ксилурга. Первая сохранившаяся подлинная подпись игумена Русского монастыря принадлежит Герасиму, подписавшему грамоту 1016 г. (Act. Laur. I, № 19). Однако вскоре, в результате роста численности братии, монастырю стало тесно, и по ходатайству игумена Лаврентия в 1169 г. Священный Кинот Афона выделяет для поселения русским монахам заброшенный к тому времени монастырь Солунца (Солунцев), посвященный св. Пантелеймону. Последовавшая затем семивековая история русского монашества на Святой Горе связана с этим местом, называемым ныне «Старый Руссик» и находящимся на пути в афонскую столицу Карею. На месте же обители Древодела был основан скит во имя Пресвятой Богородицы.

Первый по времени из хранящихся ныне в Русском монастыре актов представляет самое раннее упоминание монастыря Богородицы Ксилурга («Древодела»), игумену которого Феодулу были, согласно документу, проданы келья и группа келий (Act. Ross. 1: 30. 10–11). По-видимому, следующим игуменом был упоминаемый в акте, изданном в мае 1048 г., Иоанникий (Act. Ross. 4 : 48. 44–50. 49.13–14, 21, 25, 34). В том же тексте названы еще двое из монастырской братии – иеромонах Ксилурга Никодим и монах Иосиф (14). По акту прота Павла, 23 ноября 1070 г. было определено размежевание владений монастыря Ксилурга (Act. Ross. 6 : 63. 1, 7, 14, 22) и Скорпиона; игуменом Русского монастыря был в это время скорее всего Василий.

Важнейшим документом представляется опись имущества монастыря Богородицы Ксилурга от 14 декабря 1142 г. при поставлении нового игумена Христофора (Act. Ross. 7). В этом акте специально перечислены «русские» (ρόυσικόν) предметы монастырского имущества – богослужебное облачение, а также русские книги (74. 20), среди которых три упомянутые ниже (74. 25–27): две книги Евангелий и одна Евхология, как высококачественные манускрипты.

Акт прота Иоанна, изданный в августе 1169 г., идентифицирует монастырь Ксилурга в качестве «русского» (Act. Ross. 8).

Ряд актов, хранящихся в архиве Русского монастыря, называют или содержат подписи игуменов монастыря св. Пантелеймона (Солунца/цев или еще «Сфрендзи»), вошедшего в 1169 г. в состав Русского монастыря: это – Евстратий (Act. Ross. 1 от февраля 1030 г.), известный и из иверского акта (Act. Iber. 31 от сентября 1056 г.), Митрофан (Act. Ross. 5 от мая 1057 г.), известный и по акту Дионисиева монастыря (Act. Dion 1 от августа 1056 г.), и, возможно, иверского (Act. Iber. 31 от сентября 1056 г.), и Феодосий (Act. Ross. 6 от 23 ноября 1070 г.), известный по актам 1066 г. (Act. Vatop.) и 1080 г. (Act. Athos. 104).

В Святогорском Типике 1394 г. монастырь св. Пантелеймона занимал пятое место в иерархии. В XIV–XV вв. братия пополняется за счет греческих монахов, но с 1497 г. сюда вновь начинают прибывать монахи из России. С 1509 г. покровителем Русского монастыря на Афоне стал великий князь Московский Василий III – сын византийской принцессы Софьи (Зои) Палеолог. С конца XVI в., по разрешению патриарха всея Руси Иова (1591 г.) и русского царя Феодора Иоанновича (1592 г.), собирались пожертвования в России в пользу монастыря. Но в условиях иноземного владычества обитель приходит в упадок и с конца XVII в. попадает под опеку Священного Кинота.

Новый приток монахов из России начался в 1835 г. Возрождению обители способствовали и регулярные посещения Руссика членами Царской Семьи (в 1845 г. – великим князем Константином Николаевичем, в 1869 г. – великим князем Алексеем Алексеевичем, в 1881 г. – великим князем Константином Константиновичем). К началу XX в. число русских монахов на Афоне достигло 5 тысяч человек, из которых 2 тысячи находились в Русском Свято-Пантелеимоновом монастыре. Ежегодно обитель принимала до 30 тысяч паломников из России.

Современниками неоднократно отмечалась стихийная устремленность простого русского народа на Афон и неизменный успех афонских сборщиков пожертвований в России. Огромные суммы, которые русские вкладывали в создание и благоустройство афонских обителей, свидетельствуют о том, насколько их религиозное чувство было выше как практических соображений, так и всякого национализма. Не поддававшийся никакой регламентации отток русских денежных средств на Святую Гору вызывал озабоченность не только российских государственных структур, но и Синода (даже свт. Митрополит Московский Филарет считал, что массовое вложение русских средств в Афон обе-

дняет возможности церковного строительства внутри страны). Императорский посол А. И. Нелидов писал: «Имея в руках лишь фактические данные, показывающие глубокое почитание народа русского к Св. Афонской горе, невозможно взвесить, как велика нравственная польза этого почитания или насколько Афон полезен и нужен нам с государственной точки зрения... Приходится иметь дело с неизведанной областью, с самостоятельной и могучей силой народной... Вопрос: нужен ли Афон православному народу русскому? – решает сам народ, не спрашивая кабинетных соображений наших, а прямо высылая на Афон свою деятельную силу, свою трудовую копейку»[13].

О теснейшей связи между Афоном и православным миром России свидетельствуют жития великих афонских подвижников старцев Иеронима (Соломенцова) и Макария (Сушкина): ни разу за свою монашескую жизнь не вернувшись в Россию, они тем не менее поддерживали самую тесную переписку со своими чадами в миру, на средства которых и был создан великолепный комплекс Свято-Пантелеймонова русского монастыря. Письма старцев влияли на жизненный выбор тех, кто обращался к ним за советом и помощью. Среди афонских подвижников были и представители высшего российского сословия: так, в 1830-х годах толчок к возрождению и консолидации русского монашества на Афоне дал инок-князь о. Аникита (Ширинский-Шихматов); ктитором русского Ильинского скита, на деньги которого был воздвигнут крупнейший на Афоне Андреевский собор, стал «инок-миллионер», в прошлом золотопромышленник, Иннокентий (Сибиряков). Иеромонах Серафим Святогорец, автор популярных в России «Писем Святогорца», был признан в литературных кругах; он снискал доверие и дружбу Н. В. Гоголя, по кончине которого писал: «Смерть Гоголя – торжество моего духа. ... в Одессе мы с ним видались несколько раз, и наше расставанье было условное – видеться здесь[14]. ... Последнее время его считали помешанным, – за то, что он остепенился и сделался христианином. Вот ведь мирская-то мудрость!»[15]

Сам характер российской государственности, ее масштаб и размах всякого начинания в России, привычка к единоначалию и в то же время к общинному народному строю жизни, послушность в сочетании с внутренней свободой – все это, безусловно, сказывалось на способах самоорганизации русских на Афоне; их процветание в значительной мере было связано с созидательным духом Российской империи, который русские иноки – по большей части вчерашние крестьяне и купцы – несли в себе. Вот, например, как описывает жизнь русских на Афоне в период расцвета их деятельности там Вселенский Патриарх Иоаким III в 1891 г.: «На каком бы месте Афона русские ни заняли келлии или места, они тотчас стараются <...> умножать число монахов и перестраивать все здания и церкви, дабы придать им русский вид. Так, о. Иероним нашел приют в монастыре св. Пантелеймона с 15 русскими монахами, а через 35 лет число их возросло до тысячи <...> Архимандрит Виссарион с семью учениками приехал из Киева и занял Ватопедскую келлию Св. Андрея, а через 40 лет эта келлия превратилась в прекраснейший скит, превосходящий благолепием все монастыри, число же братии возросло до четырехсот <...> В русских обителях господствует порядок; все идут на зов настоятеля, являются с послушностью и покорностью, работают с самоотвержением, не вмешиваются в мирские дела. Старшие усердно стремятся к приумножению имущества, получая богатую милостыню из России (ежегодно до 200 тыс. лир, т. е. 1 миллион рублей). На эти средства в течение 40 лет воздвигнуты русскими обителями великолепнейшие здания, храмы, подворья; ризницы и кладовые их можно назвать царскими, амбары наполнены хлебом, вином, елеем и всякими благами. Внушительное число монахов, величие храмов, примерное гостеприимство и щедрая раздача милостыни привлекают к русским обителям»[16].

В самом Константинополе и его окрестностях к началу XX в. существовало семь русских храмов: церковь преподобных Антония и Феодосия Печерских при посольстве, освященная в 1720-е гг.; храм свт. равноапп. царя Константина и царицы Елены на втором этаже деревянного флигеля посольской канцелярии (устроен в 1818 г.); церковь свт. Николая Чудотворца, освященная 1 апреля 1845 г. на верхнем (третьем) этаже нового здания российского посольства в Пере; церковь свт. Николая Чудотворца при русской Никольской больнице в квартале Панджальди (Харбие), 1876 г.; большой каменный храм-памятник в московском стиле XVII в. в местечке Сан-Стефано, в 17 верстах от города в 1894–1898 гг.; три церкви при подворьях русских афонских обителей в Константинополе в квартале Галата: подворья Свято-Пантелеимоновского монастыря, Свято-Ильинского скита, Свято-Андреевского скита. По словам историка М. В. Шкаровского, в начале XX века через Стамбул ежегодно проезжали 8–10 тыс. русских паломников. В ожидании парохода на Афон или Святую Землю они около недели проводили в городе, находя в зданиях подворий ежедневные службы на церковно-славянском языке, бесплатное жилье и пропитание. Кроме паломников берега Босфора посещало большое количество моряков с российских торговых и военных судов. Каждый такой путешественник считал своим долгом поклониться константинопольским православным святыням.

В годы Первой мировой войны все подворские храмы были закрыты, имущество частично расхищено, здания заняты под казармы (подворье Свято-Андреевского скита под склад), а некоторые монахи интернированы[17]. Таким образом, достаточно активное развитие русской церковной жизни на турецкой земле было прекращено, но уже через несколько лет оно пережило чрезвычайно бурный, хотя и кратковременный взлет в связи с послереволюционной волной русской эмиграции.

* * *

Традиции русского православия на западе Европы уходят корнями к браку Анны Ярославны (дочери Ярослава Мудрого) в XI в. с французским королем; сохранился рукописный автограф французской королевы русского происхождения: «Ана регина».

Если на Ближнем Востоке, на канонических территориях Восточных Православных Патриархатов Русская Церковь была погружена во внутренние проблемы «православной ойкумены» (совместного свидетельства, братского общения и выживания в иноверном окружении), то в Европе она находилась на территории христианских, но инославных государств – католических и протестантских, и ее присутствие здесь имело ярко выраженную дипломатическую окраску. Прежде всего, оно обуславливалось дипломатической деятельностью России, являясь ее непременным сопровождением: домовые храмы при посольствах устраивали для самих русских дипломатических сотрудников и их семей, поскольку российские послы были людьми, как правило, православными. С другой стороны, посольский храм был свидетельством о конфессиональной принадлежности страны, в чем заключалась его главная дипломатическая роль. Россия позиционировала себя именно как православная держава, и в своих мотивациях выступала именно от лица православия. Строительство русского православного храма в Европе было делом почти всегда государственной важности, поэтому значительная часть русских западноевропейских храмов была построена непосредственно на деньги русской императорской фамилии или при ее крупных финансовых вложениях и под ее покровительством.

Но и любой домовый (дворцовый или посольский) или приходской (посольский, курортный, кладбищенский) русский храм в этом контексте приобретал характер своего рода «дипломатического представительства» России, ее самопрезентации. С другой стороны, элитарный характер высокопоставленных и по-европейски образованных в большинстве своем прихожан таких храмов – царская фамилия, блестящая аристократия, дворянство, творческая интеллигенция (писатели, художники), учащиеся, – накладывал, конечно, свою печать и на характер русского церковного строительства в Европе. В значительной мере светской была публика, приезжавшая лечиться на западноевропейские курорты в Германию, Австро-Венгрию, Италию, Францию: в Кардсбад, Мариенбад, Карловы Вары, Сан-Ремо, Мерано, Ниццу.

Поводы для строительства храма или часовни были весьма естественными, их подсказывала сама жизнь. Важную роль в возведении русских церквей в Западной Европе играли междинастические браки. Русский императорский дом после Петра I находился в тесных родственных связях с царствующими европейскими династиями. Часто строительство храма или часовни было связано с тем или иным радостным или горестным событием в жизни царской семьи. Так, первым русским храмом на территории Австро-Венгрии была церковь св. мц. Александры вблизи Будапешта, возведенная над гробницей старшей дочери императора Павла I великой княгини Александры Павловны (1783–1801), выданной за эрцгерцога Австрийского Иосифа-Антона Габсбурга, и вскоре скончавшаяся. Другая дочь Павла I, вел. кн. Екатерина Павловна (1788–1819), вышла в 1816 г. замуж за Фридриха-Вильгельма, будущего короля вюртембергского, и также рано скончалась. За недолгие три года она успела много сделать для бедного населения Штутгарта – основанные ею больница, ремесленные школы для бедняков и воспитательное заведение до сих пор носят ее имя. Она была похоронена, в соответствии с ее пожеланием, на высоком холме Ротенберг, где была специально для этого воздвигнута православная церковь-усыпальница во имя св. Екатерины. Ампирный иконостас, выполненный по рисунку К. И. Росси, был перенесен в эту часовню из домового храма вмч. Георгия Победоносца, привезенного ею Еленой Павловной с собой из России[18]. В одной Германии во дворцах и замках вышедших замуж за герцогов русских великих княгинь действовало около 10 православных церквей: в Киле (1727–1801), Штутгарте (1776–1892), Людвигслюсте (1800–1808), Веймаре (1804–1862), Ремплине (1859–1936), Карлсруэ (1865–1914), Шверине (1884–1904), Кобурге (1893–1940-е), Готе (1895–1905), Зееоне (1910–1930-е) и др.[19] Православные храмы в Европе создавались и для европейских принцесс, вышедших замуж за русских царей и великих князей и перешедших в связи с этим в православие: навещая своих родных в Европе, члены русской императорской семьи желали молиться в православных храмах. Это были домовые дворцовые храмы, не открытые для широкой публики. Так, в Штутгарте в разное время было пять русских православных церквей, первая из которых была

создана в 1776 г. для матери великих княгинь Александры и Елены Павловны – императрицы Марии Федоровны, до замужества вюртембергской принцессы Софии-Доротеи[20]. В 1897 г. семейный храм Романовых был заложен в немецком Дармштадте, родном городе императрицы Александры Федоровны и ее сестры великой княгини Елизаветы Федоровны. Он был освящен во имя св. равноапостольной Марии Магдалины в память другой уроженицы Дармштадта – супруги императора Александра II императрицы Марии Александровны.

Интересны судьбы русского православного присутствия в Италии – стране Папского Престола. Первый синодальный указ об открытии на Апеннинах православного посольского храма для Пьемонтского королевства последовал в 1791 г., затем для Неаполитанского королевства в 1799 г. и для Папского государства в 1803 г. А первый указ об открытии в республике «Сереннссима» (Венеции) русского посольского храма издала в 1783 г. Екатерина II. Реально же первым был открыт посольский храм в Риме в 1823 г. Сюда приезжала русская аристократия, настроенная «прозападно», сознательно выбравшая Западную Европу своим местом жительства. Тем не менее факты говорят о том, что и для большинства из них самоидентификация была связана с православием, более того, с церковью и богослужением. Создавая православные часовни для себя, строя, если позволяли обстоятельства, каменные храмы, они невольно становились свидетелями о православии в самой католической стране Европы, что привело, в конце концов, к всплеску интереса и симпатий к православию среди католиков уже в XX в.

XIX – начало XX в. было временем активного создания русских церквей в Европе, в том числе именно в XIX в. начинают строиться отдельно стоящие каменные русские церкви. С начала XIX в. до 1917 г. в одной Германии было создано 25 русских храмов: в 1809 г. освящена церковь в Касселе, в 1811 г. – в Людвигслюсте, в 1824 г. – Штутгарте-Ротенберге, в 1829 г. – в Потсдаме, в 1837 г. – в здании российского посольства в Берлине, в 1844 г. – подобном здании во Франкфурте-на-Майне, в 1861 г. – в Висбадене, в 1862 г. – в Веймаре, в 1874 г. – в Дрездене, в 1876 г. – в Бад-Эмсе, в 1881 г. – в Мюнхене, в 1882 г. – в Баден-Бадене, в 1893 г. – в Берлине-Тегеле, в 1895 г. – в Штутгарте, в 1899 г. – в Бад-Гомбурге и Дармштадте, в 1901 г. – в Бад-Киссингене, Гёрберсдорфе и Гамбурге, в 1908 г. – в Бад-Наугейме, Баден-Вейлере и Бад-Брюккенау, в 1912 г. – в Бад-Вильдунгене, в 1913 г. – в Лейпциге и Данциге (ныне польском Гданьске). В Италии в конце XIX – начале XX в. были построены каменные церкви в Мерано (1897), во Флоренции (1903), Сан-Ремо (1914), Бари (1915). В Австро-Венгрии (на территории Чехии) – храм в Франтишковых Лазнях (Франценсбаде) (1889), Карлсбаде (Карловы Вары) (1897), Мариенбаде (Марианске Лазне) (1902); во Франции – один из самых оригинальных храмов русского зарубежья в Ницце (1912).

Выразительным свидетельством о самом духе православной веры становилась замечательная архитектура русских храмов, проекты для которых создавались лучшими русскими зодчими, такими, как А. В. Щусев, М. Т. Преображенский, Л. Н. Бенуа. Православные храмы Европы стали своего рода ответом России на проникновение в нее европейской духовной и художественной культуры со времен Петра Великого. Как бы в обмен на экспансию в русское искусство западноевропейских стилей (барокко, классицизм, рококо, ампир), происходившую весь XVIII и начало XIX вв., Россия строила свои храмы в Европе непременно[21] в традиционных русских допетровских формах – в стилях нарышкинского барокко конца XVII в., Московской Руси XVI в. и даже псковско-новгородской домонгольской архитектуры (например, паломнический комплекс в Бари архитектора А. В. Щусева). Так выстраивался «диалог» русской и западноевропейской культур, шло их взаимное обогащение. И Европа усваивала себе эти реплики русской культуры, они стали неотъемлемым достоянием ее городов, местными достопримечательностями, определяющими подчас «лицо города». Таковы храмы во Флоренции, Ницце, Дармштадте, Карловых Варах и др. В то же время православный русский храм оставался «визиткой» самой России, ее наилучшим «дипломатическим представителем» на чужой земле, ибо был открытым к общению свидетельством о вере, т. е. о лучшем духовном достоянии страны.

* * *

Россия, понимаемая как Евразия, это страна, распространившаяся на два континента; российский двуглавый орел простирает свои крылья и на Запад и на Восток. Если на Ближнем Востоке Русская Церковь контактировала с Церквами-Сестрами и задача была в их защите и освобождении, если в Европе католической и протестантской она только присутствовала в инославном окружении, то на Среднем и Дальнем Востоке русские имели дело с миром язычества; здесь вставал вопрос о просвещении местных жителей светом христианской истины, т. е. решалась собственно миссионерская задача.

Миссионерская деятельность сопутствовала освоению русскими Сибири и Дальнего Востока. Новокрещенные народы присоединялись к Российской империи, становились ее полноправными гражданами. Россия, такая, какой она пришла к

1917 г., и есть, в сущности, плод этой колоссальной миссионерской работы. Но там, где русские сталкивались с иной, самобытной цивилизацией, основанной на древних мировых религиях, там начиналось другое государство и очерчивалась внешняя граница страны. Миссионерская деятельность России на ее восточных рубежах была в том числе и одной из мер ее самообороны, охраны границ, так как, находя диалог с окрестными народами, русские смягчали риск взаимных конфликтов.

За пределами Российской Империи духовные лица, военные и дипломаты действовали заодно. Их служение демонстрирует сотрудничество замечательных русских людей, движимых одной идеей, – делать добро, нести спокойствие, защиту и просвещение - духовное и за ним культурное – цивилизуя нравы, приобщая народы к гуманистическому наследию христианства.

Русская Православная Духовная миссия в Китае, открытая в Пекине в 1715 г., была первой русской миссией за пределами территории России. Ее созданию предшествовало пленение в 1685 г. китайцами казаков крепости Албазин, которые были уведены в Пекин вместе со священником о. Максимом Леонтьевым, устроившим в китайской столице первую православную часовню и затем долгие годы окормлявшим пленных казаков и их семьи. Император Петр Великий оценил политическую важность и духовное значение присутствия русской колонии в сердце Китайской империи. Еще в 1700 г. он издал указ, повторенный в 1703, 1706 и в 1710 гг., «О распространении православия в Китае», – и на запрос пленных албазинцев в 1712 г. о назначении к ним нового священника направил в Пекин целую Духовную Миссию, состоявшую из десяти сотрудников, из которых трое были клириками и семеро из учеников тобольской славяно-русской школы, причем Петр велел митрополиту Тобольскому, святителю Иоанну (Максимовичу) избрать «достойнейших людей для служения в царстве китайском»[22]. С другой стороны, как писал член 16-й и 17-й Миссий иеромонах Николай (Адоратский): «Надо отдать честь и самому китайскому правительству ...не только одобрившему мысль о постоянной Российской Миссии, но и помогшему осуществить ее. Относясь с большим уважением к российским монархам, богдыханы со своими чиновниками благосклонно и доверчиво смотрели и на российских миссионеров»[23]. Миссия была принята в Китае с почетом, ее сотрудникам были даны высокие государственные должности (клирики назначены «мандаринами» разных степеней), в качестве государственных служащих Китая они были обеспечены жалованием и жильем. До 1860 г. Миссия содержалась обеими сторонами – и российской, и китайской. По свидетельству сотрудников Миссии, привилегированное положение русских миссионеров в Китае вызывало даже некоторую ревность инославных проповедников, уже не одно столетие присутствовавших в китайской столице.

Первейшим долгом русских священнослужителей в Пекине было духовное окормление русской колонии – албазинцев и их потомков. Однако Петр I поставил перед миссионерами несравненно более масштабные задачи: помимо чисто богослужебных функций на Миссию были возложены еще и дипломатическое, и научное послушания. На протяжении 150 лет русская духовная миссия играла роль дипломатического представительства России в Китае, в том числе в те годы, когда ни одна страна не имела там своего посольства. Только в 1863 г., после того как было открыто подчинявшееся Российскому МИДу русское дипломатическое посольство в Пекине, с Духовной Миссии была снята дипломатическая функция, и сама она была передана в ведение Синода.

Одновременно Миссия являла собой и замечательное научное учреждение, в котором подвизались выдающиеся русские ученые. Во исполнение замысла Петра I в Пекин посылались способные ученики духовных учебных заведений для овладения китайским и маньчжурским языками с целью подготовки их к дальнейшей проповеднической, дипломатической и научной деятельности. В Миссии подвизались такие выдающиеся ученые-востоковеды и синологи, как начальник 9-й миссии архим. Иакинф Бичурин, начальник 10-й миссии архим. Петр (Каменский), начальник 13-й и 15-й миссии архим. Палладий (Кафаров), начальник 14-й миссии архим. Гурий (Карпов) (был причислен к лику святых), начальник 16-й миссии архим. Флавиан (Городецкий), а также архим. Аввакум (Честной), иером. Исайя (Поликин), иером. Николай (Адоратский), иером. Алексей (Виноградов), И. Россохин, А. Леонтьев, А. Владыкин, К. Крымский, С. Липовцев, В. Васильев, И. Гошкевич, В. Горский, И. Захаров, К. Скачков, П. Попов, К. Павлинов, А. Татаринов, Д. Пещуров, О. Ковалевский, И. Войцеховский. Многие из них были удостоены правительственных наград. За 200 лет сотрудниками Миссии была проведена огромная работа по переводу богослужебной, катехизаторской, святоотеческой литературы на китайский язык. Позднее эти переводы облегчили труд русских миссионеров, работавших среди других народов Дальнего Востока, родственных китайцам по иероглифической письменности японцев, корейцев, маньчжуров. В конце XIX в. начальник 16-й миссии архим. Флавиан (Городецкий) получил официальное разрешение вести богослужение на китайском языке.

Третьей задачей, поставленной перед Миссией при ее учреждении, была проповедь православия

среди собственно китайского населения. Ее выполнению способствовал Тяньцзинский договор 1858 г., по которому иностранным проповедникам разрешалось вести миссионерскую деятельность среди китайцев, в том числе и за пределами Пекина. И на этом поприще русские миссионеры действовали успешно, заложив своими проповедническими трудами основу для создания будущей Китайской поместной церкви. Во время восстания ихэтуаний 1900 г. за исповедание православия были замучены 222 православных китайца, причисленные позднее к лику святых мучеников. В 1903 г. их мощи были торжественно обретены и перенесены в храм, посвященный их имени[24].

К 1917 г. миссии принадлежали мужской и женский монастыри в Пекине, 19 церквей, 3 часовни, 5 кладбищ, Крестовоздвиженский скит в горах Сишань, 32 миссионерских стана, (один из них в Монголии), семинария в Пекине, 21 школа-богадельня, библиотека, художественная мастерская и училище, метеорологическая станция, типография, молочная ферма, фабрика по разведению шелковичных червей, ткацкая фабрика, электростанция и многое другое. Миссия имела также подворья в России и Китае (Петербурге, Москве, Маньчжурии, Харбине, Дайрене). Капитал миссии приближался к 1 млн рублей. Вся страна была поделена на епархии. «Слава Богу, – говорил глава 18-й миссии преосвященный Иннокентий (Фигуровский), – милость и помощь Божия посетили миссию... Все идет не к упадку, а к расцвету, не к смерти, а к жизни». В таком подъеме Православная Церковь в Китае подошла к 1917 г., благодаря чему Китай смог впоследствии стать одним из основных центров русской послереволюционной эмиграции.

Учреждение в 1870 г. Российской Духовной Миссии в Японии, последовавшее затем крещение десятков тысяч японцев, строительство по всей стране православных храмов, начиная со знаменитого кафедрального собора в Токио Николайдо – это «японское православное чудо» обязано своим существованием, безусловно, прежде всего, необыкновенному миссионерскому дару и жизненному подвигу просветителя Японии святого равноапостольного архиепископа Николая (Касаткина). В разные периоды сотрудниками свт. Николая Японского были выдающиеся пастыри: архимандрит Андроник (Никольский), будущий пермский архиепископ и священномученик, архимандрит Сергий (Страгородский), будущий Патриарх Московский и всея Руси, епископ Сергий (Тихомиров), будущий глава Японской Духовной Миссии. Однако главным залогом успеха русской православной миссии в Японии стало то, что святителю Николаю удалось создать очень действенную систему катехумената, при которой сами новообращенные японцы совершали оглашение своих сограждан. Первые же крещеные в 1868 г. святителем Николаем японцы – Павел Савабе, Иоанн Сакаи и Иаков Урано – стали ревностными проповедниками. А уже с 1874 г. стало возможным созывать ежегодный Собор Японской Церкви. Соборами же назначались катехизаторы, которые получали жалованье от Русской Духовной Миссии и ежегодно отчитывались перед следующим Собором за свою работу. Благодаря их деятельности были созданы общины православных верующих в разных частях страны. Когда позднее святитель Николай слышал жалобы инославных миссионеров на прагматизм японцев, идущих в христианские школы «исключительно для образования», он с гордостью отвечал: «Наша Церковь... воздвигнута японцами же»[25].

Особенно сложным для Японской Церкви и Русской Духовной Миссии был период русско-японской войны 1904–1905 гг., поскольку православие ассоциировалось в Японии с Россией. Мудрое поведение святителя Николая в этих труднейших условиях позволило японцам сохранить Церковь и в то же время получить новый духовный урок: «Я, как русский подданный, не могу молиться за победу Японии над моим собственным Отечеством – обратился к своей пастве Святитель. – Я также имею обязательства к своей родине и именно поэтому буду счастлив видеть, что вы исполняете долг в отношении к своей стране... Любовь к Отечеству есть святое чувство <...> Но кроме земного Отечества у нас есть еще Отечество небесное <...> Это Отечество наше есть Церковь, которой мы одинаково члены... И вместе будем горячо молиться, чтобы Господь поскорее восстановил нарушенный мир»[26].

Внешними благоприятными условиями, которые помогли раскрыться проповедническому таланту святителя Николая были исторические условия «эпохи Мэйдзи» (1868–1912), которые обусловили относительную веротерпимость японского общества в этот период. В дальнейшем, как отмечает исследовательница истории Японской Церкви Н. А. Суханова, «с переменой политической обстановки в Японии все христианские конфессии оказались здесь в маргинальном положении... По кончине свт. Николая в 1912 г. менее благоприятные исторические условия провоцировали проблемы внутри Православной Церкви, – упадок системы катехумената, прежде игравшего исключительно важную роль в обращении новых христиан, конфликты приходов со своими священниками, переход на светскую работу лучших преподавателей семинарии. Все большее значение играл факт растущего японского национализма <...> Ставка западных миссионеров на утилитарную сторону христианства, образовательную и благотворительную

деятельность лучше соответствовала практичному складу японского ума и обеспечила протестантам и католикам более широкое присутствие в общественной жизни».

Таковы были проблемы, с которыми Японская Православная Церковь подошла к рубежу 1917 г. – году утраты связи с Россией. Ей предстояла задача сохранения наследия ее основателя свт. Николая, выживание в условиях утраты помощи извне и дальнейшее развитие с целью получения со временем статуса автономной Поместной Церкви.

* * *

История православия в Персии представляет собой одну из наиболее драматичных страниц в истории распространения православия в мире. Русские миссионеры пришли в Персию в конце XIX в. по настойчивым просьбам местного населения – персидских христиан-несториан – перевести их в православие. С точки зрения конечного результата, это было, как будто одно из наиболее неуспешных русских предприятий: Первая мировая война и последовавшая за ней революция в России свели почти на нет усилия миссионеров привить православную духовность на этой земле, так как десятки тысяч принявших православие персидских ассирийцев вскоре были в большинстве своем вырезаны в ходе Первой мировой войны. Однако если успехом считать степень усвоения просвещаемым народом христианской проповеди, то можно считать, что русская миссия в Урмии была из самых значительных.

Поражает уже одно созвездие имен тех, кто трудился в русской Урмийской миссии и тех, кто был к ней причастен, кто ее поддерживал. Миссионерское служение здесь проходили будущие российские священномученики – архимандрит (впоследствии митрополит) Кирилл (Смирнов), будущий митрополит Казанский, названный Святейшим Патриархом Тихоном первым кандидатом на патриарший престол после его кончины; епископ Пимен (Белоликов), вошедший в святцы с титулом епископа Верненского; недолгое время служил здесь также будущий архиепископ священномученик Иувеналий (Масловский). Подвижническое свидетельство о православии в Персии подготовило их к стойкости среди гонений на родине. Святитель Пимен по рождению своему был связан семейными узами со святым праведным о. Иоанном Кронштадтским, а также был двоюродным братом и единомышленником другого священномученика, настоятеля Казанского собора в Петрограде протоиерея Философа Орнатского – несомненно, назначению еп. Пимена в Персию сопутствовали молитвы и этих святых. Помощь русскому делу в Персии оказывал старший друг и соратник свт. Пимена святитель и бескомпромиссный священномученик архиепископ Пермский и Кунгурский Андроник (Никольский). Еще один великий миссионер и святой, причастный к делу устроения православной миссии в Персии, – протоиерей Иоанн Восторгов, приезжавший в Урмию для ревизии по поручению Святейшего Синода в 1901 г. и впоследствии посвятивший Урмийской миссии ряд проповедей и статей. Напутственную речь при посвящении о. Пимена (Белоликова) в епископы говорил священномученик митрополит Владимир (Богоявленский). Все вышеназванные (за исключением о. Иоанна Кронштадтского, скончавшегося в 1908 г.), стали первыми жертвами революции – погибли в 1918 г. в Петрограде, Москве, Перми и Киеве. Направляясь в Урмию, епископ Пимен письменно испрашивал благословения у святого равноапостольного Николая (Касаткина), просветителя Японии. К персидским делам были причастны такие выдающиеся российские иерархи, как митрополит Антоний (Вадковский), архиепископы Иларион (Рогулевский), Никон (Рождественский), Димитрий (Абашидзе), епископ Софония (Сокольский). В Персии проходили свое служение блестящие русские дипломаты, военные, государственные деятели: А. С. Грибоедов, А. П. Ермолов, Н. К. Гирс, Артемий Волынский, Павел Шафиров и др. К делу присоединения к православию сиро-персидских христиан приложили свои усилия российские ученые историки и сирологи – В. В. Болотов, П. К. Коковцов и И. Г. Троицкий.

Сама Урмийская миссия вела большую просветительскую и научную работу. В ее ведении находилось около 60 православных школ; русскими миссионерами было создано епархиальное училище для воспитания собственных сирийских преподавателей и местной интеллигенции. Работниками миссии велись труды по изучению сирийской церковной истории, а также активная переводческая деятельность, которая прервалась только с началом военных действий между Россией и Турцией осенью 1914 г. На старо- и новосирийский языки был переведен почти весь православный богослужебный круг. Переводы совершались не только с русского на сирийский, но и с сирийского на русский: особое внимание уделялось публикациям житий древних местных святых, малоизвестных или почти забытых. Тем самым сотрудники миссии старались возродить традиции местной святости первых веков христианства, для того чтобы Персидская Церковь строилась на собственном древнем фундаменте. В декабре 1915 и начале 1916 г. несторианский Патриарх-Католикос Мар-Шимун приезжал в Тифлис, где был награжден почетным российским орденом как союзник России и выразил желание перейти со всей остававшейся еще в несторианстве паствой под омофор Русской Церкви. Только рево-

люция 1917 г. помешала осуществлению этого намерения.

* * *

Учреждению Российской Духовной Миссии в Корее предшествовало стихийное переселение корейцев на территорию российского Южно-Уссурийского края, начавшееся в 1860-х гг. и к 1898 г. достигшее числом около 23 тыс. человек. Причиной пересечения корейским населением российской границы являлись тяжелые условия жизни у них на родине, связанные с аграрным перенаселением, периодическими неурожаями и голодом, а также налоговым бременем и произволом местных чиновников. Российское правительство приняло меры к регулированию процесса: по согласованию с Корейским правительством часть переселенцев отправлялась назад и принималась только на сезонные работы, другая же – принималась в русское подданство, что подразумевало выделение каждой семье земельного надела и подключение «к школьному и миссионерскому делу»[27]. Первым просветителем русско-подданных корейцев стал равноапостольный святитель-миссионер Иннокентий (Вениаминов), епископ Алеутский, впоследствии митрополит Московский. В 1864 г. возникло первое корейское поселение на русской территории (Посьетский участок), а уже в 1865 г. появились первые крещеные в православие корейцы, причем многие из них вместе с просьбой о русском подданстве сразу выражали желание перейти в «русскую веру». В 1868 г. в России открылась первая корейская школа, в 1872 г. построена первая корейская православная часовня в селе Корсаковском, во второй половине 1870-х гг. стали возникать самостоятельные корейские приходы, с 1882 г. один за другим на деньги самих корейцев строятся храмы. В 1910 г. из примерно 50 тыс. переселившихся в Россию корейцев крестились 10 237 человек. К 1913 г., по данным Владивостокского Епархиального комитета Православного миссионерского общества, это число возросло до 13 600; на российской территории Дальнего Востока в это время находилось 16 православных миссионерских станов, из которых 10 – с корейским населением[28]. К 1917 г. было открыто уже 225 миссионерских корейских школ, в которых обучались 8349 детей[29].

В то же время в самой Корее в конце XIX в. росло влияние России, в которой корейцы видели альтернативу усиления японского присутствия (завершившегося в 1910 г. присоединением Кореи к Японии). В столице Кореи Сеуле к концу XIX в. проживало около 150 русских, из которых большинство были сотрудниками русского посольства, а около 30 человек работали переводчиками в различных министерствах – это и были как раз православные корейцы из России, которых в дипломатических документах называли просто «русскими»[30]. По просьбе сотрудников русской дипмиссии в Сеуле, при поддержке этого начинания императором Николаем II, 2–4 июля 1897 г. Святейшим Синодом был издан указ № 2195 об открытии в Корее Российской Духовной Миссии для «обслуживания духовных потребностей русских православных людей, проживающих в Корее, и по возможности насаждения св. Веры среди местного туземного населения»[31]. Реальное открытие Корейской Российской Духовной Миссии состоялось в 1900 г., когда в Сеул прибыл назначенный ее начальником архимандрит Хрисанф (Щетковский). Таким образом, Корейская миссия является самой молодой из всех, созданных за границей Российских Духовных миссий. Святой праведный протоиерей Иоанн Кронштадтский благословил открытие Корейской Духовной миссии, прислав начальнику Миссии свое праздничное облачение[32].

Как и в других восточных российских миссиях, перевод на местный язык Священного Писания и богослужебных книг был насущной необходимостью миссионерской работы в Корее. Здесь начальнику миссии помогали русско-подданные корейцы, окончившие русские миссионерские школы в Южно-Уссурийском крае. Привлекались также переводы с церковнославянского и русского на китайский, сделанные в Пекинской Духовной Миссии и присланные в Сеул по просьбе архимандрита Хрисанфа, поскольку корейцы знакомы были с китайской письменностью. По замечанию русских миссионеров, корейцы легко воспринимали обрядовую сторону богослужения, им особенно близки были в православии поминальные службы, поскольку культ предков был их древним вероисповеданием.

После Русско-японской войны 1904–1905 гг. положение русских миссионеров в Корее осложнилось. Тем не менее именно в период с 1906 по 1917 г. наблюдается максимальный подъем деятельности Корейской миссии, и связан он с именем архимандрита, затем епископа Павла (Ивановского), который за время своего настоятельства крестил 322 корейца, создал пять миссионерских станов, семь школ для корейских детей с 20 учителями и 250–260 учащимися, а также четыре молитвенных дома (в городах Кёхе, Каругай, Сончон, Ильсан). В 1907 г. во Владивостоке, где проживало около десяти тысяч корейцев, было устроено подворье Корейской Духовной Миссии, и была освящена домовая церковь в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», в память погибших в боях с японцами русских воинов. Посетивший эту страну в 1909 г. синодальный миссионер протоиерей Иоанн Восторгов писал: «По всей Корее господствует убеждение,

что принятие христианства целым народом спасет корейский народ от поглощения японцами...»[33] «Дай Боже, – писал архимандрит Павел, – чтобы над Кореей скорее воссияло солнце Православия, воссияло уже светом невечереющим...» [34]

В дальнейшем революция 1917 г. в России, лишившая Корейскую Миссию финансирования, исходившего от Синода, поставила ее на грань выживания.

* * *

Особую страницу истории русской православной миссии представляет собой история русского православия на Американском континенте. Она начиналась на Аляске, которая была в конце XVIII в. частью Российской империи. Географическое положение вблизи континента Евразии, а также близость коренного населения (алеуты, эскимосы, индейцы) к этносам евразийского Севера и Сибири сделали православное просвещение Аляски естественным продолжением внутренней миссии [так, святитель-миссионер митрополит Московский Иннокентий (Вениаминов) именуется апостолом Сибири и Аляски].

Особенностью христианского просвещения Аляски являлось то, что здесь первыми миссионерами были не духовные лица, а миряне – русские купцы и промышленники, первыми обучившими местное население основам веры и молитвы. Русские пришли сюда прежде других христианских конфессий, так что «западные путешественники, впервые посетившие Аляску, уже застали там русских, которые вместе с туземцами совершали христианские молитвословия по восточному обряду»[35]. Это уникальный случай: как правило, русские миссионеры приходили на почву, уже не одно столетие обрабатывавшуюся католиками и протестантами, – так было в Японии, Китае, Персии, Корее, поэтому «Православие стало неотъемлемой частью культуры населения Аляски»[36].

Начало собственно миссионерской церковной деятельности в Америке было положено в 1794 г. с прибытием на о. Кодьяк первой русской духовной миссии, состоявшей из восьми монахов Валаамского и Коневецкого монастырей, среди которых наибольшее влияние на местных жителей оказал прп. Герман – первый православный святой американского континента. Следует отметить подлинно апостольское рвение, полную самоотдачу, с которым трудились монахи-миссионеры: они по-настоящему готовы были жертвовать, и неоднократно действительно жертвовали самой своей жизнью (погибая в море во время объезда приходов, или от рук не принявших их проповеди туземцев), ради приобщения местного населения к православию. «В жизни миссионеров туземцы видели пример истинного христианского подвижничества, неподдельную жертвенность и искреннюю к ним любовь»[37]. Жители Аляски охотно принимали православную проповедь и даже по своей собственной инициативе сжигали шаманские культовые предметы после обращении в христианство. «Из всех добрых качеств алеутов ничто столько не радовало и не услаждало моего сердца, – писал о. Иоанн Вениаминов, будущий святитель Иннокентий, – как их усердие, или, правильнее сказать, жажда к слышанию Слова Божия, так что скорее утомится самый неутомимый проповедник, чем ослабнет их внимание и усердие к услышанию Слова»[38].

Продажа Аляски Американским штатам в 1867 г. не остановила православную проповедь на континенте. Напротив, к 1917 г. Североамериканская епархия Русской Православной Церкви распространилась на всю территорию Соединенных Штатов и Канады, причем кафедра правящего епископа из Ситхи была перенесена сначала в Сан-Франциско (1881), а затем в Нью-Йорк (1905). В силу полиэтнического характера русской проповеди Русская Православная Церковь стала колыбелью для множества национальных православных общин, обретших позднее статус епархий различных Национальных Православных Церквей на Северо-американском континенте. Особенно большое развитие Северо-Американская епархия получила под управлением (1898–1907) епископа Тихона (Беллавина), будущего Патриарха Московского и всея Руси. К 1917 г. Русская Православная Церковь имела в Северной Америке 4 викариатства, 272 прихода, 242 священнослужителя и до 500 тыс. прихожан. В 1907 г. был созван Первый Всеамериканский Православный Собор. В Русской Церкви обсуждался вопрос о путях предоставления американской епархии большей самостоятельности с перспективой создания самостоятельной Американской поместной церкви.

* * *

Итак, духовное присутствие православной России во внешнем мире так или иначе влекло за собой возникновение православных храмов, монастырей, церковных общин, духовных миссий (для воцерковления пожелавших того народов) и других символов, свидетельств и памятников этого присутствия. После революции 1917 г. миллионные потоки эмигрантов из России нашли в разных уголках мира эти приходы и храмы как естественную опору для выживания, как частицы родной страны на чужбине. Именно эти, существовавшие уже в разных странах к 1917 г., островки православия в русской его «транскрипции» позволили колоссаль-

но выросшей русской диаспоре в XX в. сохранить свою русскую идентичность и тем самым не стать «потерянными поколениями» для своей страны, но обогатить ее духовное достояние своим особенным неповторимым историческим и духовным опытом. Но это – уже следующая страница истории.

Примечания

1 Филарет – митрополит Московский и Коломенский. Рассуждение о нравственных причинах неимоверных успехов наших в настоящей войне. 1834 год // Филарета митрополита Московского и Коломенского творения. М., 1994. С. 313.

2 Илья.

3 Исторический лексикон. История в лицах и событиях. V–XIII в. М., 2006. Кн. 1. С. 487.

4 Словарь книжников и книжности Древней Руси. XI – первая половина XIV в. Л., 1987. С. 109–112.

5 Левшун Л. В. История восточнославянского книжного слова XI–XVI в. Минск, 2001. С. 193–194.

6 Соколов И. И. Константинополь, Палестина и Русская Церковь // Религии мира 2002. М., 2002. С. 157.

7 Бибиков М. В., Глазырина Г. В., Джаксон Т. Н. и др. Древняя Русь в свете зарубежных источников / под ред. Е. А. Мельниковой. М., 2003.С. 90–94.

8 Nicetae Choniatae Historia. Berolini et Novi Eboraci, 1975. P. 522.28–29.

9 Текст послания известен по рукописи: Cod. Vat. gr. 1409, fol. 360–361.

10 Каштанов С. М., Столярова Л. В. (при уч. Фонкича Б. Л.). Россия и греческий мир в XVI в. М., 2004. Т. 1. С. 37.

11 Медведев И. П. Русские как Святой народ. Взгляд из Константинополя XIV в. // Verbum. Вып. 3. СПб., 2000. С. 87.

12 Архиепископ Антоний (Храповицкий). Чей должен быть Константинополь? // Религии мира 2002. М., 2002. С. 198–199.

13 А. И. Нелидов – Н. П. Шишкину. 10 апреля 1890 г. АВПРИ. Ф. 180. Оп. 517/2. Д. 1193 а. Л. 89–89 об.

14 То есть на Афоне.

15 Иеромонах Серафим Святогорец «Письма Святогорца друзьям своим о святой горе Афонской». М., 1895. С. 475.

16 РГИА. Ф. 797. Оп. 61. Отд. 2. Ст. 3. Д. 146. Л. 8–12.

17 Русские храмы и обители в Европе. С. 208–210, 354–356; Епископ Саранский и Мордовский Варсонофий. Сочинения: в 5 т. Т. 3: Афон в жизни Русской Православной Церкви в XIX – начале XX вв. Саранск, 1995. С. 119.

18 Ebd., S. 3.

19 Ebd., S. 50; Seide G. Die Russische Orthodoxe Kirche im Ausland unter besonderer Bercksichtigung der deutschen Diözese. München, 2001. S. 88.

20 Seide G. Die russische Kirche zu Ehren des Hl. Nikolaus des Wundertäters. München, 1989. S. 2.

21 За редкими исключениями. Так, придворный архитектор Австрийского двора Джованни Салуччи спроектировал надгробную часовню для Александры Павловны в виде античной ротонды.

22 Иеромонах Николай (Адоратский): «Православная Миссия в Китае за 200 лет ее существования: Опыт церковно-исторического исследования по архивным документам». Вып.1–2 (Казань, 1887) // История Российской Духовной Миссии в Китае. М., 1997. С. 65.

23 Там же. С. 18.

24 В 1997 г. Русской Православной Церковью было восстановлено почитание в лике местночтимых святых священномуч. Митрофана (Цзи) и 221 китайца, в Китае пострадавших.

25 Дневники святого Николая Японского: в 5 т. / сост. К. Накамура. СПб.: Гиперион, 2004. Т. 2. С. 414.

26 Цит. по: «Святитель Николай Японский. Кратное жизнеописание. Дневники 1879–1911 гг.». СПб., 2007. С. 41, 42.

27 Иеромонах Павел (Ивановский): Очерк миссии среди корейцев Южно-Уссурийского края // История Российской Духовной Миссии в Корее. М., 1999. С. 121.

28 Труды командированной по Высочайшему повелению Амурской экспедиции. Вып. XI. Китайцы, корейцы и японцы в Приамурье. Отчет Уполномоченного Министерства Иностранных Дел В. В. Граве. СПб., 1912. С. 141, 191.

29 Сагитова И. О., Прозорова Г. В. Евангелизация корейского населения российского Дальнего Востока (1864–1917) // сайт Владивостокской епархии Русской Православной Церкви http://orthodox.fegi/prav3.htm

30 См., напр.: «...русского населения Сеула, т. е. православных корейцев» (из письма чиновника Российской Дипломатической Миссии в Корее З. М. Поляновского от 3 января 1897 г.) // Архив Российского Генерального Консульства в Корее.

31 Архимандрит Феодосий (Перевалов): Российская Духовная Миссия в Корее (1900–1925 гг.) // История Российской Духовной Миссии в Корее. М., 1999. С. 181.

32 Епископ Хрисанф (Щетковский): Из писем Корейского миссионера. М., 1905. С. 6–7; Анисимов Л. Православная миссия в Корее (к 90-летию основания) // Журнал Московской Патриархии (ЖМП). 1991. № 5. С. 57.

33 Иеромонах Иннокентий, Прозорова Г. В. Рассказ о первом викарии Владивостокско-Камчатской епархии епископе Павле (Ивановском) // сайт Владивостокской епархии Русской Православной Церкви http://orthodox.fegi/prav3.htm

34 Цит по: Архимандрит Августин (Никитин): Русская Православная Миссия в Корее // Православие на Дальнем Востоке. Вып. 1. СПб., 1993. С. 138–139.

[35] Свт. Патр. Алексий II: «К читателю» // Митрополит Климент (Капалин): Русская Православная Церковь на Аляске до 1917 г. М., 2009. С. 6.

[36] Там же. С. 7.

[37] Митрополит Климент (Капалин): Русская Православная Церковь на Аляске до 1917 г. М., 2009. С. 12.

[38] Цит. по: Барсуков И. П. Иннокентий, митрополит Московский и Коломенский, по его сочинениям, письмам и рассказам современников. М., 1997. С. 53.

В. Б. Жиромская

ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКОГО АППАРАТА В 1920–1930-е ГОДЫ

Курс на индустриализацию, провозглашенный советским правительством в 1925 году, означал форсированную модернизацию всей хозяйственно-экономической жизни страны на новейшей научно-технической основе. При высокой степени огосударствления всех форм собственности необходимо было иметь мобильный, инициативный высококвалифицированный аппарат управления. Он должен был обеспечить прорыв страны на новую цивилизационную ступень развития. Это было бы возможно при демократизации социально-политического режима. Однако с самого начала 1920-х годов стала складываться жесткая командно-административная система управления. Такая система могла добиться и добилась значительных, но временных успехов. В дальнейшем она привела к неоправданному разрастанию бюрократического аппарата, контролирующего и по горизонтали, и по вертикали всю структуру общественной жизни страны. Эта система противоречила модернизационному процессу и стала тормозом для развития уже в предвоенные годы, поскольку конструировалась не по принципу профессиональной компетентности кадров руководителей, а по их «классовому чутью». Она лишена была необходимой гибкости, тяготела к замкнутости, к самовоспроизводству и очень скоро перестала воспринимать инновационную сущность модернизации.

Для того чтобы обеспечить функционирование командно-административной системы, нужно было сформировать специфические, имманентные ей кадры руководителей, имеющих определенный комплекс необходимых качеств. Любое решение партии, постановление правительства должно было восприниматься ими как приказ. Слепое повиновение не требовало, как правило, склонности к самостоятельности оценок, критическому мышлению, сомнениям. Однако необходимы были организаторские способности для того, чтобы как можно успешнее провести этот приказ в жизнь, или определенная изворотливость, чтобы представить дело с его выполнением наилучшим образом. Все это не требовало профессиональных управленческих знаний. Определяющим критерием в подборе ответственных работников являлся, как правило, не их профессионализм и эрудиция, а «классовое чутье». Часто в лучшем положении оказывался не тот, кто был образован и специально подготовлен к управленческой деятельности, а тот, кто, имея организаторские способности, обладал большой исполнительностью, умением предугадывать желания начальства. Для этого не нужны были ни высокая квалификация, ни профессионализм, ни образование.

Рассмотрим основные характеристики высшего административно-управленческого аппарата, особенно руководящих работников госучреждений, которые составляли ядро советской бюрократии: численность, уровень образования, профессиональный, национальный и половозрастной состав. Функционирование командно-административной системы было невозможно без опоры на высший юридический персонал. Описание этой категории служащих представляет особый интерес.

Истоки формирования советской бюрократии уходят в дооктябрьский период. Российское государство имело разветвленный, могущественный бюрократический аппарат. Революция не сломала этой традиции, а создала свою почву для ее возрождения. Тотальная национализация и создание всеобъемлющего государственного сектора породили к 30-м годам сильную централизацию власти и строгую иерархию управления.

Зарождение советской бюрократии еще в 1920-х годах видели и опасались многие государственные деятели той эпохи, но воспрепятствовать ее укреплению не смогли. Чтобы воспрепятствовать разбуханию государственного и партийного аппарата, с 1921 по 1924-й год проводилось неоднократное сокращение штатов в госучреждениях, что привело к сокращению госаппарата в тот период более чем в 5 раз (Рыков А. И., 1990. С. 18).

Однако дело с сокращением обстояло не так просто. Сопоставим данные двух переписей насе-

ления – Всесоюзной городской переписи 1923 года и Всесоюзной переписи населения 1926 года, которые содержат сведения по служащим госаппарата в городах Европейской России, где было сосредоточено около 60 % работников этой категории.

В 1923 году в госучреждениях городов Европейской России работало 635,9 тыс. служащих. Они составляли 48,3 % всех служащих – горожан региона, т. е. почти половину, в то время как в аппарате управления фабрично-заводской промышленности было занято 12,7 %, железнодорожного транспорта – 9,5, торговли – 7,4 %. К 1926 году в связи с сокращением штатов в государственных учреждениях удельный вес этой категории служащих понизился на 6,4 и составлял 41,9 % (Итоги Всесоюзной городской переписи 1923 года. Т. 20. Вып. 4. Ч. 2. 1925. С. 69–70) (подсчеты мои. – *В. Ж.*).

Материалы переписей дают возможность проследить, какие же категории служащих аппарата были сокращены. В профессиональном отношении в 1923 году среди служащих госучреждений самым многочисленным был делопроизводственный и учетно-контрольный персонал, доля которого среди других профессиональных групп была равной 28,1 %. К 1926 году его максимальный удельный вес по регионам Европейской России составил лишь 23 % (города ЦПР), в других он был ниже. К делопроизводственному и контрольно-учетному персоналу относились секретари, писцы, регистраторы и прочие служащие. Эта категория служащих и была, главным образом, сокращена. Понизились ее численность и удельный вес.

Однако это сокращение штатов не коснулось административно-руководящего персонала госучреждений. В масштабах бывшего СССР, судя по данным тех же переписей, он, напротив, даже возрос. Если в 1923 году в городах страны старшего административного и юридического персонала было 147 тыс., то в 1926 году почти 218 тыс., соответственно увеличился и его удельный вес с 34,7 до 40,2 % среди лиц интеллигентного труда. При этом интеллигенция, занятая в сфере управления культурой и просвещением, выросла всего на 1,5 тыс. человек, а удельный вес ее упал с 48,4 до 38,1 % (Жиромская В. Б., 1988. С. 143).

Это объяснялось в основном ростом численности административно-руководящего состава госаппарата, так как юристов в стране было немного.

Та же картина наблюдалась и в городах Европейской России, где старший административный и юридический персонал увеличился с 87,3 тыс. в 1923 году до 115,4 тыс. в 1926 году.

Еще более высокими были показатели темпов роста удельного веса административно-руководящего состава госучреждений в городах республик и регионов СССР. Возможно, это отчасти связано с введением нового административного деления, что сопровождалось образованием новых административных единиц и соответствующего управления.

Административно-управленческий персонал в 1923 году в городах регионов РСФСР (Северный Кавказ, Урал, Сибирь, Казахская и Киргизская АССР и Дальний Восток) составлял от 30,4 до 38,8 % от всех лиц интеллигентного труда, а руководящий состав юридического персонала в тех же регионах – от 3,5 до 5 % (табл. 1).

Таблица 1

Руководящий и высший юридический персонал в городах республик и регионов СССР в 1923 г.*

Территория	Руководящий персонал		Высший юридический персонал	
	Абс. число	% от всех лиц интелл. труда р-ки, р-на	Абс. число	% от всех лиц интелл. труда р-ки, р-на
РСФСР	106 242	30,4	12 063	3,5
В том числе				
Юго-Восточный район	8 121	32,4	1 055	4,2
Сибирь	8 264	36,2	865	3,8
Дальний Восток	1 900	26,4	365	5,0
Киргизская республика	3 043	38,8	308	3,9
Туркестанская АССР	4 637	35,2	620	4,7
Азербайджанская АССР	2 326	26,2	250	2,8
Белорусская ССР	1345	26,6	182	3,6
Украинская ССР	22 160	27,1	2 745	3,4

* Итоги Всесоюзной городской переписи 1923 года: Труды ЦСУ СССР. М., 1925. Т. 20, 42. Вып. 3. С. 27–29, 40–41, 49–50, 139–140, 211–212, 202–293; М., 1926. Ч. 3. Вып. 1. С. 328–331, 400–403 (*подсчеты авт.*).

В 1926 г. удельный вес административно-управленческого персонала в городах и селах РСФСР достиг 38,2 %, а в Сибири – даже 42,5 %. В союзных и автономных республиках доля служащих этой категории равнялась (табл. 2): в УССР и Грузии – свыше 35 %; в Туркмении, Узбекистане, Армении – свыше 40 %; а в Киргизии и Азербайджане – 54–55 %. Только в Белоруссии ее удельный вес несколько ниже – 23,3 %.

Таблица 2

Руководящий в высший юридический персонал республик и районов СССР в 1926 г.*

Территория	Руководящий персонал		Высший юридический персонал	
	Абс. число	% от всех лиц интелл. труда р-ки, р-на	Абс. число	% от всех лиц интелл. труда р-ки, р-на
РСФСР	153 961	38,2	11 232	2,8
В том числе:				
Северный Кавказ	12 978	38,0	974	2,9
Сибирь	9 791	42,5	507	2,2
Дальний Восток	4 365	44,6	267	2,7
Казахская АССР	4 057	46,8	375	4,3
Киргизская АССР	791	54,6	47	3,2
Украинская ССР	38 139	37,2	1910	1,9
Белорусская ССР	3 168	23,3	333	2,4
Грузинская ССР	5 271	35,0	285	1,8
Армянская ССР	1 435	42,2	80	2,3
Азербайджанская ССР	8 434	55,1	141	0,9
Узбекская ССР	5 961	43,1	355	2,6
Туркменская ССР	1430	46,8	79	2,6

* Всесоюзная перепись населения 1926 года. М., 1929. Т. 22. С. 21–23, 218–223; Т. 25. С. 51–57, 235–236; 1930. Т. 31. С. 162–164, 269–271, 362–364; 1929. Т. 33. С. 34–38; Т. 32. С. 48–52; 1928. Т. 27. С. 44–53; 1929. Т. 21. С. 159–169; 1930. Т. 24. С. 77–82, 232–234; 1929. Т. 23. С. 49–59, 381–382; 1930. Т. 28. С. 44–53; 1930. Т. 26. С. 136–148 (Подсчеты *В. Ж.*).

Что касается высшего юридического персонала, то в 1926 году, как и в 1923 году, в регионах и республиках по-прежнему его было крайне мало. В городах и селах многих районов и республик он насчитывал по несколько сотен. Соответственно и его удельный вес среди всех лиц интеллигентного труда был невелик (табл. 2).

На разбухание административно-управленческого аппарата еще в 1918 году указывал А. И. Рыков на пленуме ВСНХ. С мая по сентябрь в самом аппарате ВСНХ число служащих возросло в 20 раз. «Теперь в центральной организации ВСНХ с его отделами имеются больше 2600 служащих, вместе с главками и центрами насчитываются свыше 6 тыс. служащих. Каждый день мы выплачиваем служащим и инженерам ВСНХ, не считая главков, 28 тыс. руб. в сутки. Наша кассовая выдача – на производственные цели, на поддержание промышленности и выдачи по сметам – свелась за последний месяц к 200 тыс. руб. в день» (Рыков А. И., 1990. С. 65). Итак, административно-управленческий аппарат еще в 1918 году обнаружил тенденцию к непомерному увеличению и съедал немалую часть бюджета.

Несколько позже, в декабре 1918 года, Рыков критиковал некомпетентность аппарата, бюрократические методы его работы. «Несчастье нашей советской практики не в том, что у нас есть большая и хорошая канцелярия, а в том, что мы наслаиваем одну плохую канцелярию на другую». Эти канцелярии изготавливали бесконечное число недель и месяцев «идеально разработанные планы» и лишь потом «подходили к фабрикам и заводам, чтобы накрыть их этой выработанной схемой... Долгое время планы и схемы жили сами по себе, хозяйство – само по себе» (Рыков А. И., 1990. С. 89). Зародившись, такие методы планирования обнаружили завидную устойчивость и жизнеспособность, продолжали существовать многие годы.

Несмотря на борьбу, проводившуюся с бюрократизмом, и сокращение штатов, аналогичное положение в аппарате оставалось и в начале 20-х годов. В то время Рыков неоднократно говорил, что в наркоматах расплодился определенный род управлен-

цев, которые, как «писатели», занимаются сочинением планов, оторванных от жизни.

Как известно, будучи в большинстве случаев профессиональными революционерами, большевики, придя к власти, своими силами не смогли обеспечить сразу все командные звенья системы квалифицированными кадрами.

Большинство старых специалистов не сразу перешло к сотрудничеству с советской властью, а часть их после революции эмигрировала за границу. Кроме того, в дореволюционной России интеллигенции было довольно мало. Подготовить же достаточное число новых кадров за столь короткий срок было невозможно. Отсюда такая большая роль выдвиженцев на руководящих постах. Среди них оказалось немало талантливых организаторов, сыгравших активную роль в восстановлении хозяйства, разрушенного войной. Как правило, их выбирали из наиболее способных квалифицированных рабочих или крестьян из бедняцко-середняцкой среды. Были основаны разного рода курсы и школы красных директоров, на которых они обучались. Однако для подготовки практика-выдвиженца требовалось длительное время. Между тем уже в 1921 году каждое третье промышленное предприятие страны возглавлялось рабочими независимо от уровня их компетентности, а в органах управления металлообрабатывающей промышленности, а также текстильной их было 45 % (Астахова В. И., 1976. С. 36).

В 1923 г. в партийный и государственный аппарат было направлено, по данным 30 губерний РСФСР, 563 выдвиженца, а в 1924 году – 3096 (Яковлева М. И., 1930. С. 9). Не всегда выдвиженцам хватало знаний, культуры, образования, а отношения со старыми «спецами», как тогда называли интеллигенцию, часто складывались конфликтные. Встречались и «комчванство», и недоверие к специалистам со стороны выдвиженцев. Нередко они своим некомпетентным вмешательством и подозрительностью затрудняли работу специалистов.

С другой стороны, старая интеллигенция хотя и пошла на службу к новой власти, но в значительной степени еще относилась к ней скептически. Во всяком случае, в 1922 году на вопрос анонимной анкеты: признают ли «спецы» власть рабочих и крестьян, – «да» ответили лишь 9 % опрашиваемых среди тех, кто прежде, до революции, занимал какой-либо пост, и 13 % среди тех, кто являлся рядовым служащим («Правда». 1922. 6 июня). На этом основании многие государственные и партийные деятели считали, что «спецы» являются проводниками в наши аппараты буржуазных, противосоветских влияний и потому неприемлемы «по самому своему общественно-классовому нутру» (Ларин Ю., 1923. С. 79). Отсюда настойчиво звучало требование усилить выдвиженчество, расширить сеть «школ красных директоров» (Ларин Ю., 1923. С. 80). Все это приводило к тому, что в середине 20-х годов административно-управленческий аппарат продолжал активно пополняться выдвиженцами, хотя в него уже начали вливаться первые выпускники советских вузов. Благодаря переписи 1926 года можно получить характеристику административно-руководящих кадров того времени.

Самая большая часть административно-руководящих работников составляла аппарат различных учреждений: руководители и заведующие учреждениями центрального, областного и губернского управления и их частями; учреждениями окружного и уездного управления, руководители рай- и волисполкомов и т. д. Они насчитывали 198 тыс. человек и превосходили по численности всех, вместе взятых, руководителей других отраслей – сельского хозяйства (12 тыс. человек), фабрик и заводов (38 тыс. человек), строительства (2 тыс. человек) и проч.

В основном среди управленческого состава преобладали мужчины. Но эмансипация дала свои первые плоды. Хотя женщин среди руководителей было немного, но они были представлены в администрации фабрик и заводов (600 человек), сельского хозяйства (156), а в госаппарате даже 22 тыс. (Всесоюзная перепись населения 1926 года. Т. 34. 1934. С. 58–73).

Перепись подробно зафиксировала руководителей культурно-просветительных учреждений (19 тыс.). Это были руководители научных учреждений и вузов, рабфаков, профшкол, общеобразовательных школ, школ ликбеза, дошкольных учреждений и др. Среди руководителей таких учреждений женщины составляли 31 %, в основном за счет общеобразовательных школ, детских учреждений и школ ликбеза. Однако и среди руководителей вузов и научных учреждений их было 91 человек (Всесоюзная перепись населения 1926 года. Т. 34. 1934. С. 173).

В целом по бывшему СССР в составе высшего административно-управленческого аппарата учреждений женщин было 10,9 %, при этом среди русских – 11 %, в Грузии среди грузин – 9,1 %, на Украине среди украинцев – 7,8 %, в Казахстане – среди казахов 1,4 % и т. д. Таким образом, женщины были представлены в управленческих учреждениях среди высшей администрации даже в Казахстане и Средней Азии (Всесоюзная перепись населения 1926 года. Т. 34. 1934. С. 58–73; Т. 25. 1929. С. 70; Т. 32. 1931. С. 76).

В те годы для национальных регионов появление женщин на руководящих должностях было целой революцией.

Следует отметить, что повсеместно, во всех республиках национальные кадры были широко представлены среди высшего административно-управленческого, как, впрочем, и высшего юридического персонала. Например, на Украине в аппарате украинцы составляли более половины всех высших административных работников; русские – около $^1/_5$, почти столько же было евреев. В республиках Закавказья коренные национальности в административно-управленческом аппарате на руководящих постах были представлены убедительнее, чем в других республиках. Например, в Грузии грузины среди руководителей учреждений составляли 68,7 %, а в Армении армяне – 93,5 %. Русские соответственно – 9,2 и 1,4 %. При этом управленческий аппарат был многонациональным. В той же Грузии, кроме грузин и русских, среди управленческих кадров немало было армян, а в Армении были представлены тюрки (азербайджанцы) (Всесоюзная перепись населения 1926 года. Т. 31. 1930. С. 279, 382).

Даже в Средней Азии в административном аппарате представители коренной национальности насчитывали от четверти до трети. Так, в Узбекистане узбеков среди руководителей госучреждений было 37 %; русских и украинцев в аппарате было 53,4 %. Кроме того, 6 % в аппарате составляли таджики (Всесоюзная перепись населения 1926 года. Т. 32. 1931. С. 76).

В Казахстане среди руководящих кадров госучреждений казахов было меньше, но все же они превышали 22 %. Русских было 54,4 %, украинцев – 10,1 % (Всесоюзная перепись населения 1926 года. Т. 25. 1929. С. 70).

Итак, перечислены лишь крупные национальные группы, а в аппарате госучреждений были представлены и многие другие народности, населяющие республики. В переписи они значатся как «прочие».

Таким образом, административный аппарат в его высшем звене сразу складывался как многонациональный. То же самое надо сказать и о высшем корпусе юристов.

Большую часть управленческого аппарата госучреждений составляли кадры зрелого возраста от 30 до 39 лет (среди мужчин 38 %, а среди женщин 30,3 %). Значительна и доля молодежи 25–29 лет (соответственно среди мужчин и среди женщин 25,7 %). Среди женщин большую долю, чем среди мужчин, составляли также 20–24-летние). Зато пожилых людей в аппарате на руководящих должностях было: после 50 лет мужчин – 4,5 %, женщин – 3,4 %; в том числе после 60 лет – 0,9 и 0,5 % (Всесоюзная перепись населения 1926 года. Т. 34. 1933. С. 58–73).

Если сопоставить эти данные с данными о возрастном составе фабрично-заводской администрации высшего звена, то увидим, что эта администрация гораздо старше по возрасту. Возьмем молодежную группу 20–24 года (мужчин): на ее долю приходилось всего 3,3 %, зато в учреждениях – 16 %. Аналогичная картина и с группой 25–29 лет: соответственно тому 14,1; 25,7 %. Напротив, люди более старшего возраста (40–49 и 50–59 лет) имели больший удельный вес среди администрации высшего звена в фабрично-заводской промышленности (25,9 и 9,0), в сельском хозяйстве (26,4 и 10,5), чем в аппарате учреждений (13,6 и 3,6 %). Однако самой большой группой в аппарате высшего звена во всех отраслях оставалась возрастная группа 30–39 лет.

Такое сопоставление данных привело к некоторым размышлениям. Слишком активно руководящий аппарат госучреждений пополнялся молодежью, не имеющей достаточного хозяйственного, политического и жизненного опыта для руководства государством, областью, республикой и т. д. Видимо, это были люди, имеющие стаж комсомольской или партийной работы и выдвинутые в административный управленческий аппарат. Судя по возрасту, они получили свое образование уже в советское время, часто методом ускоренной подготовки через разную систему курсов, школ и т. д. Там, где требовались профессиональные знания – на строительстве, в фабрично-заводской промышленности и т. д., состав руководителей несколько старше. Особенно удивляет слишком молодой состав высшего руководящего персонала среди юристов, вряд ли эти кадры успели получить соответствующую профессиональную подготовку. Так, группа 25–29-летних составляет среди них 28 % (мужчины), 38 % (женщины), а 40–49-летние соответственно – 13,9 и 4,8 %. Группа старше 50 лет и вовсе малочисленна (Всесоюзная перепись населения 1926 года. Т. 34. 1933. С. 58–73).

Конечно, молодежь должна пополнять аппарат, обновлять его, привносить необходимое, свойственное молодости, чувство нового, но это должно быть уравновешено опытом, профессионализмом старшего поколения, особенно когда речь идет о высшем административно-руководящем звене госучреждений, а тем более о высшем юридическом персонале. Ведь в последнем случае речь идет о прокурорах и судьях, которые призваны решать судьбы людей. Это тем более важно, что судопроизводство тогда на глазах теряло состязательный характер, а суда присяжных больше не существовало. Молодежи между тем свойственны и поспешность в принятии решений, и дефицит милосердия, и излишний радикализм.

К сожалению, данных по грамотности и образованию высшего управленческого аппарата в переписи 1926 года нет. Мы располагаем лишь сведениями обследования (РГАЭ. Д. 474. Л. 23) хозяйств членов РКП(б) и РКСМ Иваново-Вознесенской, Кубано-Черноморской и Саратовской губерний, анализ которого дает известный статистик 20-х годов А. И. Хрящева. Кроме названных типов хозяйств для сопоставления обследовались хозяйства членов сельсоветов и волисполкомов, а также членов правлений кооперации. Согласно этим данным, среди членов сельсоветов и волисполкомов неграмотных было 9,8 %, а среди членов правлений кооперативов – лишь 2,3 %. При этом 5,9 % членов сельсоветов и волисполкомов окончили среднюю школу, двухклассную сельскую школу – 5,9 %, а 14,9 % учились, но не закончили сельскую школу. У членов правлений кооперативов образование выше: из них окончили низшую (двухклассную) школу 71,2 %, среднюю школу и неполную сельскую 6,8, а среднюю школу – 8,5 % (РГАЭ. Д. 474. Л. 23). Высшего образования среди лиц той и другой категории никто не имел. Для сельской местности 1926 г. – это неплохие по грамотности показатели, учитывая исходный низкий уровень грамотности и незакончившуюся работу школ ликбеза. Конечно, уровень образования был низким и не мог соответствовать тем требованиям, которые предъявлялись самой сложностью решаемых задач в экономике, политике, культуре. Этот момент сыграл свою негативную роль в последующих трагических событиях в деревне.

Нельзя не заметить, что в деревне ценилась кооперация, и крестьяне выбирали туда людей более грамотных по сравнению с членами сельсоветов и волисполкомов. Во всяком случае так было, пока кооперирование в ходе сплошной коллективизации не приобрело характер массовой кампании.

Интересно в этом плане и другое наблюдение А. И. Хрящевой: состав сельсоветов и волисполкомов был в основном бедняцко-батрацким, а правление кооперативов – преимущественно середняцким, т. е. туда выбирали людей, имеющих опыт ведения более зажиточного хозяйства и пользующихся большим уважением в деревне (РГАЭ. Д. 107. Л. 1–15; Д. 502. Л. 7–12).

Те тенденции, которые зарождались в формировании административно-руководящих кадров госаппарата в 1920-е годы, – разбухание штатов, слишком интенсивное их обновление за счет молодежи, не имеющей достаточного жизненного и практического опыта, низкий уровень образования – получили свое развитие в 1930-е годы. Из данных переписи 1937 года видно, что произошло значительное увеличение госаппарата. Прирост численности государственных служащих от 1926 к 1937 году составил 322,2 %, в том числе в городе – 210,5, а в селе – 583,9 %. (Жиромская В. Б., Киселев И. Н., Поляков Ю. А., 1996. С. 47).

С огосударствлением сельского хозяйства связан рост в 1930-е годы номенклатуры, которая возглавила сельскохозяйственное производство и обеспечивала безусловное подчинение колхозов государственной власти.

Показательно, что численность прокуроров и следователей стала в два раза больше, чем в 1926 году, что объясняется в первую очередь нарастанием репрессий.

Подробную характеристику всего руководящего персонала содержит перепись населения 1939 года, который составил 1 млн 960 тыс. человек. Было выделено 15 категорий руководящего персонала: партийных, государственных, кооперативных, общественных учреждений общесоюзного, республиканского и областного подчинения; те же категории районного и городского подчинения; первичных партийных, комсомольских, профессиональных и других общественных организаций; председатели и их заместители в сельсоветах; судьи и прокуроры; руководители учебных заведений, кроме начальных школ; научно-исследовательских учреждений, театров и кино; медицинских учреждений; предприятий промышленных, сельскохозяйственных, лесного хозяйства, строительных, транспортных, связи и коммунальных хозяйств; руководители отделений и ферм совхозов; цехов, пролетов, мастерских промпредприятий; отделений транспортных предприятий; председатели и заместители председателей колхозов; председатели и их заместители промартелей и промколхозов; директора и заведующие магазинами и т. д. Кроме большой численности, которая возросла даже по сравнению с 1937 годом, видна сложившаяся, разветвленная номенклатурная сеть, которая охватывает все сферы хозяйственной и культурной жизни, просвещение, здравоохранение и т. д.

Следует отметить, что по сравнению с 1937 годом в руководящий состав включены уже судьи и прокуроры. Если не учитывать последних, то руководителей останется 1940 тыс., а если ограничить руководящий персонал перечнем, приведенным в переписи 1926 году, то – 1576 тыс. 39 человек, или в 5 раз больше, чем в 1926 году. Другими словами, непрерывно продолжался рост административно-руководящего аппарата, наметившийся к 1926 году.

Соотношение городского и сельского административного аппарата в 1939 году было почти выровнено (1:1,1) (РГАЭ. Д. 242. Л. 25). Но поскольку сельское население было более многочисленным, то аппаратчиков здесь насчитывалось меньше, чем в городе.

Возрастной состав руководящих работников в 1939 году по сравнению с 1926 годом изменился мало. Все также в нем широко представлена молодежь 20–29 лет, она составляет четверть всего аппарата, а лица 30–39 лет – 44,8 %. Лиц старше 50 лет всего 6,5 %. Можно предположить, что за послереволюционные годы эти люди получили солидное образование. Однако этого не произошло. Правда, грамотность их достигала теперь 99,7 %, но при этом законченное среднее образование имели менее трети всех руководителей, а высшее получили только 6,7 %. Может быть, многие руководители обучались, не прерывая работы? Но и это было не так. Среди них учащиеся составляли менее 7 %, в том числе в вузах и техникумах – всего 0,6 %. Из приведенных цифр видно, что не имели даже законченного среднего образования и при этом нигде не учились примерно 56 % руководящего состава (РГАЭ. Д. 244. Л. 13).

Так обстояло дело с уровнем образования у всего руководящего персонала, но было еще и самое высшее его звено: руководители общесоюзных, республиканских и областных учреждений и организаций. Возраст у них был несколько солиднее, преобладали лица 30–39 лет, составлявшие свыше 50 % среди всех возрастных групп. Молодежи от 20 до 29 лет было несколько меньше, чем в целом во всем руководящем составе. Показатели по образованию хотя и выше, чем во всей руководящей группе, но тем не менее и здесь 20,7 % не имели полного среднего образования и не учились нигде. Больше было лиц с высшим образованием, но и это составляло лишь пятую часть высшего эшелона власти (РГАЭ. Д. 244. Л. 17). Характерен в этом отношении переписной лист, заполненный В. Молотовым и его женой П. Жемчужиной. Занимая высшие командные посты в государстве – председатель СНК СССР и начальник Главпарфюмер НКПП – оба имели среднее образование.

Что касается руководителей предприятий во всех отраслях народного хозяйства, то, как и в 1926 году, по возрасту они были несколько старше, чем все другие группы руководителей: старше 40 лет была треть руководителей предприятий, в составе же руководящего персонала высшего эшелона – менее четверти. Ниже был и уровень образования: встречались неграмотные – 0,5 %. Высшее образование имели 6,8 %, среднее – 30,6 %, а нигде не учились и не имели среднего образования – 56,4 % (РГАЭ. Д. 244. Л. 31).

Были управленцы, например, среди руководителей медицинских учреждений, у которых дело с образованием обстояло несколько лучше. Лиц с высшим образованием насчитывалось 36 %, а со средним – 48 %.

Особо рассмотрим возрастной состав и уровень образования судей и прокуроров, от которых зависела в 30-е годы жизнь многих людей. Как и в 1926 году, они имели возраст моложе всех других категорий, входивших в руководящий состав аппарата. Группа 20–29-летних составляла здесь примерно 30 %, а 30–39-летних – 49,7 %. Все судьи и прокуроры были грамотными, но при этом законченное высшее образование имели только 11,6 %, среднее – 47,7 %, в вузах и техникумах из них обучались всего 1,5 %. Как следует из сказанного, 22,5 % судей и прокуроров и не имели среднего образования, и нигде не учились (РГАЭ. Д. 244. Л. 25). Эти полуграмотные люди вершили суд, фабриковали обвинения и выносили приговоры. В этих условиях часто нарушалась процедура суда, неграмотно велось следствие, нарушались права подследственных и т. д. Только имея такой юридический корпус, можно было беспрепятственно производить столь массовые репрессии.

Юридический руководящий персонал в республиках был широко представлен коренными национальными кадрами. На Украине украинцы составляли 60 % высшего юридического персонала; в Грузии грузины – 76; в Армении армяне – 88,9, в Узбекистане узбеки – 51,3; в Казахстане казахи – 51,8 % и т. д. (РГАЭ. Д. 243. Л. 91, 119, 144, 158, 134).

Что касается национального состава всего руководящего персонала, то в нем сохранялось и в 1939 г. значительное представительство коренных народов в республиках. Например, на Украине украинцы составляли 59,6 % высшего руководящего звена аппарата; в Грузии грузины – 67,1; в Узбекистане узбеки – 51,9 %. В Средней Азии это представительство по сравнению с 1926 г. заметно выросло. Аналогичная ситуация наблюдалась и в Казахстане (РГАЭ. Д. 243. Л. 91, 119, 144, 158).

Особый интерес представляют данные об административном аппарате Российской Федерации 1939 г. в границах того времени. На ее территории было расположено большинство общесоюзных, республиканских, областных, краевых партийных и государственных учреждений и потому здесь была сосредоточена основная часть бюрократии и государственной, и партийной. Весь административно-руководящий персонал составлял в России 341,1 тыс. человек, включая и высший юридический корпус (судей и прокуроров). При этом высший эшелон власти в учреждениях республиканского, общесоюзного и областного уровня насчитывал 49,5 тыс. Среди всех лиц интеллигентного труда руководящий персонал всего административного аппарата составлял 45,5 %, намного обгоняя по численности и удельному весу другие группы лиц интеллигентных профессий. Например, одна из самых

многочисленных среди них – работники культуры и просвещения (39,9 %).

Между городом и селом руководящий персонал распределялся довольно равномерно с небольшим перевесом в пользу города. Однако городского населения в России того времени было гораздо меньше, чем сельского. Высший же эшелон административного персонала почти весь располагался в городах, на них приходилось 92,5 % руководителей всех звеньев управления.

Высший юридический персонал был сосредоточен на 68,3 % в городах (РГАЭ. Д. 251. Л. 65).

В автономных республиках Российской Федерации к 1939 г. сложился мощный и разветвленный партийный и государственный аппарат. Лишь в четырех автономиях – Башкирии, Мордовии, Татарии и Немцев Поволжья – удельный вес его руководящих работников среди лиц интеллигентного труда был ниже среднего общероссийского показателя, составляя соответственно 42,6; 40,5; 40,9 и 42,8 % против 45,5 % в России в целом. В Дагестанской, Крымской, Удмуртской АССР административный персонал достигал почти половину всех занимающихся интеллигентными видами труда. В таких же республиках, как Бурят-Монгольская, Калмыцкая, Карельская, Коми, Марийская, особенно Якутская, этот показатель равнялся 51–55 %, т. е. более половины всех работников интеллектуального труда (РГАЭ. Д. 243. Л. 3–4, 8, 13, 18–19, 24, 29, 34, 39, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75–76, 81, 86). В то же время, как и в целом по России, рост доли других групп работников этой категории почти во всех автономиях происходил более медленными темпами. Поэтому почти повсеместно руководящие работники административного аппарата являлись самой крупной группой среди интеллигенции. Исключение составляли такие автономии, как Немцы Поволжья, Татария, Башкирия, Северная Осетия, Мордовия, где все же самыми крупными группами были работники культуры и просвещения, хотя и здесь перевес в их пользу был незначительным.

Как и в союзных республиках, среди руководящего персонала высшего эшелона власти всех автономных республик РСФСР представлено и коренное население. Однако это представительство было осуществлено не столь равномерно, как в союзных республиках, в которых, по-видимому, по этому поводу осуществлялся специально контроль «сверху». Среди автономий выделялись республики Чувашия и Коми, в которых представители коренной национальности составляли в 1939 г. в высших эшелонах власти от 50 до 75 %. Напротив, в Башкирии, Карелии, Крымской АССР это представительство достигало лишь 10–17 %. В прочих автономных республиках России коренное население среди руководящих работников учреждений представлено достаточно солидно, хотя и уступает по удельному весу Чувашии и Коми: в Калмыцкой – 47,1 %, в Татарской 38 %, в Бурят-Монгольской – 31,1 %, в Якутской – 26,4 % и т. д.

Анализ данных о представительстве коренной национальности среди высшего юридического персонала (прокуроров и судей) показывал несколько иную картину. Повсеместно удельный вес здесь высок и достигал в нескольких автономных республиках 74,4 % (в Калмыкии), 77,5 (в Чувашии), 75,5 (в Дагестанской), 70,0 (в Кабардино-Балкарской) и даже 89,0 % (в Коми). Но и в других республиках он довольно велик: в Чечено-Ингушетии – 64,8 %, Якутии – 57,2, Татарии – 52,5, Северной Осетии – 51,3, у Немцев Поволжья – 61,0, в Удмуртии – 49,2 %. В Мордовской и Бурят-Монгольской АССР он держался на уровне 30–40 %. Лишь в трех республиках этот показатель несколько ниже, но и здесь он составлял: в Карельской АССР – 24,4, Башкирской – 23,9, Крымской – 24,3. Таковы данные о представительстве коренной национальности в руководстве учреждениями республиканского уровня и юридического корпуса. Как видим, ни в одной из автономных республик эти кадры не были однонациональными, и представительство коренной национальности было в них довольно значительным, особенно среди судей и прокуроров.

Одним из неотъемлемых качеств советской командно-административной системы было несоответствие должности и присущих этой должности обязанностей. Как правило, набор их был произвольным и обозначенным настолько нечетко, что позволяло безгранично расширять, вмешиваться в дела не подлежащих компетенции и контролю организаций. В то же время высокопоставленным лицам легче было в этих ситуациях увернуться от ответственности за неверно принятое решение и приказ ему подчиниться. Связанная со всем этим неразбериха, путаница, бумажная волокита, так называемое отфутболивание дел, по которым предстояло принять то или иное решение в разные инстанции, порождало желание избегать самостоятельных решений и ожидать указаний «сверху». Этот момент еще больше расширял власть высшего руководства страны, обеспечивая полную ее безграничность.

Компетенция служащих аппарата тогда была, в сущности, не так уж и важна. Отсутствие опыта управленческой деятельности, недостаток профессиональных знаний не являлись препятствием для занятия любой должности и можно было довольно легко производить замену на постах одних лиц другими. Отсюда же проистекала возможность одному и тому же лицу занимать одновременно несколько сложных постов. Легко реализовался ставший в то время популярным лозунг «Незаменимых – нет!»,

который приобрел тогда зловещий смысл в условиях массовых репрессий.

Сложившаяся ситуация привела в 1930-е годы к замене специалистов в аппарате, имевших за плечами законченное высшее образование, полученное в Сорбонне, Горной академии, Технологическом институте, университетах страны и других солидных учебных заведениях, а также обширные списки научных трудов и патентов, людьми слабо подготовленными в профессиональном отношении.

Такой тип кадров обеспечивал стабильность самой командно-административной системы, делая ее все более централизованной, создавая условия для волюнтаристских решений, для развития всепронизывающего бюрократизма. В то же время положение в этой системе самих кадров было лихорадочно неустойчивым: в любой момент они могли быть вознесены, низвергнуты, переброшены, смещены и даже репрессированы. Это порождало постоянный страх за свое место, что вообще свойственно бюрократической системе любой страны и эпохи, но в данном случае главным был страх за свою жизнь и безопасность близких. Однако связанные с этой системой привилегии продолжали втягивать в нее все большее количество людей.

Итак, в высшем эшелоне власти ощущался особый дефицит высшего образования. Среди руководителей высшего звена высшее образование имели лишь 6,7 %. При этом нигде не учились и не имели законченного среднего образования свыше половины руководящего состава. Эта ситуация была характерна и для армии, где лица с высшим образованием среди командного состава насчитывали 4,5 %. В этом отношении особенно заметны последствия репрессий и «чисток» командного состава армии в 1930-е годы (Жиромская В. Б. Демографическая характеристика армии и общества по перепитсям 1930-х гг. // Армия и общество. 1900–1941 годы. Статьи, документы. М., 1999. С. 191).

Таким образом, переписи показывают непрерывный численный рост административно-управленческого аппарата, его оформление и проникновение во все сферы жизни. В то же время и его качественные параметры (грамотность, образование, профессионализм) сильно отставали от численного роста. Он постоянно обновлялся за счет активного привлечения молодежи. Проходили годы, но аппарат не старел. Все эти характеристики, видимо, обеспечивали исполнительность, быстроту проведения решений в жизнь, отсутствие оппозиционных настроений и протеста, сомнений, а значит, и бесперебойное функционирование командно-административной системы. Высокая мобильность кадров, их постоянная обновляемость, свойственные этой системе, развивали в чиновниках карьеристские устремления, беспринципность, неразборчивость в средствах достижения желаемых постов, рабскую зависимость от начальства.

Список литературы

Российский государственный архив экономики. Ф. 105. Оп. 2. Д. 474; Ф. 1562. Оп. 336. Ч. 1. Д. 107, 242, 243, 244, 251, 502.

Итоги Всесоюзной городской переписи 1923 года. Т. 20. Вып. 1–4. М., 1924–1925.

Всесоюзная перепись населения 1926 года: в 52 т. М., 1927–1936.

Правда. 1922. 6 июня

Астахова В. И. Советская интеллигенция и ее роль в общественном прогрессе. Харьков, 1976.

Жиромская В. Б. Демографическая характеристика армии и общества по перепитсям 1930-х годов // Армия и общество. 1900–1941 годы. Статьи, документы. М., 1999. С. 185–192.

Жиромская В. Б. Советский город в 1921–1925 гг.: Проблемы социальной структуры. М., 1988.

Жиромская В. Б., Киселев И. Н., Поляков Ю. А. Полвека под грифом секретно: Всесоюзная перепись населения 1937 года. М., 1996.

Ларин Ю. Итоги, пути, выводы. М., 1923. С. 79.

Рыков А. И. Избр. произведения. М., 1990.

Яковлева М. И. Выдвижение и орабочивание госаппарата Московской области. М., 1930. С. 9.

РАЗДЕЛ 4. ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ В КУЛЬТУРЕ НАРОДОВ РОССИИ

Т. Ю. Красовицкая, В. А. Тишков

ЭТНИЧЕСКИЕ ЭЛИТЫ РУБЕЖА XIX–XX ВЕКОВ: МЕЖДУ ТРАДИЦИЕЙ И МОДЕРНОСТЬЮ

Оценку либерала М. Ковалевского, представлявшего «себе кавказского горца, обсуждающего те или другие статьи уголовного кодекса и проникнутого убеждением, что кровь надо смывать кровью или взамен этого требовать коров и баранов» (Ковалевский М., 1905. С. 2), отклонил антрополог и географ Д. Анучин. Он указал, что в ее основе лежит неполное знание. В Туркестане, сообщал немецкий этнограф, профессор О. Гетч, «у мусульман в 1880 г. было 7–8 книг; одна типография, 4 вождя, 12 человек с высшим образованием, в том числе 1, который учился в Западной Европе. В 1910 г. они имели свыше 1000 печатных книг, 14 типографий, 16 периодических изданий, 200 человек, получивших высшее образование в России, и 20 – в Западной Европе, около 100 литераторов» (Гетч О., 1913. С. 2).

Мусульманские, иудаистские, буддийские элиты России оказались на окраинах двух, даже трех империй. Давление рынка, административной системы заставляли их делать выбор в пользу более развитых ресурсов культуры, толкали преодолеть отдаленность, провинциальность, расширить границы сознания и поведенческих моделей, раздвинуть границы нормы, найти путь для инновационного развития. Мотивацию активных молодых людей отразили данные Всероссийской переписи населения 1896 г. На авансцену вышло поколение, рожденное в демографическом всплеске 1870-х гг. Технические новшества, множество новых возможностей воспринимались уже не как нечто экзотическое. Молодежь уверенней чувствовала себя в зарубежных поездках, в контактах с зарубежными институциями (образовательными в первую очередь). Модернистская деятельность наглядно демонстрировала ей два пути приобретения и общественного признания.

Первый путь предполагал длительную и кропотливую работу над собой, приобретение необходимой профессии в естественно-научном и техническом направлениях – с жесткими критериями профессиональной пригодности. Эти критерии определяли для самого индивида его «потолок», место в общественной иерархии. Далеко не всякий был готов к роли безвестного скромного труженика, которую объективно определяли его личные данные. Прекрасные способности в изучении технических и естественно-научных дисциплин могли не совпасть с личными жизненными обстоятельствами, с возможностью применить их среди своих сородичей.

Для большинства становится предпочтителен второй путь – «участие в политической жизни страны»: выбираются гуманитарные направления деятельности, не имеющие жесткой профессиональной иерархии – в основном юриспруденция и экономика. И что не менее важно: учительство. Радикалистские теории становятся весьма удобным оправданием жизненного уклада, доказательством тщетности реформирования государственного управления, поскольку «царский режим прогнил». «Прогнивший» режим не чинил препятствий к посещению других стран: для евреев черта оседлости была закрытой на север, но открытой на запад. Мусульмане использовали традицию хаджа. Буддисты добирались до Лхасы.

Изоляционизм соперничал с открытостью, влияние их друг на друга влекло к сотрудничеству с академическим сообществом, открытию артефактов культуры, связанных с историей зачастую соседних как сошедших с исторической сцены, так и существующих империй. Взоры сосредоточивались на их опыте, образовательных структурах, инновационных практиках. Углубление знаний в языковой сфере (тюркских, монгольских, семитских языков) переключало внимание на отдельный этнос, усиливало интерес к историческому прошлому. Вопросы этнической истории, исторические мифы народов использовались для обоснования места их культуры в общем цивилизационном потоке. Анализировались чужие стратегии, сопоставлялись практики, оценивались внутриполитические шаги в контексте новых вызовов. Мировоззрение человека рубежа XIX–XX вв. освобождалось от связи с религиозными космологиями, обращалось к возможности рационального выбора различных открытых для него возможностей действия. Стереотипизация социокультурной практики во все большей степени достигалась посредством инновационной творческой

практики. Конечно, процессы носили амбивалентный характер, вызывая чувство психологического дискомфорта, вызванного деконструкцией исторически апробированного объекта, с которым человека связывали чувства религиозной общности, сопричастности, сопереживания. Значение этнических отличий возрастало и даже начинало приобретать императивный характер. Эти процессы вели к опасениям потерять окраины (Будилович А. С., 1907; он же, 1906). «Представители русской власти нередко видели главную опасность для русского господства именно в прогрессивных элементах мусульманского общества» (Бартольд В., 1900. С. 582). Аналогичным было отношение к элитам из других конфессий.

Характерная для модерна интенсивность социокультурной динамики (автономия подсистем, избирательное право, институционализация социальных изменений, рационализация, светская культура, торжество закона) существенно модифицировала чувство онтологической безопасности, свойственное личности рубежа XIX–XX вв. Генеалогически проблема восходила к той, что когда-то переживалась и европейской историей. В модерности и ее институциональных принципах внимание сосредоточивалось на собственной в прошлом государственности, причем ей отдавалось преимущественное внимание (Гидденс Э., 1990. С. 119). Пакетное наполнение российскими реалиями ставилось в зависимость от порождаемой ею мощи.

Возникло то, что позднее Ш. Айзенштадт отметил как «множественные модерны», как избыточную креативность вариантов будущего развития. Он концентрировал внимание на ***«анализе харизматического призыва и природы социальной ситуации»*** (Айзенштадт Ш., 1999. С. 14).

Этнические элиты начали с романтического национализма как базы самоутверждения в борьбе с теряющей конкурентоспособность «старой» культурой. Этничность приближала их к более чувствительному и адекватному восприятию «реальности» и к более конструктивному воздействию на сферы общественного развития. Еще превалировала иррациональность, но тем важнее стремление элит к «наукам», оперирующим сугубо рациональными методами познания. В «старых» культурах доминировали арабская, персидская, санскритская, ивритская основы. Их не желал отражать в своих практиках имперский центр, нацеливаясь на конструирование общероссийской идентичности. Да и русской культурой они воспринимались как чужие, создавали дополнительные трудности в формировании стройной оси политики, креня ее то в сторону Запада, то Востока, в повышении уровня образования русских.

Этнические элиты оказывались в зоне взаимодействия и сложного переплетения интересов, конфликтов, временных союзов. Соседние империи и этноконфессиональные группы пограничья с различным модернистским потенциалом и соперничающими проектами реформ усложняли их взаимоотношения с имперской бюрократией. Огромное число фактов свидетельствует: взор элит направлен на зарубежные (западные и восточные) идеи и техники. К рубежу XIX–XX вв. у татарской элиты существовали две модели развития нации: западная концепция гражданской нации и восточная концепция этнической нации.

Панорама отражала растущее стремление элит освоить смысл перемен, модернизм образовательных и социальных практик. Общественно-политическая обстановка контрреформ конца XIX – начала XX в. усилила импульс к обучению в светских отечественных и зарубежных университетах. Дело не всегда сводилось к систематической учебе. Это могли быть кратковременные посещения во время деловых поездок и даже в рамках религиозных традиций (хаджей, например, и т. п.).

А. Е. Иванов подчеркивает: ни одна официальная инстанция Российской империи не занималась сбором и обобщением такой информации. Не обременяло себя этим и МНП. 24 февраля 1916 г. министр народного просвещения П. Н. Игнатьев на заседании Совета министров, посвященном «еврейскому вопросу» в высшей школе, сообщил: в 1914 г. за границей обучалось 8,5 тыс. российских студентов. Из них 3 тыс. – в Германии, 2,5 тыс. – в Швейцарии, прочие – во Франции, Бельгии и других романских странах. В Сорбонне в 1911 г. обучались 1,6 тыс. студентов из России, составляя почти 20 % всего студенческого контингента историко-филологических и юридических факультетов. Однако А. Е. Иванов не касался того, что охранка располагала довольно точными сведениями об обучении мусульманской молодежи в восточных учебных заведениях, снабжала ими имперскую администрацию. Только в 1909 г. в учебных заведениях Стамбула обучалось 63 татарина: в университете – 14, в учительских семинариях – 12, в средних учебных заведениях – 20, в училищах султана – 4, в городских училищах – 10. Туркестанский генерал-губернатор А. Самсонов из письма императорского посольства России 29 сентября 1910 г. узнал, что в Стамбуле обучаются 100 студентов из Средней Азии. В секретном сообщении охранного отделения 1913 г. указывалось: в Турции учатся 250 студентов только из Бухары (Беннингсен А., 1993. С. 6).

Зарубежные университеты, европейские в особенности, манили инновациями. Немецкая и французская профессура (главным образом, филологи, востоковеды, теологи) вели активную критику библейских источников. Там же развивали свои идеи российские ученые-эмигранты, критикуя практики

российских политических учреждений. «Профессорский либерализм» считал идеалом законодательное обеспечение свободы личности, введение в России конституционного устройства (Гутнов Д., 2004. С. 35).

Конечно, содержание знаний, получаемых этническими элитами, отдельная и важная в контексте нашей проблемы тема. Разрозненность и косвенность источников усложняют установление не только численности людей, знакомых с подобными образовательными практиками, но и их профессиональное освоение. Данные об окончании тех или иных вузов часто используют, ограничиваясь свидетельствами родных и близких, без углубления внимания к тому, каковы были успехи получения образования.

Но свидетельства о владении разными языками тех, кто устремился в заграничные университеты, показывают, что для обучения мусульман в аль-Азхаре или в университетах Османской империи они были вооружены необходимым знанием арабского языка. По окончании медресе они были достаточными. Для пребывания в Османской империи языковой барьер был минимальным в силу родственности тюркской группы языков. Данные о знании европейских языков сохранили анкеты ответственных работников Наркомнаца (Красовицкая Т. Ю., 2006). Они заполнялись лично при поступлении на работу. Выборка из 40 анкет на букву «а» показывает, что мусульмане (8 человек) помимо родного, арабского и русского языков указали на знание немецкого, английского, французского, турецкого, персидского, итальянского, латинского языков. Иудеи (3 человека) кроме родного (идиш или иврит) и русского указали на знание английского, немецкого, французского, польского, чешского, латинского и греческого языков. Сведений о знании европейских языков представителями этносов, исповедовавших буддизм, в анкетах не обнаружено. Этот важный аспект, конечно, требует дополнительного изучения, дабы не дополнить советский хоровод симулякров (о революционном энтузиазме на фоне низкого уровня развития народов) новыми.

Важнее интерес элит к инстинктивному восприятию западными народами вопроса, который выдвинул модерн: вопроса о власти: должна ли воля личности подчиниться коллективной воле или наоборот. В разных странах на подобные вопросы давались разные ответы с твердым намерением навязать всему свету свой. В России, приехав из Мстиславля в Санкт-Петербург, С. Дубнов начал «искание» своих ответов на подобные вопросы. С. Дубнова-Эрлих писала о таких «искателях», среди них «немало студентов высших учебных заведений; большинство составляли, однако, провинциалы-самоучки, питомцы иешив, обладавшие серьезной талмудической эрудицией, но крайне скудным запасом общих знаний. Это была... плебейская, идеалистическая, жаждавшая просвещения молодежь» (Дубнова-Эрлих С., 1950. С. 147). Но эта «плебейская молодежь» видела, что «высокая культура», охватывая целые общества, состоит не просто из формальных навыков. Она выражалась на определенном и довольно развитом языке, будь он немецкий, французский, русский, арабский ли. Эта «высокая культура» не бесцветна, она сохраняла «этническую» окраску. Человек индустриализировался как немец, француз, англичанин (Геллнер Э., 1989. С. 60–61). Часто студенты надолго оседали в разных странах, часть из них становилась франкофилами, туркофилами и пр. (Бадерхан Ф., 2001. С. 89–91).

Что еще было важным для студентов? Они обнаружили западную личность в постоянном движении как вперед, так и назад, но с устойчивым продвижением к освобождению человека от природы и сознания от бессознательного. Они увидели, что процесс рационализации мира получает свое институциональное оформление. Они увидели, что государство (политическая единица) – защитник культуры, а культура, в свою очередь, символизирует и узаконивает государство. Интерес к ней и к принципам национального государства и капиталистического производства сделало, на их взгляд, Европу, а затем и весь европейский цивилизационный ареал источником модернизационных трансформаций. Многих увлекали революционные методы науки, не признающие границ языков, в воспитании, просвещении, образовании.

Но вот что замечал С. Дубнов, современник тех, кто после российских иешив, заполнял студенческие аудитории в Германии: «Уже давно пугала меня немецкая философия, особенно гегельянская, тем, что я теперь назвал бы инфляцией слов, а тогда формулировал более элементарно в одной записи после подобных споров: “В мире обращается так много лишних слов, что положительно страшно становится. Значение, авторитет слова, кредит его непременно должны уменьшаться (при таком изобилии), подобно тому, как стоимость кредитных билетов теряется по мере того, как ими в излишестве переполняется рынок. Слово — кредитный билет по отношению к выражаемой им идее. В мире идей также возможны финансовые крахи, и я не знаю здесь лучшего двойника Джона Лоу, чем Гегеля. Словесный потоп погубит мысль. Где же спасительный ковчег?” Приверженец ясного позитивного мышления, я больше всего боялся той “мозговой паутины” (Hirngesprinst), которую так усердно ткали философские пауки в Германии. Меня пугала немецкая софистика, развившаяся после Канта, как греческая софистика после Сократа... Во мне

началась тогда борьба центростремительной силы с прежней центробежной, национального принципа с космополитическим» (Дубнов С., 1998. С. 145). Многие и помимо С. Дубнова отмечали, что если перемены выглядят исламскими, иудейскими и пр., они социально лучше укореняются, приобретают ореол законности и приемлемости.

Взор студентов обращался к упованию на особую духовную силу национальных чувств как к психологическим и идеологическим конструкциям, как к эффективному средству адаптации к переменам (Лурье С. В., 1999. С. 108). Тем самым нация начинала пониматься как символ, использование которого само творит реальность. Последняя воспринималась не только как борьба за власть и ее осуществление, но и как «распределение силового контроля». Устанавливая связь любого политического процесса с «производством символов», понималось, что они создают *«пространство для перемен»*.

В какой степени эти процессы приобрели бы творческий характер, а в какой черты самодовольства и самомнения, зависело и от общегосударственных реформ, их идеологии, и от формируемой ими социальной ситуации, и от развития аналогичных процессов в других государствах. Ахад-Гаам «вышколил свой ум на английской философии, сочетавшей рационализм раввинизма с рационализмом энциклопедистов». Он считал, что традиционный иудаизм, находящийся в диаспоре в состоянии духовного паралича, стал рабом буквы и не может противостоять огромной притягательной силе европейской модерности. Этот процесс может быть остановлен только возрождением созидательных сил иудаизма. Студенты-евреи из России начинали воспринимать иудаизм и как культурный артефакт, подлежащий исследованию, и как технологический инструментарий, применение которого возможно в современных условиях.

Оценим содержание зарубежного опыта, получаемого и мусульманами. Ш. Марджани активно работая с российскими учеными, отмечал: «Весьма полезна для нас учеба в *европейских* школах. Учение и просвещение можно брать везде, где оно есть. Знание и просвещение не знают ни национальных, ни языковых границ» (Абдуллин Я. Г., 1976. С. 233). Джадиды взросли на подготовленной почве, стремились навести мосты между современным знанием и мусульманской традицией, внедрить светские знания как элементы современного мировосприятия в систему традиционного образования.

В начале XX в. богослов и общественный деятель М. Абдо (1849–1905) выдвинул концепцию реформирования ислама, выделив важность образования для социального обновления. С 1889 г. Абдо преподавал в аль-Азхаре. Он считал: «Мы обязаны изучать практику других религий и государств для того, чтобы раскрыть секрет их прогресса». У него учились будущие татарские философы, историки, общественные и религиозные деятели З. Камали, З. Кадыри, М. Биги, Г. Баттал, Г. Расули. Реформаторские идеи Абдо и его учителя Дж. Аль-Афгани переведены на татарский язык. Книга «Мусульманские философы» издана в Оренбурге в 1909 г., оказала заметное влияние на формирование мировоззрения татарских интеллектуалов. О личном знакомстве Г. Баттала с Дж. Аль-Афгани и с Рашидом Риза показал на допросе в ОГПУ Дж. Валиди 13 мая 1931 г. (Валиди Дж., 1996. № $^{1}/_{2}$).

Часто сожалел, что не получил образования за рубежом муфтий Р. Фахретдинов. В 1886 г. в Казани он впервые встретился с Ш. Марджани. Фахретдинов самостоятельно изучил арабский, персидский, турецкий языки, отметал позитивистскую доктрину отсталости религии по сравнению с наукой, популярную среди социалистов и младотурок. В 1888 г. Фахретдинов в Петербурге участвовал в обсуждении книг французского семитолога Э. Ренана, познакомился с Дж. Аль-Афгани и А. Баязитовым. На содержание работ Ренана, издаваемых в России, они реагировали весьма бурно, организовав им отпор в печати, в том числе на русском языке. Фахретдинов в 1914 г. написал книгу «Религиозные и общественные вопросы», где показал, как нужно совмещать нормы ислама с реалиями современности. Один из центральных вопросов, затрагиваемых в книге, – трактовка власти в рамках исламской традиции, соотношение между религией и управлением как делом мирским. Изучение средневековых дискуссий и современных реалий о властных нормах связывалось с творчеством египетского реформатора М. Рашида Рида (1865–1935), последователя М. Абдо. Большой интерес вызывала трактовка проблемы ислама и этничности: иерархии различных уровней идентитета. Этничность оказывалась на нижнем ярусе, но не вызывала сомнения способность мусульманского сообщества приспосабливаться к меняющимся обстоятельствам, к разнообразию реального мира, к политической децентрализации, готовность элит использовать национальные чувства, усиливающиеся на рубеже XIX–XX вв., и исламскую идентичность. В 1915 г. книгу конфисковала цензура.

Лакец А. Каяев в работе, завершенной к середине 1920-х гг., отмечал, что ислам не противоречит научному знанию, настаивал на учете мусульманского дискурса в вызовах времени. Общество нуждалось в новой системе мироощущения, в новых ориентирах. Другим формам знания, полезным в практических целях, в старых медресе уделяли мало внимания.

Знаменитый реформатор системы образования российских мусульман Исмаил Гаспринский

три года провел в Париже, работая секретарем И. С. Тургенева. Он изучал работу Министерства образования Франции и светских начальных школ, знакомился и с опытом Египта, Османской империи. Гаспринский видел, что причина отсталости российских мусульман от «других народов в умственной и политической жизни, прежде всего, в отсутствии идеи и цели». В пример Гаспринский ставил Германию, особенно Японию, стремящуюся к западным технологиям, но хранящую традиционные устои. Запад представлялся ему образцом, он призывал следовать путем европейских народов. Он ценил две черты *западного общества: модернизацию и просвещенное умение управлять государством*. Свои идеи он развивал в социокультурной плоскости. В проекте будущего Гаспринского преобладала технократическая компонента, его просвещенческая стратегия апеллировала к тюркским языкам, к культурно-языковой среде, внутри которой предполагалось осуществить технократическую метаморфозу. «Новый человек» в проекте Гаспринского может быть назван мусульманином постольку, поскольку это был основной термин идентификации российских тюрок. Фактически же проект Гаспринского — это проект национального тюркского обновления. Способом включения их в общероссийскую атмосферу Гаспринский считал светское образование. Джадидский мектеб Гаспринский рассматривал как государственную школу для мусульман и важную цель российской реформы образования. Она станет эффективным механизмом связывания мусульман с общественной и культурной жизнью России.

С 1883 г. Гаспринский издавал в России первую общетюркскую газету «Тарджиман» («Переводчик»). «Действие, производимое этим маленьким листком, было в тысячу раз важнее русского “Нового Времени” или какого-нибудь английского гиганта, вроде “Таймса”... Под влиянием “Тарджимана” открывались в разных концах России масса новых школ, много благотворительных учреждений, начиналась литературная деятельность... Газета побуждала иных к совершенствованию своих знаний, иных к общественной работе, а иных к литературной, иных к педагогической деятельности». Она предназначена *«для чтения турками, татарами, азербайджанцами, кумыками, ногайцами, башкирами, узбеками, кашгарцами, сартами, тюркменами и многими другими тюркскими племенами»* – писал Дж. Валиди (Валиди Дж., 1923. С. 77–78).

Опыт Гаспринского подхватили другие энтузиасты. Поездки за знаниями приняли значительные масштабы. Огромной популярностью пользовался самый авторитетный в суннитском исламе университет аль-Азхар в Каире. Его окончили два ученика Ш. Марджани К. Сайфутдинов и А. Яхуди и преподавали в нем восточную философию на тюркском отделении. Сайфутдинов, вернувшись в Казань, вел курс исламской философии в медресе Мухаммадия. Учились в аль-Азхаре И. Камалов, С. Галимов, впоследствии преподаватель джадидского медресе Хусаиния в Оренбурге. З. Камали после обучения в Стамбуле естественным и математическим наукам, поступил на философский факультет аль-Азхара. Заместитель директора медресе Галия Г. Шнаси, получив образование в аль-Азхаре, написал учебник на татарском языке по химии. Конечно, связи российских мусульман с подобными центрами существовали и ранее, но в интересующий нас период они обрели новое качество.

Стамбульский университет окончили С. Максуди, Ф. Карими. За время обучения в престижном учебном заведении Турции «Мектебе мулькия-ишаханэ» Ф. Карими изучал экономику, литературу, историю, филологию, учил турецкий и французский языки. Он особенно интересовался учебными программами, подготовкой учебников, работой Министерства образования. Вернувшись в Россию, Карими работал с Гаспринским в Крыму. Часть молодежи, углубив знания в исламоведении в Стамбуле, направлялась в учебные заведения Мекки, Медины и Бейрута.

В Стамбульском университете до 1917 г. получили образование представители другого крупного тюркского этноса – молодые казахи А. Гайсин, С. Шанов, Д. Келбаев, М. Турганбаев, А. Машаев.

Учился в Стамбуле видный идеолог джадидизма в Туркестане Махмуд Ходжа Бехбуди, активный организатор местных новометодных школ. В октябре 1906 г. на страницах газеты «Хуршид» он призвал мусульман поддержать кадетов. В Турции получил образование Ата Ходжаев. По возвращении в Бухару в 1908 г. он открыл новометодную школу. В Стамбуле получил образование Усман Ходжаев, брат А. Ходжаева. В 1918 г. в Ташкенте он организовал левоэсеровскую группу младобухарской партии, в сентябре 1918 г. примкнул к Бухарской коммунистической партии. Джадидом был выходец из семьи авторитетных мулл Кары Юлдаш Пулатов. Наиболее видной фигурой был поэт Абдул Рауф Фитрат, также получивший образование в Турции.

Дагестанский деятель Узун-Хаджи учился в Саудовской Аравии, Сирии, Турции. Учеба продолжалась во время хаджей (он их совершил 11). В 1917 г. Узун-Хаджи, оставаясь на платформе арабизации народного образования, признал необходимость обучения родным языкам. Под его влиянием в школах Дагестана в годы Гражданской войны преподавался и язык тюрки. Лакец Али Каяев начал обучение в Казикумухском медресе, затем два года (1905–1907) обучался в аль-Азхаре, преподавал в университетском медресе. Как ука-

зывает Н. Нефляшева, в Адыгее «примерно десятую часть духовенства (более 20 чел.) составляла группа, прошедшая через престижные исламские университеты – Османский университет в Стамбуле, Каирский аль-Азхар и образовательные центры Дагестана, Казани и Уфы» (Нефляшева Н., 1998. С. 120). В горских аулах начинали выписывать периодические издания, выходившие в Стамбуле. В них печатались информационные материалы об общественно-политических событиях на Кавказе, о законодательстве, о взаимоотношениях с русским населением. В газетах («Гъуазэ») публиковались алфавиты, словари. Например, работа «Состав адыгейского языка» Я. Тугана в газете опубликована ранее, чем вышла отдельным изданием (1916 г.). Большой популярностью пользовался журнал «Мусульманин», выходивший в Париже на французском языке, финансировавшийся местными черкесами. К началу XX в. у адыгов сформировался слой профессионалов, занятых интеллектуальным трудом. «Авторы... много писали о необходимости сохранения родного языка, религиозной исламской идентичности и традиций адыгэ хабзэ в ходе усвоения адыгами русской культуры и российской системы образования, признавая последнее необходимым и неизбежным для успешного существования в российском культурном пространстве» (Нефляшева Н., 1998. С. 120).

Сходные процессы шли в среде крымских татар. Бекир Чобан-заде (1894–1937) окончил Карасубазарскую школу и в 1908 г. отправился в Стамбул, затем в Будапештский университет. Другой крымско-татарский деятель Мамут Недим (1893–1938) окончил, по одним данным, Измирский педагогический институт, по другим – Высшую экономическую школу в Берлине. «Очень культурный человек», признавала комиссия ЦИК СССР, рекомендуя в 1929 г. снять его с должности наркома просвещения Крымской АССР (Айвазов А. С., 2005. С. 12–50). Общественный деятель, лингвист и литературовед А. С. Айвазов, окончив медресе, учился в пединституте в Стамбуле и в Каире.

А. Агаев, получив богословское образование, после Тифлисской гимназии продолжил обучение в Петербургском политехническом институте. В 1888 г. он переехал в Париж для учебы в Школе восточных языков Коллеж де Франс. Одновременно он писал статьи в исламоведческих и политических изданиях, участвовал в IX конгрессе востоковедов в Лондоне. В 1894 г. вернувшись в Карабах, Агаев совмещал преподавательскую (французский язык в реальном училище Шуши), публицистическую и издательскую деятельность, к 1905—1907 гг. стал одним из лидеров общественного движения, активным участником I Всероссийского мусульманского съезда и создания Иттифак аль-Муслимин. С 1909 г. в Стамбуле активно участвовал в движении младотурков, работая в среднем эшелоне правительственного аппарата и продолжая журналистскую работу. В 1911 г. он выдвинул теорию об аналогичности процесса создания тюркской нации российских мусульман с созданием наций-государств в Европе. Важнейшими ресурсами, способными обеспечить единство мусульманских народов России, Агаев считал культурное и языковое единство. В 1915 г. он входит в состав созданного «Комитета по защите прав тюрко-татарских мусульман России», требуя восстановления представительства мусульман в Государственной думе, создания национальных светских школ. В 1919 г. он один из членов азербайджанской делегации Парижской мирной конференции, в 1921 г. – редактор газеты анкарского правительства «Хакимиет-и-миллие», позже – депутат Великого национального собрания Турции от Карса.

Сходен жизненный путь бурятского харизматика Базара Барадина (1878–1937, Ленинград), уроженца другой окраины Российской империи – Агинского аймака из семьи кочевника-скотовода. В конце 1895 г. выехал в Санкт-Петербург и поступил в гимназию. В 1900 г. побывал в Германии, Швейцарии, Италии и Франции, сопровождая богатого бурятского купца в качестве переводчика. В 1901 г. поступил на юридический факультет Петербургского университета. Вскоре перешел на санскритское отделение факультета восточных языков. В 1905—1907 г. он командирован Русским комитетом при Академии наук по изучению Средней и Восточной Азии в Тибет сопровождать Далай-ламу, возвращавшегося из Урги на родину, в Тибет. Там Барадин изучал язык, культуру и быт тибетцев. Провел 8 месяцев в монастыре Лавран. По возвращении (1907 г.) награжден ИРГО премией им. Н. М. Пржевальского. С 1908 по 1917 г. преподавал монгольский язык на факультете восточных языков Петербургского университета. В 1923 г. – первый нарком просвещения Бурят-Монгольской АССР, в 1925 г. — председатель Бурят-Монгольского ученого комитета.

Из Виленской губернии, окончив Полоцкую иешиву, гимназию в Двинске, в 1878 г. отправился в Париж изучать медицину сын хасида Бен-Йехуда Эли'эзер (Перельман Э., 1858–1922, Иерусалим). Пионер возрождения иврита в качестве разговорного языка поступил в учительскую семинарию Альянса. В 1879 г. Бен-Йехуда утверждал, что обновить еврейскую нацию может только возрождение иврита в качестве разговорного языка. В 1890 г. Э. Бен-Йехуда создал «Ваад а-лашон а-иврит» («Комитет языка иврит»), возглавлял его до самой смерти. Возрождение языка стало возможно в результате взаимодействия сложной совокуп-

ности исторических, социальных, идеологических, психологических и лингвистических факторов, но упрямый идеалист переселился в Иерусалим и там продолжил составление словаря иврита. Публикация «Полного словаря древнего и современного иврита» начата им в 1910 г. Издание завершено в 1959 г. с выходом последнего, XVIII тома. Семья Э. Бен-Йехуды стала первой в Палестине, говорящей на иврите, старший сын Бен-Цион – первым носителем языка как родного, спустя более тысячи лет утраты ивритом разговорной функции. Э. Бен-Йехуда учительствовал в иерусалимской школе Альянса, добившись, чтобы иврит был признан в ней единственным языком преподавания еврейских предметов.

«Все, что было среди этих татар интеллигентного, обратило свои взоры на центры умственной жизни мусульманства — Париж, Константинополь и Каир», – констатировали в имперских структурах в 1910 г. В 1913 г. туркестанский генерал-губернатор А. Самсонов специально подчеркивал у местной элиты «страсть к европейскому образованию. В высокой степени честолюбивые от природы, с необычайной жаждой возвыситься до положения русского чиновника, офицера или человека свободной профессии (вроде врача, адвоката и пр.), киргизы стремятся всеми фибрами своей души выйти из своей веками сложившейся патриархальной среды и приобщиться, хотя бы наружно, к среде своих господ – русских». Но, подчеркнул он, образованная часть «противится» «введению русского языка в школах и здесь же культивируется противодействие всем начинаниям правительства, клонящимся к ассимиляции... обособленного мусульманского мира» (Аманжолова Д. А.).

Действительно, интерес нерусской молодежи к получению высшего светского образования на Западе возрос. В Германии, Франции и Англии получили образование азербайджанцы А. М. Агаев, Б. Джеваншир, А. Ашуров, Д. Гаджибейли, в Швейцарии башкир Ш. Манатов, будущий крупный работник Наркомнаца. В 1908 г. казанская пресса с гордостью сообщала, что на различных факультетах Казанского университета обучалось 13 студентов-татар, в 1913 г. их число достигло даже 27. Но, по свидетельству журналиста И. Рамиева, десятки татар в это время обучались в Париже, Женеве, Льеже, Лейпциге, Фрайбурге, Нью-Йорке, Сан-Франциско, Вальпараисо и Токио, в американском колледже в Бейруте. После того как в 1912 г. газета «Вакыт» («Время») опубликовала заметку о Х. Байбулатове, обучающемся в Сан-Франциско, он получил множество писем от молодых людей с просьбой объяснить правила приема в американские учебные заведения. Он выступил с разъяснениями в печати.

С. Максуди вначале окончил Стамбульский университет, затем Сорбонну, стал юристом. Американский колледж в Бейруте окончил И. Амирхан. Сам И. Рамиев, сын известного золотопромышленника, учился во Фрайбурге (Германия), Х. Байбулатов в Сан-Франциско, М. Кыримбаев в Париже. Студент Московского университета Г. Каримов для усовершенствования знаний поехал в Лейпцигский университет. За границей обучались такие известные деятели татарской культуры, как Х. Максудов, Г. Сагди, Х. Файзи и др. В Берлине был и Г. Баруди. По сообщению газеты «Вакыт», в 1912 г. в Женевском университете обучались С. Сыртланова и М. Габдрахманова. С. Шакулова – одна из первых татарских женщин в 1913 г. получила диплом об окончании факультета точных наук Сорбонны. Вновь сдав свыше 25 экзаменов, в 1915 г. стала обладательницей диплома об окончании физико-математического факультета Московского университета. Дагестанская учительница А. В. Мустанова в 1907 г. изучала работу светских школ Франции. В 1910 г. с той же целью ездила в Берлин, Дрезден, Вену, Будапешт, Белград.

В 1899–1904 гг. идеолог тюркизма Юсуф Акчурин (Ю. Акчура), будущий член ЦК кадетской партии России, после военной академии в Стамбуле, учился в Свободной школе политических наук в Париже. Здесь он слушал лекции историков, социологов, философов. На него большое впечатление произвела концепция британской политической системы Э. Бутми и социально-прогрессистская идея тюркизма как проводника модернистских идеологий, рождавшихся в Османской империи в среде младотюрков. Вернувшись в Россию в 1904 г., Акчура стал организатором либерально-демократической партии «Иттифак аль муслимин». Он участвовал в апреле 1905 г. в Особом совещании под председательством муфтия М. Султанова для составления официального доклада С. Ю. Витте о проблемах мусульман. По предложению Гаспринского, в 1906 г. Акчура – заместитель муфтия по юридическим вопросам (Хабутдинов А., 2003. С. 55).

Ю. Акчура разделял идеологию либеральных реформ европейского образца. В 1912 г. в статье «Тюркский мир» он писал, что «в современном тюркском мире возникает новая социальная сила – буржуазия (средний класс). ...Средний класс является националистическим. Его экономические интересы требуют прогресса и развития национальной идеи и чувств». Под воздействием распада Османской империи 1915 г. он и Р. Ибрагим создали в Стамбуле «Комитет по защите прав тюрко-татарских мусульман России». В 1916 г. Ю. Акчура искал сочувствующих идее самоопределения тюркских народов, участвуя в Третьем конгрессе угне-

тенных наций в Лозанне. В конгрессе участвовали около двадцати делегаций от «зависимых и колониальных народов» Европы, Азии и Африки, при этом представители, выступавшие от «зависимых народов» Российской империи, составили едва ли не большинство. В Женеве открылось представительство Комитета северокавказских эмигрантов. В 1915–1916 гг. Ю. Акчура в составе делегации для выполнения поручений, связанных с защитой прав тюркских народов России, побывал в Австро-Венгрии, Германии и Швейцарии. В 1916 г. в Цюрихе Акчура встретился с В. Лениным. Заметим, лишь Л. Троцкий откликнулся на работу конгресса специальной статьей «Вокруг национального принципа», упрекнув Г. Плеханова, жившего в тот период в Лозанне, за удивление тем, сколько российских «инородцев» на нем представлено (Наше слово. 1916. № 162. 13 июля).

Многие учились в российских университетах. Самый известный ученик Марджани Х. Фаизханов избрал Санкт-Петербургский университет. Азербайджанцы в большинстве кончали российские университеты. Московский и Санкт-Петербургский университет окончили М. Векилов, М.-Ю. Г. Джафаров, Ф.-Х. Хойский, Х. Хасмамедов, А. М. Топчибашев, А. Пепинов, А. Сафикюрдский, Д. Гаджинский, Н. Нариманов. Р. Нурмагамбетова собрала данные о получении высшего образования казахами в российских университетах. Начиная с 1820-х гг. до 1917 г. только в Казанском университете обучалось около 30 молодых казахов, из них 17 человек получили юридическое образование. В Санкт-Петербургском и Московском университете обучалось около 20 казахских студентов. Они (Б. Каратаев, М. Чокаев, Ж. Акбаев, Ж. и Х. Досмухамедовы, А. Турлыбаев, Б. Сыртанов, Б. Кулманов, С. Жанайдаров, М. Тынышпаев и др.) стали впоследствии видными общественными и политическими деятелями. В Варшаве учился Ж. Султанбаев. По неполным данным, до революции около 120 казахов имели высшее образование, около 700 – среднее. Среди них, кроме юристов, были филологи, врачи, ветеринары.

В Московском и Петербургском университетах организовано 10 стипендий для представителей кавказских народов. Чеченцы также получали образование в России. С. Арсанов учился в Политехническом институте в Петербурге, Х. Ошаев – в Лесном институте, И. Бекбузаров – в Медико-хирургической академии в Петербурге. Демократические взгляды чеченских просветителей А.-Г. Долгиева, Ч. Э. Ахриева, Т. Эльдарханова, братьев Мутушевых формировались в учебных заведениях Тифлиса, Петербурга, Нежина. Они стали для Чечни первыми историками, экономистами, политическими деятелями, редактировали первые газеты, писали первые школьные учебники, например, Т. Эльдарханов, депутат I Государственной думы. Лакец С. Габиев окончил физико-математический факультет Петербургского университета. А. А. Тахогоди – выпускник юридического факультета Московского университета, там же учился в 1914 г. У. Буйнакский. В 1889 г. даргинец Б. Далгат, будущий кавказовед, поступил на физико-математический факультет Санкт-Петербургского университета, затем перешел на юридический факультет.

Сходные тенденции появились и у малочисленных народов Северного Кавказа, например, абазинцев. В 1860 г. студентом Петербургского университета стал абазинец А.-Г. Кешев. В Петербургском университете обучались сыновья абазинского просветителя У. Микерова – Хамид и Абулькерим. В начале XX в. в столичном вузе учился абазинец М. Алиев, Ш. М. Дударуков – в Киевском университете св. Владимира. Они выступали убежденными сторонниками углубления русско-кавказских связей.

После обучения в иешивах, раввинских училищах иудаистские элиты также стремились получить высшее образование в России, становились общественными деятелями, историками, писателями. Обучение в Виленском раввинском училище, по оценке попечителя учебного округа, «ненадежных вольнодумцев» и ученых-талмудистов приводило к тому, что из стен училища на факультет восточных языков Петербургского университета устремились будущие семитологи А. Гаркави и И. Гурлянд, в Петербургский технологический институт – первый еврейский социолог А. Либерман. Сын раввина В. Иохельсон (его также готовили к раввинской деятельности) до встречи в сибирской ссылке с будущими классиками отечественной этнографии В. Богоразом, Л. Штернбергом, заведовал динамитной мастерской, изготавливал поддельные паспорта, организовывал переход через границу нелегалов. Оказавшись в ссылке, он собрал богатейший материал, положивший начало социолингвистике. Иохельсон был знаком с Дюрингом, Каутским, самим Энгельсом. В 1897 г. он избран в члены Восточно-сибирского отдела ИРГО. В 1898 г. он вернулся в Петербург, где встретился с ассистентом отдела антропологии Американского музея естественной истории Ф. Боасом. Тот пригласил его участвовать в Северотихоокеанской экспедиции музея (Джезупской экспедиции). Разрешение на участие в ней Иохельсону и В. Богоразу дал лично Николай II. У Ф. Боаса они обогатились зарубежным опытом изучения этничности.

Сын известного раввина и общественного деятеля З. Минора, Л. Минор, в 1879 г. с отличием окончил медицинский факультет Московского универ-

ситета, затем учился в Берлине и Вене, работал в Париже в клинике Шарко. Публицист и издатель А. Ландау слушал лекции на юридическом факультете Петербургского университета.

В конце XIX в. усилилась политика выталкивания за границу еврейской молодежи, стремившейся в российские вузы. «Еврейский вопрос» был «ударным» направлением правительственной политики в сфере высшего образования. А. Иванов приводит данные о том, что в 1886 г. в российских университетах евреи обучались преимущественно медицине (56,6 %) и праву (16 %) и всего 9 % – на историко-филологических факультетах. Имперская власть, сокращая в вузах численность студентов-евреев, тем самым укрепляла их репутацию как оппозиционно-революционного элемента. В 1887 г. она ввела процентную норму, установила квоты. Такой нормирующий порядок в различных процентных вариациях принят и другими ведомствами, в сфере которых находились высшие школы (Иванов А. Е., 2007. С. 391–421).

Как указывает А. Солженицын, еврейских студентов было от 9 до 12 %, в этой связи и были приняты, по его мнению, «справедливые» нормы приема в вузы. «Это было не преследование, это была череда стеснений, ограничений – да, досадных, болезненных, даже и вопиющих», – считал он. Солженицын согласен с К. Победоносцевым: это «цель национальной защиты от проступающего неравновесия в образовании» (Солженицын А., 2001. С. 87). Процентная норма, осуждаемая либералами, просуществовала всего 27 лет (1887–1916 гг.), но она сыграла важную роль, усложнив отношение других религиозных общин к модернизационным процессам в России. Гласное введение ее воспринято как стремление имперской администрации игнорировать этнический компонент в них. Еврейская молодежь, как и мусульманская, не получив желаемый доступ к отечественным интеллектуальным ресурсам и практикам, осваивала их за пределами империи, и в первую очередь, в Германии. Там, по неофициальным данным, после первой русской революции евреи составляли 75 % всех студентов из России. По свидетельству корреспондента «Русской мысли», в 1911 г. евреи составляли большинство мюнхенской колонии российских студентов, насчитывавшей 696 человек. Из 235 человек, участников студенческой самопереписи в 1911 г., как установил А. Иванов, 191 (84 %), заполняя анкету, отнесли себя к евреям. Н. М. Щапов, в 1906/1907 учебном году слушавший лекции в Дармштадте, свидетельствует: «...было очень много русских студентов, из них, вероятно, 95 % евреев... Евреи ехали сюда и из-за невозможности поступить в высшее техническое учебное заведение в России, и из-за черты оседлости, и из-за процентной нормы их приема в России». Ковенский комитет в 1909 г. решил организовать российский еврейский университет за границей, создал просветительский фонд.

В Римском университете (1901–1903) начинает учиться другой яркий харизматик В. Жаботинский. Он хотел создать Еврейский университет в Эрец-Исраэль, ибо десятки тысяч евреев обивали пороги вузов России (Жаботинский В., 1985. С. 24–25). Созданию его помешала Первая мировая война. В 1911 г. для оказания материальной помощи еврейским студентам учреждено Общество поощрения высших знаний среди евреев. Его возглавил М. Гинзбург, жертвуя ежегодно 75 тыс. рублей.

Аналогичные настроения возникают и в буддийской среде. П. А. Бадмаев в 1871 г. поступил на восточный факультет Петербургского университета. В 1875 г. он принят на службу в Азиатский департамент МИД, преподавал монгольский язык в университете. В 1895 г. Г. Цыбиков поступает на китайско-монгольско-маньчжурское отделение факультета восточных языков этого университета. Б. Барадин, окончив гимназию в Санкт-Петербурге, в 1901 г. поступил на юридический факультет Петербургского университета, но вскоре перешел на санскритское отделение факультета восточных языков. В 1898 г. Ц. Жамцарано поступил в Иркутскую учительскую семинарию, после нее – в Петербургский университет. Э.-Д. Ринчино в 1907 г. поступил на общеобразовательные курсы Томского технологического института. На юридическом факультете Петербургского университета учились калмыки С. Баянов и Д. Манджиев. На восточном факультете в это время учился ученик В. Котвича Н. Очиров. Э. Хара-Даван (Э. Даваев) поступил в Петербургскую военно-медицинскую академию. Д. Манджиев одновременно учился и в консерватории.

Получив образование, они оставались в душе бурятами и калмыками. В 19 лет А. Доржиев отправился паломником в Тибет. В 1888 г. он окончил Высшую буддийскую школу Гоман в Лхасе. Доржиев был инициатором открытия школ при дацанах и самих дацанов – монастырских институтов в Бурятии и Калмыкии. Религиозно-философское течение «обновленчества» обратилось к буддизму как средству консолидации бурят и выступило с идеей его реформирования. Выразителями «обновленчества» были как религиозные реформаторы – А. Доржиев, Бандида Хамба-лама Ч.-Д. Иролтуев, так и светские реформаторы: М. Н. Богданов, Ц. Жамцарано, Э.-Д. Ринчино, Б. Барадин. Обобщенную характеристику движения содержит рукопись архива Института монголоведения, буддологии и тибетологии (Улан-Удэ). Предполагаемый автор ее монголист А. И. Востриков, ученик Ф. И. Щербатского. В рукописи констатируется, что «реформой ламаизма они хотели предупредить

надвигающийся кризис последнего. Источник кризиса они видели в общей культурной отсталости буддийских масс, невежестве руководителей, отрыве ламства от европейской культуры и засорении его рядов негодными элементами». Как и исламские, буддийские «обновленцы» пропагандировали сближение буддийской культуры с европейской.

В Петербурге Хара-Даван близок с Б. Улановым, организатором первой национальной организации калмыцких учителей на Дону «Знамя калмыцкого народа» («Хальм танганчин туг»). Ставились задачи восстановления национальной культуры, развития родного языка, ликвидации правовых ограничений для калмыков. Стремились переложить на зия-пандитскую письменность текст, записанный кириллицей Н. Очировым. Для этого все часто встречались с учеными-монголоведами Петроградского университета.

Многое проясняют особенности жизненного пути реформаторов. Например, оценки деятельности М. Н. Богданова, в отличие, например, от Гаспринского, и сегодня не сведены воедино и не введены в общероссийский контекст. Его судьба и духовные искания – нелегкий процесс национально-исторического самопознания бурят конца XIX – начала XX в. В 1898 г. Богданов окончил Казанский учительский институт. Схожие с Гаспринским интересы привели его в Томский, позже в Петербургский, Берлинский и Цюрихский университеты.

Н. Н. Козьмин, выпустив в 1926 г. одну из главных книг Богданова, изложил опыт вхождения автора в мир русской культуры: «Сначала мне было трудно научиться думать и свободно выражать свои мысли по-русски. Но постепенно и незаметно русская речь стала как бы родной. Потом, когда после долгого отсутствия я появился в своей семье, я с изумлением чувствовал, что утратил способность механически распоряжаться запасом бурятских слов... И уже как бы со стороны, с любознательностью исследователя наблюдал над процессом восстановления родной речи» (Богданов М. Н., 1926. С. 15). Путешествия, приводившие к общению с выдающимися умами России и Европы в лице профессоров и писателей, с разнообразными общественными группами стали большой школой для Богданова. Козьмин считал, что Богданов «не был человек толпы с ее стихийными интересами и влечениями. Он всегда сохранял свою индивидуальность... В своих поисках знания он также имел собственную цель, собственную программу».

Т. М. Михайлов считает, что «одна из величайших заслуг М. Н. Богданова... состоит в том, что он ...революционизировал бурятское общество, создал определенное умонастроение в улусах, оказывал огромное влияние на молодую растущую интеллигенцию... Блестяще образованный и воспитанный человек, знавший многие европейские и восточные языки... Человек, с мнением которого считались по всей Сибири».

И все же Богданов метался в самоопределении между «русским» и «бурятом», противился выдвигаемому Ц. Жамцарано «монгольскому» аспекту бурятского наследия. Г. В. Оглезнева пишет: «В 1906–1907 гг. ...Ц. Жамцарано считал, что европеизация необходима и полезна, но следует сохранять лучшее из национального наследия, в частности, религию (буддизм) и старо-монгольскую письменность. Богданов не возражал против такой перспективы, но не верил в ее возможность. Их полемика не раз была предметом изучения, наиболее емко охарактеризовал ее Н. Н. Козьмин в 1920-х гг., сравнив с расколом русской интеллигенции на славянофилов и западников и определив одно течение как монголофильское, а другое – как западническое. Вполне закономерно, что Богданов в этом споре оказался лидером западников» (Оглезнева Г. В., 2003. С. 56). Его «западная» позиция не разделялась большинством бурятской элиты. Но увлеченность «монгольским» компонентом заставляла и Жамцарано в некоторой степени романтизировать и идеализировать все бурятское. Жамцарано восхищался Богдановым и ценил как «одного из лучших бурятских интеллигентов».

В России на рубеже XIX–XX вв. зародилась генерация интеллектуалов, открытых модернизму. После обучения в учебных заведениях восточных и европейских стран или в результате сотрудничества с теми, кто имел такой опыт, тяга к модерности обретала организованные формы. Не стоит сбрасывать со счетов внутренние противоречия, амбиции элит, представлявших различные варианты взаимодействия традиций духовно-культурного развития своих народов с вызовами модерности. Они способствовали их расколу, чем умело пользовались противники. Немало разногласий было у Гаспринского с единомышленниками, но с него, с Богданова, Жаботинского, им подобным начинается и усложняется интеллектуальный и содержательный ландшафт взаимодействия традиции с модерном.

В общероссийский дискурс проблемы включается новый ресурс – этнические элиты – с новыми мотивами. В общих чертах их путь типичен. В начале его иешива, медресе, дацан, затем зарубежный или российский университет. Почти все они в большинстве своем дети раввинов, мулл и лам с бундовским, иттифак-аль-муслиминовским, иногда эсеровским, крайне редко – большевистским политическим опытом. Элиты не отвергали как упадочные и вредные принципы политической организации общества модерности. Но роль гражданского общества в обеспечении этого процесса, хотя и интенсивно декларировалась, но оставалась не осознанной в

полной мере. Они «примеряли» и европейские, и восточные «одежды» в стенах высших школ, в научных структурах, в создаваемых общественных организациях, в заграничных поездках и путешествиях, что породило новый виток имперской автаркии и именно в тот период, когда имперская власть примеряла на себя наряды конституционные.

Необычайно активной была татарская и еврейская элиты. Они, лидируя в своих кругах, конкурировали и с русской администрацией, немало раздражая ее. Раздражение быстро политизировалось. Выступая в интересах слоев, заведомо неспособных осуществлять государственное управление, элиты подразумевали замену собою иерархий государственного управления. Подобная мотивация и соответствующая политическая риторика становились основой для формирования группировок секторов влияния.

Десятки, если не сотни судеб остаются неизученными в силу отсутствия внимания к ним по идеологическим, научным, политическим основаниям, в силу неописанных источников о них на разных языках. Многие попытались «примерить» свой опыт к советскому модернистскому контексту. Горский публицист Алаг Ирский в 1922 г. «запрашивал» «собственную душу» «расшатавшегося горца-интеллигента, воспитавшегося на беспочвенных иллюзиях дореволюционного быта». Оценивая «века тюрьмы для масс и задворок Российской сатрапии», он воссоздал портрет тех, кто пытался «вернуться к праматери, искупиться у нее в ее сонмах радостей и страданий», и тех, кто стал «детьми русской школы, русских университетов и гимназий». Последние, утверждал автор, «учились “чему-нибудь и как-нибудь”. Без твердости опоры и понимания, ибо это было учение на основе чужой культуры. Многие падали калеками. А все – остались... детьми безвременья... сидеть на двух стульях... Все остались на полпути». Но все, уверен автор, «жаждали свободы для всех», ибо родились уже «при атаке адатских и шариатских крепостей авангардом капитализма». Они, суть «“надстройка” времени разложения буржуазного подкопа», вернулись в горы как «гости в пиджаках, принесшие гостинцы горцам». Однако они понимали важность «воплощения вечных истин, которые заложены в массах народов». Они «дают силу, бодрость и мощность духа и борьбы». Искалась опора в «забрызганных кровью народных массах», в «новом адате и новом завете впредь и навсегда». Всех, кто не понял их важность, ожидает то, что «лоно матери» забудет их. Их ждет «хаос без просвета», «гроб, уготованный историей», «могила с трупным запахом» (Алаг Ирский, 1922. С. 66–70).

Впрочем, эти метафоры заимствованы у тех, кто зачастую и оценивал их «мнимо-интеллигентными пиджачниками», «преимущественно худшими, наиболее порочными и лукавыми представителями расы» (Величко В. Л., 1988. С. 59). Тем не менее своими энергичными действиями элиты ломали общепринятые нормы поведения. Глядя на них, население разрывалось между «старым» и «новым». Это делало их, с одной стороны, чрезвычайно податливыми к простейшим проектам и идеям реформирования, а с другой стороны, к попятному движению при соответствующих обстоятельствах. Наметился своеобразный симбиоз традиции и модерности, когда массы начинали узнавать в новейших доктринах и теоретических абстракциях знакомое им содержание и даже испытывать к ним тяготение с налетом утопизма.

Приведенные данные свидетельствуют о том, что в имперском многоэтничном обществе элитами вырабатывались формы деятельности, в рамках которых начинали складываться некоторые структуры и модели поведения, присущие модерности. На их основе и с их помощью в редуцированном публичном пространстве элиты тянулись к инновативным практикам и новым социальным формам. И те и другие функционировали в ситуации изоляции собственными традиционными акторами и структурами, неприязни со стороны имперского центра.

Выстраивалась новая система взаимоотношений внутри общества. Ранее традиционная община имела одного непререкаемого лидера, который в соответствии со своими интересами и уровнем контролировал жизнь общины. Теперь новые лидеры давали возможность рассредоточить власть в общине, сформировать представление о многовариантном развитии. Если раньше все придерживались ортодоксального мусульманского ли, иудейского, буддийского ли пути, а несогласные теряли роль в общине, то теперь последняя приобретала несколько полюсов влияния и развития. Модерность и ее институты становились средством реализации политики развития нации и превращались из индивидуального опыта отдельных харизматиков в координированную политику этнических элит.

Список литературы

Абдуллин Я. Г. Татарская просветительская мысль / Социальная природа и основные проблемы. Казань: Тат. кн. изд-во, 1976.

Айвазов А. С. История национального движения в Крыму. Публикация А. В. Ефимова // Восточный свет. 2005. № 3. С. 12–50.

Айзенштадт Ш. Революция и преобразование обществ: Сравнительное изучение цивилизаций / под ред. Б. С. Ерасова. М.: Аспект-Пресс, 1999.

Алаг Ирский. Путь горской интеллигенции: беглые очерки анализа // Горская мысль. 1922. № 2. С. 66–70.

Аманжолова Д. А. Казахское общество в 1-й четверти XX века: проблемы этноидентификации // http://www.kyrgyz.ru/?page=300/

Бадерхан Ф. Северокавказская диаспора в Турции, Сирии и Иордании (вторая половина XIX – первая половина XX века). М.: ИВ РАН, 2001.

Бартольд В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия. Часть II. СПб., 1900. С. 582.

Беннингсен А. Исмаил бей Гаспринский и происхождение джадидского движения в России // Россия и Восток. Казань: Татарское кн. изд-во, 1993.

Богданов М. Н. Очерки истории бурят-монгольского народа. Верхнеудинск: Бурят-Монгол. изд-во, 1926.

Будилович А. С. Может ли Россия отдать инородцам свои окраины? СПб.: Издание Н. Д. Сергеевского, 1907.

Будилович А. С. Вопрос об окраинах России, в связи с теорией самоопределения народностей и требованиями государственного единства. СПб., 1906.

Валиди Дж. Очерк истории образованности и литературы татар (до революции 1917 г.). Вып. 1. М.; Пг., 1923.

Валиди Дж. «У меня разногласия с соввластью» // Эхо веков. 1996. № 1/2.

Величко В. Л. Кавказ. Русское дело и межплеменные вопросы // Из полного собрания публицистических сочинений. Т. 1. СПб., 1904. Опубл.: Известия Академии наук Азербайджанской ССР. Серия история, философии и права. 1988. № 3. С. 59–66.

Геллнер Э. Национализм возвращается // Новая и новейшая история. 1989. № 5. С. 60–61.

Гетч О. Русский Туркестан и тенденции современной русской колониальной политики // Schmoiler's Jahrbuch. 1913. Вып. 2. С. 2–10.

Гидденс Э. Последствия модернити // Новая постиндустриальная волна на Западе: Антология / под ред. В. Л. Иноземцева. М.: Асайепна, 1999.

Гутнов Д. Русская высшая школа общественных наук в Париже (1901–1906 гг.). М.: РОССПЭН, 2004.

Дубнов С. Книга жизни: Воспоминания и размышления. М., 1998.

Дубнова-Эрлих С. Жизнь и творчество С. М. Дубнова. N.-Y., 1950.

Жаботинский В. Повесть моих дней. «Библиотека-Алия». Б. м., 1985.

Иванов А. Е. Еврейское студенчество в Российской империи начала XX века. Каким оно было? М.: Новый хронограф, 2007.

Ковалевский М. Отношение России к окраинам // Русские Ведомости. 1905. 9 окт.

Красовицкая Т. Ю. Национальные элиты как социокультурный феномен советской государственности. М.: ИРИ РАН, 2006.

Лурье С. В. Национализм, этничность, культура: Категории науки и историческая практика // Общественные науки и современность. 1999. № 4. С. 108–110.

Наше слово. 1916. № 162. 13 июля.

Нефляшева Н. К истории ислама у адыгов (черкесов) на Северо-Западном Кавказе. Майкоп, 1998.

Оглезнева Г. В. М. Н. Богданов – личность на перекрестке культур рубежа XIX–XX вв. // Культура и интеллигенция России между рубежами веков: Метаморфозы творчества. Интеллектуальные ландшафты (конец XIX в. – начало XXI в.). Омск: ОмГУ, 2003.

Солженицын А. Двести лет вместе (1795–1995). Часть I. М.: Русский путь, 2001.

Хабутдинов А. Лидеры нации. Казань, 2003.

А. В. Головнев

ДИАЛОГ КУЛЬТУР И ЭТНИЧНОСТЬ В КОНТЕКСТЕ КОЛОНИЗАЦИИ

На общеисторическом фоне «колонизация» обычно ассоциируется с глобальной экспансией европейцев на исходе Средневековья, и ее главные герои – отважные мореплаватели, жестокие конкистадоры, алчные работорговцы, наивные туземцы – придают понятию то романтический колорит «великих географических открытий»[1], то мрачный оттенок «колониализма». Суд истории над империализмом и колониализмом начался совсем недавно, после крушения трансконтинентальных империй. При этом к суду призвана не колонизация как универсальное явление, а колониализм как европейская идеология и система международного угнетения. Однако эти однокоренные понятия часто воспринимаются слитно (Ferro, 1997), и тень колониальных империй XV–XX вв. ложится на все эпизоды открытия и покорения новых земель и морей.

По одиозности колониализм граничит с империализмом. Он определяется как идеологически освященное господство метрополии над зависимыми народами (коренными и принудительно переселенными), основанное на завоевании, культе превосходства колонизаторов и их праве использовать человеческие и природные ресурсы колоний в пользу метрополии (см., например: Osterhammel, 2005. С. 16). В этико-религиозных конструкциях это выражалось в многообразных версиях избранности метрополий относительно «варваров», «дикарей»,

«неверных», «туземцев». Идеологемы колониализма относятся к числу так называемых метанарративов, которые охватывали огромные пространства планеты, становясь модой, убеждением, верой. Несмотря на то что они периодически отвергались (например, со сменой господствующих религий), корни колониализма благополучно выживали и давали новые всходы. Например, на месте римского колониализма вырос христианско-римский, из которого народились оппозиционные ветви британско-протестантского и московско-православного (при этом в Новое время европейский колониализм вполне гармонировал с Просвещением, хотя и вызывал отповеди в виде руссоизма). Даже вывернувшись в новейшее время наизнанку в риторике антиколониализма, старая идеологема воскресла в проявлениях неоколониализма, постколониализма, мондиализма, глобализма. Сегодня одной из забавных ее метафор служит кокаколанизация (cocacolanization), обозначающая эрозию местной культуры под давлением культурного империализма «мировой метрополии» (США) посредством массмедиа и масскультуры. Призрак колониализма по-прежнему пугает своей неистребимостью, хотя становится все более виртуальным.

Метаидея колониализма повлияла на все гуманитарные науки, а этнология и вовсе, по словам К. Леви-Строса, «появилась и развивалась в тени колониализма». Познавательная задача этнологии в отношении колонизации и колониализма тем сложнее и ответственнее, что речь идет о феномене старше и объемнее самой науки. Крайне затруднительно исследовать то, что представляется естественной средой и исходным состоянием. Из колониализма берут начало базовые измерения ранней эволюционистской этнологии (например, о статусном неравенстве народов и культур на ступенях прогресса), поэтому для рефлексии и обратного взгляда на исходный феномен нужны иные измерения (по меньшей мере, из арсенала релятивизма).

Понятна осторожность, с которой антропологи и историки произносят слово «колонизация». Однако ситуаций, когда его употребление не только удобно, но и эффективно – например, применительно к эпохам «великого переселения народов», античности, первоначального заселения Америки, Австралии, Арктики (см., например: Dixon, 1999; Colonization, 2003; Dietler, 2005) – оказывается так много, что в известной мере вся история человечества предстает историей колонизации. По мотивам, средствам и следствиям колонизация многообразна и далеко не всегда стыкуется с империализмом. Освоение новых земель и угодий промысловиками, земледельцами, скотоводами или торговцами, не говоря уже о распространении по планете бактерий, растений и животных, не имеет ничего общего с колониализмом. В антропологии целесообразно разделять понятия «колонизация» и «колониализм» как соответственно механизм движения и идеологему. Антропологический взгляд, как и биологический, избегает идеологической цензуры – судить Одиссея за пиратство сегодня так же нелепо, как упрекать предка белого медведя за то, что он, ступив с лесной поляны на ледовое поле, нарушил идиллию Арктики. Люди бронзового века не могут оцениваться с позиции христианской морали, поскольку они жили до Христа, а крестоносцы Средневековья – осуждаться за разжигание межконфессиональной розни по канонам сегодняшней мультикультурной толерантности. Ниже, за исключением специально оговариваемых сюжетов, речь пойдет о феномене колонизации без оглядок на негативную идеологическую коннотацию.

Для антропологии движения феномен колонизации представляет самостоятельный интерес как механизм освоения пространства и социальных взаимодействий. При этом важны не столько итоги освоения (заселения, покорения) новых территорий, сколько истоки миграций – первые шаги или даже ситуативные толчки, породившие мотив, а затем технологию и традицию колонизации. Этот ракурс еще четче отделяет колонизацию от колониализма, поскольку истоки не отягощены бременем итогов с их духом стагнации. Колонизация универсальна как феномен, но изменчива как тактика адаптации. Будучи постоянно действующим экосоциальным механизмом, она обновляется по мере развития движения и коммуникации. Однако базовые черты колонизации сохраняются с древнейших времен до сегодняшнего дня, поэтому в обнаруживаемых параллелях можно видеть устойчивые явления, а не случайные совпадения.

Явная грань между колонизацией в природе и среди людей отсутствует, и в этом смысле микробиологи не менее обоснованно используют это понятие, чем антропологи. И все же на полюсах спектра вариаций можно различить колонизацию локальную, ограниченную освоением биоресурсов конкретной экониши, и колонизацию магистральную, пересекающую границы экотопов и культур, охватывающую большие и разнообразные пространства. Локальная колонизация основана на экологической (двухмерной) адаптации, магистральная предполагает социальную (трехмерную) адаптацию и генерирует власть над пространством.

Сложность антропологического исследования феномена колонизации состоит в том, что его истоки уходят за пределы человеческого рода вплоть до эры ранних бактерий и водорослей. Жизнь на планете изначально распространялась путем колонизации. Запечатленный в ней алгоритм движения достался человеку от природы, и в этом смысле не

человек породил колонизацию, а колонизация человека. Как бы витиевато подчас ни сплетались конкретные события, в своей основе колонизация представляет собой устойчивый природный алгоритм экспансии жизни. Для антропологии движения, настроенной на изучение не столько итогов, сколько истоков, подобное изначальное природное основание имеет значение феноменологической опоры.

Природные основания

Человек оказался (или кажется самому себе) самым успешным колонизатором планеты. Однако Homo sapiens не столько прокладывал новые пути, сколько шел по стопам своих пращуров – населившего южную Евразию *Homo erectus* (2 млн л. н.), добравшегося до Америки *Purgatorius* (63 млн л. н.), достигшего монгольских степей *Zalambdalestes* (80 млн л. н.). В свою очередь, ранние приматы были наследниками традиций движения существ, осваивавших Землю с момента зарождения жизни, и в этом измерении феномену колонизации (от распространения древнейших анаэробов) – около 4 млрд лет.

Понятие колонизации широко используется в науках о жизни, например, в биогеографии и микробиологии. Разумеется, колонии микробов и народов существенно различаются, но обнаруживается в них и немало общего. Взгляд на природные аналоги помогает различить в человеческом опыте характеристики, обычно ускользающие из поля зрения ввиду их неприметности или тривиальности. Динамизм и сложность людской жизни не позволяют заметить то, что можно наблюдать, например, в относительно статичной (и потому удобной для фиксации) жизни растений.

Исследование Ф. Клементсом динамики растительности открыло ключевую функцию колонизации в сукцессии (succession) – последовательной смене биоценозов. Если представить рождение фитоценоза (распространение растительности) с нуля – например, на вновь образовавшихся песчаных дюнах, на месте сошедшего ледника или на застывшей лаве, – то определяющую роль сыграют виды, которые иммигрируют на незаселенное пространство и колонизуют его. Растения-мигранты разделяются на успешных колонизаторов и успешных конкурентов: первые осваивают нишу на начальном этапе, вторые – на следующем, когда разворачивается межвидовая конкуренция, после чего наступает биоценотическая реакция, завершающаяся стабилизацией (климаксом). Успешные колонизаторы, захватившие нишу в начале сукцессии, вскоре преобразуют ее и, истощая ресурсы, делают непривлекательной для себя. В этот момент ниша оказывается благоприятной для других видов – успешных конкурентов, которые теснят и сменяют ранних колонизаторов, достраивая биоценоз до сбалансированного «климакса» (Clements, 1928).

Биологическая теория сукцессии не только рождает массу антропологических аналогий (относительно последовательности волн и характеров первопроходцев, колонизаторов и устроителей), но и убеждает в сложности колонизации даже на уровне растительности. Казалось бы, в человеческой истории подобные события априори должны быть еще сложнее, но в антропологии и истории колонизация рассматривается обычно как линейное движение, внутри которого не различаются оттенки жизни, обозначаемые биологами словом «ценоз». Между тем в качестве реакции на построения Клементса, биологи развернули целый спектр еще более детальных биоэкологических концепций, включая «индивидуалистический» подход Г. Глисона, экосистемность А. Тэнсли, градиентный анализ экологических сообществ Р. Витакера.

Не претендуя на участие в споре ботаников, а лишь наблюдая за его развитием, отмечу, что ряд последующих акцентов еще более «очеловечили» явление фитоколонизации. Например, Ф. Эглер не разделяет колонизацию и видовую конкуренцию как последовательные этапы сукцессии, а предлагает теорию первоначальной флористической композиции, согласно которой все участники сукцессии стартуют совместно, но одни доминируют на начальном этапе, другие позднее – благодаря различиям в их репродукции, росте, распространении (Egler, 1954). Например, заброшенный после снятия урожая земледельческий участок зарастает в последовательности сорняки – травы – кустарники – лес. По Клементсу, они заселяют участок последовательно, по Эглеру – одновременно, но доминируют последовательно (Wilson et al., 1992).

Биология предлагает понятие вторгающегося (инвазивного) вида, который может стать доминантным или монотипным, заместив собой туземные (indigenous, native) виды. Подобные эффекты отмечены и в истории человечества, когда вторжения иноземцев приводили к массовому или полному истреблению туземцев (Тасмания, Антильские острова, многие области Америки). В биологии различаются четыре стадии переселения и освоения, в течение которых число видов-участников сокращается: если в фазе интродукции участвуют 100 видов, то фазу колонизации преодолевает лишь каждый десятый – 10 видов, фазу натурализации – 5, а распространение на новом месте выпадает на долю только 2 видов (di Castri, 1990).

В антропологии речь идет не о биологических, а о социально-культурных «видах», среди которых наиболее различимы общности, называемые наро-

дами. Сравнение народа в антропологии с видом в биологии – распространенное наблюдение (см.: Арутюнов, 1989), однако в ракурсе колонизации оно приобретает особый смысл. Участие представителей разных народов в одном потоке колонизации может принимать различные формы (например, роль проводников коми-зырян в движении русских в Сибирь, место чернокожих невольников в освоении европейцами Америки), при этом важной характеристикой подобного взаимодействия оказывается понятие «симбиоз», введенное ботаником А. де Бари применительно к лишайникам и обозначающее случаи тесного и устойчивого сожительства организмов разных видов. По словам Л. Маргелис (1983), «секрет эволюции живого – длительная жизнь в симбиозе»; «природа испытывает отвращение к чистой культуре, вне- или внутриклеточные симбиозы – скорее правило, чем исключение».

Симбиоз оказывается важным понятием в характеристике колонизационного движения и контакта иноземцев и туземцев. Симбиотические отношения возникают не только между различными этносоциальными группами, но и между людьми и животными, людьми и растениями. Классическими примерами подобного движения служат миграции человека с одомашненной собакой, лошадью, быком, оленем. Такого рода симбиоз в древности был в буквальном смысле двигателем колонизации. Что касается собаки, то без нее вообще трудно представить успешное заселение людьми планеты, особенно северных широт. Симбиоз человека и коня открыл возможность создания обширных многоэтничных империй, контролируемых быстрыми и маневренными всадниками. Свою роль в колонизации играли растения, переносимые земледельцами в новые земли.

Колонизация играла ключевую роль в образовании новых этнических сообществ, и в этом отношении биология также предлагает полезные аналогии. Например, применительно к видообразованию на опыте орнитологии Э. Майр обратил внимание на эффект формирования новых видов из малых популяций, обособленных на границе обитания родительской популяции (концепция перипатрического видообразования). Создание процветающих колоний первоначально малыми группами колонистов оказалось обычным способом распространения многих видов животных и растений (Mayr, 1999). Для человеческих обществ это примечательно не только как указание на возможность колонизации малыми группами, но и как аналогия особой активности пограничных (периферийных) групп в колонизации.

К числу колониальных организмов в биологии относятся многие зеленые, диатомовые и золотистые водоросли, инфузории, радиолярии, губки, коралловые полипы, мшанки и другие виды. В природе существуют высокоинтегрированные подвижные колонии (сифонофоры, морские перья и др.), образующие колониальные организмы, целостность которых обеспечивается общим органом (стволом, стеблем), генерируемым всей колонией, но не принадлежащим индивидуально ни одной из особей. В мире людей роль такого «ствола» могут играть религия, мифология, политика, придающие колонизации направленность и целостность, но не принадлежащие никому персонально. Примечательно, что и в простейших, и в сложных сообществах колония означает некую социальную целостность, воссоздающую на новом месте прежний мир.

Распространение биологических видов на обширных пространствах обычно завершается локальным видообразованием. Расселение людей по планете, напротив, привело к глобальному видовому единству, основанному как на физиологической интерфертильности, так и на социальной интеркультурности – способности к диалогу и взаимной адаптации. Очевидно, человек выделяется в природном окружении системой коммуникации, включающей технологии общения (в том числе слово и изображение), сложную социальность (родство, свойство, иерархичность), особые профили деятельности (дипломатия, политика, торговля), гиперсексуальность. Последнее (по порядку, но не по значению) свойство сыграло особую роль, поскольку благоприобретенная человеком свобода от природных репродуктивных циклов была фундаментальным завоеванием в видовой Homo-революции, возникновении сверхприродных потребностей прачеловека. Гиперсексуальность была и остается одним из базовых мотивов отладки механизмов коммуникации, включая частоту физиологических контактов, перманентную конкуренцию, повышенную плодовитость, пространственную мобильность, развитие ментальных алгоритмов и социальных технологий регулирования секса и родства посредством ритуалов и институтов вроде экзогамии, эндогамии, многообразных форм брака, этических и религиозных регламентаций.

Непрерывность человеческой коммуникации уже в палеолите перекрыла природно-географическую дискретность планеты. Этот фундаментальный факт антропологии плохо сочетается со стереотипом примитивизации древности до кормового поведения. Он побуждает к изучению не только локальных культур, но и каналов их взаимодействия – магистралей коммуникации. Давний и плодотворный спор между моноцентристами и полицентристами показывает, что человек – явление не точечное, а пространственное, и эволюция его происходила в динамике, а не в статике. Технологические открытия совершались отдельными людьми,

но культурой их делала коммуникация. Развитие культурных магистралей, связывающих различные локальные очаги на больших пространствах, было основным достижением и двигателем «верхнепалеолитической революции».

Уроки Геродота

Сколько бы ярких материалов ни давала археология, сколько бы впечатляющих аналогий ни предоставляла биология, мотивы колонизации внятно выражаются лишь в слове. Среди письменных источников в этом отношении особенно привлекательны повествования, которым свойственна авторская включенность в описываемые события. Древнейшим и классическим образцом подобных нарративов представляется «История» Геродота, передающая как историко-культурную панораму, так и персональные мотивы эллина середины V в. до н. э. Кроме того, логос «отца истории» стал антропологическим опытом, из которого произросла ментальная карта европейца последующих эпох. Для исследования феномена колонизации текст Геродота тем более удобен, что лишен позднейших идеологических клише, и колонизация предстает в нем как естественный способ жизнедеятельности и освоения пространства.

Геродоту свойственна этнодипломатия, настроенная на долговременное взаимодействие эллинов и варваров в одной ойкумене. Он без затруднения оглядывает себя глазами другого, преодолевая кажущуюся незыблемой оппозицию эллинов и варваров. В Египте он толкует о варварах с точки зрения египтян: «Варварами же египтяне называют всех, кто не говорит на их языке» (II, 158). При этом в ряде пассажей о культурных ценностях и приоритетах Геродот ставит египтян впереди эллинов: «Эллинские обычаи египтяне избегают заимствовать. Вообще говоря, они не желают перенимать никаких обычаев ни от какого народа... Что до самих египтян, то жители пригодной для земледелия части страны больше всего сохраняют память и потому разбираются в истории своей страны лучше всех людей, с которыми мне приходилось общаться в моих странствиях» (II, 77).

При чтении «Истории» создается впечатление, что Геродот увлечен этничностью[2]. Всякий раз, когда персидский царь, египетский фараон или эллинский номарх отправляется в поход, незамедлительно рисуется красочная этнографическая картина. Остается либо заподозрить логографа в нарочитой этнизации истории, либо саму историю – в насыщенности этничностью.

Геродот постоянно держит перед глазами сложную картину этничности Эллады. Обсуждая «чистоту» ионийцев в малоазийских колониях, он отмечает, что изгнанные ахейцами с Пелопоннеса ионийцы, переселяясь в Азию, смешивались с абантами, минийцами, кадмейцами, дриопами, фокейцами, молоссами, аркадцами, дорийцами. Поэтому «глупо утверждать, что эти азиатские ионяне чистокровнее и благороднее остальных ионян». Это касается и тех, кто считает себя «самыми благородными» потомками афинян, которые в действительности женились в Милете на кариянках (I, 145, 146).

Риторика этничности настолько обильна, что порой кажется избыточной. Сбор эллинских кораблей у Саламина сопровождается этногенетическими комментариями: прибывшие с тридцатью кораблями эгинцы – по происхождению дорийцы из Эпидавра, наксосцы на четырех судах – ионийцы из Афин, мелосцы с двумя кораблями – лакедемоняне, кротонцы с одним – ахейцы, кифнии с триерой и 50-весельным судном – дриопы и т. д. (VIII, 46–48). При характеристике мотивов действий Кира, Дария, Ксеркса постоянно указываются этнические корни их союзников и противников. Судя по всему, этнография армии и флота представлялась Геродоту и его современникам стратегически и тактически значимой, и этничность тех времен содержала куда больше проекций, чем распознается сегодня.

На этничности строится ментальная карта Геродота в ее пространственно-временных измерениях. Эта карта сложна, но логограф не намерен ее упрощать в угоду, например, слушателям своей истории (логосы, как и поэмы, читались вслух для публики). Его описания насыщены не былинно-эпической, а реально-жизненной этнографией, притом не всегда тешащей эллинское самолюбие. Так, ионийцам надлежит знать, что их предки были некогда самым слабым племенем среди эллинов, и у них не было ни одного значительного города, кроме Афин. Позднее афиняне даже стыдились имени «ионяне», а высокую ценность ему придали ионийские колонисты, создавшие в Малой Азии *додекаполис* (двенадцатиградье) и воздвигнувшие общее святилище Паниоий (I, 143). Афинянам следует знать, что их предки были пеласгами и звались кранаями; при царе Кекропе их называли кекропидами, при царе Эрехфее – афинянами и по имени их предводителя Иона – ионянами (VIII, 44).

Эти подробности в устах дорийца-карийца из малоазийской эллинской колонии в Персии показывают, что этноязык в его время был общеупотребим, во всяком случае, среди интеллектуальной и политической элиты, к которой принадлежали логографы. До сих пор остается тайной, чем был мотивирован персональный интерес Геродота к обзору земель и народов. Предположения о том, что он был купцом или сыном купца (см.: Myres, 1953. С. 5), путешественником или участником круж-

ка Перикла (наряду с Анаксагором, Ксенократом, Протагором, Софоклом, Фидием), лишь отчасти проясняют его жизненное кредо. Его труд более всего ориентирован на создание ментальной карты эллинского пространства-времени, где решающую роль играют война, власть, сакральность и этничность. Вероятно, именно на этих основах строилась в ту пору стратегия власти над пространством, и Геродот был, с позволения сказать, гуманитарным технологом или геополитиком своей эпохи.

В эллинской традиции отношение метрополия – колония принимало многослойный облик. Например, в «генеалогической» цепочке Афины – Милеет – Синопа – Трапезунт (от старшей метрополии к младшей колонии) все города были в разное время колонизованы и все выступали метрополиями. Милет, будучи матерью восьми или девяти десятков колоний, сам был некогда критской, затем ахейской и афинской колонией. Синопа колонизовалась греками по меньшей мере трижды (притом дважды милетянами) и, в свою очередь, выступала метрополией для ряда понтийских городов (Трапезунт, Кераса, Котиора, Ликаста и др.). Это переменное или синтетическое состояние колония – метрополия было не эпизодом, а механизмом колонизационного движения. Алгоритм колонизации состоял не в распределении ролей метрополии и колонии, а в установлении сети коммуникаций.

Пример Милета удобен тем, что показывает стихию колонизации, которая способна, нахлынув, стремительно поднять какой-либо город до мощной метрополии, а затем вдруг опустошить его. Превращение Милета из поселения колонистов (апойкии) в метрополию было не равномерным эволюционным ростом, а цепью событий, в которых Милет выступал транзитом и трамплином колонизационной активности. Истоки бурной «милетизации» кроются в проектах, проходивших через Милет как узел межполисных и международных коммуникаций. В минойскую и микенскую эпохи ничто не выдавало в рядовой апойкии будущей мегаметрополии – Милет был критской, а затем ахейской колонией, где наряду с пришельцами обитали туземцы (карийцы и ликийцы). Милет расцвел с появлением в нем афино-ионийской колонии во главе с легендарным ойкистом (основателем колонии) Нелеем в XI в. до н. э.[3] А «матерью колоний» он стал в VII–VI вв. до н. э., когда милетяне выводили одну за другой колонии по всему восточному Средиземноморью, от Египта (Навкратис) до северного Причерноморья (Ольвия, Пантикапей, Танаис, Фанагория, Феодосия и др.). За пиком последовал крах, связанный с разгромом Милета персами. После очередного погрома македонянами город окончательно увял, и на месте «жемчужины Ионии», как его называл Геродот, расположилась турецкая деревня Палатия.

Эллинский мир насквозь пропитан колонизацией, и культура эллинов основана на движении, генерировавшем власть над пространством (схема Одиссея). Для Геродота и его современников колонизация – исходная обыденность, состояние, не требующее объяснения. Если о судьбе и счастье Геродот рассуждает с притчами и мудрствованиями, то о колониях сообщает буднично и деловито. Колонизация служила средством осуществления самых разных проектов. Как система контроля над пространством она обеспечивала стратегию безопасности и пути достижения благополучия. Можно вести речь о внутренних и внешних толчках колонизации, а также об основных направлениях, в которых действовал механизм экспансии: персональные проекты, разрешение социальных конфликтов, военная безопасность, торговая коммуникация, создание очагов аграрного и металлургического производства.

Метрополией был город, который не просто выводил колонию, а создавал сеть коммуникаций, обеспечивавших безопасность, торговлю, частные и социальные проекты. Число колоний могло нарастать и сокращаться, но суть колонизации состояла в отладке сети. В разное время крупнейшими сетевыми центрами (метрополиями) в Элладе были Коринф и Мегары (позднее Афины) на Истме, Халкида и Эретрия в Эвбее, Милет и Самос в Малой Азии. Некоторые сети выглядели столь обширными и политически мощными, что заходила речь об «империях», например, о Кикладской державе (Страбон, X, 446–449), о «колониальной империи» Коринфа.

Эти сети были крепки полисной идентичностью и эллинской этничностью. В растяжке от ойкоса до ойкумены выстраивались те многообразные связи, из которых сплеталась сеть метрополий и колоний с их взаимной поддержкой и конкуренцией. Чем динамичнее была сеть, тем стабильнее полис. Впрочем, полис существовал не сам по себе, а в сетевой динамике, где средствами мобильности были корабль и колония. Иногда колония создавалась как звено панэллинской сети. Например, Навкратис в Египте стал с 620 г. до н. э. торговым центром, где бок о бок обосновались эолийцы, ионийцы, дорийцы.

Колония была клоном метрополии с теми же культами, календарем, диалектом, алфавитом, государственными институтами и филами. Иногда колония перенимала и сохраняла традиции лучше, чем материнский город. В Малой Азии колонисты-ионийцы воспроизвели, помимо прочего, свойственные балканской Ионии «двенадцатиградье» и структуру четырех фил.

Спектр воздействия эллинов на колонизуемые сообщества был широк – от вытеснения и/или порабощения местных жителей (Сиракузы, Гераклея Понтийская) до альянса с местными правителями

(Ольвия в Причерноморье, Эмпорий в Иберии) и службы в войсках фараона (Навкратис в Египте). При множестве вариаций внутри этого спектра и неизменном различении себя и варваров, эллины основывали эти связи на долговременном партнерстве. Греки рассматривали колонизацию вовсе не как оккупацию и завоевание чужих земель. Их тактика состояла не в силовом захвате, а в культурном и торговом охвате туземцев. Греческой этнодипломатии был свойственен сдержанный диалог, когда плотность контакта тщательно соблюдается и контролируется, а поведение в отношении к одноплеменникам и иноплеменникам строго регламентируется.

Установление прочного партнерства требовало основательной взаимной адаптации. Тактическим приемом, обеспечивавшим неспешное сближение и страховку на случай агрессии со стороны туземцев, было первоначальное поселение на острове близ предполагаемой колонии. Во многих случаях колонисты останавливали выбор на островах, лежащих напротив материка, и на островах в эстуариях рек (Winter, 1971. P. 12–29). Островная тактика обеспечивала господство на море, безопасность, регулируемый диалог и нарастающее доминирование. Колонизация южной Италии (будущей «Великой Греции») началась с изгнания коринфянами сикулов с острова Ортигии в 730-е гг. до н. э. При этом одну часть сикулов сиракузяне обратили в своих крепостных, а другую – в данников (Фукидид, III, 103, 1–2; IV, 20, 4).

Критская, кикладская, коринфская, афинская, милетская и им подобные колониальные сети лишь метафорично могут зваться «империями», поскольку строились они не на иерархии, а на партнерстве и конкуренции. Пупом греческой ойкумены было дельфийское капище Аполлона, а не дворец властителя. Впрочем, успехами своей экспансии, особенно в сочетании со сходными достижениями финикийцев, греческие полисы провоцировали подражание со стороны сильных властителей (как известно, дорийцы расселялись лишь в тех землях, где уже обитали другие эллины). Более того, взлеты колониального движения часто приходились на тирании, и выведение колонии предполагало «культ личности» ойкиста. Единовластию в греческой ойкумене мешала лишь конкуренция разных метрополий, ревниво следивших (не без участия жрецов Аполлона) за успехами друг друга. Эллинские метрополии слишком основательно прикипели к полисному стилю и слишком ревниво следили друг за другом, чтобы допустить усиления одной из них до реальной империи.

Этноперекресток Урал

Одной из удобных площадок изучения этничности в многообразии ее проявлений служит Урал, испытавший на себе все тяготы мировой истории. Едва ли не каждое описание Урала сопровождается его характеристикой как перекрестка путей и мозаики культур. Одновременно он представляется барьером, пусть и невысоким, между Европой и Азией, а устойчивые выражения «перевалить за Камень», «чрезкаменный путь» подчеркивают его значение транзитного перевала. Однако, подобно другим горным странам, Урал обладает свойствами не только разделителя, но и объединителя равнин. Рубеж Европы и Азии – не символ, а сложная функция синтеза и преобразования разнохарактерных обстоятельств и действий. Кроме того, здесь сходятся как Запад с Востоком, так и Юг с Севером, образуя замысловатую «розу путей». На таких территориях сочетаются и чередуются качества центр–периферия, метрополия–колония, перевал–очаг, превращая их в полигоны межэтнического взаимодействия и культурного обмена. Урал с эпохи камня был, с одной стороны, пространством пересечения и конкуренции подвижных магистральных культур, с другой – местом оседания и формирования локальных культур.

Еще в плейстоцене, 30–20 тыс. л. н., вдоль хребта Урала проходила одна из самых ранних в праистории Северной Евразии миграционных магистралей, достигавшая на севере Полярного круга (стоянки Заозерье, Гарчи, Бызовая, Мамонтова Курья), окруженная с запада и востока ледниками и приледниковыми озерами-морями. Не исключено, что в этих походах компанию Homo sapiens составляли неандертальцы (см.: Slimak et al., 2011). Позднее здесь сформировалось ядро общности, разросшейся в уральскую языковую семью.

«Фактор перекрестка» не сводится к бесконечному транзиту, а генерирует очаги движения, в которых рождаются мобильные культуры больших пространств. Урал стал колыбелью многих магистральных культур, прежде всего, уральской языковой семьи, расселившейся в пространстве от Фенноскандии до Алтая и Таймыра. В бронзовом веке южный Урал был одним из плацдармов степных индоевропейцев, оставивших сеть впечатляющих археологических памятников (Аландское, Аркаим, Ольгино, Синташта и др.). На рубеже эр он вошел в орбиту движения алтайских кочевников, став прибежищем для остатков азиатских хунну и ареной их перерождения в орду европейских гуннов. В Средние века отсюда же двинулись на «завоевание родины» мадьяры. На севере Урала сложилось кочевое сообщество «каменных самоедов», охвативших своими кочевьями евразийскую тундру от Белого моря на западе до Таймыра на востоке (из последних работ см.: Koryakova, Epimakhov, 2007; Боталов, 2008; Овчинникова, Дьени, 2008; Зыков, 2011; Кокшаров, 2011).

Выступая метрополией ряда культур, Урал одновременно испытывал воздействие крупнейших североевразийских очагов экспансии – центральноазиатского и североевропейского. Южноуральские степи и леса оказались в зоне колонизации тюркских каганатов и монгольского улуса; приуральский север – в орбите движения викингов, ладожан, бьярмов (перми). На рубеже I–II тыс. н. э. на Урале пересеклись магистральные культуры Великого Булгара и Великого Новгорода, позднее – Орды и Москвы. Будучи окружен конкурентными внешними влияниями, но находясь в отдалении от их эпицентров, Урал сохранял потенциал преобразования этих воздействий. Из туземцев и пришельцев (при ведущей роли мадьяр и тюрок) сложилась общность уральских башкир, сохранявшая самобытность в ордынском и российском подданстве благодаря военно-сословным и вотчинным привилегиям. Ранняя русская колонизация Урала обернулась возникновением вотчины Строгановых, созданной новгородскими «вечевыми людьми» после разгрома Новгорода Москвой. Обширная, политически автономная и экономически мощная вотчина Строгановых была преобразованной новгородской традицией, вписанной ценой изощренной дипломатии в чуждый ей московский политический контекст. Тот же характер самостийности носило движение на Урал казаков, включая атамана Ермака (преследуемого Москвой и обласканного Строгановыми). Урал стал местом стечения двух русских вольниц – поморов и казаков, силами которых за короткий срок произошло освоение Урала и Сибири. На перекрестке потоков вечевых людей севера и вольных людей юга синтезировалась новая русско-уральская (по очагу ее формирования) культура высокой мобильности и колонизационной активности.

До XVIII в. Урал осваивался преимущественно выходцами с Русского Севера. Затем случилась одна из петровских геополитических метаморфоз: столица переместилась на север в Петербург, а на Урал пошел поток переселенцев из центра страны для строительства горнодобывающих и оружейных заводов. Новая магистраль, выстроенная столичными чиновниками и европейскими мастерами, вовлекла в поток колонизации русских крестьян, мастеровых и торговцев. Среди них был туляк Никита Демидов, на свой лад повторивший опыт новгородца Аники Строганова и создавший на Урале мощную промышленную вотчину. Одновременно здесь появились беглые и высланные старообрядцы, в том числе мятежные московские стрельцы, выходцы из скитов Выга (поморцы) и Керженца (кержаки). По неслучайному совпадению на Урале в очередной раз сошлись два разнохарактерных, если не враждебных, потока – военно-промышленный и духовно-раскольничий. И в очередной раз они парадоксально слились в самобытную горнозаводскую общность. Странный, на первый взгляд, сплав нового дела и старой веры объясняется не единством интересов горных мастеров и ревнителей благочестия, а их полным расхождением. Урал располагал к «монтажу» исходно различных мотивов при условии их ситуативной адаптивности, и религиозное хладнокровие заводчиков оказалось органично совместимым с упорством и замкнутостью староверов.

Нередко устойчивость и консервативность общности и ее культуры оказываются лишь эффектом внешнего восприятия, и внимательный взгляд в этноисторию обнаруживает динамику традиций и этничности. Например, кажущиеся патриархальными уральские тундровые кочевники-ненцы (самоеды) относительно недавно, 3–4 столетия назад, пережили коренное преобразование культуры и общественных отношений, вызванное так называемой оленеводческой революцией XVI–XVII вв. Прежде они были рассеянными по просторам Арктики и Субарктики группами охотников на дикого оленя и морского зверя. Оленеводческая революция была ответом на скандинавскую и российскую колонизацию Севера, и массовые миграции тундровых охотников сопровождались борьбой за стада оленей и отдаленные территории. В этой борьбе лидерство захватила североуральская Карачейская орда, распространившая свое влияние по уралозападносибирским тундрам. Собственно вожди Карачейской орды и создали этнокультурное единство, называемое сегодня ненцами, причем в их состав вошли представители других групп, например, северные ханты и манси (роды «хаби»), энцы (роды «мандо»). В условиях турбулентного XX в. ненецкая культура проявила поразительную стойкость и жизнеспособность за счет своей кочевнической гибкости и адаптивности к переменам.

Другой коренной уральский народ – таежные манси (вогулы) – нередко представляется носителем древнейших прауральских традиций. Однако его этноисторическая судьба полна драматических сюжетов. Летописная югра, с которой связаны этнические корни манси, исчезла под напором колонизации XVI в., а из ее фрагментов сложились сообщества, поименованные вогулами и остяками. В обоих случаях решающую роль в этнических метаморфозах сыграли религиозно окрашенные факторы колонизации: западную часть бывшей югры московиты стали называть по-зырянски вогулами, а восточную – по-татарски остяками в одинаковом значении «дикари-язычники». Позднее у вогулов-манси сохранялась локальная разобщенность на четыре группы диалектов, отличающиеся друг от друга настолько значительно (на уровне языка), что об исторической общности этих групп можно

говорить с большой долей условности. В дальнейшем на судьбу и идентичность манси, как и других народов северного Урала, решающее воздействие оказала христианизация с эффектом русификации, подчинение туземной элиты, прокладка «царских дорог», а в советское время – «красная колонизация» (см.: Перевалова, 2009; 2011).

Уральские марийцы (восточные мари, чи-мари, черемисы) характеризуются как хранители этнических устоев, в том числе язычества. Сеть из трех десятков сравнительно многочисленных и этнически однородных селений мари на Среднем Урале сохранилась на протяжении трех-четырех столетий. Однако само по себе появление мари на Урале было итогом этнической катастрофы – черемисского раскола, когда «горная черемиса» приняла сторону Москвы, а луговая самоотверженно сражалась с ней, ища поддержки у всех соседних ханств и орд. В начале 1550-х гг. луговые мари бились с московскими ратями на стороне Казанского ханства; после его падения начали 1-ю черемисскую войну (1552–1557) в союзе с Ногайской ордой, затем 2-ю (1571–1574) – при поддержке Крымского ханства, наконец, 3-ю (1581–1585) – совместно с Сибирским ханством и пелымскими вогулами. На Урале, куда бежала от Москвы почти треть черемисов, непокорные бунтари нашли убежище и мир (за исключением первых стычек с войсками Строгановых). Впоследствии, уже в московском подданстве, им удалось сохранить исконное язычество, правда, не всем. Часть мари отдалась под покровительство кочевых башкир, поселившись в их вотчинах на правах «припущенников» и со временем заимствовав их язык и религию. Вместе с другими мигрантами с Волги «черемисы по припуску» стали именоваться тептярями. Подобные этнические новообразования (мишари, нагайбаки, кряшены, бесермяне) складывались в XVII–XIX вв. на Урале в ходе конфессиональных и административных преобразований.

Крупнейший тюркоязычный народ Урала – башкиры – сложился на перекрестке евразийского движения древних алтайцев, уральцев и индоевропейцев, оказавшись причастным судьбам средневековых мадьяр, огузов, кыпчаков, булгар, монголов, татар. В российскую эпоху обстоятельствами устойчивости сообщества башкир стали два разновременных, но содержательно сходных союза с Москвой. Первый московско-башкирский союз сложился в войне с Казанским ханством в 1552 г., второй – в ходе борьбы большевистской Москвы за имперское пространство в 1918–1919 гг. Оба имели условием и следствием признание за башкирами территориальной автономии: в первом случае – как вотчинного права на территорию кочевий, во втором – как административной автономии Башкирии. Привилегированный статус башкир был и остается ключевым фактором их этносоциальной сплоченности, а также пополнения общности за счет иноэтничных групп, например, подконтрольных кочевникам по условиям «припуска» тептярей.

Однако административные привилегии по-своему изменчивы, причем не всегда по согласованию сторон. Неоднократными восстаниями в XVII–XVIII вв. башкиры отстояли свое вотчинное право и приобрели статус военно-служилого сословия наподобие казачества. Башкирские конные полки сражались под знаменами империи в составе регулярных войск (например, в войне с Наполеоном), а в уральских степях их кочевая власть шла на убыль. Постепенное оседание башкир привело к утрате ими реального контроля над вотчинным пространством (оседлые селяне не обладают свойственной кочевникам властью над территорией). Кантонная система управления, введенная в Башкирии и Пермском крае с 1798 г. и предусматривавшая несение башкирами линейной пограничной военной службы, была упразднена в 1863 г. Бывшие вотчинники-кочевники неожиданно оказались на положении рядовых сельских жителей.

Лишенное привилегий башкирское сообщество пережило болезненный кризис идентичности, особенно на фоне преуспевших в мусульманской духовности и учености соседей-татар. В ряде мест возникли сообщества, которые предпочли выбор не одной, а сдвоенной идентичности – например, жители Тулвинского поречья, называющие себя башкирскими татарами или татарскими башкирами. Как полагает А. В. Черных, «этническое самосознание тулвинских татар и башкир является двойственным и многоуровневым по своей структуре. Причинами, повлиявшими на становление сложной структуры этнического самосознания, следует считать многокомпонентный характер формирования группы и сложную социальную структуру ее населения (вотчинники и припущенники)» (Тулвинские татары и башкиры, 2004. С. 42). По переписи 2002 г., в нескольких уральских селениях (например, Уфа-Шигири) на месте татар вновь стали появляться башкиры, и связано это с этнической переориентацией отдельных представителей сельской интеллигенции. Соседям невдомек, что происходит с идентичностью башкир и татар. По словам русской жительницы Красноуфимского района, нынче у них «все перемешалось... Они могут звться башкирами и быть татарами, или зваться татарами и быть башкирами»[4].

Самая крупная этническая общность Урала – русские – по демографическим параметрам представляется многочисленной и устойчивой. Однако далека от устойчивости сама русскость – по условным подсчетам, за истекшее тысячелетие она

претерпела существенные сдвиги около двадцати раз, включая христианизацию, ордынскую татаризацию, петровскую европеизацию, державную национализацию, советизацию и десоветизацию (Головнев, 2009 а). В уральском измерении заметное изменение русской идентичности произошло на рубеже XVII–XVIII вв., когда преобладавший прежде северный «строгановский» поток колонизации сменился центральным «демидовским». Не знавшие крепостного права поморы существенно расходились в ценностях и мотивациях с пригнанными на Урал целыми деревнями крепостными из центральной России, для самосознания которых до сих пор значима, например, история о том, как один помещик проиграл их в карты другому. Города-заводы существенно обновили мультикультурную среду Урала и создали новую магистральную культуру, соединившую рудники, домны, капиталы, рынки, сухопутные тракты и речные сплавы. Урал не стал тихой заводью русскости. Более того, именно здесь была заметна мозаичность русской культуры. По-разному строили дома, говорили, одевались и молились потомки поморов и казаков, никониане и старообрядцы, обрусевшие немцы и коми-пермяки. Иногда русские общины разделялись культурными барьерами, вплоть до неприятия смешанных браков. Еще недавно «часовенные» чурались «церковных», «зав*о*дские» – «крестянь*я*», «гама*ю*ны» – «пик*а*нников». Для одних российский царь был стержнем идентичности, для других (особенно Петр I) – антихристом. Для Урала особенно чувствителен раскол русской идентичности по конфессиональной грани между «церковными» и старообрядцами разных согласий. Один мой знакомый старовер самоопределился кратко: «Я-то кержак, а жена у меня русская». Другой высказался пространнее: «Господу все языцы угодны, и разницы нет, черный ты или белый, немец, еврей или русский. Лозунги о русском народе – ничто для христианина. Это телесно. Все христиане – одно тело, от одного духа. Нация – ничто, телесность. Духовно мы все – создания Божьи».

Как показали исследования Этноэкспедиции 2009–2011 гг., в динамичной мультикультурной уральской среде распространена этика «сдержанного диалога» как базовая схема этнодипломатии. Эта этика обеспечивает одновременно сохранение самобытности ряда сообществ (особенно марийцев, манси, ненцев, башкир, нагайбаков, татар) и развитие связей между ними. Сегодня на основе этого диалога сложился отмечаемый многими местными жителями и внешними наблюдателями тон взаимной деликатности различных по происхождению, религии и языку сообществ – своеобразная «уральская толерантность».

Список литературы

Арутюнов С. А. Народы и культуры: развитие и взаимодействие. М.: Наука, 1989.

Болье Л. Колонизация у новейших народов. СПб., 1877.

Боталов С. Г. Гунны и тюрки (историко-археологическая реконструкция). Челябинск: ЦИКР «Рифей», 2008.

Головнев А. В. Антропология движения (древности Северной Евразии). Екатеринбург: УрО РАН: Волот, 2009.

Головнев А. В. Дрейф этничности // Уральский исторический вестник. 2009 а. № 4 (25). С. 46–55.

Зыков А. П. Находки европейских средневековых мечей восточнее Уральских гор // Уральский исторический вестник. 2011. № 1 (30). С. 131–140.

Кокшаров С. Ф. Металлообрабатывающий комплекс досейминского времени со Средней Конды // Уральский исторический вестник. 2011. № 1 (30). С. 122–130.

Маргелис Л. Роль симбиоза в эволюции клетки. М.: Мир, 1983.

Овчинникова Б. Б., Дьени Г. Протовенгры на Урале в трудах российских и венгерских исследователей. Екатеринбург: Банк культурной информации, 2008.

Перевалова Е. В. «Красная» колонизация Обского Севера: революционные преобразования и этничность (1917–1930-е гг.) // Уральский исторический вестник. 2009. № 2 (23). С. 125–133.

Перевалова Е. В. Родовые «канцелярии» самоедских старшин (из практики управления туземным населением Северо-Западной Сибири в XIX в.) // Уральский исторический вестник. 2011. № 3 (32). С. 84–88.

Старр Ч. Экономические и социальные условия в греческом мире // Кембриджская история древнего мира. Т. III. Ч. 3. Расширение греческого мира VIII–VI в. до н. э. М.: Ладомир, 2007. С. 507–537.

Тулвинские татары и башкиры. Этнографические очерки и тексты / отв. ред. А. В. Черных. Пермь: Пермское кн. изд-во, 2004.

Clements F. E. E. Plant Succession and Indicators. N. Y.: Hafner Press, 1928.

Colonization of Unfamiliar Landscapes: The Archaeology of Adaptation. L.: Routledge, 2003.

Castri F., di. On invading species and invaded ecosystems: The interplay of historical chance and biological necessity // Biological Invasions in Europe and the Mediterranean Basin. Dordrecht: Kluwer Academic Publisher, 1990. P. 3–16.

Desborough V. R. d' A. The Greek Dark Ages. L.: Benn. 1972.

Dietler M. Archaeologies of Colonialism: Consumption, Entanglement, and Violence in Ancient Mediterranean France. University of California Press, 2010.

Dixon E. J. Bones, Boats, and Bison: Archeology and the First Colonization of Western North America. University of New Mexico Press, 1999.

Egler F. E. Vegetation science concepts. I. Initial floristic composition-a factor in old-field vegetation development // Vegetatio. 1954. No 4. P. 412–417.

Ferro M. Colonization: A Global History. L.: Routledge, 1997.

Koryakova L., Epimakhov A. The Urals and Western Siberia in the Bronze and Iron Ages. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2007.

Mayr E. Systematics and the Origin of Species, from the Viewpoint of a Zoologist. Cambridge: Harvard University Press, 1999.

Myres J. Herodotus, Father of History. Oxford, 1953.

Osterhammel J. Colonialism: A Theoretical Overview. Princeton: Markus Weiner Publishers, 2005.

Slimak L., Svendsen J. I., Mangerud J., Plisson H., Heggen H. P., Brugere A., Pavlov P. Late Mousterian Persistence near the Arctic Circle // Science. 2011. 332. P. 841–845.

Wilson J. B., Gitay H., Roxburgh S. H., King W. M., Tangney R. S. Egler's concept of 'Initial Floristic Composition' in succession – ecologists citing it don't agree what it means // Oikos. 1992. 64. P. 591–593.

Winter F. E. Greek Fortifications. L.: Routledge, 1971.

Примечания

1 Пример вдохновенной европейской риторики: «Колонизация — это экстенсивная сила народа, его способность воспроизводиться, шириться и расходиться по земле, это подчинение мира или его обширной части своему языку, своим нравам, своим идеалам и своим законам» (Больe, 1877. С. 517).

2 Понятие этничности лучше не смешивать с какими-либо конкретными и тем более туманными формами «этноса». Иначе «этнос» превращается в метафору, как это звучит, например, в заключение: «Основные греческие общины перешли от рыхлой структуры этноса к гораздо более интегрированной системе полиса до 700 г. до н. э.» (Старр, 2007. С. 522).

3 Археологические подтверждения прямых связей Афин и Милета в XI в. до н. э. см.: Desborough, 1972. P. 178–180.

4 Материалы Этноэкспедиции 2009 г. под руководством А. В. Головнева по гранту РГНФ-Урал. № 08-01-83113а/У «Идентичность современного русского и татарского населения Урала: этнография и визуальная антропология».

Е. Н. Романова

«БИОГРАФИКА» НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ: ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ НАРОДА САХА В ЗЕРКАЛЕ ИСТОРИЧЕСКОГО МЕТАНАРРАТИВА КОНЦА XX – НАЧАЛА XXI в.

Историк не наблюдает события, а получает их пересказы в виде нарративных источников.
Ю. М. Лотман

Проект «Духовная культура народа саха: традиции, современное состояние и перспективы развития», безусловно, является итоговым исследованием традиционной якутской культуры на постсоветском пространстве. Отсутствие современной научной историографии по данной проблематике в отечественной этнологии вызвало определенные трудности при «самоописании» разнообразных текстов национальной культуры. По мере реализации проекта возникла необходимость в расширении методологических границ исследования, связанного с современным историческим *метанарративом* и *метаконцепциями* (модернизация, историческая и культурная память, этничность как символ). Анализ и осмысление современных духовных процессов, происходящих в республике Саха (Якутия) в контексте дискурсивной природы самого понятия *этничности*, является ключевой темой настоящей работы. Впервые этнонациональная культура народа саха рассматривается как процесс индивидуальной жизнедеятельности (по Э. Маркаряну «личность как креативный потенциал культуры») и как семиотическая система (культура как текст).

Современное изучение этнокультурного контекста повседневной жизни якутского общества обнаруживает, что пространство якутской культуры представляет сложный многоуровневый символический текст, где каждый знак выполняет свою определенную функцию и, выстраиваясь в логическую цепь, создает неповторимый стиль культуры.

В настоящее время Якутия охвачена активным фольклорным движением: проведение фестивалей

фольклорных исполнителей и фольклорных коллективов, организация этнографических выставок, разработка концепции театра «*Олонхо»,* строительство домов «*Олонхо»* и *«Арчы»,* проведение массовых народных обрядовых действий. Все это подводит к мысли о функционировании двух культур в обществе: современной народной культуры и этнографической как выражение культурной памяти народа. При этом осознание своего этнокультурного наследия в рамках новых культурных парадигм, несомненно, является главной задачей описываемой трансформации.

Согласно Леви-Стросу, коллективные представления в меняющейся исторической действительности, как правило, закрепляются в символических формах традиций: язык, ритуалы, праздники. Конструирование современного языка этнических символов в якутском обществе в первую очередь принадлежит творческой и научной интеллигенции. Символическое прочтение новых инновационных текстов культуры: театр *олонхо*, *ЫІсыах Олонхо*, культурные бренды республики и национальная геральдика локальных ландшафтов (административных делений) дают основание говорить о репродуктивности этнонациональной культуры в контексте авторского «*текстопорождения*».

Примечательно, что церемония проведения праздника «*ЫІсыах Туймаады*», состоявшегося в 2009 и 2010 гг. в Якутске, была удостоена Всероссийской национальной премии «Грани Театра масс», победив в номинации «Лучший национальный праздник». В этой связи возникает вопрос: сохраняет ли сегодня национальный праздник *ЫІсыах* свои традиционные этнические элементы или, адаптируясь к новым условиям, он подвергся значительной модификации?

В этом свете особого внимания заслуживает деятельностная концепция культуры, которая позволяет определить «этнические культуры как исторически выработанные способы деятельности, благодаря которым обеспечивалась и обеспечивается адаптация различных народов к условиям окружающей их природной и социальной среды» (Маркарян, 1978. С. 8–9).

Биографическая модель этнической культуры. Устная история, несомненно, представляет собой важный элемент культуры. Якутский эпос является центральным текстом исторической памяти народа саха. Именно в образцах эпического наследия вновь и вновь переживается легендарная история народа, актуализируются механизмы «помнящей культуры» – культуры воспоминания о своем героическом прошлом и сакральной биографии. Эпос народа саха как форма культурной памяти транслирует широкое информационное этническое пространство. Историческая гипотеза о южном происхождении саха и движении протоякутских племен на север манифестируется в поэтическом языке олонхо, свидетельствуя о его связях с южной культурой, с эпосом тюрко-монгольских народов. «Степной эпос» (по Г. В. Ксенофонтову) якутов стал основным источником по изучению его этногенеза. В 1937 г. вышла книга выдающегося исследователя-сибиреведа, основателя якутской академической этнографической школы Г. В. Ксенофонтова «Урангхай сахалар», посвященная древней истории якутов. Культурная память о героях, богатырях – родоначальниках выступала своего рода символом этнической идентичности. Эпос как механизм поддержания коллективной памяти, сохраняющего свою идентичность и передающего ее через поколения, со временем находит свое воплощение в письменной культуре. Феномен письменной эпической традиции саха стал одним из способов поддержания этнической традиции. Память о прошлом, память о легендарной истории – есть знание сакральное. Исполнение *олонхо* считалось священной акцией. Мифологический континуум *олонхо,* его символический язык структурируют хронотоп Времени (исторического, эпического, сакрального). Наряду с эпическим наследием в устной традиции существовали развернутые циклы преданий, содержащих биографию известного героя в историческом контексте. Автобиографические рассказы и повествования о событиях в жизни человека позднее оформились в особый жанр исторических преданий и легенд. Цикл генеалогических преданий о происхождении якутов и освоении ими северного края, этнолокальные варианты якутских родословий выступали важным элементом традиционного *тезауруса.* На эту структурирующую модель якутской традиционной культуры обратил в свое время внимание В. Иохельсон, посвятивший отдельное исследование этнокультурному наследию народа саха. Так, в работе «Якуты» им были выделены специальные разделы, включающие следующие сюжеты: «Переселения и история»; «Происхождение традиций, первоначальные предания»; «Историческое значение якутских преданий»; «Кумысный праздник якутов и орнаментация кумысных сосудов» (Иохельсон, 1933. С. 37–225). Большой интерес представляют исторические предания и мифы о первопредках якутов *Омогое* и *Эллэе*, с которых и начинается «биография» этнической культуры народа саха. Скитание *Омогоя* в поисках лучшей земли (переселение с юга на север), а потом и беглеца *Эллэя* – своего рода метафора пути. С памятью о «первоначальных временах», о времени творения и легендарном демиурге якутской культуры *Эллэе* соотносится миф о ритуале *ЫІсыах* (обряд кропления кумысом небесным божествам *айыы*). Этот цикл преданий и мифов об *Омогое* и

Эллэе стал своего рода скрепляющим «местом памяти» (по Пьеру Нору) народа, вследствие чего со временем он был оформлен в национальный миф.

Откликаясь на события древней истории, предания и легенды включали сюжеты о реальных временах войн и битв как порубежной ситуации космического Хаоса. Важно подчеркнуть, что эти предания и мифы проигрываются в двух измерениях: историческом и сакральном. Такая двуплановость, где реалии и символический образ были совмещены, была характерна и для старинных «биографических» рассказов. Мифы о происхождении народа саха, как часть сакральной памяти, оформлялись в ритуал, в ходе которого участники проигрывали ключевые события мифа (миф о происхождении первого праздника). С определенной точки зрения, такое двуединство традиционной культуры было продиктовано устной традицией, ориентированной на знаковые тексты. В этом плане биографическая модель этнической культуры кодирует и системное пространство национальной культуры как особый способ коммуникации. Речь идет о *гуманитарной биографике* (по Я. Ясперсу, «направления духовной жизни»), где национальная культура выступает как живой организм и как знаковая система, взятая в совокупности временных связей. «Биографика» этнонациональной культуры – это осмысление жизнедеятельности традиционной культуры в исторической перспективе, ее развитие, эволюция, трансформация и становление ее в рамках данной традиции как культуры *креативного* типа. Как известно, этнонациональная культура закрепляется в национальных праздниках, музейных собраниях, архивах, исторических представлениях, «культе» национальных героев, ландшафтах и разнообразных символах (Рыжакова, 2010. С. 11).

Имя в традиционной культуре. Превращение события в текст культуры по биографической модели ориентировало культуру на сохранение исторического имени как знака. Одним из основных механизмов сохранения известных имен в культурной памяти является информационный резерв устного повествования. В ткань фольклорных произведений включались имена прославленных сказителей, великих шаманов, искусных кузнецов, знаменитых косарей и т. д. как «со-творцов» якутской культуры (Эргис, 1974. С. 336). *Имя* в якутской традиции – это коммуникация человека с культурой, канал связи между прошлым, настоящим и будущим. В якутской языковой картине мира саха «имя» и «слава» тождественны; более того, парные словосочетания *мин ааппар-солобор; мин ааты̆м-суолум* «на мое имя-славу; мое имя-поведение» отражают в имени деятельность самого человека и несут этическую смысловую нагрузку (Словарь, 2008. Стлб. 183). У якутов существовал определенный кодекс чести, связанный с именем. Так, с именем были сопряжены такие нравственные ценности, как честь, достоинство, уважение, правильный образ жизни (Толковый словарь, 2004. С. 194–198).

Учитывая, что личное имя в якутской традиции имело особое значение и выступало структурообразующим принципом биографии, то в этом случае принцип «индивидуальности» творчества формировал определенный индивидуальный тип традиционной культуры якутов. Ю. М. Лотман, анализируя структуру «Я» как один из показателей культуры, писал: «Если понимать под индивидуальным способность увеличивать число различий, находить в одном и том же разное, то это, конечно, одно из основных завоеваний культурного прогресса» (Лотман, 2000. С. 127).

Традиция «индивидуального» в якутской культуре в начале XX в. выразилась в форме авторских писем-размышлений, писем-исповедей, писем-пророчеств о будущей судьбе якутского народа. С каждым таким текстом было связано имя, ставшее символом в национальной истории народа саха. В этих посланиях нашли отражение основные внутренние параметры мировосприятия и авторефлексии якутской интеллигенции. С момента своего зарождения якутская интеллигенция выступала главной «культуротворческой» силой общества, выполняя функцию аккумулятора национальных культурных ценностей (Дьяконова, 2002. С. 76).

XX век, конструирующий картину мира «советского человека», где шло массовое вытеснение традиционных элементов этнической культуры новыми «коммунистическими» символами, коллективными лозунгами: «интернационализация образа жизни», «формирование социалистической обрядности», «формирование новой общности – единый советский народ», безусловно, нивелировали «индивидуальный» стиль якутской культуры. В то же время следует отметить, что культурная традиция никогда «не обрывалась»; духовная нить, связующая культуру прошлого, настоящего и будущего, присутствовала всегда, только «озвучание» этой традиции передавалось путем «символических» текстов – «фигур воспоминаний» (места проведения праздников *Ы̆сыах* – сакральные ландшафты, ритуальная архитектура, кумысная утварь, фольклорная культура, круговой танец-осуохай и т. д.). Праздничные символы выполняли роль «внутренних» текстов для каждого, кто приходил на *Ы̆сыах:* они несли информацию предков и, таким образом, выступали каналом связи между поколениями (Романова, 2011. С. 34). Особую ценность в этот период приобретают письменные образцы фольклора, национальная литература.

Обращение к зафиксированным первотекстам культуры становится одним из обязательных стра-

тегий при реконструкции традиционного духовного универсуума народа саха. В этом отношении реактивации, возвращении «тезауруса» традиционной культуры как информационного текста в общество способствует архивное наследие как памятник ценных фольклорных и этнографических текстов, богатых духовных традиций народа саха, где все подчинено одной цели: защите и сохранению культурного наследия.

Рукописное фольклорно-этнографическое наследие народа саха. Якутская гуманитарная традиция в лице первых ученых фольклористов и этнографов Института языка и культуры еще в 30–40-е гг. заложила основы для целенаправленного изучения народов Якутии. С 1935 г. Институт языка и культуры при СНК ЯАССР проводил планомерную работу по сбору фольклорно-этнографических материалов, организуя научные экспедиции в разные районы республики. В итоге объем накопленных ценных рукописных памятников позволил выделить в 1944 г. отдельную структурную единицу Института – отдел Рукописного фонда. В комплектацию фонда неоценимый вклад внесли ученые С. И. Боло, А. А. Саввин, Г. У. Эргис, И. И. Пухов, Н. В. Емельянов, И. С. Гурвич, М. Н. Носов, М. Я. Жорницкая, большой отряд корреспондентов, среди которых следует отметить В. В. Порядина, Х. И. Константинова, В. М. Дмитриева, П. Т. Степанова. С 1947 г. Рукописный фонд института вошел в структуру Якутского филиала АН СССР.

С этого времени Рукописный фонд стал центральным архивом якутского фольклора и этнографии. Здесь сосредоточены собранные за большой промежуток времени уникальные источники по духовной культуре якутского народа. Призыв к сохранению ценностей народной культуры был воспринят как дело огромной культурной важности. Фольклорно-диалектологические экспедиции по всей Якутии определили новые направления исследования, ориентированные на тесную связь и взаимозависимость языка и народного менталитета. Такой лингво- и этногеографический подход к проблемам традиционной культуры позволил выявить и описать самобытные ареальные зоны распространения фольклорных и этнографических явлений. Живая традиция повествования, работа с подлинными носителями и знатоками традиции стали стимулом для создания комплексных программ по собиранию «живой старины». Расцвет собирания якутского фольклора и этнографии связан с именами Г. В. Ксенофонтова, Г. У. Эргиса, А. А. Саввина, С. И. Боло, которые, соприкоснувшись с активной фольклорной средой, скрупулезно фиксировали с помощью карандаша и чернил все стороны жизни изучаемых ими народов. Наряду с этими исследователями большой вклад в собирание традиционных форм культуры внесли внештатные корреспонденты Института. В эти годы были записаны уникальные памятники словесной культуры, среди которых следует выделить более 160 эпических памятников. В Архиве хранятся записи выдающихся сказителей – якутских олонхосутов Н. А. Абрамова-Кынат, Д. М. Говорова, И. Г. Теплоухова-Тимофеева, Т. В. Захарова-Чябийя, И. И. Бурнашева-Тонг Суоруна и др. Первые записи олонхо (эпоса) относятся к 1905 г., так со слов олонхосута И. Г. Теплоухова-Тимофеева этнографом В. Н. Васильевым было записано известное сегодня всему миру *олонхо* «Строптивый Кулун Кулустуур». Им же были записаны в 1906 г. еще два *олонхо* у известных олонхосутов Т. В. Захарова-Чябийя и сказителя К. Е. Новикова. Эпическая память якутских сказителей до сих пор поражает воображение: многие сказители имели в своем репертуаре эпические тексты, превышающие более 25 тысяч строк. В Рукописном фонде сосредоточен весь богатый «жанровый» свод устной словесности: это и малые жанры фольклора (загадки, скороговорки, пословицы и поговорки), разного рода вариации песен о мироздании, временах года и явлениях природы, песни о птицах и животных, это и сказки, и исторические предания. Большой интерес вызывает ценный корпус мифов и легенд по космогонии и теогонии. К одному из уникальных источников по религиозному фольклору следует отнести собрание сакральных текстов шаманской традиции, своего рода якутских «обрядников». Их насчитывается в фонде около 500 образцов. В Архиве хранятся ценные материалы известных якутских шаманов П. А. Абрамова-Алаадьы, Н. П. Яковлева-Круппа, И. А. Суздалова-Сапалая, А. Аммосов-Куртая, С. В. Андреева-Хахха, А. И. Прокопьевой-Биирдээх Настааччыйа, С. А. Сивцева-Буолчуона, К. П. Чашкина и др. Из рассказов самих носителей шаманской традиции предстает цельная картина феномена якутского шаманства: рождение и посвящение, мифология, обрядовая деятельность и лечебная практика шамана. Здесь можно обнаружить уникальные записи шаманских камланий духам и божествам Земли, воды, огня, редкие описания окказиональных обрядов, обрядов «по случаю», а также обрядов лечебного характера, обрядов, направленных на гармоничное поддержание Природы и Человека. Исключительную важность для реконструкции традиционной картины мира якутов составляет описание народных верований, поверий и обычаев, также широко представленных в фондах Архива (фонды 4, 5).

Таким образом, богатейший и разнообразный свод уникальных сведений по фольклору, языку и традиционному мировоззрению, народной религии, собранный в Рукописном фонде ЯНЦ, пред-

ставляет собой культурное достояние и ценнейший материал для научного осмысления. Очевидно, что жизнь фольклорной традиции может быть продолжена в письменной фиксации этой традиции. Если говорить о научных текстах, то это успешно осуществленный опыт публикации якутскими учеными фольклорных архивных текстов: «Исторические предания», «Якутские сказки», «Народные песни», «Якутские загадки», сборник шаманских текстов «Ойуун» и якутские тома в серии «Памятники фольклора».

В этом плане научные тексты одновременно могут рассматриваться и в качестве самих текстов, «как попытка познания культуры, и как факт ее жизни, через который сказываются ее порождающие механизмы» (Лотман, 2000. С. 525).

Таким образом, значение рукописного фольклорно-этнографического наследия становится непреходящим. Приходится только сожалеть, что в век современных технологий Рукописный фонд института не вошел в современную информационную систему и не стал инновационным ресурсом традиционной культуры.

Музейное наследие и живые традиции. Одним из инновационных проектов по сохранению и презентации этнокультурного фонда могут стать этнографические выставки. Автор настоящей статьи выступил в роли координатора концепции трех этнографических выставок, посвященных якутской теме в г. Санкт-Петербурге; все эти выставки были приурочены к юбилейным датам вхождения Якутии (1632) в состав Российского государства. В 2002 г. в Российском этнографическом музее была открыта выставка «Мир якутского праздника: календарь, традиции, искусство», получившая большой отклик как в прессе, так и среди самих посетителей выставки. Параллельно в это же время в Музее антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) был организован другой культурно-просветительский проект-выставка «Якутия на невских берегах», где главным организующим началом всей экспозиции стал главный ритуал якутской традиции – праздник *Ысыах*.

В 2007 г., в декабре, в РЭМе была организована этнографическая выставка «Мир земли *олонхо*: лики культур». Показательно, что концепция этой выставки главным символом, объединяющим все народы Якутии, обозначила обрядовый круг (якутский круговой танец-*осуохай*) Праздника. Все эти выставки были представлены не только уникальными артефактами из музейных собраний, но и презентацией живой этнической культуры. Трансляция этнической традиции народа саха на выставках этнографического характера посредством культурных кодов начиналась с «озвучания» этнического голоса саха: якутские *благопожелания-алгысы*, пение *сказителя-олонхо*сута, звуки *хомуса* и оригинальной этнической музыки, музейные коллекции и обрядовые действия самих участников торжества создавали неповторимый якутский стиль культуры. Презентация этнокультурного наследия саха через выставочную деятельность, где культурные символы кодируют внешнее пространство, выступая инструментом коммуникации, является одним из механизмов поддержания и развития живой этнической традиции. Создание музейных этнографических проектов с использованием современных мультимедийных программ и информационных технологий конструирует «включенность» посетителя в традиционное пространство культуры. Анализируя культурные процессы, происходящие в современном обществе, необходимо подчеркнуть, что основным механизмом *«текстопорождения»* культуры является сополагаемость традиции и инновации в их диалектической связи.

Современные проекты в области этнокультурного наследия. «Являясь важным механизмом памяти культуры, – писал Ю. М. Лотман, – символы переносят тексты, сюжетные схемы и другие семиотические образования из одного пласта культуры в другой. Пронизывающие диахронию культуры константные наборы символов в значительной мере берут на себя функцию механизмов единства: осуществляя память культуры о себе, они не дают ей распасться на изолированные хронологические пласты. Единство основного набора доминирующих символов и длительность их культурной жизни в значительной мере определяют национальные и ареальные границы» (Лотман, 1992. С. 241). Взгляд на культуру через этнические символы, безусловно, помогает выделить смыслообразующие механизмы поддержания и развития культурной традиции. Проецируя эту мысль на символический контекст образа национальных республик, можно прийти к заключению об особом принципе их самопрезентации.

Якутия – Земля олонхо. Демонстрация образа Республики с сакрализацией ее национального духовного наследия начинается с культурных процессов по возрождению этнических традиций коренных народов Якутии, которые приходятся на 1990-е гг. Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) в те годы инициирует национальный проект по возрождению традиционной культуры, где ключевыми этносимволами становятся: *Хомус* (музыка) – *Ысыах* (ритуал) – *Олонхо* (эпос) – *Традиционные верования*. Впечатляет, что все эти этнические маркеры не были связаны с культурой Севера, а напротив, уводили в бескрайние просторы Великой степи, транслируя широкую тюрко-монгольскую перспективу. Якуты как периферийный этнос тюркского мира, оказавшись в условиях Севера, смогли создать уникальную мо-

дель пограничной культуры открытого типа. Как известно, в устной традиции саха репрезентируется архаичный духовный универсум, относящийся к «фигурам воспоминания», связанный с представлениями о южной прародине как о воображаемом пространственном образе. Речь здесь идет, прежде всего, о Прибайкалье, как о главном «месте памяти». Сакрализация и мифологизация Прибайкалья как историко-культурного ландшафта, по всей вероятности, была связана с метафорой юга. Анализируя этнографические источники по якутам, нельзя не выделить их основную сюжетную линию «Мы якуты, – с юга. Юг – сердцевина народов» (по В. Л. Серошевскому). Таким образом, координаты *юг–центр – север – периферия* характеризуются как важные компоненты при формировании пространственного континуума. Движение на север моделировало новое географическое пространство с его природным рельефом, животным и растительным миром, этнокультурными и социальными связями.

В этом плане совершенно очевидна реплика министра культуры А. С. Борисова о том, что якуты не идентифицируют себя с Севером «...мы только на пути осмысления северной компоненты, доминирующей над степными истоками в нашем генезисе». (Романова, 2010. С. 643).

Процесс духовного единения якутов с тюркомонгольским миром театральный режиссер начал со съемок в сакральном центре Прибайкалья, на горе *Ерд* (место проведения ритуальных молений бурят), в центре пересечения разных культурных потоков, принявших активное участие и в этногенезе народа саха. В одном семантическом ряду с поисками своей идентичности организация Якутией в 2005 г. Первого кочевого международного театрального фестиваля на Байкале «Лики Чингисхана», призванного будировать культурную память всего евразийского пространства, и, наконец, фильм «Тайна Чингисхана», – «попытка возвращения в прошлое, экспедиция с целью установления своих корней» (Амаголонова, 2005. С. 88).

Проектирование творческой элитой Якутии во главе с министром культуры Андреем Борисовым нового национального проекта, охватывающего практически все сибирские народы в рамках культурного «performance», трактовалось как некая историческая миссия якутского режиссера. «Изобретение архаики» в кинофильме Андрея Борисова, где авторская интерпретация истории Великой монгольской империи и его главного лидера *Чингисхана* тесно сопряжена с древней культурой предков саха через код олонхо. «...Олонхо – это якутский эпос... Мать Чингисхана была из племени Олонхосутов» (Романова, 2010. С. 644). Генетическое родство по материнской линии Чингисхана с якутами, по мнению режиссера, должно было стать ключевым фактором в *пере-сотворении* этнической идентичности саха. Тем не менее фильм в республике вызвал неоднозначную реакцию, большинство оппонентов фильма задавали один вопрос его создателю: «Неужели у якутов нет своей собственной истории?»

Так, «изобретенная традиция» в историко-культурном дискурсе о прошлом народа саха не вписалась в концепт памяти; *олонхо,* по замыслу режиссера, призванное в фильме стать генетическим кодом, объединившим монголов и якутов, напротив, выступило символом – границей, разделившей якутскую аудиторию на «своих» и «чужих» (там же).

Ревитализация эпической традиции, современное прочтение символов и кодов этнической культуры требует в первую очередь бережного отношения к своему наследию, ответственности со стороны как научного сообщества, так и творческой интеллигенции.

Сегодня современные тенденции сохранения и развития этнокультурного наследия как живой традиции формируют новую модель культурного ресурса. Оценивая происходящие в республике культурные процессы, можно с уверенностью сказать, что в настоящее время развивается креативный тип современной национальной культуры.

Сакральная архитектура и ландшафт. В конце XX в. пробудившийся интерес к ритуальной архитектуре нашел свое выражение в строительстве музеев, мемориальных комплексов, организации выставок народного творчества, посвященных возрождающемуся мастерству народных мастеров-зодчих. В результате заметно оживилось общественное движение по реконструкции традиционной строительной культуры. В Усть-Алданском и Таттинском улусах народным писателем Д. К. Сивцевым-Суорун Омоллоном были открыты мемориальные комплексы, где были собраны и восстановлены типичные жилища якутского народа: многоугольные амбары, берестяное сооружение – Могол ураса, восьмиугольные деревянные жилища-балаганы и т. д. В Мегино-Кангаласском улусе был реконструирован комплекс якутских традиционных жилищ. По всей республике стали возводиться сакральные центры – *Арчы дьиэтэ* (дом ритуального очищения), *Айыы дьиэтэ* (дом небесных божеств), *Олонхо дьиэтэ* (дом *Олонхо*) и т. д.

«Традиция «индивидуального» в строительной культуре выражена более рельефно. Полевые исследования показали, что каждый мастер-зодчий по-своему интерпретирует каноны ритуальной архитектуры. Так, в Верхневилюйском улусе народный певец, мастер *уус,* Кирилл Никонович Никифоров (сын известного якутского шамана *Ньыыкан ойуун*) по «велению предков» начал строительство ритуального объекта по якутским канонам. Строитель-

ство традиционного восьмиугольного жилища – Центра духовного очищения *Арчы дьиэтэ* заняло три года. По традиционным представлениям саха символика **числа 3** была связана с тремя мифологическими Мирами (*верхний, средний, нижний*), с тремя элементами души, (*земля-душа, мать-душа, воздух-душа*). Заметим, что эти новые для народа саха ритуальные объекты в настоящее время выполняют роль своеобразных храмовых сооружений: *Дома Арчы* как сакральные центры якутской культуры аккумулируют традиционные духовные ценности и обрядовый практикум народа. Большое значение играет и само расположение таких объектов – как правило, они находятся в границах традиционных культурных ландшафтов. Так, *Дом Арчы*, построенный мастером Никифоровым, находится в одной из групп Вилюйских улусов, считающихся местом рождения великих якутских шаманов.

Согласно якутской традиции строительства священных объектов, мастера по дереву не используют современные строительные инструменты, в качестве строительных инструментов используются топор, пила, рубанок и самодельные деревянные гвозди.

В настоящее время в республике развернулось активное строительство ритуальных объектов в «якутском стиле». При этом каждый мастер учитывает этнолокальные традиции своей местности. В народе широко известны имена Б. Н. Неустроева-Мандар Уус, В. Ф. Яковлева, В. Н. Атласова, как искусных мастеров, овладевших секретами традиционной строительной техники. Интервью с носителями традиции показывают, что мастера по ремеслу рассматривают свою деятельность как одну из форм обрядовой практики, и, таким образом, относят себя к категории сакральных специалистов. У многих из них уже есть свои последователи. Подчеркнем, что природно-культурные ландшафты с объектами ритуальных построек как *элемент материального и духовного наследия* выделены в качестве отдельных архитектурно-этнографических комплексов, сохраняющих и развивающих национальные традиции. Сегодня праздничный ландшафт *Юс хатын* (Три березы), где проходит ежегодно городской праздник *ЫСыах*, входит в систему особо охраняемых территорий *ЫТык сирдэр* (Священные места).

Современный праздничный нарратив: ЫСыах и Олонхо. В 2005 г. якутский героический эпос *Олонхо* был включен ЮНЕСКО во Всемирный список шедевров устного и нематериального наследия человечества. Указом президента Республики Саха 2006–2015 гг. были объявлены Десятилетием *Олонхо*. В рамках практической реализации данного указа в республике ежегодно стали проводиться *ЫСыахи*, посвященные героическому эпосу *Олонхо*, в частности, в Сунтарском, Таттинском, Усть-Алданском и Горном улусах.

«Изобретение традиции» *ЫСыахов Олонхо* республиканской элитой представляет новый формат современного праздничного нарратива. Фольклорная модификация праздничной традиции, где культура *Олонхо* институционализируется как основополагающая этноидеология *ЫСыаха*, обозначила проблемы, связанные не только с судьбой самого праздника, но и с будущим традиционной культуры в целом.

Механизм передачи устной традиции (эпоса) в якутской культуре, его трансформация при переходе к письменной культуре, развитие эпического искусства в рамках новых культурных парадигм – тема для отдельного исследования. Мы остановимся здесь на проблеме отношения к эпическому тексту как памятнику культуры в условиях сегодняшних реалий. Фольклор как символическая система отражает картину мира, при этом усвоение, осмысление и трансляция культурных кодов происходит посредством языковой коммуникации. Эпос, впитавший пласты языка, относящиеся к разным историческим эпохам, фиксирует сразу несколько слоев культуры и поэтому вызывает трудности восприятия у современного слушателя/читателя. Хотя почти $^{2}/_{3}$ наших респондентов охарактеризовали свое владение якутским языком как совершенное, язык *олонхо* остается непонятным для половины из них. Многие из опрошенных сообщили, что в тексте *олонхо* есть много старинных слов, смысл которых они не понимают. Вот почему прослушивание *олонхо* у людей никак не связывается с отдыхом. Большинство опрошенных считает, что понимание смысла слов, произносимых автором-импровизатором *олонхо,* требует приложения существенных усилий. Более того, для людей, которые не владеют или владеют слабо родным языком, о*лонхо* становится символом внутриэтнических различий (Романова, 2011. С. 38).

Показательно и то, что проведенные исследования обнаружили отсутствие *олонхо* в ряду доминирующих маркеров позитивной идентичности респондентов. В соответствии с полученными рангами в качестве основ этнического самоопределения у большинства опрошенных выступают родной язык (55,6 %) и народные традиции (38,4 %), куда входит обрядовая культура и календарный праздник *ЫСыах*. При этом эпическое наследие народа саха (4 %) занимает последнюю позицию (там же).

Важно подчеркнуть, что *ЫСыах* складывался на основе длительного синтеза материальных и духовных форм творчества, исполнение *Олонхо* было одним из структурных компонентов праздника, «обостряя сознание истории», но не являлось смысловым центром национального праздника.

Как известно, сакральное пространство *олонхо* традиционно было связано с *зимним календарем*, сюжеты героических сказаний о победе богатыря из солнечной страны (символ лета) над силами хаоса и темноты (символ зимы) были соотнесены с ритуалом укрощения природных стихий и рождением благоприятного, светлого времени.

Идея родной священной земли, спасение человеческого рода от гибели, чувство общности, гармония Природы и Человека, все это – духовные ценности культуры народа саха, объединяющие мир праздника и мир *олонхо*.

Стихия праздника и эпического пространства, выступая хранителем культурной и исторической памяти, возвращает якутский этнос к своим национальным истокам. Усвоение духовных достижений человечества на примере национального праздника *Ысыах* и архаичной народной эпики демонстрирует их масштабность и актуализирует данный феномен культуры как гуманистический образец этнического бытия. В то же время именно *ысыах* и *олонхо* как раз и создают якутский стиль и «заряжают» своей глубинной энергетикой современную культурную традицию. В результате эти многомерные символы, выступающие как важный элемент этнической идентичности народа саха, берут на себя стратегические функции национального бренда. Составляющие этнической культуры (*Ысыах, Олонхо*) имеют непосредственное отношение в имидж-конструировании республики. Национальная знаковая культура саха, связанная с *Ысыахом* и *Олонхо,* используется для создания товарных знаков, фирменного стиля, рекламных образов, брендов, и таким образом, становится инструментом коммуникации.

Манипулирование культурными символами подчас может привести к необратимым последствиям. Результаты исследований по праздничной культуре последних лет показали, что в праздничном пространстве наметилась тревожная тенденция доминирования неофольклорной театрализации, где эпическое повествование превращается в просмотр некого «слайд-шоу». Атрибуты *Олонхо*, включая само название эпоса, его персонажей и сюжеты, стали использоваться в коммерческих целях (торговый центр «*Олонхо»,* ресторан «*Олонхо*», водка *«Олонхо*», пиво *«Эллэй»* и т. д.). Особо отметим строительство широко разрекламированного «*Олонхоленда»* как центра индустрии развлечений. Все это разрушает ткань национального праздника, со временем превращает его в суррогатный продукт «клиповой» культуры.

Этнокультурное наследие и имидж-конструирование. Проблема «брендирования» национальных республик в последнее время приобретает особую актуальность в связи с развитием рынка, международных инвестиций, расширением коммуникационного пространства. В условиях модернизационных процессов и глобализации этническая специфика традиционной культуры, самобытность этноса становятся все более привлекательными для туристской индустрии. Презентация культурного наследия коренных народов Якутии в рамках формирования имиджа республики сегодня становится перспективным направлением в развитии туристической деятельности. Все это дает основание говорить об отдельном исследовательском поле современного этнографа – *«антропологии туризма»*.

Сегодня выбор бренда Якутии стал общенародной акцией; так, на сайте «Якутия» в 2010 г. можно было принять участие в конкурсе «Выбери девять лучших брендов Якутии»: 1) Якутия – страна танцующих стерхов; 2) Якутия – жемчужина Севера; 3) Якутия – край Полярной звезды; 4) Якутия – Сердце Севера; 5) Якутия – Земля мамонта; 6) Якутия – Земля северного сияния; 7) Якутия – Земля Саха; 8) Якутия – Алмаз России; 9) Якутия – древняя родина *олонхо* (ЯДРО).

Анализ современных национальных брендов показал, что они ориентированы на темы, широко используемые в настоящее время в презентационных и рекламных целях при знакомстве с республикой:

– *природа*: край Полярной звезды, земля Северного сияния;

– *животный мир*: стерхи (белые журавли), мамонты;

– *география*: сердце Севера, жемчужина Севера;

– *этническая составляющая*: земля Саха, древняя родина олонхо;

– *алмазная история*: Якутия – Алмаз России.

В то же время нельзя не заметить, что некоторые из представленных брендов (Север, алмаз) имеют уже свою историю «воспоминаний» в качестве символа Якутии. Символ как хранилище определенной информации несет в себе свернутые программы текстов и сюжетов. «Смыслы в памяти культуры не хранятся, а растут. Тексты, образующие “общую память” культурного коллектива, не только служат средством дешифровки текстов, циркулирующих в современно-синхронном срезе культуры, но и генерируют новые» (Лотман, 1992. С. 202). При выборе бренда необходим определенный набор признаков: мифологизация образа, культурные представления, история, развитие образа, креативность, положительные свойства и др.

«Конструирование» образа и создание новых текстов культуры может быть продемонстрировано в области национальной геральдики муниципальных образований Якутии. Анализ изображений на гербах 29 улусов показывает, что каждый район отличается от другого, именно присущими ему природными и культурными ценностями и ресурсами.

В этом контексте вызывают интерес культурные коды народа саха, использующиеся при разработке и создании гербов: солнечный диск, мифологическое древо жизни – *Аал-Луук-мас,* мифологический образ быка-зимы, коновязные столбы – *сэргэ*, тотемы старинных якутских родов: белая лошадь, орел, лебедь и др. Изучение национальной геральдики как элемента этнокультурного наследия (природный ландшафт и локальные этнические символы) только начинается.

Разработка республиканских брендов через демонстрацию этнических символов, характерной особенностью которых является способность нести информацию о ключевых чертах этнической специфики культуры, является весьма продуктивным в плане реализации новых инновационных туристических проектов.

Со-творцы традиционного текста культуры в XXI в. Конец XX – начало XXI в. в Якутии может быть охарактеризован как «Время открытия новых имен и новых сфер культуры». Это построенный на национальных традициях цирк, профессиональное кино, современная этническая музыка, театр национального танца, театр *олонхо*. Рубеж XX – начало XXI в. стал временем «взрыва» национальной культуры. «Пространство собственных имен – пространство взрыва. Не случайно исторически взрывные эпохи выбрасывают на поверхность “великих” людей, т. е. актуализируют мир собственных имен» (Лотман, 2000. С. 119). В этой связи, возвращаясь к началу нашей статьи и отмечая, что биографическая модель традиционной культуры народа саха включала структуру «имени» как «знака», отметим, что в духовных исканиях начала XXI в. вновь реализуется культурный проект «Имя как символ Якутии». Так, якутянам было предложено участвовать в масштабном голосовании, по его итогам должно было определиться имя человека, которого можно было бы сегодня считать символом Якутии, человека, который проявил себя в историческом, политическом или культурном смысле, заслужившем уважение и признание всей республики. Инициатором данного проекта, начавшегося в 2010 г., выступила газета «Якутск Вечерний». Согласно начальному списку в нем фигурировало более 40 имен, людей, внесших свой вклад в историю, культуру и политику якутского общества. Особый смысл в этом списке приобретают мифологические имена, занимающие здесь лидирующие позиции. Так, список имен возглавил легендарный прародитель народа саха, демиург якутской культуры *Эллэй*, вторая по списку стала *Ожулун* (якобы незаконная жена) – «воображаемый» образ, получивший новое звучание после фильма Андрея Борисова «Тайна Чингисхана». По современной версии именно она – мать Чингисхана, родом из байкальских *олхонутов*. Таким образом, текст киноэпического повествования «сконструировал» новое имя в галерее национальных героев. Среди имен-символов фигурируют имена Владимира Кондакова – современного белого шамана, создателя религиозного учения Айыы, лидеров национальной интеллигенции Алексей Кулаковского, автора знаменитого «Письма к якутской интеллигенции»; Гавриила Ксенофонтова, первого якутского ученого-этнографа, разрабатывавшего вопросы этно- и культурогенеза саха; Платона Ойунского – поэта, основателя Института языка и культуры в 1930-е гг. Михаила Николаева – первого Президента, реформатора политической и духовной культуры в условиях перехода. Структурирующие элементы национального тезауруса (мифология, ритуал, «фигуры воспоминаний», религия, научная и творческая интеллигенция, национальная идеология) определяют и сегодня современную модель жизнедеятельности культуры. Индивидуальный тип самосознания воспринимает коммуникацию между человеком и культурой как личную ответственность за ее сохранение и будущую судьбу. Философ М. М. Бахтин по этому поводу писал: «За то, что я пережил и понял в искусстве, я должен отвечать своей жизнью, чтобы все пережитое и понятое не осталось бездейственным в ней. Поэт должен помнить, что в прошлой прозе жизни виновата его поэзия, а человек жизни пусть знает, что в бесплодности искусства виновата его нетребовательность и несерьезность его жизненных вопросов. Искусство и жизнь не одно, но должны стать во мне единым, в единстве моей ответственности» (Бахтин, 1986. С. 8–9).

Таким образом, развитие духовной культуры народа саха как *текстопорождающего* начала зависит от самих «творцов» новых текстов, от их созидательной деятельности по включению этнокультурного наследия в пространство этнонациональной современной культуры.

Список литературы

Амаголонова Д., Скрынникова Т. Монгольская империя и Чингисхан в конструировании идентичности // Ab imperio. Исследования по новой имперской истории и национализму в постсоветском пространстве. Казань, 2005. № 4. С. 85–92.

Бахтин М. М. Искусство и ответственность // Литературно-критические статьи. М.: Худ. лит., 1986. С. 3–4.

Дьяконова Н. Н. Якутская интеллигенция в национальной истории. Новосибирск: Наука, 2002.

Иохельсон В. И. Записки по антропологии Американского Музея естественной истории. Нью-Йорк, 1933. Т. 38. Ч. 2. С. 37–225.

Лотман Ю. М. Текст как семиотическая система // Избранные статьи по семиотике и типологии культуры. Таллин, 1992.

Лотман Ю. М. «Я» и «Я» // Семиосфера. СПб.: Искусство СПб., 2000. С. 126–129.

Лотман Ю. М. Тезисы к семиотическому изучению культур // Семиосфера. СПб.: Искусство СПб., 2000. С. 505–525.

Лотман Ю. М. Символ в системе культуры // Семиосфера. СПб.: Искусство СПб., 2000. С. 240–249.

Лотман Ю. М. Внутренние культуры и внешние слияния // Семиосфера. СПб.: Искусство СПб., С. 116–119.

Маркарян Э. С. Об исходных методологических предпосылках исследования этнических культур // Методологические проблемы этнических культур. Материалы симпозиума. Ереван: АН Арм. ССР, 1978. С. 8–9.

Пекарский Э. К. Словарь якутского языка. СПб.: Наука, 2008.

Романова Е. Н. Якутский национальный праздник Ысыах в ситуации перехода: исторический миф, этнокультурный образ и современный праздничный нарратив / Е. Н. Романова, В. Б. Игнатьева // ЭО. 2011. № 4. С. 29–39.

Романова Е. Н. Культура воспоминаний и туризм: самопрезентация этноса в этнонациональных брендах (культур-антропологическое исследование) // Культура как ресурс социально-экономического развития. Улан-Удэ, 2010. С. 639–648.

Рыжакова С. И. Historica lettica: Национальная история и этническая идентичность. О конструировании и культурном реферировании прошлого латышей. М.: ИЭиА РАН, 2010.

Толковый словарь, якутского языка. Новосибирск: Наука, 2004. Т. 1 (А). С. 194–198.

Эргис Г. У. Очерки по якутскому фольклору. М.: Наука, 1974.

М. Ч. Ларионова

РЕГИОНАЛЬНАЯ ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА В ТВОРЧЕСТВЕ А. П. ЧЕХОВА

Говоря о «предпосылках чеховского творчества и составляющих чеховского мира», В. Б. Катаев среди «разнообразных культурных и цивилизационных волн», столкнувшихся в Таганроге, назвал и казачество (Катаев, 2004. С. 2). К сожалению, это утверждение осталось едва ли не единственным в специальной литературе. В результате очень яркая и самобытная культурная традиция, с которой в той или иной степени был знаком Чехов, осталась вне поля зрения исследователей. Может показаться странным привлечение материалов казачьего фольклора к анализу произведений Чехова. Думается, было бы странно их не учитывать, ведь южнорусский регион поликультурен. В нем сложились и переплелись как минимум две фольклорные традиции: казачья и собственно южнорусская с элементами малороссийской (пограничная). Казачья, конечно, более самобытна. Южнорусская имеет больше общероссийских черт. Ярчайшим выразителем первой является Шолохов, в творческом наследии которого региональная культурная традиция преобладает над общерусской. Весь конгломерат в сложном и опосредованном виде нашел отражение в произведениях Чехова, где общерусское начало очевидно преобладает над местными культурными влияниями.

Конечно, ни у кого язык не повернется назвать Шолохова или Чехова региональными писателями. Но «региональный текст» в той или иной степени выраженности присутствует в творчестве любого писателя, как образы и реалии Таганрога и Приазовья в творчестве Чехова. На наш взгляд, отыскание фольклорно-этнографических «корней» некоторых литературных явлений может привести к интересным результатам. Думается, что не учитывать именно региональный фольклорный опыт при изучении фольклоризма или архепоэтики писателя, – значит рисковать упустить нечто важное, что ускользает при обращении к фольклору в целом. Если мы включим в понятие «фольклор» не только художественные, но и внехудожественные явления, не только вербальные, но и невербальные образования, тогда вопрос о взаимоотношениях фольклора и литературы должен включать этнографический элемент, а в этом случае актуализуется вопрос о региональных фольклорно-этнографических источниках. При этом не обязательно устанавливать факт знакомства писателя с фольклорными сборниками, поскольку «представления» могут не фиксироваться, а живо восприниматься не только через слова, но и через действия, обычаи, идеи и символы.

Такая своеобразная традиция, как казачья, не могла не попасть в поле зрения писателя, несомненно встречавшегося с ее проявлениями в повседневной жизни и в путешествиях по Приазовью и Донскому краю. Среди героев его ранних произведений есть и казаки. Вместе с тем вопрос об отношении Чехова к казачеству и казачьей традиционной культуре далеко не решен.

Немного истории. Таганрог формировался как торгово-купеческий город. Первый казачий полк

появился в Таганроге в 1698 г. в связи с русско-турецкими военными событиями. В 1712 г. казаки покинули разрушенный город. И только в 1769 г. по указу Екатерины II в Таганроге был вновь сформирован казачий полк. Однако до 1887 г. Таганрог входил в Екатеринославскую губернию, и большинство населения в нем составляли украинцы. 19 мая 1887 г. было принято решение о включении Таганрога в состав Области Войска Донского. Само же присоединение формально состоялось 1 января 1888 г. В первом номере «Таганрогского вестника» от 1 января 1888 г. редакция поздравляла горожан: «Привет вам... новые члены старого тихого Дона! С новым годом, с новым счастьем, с новым началом, с новыми начальниками и новыми свежими надеждами! С таким приветствием сегодня считаем уместным обратиться к гражданам города, присоединенного к Области Войска Донского» (Таганрог и Чеховы, 2003. С. 407). 2 января архиепископ Донской и Новочеркасский Макарий направил новому Войсковому атаману князю Святополку-Мирскому поздравительную телеграмму: «Имею честь поздравить Вас и всех Ваших донцов с новым годом и с новою припискою к семье наших Донских казаков Ростова и Таганрога» (Таганрог и Чеховы, 2003. С. 407).

Думается, что у этого географического передела было несколько причин. Одна – политическая – связана с намерением атамана Войска Донского князя Святополка-Мирского, прозванного либеральными донскими публицистами «Окаянным», искоренить крамолу в многонациональных Ростовском уезде и таганрогском градоначальстве. Другая – экономическая – заключалась в том, что Таганрог и Ростов были самыми густонаселенными территориями Приазовья и Донской области, следовательно, давали самые большие налоговые сборы. Их присоединение к Области Войска Донского должно было решить многие экономические проблемы. Известен курьезный случай, когда таганрогский предприниматель Я. С. Поляков, разбогатевший на железнодорожных концессиях, чтобы получить дворянское звание, записался в казачье сословие, для чего, по предложению атамана Войска Донского князя Святополка-Мирского, внес с благотворительной целью в казну Войска 200 тысяч рублей (Седегов, 1991. С. 59).

В январе 1890 г. в № 9 «Донского поля» появилась статья, в которой говорилось о пользе присоединения Таганрога, названного «казачьим городом», к Области Войска Донского. Сам этот факт преподносился как политически и исторически необходимый, но оправдание ему давалось опять-таки экономическое: «...то, что совершилось формально, de jure, лишь в 1888 г., – то de facto состоялось давным-давно. Всегда казаки бывшего Миусского округа могли назвать “своим” Таганрог, как, в свою очередь, и портовым. Таганрог сопричислял население Миусского округа, его помещиков и хозяев к классу лиц, наиболее кормивших Таганрог экспортирующий и Таганрог торгующий» (Таганрог и Чеховы, 2003. С. 438).

Как же сами таганрожцы отнеслись к перемене своего положения? Уж, конечно, они не считали свой город «казачьим». По словам лояльного П. А. Филевского, «с перенесением административного центра в Новочеркасск Таганрог по крайней мере спасся от Одесского ига и опасности попасть в ростовское подданство, но, конечно, не приобрел бдительного глаза, который бы далеко видел интересы Таганрога, возникшего на почве торговли и мореходства» (Филевский, 1996. С. 207). П. Ф. Иорданов, отрицательно отзывавшийся о книге Филевского, выразился в письме Чехову значительно резче: «Вы должны знать, что с 1887 г. Таганрог утратил свое прошлое. Произошло это, когда в 1887 г. нас присоединили к печенегам...» (Таганрог и Чеховы, 2003. С. 552). А. В. Петров, письмоводитель священника о. Василия Бандакова, один из таганрогских корреспондентов Чехова, писал ему о явно экспансионистском характере присоединения: «Вам, вероятно, известно, что согласно распоряжению Высшего Правительства наш край присоединяется к Области Войска Донского и вот с 1 января это должно совершиться фактически. Уже понаехало немало казачьих офицеров, а на святках встречают 250 казаков, будущее наше начальство, – на каждом шагу уже попадаются навстречу красные лампасы, по-видимому, казаки смотрят на Таганрог как на завоеванный край» (Таганрог и Чеховы, 2003. С. 405).

Лучше всех отношение к присоединению выразил А. Алфераки в «Записке Таганрогского городского головы», направленной в Петербург (Алфераки). Он признал необходимость усиления местной административной власти объединением края под рукой Наказного Атамана и этикетно выразил радость городского населения от подобного изменения. Однако он энергично возражал против полного подчинения Таганрога Области Войска Донского. Нет сомнения, что у Алфераки были личные мотивы для возражений, ибо такое подчинение изменяло меру его властных полномочий. Но думается, главная причина была не в этом.

Автор «Записки» особо подчеркивал «коренное различие во всем строе жизни между Войсковою Областью и частями губернии» и вред от взаимных уступок и изменений для обеих сторон. По подсчетам Алфераки, до присоединения в Области Войска Донского на две трети казаков приходилась одна треть неказаков, преимущественно крестьян.

После присоединения казаков и неказаков должно было стать почти поровну, что неизбежно нанесло бы ущерб казачьему элементу. Следующий аргумент хочется привести полностью, поскольку он отражает отношение таганрожцев к казакам, которое разделял и Чехов: «В **качественном отношении** присоединяемое население более чем наполовину городское, торгово-промышленное, разнохарактерное, разноплеменное, разноверное (греки, армяне, евреи и иностранцы различного происхождения). Ближайшее общение с такими элементами быстро повлияет на изменение первобытных (! – *М. Л.*) нравов "станичников", которые, как всегда в подобных случаях бывает, узнают преимущественно и прежде всего темные, отрицательные стороны "цивилизации" от люда, привыкшего в портовых городах к легкому заработку и к легкому же способу его тратить на удовольствия».

А. Алфераки несколько раз говорит об архаическом характере казачьего мира: «...организация и весь быт казаков принадлежит иной исторической эпохе», эпохе славных подвигов и великих заслуг, оказанных казаками государству. «Поддерживать же казачество можно лишь под условием сохранения преданий, обособления его по-прежнему, даже замкнутости, при возможно тщательном избежании нововведений и посторонних влияний, несогласных с коренными обычаями и духом казачества», – пишет он далее.

Такое впечатление, что речь идет не о событиях конца XIX в. в России, а о Конкисте или открытии Америки! Тем не менее таганрогский градоначальник прав: и казаки сохранили свою бытовую и культурную архаику (до наших дней!), и неказачье население воспринимало и сейчас иногда воспринимает их почти как старообрядцев (среди казаков много старообрядцев), консервативными, замкнутыми и диковатыми. Возможно, это случилось потому, что казаки занимались воинской службой, мало смешивались с неказаками и жестко сохраняли свою традиционную культуру. Казаки – это своеобразный этносоциальный анклав на территории Российского государства. Оценивать их извне, с позиций чужой этничности, трудно – всегда есть риск поверхностного и поспешного суждения.

А. П. Чехов в своих оценках присоединения был, скорее, нейтрален. 23 июня 1887 г. он писал Г. М. Чехову: «Поздравляю с "присоединением". Думаю, что Таганрогу от этого не будет ни лучше, ни хуже. Впрочем, быть может, будет больше внешнего порядка, будет единая власть вместо градоначальника, который решительно был бесполезен и для Таганрога не нужен» (П. II. С. 98).

В 1887 г. Чехов написал рассказ «Казак», в 1888 г. – повесть «Степь», в 1897 г. – рассказ «Печенег». Одного этого обстоятельства достаточно, чтобы понять, что обращение писателя к казачьей теме было не случайным, что он обдумывал и переживал это событие. Справедливости ради надо заметить, что давно уехавший из Таганрога Чехов вряд ли принял перемены близко к сердцу. Об этом свидетельствуют редкие их упоминания в переписке писателя. В письме дяде, М. Е. Чехову, 20 июня 1886 г., когда вопрос находился еще в стадии обсуждения, он интересовался: «Что у вас поговаривают о присоединении Таганрога к Донской области?» (П., I. С. 251). 30 ноября 1887 г. университетский товарищ писателя доктор И. В. Еремеев, из казаков, писал о присоединении как о деле решенном: «С нового года должно быть присоединение Таганрога к Области Войска Донского и я надеюсь получить место помощника окружного врача» (Таганрог и Чеховы, 2003. С. 404). 16 июля 1889 г. в письме И. П. Чехову, рассказывая о своем пребывании в Одессе, писатель вспоминает «толстого, всегда спящего и вечно жалующегося на утомление» И. Н. Грекова: «С ним пью вино и толкую о Донской области (он казак) и о сцене» (П., III. С. 230).

Во время поездки на родину в 1887 г. по приглашению И. В. Еремеева Чехов побывал на свадьбе сестры приятеля в Новочеркасске – столице донского казачества. О своих впечатлениях он писал родным 25 апреля: «Вчера и третьего дня была свадьба, с музыкой, бабьим козлогласием и возмутительной попойкой. Такая масса пестрых впечатлений...» (П. II. С. 72).

Чехов, видимо, не без иронии относился к казакам. О своем пребывании у Г. П. Кравцова, отставного казачьего хорунжего, помещика, он писал Н. А. Лейкину: «Жил я в последнее время в донской Швейцарии, в центре так называемого Донецкого кряжа: горы, балки, лесочки, речушки и степь, степь, степь... Жил я у отставного хорунжего, обитающего на своем участке вдали от людей. Кормили меня супом из гуся... будили стрельбой из ружей (в кур и гусей, которых здесь не режут, а стреляют)... тем не менее жилось мне превосходно. Впечатлений тьма...» (П. II. С. 79). Е. А. Кожевникова, таганрогский краевед – исследователь Чехова, приводит опубликованные в «Областном обозрении и вестнике казачьих войск» за 1904 г. от 25 июля воспоминания Я. Я. Полферова о сказанных с горечью словах Чехова: «Мне больно было видеть, что такой простор, где все условия созданы, казалось, для широкой культурной жизни, положительно окутан невежеством, и притом невежеством, исходящим из правящей офицерской среды...» (Кожевникова, 2007. С. 6).

В. Б. Катаев тонко подметил отразившееся в творчестве Чехова главное противоречие современной ему казачьей жизни: «несовпадение представлений, почерпнутых из описаний героической

эпохи казачества» и «нравов почти зоологических» с «бессмысленной пальбой из ружей по домашней птице» и «тупым философствованием» – всем тем, что отразилось потом в рассказе «Печенег» (Катаев, 2004. С. 5). Однако исследователь проводит различие между живыми впечатлениями писателя и их преломлением в чеховском художественном мире: «Но Чехов знал также, что молодой казак Петя Кравцов, которого он репетировал в гимназические годы, впоследствии возмужав и получив офицерский чин, уже носил пенсне и вводил у себя по книгам агрономические усовершенствования» (Катаев, 2004. С. 5).

Видимо, в художественном сознании Чехова сосуществовали казачество как социальное явление, как тип ментальности, действительный уклад жизни казаков и богатейшая казачья культурная традиция с ее особой пространственной символикой, специфически «мужским» содержанием, героикой и удалью. Нам, жителям Таганрога и Ростова 90-х гг. XX в., это хорошо понятно. Мы были свидетелями нового «оказачивания» неказачьего города, собраний немолодых грузных мужчин, нестройно выкрикивающих «Любо!». Мы помним ощущение неуместности и неловкости, какой-то театральности происходящего. Однако это не помешало большинству из нас с глубоким и искренним интересом относиться к истории казачества, любить и даже петь казачьи песни, сочувствовать стремлению этого субэтноса к самоидентификации. Трудно сказать, испытывал ли Чехов в свое время что-либо подобное. Но, судя по его произведениям, вполне мог испытывать.

В произведениях и письмах писателя есть персонажи-казаки и особый «казачий» контекст некоторых мотивов, образов и бытовых реалий, который выявляется при этнокультурном их разъяснении.

Вернемся к чеховскому высказыванию о «козлогласии». Чехову, воспитанному на классической музыке и выросшему в Таганроге, где если и пели народные песни, то большей частью украинские, казачья песенная манера не могла не показаться странной. Украинские песни мелодичные, что называется, задушевные. Казачьи песни по преимуществу бодрые, боевые. Украинские песни льются, казачьи поются громко, открытым голосом; как говорят сами исполнители, их надо «орать». Народная песня всегда исполняется с подголоском, который «забирает» мелодию либо вниз, либо вверх. Подголосок казачьей песни исключительно верхний, высокий. По словам А. Листопадова, известного собирателя донских песен, основные экспедиции которого приходились на 1902–1903 гг., подголосок – это «душа песни. Без него песня кажется не полною, как бы хорошо ни исполняли ее другие голоса. Подголосок оживляет мелодию, варьируемую средними голосами. Его сопровождение дает песне ширь и свободный размах, свойственные исконной казачьей песне и обусловленные историческим складом боевой жизни донских казаков. <...> На общем фоне музыкальной картины, которую образует основная мелодия с сопровождающими ее вариантами других голосов, легкие, оригинальные мелодические переливы и скачки подголоска дают впечатление полноты и своеобразной законченности» (Листопадов, IV. С. 16). Этот высокий подголосок казачьей песни называется «дишка'нт», его исполнение называется «дишканить» или «подголашивать». В такой манере исполняются и «мужские», и «бабьи» песни, причем женщины еще крепче держатся песенной традиции. Видимо, исполнение песен с этим высоким, очень высоким (от тенора до альта) подголоском Чехов и назвал «козлогласием» (в прямом смысле – высоким «подголашиванием»). Ироническая, иногда даже ерническая манера писем Чехова не может нас обмануть. 5 марта 1889 г. в письме Суворину он подобным образом характеризовал понравившееся ему пение цыган: «Их пение похоже на крушение поезда с высокой насыпи во время сильной метели: много вихря, визга и стука» (П., III. С. 169).

Приведем коротко и другие примеры. Появление в произведениях писателя образа степи связывают с путешествием Чехова по Приазовью и Придонью. И действительно, этот образ появляется в рассказе «Счастье» и разворачивается во всей полноте в повести «Степь». Но мало кто замечает, что в повести образ степи складывается отчасти под влиянием казачьей культурной традиции, что хорошо видно при сопоставлении гоголевских и чеховских степей, например, с тургеневскими или гоголевскими. Упоминание о Гоголе здесь не случайно. Его степь в «Тарасе Бульбе» – это не просто природный ландшафт, а мир казачества (козачества). Думается, Чехов назвал Гоголя «степным царем» не потому, что тот лучше всех писателей изобразил степь, а потому, что он изобразил степь так, как ее понимал Чехов, как ее понимали в российском/малороссийском пограничье – в Приазовье и на Дону.

То, что Чехов связывал степь с казаками, косвенно следует из слов В. А. Гиляровского: «Нет, Антоша, не пивать тебе больше сливянки, не видать тебе своих донских степей, целинных, **платовских** (выделено мной. – *М. Л.*), так прекрасно тобой описанных...» (Гиляровский, 1960. С. 134).

Чехов и Гоголь воспроизводят стереотипно-казачье представление о степи, хотя у Чехова из явных «казачьих» отсылок только песня «Наша матушка Расия всему свету га-ла-ва!», именно так поет ее Кирюха (С., VII. С. 78). Степь у казаков – это полое, порожнее пространство, территория молодечества и испытания, Дикое Поле. В казачьих

песнях степь так и называется «дикой» (Листопадов, I. С. 18). Чеховская идея о детстве как испытании и переходе, сформулированная еще в рассказе «Гриша», обретает язык отчасти благодаря казачьей традиции. Процедура вступления в казачье сообщество рассматривалась как символическая смерть. У украинских казаков мальчик именно в 9 лет поступал в Сечь и становился молодиком. Нахождение в группе молодиков было частью процедуры посвящения. Молодиков часто подвергали ритуальным осмеяниям и испытаниям (Рыблова, 2007. С. 210, 211). Собственно так происходит в любом обрядовом комплексе посвящения/испытания, но казачья традиция дожила до наших дней и уж тем более существовала во времена Чехова.

Степь – это еще и специфически мужское пространство. Мотивы мужского сообщества в чеховской повести и пребывания героя в экстремальных условиях могут быть навеяны именно «казачьими» впечатлениями писателя. Быт казаков был более архаизирован, чем быт русских. Казаки воспитывали мальчиков в возрастных мужских сообществах. Мужские качества, в том числе умение драться и постоять за себя, поощрялись общиной и являлись обязательным условием для вступления в нее (Рыблова, 2008–2009. С. 57–68).

Еще один пример. Значимой деталью, указывающей на присутствие региональных традиционных представлений в повести «Степь», является красная рубаха Егорушки. Красный цвет имеет связь с родильной обрядностью, что подтверждается в тексте повести. Вспомним, что красная рубаха мальчика «пузырем вздувалась на спине» (С., VII. С. 14) – околоплодный пузырь, в котором иногда рождается ребенок, называют рубашкой. Красный цвет повсеместно цвет жизни, он имеет апотропейный характер, т. е. рубашка Егорушки – материнский оберег. У южных славян детская одежда была преимущественно красного цвета (Богатырев, 2007. С. 230). Но в культуре донских казаков существует специфическое представление, что плод зарождается в виде красной ниточки, основы (Власкина, 2004. С. 179–180). Это дает дополнительные импульсы к интерпретации образа Егорушки, его душевного и духовного становления, вочеловечивания, о чем собственно и написана вся повесть.

И даже образ «широкой, размашистой, богатырской» дороги находит аналогии в казачьих былинах и песенной лирике: «Ой-да не пролёгивала Вот и степь-дорожунькя, она не широкая. Она не широкая, – шириною она, эта степь-дорожунькя, она конца краю нет» (Листопадов, I. С. 93).

В связи с присоединением Таганрога к Области Войска Донского особое значение приобрел еврейский вопрос. Об этом писал в Петербург А. Алфераки: «В предположенной к присоединению местности насчитывается до 16 000 душ евреев. Эта крупная цифра осложняет и без того трудный вопрос о судьбе евреев с присоединением к Донской Области четырех городов... Будет ли предоставлено евреям остаться на месте? Если да, то для этой части Области должно быть сделано исключение из общих законов, правящих казачество; если нет, то придется их выселить. Последняя мера сопряжена, однако, с такими затруднениями и расходами и причинила бы столько несчастия множеству народа, что едва ли даже осуществима» (Алфераки). Насколько нам известно, массовое переселение евреев не состоялось, но в повести «Степь» персонажи-евреи, обитающие вдали от городов, обида и агрессия Соломона не только результат личных впечатлений писателя, но, возможно, художественная реакция на эту обострившуюся проблему.

Разумеется, мы не предполагаем ставить чеховскую повесть в прямую зависимость от конкретного исторического факта и казачьей культурной традиции. Но, думается, «казачьи» впечатления могли дать писателю творческий импульс. Особенно заметно это в рассказе «Казак». Мещанин Торчаков, едущий с женой из церкви, не дал разговеться на Пасху встреченному в степи больному казаку. Согласно традиционным народным представлениям, такой поступок, особенно на Пасху или Рождество, нарушает все законы мироустройства, поскольку праздничные дары предназначаются душам предков-покровителей и самому Богу, которые в облике нищих, страждущих появляются в эти дни на земле. Особенно это касается первой части какого-нибудь продукта. Именно против этого возражает жена Торчакова: «Не дам я тебе паску кромсать! С какими глазами я ее домой порезанную повезу?» (С., VI. С. 165).

Заметим, что названием рассказа в центр повествования поставлена не фигура бердянского мещанина Торчакова, история которого излагается, а персонаж, казалось бы, второстепенный, случайный. В принципе это мог быть представитель любой иной этнической или социальной группы, например, нищий или странник. Но это казак, да еще больной. Почему?

Казак в рассказе – это «иной», чужой, встретившийся в лиминальном пространстве степи. С одной стороны, он сохраняет общие свойства таких персонажей: ущербность, посредничество между «этим» и «иным» миром, представительство сакральных сил на земле (Левкиевская, 2004. С. 408). Это общерусский и мировой сюжет. С другой стороны, больной или раненый казак в степи – это распространенный мотив казачьих песен. Как пишет исследователь донского фольклора Е. М. Белецкая, «главный образ военно-бытовой песни – умирающий казак или солдат, который лежит в чистом поле под ракитовым кустом» (Белецкая, 2007. С. 177).

В чеховском рассказе казак едет «домой, на льготу» (С., VI. С. 165), т. е. срок его службы окончен. Он не ранен во время боевых действий (этот мотив был бы нарушением исторической правды – Россия в это время не вела больших войн), а именно болен. Причем заболел он в дороге, поскольку по завершении службы казаки проходили медицинское освидетельствование и больные перед демобилизацией должны были получить лечение. Это отличает рассказ от казачьей песни. Но Чехову, видимо, важны не мотивировки, а «пограничная» природа казака. Больной, просящий «свяченой пасочки» казак уподобляется нищему. Поскольку нищенство могло восприниматься как форма праведничества, отношение к нищим было сострадательным и заботливым. Таким образом, встреча с нищим – это своего рода испытание. Во время народных праздников принято было одаривать нищих, поскольку в этом облике могли появляться среди людей Христос и святые. Поэтому не подать нищему – значило провиниться перед богом.

Социальная ущербность нищего на телесном уровне обычно подкреплялась физическим недугом. У Чехова: «У самой дороги на кочке сидел рыжий казак и, согнувшись, глядел себе в ноги. <...> Казак поднял голову и обвел утомленными больными глазами Максима, его жену, лошадь» (С., VI. С. 164–165). Чеховский персонаж принимает позу, характерную для нищего и подчеркивающую его низкий социальный статус: сидит согнувшись и внизу.

Однако писатель очень точно воспроизводит антураж казачьих песен: чисто поле, оседланный конь, раненый казак.

Ай да, вот и, во кругу стоял,
Да стоял, будто, винохо... ей, виноходый конь,
Да на все ноги коник ко... ей, на все кованый,
Ай да, вот и, шелковой уздой
Да конёчек, он был зану... ей, занузданный,
Ай да, вот и, ну, черкесским седлом
Да конёчек жа был осё... ей, был оседланный,
Ай, на коню-то сидит, вот бы, млад донской казак.
Ой да, вот и, он сидит, сидит,
Да сидит ведь он больно ра... ей, больно раненый...

(Листопадов, II. С. 322. Тексты песен цитируются с сокращением повторов.)

Ранение и болезнь в песнях синонимичны:
Один, братцы, оставался.
А-ой да, ну, не так-то бы он
Оставался молодец, –
За главною за причи... за тою причиной.
За тою, было, причиной:
А-ой да, заболела у него,
У доброго молодца,
Буйная его голо... буйная головушка.

(Листопадов, II. С. 359.)

Во всех казачьих песнях на эту тему больной (раненый) казак окружен друзьями-казаками или родными:
Сы донцами, младец,
С донцами проща... распрощается

(Листопадов, II. С. 324.)

Редукция этого традиционного мотива усиливает ощущение одиночества встреченного казака, и без того уже противопоставленного общему празднику. А степь, по которой едет Торчаков, превращается в поле битвы и смерти: «Чего доброго, помрет в дороге...», – думает о казаке Торчаков (С., VI. С. 167).

Казак вносит в рассказ имплицитный, «свернутый» сюжет, который разворачивается за пределы повествования благодаря казачьей песне. Когда Торчаков отправится искать казака, выяснится, что никто его не видел. Либо в облике казака Торчакова испытывали сверхъестественные силы, т. е. он встретил свою судьбу, долю, что вполне согласуется с пасхальной или святочной обрядностью, либо казак действительно умер. И тогда в дело вступает песенный сюжет: казака оплакивают однополчане, жена или мать. Вряд ли Чехов не знал бытующую на Дону и в Таганроге песню на эту тему: «Ой, в Таганроге солучилася беда». Эти версии не противоречат друг другу, а совпадают в контексте традиционной культуры. У восточных славян существует представление о «Пасхе мертвых», согласно которому накануне Пасхи Господь выпускает в «этот» мир души умерших, чтобы они могли встретиться с близкими и приобщиться к Пасхе (Агапкина, 2004. С. 642). Поэтому чеховский казак не совсем «живой» – больной.

Муки совести приводят Торчакова к распаду семьи и хозяйства: «Лошади, коровы и ульи малопомалу, друг за дружкой стали исчезать со двора, долги росли, жена становилась постылой...» (С., VI. С. 168). Это полностью соответствует страшным обрядовым пожеланиям рождественских колядовщиков и пасхальных волечебников жадным хозяевам: «Не дадите пирога – мы корову за рога, свинку за щетинку, мерина за хвостик сведем на погостик».

В повести «Степь» главный герой многократно называется по имени, причем обычно именно в форме – Егорушка. Лишь один раз, в самом конце, названа его фамилия, да и то косвенно: сынок Ольги Ивановны Князевой, – аттестует мальчика Иван Иваныч Кузьмичов. Имеет ли художественное значение фамилия Егорушки? Какие дополнительные смыслы она привносит в повесть? Думается,

в литературном произведении не бывает случайных деталей и то, что кажется несущественным на первый взгляд, находит объяснение в фольклорно-мифологическом контексте.

Среди казачьих песен есть и песня «Егорушка»:

Ты, Егорушка, Егор,
Егор – парень молодой.
Егор – парень молодой,
Не женатый, холостой.
Как поехал наш Егор
Хоть жениться на простор,
Хоть жениться да гулять,
Молодую жану брать.
Да молоденькую,
Да хорошенькую.
(Песни казачьей станицы, 1989. С. 60.)

В повести «Степь» во всей полноте реализовалось чеховское представление о детстве-взрослении как переходе, умирании-возрождении, своего рода инициации. Последовательность событий повести в точности соответствует последовательности этапов этого архаического обряда. Представление о степи как о пространстве перехода, инобытия характерно не только для казачьей культуры, но наиболее полно воплощается именно в ней. В казачьей песне «Ой ты, степь широкая» мотиву раздольного «разгуляния» казака противостоит мортальный мотив, подчеркнутый психологическим параллелизмом и отрицательной частицей «не»:

Ой, да не летай, орел,
Низко по земле,
Ой да, не гуляй, казак,
Близко к берегу.

Такая амбивалентность образа степи характерна и для самой «степной» повести Чехова. Но структура инициации, перехода, реализуется и в свадебной обрядности, где жениха именуют «князем». Финальные эпизоды повести – встреча Егорушки с Настасьей Петровной Тоскуновой – подтверждают нашу мысль.

В свадебных песнях жених-«князь» приезжает издалека, из «чужого мира», поэтому одним из центральных является мотив дальней дороги, пространственного перемещения. В величаниях жених изображается писаным красавцем, «красовитей» всех. Настасья Петровна восхищается Егорушкой: «Ангельчик мой! Красота моя неописанная! Я и не знала, что у Олечки такой сыночек!» (С., VII. С. 102). Обращение, похвала, выраженная словами с уменьшительно-ласкательными суффиксами, упоминание родителей, вырастивших такого сына, – характерные композиционные элементы свадебных величаний. Невесту могут именовать по-разному, но среди распространенных в свадебных песнях имен есть и Катенька (Катька – Атька в повести). И появляется Катька в примечательном, типично «женском» интерьере-пространстве: около швейной машины и клетки со скворцом в окружении цветов. Образы птиц, цветов/сада, мотивы женского рукоделья создают в свадебных песнях «символику счастья». Весь этот эпизод похож на свадебный сговор, включая стоящего на окне цыпленка, накрытого тарелкой, – традиционное свадебное обрядовое блюдо. Нас не должно смущать то обстоятельство, что Егорушка поселяется в доме Катьки, т. е. в переводе на свадебный язык становится «приемышем», «примаком». Культурная практика показывает, что «примачество было формой первоначальной адаптации переселенцев на новом месте» (Щепанская, 2005. С. 494). «Приемышами» называли также детей, взятых на воспитание в чужую семью (Щепанская, 2005. С. 109). Так новая жизнь Егорушки получает закрепление в традиционном культурном коде.

Конечно, в повести «Степь» и речи нет о браке Егорушки, маленького мальчика. Но перемена его социокультурного статуса неизбежно вводит в повесть свадебные мотивы и символы, которые, в свою очередь, объясняют некоторые художественные детали повести.

Казачий материал в творчестве А. П. Чехова проясняет отношения писателя к традиционной народной культуре и как к набору словесных текстов, и как к набору «образов, формул, символов, общих мест», к «системе правил, по которым создаются и живут тексты и их составляющие» (Путилов, 2003. С. 54); позволяет охарактеризовать природу чеховского подтекста, в котором традиционная культура, в том числе в ее региональных формах, образует «скрытый» сюжет со своей структурой и семантикой; дает основания говорить о сохранности тех или иных явлений народной традиции, поскольку их отражение в литературе является результатом непосредственных впечатлений писателя.

Список литературы

Агапкина Т. А. Пасха // Славянские древности: Этнолингвистический словарь. Т. 3. М.: Международные отношения, 2004. С. 641–646.

Азадовский М. К. Советская фольклористика за 20 лет // Советский фольклор: Сб. ст. и материалов / отв. ред. М. К. Азадовский. М.; Л.: Наука, 1936. № 6. С. 51–52.

Алфераки А. Записка Таганрогского городского головы // ГАРО. Ф. 55. Оп. 1. Д. 893.

Белецкая Е. М. Казаки перед лицом смерти // Мужской сборник. Вып. 3. Мужчина в экстремальной ситуации. М.: Индрик, 2007. С. 167–178.

Богатырев П. Г. Народная культура славян. М.: ОГИ, 2007.

Власкина Т. Ю. Традиционные эмбриогенетические представления донских казаков / Т. Ю. Власкина // Мир славян Северного Кавказа. Вып. 1 / под ред. О. В. Матвеева. Краснодар: Кубанькино, 2004. С. 178–196.

Гиляровский В. А. Жизнерадостные люди // А. П. Чехов в воспоминаниях современников. М.: Наука, 1960.

Катаев В. Б. Чехов и Таганрог: к проблеме культурного ответа // Таганрогский вестник: Материалы Международной научной конференции «Молодой Чехов: проблемы биографии, творчества, рецепции, изучения». Таганрог: б/и, 2004. С. 1–8.

Кожевникова Е. «Летом мне нужно быть на юге...» // Культура Дона. 2007. № 9–10.

Левкиевская Е. Е. Нищий // Славянские древности: Этнолингвистический словарь. Т. 3. М.: Международные отношения, 2004. С. 408–411.

Листопадов А. Песни донских казаков: в 4 т. / под общ. ред. Г. Сердюченко. М.: Музгиз, 1949–1953.

Путилов Б. Н. Фольклор и народная культура; In memoriam. СПб.: Петербургское Востоковедение, 2003.

Рыблова М. А. Экстремалы Дикого Поля: основные этапы жизненного пути казака-воина // Мужской сборник. Вып. 3. Мужчина в экстремальной ситуации. М.: Индрик, 2007. С. 207–222.

Рыблова М. А. Малолетки и выростки в структуре донской казачьей общины XIX – начала XX вв. // Молодежь и молодежные субкультуры этносов и этнических групп ЮФО. Традиции и современность. Краснодар: Пресс-Имидж, 2008–2009. С. 57–68.

Седегов В. Д. А. П. Чехов в восьмидесятые годы. Ростов н/Д: Книга, 1991.

Таганрог и Чеховы. Материалы к биографии А. П. Чехова. Таганрог: Лукоморье, 2003.

Филевский П. А. История города Таганрога. Таганрог: Сфинкс, 1996.

Песни казачьей станицы. Ростов н/Д: Ростовское книжное издательство, 1989.

Чехов А. П. Полное собрание сочинений и писем: в 30 т. Сочинения: в 18 т. / Гл. ред. Н. С. Бельчиков. М.: Наука, 1974–1988. В тексте статьи в круглых скобках: С. – сочинения, П. – письма, римской цифрой обозначается том, арабской – страница.

Щепанская Т. Примак // Мужики и бабы: Мужское и женское в русской традиционной культуре. СПб.: Искусство – СПб., 2005. С. 493–495.

И. Л. Бабич, Е. В. Кратов, Н. В. Кратова

ВОЗРОЖДЕНИЕ ХРИСТИАНСКИХ ТРАДИЦИЙ НА СОВРЕМЕННОМ СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ

Христианству принадлежит выдающаяся, исключительная роль в истории России. На протяжении тысячелетия православная церковь является национальной религией многих миллионов людей, была и остается общей высшей нравственной идеологической субстанцией, признанным стержнем социокультурного развития восточного славянства и соседствующих с ним народов, независимо от привходящих форм изменившейся их социальной организации, смены элит, внутренних и внешнеполитических потрясений, многократных перекроек административных границ.

В советское время преследование православия вылилось, в частности, в практически полное игнорирование научного учета положительной роли церкви, изучения ее духовной, моральной и социальной значимости. Этим надолго было введено в заблуждение общественное сознание, нанесен один из самых ощутимых ударов отечественному научному историческому знанию.

В 1990-е гг. в Российской Федерации началось бурное «религиозное строительство», своеобразный процесс религиозного возрождения, когда появившаяся в нашей стране демократия и свобода совести и печати дала мощный импульс для становления новой религиозной ситуации – с одной стороны, стали широко распространяться «традиционные» религии, т. е., которые веками складывались на территории Российской империи, – православие и ислам, а с другой – появились многочисленные христианские (и не христианские) объединения и группы. В России началось возрождение религиозной жизни, религиозного сознания, открытие многочисленных храмов, монастырей и мечетей. Этот процесс затронул Кавказ вообще и Северный Кавказ в частности.

Наряду с этим возникшая в конце 1980-х гг. «перестройка» и ее политические лидеры с удовольствием объявили «свободу» и сместили с пьедестала так называемую советскую идеологию, основы советской морали, на базе которых в советские годы принудительно осуществлялось «формирование советского человека». Люди, почувствовав себя действительно свободными, стали счастливо жить без советской морали, однако к концу 1990-х гг. как простые люди, так и представители

творческой интеллигенции и даже властных структур стали осознавать «кризис морали», «кризис духовных ценностей»: столь желанная свобода «перетекла» в анархию, при которой из общества исчез «моральный стержень». И в стране начался процесс формирования новой, «постперестроечной идеологии», начался поиск духовных ценностей, основ морали, которые могли бы стать путеводной нитью для жизни россиян в XXI в. Освободившую «идеологическую нишу» попытались занять «религиозные морали» – начался мощный процесс формирования современной морали, духовных ценностей на основе *религиозных ценностей*.

В предлагаемой статье авторы на основе собранных ими собственных полевых этнографических материалов в различных регионах Северного Кавказа – Адыгеи, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии стремились показать этапы христианского возрождения в современных обществах, описать специфику данного процесса и проанализировать причины сложившейся религиозной ситуации на «местах».

Православие как доминирующий фактор формирования идентичности у казаков Северного Кавказа. Местные кавказские народы проживают вместе с заселившимися на Северном Кавказе за последние три столетия казаками. Жизнь казаков в этом регионе всегда имела свои особенности в различные исторические периоды, обусловленные военно-политическими и социально-экономическими факторами. Реформы, проводимые в стране в течение 1990–2000-х гг., затронули и национально-культурные стороны жизни казаков: казаки начали формировать ключевые принципы своей новой, «постперестроечной» жизни, которые легли в основу процесса становления казачьей идентичности. Особенности казачьей идентичности на Северном Кавказе связаны с исторически сложившимися социокультурными связями, нормативными поведенческими установками и привычками, образом мышления, устоявшимися этническими и конфессиональными традициями северокавказских казаков. В этом процессе, как нам представляется, значительную роль играет православная вера, православные храмы, православные священники. Православное возрождение, свойственное постсоветской России на протяжении последних двадцати лет, наблюдается и на Северном Кавказе.

Объектом данного исследования стали православные приходы в казачьих станицах. Хотелось бы отметить, что не все жители станиц в республиках Северного Кавказа являются казаками. В XIX в. помимо казачьей колонизации в этом регионе была и крестьянская колонизация, а в советские годы наблюдались мощные миграционные процессы населения (и русского, в частности) по всей стране, в том числе и на Северном Кавказе.

Формирование казачьей идентичности во многом осуществляется силами казачьих обществ, созданных на территории республик Северного Кавказа. Одним из ключевых принципов формирования казачьей идеологии и морали стало православие. Проявляется это, во–первых, в создании помимо сугубо казачьих организаций православных объединений казаков, например, в Адыгее функционирует так называемое *Православное казачье Братство* (около 20 чел.), созданное при непосредственном влиянии и помощи православного духовенства Свято-Троицкого Собора в г. Майкопе. В Майкопской епархии есть священник, который, являясь сам казаком, курирует казаков в качестве войскового священника и духовника епархии. И, во-вторых, в создании казачьих заповедей, опирающихся на православную мораль.

Как нам представляется, православная вера и мораль современных казаков на Северном Кавказе вообще и в РА и КЧР в частности являются скорее символом, чем реальной силой. Священник ст. Дондуковской (РА) рассказывает: «Наше казачество слабое – оно было репрессировано, теперь остались одни бабки. Нынешние казаки приходят на большие праздники, главным образом, для того, чтобы нести хоругви, так как женщинам это тяжело. И все... а так в храм на службы не ходят. Для них православие как символ». Действительно, собственно казаков и нет, нынешнее казачество – это отставные военные. В основном люди думают о том, как выжить в нынешних условиях, но все же общества стараются уделять достаточное внимание воспитанию молодежи в духе казачьих традиций.

Отсутствие казачьей деятельности в республиках Северного Кавказа отчасти объясняется тем, что в этих регионах любое действие казаков рассматривается властями как инструмент разжигание межнациональных отношений, например, казаки планировали в честь празднования Дня Майкопа (12 сентября) провести крестный ход, между тем власти не разрешили, чтобы не «взорвать» обстановку в республике.

Современное казачество Северного Кавказа стало культивировать, с одной стороны, казачью культуру в форме возрождения казачьей песни и танца, а с другой – православие как символ и часть казачьей культуры. Например, интересен казачий музей в ст. Келермесская (РА), созданный местным 60-летним жителем – станичным атаманом *Василием Павловичем Затолокиным* на общественных началах. Музей состоит из нескольких комнат, в котором собраны вещи казаков прошлых веков – много фотографий, рассказывающих о жизни казаков. В. П. Затолокин собрал уникальные материалы. На базе музея станичный атаман создал казачий детский клуб, в котором обучают детей азам во-

енной подготовки (стрельбе и т. д.). Вот как описывает участие казаков в празднике Пасха атаман ст. Келермесская (РА) В. П. Затолокин: «Я сам хожу на Пасху и заставляю прийти двух-трех членов нашего казачьего общества». Любопытно, что в этой станице православный храм, штаб казачьего общества, станичный музей и спортзал располагаются в одном дореволюционном здании.

Поскольку в регионе к началу 1990-х гг. сохранилось незначительное количество православных храмов, на первом этапе православного возрождения в казачьих станицах требовалось построить новые здания. Этот процесс мы наблюдаем на Северном Кавказе.

Формирование корпуса священников в КЧР и Адыгее происходит по-разному и во многом стихийно – есть среди священников местные.

По данным на 2009 г. Епархиального управления Майкопской и Адыгейской епархии, в РА служат 69 священников и монахов в качестве настоятелей церквей. Возраст и характер образования настоятелей представлен в табл. I–II (Ежегодный, 2009).

Таблица I

Возрастные группы православного духовенства РА

Возрастные группы	Численность
21–30 лет	7
31–40 лет	28
41–50 лет	19
51–60 лет	8
61–80 лет	7

Таблица II

Характеристика образования православного духовенства РА

Образование	Численность
Среднее (гражданское)	11
Высшее (гражданское)	7
Семинария	48
Академия	3

Как показывают табл. I–II, православное духовенство в РА является молодым и малообразованным. Мы видим, что в епархии всего три человека имеют высшее духовное образование, а большинство остальных священников – заочное духовное образование. Более того, формально у местного духовенства есть назначенный епархией духовник, но, как отмечают сами священники, в реальности им не с кем поговорить на духовные темы и исповедаться, поэтому священник может сказать про себя: «Я – самородок».

Кроме того, в РА также есть проблема «местного» происхождения. Многие священники не являются исконно местными жителями Северного Кавказа. Доля священников «казачьего» происхождения в православных храмах Адыгеи незначительна. Многие священники в силу целого ряда причин проживают не в тех местах, где находятся церкви, в которых они служат, а в ближайших крупных городах – Майкопе, Белореченске, Краснодаре, Ставрополе, Черкесске. В результате такой ситуации священники бывают в станицах наездами, в основном для совершения треб и не участвуют в повседневной жизни станиц. Разумеется, подобные обстоятельства не могут добавить авторитета православной церкви на Северном Кавказе, хотя понять священников можно – жить в станицах действительно трудно.

Особо следует остановиться на поведении священников. Вся их деятельность в станицах и селениях проходит на глазах станичников, и если их поведение, как выражаются сами казаки, «не сильно нравственное», то отношение к таким священникам бывает открыто негативное. Например, рассказывает станичный атаман и директор казачьего музея казак В. П. Зотолокин, который расположен в том же здании, что и церковь, – двери располагаются по соседству: «В течение 1990–2000-х гг., когда постепенно в станице был открыт храм, в нем сменилось несколько настоятелей. Мы им давали строительные материалы для реконструкции храма, а они использовали их не по назначению: либо брали себе эти материалы для домашних нужд, либо продавали». Атаман ездил в епархию и просил убрать таких православных «деятелей». Есть и удивительные примеры настоящего духовного подвига и энтузиазма, например, настоятель Ильинского храма о. Александр (Соболев) был назначен в ст. Дондуковская (РА) и он начал с самого начала жить в станице, вначале снимал жилье, потом приобрел свой дом и постепенно снискал уважение и авторитет станичников, в том числе и бизнесменов. Последние активно помогают священнику восстанавливать церковь. Он рассказывает: «Первое время было трудно даже ходить в магазин – сельчане проверяли, что мы покупаем, и судачили о нас. Мы живем *жизнью станицы*».

Основная часть сельских казачьих православных общин – это пожилые люди, в основном женщины. Молодежи в храмах почти нет, поскольку, во-первых, самой молодежи мало и в населенных пунктах, а, во-вторых, как выразилась русская журналистка, «молодежь живет в своей среде, в которой православие непопулярно». Обычно на вечернюю службу приходят 5–7 чел., а на воскресную литургию – до 40 чел. Много народу бывает лишь на престольных праздниках, когда в один храм съезжаются наиболее активные прихожане со всей республики.

В этот день действительно бывает полный храм и потом устраивается общая трапеза, организуемая женщинами. Отсутствие молодежи в станицах республик Северного Кавказа объясняется тем, что они предпочитают уезжать как на учебу, так и на работу. Экономическая ситуация в станицах и русских селениях крайне тяжелая. Гиагинская (РА) в советские годы была одной из цветущих станиц – в ней было несколько «градообразующих» предприятий – три колхоза, сахарный завод, молокозавод. Сейчас из всего этого действует молокозавод, на котором работает всего 200 чел., а в станице проживает 9 тыс. чел. Поэтому в настоящее время у жителей станицы наблюдается большое отчаяние и многим «просто не до храма». В станице нет рабочих мест – 90 % населения уезжает на заработки в Краснодарский край и отсутствует дома по полгода.

Для местных казаков «светский» уклад жизни важнее «внимательного отношения к православию». Вот как говорит атаман ст. Келермесская (РА) В. П. Затолокин: «Православие должно обслуживать казаков», т. е. священники должны в первую очередь добросовестно исполнять необходимые для казаков требы. Эта тенденция хорошо видна на примере одного внутрицерковного и одновременно внутриказачьего конфликта, имевшего место в одной из станиц Карачаево-Черкесии. В одной станичной церкви было два священника – пожилой о. П. и молодой о. В. Второй священник хотел быть первым, из-за чего конфликтовал с первым, в результате его отлучили от православной церкви. Он создал новую церковь в своем доме и стал там проводить альтернативные службы. Станичный атаман поддержал о. П., а районный атаман В. Н. – о. В. Последний рассказывал нам: «...о. В. соблюдает, как положено, все обряды, а остальные, так называемые православные священники, священники РПЦ, – не всегда, так как они все время чем-то заняты. О. В. – тоже православный, только относится к зарубежной церкви». В. Н. приводит один случай: «Шесть лет назад умер мой тесть, и мы хотели провести обряд отпевания. Мои родственники пришли к православному священнику с просьбой сделать это, а он сказал, что ему некогда – у него “картошка”. Тогда они пошли к о. В., и он охотно откликнулся, приехал домой и совершил отпевание». Недавно В. Н. вновь обратился к о. В. с просьбой совершить для его дочери обряд венчания. Последний с удовольствием это сделал. Это вызвало огромный скандал в казачьем сообществе, и В. Н. это стоило его должности районного атамана – он ее лишился.

В 1998 г. *Н. А. Митрохин* писал в своей статье «Православие на Северном Кавказе»: «Казаки – непременные участники всех парадных мероприятий, проводимых с участием архиереев, они поддерживают порядок во время больших церковных праздников, приглашают священников на свои “круги”, присягают, целуя хоругвь», но дальше декларации приверженности православию дело не продвигается. Реальное воцерковление не происходит. «Казаки в церковь не ходят» (Митрохин, 1998. С. 52). Как мы видим, религиозная жизнь казаков на Северном Кавказе со временем не меняется.

В деятельности православных священников Карачаево-Черкесии и Адыгеи миссионерство как одна из ключевых форм деятельности религиозных организаций, имеющей целью обращение неверующих или представителей иных религий в православие, занимает крайне малое место. С одной стороны, священники стремятся окрестить как можно большее число людей – жителей республики, например, практикуется массовое крещение в местных реках (ст. Сторожевая, КЧР), а с другой стороны, дальнейшую работу с новообращенными священники ведут относительно редко и плохо. Поэтому типичное явление – человек совершает обряд крещения, венчается, крестит своих маленьких детей, и... перестает посещать храм. Между тем, как нам представляется, местные священники мало обращают внимания на разнообразные возможности, которые предоставляет жизнь для проведения миссионерской деятельности. В Майкопской и Адыгейской епархиях есть пример грамотного и вдумчивого проведения миссионерской деятельности, который мы наблюдали в ст. Дондуковская (РА). Настоятель местной Ильинской церкви постепенно сумел привлечь в свой приход значительное число молодых семей, используя для этого различные способы, даже самые незначительные. Например, внутри ограды храма своими руками священник поставил детскую качалку для того, чтобы во время посещения родителями церкви, дети могли покрутиться на ней. Для детей при храме организованы различные кружки детского творчества.

Для большинства храмов Адыгеи и Карачаево-Черкесии характерно почитание одного из кавказских епископов второй половины XIX в. *Игнатия Брянчанинова*. Во многих церквях почитаются иконы *Николая II и членов его семьи* как великомучеников. Есть и местные святые, например, в Свято-Михайловском монастыре (РА) почитается его основатель *Мартирий*. На Северном Кавказе во многих храмах чтут местного святого *Феодосия Кавказского*. Феодосий (даты его жизни считаются 1841–1948 гг.???) был местным священником, с очень противоречивой биографией. Его почитание не благословляется Комиссией по канонизации новомучеников Русской Православной Церкви, однако мы встречали книги, видеокассеты и иконы Феодосия Кавказского во многих храмах КЧР и РА (ст. Гиагинская, например). Есть храмы, где свя-

щенники вполне осознанно отказываются от этого «святого», например, Ильинский храм в ст. Дондуковской.

Местное православное духовенство КЧР и РА на протяжении 1990–2000-х гг. раздирали внутренние конфликты, которые в значительной степени ославляют и без того невысокий авторитет станичных священников. Так, до сих пор у всех в памяти и на слуху конфликт, происходивший на протяжении ряда лет в конце 1990-х гг. между руководством епархии, настоятелем Никольского храма о. В. и молодым священником В. (КЧР).

Есть в республиках русские общественные движения, чья идеология не опирается напрямую на православие, в частности, в КЧР – общественное движение «Русь» (руководитель Н. Н. Хохлачев), но оно слабое, руководство движения не стремится сотрудничать с республиканским казачьим движением, считая его «продажным». Важно подчеркнуть, что все руководители – и движения «Русь», и казачьи атаманы – говорят о том, что в КЧР любая попытка защищать русских рассматривается местными властными, силовыми и юридическими властями как «разжигание межнациональных отношений».

Следует отметить, что в республике Адыгея наблюдаются случаи крещения адыгейцев, например, одна пара приезжала в ст. Дондуковская (РА), где прошла в Ильинской церкви обряд крещения. У супругов не было детей, и они решили креститься в надежде, что Господь им дарует детей (больше в этом храме они не появлялись). Обычно адыгейцы совершают обряд крещения втайне от своих многочисленных родственников – мусульман. Адыгейцы иногда обращаются к православным священникам для совершения треб – освящения домов, машин, приходят за освященной водой, для освящения куличей на Пасху, просят священников помолиться за путешествующих и т. д. В Майкопе есть адыгейцы, принявшие обряд крещения. Нам рассказывали прихожанки Свято-Троицкого храма в Майкопе (РА) случай, как один 70-летний адыгеец решил стать казаком, а те ему сказали, что для этого надо креститься, и он согласился.

Исследование, с одной стороны, конфессионального фактора в жизни казаков Северного Кавказа, с другой – этнического (казачьего) фактора в жизни православных этого региона показало особую значимость фактора идентичности для казачьих общин. Как нам представляется, православное присутствие на Северном Кавказе во многом для населения ассоциируется с российским присутствием, с присутствием российской власти, и ярким символом этого стало установление при въезде во все населенные пункты, в которых проживают русские и казаки, поклонных крестов.

Ценностные ориентации казаков и русских Северного Кавказа, безусловно, связаны с православной этикой, однако пока данная корреляция незначительна. С одной стороны, как метко заметил настоятель Свято-Афонского мужского монастыря (РА), «духовные потребности мирян больше того, что может дать православное духовенство в настоящее время», а с другой – в силу ряда причин в казачьем и русском обществах Северного Кавказа православная этика «не работает», остается лишь позитивной идеей, претендуя на национальную (казачью) идею. Формирование этнокультурной и конфессиональной идентичности русских и казаков на Северном Кавказе в будущем должно быть связано с повышением влияния и авторитета православной церкви. *Н. А. Митрохин* отмечает, что у православного духовенства есть претензии к казакам Северного Кавказа: «...они лезут в наш монастырь со своим уставом». «Казаки имеют собственное мнение по многим церковным вопросам, пытаются навязывать епархиальным управлениям свое понимание кадровой политики», поэтому отношения между казаками и православным духовенством можно назвать «прохладными». Между тем, как нам представляется, роль духовенства в этом союзе главная. *Н. А. Митрохин* подчеркивает, что «резервы православной инфраструктуры в епархиях северокавказского региона исчерпаны еще не полностью» (Митрохин, 1998. С. 53–54).

Неправославное христианство на Северном Кавказе в постсоветский период. Христианство является одной из крупнейших религий Северного Кавказа, имеющей прочные позиции не только на севере региона, но и на юге, где преобладает население, традиционно исповедующее ислам. На основе архива Уполномоченного Главы Карачаево-Черкесской Республики по связям с религиозными организациями и полевых этнографических материалов автора мы планируем осветить современное положение христианских неправославных течений, распространенных на Северном Кавказе вообще и в Карачаево-Черкесской Республике и Адыгее в частности.

Таблица III

Христианские религиозные организации в Карачаево-Черкесской Республике (на 1 января 2011 г.)

№ п/п	Конфессия (деноминация, культ)	Кол-во организаций	Число групп	Всего общин
Православие				
	Русская Православная Церковь	26	2	28
	Истинно-Православная церковь	–	3	3

Окончание табл. III

№ п/п	Конфессия (деноминация, культ)	Кол-во организаций	Число групп	Всего общин
Монофизитство				
	Армянская апостольская церковь	–	1	1
Протестантизм				
	Евангельские христиане-баптисты	6	9	15
	Христиане веры евангельской–пятидесятники	2	10	12
	Свидетели Иеговы	2	5	7
	Адвентисты седьмого дня	1	2	3
	Евангелическо-лютеранская церковь	1	0	1
	Церковь «Живой поток» (последователи Вочмана Ни)	–	1	1

Евангельские христиане-баптисты. После того как распался Советский Союз и были сняты ограничения на религиозную деятельность, разделение евангельских христиан-баптистов не было преодолено. В Карачаевске, Усть-Джегуте и Черкесске продолжают работать Дома молитв Совета церквей ЕХБ, теперь они стали обустроенными и действуют открыто. «Братское» общение с баптистскими общинами из Российского союза ЕХБ было восстановлено. Проводились совместные евангелизационные кампании в соответствии с идеалами атеистического периода – с молодежным хором, раздачей библий и проповедью. Показательным в этом отношении был приезд в 2004 г. в г. Черкесск миссионерской группы из г. Харцизска под руководством Е. Н. Пушкова. В ходе подготовки приезда миссионеров местная группа «отделенцев» активно контактировала с властями, демонстрируя свою открытость. Поскольку община не имела юридического лица, в качестве организатора выступила зарегистрированная община из Российского союза ЕХБ. Был арендован зал центрального кинотеатра «Россия», собралось около 400 чел., большей частью из зарегистрированных общин. Тем не менее, несмотря на возобновление конструктивных отношений с властями и зарегистрированными баптистскими общинами, «отделенцы» предпочитают сохранять независимое положение и к официальной регистрации не стремятся. На сегодняшний день в республике действуют 14 общин евангельских христиан-баптистов; 8 из них официально зарегистрированы и имеют статус юридического лица; 6 довольствуются статусом религиозной группы – из них 3 входят в структуру Совета Церквей ЕХБ (Архив, 2009). Кроме того, несколько бывших членов баптистских общин Усть-Джегуты и Черкесска образовали группу последователей проповедника Вочмана Ни – основателя одного из многочисленных вариантов евангельского христианства.

В основном у евангельских христиан-баптистов достаточно крепкие самодостаточные общины в 60–100 чел., которых объединяет не только религия, но зачастую совместная работа в строительных бригадах. Как правило, община располагает добротным Домом молитвы и ведет достаточно активное социальное служение, формы и направления которого в постсоветский период существенно расширились.

Более распространенным стало получение и распределение зарубежной гуманитарной помощи. Наиболее крупный гуманитарный проект был реализован местными баптистскими общинами совместно с норвежским проповедником Арилом Эдвардсеном, который дважды посетил республику – в начале 1990-х (вероятно, в 1991 г.) и в 1998 г. В программу пребывания входила проповедь в массовой аудитории, раздача бесплатных Библий и оказание гуманитарной помощи социальным объектам. В отличие от прочих евангелизационных кампаний эти проходили практически на официальном уровне. Крупный миссионер, владелец международного христианского телевизионного канала, Эдвардсен был принят руководством республики. После первого приезда в Карачаево-Черкесию им был организован официальный визит делегации республики в Норвегию. Через миссию «Свет народам» в 1997 г. им была оказана значительная помощь: Дому ребенка в г. Черкесске и школе-интернату в с. Хуса-Кардоникская Эдвардсен выделил по 20 млн руб., двум инвалидам предоставил по инвалидной коляске, несколько многодетных семей получили от него обувь и одежду. Во время второго визита, в мае 1998 г., им было обещано предоставить республике мобильный госпиталь. На этот раз проповедник не ограничился посещением республиканского центра, а устроил двухдневную евангелизацию среди мусульманского населения в г. Карачаевске. Ему были предоставлены аудитории в мэрии г. Карачаевска и в местном университете. В обоих залах на его проповедь собиралось по 500 чел., из которых лишь около 50 составляли местные баптисты. Проповедь Эдвардсена была рассчитана на местное карачаевское население, в служении ему помогали миссионеры-балкарцы. Неудивительно, что его визит вызвал бурное негодование среди местного населения. Салафитская группа г. Карачаевска попыталась устроить обструкцию прямо во время проповеди, а городская карачаевская интеллигенция обратилась с гневным письмом на имя главы республики. Помимо Норвегии гуманитарные грузы направляли Германия, США. Это были и про-

дуктовые наборы, и одежда. Однако этот вид социального служения, широко распространенный в 1990-е гг., в 2000-е сошел на нет: необходимость проходить сложную и дорогостоящую таможенную процедуру делала получение гуманитарных грузов весьма хлопотным и затратным мероприятием. Кстати, обещанный Эдвардсеном госпиталь, застряв на таможне, так и не смог пересечь российскую границу. Часть общин вовсе отказалась от активного социального служения, сосредоточившись на собственно религиозной деятельности. В настоящее время заметную работу ведет Духовно-культурный благотворительный центр «Вечность», расположенный в г. Усть-Джегута, и церковь «Новая жизнь» в г. Карачаевске. Церковь «Новая жизнь» в г. Карачаевске ведет работу с сиротами: местный пресвитер организовал семейный детский дом, дав приют десятку разновозрастных ребятишек. Каждое лето организуются молодежные лагеря.

Социальный портрет баптистской общины можно рассмотреть на примере черкесской городской организации. Она насчитывает полтораста человек. В основном это новообращенные. Большинство – славяне. Однако есть и представители горских народов. Кстати, один из пресвитеров карачаевской городской общины – карачаевец. Из приходящих на службу большинство составляют женщины, многие из которых – многодетные матери. Однако мужчины составляют прочный костяк общины, как духовный, так и экономический. Службу посещает два десятка разновозрастных детей. Подростки носят специальные галстуки – голубые, с изображением корабля, напоминая об экспериментах начала прошлого века по созданию бапсомола. Для группы глухонемых делается сурдоперевод.

Христиане веры евангельской – пятидесятники. Несмотря на массовый выезд в 1988–1989 гг. пятидесятников в США и Канаду, община сохранилась, к оставшимся пятидесятникам примкнули единоверцы, приехавшие из других регионов (эмигрирующие старались продавать дома «своим»). Впоследствии община раскололась, однако общее количество верующих так и не превысило полусотни человек. Этому способствовал как традиционно замкнутый характер церкви, так и достаточно строгие порядки, включавшие запрет на просмотр телепередач, чтение светской литературы, употребление косметики и т. п. Значительно более активную социальную позицию заняли харизматические неопятидесятнические церкви, появившиеся в республике в 1990-е гг. Первую харизматическую общину в 1993-м г. образовала группа, отколовшаяся от черкесской баптистской общины и создавшая новую религиозную организацию – «Церковь Полного Евангелия» (Архив, 1993). Наиболее заметную роль на конфессиональном поле в КЧР играют две пятидесятнические церкви – «Церковь Божья» и «Исход». Обе церкви делают акцент на работу среди наркозависимых, используя в целом одинаковые принципы: желающих избавиться от наркотической или алкогольной зависимости перевозят в один из реабилитационных центров, в которых они проводят несколько месяцев, соблюдая жесткий режим труда и молитвы под постоянным наблюдением работников центра, как правило, бывших наркоманов. Основным отличием от обычных центров лечения наркомании является то, что, пациенты, освободившись от зависимости, обычно не возвращаются домой, где они, как правило, попадают в прежнюю среду и вновь «садятся на иглу». Отрекаясь от прежней жизни, они обретают новую в религиозной общине. Здесь они находят работу, дом, а часто и семью.

Свидетели Иеговы. Девяностые годы стали временем либерализации законодательства о свободе совести и дали возможность Свидетелям Иеговы легализоваться: в 1994 г. зарегистрировалась община в пос. Курджиново, в 1998 г. – в г. Черкесске. Были построены и Залы Царств. Весьма показательным было строительство молитвенного дома в г. Черкесске в 2000 г. Деньги на строительство община получила в кредит от Управленческого центра. Строительство велось по специально разработанной скоростной технологии. Весь 1999 г. ушел на приобретение и оформление земельного участка, проведение необходимых согласований. В конце года был вырыт котлован и залит фундамент. Собственно строительство заняло 8 дней – с 26 марта по 2 апреля. Весь процесс строительства был разбит на этапы, для каждого была закреплена бригада соответствующих специалистов. Строители приезжали и уезжали по строгому графику: каменщиков сменяли электрики, электриков – штукатуры, штукатуров – маляры и т. д., до тех пор, пока рядом с Залом Царств были разбиты клумбы, а в туалетах повешены полотенца. Понятно, что строители, являясь единоверцами, работали бескорыстно, «за кров и стол», которые предоставляли им местные верующие. В результате стоимость строительства оказалась вдвое меньше сметы. Выход из подполья, естественно, привел к определенному увеличению числа последователей этого религиозного течения, которых в республике теперь насчитывается около 300 чел. Однако это увеличение произошло за счет формирования общины в г. Черкесске, а с середины 90-х гг. рост практически прекратился. Обе общины, насчитывая примерно по 150 чел., достаточно стабильны. Внешняя активность ограничивается проповедью «от двери к двери», внутри общин сформированы группы глухонемых, в Черкесской общине существует армянская группа. Помимо богослужений, в Залах Царств проводятся «школы теократического служения», на которых верующих

обучают методам ведения проповеди. Несмотря на достаточно спокойные межконфессиональные отношения в республике, Зал Царств Свидетелей Иеговы неоднократно становился жертвой местных вандалов, не афиширующих, впрочем, свою религиозную принадлежность. Наиболее громким, в прямом и переносном смысле, стал случай с гранатой РГД-5, брошенной за ограду Зала Царств неизвестными в марте 2004 г. Обошлось без жертв, но верующим пришлось значительно усилить охрану. «Бомбистов» так и не нашли.

Евангелическо-лютеранская церковь. Появление лютеранской общины в республике непосредственно связано с активизацией в 90-е гг. местной немецкой диаспоры. Материальная и политическая поддержка со стороны Германии, установление связей с родиной стали хорошим стимулом для подъема национального самосознания немцев, волей судьбы оказавшихся в республике и порядком обрусевших. В республике была образована культурная автономия немцев, а в 2000 г. зарегистрирована лютеранская община. Обе организации действовали в тесном тандеме и активно занимались восстановлением утраченных культурных и духовных корней. Апогеем их деятельности стало создание в республике «Российско-немецкого дома», под который было передано здание бывшего детского кинотеатра. В зрительном зале бывшего кинотеатра долгое время собиралась лютеранская община. Были предприняты попытки оживить религиозную жизнь республики: окормлявшему общину краснодарскому пастору Шпитту удалось даже собрать на совместное богослужение местных баптистов и пятидесятников. Конечно же, религия была только одним из направлений работы «Российско-немецкого дома», были попытки реализовать и серьезные экономические проекты. Так, немецкая община организовала официальный визит в Германию Президента КЧР В. М. Семенова, который подписал соглашения, предполагающие привлечение в республику немецкого бизнеса. К сожалению, политические неурядицы «похоронили» экономические начинания, а внутренние противоречия в диаспоре поставили крест на культурной автономии. Между тем лютеранская община выстояла. Не имея пастора и молитвенного дома, лишившись материальной поддержки, поступавшей по линии немецких общественных организаций, церковь удержалась на плаву благодаря усилиям энтузиастов – учителей из этнических немцев. Лютеранское духовенство бывает здесь наездами, а богослужения проводятся мирянами на дому и, как правило, по праздникам, однако именно здесь поддерживается огонек немецкой культуры. На праздничные богослужения собирается 20–30 чел., служба проходит на русском языке, но гимны поются и на немецком. На службу приходят и коллеги местных лютеран по учительской корпорации, поскольку помимо собственно богослужения бывает насыщенная культурная программа, часто с приглашением камерного ансамбля, исполняющего «живую» классическую музыку. Община поддерживает отношения с Синодом ЕЛЦ в России, одна из активисток является членом Синода. Отношения установлены и с лютеранскими общинами в других регионах. Дети верующих участвуют в летних молодежных лагерях. Поступление одного из юношей в семинарию дает надежду, что в общине, наконец, появится свой пастор.

Православное сектантство. Истинно-Православная Церковь (катакомбники). Демократизация российского общества привела к росту протестных настроений внутри такой консервативной структуры, как Русская Православная Церковь. Либеральное законодательство не препятствовало созданию альтернативных религиозных центров, а открывшиеся границы дали возможность работать на территории России зарубежным религиозным организациям. Конфликт одного из священников РПЦ с правящим архиереем привел к появлению в 1992 г. в ст. Зеленчукской фрондирующей общины, сменившей за время своего существования несколько юрисдикций – Русскую Православную Зарубежную Церковь, Русскую Православную Свободную Церковь, пока, наконец, мятежный священник не принял постриг и не стал епископом Российской Истинно-Православной Церкви. Образованная в 1996 г. и создавшая собственный епископат при помощи Украинской автономной православной церкви, новая религиозная структура не имела прямого отношения к старым катакомбникам, пронесших сквозь десятилетия ненависть к советской власти и поддерживавшим ее «сергианцам». У нас нет сведений о том, как в действительности сложились отношения между старой и новой общиной ИПЦ – и та, и другая не отличаются открытостью. Однако они имеют общего «врага» – Московский патриархат и объективно заинтересованы в сотрудничестве: катакомбники остались практически без рукоположенного духовенства (епископ Нектарий, проживавший в г. Черкесске, умер в июне 2005 г.), а новые православные диссиденты нуждались в обиженной официальной церковью пастве. Поэтому мы можем предполагать, что общины слились в единую структуру.

Вероятно, с одним из течений Истинно-Православной Церкви связана и община последователей игумена Василиска в с. Хасаут Греческое. Сам Василиск (Василий Серый), бывший православный священник, вышел из-под юрисдикции РПЦ и образовал в поселке Нижнеэтокском на Кавминводах монашеский скит. В основе проповеди Василиска – апокалиптические пророчества, призыв к отказу от

паспортов, ИНН и т. п. По мере увеличения числа последователей Василиск открывал новые «филиалы», для одного из которых был приобретен дом на окраине села Хасаут-Греческое. Здесь поселилась два десятка беспаспортных последователей Василиска, развернувших никем не санкционированное строительство объектов непонятного назначения, вызывая негодование местного православного населения и постепенно нарастающее раздражение властей.

Несмотря на то что северокавказских горцев активно «переманивают» в ислам, что естественно, – ислам является традиционной религией для всех народов региона, тем не менее пропаганду христианских ценностей, по мнению протестантских руководителей, легче вести именно среди них. Почему? Ниже мы постараемся ответить на эти и другие вопросы, связанные с переходом горцев как в православие, так и в протестантизм.

В целом, как рассказывали информаторы, около 100 адыгейцев только в одном Майкопе обратились в протестантские религиозные объединения. Подобные шаги горцев вызывают достаточно резкую реакцию осуждения как со стороны родственников тех, кто принял христианство, так и со стороны исламских лидеров и простых мусульман – соседей и тех же родственников-мусульман, поэтому чаще всего горцы являются тайными членами христианских движений.

Надо отметить, что те горцы, кто посещает данные организации, происходят из национально-смешанных семей, например, отец – адыг, а мать – русская, или семейные пары, где супруги относятся к разным народам, например, муж – татарин, а жена – адыгейка. Мы встречали таких членов христианских объединений. Интересно, что среди адыгейцев-христиан есть такие, чьи отцы были в советские годы мусульманскими лидерами – эфендиями (муллами). Важный аргумент пропаганды христианства среди горцев Северного Кавказа – распространение того факта, что еще до принятия ислама многие народы региона в период Средневековья были христианами, например, адыги. Нам привели случай перехода адыгейки из исламской религии в протестантскую. Женщина была замужем, муж – мусульманин, она тоже считала себя мусульманкой. Но ее так сильно потянуло в протестантскую церковь, что она ушла от мужа, забрала детей. Муж не вынес такого «позора» и вскоре умер. В поселке Краснооктябрьском баптистом является казах. Вначале он посещал мечеть, но затем прочел Библию и перешел из ислама в христианство.

Обратимся к интервью с одним из прихожан Дома молитвы евангельских христиан – баптистов. Р. – татарин, а жена у него – адыгейка, бывшая мусульманка. Родители жены – мусульмане. Р. – бывший военный, воевал в Афганистане, герой России. Он долго находился в поиске веры, изучал буддизм, другие религиозные и духовные направления. Р. так объяснял причины своего религиозного выбора: ислам непонятен из-за незнания арабского языка. По его мнению, «невозможно молиться на непонятном языке». Коран на русском языке он не признает, арабского языка не знает. Р. считает, чтобы понять и принять ислам, «надо жить в мусульманской стране, чтобы было мусульманское окружение. Иначе вера в Аллаха ниоткуда не возьмется». Интересно, что его дед и прадед были исламскими деятелями. Интересовался Р. и православием, но многое в православии показалось ему непонятным. Среди прихожан Дома молитвы евангельских христиан – баптистов есть одна женщина, наполовину русская, наполовину адыгейка, другая женщина – адыгейка, приехавшая жить в г. Майкоп из Турции.

Прихожанка православной церкви рассказывала нам, что знает несколько случаев перехода из православной церкви в протестантскую русских жителей республики Адыгея. Женщина подчеркивает, что ее удивляет следующее: переходят не только молодые, но и пожилые женщины. По ее мнению, главная причина этого – финансовая. Она считает, что в протестантских церквях прихожанам оказывают различную социальную помощь. И вторая причина – с помощью гипноза в протестантских церквях осуществляется «зомбирование» людей.

Есть случаи и перехода из протестантской церкви в православную. Опишем их. У нас было два интервью с подобными людьми. Интересно интервью с одной молодой прихожанкой православной церкви г. Майкоп. Она недавно стала посещать православную церковь, а ранее долгое время была членом баптистской церкви Адыгеи. Проповеди местного пресвитера производили на нее колоссальное впечатление, ей даже хотелось сразу после публичных выступлений ораторов записаться в их ряды и привести туда дочку, которой также нравилось у них бывать. Девушка отмечала, что «в 1990-е гг. в Адыгею часто приезжали такие ораторы из-за границы читать проповеди. На такие собрания собиралось много народу. Во многом это происходило из-за отсутствия православной жизни в Адыгее и из-за незнания традиционных религий, а также из-за необразованности. В настоящее время ситуация изменилась. И хотя по-прежнему баптисты проводят свою миссионерскую деятельность, но теперь она воспринимается слишком навязчивой».

Другой случай. Информатор А., которому уже за 50 лет, по профессии психотерапевт, поэтому привык анализировать свои и чужие психологические особенности душевного состояния. Ранее он посещал церковь «Свидетелей Иеговы», однако разочаровался в ней: по его мнению, в молельных домах

«свидетелей Иеговы» неоднократно «сталкивался с подменой смыслов и разным толкованием Библии». Тем не менее он понимает, что церкви «Свидетелей Иеговы» удается привлекать население. По словам информатора, «они подкупают дружественным отношением, любовью, вниманием. Когда ты к ним приходишь, первым делом они обязательно побеседуют с тобой, внимательно выслушают тебя, вникают в твои проблемы и стараются решить их. Они просто обволакивают вниманием – и ты уже «у них». Например, информатору очень понравилась евангельская церковь «Надежды». Вот как он описывает: «Современное здание, построенное в западном стиле, похоже на костел. Внутри очень красиво, диваны, отделанные бархатом, на них все сидят (сидя проводится и сама служба) и смотрят на сооруженную в комнате сцену, с которой выступает священник. Говорит он через микрофон, но до его выступления на сцене появляется небольшой ансамбль – группа людей исполняет евангельские псальмы на "молодежный лад". Грубо говоря, это переложение священных текстов на мелодию» – пояснил информатор. Далее он продолжил: «Это так бодро, весело, ну как на концерте, очень громко играет музыка, молодежь собирается. В городе скучно же, а тут, напротив, весело. Кстати, среди членов общины немало и стариков, пенсионеров. В церкви продаются кассеты с этими песнями, можно купить и дома слушать. Я тоже несколько раз покупал». Кроме этого, мой информатор рассказал, что «завлекают также хорошей своей организацией, толковой проповедью, проведением интересных собраний». Тем не менее в этих протестантских домах собирают «десятину», т. е. человек должен десятую часть своих доходов принести в церковь. В период, когда он посещал эту церковь, он был свидетелем происходивших «чудес». Информатор рассказывал: «Я сам видел, как случаются чудеса, как в критических ситуациях люди поправлялись, вставали на ноги после болезни, у кого-то все налаживалось в семье, исчезали проблемы, так что вероучения различных сект тоже чудодейственны, они помогают человеку». Надо отметить, что информатор как человек любознательный «присматривался» и к исламу, но ему не приглянулись две вещи: во-первых, в мечети надо снимать обувь перед входом, а во-вторых, мечеть посещало мало народу.

В настоящее время в силу ряда факторов христианские движения набирают силу и влияние в северокавказском обществе, проводя мощную пропаганду как среди русского населения, так и среди горцев. Популярность христианских движений среди коренных северокавказских народов региона, для которых «традиционной» религией является ислам – особо интересное явление. Причем по нашим полевым этнографическим материалам видно, что горцы в своих духовных исканиях обращаются как в православные, так и в протестантские церкви.

Во-первых, подчеркнем, что, по результатам наших опросов, можно сделать вывод о том, что в республиках Северного Кавказа процесс формирования религиозной идентичности проходит медленно – лишь незначительная часть населения республик определяет себя как принадлежащие к какой-либо религии. Поэтому большинство населения пытается формировать свою идентичность на основе культурной (национальной) или, как нам кажется, гражданской (светской) идентичности.

Сильной стороной протестантских церквей является активная пропаганда своего учения. Члены общины действительно часто ходят по дворам, квартирам и раздают различные информационные материалы. Многие «нетрадиционные» христианские организации имеют реабилитационные центры, например евангельское движение «Исход» в республике Адыгея. Евангельские христиане – баптисты в Майкопе (столице Адыгеи) тоже имеют свой реабилитационный центр – в поселке Тульская: в нем 10 «проблемных» мужчин (алкоголиков, наркоманов) живут и трудятся бок о бок с «братьями» – членами общины. Христианские движения стремятся оказывать социальную помощь и одновременно проводить пропаганду своих идей в социальных учреждениях; в частности, баптисты работают с интернатом в ауле Шовгеновский в республике Адыгея.

По мнению старшего пресвитера баптистов *Д. Д. Кадацкого* (г. Майкоп, Республика Адыгея), у христианских «нетрадиционных» религиозных объединений по сравнению с другими религиями имеются «идеологические платформы». Пресвитер говорит следующее: «Вся жизнь наша сопряжена с Богом, поэтому мы не можем выделить сферу жизни, где мы могли бы общаться с представителями других религий в бытовой жизни. В силу этого межконфессиональный диалог между людьми, исповедующими разные религии, вообще невозможен». Представители религиозных христианских организаций, стремящихся к формированию религиозной идеологии, опираются исключительно на моральные ценности своего религиозного направления.

В современных республиках Северного Кавказа представлен достаточно широкий спектр религиозных объединений, исповедующих различные направления христианства. Доминирование Русской Православной Церкви не исключает существования протестантских организаций, а также небольших фрондирующих православных общин, входящих в структуру Истинно-Православной Церкви. При этом существующая сегодня палитра существенно отличается от той, которая была здесь в середине и даже во второй половине XX в. Духовные христиа-

не и последовали других вариаций православия – старообрядцы, имяславцы, иеговисты-ильинцы не выдержали испытания временем и исчезли из религиозной жизни республики. Зато спектр протестантских деноминаций значительно расширился, существенно усилилось их влияние на общественную жизнь. Повысилась активность оппозиционных православных общин. Появились этнически ориентированные религиозные организации. Различия в догматике и социальных представлениях, а также особенности генезиса обусловили автономность существования даже родственных христианских течений. Редкие эксперименты некоторых протестантских общин проводить богослужения совместно с близкими по вероучению церквями не имели продолжения. Наличие альтернативных христианских течений вызывает определенные опасения и в обществе, и у доминирующих конфессий, и у властей. Однако очевидно, что пестрота республиканской религиозной палитры явилась объективным следствием развития общества и, в общем, неизбежна в условиях демократического общества.

Важно подчеркнуть, что по результатам наших опросов в ходе полевой этнографической экспедиции мы можем сказать, что ни национальные, ни религиозные традиции не в состоянии оказать существенное и главное – грамотное сопротивление мощным процессам так называемой культурной мировой глобализации. По нашему мнению, происходящие в современных горских обществах процессы намного глубже и имеют целый комплекс аспектов, которые должны быть учтены при исследовании такого сложного вопроса, как процесс формирования современной идеологии на Кавказе.

Безусловно, одной из ключевых причин формирования нового общества без твердых моральных принципов, идей и ценностей стали новые экономические условия, в которых Адыгея и КЧР наряду с другими регионами РФ оказались в начале 1990-х гг. Тяжелое экономическое состояние, бедность, безработица привели к тому, что в обществе главной ценностью стали деньги, возможность их заработать, в результате чего стали развиваться мощные миграционные процессы – выезд северокавказских народов за пределы республик на короткое или длительное время на заработки.

Список литературы

Архив Уполномоченного Главы КЧР по связям с религиозными организациями. Информация о деятельности органов государственной власти Карачаево-Черкесской Республики в сфере взаимодействия с религиозными объединениями, 2003–2010 гг.

Ежегодный отчет Епархиального управления Майкопской и Адыгейской епархии, 2009.

Митрохин Н. А. Православие на Северном Кавказе // Фактор этноконфессиональной самобытности в постсоветском обществе / отв. ред.: Б. Олкотт, А. Малашенко. М., 1998.

И. А. Морозов, М. Л. Бутовская

СОЦИАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО И РЕГУЛЯЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ: ТРАДИЦИОННЫЕ И СОВРЕМЕННЫЕ КОНТЕКСТЫ

Одной из важнейших проблем современной антропологии является вопрос о трансформации традиционных норм поведения под влиянием модернизации. Цель данного проекта – изучение пространственного поведения и механизмов регуляции социальной напряженности в нескольких культурах народов России, оценить их степень адаптации к изменяющимся условиям современной жизни. В рамках проекта проводились исследования по темам: «Репрезентация пространства личности в пространстве дома», «Пространственное поведение: универсалии и культурные различия», «Игровое моделирование пространства». Результаты данных исследований частично опубликованы (Личность, 2010; Морозов, Слепцова, 2011; Буркова, Феденок, Бутовская, 2010; Феденок, Буркова, Бутовская, 2010).

Репрезентация пространства личности в пространстве дома. Структурирование пространства является одной из универсалий человеческого поведения. Во всех культурах существуют этикетные нормы, регламентирующие расположение индивидов. Однако эти нормы могут значительно отличаться в разных культурах в зависимости от их статуса, возраста, пола и степени родства (Лич, 2001. С. 65). При этом важное значение имеет понятие «пространство личности». Под «пространством личности» мы понимаем жизненный опыт индивида, т. е. все позитивные и негативные опыты «присвоения окружающего», способствующие формированию индивидуального сознания. Накапливаемый индивидом опыт приводит к существенным трансформациям его личностных характеристик, как

внутренних («Я»-концепция, мировоззренческие и персональные установки), так и внешних («персона» в юнговском смысле), а следовательно, делает более сложным и насыщенным и его пространство личности.

В рамках проекта проведено исследование внешних проявлений пространства личности в традиционном и современном быту, его репрезентаций в повседневных и праздничных, обрядовых и игровых практиках. Одними из материальных отражений пространства личности могут быть способы оформления и заполнения домашних интерьеров, присутствие в них личностно значимых и индивидуально маркированных предметов (от домашних реликвий до фотографий), а также вещей, символизирующих ценностные и мировоззренческие доминанты данной личности (от икон до портретов вождей). Эта аксиологическая шкала может применяться и по отношению к другим важным локусам, в том числе и сакральным.

(Некоторые подходы к анализу семантики современных интерьеров см.: Бодрийяр, 1999. С. 21–29, 49–53 и др.; Разумова, 2001. С. 147–161; Нуркова, 2006; Морозов, 2002; Ковалева, Луков, 1998. С. 172–173; Панов, 2005; и др.) В этом контексте «вещи <...> несут духовное содержание, становятся *чувственно представшей перед нами человеческой психологией»* (курсив наш. – *Авт.*) (Безмоздин, 1979. С. 111). Данная аксиологическая шкала может применяться и по отношению к другим важным локусам, в том числе и сакральным, и имеет значение как в традиционной, так и в современной культуре, несмотря на существенное изменение статуса вещи в индустриальном и постиндустриальном обществе (Бодрийяр, 1999; Безмоздин, 1979; Топоров, 1995), где она все больше превращается из предмета, являющегося «частью личности, привычным условием образа жизни, идентичности, символизирующим жизненный путь не только данного человека, но и его социального окружения» в «функциональный компонент обычной, рутинной деятельности человека» (Голофаст, 2000. С. 59).

Хотя пространственная «материализация» личности может совершаться разными способами и, следовательно, предполагает применение очень разных исследовательских методов и подходов, наиболее эффективным в рамках социально-культурной антропологии представляется метод структурно-семиотического анализа, при котором личностные проявления изучаются на уровне предметных кодов. При использовании этого подхода мы можем выделить три способа семиотизации предметов интерьера (иконические предметы, символические предметы, предметы-индексы) в соответствии с классической триадой знаков Ч. С. Пирса (Пирс, 2000). Каждый предмет в зависимости от ситуации или социокультурных параметров интерпретатора может смещаться по «шкале иконичности» и наделяться разными дополнительными значениями. Например, семейные фотографии могут по-разному осмысляться человеком в зависимости от нескольких факторов (см., например: Нуркова, 2006. С. 47–53, 93–100, 137, 182–187). Наибольшей степенью иконичности будут обладать те из них, на которых изображены либо сами их владельцы, либо их близкие родственники, причем на изменение параметров иконичности непосредственное влияние оказывают временные и пространственные параметры. Фотографии давно умерших членов семьи или тех, кто находится в продолжительной отлучке, со временем обретают черты предметов-индексов, т. е. все в большей мере соотносятся не с конкретными личностями, а скорее с тем социально-культурным контекстом, который скрывается за ними. Такие фотографии постепенно становятся своеобразным мерилом социальности и идентичности, помогая человеку осознавать свою вписанность в социально-культурный контекст, соотносить себя с определенными социовозрастными группами и социальными стратами. С течением времени, превращаясь в реликвию, фотография может стать предметом-символом, сконцентрировавшим в себе семейные ценности и доблести, например, осознание принадлежности к аристократическому роду или родства с выдающимися личностями.

Оформление интерьера имеет много общего с костюмом. Их сближает, например, высокая степень конвенциональности. Как внешний вид, так и оформление жилого пространства обладают повышенной знаковостью, они ориентированы на прочтение социумом той информации, которую желает о себе сообщить его владелец. Если принять постулат о том, что развитие и становление личности происходит под воздействием постоянно изменяющейся социальной среды, то при сравнении этих двух типов презентации личности становится очевидным, что одежда больше подвержена влиянию сиюминутной моды и другим воздействиям и отражает кратковременные стратегии индивида. Интерьер в этом смысле более консервативен и устойчив, связан с долгосрочными стратегиями развития личности, ее идеологическими доминантами, морально-этическими установками, другими ценностными предпочтениями. Отчасти это объясняется тем, что переустройство интерьера под воздействием моды требует гораздо больших материальных затрат. Поэтому людей, склонных к частой смене домашнего интерьера, значительно меньше, чем тех, кто постоянно обновляет свой гардероб.

«Консерватизм» одежды отличается от «консерватизма» интерьера еще и тем, что одежда скорее

отражает *персональные* характеристики, т. е. тот идеологический и этический посыл, который личность *открыто* предъявляет окружающим, прежде всего, своей референтной группе. В интерьере, который имеет более «интимный» и менее публичный характер, эти посылы отражают более глубокие личностные убеждения и установки, составляющие основу сокровенного «Я». Поэтому оформление комнат имеет другой уровень символизма, носит характер зашифрованных знаков и символов. В первую очередь это, конечно, относится к «своим» комнатам, где человек проводит большую часть «личного», «интимного» времени (рабочий кабинет, детская, будуар и т. п.). В этом смысле можно говорить о разном статусе частей жилища по отношению к пространству личности, что необходимо учитывать при его анализе. Понятно, что общие комнаты – прихожая, гостиная (зал), столовая – несут на себе отпечаток «личностных карт» всех членов семьи. Хотя, как правило, доминирующими являются предпочтения и установки хозяев дома (обычно представленных старшим поколением), в некоторых случаях – и это каждый раз требует особого исследования – интерьер общих комнат может определяться вкусовыми предпочтениями представителей младшего поколения (детей и внуков). Иногда это приводит к причудливому смешению в одном интерьере разных стилей, и тогда можно говорить о «материализации» процесса культурных преобразований, совершающихся в рамках отдельно взятой семьи.

Исследование особенностей оформления комнат, закрепленных за отдельными членами семьи, заставляет обратить внимание на другой важный аспект репрезентации пространства личности в интерьере – на проявлении ее «закрытости/открытости». Как известно, приватное пространство в русской культуре в массовом порядке начинает выделяться в виде будуаров и кабинетов с начала XIX в. И одной из первых и главных границ, выделявших эти комнаты из общего пространства дома, стало ограничение в них доступа, т. е. маркирование по признаку «закрытости/открытости». И. П. Кулакова приводит множество примеров из мемуарной и художественной литературы XIX в., свидетельствующих о запрете входить без разрешения в кабинет хозяина или хозяйки дома (отца семейства, бабушки) не только посторонним лицам, но даже членам семьи – детям и женам (Кулакова, 2008). Дети обычно могли войти в кабинет лишь тайком, в отсутствие родителей: «В кабинет можно было входить без спроса, только когда папа уходил в гимназию. И то просто смотреть, ничего не трогая. В остальных же комнатах можно было бегать и играть»[1].

Конечно, в современных стандартных городских квартирах выделение особого приватного пространства даже для старших членов семьи обычно затруднено. Более того, при возможности выделения отдельной комнаты, предпочтение обычно отдается детям. «Детская» в современном стандартном жилище встречается гораздо чаще, чем «кабинет» и даже «будуар» (взрослые часто спят в общих комнатах). Поэтому наиболее яркие проявления приватности обнаруживаются именно в личных комнатах детей и подростков[2].

Интерьер, создаваемый индивидом, отражает его личные предпочтения в рамках общих модных тенденций своего времени[3]. Существует наиболее общая модель функционирования моды: «низшие» классы подражают «высшим». Например, в XIX в. новшества возникали в дворянском обществе, усваивались купечеством и мещанством, а от них распространялись в низших городских слоях и среди крестьянства. Хотя возможны и варианты массового влияния на моду низовых субкультур, как это случилось, например, в эпоху нэпа с его эклектичной и кичевой эстетикой[4]. Следование моде «удовлетворяет потребности в социальной опоре», поскольку индивид таким образом демонстрирует, с одной стороны, «присоединение к равным по положению», а с другой – «отъединение этой группы от ниже ее стоящих»[5]. При этом перестраивается сама структура личности, изменяются ее ценностные установки «параллельно с изменением социальных и межличностных структур»[6].

Причем здесь можно говорить о некой исторической специфике. Например, в допромышленную эпоху *личный выбор* был ограничен рамками традиции и на него очень большое влияние оказывало общественное мнение. Оформление интерьера определялось принадлежностью к той или иной социокультурной (столичное или провинциальное дворянство, купечество, мещанство, крестьянство), возрастной, этнической группе[7].

Обновление внутреннего пространства дома совершается постоянно, причем в некоторых случаях под влиянием моды добавляются лишь отдельные предметы обихода. Некоторые стандартные способы оформления интерьера, которые в определенную эпоху могут свидетельствовать о принадлежности к престижному социальному слою и соответствии вкусам высокой моды, в более поздние эпохи могут оцениваться негативно, как признак пошлости и безвкусицы (например, девять слоников на буфете, серванты с хрусталем в советское время и пр.) или же идеализироваться, приобретать ностальгический характер. Но в любом случае они бесспорно являются частью личностной характеристики их хозяев. Большое количество примеров такого рода можно найти в литературе XIX–XX вв.

Так, собирание в 1840–1880-е гг. «фарфоровых кукол», т. е. статуэток, привело к широкому про-

никновению в интерьер даже обычного жилого дома специальных горок и этажерок для их хранения[8]. Китайские и саксонские фарфоровые куклы в интерьере считались признаком роскоши и изысканного вкуса[9]. Уже через несколько десятилетий эти же детали, иногда в оценке тех же авторов, выступают как маркеры пошлости и дурного вкуса. «Вошла опять в моду точно так же, как старинная мебель а-ля помпадур, резьба на дереве, готическая архитектура, китайские куклы, наклейные столы и множество других вещей, на которые разорялись наши предки и которые несколько лет тому назад казались нам самыми вычурными и смешными образцами безвкусия»[10].

Однако чаще изменения происходят не постепенно, а скачками, поскольку приобретение некоторых предметов мебели заставляет полностью переделывать интерьер. Например, диван или кровать вытесняют в крестьянском доме встроенные лавки и приводят к необходимости приобретения стульев и кресел, а гардероб заменяет сундуки и лавки-«коники», служившие для хранения одежды. Все это существенно влияет на общее расположение предметов мебели и иных вещей в интерьере, что отражает и трансформацию личностных вкусов и приоритетов.

Каждая вещь, если рассматривать ее по отношению к ее хозяину-обладателю, личностно окрашена, отражает особенности эстетических предпочтений данного индивида, символизирует его стремление обозначить свою принадлежность к определенной социальной прослойке или группе, а возможно, и лидерство в ней. Вместе с тем вещь может быть «старой» в смысле накопления опыта обращения и «общения» с ней, определенного эмоционально-чувственного опыта, ассоциирующегося с ее употреблением. В контексте личной и «родовой» памяти такая вещь может приобретать различные символические значения, становиться семейной реликвией и ценностью. Аксиология вещи в данном случае не обязательно совпадает с ценностной шкалой ее обладателя, но именно при их взаимодействии проявляются важные особенности пространства личности. Более того, именно это и является причиной формирования некоторых его существенных свойств. Рассмотрим далее несколько примеров такого рода взаимодействий.

Маркером успешности и богатства могут выступать отдельные вещи, например, часы: не только «Ролекс», как у современного преуспевающего политика или бизнесмена, но и настенные, напольные или настольные, как это было характерно для домашних интерьеров XIX–XX вв. Основное предназначение часов в крестьянском обиходе – маркирование статуса хозяина дома. Поэтому часы – это, прежде всего, предмет гордости, хвастовства и любования. В современном быту символическое значение вещи как маркера успешности никуда не ушло: одно дело носить часы «Слава», другое – «Ролекс». То же можно сказать о бытовой технике, одежде, машинах. Вещь по-прежнему символична и остается «текстом» как «для других», т. е. для межличностной коммуникации, так и «для себя», т. е. для самокоммуникации. Современный интерьер в своих массовых формах формируется под сильным влиянием поведенческих моделей, которые транслирует широкому слою потребителей при помощи средств массовой информации и рекламы новый социальный слой, включающий в себя представителей шоу-бизнеса, артистов, спортсменов, отчасти политиков и др. – всех тех, чья деятельность и успех тесно связаны с публичностью. Постоянно появляясь на экранах телевизора или на страницах иллюстрированных изданий на фоне домашних интерьеров (часто шикарных), эта социальная группа навязывает остальным свои критерии и вкусы. Кроме того, в настоящее время существует большое число изданий и телепередач («Школа ремонта», «Квартирный вопрос»), которые, предлагая те или иные способы создания интерьера, формируют представление о современной норме в обустройстве дома и тем самым влияют на личные предпочтения. В силу того что в социально-стратифицированном обществе обладание теми или иными вещами является показателем статуса индивида, знаком его престижа, наблюдается процесс подражания стилю жизни элиты, который отражает стремление к вхождению в более высокую социальную группу.

В качестве «символов высокого знатного положения», знаков «новой идентичности» и высоких экономических и властных позиций в современных интерьерах «новых русских» часто используются различные раритетные, коллекционные и антикварные вещи, обладание которыми идентично присвоению историй их прежних владельцев[11].

Многие вещи – иконы, портреты, бюсты вождей, награды – свидетельствуют об особенностях мировоззренческих позиций личности. В этом смысле можно говорить об их идеологической составляющей. Так, использование в традиционных интерьерах картин с религиозными сюжетами и с изображением царской семьи являлось отражением православно-монархических настроений крестьян. Современными аналогами этих композиций являются инкорпорированные в интерьер портреты политических лидеров и вождей: Ленина, Сталина, Брежнева, Путина. Как правило, это тесно связано с политическими предпочтениями и убеждениями индивида. При помощи портретов и бюстов вождей выгораживается автономное личное пространство. Аналогичные функции присущи вывешенным в интерьере изображениям любимых героев книг,

кинофильмов, телесериалов и т. п. Репрезентации пространства личности в интерьерах такого типа являются отражением целиком замкнутого на себя сознания с чертами аутизма, стремящегося минимизировать контакты с окружающим миром. Этот тип личности наиболее характерен для подростков и стариков[12].

Таким образом, пространство личности – это динамическая составляющая личного опыта, и его характерной особенностью является то, что оно разворачивается в истории. При этом имеется в виду не только *личная история* как совокупность собственного жизненного опыта, но и родовая история и история социума, которые напрямую связаны с памятью. А память, в свою очередь, – это важный личностный биосоциальный параметр, помогающий индивиду выстраивать реалистичные жизненные стратегии, соотнося их со знанием социальной среды и предписываемых ею установлений и законов, а также социального статуса – как личного, так и семейного («родового»). В этом смысле память непосредственно соотносится с опытом, позволяя аккумулировать не только личные знания, но и то, что накоплено предшествующими поколениями. Материальным воплощением этого опыта и его символической репрезентацией могут быть семейные реликвии, занимающие важное место в интерьере[13].

В современных интерьерах получают отражение актуальные тенденции развития постиндустриального общества. Для них характерен высокий удельный вес социальных установок, внедряемых при помощи средств массовой культуры и коммуникации и формирующих своеобразные симулякры пространства личности не на основе личного опыта, а на основе информационно-художественных фикций. Современный интерьер можно рассматривать как свободно комбинируемое (по Ж. Бодрийяру), по сути – игровое пространство. Обустройство интерьера в соответствии с собственными представлениями является одной из форм самореализации личности, которая доступна каждому в повседневной жизни. Индивид превращает свободно трансформируемое пространство дома в своеобразное «игровое поле», «театр для себя», в котором возможно любое перевоплощение и путешествие во времени.

В этом контексте показательны результаты проведенного в рамках проекта исследования пространства «Дома моей мечты» в представлении современных подростков г. Тольятти с использованием рисуночного метода Э. Холла[14]. Рисунок, как и другие формы деятельности человека, связанные с воображением, являются его игровой деятельностью. Еще Л. С. Выготский указывал, что «старую формулу, что детская игра есть воображение в действии, можно перевернуть и сказать, что воображение у подростка и школьника есть игра без действия»[15]. Школьникам было предложено нарисовать ручкой или карандашом «дом моей мечты» на белом листе формата А4. При этом ставилась задача изобразить план-схему (вид сверху) дома, прорисовав его обстановку, подписав комнаты и их принадлежность определенным членам семьи. Это мог быть дом в настоящем или будущем времени, с любым количеством этажей, комнат, пристроек, это также могла быть квартира. Таким образом, респондентов просили изображать внутреннее помещение дома, а не его фасад.

Представление об идеальном доме формируется у человека в процессе взросления и под влиянием культуры, семьи, окружения сверстников, а также средств массовой информации. Э. Холл (E. T. Hall) называл окружающие нас неживые объекты зафиксированным (fixed-feature) и полузафиксированным (semifixed-feature) пространством (Hall, 1966). Зафиксированное пространство ограничено неподвижными границами (комната или дом); полузафиксированное пространство состоит из движимых объектов наподобие стульев и столов. Оба типа пространства оказывают существенное влияние на наше коммуникативное поведение (Нэпп, 2006). Специфические характеристики среды влияют на коммуникацию людей в ней. Так, к примеру, люди, живущие в квартирах, зачастую лучше знают своих соседей по лестничной клетке, чем тех, кто живет на других этажах (Вердербер, 2007).

Расположение определенных подвижных объектов в обстановке помогает структурировать общение, поэтому люди зачастую манипулируют ими, чтобы добиться нужной реакции собеседника. Например, расположение телевизора в комнате влияет на расположение кресел и, следовательно, на стиль общения в данной комнате (Нэпп, 2006). Многие исследователи отмечают, что грамотная перестановка мебели может способствовать увеличению общения между людьми (Sommer, 1958). В любом пространстве, где есть возможность переставлять вещи, можно достичь желательного эффекта в общении людей (Вердербер, 2007). Люди также создают свои жилые помещения, соответствующие их имиджу.

Людям свойственно эмоционально реагировать на окружающую среду. Эти эмоциональные реакции могут рассматриваться с позиции того, насколько 1) обстановка возбуждает (степень активности, стимулированности, тревожности и беспокойства), насколько 2) приятно находиться в данной обстановке (ощущение радости, удовлетворения и счастья) и насколько 3) мы ощущаем в ней наше доминирование (чувство важности, кон-

троля и свободы действий различными способами) (Mehrabian, 1976).

Зачастую проектирование будущего пространства дома становится для подростков игрой с реалиями «красивой жизни», стереотипные представления о которой они усвоили из средств массовой коммуникации. Человек оперирует тем опытом, который он накопил в течение своей жизни. Чем младше ребенок, тем, естественно, меньше у него возможностей для комбинации различных систем в силу небольшого жизненного опыта. Тем интереснее представляется комбинация бытовых реалий современных российских семей со стереотипами «красивой жизни» по западному образцу, транслируемой СМИ.

В данном сочетании нам видится игровое моделирование пространственной организации идеального дома, в том числе дома будущего. Как отмечал Л. С. Выготский, «сущность игры в том, что она есть исполнение желаний, но не единичных желаний, а обобщенных аффектов». Также он особо отмечал, что игра «всегда должна быть понята как воображаемая иллюзорная реализация нереализуемых желаний[16]. Подростки г. Тольятти, изображая свои «дома мечты», рисуют дом воображаемый, игровой, зачастую недоступный и недостижимый ими в жизни реальной, но безмерно их манящий своим идеальным, по их представлениям, жизненным пространством.

В нашем исследовании пространства идеального дома в представлении подростков прослеживаются четкие гендерные различия в организации внутреннего пространства дома, в том числе и с предпочтением тех или иных людей в качестве совместных жильцов: юноши, изображая идеальный дом или квартиру в настоящем времени, чаще населяли его своей родной семьей, а изображая в будущем, – семьей по браку. В то же время девушки, рисуя дом будущего, мечтают о своей крепкой семье с мужем и детьми, но, если они рисуют дом или квартиру в настоящем, то предпочитают жить отдельно от родителей.

Рисунки «Дома моей мечты» юношей и девушек г. Тольятти являются игровым конструированием пространства будущего, в том числе пространства дома и внутрисемейных отношений. Юноши и девушки, ориентированные на создание в будущем семьи, настроены на партнерские отношения с супругом/супругой, а девушки также – на создание уюта в семье и доме. Также подростки проявляют заботу о своих престарелых родственниках, выделяя им комнаты в своих идеальных домах.

Девушки испытывают большее влияние телевидения и навязанных им стереотипов о красивой и обеспеченной жизни. Как отмечают исследователи, с помощью средств массовой коммуникации, как главного инструмента формирования информационной картины мира, появляется возможность «разыгрывать» актуальные события действительности. Игра с помощью массмедиа приобретает черты технологии, позволяющей моделировать реальность и становится частью политической, культурной, бытовой жизни. Именно СМИ интегрируют в общество набор символики, правил поведения и определенный алгоритм мышления (Савицкий, 2010). Представления российских подростков о пространственной организации дома (в настоящем и/или будущем времени) подвергаются сильному влиянию пропагандируемых массмедиа западных ценностей и стереотипов «красивой жизни».

При том, что нарисованный «дом мечты» зачастую нереальный, игровой, все же он построен на реальных основах, т. е. на том опыте, который есть у подростка: среднестатистическая российская квартира зачастую простых рабочих с заводов г. Тольятти и навязанный массмедиа стереотип «красивой и богатой жизни» по западному образцу. В этой связи актуально мнение С. Рубинштейна: «В игре есть отлет от действительности, но есть и проникновение в нее. Поэтому в ней нет ухода, нет бегства от действительности в будто бы особый, мнимый, фиктивный, нереальный мир. Все, чем игра живет, и что она воплощает в действии, она черпает из действительности. Игра выходит за пределы одной ситуации, отвлекается от одних сторон действительности с тем, чтобы еще глубже в действенном плане выявить другие» (Рубинштейн, 1946. С. 592).

Так, девушки, восприняв западный идеал дома, мечтают о больших многоэтажных домах с садом, гаражом, открытым бассейном, джакузи, с анфиладой комнат (в том числе гардеробной, бильярдной, кабинетом, библиотекой и пр.), с выделением каждому члену семьи отдельной спальной комнаты. Почти все девушки, ориентированные на будущее, упоминают о супругах и/или детях, но в то же время под влиянием западной культуры размещают детей отдельно от себя и друг от друга. На такое представление, вероятнее всего, влияет возраст девушек, их реальные условия проживания, стереотипы хорошей жизни по западному образцу, транслируемые телевидением.

В целом девушки значительно чаще по сравнению с юношами упоминают о своей будущей семье, что является отражением как культурной специфики, так и психологических особенностей взросления подростков. Девушки к 15–17 года уже имеют достаточно полное представление о своей будущей семье, взаимоотношениях с мужем и ориентированы на семью, в то время как юноши этого возраста еще в целом достаточно сильно привязаны к своей родной семье, особенно к матери.

Юноши чаще девушек в доме будущего выделяют место для своих родителей. В этом факте, как

нам представляется, могут прослеживаться традиционные для русских архетипы патрилокальности. В этнографии норма брачного поселения, при которой молодые живут там, где живет или жил отец мужа (Народы и религии мира, 2000. С. 984). Наличие родителей не мешает юноше чувствовать себя комфортно, тогда как девушка (с учетом культурных традиций перехода в дом мужа) мечтает о собственном доме, в котором влияние свекрови и свекра будет сведено к минимуму.

В эпоху строительства больших индустриальных центров в них прибыло много людей. Хорошим примером такого центра является г. Тольятти. В связи с большим притоком населения города не могли обеспечить каждую семью отдельным жильем. В силу этого многим людям пришлось жить в общежитиях, коммунальных квартирах, «на подселении». «Домом мечты» для многих советских людей являлось отдельное жилье в виде квартиры. Эта мечта во многом была воплощена во времена Хрущева строительством отдельных малометражных квартир для каждой семьи (Сергеева, 2006). Родители и бабушки наших респондентов скорее всего имели именно такое представление об идеальном доме. По мере роста количества членов семьи такие «идеальные хрущевки» становились маленькими и тесными. Как отмечает исследователь Йоост ван Баак, «замкнутость домашнего пространства может восприниматься и как положительный, и как отрицательный фактор, т. е. и как «комфорт» и «уют», помогающие защититься от внешнего мира, и как противоположные этому «теснота» и «несвобода», вызывающие тревогу (Баак, 2005. С. 66). Со временем люди начали мечтать о квартирах большей площади, о своих собственных домах. Данное исследование показало, как изменилось представление об «идеальном доме» и как его представляет современная молодежь типичного индустриального города, построенного в советскую эпоху.

С появлением персональных компьютеров все большее значение приобретает виртуальный рабочий стол на мониторе, который окончательно нивелирует разницу между миром вещей и миром виртуальной реальности. Именно на рабочем столе окон Windows все чаще появляются фотографии близких родственников и друзей, любимые пейзажи и картинки, то, что раньше было непременной составляющей интерьера, характеризующей пространство личности. В молодежных субкультурах любая вещь становится средством самопрезентации, выражая стремление индивида присоединиться к себе подобным. Возможности интернета, позволяющие быстрые обмены личностной информацией, увеличивают проницаемость пространства личности и открывают новые возможности для его формирования.

Отметим, что наполнение молодежного интерьера часто диктуется предпочтениями, навязываемыми взрослыми. Именно поэтому дети и подростки так стремятся к обустройству личного пространства, будь то детская комната в квартире или пространство игрового дома. Хотя некоторые варианты «навязанных предпочтений» могут быть приняты индивидом и в дальнейшем стать неотъемлемым компонентом его пространства личности. В качестве примера приведем типичный образец оформления рабочего стола 16-летней девушки в комнате общежития Духовно-просветительского центра «Отрада» (г. Нерехта Костромской обл.). Учитывая статус учреждения, вполне понятно обилие иконок и книг духовного содержания. Личные предпочтения выражаются в деталях оформления: многочисленных поздравительных открытках с «сердечками» и изображениями щенков и котят, в мягких игрушках, косметических принадлежностях. Мемориальная и коммуникативная функции репрезентируются в виде личных фотографий и фотографий родственников и друзей.

В современном обиходе активно осуществляется «идеологическая» составляющая медийного пространства, т. е. некие внешние установки, формирующие убеждения и предпочтения, транслируемые при помощи телевизора или видеомагнитофона (DVD-плеера), являются некоторым аналогом зеркала, с которым человек постоянно сверяет свои внутренние установки, корректируя их в процессе созерцания. Привычка фиксации эпизодов повседневной домашней жизни или сценок семейного и коллективного досуга, постепенно укоренившаяся вместе с широким распространением видеокамер, цифровых фотоаппаратов и мобильных телефонов с возможностью видеосъемки, создает дополнительные возможности авторефлексии.

Можно констатировать, что при развертывании пространства личности в интерьере в одной и той же композиции происходит наложение разных семантических слоев: сакрального, мемориального, эстетического. При этом каждая из вещей может выступать в разных ипостасях. Часто эти функции являются символическими. Например, портреты и зеркало используются как мемориальные артефакты. Фотографии родственников и близких выполняют функции напоминания и символической связи с отсутствующими или умершими. Зеркало же выступает как канал коммуникации не только с отсутствующими (например, в гаданиях и магии), но с самим собой в настоящем и в прошлом (заглядывая в зеркало, вспоминают, какими были в молодости). В этом контексте очень важна и роль часов, как предметного символа времени, обозначающего временную ось пространства личности. По словам Ж. Бодрийяра, «часы играют ту же роль во време-

ни, что и зеркало в пространстве», являясь способом «укрощения времени», преодоления страха перед смертью[17].

Вещь в интерьере часто используется как коммуникатор, т. е. как способ установления связей с окружающим миром, хотя тип коммуникации может быть разным. Например, зеркало активно используется при автокоммуникации, а фотографии, как и телевизор, телефон, книги, пластинки, диски, компьютер с его возможностями связи с миром, – в первую очередь для коммуникации с окружающими.

При оформлении интерьера учитывается статусность и престижность вещи, так как обладание предметами роскоши и «добропорядочным домом» является средством самоутверждения и повышения самооценки и вызвано желанием выделиться среди окружающих, вызвать с их стороны подчеркнутое уважение и даже зависть. Чтобы подчеркнуть статус, используются выставляемые в интерьере семейные реликвии, ценные подарки, награды (грамоты, дипломы, ордена). Кроме того, социально-престижную и эстетическую функции выполняют иные предметы, характерные для городского дома: ковры, покрывала на кровати и накидки на подушки, лампы (первоначально керосиновые, затем электрические светильники, хрустальные люстры), парадная посуда, различные сувениры и безделушки. Необходимость подчеркнуть статус часто приводит к имитации, т. е. к изготовлению самодельных копий престижных вещей. Например, в предвоенные и послевоенные годы широко распространилось изготовление ковров, написанных масляными красками на клеенке или ткани, вязаных крючком абажуров и др. Причем отношение к интерьеру никогда не бывает индифферентным именно в силу того, что составляющие его предметы воспринимаются как «текст», который принимается или отторгается зрителем. Поэтому восприятие чужого интерьера всегда эмоционально окрашено.

Современные тенденции трансформации интерьера напрямую связаны с общим направлением развития постиндустриального информационного общества с его гипертрофированным вниманием к коммуникативным аспектам культуры. Знаковые функции предметов интерьера все чаще связываются с их способностью осуществлять коммуникацию. Можно сказать, что в рамках этой тенденции постепенно утверждается *примат коммуникативного статуса вещи*.

Пространственное поведение: универсалии и культурные различия. Важной частью исследований в рамках проекта было изучение особенностей пространственного поведения в разных культурах. На примере г. Москвы, г. Владикавказа и г. Челябинска были проанализированы особенности пространственного поведения и невербальной коммуникации у детей и подростков в условиях полиэтничных школьных коллективов, а также выявлены основные поведенческие индикаторы трансформации в правилах межличностного общения у подростков-мигрантов. Особое внимание было уделено поведению мигрантов в среде принимающего населения и по отношению к ним принимающего населения.

Агрессивное, постконфликтное и пространственное поведение индивида во многом определяют культурные, религиозные и политические традиции (Frodi et al., 1977; Bjorkqvist et al., 1992; Fry et al., 1994; LaFreniere et al., 2002; Агрессия и мирное сосуществование, 2006). К анализу способов регуляции социальной напряженности в обществе необходим такой подход, где учитываются культурные и социальные условия, которые порождают то, что в данном обществе и в данный момент считается насильственным поведением, подход, как «результирующая тех ценностей и смыслов, которые существуют в данном конкретном обществе, где имеет место насилие» (Тишков, 2001. С. 13). Нарастание межэтнического напряжения часто связано с негативным отношением принимающего населения к недавно прибывшим мигрантам, большинство из которых нерусской национальности, и, как следствие, ответной реакцией в виде враждебного отношения представителей различных народов к русским. Негативные стереотипы в отношении представителей других этносов в определенной мере связаны с «инаковостью» других, с различиями их невербального поведения, особенностями пространственного поведения и правил межиндивидуального общения. В силу очевидных культурных различий при социальном взаимодействии представителей различных этносов могут возникать напряженные ситуации, перерастающие в дальнейшем в открытый конфликт. Данных осложнений можно было бы избежать, если бы участники имели представления о правилах поведения в других культурах (Бутовская и др., 2007).

При сравнении данных о пространственном поведении детей и подростков в разных этнических группах были выявлены культурные и гендерные различия в пространственном поведении и способах разрешения конфликтов. Несмотря на биологические предпосылки, в современном обществе сильны культурные нормы и представления, регулирующие жизнь общества. Проанализировав полученные нами данные, мы можем заключить, что осетинская культура несомненно является более традиционной, чем русская. У русских нормы смешаны и размыты, особенно в городской среде. В более военизированных, маскулинных культурах (коими являются все северокавказские общества) механизмы предотвращения и урегулирования кон-

фликтов, как правило, сильнее выражены и строже регламентированы. Агрессия здесь – это средство контроля. В условиях, когда конфликт уже имеет место быть, в игру вступают другие способы снизить агрессию и не допустить новой вспышки – разработанная система культуры общения с противником, неприятие непрямых видов агрессии. Закладывание всех этих норм и представлений происходит уже в детстве. Наши данные позволяют говорить о наличии гендерных и возрастных различий в агрессивном и пост-конфликтном поведении. Кроме того, нами выявлены кросс-культурные различия: по всем параметрам пост-конфликтного поведения, кроме одного (способ примирения – похлопывание по плечу, пожимание руки), осетинские школьники показывают большие значения, т. е. уровень примирения у осетинских детей и подростков выше, чем у русских; уровень агрессии у осетинских детей и подростков выше по сравнению с русскими. То есть хотя осетины и более агрессивны, но они также и лучше мирятся по сравнению с русскими; по времени примирения школьники из Владикавказа мирятся через чуть большее количество времени, чем московские школьники; имеются культурные предпочтения и по способам примирения.

Данные по пространственному поведению в разных группах [г. Москвы (Центральная Россия), г. Владикавказа (Северный Кавказ, республика Северная Осетия-Алания), пос. Октябрьский (Челябинская область), села Криничное (Одесская область Республики Украина)] показали, что культурная специфика пространственного поведения нашла свое выражение в различии дистанции общения: средняя дистанция на уровне торса у мальчиков для школьников г. Москвы составила 35,3 см, г. Владикавказ – 30,0 см, пос. Октябрьский – 36,6 см, с. Криничное – 50,4 см. А средняя дистанция на уровне торса у девочек для школьниц г. Москвы составила 30,8 см, г. Владикавказа – 23,8 см, пос. Октябрьский – 26,6 см, с. Криничное – 33,6 см. Результаты показывают и различия по количеству тактильных контактов, ориентации тела, контакту глаз. По этому параметру русская культура (на московской выборке) попала в категорию «неконтактных». Исследования по пространственному поведению взрослых осетин, болгар и русских Челябинской области пока не проводились, и отнести их невербальную коммуникацию к одному из типов только по результатам наблюдений за детьми и подростками не представляется нам правильным. В любом случае мы можем заключить, что осетины демонстрируют более «контактный» стиль пространственного поведения по сравнению с русскими и болгарами, а болгары демонстрируют наиболее «неконтактный» стиль общения, что объясняется вероятнее всего тем, что они проживают в селе. Результаты нашей работы вносят определенный вклад в общетеоретические представления о пространственном поведении и его межкультурных различиях.

Кроме того, особое внимание было уделено поведению мигрантов в среде принимающего населения и отношению к ним принимающего населения. Авторы проекта проанализировали особенности пространственного поведения и невербальной коммуникации у детей и подростков в условиях полиэтничных школьных коллективов, а также выявили основные поведенческие индикаторы трансформации в правилах межличностного общения у подростков-мигрантов (Буркова, Феденок, Бутовская, 2010). Ранее было установлено, что у мигрантов, долгое время живущих в другой культуре и использующих неродной язык, характерные для культурной среды показатели проксемики, жестовой, мимической и тактильной коммуникации сглаживаются и унифицируются (Бутовская, 2004). Однако происходит это не сразу, скорость адаптации к местным нормам поведения зависит от возраста, пола, образования и исходных психологических установок на интеграции в данном социуме. В нашем исследовании было выявлено, что в многонациональных школьных коллективах дети мигрантов усваивают нормы поведения и пространственной ориентации коренного населения к старшему школьному возрасту (Буркова, Феденок, Бутовская, 2010). В школьных условиях поведение детей из семей мигрантов постепенно становится все более схожим с поведением коренных жителей. Различия по отдельным показателям агрессивного поведения и замирения между принимающим населением и мигрантами хотя и имели место, но были невелики. При общении с детьми другой национальности дистанция остается такой же, что и при общении с детьми своей национальности. На общение в школе достоверное влияние оказывают традиционные нормы общения, принятые в семье. Обучаясь в общеобразовательной школе, дети мигрантов постоянно взаимодействуют с большинством и постепенно меняют свое поведение в сторону норм принимающей культуры. Успешная интеграция мигрантов видится в совместном обучении детей разных национальностей в рамках государственных общеобразовательных школ, где дети могут успешно перенимать нормы поведения и общения доминирующего большинства населения. При условии обучения детей мигрантов в национальных школах дети не получают необходимого опыта общения в мультикультурной среде и в дальнейшем это затрудняет их интеграцию в обществе.

Игровое моделирование пространства. Важным результатом исследования стало изучение процесса трансформации пространства личности в онтогенезе и влияние на этот процесс внешних

факторов, в том числе «социального научения» и «социального конструирования». В данном случае особо показательна разница между традиционными и современными практиками, поскольку для современности характерен высокий удельный вес социальных установок, внедряемых при помощи средств массовой культуры и коммуникации и формирующих своеобразные симулякры пространства личности не на основе личного опыта, а на основе информационно-художественных фикций. Этот псевдоопыт во многом заменяет традиционные мировоззренческие и идеологические установки и создает предпосылки для возникновения новых поведенческих схем.

В этом контексте было проведено исследование явления, которое можно назвать «игровым оформлением», «игровым осмыслением» или, обобщая, «игровым моделированием» пространства[18]. Этот прием можно считать универсальным способом разрушения барьеров между ритуально-серьезным и смеховым и игровым. Потребность в игровом моделировании пространства часто возникает в различных бытовых ситуациях. Если говорить о чисто игровых случаях, то хорошим примером индивидуальной трансформации пространства являются фантазийные рисунки детей, выполняемые мелками на дорожках и площадках, примыкающих к постоянным местам детских игр. Сюжетами этих рисунков, как правило, являются взаимодействия в рамках семьи (изображения дома и пространства вокруг него, а также фигурок с надписями «папа», «мама» и др.); путешествия на различных видах транспорта от кареты и поезда до космического корабля; сказочные приключения с участием персонажей из детских книжек, мультфильмов, комиксов, в центре которых нередко персона самого ребенка. Антуражем, в котором разворачиваются эти сюжеты, являются урбанистические или сельские пейзажи со сказочными «дворцами», «небоскребами», «деревьями». Фантазийные детские игры могут материализоваться и в виде «игровых городов», сооружаемых детьми из подручных средств (Морозов, 2009. С. 755–760; MMXC, 2005).

Трансформации пространства характерны и для ситуаций, когда носитель традиции стремится обозначить свое присутствие в иной культурной среде. Используемые при этом приемы часто носят утрированный характер, гипертрофированно выделяя специфические элементы в противовес окружающему культурному фону. В качестве примера такого рода пространственных трансформаций можно привести особенности «новорусской» архитектуры, которую обычно обоснованно упрекают в безвкусице и эклектике. Однако если предположить, что одной из целей их заказчиков и строителей является намеренное подчеркивание необычности и особости этих сооружений в противовес однообразной, как правило, достаточно унылой советской фоновой застройке, то все элементы такого рода архитектуры (башни, малофункциональные балконы и эркеры, готические окна и массивные металлические решетки) в сочетании с клумбами с экзотическими растениями и бассейнами выглядят попыткой обозначить некоторое идеальное пространство, противопоставленное окружающему земному («низменному») миру. Игра воображения их создателей представляет попытку игрового перевоплощения действительности.

Попытки фантазийного преобразования окружающей среды можно наблюдать в малых российских городах и селах, куда нередко возвращаются после выхода на пенсию жители больших индустриальных центров. Часто это представители интеллигенции и более состоятельные люди, чем их нынешние соседи и односельчане. Дома этих людей и прилегающее пространство тоже обычно выделяется своим оформлением и различными малофункциональными элементами от декора фасада, клумб, экзотических растений до фигурок «гномиков», грибочков, аистов и т. п.

Тенденция визуальной трансформации однообразного и унылого пространства городских пригородов («спальных районов») получает поддержку в «граффити» – уличном искусстве, связанном с попкультурой. Современные граффити (*спрей-арт*) – это зачастую композиционно очень сложные красочные изображения, в основе которых не только особые символы молодежных группировок и субкультур (например, поклонников тех или иных музыкальных групп или спортивных команд), но и фигуративные композиции с отчетливо выделяющимся игровым содержанием. Подобные изображения являются не только украшением однообразного городского пейзажа, но и вовлекают зрителя в активный диалог и провоцируют его на игру. Этому способствуют и различные надписи, сопровождающие граффити. Городские власти в последние время включают создание граффити в свои программы по оформлению дворового пространства.

Цели игрового преобразования пространства могут быть различными. В частности, это коммуникативные практики, в ходе которых преодолеваются культурные барьеры и осуществляются переходы из одной культурной среды (группы, страты) в другую. То есть то, что иногда называется «обрядами инициации», хотя, конечно, более точным было бы их определение как «переходно-посвятительных церемоний». Они, по сути, являются разновидностью более широкого класса практик «порицания и одобрения», при помощи которых стимулируется и контролируется процесс развития индивида и личности (Морозов, Слепцова, 2004. С. 352–379,

472–533). В данном случае инициатива игрового моделирования пространства принадлежит, как правило, доминирующей (и, в известном смысле, престижной) группе или традиции.

В этой связи возникает еще одна значимая проблема: проницаемости пространства личности, его восприимчивости для чужого опыта. Игровая подоплека вскрывается лишь тем, кто хорошо знаком с национальной или субкультурной символикой, а степень «общедоступности и открытости» символики может варьироваться. Необходимо указать на отличие понятий «проницаемости» и «транспарентности». В нашем понимании «проницаемость» – это более или менее сознательно регулируемое качество пространства личности, т. е. степень проницаемости может уменьшаться или увеличиваться в зависимости от ситуации и внутренних установок индивида. «Транспарентность» же – это общая характеристика состояния «прозрачности» пространства личности, т. е. оценочный, а не инструментальный признак, обычно используемый внешним наблюдателем. Проницаемость личного пространства тесно связана с понятиями компетентности и толерантности, а ее внешним проявлением может быть увеличение или уменьшение дистанции общения.

В этом проекте была также затронута проблема влияния телевизионных и компьютерных источников на поведение человека. Проанализировав имеющиеся на сегодняшний день данные, мы пришли к выводу, что компьютерные видеоигры, содержащие сцены агрессии и насилия, оказывают негативное воздействие на эмоциональной состояние детей и подростков, существенно снижают порог их агрессивной реакции и делают играющих менее чувствительными к чужой боли и страданиям (Буркова, Бутовская, 2010). Данные последних лет подтверждают предположение о том, что увлечение видеоиграми со сценами насилия повышает вероятность применения насилия подростками в реальной жизни. Установлено, что малолетние преступники склонны совершать насилие под воздействием жестоких видеоигр, причем стратегии преступного поведения зачастую заимствуются ими из игрового опыта (Буркова, Бутовская, 2010). Негативное влияние жестких компьютерных игр много серьезнее, чем телепередач и фильмов, содержащих сцены насилия. В условиях нашего сегодняшнего общества неограниченный доступ детей и подростков к жестким видеоиграм сулит повышение насилия в обществе, в том числе увеличение конфликтов на межэтнической почве. Выход из ситуации видится в продвижении на рынок и рекламе познавательных и развлекательных видеоигр с минимальным уровнем насилия, а также законодательном запрете пропаганды и распространения жестких видеоигр в подростковой среде.

Список литературы

Безмоздин Л. Культурно-социологический анализ вещи // Вопросы социологии искусства. Теоретические и методологические проблемы. М., 1979. С. 104–126.

Бодрийяр Ж. Система вещей. М., 1999.

Буркова В. Н., Феденок Ю. Н., Бутовская М. Л. Пространственное поведение у детей и подростков (на примере русских и осетин) // Этнографическое обозрение. 2010. № 3. С. 77–91.

Голофаст В. Б. Люди и вещи // Социологический журнал. 2000. № 1–2. С. 58–65.

Ковалева А. И., Луков В. А. Социология молодежи. Теоретические вопросы. М., 1998.

Кулакова И. П. История интеллектуального быта и российская традиционная культура: кабинет отца во впечатлениях детства (XVIII – начало XX в.) // Какорея: Из истории детства в России и других странах. Сборник статей и материалов. М.; Тверь, 2008. С. 12–24.

Личность: игра и реальность / сост.: И. А. Морозов, И. С. Слепцова (Кызласова); отв. ред. М. Л. Бутовская. М.: ИЭА РАН, 2010.

Морозов И. А. Кукла в современном обиходе (полевое исследование эволюции статуса вещи) // Актуальные проблемы полевой фольклористики. [Вып. 1]. М., 2002. С. 53–68.

Морозов И. А., Слепцова И. С. Репрезентации пространства личности в русской культурной традиции (на примере интерьера) // Искусство и наука в современном мире. М., 2011. С. 42–66.

Нуркова В. В. Зеркало с памятью: Феномен фотографии. Культурно-исторический анализ. М., 2006.

Панов Д. А. Личность как субъект предметно-пространственной среды дома: Дизайнер и пользователь: дисс. ... канд. психол. наук: 19. 00. 01. Краснодар, 2005.

Пирс Ч. С. Избранные философские произведения. М., 2000.

Разумова И. А. Потаенное знание современной русской семьи. Быт. Фольклор. История. М., 2001.

Топоров В. Н. Вещь в антропоцентрической перспективе // Топоров В. Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ: Исследования в области мифопоэтического. Избранное. М., 1995. С. 259–367.

Феденок Ю. Н., Буркова В. Н., Бутовская М. Л. Индивидуальная дистанция и ее связь с некоторыми морфологическими показателями у московских подростков // Человек: его биологическая и социальная история. М.; Одинцово, 2010. Т. 2. С. 169–176.

Примечания

1 Луговская Т. Я помню // Отрочество. Вып. 4. Повести. М., 1990. С. 490–491.

2 Щеглова С. Н. «Своя» комната как артефакт молодежной субкультуры // СоцИС: Социологические исследования. М., 2003. № 3. С. 119–122.

3 О смене стилей в оформлении интерьера см., например: Бартенев И. А., Батажкова В. Н. Рус-

ский интерьер XVIII–XIX веков. М., 2000; Демиденко Ю. Б. Интерьер в России: Традиции. Мода. Стиль. СПб., 2000; Борисова Е. А. Архитектура // Очерки русской культуры XIX века. Т. 6. Художественная культура. М., 2002. С. 188–223.

4 Лебедева В. Г. Судьбы массовой культуры России. Вторая половина XIX – первая треть XX века. СПб., 2007. С. 210–226.

5 Зиммель Г. Мода // Избранное. Т. 2. Созерцание жизни. М., 1996. С. 268–269.

6 Бодрийяр Ж. Система вещей. М., 1999. С. 25.

7 По этой теме существует большое число исследований, см., например: Тыдман Л. В. Изба. Дом. Дворец: Жилой интерьер России с 1700 по 1840-е годы. М., 2000; Беловинский Л. В. Изба и хоромы: Из истории русской повседневности. М., 2002; Соколова Т. М., Орлова К. А. Глазами современников: Русский жилой интерьер первой трети XIX в. Л., 1982; см. также: Анохина Л. А., Шмелева М. Н. Быт городского населения средней полосы РСФСР в прошлом и настоящем. М., 1977. С. 142–151, 214–225; Рабинович М. Г. Очерки материальной культуры русского феодального города. М., 1988. С. 113–124; Будина О. Р., Шмелева М. Н. Город и народные традиции русских. М., 1989. С. 81–83, 93–100; Чижикова Л. Н. Русско-украинское пограничье: история и судьбы традиционно-бытовой культуры. М., 1988. С. 105–115; и др.

8 Демиденко Ю. Б. Интерьер в России: Традиции. Мода. Стиль. СПб., 2000. С. 189.

9 НКРЯ: М. Н. Загоскин. Рославлев, или Русские в 1812 году (1830); НКРЯ: И. И. Лажечников. Ледяной дом (1835); НКРЯ: А. Ф. Писемский. Самоуправцы (1867).

10 НКРЯ: М. Н. Загоскин. Москва и москвичи (1842–1850).

11 Шпаковская Л. Л. Общественная ценность антиквариата // Социологический журнал. 2000. № 1–2. С. 66–78.

12 Каган В. Е. Аутизм у детей. Л., 1981; Communication problems in autism / eds.: E. Schopler, G. B. Mesibov. N.-Y. etc., 1985; Social behavior in autism / eds.: E. Schopler, G. B. Mesibov. N.-Y. etc., 1986.

13 Разумова И. А. Потаенное знание современной русской семьи. Быт. Фольклор. История. М., 2001. С. 147–161.

14 Феденок Ю. Н., Бутовская М. Л. «Дом моей мечты»: игра с реальностью в представлениях современных подростков // Личность: игра и реальность. М.: ИЭА РАН, 2010. С. 235–258.

15 Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте (Сб. избр. тр.) / Л. С. Выготский // Выготский Л. С. Психология развития ребенка. М., 2004. С. 204.

16 Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте (Сб. избр. тр.) / Л. С. Выготский // Выготский Л. С. Психология развития ребенка. М., 2004. С. 203–204.

17 Бодрийяр Ж. Система вещей. М., 1999. С. 28, 105–106.

18 Морозов И. А., Слепцова (Кызласова) И. С. Игровое моделирование пространства // Личность: игра и реальность. М.: ИЭА РАН, 2010. С. 135–156.

И. А. Разумова, О. В. Змеева

РИТУАЛЬНОЕ ПОМИНОВЕНИЕ В КУЛЬТУРЕ СОВРЕМЕННЫХ СЕМЕЙ

Семейная память и поминальная традиция

Ритуальные поминовения умерших – один важнейших механизмов воспроизводства культуры. Являясь структурным элементом погребальной и календарной обрядности, они одновременно представляют относительно самостоятельную группу обрядов, включающую частные и общественные поминовения (Сурхаско, 1985. С. 113–128; Логинов, 1993. С. 193–211; Седакова, 2004. С. 93–94, 260; Терюков, 2009. С. 54). Отмечая роль религиозного и социально-правового факторов в сохранении поминальных традиций, Ю. Ю. Сурхаско связал разнообразие их локальных вариантов с культурными взаимовлияниями этносов-соседей, а также с социально-экономическими характеристиками семей (зажиточные/бедные) (Сурхаско, 1985. С. 126–127). Религиозный, семейно-родовой, правовой и другие факторы устойчивости ритуального поминовения являются постоянно действующими и опосредованными культурно-историческими контекстами.

По мнению О. А. Седаковой, поминовение, будучи связанным с внеобрядовой жизнью, «охватывает не фрагменты реальности, а всю ее в целом. В основе самого названия обрядов <...> память, воспоминание (разрядка авт. – *И. Р., О.З.*). Воспоминание в этом случае мыслится как особое действие, в котором снова воплотится, снова окажется живым когда-то случившееся событие» (Седакова, 2004. С. 258). Поминальные обряды являются частью мемориальной культуры различных социальных групп во все периоды общественного развития. Типология поминовений базируется на религиозно-конфессиональном, временном (периодические/непериодические) и социальном (частные/общественные) основаниях. Во всех случаях семья выступает одним из главных (или главным) агентов трансляции и модификации культурных норм поминовения и,

обслуживая частные интересы, обеспечивает социальное соучастие.

Обратимся к современной практике поминовений как ее представляют и осуществляют в современных семьях, проживающих в северных городах и поселках. Материалом служат данные устного и письменного интервьюирования, которое осуществлялось в 2009–2011 гг., с привлечением аналогичных архивных материалов предшествующих лет, а также семейно-биографических и автобиографических текстов[1]. Единицами обследования выступали семьи и индивиды как представители семей, проживающих в городах и поселках Мурманской области. Возраст респондентов – от 16 до 87 л. Общее число респондентов – 185, семейно-родственных групп – 142. Исследование не основывалось на строгой выборке, основные цели состояли в том, чтобы выявить наличие или отсутствие в современных семьях ритуальных поминовений, их значение, виды ритуальных действий и соотнести с описанными в этнографической литературе формами поминания умерших. Материал позволяет судить, в первую очередь, о том, что считается социальной нормой в отношении ритуалов памяти, о вариантах семейных *поминальных сценариев* и влияющих на них объективных и субъективных факторах.

Большинство респондентов утвердительно отвечают на вопрос о том, принято ли у них в семьях поминать покойных родственников. Констатация того, что традиция поминовения в семье есть, служит показателем этнической принадлежности семейно-родственной общности, ее культурного уровня и вообще «нормальности»: «Как в любой нормальной семье у нас есть дни поминовения. И мы их помним» (М, 1961). В первую очередь, обычай поминать покойных родственников ассоциируется у информантов с «русской» и «православной» идентичностью: «В нашей семье все члены семьи крещеные, мои бабушки, дедушки глубоко верующие люди, как и моя мама. Поэтому приучены к православным традициям, в том числе и поминовению усопших» (Ж, 1983); «В принципе традиции те же, что и у большинства русских людей» (М, 1983); «Что касается традиций поминовения, то в нашей семье, наверное, происходит все так же, как и в других. Мы помним и чтим наших умерших близких» (Ж, 1983) и т. п.

Традиционные формы поминовения не только не воспринимаются как единственно возможные, но рассматриваются в качестве ритуального дополнения к другим способам сохранения памяти: «Но кроме этого каждый член нашей семьи хранит в памяти образы тех людей, которых с нами уже нет» (Ж, 1983); «Мы всегда вспоминаем о них в эти дни (но помним мы о них всегда)» (Ж, 1985). Утверждения содержат противопоставление. Ритуальным действиям, выполнения которых требуют культурные правила, до известной степени противостоит сопричастие живых и умерших, не ограниченное временем. В дискурсе поминовения «внешнее» (обряд) противопоставлено «внутреннему» (эмоциональной связи), однократность совершенного вида («помянуть», «вспомнить») постоянству несовершенного вида («помнить», «хранить в памяти»): «А вообще по жизни я помню о ней <маме – соб.> всегда, всегда, даже в какую-нибудь трудную минуту, не открыто, внешне не показывая это, но в душе я всегда как бы к ней обращаюсь за помощью» (Ж, 1963). Несколько респондентов заявили, что дней поминовения родственников в семьях нет, а поминают они их «мысленно». Поминальные действия и воспоминания находятся в одном ряду, причем память, воспоминания нередко занимают в нем первое место: «Сейчас прошло уже много лет после смерти бабушек и дедушек, но мы всегда, собираясь вместе, вспоминаем о них. <...> Помимо этого, безусловно, в нашей семье есть дни поминовения» (Ж, 1985). Члены семьи имеют неотъемлемое право определять сроки и число поминальных дней: «Но такие дни устраиваются и не только в дни рождения и смерти, таким днем может стать любой» (Ж, 1955). У семей и индивидов есть свои «места памяти» (в широком значении понятия), связанные с ситуациями, локусами, вещами (реликвиями, фотографиями). Акт памяти и символическое действие взаимосвязаны. С одной стороны, соблюдение установленного традицией порядка стимулирует воспоминания об ушедших; с другой стороны, ситуативное воспоминание может спровоцировать ритуальное действие. Иногда считается, что при спонтанном воспоминании об умершем или связанном с ним случае необходимо «помянуть» близкого тем, что есть под рукой (конфета, яблоко и пр.).

Частные поминовения детерминируются культурно-психологическими обстоятельствами. К типичным поводам для окказиональных поминаний относится сновидение: «Время от времени маме снится бабушка, реже – дед, очень редко – покойный брат. Обычно после этих снов мама говорит, что нужно помянуть» (Ж, 1981); «Год из года таких нет, вот дней специальных поминовения, но бывает, что вот как приснится когда вот что-то, вот родственник, уже умерший, у нас вот считается, что надо обязательно его помянуть» (Ж, 1948) и т. п.

По инициативе кого-либо из членов семьи (чаще – матерей) традиция ритуального поминовения может пресекаться. Действует психологический фактор: страх и избегание всего связанного со сферой смерти, – поводы называются разные: «Маме в детстве приснился страшный сон – ничьи поминки не справляем <...>. Мама панически боится всего, что связано с кладбищем» (Ж, 1984); «мама очень

не любит вспоминать о смертях родственников и о прошлом. Поэтому у нас в семье нет традиций поминовения» (М, 1988). Собственно ритуализованные поминальные действия во многих безрелигиозных семьях рассматриваются как избыточные, поскольку они связаны с психологическим дискомфортом. Кроме того, обряд воспринимается как внешняя форма, не имеющая прямого отношения к тому, что является (или должно являться) интимным переживанием: «Каждый внутри себя переживает эту ситуацию. <...> С большим энтузиазмом у нас отмечаются веселые события, связанные с жизнью и благополучием, нежели со смертью» (Ж, 1985).

Фактор времени, изменяя состав семейно-родственной общности, является постоянно действующим, когда дело касается памяти об отдельных людях: «Передаются и помнятся лишь имена тех предков, воспоминание о которых еще живо, потому что сегодняшние люди воздают им почести и хотя бы в воображении остаются в контакте с ними. Все остальные сливаются в безымянную массу» (Хальбвакс, 2007. С. 207); «чем больше времени проходит со дня их смерти, тем реже мы вспоминаем о них» (Ж, 1983). Семейно-родственные общности посильно сопротивляются энтропийному процессу: «Когда мы все съезжаемся, обычно на первом совместном обеде заводится речь о том, что надо сходить на кладбище» (Ж, 1982); «также их поминание происходит на всех семейных праздниках» (Ж, 1987) и т. п.

Миграционная и демографическая ситуация на Кольском Севере таковы, что у значительного числа семей родственники похоронены в других местах. Могилы «предков», включая прародителей, сиблингов и других родственников, реже – супругов, часто находятся в тех местах, откуда люди переезжали на север («на родине»), куда разъезжались в результате трудовых и брачных миграций или переехали по программе переселения, отработав на севере определенный срок. В данном случае потребности ухода за могилой и того, что называют «поклониться крестам», удовлетворяются только в отпускной период или во время выездов, вызванных экстраординарными ситуациями (болезнью, смертью близких). Наличие родственников и связанных с ними мест за пределами региона влияет на образ жизни и структуру времени северян (Змеева, 2010). Поминовение предков оказывается обязательным сопутствующим обстоятельством посещений родных мест или даже причиной таких посещений. Регулярность выездов различна. В большинстве случаев это ежегодные или один раз в два года отпускные поездки. Однократные выезды чаще связаны с получением информации о захоронении, нахождением могилы или кладбища или просто с единичной поездкой в родные места, где уже никого из близких не осталось. В последнем случае поездка носит символический характер, мотивируется психологическими причинами (например, предчувствием собственной смерти) или желанием приобщить к истории рода детей.

С одной стороны, образы памяти приватны, связаны с личными привязанностями и особенностями; с другой стороны, актуализация этих образов во многом определяется традиционными ориентирами и социальными потребностями.

Частные поминовения

Поминальные 9-й, 40-й дни и первая годовщина смерти представляются самыми важными и составляют минимум ритуальных мероприятий. Если родственник умирает в другом месте, при выезде на похороны обычно стараются задержаться там до 9-го дня. Когда это возможно, работающие родственники, уехав после похорон или 9-го дня, повторно выезжают на 40-й день. Считается, что в эти поминальные дни присутствие близких обязательно. Оставшиеся члены семьи на расстоянии поминают умершего на 9-й и 40-й дни дома и в церкви.

О необходимости поминовения в эти сроки свидетельствуют семейные мифологические рассказы, которые сообщались нам, в том числе респондентами молодого возраста. В ритуальные дни наблюдаются разного рода знамения, видения; осуществляются символические контакты с умершими. По рассказу одной респондентки, на сороковой день после смерти ее бабушки «в дом маминой сестры, которая живет в Рязанской области (кстати, тогда там находился бабушкин муж, наш дедушка), залетела через форточку ласточка. Она села деду на руку и стала чирикать. Дед с ней по дому ходил – она не улетала. Потом он птицу выпустил на улицу. Возможно, это бабушка (или ее душа) прилетала попрощаться с дедушкой» (Ж, 1982). Нарушителей установленного порядка, так или иначе, принуждает к поминовению неведомая сила: «За два дня до 40 дней моя сестра поехала в отпуск на машине с хорошим другом семьи, но, не доезжая Медвежьегорска <...>, машина сломалась (чего до этого не было), пришлось искать попутную машину и на буксире ехать домой. Таким образом, они вернулись прямо на 40 дней, утром. Тогда все сказали, что бабушка Машу не хотела отпускать». Оба события, рассказанные одной респонденткой, объединили близких родственников, которые в ритуальное время находились на разных территориях. Это отметила сама рассказчица.

Мы далеки от того, чтобы интерпретировать подобные рассказы как проявление «веры» в реальность физических связей между земным и потусторонним. Многократные наблюдения во время

индивидуальных поминок 9-го, 40-го дня, первой годовщины убеждают лишь в исключительной устойчивости ритуальной речи. Любое неожиданное действие в помещении, где проходят поминки: звук, падение предмета, хлопок двери от сквозняка и прочее немедленно вызывают реплики присутствующих о том, что умерший дает о себе знать, «прощается» и т. п. Собственно, тексты о символических предзнаменованиях и посмертных «знаках» умершего рождаются и произносятся во время поминальных мероприятий и без внешних стимулов, поскольку это принято. К нормативным относятся утверждения о том, что до 9-го дня умерший («душа») «присутствует среди нас», на 40-й день «душа отлетает с Земли» и т. п. Поминальная риторика – одна из самых стабильных и одновременно продуктивных форм современной ритуалистики, и в ее сферу органично включаются семейно-мифологические сюжеты.

По истечении предписанного традицией годового срока индивидуальные поминальные мероприятия становятся периодическими. В большинстве случаев (ок. 60 %) ежегодно в семьях отмечаются дни смерти близких родственников. Нередко к ним добавляются дни их рождения (25 % семей). Нормативным для периодического поминовения чаще считается день смерти конкретного родственника – нередко в дополнение к дню рождения; дважды в этом ряду были упомянуты также именины. Оговорки некоторых респондентов указывают на то, что поминать в день рождения умершего не совсем правильно. Этот обычай может рассматриваться как специфический для семьи: «Интересно то, что в нашей семье вспоминают не только дату смерти, но и дату рождения умершего» (Ж, 1984). Относительно немногочисленную категорию составляют воцерковленные семьи (индивиды), которые следуют каноническим правилам поминовения усопших в дни, установленные церковью, и в молитвах: «Это дни родительских суббот, ну и когда молишься и вспоминаешь умерших» (Ж, 1984); «родительские субботы, как принято в православии, а до того, как мы стали воцерковленно жить, последнее это лет десять назад, может, чуть поменьше, это были дни рождения, дни смерти родственников» (Ж, 1975). В отдельных семьях, относящих себя к «традиционным», «православным», имеются основания для более частых периодических поминовений: «Мы поминаем и в день рождения, и в день смерти, а также по обычным дням (перед трапезой) <...>. Есть такое поверье, что когда садишься за стол кушать, нужно обязательно вспомнить умерших и тогда на небесах этих умерших родственников покормят» (М, 1981); «в день ее <бабушки – соб.> смерти <...> мама зажигает лампадку, и мы поминаем бабушку. Кроме этого дня, лампадка у нас горит каждое воскресенье» (Ж, 1983).

В большинстве семей признаются различные основания поминальных дней на основе совмещения фрагментарных знаний о религиозно-церковных установлениях, представлений о культурной норме, а также потребностей в сохранении памяти об умерших членах семьи: «В первую очередь это дни смерти бабушек и дедушек. Во вторую очередь это их дни рождения или именины <...>. Ну и дни поминовения по церковному календарю» (Ж, 1984); «дни годовщины смерти, также это божественные праздники (Пасха, Троица, родительская суббота)» (М, 1981) и т. д. Заметим, что православная церковь отнюдь не возражает против поминовения умерших в дни их рождений и именин.

Наблюдается, таким образом, распространение частных поминовений, включенных в погребальный обряд, за рамки ритуально предписанного времени. В пределах семейной памяти покойный, которого поминают, продолжает сохранять имя, личностные свойства, родственный статус. Сроки периодических поминовений переключаются на персональные биографии: «Умерших поминаем в день смерти и в день их рождения, дедушку Николая и в Николин день» (М, 1982).

Поминовение и семейное социальное пространство

В пространстве памяти сохраняется социальная – родственная – дифференциация умерших. Поминают в первую очередь «близких» родственников, связанных прямым родством и браком, родством первой степени. Не случайно соблюдение поминовений ставится в зависимость от знания дат смерти, а граница этого знания является «дрейфующей» от поколения к поколению: «4 июля – поминки прабабушки Пелагеи. 14 февраля – поминки бабушки Шуры (маминой мамы). Остальные даты помнит более старшее поколение – родители, бабушки, дедушки. Поминки у дедушки Сережи где-то в сентябре» (Ж, 1982). Заметим, что даты рождения родственников обычно помнятся лучше, чем даты их смерти, хотя бы в силу традиции празднования дней рождения в течение жизни. Это дополнительное основание для того, чтобы актуализировать память об ушедших в дни их рождения.

Таким образом, от поколения к поколению, по мере отделения нуклеарной семьи от ориентационных семей, изменений состава и структуры конкретной семьи меняется и конфигурация мемориально-обрядовой культуры. К основным ее структурным компонентам относятся: а) время (отмеченные дни, их периодичность), б) объект поминовения (те, кого поминают), в) участники, г) место (или места), от которого зависит ритуальный сценарий. На каждом этапе семейной биографии («жизненного цикла»)

все компоненты претерпевают изменения. Дней поминовения то больше, то меньше – в зависимости от того, на какое число ушедших распространяется оперативная память представителей поколений и семейной группы в целом: «...теперь уже многие из старшего поколения ушли, теперь у нас уже много в семье дней поминовения» (М, 1957). Разумеется, знание дат жизни родных весьма опосредованно связано с семейными поминовениями: «Ну, знаем, кто когда умирал, но это так-то особенно не вспоминаем никого» (Ж, 1951). «Поминаем всех усопших» и «не поминаем никого» – между этими крайними позициями в реальности располагается ограниченное число ушедших из жизни родственников 1–4 поколений эго: «В семье поминают далеко не всех родственников, а наиболее близких – бабушку и дедушку, которые умерли» (М, 1987); «дни, когда умерли самые близкие родственники. Это дни смерти моего дедушки и двоюродного дяди» (Ж, 1985) и т. п. Перечень тех, кого поминают в семье, указывает на широту и плотность ближнего круга: «Поминаем наших родственников, родителей, брата, дочь, тетей, дядей, даже друзей» (М, 1957).

Существуют объекты общесемейного и индивидуального поминовения: «Бабушка с дедушкой поминают своих родителей. Мой папа также поминает своих родителей, сестру, ее мужа» (Ж, 1982); «лично для меня это день рождения мамы» (Ж, 1963) и т. п. Сопоставление утверждений членов одной семьи показывает, что объекты поминовения у разных членов семьи совпадают частично: (внук) «Конечно же, есть <дни поминовения – соб.>, у меня умерла бабушка <...>. Больше, по-моему, у нас нет дней поминовения» (М, 1983); (дед) «Я поминаю свою жену, потом брата, который умер в День Победы, ну вот и все, наверное» (М, 1926).

Нередко респонденты утверждали, что в их семье один день памяти, и он связан с определенным родственником: «В моей семье есть только один день поминовения – это 25 июля, в этот день два года назад умерла моя бабушка» (Ж, 1983) и мн. др. Единичность объекта ритуального поминовения не означает, что о других умерших в семье не помнят. Для поддержания семейно-родственной идентичности одного индивидуального «дня памяти» вполне достаточно. В качестве объекта персонального поминовения обычно фигурируют близкие, которые: а) умерли относительно недавно, б) являются ближайшими родными (родители), в) являются «знаковыми» личностями семейной истории: например, героически погибли в годы войн, г) если их смерть сопряжена с трагическими или неожиданными обстоятельствами (более редкий случай, поскольку воспоминания о подобных смертях особенно болезненны). «В нашей семье есть только один день поминовения, в который мы поминаем любимую и дорогую бабушку (папину маму). Это очень тяжелая утрата для всей нашей семьи, особенно для папы. У нас с ней были теплые отношения. Мы часто к ней приезжали в гости, и она нас всегда ждала. Помогали ей по хозяйству. В этот день папа с мамой собираются за столом и поминают ее, папа всегда рассказывает о ней» (Ж, 1988). Благодаря ежегодным частым поминовениям, «присутствие» умерших ритуально обеспечивается в большинстве случаев на время жизни детей, супругов, сиблингов, несколько реже – внуков и родных других степеней родства. Традиция ритуального поминовения исчезает и возобновляется по мере того, как ослабевает или усиливается актуальное переживание ухода близких из жизни, т. е. она реагирует на конкретную потребность: «С недавних пор в семье появился день поминовения. Это годовщина смерти отца. Если я правильно понимаю, то это день, когда поминаются все усопшие предки. Раньше у нас такого дня не было. Да и вообще смерть родных не была частым явлением» (Ж, 1983). Мать респондента, в свою очередь, также сказала, что в семье один день памяти – ее мужа (Ж, 1957).

Далеко не всегда участвуют в поминовении все члены семьи. Представители младших поколений в ряде случаев могли лишь сообщить информацию о том, что данная традиция в семье есть, и сослаться на родителей либо прародителей: «Какие-то точные даты я не помню, папа всегда напоминает» (Ж, 1982); «Сам я в поминальных обрядах не принимаю никакого участия. Родители же ходят в церковь и обязательно, весной, убирают и вычищают могилы своих родителей. Могилы навещаются родителями поодиночке, очень редко это происходит совместно» (М, 1981) и т. п. Таким образом, члены семьи отвечают за сохранение памяти о «своих» умерших. Индивидуализация касается супружеских родов и поколений: «Только в религиозные праздники, когда вместе с родителями. В нашей семье этого не заведено» (информант разграничивает родительскую и собственную репродуктивную семьи) (М, 1961). Желающий помянуть своих близких может остаться в одиночестве: «Дней памяти предков в нашей семье нет. Да мама помнит, когда ее родители. В определенный день она скажет, что сегодня “такой-то день”. Но это проходит почти не замечено» (Ж, 1983). Различаются и способы поминовения, которые практикуют члены семьи: одни ограничиваются тем, что помнят сами и напоминают детям о днях памяти, например, их прародителей, другие присоединяются к поминальной трапезе, третьи совершают различные ритуальные действия: «Сядем, помянем. Но это родители эти даты помнят. А у бабушки заведено в день поминовения ходить на кладбище. Сейчас, когда храм у

них построили, то зайдет еще свечечку поставит, записочку подаст, панихидку» (Ж, 1983).

В целом традиция поминовения встроена в систему семейно-родственных коммуникаций и симптоматична для ее динамики. Она связана с категоризацией и восприятием родственного пространства.

Погребально-поминальные действия распространяются на домашних животных. У горожан широко практикуются индивидуальные погребения домашних любимцев. Кладбища животных занимают свои места среди современных городских некрополей и имеют аналогию в традиционной сельской культуре (Логинов, 2003. С. 4). «Приватизация» культурных норм расширяет диапазон осмысления подобных захоронений: от вынесения их за рамки культуры до приравнивания павших животных к «нечистым» или «чистым» покойникам, что в последнем случае означает – к умершим членам семьи. Логичным продолжением практики захоронений является поминовение домашних котов, собак и др. Этому способствует наличие у них имен, характеров и прочих атрибутов индивидуальности: «Год назад умер мой кот Тима. Мы все его очень любили, и также в день его смерти мы его вспомнили, потому что он стал как член семьи» (Ж, 1983).

Периодические общественные поминовения

К дням общественных поминовений мы в первую очередь отнесли те, которые респонденты называли «религиозно-церковные», «по православному календарю», «божественные праздники», «родительские субботы», Троица, Пасха, Радуница и некоторые другие (35 % от общего числа респондентов). Поминальный календарь с разной степенью полноты знают и отчасти соблюдают в семьях. В каждом случае делается «семейная выборка» из этого календаря, включающая одну или несколько поминальных дат. Обрядовая семантика в целом не связана с конкретными праздниками и датами, удерживает общий смысл: «В этот день надо помянуть усопших».

Среди календарных поминовений первое место по значимости и частотности упоминаний принадлежит Троице (23 % от числа всех респондентов и 70 % от числа тех, кто отмечает даты народно-религиозного календаря). Далее следуют Радуница, «родительские дни», Пасха, а также Ильин день, Прощеное воскресенье, кануны Рождества и Нового года, Красная Горка (по 1–2 упоминания).

Традиция отмечать Троицу включает семью в «русское» и «православное» культурное пространство. Респондент из гетероэтнической русско-татарской семьи отметила, что Троицу отмечает только ее русская бабушка в Карелии (Ж, 1983). Информант из семьи с финскими корнями, проживающая в Апатитах, упомянув о семейных праздниках своего детства, в первую очередь назвала Троицу, после чего уточнила: «Поскольку мы в России жили; <...> где живешь, с теми и ведешься» (Ж, 1932).

Поминальный цикл сориентирован на природный: «Чем ближе к весне, тем ярче выражено было поминовение» (Пропп, 2006. С. 23). Весеннее поминовение сопряжено с обустройством мест погребения после зимы. Если на территориях центральной России, Поволжья первое посещение кладбища отмечается чаще всего в поминальные дни, ближайшие к Пасхе (Шевченко, 2003. С. 404–405), то на Крайнем Севере оно возможно только в более поздние сроки: «У нас еще в июне снег лежит», «в апреле, например, перед Пасхой, мало кто на кладбище ходит» и т. п. Информант, у которой родные живут в Белоруссии, основным поминальным днем считает Радуницу, но уточняет: «По причине погодных условий в Мурманской области поминание родственников происходит в Троицу, когда сходит снег. Мы всей семьей ездим на кладбище. В Белоруссии большее внимание уделяется Радунице» (Ж, 1983). Все приготовления на кладбище (окраска оград, уборка мусора и пр.) происходит непосредственно перед Троицей. Кроме того, из всех календарных поминовений троицкое предстает «главным». По этнографическим данным, «на Троицу устраивались похороны покойников, которые почему-либо не были погребены в течение года» (Пропп, 2006. С. 24); существует убеждение, что только в троицкую субботу можно молиться за души людей, умерших неестественной смертью (Юмсунова, 2004. С. 31–32)[2].

Жители разных областей и регионов, переселяясь на север, привозили с собой определенные знания о том, когда и как правильно поминать умерших. Иногда в семьях возникали споры на эту тему, не говоря уже об оценках поведения других. Родившиеся и выросшие за пределами области признавались, что на Кольском Севере они столкнулись с поминальными обычаями, которые не соответствуют традиции в их местности. Нагляднее всего противоречия обнаруживаются в проведении Троицы. Принципиальное различие усматривается в сроках троицкого поминовения. Информант – уроженка Усольского района Пермской области, которая постоянно выезжает туда к родственникам, убеждена, что поминать следует в Семик («чистый четверг»), тогда же впервые прибирают могилы после зимы, как она наблюдала на родине и в 1970-е гг., и в настоящее время (Ж, 1954). В Мурманской области, по крайней мере, в Кировске и Апатитах, поминовение на кладбище осуществляется, как

правило, непосредственно в Троицкое воскресенье. Относительно небольшая часть жителей посещают кладбище накануне, в Троицкую субботу. При этом информанты неоднократно утверждали, что только за пределами Мурманской области Троицу отмечают «по-настоящему». Оправдательным аргументом выступает смешение поминальных обычаев разных регионов у населения севера. Некоторых удивляет также время посещения кладбища. Принято считать, что время мертвых – первая половина дня, «до обеда» и т. п., а на кладбищах Мурманской области посещение могил продолжается в течение всего дня, и даже вечером люди приезжают на кладбище, чему благоприятствует отсутствие темноты в летний период. В большинстве случаев приезжие начинали ориентироваться на «местных» (т. е. тех, которые приехали раньше, не аборигенное население), но продолжали считать правильной традицию местности, откуда прибыли. Источником знаний о порядке поминовения служит также знакомство с церковными установлениями. В первую очередь это касается времени календарных поминовений: «Мы недавно только совсем узнали, обычно мы ездили в Пасху и Троицу к бабушке на кладбище, а тут как-то узнали, что в Пасху не нужно ездить, нужно либо в родительскую субботу ездить, либо потом» (Ж, 1964).

Помимо дат народно-религиозного календаря в поминальный цикл включаются дни общенациональных и локальных, прежде всего, воинских, поминовений. День 9 Мая многие называют «святым». В этот день (26 апреля ст. ст.) установлено церковное поминовение усопших воинов. 9 Мая в семьях поминают не только погибших, но переживших войну и умерших позже родственников, при возможности посещают их могилы. Поминовение включает участие в общественных мероприятиях, посещение семейного захоронения и застолье: «Утром 9 мая мы все вместе идем на демонстрацию к памятнику. После чего мы идем на кладбище, так как воевал и мамин отец, и папин. Вечером у нас семейный ужин» (Ж, 1989). В контексте семейной истории национальный праздник может отмечаться исключительно как частно-поминальный день: «9 мая ходим к нему <деду – соб.> на кладбище всей семьей, все родственники, живущие в г. Апатиты. 9 мая потому, что мой дедушка был военным. Прошел всю войну, дошел до Берлина, и этот день мы посвящаем посещению его могилы» (Ж, 1984). Утверждаются и ассоциируются с семейной историей новые ритуальные элементы, наделенные поминальной семантикой: «В день 9 мая мама рассказывала о военном прошлом своих родственников, и мы в этот день завязываем ленточки в память о погибших в Великую Отечественную войну» (М, 1991). Никто из респондентов в связи с 9 Мая не упомянул об участии в церковном поминовении.

Поминальная символика характерна также для профессиональных праздников различных родов войск. Если идентичность семьи включает данную профессиональную принадлежность ее членов, эти праздники осмысливаются и оформляются в том числе как поминовения. Члены семей военных моряков в перечень поминальных дат включают День Военно-морского флота. Характер поминовений приобретают общественные мероприятия, приуроченные к событиям военной истории и связанные с прочими обстоятельствами коллективной гибели людей. Это День вывода советских войск из Афганистана, дни памяти жертв чеченских войн, даты гибели кораблей и подводных лодок (г. Мурманск, военные города-ЗАТО), горняков (г. Кировск) и т. п. Они объединяют участников, семьи погибших, профессиональные и локальные общности.

Ритуальные сценарии

Традиция регламентирует поведение в поминальные дни в трех локусах – на кладбище, дома и в церкви. В ряду главных факторов, влияющих на ритуальное поведение, можно рассматривать религиозно-конфессиональную ситуацию и состояние общественных институтов, выполняющих мемориальные функции, религиозно-этническую принадлежность семьи, ее миграционную историю и местожительство, типы смерти и погребения тех, кого поминают, структуру и состав семейно-родственной группы и ряд других.

В советский период для абсолютного большинства семей исключалась возможность церковного поминовения, и потребность в нем иссякала. В настоящее время наблюдается тенденция к соблюдению православного порядка поминовения или скорее отдельных его элементов. Можно предположить, что существует значительное расхождение между утверждениями информантов и реальными регулярными действиями. Если суммировать утверждения, церковное поминовение практикуется в 27 % случаев (семей), из них 15 % «делегируют» для этого одного представителя – обычно женщин второго-третьего поколений. Чаще встречаются случаи, когда само посещение церкви (в частности, с экскурсионными целями) инициирует поминальное действие: поставить свечку, подать заупокойную записочку. Иногда (не более 5 %) заказывают молебен, поминание на проскомидии – и в религиозные праздники, и в частные поминальные дни.

Если соблюдается полный сценарий, включающий все места поминовения, он обычно начинается с посещения церкви, затем следуют посещение кладбища и домашняя трапеза: «Обычно мы ходим

в церковь, заказываем панихиду, ставим свечки, потом идем на кладбище, затем собираемся дома и вспоминаем» (Ж, 1954). Эта модель, признанная церковью, соответствует календарным общественным поминаниям в «родительские субботы» и прочие поминальные дни. Следование данному сценарию означает 1) определенную религиозную идентификацию и/или традиционалистские установки семьи, 2) наличие захоронений родственников на местном кладбище.

Посещение кладбища является обязательным элементом поминального сценария. Отсутствие в семье традиции регулярных поминовений чаще всего оправдывается тем, что родные похоронены далеко или в разных местах. Для детей и тех информантов, которые родились на севере, знакомство с традиционной обрядовой культурой связано исключительно с летними отпусками, особенно если они полностью или частично проводятся в деревне. Отмечаются случаи, когда приезд родственников с севера собирает всю родню и соседей, жителей села. Дети, родившиеся на Севере, приезжая в отпуск, именно на кладбище получают информацию обо всех предках сразу, специально для них рассказывают биографию рода. На возможности «выездных» поминовений влияют экономический, семейно-организационный, возрастной и другие факторы. Часто именно те члены семей, которые испытывают большую потребность посещать «родные могилы», не имеют для этого возможности. Они могут использовать другие традиционные способы символической связи с ними: «Еще бабушка много лет назад ездила к себе на родину в деревню Валуйки, ходила там на могилки к родственникам и привезла оттуда немного земли. Она до сих пор хранится у нее в вазочке на телевизоре» (Ж, 1982).

В иных случаях родных стараются помянуть, посещая другие захоронения (опосредованно и «мысленно»). Большинство респондентов, говоря о том, что ходят на кладбище, добавляли: «по возможности». При этом никто не сослался на пресловутые нехватку времени и житейские заботы. Ограничивающими обстоятельствами выступают скорее ресурсы здоровья и северные климатические условия.

Схема посещения могилы представляет редуцированный вариант той, которая разработана на материале традиционных сельских поселений и по этнографическим источникам (Сурхаско, 1985. С. 124; Логинов, 1993. С. 178; Седакова, 2004. С. 94). К самым устойчивым элементам относятся: 1) уборка места захоронения, 2) возложение цветов, высаживание их взамен увядших; 3) еда и выпивка у могилы; 4) рассыпание съестного на могиле; 5) разговор с умершим; 6) разговор об умершем; 7) мысленное поминовение.

Особую группу составляют поминовения родственников, которые были погребены вдали от места жительства, погибли (т. е. умерли «неестественной» смертью), если места их захоронения стали известны спустя какое-то время после смерти, и они не имеют индивидуальных могил (гибель на войне, в авариях и катастрофах, вследствие репрессий). Варианты поминальных сценариев семьи в подобных ситуациях различаются в зависимости от ряда переменных обстоятельств. Если место погребения близкого неизвестно или недоступно, то равнозначными индивидуальным могилам становятся общественные мемориальные объекты (Марутян, 2008. С. 121). Ритуальное поминовение у братских могил призвано соединить коллективную и персональную память о погибших подобно тому, как в дни традиционных общекалендарных поминок отдается дань и «общим», и «собственным» предкам. Вместе с тем отсутствие индивидуального захоронения осмысливается как проблема сохранения памяти об умершем и порождает неоднозначное отношение к братским могилам, что показало полевое исследование в ЗАТО Полярный Мурманской области (Агамирзоева, Разумова, 2009).

Завершающим этапом ритуального сценария или единственной его формой является домашнее поминовение. В подавляющем большинстве случаев оно ограничено совместной семейной трапезой. Самый определенный элемент обрядности – пища: «общие и очевидные признаки загробной еды отражаются на поминальном столе преобладанием сладкого и мучного» (Седакова, 2004. С. 120). Алкоголь, как правило, употребляется. Во многих семьях в день памяти принято готовить блюдо, которое любил умерший. В некоторых семьях соблюдают религиозно-обрядовый этикет: зажигают свечи, молятся за упокой умерших. Поминальные действия включают выставление и пересматривание фотографий покойных родственников. Вместе с тем, как высказывались информанты, «эти дни у нас не омрачены сильным трауром. Каждый что-то, конечно, переживает у себя в душе, но всегда вспоминаются истории и смешные, и грустные из жизни покойного» (Ж, 1983).

Выпечка и сладости с поминального стола часто раздаются соседям, знакомым, приносятся на работу, в детские учреждения. Воспитатель детского сада (Ж, 1954) и несколько других респондентов положительно оценили распространенный обычай раздавать домашние поминальные сладости через детей и детям так же, как это делается в дни рождения воспитанников. Раздача пищи на поминанье может заменять поминовение в целом и даже репрезентироваться в качестве культородифференцирующего признака: «Так как формально наше семейство принадлежит мусульманской вере, то

поминание проходит следующим образом: мама покупает много конфет, печенья и раздает их детям и старикам. Еще в эти дни полагается давать милостыню бедным, но в Снежногорске нет людей, которые стоят с протянутой рукой» (Ж, 1982).

* * *

В целом анализ культуры поминовения современных семей убеждает в том, что ее ритуальные формы функциональны, поскольку отвечают духовным потребностям семьи, стабилизируют ее как общность. Значительная вариативность и модификации поминальных сценариев являются следствием объективных условий, семейных и индивидуальных установок, опосредованы структурой семьи, этнической и религиозной принадлежностью и прочими факторами. Большое значение имеет образ жизни семей, связанный с местом их жительства. Характер ритуальных поминальных действий определяется традицией, постоянно адаптирующейся к историческим и семейно-биографическим обстоятельствам. Собственно обрядовые действия служат знаком «уважения традиции», соблюдение которой желательно по мере реальных возможностей. В мотивации же поминовения основное значение приобретает «память» как этическая категория и ценность.

Список литературы

Агамирзоева Э. С., Разумова И. А. «Город мертвых» в городе воинской славы // Наука и бизнес на Мурмане. Научно-практический альманах. Города Заполярья: социально-антропологические и социально-экономические аспекты. Мурманск: Книжное изд-во, 2009. С. 37–41.

Змеева О. В. «По дороге в отпуск»: жители Кольского Севера в других регионах России // Труды Кольского научного центра РАН. 2/2010. Гуманитарные исследования. Вып. 1. С. 40–53.

Как правильно поминать усопших. Режим доступа: http://www.saint-george.ru/information/recommendations/121-kak-pominatj-usopshih.html

Логинов К. К. Похоронный обряд и кладбище поморского села Гридино // Живая старина. 2003. № 2. С. 2–5.

Логинов К. К. Семейные обряды и верования русских Заонежья. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 1993.

Марутян А. Т. Памятник жертвам геноцида в контексте ритуалов памяти армянского народа // Этнографическое обозрение. 2008. № 3. С. 119–128.

Пропп В. Я. Русские аграрные праздники. (Опыт историко-этнографического исследования). М.: Лабиринт, 2006.

Седакова О. А. Поэтика обряда. Погребальная обрядность восточных и южных славян. М.: Индрик, 2004.

Сурхаско Ю. Ю. Семейные обряды и верования карел. Конец XIX – начало XX вв. Л.: Наука, 1985.

Терюков А. И. К вопросу о структуре погребально-поминальной обрядности (на материале народов коми) // Проблемы духовной культуры народов Европейского Севера и Сибири / Сб. статей памяти Ю. Ю. Сурхаско. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2009. С. 52–55.

Хальбвакс М. Социальные рамки памяти. М.: Новое издательство, 2007. 348 с.

Шевченко В. Ф. Похоронные и поминальные ритуалы // Современный городской фольклор. М.: РГГУ, 2003. С. 391–405.

Юмсунова Т. Б. Празднование Троицы у семейских Забайкалья // Живая старина. 2004. № 2. С. 29–32.

Примечания

1 Интервьюирование осуществлялось по специальному вопроснику, в собирании материала принимали участие К. С. Казакова, Е. В. Бусырева, а также студенты гуманитарного факультета КФ ПетрГУ. Записи в печатном и электронном форматах находятся в архиве сектора исторической и социальной антропологии ЦГП КНЦ РАН и личных архивах авторов. При цитировании в скобках указываются пол и год рождения респондента.

2 Ср.: «Святой Василий Великий, составивший умилительные молитвы вечерни Пятидесятницы, говорит в них, что Господь наипаче в этот день благоволит принимать молитвы об умерших и даже о “иже во аде держимых”» (Как правильно поминать усопших).

И. В. Октябрьская, З. К. Сураганова

ЛОСКУТЫ НА СЧАСТЬЕ. ВЕЩНЫЙ МИР КАЗАХСКОЙ КУЛЬТУРЫ – ЖИВАЯ ТРАДИЦИЯ

Вещный мир традиционной культуры, соотносимый с глобальной картиной мира, имеет множество коннотаций в социальной и нормативной сферах. Семиотический статус бытовых предметов универсально возрастает одновременно с их включением в сферу социальнозначимых отношений, закрепленных и выраженных в формах дарообмена, который структурировал отношения в обществе.

В традиционной культуре казахов дарообмен наряду с реальными включает символические ценности – в церемониях обрядового дележа часто используются лоскуты ткани.

Выбрасывать обрезки ткани у казахов всегда считалось грехом. В прежние времена казашки старались собирать лоскуты у счастливых, многодетных, удачливых женщин. Полагали, что это способствовало «приходу в дом благодати» [Тохтабаева, 2008. С. 116]. Сегодня к кусочкам ткани и войлока относятся также бережно. Различают лоскуты, полученные в результате кройки и шитья*: пушак, кикым, комыт* – и лоскуты *жыртыс* (от *жырту* – «разрывать»), которые используют на свадьбах, во время похоронно-поминальных торжеств, на праздниках, связанных с рождением ребенка и достижением им сорокадневного и годовалого возраста и т. д.

Казахская практика сбора и дарения лоскутов, как и лоскутная техника – *құрақ,* имея глубокие корни в кочевой культуре, выходит за рамки рациональных объяснений. Слово *құрақ* (от *құру* – букв.: «гибель, умирать, пропадать, исчезать, уничтожаться; создание, создать, составить, строить»), объемля взаимоисключающие значения – от разрушения к созиданию, предполагает широкий семантический диапазон, который в границах социума придает лоскутному дарообмену структурообразующий смысл. Феномен *құрақ* связан с традицией *жыртыс*.

Согласно Толковому словарю казахского языка, *жыртыс* – это оторванный кусок от ткани. Пословица гласит – *Ағайынның ұрысы, торқаның жыртысы* («Раздоры братьев, дорогая, ценная шелковая ткань»). Жыртыс также обозначает подарок в виде ткани, который преподносился приехавшим к невесте женихом для женщин. Наконец, жыртыс обозначает обычай подавать ткань на похоронах для стариков [ТСКЯ, 1979. С. 327–328].

Жыртыс отличаются от технологических лоскутов. Эти куски ткани правильной формы (от 30х30 см до 50х50 см) казахи готовят специально и рассматривают как символический и благопожелательный дар, обязательный при проведении обрядов и церемоний жизненного цикла. В казахской среде и по сей день считается, что лоскуты *жыртыс* заключают в себе благодать – удачливость, богатство, плодовитость и счастье семьи, выдающей замуж дочь, празднующую появление наследника и т. д.

Жыртыс и в настоящее время в больших количествах раздаются на свадьбах казахов Западной Сибири и Южного Алтая. У казахов Южного Алтая дележ *жыртыса* осуществляется во время осмотра приданого и обмена церемонными подарками роднящихся семей. Они различаются богатством и качеством фактуры и оцениваются как показатели достатка хозяев и выражение их добрых намерений. В структуре свадьбы раздача *жыртыс* и других символических и реальных подношений знаменует собой начало церемонии. В казахских селах Кош-Агачского района Республики Алтай она в настоящее время начинается со встречи гостей в доме жениха. Старшая сватья просит у приехавших *түйе мұрындық* (букв. «носовое кольцо верблюда»); сегодня его дают тканью.

Этот обычай когда-то был известен и в рамках основного этнического массива: согласно историческим источникам, жители аула, узнав о движении в их сторону свадебного кортежа, перегораживали ему дорогу и требовали *түйе мұрындық*. Его давала мать невесты или старшая из снох – жен старших братьев – тканью, деньгами, мелкими вещами. Дар *түйе мұрындық* имел характер *кәде* (от араб. «основа, правило, принцип, образец») [Рустемов, 1989. С. 130], которым благодарили за возможность проехать свадебному каравану невесты к жениху. Подарками-*кәде* обменивались обе брачующиеся стороны [Марғұлан, 1996. С. 26]. Число таких даров колебалось от 7 [Диваев, 1900. С. 21] до 20 [Гродеков, 1889. С. 70–72]. И хотя они имели невысокую стоимость, статус их был очень высок.

Обязательность дарения *каде* стороне невесты была отмечена в пословицах: *Қалынсыз қыз болса да, кәдесіз куйеу жоқ* – «Даже если есть невеста без калыма, без каде – нет жениха»; *Қалынсыз қыз болса да, кәдесіз куйеу болмас* – «Без калыма девушка есть, без каде нет жениха» [Аргинбаев, 1973. С. 191]; *Ат өлсе да кәде өлмейді* – «Даже если умрет лошадь, каде не умрет» [Диваев, 1900. С. 12].

Подарки-*кәде*, полученные от жениха, женщины делили между собой. Одаривание *кәде* происходило на предсвадебных встречах жениха с невестой – *ұрын бару* и непосредственно на самой свадьбе. Обычай одаривать женщин невестиного аула в XIX в. был точно передан в следующем описании: «Киргизки весьма требовательны по отношению к подаркам и в прежнее время, рассмотрев их, они нередко заявляли, что подарки слишком ничтожны, что они стыдятся принять их и не допустят жениха до пожатия руки невесты. В таком случае жених или отправлялся назад, или посылал одного из джигитов за новыми подарками. ...каждый киргиз старается привезти в аул невесты по возможности лучшие подарки. Обычай дать означенные подарки считается настолько существенным, что у киргизов существует поговорка, по которой свадьба может состояться скорее без калыма, чем без подарка» [МКОП, 1948. С. 336].

В современной обрядности казахов России слова *жыртыс* и *кәде* конкурируют друг с другом, что подчеркивает высокий сакральный и социальный характер практики лоскутного дарения. Наряду с традицией раздавать лоскутки, известна традиция

раздачи платков. Так, казахи Карасукского р-на Новосибирской области, собирая традиционный мешок с подарками – *коржын*, вместо лоскутков, скрепляемых булавкой (так было раньше) сегодня связывают их за один конец по 9 и 7 платков. Концы платков продевают в кольцо и называются – *біртоғыз* (букв.: один и девять) и *бірсегіз* (букв.: один и восемь) [ПМА].

На свадьбе *жыртыс* изначально являлся одним из важнейших, по материалам конца XIX в., – третьим по важности подарком. Причем под *жыртыс* со стороны жениха в это время подразумевали и готовую одежду, которая входила в состав калыма [ЦГА РК. Ф. 64. Оп. 1. Д. 1977. Л. 5]. Существовало два типа *жыртыс: үй жыртыс* – делились матерью невесты, и *дүз жыртыс* (*ауыл жыртыс*) делились уважаемой женщиной [Аргинбаев, 1973. С. 192]. *Жыртыс* также мог раздавать глава свиты жениха [Алтынсарин, 1976. С. 20]. Из всех свадебных даров – *жыртыс* делился только между женщинами. Но мужчины из невестиного аула прежде также могли рассчитывать на подарки со стороны жениха. Это были платки, которые назывались *мүше*, старейшине преподносился халат [Гродеков, 1889. С. 72].

У казахов Южного Алтая раздача *жыртыс* следовала за угощением всех приехавших на свадьбу женщин. Вслед за *шашу (шашады)*, когда женщины со стороны жениха осыпали приехавших конфетами, начиналось чаепитие – *шәй береді*. За главным столом сестры хозяина свадьбы предлагают свою пиалу приехавшим сватьям *дәм татқызады* (букв.: «дают отведать вкус»). Пиала с чаем идет по кругу близких родственниц невесты (*жолы үлкен құдағилар* – «дорога старших сватий»); последний глоток достается хозяйке застолья.

Отведав угощения, мать жениха просит разрешения у старших женщин со стороны невесты (*қариялардан рұқсат сұрайды*) застелить постель для новобрачных (*жастардың төсек орнын салуға*). После получения разрешения две женщины (соседки, подруги матери жениха) снимают приготовленную матерью жениха постель и застилают кровать убранством из приданого молодой, привезенного сватами. Как и в прошлом, бабушки и матери молодых стараются, чтобы сбор приданого, его доставка и прием осуществлялась только здоровыми, имеющими детей, счастливыми в браке женщинами. Женщины, заправлявшие постель получают от хозяйки по отрезу на платье (*көйлек*). Отец жениха дает *көрімдік – ат сыйлайды* – коня за смотрины постели новобрачных (*төсек байғазысы*). На постель усаживают девочку – *төсекке аунатты* – чтобы обеспечить будущей семье потомство [ПМА].

Для всего этнического массива казахов характерно особое отношение к постели новобрачных. В Казахстане до сих пор совершается обряд – *ырым төсекке аунап түсу* (букв.: «переворачиваться, валяться на постели»). Со стороны невесты или жениха приглашается всеми уважаемый человек (женщина или мужчина), имеющий здоровых детей, счастливый в браке и его со словами: «*Ат аунаған жерде түк қалады*» (букв.: «На земле где конь валялся, остается волосок») – просят полежать на убранной постели, чтобы лучшие его качества достались молодоженам – *төсекке аунап түскен адамның жылуы, қадірі, лебі, қасиеті қалады*. Такого гостя полагается одарить в зависимости от состоятельности родителей жениха [ПМА]. Зачастую это делают сразу, преподнося отрез на платье (шелк, бархат), халат (плюш, бархат, вельвет) или значительную сумму; иногда процедура одаривания откладывается на некоторое время; ее совершают уже после того, как у молодых рождается первенец.

После ритуалов у свадебной постели совершается церемония *қоржын сөгеді* (букв.: «распороть коржын») – когда открывают сундуки с приданым. На Алтае каждой открывшей женщине (а ее определяет сторона жениха) вручают *жыртыс* – завязанные в платок сладости. Почетным сватьям и гостям сторона невесты раздает *жыртыс* из дорогих тканей ярких цветов – красного, зеленого. Всем пришедшим гостьям достаются нарядные лоскуты. Количество платков и лоскутов ткани, раздача которых опосредует установление родственных отношений в ходе свадьбы, исчисляется сотнями.

Одним из самых дорогих свадебных даров у казахов является подношение матери невесты – *сүт ақы* (букв. «плата за молоко матери»). В настоящее время оно известно под названиями: *ананың сүті* – молоко матери [ПМА].

По источникам XIX в., стоимость *сүт ақы* равнялась стоимости от 1 до 7 верблюдов [Добромыслов, 1904. С. 43]. Выдающийся казахский этнограф А. Маргулан приводит другое название этого подарка – *ана еңбегі* – «труд матери» [Марғұлан, 1996. С. 25]. Термин *ақы* в казахском языке имеет очень широкий спектр значений, включая «заработную плату, выкуп, взятие и т. д.» [ТСКЯ, 1974. С. 156]. По Л. З. Рустемову, слово *ақы* происходит от арабского – «ḥəққ» означающего «право, долю, стоимость, оплату, цену» [Рустемов, 1989. С. 22]. Такая трактовка *ақы* была актуальна среди казахов еще в XIX в. [Добромыслов, 1904. С. 96].

Однако представляется более вероятным связать происхождение этого термина с древнетюркским «аγї», который переводится как «драгоценность, сокровище, дар, шелковая ткань» [Древнетюркский словарь, 1969. С. 17; Малов, 1951. С. 28, 34, 35]. Радлов В. В. слово *ақы* в Малой и Большой надписях памятника в честь Кюль-Тегина переводит как «дары» – *аЂысі* [Орхонские надписи, 2001. С. 57]. По поводу данного термина имеется сноска П. Ме-

лиоранского следующего содержания: «аЂы – “подарок” и “дань”. В отношениях кочевников к оседлым народам эти два понятия часто смешиваются. П. М.» [Орхонские надписи, 2001. С. 15].

У И. Стеблевой это слово переводится, как – «шелк, дары» [Орхонские надписи, 2001. С. 140–141]. У М. Кашгари под термином *АҒЫ АҒЫ* значится «драгоценный шелк» [Қашқари, 1997. С. 119]. Представляется, что казахское *ақы* генетически и семантически восходит к древнетюркскому *aγï* («шелк, дары, драгоценности, драгоценный шелк»). Древние тюрки могли включать привозной дорогостоящий шелк в число престижных даров. Его название вполне могло закрепиться в брачном обмене, и в казахской культуре приобрело характер значимого дара для матери невесты.

Женская сторона невесты на казахской свадьбе в целом получает большое количество подарков. В Кош-агачском р-не Республики Алтай близкие родственники жениха после вручения им даров (до двух-трех десятков ковров) устраивают очередной чай и одаривает сторону невесты одеждой и украшениями (*сыйлық таратады)*. До вечера женщины продолжают пировать. К вечеру проводят *тілеу* – встречу молодых. Приветствуют гостей со словами – *жақсыздарма* – «хорошо ли вам». Молодых встречают исполнением *беташар* – напутствием, при этом исполнитель поднимает фату невесты камчой или грифом домбры – *қамшымен ашады*. Это становится началом свадебного пира. Свадебное одаривание характеризуется некоторыми исследователями как выкуп и отражает, по их мнению, суть брачного антагонизма. Дарообмен, превращая чужаков в родственников, нейтрализует опасность договора между двумя кланами и делает отношения предсказуемыми [Першиц, 1982. С. 125]. В ходе свадебной церемонии лоскутные дары делают роднящиеся семьи причастными к общей доле.

Практика дарения *жыртыс* до сего времени остается важной частью свадебной церемонии ряда локальных групп казахов. Прежде ж*ыртыс* было принято собирать, складывать и использовать для изготовления вещей домашнего обихода. Полученные в качестве почтительного подношения лоскуты используются для изготовления предметов, входивших в приданое невесты (*жасау*). Одни вещи оставляли в семье молодых; другие предназначали на подарки родственникам жениха. В качестве подарков молодой в приданое включали: *көрпеше*, *төр көрпе* – постилочные коврики, *атжабу* – попона на лошадь и *көрпе* – одеяло – для родителей жениха [Тохтабаева, 2008. С. 76].

Сегодня в городских интерьерах Казахстана ценятся лоскутные коврики для традиционного застолья, выполняемых руками профессиональных мастериц на высоком художественном уровне в виде престижных дорогостоящих предметов. Изделия, изготовленные в традиционной технике с соблюдением размеров и композиции, сохраняются в селе благодаря в основном пожилым женщинам, владеющим навыками их изготовления.

Казашки российского и китайского Алтая до сих пор делают красочные лоскутные войлочные коврики – *құрақ сырмақ* или *сырмақ-маяуза*. Эти коврики изготавливают из ткани или остатков разноцветной тонко выделанной кошмы в технике *сырмақ*. В их оформлении используют различные орнаментальные мотивы, в том числе – *тұмар құрақ* (амулетный), *жұлдыз құрақ* (звездный), *ай құрақ* (лунный), связанные с обережными функциями [Галимжанова и др., 2006. С. 116].

Традиция использования лоскутных вещей в свадебных, а затем в семейных практиках в целом имела широкое распространение среди тюркских народов Центральной Азии. Известно, например, что ошские киргизы в прошлом шили свадебную занавеску *кожого* – оберег невесты – из клочков ткани, т. к. считали, что лоскутные изделия (*курама* или *курок*) защищали от сглаза и козней злых духов, а также способствовали плодородию: у новобрачных должно было появиться со временем так много детей и скота, как много кусочков было в занавесе.

Лоскутки у каратегинских киргизов мать девочки собирала чуть ли не со дня рождения. Чаще всего изделия из лоскутков (наволочки на подушки, детские халатики, одеяльца, накидки на свадебную лошадь и т. д.) делали из тех кусков ткани, которые раздавались на семейных торжествах, и которые, как считалось, обладали магическими свойствами [Фиельструп, 2002. С 44].

У телеутов Сибири вплоть до 1980-х гг. бытовали лоскутные подзоры *орындябу* как украшение супружеской постели и ее оберег. С пестрым подзором телеуты связывали представления о благополучии семьи. В прошлом, в случае смерти супруга, нижнюю черную полосу подзора отрывали и использовали в качестве пояса вдовы или клали в гроб вместе с покойным.

По представлениям казахов, лоскутные мозаичные подушка и одеяло были обязательными элементами убранства свадебной постели. Они должны были способствовать быстрому привыканию молодых друг к другу. Лоскутные вещи обеспечивали прочность брачных уз – *жастар құрылып кетеді* (букв.: «молодые устроятся») [Тохтабаева, 2008. С. 75–76].

Подобные одеяла до сих пор сохраняются в домах казахов Карасукского р-на Новосибирской области. Им приписывают особые охранительные свойства, стараются укрывать ими беспокойных детей. Нынешние подростки помнят, как в детстве,

засыпая под лоскутными одеялами, они играли раковинками каури, нашитыми по периметру. К лоскутным одеялам казахи Карасука относятся очень бережно – не позволяют посторонним садиться на них, никогда не отдают из дома после смерти владелицы [ПМА]. Соединенные вместе лоскуты чужого счастья – *жыртыс* служат гарантами и символами благополучия семьи.

Использование *жыртыс* среди казахов также считается предпочтительным в изготовлении детских вещей. Известны примеры изготовления из *жыртыс* первой рубашки младенца (*ит койлек* – букв. «собачья рубашка»). Надеваемая младенцу в первые сорок дней жизни, она, согласно одной из версий, шилась из сорока лоскутков [Тохтабаева, 2008. С. 75–76]; согласно другой – из семи лоскутков семи домов – *жеті жерден жеті құрақ* (букв. «из семи мест – семь лоскутков»); так поступали в случае ранней смерти детей [Шаханова, 1998. С. 50].

У казахов Южного Алтая до настоящего времени сохранилась практика изготовления лоскутной одежды для детей, подверженных «сглазу». Курточка, сшитая из *жыртыс* и украшенная раковинами каури, выступает в качестве надежного оберега и навсегда остается в семье. В домах кош-агачских казахов лоскутные одеяльца *бесік көрпе* закрывают и защищают детские колыбели от «нечистой силы», особенно в те моменты, когда они стоят пустыми. Цветная мозаика вещи «аккумулирует» силу и благополучие семьи, клана и рода, воплощенные в *жыртыс*.

Традиция лоскутного шитья, отличаясь высокой степенью устойчивости, имеет, по всей видимости, общетюркские истоки. У древних тюрков, согласно М. Кашгарскому, дорогая шелковая ткань разрывалась на лоскутки и раздавалась гостям, пришедшим на угощение к людям почтенного возраста и правителям. Такие подарки назывались *вышыш*, *бышыш* [Қашқари, 1998. С. 423]. Возможно, с ними были связаны термины *пешкеш*, *пишкеш*, *бешкеш* (ср. русск. бакшиш), означавшие «подарок, гостинец, взятку». Они бытовали в Оренбургской и Астраханской губерниях и на Дону в XIX в. [Шипова, 1976. С. 79, 259].

Лоскуты в знак уважения и добрых пожеланий вплоть до современности оставались чрезвычайно популярной формой дарообмена среди казахов по торжественным и печальным поводам. Раздача *жыртыс* является обязательной частью погребально-поминальной обрядности казахов и на основной территории проживания, и в границах диаспоры.

В отличие от свадебного ритуала в структуре похорон раздача *жыртыс* не имеет определенного места. Похороны у казахов начинают с *естірту* – извещения всех близких и знакомых о смерти. Сразу после смерти начинают готовить *ақырет* – саван. Зачастую этим занимается *намазға жығылғын кісі* (человек, читающий намаз пять раз) – верующий пожилой мужчина вне зависимости от пола умершего. Тело покойного выносят в отдельное помещение; в Западном Казахстане для этого устанавливают юрту, которую называют *ағаш үй* – «деревянный дом». В городских домах для покойника отводится отдельная комната, где устанавливается занавесь – *шымылдық*. Его шьет женщина из близкого окружения из белой ткани. За занавеской обмывают тело покойного. Тому, кто обмывал, дают дорогой отрез на парадный халат (*шапан*) или платье, хорошие одежду и вещи покойного [ПМА].

Хоронят обычно на 2-й, реже 3-й день и ночью не спят. Читаются тексты из Корана. Свет в комнате, где лежит покойник, не гасят. Двери в дом остаются открыты. Идет поток людей. Родные покойного скорбят и встречают соболезнующих *көрісу (от көру* –«видеть»*)* – плачем об утрате, женщины поют песню-плач – *жоқтау*.

Постоянно накрывается стол для чая всем пришедшим. Чай подается со сладостями и жареными в масле ритуальными лепешками – *шелпек* и пончиками – *баурсаками*. Родные, близкие, знакомые, соседи приходят *көніл айтады* – приносят свои соболезнования и *бата жасайды* – делают приношения деньгами, вещами и т. п.

Собранные в качестве *бата* (вспомоществования) деньги распределяют на покупку жертвенных животных. Семья покойного делает ответные дары. Типичным является следующее объяснение: «Посмотришь в тетрадь и надо в ответ давать, чтобы не стыдно было, а потом еще надо вспомнить, как мы им носили на похороны. Принес кто из родных или близких 20–30 тысяч – не дашь же ему маленький лоскут *мата* – ткани. Некоторые на похороны приносят 200–500 тенге – им даешь носовой платок с завернутыми монетами в 20–50 тенге» [ПМА].

Похороны у казахов по-прежнему сопровождаются значительными финансовыми затратами. В современном Казахстане во время погребальных церемоний люди, давая *бата* – приношения семье покойного (деньги и вещи), от этой семьи получают (в зависимости от суммы вспомоществования, от родственной близости, возраста) лоскутки ткани – *тәбәрік* (с араб.: «испрашивание благословения»), халаты, отрезы плюшевой или шелковой ткани.

Распределения даров и их подготовкой для погребально-поминальных ритуалов занимаются женщины из близкого окружения. Они закупают платки, полотенца, ткань – разрывают ее на отрезы по два-три метра. В носовые платочки, в один из уголков завязывают монеты из белого металла достоинством в 20–100 тенге. Отрезы из плюша, шел-

ка кладутся в пакеты. Каждый пришедший с соболезнованиями получает пакет с отрезом и платочек с завязанной монеткой.

Помимо прагматики социального патернализма эти церемонии облекаются сакральными смыслами. Вещь, взятая на поминках в память о покойном – *тәбәрік,* в казахском языке означает в том числе священную вещь, являющуюся предметом религиозного поклонения [Рустемов, 1989. С. 274, 279].

«Сегодня никто не хочет раздавать *жыртыс* – все дают *мата* (ткань), – говорит 79-летняя жительница одного из селений Жанааркинского р-на Карагандинской области в Казахстане. – Зачем, никто сегодня не шьет. Раньше мы каждый лоскуток собирали и шили платья себе и дочерям, мужьям – рубашки, одеяла шили, на постель много уходило, приданое дочерям готовили, а сегодня все готовое можно взять. Но на похороны *мата* давать надо, так было всегда. Вот мужчинам на *шапан* взяли разного цвета плюш, а женщинам – шелк и платки. Всем будем давать по два метра. Это как *жыртыс,* а еще в носовые платочки заворачивать будут деньги, кто как может. Меняли сегодня в магазине по 20 тенге. В три магазина ходили» [ПМА].

Известно, что в прошлом *жыртыс* делили на кладбище на «девятки» и передавали представителям каждого рода со словами: «Вот вам на ваш род», – с возможностью последующего раздела между сородичами [П., 1878. С. 49]. Согласно традиционным верованиям казахов, получение *жыртыс* на похоронах позволяло человеку приобщиться к долголетию и социальному статусу покойного. Особенно ценились те лоскуты, что раздавали на похоронах людей, проживших более 60 лет. По этому поводу существовало выражение: *«Бізге да оның жасын берсін»* (букв.: «Пусть и нам достанется его долголетие»).

На похоронах женщин, достигших почтенного возраста, считалась обязательной раздача лоскутков ткани вместе с иголками, нитками, шерстью [Казахи, 1995. С. 257]. Подобная практика до сих пор сохраняется среди казахов Южного Алтая.

Относительно раздачи *жыртыс* на похоронах казахов, Д. Х. Кармышева отмечала, что хранение лоскутков ткани выражало связь живых с покойным. По представлениям казахов, с помощью оторванного кусочка одежды благодатная сила (*қасиет)* умершего передавалась оставшимся в живых. Именно поэтому из лоскутков старой одежды шили одежду для детей (в особенности головные уборы), чтобы малыши жили так же долго, как их дедушки и бабушки, и заслужили такое же уважение окружающих [Казахи, 1995. С. 258].

Характер подобного рода приношений определяла вера в силу духов предков – *аруақтарға сиыну* [Валиханов, 1958. С. 149]. Взаимозависимость живых и мертвых нашла отражение в казахских пословицах: *«Әруах риза болмай – тірі байымайды»* – «Если не будут удовлетворены (жертвоприношениями) духи предков, живые не разбогатеют»; *«Өлі риза болмай – тірі байымайды»* – «Пока упокоившиеся не будут удовлетворены (жертвоприношениями), живые не разбогатеют». Еще один вариант: *«Өлі жебемей, тірі байымыйды»* – «Без покровительства упокоившихся живые не разбогатеют».

Вере в силу отошедших в мир иной предков – *аруағының кереметіне* – была незыблема среди казахов. Единство живых и мертвых обеспечивалось посредством жертвоприношений – посланий. Умиротворение духов предков до сих пор является важнейшей задачей живых. Это делает чрезвычайно устойчивой поминальную обрядность казахов. В начале третьего тысячелетия трапезы в честь предков у казахов по-прежнему считаются важнейшей обязанностью потомков. В городах и селах Казахстана они принимают форму поминальных обедов – *еске алу* (букв.: «вспомнить») и приурочиваются к круглым датам – 15-летию, 20-летию, 30-летию, 40-летию со дня смерти. Каждое из таких мероприятий сопровождается раздачей головных платков для присутствующих женщин и носовых – для мужчин.

Обычай раздачи лоскутов в рамках погребально-поминальной обрядности восходит, как полагают, к практикам жертвенных разделов. Согласно сведениям начала XIX в., речь идет о раздаче после похорон лоскутов «разрезанного платья покойника» [Назаров, 1968. С. 25]. Можно предположить, что раздача лоскутов на похоронах была модификацией обычая разрывания одежды покойного и формой ритуального уничтожения.

Подобный обычай существовал со времен древних тюрков. Об этом свидетельствует в том числе и такой факт – для утешения из Дома Суй на похороны Шиби-хана были отправлены 30 000 кусков шелковых тканей [Бичурин, 1998. С. 232]. При погребении ханов и беков бедным раздавали *ешүк* в виде верхней одежды или шелковой ткани [Қашқари, 1997. С. 101]. На похоронах людей почтенного возраста также было принято раздавать в память о покойном *numaru* в виде скота или вещей. Позже с этой же традицией было связано дарение ценностей из имущества покойника [Қашқари, 1997. С. 504].

В связи с практикой поминальных даров показателен ритуал *тұл,* который некогда был повсеместно известен в казахской среде, а в настоящее время в полном объеме сохраняется среди казахов Южного Алтая. *Тұл* – это создание образа умершего, восходящее к древним заупокойным ритуалам. Казахи Чуйской степи после смерти человека убирают его постель как свадебное ложе, вешают свадебный за-

навес – *шымылдық*; на постели укладывают всю его одежду, личные вещи, в том числе – часы, седло, плеть, оружие; вешают фотографии. *Тұл* стоит в течение года. Весь год вдова и близкие поминают покойного. А во время ритуала, приуроченного к годовщине со дня смерти, оплакав коня, оседланного и накрытого одеждой покойного, его забивают для поминального пира, в ходе которого раздают все вещи, принадлежавшие умершему. Раздача *жыртыс,* сопровождая раздачу одежды, является органичной частью этого ритуала.

Дележ в казахском традиционном обществе, сопровождая все наиболее значимые ритуалы жизненного цикла, выглядит как распределение доли – *үлес*. Вещь, доставшаяся в результате дележа, называется *үлестік*. Слово *үлес* в казахском языке имеет синонимы *сыбаға*, *тиесі* и означает также «дележ, распределение» [ТСКЯ, 1986. С. 544].

Существительное *тиесі* (букв. «прикоснувшийся», от глагола *тию* – «прикасаться, приставать») сравнивают по значению с древнетюркским: *jақdы* – «прикоснулся», *juқdы* – «прилипло» [Қашқари, 1998. С. 88].

Полагают, что термин *jақdы* аналогичен казахскому *жақты*, означающему «смазывать», «намазывать». Одним из вариантов казахских благопожеланий является следующая фраза: *«Жұғысты болсын!»* (букв.: «Пусть пристанет, прилипнет»). Получение доли расценивается как присвоение (прилипание) некоей сущностной характеристики – благодати, разделенной между дающим и обретающим.

Эти представления имеют практически универсальный характер в традиционных, архаичных обществах, где обладание предполагает «выражение тесной сопричастности обладателя с предметом обладания» [Гуревич, 1968. С. 184]. Сам же акт раздачи и дележа вещей тесно связан с представлением о приобщении к силе их прежнего хозяина.

С ритуальными лоскутами у казахов также связаны представления об *ырым*. Термин *ырым,* по мнению тюркологов, является производным от древнетюркского **yrq*, означавшего «предсказание, пророчество, гадание» [Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков, 2006. С. 613]. *Yrym* в современном киргизском и башкирском языках применяется в значениях: «поверье, примета, предзнаменование», «средство (лечебное)», «предрассудки, суеверия»; в хакасском *ырым* означает «предсказание, пророчество», «счастье» [Бутанаев, 1999, 2002. С. 232].

В казахском языке *yrym* сохранилось в значении «поверье, примета, предзнаменование», его производное – *ырым-сырым* – «подарки, связанные с народным ритуалом, обычаем и традицией» [Культура и быт казахского колхозного аула, 1967. С. 226, 231].

В современном Казахстане считают, в частности, что, когда умирает молодой, давать *жыртыс* нельзя – плохой *ырым*. Однако этого мнения сегодня придерживаются немногие. «Если умерший старше 80 лет, то давать и брать *жыртыс* можно – приходящий народ для *ырыма* (берет) в надежде на то, что проживет столько же лет» [ПМА].

Казахи верили в *ырым*, трактуя это как добрый знак или примету при каком-либо начинании или важном в быту деле [Герн, 1899. С. 13]. Выражение *ырым қылайық* означало в том числе желание заполучить вещь, принадлежащую успешному, удачливому, уважаемому, почтенного возраста человеку и т. д.

Очень точно обозначил роль *ырым* в жизни казахов Ч. Валиханов: «*Рым*, т. е. обычаи, соблюдение которых в шаманстве избавляло от несчастий, а нарушение вело за собой какое-нибудь бедствие; одним словом, те простонародные обычаи, которые европейцы называют у себя суевериями или предрассудками, а в шаманстве они и составляют обрядовую часть их веры» [Валиханов, 1958. С. 163]. Обязательность исполнения *ырым* являлась жизненной потребностью, поскольку совершение ритуальных сакрализованных практик приводило в движение благодатную силу, одновременно защищая исполнителей обряда и наделяя их счастьем, здоровьем и богатством. Являвшиеся воплощением *ырым* лоскуты, собранные и соединенные в формате новой вещи, становились материализацией идеи счастья и благополучия семьи, рода и клана.

Символизм лоскутного дарообмена определяла дихотомия смерти–рождения и разрушения–созидания. Разрушение и последующее восстановление жизненного потенциала сообщества в череде смертей, рождений и свадеб дублировалось актами символического разъятия целого (жертвенной туши, ритуального угощения, тканых полотнищ) на части с перегруппировкой в перспективе коллективного счастья и доли для воссоздания целостности. Создание из лоскутов – частей некогда целого – новой реальности формировало целостность не только физического, но и социального порядка, поскольку то, что принадлежало одному, начинало принадлежать многим и соответственно объединяло их.

В ходе ритуала при дележе отрезов ткани и раздаче *жыртыс* происходило объединение социума на основе причастности к общей судьбе. Распределение долей, счастья и жизненной силы, будучи сущностной характеристикой человеческих отношений, приводило в движение все социальные коммуникации. Символический дарообмен связывал всех его участников негласным договором, обязывающим обеспечить постоянное движение символических (и реальных) ценностей. Дележи

и раздачи имели обратимый характер. Взаимность являлась непременным условием воспроизводства группы в ее единстве и целостности. Этот принцип сохранил свое значение и поныне.

Похороны и свадьбы казахов и сегодня собирают порой до нескольких сот человек. Устроители церемоний несут большие затраты. В связи с этим на Алтае, например, постоянно высказываются рекомендации отменить *жыртыс,* сократив непомерные расходы. Аналогичная ситуация известна в Оренбургской области, где борьба с раздачей *жыртыс*, помимо экономических причин, обосновывается религиозными запретами: так, в конце 2000-х гг. имам Ясненского р-на Оренбургской области так аргументировал свою позицию: «Там, где я могу влиять, я запрещаю материал разрезать на кусочки. Пусть лучше отрез дадут. Аллах говорит: "Не тратьте бесполезно то, что я вам дал". Сарап – бесполезность. Многие говорят: "А почему наши предки делали это?" Не нравится имаму и то, что сшитые из жыртыс одеяла – көрпе валяются под ногами. И в этом вопросе ...некоторые поддерживают ясненского имама, но подавляющее большинство соблюдает "родной обычай старины" [Ларина, Наумова, 2008. С. 92]. В Западной Сибири казахи, «беспокоясь за судьбу умершего и, видимо, для успокоения, продолжают придерживаться» таких раздач, несмотря на запреты мусульманских священников [Ахметова, 2002. С. 39]. Попытки отказа от раздач *жыртыс* оказываются обреченными на провал. Локальные казахские сообщества на уровне рода, клана, поселения стремятся к воссозданию и манифестации своего единства. Лоскуты счастья – *жыртыс* служат его символическим выражением.

Список литературы

Аргинбаев Х. А. Брак и семья у казахов (Историко-этнографический сборник) / отв. ред. академик АН КазССР А. Х. Маргулан. Алма-Ата, 1973. 328 с. На каз. яз.

Алтынсарин И. Очерк обычаев при сватовстве и свадьбе у киргизов Оренбургского ведомства // Собр. соч.: в 3 т. Алма-Ата, 1976. Т. 2. С. 13–26.

Ахметова Ш. К. Казахи Западной Сибири и их этнокультурные связи в городской среде. Новосибирск, 2002. 104 с.

Бичурин Н. Я. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена: в 3 т. Алматы, 1998. Т. 1. 485 с.

Бутанаев В. Я. Социально-экономическая история Хонгорая (Хакасии) в XIX – начале XX в. 2-е изд., доп. и испр. Абакан, 2002. 212 с.

Валиханов Ч. Ч. Следы шаманства у киргизов // Избранные произведения / под ред. акад. АН КазССР А. Х. Маргулана. Алма-Ата, 1958. С. 144–176.

Галимжанова А. С., Глаудинова М. Б., Кишкашбаев Т. А., Шкляева С. А., Муратаев М. К., Елеукенова Г. Ш., Барманкулова Б. К. История искусств Казахстана. Учебник. Алматы, 2006. 248 с.

Герн фон, Вл. Из записной книжки. Этнографические заметки. Характер и нравы киргизов-казаков // Памятная книжка Семипалатинской области на 1899 г. Семипалатинск, 1899. С. 1–33.

Гродеков Н. И. Киргизы и каракиргизы Сыр-Дарьинской области: Юридический быт. Ташкент, 1889. Т. I. 205 с.

Гуревич А. Я. Богатство и дарение у скандинавов в раннем Средневековье // Средние века. Сб. АН СССР, Ин-т истории. Вып. 31. М., 1968. С. 180–198.

Диваев А. А. О свадебном ритуале киргизов Сыр-Дарьинской области. Казань., 1900. 25 с.

Добромыслов А. И. Суд у киргиз Тургайской области в XVIII–XIX веках. Казань, 1904. 52 с.

Древнетюркский словарь. Л., 1969. 696 с.

Казахи. Историко-этнографическое исследование. Алматы, 1995. 352 с.

Қашқари М. Түрік тілінің сөздігі: (Диуани лұғат–ит–түрік): 3 томдық шығармалар жинағы / Қазақ тіліне аударған, алғы сөзі мен ғылыми түсініктерін жазған А. Егеубай. Алматы, 1997. Т. I. 590 с. На каз. яз.

Қашқари М. Түрік тілінің сөздігі: (Диуани лұғат–ит–түрік): 3 томдық шығармалар жинағы/ Қазақ тіліне аударған, алғы сөзі мен ғылыми түсініктерін жазған А. Егеубай. Алматы, 1998. Т. 3. 600 с. На каз. яз.

Культура и быт казахского колхозного аула. Алма-Ата, 1967. 304 с.

Ларина И. Е., Наумова О. Б. Современное религиозное сознание российских казахов и ислам имамов // ЭО. 2008. № 1. С. 83–96.

Малов С. Е. Памятники древнетюркской письменности: Тексты и исследования. М.; Л., 1951. 451 с.

Марғұлан Ә. Қазақтың құдалық әдет-ғұрыптары // Марғұлан Ә., Қ.Сәтбаев. Обаған. Мақалалар. Құрастырған А. Егеубаев. Алматы, 1996. С. 25–28. На каз. яз.

Материалы по казахскому обычному праву: Сб. Научно-популярное издание / сост.: научные сотрудники сектора права АН РК: Т. М. Культелеев, М. Г. Масевич, Г. Б. Шакаев. Алматы, 1948. 393 с.

Назаров Ф. Записки о некоторых народах в землях средней части Азии. М., 1968. 77 с.

Орхонские надписи. Кюль-тегин. Бильге-каган. Тоньюкук. Семей, 2001. 250 с.

П. Обычаи киргизов Семипалатинской области // Русский вестник. М., 1878. Т. 137. С. 22–66.

Першиц А. И. Похищение невест: правило или исключение? // Советская этнография. 1982. № 4. С. 121–127.

Полевые материалы авторов. 2005–2011 гг.

Рустемов Л. З. Казахско-русский толковый словарь арабско-иранских заимствованных слов. Алма-ата, 1989. 320 с.

Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков. Пратюркский язык-основа. Картина мира пратюркского этноса по данным языка / отв. ред. Э. Р. Тенишев, А. В. Дыбо. М., 2006. 908 с.

Тохтабаева Ш. Ж. Шедевры Великой степи. Алматы, 2008. 240 с.

Толковый словарь казахского языка / под общ. ред. члена-корр. АН КазССР А. И. Искакова. Алма-Ата, 1974. Т. 1. А - Ә. 696 с. На каз. яз.

Толковый словарь казахского языка / под общ. ред. члена-корр. АН КазССР А. И. Искакова. Алма-Ата, 1979. Т. 4. Ж - К (жаттанды – кесу). 672 с. На каз. яз.

Толковый словарь казахского языка / под общ. ред. члена-корр. АН КазССР А. И. Искакова. Алма-Ата, 1986. Т. 9. Т – Ү (таңертең – үрей). 560 с. На каз. яз.

Фиельструп Ф. А. Из обрядовой жизни киргизов начала XX века / Ф. А. Фиельструп; отв. ред.: Б. Х. Кармышева, С. С. Губаева. М., 2002. http://elbilge.ucoz.ru/publ/4-1-0-4 (л. 44).

ЦГА РК. Ф. 64. Оп. 1. Д. 1977. Копия журнала общего присутствия Семипалатинского областного правления о взыскании Сатулганом Сабутиным с киргиза Джиланкузской волости Арапа Баракова возврата калыма. 28 янв. – 24 ноябр. 1895 г.

Шаханова Н. Мир традиционной культуры казахов (этнографические очерки). Алматы, 1998. 184 с.

Шипова Н. Е. Словарь тюркизмов в русском языке. Алма-Ата, 1976. 444 с.

Н. А. Тадина, Д. В. Арзютов, В. А. Кисель

АК-JАНГ НА АЛТАЕ: ДИСКУРС И ПРАКТИКИ «РЕЛИГИОЗНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ»

Светлой памяти коллеги и друга Надежды Ермоловой

Введение

Майским днем 1904 г. в урочище Теренг в долине р. Кырлык (современный Усть-Канский район Республики Алтай) состоялось коллективное моление – *мӱргӱл*, на котором алтайцы возвестили о смене своей религии и ожидании скорейшего пришествия Ойрот-хана. Вдохновителями этого моления и авторами его идеологического основания были Чет Челпанов и его приемная двенадцатилетняя дочь Чугул. Незадолго до этого коллективного моления, по одной из версий, Чугул видела белого всадника, который просил передать отцу, чтобы он сжег предметы шаманского культа и стал поклоняться Солнцу и Луне. Чуть позже этот же всадник будто бы передал Чету основы «новой» (белой) веры (*Ак-Јанг*) [Данилин, 1993: 84–126; Шерстова, 2004: 25]. Согласно другой (менее известной) версии, о которой пишет Л. И. Шерстова, к аилу Чета съехались три всадники и передали ему информацию о новой вере [Шерстова, 2004: 25–26].

Само моление как факт социальной активности не могло не остаться незамеченным. Все эти обстоятельства дали основание официальным властям и православной миссии рассматривать это событие, а также его истоки и возможное продолжение как социальную угрозу, требующую подавить его и провести следствие и суд над его основными участниками и главой – пастухом Четом Челпановым. Православные миссионеры, а вслед за ними и отечественные этнографы назвали это движение бурханизмом, используя в качестве основы – «Бурхан» (“Будда”)[1] [Laufer, 1916].

Спустя почти 100 лет на Алтае, на фоне т. н. национального возрождения произошло и «возрождение национальной религии», где развернулась настоящая широкая дискуссия о том, какая из религий может выступать в качестве национальной [Halemba, 2003]. Будучи продуктом мысли индигенных интеллектуалов, концепция алтайской религии пересекла пространство города и стала частью дискуссий в алтайских селах, охватив, прежде всего, пространство части Усть-Канского и Онгудайского районов республики, территории прежнего бурханизма.

Связаны ли эти два события? И каким образом сегодня происходит конструирование локальных религиозных практик? На эти два вопроса предполагается ответить в настоящей работе.

В основу настоящей статьи положены полевые материалы экспедиций на территорию Республики Алтай 2005–2008 гг., а позже – материалы экспедиций, осуществленных при поддержке Программы Президиума РАН (2009, 2010, 2011). Мы посетили почти все районы Республики, однако основным кейсом для исследования выступали Усть-Канский и Онгудайский районы.

1. Археология интерпретаций

Эта история вместе с судом над бурханистами стала, пожалуй, одним из самых ярких событий в истории Алтая начала XX в. Прослеживая коллизии интерпретаций событий тех лет, можно увидеть некоторые ключевые концепты, которые не только

были реакцией на события, но и во многом уже советским осмыслением, закрепившемся на долгие годы в отечественной этнографии. Предварительно необходимо сказать, что в советской этнографии бурханизм оставался довольно закрытой темой; даже книга, которая стала расширенным вариантом кандидатской диссертации А. Г. Данилина, написанная в 1930-е гг. смогла увидеть свет только в 1993 г.

Первые интерпретации зачастую оказывались взаимоисключающими и зависели во многом от доминирующего политического дискурса. Так, бурханизм был и «национально-освободительным движением», и «контрреволюцией» [Данилин, 1932, 1936, 1993; Потапов, 1953: 343–360]. В эпоху, когда основным объектом этнографии стал этногенез, произошла ре-интерпретация и отчасти реабилитация бурханизма, превратившегося в работах Л. И. Шерстовой в «заключительный этап формирования этноконфессиональной общности алтай-кижи» [Шерстова, 2010].

И только для небольшого числа исследователей бурханизм растворялся в пространстве бесконечных культурных обменов Алтая с центральноазиатским миром, снимая необходимость вопроса о его номинации [например: Сагалаев, 1984].

Однако mainstream советских исследований задавался тоном работ А. Г. Данилина (лишь его двумя прижизненными статьями 1932 и 1936 гг.). Провозглашение борьбы с бурханизмом доминировало в ранней советской этнографии до того времени, пока собственно он мог быть частью полевого исследования, а после, закрепив за ним четкие исторические рамки: от моления в долине Теренг до массовых репрессий 1930-х. В этой связи кажется вполне закономерным вопрос одной из старших коллег-алтаистов, которая спросила нас перед началом работы по исследованию современного *Ак-Јанг*: «А что можно в бурханизме исследовать после Данилина?» Этот вопрос связан, по всей видимости, с переживанием советского этнографического проекта в современном постсоциалистическом поле.

Удивительно еще и то, что расстановки отношений религиозной и социальной активности локального населения Алтая (бурханизм) и государства, классифицированные как «контрреволюция», во многом устойчивы и сегодня, когда активность в рамках *Ак-Јанг* как локальной религиозной ревитализации, рассматривается в качестве «националистических выступлений» и угрозы социальному порядку, что, как следствие, влечет за собой в том числе и уголовные преследования, и в некотором смысле ставит уже современное движение «вне закона».

Идея «загадочного» движения стала не только сюжетом художественной литературы (Г. Андреев, «Белый Бурхан»), но и возможной перспективой общей южносибирской религии, основанной на шаткой формуле: все религиозные практики индигенных групп Саяно-Алтая минус шаманизм [Бутанаев, 2003].

Современный Ак-Јанг исследуется не только авторами данной статьи, но и отчасти С. П. Тюхтеневой, а также современными зарубежными антропологами-алтаистами – Агнежкой Халембой и Людеком Брожем, а в ходе экспедиции 2011 г. мы встретили французского коллегу Клемана Жакму, который также в своих полевых исследованиях обращает внимание на Ак-Јанг.

2. От Бурханизма к современному Ак-Јанг

2.1. Советизация: дома алтайки, юрты-передвижки и ак-јангдулар

Если смотреть на работы по истории Алтая, то история бурханизма растворяется с последним автором–очевидцем событий тех лет – А. Г. Данилиным, т. е. будто бы стирается в памяти начиная с 1930-х гг., со времени репрессий против *јарлык*'ов – проповедников бурханизма. Последним аккордом советских публикаций о бурханизме были письма-покаяния *јарлык'ов*, присылаемые в редакцию газеты «Ойротская правда» в конце 1920-х. Некоторые из этих писем были опубликованы также А. Г. Данилиным [Данилин, 1932: 89–90].

Казалось бы, советский культурный фронт победил алтайских скотоводов, верящих в своих богов, сделав их частью дружной советской семьи народов. В действительности, волна репрессий, прокатившаяся против огромного числа *јарлык*'ов [Екеев, 2007] не уничтожила собственно религиозных практик, которые постепенно превратились, с одной стороны, в закрытую часть культуры, а с другой – уже имели характер этикетных предписаний.

Культурное строительство с такими яркими проявлениями, как дома-алтайки, – настоящими центрами перекодирования женской культуры, или юрты-передвижки, нацеленные на повсеместное распространение грамотности и практики чтения, во многом приводили к сдвигам социальных практик, но в целом этикетные нормы и правила поведения, которые были определены бурханистской реформацией, оставались относительно устойчивыми [подробнее см.: Тадина, 2010].

Пытаясь реконструировать, казалось бы, совершенно скрытую историю советского периода жизни бурханистских ритуалов и их организаторов, мы в экспедиции наткнулись на истории об *ак-јангдулар* (мн. ч.) [подробнее см.: Арзютов и Тадина, 2010]. Мы здесь только затронем этот сюжет, который напрямую связан с современными религиозными

практиками. В беседе с одним из активных инициаторов «религиозного возрождения» – Сергеем Кыныевым (Акай Кине) он говорил о том, что во многом возрожденные им ритуалы не являются изобретенными, а выступают именно как традиция, полученная от «стариков», которые «помнили», как делали прежде. Основываясь на их рассказах, он и создал сегодняшний *Ак-Јанг*. Некоторые из его стариков и являлись *ак-јангду*. Одна из информанток говорила: «Есть такие люди [*ак-јангду*. – *Авторы*], которые все сохраняли <...> у меня был дед, который говорил это нельзя, это нельзя... Но чтобы я там верила... нет» [2009, Ж., 52 г., сөөк кара-майман, с. Бичикту-Боом].

Особенно примечательно в этом небольшом отрывке то, что информант делает акцент на «нерелигиозное» восприятие культурных практик своего деда, хотя он и был участником бурханистских молений, будучи ребенком: «...тогда ходили еще на старый *мӱргӱӱл* в Кайырлыке» [2009, Ж., 52 г., сөөк кара-майман, с. Бичикту-Боом].

Важными являются замечания и о том, что дед нашего информанта соблюдал запреты ("держал *бай*"), что показывает его «правильность». Если в обыденной жизни эти запреты [за (и после) неделю до совершения ритуала не сквернословить, не пить, не курить, не ходить по гостям и т. д.] по большей части носят временный характер, то *ак-јангду* их стремится соблюдать всю жизнь.

«Такой человек – хороший человек (*јакшы кижи*) – авторитетный, уважаемый в народе (*албатыга тоомјылу*), с чистыми думами (*ак санаалу*), соблюдающий правила / обычай / запреты / нормы (*байланчык*), принадлежащий белой вере (*ак-јангныӈ*)» [2000, Ж., 1916 г. р., сөөк төлөс, с. Ело, перевод с алт.].

Порой к этим характеристикам добавляются еще: нежадный человек, непьющий, некурящий и т. д. Это формирует уважение к нему внутри локального сообщества. Именно поэтому информанты, объясняя социальные роли *ак-јангду*, в большинстве случаев говорили, что он знает и следует *јанг* ("вера", "закон", "порядок", "власть"; в данном случае, видимо, правильнее понимать это слово как сочетание обычного права и этикета).

Практики *ак-јангдулар* стали одним из оснований для «религиозного возрождения». Современные лидеры *Ак-Јанг* переориентировали вектор локальной культуры вовне, сделав возможным «экспорт» индигенного знания, придав ему характер национальной религии. Именно поэтому в современном ревитализационном дискурсе интеллектуалов на Алтае возрождение *Ак-Јанг* рассматривается как слитые воедино шаманские и бурханистские (начала XX в.) практики, реконструкции которых основаны не только на «рассказах стариков», но и на книгах этнографов. Во многом благодаря этому среди каракольских алтайцев (жители сел долины р. Каракол Онгудайского района) появилось мнение, что сегодня все алтайцы – *ак-јангду*, поскольку алтайцы могут возрождать свои святилища, проводить обряды и без опаски «следовать традиции». Таким образом, не бросающийся в глаза исследователям личностный опыт *ак-јангду* превратился сегодня в коллективные представления и практики.

2.2. Разрыв или непрерывность?

Приведенный анализ кажется последовательным и довольно гладким. В нем будто бы нет шероховатости. Между тем мост между бурханизмом и современным *Ак-Јанг* – это не монолит, в нем можно увидеть разрывы. Эти разрывы с точки зрения ритуала или культовых сооружений мы вряд ли сможем обнаружить (к этому обстоятельству мы еще вернемся ниже). Разрыв мы увидели в рассказах активных участников современного Ак-јанˉ. Во время полевого сезона 2010 г. мы проводили своеобразный эксперимент, показывая создателям священных мест фотографии бурханистских молений и священных мест из коллекций Музея антропологии и этнографии РАН, сделанные в 1920–1930-е гг. А. В. Анохиным, А. Г. Данилиным и Л. Э. Каруновской. Долго рассматривая фотографии, находя порой даже знакомых стариков или родственников, наши информанты говорили, что это все «показуха», т. к. слишком празднично, что сейчас так не делают и т. п. Вообще отношение к бурханизму оказывается сегодня очень противоречивым на Алтае. Большинство участников движения воспринимают его как политическое выступление. Сегодняшняя политика по «буддизации» Алтая так или иначе оправдывается академической интерпретацией бурханизма как своеобразной формы проникновения ламаизма на территорию Алтая. Вместе с этим локальные сообщества воспринимают бурханизм и как политическое движение, и как проявление «национальной религии». В связи с этим возникает конфликт интерпретаций прошлого, связанный с индигенизацией религиозных практик. В отношении священных мест ситуация выглядит более однородной, в которой мы можем говорить о непрерывности традиции, хотя и некоторой ее изменяемости.

3. Религиозное движение и пространство социальных отношений

3.1. Начало

Рождение современного *Ак-Јанг* это, прежде всего, результат экологического и родового движения на Алтае в конце 1980–1990-х гг., которые актуали-

зировали дискуссии об «алтайскости» и собственно продемонстрировали необходимость концептуализации собственной религии в презентации ее на фоне других религий Республики. Такая комбинация разворачивалась, прежде всего, в среде городских интеллектуалов, которые как своеобразная лаборатория национальной религии вплоть до сегодняшнего дня предлагает разнообразные проекты, часть из которых удачно «имплантируются» среди локальных сельских сообществ, а большинство получают отпор. Противоборство и диалог города (Горно-Алтайск – не только столица, но и единственный город в Республике) и сельских сообществ образуют пространство обращения концепций, идей и дискуссий в Республике.

На «родине» бурханизма в конце 1990-х гг. один из представителей национальной элиты Сергей Кыныев (позднее выбравший себе алтайское имя – Акай Кине) инициирует «возрождение» *Ак-Јанг* [Broz, 2009: 25]. Некоторые попытки предпринимали в этом направлении и другие участники широкой политической кампании по «возрождению алтайцев» (Владимир Кыдыев, Алтайчы Санашкин, Бронтой Бедюров и др.). Позже большинство из них стали активными участниками движения в поддержку распространения буддизма в Республике. Согласно многочисленным легендам и слухам, которые окутывают алтайский «выбор веры» примечательны публичные метания интеллигенции. И здесь не только привычные для Южной Сибири темы как шаманизм и буддизм, но и, например, православие, или даже ислам. В сегодняшней риторике этих же участников «возрождения» распространение буддизма связано с поддержкой (в том числе, и финансовой) со стороны Калмыкии.

Вернемся, однако, к началу *Ак-Јанг*. На основании сведений, собранных от *ак-јан-дулар* и сведений из этнографической литературы начинается «оживление» старых и создание новых священных мест алтайцев (*тагыл / мӱргӱл*), тем самым как бы сохраняется невидимая нить между прошлым бурханизмом и нынешним *Ак-Јанг*. Несколько позже в условиях формирующегося движения роль Акая Кине как одного из лидеров *Ак-Јанг* будет спадать, а на первое место выйдут лидеры локальных общин. С этого момента мы можем уже говорить о движениях, имеющих место под одним общим названием *Ак-Јанг*. Мы остановимся только на одном из них. Это движение *Ак-Јанг* в Караколькой и Урсульской долинах. Административно эта территория относится к Онгудайскому району Республики Алтай.

3.2. Социальная структура и социальная сеть

Возникающие общины, исходя из их оппозиционности дискурсивному давлению со стороны городских интеллектуалов или власти, представляют не только сеть, сотканную из участников движения, но и имеют некоторую структуру.

В самом начале противостояния города и села среди сторонников Ак-Јанг в Онгудайском районе особенно примечательна группа людей, представляющая собой социальную сеть, охватывающую несколько деревень в Каракольской долине. Государственные власти, также наблюдающие за развитием и становлением движения, назвали эту группу «Каракольская инициативная группа». С первых же дней такого противостояния были обозначены лидеры, которые стали выполнять роль охранителей священных мест и распорядителей ритуалов на вновь созданных и «оживленных» священных местах. Среди ритуалов основными являются «пробуждение» (весной; *јажыл бӱр* – “зеленая листва”) и «засыпание» (осенью; *сары бӱр* – “желтая листва”) Алтая.

Иерархия отношения возле священных мест выстраивается следующим образом. Первая группа – это «хозяева» (смотрители) святилищ (*јарлыкчылар*) и их «помощники» (*шабычылар*). Это исключительно мужчины среднего возраста, все они, как правило, из одного рода-*сӧӧка,* того, на территории которого располагается святилище, а могут даже являться прямыми родственниками. Вторая группа – прежде всего, жены *јарлыкчылар* и *шабычылар*, которые, по их собственным утверждениям, могут знать о «правильности» совершения ритуала больше, чем их мужья, однако не имеют права быть хозяевами святилищ и людьми, проводящими ритуал в силу этикетных предписаний и гендерных ролей, принятых в алтайской культуре. И наконец, последняя группа – это собственно сторонники движения.

Главным условием поддержания описанной структуры является «знание», которое гарантирует иерархичность структуры и определяет роли в сети. Знание для сторонников движения – это «правильность» образа жизни и «правильность» совершения ритуала, обладание информацией о каждом элементе святилища и т. д. Эта структура весьма похожа на структуру бурханистских общин начала XX в. Однако специальных исследований на эту тему тогда не проводилось, за исключением ценнейших наблюдений А. Г. Данилина, описавшего бурханизм в целом.

Из опыта полевой работы становится очевидным, что между общинами существуют длительные и относительно устойчивые социальные связи. Транслокальные связи наиболее плотные в долинах рек Каракол и Урсул.

Наряду с прагматическим характером связи носят и характер обмена «сакральными» знаниями. Во время ежегодных *мӱргӱл*’ей, по мнению

јарлыкчылар и *шабычылар,* они «слышат» своих «коллег» на огромном расстоянии. Вместе с этим происходит еще один очень любопытный сюжет – это передача «сакрального» знания в форме «посланий сверху», которые в дальнейшем записываются в тетради и распространяются как на локальном, так и на транслокальном уровнях. В последней экспедиции мы были свидетелями передачи таких тетрадей от жены одного из *јарлыкчы* другому [о посланиях подробнее см: Arzyutov in press].

Вместе с этим локальные общины – это еще и своего рода индигенные миссионерские центры, т. к. участниками движения *Ак-Јанг* определяется как «национальная (исконная) религия алтайцев». В этой ситуации основную роль играют не только *јарлыкчылар* и *шабычылар,* но и их жены, выступая в роли «знающих». «Религиозное обращение» происходит, как правило, среди тех алтайцев, которые проживают на данной территории. В целом же информанты отмечали экуменистичность движения, говоря о первооснове «языческой религии», которая создается не людьми, а богами и не имеет однозначных этнических границ.

Плотность социальных связей ослабевает уже за пределами описанной юго-западной части Республики Алтай. Однако сторонники движения существуют и в других частях региона. В ситуации воображаемого конституирования границ *Ак-Јанг* неизбежно возникает конфликт с другими социальными сетями религиозных движений в республике. Сетевой конфликт наиболее ярко представлен в ситуации противостояния *Ак-Јанг* и буддийского движения. Обострение и без того конфликтного поля происходит, главным образом, в момент проникновения одной сети в другую. Так, установка буддийской ступы привела к настоящему протестному движению внутри локальных сообществ. Схожая ситуация на юге Алтая происходила в 2011 г. между теленгитами и казахами, связанная с неуважительным отношением последних к одному из священных мест в Кош-Агачском районе.

4. Священное место и вещный мир

4.1. Выбор священного места

Как уже было отмечено, священное место является своеобразным узлом социальных отношений внутри движения и своеобразным центром в создании локальной концепции религии алтайцев. Вместе с этим священное место является частью ландшафта. Говоря о ландшафте, мы должны понимать, что само понятие ландшафта является конструктом западно-европейской философии. Однако анализ отношений между локальным сообществом и окружающим его пространством, сочетающим не только топографические особенности и визуальные формы, а также и социальные, политические и мифологические и другие смыслы, может быть описан через понятие ландшафта, в некотором смысле как условного, аналитического инструмента. Именно тогда мы получаем возможность осмысления места, определения его присутствия в мире человека. Ландшафта как понятия в алтайском языке нет. Для определения всей живой природы используются такие определения, как *јер* (“земля”), *ар-бӱткен* и *ак-ајас* (окружающий мир, созданный свыше). Само это определение проступает через взаимосвязь живого мира со сверхмиром, в котором как связующее звено присутствует человек.

Обращаясь к алтайской культуре и взаимоотношению локальных сообществ и ландшафта, мы должны сделать одно замечание, что большей частью локальные сообщества выбирают особые места, руководствуясь ментальной картой местности [Davidson-Hunt and Berkes, 2010. P. 229]. Выбор священного места связан, прежде всего, с необходимостью контекстуализациии этого места с конкретным ландшафтом, который, в свою очередь, имеет множество смыслов. Этот процесс можно связать с встраиванием священного места в ментальную карту [Tuan, 1975], которая разделяется большинством участников движения и жителей данного конкретного села. Однако, как мы и замечали выше, отношения с ландшафтом не представляют абсолютной устойчивости и со временем меняют акценты, создавая новые формы.

В качестве примера рассмотрим с. Бичикту-Боом, где священное место было создано сторонниками движения на небольшом холме (*болчок*) при въезде в село. Выбирая место для святилища, учитывается множество факторов. Прежде всего это положение самого холма или горы, на которой собираются поставить священное место. Пожалуй, главным фактором выбора места для святилища является такое его расположение, чтобы во время ритуала пришедшие люди были обращены лицом к восходящему солнцу (*јажыл бӱр* и *сары бӱр* проводятся ранним утром). Это обстоятельство напрямую связано и с тем, что каждая гора делится алтайцами на две половины: мужскую (северную – *меес*) и женскую (южную – *арка*). Местоположение святилища всегда тяготеет к северу, поскольку все ритуалы на священном месте являются мужским делом.

По словам наших информантов, гора должна располагаться в селе или очень близко к нему, т. к. священное место ставится в первую очередь для жителей данного населенного пункта. Само священное место «правильнее» ставить не на вершине горы, а предпочтительно выбирать седловину, ее уступ, который был бы не очень высоко. Для этого факта

приводятся и прагматические объяснения, что «небольшая высота позволит подниматься на это место в том числе и пожилым, и больным людям».

Таким образом, сцепляясь с множеством локальных смыслов, место становится своего рода узлом, сосредоточенностью значений. Но необходимо иметь в виду, что это опыт *локального* прочтения ландшафта, и за пределами этого села могут оказаться действенными иные значения, и как следствие, место будет выбираться иное. Во всяком случае, из тех сакральных мест, которые нам удалось увидеть в других селах Онгудайского района Республики Алтай, трактовки их местоположения отличались.

Картина была бы крайне неполной, если бы мы не обратились к тому факту, что в одном селе может быть и несколько священных мест, которые порой посещаются разными группами людей, вступая тем самым в своеобразную конкуренцию. Тут, прежде всего, необходимо учитывать несколько факторов. Во-первых, складывающиеся социальные отношения и стратегии могут приводить к расколам внутри религиозных общин, а, ставя новое место, в принципе можно соблюсти те требования, которые мы перечислили, поскольку подходящих мест в поселке может быть гораздо более одного. Во-вторых, еще до оформления современного Ак-Јан на территории Алтая оставалось значительно число *тагыл*'ов со времен бурханизма и, более того, их продолжали устанавливать.

«Я так-то сама первый раз... в Кенги жила... в [19]85 году в феврале я сама первый человек, наверное... раньше-то люди делали. Почему я *тагыл*-то поставила, угощению делала, потому что у меня старшая дочь сильно заболела. И мне хоть к кому ехай от людей опять толку мало. Ну, у меня подсказка-предчувствие было... я нашла камни, маленько можжевельника почистила, вымыла, потом можжевельником очистила. Ну, к кому пойдешь... у меня чувство такое было. Сама поставила *тагыл*-то возле дома *јажырып тургускам* [досл. "в укромном месте". – *Авторы*]. <...> Поставила – просила при солнышке, как раз на новолуние. <...> У меня такое было. <...> Только здесь делают люди, камни надо найти на такого места, где делаешь, там же... с другого места не надо брать» [2009, Бичикту-Боом, сёӧк кыпчак, 1941 г. р., события в с. Кенги (Теньга)].

Наряду с такими *тагыл*'ами, в отдаленных от сел местах есть старые *тагыл*'ы, поставленные еще в начале XX в. Они или включены в современное движение, и тогда их подновляют и интерпретируют, как и прочие священные места, или же они остаются относительно нетронутыми и туда продолжают ходить люди в частном порядке весной и осенью, совершая частные моления. Старые священные места сохраняют статус родовых. Каждому жителю села известно, где расположены ближайшие священные места того или иного рода – *сӧӧка*, в противоположность новым, которые носят исключительно территориальный характер.

Таким образом, сакральный ландшафт не представляется однородным и одновременным, он постоянно хронологически протекает и географически расползается. Вместе с этим создаваемое священное место и его архитектура проливают свет на многие аспекты культурной истории алтайцев.

4.2. Описание и типология

За три года нами были обследованы 9 святилищ, называемых местными жителями *мӱргӱӱл* или *тагыл* (см. вклейку: с. 85, ил. 1). Они обычно располагаются на горе на скальном выступе или в седловине. Несмотря на то что каждое святилище имеет специфический набор признаков, можно выделить ряд общих черт. В первую очередь – это наличие главного жертвенника-«алтаря» (*куре*), второстепенных «алтарей» (*тагылы*) (от 3 до 12, чаще всего четное число), столба (*сӱме*), как правило, с шелковыми платками (*мааны*) и навершием в виде почитаемого животного – *анг* (дикое травоядное или птица), коновязи (*чакы*) и веревки с лентами (*кыйра/јалама*). Все алтари служат для подношений жертвенной пищи и разведения священного огня. Их складывают из плит в форме четырехугольной призмы. В основе такого «алтаря», согласно рассказам информантов, лежит камень, привезенный с той горы, которой посвящен этот «алтарь». Таким образом, сложенные из плитняка каменные «алтари» «стягивают» возле себя наиболее значимые горы, большинство из которых – священные горы алтайских родов.

Специфика каждого святилища проявляется в отсутствии единого расположения второстепенных «алтарей» (окружность, дуга, прямоугольник), произвольном выборе места коновязи и веревки с лентами, различном оформлении на «алтарях» места священного огня (углубление, кольцевидная выкладка из камня). Надо заметить, что несходство святилищ фиксировалось еще в начале становления бурханизма [Данилин, 1932: 68–72].

Сравнение материалов, полученных экспедицией, с письменными источниками первой трети XX в. позволяет заключить, что облик святилищ изменился со временем. Современные «алтари» приобрели большие размеры, среди них перестали встречаться цилиндрические формы.

Привлечение этнографических данных со смежных с Алтаем территорий показывает, что призматические или цилиндрические «алтари» не являлись отличительной чертой традиционной культуры алтайцев. Аналогичные ритуальные сооружения

известны у монголов, бурят, хакасов, тувинцев [Бутанаев, 2003: 155; Ганболд, 2006: рис. на с. 113; Бурнаков, 2006: фото на вклейке; Павлинская, 2007: 131; Кисель, 2010: 239–240]. Как правило, эти сооружения обычно использовались при поклонении духам местности.

Сравнительно редкой, но немаловажной деталью некоторых бурханистских святилищ выступают дуговидные каменные выкладки. Во время молений внутри таких построек разводится костер, вокруг которого рассаживаются верующие. Наименование выкладок *аил* наталкивает на мысль, что первоначально в культовой практике фигурировали иные сооружения. Поскольку *аилом* алтайцы называют шалаш или шестиугольную бревенчатую юрту, возможно, прототипом выкладок явилась конусовидная конструкция, обложенная у основания камнями. Косвенным доказательством может служить опубликованный В. П. Дьяконовой рисунок старинного алтайского священного места, на котором вместе с «алтарями» представлено строение с шатровой крышей [Дьяконова, 2010: рис. 1]. Между прочим, в настоящий момент коновязи святилищ также утратили свою утилитарную роль, превратившись в рудимент и выступая только в качестве символа. Не исключено, что некогда бурханистские мольбища включали не только чисто ритуальные объекты – «алтари», столбы с платками и лентами, но и полифункциональные конструкции – жилища, коновязи.

Нечто подобное встречается в Тыве. Тувинцы, как шаманисты, так и буддисты, для поклонения духам сооружают *овaa2*, которые часто напоминают шалаш, причем нередко обложенный камнями. В таком шалаше размещаются подношения и священные предметы. Обычно вблизи от *овaa* располагаются «алтари» (*саң*). Они значительно проще обычных бурханистских – плитка или большой камень, установленный на три маленьких. Впрочем, это отличие несущественно, поскольку в начале XX в. на Алтае встречались подобные типы [Данилин, 1993: 165].

Таким образом, анализ бурханистских святилищ показал, что они скорее всего восходят к общей тюрко-монгольской традиции и выводят нас на генетические связи с шаманским культом.

4.3. Фигурки из сыра и ритуальные ковры

Священное место имеет и свои «зеркала», которые объединятся воедино только во время весеннего или осеннего ритуалов. Они как бы отражают идею священного места в узком и широком смысле слова. Об этих сторонах культуры готовятся наши статьи, которые в ближайшее время выйдут в свет. Здесь мы только обозначим контур.

4.3.1. Шатра: фигурки из сыра

Фигурки из сыра и такие же фигурки, вырезанные из камня, были известны в бурханистских ритуалах. А. Г. Данилин о них писал: «На столике кроме сосудов у бурханов стоят (иногда) вырезанные из сыра фигурки лошади, барана и пирамидки простые (*satra*) или ступенчатые (*сакь*) с квадратом 6х6 см в основании, высотою 5–6 см. Здесь же расположены в ряд косточки ног барана» [Данилин, 1932: 73].

О существовании и использовании фигурок из сыра свидетельствует упоминание Е. А. Окладниковой, проводившей в Каракольской долине археологические исследования, и обратившей внимание на *шатра*, посвятив им свою статью [Окладникова, 1983]. Известно, что *шатра*, вырезанные из камня, представлены в коллекциях Российского этнографического музея. В коллекциях МАЭ алтайских фигурок из сыра представлено прежде не было, поэтому она была передана нами в Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого.

Сегодня ритуальные фигурки (см. вклейку: с. 86, ил. 3) изготавливаются обычно молодым парнем, который вырезает фигурки из сделанного накануне женщиной, участницей ритуала, сыра – *бышmак*. Само вырезание осуществляется в доме *jарлыкчы*. Вырезают фигурки, изображающие мужчину, женщину, коновязь, домашних животных и т. п., образуя как бы модель *jурт* (семьи / хозяйства), при этом все предметы представляются обязательно парно. Таких комплектов создается соответственно количеству *тагыл*'ов – каменных алтарей, которых, как мы уже отметили, обычно также четное количество. Расставленные на поднос фигурки в дальнейшем переносятся на *тагыл* мужчинами во время ритуала. *Шатра*, перед тем как быть расставлен на *тагыл*, а позже сожжены, женщиной – женой *jарлыкчы* – переносятся на ковер – *ширдек* (см. вклейку: с. 86, ил. 4).

4.3.2. Ширдек: ритуальный ковер

О ковроделии алтайцев известно очень немного [Иванов, 1954: 636]. Относительно же современных ритуальных ковров, то о них неизвестно совершенно ничего. Каждому святилищу соответствует свой ковер (*ширдек*). Таким образом, у 11 функционирующих святилищ в Онгудайском и Усть-Канском районах, причастных к *Ак-Jанг*, имеется 11 ковров (см. вклейку: с. 85, ил. 2). Создаются такие ковры в единственном экземпляре и исключительно женщинами, среди которых основную роль играют жены *jарлыкчы* и *шабычы*. Ими разрабатывается композиция и структура ковра. Расспрашивая жен *jарлыкчы,* мы услышали и тот факт, что некоторые из ковров постоянно шьются, т. е. после каждого

ритуала к ковру подшивается еще пара каких-то порой незначительных элементов.

Основой ковра выступает прямоугольник белого войлока (*ак киис*), который по краям оторочен цветным шелком по цвету радуги (*солон-ы*). Сам ковер, оформленный в технике аппликации, разделен на две половины (как правило, вертикальное членение), символизирующее дикий и освоенный мир. Такое противопоставление – самый устойчивый элемент всех перечисленных ковров. Нами также встречались два ковра, которые не имели никакого изображения. Первый ковер имел окантовку – *солон-ы*, второй – был просто белый из войлока. На вопрос о том, почему на ковре нет никакого изображения, *шабычы* ответил нам, изображение на ковре есть, но его реальное воплощение совершенно неважно.

Затрагивая выше вопрос о локальных общинах и социальной сети сторонников движения, можно обратить внимание и на такой сюжет, как передача ритуального ковра (*ширдек*) внутри поселка от семьи к семье участников движения. Дело в том, что в ходе наших исследований нам встречались два основных варианта обращения с ритуальным ковром. В одном случае он постоянно хранится в семье *jарлыкчы*, во втором – он передается от семьи к семье, которая организует ритуал. Согласно нашим расспросам, когда только начинали проводить моления, то стремились, чтобы ритуальный ковер передавался внутри села, но потом в некоторых селах в связи с противоречиями с *jарлыкчы*, последний предпочел держать ковер у себя дома.

Говорить о коврах, как известно, можно очень долго. Перед нами не просто 11 ковров, это своеобразные локальные концепции мира, которые являются неотъемлемой частью священных мест, локальных общин и в целом всего движения.

Заключение

Завершая этот обобщающий очерк, мы отметим некоторые из соображений, к которым мы подошли в предлагаемой работе. В самом начале мы обратили внимание на два ключевых вопроса, которые должны быть освещены в статье. Отвечая на эти вопросы, резюмируем.

Современный *Ак-Jанг* не выступает вырванным сюжетом из алтайской культуры и истории. Священные места как точки отсчета для формирования социальных отношений внутри движения, представляются в достаточной степени традиционными для тюрко-монгольского культурного мира. Но вместе с этим интерпретации самих мест изменились значительно со времен бурханизма, равно как и восприятие событий начала XX в. Прослеживая генеалогию дискурса и историю практик по созданию священных мест, читатель мог обратить внимание, насколько разными порой оказываются истории слов и истории вещей.

Ак-Jанг выступает еще и своеобразным преткновением в диалоге города и села, городских интеллектуалов и сельских сообществ. Мы наблюдаем два различных пути индигенизации религиозных практик: их локального изобретения из обломков прежних смыслов и памятников и их создание по иерархичной модели, порой вырываясь из всяких локальных смыслов, создавая, прежде всего, модели религии.

Мы в настоящем очерке оставили незатронутыми сами ритуалы внутри движения, биографии современных *jарлыкчылар* и т. д., а некоторые сюжеты были затронуты очень скупо, прежде всего, потому, что история бурханизма, *Ак-Jанг* и современных религиозных практик алтайцев выходит далеко за пределы одной статьи и требует большого монографического исследования.

Список литературы

Арзютов Д. В. и Тадина Н. А. Ак-Jангду как наследник бурханизма и хранитель знания (заметки о «советских алтайцах») // Сибирский сборник – 2. К юбилею Евгении Алексеевны

Алексеенко. СПб.: МАЭ РАН, 2010. С. 224–230.

Арзютов Д. В. Религиозное движение алтайцев (Ак-Jанг). Предварительные итоги полевого исследования // Материалы полевых исследований МАЭ РАН. Вып. 10. СПб.: МАЭ РАН, 2010. С. 47–56.

Бурнаков В. А. Духи Среднего мира в традиционном мировоззрении хакасов. Новосибирск, 2006.

Бутанаев В. Я. Бурханизм тюрков Саяно-Алтая. Абакан, 2003.

Ганболд О. М. Обычай «зажигания лампады» или «зул барих» // Актуальные проблемы этнической, культурной и религиозной толерантности коренных народов Русского и Монгольского Алтая. Горно-Алтайск, 2006. С. 111–114.

Данилин А. Г. Бурханизм (из истории национально-освободительного движения в Горном Алтае). Горно-Алтайск: Ак-Чечек, 1993.

Данилин А. Г. Бурханизм на Алтае и его контрреволюционная роль // СЭ. 1932. № 1. С. 63–91.

Данилин. А. Из истории национально-освободительного движения на Алтае в 1916 г. // Борьба классов. 1936. № 9. С. 36–44.

Дьяконова В. П. Персонажи пантеона бурханистов Алтая // Сибирский сборник-2. К юбилею Евгении Алексеевны Алексеенко. СПб.: МАЭ РАН, 2010. С. 210–223.

Екеев Н. В. Репрессированные священнослужители бурханизма // Возвращенные имена и события. Горно-Алтайск, 2007. С. 44–47.

Иванов С. В. Материалы по изобразительному искусству народов Сибири XIX – начала XX в. Сюжетный рисунок и другие виды изображений на плоскости // ТИЭ. Новая серия. Т. XXII. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1954.

Кисель В. А. Урочище Ондум и забытый культ Тывы // Сибирский сборник-2. К юбилею Евгении

Алексеевны Алексеенко. СПб.: МАЭ РАН, 2010. С. 231–242.

Окладникова Е. А. Ритуальные скульптурки животных из сыра кумандинских алтай-кижи // Пластика и рисунки древних культур. Новосибирск, 1983. С. 161–175. (Название статьи, по всей видимости, содержит ошибку. Судя по тексту статьи, речь идет об алтайцах долины р. Каракол. – *Авт.*)

Павлинская Л. Р. Обоо в культуре народов Восточных Саян: жизнь традиции во времена перемен // Радловский сборник: Научные исследования и музейные проекты МАЭ РАН в 2006 г. СПб.: МАЭ РАН, 2007. С. 130–134.

Потапов Л. П. Очерки по истории алтайцев. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1953.

Сагалаев А. М. Мифология и верования алтайцев. Центрально-азиатские влияния. Новосибирск: Наука, 1984.

Тадина Н. А. Очаг, молоко, можжевельник // Культура как система в историческом контексте: опыт западносибирских археолого-этнографических совещаний. Материалы XV Международной Западно-Сибирской археолого-этнографической конференции. Томск, 2010.

Шерстова Л. И. Бурханизм в Горном Алтае // Движение Ак Јанг (Белая вера) – бурханизм на Алтае: взгляд через столетие. Материалы научной конференции, посвященной 100-летию событий в долине Теренг. Горно-Алтайск, 2004. С. 25–49.

Шерстова Л. И. Бурханизм: истоки этноса и религии. Томск: Томский государственный университет, 2010.

Broz, Ludek. Conversion to Religion? Negotiating Continuity and Discontinuity in Contemporary Altai. // Conversion after Socialism. Disruptions, Modernisms and Technologies of Faith in the Former Soviet Union. N.-Y.–Oxford: Berghahn Books, 2009. P. 17–37.

Davidson-Hunt, Iain and Fikret Berkes. Journeying and Remembering: Anishnaabe Landscape Ethnoecology from Northwestern Ontario // Landscape Ethnoecology. Concepts of Biotic and Physical Space. N.-Y.–Oxford: Berghahn Books, 2010. P. 222–240.

Halemba, Agnieszka. Contemporary religious life in the Republic of Altai: the interaction of Buddhism and Shamanism // Sibirica. 2003. Vol. 3. No. 2. October. P. 165–182.

Laufer, Berthold. Burkhan // Journal of the American Oriental Society. Vol. 36 (1916). P. 390–395.

Tuan, Yi-Fu. Images and Mental Maps // Annals of the Association of American Geographers. Vol. 65. No 2. 1975. P. 205–213.

Примечания

1 Для разграничения событий начала XX в. и современных мы используем в первом случае термин бурханизм, а во втором – Ак-Јанг.

2 Алтайцы отличают *оваа / обоо / обо* от *тагыл*'ов, говоря, что *обоо* ставится на перевалах и дорогах, в то время как *тагыл* – это «специальное место» для совершения моления.

Н. Л. Пушкарева

РОССИЙСКАЯ ПОВСЕДНЕВНОСТЬ В ЗЕРКАЛЕ ГЕНДЕРНЫХ ОТНОШЕНИЙ: ТЕНДЕНЦИИ, ДИНАМИКА, ПЕРСПЕКТИВЫ ИЗМЕНЕНИЙ (X – НАЧАЛО XXI в.)

Постановка вопроса о гендерных аспектах повседневности, связанных с различиями в женской и мужской ментальностях, женском и мужском образе мира и аксиосферах мужского и женского актуальна и правомерна. Не секрет: классическая антропология (как и философия) рассматривала «человека вообще», лишенного каких-либо индивидуальных, в том числе половых, качеств. Абстрактным объектом изучения являлся среднестатистический индивид, все конкретные свойства человека игнорировались как второстепенные. В центре внимания постоянно оказывалась некоторая само собой разумеющаяся норма, все отклонения от которой признавались патологией и выталкивались за границу упорядоченной социальной реальности. Сюда попадали не только дети и старики, дураки и сумасшедшие, но алкоголики и наркоманы, инвалиды и преступники, нищие и прокаженные... К ним оказывались отнесенными вообще все непонятные, неприятные и опасные, в том числе и не похожие на среднестатистического мужчину... женщину (Гурин, 2000. С. 7).

Что касается досоветского периода, то в классической русской историографии повседневность (как и сфера частной жизни) женщин изучалась очень неравномерно и, главным образом, этнографами в рамках изучения традиционного (сиречь – крестьянского) быта (Пушкарева, 1997; Пушкарева, 2002).

Лишь в самое последнее время, со второй половины 1990-х гг., предметом рассмотрения стала не

столько фактическая обстановка женской повседневности современных города либо деревни (какой она видится наблюдателю-исследователю), сколько самоощущения их обитателей, их субъективные представления о себе самих и о мире вокруг, в том числе об отдельных вещах, формах общения, институтах культуры (см., например: Безгин, 2004; Богданов, 2001; Доронина, 2004; Журавлев, 2000; Зубкова, 1999; Ионин, 1997; Каменский, 2006; Козлова, 1996; Кром, 2003; Лебина, 1999; Лебина, Чистиков, 2003; Лившин, 2002; Пушкарева, 1997; Рожков, 2002; Российская повседневность, 1995). Правда, сами же российские историки-повседневноведы предостерегают: нельзя допустить сужения истории повседневности до картинок из быта маленьких людей. Только комплексный подход к повседневной жизни как целостному феномену может дать принципиально новое историческое знание (Каменский, 2002; История повседневности).

Как достичь этой комплексности? Отвечая на вопрос, можно как раз и поставить задачу изучения гендерных аспектов повседневной жизни (Новый быт, 2009). История российской повседневности в этом аспекте, казалось бы, отчасти отражена в работах социологов, отчасти – «этнографов города»... Но именно отчасти: вышедшие ранее сборники, отдельные статьи и монографии не позволяют создать представление об исторической динамике и смене форм гендерных контрактов на протяжении различных исторических периодов.

Между тем именно допущение плюральности в оценках разных сторон жизни, в том числе и жизни повседневной, которая отличает гендерные исследования в целом, заставила многих социологов, историков, лингвистов, культурологов обратиться к теме. Для тех, кто занимается повседневностью теоретически (и кто исходит из восприятия повседневной жизни человека как ценности), никогда не придет в голову приравнять теорию к реальности, в том числе патерналистски отнестись к чужой или своей собственной обыденной жизни. Нет повседневности, общей для всех. Нет, к счастью, нормативной, модельной повседневности...

Мужчины и женщины активно участвуют в постоянном процессе создания и переустройства структур повседневности, они пытаются «присвоить» и приспособить к себе тот жизненный мир, который их окружает (Людке, 1999. С. 117–126). И как нет общей для всех истины, «последней и завершающей», так для специалиста-гендеролога еще и немыслима ситуация разделения мира на «мы» и «они», где «мы» значительны, сильны и правы, а «они» нет. Просто вооруженные феминистской методологией, современные гендерологи и феминологи подчеркивают различия, в том числе различия, образующие неравенства и иерархии, – и среди них различия между повседневностью мужской (ее содержанием, ценностями, ритмом развития) и повседневностью женской.

Ставшее трюизмом соотнесение представительниц и представителей двух полов с функционально «разделенными» частной и публичной сферами (Репина, 1998. С. 194–208) дало инициаторам и участникам проекта основание полагать, что многообразные жизненные опыты индивидов, в том числе и ежедневные, в каждой из этих сфер отличались. Точно как же и практики женщин и мужчин в одной и той же сфере не были схожими. При этом женская повседневность, формально сопряженная в истории со сферой приватного, как минимум, не менее релевантна для интерпретации общего социокультурного контекста, чем «противоположная» ей мужская. Она составляла особое измерение в культуре и по-особому функционировала.

* * *

Небезынтересно, что само слово «повседневность» – женского рода и в русском, и в немецком (*die Alltäglichkeit*) языках (т. е. языках, в которых для обозначения этого понятия есть особая, отдельная лексема)[1], что в известном смысле показывает увязанность всего повседневно-бытового в этих языках и культурах именно с женской сферой. При определенной осмотрительности можно задаться вопросом: сказывается ли это на содержании и коннотациях данного понятия? Известно, что грамматический род наименования способен задавать образ восприятия самого феномена[2] и что историография обращает внимание на особенности такого рода. В частности, Лутц Нитхаммер (*Lutz Niethammer*), противопоставляя историю (*die Geschichte*) постистории (*das Posthistoire*), признавал, что в немецком и французском языках «история»[3] столь же «женственна», сколь и ее муза Клио[4].

Наработки по теме «женской повседневности» в западной науке разнообразны и зависят от того, насколько тем или иным ученым близка или далека феминистская методология. В зависимости от этого анализ женской повседневности либо является теснейшим образом связанным с темой распределения властных полномочий в обществе и гендерным аспектом такого распределения; либо пополняет общую картину жизни женщин (прежде всего, в семье) фактическим материалом без ясного критического потенциала (впрочем, в англо-американской историографии таких работ становится все меньше).

О том, что изучение истории повседневности должно изначально быть и оставаться гендерно-чувствительным в этом контексте, говорили не только сторонницы «женских исследований». Виднейший теоретик немецкой истории повседневно-

сти А. Людтке давно убедил оппонентов в том, что «история повседневности нацелена на постепенную реконструкцию поступков и образа действий, объяснений и чувствований людей», причем в любом факте или явлении «можно различить *специфические способы переживания* опыта, характерные для мужчин и женщин» (Lüdtke, 1994. S. 75; Людтке, 1999. С. 95).

Тема взаимосвязи истории повседневности с женскими и гендерными исследованиями нашла особое решение в работах женщин – историков и этнографов, – представительниц немецкой и английской историографий. В частности, Карола Липп, специалист в области культуры повседневности в эмпирических культурных исследованиях и этнографии, настаивает на тесном соединении этих синхронно развивавшихся исследовательских полей. С ее точки зрения, женские и гендерные исследования часто относят к исследованиям повседневности ввиду того, что будни «как место прямой коммуникации и удовлетворения непосредственных потребностей аналогичны господствующей дефиниции гендерного характера жизненного пространства» (мужчины и женщины). Она утверждает, что именно в женских исследованиях с их «микроскопическим взглядом» возникло большое число работ под заглавием «женская повседневность», посвященных «жизненным и рабочим отношениям женщин всех слоев» (от работниц и служащих, крестьянок, портних или водительниц речных судов до супруг профессоров). К. Липп делает чрезвычайно важный вывод о том, что методы и *подходы гендерных исследований форсировали развитие исследований повседневности* (Lipp, 1994. S. 85–86). По ее мнению, начавшееся в ранние 60-е гг. XX в. развитие этнографических женских исследований было также в значительной степени инспирировано дискуссиями женщин-историков и культурно-антропологическими начинаниями американских феминисток (Lipp, 1988. S. 29–46). «Аналогично изменялись и постановки вопросов: от описаний материальной повседневности к символическим аспектам повседневных поступков» (Lipp, 1994. S. 86; Schimpfende Weiber, 1986).

Таким образом, проблематизация женской повседневности стала предметом сближения этнологии не только с женскими и гендерными исследованиями, но и с историей повседневности. Обоюдность процесса провоцировалась тем, что история в последней трети XX в. явно ощущала на себе «очаровывающее воздействие опыта этнологии» (Ж. Ревель). Вспомним, что Э. Дэвин (активная участница английского движения исторических мастерских[5], известная своими трудами по женской рабочей истории), еще в начале 1990-х гг. вынуждена была констатировать, что «мужчины, которые пишут этнически ориентированную историю, до сих пор мало занимались женскими и гендерными темами». Напротив, женщины-исследователи, затронутые феминистским влиянием, доказывают каждой своей работой, что вопросы социального пола, история сексуальности, социального опыта мужчин и женщин являются существенными, поскольку не только обогащают видение прошлого, но и преобразовывают его.

Исследование исторической субъективности, идентичности и сознания подчинено задаче «выяснения *контекстов, внутри которых формируются многообразные и часто наслаивающиеся идентичности* (мужчины и женщины, работающих и безработых, гетеросексуально и/или гомосексуально ориентированных, имеющих опыт родительства и не имеющих такового, замужних или свободных, членов того или иного класса), и обнаружения комплексных отношений между идеологией и практикой в этих областях».

Э. Дэвин, как и К. Липп, принадлежит к числу тех женщин-историков, которые напрямую соотносят развитие истории женщин и истории повседневности. Не случайно одна из ее специальных статей посвящена этой взаимосвязи и носит характерное название «Женщины и история повседневности». В этой статье, в частности, утверждается, что в Англии история повседневной жизни родилась из инициированных в конце 1960-х гг. студентками и феминистками ежегодных конференций исторических мастерских, на которых, правда, еще не употреблялся сам термин «история повседневности». Э. Дэвин указывает на значительную социальную востребованность и истории женщин, и истории повседневности. По ее мнению, «вызывающие всеобщий интерес книги о женской жизни и биографиях женщин процветают», а «богато иллюстрированные книги (без сносок) об истории одежды, воспитании детей, истории мебели, инструмента, транспорта или различных повседневных вещей» не уступают им в популярности. Дэвин подчеркивает одно чрезвычайно важное обстоятельство: *более глубокое понимание различий в повседневных привычках*, подтверждающее то, что общества меняются, а вместе с ними меняются и способы, которыми обычные люди ведут свою жизнь и оформляют свои отношения, *противостоит фаталистическому признанию сложившегося порядка вещей как «естественного»*. Это актуально, на мой взгляд, прежде всего в плане критического осмысления распределения гендерных ролей и функциональных сфер в обществе. История женщин и история повседневности открывают, с точки зрения Э. Дэвин, новые возможности до тех пор, пока осуществляется коммуникация между женщинами-историками разного профиля и женщинами-авторами и читательницами. Это

всегда было целью, правда, не всегда достигаемой в исторических мастерских.

В методологическом плане «узкий угол зрения на локальное или специфическое» может действовать столь же ограничивающе, сколь и «широкий обзор или слишком теоретический анализ». Поэтому историком повседневности, по мнению Дэвин, будут востребованы разные инструменты анализа: и *«микроскоп»*, и *«телескоп»*. Важно видеть историю вещей как историю их проектирования, производства, продажи и использования. Другой, теперь уже общий для большинства гендерологов аспект, – положение о том, что «история женщин должна пониматься относительно мужчин». Это же относится и к истории старых и молодых, рабочего класса и других классов, традиционного и нового. Тем не менее Э. Дэвин особо отмечает, что «специализированные истории структур или внешних знаков повседневной жизни ни в коем случае не достаточны». Повседневность для нее связана с тем, как люди думают, чувствуют, взаимодействуют при регулярном исполнении своих обязанностей дома, во время работы или находясь в своем привычном материальном окружении. При этом семья – не просто совокупность старых и молодых, мужчин и женщин. Она охватывает также хозяйственные, эмоциональные и властные отношения, которые обнаруживают вариации как при сравнении разных периодов времени и разных мест, так и в течение одного и того же периода и на одном месте. «Значения домашнего очага, национальной идентичности, сексуальности, возраста, материнства, работы, этнической идентичности и религии варьируют и изменяются. И исследование вариаций и изменений столь же необходимо для таких понятий, как народность и традиция, которые имеют свою собственную историю, сколь и для нации, хозяйства или государства» (Davin, 1994. S. 37–58, 41, 47–48, 53, 55–56).

Своим окончательным выводом Энн Дэвин как бы солидаризируется с Каролой Липп, утверждая, что «история женщин имела важное влияние на историю повседневности». Это влияние заключалось прежде всего в том, что она способствовала установлению связи между повседневными подробностями и общественными структурами пола, власти, сексуальности и культуры. Одновременно рост числа исследований по практическим аспектам повседневной жизни помог, с точки зрения Э. Дэвин, документировать то, как люди жили в таких структурах. Более того, она убеждена, что исследования по истории повседневности и истории женщин, плодотворно влияющие друг на друга, могут воздействовать на общее понимание истории в академическом мире и за его пределами (Davin, 1994. S. 56).

Любопытным ответом на вызов второй волны феминизма (1970-х гг.) – той самой, что заставила увидеть в удаленности женщин от новейших технологий серьезную помеху для равенства и неблагоприятное условие для достижительной жизненной стратегии женщин, – было одно любопытное исследование начала 1990-х гг. В нем анализировались происшедшие изменения и результаты направленной политики вовлечения женщин в круг новейших технологических практик (Strathern, 1992). Речь шла не только о том, чтобы предоставить женщинам особые возможности при поступлении на технические факультеты университетов, при получении мест врачей (а не медсестер) в больницах, но и изменить женскую повседневность дома, в семье, включив в нее технических помощников, заставив женщин почувствовать свое превосходство, перестроить повседневный бюджет времени, освободив именно женщин. Смена гендерных ролей и роль в этом процессе технологических новшеств, врывающихся в повседневную жизнь, – типичная проблема современной западной социологии (Csikszentmihalyi, 1981; Reiss, 1981; McDowell, 1983. P. 142–163; Henwood, Rimmer, Wicks, 1987; Cowan, 1989; Livingstone, 1992. P. 113–131).

Поставив в центр изучения «устную историю» семьи в XX в., Э. Робертс провела грандиозное исследование истории повседневности в том ее виде и ракурсе, в каком ее запоминают женщины. Взяв автобиографии нескольких поколений – с 1890 г. по 1970 г. – она заставила источники и живых информаторов из трех северо-западных индустриальных английских городов говорить именно о том, что в обычных воспоминаниях является фоном[6]. Это деторождение и уход за детьми, сексуальные отношения, брак, домохозяйствование, гендерные роли, родственные связи и многое другое, что конструирует, прежде всего, женские жизни. Изучение повседневности женщин за более, чем век, показало ей, во-первых, смену приоритетов в системе повседневных обязанностей: в место шитья, обшивания себя, детей и родственников, вязания и иных традиционных женских умений, вместо умения вкусно готовить и экономно расходовать продукты к концу XX в. пришло умение следить за собой, точно рассчитывать рацион всех близких с точки зрения его полезности/вредности. Во-вторых, к концу XX в. она увидела в рассказах о повседневном явную «революцию» в отношениях между мужем – женой и отцом – детьми: мужчины стали более креативными в делах обустройства дома, стирки и готовки, стали больше посвящать времени занятиям с детьми – от спорта до интеллектуального воспитания. При этом исследовательница заметила нелинейность этого процесса: отцы 1950-х гг. занимались с детьми много меньше, чем в начале XX в., зато к концу

столетия произошло рождение «нового отцовства», предполагающего даже умение молодых отцов заботиться о младенцах. В-третьих, исследование «женской повседневности» показало, что за столетие изменился вес (в затратах времени и сил) проблемы ухода за детьми и стариками. В начале столетия задачей женщины было, прежде всего, «поднять детей» до совершеннолетия, поскольку заболеваемость и смертность до взросления были очень высоки. К концу столетия куда более значимой проблемой стала не «детская», а «родительская», хотя сфера социального обеспечения развивалась быстро и многое стало в этом смысле проще. Важно подчеркнуть, считает Э. Робертс, что мужчины также оказались вовлечены в уход за стариками, чего не было в начале XX столетия.

В известном смысле наблюдения над женскими автобиографическими текстами XX в., проведенные литературоведами, также привели некоторых из них к выводу о том, что «образ домашней матери, матери, сидящей дома с детьми, стали в настоящее время культурной аномалией», которая существовала только в конце 1950–1960-х гг., и то очень непродолжительное время (Siegel, 1999. P. 5). Раз так, рассуждают аналитики, повседневность женщины вне дома была схожей с повседневностью мужчин? Или же все-таки была отличной от нее? Почему и как сложилась ситуация, когда материальный вклад женщины в повседневность семьи, очевидно, вырос, а «домашняя мама» все-таки остается идеалом. И чьим идеалом, для кого, почему образ властной, «фаллической матери» так непригляден?

Пытаясь философски осмыслить различия мужской и женской повседневности через понятия мужской и женской субъективности, современная германская гуманитаристика (Seidel, 1990. P. 137–161), впрочем, как и историописание (Hufton O., 1981. S. 138–159), стараются подчеркнуть подчиненный характер и женской субъективности, который диктует (или по крайней мере: диктовал) своеобразное отношение женской повседневности как к теме не слишком значительной и по возможности сводимой к «повседневности вообще» (Ostner, 1978). Признание значимости изучения женской повседневности идет рука об руку с *признанием ценности женской субъективности, преодолением патриархатных воззрений*, критикой андроцентризма в науке.

Вполне объяснимо, в свете сказанного, что женский травматический опыт, запечатленный в воспоминаниях, значительно легче выявить, вербализовать, записать. Поэтому задача, поставленная германскими исследователями женской лагерной повседневности – в том ее виде, в каком она сохранилась в памяти переживших заключение в советских лагерях, – была успешно выполнена М. Штарк в 2003 г. (Stark, 2003). Автор исследования не ставила задачи сопоставить мужской и женский тип запоминания. Аналогично, она не ставила перед собой задачи задуматься, какие основные различия заставляют «развести» мужские и женские лагерные воспоминания, в чем они в особенности очевидно не совпадают. Однако сама по себе публикация множества устных рассказов, обобщенных по темам, связанным с повседневностью (транспорт, жилье, питание, одежда, досуг, сексуальность, болезни и смерть) оказалась очень важным этапом в осмыслении проблемы в целом и введении в оборот записей, собранных множеством архивов (архивов ФСБ, общества «Мемориал», Народного архива и ряда провинциальных документохранилищ).

Изучение женской/мужской повседневности – еще более сложная задача, чем воссоздание повседневности социального слоя, группы, этноса вообще. Если сама повседневность подчас неразличима для «замыленного» глаза, не способного видеть то, что постоянно находится перед изучающим, то женская повседневность еще более обыденна: она не склонна себя выговаривать, озвучивать, обозначать, как отдельная женщина никогда не была склонна проговаривать (особенно письменно) и опредмечивать свои бессознательные женские мании и фобии. И если мужская повседневность всегда готова продемонстрировать себя в парадном зале дворца или на поле битвы, то обстановка кухни, детской, светелки, а тем более чулана или чердака, т. е. пространства женской повседневности запросто изглаживается из исторической памяти. Десятилетиями эта сторона жизни и быта волновала лишь этнографов, да и то «на равных» с изучением повседневности мужской.

Осваивая изучение повседневности в гендерном аспекте, стоит помнить об опасности воспроизведения в конечном счете лишь ее внешних, расплывающихся границ вместо постижения ее подлинной внутренней природы – что так часто случается с попытками интерепретаций в этой области (Krone-Schimalz, 1999). То, что в мужской аксиосфере и в так называемой «общечеловеческой системе ценностей» может рассматриваться с позитивным знаком, в системе женской может оказаться поводом для депрессий и разочарований. Попытки индивида взбунтоваться против унылости повседневности, бежать от лицемерия нормальной обыденности, введя в число действующих лиц новых знакомых, изменив строй жизни, разнообразив события каждого дня, часто оборачиваются против близких ему людей. Стремление освободиться от опостылевшей привычности заканчивается общим поражением участников подобного «эксперимента», в том числе самого бунтаря и беглеца. Попытки обоснования мужского превосходства (маскулинного супрематизма) слишком часто оказываются обреченными.

Напротив, то, что в мужской и привычной системе ценностей может выглядеть как обездушивание собственного существования, вызывающее тоску и скуку (монотонность, ритмизированность), то в аксиосфере женской может предстать как разумная попытка спасти от гибели налаженный быт и сложившиеся отношения, а следовательно – сохранить здоровье близким, продлить их жизнь. Следовательно, *оценки одного и того же зафиксированного явления истории повседневности очень зависят от позиции аналитика*, от того, например, насколько он/она разделяет идеи феминистской этики (ответственности, участия, эмпатии). Не стоит забывать и того, что границы повседневного и неповседневного, как и границы «быта», приватной сферы оказывается определить очень трудно — она является переговорной, проницаемой для внешнего мира, гендерно вариативной.

Не претендуя на релевантность мощных обобщений, история повседневности (в гендерном аспекте в том числе) может довольствоваться указанием на то, что такое *бывало, случалось,* при этом не пытаясь определить эту степень встречаемости и повторяемости, оставляя ее для квантитативных исследований. Тем самым история мужчин и женщин в их повседневных заботах и радостях, несмотря на вышеозначенные оговорки, все же способна выполнить сразу три задачи, сумев послужить и опровержению стереотипов, и постановке новых проблем исследования, а в чем-то – просто удовлетворению любопытства читателей.

Полагаю, что *главное в отношении понятия «повседневность в ее гендерном аспекте»* – это *усиленность эмоционального момента*. Если повседневность – это жизненный континуум, непрерывность опытов, практик, восприятий, а главное – переживаний, реализующих субъективность, если история повседневности (в отличие от прочих направлений и методологических подходов, в отличие от обычной этнографической истории быта) – это именно «пережитая» история (Bausinger, 1992. S. 95–107), то к гендерному аспекту этого понятия (особенно «женской повседневности») данное утверждение применимо даже больше, чем к генерализирующей лексеме «повседневье».

* * *

Российская повседневность в зеркале гендерных отношений предстает в случае рассмотрения ее в гендерном аспекте *постоянно изменяющей свои структуры*. Часто и крепко эти перемены оказывались связанными с трансформациями в экономике и политике, но так или иначе обращение к этой стороне нашего прошлого являет нам другую историю отечества, не сводимую ни к политической, ни к экономической, ни даже к социально-культурной, она выразительна и своеобразна и по источниковой базе (особая роль эго-доментальных источников), и по методам (на первом плане среди них – устно-исторические, включенное наблюдение, феминистская рефлексия), и по направленности исследовательского интереса.

Прежде всего, представленная сторона российской истории – это история групп, сообществ, социальных слоев, классов, т. е., с известным допущением, как раз не отдельных индивидов, а «народа». Мужчины и женщины из этого «народа» не только «простые люди», но и представители элит. Но в отличие от советской историографии, все время пытавшейся (под лозунгом историко-материалистического подхода) вывести всеобщие закономерности развития, *повседневноведческое исследование в его гендерном аспекте имеет очевидно идеографический характер*, поскольку ориентирует на размышления об истории наполнения, содержания различных понятий. Что значило быть гувернером или гувернанткой, монахом или «черничкой» в далекие времена, как конструировали ненависть к «мещанкам» и «бездуховным обывателям» во времена совсем не столь отдаленные, скажем, в «брежневские времена застоя»?

Сложный вопрос о тенденциях в обнаруженной динамике перемен в повседневности мужчин и женщин в России за десять веков, их направленности и перспективах заставил исследователей (а следом и читателей их размышлений) прорваться сквозь вкусы, цвета и запахи былых эпох к людям тех времен, соотнести (а в чем-то и идентифицировать себя) с ними. Поэтому задуманный *проект* о гендерных аспектах российской повседневности *выступил каналом связи времен*, а не только отчетом о прошлом. Яснее становилась специфика культурных контекстов, по-иному, более объемно представало измерение общесоциальных процессов.

Достаточно напомнить, что в традиционной историографии обращение, скажем, к истории сталинского тоталитаризма или фронта и тыла в годы Великой Отечественной войны предполагало известную поляризацию между «властью», «диктатом», «завоевателями» и т. д. и *сопротивлением* в широком понимании этого слова (Осокина, 2011. С. 284–302). Пассивное сопротивление, социальное неповиновение и способы выживания в лиминальные периоды (подобные указанным выше), став предметом изучения специалиста-гендеролога, заставляет размышлять о своеобразии реакций мужчин и женщин на идущую сверху политику и особости толкования ими окружающего мира. Как это уже доказывалось германскими повседневноведами, такое «*социальное своенравие*» может поддерживать Власть, а может ее ограничивать. Оно стоит

между «властью» и «сопротивлением», которые в истории повседневности долго рассматривались как взаимоисключающие полюса (Обертрайс, 2004. С. 5–7).

Не секрет, что критики повседневноведческих подходов подчас отмечают ограниченность ее методологических, концептуальных и аналитических возможностей, ссылаясь на то, что она игнорирует крупные проблемы, отрицает понятие «тотальной истории» и подчас не в силах справиться с выделением методики сочетания результатов разнотематических исследований. Собственно анализ, предупреждают критики подходов повседневноведов, грозит замениться пониманием и толкованием, а доминирование описаний множества различных практик – увести от выработки теоретико-методологических основ к созданию «сторонниками этого направления перегруженных мелкими деталями полулюбительских работ» (История повседневности // Википедия).

Сопоставление результатов разноплановых, касающихся разных эпох и разных социальных слоев повседневных практик в их гендерном измерении позволяет избежать всех этих опасностей. Оно дает возможность выявить те общие тенденции, тренды, которые позволяют дать характеристику процессу в целом.

Обобщение результатов исследования повседневных практик разных времен позволяет отойти от описательности «отдельных судеб» и провести типизацию паттернов (образцов действий), схем соотнесения (выстраивающих координат, позволявших ориентироваться в социальном пространстве), определить знания, позволявшие представителям (-цам) разных социальных групп достигать при наименьших усилиях наилучших результатов, понимать типические для времени и класса социальные ожидания, «системы уместностей», рамки взаимодействия. Обращение к небольшим социальным гендерно-сегрегированным общностям (воспитанницы закрытых женских заведений в XIX в. или подростки в мальчишеских компаниях второй половины XX в.) выявляет то «*неявное знание*», которое складывалось на основе интериоризации внешних социальных структур и формировало ментальные и телесные предрасположенности понимания и действия. Все эти модели взаимодополнительны и углубляют общую констелляцию множества повседневностей своего времени.

И если касательно давно ушедших столетий факты постоянного нарушения границ между частной и публичной сферой, показав историческую обусловленность этих границ, говорят о невозможности однозначно определить направление, в котором развивалось их взаимодействие, то в отношении современности это направление как раз просматривается. Описывая и анализируя частное пространство и потребительские практики, формирование новых идентичностей и стратегий репродуктивного и сексуального поведения мужчин и женщин, участники проекта показали перемены в гендерном устройстве частной жизни на фоне социального расслоения, формирования новых идентичностей, коммерциализации повседневности (всего того, что характеризует наш постсоциалистический быт). В этом контексте авторы размышляли и о тенденции к модернизации патриархатного сознания и/или (в другой формулировке) – тенденции к поиску культурных корней, которая в ряде случаев могла принимать форму дискурсивного возвращения традиционных половых ролей.

В идеале *гендерный подход к анализу истории повседневности* долженствует содержать (ибо предполагает по определению) *анализ социального неравенства, встроенный в понимание сферы бытового*, рутинного, приватного, повседневного. Реализовать гендерный анализ (гендерную экспертизу) собранного материала по истории российской повседневности удавалось не всегда... Ведь сами исследователи гендерных аспектов истории российской обыденной жизни являются и носителями (-цами) новых бытовых практик, и наследия советских образов социального взаимодействия. Это означает, что отношения с прошлым у некоторых из них предполагают не разрыв и отречение, а его невольное воспроизводство в новых условиях. Однако благодаря общей работе (и это тоже результат объединительной стратегии в рамках проекта) различия в интерпретациях содержания гендерного подхода подчас способствовали поискам консенсуса, а в дальнейшем – консолидации единомышленников в рамках сообщества, в иных случаях – формированию мирного диссенсуса.

Завершенный проект позволил подготовить к печати несколько коллективных публикаций, объединенных общей идеей. Это рекомендованные к изданию Ученым советом ИЭА РАН сборники статей «Мужчины и женщины в повседневных тревогах и радостях (очерки истории российской повседневности X–XXI вв.» (готовящийся к изданию в Издательстве «Новое литературное обозрение») и «Бытовое насилие в России (гендерный аспект)», которым заинтересовалось петербургское издательство «Алетейя». Статьи, собранные в перечисленных изданиях, касаются всех трех основных сфер изучения повседневности: антропологического измерения ее (тем, касающихся рождения и сексуальности, болезней, смертей, детства, старости), стратегий, необходимых для существования отдельных мужчин и женщин и их групп (речь о питании, одежде, жилье, работе, досуге), а также способов выживания в экстремальных ситуациях[7].

Можно надеяться, что работа, проделанная почти четырьмя десятками историков, культурологов, филологов, привлеченных к проекту из нескольких городов РФ (многие аспиранты и докторанты ИЭА РАН собирают материалы вдалеке от столицы), внесет должный вклад в изучение темы и укрепление научного направления.

Список литературы

Безгин В. Б. Крестьянская повседневность. (Традиции конца XIX – начала XX века). Тамбов, 2004.

Богданов К. А. Повседневность и мифология: Исследования по семиотике фольклорной действительности. СПб., 2001.

Гурин С. П. Маргинальная антропология. Саратов, 2000.

Доронина М. В. Культура повседневности русской разночинной интеллигенции во второй половине XIX века: соотношение «идеального» и «реального»: Автореф. дис. ... канд. ист. наук. М., 2004.

Журавлев С. В. «Маленькие люди» и «большая история»: иностранцы московского Электрозавода в советском обществе 1920–1930-х гг. М., 2000.

Зверева Г. Формы репрезентации русской истории в учебной литературе 1990-х годов: опыт гендерного анализа // Пол. Гендер. Культура... М., 1999. Вып. 1. С. 155–180.

Зубкова Е. Ю. Послевоенное советское общество: политика и повседневность. 1945–1953. М., 1999.

Ионин Л. К антропологии повседневности // Ионин Л. Свобода в СССР / Статьи и эссе. СПб., 1997. С. 37–38.

История повседневности // Википедия. Код доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8

История повседневности // Он-лайн энциклопедия «Фонд знаний ЛОМОНОСОВ». Код доступа: http://www.lomonosov-fund.ru/enc/ru/encyclopedia:0129506

Каменский А. Б. Повседневная жизнь русского города XVIII в. как источниковедческая проблема // Источниковедение и историография в мире гуманитарного знания. М., 2002.

Каменский А. Б. Повседневность русских городских обывателей. Исторические анекдоты из провинциальной жизни XVIII века. М., 2006.

Козлова Н. Н. Горизонты повседневности советской эпохи: голоса из хора. М., 1996.

Кром М. М. Повседневность как предмет исторического исследования // История повседневности. СПб., 2003. С. 11–17.

Лебина Н. Б. Повседневная жизнь советского города: Нормы и аномалии. 1920–1930 годы. СПб., 1999.

Лебина Н. Б., Чистиков А. Н. Обыватель и реформы. Картины повседневной жизни горожан в годы нэпа и хрущевского десятилетия. СПб., 2003.

Лившин А. Я., Орлов И. Б. Власть и общество: диалог в письмах. М., 2002.

Людке А.Что такое история повседневности? Ее достижения и перспективы в Германии // Социальная история. Ежегодник. 1998/99. М., 1999. С. 117–126.

Людтке А. Что такое история повседневности? Ее достижения и перспективы в Германии // Социальная история. Ежегодник, 1998/99. М., 1999. С. 95.

Новый быт в современной России: гендерные исследования повседневности / отв. ред. Е. Здравомыслова, А. Роткирх, А. Темкина. СПб.: Изд-во ЕУСПб (Труды факультета политических наук и социологии. Вып. 17), 2009.

Обертрайс Ю. Введение // Эпоха. Культуры. Люди (история повседневности и культурная история Германии и Советского Союза. 1920–1950-е годы). Материалы межд. научн. конф. (Харьков, сентябрь 2003 г.): Сб. докладов. Харьков, 2004. С. 5–7.

Осокина Е. А. О социальном иммунитете, или Критический взгляд на концепцию пассивного (повседневного) сопротивления // Социальная история. 2010. СПб., 2011. С. 284–302.

Пандель Г.-Ю. Повседневная история как новый жанр историографии / Г.-Ю. Пандель // Гісторыя штодзеннасці і правы чалавека: матэрыялы міжнароднай канферэнцыі. Мінск, 1–5 снеж. 1999 г. Мінск: Изд. Белорусской комиссии по делам ЮНЕСКО, 2000. С. 78–87.

Пушкарева Н.Л. «История повседневности» и «история частной жизни»: содержание и соотношение понятий // Социальная история. 2004. М., 2005. С. 93–113.

Пушкарева Н. Л. Предмет и методы изучения истории повседневности // Этнографическое обозрение. 2004. № 5.

Пушкарева Н. Л. Русская женщина: история и современность. М., 2002.

Пушкарева Н. Л. Частная жизнь женщины в доиндустриальной России. X – начало XIX в. Невеста, жена, любовница. М., 1997.

Репина Л. П. Гендер, власть и «теория разделенных сфер» // Репина Л. П. «Новая историческая наука» и социальная история. М., 1998. С. 194–208.

Рожков А. Ю. В кругу сверстников. Жизненный мир молодого человека в советской России 1920-х годов. Краснодар, 2002.

Российская повседневность 1921–1941 гг.: Новые подходы. СПб., 1995.

Bausinger H. Erlebte Geschichte – Wege zur Alltagsgeschichte // Saeculum 43. 1992. S. 95–107; Burkardt A. a.a.O. S. 60.

Csikszentmihalyi M., Rochberg-Halton E. The Meaning of Things: Domestic Symbols and the Self. Cambridge, 1981; Reiss D. The Family's Construction of Reality, Cambridge (Mass.), 1981.

Davin A. Frauen und Alltagsgeschichte // Berliner-Geschichtswerkstatt (Hg.): Alltagskultur, Subjektivität und Geschichte. Zur Theorie und Praxis von Alltagsgeschichte; Münster, 1994. S. 37–58.

Henwood M., Rimmer L., Wicks M. Inside the Family: The Changing Roles of Men an London, 1987 (Family Policy Studies Centre, occasional paper no. 6).

Hufton O. Weiblicher Alltag // Honegger C., Heintz B. (Hrsg.): Listen der Ohnmacht. Zur Sozialgeschichte weiblicher Widerstandsformen. Frankfurt a. M., 1981. S. 138–159.

Krone-Schimalz G. «In Wahrheit sind wir starker». Frauen-Alltag in der Sovjet-Union. Dusseldorf, 1999.

Lipp C. Alltagskulturforschung in der empirischen Kulturwissenschaft und Volkskunde // Berliner-Geschichtswerkstatt (Hg.): Alltagskultur, Subjektivität und Geschichte.Zur Theorie und Praxis von Alltagsgeschichte; Münster, 1994.

Schimpfende Weiber und patriotische Jungfrauen. Frauen im Vormärz und in der Revolution 1848 / Hrsg. von C. Lipp. Bühl-Moos, 1986.

Lipp C. Überlegungen zur Methodendiskussion. Kulturanthropologische, sozialwissenschaftliche und historische Ansätze zur Erforschung der Geschlechterbeziehung // Frauenalltag. Beiträge zur 2. Tagung der Kommission Frauenforschung in der DGV. Frankfurt; Bern; New York, 1988. S. 29–46.

Livingstone S. Living The meaning of domestic technologies: a personal construct analysis of familial gender relations // Strathern M. (ed.) Consuming technologies... P. 113–131.

Lüdtke A. Stofflichkeit, Macht-Lust und Reiz der Oberflächen: Zu den Perspektiven von Alltagsgeschichte // Sozialgeschichte, Alltagsgeschichte, Mikro-Historie: Eine Diskussion.. Eine Diskussion / Hrsg. von W. Schulze. Göttingen, 1994. S. 75.

McDowell L. Urban housing and the sexual division of labor // Evans M., Ungerson C. (eds.) Sexual Divisions: Patterns and Processes. L., 1983, P. 142–63.

Niethammer L. Einladung zur Spurensuche im Zeitgeist // Niethammer L. unter Mitarbeit von D. van Laak. Posthistoire: Ist die Geschichte zu Ende? Hamburg, 1989.

Ostner I. Beruf und Hausarbeit. Die Arbeit der Frau in unserer Gesellschaft. Frankfurt a. M.–N-Y., 1978.

Roberts E. Women and Families: An Oral History, 1940–1970. Oxford, 1995. Рецензия: Leydesdorf S., Passerini L., Thompson P. International Yearbook of Oral History and Life Stories V. IV. Oxford, 1996. P. 202–203.

Seidel G. Sind Menschenrechte Frauenrechte? // Frohlich K., Riisen J. (Hrsg.): Menschenrechte im Prozess der Geschichte. Historische Interpretationen, didaktische Konzepte, Unterrichtsmaterialien. Pfaffenweiler, 1990. P. 137–161.

Siegel K. Women's Autobiographies, Culture, Feminism. N.-Y., 1999. P. 5.

Stark M. Frauen im Gulag. Alltag und Uüberleben. 1936 bis 1956. München – Wien, 2003.

Strathern M. (ed.) Consuming technologies: media and information in domestic spaces. Padstow, Cornwall, 1992.

Примечания

1 В английском и французском языках – в отсутствие отдельной лексемы – «повседневность» передается выражением «повседневная жизнь» (*everyday life, la vie quotidienne*). В немецком, как и в русском, выражение «повседневная жизнь» – *das Alltagsleben* – сосуществует со словом «повседневность» (*die Alltäglichkeit*). Есть в немецком языке и слово «будний день», «будни», – оно мужского рода: *der Alltag*.

2 Грамматический женский род названия «Россия» не только определяет персонифицированный образ страны, но и используется в символическом конструировании русской истории посредством гендерного кодирования (Зверева, 1999. С. 155–180).

3 В русском – как и немецком, французском, многих славянских языках – слово «история» – женского рода: *die Geschichte, l'histoire (f)*.

4 «Уже громоздкое словосочетание <das Posthistoire>, по-французски звучащий неологизм, чуждо французскому языку и дополнительно выделяется артиклем среднего рода, так как такого (ни слова, ни артикля) французский язык не знает. История (коллективное единственное число!) на обоих языках так же женственна, как и ее муза Клио...». (Niethammer, 1989. S. 8.)

5 *History Workshops, Geschichtswerkstätten* – исторические мастерские, или семинары, – конференции по истории и историографии, доступные широким кругам, а также долгосрочные рабочие группы по истории, объединяющие как профессионалов, так и интересующихся дилетантов. (Подробнее см.: Davin, 1994. S. 37–58).

6 Впоследствии автора критиковали за то, что свое исследование исследовательница проводила в таких английских городах, где активная профессиональная занятость женщин (это, прежде всего, Престон – «хлопковая столица» Великобритании) является традиционной для нескольких поколений (Roberts, 1995; Leydesdorf, Passerini, Thompson, 1996. P. 202–203).

7 Пандель Г.-Ю. Повседневная история как новый жанр историографии / Г.-Ю. Пандель // Гісторыя штодзеннасці і правы чалавека: матэрыялы міжнароднай канферэнцыі. Мінск, 1–5 снеж. 1999 г. Мінск: Изд. Белорусской комиссии по делам ЮНЕСКО, 2000. С. 78–87.

Б. С. Губаева

ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ И КОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕПРОДУКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ЖЕНЩИН В РЕСПУБЛИКАХ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

Поведение женщины в обществе диктуется как социально-культурными и экономическими условиями, так и национальными традициями, имеющими глубокие корни в прошлом. В определенных условиях в поведении женщины существенную роль играют этноконфессиональные факторы.

Этноконфессиональные традиции могут противоречить реализации государством универсальных человеческих норм в признании прав женщины, но, как правило, именно они становятся в кризисные для общества времена «спасательным кругом», с помощью которого общество старается защитить себя. При этом наиболее ощутимому влиянию негативных сторон любых социально-экономических и политических реформ подвергается статус женщины. Нередко неприятие принципа универсальности затрагивает ту сферу, в которой человеческие права женщин наиболее уязвимы в силу своей деликатности и потому являющейся слабоконтролируемой областью социальных отношений. Это – сфера репродуктивных прав женщин.

В результате социальных трансформаций в государстве изменилось и репродуктивное поведение женщины. В ряду гендерных аспектов социальных трансформаций в первую очередь выделяются кризисные тенденции в развитии семьи, гендерная составляющая социального неравенства, феномены женской бедности и мужской сверхсмертности в трудоспособных возрастах. Начало этим тенденциям было положено в 90-е гг. и обусловлено стремительным падением доверия к государству, растерянностью и апатией, которые охватили массу людей, переживших цивилизационный шок перехода к новому укладу жизни. «При всех различиях в понимании причин, следствий и масштаба особенностей России объединяющим моментом здесь выступает признание, что базовой моделью российских социальных трансформаций выступает не реформа, результатом которой является постепенное включение в процесс изменений всех социальных групп населения, а разрыв с прошлым, чреватый кризисами и социальным катаклизмом» (Здравомыслова, 2008. С. 3).

Несомненно, ситуация, сложившаяся в России в перестроечный и постперестроечный периоды, отражалась на социальных трансформациях в республиках Северного Кавказа. Опыт этого времени не мог не сказаться на судьбе семьи как социального института и на результатах социализации женщин. «Первая половина 1990-х гг. характеризовалась в России возрождением симпатий к традиционной семье, что было связано, в частности, с усталостью женщин от “двойного” рабочего дня, мифологизацией роли домохозяйки, использованием женщин в качестве ресурса сокращения рынка труда и с соответствующей политикой государства (увеличение отпуска по уходу за ребенком до трех лет, положительное отношение политиков-мужчин к возрождению традиционной семьи и позиция СМИ, рекламировавших “прелести” подобных отношений полов). Возрождение симпатий к традиционной семье и жесткому распределению ролей (“кормильца” и “домохозяйки”) уже в середине 1990-х гг. вошло в противоречие с объективной экономической обстановкой и историей формирования семейных доходов в России. Двухзарплатная модель семьи – наследие советского прошлого – продолжает воспроизводиться в современной России» (Калабихина, 2003. С. 34).

Многоплановость и драматизм современного периода российских трансформаций представляют собой вызов для гендерной теории.

Исследования, основанные на применении гендерного подхода, во-первых, позволяют выявлять и оценивать различие результатов социальных трансформаций для мужчин и женщин и прогнозировать последствия изменений для семьи и гендерных отношений в обществе. Во-вторых, они дают возможность проанализировать составляющую социальных трансформаций, связанную с изменением культурных норм и отношений мужчин и женщин, которое происходит на всех уровнях общественной системы, оказывая глубокое влияние на ход трансформационного процесса и формирование его ведущих тенденций.

В обществе любого исторического периода положение женщины, как и каждое явление, имеет корни в прошлом. Причем это историческое прошлое, как правило, и определяет положение современное. Существенную роль в определении статуса женщины играют этноконфессиональные факторы, традиционно сложившиеся на Северном Кавказе и определяющие образы и образцы «типичного» женского поведения в рамках этнических и конфессиональных категорий.

В ходе проводимых в стране реформ, развития рыночных отношений положение женщин стало

ухудшаться во многих сферах общественной жизни. Адаптация женщин к условиям рыночной экономики происходит со значительными издержками, продолжается процесс снижения профессионального статуса женщин, нарастают дискриминационные тенденции в отношении женщин и снижается их конкурентоспособность. Повышается риск потерять работу, ослабевает защищенность в трудовой сфере, сокращаются возможности получения нового места работы, профессиональной карьеры, повышения квалификации, переобучения во многом из-за необходимости особой охраны труда и действия социальных льгот, связанных с выполнением репродуктивной функции. Все эти факторы отражаются на репродуктивном поведении женщин.

Репродуктивное поведение – система действий и отношений, опосредующих рождение или отказ от рождения ребенка в браке или вне брака (Демографический словарь, 1985. С. 137). Определяющим в изменении репродуктивного поведения является социально-экономическая проблематика. В то же время в разных этнокультурных и конфессиональных группах различно поведение женщин. Как правило, репродуктивное поведение отражается на демографической ситуации в стране.

В XX в. Россия пережила несколько демографических кризисов, образование которых связано, главным образом, со следующими событиями:

– Первая мировая война (1914–1918), Гражданская война (1917–1922);

– Голод в СССР 1932–1933 гг., период коллективизации и массовых репрессий (1930– 1953);

– Вторая мировая война, депортации народов, послевоенный период;

– Экономический кризис 1990-х гг.

С 1925 по 2000 г. суммарный коэффициент рождаемости в России снизился на 5,59 ребенка в расчете на одну женщину (с 6,80 до 1,21). Из них 3,97 ребенка, или 71 % общего снижения, приходится на 1925–1955 гг. (Вишневский, 2002. С. 17), но несмотря на этот спад и потери в результате войны, население РСФСР за 1925–1955 гг. выросло на 25 млн человек. Резкий спад коэффициента рождаемости произошел на рубеже 1980-х и 1990-х гг.; в это же время смертность в России превысила рождаемость (Коэффициент, 2011. С. 23).

Снижению рождаемости в конце 1970-х гг. способствовало общее повышение уровня жизни, грамотности и социально-гигиенической культуры населения аналогично таким же тенденциям в западноевропейских странах.

Население Российской Федерации по сравнению с 2002 г. сократилось на 2261,5 тыс. человек, или на 1,6 %. Среднегодовые темпы снижения численности населения по сравнению с предыдущим межпереписным периодом возросли в два раза и составили 0,2 % против 0,1 % в 1989–2002 гг. Численность населения сократилось в 63 субъектах Российской Федерации. В 20 субъектах РФ – возросла. Наибольший рост отмечается в Республике Дагестан (15,6 %), Чеченской Республике (15 %), г. Москве (11 %), Карачаево-Черкесской Республике (8,9 %), Московской области (7,2 %). При этом увеличение численности населения Центрального федерального округа на 1,2 % обеспечивалось ростом числа жителей г. Москвы, Московской и Белгородской областей, население которых увеличилось за счет превышения миграционного прироста над естественной убылью.

В Северо-Кавказском федеральном округе численность населения увеличилась на 6,3 %. При этом рост численности населения произошел во всех входящих в его состав субъектах Российской Федерации, за исключением Кабардино-Балкарской Республики и Республики Ингушетия. В Кабардино-Балкарской Республике зафиксировано уменьшение численности населения за счет превышения миграционного оттока над естественным приростом. По предварительным данным при переписи населения 2010 г. было зафиксировано на территории Республики Ингушетия 413,0 тыс. человек. В 2002 г. численность населения Республики, по данным переписи, составила 467,3 тыс. человек, включая лиц, вынужденно покинувших Чеченскую Республику. Эти люди не были зарегистрированы в Республике Ингушетия, но перепись 2002 г. прошла на ее территории по месту фактического проживания на тот момент. К 2010 г. они выехали из Республики Ингушетия и прошли перепись в других субъектах Российской Федерации (Предварительные итоги, 2011).

Если увеличение численности населения Москвы и Московской области отмечено за счет миграционных процессов, то в республиках Северного Кавказа – за счет естественного прироста. Эти аспекты в северокавказских республиках напрямую коррелируют с этнокультурными условиями социализации личности и традиционными и модернистскими установками в сфере репродуктивного поведения и защиты репродуктивных прав.

Этнические репродуктивные установки напрямую восходят к принципам и образцам поведения, связанным с рождением определенного числа детей в отдельных социально-психологических группах. Нормы детности, как в России в целом, так и на Северном Кавказе, определяет женщина. Отличия только в репродуктивных установках женщин в разных этнокультурных и конфессиональных группах.

Для выявления особенностей репродуктивного поведения женщин разных национальностей и конфессий были использованы методы массового

опроса, фокус-группы и углубленные интервью. Проект был реализован в четырех республиках Северного Кавказа: Республика Чечня, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Северная Осетия-Алания.

Анкетный опрос охватил 450 женщин репродуктивного возраста (от 18 до 40 лет) различных национальностей: балкарки, кабардинки, осетинки, русские, ингушки, чеченки, кумычки, ногайки, аварки. Среди опрошенных респонденток христиане составили 15 %, мусульмане – 80 %. 5 % назвали себя приверженцами традиционных верований. По образовательному уровню: 17,8 % опрошенных женщин имеют среднее образование, 16,4 % – закончили училище или техникум, 47,5 % – незаконченное высшее (студентки), 18,5 % – высшее образование. 48,8 % – жители сельской местности, 51,2 % – городские жители.

Для анализа поставленной проблемы было проведено биографическое интервью с 18 женщинами разных национальностей.

Опрос показал, что идеальное число желаемых детей зависит не только от национальности и конфессиональной принадлежности, но и от региона проживания. Самый высокий показатель идеального числа детей наблюдается у представительниц Республики Ингушетии (4,23) и Республики Чечня (3,78). Самый низкий – среди русских (1,68) и осетинок (1,97).

В зависимости от этнической принадлежности наблюдались различия и в ответах. Так, русские и осетинки называли в качестве идеального числа желаемых детей – 1–2 (как в городе, так и в сельской местности), кабардинки и балкарки – 1–2 детей (в городе) и 2–3 детей (в селе), ингушки, чеченки и кумыки – 2–3 детей (в городе) и более 4 детей (в селе), аварки – 2–3 детей (в городе).

Ожидаемое число детей, которое респондент планирует иметь в своей семье к концу репродуктивного периода, является наиболее конкретным показателем, хотя в реальной жизни ожидаемое число детей не всегда совпадает с фактическим. По данным опроса женщин, имевших детей, число родившихся и ожидаемых почти соответствует желаемому.

По основным показателям репродуктивного поведения населения, регионы Северного Кавказа можно подразделить на три группы, отличающиеся показателями детности (Магомедов, 1998. С. 149–152).

Первая группа – регионы с низкой детностью: Адыгея, Краснодарский край, Ростовская область, Ставропольский край. Первые рождения в этих районах составляли в 1996 г. в Адыгее – 51,8 %; в Краснодарском крае – 57,5 %; в Ставропольском крае – 55,1 %; в Ростовской области – 60,2 %. Суммарно на первые и вторые рождения приходилось: в Адыгее – 85,8 %; в Краснодарском крае – 93,1 %, в Ставропольском крае – 86,1 %; в Ростовской области – 89,3 %.

Суммарный коэффициент рождаемости в Ростовской области равен 1,24; в Краснодарском крае – 1,34; в Ставропольском крае – 1,37; в Адыгее – 1,41 ребенка на 1 женщину. Это ниже среднего показателя по Северному Кавказу – 1,56, но несколько выше среднего по России – 1,25.

Вторая группа – регионы со средним показателем детности: Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия. На первые рождения в Кабардино-Балкарии приходится 45 % всех рождений; в Карачаево-Черкесии – 44,6 %; в Северной Осетии – 46,6 %. Суммарно на первые и вторые рождения приходится: в Кабардино-Балкарии – 78,2 %; в Карачаево-Черкесии – 79,0 %; в Северной Осетии – 80,7 %.

Кроме того, здесь же несколько выше суммарный коэффициент рождаемости: в Северной Осетии – 1,62; в Карачаево-Черкесии – 1,64; в Кабардино-Балкарии – 1,74 ребенка на 1 женщину.

Третья группа–регионы с высоким показателем детности: Дагестан, Чечня, Ингушетия. Первые рождения в Дагестане составляли 37,4 % от всех рождений; а в Ингушетии – 24,3 %. Суммарно на первые и вторые рождения в Дагестане приходится 69,4 %, а в Ингушетии – 49,1 %. Регионы этой группы обеспечивают стабильный уровень рождаемости на Северном Кавказе. Жители Дагестана и Ингушетии составляют менее 15 % общей численности населения Северного Кавказа, но при этом в 1999 г. на их долю пришлось более четверти всех родившихся в районе (Российский, С. 1116).

Таким образом, анализ опроса и статистических данных показывает, что репродуктивное поведение женщин зависит от этнической принадлежности. Хотя большинство опрошенных относили себя к мусульманской конфессии, однако пример осетинок, среди которых встречались христиане, мусульмане и приверженцы традиционных верований, коэффициент идеального числа желаемых детей был одинаковым. Такую же картину показывает исследование среди кабардинок, относящихся к мусульманской и христианской конфессии.

Несомненно, факт религиозной принадлежности оказывает определенное влияние на установки репродуктивного поведения женщин, но не является определяющим.

Учитывая, что экономические условия во всех северокавказских республиках не сильно отличаются, то поведение всех этносов должно было быть одинаковым. Но как раз репродуктивное поведение женщин отличается в зависимости от этнокультурных различий.

Наиболее явственно этнокультурные различия проявились во время биографического интервью. Если для русской и осетинки важно было их равноправное положение в семье, то для ингушки или чеченки такой проблемы не было. Вопрос равноправия поднимали ингушки, проживающие в городе, в то время, как мнения русских и осетинок по данной проблеме и в городе, и в селе почти не отличались. Для русских и осетинок (в городе и в селе), кабардинок (в городе), ингушек (в городе) проблема равенства и отсутствия дискриминации полов была важна, в то время как женщины других национальностей, особенно из сельской местности, даже не задумывались о такой проблеме.

Большинство женщин с высшим образованием, проживавших в городе, в семейных отношениях выделяли важность гендерного равноправия. Рассуждая, каким должен быть муж, они выделяли основные к нему требования: он должен быть материально обеспечен, внимателен, непьющий, помогать жене в ее карьере, помогать по хозяйству, дарить подарки. В то же время вопрос: «А каким должна быть жена?» – большинство опрошенных из этой категории приводил в недоумение. Их ответы кратко звучали бы так: «А разве недостаточно, что я его жена!»

При этом коэффициент идеального числа желаемых детей среди данной категории опрошенных составлял 1,2 ребенка. На вопрос: «Хотели бы Вы иметь 3 и более детей?», как правило, отвечали: «Зачем разводить бедность?»

Противоположное поведение демонстрировали жители сельской местности (балкарки, кабардинки, кумычки, ингушки, чеченки, аварки), которые на первый план в семейных отношениях главенствующую роль отдавали мужу. Они отмечали, что главой семьи должен быть мужчина, а женщина должна ему помогать и его слушаться.

Несомненно, такое поведение женщин коренится в традициях. Но эти традиции стали доминирующими в репродуктивном поведении современных северокавказских женщин. Основной же причиной приверженности традициям является экономическая ситуация в республиках Северного Кавказа.

Хотя в советский период государство активно насаждало среди кавказских женщин идеи феминизма, однако они не имели успеха среди самих женщин по причине того, что феминизм может иметь успех только в случае материальной независимости женщины. А такой независимости женщина может достигнуть только в экономически развитом обществе. И в советское время экономика Северного Кавказа отставала от остальных регионов СССР, что вынуждало мужское население покидать семьи и искать сезонные заработки далеко от родных краев. Женщина, естественно, не могла последовать примеру мужчин. В результате, оставаясь с детьми, она полностью зависела от заработков мужа.

Положение северокавказских женщин ухудшилось после социально-экономических реформ, начавшихся в начале 1990-х гг. В результате резкого экономического спада безработица стала набирать обороты.

В ходе проводимых в стране реформ, развития рыночных отношений положение женщин стало ухудшаться во многих сферах общественной жизни. Адаптация женщин к условиям рыночной экономики происходит со значительными издержками, продолжается процесс снижения профессионального статуса женщин, нарастают дискриминационные тенденции в отношении женщин и снижается их конкурентоспособность. Повышается риск потерять работу, ослабевает защищенность в трудовой сфере, сокращаются возможности получения нового места работы, профессиональной карьеры, повышения квалификации, переобучения во многом из-за необходимости особой охраны труда и действия социальных льгот, связанных с выполнением репродуктивной функции.

Безработица среди женщин имеет более продолжительный характер. Женщины в 2 раза дольше остаются без работы, чем мужчины. Со скрытой безработицей этот процент гораздо выше, ведь в селах слабый пол, как правило, не становится на учет. Около половины всех безработных женщин – это жительницы сельских районов, где проблемы занятости решаются значительно сложнее, чем в городе, из-за отсутствия рабочих мест. Корень проблемы очевиден: – в годы реформирования резко сузилась сфера сельского хозяйства, где собственно и была занята основная часть населения, а другие отрасли экономики на селе развиваются недостаточно активно. Но нехватка свободных рабочих мест ощущается не только в сельских районах.

Из всего массива вакансий 73 % по рабочим профессиям. Подходящими для женщин считаются 26 %. Из этой части большинство «женских» вакансий относятся к категории малоквалифицированного и низкооплачиваемого труда, в то время как более 40 % безработных женщин имеют высшее и среднее профессиональное образование. Все это удлиняет средний период безработицы у женщин, который составляет более года.

При трудоустройстве женщина сталкивается с тем, что даже при наличии вакансий и направления из центра занятости, работодатель, узнав, что женщина беременна или имеет малолетних детей, отказывает ей в приеме на работу. Кроме того, по данным учета органов трудоустройства, менее всего востребованы на рынке труда женщины после 40 лет, хотя к этому времени они, как правило, имеют большой опыт работы по специальности. В на-

стоящее время найти работу сложно, пособие по безработице невелико, поэтому женщины часто соглашаются на любую работу, лишь бы ее оплачивали, часто в теневом секторе экономики, где не действуют социальные гарантии. Женщины вынуждены менять свою профессию на менее содержательную, но имеющую спрос, тем самым теряя и статус, и квалификацию, поэтому многие женщины имеют желание заняться бизнесом и занимаются им.

Концентрация женщин в традиционных секторах экономики, на относительно низко оплачиваемой работе ведет в ряде случаев к увеличению разрыва в заработной плате мужчин и женщин. Средний размер заработной платы мужчин при равноценной нагрузке выше, чем у женщин, на 15–20 %. Исследования рынка труда демонстрируют, что в моменты кризиса на производстве работодатели активнее высвобождают женщин.

Все это, как ни парадоксально, прямым образом влияет на репродуктивное поведение женщин.

Для женщины в таких экономических условиях семья остается единственным способом выживания. А для того, чтобы семья стала таковым, необходимо, чтобы муж был кормильцем. Мужчина же становится кормильцем только в том случае, если он ответственен за семью. Такую ответственность на него возлагает женщина, объявляя, что именно он глава. Но недостаточно быть главой семьи, состоящей из мужа и жены, необходимо еще иметь детей, за которых он будет отвечать. И чем больше детей ему родит женщина, тем сильнее привяжет его к семье, и тем большую ответственность возложит на него.

Таким образом, экономический кризис, вопреки логике, подстегивает женщин к добровольному возврату к традициям предков и стимулирует ее к деторождению. Страх перед экономическим кризисом и бедностью оказывает основное влияние на репродуктивное поведение женщин большинства народов Северного Кавказа. При этом этнокультура и религия выступают в этом поведении как инструмент достижения конечной цели – привязать мужа-кормильца к семье.

Список литературы

Вишневский А. Г. Демография сталинской эпохи // Демоскоп Weekly. № 103–104. 3–16 марта 2002.

Демографический энциклопедический словарь / гл. ред. Д. И. Валентай. М.: Советская энциклопедия, 1985.

Здравомыслова О. М. Гендерные аспекты современных российских трансформаций: проблемы методологии исследования: Дис. ...д-ра социал. исслед. М., 2008.

Калабихина И. Е. Тендерные вопросы в России в конце XX века (качественное исследование в городской и сельской местности). По результатам проекта Мирового Банка «Тендерные вопросы в переходный период: городская и сельская Россия» 1999. М., 2003.

Коэффициент суммарной рождаемости. 15 новых независимых государств, 1958–2009 // Демоскоп Weekly. № 477–478. 12–25 сентября 2011.

Магомедов А. А. Вопросы социально-демографического развития Северного Кавказа // Проблемы населения и рынка труда России и Кавказского региона. Ставрополь: Изд-во СГУ, 1998.

Предварительные итоги Всероссийской переписи населения 2010 г. Статистический сборник. М.: ИИЦ «Статистика России», 2011.

Российский статистический ежегодник. Стат. сб. М.: Госкомстат России, 2000.

Н. В. Пислегин, А. М. Субботина

УДМУРТСКОЕ КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО КАК ОБЪЕКТ ИННОВАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКА: ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ И ТРАНСФОРМАЦИЯ НАРОДНОЙ АГРИКУЛЬТУРЫ

Крестьянство в истории России XIX – начала XX в. играло важную роль, которая до настоящего времени недостаточно оценена. Представляя большинство населения страны, оно являлось носителем самобытной культурной традиции, по-своему воспринимая происходившие перемены, адаптируя и включая новое в повседневную практику или отвергая его как не отвечающее проверенным веками мировоззренческим установкам и хозяйственному укладу. Во взаимодействии с природной средой народная агрикультура вобрала в себя успешный опыт многих поколений, который позволял крестьянину рассчитывать на вполне благополучное существование. События XIX – начала XX в. показали, что эта способность была поставлена под сомнение на самом высоком уровне. Сельское хозяйство и

крестьянство оказались в процессе непрерывного реформирования. Традиционная агрикультура испытала достаточно сильное инновационное воздействие. Важная роль в этом принадлежала как государственным органам, так и созданным в ходе Великих реформ 60–70-х гг. XIX в. новым институтам. В это время осуществлялся поиск эффективных способов взаимодействия с крестьянством в направлении трансформации традиционного хозяйственного уклада. Особое место крестьянское хозяйство занимало в деятельности земских учреждений, реализовывавших идею местного самоуправления на уровне губерний и уездов. Результаты преобразований были весьма неоднозначны как в масштабах страны, так и в отдельных ее регионах. Территория Удмуртии, с которой принято соотносить Глазовский, Елабужский, Малмыжский и Сарапульский уезды Вятской губернии, представляет интерес с точки зрения рассмотрения общих тенденций и локальной специфики.

В изучаемый период крестьянство оставалось носителем традиционной культуры. Своеобразным итогом крестьяноведческих исследований можно считать замечание В. Б. Безгина о том, что «ревностное соблюдение традиций, настороженное отношение к новому» отвечали потребностям самосохранения и воспроизводства крестьянства: «Приемы обработки земли и выбор сельскохозяйственных культур были подчинены стремлению минимизировать степень хозяйственного риска. Агротехнические новации рождались на основе индивидуального опыта. Преобразуя их в традицию, община создавала условия для ее распространения. Рационализацию крестьянского производства сдерживала, но не препятствовала система общинного земледелия. Традиционная трехпольная система была восприимчива к системному преобразованию. Сокращение размера крестьянских наделов, по причине численного роста сельского населения, вызвало объективную потребность в интенсификации аграрного производства. Препятствием в этом процессе выступала бедность крестьянских хозяйств» (Безгин, 2004).

Взаимодействие традиций и инноваций в сфере агрикультуры в удмуртской деревне может рассматриваться в русле динамического подхода. Инновация, являясь не просто новым, а тем новым, которое апробировано и внедрено в жизнь, на определенном этапе превращается в традицию, т. е. воспринимается как естественная часть своей культуры. В этой связи возникает вопрос о том, какова способность народных традиций хозяйствования и общежития, воспроизводимых и хранимых крестьянской общиной, вбирать в себя новые элементы и трансформироваться, органично включая и адаптируя их к нормам собственной культуры. Инновационное воздействие на крестьянскую агрикультуру имело широкий социокультурный контекст. Сельскохозяйственная техника и новые отрасли сельскохозяйственного производства приходили в деревню вместе с учителями, агрономами и другими представителями сельской интеллигенции и организованными ими школами, библиотеками и т. д.

В первой половине XIX в. агрикультурные мероприятия в крестьянской среде носили несколько односторонний характер и вполне могут оцениваться как проявление государственного патернализма. Среди причин такого попечения о крестьянах на первое место выходят сугубо фискальные интересы. Можно отметить также попытки власти действовать в духе теории просвещенного абсолютизма. На протяжении последних предреформенных десятилетий традиции патернализма оставались устойчивыми. Этому во многом способствовали и особенности менталитета народов, населяющих Удмуртию, – ориентация на сильную государственную власть, тесное переплетение мирской и монархической традиций, когда от правящего императора крестьяне ждали защиты и покровительства взамен выплачиваемых податей и отрабатываемых повинностей. Полнее всего политика государственного патернализма проявлялась в казенной и удельной деревне.

Значительное внимание уделялось земельной проблеме. В Вятской губернии практиковались прирезки земли и переселения, в том числе с 1840-х гг. – в Сибирь. Даже в случае самовольных крестьянских переселений местная власть зачастую не давала «к обратному их выселению... в видимое их разорения согласия» (ГАКО. Ф. 582. Оп. 6. Д. 10. Л. 18 об.; Ф. 575. Оп. 2. Д. 8197. Л. 18 об. – 19). Наделения дополнительными участками проводились начиная с VII ревизии для тех сельских обществ, у которых средний надел составлял менее 5 дес. на ревизскую душу. Крестьяне при этом должны были платить за прирезанные земли сверх 8-десятинной пропорции. Немаловажное место занимал продовольственный вопрос. С 1799 г. сбор хлеба в запасные магазины составлял по 4 четверти ржи и 3 четверти ярового хлеба с каждой ревизской души, с 1822 г. он был ограничен двумя четвертями, и, наконец, в 1834 г. стало считаться достаточным, чтобы имелось по 1,5 четверти. Для лучшего контроля за состоянием продовольственной части в 1822 г. была образована губернская комиссия народного продовольствия, а с 1834 г. хлебный сбор был дополнен 10-копеечным денежным. Действия власти в случае голода были осторожными. Так, когда в 1834 г. неурожай охватил практически всю Вятскую губернию, первоначально разрешалось получать хлеб только из магазина, находящегося на участке нуждающегося в ссуде. Потребовалось разрешение министра вну-

тренних дел, чтобы нуждающиеся смогли занять зерно из магазинов соседних уездов.

Определенное внимание государство уделяло развитию экономической активности населения. В первой четверти XIX в. издаются законы, расширяющие торговые права крестьянства. В 1827 г. вводится выдача, наряду с одно-, двух- и трехгодичными паспортами, месячных, двухмесячных и трехмесячных билетов, в 1829 г. учреждены дешевые полугодовые паспорта. С 1830–1840-х гг. больше внимания стало обращаться на усовершенствование крестьянского хозяйства. Так, удел постепенно начинает поощрять местные промыслы, учреждает сельские банки, вводит страхование домов и построек. Смягчается законодательство в вопросах хозяйственной деятельности крестьян, раздела их семей, владения недвижимостью и т. д.

С помощью общественной запашки (введена в 1828 г.) удельная власть пыталась внедрить новые культуры, орудия труда, усовершенствованные системы земледелия, а также гарантировать крестьян от голода. Запашка стала основным источником финансирования дальнейших преобразований. Отношение же самих крестьян к ней было скорее отрицательным, возникали слухи о ее отмене, которую якобы местное начальство скрывает. В ведомстве государственных имуществ также имелись попытки введения общественной запашки. В 1842 г. крестьянами Сарапульского уезда на площади 515 дес. был посеян яровой и озимый хлеб, взятый из хлебных магазинов. Данное мероприятие не было обязательным, и, по-видимому, в последующем от него отказались. У непременных работников развитие запашки шло успешнее: если в начале 1840-х гг. под нею находилось 156 дес. земли подсобных работников Ижевского завода, то к 1861 г. – более 500.

Большую роль в проникновении новаций в сельское хозяйство играли образцовые усадьбы ведомства уделов и государственных имуществ. Именно в них в 1840–1860-х гг. были апробированы такие новые орудия, как коса-литовка, плужок для окучивания, кочкорез, различные молотилки и т. д. В образцовых усадьбах занимались пчеловодством по современным на тот период технологиям, выращивались новые породы домашних животных, внедрялись картофель, кукуруза, многолетние травы, шло экспериментирование с разными удобрениями и системами севооборота. Однако ко времени отмены крепостного права практически все они находились в плачевном состоянии. В Уделе их «по бесполезности» упразднили в 1861 г. Усадьбы ведомства государственных имуществ на территории Удмуртии вообще не оставили значительного следа. Несмотря на многие положительные результаты деятельности, в основной массе крестьянство воспринимало их с недоверием. Общий итог можно сравнить с результатами деятельности помещиков-англоманов Центральной России в начале XIX в. Попытки перейти на современные технологии потребовали непомерно больших затрат. Семена не проходили районирования и быстро утрачивали свои свойства, отсутствовали квалифицированные специалисты и рынки сбыта. Над всем этим возвышалась крепостническая система.

Важное значение в пропаганде новаций придавалось губернским и региональным сельскохозяйственным выставкам, которые начали проводиться с 1849 г. Эпизодически происходили раздачи «образцовых» семян. Предпринимались попытки организации образцовых пасек, садов. На 1850 г. приходится появление в ведомстве палаты государственных имуществ агронома. Важным достижением политики патернализма можно считать внедрение в крестьянские хозяйства картофеля, который стал вполне обыденным к 1850-м гг.

Преодоление существовавшего дисбаланса между земледелием и животноводством являлось важной задачей. Новые породы распространялись через образцовые хозяйства. В 1845–1864 гг. в Вятке функционировала земская случная конюшня. Итоги были мизерны: скот оставался в основном «беспородным». Ситуацию усугубляли постоянные эпизоотии, борьба с ними не приносила должных результатов по ряду причин: нехватка ветеринаров (в 1853 г. на всю губернию – двое), отсутствие согласованности в действиях ведомств, «беспечность и недоверие к распоряжениям начальства» крестьян и т. д. (Столетие Вятской губернии... Т. 2. С. 484; ГАКО. Ф. 574. Оп. 1. Д. 100. Л. 35). Представители власти и тут отмечали, что когда какое-либо мероприятие «не было делаемо для крестьян обязательным и вводилось по доброй их воле», то чаще всего оно не получало распространения (ГАКО. Ф. 575. Оп. 38. Д. 161. Л. 2–3, 10, 11, 12, 12 об., 19).

Настоящей бедой российских деревень были пожары. Для борьбы с ними государственных крестьян обязывали устраивать за свой счет пожарные сараи и снабжать их инструментами. К 1844 г. в ведомстве удела Вятской губернии числилось «48 заливных труб и большое число других пожарных инструментов». В 1841 г. удельная контора организовала страхование от пожаров. В 1843 г. из 17 907 дворов было застраховано 2446 на сумму 93 033 руб. (Вятские губернские ведомости. 1844. № 32. С. 179). Погорельцам выдавались «пособия» деньгами, зерном и лесом. Так, на основании указа Вятской казенной палаты в январе 1855 г. Шебалинскому волостному правлению было выдано 341 руб. 66 $^{3}/_{4}$ коп. А 12 семьям из д. Годин Большенорьинской волости Сарапульского уезда в 1853 г. разрешили вырубить по 100 деревьев.

Одним из направлений попечительской политики было совершенствование управления, тради-

ционным было стремление оградить крестьян от излишних расходов и коррупции. Отметим также проекты и «предположения», исходившие от местных органов управления крестьянами, начиная от предложения «о заведении в полях живых изгород» и заканчивая «дарованиями преимуществ земледельческому классу» (ГАКО. Ф. 575. Оп. 38. Д. 264. Л. 1–3, 23–23 об.; РГИА. Ф. 398. Оп. 1. Д. 4235, 4831).

В русле улучшения сельскохозяйственной культуры и быта крестьян необходимо рассматривать развитие образования в крае. Мероприятия, направленные на крестьянское просвещение, первоначальной своей целью ставили подготовку писарей из детей крестьян для местных органов власти. Достаточно обыденным явлением было содержание сельскими писцами мальчиков для обучения «грамоте и канцелярскому порядку» (ГАКО. Ф. 21. Оп. 1. Д. 1201. Л. 17–17 об.). Участие «коронной администрации» здесь скорее всего было минимальным. Обучением грамоте довольно активно занимались также старообрядцы.

Из учебных заведений, история которых начинается в XVIII в., наибольшее число крестьянских детей обучалось в малых народных училищах. Из всех вятских училищ особенно многочисленной (до 60 % учеников) была крестьянская прослойка в Сарапульском. Правда, общая численность обучающихся здесь часто не превышала 30 человек. В 1806 г. в 27 волостях Глазовского уезда всего пять волостных голов могли читать и писать, на весь Елабужский уезд официально был зарегистрирован 91 грамотный крестьянин, в Глазовском таковых насчитали 362. Большой редкостью являлось проживание 10 и более сведущих в чтении и письме в одном месте. Встречались целые волости без единого зафиксированного грамотного человека (например, Лумпунская волость Глазовского уезда).

В соответствии с указами 1808, 1836 и 1842 гг. стали создаваться приходские училища разной подчиненности. Наибольшую роль в их функционировании играло духовенство. По замечанию П. Н. Луппова, в большинстве случаев учреждение приходского училища ведомства государственных имуществ после 1842 г. означало не что иное, как переименование домашних школ обучения, заведенных духовенством (Луппов, 1911. С. 390).

В значительной степени образование нерусских народов до середины XIX в. рассматривалось как один из методов утверждения их в официальном православии. С 1844 г. в училища стали допускаться девочки. К 50-м гг. в Удмуртии работало 80 школ, открытых и контролируемых различными ведомствами, в них обучалось 4100 детей. Помимо этого, в губернии функционировали фельдшерское и ветеринарное училища, а также «до 300 крестьянских мальчиков обучаются межеванию, сельскому хозяйству, разным ремеслам и искусствам», в том числе и за пределами губернии (Вятские губернские ведомости. 1847. № 4. С. 20). С 1846 г. начала действовать Северо-восточная учебная ферма ведомства Министерства государственных имуществ, находившаяся под Казанью, которая должна была «иметь влияние на усовершенствование земледелия и вообще сельского хозяйства в губерниях Казанской, Вятской, Пермской, Нижегородской и Костромской» (Вятские губернские ведомости. 1847. № 47. С. 316–317; ГАКО. Ф. 575. Оп. 8. Д. 1804. Л. 1–2). В 1849 г. был «приведен в исполнение» приказ П. Д. Киселева относительно «отдачи 20 мальчиков вотского племени к ремеслам русским» (ГАКО. Ф. 582. Оп. 14 г. Д. 16. Л. 25 об. – 26).

Дети удельных крестьян обучались в Петербургском земледельческом училище, принявшем в первый год (1833) 250 молодых крестьян из всех удельных контор страны со сроком обучения в 6 лет, в ремесленном училище в удельной слободе Кукарке и др. В это время в каждом удельном приказе Вятской губернии функционировало по одному училищу, помимо этого «закону Божию, счетоводству и письму» обучали приказные писари. В 1844 г. здесь училось до 450 мальчиков из семей вятских удельных крестьян, из которых 33 содержались «на счет мирских обществ сбором на этот предмет 745 руб. 69 $^{3}/_{4}$ коп., а прочие самими поселянами» (Вятские губернские ведомости. 1844. № 32. С. 180).

В 1864 г. в Глазовском уезде числилось 24 сельских училища, Малмыжском – 11, Сарапульском – 31 (включая три горные школы). В Елабужском уезде в 1865 г. было 15 училищ. Образование и агрикультурное просвещение должны были адаптировать крестьян к меняющимся условиям жизни и хозяйствования.

В первой половине XIX в. государство, возложив на свои плечи многочисленные функции попечительского характера в отношении крестьянства, столкнулось с определенными трудностями. Жизнь в деревне существенных изменений к лучшему не претерпела. Постановления центральной и губернской власти часто оставались на бумаге из-за формального их выполнения. Попечительство имело ярко выраженную фискальную окраску и реализовывалось за счет самих крестьян. Заметное его усиление и большее разнообразие наблюдается после преобразований П. Д. Киселева и Л. А. Перовского в государственной и удельной деревне. Наряду с традиционными для российского государства методами насильственного насаждения нового впервые были широко апробированы разнообразные формы агрикультурной пропаганды и просвещения. Новшества внедрялись часто без учета климатических условий и традиций, многое строго регламентиро-

валось, а отступление от циркуляров и инструкций преследовалось. Не следует игнорировать и осторожное отношение крестьян по отношению ко многим нововведениям. Тем не менее в развитии техники и технологии аграрного производства определенные подвижки имели место.

В период второй половины XIX – начала XX в. проблема поиска более совершенных методов адаптации крестьянства к меняющимся экономическим условиям приобрела особую актуальность и решалась во многом благодаря созданным новым институтам. Земская реформа была тесно связана с отменой крепостного права, поскольку в противном случае крестьяне не могли бы на равных с другими сословиями участвовать в работе органов уездного и губернского самоуправления. Взаимодействие местной либеральной общественности и крестьянства в рамках земских собраний давало дополнительные возможности для проникновения новаций в сельское хозяйство. В земский период предыдущий опыт преобразований в деревне был творчески переработан и существенно дополнен целой системой мероприятий. Часть функций земства получили в наследство от учреждений казенного и удельного ведомств. Среди них особое значение для поддержки крестьянского хозяйства в неблагоприятных условиях имели продовольственный вопрос и пожарно-страховое дело. Постепенно в земской практике в дополнение к обязательным, установленным законом, мерам были выработаны разнообразные методы воздействия на крестьянина. Нужно отметить, что государство в данный период не устранилось от решения существовавших в аграрном секторе проблем. Процесс реформирования крестьянства и сельского хозяйства продолжался. Особенно остро вопрос встал в годы революции 1905–1907 гг. Земства сотрудничали с государственными органами в реализации конкретных мероприятий по преобразованию культуры сельскохозяйственного производства и крестьянского быта.

В современной научной литературе роль земства в преобразовании российской деревни оценивается весьма высоко. В качестве положительного момента земских мероприятий указывается их ориентация на постепенную адаптацию крестьянства к новым способам хозяйствования с учетом преобладающих в его среде ценностей и традиций. А. В. Ефременко отмечает, что земства «как могли, учитывали крестьянский менталитет и старались совместить оба пути общинного развития: индивидуализм и коллективизм». Сочетая в себе коллективное землевладение и индивидуальное землепользование, крестьянские общины «при помощи земств могли переходить к новым формам хозяйствования и в то же время продолжать оставаться условием жизнедеятельности для тех своих членов, которые не были защищены от конкуренции». Исследователь поддерживает точку зрения Кимитаки Мацузато о нацеленности земской агрономической помощи на коллективный выход из аграрного кризиса, что давало ей огромный потенциал в умеренной модернизации крестьянских хозяйств для более или менее безболезненного их вхождения в рынок. Столыпинское же правительство, напротив, повело борьбу с самой общиной, а точнее, с ее обитателями, что и привело к ее неудаче. Земства старались исправить недостатки столыпинской реформы, указывая путем агрономической помощи реальное решение земельного вопроса (Ефременко, 2002. С. 473).

Проблема синтеза старого и нового как условия эффективной трансформации крестьянского хозяйства в конце XIX – начале XX в. стала актуальной. Народные правовые принципы, по мнению Т. В. Шатковской, характеризовались коллективизмом, уравнительностью и стремлением к социальной справедливости, что противоречило идеологии официальных законов, ориентированных на индивидуализм, общественное и экономическое неравенство. К концу XIX в. «в крестьянском правовом быту возник конфликт между новыми социально-экономическими отношениями, быстро вторгавшимися в народную среду, законами, не соответствовавшими строю крестьянской жизни, и традиционными правовыми обычаями, не адаптированными к реальности» (Шатковская, 2000. С. 214). Заслугой земства является внимательное отношение к крестьянской традиции, воздействовать на которую предполагалось постепенно, используя возможности образования, просвещения и экономического стимулирования.

Активность земских учреждений в значительной степени была вызвана ситуацией, сложившейся в сельском хозяйстве в конце XIX в. Особенно остро проблема была поставлена серией голодных лет, из которых масштабами продовольственной катастрофы выделялись 1891–1892 гг. Важную роль в выработке практической программы воздействия на крестьянское хозяйство сыграли результаты земских статистических исследований.

В качестве причин экономического упадка крестьянского хозяйства местные земства в ответ на запрос Министерства земледелия в 1895 г. указывали общие экономические условия его существования (малоземелье, высокое налогообложение, неразвитость кредита, плохое состояние дорог и др.), а также традиционный характер земледельческой и кустарной культуры, который связывался с низким образовательным уровнем населения. Исходя из имеющихся в их распоряжении возможностей, земствами края были предприняты усилия по развитию системы кредитования населения, поддержке

кооперативного движения, осуществлению посреднических функций, улучшению путей сообщения. Интенсификация сельского хозяйства предполагала распространение улучшенных сельскохозяйственных орудий и семян, содействие переходу от трехполья к многопольным севооборотам, развитию травосеяния, огородничества и садоводства, разведению культуры льна, повышению продуктивности животноводства. В отношении кустарных промыслов главное внимание уделялось распространению новых видов промыслов и повышению технической культуры кустарного производства.

Взгляды местных земских деятелей на вопрос о том, на кого должно быть направлено земское воздействие, во многом определялись крестьянским большинством земских собраний края и распространением народнической идеологии в среде земской интеллигенции. Поскольку целью земства, по мнению его представителей, являлось улучшение экономического положения всего крестьянства, земская деятельность была ориентирована преимущественно на развитие коллективных форм хозяйствования. Приоритетным вниманием земства пользовались коллективные просители (сельские общества, жители отдельных населенных пунктов, артели, товарищества и другие кооперативы), для которых устанавливались разнообразные льготы. Показательна в этом отношении деятельность земств края по развитию кооперативного движения.

До середины 90-х гг. XIX в. усилия земства были направлены, главным образом, на стимулирование открытия кредитных объединений, в частности ссудно-сберегательных товариществ. С середины 90-х гг. XIX в. начала действовать программа губернского земства по содействию созданию в крае сельскохозяйственных обществ, совмещавших в себе просветительские и производственные функции. К 1914 г. в Глазовском уезде действовало 6 сельскохозяйственных обществ, в Малмыжском – более 10, в Сарапульском – около 30 обществ. В 1910-е гг. кооперативное движение приняло характер государственной программы. Центром организации всесторонней поддержки кооперативам в крае стали земские кассы мелкого кредита. 18 октября 1912 г. начала действовать Вятская земская губернская касса, к 1916 г. кассы действовали во всех четырех «удмуртских» уездах. В 1913–1914 гг. при содействии губернской и уездных земских касс было образовано 15 кредитных товариществ, 15 маслодельных артелей (по одному – в Малмыжском и в Сарапульском уездах), а также 17 трудовых артелей и 19 товариществ по совместному использованию сельскохозяйственных машин (Малмыжский уезд). В 1915 г. в Вятке состоялся первый кооперативный съезд.

Более сдержанное участие местные земства приняли в инициированной правительством программе поддержки крестьян-единоличников в связи с осуществлением столыпинской аграрной реформы. В качестве мер помощи хуторянам в 1910 г. Вятским губернским земским собранием были намечены проведение статистического обследования хуторских хозяйств, создание показательных хуторов, открытие прокатных станций, распространение на хуторян льгот по покупке семян, сельскохозяйственных машин и др.

За полувековой период своего существования земствами края была создана разветвленная инфраструктура воздействия на крестьянскую экономику. К 1915 г. на территории Удмуртии на земской службе состояло 4 уездных агрономов и 16 участковых. Из них 6 работали в Сарапульском уезде, 4 – в Малмыжском, по 3 – в Глазовском и Елабужском. В помощь агрономам земства нанимали сельскохозяйственных старост из крестьян-практиков и выпускников земских сельскохозяйственных учебных заведений. В 1914 г. в Глазовском уезде насчитывалось 7 старост, в Малмыжском – 12, в Сарапульском – 14. Кроме того, к началу XX в. губернское и уездные земства содержали специалистов и инструкторов по садоводству и огородничеству, льноводству, луговодству и осушению болот, пчеловодству и др. Созданная земством на территории Удмуртии ветеринарная служба к 1914 г. состояла из 14 ветеринарных врачей и более 50 ветеринарных фельдшеров. В 1913 г. при Вятской губернской земской управе было открыто зоотехническое бюро во главе с зоотехником. Руководством работ по организации кустарных промыслов занимались состоявшие при земских управах кустарные техники и инструкторы по отдельным видам промыслов.

Важное место в созданной земствами инфраструктуре занимали уездные сельскохозяйственные склады и их отделения в крупных селах (только в Глазовском уезде их было 10), уездные отделения Вятского губернского кустарного склада, прокатные станции (в 1913 г. – 6), Асановская и Верхосунская фермы губернского земства (с 1912 г. Верхосунская ферма преобразована в питомник племенного скота), опытные поля, доказательные участки, «образцовые» хозяйства, постоянные и временные сортировочные, льнообделочные и случные пункты, кассы мелкого земского кредита, кооперативы. К началу XX в. земствами была создана сеть специализированных учебных заведений. Учреждения сельскохозяйственного образования на территории Удмуртии были представлены Парзинской (Глазовской) и Савальской низшими сельскохозяйственными школами, учебными отделениями при Верхосунской и Асановской фермах (с 1912 г. Асановское отделение было преобразова-

но в женскую сельскохозяйственно-домоводческую школу), учебными пасеками (Юськинская, Ижевская и др.), сельскохозяйственными курсами. Обучение кустарным промыслам осуществлялось через кустарные мастерские, ремесленные отделения при школах и курсы. В 1912 г. в Удмуртии действовало 35 мастерских (20 – в Сарапульском, 7 – в Глазовском, по 4 – в Малмыжском и Елабужском уездах).

Накопленный земцами опыт общения с крестьянами давал им основание сделать вывод, что «крестьянина не может убедить слово, его может убедить только факт» (Женина, 1997. С. 22). В целях пропаганды среди крестьян интенсивных форм хозяйствования земствами края была создана развернутая структура. Демонстрационная работа земских агрономов имела под собой научную основу, о чем свидетельствует деятельность открытой в 1895 г. Вятской опытной сельскохозяйственной станции (в числе трех по стране). Разработанные агрономическим совещанием и одобренные Министерством земледелия программы экспериментов станции были направлены на выявление адаптированных к местным условиям сортов культурных растений, главным образом, зерновых, апробацию интенсивных форм земледелия (внесение удобрений, сортировка семян, многополье и др.), селекционные и почвенные исследования, испытания сельскохозяйственных машин и орудий. Продукция семенного хозяйства станции пользовалась спросом не только в самой Вятской губернии, но и за ее пределами.

В практике уездных земств в целях пропаганды многопольных севооборотов, травосеяния, улучшенных лугов и др. с начала 90-х гг. XIX в. получило распространение устройство небольших опытных и доказательных полей и участков. Они учреждались по договору с крестьянами, обязывавшимися выполнять все указания агрономов и сельскохозяйственных старост на условиях бесплатного или льготного обеспечения их семенами и техникой со стороны земства. Поскольку опытные и доказательные поля требовали постоянного наблюдения агрономического персонала, их общее количество было невелико.

Примерно на тех же условиях, что и опытные поля, устраивались образцовые и показательные крестьянские хозяйства. Особенно активно эта форма стала развиваться по просьбе правительства оказать поддержку единоличным хозяйствам в годы столыпинской аграрной реформы. К 1913 г. в губернии, за исключением Орловского уезда, действовало 20 показательных хуторов. В уездах с более широким распространением единоличных хозяйств уездные земства за свой счет открыли дополнительное количество показательных хуторов. Площадь земли на показательных хуторах колебалась в пределах 10–33 десятин. На всех хуторах были введены правильные 8–9-польные (в Елабужском – 4-польные) севообороты. Управа отмечала, что результатом улучшенной обработки на показательных хуторах стало некоторое повышение урожаев. Однако этого было недостаточно, чтобы «заставить крестьян, нуждающихся в ярких доказательствах, отрешиться от своего исконного способа ведения хозяйства и последовать примеру владельцев показательных хуторов» (Журналы Вятского губернского земского собрания 45-й очередной сессии 1–17 февраля 1913 г. Т. 3. С. 297–299).

Важное место в системе земских мероприятий по повышению крестьянской агрикультуры занимало развитие сети образования. Освоение грамоты меняет мировоззрение человека, преодолевает его замкнутость и закрытость от внешних влияний. Именно школа стала основным культурным центром в деревне в земский период. В ней не только обучали грамоте, но и открывали библиотеки, читальни, устраивались чтения и беседы. В 1915 г. «на территории Удмуртии насчитывалось 1118 начальных училищ, в которых обучалось 73 660 детей (66 % детей школьного возраста). К 1918 г. предполагали осуществить всеобщее начальное обучение Сарапульское и Елабужское земства, к 1919 г. – Малмыжское, к 1921 г. – Глазовское. Если в начале своей деятельности земствам приходилось уговаривать крестьян отдавать своих детей учиться и даже обращаться к помощи волостных правлений, то в первом десятилетии XX в. сельские общества уже сами ходатайствовали перед земством об открытии в них земских начальных училищ» (Субботина, 2010. С. 86). Кроме того, развитие сети образовательных учреждений способствовало значительному расширению круга сельской интеллигенции в удмуртской деревне. О степени проникновения новых культурных ориентаций в сельскую среду свидетельствует представительство крестьян среди учителей, младшего агрономического и медицинского персонала. Увеличивающийся с каждым годом слой сельской интеллигенции оказывал влияние на крестьян, внедряя в их среду самые современные достижения.

Результаты земской программы агрикультурных изменений в крае оказались противоречивыми. Осуществляя подворную перепись в 80-е гг. XIX в., земства даже не включали плуги в перечень пахотных орудий. В 1913 г. в четырех уездах плуги составляли по отношению к традиционным пахотным орудиям уже 13,8 %. Однако в перерасчете на крестьянское хозяйство плугов на территории Удмуртии было в 3,5 раза меньше, чем по России, но зато сох, косуль и сабанов в 2 раза больше (Александров, 1981. С. 124). Веялки в 1914 г. применялись в 48,2 % опрошенных земскими статистиками хозяйств Вятской губернии, конные молотилки – в 16,3 % (в Сарапульском уезде – в 40,1 %, в Глазов-

ском – в 26,6 %, в Малмыжском – в 23 %), ручные молотилки – в 5 %, льномяльные машины – в 8 %, сенокосилки – в 0,4 %, рядовые сеялки – в 1,8 % (Статистический ежегодник Вятской губернии за 1913 и 1914 гг. С. 21–23). Посредническая деятельность, разнообразные формы поддержки способствовали появлению и развитию в крае плужного, веялочного, гончарного, ткацкого, кружевного и др. промыслов. Некоторых успехов земства добились в распространении альтернативных видов сельскохозяйственных культур. Так, посевы льна к 1912 г., по сравнению с 70-ми гг. XIX в., увеличились в «удмуртских» уездах в 1,5 раза, доходы от продажи волокна и семени – более чем в 2 раза. В ряде волостей Елабужского, Сарапульского и Малмыжского уездов товарный характер приобрело выращивание огородных и садовых культур. В Елабужском уезде местные яблоки вытеснили на рынке привозные. Однако льноводство, садоводство и огородничество не смогли реализовать имеющиеся у них потенциальные возможности как в количественном, так и в качественном отношении.

Гораздо труднее оказалось изменить традиционную систему земледелия. В 1913 г. в Вятской губернии насчитывалось всего 316 хозяйств с правильным травопольным севооборотом (52 действовало в Глазовском уезде, 29 – в Малмыжском), из которых 2 были частновладельческими, 102 – на хуторах или отрубах и 210 – в селениях общинников [Сборник постановлений Вятского губернского земства за 21 год (1892–1913 гг.). Т. 8. С. 269]. К 1916 г. число многопольных севооборотов в губернии увеличилось до 996 с общей площадью земли в 14 956 десятин. Недостаток сенокосных площадей, низкая продуктивность зернового хозяйства становились тормозом для развития в крае животноводства.

Оценивая в целом результаты инновационного воздействия в сфере сельского хозяйства в XIX – начале XX в., можно сделать вывод, что крестьянство избирательно относилось к внедряемым культурным элементам, принимая одни и отвергая другие, ориентируясь на хранимые общиной традиции. Преодоление консерватизма крестьянского сознания требовало длительного времени, необходимого ему для проверки предлагаемых моделей. В то же время изменения, произошедшие в народной агрикультуре под воздействием деятельности земств, свидетельствуют о восприимчивости к инновациям как самой общины, так и крестьянства. Идея общественного согласия и взаимодействия общества и государства, реализованная в земских учреждениях, оказалась более эффективной, нежели односторонние меры «заботы о народе» в духе патернализма в дореформенный период. Следует отметить положительные новации в сельском хозяйстве в тех областях, которые не требовали быстрой радикальной смены традиционных ценностей и устоев. Значимость образования, квалифицированной ветеринарной помощи, рационального ведения хозяйства медленно, но находила понимание в крестьянской среде. Большую роль в этом играл тот факт, что не только крестьянские гласные, но и земство в целом разделяло многие общинные ценности и учитывало их в своей деятельности. Неслучайно, ориентация столыпинской аграрной реформы на поддержку единоличных хозяйств не встретила ярко выраженного одобрения ни среди крестьян края, ни у местных земств.

Главными факторами воздействия на крестьянство стали просвещение и широкое распространение бесплатных услуг, а также различных форм материального стимулирования. Земская модель отношений с крестьянством представляет собой процесс медленной социокультурной трансформации, основанной на постепенной смене поколений и проникновении в крестьянскую среду новых ценностей. Не отвергая традиционные общинные институты, земство вместе с государством параллельно им создало целую сеть новых структур, значительно дополнявших и расширявших существовавшие в общинах механизмы самоорганизации. Трансформация шла в направлении культурной переориентации крестьянства в сторону рационального, научного, экономически эффективного ведения хозяйства. Поддержку в удмуртской деревне нашли те начинания, которые соответствовали критериям коллективизма, справедливости, гарантированного благосостояния, связанного с землей и общиной, и не требовали значительных материальных затрат от самого крестьянина. Настоящий переворот происходит позже, уже в советское время, когда тенденции, зародившиеся еще в предыдущий период, получили более яркое воплощение.

Список литературы

Александров А. А. Сельскохозяйственное машиностроение на Воткинском казенном заводе // Аграрные отношения в Удмуртии во второй половине XIX – начале XX вв. Ижевск, 1981. С. 89–125.

Безгин В. Б. Крестьянская повседневность (традиции конца XIX – начала XX века) [Электронный ресурс]. М.; Тамбов, 2004. Режим доступа: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Bezg/index.php)

Блинов Н. Земство за полвека. Сарапул, 1914.

Борисова А. В. Крестьянство России в конце XVIII – первой половине XIX в. Ярославль, 2000.

Вятские губернские ведомости 1847. № 47.

Вятские губернские ведомости. 1844. № 21.

Вятские губернские ведомости. 1844. № 32.

Вятские губернские ведомости. 1844. № 32.

Вятские губернские ведомости. 1847. № 4.

Государственный архив Кировской области (далее ГАКО). Ф. 574. Оп. 1. Д. 100.

ГАКО. Ф. 574. Оп. 1. Д. 12.

ГАКО. Ф. 575. Оп. 2. Д. 8197.

ГАКО. Ф. 575. Оп. 21. Д. 80.

ГАКО. Ф. 575. Оп. 38. Д. 161.

ГАКО. Ф. 575. Оп. 38. Д. 264.

ГАКО. Ф. 582. Оп. 139. Д. 320.

ГАКО. Ф. 582. Оп. 6. Д. 10.

ГАКО. Ф. 21. Оп. 1. Д. 1201.

ГАКО. Ф. 575. Оп. 8. Д. 1804.

ГАКО. Ф. 582. Оп. 14 г. Д. 16.

Гришкина М. В. Удмуртия в эпоху феодализма (кон. XV – 1-я пол. XIX в.). Ижевск, 1994.

Дружинин Н. М. Государственные крестьяне и реформа П. Д. Киселева. Т. 1. М.; Л., 1946.

Ефременко А. В. Земская агрономия и ее роль в эволюции крестьянской общины. Ярославль, 2002.

Женина Л. В. Вятское земство и модернизация сельского хозяйственного производства на рубеже XIX–XX в. // Вятскому земству – 130 лет. С. 20–25.

Журналы Вятского губернского земского собрания 45-й очередной сессии 1–17 февраля 1913 г. Т. 3. Вятка, 1913.

Журналы Вятского губернского земского собрания очередной 47-й сессии 1914 г. Вятка, 1915.

Журналы Малмыжского уездного земского собрания экстренной сессии 9 и 10 февраля 1914 г. Малмыж, 1914.

Котов П. П. Материалы об общественной запашке в удельной деревне Вятской губернии // Теория и методика краеведения в образовательных учреждениях. Киров, 2000. С. 59–60.

Котов П. П. Удельные крестьяне Севера, 1797–1863 гг. Сыктывкар, 1991.

Луппов П. Н. Христианство у вотяков в первой половине XIX века. Вятка, 1911.

Минаков А. Ю. Социально-экономические взгляды русских консерваторов первой трети XIX века // Российская история. 2010. № 4. С. 156–158.

Мосин А. Г. Грамотность крестьян Вятской губернии в конце XVIII – середине XIX в. // Крестьянство Урала в эпоху феодализма. Свердловск, 1988.

Научно-отраслевой архив Удмуртского института истории, языка и литературы УрО РАН. Рукописный фонд (НОА УИИЯЛ. РФ). Оп. 2-Н. Д. 9. Л. 313.

Памятная книжка и Адрес-календарь Вятской губернии на 1916 год. Вятка, 1915.

Половинкин Н. С. Дворцовая (удельная) деревня Приуралья. Вторая половина XVI – первая половина XIX в. Тюмень, 1996.

Российский государственный исторический архив (далее РГИА). Ф. 383. Оп. 20. Д. 26987.

РГИА. Ф. 398. Оп. 1. Д. 4235.

РГИА. Ф. 398. Оп. 1. Д. 4831.

РГИА. Ф. 515. Оп. 15. Д. 2235.

Сборник постановлений Вятского губернского земства за 21 год (1892–1913 гг.). Т. 8. Вятка, 1913.

Статистический ежегодник Вятской губернии за 1913 и 1914 годы. Вятка, 1914.

Столетие Вятской губернии. Т. 2. Вятка, 1881.

Субботина А. М. Земство и удмуртская крестьянская община. Инновационный потенциал народной агрикультуры. Ижевск, 2010.

Таймасов Л. А. Православная церковь и христианское просвещение народов Среднего Поволжья во второй половине XIX – начале XX века. Чебоксары, 2004.

Центральный государственный архив Удмуртской Республики (далее ЦГА УР). Ф. 241. Оп. 1. Д. 344.

ЦГА УР. Ф. 241. Оп. 1. Д. 576.

ЦГА УР. Ф. 5. Оп. 1. Д. 41

ЦГА УР. Ф. 91. Оп. 1. Д. 60.

Шатковская Т. В. Правовая ментальность российских крестьян второй половины XIX века: опыт юридической антропологии. Ростов н/Д, 2000.

О. Н. Шелегина

ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ РУССКОГО НАСЕЛЕНИЯ СИБИРИ В XVII–XX вв.: ТРАДИЦИОННЫЕ, НОВАЦИОННЫЕ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ»: РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

В новом тысячелетии для формирования позитивного психо-эмоционального настроения населения России, выбора людьми адекватной современным условиям жизненной стратегии, важное значение имеет и прагматика традиционной культуры, возрождение интереса к собственным корням, этничности, религиозным верованиям, системам жизнедеятельности. Изучение культуры жизнеобеспечения населения Сибири, формирующейся и функционирующей в результате взаимодействия практик уходящих поколений и опыта новых процессов адаптаций, диффузий, аккумуляций, актуализируется в эпоху глобализации.

В рамках проекта «Культура жизнеобеспечения русского населения Сибири в XVII–XX вв.: традиционные, новационные, информационные аспекты» решался комплекс задач, связанных с реконструкцией (в т. ч. на основе впервые вводимых в научный оборот архивных материалов, компьютерных моделей) культуры жизнеобеспечения разных социальных групп (крестьян, купцов, интеллигенции) и сопряженных с ней духовных ценностей населения региона, выявлением роли музеев в презентации традиционных систем жизнедеятельности и культуры сибирских этносов, определением эффективных путей и способов представления результатов историко-этнографических исследований (Шелегина, 2009. С. 4–11). С учетом степени изученности проблем традиционной культуры жизнеобеспечения сибирских этносов, современного развития науки и потребностей общества исследования проводились в дискурсе науки, образования, культуры, направленном на формирование личности, способной к рефлексии и трансгенерационной передаче оптимальных для данного региона моделей культуры жизнеобеспечения (Шелегина, 2009 а. С. 132–137).

Как базисный элемент культуры жизнеобеспечения Т. С. Мамсик рассматривалась *система (или тип) хозяйствования* сибиряков в XVIII – первой половине XIX в. Самостоятельное научное значение представляет выполненный ею анализ информативных возможностей источниковой базы в виде финансовых (не менее десяти Окладных книг) и учетно-демографических документов (Переписные книги), содержащих информацию об индивидуальных крестьянских хозяйствах (дворах) и соответственно – о фамильном составе населения, в частности, приобских волостей Западной Сибири. Методика работы с такого рода источниками была нацелена на обеспечение массового характера получаемой информации, гарантирующей минимум ошибок. Цель работы состояла в выяснении типа (культуры) хозяйствования и детерминант, влияющих на процесс его эволюции, в т. ч. этнокультурных. Первый этап работы заключался в сравнении фамильных ономастиконов крестьян обозначенных волостей с информацией такого же рода в предполагаемых ближних и дальних местах прежнего проживания колонистов (начиная с XVII в.). Последние устанавливались как по прямым указаниям источников, так и по характеру фамильных меморатов ономастического и этномаркирующего типа (Мезенцев, Мордвинов и т. п.). Создание столь фундаментальных баз данных и их сопоставление, конечно, стали возможны исключительно благодаря компьютерной технике и технологиям анализа, разработанным и адаптированным в ходе авторских поисков к характеру информации (Мамсик, 1998. С. 263–269; Мамсик, 2009. С. 26–73). В число задач, осуществленных в рамках настоящего проекта в процессе освоения описанной базы данных, входило определение социокультурного (этнического и сословного) статуса носителей той *культуры (системы) жизнеобеспечения*, которая сложилась в частности, в Приобском регионе, в Кривощековской волости (ныне Новосибирск и его сельский район) со времени основания первых поселений (1707 г.). В ходе анализа подтвердился, прежде всего, уже достаточно знакомый по предыдущим исследованиям факт «русского» по языку, но полиэтничного по происхождению контингента ранних колонистов Сибири. В составе приобцев присутствовали нижегородцы, волжане (чье происхождение условно считается «русским»), поляки-литва, белорусы, малороссы, мордва, пермяки, нижнеобские угры, зыряне. В отличие от Кайлинского Приобья, где первопоселенцы в этнокультурном отношении более тяготели к тюркскому этносубстрату, первые кривощековцы в значительной доле являлись носителями культуры финно-угорских народов, особенно зырян, а отчасти – остяков и вогулов. Согласно подтверждавшейся на материалах других волостей логике, этническое происхождение первопоселенцев детерминировало, а также характер расселения их в пределах поселенческого локуса и выбор про-

фессиональных занятий, и специфика социальной стратификации крестьянского общества. Кроме того, в результате исследования был установлен достаточного неожиданный факт: костяк населения локуса составили служилые люди, их потомство и родственники (крестьяне, ямщики, частью горожане), «скатившиеся» (после реорганизации войска в результате петровских реформ в Приобье) с ранее освоенной территории Тюменско-Тобольского локуса, а также городов Томска, Тары, Красноярска. Это открытие пролило свет, во-первых, на причины успешной адаптации населения (психологически готового к непредсказуемости характера социального быта) к практике заводских мобилизаций после национализации Алтайских заводов (прежде демидовских); во-вторых, позволило не только констатировать самый факт существования уже к середине XIX в. в Сибири фактически единого социокультурного пространства (несмотря на полиэтничный характер первых новоприходцев), но и обсудить условия, способствовавшие появлению этого, вне сомнения, примечательного культурно-исторического феномена.

Очевидно, что система (культура) жизнеобеспечения, сложившаяся у сибиряков в результате адаптации к суровым условиям Сибири, была одним из решающих факторов данного процесса. Тем не менее он не был единственным. Его действие ускорилось государственной политикой в период правления Екатерины II по формированию единого крестьянского сословия (путем слияния многочисленных сословных групп) и созданием волостных «обществ» (в конце XVIII в.) с предоставлением им прав бесплатного распоряжения землей и самоуправления. Благодаря этому население, прежде весьма подвижное (и по причине переложной системы земледелия, и вследствие стремления к захвату наиболее перспективных к освоению угодий), «осело» на землю: перешло от культуры хозяйствования с установкой на формирующийся спонтанно принцип частной собственности на землю к строительству аграрной экономики на основе гарантированного бесплатного (за номинальный оброк) пользования угодьями. Данное обстоятельство способствовало формированию аграрной культуры на базе комплексных хозяйств. Сознание необходимости именно такого типа хозяйствования диктовали природно-климатические условия Сибири, знания о которых к началу XIX в. вошли в систему традиционных, накапливаемых из поколения в поколение. В соответствии с ними создавались календари сельскохозяйственных работ; государство, учитывая этот момент, соотносило с ним распорядок заводских мобилизаций.

В зависимости от места поселения, которое выбиралось в свое время в соответствии с этнокультурными установками, этапом становления хозяйства (Сибирь периодически пополнялась как свободными, так и принудительными мигрантами); запросов рынка, роль ведущих (пропульсивных) отраслей в хозяйственном комплексе (земледелие, скотоводство, промысловые занятия, как лесные, так и отхожие) менялась. В этой связи некоторые волости в аграрном отношении выглядели (по Окладным книгам) «бедными». Не учитывая этот момент, исследователи полагали сибирскую аграрную экономику «натуральной», нацеленной на удовлетворение семьи (двора) и выплату налогов. Анализ Окладных книг убедительно свидетельствует о социальной стратификации крестьянских обществ, характерных для динамично развивающегося товарно-денежного хозяйства. В Кривощековской волости к концу первой четверти XIX в. структура дворохозяйств выглядела следующим образом: богатые и зажиточные семьи составляли в совокупности 27 %; середняцкие – 28 %; низшие группы – 46 %, в т. ч. бедняки – 30 %, неимущие – 7 %. К сожалению, Окладные книги не фиксировали занятий извозом и прочими промыслами, которые были характерны для значительной части зырянского населения, (выбравшего местом поселения приречную и притрактовую зону Приобья). Косвенным свидетельством этой деятельности выступает значительное количество лошадей в волости, «излишних» по отношению к собственно аграрной сфере. В то же время, судя по дополнительным документам, в волости к 40-м гг. XIX в. интенсивно развивалось пчеловодство (одно из типичных занятий мордвы), а также мельничное дело, секретами которого владели белорусы. Зональный анализ поселений волости показывает, что представители разных этносов могли в пределах волости выбирать себе занятия, наиболее близкие им по культуре предков.

Весьма значимым научным результатом является и впервые выполненная Т. С. Мамсик реконструкция модели пригородной зоны Красноярска (конец XVIII – середина XIX в.). Автором этой перспективной работы убедительно доказано, что воздействие города как адаптивного фактора на культуру жизнеобеспечения сельчан находило выражение в ускоренном приросте населения, дифференциации крестьянства по буржуазному принципу, унификации трансформаций путем обновления структуры хозяйственной деятельности и модернизации культуры жизнеобеспечения (Мамсик, 2009 а. С. 39–94).

Следует подчеркнуть, что результаты исследований по названным проблемам имеют значительный социокультурный эффект. Публикации, посвященные системе и культуре жизнеустройства (жизнедеятельности) предков нынешних новосибирцев и жителей области, вызывает большой инте-

рес. Потомки бывших служилых людей посылают Т. С. Мамсик письма не только с благодарностями, но и с бесценными для исторической науки, музейного дела «подарками»: фотографиями, воспоминаниями, составленными по рассказам, когда-то слышанными от дедов и прадедов [Мамсик, 2011. С. 198–205]. В некоторых школах области создаются музеи, материал для которых инициаторы находят в работах Т. С. Мамсик. Несомненно важным вкладом в историко-этнографическое сибиреведение явится и планирующаяся к изданию в 2012 г. монография Мамсик Т. С. «Первопоселенцы Новосибирского Приобья. По материалам XVIII – середины XIX вв.».

Реконструкция повседневной жизни, культуры жизнеобеспечения рядовых членов сибирского купечества осуществлялась Е. В. Комлевой на основе сохранившихся эпистолярных источников. Среди них особое место принадлежит впервые введенному автором в научный оборот обширному рукописному комплексу – своего рода семейному архиву – красноярских купцов Ларионовых. Эта коллекция Государственного архива Красноярского края насчитывает 131 единицу хранения, многие из которых включают несколько документов. Самые ранние из них датируются 1782 г., самые поздние – 1913 г. Выделяются две основные тематические группы: материалы хозяйственной и торговой деятельности, переписка членов семейства Ларионовых с разными лицами. Ценность этих документальных свидетельств состоит в том, что они раскрывают механизмы ведения коммерции, нормы общения, подробности быта и повседневной жизни рядовых купцов – вчерашних посадских, мещан и крестьян. На основании их можно заключить о достаточно широком распространении грамотности, т. к. в переписке состояли не только самые близкие родственники, но и отдаленные, включая как мужчин, так и женщин. Из писем также вырисовывается организация семейного купеческого бизнеса. В условиях постоянных разъездов корреспонденция выступала основным информационным каналом, по которому компаньоны передавали друг другу все необходимые сведения. Письма, товары, посылки и крупные денежные суммы отправлялись из города в город с надежными людьми. Из товаров, прежде всего, упоминаются те, продажей которых, видимо, они занимались сами: подсолнечное масло, чай, мед, сыромятные кожи. Приводятся данные об организации скупки скота, осуществлявшейся целой компанией красноярских купцов «по русским и благополучным местам». В одном из писем за 1828 г. сообщается любопытная деталь: один компаньон отправляет другому с оказией в Иркутск забытый тем дома галстук, без которого, видимо, в ряде случаев уже нельзя было обойтись (ГАКК. Ф. 796. Оп. 1. Д. 4494. Л. 5–6). К наследию Ларионовых, так же, как и к другим мемуарно-эпистолярным источникам этого периода, можно отнести слова А. В. Семеновой, что оно «в значительной степени разрушает традиционные представления о невежестве провинциального купечества» (Семенова, Аксенов, 2007. С. 7). В ходе работы по проекту был подготовлен к печати подробный биобиблиографический словарь купечества Приенисейского края, позволяющий впервые воссоздать историю многих купеческих фамилий края на протяжении нескольких десятилетий, а иногда и одного-двух веков, проследить происхождение крупных предпринимателей конца XIX в., чьи исторические корни восходят к XVII–XVIII вв.

В рамках проекта Е. Н. Туманик изучала детское воспитание как одну из традиционных форм культуры жизнеобеспечения русского купечества Сибири XIX в. На примере иркутских купцов Басниных исследован феномен русского образованного купеческого семейства первой половины XIX в., впитавшего в себя все лучшие плоды дворянского образования и дворянской культуры и в то же время представлявшего собой истинно народное явление. На базе комплекса, впервые вводимых в научный оборот источников о детских годах Н. В. Баснина, реконструируется модель нового для традиционной русской культуры универсального воспитания, а также повседневная история детства. Личности В. Н. Баснина и его детей рассмотрены как образцы интеллектуально-духовного развития, позволившего им подняться из простого, патриархального купеческого быта на высокую ступень культуры интеллигенции. В отличие от узкосословного дворянского воспитания, в образованных купеческих семьях середины XIX в. была сформирована новая более демократическая педагогическая система, приоритетным направлением которой стала расширенная профессиональная направленность – подобный подход давал детям свободу внутреннего выбора, ориентировал их на различные способы самореализации, развивал у них одновременно самые разнообразные способности, что позволяло успешно варьировать как основные жизненные интересы, так и вспомогательные – хобби, увлечения. В результате в будущем ребенок мог с одинаковым успехом освоить несколько профессий, заниматься несколькими видами деятельности одновременно (Туманик, 2009. С. 105–124). Важно подчеркнуть, что исследование находится в ключе такой актуальной темы современной отечественной и зарубежной историографии, как история детства; воспитание рассматривается как форма воспроизводства и модернизации культуры жизнеобеспечения.

При создании многомерной модели культуры жизнеобеспечения русских сибиряков в истори-

ческой динамике И. Р. Соколовским учитывалась интегрированность различных компонентов культуры, которые ранее было принято воспринимать отдельно. Результатами новационного подхода к изучению и представлению культуры жизнеобеспечения явилось осуществление 3-D реконструкций (виды населенных пунктов, Кузнецкой крепости, технология фахверкового строительства, экстерьеры и интерьеры жилых построек), а также 4 анимационных роликов (внешний вид и интерьеры «черной» избы и хором, объемом ок. 58 Мб). С помощью созданных в компьютерной программе Blender 2.45 моделей реальных жилища как элемента культуры жизнеобеспечения в Сибири и Северной Америке в XVII в., И. Р. Соколовским было выявлено, что в ходе освоения новых территорий Северной Америки и Сибири предпочтительной явилась урбанизационная модель развития архитектуры и планировки поселений (Соколовский, 2009. С. 12–32). Однако при доминировании этой модели развития имелся и ряд отличий. Сравнение так называемого «Бэкон-Кастла» в Виргинии, который является первым точно датированным кирпичным памятником на территории США, с обнаруженной на развалинах Юильского острога А. В. Ополовниковым избой-казармой (см. вклейку: с. 87, ил. 1), показывает целый комплекс факторов, влиявших на культуру жизнеобеспечения. Прослеживается влияние строительных технологий и квалификации мастеров. Для постройки русского жилища требовались менее квалифицированные мастера, чем для дорогих представительских построек в британских колониях. Русские строители чаще использовали наличные строительные материалы и реже (по крайней мере до начала XVIII в.) прибегали к организации их специального производства. При одинаковом размере зданий бросается в глаза влияние климатических факторов на культуру жизнеобеспечения. Каменный американский дом, находящийся в теплой местности, рациональнее использует пространство, когда при площади застройки в 90 кв. м, полезная площадь внутренних помещений составляет больше 180 кв. м. Изба-казарма несколько меньше по площади застройки, примерно 60–70 кв. м, и из-за особенности конструкции площадь застройки совпадает с полезной площадью, так как обширный подклет используется только для теплоизоляции (археологи не обнаружили ни люков, ни дверей, которые бы показывали, что он предназначен для хозяйственного или жилого использования). Русские и британские строители были тесно связаны с развитием культуры метрополии, старались на новых землях воспроизводить привычные архитектурные формы. Прослеживается связь и на более глубоком уровне. Оба здания имеют трехчастную компоновку плана. В «Бэкон-Кастле» два главных помещения разделены коридором, который выделен на фасаде здания центральным ризалитом, в избе-казарме два помещения разделены широкими сенями. Большую роль в композиции обоих зданий играют крыльца и входы.

Для интеграции полученных научных результатов в образовательную и воспитательную практику необходимо не только сравнение опыта культуры жизнеобеспечения с народами других стран и континентов, но и личностное освоение опыта, в чем компьютерные модели могут дополнить непосредственный опыт соприкосновения с прошлым в музеях, мемориальных местах и пр. Реконструкция внешнего облика (см. вклейку: с. 87, ил. 2), внутреннего убранства (см. вклейку: с. 87, ил. 3) и, на следующей стадии, создание интерактивных квазиигровых приложений, где бы пользователь мог ознакомиться с интерьером, инвентарем, бытом и духовной культурой жизнеобеспечения, могут помочь в этом деле. Эвристическая ценность трехмерных объектов заключается в тех преимуществах, которые они дают по сравнению с другими, более простыми по своей структуре, двухмерными моделями объектов реального мира.

К новационным аспектам проекта относится и выделение О. Н. Шелегиной в качестве объекта изучения музеев как социокультурных институтов, формирующих региональную идентичность посредством сбора, хранения, введения в научно-информационный оборот, презентации традиционной культуры жизнеобеспечения населения Сибири. Установлено, что в зарубежной и российской, региональной практике используются различные типы и формы «интегрированных» музеев, ориентированных на культурно-образовательную, социально и индивидуально дифференцированную деятельность. Так, например, в национальном лесном парке «Чжангчжанчжи» (КНР), включенном в Список природного наследия ЮНЕСКО, воспроизведена традиционная китайская деревня с соответствующей культурой жизнеобеспечения. В Национальном музее Тайваня используются интерактивные формы адаптации культурного наследия к особенностям восприятия современного человека посредством обучения игре на национальных инструментах (барабанах). Сельский туризм, организуемый музеем, представляется как личностная адаптация к экзотическим природным условиям, культуре жизнедеятельности аборигенного населения. Своеобразной объемной картой Казахстана с историко-культурными и природными объектами (макеты уникальных архитектурных, мемориальных, социокультурных зданий) является «Этномемориальный комплекс “Атамекен” в г. Астана. В России в последние два десятилетия идет интенсивный процесс этнокультурного освоения регио-

нальных пространств, конструирование этномиров и этнодеревень, их коммерциализация и использование для просвещения и отдыха (Тишков, 2009. С. 10). Интерес как с теоретической, так и научно-практической точки зрения представляет Музейно-культурный комплекс «Национальная деревня», открытый в г. Оренбурге в 2007 г. На территории «деревни» расположено десять национальных подворий, представляющих историю и культуру самых многочисленных по своему составу этнических общностей: русских, татар, казахов, украинцев, башкир, мордвы, армян, немцев, чувашей, белорусов. За несколько лет существования «деревню толерантности» посетили десятки тысяч людей. Проводимые в ней государственные, календарные, национальные праздники способствуют межкультурному диалогу, адаптации населения к условиям проживания в полиэтничном приграничном регионе, укреплению стабильности, межрегиональных и международных связей одного из крупнейших субъектов Российской Федерации. Подобный опыт может быть комплексно исследован и адаптирован к социокультурной ситуации и музейной практике территорий России с полиэтничным населением.

Сибирский регион имеет богатый адаптационный опыт населения в различных природно-климатических зонах, эволюционных и бифуркационных условиях. В современной ситуации, когда в ряде регионов России заметно обострились межнациональные отношения, особо ценным представляется опыт Сибири, в которой на протяжении значительного исторического периода достаточно мирно уживались многочисленные (и разнообразные в этнокультурном отношении) массы мигрантов, осуществлялся продуктивный обмен культурными ценностями, что нашло отражение в экспозициях сибирских музеев (Шелегина, 2010).

Анализ культуры жизнеобеспечения автохтонного населения Сибири на основе этнографических коллекций Музея истории и культуры народов Сибири и Дальнего Востока, проведенный И. В. Сальниковой в соответствии с классификацией, основу которой составляют хозяйственные комплексы, зависящие от конкретных ландшафтно-климатических условий, хозяйственной деятельности населения, был положен в основу сравнительной историко-этнографической экспозиции культуры жизнеобеспечения народов Сибири конца XIX – первой половины XX в. (Сальникова, 2008. С. 66–68). В ней представлены важнейшие компоненты материальной культуры (жилище, одежда, утварь), обеспечивающие витальные потребности кочевников-скотоводов: казахов, южных алтайцев, бурят. На основе репрезентативных и аттрактивных экспонатов показана специфика культуры жизнеобеспечения ханты, манси, кетов, ненцев, селькупов, занимающихся рыбной ловлей, промысловой охотой, оленеводством. В комплексе русского старожильческого населения Сибири, связанного с земледелием, экспонируются типовые и уникальные предметы материальной и духовной культуры. В совокупности это научно-экспозиционное произведение можно рассматривать как образную модель трехмерной экосоциальной адаптации «человек–природа–общество» (Головнев, 2009. С. 238). Успешный результат отражения музейными средствами комплексного использования природно-средовых особенностей региона, процессов гибкой экологической и социокультурной адаптации может быть весьма значим для краеведческих музеев Сибирского региона с полиэтничным населением. На основе результатов теоретических исследований по проблемам адаптации населения Сибири, развития в исторической динамике его материальной и духовной культуры, опубликованных каталогов и материалов коллекций крупных сибирских музеев, созданных научно-экспозиционных моделей возможна и актуальна разработка концепции интегрированной проблемно-тематической выставки (в первом приближении виртуальной), отражающей адаптационные процессы в культуре жизнеобеспечения русского населения Сибири.

В Сибири посредством экомузеев создается универсальный механизм саморегуляции социальных отношений, межпоколенной передачи этнокультурного наследия и экологической этики в естественной среде обитания этносов с музеефицированными памятниками наследия и современной жилой застройкой, территориями традиционного природопользования, охраняемого этнокультурного ландшафта (Кимеев, 2008). Актуализация материального и нематериального наследия коренных народов Сибири связана с музеефикацией особо охраняемых территорий в республиках Южной Сибири – Горном Алтае, Хакасии, Тыве, располагающих значимым в мировом масштабе культурным фондом народов Саяно-Алтая, созданием и функционированием средовых музеев [экомузеи Притомья: «Тазгол», «Чолкой», «Тюльбергский городок», «Томская писаница», архитектурно-этнографический музей «Тальцы», этнографический музей-заповедник «Торум Маа» (Жигунова, Шелегина, 2010. С. 577–578), историко-культурный и экологический центр Мегион, экомузей г. Лянтора, музей Мах-Сир Ях (музей рода Бобра), парк-музей «Живун»], проведением и внедрением в музейную практику междисциплинарных исследований культуры жизнеобеспечения сибирского населения, разработкой и реализацией форм научно-образовательной и досуговой деятельности, направленной на социокультурную адаптацию населения, развитием этнокультурного туризма (Музеи и этнокультурный туризм, 2010; Шелегина, 2011. С. 119–121).

Человек постоянно идентифицирует себя с большими и малыми социальными группами и общностями, с учетом этого адаптивный процесс приобретает жизненные краски, а деятельность, укорененная в определенную культурную среду, – продуктивность.

Региональная идентичность, по мнению В.А. Тишкова, «призвана обнаружить тесные связи, укореняющие местные сообщества и отдельных людей, процедуры самоидентификации, в которых образ региона может предстать как образы, населяющие эту территорию людей» (Тишков, 2009. С. 10). Музей всегда «вписан» в социокультурную среду, и личность с его помощью увеличивает свои адаптационные возможности относительно реально существующих социокультурных процессов. Для эффективной социокультурной адаптации населения к условиям эпохи глобализации музеи не только должны хранить и презентовать историко-культурное и природное наследие, но и, реагируя на социальные запросы, стать средством межкультурной коммуникации, способствующим формированию веротерпимости, толерантности, стремления постигать и принимать мир других людей. Социокультурная адаптация в этой связи рассматривается как наследование и актуальное использование обычаев, норм поведения, знаний и традиций, выработанных и функционировавших в рамках соответствующих социальных институтов, реализующихся в личной и общественной жизни. В настоящее время важную роль в трансляции региональной и этнической идентичности, социокультурной адаптации населения играют музеи под открытым небом, музеи-заповедники, документирующие этногенез народов, их быт и культуру посредством комплектования, хранения, изучения и популяризации этнографических коллекций, презентации традиционных систем жизнеобеспечения и культуры жизнедеятельности. В музеях под открытым небом, заповедниках памятники деревянного зодчества, экспонаты образуют в музейном пространстве сфокусированное информационное поле, дающее возможность выявления трансформаций в традиционной народной культуре. В них активно апробируется методика адаптации традиционных форм научно-просветительной работы к новым социокультурным запросам населения с учетом половозрастных и этноконфессиональных особенностей. В Ямало-Ненецком парке-музее «Живун» работает летний детский этнографический лагерь, большой интерес у туристов вызывают национальные праздники «День оленевода», «День рыбака», «Вороний день». В Хакасии школьные музеи создаются в виде традиционных хакасских юрт и выполняют функции «учебно-методических полигонов». Этнографический музей-заповедник народов Забайкалья ведет научно-просветительскую работу с разными слоями населения, выполняя важную функцию формирования в социальном пространстве толерантного отношения к соседним культурам и поддержания интереса современного поколения к собственной этнической истории и культурным ценностям, демонстрируя многовековую мудрость и простоту жизни этноса, транслируемых через музейные коллекции и воссозданную историко-культурную среду. Проводятся праздники сельскохозяйственного цикла: бурятский – стрижка овец; русский – праздник уборки хлеба, эвенкийский – ритуально-обрядовый охотничий праздник, посвященный медведю.

Новационным с теоретической и научно-практической точки зрения может явиться разработка концепций региональных научных музеев, органично сочетающих глобальное и локальное, традиционное и современное в культуре жизнеобеспечения этносов, использующих креативные, информационные, интерактивные технологии и активно способствующих сохранению, развитию, целесообразной трансляции в мировых коммуникативных системах национального историко-культурного наследия, духовных ценностей России и Сибири.

В условиях глобализации необходим выход на новый информационный и интеграционный уровень исследований и презентации культуры жизнеобеспечения населения Сибирского региона. В рамках проекта создается информационная система «Культура жизнеобеспечения населения Сибири»: в развернутом виде она будет иметь следующую структуру: I. Научно-исследовательский ресурс: I.1. Историографический раздел (аннотированная библиография по теме, тексты статей, дайджесты монографий, каталогов); I.2. Источниковый раздел (архивные документы, рисунки, фотографии, музейные предметы (фото, рисунок), фрагменты экспозиций (фото), реконструкции, анимации); I.3. Справочный раздел (информация о музеях, персоналии, события); II. Научно-образовательный ресурс: II. 1. Мультмедийные лекции; II.2. Базы знаний; III. Культурологический ресурс: III. 1. Экспозиции; III. 2. Выставки; III. 3. Презентации.

Была подготовлена протоверсия этой системы с первоначальным контентным массивом, включающая результаты научных исследований по теме – текстовые варианты сборников статей, фрагменты монографических изданий и учебных пособий), опубликованные сканированные иллюстрации, авторские снимки экспозиций ряда музеев Сибири, Европейской России, Китая и Тайваня, а также 3-D реконструкции и анимации.

На данном этапе работы над информационной системой осуществляется ее структурирование по следующим параметрам: I. По типам объектов; II. По категориям; III. Поиск по текстовой части.

Типы объектов подразделяются на: 1. Аннотированную библиографию; 2. Полнотекстовые публикации. текст+pdf; 3. Фотографии; 4. Графические и фотографические иллюстрации из литературы; 5. Реконструкции; 6. Анимации. Используются типы предикатов: 1. Аннотация/Подпись; 2. Источник; 3. Ссылка. Выделяются тематические категории: 1. История заселения и освоения Сибири; 2. Адаптационные процессы в культуре жизнеобеспечения населения Сибири; 3. Основные элементы культуры жизнеобеспечения: 3.1. Поселения; 3.2. Жилые постройки; 3.3. Хозяйственный комплекс; 3.4. Орудия труда; 3.5. Одежда; 3.6. Предметы домашнего обихода; 3.7. Система питания. 4. Компоненты духовной культуры, сопряженные с материальной культурой: 4.1. Фольклор; 4.2. Праздничная культура; 5. Музеи; 5.1. История музеев; 5.2. Фондовые материалы, отражающие культуру жизнеобеспечения; 5.3. Каталоги этнографических коллекций; 5.4. Экспозиции по культуре жизнеобеспечения и др. Формируется контент информационной системы, включающий аннотированную библиографию, тексты сборников научных статей, сканированные иллюстративные материалы, экспедиционные фотоматериалы, авторские снимки экспозиций различных музеев, реконструкции и анимации (Шелегина, Соколовский, Журавлев, 2011. С. 345–349). Данный репрезентативный научно-информационный ресурс будет активно использоваться в российских междисциплинарных проектах, в частности в проекте «Интеграция российских музеев в региональное социокультурное пространство» (Институт истории СО РАН, Российский институт культурологии). Использование сравнительно-исторического метода, компьютерного моделирования, а также методов «электронного музееведения» позволит представлять процессы адаптации традиционных культур жизнеобеспечения этносов к модернизирующимся условиям в контексте глобального и локального, способствовать сохранению национального историко-культурного наследия и его адекватной презентации в современных коммуникативных системах. В рамках международного проекта «Демографическое пространство Азии: история, современность, гипотезы будущего» представляется перспективной разработка и реализация инициированного Комитетом музеологии Сибири, стран Азии и Тихоокеанского региона и Научным советом по музеям СО РАН; проекта «Музейный меридиан» (охватывающего территории Сибири, Казахстана, Монголии, Китая, Индии) и предполагающего формирование сравнительных виртуальных экспозиций по культуре жизнеобеспечения и социокультурной адаптации населения в контексте сложных демографических, этнокультурных и геополитических процессов на территории Азии (Шелегина, 2011 а. С. 212–216). Инновационной формой адаптации результатов научных исследований по проблемам культуры жизнеобеспечения с теоретической и научно-практической точки зрения может явиться разработка концепции и модели интегрированного сетевого Музея Сибири, органично сочетающего глобальное и локальное, традиционное и современное в культуре этносов с учетом этноисторического опыта и реалий XXI в., способствующего формированию общероссийской гражданской солидарности при сохранении собственных идентичностей, современному позитивному имиджу Сибирского региона (Шелегина, 2011 б. С. 39–44).

Таким образом, в результате реализации проекта на основе введения в научный оборот новых архивных материалов, использования традиционных и новационных методов и методик, постановке междисциплинарных проблем (на стыке этнографии, музееведения, информатики) создано многоаспектное представление о культуре жизнеобеспечения русского населения Сибири, включающее систему хозяйства как базисный элемент, модель пригородной зоны – связующего звена между городом и сельской «глубинкой», образ повседневной культуры и воспитания в купеческой среде, сравнительные трехмерные реконструкции жилой среды, формы и способы ее презентации в сибирских музеях. Показано, что культура жизнеобеспечения населения Сибири может являться объектом интегрированных историко-этнографических, культурологических и музееведческих исследований. Наиболее эффективной формой представления результатов научных исследований по данной теме является создание в перспективе полиресурсного интернета – ориентированной информационной системы «Культура жизнеобеспечения населения Сибири: общее и особенное», позволяющей проводить сравнительные российские и международные междисциплинарные исследования, использовать их в музейной, образовательной деятельности, направленной на популяризацию историко-культурного наследия и духовных ценностей России.

Список литературы

Государственный архив Красноярского края. Ф. 796. Оп. 1. Д. 4494. Л. 5–6.

Головнев А. В. Локальные и магистральные культуры в антропологии движения // Адаптация народов и культур к изменениям природной среды, социальным и техногенным трансформациям. М.: РОССПЭН, 2009. С. 233–240.

Жигунова М. А., Шелегина О. Н. Этнографические музеи Сибири // Сибирская историческая энциклопедия. Т. 3. Новосибирск, 2010. С. 577–578.

Кимеев В. М. Экомузеи Притомья в постиндустриальном обществе: генезис, архитектоника, функции. Томск: Изд-во Томского гос. пед. ун-та, 2008. 452 с.

Мамсик Т. М. Чаусское Приобье: Население и хозяйство. Опыт ретроспекций по материалам XVIII–XIX вв. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2009. 228 с.

Мамсик Т. С. Из воспоминаний потомка панцирных бояр // Современные тенденции в развитии музеев и музееведения: Мат-лы Всероссийской научно-практической конференции (Новосибирск, 3–5 октября 2011 г.) / отв. ред.: В. А. Ламин, Н. М. Щербин. Новосибирск, 2011. С. 198–205.

Мамсик Т. С. Окладные книги приписной деревни Алтая второй четверти XIX в. – массовый статистический источник для краеведческих исследований // Гуляевские чтения. Вып. 1: Мат-лы. конф. Барнаул, 1998. С. 263–269.

Мамсик Т. С. Сельский пригород Красноярска: адаптивные процессы в хозяйственной и социокультурной сферах жизнедеятельности населения. (По материалам Заледеевской волости первой половины Х1Х в. // Культура жизнеобеспечения русского населения Сибири в XVII – XX вв.: традиционные, новационные, информационные аспекты. Сб. науч. тр. / Ин-т истории СО РАН. Новосибирск, 2009 а. С. 39–94.

Музеи и этнокультурный туризм: сборник материалов III Ежегодного международного симпозиума Комитета музеологии Сибири / под ред. О. Н. Труевцевой, О. Н. Шелегиной. Новосибирск: Изд-во НГУ, 2010. 168 с.

Сальникова И. В. Культура жизнеобеспечения автохтонного населения Сибири (на примере этнографических коллекций Музея истории и культуры народов Сибири и Дальнего Востока) // Адаптационные механизмы и практики в традиционных и формирующихся обществах: опыт освоения Азиатской России. Материалы Всероссийской научно-практической конференции (Новосибирск, 17–18 ноября 2008 г.) / отв. ред.: В. А. Ламин, О. Н. Шелегина. Новосибирск: Сибирское научное изд-во, 2008. С. 63–66.

Семенова А. В., Аксенов А. И. Предисловие // Купеческие дневники и мемуары конца XVIII – первой половины XIX в. / сост.: А. В. Семенова, А. И. Аксенов, Н. В. Середа. М., 2007. С. 7.

Соколовский И. Р. Жилище как элемент культуры жизнеобеспечения в Сибири и Северной Америке в XVII в.: к постановке проблемы сравнительного исследования // Культура жизнеобеспечения русского населения Сибири в XVII–XX вв.: традиционные, новационные, информационные аспекты: Сб. науч. тр. / Ин-т истории СО РАН. Новосибирск, 2009. С. 12–32.

Тишков В. А. Трикарты: физическая, административно-государственная и этническая // VIII Конгресс этнографов и антропологов России: тезисы докладов. Оренбург, 1–5 июля 2009 г. / редкол.: В. А. Тишков [и др.]. Оренбург: Издательский центр ОГАУ, 2009. С. 5–11.

Туманик Е. Н. Мир детства русской купеческой семьи середины XIX века (по материалам архива купцов Басниных) // Культура жизнеобеспечения русского населения Сибири в XVII–XX вв.: традиционные, новационные, информационные аспекты. Сб. науч. тр. / Ин-т истории СО РАН. Новосибирск, 2009. С. 105–124.

Шелегина О. Н. О проекте «Культура жизнеобеспечения русского населения Сибири в XVII–XX вв.: традиционные, новационные, информационные аспекты» // Культура жизнеобеспечения русского населения Сибири в XVII–XX вв.: традиционные, новационные, информационные аспекты. Сб. науч. тр. / Ин-т истории СО РАН. Новосибирск, 2009. С. 4–12.

Шелегина О. Н. Адаптация результатов научных исследований к музейной практике (на примере изучения северно-русских традиций в культуре жизнеобеспечения русского населения Сибири) // Традиционная культура Русского Севера: истоки и современность: сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 45-летию музея «Малые Корелы» (Архангельск, 8–11 июля 2009 года) / под ред. А. М. Шаева, Т. Г. Невзоровой, С. А. Герасимова, Е. Б. Заручевской. Архангельск: Соломбальская типография, 2010. С. 321–328.

Шелегина О. Н. Музеи Сибири. Очерки создания, развития, адаптации / отв. ред.: В. А. Ламин, Н. М. Щербин. Новосибирск, 2010 а. 244 с.

Шелегина О. Н. Музееведческие аспекты актуализации материального и нематериального наследия коренных народов Сибири // Культура, язык, институты гражданского общества коренных народов России: возрождение, сохранение и развитие в этнокультурном контексте Сибирского региона: тезисы международной научно-практической конференции / сост.: А. М. Беспалов. Алтайская гос. академия об-я им. В. М. Шукшина. Бийск: ФГБОУ ВПО «АГАО», 2011. 274 с.

Шелегина О. Н. Роль музеев в изучении и презентации культуры жизнеобеспечения населения Азии // Демографическое пространство Азии: история, современность, гипотезы будущего. Сб. материалов междунар. науч. конф. Новосибирск, 2011 а. 220 с.

Шелегина О. Н. От создания музеев Сибири к созданию Музея Сибири // Современные тенденции в развитии музеев и музееведения: Мат-лы Всероссийской научно-практической конференции (Новосибирск, 3–5 октября 2011 г.) / отв. ред.: В. А. Ламин, Н. М. Щербин. Новосибирск, 2011 б. С. 39–44.

Шелегина О. Н., Соколовский И. Р., Журавлев В. В. Информационная система «Культура жизнеобеспечения русского населения Сибири: возможности использования в музейной практике» // Современные тенденции в развитии музеев и музееведения: Мат-лы Всероссийской научно-практической конференции (Новосибирск, 3–5 октября 2011 г.) / отв. ред.: В. А. Ламин, Н. М. Щербин. Новосибирск, 2011. С. 345–348 .

Е. А. Волжанина

ТРАДИЦИОННОЕ ХОЗЯЙСТВО ВЫНГАПУРОВСКИХ НЕНЦЕВ В ПЕРВОЙ ТРЕТИ XX И ПЕРВОМ ДЕСЯТИЛЕТИИ XXI ВЕКА: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

Экономические, социально-культурные и экологические изменения в XX – начале XXI в. привели к существенной трансформации традиционной культуры коренных малочисленных народов Севера, обострив проблемы культурно-языковой и этнической ассимиляции, психологической, демографической, социальной и хозяйственной их адаптации к современной ситуации. В результате дискуссий последних двух десятилетий сложилось устойчивое мнение, связывающее физическое и культурное выживание народов Севера с сохранением и развитием традиционных видов хозяйственной деятельности (Клоков, 1997. С. 7; Логинов и др., 2009. С. 44, 48). В этой связи представляет интерес выделить в традиционной культуре северных этносов наиболее устойчивые к изменениям компоненты и факторы, их обусловливающие.

В данной статье представлен сравнительный анализ состояния традиционного хозяйства вынгапуровских лесных ненцев в первой трети XX и первом десятилетии XXI в. В основу работы легли архивный отчет Тазовско-Пуровской землеустроительной экспедиции 1934–1935 гг. и полевые материалы автора, полученные в ходе этнографических экспедиций 2007–2009 гг., проходивших в бассейнах рек Вынгаяха (правый приток р. Вынгапур), Пяко-Пур и Нябы-яха (левый приток р. Айваседопур). Выбранные для сравнения хронологические рамки позволяют выявить и наиболее ярко показать произошедшие перемены в расселении данной локальной этнической группы и характерных чертах традиционных видов хозяйственной деятельности (оленеводстве, рыболовстве и охотничьем промысле) на протяжении XX в.

Ареалом расселения вынгапуровских ненцев является Пяко-Пуровский подрайон, охватывающий бассейн р. Пяку-Пур, включая его левый и правый притоки: Вынгапур, Пурпе. В административном отношении эта территория относится с 1932 г. к Пуровскому району Ямало-Ненецкого автономного округа. Наименование группы происходит от названия фактории, к которой коренное население было приписано в XX в., и предложено П. Г. Турутиной (2000. С. 9). Фактория Вынгапур, основанная в конце 1930-х гг. в устье р. Вынгаяхи, была единственным населенным пунктом до начала 1970-х гг. на территории их расселения. До 1944 г. данная группа ненцев учитывалась как население ф. Вынгапур Верхнепуровского сельского совета, с 1944 г. – Таркосалинского сельского совета, с упразднением последнего в 1976 г. – р. п. Тарко-Сале.

Согласно официальной статистике, число вынгапуровских ненцев в XX в. не превышало 300 чел. В 1926 г. в среднем течении р. Пяку-Пур и его притоках Лыче-яга (современное название Лыти-яха), Таколеда-Пур, Вынга-яга (современное название Вынгапур), Калмы-пур переписали 35 хозяйств лесных ненцев общей численностью 269 чел. (Список... 1928. С. 214–215). В 1957 г. они насчитывали 37 хозяйств и в них 226 чел., в 1963 – 36 и 119 соответственно (ГУТО ГАТО. Ф. 1112. Оп. 1. Д. 1616. Л. 119 об.; Д. 2987. Л. 99 об.). В 1977 г. их численность оказалась наибольшей и равнялась 401 чел., но уже в 1980 г. приводится цифра 165 чел., а в 1983 – 273 чел. (там же. Ф. 1112. Оп. 1. Д. 7493. Л. 18; Д. 8943. Л. 32; Д. 10281. Л. 94).

В 1984 г. ф. Вынгапур была закрыта после перевода совхозных оленьих стад на север за р. п. Тарко-Сале в связи с промышленным освоением на юге района и перестала упоминаться в официальных статистических отчетах. Сведения о ненцах вынгапуровской тундры стали приводить вместе с населением р. п. Тарко-Сале (с 2004 г. Тарко-Сале) и д. Харампур. В настоящее время определить их число можно только в ходе непосредственного посещения стойбищ.

Расселение данной группы ненцев, зафиксированное в процессе землеустройства Пуровского района в 1934–1935 гг., свидетельствовало о концентрации населения прежде всего в нижнем течении р. Пур-пе и нижнем и среднем течении рек Пяко-Пур и Вынга-Пур, захватывая правобережные и левобережные притоки обеих рек. Несмотря на замечания о немноголюдности стойбищ лесных ненцев: «Таежный характер охотничьего промысла и отсутствие во всей южной половине района крупных рыболовных угодий, позволяющих совместное опромышливание их несколькими хозяйствами, создают положение, при котором местное промысловое население предпочитает держаться разрозненно. Вследствие этого обычно стоят вместе не более 2–3 чумов, а на многих стойбищах можно встретить и по одному чуму...» (ГАЯНАО. Ф. 12. Оп. 1. Д. 188. Л. 52), можно выделить места их компактного проживания. Это притоки р. Пяку-Пур: Ету-яга, Тытю-яга, Варк-яга, Лумбот-яга, Лыче-яга,

Янг-яга, а также притоки р. Вынгапур: Тамчару-яга, Вынга-яга (см. вклейку: с. 88, ил. 1). Несколько хозяйств кочевали в низовьях р. Ныби.

Проживание в таежной природно-географической зоне обусловило отсутствие у лесных ненцев, в том числе у вынгапуровской группы, характерных для кочевников тундровых районов многокилометровых амплитуд сезонных касланий. На составленной карте-схеме летние стойбища расположены от зимних на расстоянии от 5 до 25 км, а также показаны 9 мест круглогодичного проживания хозяйств. Обеспеченность территории топливной и поделочной древесиной, сочетание зимних и летних оленьих пастбищ в одном месте, а также совпадение рыболовных и охотничьих угодий с оленьими пастбищами, малооленность стад не требовали больших перекочевок и частой смены пастбищных участков (там же. Л. 321). Благодаря этому годовой цикл замыкался «на площади в несколько десятков квадратных километров, где расположено их вотчинное землеводопользование. Единичные хозяйства с крупными стадами оленей (от 100 голов и выше) имеют более вытянутые амплитуды касланий...» (там же). Согласно результатам землеустроительной экспедиции 1934–1935 гг., на рассматриваемой территории кочевали и занимались промыслами 28 хозяйств, с населением в них 158 чел., и выпасалось около 1800 оленей (табл. 1). Из числа переписанных домохозяйств 12 (42,8 %) владели стадами оленей от 26 до 50 голов (рассчитано по: табл. 1). Больших стад, насчитывавших от 100 до 240 голов, было только 7. Владельцем самого крупного оленьего стада был Пяк Монуметто – 243 оленя. Среднее стадо насчитывало 64 оленя, что являлось самым большим показателем в Пуровском районе в 1930-е гг. (там же. Л. 324).

Таблица 1

Список хозяйств Пяко-Пуровской группы, составленный по данным Тазовско-Пуровской землеустроительной экспедиции 1934–1935 гг.

ФИО	Социальное положение	Кол-во едоков	Кол-во оленей
Пяк Хэльку	середняк	8	60
Айваседа Энту и Паны	бедняк	3	25
Пяк Илюмо	середняк	4	100
Пяк Сынку	бедняк	1	30
Пяк Себлена	бедняк	3	40
Пяк Каурка	бедняк	6	80
Пяк Хомуи	бедняк	5	40
Пяк Атата	середняк	3	40
Пяк Кака	середняк	4	40
Пяк Омути	середняк	4	40
Пяк Эйлю	середняк	3	124

Окончание табл. 1

ФИО	Социальное положение	Кол-во едоков	Кол-во оленей
Пяк Пыскола	середняк	10	57
Пяк Нынели	бедняк	3	16
Пяк Кой	бедняк	5	43
Айваседа Хэбулю (Василий)	бедняк	8	40
Айваседа Вальча	бедняк	3	12
Айваседо Лют	шаман	5	43
Айваседо Утят	шаман	8	51
Айваседо Алево	кулак	12	150
Пяк Няйма	кулак	6	56
Пяк Хат и Тамо	кулак	6	100
Пяк Таклю (Иван)	кулак	5	120
Пяк Монуметто	кулак	10	243
Пяк Алымопчу	кулак	8	33
Пяк Малица	сын кулака	3	15
Пяк Илино	кулак	8	124
Пяк Осалеме	кулак	4	30
Пяк Эльтино	шаман	10	50

Источник: ГАЯНАО. Ф. 12. Оп. 1. Д. 188. Л. 134.

Использование территории поколениями одной семьи «по традиции» (отцы так жили и померли, и мы будем здесь жить), некоторые приемы выпаса оленей и рыбной ловли способствовали закреплению земель за отдельными семьями. Землепользование вынгапуровских ненцев до момента проведения землеустроительных работ характеризовалось существованием вотчинного права в отношении оленьих пастбищ, рыболовных и охотничьих угодий. Среди вотчинников, проживающих в Пяко-Пуровском районе в 30-е гг. XX в., были: Пяк Вэссы, считавшийся князем, чьи земли располагались в бассейне р. Вынга-пур; Пяк Омуто, владевший р. Лыче-яга, Пяк Монуметто – р. Хамбула, братья Айваседа Хатебу и Утят – водораздел рек Вэлла-яга и Неймаль-яга (Там же. Л. 85 об.). Вотчинники по своему желанию и за плату натурой (добытыми рыбой и зверем) пускали других пользователей на свою территорию.

При этом избыток пастбищ, небольшие размеры стад, вольный выпас в летний период позволяли не соблюдать строго данное правило в повседневной практике (там же. Л. 85). Частной собственностью (иногда в совместном пользовании нескольких родственных семей) считалась огороженная изгородью пастбищная площадь, охватывавшая в некоторых случаях более 1 тыс. га земель, на устройство которой затрачивались усилия одного или нескольких хозяйств (там же. Л. 88). Иная ситуация отмечалась в отношении рыболовных и охотничьих мест, число которых было ограничено. В первом случае все вотчинники сидели на своих речках и озерах

«по традиции», так как рыба добывалась исключительно для собственного потребления (там же. Л. 90–90 об.). На карте хорошо видно, что рыболовные угодья располагались рядом с летними и зимними стойбищами. Распространенным способом ловли рыбы было устройство запора, являвшееся трудоемким делом, поэтому место его постановки оставалось неизменным на протяжении длительного периода. Что касается охотничьих угодий, то они находились как рядом с местом проживания семей, так и на удаленном расстоянии от них. Высокая их ценность среди населения объясняется ведущей ролью пушного промысла в хозяйстве лесных ненцев. Будучи высокотоварной, она обеспечивала поступление в хозяйство необходимых продовольственных (хлеб, чай, сахар, масло) и промышленных товаров, приобретаемых на вырученные от продажи пушнины деньги (там же. Л. 337). Кроме того, она служила существенным подспорьем в расширении мясного рациона питания (там же), что было важно для малооленных хозяйств.

Отголосками вотчинного права в настоящее время является то, что некоторые потомки бывших вотчинников, проживающие в тундре и занятые в традиционном хозяйственном секторе, попрежнему проживают на тех же территориях, что и их предки.

С началом нефтегазового освоения в Пуровском районе произошли значительные изменения природно-географической, социальной и экономической среды традиционного природопользования лесных ненцев. В настоящее время на территории Пуровского района более 30 компаний разрабатывают нефтяные и газовые месторождения. Экологическая ситуация в Пур-Надымском регионе нефтегазодобычи оценивается как критическая (Современное положение... 2004. С. 44). Большинство городов и рабочих поселков, появившихся в Ямало-Ненецком автономном округе в последней трети XX в., находятся на территории традиционного расселения вынгапуровских ненцев, а железная дорога Тюмень – Сургут – Новый Уренгой разделила ее на западную и восточную части (см. вклейку: с. 88, ил. 2). Появлению новых населенных пунктов (городов, рабочих и вахтовых поселков), автомобильных и железной дорог, связывающих их между собой, способствовала разработка нефтегазовых месторождений. Все новые поселения носят транспортный, нефтегазодобывающий и газоперерабатывающий характер (Атлас... 2004. С.248). К крупным из них относятся г. Губкинский, с численностью населения по переписи 2002 г. 20407 чел., г. Муравленко (35 926 чел.), г. Ноябрьск (102 949 чел.), расположенные к западу от железнодорожной ветки (Итоги... 2005. С. 340, 352, 366). К востоку от нее основан р. п. Ханымей, одновременно являющийся железнодорожной станцией. С обустройством месторождений связано строительство различных коммуникаций (ЛЭП, трубопроводов и др.), промышленных и жилых объектов, обеспечивающих их обслуживание. Большой приток пришлого населения обусловил его высокую плотность, в отдельных местах равную более 100 чел. на 1 км^2 (Атлас... 2004. С. 241, 248). Во всех городах ненцы составляют менее 0,1% (Итоги... 2005. С. 341, 353, 367).

Широко развернувшееся в последние годы компенсационное строительство и выдача безвозмездных субсидий на приобретение жилья способствовали значительному увеличению количества ненецких семей, имеющих квартиры. Большой коттеджный поселок для вынгапуровских ненцев строится в р. п. Ханымей. Согласно результатам полевых исследований, в 2009 г. на рассматриваемой территории проживали 59 хозяйств, в них 343 чел. Все они имеют разную прописку: р. п. Ханымей, г. Тарко-Сале, д. Харампур, с. Халясавей в зависимости от места получения квартиры. При этом члены одной семьи могут быть прописаны в разных поселках в виде неполных семей или семейных групп. У пожилых людей, не имеющих стационарного жилья, до сих пор в качестве местожительства в паспорте указаны ф. Вынгапур или Вынгапуровская тундра.

Современная структура расселения вынгапуровских ненцев является результатом промышленного освоения их территории в течение последних трех десятилетий. Сравнивая ее с первой третью XX в., можно увидеть, что стойбища расположены на границе прежнего ареала расселения. Их число сократилось, но увеличилась людность до 3–7–8 чумов. Если раньше крупные стойбища возникали на период летнего выпаса оленей, с целью поддержания дымокура, и распадались осенью, то сейчас они продолжают существовать в течение года. В настоящее время семьи занимают земли, свободные от промышленных разработок по обе стороны от железной дороги, в том числе на огороженных территориях месторождений, представляющие участки, на которых удачно сочетаются зимние и летние оленьи пастбища, а также находятся рыболовные промыслы. Данные экспедиции 2009 г. показывают, что численность населения и поголовье оленей с западной и восточной стороны от железной дороги отличаются друг от друга.

В бассейне рек Пяку-Пур и Пурпе проживают 27 хозяйств, в них 182 чел., и выпасается около 1200 оленей, из которых 500 принадлежит совхозу. Среди населения, чьи стойбища расположены в на р. Пяко-Пур, значительную долю составляют семьи рыбаков, переселившихся сюда из Харампура в 1960–1980-е гг. благодаря родственным связям.

Здесь больше малооленных хозяйств, занимающихся исключительно рыболовством. Последнее обстоятельство обусловлено тем, что ненецкие семьи находятся в кольце автомобильных дорог, охотники из числа нового населения близлежащих городов охотятся на домашних оленей, считая их дикими. Наличием диких оленей, уводящих за собой домашних, объясняется малочисленность оленьих стад хозяйств, проживающих в бассейне р. Пурпе (50–100 голов). При этом это олени, принадлежащие не одной семье, а группе родственных семей, проживающих совместно на одном стойбище.

Оленеводов больше среди ненцев, которые проживают к востоку от железнодорожной линии вдоль рек Вынгаяха, Нюдя Хаслета, Нгарка Хаслета, Нябыяха, озера Хальмыто, на территориях Малой и Большой Вынгаяхинской тундр. Здесь насчитывается 25 хозяйств, в них 120 чел. Это семьи бывших оленеводов, оставшихся в Вынгапуровской тундре после перевода совхозных стад на север. С этим связано наличие здесь четырех больших стад в 200–250 голов. Здесь же расположены места традиционных рыболовных промыслов. В отличие от западной части, среди малооленного и безоленного населения восточной части широко используются в качестве жилищ балки, оставленные геологическими партиями. На данной территории занимаются рыболовством семьи, осевшие окончательно в поселке.

Современное население Вынгапуровской тундры ведет оседлый и полуоседлый образ жизни из-за сокращения территории для кочевания, с одной стороны, в результате промышленного освоения и изъятия земель под строительство объектов обустройства месторождений, с другой стороны, вследствие экстенсивного характера традиционной отрасли – оленеводства. Сезонные миграции вынгапуровские оленеводы совершают по кругу в рамках ограниченной территории. Поэтому наблюдается «выбивание» оленями территории вокруг стойбищ. Данное явление делает невозможным повторное ее использование в течение длительного времени. По словам информаторов, они могут вернуться на старое место только через 20–30 лет, когда восстановится ягель. Кроме того, длительное проживание на одном месте приводит к засорению территории бытовым мусором, который не вывозится и не сжигается из-за опасения пожара, что представляет серьезную санитарно-эпидемиологическую проблему для населения.

В зависимости от основной хозяйственной деятельности, наличия оленей и их количества семья может иметь постоянное летнее место для проживания в течение длительного времени, «пока оно не станет грязным», занимаясь рыболовством и владея небольшим стадом, а на зиму переходить жить в поселок, откуда уже ее глава ездит на рыбалку и охоту, а женщина с детьми живет в доме. Второй вариант, когда безоленная или малооленная семья постоянно проживает на стойбище, в том числе в балках, расположенных рядом с местом рыболовного промысла, которое носит постоянный характер, а квартира используется во время кратковременных наездов в поселок. При достаточной территории и небольшом стаде (до 150 голов) подобный вариант встречается среди оленеводов. В третьем случае семья постоянно находится в поселке, периодически выезжая на место рыболовного промысла, которое является постоянным и где установлены балки и запор. Во всех перечисленных вариантах олени часто передаются на выпас родственникам, семья «кочует» между поселком и стойбищем. Оленье стадо в 200 и более голов обуславливает сезонную смену стойбищ, предусматривая весенние, летние, осенние и зимние места стоянок, выбор которых подчиняется интересам оленеводства. Зимние стойбища располагаются на расстоянии 5–7 км от летних. Такой вариант встречается у оленеводов, кочующих в районе рек Табнемеяха, Нябы-яха, р. Нгарка Хаслета и р. Хадытаяха.

Современное оленеводство вынгапуровских ненцев носит частный характер. В настоящее время в Вынгапуровской тундре выпасается около 2,5 тыс. оленей (см. вклейку: с. 88, ил. 3). Владельцами оленей являются две трети семей. Среди них распространены малочисленные стада (до 50 голов, иногда 5–10), которые они передают на выпас совхозным бригадам, семьям, имеющим большее количество оленей, или объединяют для совместного выпаса. В последнем случае образуются крупные стада в 250–400 голов, принадлежащие от 2 до 8 родственным семьям. Появление безоленных хозяйств является современным явлением, такие семьи отсутствовали в первой трети XX в. В настоящее время в Пяко-Пуровском подрайоне только одна бригада (3 семьи) ОАО СПК «Верхнепуровский» выпасает оленей. Несмотря на значительное сокращение поголовья по сравнению с началом XX в., в среде вынгапуровских ненцев оленеводство и связанный с ним комплекс материальной и духовной культуры сохранились в большей степени по сравнению с другими группами лесных ненцев.

Характерные традиционные черты оленеводства вынгапуровских ненцев, такие как небольшие амплитуды сезонных перекочевок, окарауливание оленей в комариный период, устройство открытых и огороженных дымокуров, коралей, изгородей, использование деревянных ножных колодок сохраняются до сих пор. В настоящее время пастухи следят, чтобы олени не выходили на дороги и к месторождениям, где они становятся объектами

охоты пришлого населения, сбиваются машинами или травятся промышленными отходами. Близко расположенные промышленные объекты (буровые, ЛЭП и другие) оказывают отрицательное влияние на рост поголовья оленей, некоторые семьи потеряли своих оленей полностью. Хозяева небольших стад (50–120 голов) для их сохранения стали выпасать оленей в ножных колодках практически круглый год, строить оленьи сараи и изгороди, препятствующие выходу оленей на дорогу.

Олень уже редко используется в качестве транспортного средства. Его заменили «буран» и автомобиль. «Буран» используется для передвижения по тундре и во время перекочевок в течение года зимой и летом. Вынгапуровские ненцы стали ездить на «буране» летом уже с конца 1990-х гг. Это отразилось на количестве и видах нарт в хозяйстве, среди которых преобладают грузовые нарты, прикрепляемые к «буранам». Некоторые нарты сделаны в форме короба для перевозки людей. Уменьшилось число ездовых нарт, при этом совершенно перестали изготавливать женские ездовые нарты. По словам информаторов, на оленях ездят теперь только пожилые мужчины. Окарауливание оленей на нартах осуществляют пастухи совхозной бригады и оленеводы-частники Большой Вынгаяхинской тундры. Широкие возможности применения «бурана» связаны с получением бензина по экономическим соглашениям и в ОАО «Сельскохозяйственная община Пяко-Пуровская» за сданную продукцию промыслов. Олень удовлетворяет потребности ненецкой семьи в исполнении обрядов семейного цикла, а также в мясе, шкурах для зимней одежды, постелях, реже для пошива зимних нюков для чума. Для последнего используются современные материалы: брезент и дорнит.

В первой трети и даже в середине XX в. хозяйства, проживающие в Вынгапуровской тундре, имели очень низкий доход от рыбной добычи из-за отсутствия водоемов промыслового значения, отдаленности приемных пунктов от мест лова (ф. Вынгупар и с. Тарко-Сале), наличии рыбы черных пород (язь, щука, окунь, сорога) и ориентировались на пушной промысел и оленеводство (ГАСПИТО. Ф. 1481. Оп. 27. Д. 32. Л. 55–55 об.). Современная ситуация свидетельствует о смене хозяйственных приоритетов с изменением условий традиционного природопользования. На сегодняшний день рыболовство является основным источником средств существования малооленных и безоленных семей. В Вынгапуровской тундре расположено много рек и озер, пригодных для вылова рыбы в течение года. Наличие родственных связей и современный транспорт позволяют главам семей ездить на рыбалку на богатые рыбой водоемы, расположенные на значительном расстоянии от места постоянного проживания (р. Етыпур, Айваседопур, оз.Чебачье). До сих пор ими используются традиционные способы рыбной ловли: устройство запоров, установка морд, сетей, неводьба. Благодаря поддержке окружных и районных властей, нефтегазовых компаний современное рыболовство представляет очень доходное занятие. Поэтому некоторые из них распустили своих оленей и осели на берегу реки ради рыбалки. Для этого места летних и осенних стойбищ выбираются не только с учетом перспективы вылова большого количества рыбы, но и близости дороги для ее вывоза. В зависимости от количества мужчин, рыболовный промысел ведется, как правило, усилиями одной или двух родственных семей. Некоторые рыбаки стали строить большие запоры (длиной до 45 м), не характерные для ненцев в прошлом. Такой запор устроен на р. Вынгаяхе, перегораживающий ее в среднем течении, что рассматривается остальными ненцами как вредительство, так как хозяйства, промышляющие в нижнем течении, остаются без рыбы.

Традиционные материалы для плетения морд (тальник, корень лиственницы) сейчас практически не используются, их заменила алюминиевая проволока и сетка-рабица. Такие ловушки считаются прочнее и легче и могут использоваться длительное время по сравнению с деревянными. Их объем зависит от желания владельца и количества человек, участвующих в промысле, от 50 до 200 кг.

Из-за низких закупочных цен на продукцию охотничьего промысла, коренное население охотится только для собственного потребления. Охота носит индивидуальный характер и начинается осенью, после завершения подледного лова рыбы, продолжаясь до начала лета. Объектами охоты являются пушной зверь (белка, горностай, лисица, выдра, росомаха, медведь), птица (гуси, утки, лебеди, куропатки), дикий олень. Современная охота производится с помощью ружей, на куропаток ставят петли. Весной используются манки на уток. Существенное место в формировании бюджета хозяйства заняло собирательство. Собираются, прежде всего, ягоды, выдерживающие длительное хранение и перевозки, на которые установлены высокие приемные цены. Это брусника и клюква. Ягоды собираются как руками, так и с использованием специального приспособления – «бралки». При этом в промысле участвуют все члены семьи: мужчины, женщины, дети и старики.

На сегодняшний день большинство трудоспособного населения Вынгапуровской тундры (33,2 %) трудоустроено рыбаками в ОАО «Сельскохозяйственная община Пяко-Пуровская», организованное в 2004 г. С 2004 по 2008 г. численность работников СО «Пяко-Пуровская» выросла с 36 до 59 чел., а добыча рыбы – с 15 091,3 до 49 605,7 т. При этом максимальное количество рыбы было выловлено в 2007 г. – 60 242,3 т.

Территория, официально закрепленная за членами ОАО СО «Пяко-Пуровская», включает бассейн р. Чучуяха и озера, расположенный между реками Чучуяха и Пяко-Пур. На самом деле здесь проживают только 4 из 53 кочевых хозяйств. Стойбища располагаются на расстоянии от 25 до 130 км от основной производственной базы общины, разместившейся в р. п. Ханымей. Она включает производственное помещение с 5 холодильниками, из которых 3 используются для замораживания ягод. Одновременно в холодильниках может замораживаться до 5 тонн рыбы, которая затем вывозится на рыбозавод в г. Тарко-Сале. Часть продукции поступает в розничную торговлю. Основной лов рыбы производится в осенне-зимний период, только некоторые семьи сдают рыбу летом. Вывоз осуществляется летом и осенью машиной, из труднодоступных мест – вертолетом (только из района р. Пяко-Пур), зимой – «буранами». Для этого рыбак накануне по сотовой связи сообщает руководству общины об улове. Вторая производственная база организована в 43 км от р. п. Ханымей на р. Пяко-Пур, где установлены 2 холодильника. На основании ходатайства руководства ОАО СО «Пяко-Пуровская» в администрации МО Пуровский район, они получили разрешение организовать рыбную ловлю в районе ф. Вынгапур бригадой из двух семей, проживающих около нее. В настоящее время ф. Вынгапур не используется коренным населением, находится в стороне от основных транспортных магистралей района и сдается ОАО СПК «Верхнепуровский» в аренду «Сургутгазпрому», использующему ее в качестве базы отдыха, проезд к ней органичен.

Обеспечение работников всем необходимым рыболовным инвентарем, спецодеждой и техникой, бензином, маслом, ежегодные премии лучшим рыбакам в виде лодочных моторов, «буранов», удобное расположение производственной базы, в отличие от совхозного центра, расположенного в г. Тарко-Сале, делают привлекательным выбор общины в качестве места работы для ненцев. Число рабочих мест для коренного населения не ограничивается. Обеспечивая занятость коренного населения в традиционных отраслях, деятельность общины является полностью дотационной за счет средств окружного и районного бюджетов. В течение года каждый рыбак должен сдать определенное количество рыбы (в 2009 г. – 1,5 тонны), пушнины и ягод в соответствии с планом, полученным общиной от районного руководства. Одной из существенных проблем руководства общины является систематическое невыполнение плана рыбаками. До сих пор приходится слышать от вынгапуровских ненцев, оправдывающихся в невыполнении плана по сдаче рыбы: «Мы не рыбаки, а оленеводы. Это у харампуровских и халесовинских нет оленей, вот они и ловят много рыбы. А мы не можем так» (ПМА, 2008).

Семьи вынгапуровских ненцев, проживающие к востоку от железной дороги, имеют экономические соглашения с ОАО «Сибнефть-Ноябрьскнефтегаз» для возмещения ущерба, наносимого негативным влиянием промышленного освоения на природный и традиционный комплексы в районе их непосредственного проживания. Согласно заключенным соглашениям, индустриальная компания оказывает финансовую и материальную поддержку семьям, на территориях традиционного природопользования и исконного расселения которых ведется добыча нефти и газа. Действительность показывает, что экономические соглашения оказывают хорошую поддержку семьям и дают им возможность много времени посвящать оленеводству и регулярно следить за состоянием стада. Это является одной из причин сохранения ими оленьего поголовья.

Занятие в сельскохозяйственном секторе экономики и наличие оленей способствуют сохранению вынгапуровскими ненцами традиционных поселений (стойбищ) и переносных жилищ. Но некоторые семьи уже утратили навыки занятия оленеводством, предметы и приспособления, связанные с ним, конструктивные элементы традиционного жилища (особенно зимнего чума). Новым явлением стало сокращение маршрутов кочевок, длительное проживание на одном месте (20 и более лет), в том числе большими стойбищами (до 8 чумов), строительство срубных изб и различных стационарных конструкций, не характерных для ненцев в прошлом (туалетов, наземных сараев), использование для временного (на период промысла) или постоянного проживания балков и вагончиков, оставленных геологическими партиями и экспедициями, сочетание двух видов жилья: переносного в тундре (чум) и стационарного (дом или квартира в поселке). Первые срубные и каркасные дома, стены которых обтягивались черной пленкой, с земляным полом стали строить на р. Вынгаяхе в конце 1970-х гг. семьи малооленных пенсионеров, перешедшие на полуоседлый образ жизни. В связи с распространением дизельных электростанций в настоящее время чум освещается с помощью электрических, а не керосиновых ламп, семьи приобретают телевизоры, DVD-проигрыватели, магнитофоны, сотовые телефоны, ноутбуки. Неотъемлемым атрибутом традиционного жилища стала железная печь. О контрастности произошедших перемен свидетельствует замечание участника Тазовско-Пуровской экспедиции о «сильной культурной отсталости пян-хасово» по сравнению с тундровыми ненцами: «...Допотопны орудия производства: в охотпромысле часто можно встретить лук, деревянные ловушки господствуют над более усовершенствованными

железными капканами, в рыболовстве вместо неводов и сетей большую роль играют запоры типа котцов и морды. В редком из чумов можно встретить железную печь и лампу, обычным же источником света служит костер...» (ГАЯНАО. Ф. 12. Оп. 1. Д. 188. Л. 321).

Для плавания по рекам современные вынгапуровские ненцы используют лодки различных типов («Обь» и т. д.) с лодочными моторами («Ветерок», «Вихрь»). Традиционные лодки, изготавливаемые раньше из кедровой коры, сейчас делают из жестяных листов. Их используют для чистки и проверки небольших по размерам рыболовных запоров. Если раньше реки служили главными транспортными магистралями, то сейчас эта роль перешла к дорогам. Наличие разветвленной сети автомобильных дорог, связывающих населенные пункты между собой, ликвидировало прежнюю изолированность ненецких хозяйств в летний период от центров сельской округи и района. Семьи совершают регулярные поездки в поселок с различными целями: от закупки продовольствия до посещения родственников. С транспортной доступностью отпала необходимость делать большие запасы продовольствия. Для перемещения между поселком и стойбищем, между стойбищами используется собственный транспорт, вахтовые автобусы, выполняющие рейсы для перевозки людей на работу на промышленных объектах, а также такси. Поездки в районный центр г. Тарко-Сале осуществляются на поезде или такси.

На основании выполненного исследования можно говорить о существенных изменениях в расселении и традиционном хозяйстве вынгапуровской группы лесных ненцев, которые несмотря ни на что продолжают вести традиционный образ жизни в XXI в., приспосабливаясь к новым условиям. Однако наиболее традиционной отраслью хозяйства остается оленеводство, лишившись транспортной функции, оно выполняет свое сакральное и потребительское значение. Несмотря на сокращение поголовья оленей сохраняются традиционные приемы выпаса оленьих стад. Наиболее модернизированным на данный момент является рыболовство, приобретшее товарный статус взамен утратившего его охотничьего промысла. Таким образом, отрасль хозяйства, получившая товарный характер, наиболее быстро теряет свои традиционный черты.

Список литературы

ГУТО ГАТО. Ф. 1112. Оп. 1. Д. 1616, 2987, 7493, 8943, 10281.

ГАСПИТО. Ф. 1481. Оп. 27. Д. 32.

ГАЯНАО. Ф. 12. Оп. 1. Д. 128, 188.

Атлас Ямало-Ненецкого автономного округа. Омск: ФГУП «Омская картографическая фабрика», 2004. 306 с.

Итоги Всероссийской переписи населения – 2002. Статистический сборник: в XI частях. Тюмень: Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, 2005. Ч. III. Национальный состав населения в Тюменской области. 427 с.

Клоков К. Б. Традиционное природопользование народов Севера: концепция сохранения и развития в современных условиях // Этногеографические и этноэкологические исследования. Вып. 5. СПб., 1997. 95 с.

Логинов В. Г., Попков Ю. В., Тюгашев Е. А. Коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока: политико-правовой статус и социально-экономическое положение. Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН, 2009. 138 с.

Оленеводство Тобольского Севера в цифрах. По материалам Приполярной переписи 1926–1927 гг. Тобольск: Издание Комитета Севера, Общества изучения местного края, Интегралсоюза и Конторы Госторга, 1930. 16 с.

Современное положение и перспективы развития малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока: Независимый экспертный доклад. Новосибирск: Изд-во Института археологии и этнографии СО РАН, 2004. 184 с.

Список населенных пунктов Уральской области. Свердловск: Издание орготдела Уралоблисполкома, Уралстатуправления и окружных исполкомов, 1928. Т. XII. Тобольский округ. 234 с.

Турутина П. Г. По тропам моих предков и моего детства: Сказки, легенды, шаманские обряды и изречения лесных ненцев. Екатеринбург: Баско, 2000. 96 с.

Список сокращений

ГАЯНАО – Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного округа

ГАСПИТО – Государственный архив социально-политической истории Тюменской области

ГУТО ГАТО – Государственное учреждение Тюменской области Государственный архив Тюменской области

ПМА – Полевые материалы автора

РАЗДЕЛ 5. ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ В ЯЗЫКАХ, ЛИТЕРАТУРАХ И ФОЛЬКЛОРЕ НАРОДОВ РОССИИ

А. И. Алиева

АКАДЕМИК А. М. ШЁГРЕН – ОСНОВОПОЛОЖНИК РОССИЙСКОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО КАВКАЗОВЕДЕНИЯ

Проблема воссоздания истории российского академического кавказоведения на всех этапах его почти двухвекового развития остается актуальной. К числу наименее изученных относится первый его этап – первая половина XIX столетия, когда началось планомерное исследование языков и культур народов Северного Кавказа и Закавказья. Но если труды академика Императорской Академии наук М. И. Броссе (1802–1880), посвященные истории, языкам, литературам Грузии и Армении, опубликованные еще при жизни ученого, хорошо известны (и не только кавказоведам), то из кавказоведческого наследия другого академика той же Академии – А. М. Шёгрена (1794–1855) – была известна только «видимая» часть этого «айсберга» – лишь его изданные работы, посвященные осетинскому языку. Основной же массив кавказоведческих материалов А. М. Шёгрена остался не только не опубликованным, но и не обработанным учеными; осложняло дело и то обстоятельство, что Шёгрен писал в основном по-шведски и по-немецки, что также было известным препятствием для изучения его кавказоведческих материалов в России.

Наконец, серьезно затрудняло работу с наследием ученого и то обстоятельство, что оно оказалось разделенным на пять частей: три из них хранятся в России, в Петербурге (в филиале Санкт-Петербургского филиала Архива РАН, в Институте восточных рукописей РАН, в Центральном Государственном историческом архиве), и две – в Финляндии, в Хельсинки (в Отделе рукописей Национальной библиотеки Финляндии и в Литературном архиве Финского литературного общества).

До сих пор российские кавказоведы исследовали преимущественно фонды А. М. Шёгрена в СПб. Фонде АРАН и в ЦГИА; к материалам ученого, что находятся в Институте восточных рукописей, никто из современных исследователей не обращался. В архивах г. Хельсинки никто из них не был.

Автору данной статьи – руководителю проекта «Очерки истории российского академического кавказоведения XIX – начала XX вв. Вклад российских ученых», выполняемого в рамках Программы фундаментальных исследований Президиума РАН «Историко-культурное наследие и духовные ценности России» (Направление 6. Историко-культурное наследие в языках, литературах и фольклоре народов России») – первой из российских кавказоведов удалось изучить *всю совокупность* не только опубликованных, но и всех рукописных материалов по Кавказу, хранящихся в пяти архивах А. М. Шёгрена в Петербурге и Хельсинки. Это позволило подготовить издание, в котором максимально полно представлены не только известные работы ученого, посвященные народам Кавказа, но и важнейшие его рукописные материалы, прежде не известные исследователям, как, например, письма первых образованных горцев – П. Иоселиани, Гр. Мжедлова, Ш. Б. Ногмова и др. – к академику Шёгрену или недоступные для них прежде всего потому, что написаны на шведском («Кавказский дневник» ученого) или опубликованы на финском языке («Мой путь в науке») (Алиева, 2010).

На основании всей совокупности названных выше материалов удалось не только впервые максимально полно воссоздать ход экспедиции А. М. Шёгрена на Кавказ и в Крым, но и охарактеризовать его огромную, выражаясь по-современному, «научно-организационную и координационную» работу с первыми образованными горцами, пробудить у них интерес к изучению истории своего народа, языка, традиционной культуры, умело и деликатно руководить их научными занятиями.

* * *

Жизненный путь и финно-угроведческое научное наследие А. М. Шёгрена основательно изучены европейскими, финскими и российскими учеными (Алиева, 2010. С. 12–29). В данной статье внимание сосредоточено на его кавказоведческих штудиях – экспедиции на Кавказ и в Крым, на его осетиноведческих трудах и на работе с первыми представителями кавказской интеллигенции.

В процессе работы над проектом были уточнены цели экспедиции А. М. Шёгрена на Кавказ и в Крым. Нередко утверждалось, что она была предпринята прежде всего в связи с необходимостью ученому пройти курс лечения на Кавказских Минеральных Водах, чтобы сохранить зрение, поврежденное еще в детстве. Однако сам ученый четко (и неоднократно) объяснил, что его экспедиция на Кавказ была, прежде всего, органической составляющей его большой научной программы, включавшей обследование обширнейших территорий, на которых проживали в России финно-угорские народы, оно должно было окончиться Кавказом как самым южным рубежом, где еще можно было найти следы финно-угорских народов, проживавших здесь в древности (Отчет... 1835 // ЖМНП. 1836. Ч. X. № 4. С. 85).

Следов финно-угров на Кавказе А. М. Шёгрен не нашел, зато положил начало научному изучению истории, языков, традиционной культуры народов Северного Кавказа.

А. М. Шёгрен тщательно подготовился к работе на Кавказе. В 1866 г. в Хельсинки был издан каталог книг, составивших библиотеку ученого (Catalogue des livres, 1866), а в его личном архиве в СПб. Фонде АРАН сохранилось значительное число конспектов изученных им книг о народах Кавказа, так что можно сказать, что он внимательно изучил *все* опубликованные к тому времени труды о грузинах, армянах, осетинах, татарах, ногайцах, адыгах, народах Дагестана и отправился в путь с четкой программой исследований, которые ему предстояло выполнить в течение двух лет.

Кавказская экспедиция А. М. Шёгрена началась 9/21 сентября 1835 г., когда он выехал из Петербурга, и закончилась 7/19 января 1838 г., когда он, «совершенно больной и с отмороженными членами», вернулся в Петербург. За два года и три месяца ученый преодолел не только огромные расстояния из Петербурга до Тифлиса, из Тифлиса до Владикавказа, из Владикавказа в Крым и оттуда опять на Кавказ, а затем в Петербург, но и встречался с почти сотней людей разного социального статуса и служебного положения – от первоиерарха Грузии, епископа Карталинского и Кахетинского экзарха Грузии Евгения и барона, генерал-майора Г. В. Розена (1781–1841), в 1831–1837 гг. – командующего Отдельным Кавказским корпусом и главноуправляющего гражданской частью и пограничными делами, почетного члена Императорской Академии наук с 1836 г., до школьных учителей, помогавших ему в ученых занятиях, и земледельцев, самоотверженно сопровождавших его в труднейших переходах через Большой Кавказ. Очень важно подчеркнуть, что все, кто встречался с А. М. Шёгреном на Кавказе, сохранили о нем добрую память. Они не только посылали ему свои первые ученые сочинения, но и обращались к нему за помощью. Но самое главное, во время его экспедиции все они помогали ученому в его повседневной работе по изучению языков разных народов Кавказа, что было первой его задачей. А. М. Шёгрен начал с освоения армянского и грузинского, но их сложный алфавит был труден для его больных глаз, и ему пришлось оставить изучение этих языков.

В программу поиска следов финно-угров на Кавказе вполне вписывалось изучение языка удин, и А. М. Шёгрен собрал интересные материалы по этому языку. Но в центре его внимания на всем протяжении кавказской экспедиции был язык осетин, который ему помогали осваивать переводчик Петр (Тасо) Жукаев и протоиерей грузин Шио Двалишвили, прекрасный знаток этого языка.

А. М. Шёгрен неоднократно с благодарностью вспоминал, какую помощь оказал ему П. Жукаев в изучении осетинского языка, а после выхода в свет «Осетинской грамматики...» послал ему два экземпляра своего труда.

Кроме грузинского, армянского, удинского, осетинского в Крыму и на Кавказе А. М. Шёгрен занялся еще изучением тюркских языков – ногайского и языка крымских татар. Он собрал словарный материал по татарскому и ногайскому языкам, о чем свидетельствует целый ряд сохранившихся в его фонде в СПб. Ф. АРАН рукописей (Ф. 94. Оп. 1. Ед. хр. 117, 147, 194).

До сих пор речь шла о занятиях Шёгрена языками, для изучения которых он и направлялся на Кавказ. В его планы не входило изучение черкесского языка. Но по счастливому стечению обстоятельств ему удалось как следует познакомиться с черкесским языком и его грамматическим строем благодаря знакомству и сотрудничеству с одним из первых образованных кабардинцев – Шорой Бек-Мурзиным (Ногмовым), с которым он познакомился в Тифлисе в октябре 1835 г., а затем встречался в его родном ауле под Пятигорском, уже для систематических занятий кабардинским языком.

А. М. Шёгрен подробно описал свои занятия этим языком с Шорой Бек-Мурзиным (Ногмовым) в письме к академику Х. Д. Френу (Extrait, 1836. С. 111), отправленном из Владикавказа 19 апреля 1837 г. В нем он не только воссоздал историю их знакомства и рассказал о его работе над кабардинской грамматикой, но и дал первую удивительно точную характеристику фонетики этого своеобразного языка: «...В черкесском языке должно быть большое множество и разнообразие звуков, вследствие чего произношение в этом языке должно быть весьма сложным. Таким образом, в этом отношении из всех известных мне языков лишь один приближается к черкесскому, однако рядом с этим языком даже грузинский кажется <детской> забавой. Простые звуки

здесь сочетаются таким образом, что можно насчитать тридцать шесть или тридцать семь различных весьма устойчивых модификаций; тем не менее звуки эти, как правило, представляются естественными, и главная трудность заключается в сочетании или в быстром следовании нескольких звуков, весьма отличающихся друг от друга. Впрочем, к этому легко привыкаешь, как только научишься различать должным образом простые исходные звуки. Эти простые звуки в черкесском языке имеют характер исключительно четкий...» (там же. С. 112).

Итак, случайная встреча с Шорой Бек-Мурзиным (Ногмовым) и с его «Грамматикой» позволила А. М. Шёгрену сначала познакомиться с этим удивительным языком, приступить к его изучению, а затем и помогать пытливому кабардинцу, мечтавшему о приобщении к грамоте своего народа, в совершенствовании его труда.

Во время пребывания в Ставрополе А. М. Шёгрен познакомился и с другим исследователем черкесского языка – Леонтием Люлье.

Основательным анализом трудов и Ногмова, и Люлье Шёгрену предстояло заняться после завершения его кавказской экспедиции и возвращения в Петербург, об этом будет подробно рассказано дальше. В процессе изучения языков народов Кавказа А. М. Шёгрен тщательно фиксировал любые сведения, которые ему удавалось получить либо от своих информантов, либо от представителей местной власти, либо из ставших ему здесь доступными различных источников, не только о тех народах, чьи языки он изучал, но и об их ближайших соседях – балкарцах, абазинах, ингушах и чеченцах.

Во время экспедиции по Кавказу и Крыму А. М. Шёгрен постоянно занимался поисками рукописных и опубликованных материалов об этих регионах и населяющих народах, и его усилия в этом направлении встречали не только понимание, но и поддержку самых разных лиц, с которыми ученому довелось здесь встретиться, прежде всего, высшего русского военного руководства на Кавказе, базировавшегося в Тифлисе, которое принимало значительное участие в исследовании и местности, и населения этого удивительного края.

Разнообразные материалы о народах Кавказа представил в распоряжение А. М. Шёгрена проживавший под Симферополем знаменитый естествоиспытатель, ботаник, энтомолог, садовод, доктор медицины, главный инспектор шелководства, инспектор сельского хозяйства Южной России, директор знаменитого Никитского сада в Крыму, член-корреспондент Императорской Академии наук А. Х. Стевен (1781–1863), собравший их на протяжении многих лет службы на Кавказе.

Особый интерес для Шёгрена представляли рукописи и книги, посвященные Осетии. В Тифлисе он получил их у экзарха Грузии Евгения, который помогал ученому и во время его кавказской экспедиции, и по завершении ее, и не случайно почти через 10 лет после первой встречи с экзархом Евгением А. М. Шёгрен в предисловии к «Осетинской грамматике...» среди своих помощников в изучении осетинского языка *дважды* первым назовет именно его: «Его Высокопреосвященство Преосвященнейший Евгений, Архиепископ Карталинский и Кахетинский, экзарх Грузии, незабвенный для меня своим ко мне благорасположением, поучительным во всех отношениях обхождением, и щедро одаривший меня всеми прежде существовавшими книжными пособиями при моих приготовлениях к делу в Тифлисе» (Осетинская грамматика. С. IX).

Кроме рукописей и книг на осетинском Шёгрен на протяжении всего кавказского путешествия пытался разыскать рукописи на тюркских языках – татарском и ногайском, изучением которых он занимался до самой кончины.

Настоящим открытием для кавказоведов будет упоминание в его кавказском дневнике о том, что он познакомился с двумя рукописями о черкесах. Следует особо выделить одну из них – «Записки о Черкесии» флигель-адъютанта, командира Кавказско-горского полуэскадрона Хан-Гирея (1808–1842), написанную им по предложению графа А. Х. Бенкендорфа в 1829–1836 гг. в связи с планировавшейся поездкой на Кавказ императора Николая I. В отличие от других сочинений Хан-Гирея, увидевших свет и при его жизни, и в основном после его смерти, «Записки о Черкесии», много раз кочевавшие из одного архивохранилища в другое, только в 1958 г. были обнаружены научным сотрудником Центрального Государственного Военно-исторического Архива В. А. Дьяковым и вызвали огромный интерес к судьбе и творчеству их автора, прежде всего, к этому «выдающемуся для своего времени произведению». Возможно, доведись А. М. Шёгрену познакомиться с ним во время его кавказской экспедиции, его занятия адыгами приняли бы другие масштабы.

Но самые большие надежды найти рукописи и изданные книги А. М. Шёгрен связывал с Грузией. По его просьбе для него составляли «Грузинский лексикон», переписали текст поэмы «Витязь в барсовой коже» и ряд других материалов; после настойчивых поисков он получил рукописную грузинскую «Грамматику» Антония, этот щедрый дар ему преподнес учитель Тифлисской духовной семинарии Платон Иоселиани, у отца которого была библиотека с множеством грузинских рукописей.

П. Иоселиани подарил Академии целый ряд бесценных рукописей, посвященных Грузии, часть их и сегодня хранится в Институте восточных рукописей РАН.

Во время экспедиции по Кавказу и Крыму А. М. Шёгрен изучал историю народов, населяющих эти земли, не только по книгам и рукописным сочинениям, но и по историческим и религиозным памятникам. Так, во время поездки в Крым в июле 1836 г. он осмотрел и описал «Золотой курган» и «Митридатову гору», на пути к Чуфут-кале посетил старинный монастырь, в Осетии внимательно осмотрел христианские храмы, в Грузии преодолел препятствия, чтобы попасть в знаменитый монастырь в Гелати.

На всем пути следования по Кавказу и Крыму ученый внимательно изучал жизнь и быт населяющих эти края народов, в его кавказском дневнике и в письмах с Кавказа находим краткие и вместе с тем исчерпывающие описания не только жилищ, одежды, пищи разных народов, но и их обычаев, прежде всего гостеприимства, готовности всегда прийти на помощь и др., и обрядов, в частности, свадебного у армян и похоронного у осетин-мусульман.

А. М. Шёгрену удалось собрать во время экспедиции не только этнографические, но и фольклорные материалы – главным образом фамильные и топонимические предания, а также немногочисленные рассказы о религиозных представлениях горцев.

Как видим, А. М. Шёгрен много успел сделать во время своей экспедиции на Кавказ и в Крым – изучать языки, собирать материалы по языкам, истории, этнографии, фольклору.

* * *

7 января 1838 г. кавказская экспедиция была завершена, А. М. Шёгрен вернулся в Петербург и приступил к научным исследованиям, прежде всего, к обработке собранных материалов и завершению работы над «Осетинской грамматикой».

Ученый блестяще справился с этой задачей, в 1844 г. увидела свет «Осетинская грамматика с кратким словарем осетинско-российским и российско-осетинским. Сочинение Андрея Шёгрена», опубликованная на русском языке в двух томах и на немецком, в одном (Осетинская грамматика; Учор Æвзагахур). Этот фундаментальный труд был высоко оценен и на Кавказе и получил европейское признание (Присуждение Вольнеевской премии // ЖМНП. 1846. Ч. I. Отд. VII. С. 12).

В 1847 г. Шёгрен закончил и опубликовал первую часть задуманного им масштабного исследования осетинского языка в сравнении с другими индоевропейскими языками (Sjögren, 1848. С. 57–653). Во всех исследованиях научного наследия А. М. Шёгрена характеристика его вклада в российское кавказоведение, как правило, ограничивается анализом этих его трудов. Однако учет лишь опубликованных работ ученого не позволяет представить истинные масштабы того, что сделал А. М. Шёгрен для изучения народов Кавказа, фактически возглавив в Академии наук это направление гуманитарных исследований. Познакомившись во время экспедиции в Крым и на Кавказ с первыми образованными горцами и пробудив (в других случаях поддержав) их интерес к научным занятиям, А. М. Шёгрен в процессе многолетней переписки с ними систематически помогал им строгими, но, как правило, конструктивными советами.

Среди авторов с Кавказа, увлеченно занимавшихся изучением родного языка, истории и этнографии своего народа, были: осетин Григорий Мжедлов – смотритель Владикавказского духовного училища, затем учитель осетинского языка в Тифлисской духовной семинарии, позже – губернский секретарь; переводчик на осетинский ряда священных книг; кабардинец Шора-Бекмурзин Ногма (Ногмов) – поручик Кавказско-горского полуэскадрона, затем – секретарь Временного суда в Нальчике, автор первой «Атыхейской грамматики» и первой «Истории» адыгов; француз Леонтий Люлье, чиновник для особых поручений при командующем войсками на Кавказской линии, много лет проживший среди западных адыгов и составивший «Словарь русско-черкесский или адигский, с краткою грамматикою сего последнего».

Самым не только длительным (с 1839 по 1852 г.), но и самым результативным было сотрудничество А. М. Шёгрена с Григорием Мжедловым. В этот период А. М. Шёгрен не только руководил работой Гр. Мжедлова по переводу священных книг на осетинский язык, по работам Мжедлова он совершенствовал свое знание осетинского языка, а Гр. Мжедлов по замечаниям наставника перерабатывал свои переводы и даже пытался создать грамматику родного языка.

В СПб. Ф АРАН сохранились рукописи отзывов А. М. Шёгрена на труды Мжедлова, позволяющие проследить, как добивался академик совершенствования работ своего кавказского коллеги (Ф. 94. Оп. 1. Ед. хр. 70, 78, 83, 100, 124, 162), а находящиеся в архиве А. М. Шёгрена в Отделе рукописей Национальной библиотеки Финляндии письма Гр. Мжедлова к его наставнику, написанные в период с 19 августа 1839 г. по 21 июня 1852 г. (Coll. 209. 19), свидетельствуют о том, как внимательно он относился к замечаниям и предложениям академика. Исследование этих материалов позволяет сделать вывод о том, что, работая в течение более десяти лет под руководством А. М. Шёгрена, Гр. Мжедлов научился не просто править свои переводы по замечаниям наставника, но и отстаивать свои решения и находки для передачи содержания церковных книг средствами осетинского языка. Убедительное тому

свидетельство – его письмо к А. М. Шёгрену от 16 сентября 1846 г., где после благодарственных слов идут подробные объяснения, какие исправления были внесены в текст перевода, а в каких случаях автор настаивает на своем решении.

Многолетнее тесное сотрудничество А. М. Шёгрена с Гр. Мжедловым завершилось успешно, в 1848 г. в Тифлисе было опубликовано «Святое евангелие на осетинском языке, переведенное Гр. Мжедловым».

Одновременно с систематическим рецензированием переводов Гр. Мжедлова А. М. Шёгрен руководил работой и одного из первых образованных кабардинцев – Шоры Бек-Мурзина (Ногмова) – над его «Атыхейской грамматикой». Письма Ногмова, хранящиеся в Отделе рукописей Национальной библиотеки Финляндии (Coll. 209. 19), позволяют *впервые* воссоздать их сотрудничество в 1838–1841 гг.

А. М. Шёгрен переписывался с Ш. Б. Ногмовым во время своей кавказской экспедиции. Сразу после отъезда академика в Петербург их переписка продолжилась. Из письма Ногмова Шёгрену от 6 июня 1838 г. мы узнаем, что он отправил свою «Грамматику...» командующему Отдельным Кавказским корпусом барону Г. В. Розену и ему не известна ее дальнейшая судьба, что Шёгрен говорил об этом сочинении Ногмова с Президентом Академии наук и Министром народного просвещения графом С. С. Уваровым, и Ногмов надеется на его помощь и, главное, что Шёгрен дал ему ряд советов по доработке «Грамматики», и он пытается их реализовать.

Доработав рукопись своего труда, Ногмов отправил ее А. М. Шёгрену 19 июля 1840 г. Академик внимательно изучил новый вариант «Грамматики» Ш. Б. Ногмова и написал подробную и достаточно критическую рецензию на труд своего кабардинского коллеги.

В 1841 г. переписка Ш. Б. Ногмова с А. М. Шёгреном прекратилась, никаких ее следов в архивах академика не обнаружено. Имя Ногмова возникает в рукописных материалах академика только после 10 июня 1844 г., когда ученый кабардинец скончался в Петербурге, куда был прикомандирован в Кавказско-горский полуэскадрон для доработки своих ученых сочинений и их возможной публикации, а оставшиеся после его смерти бумаги были направлены на рецензию академику.

В его «Донесении», ныне хранящемся в Центральном Государственном историческом архиве в Петербурге (Ф. 735. Оп. 2. Ед. хр. 482), дана высокая оценка личности первого образованного кабардинца и его стремления к просвещению своего народа и подробно охарактеризованы его рукописные материалы: «Грамматика», «Предания черкесского народа», содержание 16 черновых тетрадей.

Завершая «Донесение», А. М. Шёгрен предложил издать «Предания черкесского народа» и в «Приложении» к ним – ряд материалов из рабочих тетрадей Ногмова, а рукопись его «Грамматики» пожертвовать Академии наук «как самому приличному месту для их хранения» (там же).

А. М. Шёгрен не просто рекомендовал издать «Предания черкесского народа», но и подготовил такое издание. Его рукопись хранится в СПб. Ф АРАН (Ф. 94. Оп. 1. Ед. хр. 19. Caucasia 2. С. 264–319/об.). К сожалению, она осталась неопубликованной.

12 сентября 1845 г., т. е. вскоре после рецензирования посмертных бумаг Ш. Б. Ногмова, Отделение историко-филологических наук Императорской Академии наук направило А. М. Шёгрену на отзыв рукопись под названием «Словарь русско-черкесской или адигской, с краткою грамматикою сего последнего языка», автором которой был коллежский асессор Леонтий Люлье, с которым, как уже говорилось, А. М. Шёгрен познакомился в Ставрополе в 1836 г.

Француз по национальности, Л. Я. Люлье (1805–1862) почти всю жизнь провел в России, служил на Кавказе (Косвен. С. 219), где жил преимущественно среди кяхов – «нижних адыгов», ныне называемых адыгейцами, занимался изучением их языка, этнографии, религиозных представлений, которым посвятил ряд работ, получивших высокую оценку современников.

Люлье завершил свою работу над «Словарем...» только через 10 лет после встречи с академиком в Ставрополе и представил его рукопись в Императорскую Академию наук. Рецензирование ее было поручено А. М. Шёгрену, который внимательно изучил ее и в своем «Донесении», прочитанном в Академии уже 16 января 1846 г., охарактеризовал не только достоинства, но и недостатки этого труда, и высказал ряд пожеланий по его доработке. Вместе с «Донесением» Шёгрена Л. Я. Люлье в январе 1846 г. был отправлен и экземпляр его «Осетинской грамматики» для руководства в работе.

Каково же было удивление не только А. М. Шёгрена, но и всего Отделения историко-филологических наук Академии, когда в том же 1846 г. «Словарь русско-черкесский или адигский...» вышел в свет, да еще на его титуле было обозначено: «одобренный Императорскою С. Петербургскою Академиею наук»!

7 ноября 1846 г. Л. Я. Люлье отправил А. М. Шёгрену письмо, в котором попытался объяснить, что «Словарь» был издан без учета его замечаний по требованию начальства Черноморской береговой линии незамедлительно.

Но Академия не приняла этого объяснения Люлье. 15 и 16 октября 1847 г. в газете «Санкт-

Петербургские ведомости» «Донесение» А. М. Шёгрена (Донесение. С. 21) было напечатано со вступительной заметкой непременного секретаря Академии академика П. Н. Фуса (там же).

Заключение о рукописи Люлье – убедительное свидетельство того, что ученый не только основательно изучил (несомненно, прежде всего с помощью Ш. Б. Ногмова и по его материалам) кабардинский язык, но и имеет достаточно четкое представление и о других адыгских языках и народах, их взаимосвязях. Это единственная опубликованная работа А. М. Шёгрена об адыгских языках.

Как видим, исследование всей совокупности опубликованных архивных кавказоведческих материалов академика А. М. Шёгрена позволило впервые охарактеризовать реальный вклад этого выдающегося ученого в возникновение российского академического кавказоведения. А. М. Шёгрен предстает не только как глубокий знаток языков народов Северного Кавказа и тонкий их исследователь.

Письма А. М. Шёгрену с Кавказа, впервые введенные в научный оборот, позволили охарактеризовать до сих пор никому не ведомого Шёгрена – терпеливого, тщательного, деликатного воспитателя, как бы теперь сказали, «национальных кадров» – первых кавказских исследователей родных языков, у которых он сам не уставал и не переставал учиться, – и заботливого хранителя их первых ученых сочинений, о которых без А. М. Шёгрена мы, может быть, и не узнали бы. Это во второй половине XIX столетия изучения языков, фольклора, этнографии народов Кавказа в союзе с представителями русской академической науки, в союзе с первыми образованными горцами примет серьезные масштабы, а после революции 1917 г. станет делом государственной важности. Начало же этой традиции на Кавказе положил А. М. Шёгрен, и со временем она получала все большее развитие.

Все сделанное А. М. Шёгреном для изучения языков, этнографии, фольклора народов Кавказа позволяет назвать его основоположником российского академического кавказоведения.

Список литературы

Алиева А. И. Академик А. М. Шёгрен – основоположник российского академического кавказоведения // Основоположник российского академического кавказоведения А. М. Шёгрен. М.: ИМЛИ РАН, 2010.

Донесение о рукописном сочинении под заглавием «Словарь русско-черкесский или адигский с краткою грамматикою. Сост. коллежским асессором Люлье. 360 стр. in folio. Читано г. академиком Шёгреном в заседании 16 января 1846 г.» // Санкт-Петербургские ведомости. 15 октября 1847 г. № 235; то же. Окончание // Там же. 16 октября 1847 г. № 236. С. 1–2.

История атыхейского народа... История атыхейского народа, составленная по преданиям кабардинцев Шора Бек-Мурзиным (Ногмовым). Тифлис, 1861.

Косвен М. О. Материалы по истории этнографии Кавказа в русской науке // Кавказский этнографический сборник. [Т.] II.

Люлье Л. Я. Записки Кавказского Отдела Императорского Русского Географического общества. 1861. Кн. VI. С. 1–15.

Осетинская грамматика с кратким Словарем осетинско-российским и российско-осетинским. Сочинение Андрея Шёгрена. СПб., 1844.

Отчет Императорской Санкт-Петербургской Академии наук за 1835 год, читанный в публичном заседании оной 29 декабря 1835 // ЖМНП. 1836. Ч. X. № 4. С. 85.

П(латон) И(оселиани). [Рец. на]: «Осетинская грамматика» акад. Шёгрена // Газ. «Закавказский вестник». 1845. № 1.

Присуждение Вольнеевской премии академику Шёгрену // ЖМНП. 1846. Ч. I. Отд. VII.

Catalogue des livres // Catalogue des livres faisant partie de la biblioteque de feu M. A. J. Sjögren, de l'Académie Imperiale des Sciences de St.-Pétersbourg. Helsinki, 1866.

Die Sagen... // Die Sagen und Lieder des tscherkessenvolks gesammelt und übersetzt von A. Bergè. Leipzig, 1866.

Extrait, 1836 // Extrait d'une lettre adressée à M. Fraehn par M. Sjögren de Piatigorsk le 27 avril (1836) // Bulletin scientifique publié par l'Académie impériale des sciences de Saint-Pétersbourg. St.-Ptb. et Leipzig, 1836. T. I. № 4, 15. Pag. 111–112.

Ирон Æвзагахур, das ist Ossetische Sprachlehre, nebst kurzem Ossetisch-Deutschen und Deutsch-Ossetischen Wörterbuche, von Dr. Andr. Joh. Sjögren, Akademiker und Mitgliede mehrerer gelehrten Gesellschaften. St.-Petersburg, 1844.

Sjogren A. J. Ossetische Studien mit besonderer rücksicht auf die indo-europäischen Sprachen. Erste Lieferung. Die Selbstlauter // Mémoires de l'Académie Impériale des Sciences de St.-Ptb. 1848. VI Serie. T. VII. S.-Ptb., S. 571–653.

Г. Г. Гамзатов

КУЛЬТУРНОЕ И ПРИРОДНОЕ НАСЛЕДИЕ НАРОДОВ ДАГЕСТАНА: СОХРАНЕНИЕ, ИЗУЧЕНИЕ, ПРИУМНОЖЕНИЕ

Духовная жизнь общества – сфера чрезвычайно емкая и многосторонняя. И пожалуй, наиболее существенный аспект проблемы здесь сводится к выяснению отношения современного общества к осмыслению и переосмыслению исторических судеб родного края, прошлого и настоящего его народов, к историческому и культурному наследию, доставшемуся ему от предыдущих эпох, к перспективам дальнейшего движения.

Существует множество факторов, в том числе и глобального, основополагающего характера, которые выдвигают обширный круг вопросов, требующих неравнодушной реакции, аналитических ответов и конструктивных решений. Определяющее место в ряду этих факторов отводится изменившейся общественно-политической ситуации в масштабе всех регионов Евразии, прежде всего России и Кавказа. Свои счета обществу предъявляют новые политические реалии нашего времени, ставящие Страну гор и ее народы в сложное положение и диктующие самостоятельные и неординарные подходы. В сущности, вопрос поставлен так: кто мы и откуда, где находимся и куда идем? Речь идет о научной разработке и принятии общенациональной концептуальной платформы развития Дагестана, отсутствие которой было и остается одной из причин продолжающегося раскола общественно-политической мысли, распыления и раздвоения здоровых творческих и созидательных сил, призванных и долженствующих находить и формировать пути вывода республики, нашего многонационального и многострадального общества из затяжного кризиса в политической, экономической, экологической, социальной, духовно-нравственной областях и сферах.

Конечно же, все более реальные черты и приоритетные свойства приобретает при этом национальная идея, идея национальной сути и национального духа нашего сознания и нашего поведения, генеральной концепции жизнеустройства народов Дагестана в условиях предложенного историей и судьбою геополитического окружения. Хочется видеть такой политический, социальный и духовный выбор народов Дагестана, который не допускает ни игнорирования, ни недооценки, ни ущемления их исторически сложившегося национального, гражданского, нравственного самосознания и достоинства. Наш выбор, наша платформа, наша концепция не приемлют ни экстремистских, ни националистских, ни ретроградных тенденций развития. Нас устраивает взвешенный, конструктивный курс здравого смысла, разумного выбора и предпочтения.

Возросший общественный интерес к национальной идее в системе традиционных ценностей горцев со всей очевидностью отразился в содержании, характере, пафосе целого ряда научных форумов, состоявшихся в Дагестане, и концепционных позиций, обоснованных, сформулированных и представленных национальной интеллектуальной энергией. Вряд ли можно считать случайностью то, что по смысловой и духовной нагрузке сердцевину научного и общественного интереса составляет **проблема нашего природного и культурного наследия,** проблема его изучения и осмысления, сохранения и приумножения ценностей, составляющих бессрочное и вечное национальное достояние людей и народов.

Природа и культура не есть некое соседство и сосуществование понятий и реалий двух сфер человеческого бытия. Они бытуют и функционируют изначально в органическом и целостном единстве, где определяющая роль принадлежит не абсолютизированной природе самой по себе, и не универсальной культуре самой по себе, а человеку как высшему созданию природы и творцу культуры. Именно человек стоит в эпицентре этого единства, именно в нем – средоточие целостности этих двуединых начал. Самой судьбой отведена человеку роль субъекта цивилизации, а природе – роль объекта его воздействий, его творческой и созидательной инициативы. Отсюда и взаимная обусловленность экономической и политической деятельности общества, материальной и духовной сфер жизни человека. В этой слитности природы и культуры заложена гарантия экологической безопасности и благополучия человека.

Обратившись к проблеме научной заботы о природном и культурном наследии, приходится сознавать, что наука в неоплатном долгу перед нашим народом. Хотя, как известно, долги науки в данной сфере куда скромнее тех, что значатся за структурами власти, как законодательных, так и исполнительных ее эшелонов. Похоже, что забота об экологии природы и культуры на государственном уровне обречена быть сенсационно декларированной, но, как это случалось не раз, затасканной и заболтанной фразой в устах незадачливых «интел-

лектуалов», чиновников от науки, новоявленных функционеров.

Между тем общество глубоко озабочено состоянием наших памятников культуры и природы, эффективностью научных разработок по проблемам сохранения и защиты культурного и природного наследия, несогласованностью в деятельности государственных, научных и общественных структур формирований и в экологической сфере жизни человека. Ситуация такова, что необходима глубоко продуманная и широко поставленная работа по формированию в гражданском сознании и поведении общества и человека уважительного и бережного отношения к культурному и природному достоянию народа, по привлечению всех без исключения интеллектуальных сил современности к созданию целостной концепции сохранения и изучения, пропаганды и использования этого наследия, по координации, консолидации и концентрации материальных, гуманитарных и нравственных ресурсов общества, ориентированных на защиту и приумножение национальных ценностей природы и культуры.

В этой связи назревшей представляется идея создания в республике регионального совета по изучению и охране культурного и природного наследия. Будучи межведомственным и междисциплинарным по своему составу, типу и функциональному назначению, такой совет мог бы состоять при Дагестанском научном центре Российской академии наук, где сосредоточен крупный и реальный научный потенциал и накоплен значительный исследовательский опыт.

Вместе с тем общество вправе ожидать от правительства республики более цивилизованного отношения к вопросам охраны материальных и духовных богатств, более реального, весомого и стабильного вклада в это общегосударственное, поистине всенародное дело национального достоинства, престижа, приоритета. Впору всем нам осознать и помнить, что как ни скудна земля наша природными ресурсами, как ни уступаем мы в экономическом преуспевании, природа и культура Дагестана располагают памятниками, отвечающими самым высоким ценностным критериям и по праву стоящими в самом авторитетном ряду ценностей мирового уровня и значения.

В самом деле, в этом плане Дагестан в целом может быть рассмотрен как неповторимый природно-культурный комплекс, как уникальный этнокультурный и одновременно природный феномен. Он уникален тем, что в нем представлены самые различные ветви собственно кавказских, иранских и тюрко-монгольских языковых систем. Множество напластований различных эпох и народов хранит его земля, расположенная на перекрестке цивилизаций Запада и Востока и на протяжении веков служившая ареной внушительных этнических передвижений. Известная ориентация народов Северо-Восточного Кавказа на цивилизации Ближнего и Среднего Востока, восходящие к персидской, тюркской и арабской средневековым культурным общностям, исторически объяснима и оправдана тем, что вылилась в тысячелетнюю традицию взаимодействия народов и цивилизаций, традицию, которая обрела устойчивый и плодотворный характер и затронула всю совокупность сфер жизнедеятельности человека – экономику и политику, культуру и идеологию, право и веру, в сущности, весь образ мышления и поведения людей. Многовековой опыт взаимоотношений с мусульманским миром возымел для истории и культуры дагестанского общества судьбоносный характер и непреходящее значение.

Всего один пример. Более 10 тысяч единиц памятников письменной культуры Востока, преимущественно на арабском, персидском, тюркском и дагестанских языках, насчитывает ныне рукописный фонд Дагестанского научного центра. Необычайно богатое наследие хранится в республике в мечетях и в многочисленных частных коллекциях. Культ рукописной книги в Дагестане – явление поразительное: его традиция берет начало в X–XI вв. и составляет целую полосу в истории книжной культуры горцев вплоть до наших дней. Девять столетий превышает возраст дагестанской рукописной книги, и мало какая из современных так называемых преуспевающих наций может похвастаться столь богатым духовным прошлым. Особую актуальную область культурного наследия составляют богословские традиции, которые оставили глубочайший след в духовном становлении и формировании дагестанского общества. Исламизация действительно подключила Кавказ на долгие века к «мусульманскому кругу мирового культурного сообщества» (В. В. Бартольд), который был и остается великой исторической, географической, демографической, духовной общностью.

Нас не покидает сознание того, что эпоха последних трех столетий в дагестанской истории представлена неповторимым богатством и многообразием гуманистического художественного наследия, огромным множеством прославленных мастеров национального искусства слова, признанных мыслителей и ученых, принадлежащих к рационалистическим и просветительским течениям, к романтическим и реалистическим творческим направлениям, к демократическим и освободительным этапам художественного сознания и мышления. Я не говорю о величественной эпопее народно-освободительной борьбы горцев, о ее прославленных предводителях-имамах и полководцах, составивших гордость и

честь Дагестана и всего Кавказа и вписавших славные страницы во всемирную летопись истории человечества.

Разве осмысление и переосмысление такого опыта и такого наследия не предстает как важнейшая научная, интеллектуальная, нравственная задача нашей отечественной науки, благороднейшая миссия нашей национальной культурологии? И можно ли иначе говорить о возвращении потомству исторической и духовной памяти во всем ее величии и богатстве?

У народов Дагестана действительно есть что вспомнить, что воссоздать, что хранить. В реестре ценностей международного класса достойное место отведено таким общепризнанным памятникам нашей истории, культуры и природы, как неповторимый набор трех десятков письменных и бесписьменных языков, неповторимые сокровища устно-поэтического творчества наших народов, богатейшие собрания и хранилища рукописного наследия и книжной культуры предков и традиционные художественные создания знаменитых народных умельцев Страны гор. Кого могут оставить равнодушными величественные «рукотворные создания природы» Дагестана – вавилонского масштаба сооружения террасного земледелия и несравненный сулакский каскад гидроэнергетики, в которых, как и в бесчисленном множестве геологических и археологических памятников, явственней всего обнаружено органическое слияние человека и природы. А наш Дербент и Калакорейш, Ахульго и Гуниб, Казикумухская Джума и Ахтынские серные бани, знаменитый Гоорский комплекс древней башенной архитектуры – разве они, эти великолепные произведения народного наследия, уступают в чем-либо приоритетам мирового уровня?

Нужна, необходима действительная международная экспертиза столь почитаемых материальных и духовных ценностей. Нужна их научная инвентаризация и паспортизация. Нужно, чтобы ценности национального достояния дагестанцев вошли в перечень выдающихся памятников, находящихся под попечительством ЮНЕСКО и в поле действия Венской конвенции. Необходимо поднять весь интеллектуальный потенциал общества на решение актуальных проблем экологии природы и памятников культуры, которые находятся, по существу, в аварийном состоянии. Отсюда и настоятельная нужда в «Красной книге» культуры и природы Дагестана. Вопросы экологии культуры и природы должны быть подняты на уровень самой высокой духовности, почитания, поклонения и, если хотите, верования.

Речь идет об утверждении высокой культуры природоведения и одновременно об исконной природе культуры человека. Иными словами, культура дана человеку от природы, она – в самой природе человека. В этой связи с большой досадой и сожалением, а порой и с недоумением приходится замечать, как мы все-таки небрежны к тому, что нашими мудрыми предками дагестанцами на протяжении веков выработаны замечательные традиции высокого, трепетного отношения к природе, традиции высокой культуры обращения и общения с природой. Ведь из этих и подобных им традиций собственно и складывается золотой фонд нашего культурного и природного наследия.

Именно вышеназванные предпосылки определили содержание и структуру нашего коллективного проекта «Историко-культурное наследие народов Дагестана. Истоки, логика, периодизация духовного и художественного развития», выполненного по Программе фундаментальных исследований Президиума РАН «Историко-культурное наследие и духовные ценности России».

Цели и задачи труда группируются в рамках главной концепции проекта, заключающейся в выявлении и осмыслении важнейших аспектов исторического, социального и духовного развития Дагестана как одного из уникальных гео- и этнополитических регионов России, научной характеристики нынешнего содержания природного и культурного наследия и состояния его изучения, охраны, использования и оздоровления, а также разработки государственных и общественных воззрений на проблему бережного отношения к природным, духовным и художественным ценностям народа.

Коллективный труд отражает проблемно-тематический подбор и отбор принципиальных, фундаментальных, приоритетных и актуальных взглядов разных, но крупных, интересных, признанных исследователей, представляющих научные центры высокого класса. Он носит характер монографического осмысления логики становления и формирования Дагестана как природного, социально-духовного и художественного образования, в основе которого лежит определенная идейная, интеллектуальная, творческая установка и концепция проблематики и тематики. Теоретико-методологическое обоснование концепции коллективной монографии, представляющей региональную и национальную картину мира горца и общества в целом, объективный образ его мышления и поведения в прошлом и настоящем содержится во вступительной статье руководителя проекта.

При этом принципиальной и концептуальной стороной коллективного труда является объективный исследовательский интерес не только к позитивному опыту истории культуры, но и к негативным проявлениям процесса становления и формирования общества. Долгие десятилетия в об-

щественном сознании господствовали негативистские и архаизаторские стереотипы по отношению к историко-культурному прошлому, духовному и художественному наследию народов Дагестана. Отрицались или не замечались какие-либо позитивные начала национальных традиций опыта, игнорировались непреходящие ценности традиционного народного творчества, не признавалась дагестанская литературная классика. Лишь к последней трети истекшего столетия относятся серьезные попытки пересмотра и переосмысления духовной и художественной памяти народов Дагестана. Каждый раздел, каждый параграф нашего труда призваны продемонстрировать реальный и неискаженный ход исторического и духовного становления данной личности и данного сообщества.

Принципиально важно иметь в виду, что историко-культурное наследие и духовные ценности нельзя в полной мере представить без характеристики природного наследия региона, которое служит базовой составляющей духовного потенциала общества и созидательной энергии творческой личности.

К видным памятникам природного наследия относятся, к примеру, выдающиеся на дагестанской карте местности, горы, долины, реки, озера, вершины, водопады, ледники. Как правило, они имеют свои наименования: Седло-гора, Акаро, Базардюзю, Шишилик, Арах-меэр, «Андийское море», Хари-Габур, Гуниб-гора, Ахульго и др. Многие из них одновременно являются историческими памятниками – Гуниб, Ахульго, Андалал, Дарго, Араканское ущелье, Матлас, Герейавлах, Волчье ущелье, Харинский перевал, Ая-Кака, Хунзахская крепость и т. д. Сведения об огромном множестве памятников природы и истории, заказниках, запасниках, охранных зонах, мемориалах, фондах, собранные во всей полноте, лежат в основе природной и «рукотворной» характеристики Дагестана.

Чрезвычайно интересны и привлекательны объекты приложения народной инициативы и созидательной энергии масс, памятники старинной архитектуры, уникальные горные серпантины, башни, мосты, террасы, лесные массивы, водные ресурсы, родники, мельницы, источники, ископаемые, народные постройки, в том числе и современные – водоканалы, гидроэнергетика и т. д. Возможно, полный охват памятников всех типов сопровождается событийной характеристикой историко-культурной жизни края, места, времени.

Исключительный интерес представляют народно-художественные промыслы Дагестана: Кубачи, Гоцатль, Угцукуль, Микрах, Балхар, Казанище, Кумух, Цовкра, Анди, Ансалта, Куркли и другие центры народного творчества, хоровые хореографические традиции, ставшие школами. Характеризуется деятельность широкого представительства носителей традиционной культуры: сочинителей, сказителей, исполнителей, ашугов, известных народных композиторов, танцоров, певцов. Рассматриваются получившие широкое распространение и ставшие достоянием всех народов мелодии, исполнительские приемы, народный музыкальный инструментарий, а также народные обычаи и праздники сезонного характера, народная традиция приготовления пищи и т. д.

Далее следует обращение к памятникам духовной культуры Дагестана: составление перечня духовных центров Дагестана, центров религий и верований, науки и образования, имен выдающихся элитарных личностей, связывая все это с народными характеристиками – «куцый шариат», «писарское движение» и т. д., характеристика крупнейших мечетей региона, мечетских библиотек, медресе, а также аулов, связанных с важнейшими историко-культурными событиями, в том числе и музеефицированных, особенно имеющих хранилища книг прошлого на местных (на аджаме), персидском и арабском языках.

Особую статью истории и культуры Дагестана, естественно, составляют сложившаяся здесь многовековая интеллектуальная культура, система образования и мышления, выраженная в многообразной культуре письма, рукописной и печатной книге.

Уникален этноязыковой мир народов Дагестана. Мир этот характеризуется более тридцати этническими и языковыми единицами. И естественно, этот мир привлекал к себе пристальное внимание. Еще императрица Екатерина Вторая, ясно сознававшая полиэтническую природу и многонациональный характер государства российского, проявляла интерес к проблеме учета и изучения языков и народов, населяющих великую державу. Она явилась инициатором организации специальных экспедиций и депутаций с целью освоения лингвистической карты Дагестана и Кавказа в целом.

Можно сказать, что вообще научно-изыскательские традиции гуманитарного плана у нас берут начало именно с изучения языковой жизни. Достаточно назвать А. Дирра и П. Услара. И это естественно, что наиболее крупным и мощным подразделением научно-исследовательского плана в интеллектуальном Дагестане во все времена было языкознание, лингвистика. Так оно остается и по сию пору. Ибо именно языки являются определяющим началом духовной культуры человечества, человеческой цивилизации. Без языка немыслима сама жизнь. Все-таки вначале было Слово. Слово и составляет начало начал культурного наследия.

Отсюда, собственно, у нас уходящие в древность традиции письма, отсюда же и тысячелетие дагестанской словесной культуры, нашего словесного

наследия. Языки Дагестана и есть высшее средоточие и самое яркое, предметное выражение духовного и культурного наследия народа, убедительная мотивация и важнейший фактор научного освоения и всемерной охраны языков, являющейся одной из наиболее существенных и непременных условий Европейской хартии, под которой стоит подпись и нашей страны.

Возрождением интереса к национальной истории и культуре обусловлено и обращение исследователей к наиболее интересным образцам фольклорных памятников, в центре которых находятся такие фольклорные и исторические образы, как Шарвили, Парту-Патиму, Хочбар, Надир-шах, Айгази, Камалил Башир, Каменный мальчик и др.

Весьма примечательно, что многие из песен народов Дагестана бытовали у самых различных этнических групп, на разной языковой основе, в вариантах, обусловленных национальным опытом того или иного этноса. В подобном эстетическом отношении к конкретной исторической действительности нашли яркое отражение объединительные тенденции фольклора.

Совокупное богатство современной художественной культуры Дагестана – яркое, убедительное свидетельство и подтверждение того, как, отражая богатство духовной жизни народа и его идеалы, традиции устно-поэтического творчества вылились в мощный, самостоятельный и устойчивый поток, вобравший многокрасочное эстетическое мышление и многослойные идеологические представления, возникшие в далекой древности и послужившие начиная с XVII в. основой становления письменной литературы. Именно фольклору суждено было выступить в роли воспитателя народного духа и народного миропонимания, выразителя сознания и быта трудовых горцев, первоосновы их эстетической школы. Эти сущностные признаки и качества обеспечили признание за устным народным творчеством главной магистральной линии в художественном развитии дагестанцев вплоть до второй половины XIX в.

Однако в исследовательской практике не всегда и не в полной мере учитывается, что устное народное творчество – прежде всего, памятник художественной культуры, оно зиждется на духовном опыте народа. Отчасти этим можно, вероятно, объяснить, почему в дагестанской фольклористике до последнего времени почти отсутствовали исследования, которые бы прослеживали внутренние закономерности поэтики жанра, динамики сюжета, изобразительных функций слова. Между тем лишь высококвалифицированное, целенаправленное, методологически дифференцированное – с проникновением «вглубь» – изучение художественной структуры памятников (разумеется, не игнорирующее контекст исторической и социальной действительности) может дать истинную картину функционирования и бытования устного народного творчества во всем его многообразии и разновидностях и обнаружить питательную среду, вскормившую и взрастившую «гениальное дитя» фольклора –литературу как высшую форму художественного сознания народа.

Достоверные данные и источники, которыми располагает история культуры народов Дагестана, позволяет фиксировать наличие здесь уже к концу XVII – началу XVIII в. письменной литературы как реальности эстетического мышления, хотя зарождение традиций словесного искусства может быть обнаружено и на более ранних ступенях эволюции и уточнены по мере выявления новых сведений. Но именно этот рубеж отмечен тем, что под давлением назревших потребностей национального развития, под влиянием художественных традиций Ближнего Востока, в культурно-историческую орбиту которого Дагестан входил на протяжении почти всего Средневековья – с VIII по XVIII в., и благодаря усилиям передовых деятелей национальной духовной культуры были осуществлены плодотворные шаги в деле создания литературы, отражающей действительность пока еще с помощью иноязычного творческого арсенала.

Географическое положение Дагестана на стыке Европы и Азии явилось фактором, предопределившим его тесные и продолжительные связи с цивилизациями Востока и Запада. Непреходящее значение для историко-культурного становления дагестанского общества имело приобщение данного региона к арабо-мусульманскому миру и идеологии ислама, что берет начало еще в VII в. Утверждение ислама в Дагестане сопровождалось и обусловливалось широким распространением здесь мусульманской литературы на арабском языке. По мере исламизации Дагестана и зарождения у его народов родной письменности складывались здесь и традиции дагестаноязычной духовной литературы, которая дала бурную вспышку развития в XVIII и особенно в XIX столетиях. Многожанровая мусульманская письменная культура сыграла огромную роль в становлении здесь национальных литературных языков и самой национальной художественной литературы.

Это была поистине большая письменная культура, которая, составляя неотъемлемую часть национальной словесности Дагестана, одновременно по праву входила в духовную историю и культуру исламского мира. Традиция эта впоследствии перешла на национальную почву, «переросла» в тему народно-освободительной борьбы горцев Дагестана и Северного Кавказа, с которой связан такой примечательнейший этап в истории многоязычной

дагестанской литературы, как эпоха «поэзии газавата».

По мере накопления опыта национальной словесности все явственней стал обозначаться процесс выделения искусства слова из синкретического соединения философской, теологической, духовной мысли в самостоятельную область общественного сознания и переключения литературы на рельсы местной языковой стихии и родной письменности. Шел сложный процесс становления литературных языков наиболее крупных из народов Дагестана, постепенного обогащения опыта национального художественного развития, выработки нормативных традиций поэтики, очертаний видов и жанров словесной культуры. Уже XIX столетие становится для литератур аварцев, даргинцев, лезгин, кумыков, лакцев веком стремительного развития, превращения их в стройную художественную систему. К этому же периоду относится зарождение национальной художественной прозы.

XIX и начало XX в. представлены неповторимым богатством и многообразием гуманистического художественного наследия, значительным числом прославленных поэтов и признанных мыслителей, принадлежащих к рационалистическим и просветительским течениям, романтическому и реалистическому направлениям, к демократическому и освободительному этапам художественного сознания. Уже во второй половине XIX в. народы Дагестана, обогащенные историческим опытом Кавказской войны и умудренные уроками национально-освободительной борьбы, укрепились в новой региональной общности, столкнулись с процессом капитализации общественной жизни, приобщились к русской демократической мысли, прониклись идеями русского освободительного движения.

На трехсотлетнем пути нелегкой борьбы за самостоятельное развитие литература народов Дагестана пережила, таким образом, и период зарождения в необычной иноязычной оболочке, и этап двуязычного функционирования, и ступень сосуществования устной и письменной форм бытования, и стадию возрождения на родной языковой основе, на собственной национальной почве. Нынешняя литература народов Дагестана – это развитая система с богатым идейно-тематическим, жанрово-стилистическим и изобразительным арсеналом, присущим современному уровню художественного сознания. Несмотря на разительную этноязыковую пестроту, общность исторических судеб в прошлом и настоящем обусловила все возрастающую прочность духовного единства народов региона, складывание и утверждение общего типа эстетического мышления и литературного бытия.

Советский период, отмеченный концепцией радикального атеизма, наложил запрет на литературу и культуру духовного содержания. В результате богатейший пласт национального литературного наследия оказался за пределами общественного интереса и внимания. Практически такая литература была отнесена в разряд нежелательной и зловредной, запрещена и объявлена «вне закона». То же самое можно сказать в целом и об изучении судеб ислама в Дагестане как системы религиозных воззрений и нравственных ценностей, которая в силу того же господства атеистической ориентации до недавнего времени оказалась обойденной вниманием общества, более того, изъятой из системы ценностей культуры.

В общественном сознании зрела тенденция к правдивому освещению исторического прошлого. Накапливался нравственный и мировоззренческий потенциал историко-культурного мышления, хотя все еще продолжали сказываться невысокий уровень профессиональных знаний и источниковедческого опыта, слабая методологическая база их осмысления и освоения. Тем не менее последние десятилетия филологического дагестановедения оказались достаточно плодотворными в плане преодоления отставания в изучении национального художественного наследия. Появился ряд основательных исследований, свидетельствующих о заметных теоретико-методологических завоеваниях дагестанского литературоведения и фольклористики.

Таким образом, осознавая необходимость более глубокого фронтального изучения природного, духовного и художественного наследия своих народов, опираясь на накопленный теоретико-методологический опыт, в статьях, подготовленных участниками проекта и нашими специалистами, выявлены, осмыслены и охарактеризованы многообразие и специфика данной сферы гуманитарного прошлого народов Дагестана.

Прослеживая логику формирования и развития многонациональной системы этнокультуры в регионе, авторы стремились выправить искаженную картину культурного прошлого региона, основываясь на формировании уважительного отношения к наследию народов, к деяниям и свершениям предков.

Придерживаясь логики стадиального и системного подхода в изучении и осмыслении феномена национальной культуры в столь самобытном регионе, авторы попытались выявить и осветить национальные и инонациональные истоки художественного развития в Дагестане, проследить контуры и пути поэтапного становления, трансформации и развития идейно-эстетического сознания и творческого потенциала в регионе, обозначить научно выверенную периодизацию многовекового литературного процесса, осмыслить генезис, типологию и своеобразие творческих принципов, обусловленных многими факторами отечественного развития,

в том числе восходящими к таким существенным и ключевым, как могучие традиции мусульманского мироустройства. В то же время авторы статей исходят из осознания того, что дагестанская культурная общность прошлого и настоящего может быть объяснена и освещена лишь в окружении и в тесном взаимодействии с цивилизациями Востока и Запада, с арабской, персидской, тюркской, а также с европейской, главным образом с русской, и, конечно же, кавказской культурами.

На современном Юге России мы видим и реально ощущаем дух единства России, единства межэтнического и межнационального, духовного и идеологического, мировоззренческого и нравственного. Мы надеемся и верим, что сегодня перед нами широкое и благородное поле, где должны крепнуть наша дружба и братство. И исследование национального культурного наследия – благородное, благодатное и благодарное дело на этом поприще.

А. Дж. Магомедов

ТРАДИЦИОННОЕ ИСКУССТВО ДАГЕСТАНА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Глобализационные процессы в историческом прошлом

Глобализационные процессы, которые интенсивно идут сегодня и касаются традиционного искусства, имели и свои исторические формы. В Дагестане одной из первых эпох, приведшей к глобализации ее культуры, можно считать распространение ислама. Наиболее сильные влияния ислама и арабо-мусульманской, персо-мусульманской культуры испытало традиционное искусство. С одной стороны, с распространением ислама здесь стали развиваться новые архитектурные традиции, художественные ремесла (резьба по камню, по дереву, по штуку и др.), орнаментальное творчество, каллиграфия. Вместе с тем ислам, его идеология повлияли и сегодня влияют на развитие многих направлений искусства. Поэтому в начале кратко остановимся на исторических аспектах темы. Этот материал позволяет лучше понять и современные явления, и имеет прямое отношение к историко-культурному наследию и духовным ценностям России.

В научной литературе многие вопросы такой темы даже не ставились. Только фольклорист А. М. Аджиев, касаясь влияний ислама на устный фольклор Дагестана, обратил внимание на то, что с этой же целью «интересно было бы обратиться и к другим областям дагестанского искусства: музыке, хореографии и др.» [Аджиев, 1991. С. 16]. Исследователи, изучая историю дагестанского ислама, анализируя труды дагестанских ученых-алимов прошлого, забывают о том, что история культуры Дагестана – это и история формирования ее светского направления, история конфликтов и взаимопереплетений светских (в том числе традиционного искусства) и исламских традиций. Исследователи однозначно и только в положительном контексте трактуют и события периода движения Шамиля (первая половина XIX в.), связанные с запрещением танцев, песен, народных праздников, совместного досуга женщин и мужчин, досуга-застолья с вином, элементарно открытых форм женской одежды. При этом такая политика в тот период подкреплялась и жесткими санкциями. Наказания за нарушение запретов «были установлены весьма внушительные, вплоть до применения смертной казни» [Дадаев, 2006. С. 212]. Эти реформы Шамиля привели к архаизации, шариатизации той культуры, которая была до этого у дагестанцев. Поскольку Имамат Шамиля продержался всего два десятилетия, и значительная часть его населения не приняла этих запретов, традиционное искусство возродилось с окончанием Кавказской войны. В этой связи можно вспомнить и факты преследования мыслителя Дагестана начала XIX в. Саида Араканского за то, что тот был сторонником светского досуга и отказывался поддержать идеи мюридизма. Ограничения и запреты учеными объясняются условиями войны. Однако, на наш взгляд, войной могли быть продиктованы меры экономической политики Шамиля, но не политики в области традиционной художественной культуры.

Отметим и то, что ряд материалов о событиях середины XIX в. исследователями приводится без их должной оценки. Так, в первом томе новейшего издания «История Дагестана» без ссылки на источник отмечается, что танцы «были разрешены только на свадьбах и в празднование обрезания. *Непременным условием было то, чтобы мужчины и женщины танцевали в разных помещениях* (выделено нами. – *А. М.*)...» [История Дагестана... 2004. С. 600]. Но спрашивается, какие же могли быть раздельные танцы на традиционной дагестанской свадьбе?

Развитие ислама в Дагестане за тысячелетний период шло путем расширения его влияния на массы и трансформации более ранней культуры. Многочисленные этнографические исследования свидетельствует о противоречивом характере развития культуры Дагестана в условиях господства ислама. К сожалению, культура Дагестана, связанная с традиционной художественной культурой (народное искусство) конкретно еще не изучена под углом роли и влияний на нее ислама. Но очевидным является общий тезис, высказанный исследователем А. А. Ярлыкаповым о том, что в течение длительного исторического времени «в Дагестане, как и в других регионах, ислам вобрал многое из местных религиозных традиций, которые являются составной частью так называемого народного ислама и составляют основу региональной специфики» [Ярлыкапов, 2002. С. 68–70]. Более того, многие религиозные праздники (тот же ураза-байрам) во многих селах Дагестана, по этнографическим описаниям, приобрел в прошлом характер народных праздников, т. к. наиболее яркими их элементами стали не исламкие, а домусульманские по происхождению обрядовые и игровые действия.

Остановимся на исторических материалах, отражающих запреты ислама на развитие ряда направлений изобразительного искусства [БРЭ, 2008. Т. 11. С. 750–754]. Речь о кубачинских рельефах с изображениями людей, животных, птиц, выполненных, по новейшим атрибуциям исследователя Э. В. Доде, в последней трети XIII – начале XIV в., т. е. до принятия ислама кубачинцами [Доде, 2010. С. 4]. Убедительной представляется и версия об их создании в поликонфессиональном обществе, где уживались мастера с разными религиозными представлениями.

На основной части сохранившихся памятников (число рельефов достигает 500–550 единиц) сбиты головы людей, животных, зверей. Еще исследователь Э. В. Кильчевская высказала предположение, что это было сделано по указке исламского духовенства. Она писала о том, что «в XIX в. с усилением ислама на всей территории (имеется в виду Дагестан. – *М. А.*) приверженцы газавата уничтожали все памятники с изображением живых существ; в каменных рельефах обкалывались лишь головы» [Кильчевская, 1962. С. 22]. В следующей своей книге Э. В. Кильчевская повторила свою версию, но в «дополненном» варианте [*Кильчевская,* 1968. С. 76]. Однако свои наблюдения искусствовед не подтвердила конкретными данными; нет сведений и о «кубачинцах», на которых она ссылается, и потому высказывания ученого вызывают большие сомнения. Историческими материалами по Дагестану не подтверждаются и другие заявления ученого о «шейхах и мюридах» эпохи Кавказской войны, разрушавших такие памятники. В то же время известный мастер Р. А. Алиханов (1922–2000) обратил внимание на «невиданный в столь позднее время в других мусульманских землях» факт, когда «многие рельефы с фигурами живых существ, хотя и умерщвленных символически, происходят со стен мечетей Кубачи» [Алиханов, 1976. С. 33].

В народной памяти кубачинцев (нами опрашивались пожилые люди в возрасте 80 лет и свыше) осталось только то, что порча изображений была связана с распространением ислама в этом селе. Однако и эти сведения, на наш взгляд, могут быть результатом влияния «книжной истории» Кубачи. «Обкалывание голов» в памятниках резьбы по камню произошло, на наш взгляд, сразу после окончательного утверждения ислама в этом селе (начало XIV в.). Можно предполагать, что это была разовая акция, инициированная исламским духовенством; иначе трудно объяснить то, что сохранилось и немало памятников резьбы по камню и бронзовые котлы того же времени с неиспорченными изображениями. Их берегли, ставили в фасадную кладку стен домов на видном месте (ими украшались даже фасады мечетей), а бронзовые котлы бережно хранили в домашних коллекциях. Многие из них в XX в. попали в музеи; их можно увидеть в кладке домов и сегодня. Народному исламу был чужд фанатизм.

О времени порчи кубачинских памятников с изображениями есть и другая версия, которая принадлежит доктору искусствоведения М. М. Маммаеву. В одной из публикаций он дает большую подборку материалов на эту тему и делает вывод: «Во всяком случае, представляется несомненным то обстоятельство, что основная масса памятников... с. Кубачи с изображениями живых существ испорчена позднее XV в.» [Маммаев, 1987. С. 108].

В то же время автор на конкретном материале показывает, что в соседнем с Кубачи с. Кала-Корейш аналогичные изображения на деревянных дверях мечети и «сундукообразном» надгробии-саркофаге (они не срезаны и не сбиты), датируемые (нижний предел) XII–XIII вв., переданы в канонах мусульманской ортодоксии (с помощью поперечной черты у изображений «перерезаны» шеи, т. е. животные даны в «умерщвленном» виде) [Маммаев, 1987. С. 118]. Об этой особенности калакорейшского каменного саркофага и резных дверей писал и исследователь П. М. Дебиров [Дебиров, 1982. С. 43–44]. М. М. Мамаев в статье цитирует и предписания крупнейшего мусульманского богослова ал-Газали (1058–1111), и других авторитетов ислама о принципах использования изображений в искусстве, о путях сохранения старых памятников («изорудовать лицо на изображении, чтобы оно стало недействительным»), о допущениях при изображении живых существ (изображать их с «отсе-

ченными» головами или без какой-нибудь части тела) [Маммаев, 1987. С. 108, 120].

Кроме сбитых голов кубачинских рельефов из истории искусства Дагестана неизвестны другие факты такого рода. В Дагестане выявлено большое количество памятников петрографики (графический способ создания контурного рисунка на камне) с изображениями людей, животных [Дебиров, 1968. Рис. 4, 5, 9, 15–33]. Пока неясны причины более «лояльного» отношения мусульманского духовенства к этим работам, многие из которых, по датировке искусствоведа П. М. Дебирова, были выполнены во времена позднего Средневековья и даже в XIX в. Одно из наших объяснений – они не скульптурны и не «дают тени». Кроме того, эти памятники распространены не так кучно, как в Кубачи (т. е. в свое время они не бросались в глаза).

Другой исторической страницей, где также ярко проявилось влияние догм ислама и шариата на традиционной художественной культуре, были события периода Кавказской войны. Необходимо вспомнить, что ислам был противником не только скульптурных изображений, но и музыкально-песенной, танцевальной культуры светского типа (не связанной с чтением молитв или религиозных стихов), проведения традиционных народных праздников, совместного времяпровождения мужчин и женщин. Первые имамы, а затем Шамиль начали энергично насаждать шариат в дагестанском обществе, в том числе в области художественных и других светских традиций населения.

Отношение дагестанских имамов к традиционной художественной культуре определялось их убеждениями, связанными с шариатом. Здесь наиболее актуальными темами были танцы, музыка, пение, праздники, где мужчины и женщины проводят досуг вместе. Еще имам Газимухаммед «начал запрещать людям употреблять опьяняющие напитки, курить табак, играть на бубне и танцевать с женщинами». А в Чечне Шамиль запретил и «языческие стихи, песнопения, (всякие) сборища и другие адаты» [Абдурахман, 1997. С. 33, 51].

В период государства Шамиля (имамат) танцы были разрешены только на свадьбах и в празднование обрезания. Непременным условием было то, чтобы мужчины и женщины танцевали в разных помещениях [История Дагестана... 2004. С. 600]. Запрещалось пение. Но такие требования часто нарушались. Участник Кавказской войны, «близкий имаму человек» Гаджи-Али в своей книге «Сказания очевидца о Шамиле», рассказывая о детях Шамиля, писал, что они «мюридами, друзьями и помощниками себе избрали *песенников* (выделено нами. – *А. М.*) и иных неблагонадежных людей... Когда Шамиль замечал им это, то они говорили, что это хорошие люди» [Гаджи-Али, 1990. С. 78]. В связи с нашей темой интересно и то, что цитата дает представление об атмосфере, сложившейся в Имамате. «Песенниками» в этом государстве Шамиля были объявлены сторонники традиционной песенной культуры, известные певцы.

Особое недовольство вызывали у Шамиля народные праздники, где в совместном времяпровождении, часто сопровождавшемся игрой на музыкальных инструментах и танцами, участвовали вместе мужчины и женщины. Одна из историй связана с с. Ашильта, где Шамиль прожил два года. Когда он приехал в село, он нашел его жителей «буйными, подобными стаду ослов, выпущенных на пустошь». Поэтому «он прочел проповеди, дал приказы и установил запреты». В частности, запрет касался и того, чтобы запретить «смешение» женщин и мужчин, т. е. речь шла о запрещении совместного праздничного досуга мужчин и женщин [Мухаммед-Тахир, 1990. Ч. 1. С. 39].

Вместе с тем, как отмечал российский исследователь Н. Дубровин, «Шамиль сколько ни старался вывести пляску, как строго ни преследовал за нее, но туземцы все-таки не оставляли этого рода увеселения. Собираясь по ночам в подвалах и конюшнях, они тайком от шпионов предавались полному разгулу и веселью – устраивали танц-классы и плясали лезгинку» [Дубровин, 1871. С. 570]. Этот текст требует пояснений: здесь речь, видимо, о том, что люди собирались не в «подвалах и конюшнях», а в подсобных помещениях на первом этаже дома, как это практикуется даже сегодня. Дубровин был прав, что Шамилю не удалось за два десятилетия выкорчевать народную художественную культуру, традиции которой сформировались в течение столетий. Да и в имамат входила лишь меньшая часть горного Дагестана. К сожалению, пока очень мало материалов, чтобы судить о реальных последствиях этих решений. Потому так важно замечание того же Н. Дубровина, отразившее эти реалии. В то же время строгие наказания за нарушения тех или иных запретов накладывали свой отпечаток на жизнь горцев, и, вероятно, интенсивная музыкальная жизнь в Имамате замерла на время. Можно предполагать, что музыка и песни на время «затихли» и население вынужденно терпело такую ситуацию. Многое зависело и от позиции и пристрастий местных наибов [Абдурахман, 1997. С. 33, 56, 127].

Ислам строго запрещал музыку и песни, а также их инструментальное сопровождение, но в реалиях жизни эти требования не всегда соблюдались. Иначе, как пишут исследователи, чем объяснить тот факт, что музыкальное искусство получило широкое развитие именно во времена Арабского халифата? [Интернет сайт «osin-music»].

Советская глобализация и традиционное искусство

Естественно-историческое развитие народной художественной культуры, формирование его институциональных форм в рамках законов Российской империи было прервано Октябрьской революцией. Советская власть и большевистская идеология считали социально опасными для общества частную собственность и наемный труд. Под частной собственностью разумелись даже несложные орудия ремесленника, а наемным трудом в ситуации промысла могла быть работа и ученика, подмастерья или другого работника, нанятого хозяином-ремесленником.

Советская глобализация стала другой разновидностью глобализации. Лозунг «Пролетарии всех стран соединяйтесь!» как нельзя точно отражал цели этой своеобразной глобализационной политики. В самой России такая политика завершилась созданием практически изолированной от внешнего мира (существовал «железный занавес»), но единой культуры советского типа, экономической основой которой стала общенародная собственность. Традиционное искусство Дагестана стало развиваться в рамках этой модели. Вместо народных форм искусства, которыми трудно было управлять, власть создала государственные и «полугосударственные» (артели) формы традиционного искусства, сценические коллективы народного танца и песни. Их коллективы получают идеологические заказы, связанные с необходимостью отражать в своих произведениях «злобу» дня и «актуальные» для страны темы. Такими методами были искажены, низведены до уровня самодеятельного, любительского искусства многие составляющие традиционного искусства. Вместе с тем, работая на госпредприятиях, наиболее талантливые творцы народной культуры могли подняться до высот профессионализма и создать оригинальные направления профессионального декоративно-прикладного искусства, тесно связанные с народной культурой. Одновременно с государственными формами в полулегальном положении в частной сфере сохранялись фактически непризнанные государством немногочисленные ремесленные промыслы, музыкально-фольклорная практика народных певцов и музыкантов. Еще в 1930–1950-е гг. под влиянием различных законодательных запретов и ограничений на промысловую деятельность «частников», урбанизации и распространения на селе городской культуры многие художественные промыслы прекратили свое существование. И только в 1960–1980-е гг. наблюдается возрождение части из них, что стимулировалось дефицитом промтоваров в торговой сети, развитием надомничества в госотраслях экономики.

Под влиянием идеологических установок трансформировалась и творческая практика народных мастеров. Хотя специальные директивы на эту тему не рассылались в артели и госпредприятия народных промыслов, но творчество лучших мастеров всегда было под «прицелом» первичных парторганизаций и райкомов партии. В этих условиях желание талантливых мастеров быть вместе со «всеми» было естественно в советских условиях. Например, выполненная орнаментальная тарелка, ковер мало значили для промысла, но если на ней появлялись портреты, изображения или цитаты из речи В. И. Ленина, напоминающие о событии, о котором говорит вся страна, произведение мастера приобретало общественную значимость; о ней говорили все, его выставляли в экспозиции разных выставок, покупали для государственного музея.

«Советская» глобализация сильно отразилась и на частных промыслах, связанных с исламом и его культами. Еще в 1930-е гг. заглохли промыслы, связанные с изготовлением художественно украшенных надмогильных стел, молитвенных ковриков, культовым строительством. Характеристике этих и других явлений советской глобализации посвящен ряд наших статей, и мы отсылаем читателя к ним [Магомедов, 2007, 2010].

Новейшие формы глобализации и дагестанская культура

В начале 1990-х гг. Россия перешла к методам регулирования экономики с помощью рыночных механизмов. В творческой практике появилась свобода, стесненная рыночными отношениями. Конкуренция на рынке требовала от мастеров оперативности, умений подлаживаться под те или иные запросы. В сфере художественного ремесла результаты перехода к рыночным отношениям оказались значительными, хотя и противоречивыми во многих своих проявлениях. Пустые прилавки начала 1990-х гг., скачущая инфляция стимулировали производство ремесленников, которое не требовало больших капвложений.

Ювелирные промыслы Дагестана первыми адаптировались к рыночным отношениям. Они же первыми оказались вовлеченными и в мировые художественные стили дизайна и новые технологии. Резко вырос импорт изделий из драгметаллов, приведший к конкурентной борьбе на рынках. Так, глобализационные процессы коснулись традиционного ювелирного искусства Дагестана, десятки лет топтавшегося на месте.

Глобализационные явления коснулись и других видов традиционных художественных промыслов Дагестана. Так, в последние десятилетия почти замерло ковровое дело в селах Южного Дагестана.

Сильная конкуренция не только дешевых фабричных ковров (это было заметно еще в начале 1990-х гг.), но и ручных ковров подорвало ковровое дело Дагестана. Город Махачкала сегодня пестрит щитами, рекламирующими ручные ковры известных мировых фирм.

Развалились (были приватизированы, перепрофилированы и т. д.) старые госпредприятия народных промыслов советского времени. Небольшие частные ковровые фабрики сегодня живут за счет случайных заказов. Главное, что угасает интерес к освоению технологий орнаментального ткачества в семье. Во многих домах разобраны ткацкие станки, и молодые девушки осваивают другие специальности.

Развитие народных форм промыслов и ремесел сегодня во многом зависит от позиций новой элиты. Развитие художественных промыслов во все времена было связано с наличием в обществе богатых покупателей, их ориентациями на тот или иной «престижный», «модный» товар. Сегодня ситуация на рынке товаров связана с насыщением ее товарами и услугами известных мировых производств с популярными «брендами». Традиционные промыслы Дагестана оказались не в состоянии конкурировать с ними. Наиболее ярко это проявляется в сфере ручного ковроткачества и ювелирного дела. Приведем несколько фактов. До массового строительства традиционным для Дагестана было жилье с относительно небольшими парадными помещениями (15–20 кв. м). Таковы были площади и городских секционных квартир. Для таких помещений еще с дореволюционного времени мастерицы ткали напольные ковры-сумахи (примерные размеры 4х2 м). Такие ковры входили в обязательный элемент приданого, были дорогим подарком к новоселью от близких родственников. Во время массового жилищного строительства в СССР в 1960–1970-е гг. увеличились размеры парадных комнат (до 30–35 кв. м). В этих условиях пол покрывали уже двумя большими коврами. В условиях, когда в продаже не было ковров больших размеров, не хватало ковровых изделий, такой спрос стимулировал труд дагестанских мастериц. В 1990-е и особенно в 2000-е гг. ситуация на рынке ковров в корне изменилась. Огромный приток импортных ковров как машинной, так и ручной выработки привел к упадку традиционного ковроткачества Дагестана. В это же время существенные сдвиги произошли в жилищном строительстве. Увеличилась площадь парадных комнат (до 50 кв. м и больше). Этот фактор также отрицательно повлиял на ковровое дело. Но наиболее сильным фактором, приведшим к упадку ковроткачества Дагестана, была переориентация художественных вкусов элиты с традиционного искусства на мировой дизайн и технологии.

Сложное положение складывается и в известном ювелирном промысле Кубачи. Кубачинцы и сегодня отличаются особенностями хозяйственно-культурных традиций. Сохраняются особенности в культурной, бытовой сфере, в расселении. Кроме родного селения значительная часть кубачинцев проживает в городах Дагестана, Северного Кавказа, в Москве, С.-Петербурге, республиках СНГ. Благодаря этому Кубачи превратился в феномен российского масштаба, он сохраняет свою славу и известность. Страсть к мастерству, рукоделию всегда отличала характер кубачинцев. Однако после мирового кризиса 2008 г. и резкого роста цен на драгоценные металлы и драгоценные камни ситуация в этом промысле резко ухудшилась. Еще ранее, в связи с изменениями моды и ювелирного дизайна продукции мировых профессиональных школ (изменения коснулись форм изделий, технологий, цветовых оттенков золота и др.), дагестанским ювелирам стало все труднее соответствовать таким изменениям. «Собачьи» формы (цепи), «желтые» оттенки золота, большая пластичность изделий, достигаемая за счет дутых объемов, другие черты стали новыми явлениями, связанными с глобализацией торговли и искусства.

Ключевой проблемой современного Кубачи, безусловно, является задача сохранения историко-художественного наследия. Многое здесь было утеряно под влиянием капиталистического рынка России, запретов на индивидуальное творчество в годы советской власти, кризиса экономики России в 1990-е гг., глобализации, слабого интереса молодежи к профессиональному художественному образованию и дизайну. Сохранение творческой марки уникальных ювелирных промыслов, превращение Кубачи в одно из интересных направлений массового туризма – такой должна быть перспектива у этого центра народного искусства России.

Процессы глобализации культуры, идущие сегодня, все более нарушают размеренный ритм развития народной культуры. Вступление России во Всемирную торговую организацию еще более осложнит ситуацию, еще больше сузит рыночную нишу для тех же дагестанских традиционных ремесел, изменит перспективы их развития. Замечено, что глобализация нивелирует культуру, придает ей черты универсализма. Но было бы наивно полагать, что это результат только последних десятилетий. Тем не менее, как показал опыт последних десятилетий, потенциал народного искусства еще значителен. Несмотря на тенденции глобализации, народное искусство сможет быть сохранено как ценное историко-культурное наследие. И выход видится в том, что государству надо всемерно поддерживать сохраняющиеся «островки» традиционной художественной культуры, развивать ремесла, сценические формы, стимулировать самодеятельное художественное творчество и рукодельные занятия

населения, систематически пропагандировать ценности народного искусства среди подрастающих поколений.

В современной литературе, посвященной изучению культуры, много внимания уделяется глобализации, идущей из западных стран. Действительно, американизированные, западные стандарты культуры проникают практически во все страны [Соколов, 2008. Сайт РФФИ]. Вместе с тем восприятие глобализации только как продукта американо-западноевропейских обществ и их притязаний суживает это понятие. Но мы будем не правы и в том случае, если скажем, что все началось с Востока. Более близка к реалиям научной объективности точка зрения, когда восточно-исламская глобализация трактуется как вторичное явление, как результат механизма обратного эффекта по принципу «действие и противодействие». Американо-западная глобализация породила, спровоцировала исламскую глобализацию. В итоге стало расти стремление не только перенять его культурные достижения в целях модернизации традиционных структур, но и противопоставить Западу исламские ценности.

Глобализационные потоки сегодня стали многополярными. Дагестанский материал все это хорошо показывает. Сегодня трудно представить республику без исламской массовой культуры (сувениров, одежды, моды, дизайна печати, архитектуры мечетей). В исламской глобализации Дагестана важным средством стало и паломничество (Хадж). Хорошо известно, что республика по числу паломников занимает первое место в России. Ежегодное паломничество в Хадж превратилось для Дагестана в мощный фактор идеологического и культурного влияния. Например, за пять лет (2002–2007 гг.) из России совершили хадж более 70 тыс. человек, 80 % из них составили дагестанцы [ДП, 28.08.2008]. Можно предположить, что за последние 20–25 лет перестроечного и постсоветского времени из Дагестана выехало (побывало на Хадже в Саудовской Аравии) до 250–300 тыс. человек взрослого населения. Дело в том, что ежегодно из Дагестана на Хадж едут 13–15 тыс. человек. Помножив эту цифру на 20–22 года (массовые поездки в Хадж начались еще во второй половине 1980-х гг.) и имея в виду, что многие паломники едут на Хадж по нескольку раз, мы и получим искомую цифру.

Культурные и идеологические последствия Хаджа еще плохо изучены. Но однозначно его огромное влияние на жителей республики. Известно, что после Хаджа нередко человек меняет образ жизни. Многие находят в себе силы отказаться от вредных привычек. Меняются люди и идейно. Паломники, составляющие значительную, наиболее социально активную часть взрослого населения Дагестана, привносят в республику новые представления, привычки, поведенческие стереотипы. Происходит массовая идеологическая обработка и «остающейся» (не участвующей в Хадже по тем или иным причинам) части населения под углом зрения неприятия традиционной и профессиональной культуры (музыкального фольклора, хореографии, телевидения и т. д.). Под влиянием новых веяний развивается традиция играть свадьбы-мавлиды без национальной музыки, танцев, игр. Исчезла яркая декоративность резного камня в одних центрах, в других – орнамент заменен исламскими символами, в третьих – исчез узор с надмогильных камней.

Чем же опасны эти новые для Дагестана культурные потоки. Исследователи правы, когда пишут о том, что «идущая сейчас глобализация культуры по существу представляет собой процесс навязывания всем народам культурной модели... В итоге многие обычаи, церемонии, ритуалы, формы поведения, которые в прошлом придавали человечеству его фольклорное и этнографическое разнообразие, постепенно исчезают по мере того, как основная часть общества усваивает новые стандартные формы жизни... в отличие от адаптации продуктов — кока-колы, жевательной резинки и джинсов — инокультурное влияние, например, в сфере музыки и литературы, кино и телевидения, — явление отнюдь небезобидное, поскольку оно способно затрагивать жизненно важные фрагменты картины мира. Художественные образы проникают через границы и таможни в область ядра национальной культуры, постепенно подвергая ее непредсказуемым изменениям» [Соколов, 2008. Сайт РФФИ]. В дагестанской ситуации инокультурное влияние с Востока подминает многие звенья традиционной художественной культуры. Исламизация культуры Дагестана – сегодня одна из угроз культурным традициям, историко-культурному наследию республики.

Современная свадьба в контексте глобализационных процессов

Чтобы конкретно представить этнокультурные процессы, связанные с исламской глобализацией, остановимся специально на народной свадьбе. Ее мы рассматриваем как один из наиболее ярких традиционных праздников дагестанцев. Сегодня в Дагестане играются разные свадьбы. Можно выделить ряд их типов: сельская свадьба традиционного типа; городская свадьба; свадьба-мавлид; свадьба с музыкой и танцами, но без спиртных напитков; «сценическая» свадьба с театрализацией визуальных элементов. Современная свадьба – во многом новый феномен, безусловно связанный с ее ранними культурными традициями, и в этом смысле это форма сохранения, проявления культурного наследия прошлого [Магомедов, 2011. С. 305–315].

Какой была свадьба в прошлом? Хорошее представление о свадебной культуре Дагестана второй половины XIX – начала XX в. дают книги известного этнографа С. Ш. Гаджиевой [Гаджиева, 1985. Гл. 4]. Народная же свадьба советского времени, особенно периода 1920–1950-х гг., специально не исследовалась. Поэтому часто трудно делать сравнения, связанные с тенденциями перестройки свадебных ритуалов, характерных для последних десятилетий.

Организационная и идейная перестройка свадьбы, происходящая в 1990–2000-е гг., привела к резкому сокращению сроков торжеств и обрядовых частей свадьбы. Многие из таких «деталей» в годы советской истории, когда борьба против обрядов-пережитков прошлого приобрела союзную всеобщность, потеряли смысл, были «укорочены» порой до неузнаваемости, превратились в игровые действия. Тем не менее и в новое время во многих селах устойчиво сохраняются праздничные (танцевально-хореографические, музыкально-фольклорные), игровые, досуговые звенья народной свадьбы. Эти звенья «поддерживались» застольями с выпивкой, пышность которых возрастала по мере укрепления материального положения населения. Широкое распространение заводских спиртных напитков (водка и др.) привело и к чрезмерности их потребления. Торжества часто оборачивались ростом алкоголизма в селах.

Но наиболее ярким проявлением глобализационных процессов стала свадьба-мавлид («маулид» – праздник рождения Пророка). Несколько десятилетий назад в Дагестане никто не согласился бы с тем, что религиозным мавлидом можно играть свадьбу. Когда и как стала формироваться новая традиция, трудно еще определить. Но ясно одно, что свадьба-мавлид – одна из особенностей дагестанской культуры последних десятилетий. Такие свадьбы сегодня не играют в национальных республиках Северного Кавказа. Свадьба-мавлид не была характерной и для культуры недавнего исторического прошлого Дагестана. В Энциклопедическом словаре «Ислам», изданном Институтом Востоковедения АН СССР в 1991 г. (статья «Маулид»), также ничего не говорится о том, что мавлиды в прошлом были обязательной частью свадьбы [Ислам, 1991. С. 163].

Можно уже констатировать, что в десятках сел различных горных районов Дагестана в последние десятилетия не игрались свадьбы традиционного типа. В ряде других районов неуклонно уменьшается число таких свадеб. Народные свадебные формы заменены мавлидами. Инициаторами, указчиками новшеств часто является духовенство.

Одно из основных объяснений причин перехода на религиозные свадьбы – это то, что на традиционных свадьбах люди пьют спиртное. Поэтому во многих селах и районах решениями мечетских общин-джамаатов запрещена продажа водки и другого спиртного в магазинах. Общеизвестна тема «пития» россиян. И не только пьянства, наркомании, охватившей города, мегаполисы и многие сельские места. Дагестан шел по следу этой опасности. И отрадно, что находится новый рецепт. Сегодня именно религиозный фактор и мощное общественное мнение мобилизуют сельские общины для преодоления этой опасной для общества и для личности болезни. Но здесь же надо добавить, что приходится сожалеть, что такое происходит под флагом антисветских лозунгов. Главным козырем духовенства становится отрицание спиртного как соблюдение одного из канонов ислама. Вред выпивки для здоровья в аргументах – на втором месте.

Особенностью свадеб-мавлидов кроме чтения мавлида и отсутствия спиртного становится и запрещение музыки, танцев, организация торжеств в отдельных залах (в г. Махачкале действуют уже несколько банкетных залов для организации таких свадеб), выведение невесты из дома родителей с Кораном в руках и ряд других черт. Новшеством свадеб-мавлидов последних лет стало и то, что на мавлидах на речитации (распевы) текстов, написанных в честь пророка Мухаммеда, стали специализироваться даже артисты театров. Такое стали практиковать артисты Аварского театра республики, ряда других театров. Таким образом, организаторы мавлидов пытаются поднять художественный уровень свадебного торжества.

Мы уже отмечали выше, что в Дагестане, как и в национальных республиках Северного Кавказа, сегодня вырабатывается и тип свадьбы с музыкой, но без спиртного. Их можно считать компромиссными формами, и они имеют хорошую перспективу. При этом делаются попытки совместить разные традиции. Утром проводится «мавлид», а после обеда – музыкальная свадьба. Так сельские жители ряда районов играют свадьбы для своих детей в городах.

Интересны материалы Интернет-сайтов о новых традициях. Для показа характера материалов, связанных с темой, приведем несколько цитат. Вот мнение одного из сторонников проведения свадьбы-мавлида: «Дочь или сын, став совершеннолетними мусульманами, создают свою семью. Что может быть радостнее этого? Каждый празднует, исходя из своих возможностей. Но если не соблюдаются требования Ислама, свадьба может обернуться для нас большим грехом, за который мы должны будем отвечать перед Аллахом. Мужчины и женщины должны веселиться отдельно друг от друга. Иначе получается, что наши женщины надевают самые красивые наряды, украшения и танцуют на свадьбах вместе с посторонними мужчинами. Их мужья в это время заняты выпивкой, совершение греха по-

рождает в них безразличие». Продолжим цитирование. «А ты знаешь, – обращается автор высказываний к читателю, – как обычные свадьбы проходят (речь о свадьбах-мавлидах. – *А. М.*)? Точно так же, но у жениха не музыка играет, а религиозные песни (мавлид). И нет никаких танцев (это если очень религиозная семья). А так могу рассказать, как на практике: говорят, что делают мавлид (действительно делают), потом все равно идут танцы (минут на 30), ну чтобы деньги на невесту положить» [Интернет-сайт «islamdag.ru»].

Как многие общественные явления, так и свадьба-мавлид нередко основана на компромиссах. На свадьбах-мавлидах можно видеть невесту, одетую в подвенечное платье с фатой. Разница только в том, что часто такое платье бывает закрытого типа. Рассказывали случаи, когда родители невесты не смогли рассчитать все и ее отвезли с открытым платьем в зал, где жених играл свадьбу-мавлид. И потом родственники жениха долго иронизировали на эту тему, шутя, что невесту «забыли одеть».

Рост свадеб-мавлидов связан и с реакцией людей на грандиозные масштабы публичности современных свадеб (в этом особенно упражняется новая элита). Чаще мавлид становится в этой ситуации формой скромной «по карману» свадьбы. На мавлиде из-за отсутствия спиртного, кортежей лимузинов и т. д. трат меньше. Есть и моменты, когда семья в условиях траура не может (или не хочет) откладывать свадьбу. И в этой ситуации мавлид становится удобной формой разрешения ситуации. И последний момент связан с тем, что разведенным при новой женитьбе (замужестве) также выгодно играть мавлидную форму свадьбы. Свадьбы-мавлиды стали удобной формой для свадебного застолья и когда замуж выдают дочь. Свадьба дочери и в историческом прошлом игралась намного скромнее, чем свадьбы сыновей. Нередко проведение свадьбы-мавлида объясняется и тем, что в селе траур по умершему сельчанину. Во все времена этот фактор учитывался, но люди исходили при этом из здравой логики, связанной с тем, что траур обычно длится 40 дней, а не несколько лет и т. д.

Мавлидная форма свадьбы в Дагестане начала практиковаться в трудные 1990-е гг., когда экономическое положение многих сельских жителей было достаточно скромным. Однако кроме духовенства инициаторами таких свадеб была и молодежь. К середине 1990-х гг. подросла молодежь, выучившаяся исламу. Она стала предпочитать более «богоугодные» свадьбы. Их друзья, одноклассники также поддерживали друг друга в таких желаниях. Вместе с тем в условиях городов молодежь и при проведении свадеб-мавлидов не чурается атрибутов светской свадьбы – аренда престижного зала, дорогих машин для кортежа, большое число гостей и др.

Можно также предполагать, что распространение свадеб-мавлидов в Дагестане связано не только с культурной глобализацией, но и усилением здесь в последние десятилетия позиций суфийского направления ислама как «официальной» религии Дагестана, т. к. «маулид» исторически сформировался под сильным влиянием суфизма. «Сегодня мавлид стал одной из характерных черт той религиозной формы ислама, которая сложилась в Дагестане», – отмечают и исследователи [Ярлыкапов, 2002. С. 73].

Современную свадьбу нельзя изучать без учета многих факторов общественной жизни. В последние двадцать лет в Дагестане произошла архаизация общественной жизни и социокультурной практики. Под архаизацией мы имеем в виду явления, связанные с потеснением светских (не **советских**) начал культуры, характерных для советского периода, усиление исламских традиций и ценностей. Многие склонны ограничивать эти процессы только распространением ваххабизма, но они сегодня выражаются в повышенном акценте на религиозных атрибутах, ритуалах во всех сферах жизни, на религиозной нетерпимости, проявляющейся все чаще. Вместе с тем Дагестан никогда не был монолитным в культурном плане. Сегодня в Дагестане во многих районах предгорья, юга Дагестана сохраняется традиционная свадьба и там не представляют, как можно играть свадьбу без музыки, танцев и массового веселья.

Список литературы

http://w.3rfbr.ru/ РФФИ. Научно-популярные статьи 2000–2008 гг.

http://osin-music.ru/narodnaya-muzyka/tatarskaya-narodnaya-muzyka/islam-i-muzyka.html/ (Дата обращения: 26.07.2011).

http://www.islamdag.ru/book/1351

Абдурахман из Газикумука. Книга воспоминаний / пер. с арабского М.-С. Саидова; предисл. А. Р. Шихсаидова. Махачкала, 1997.

Аджиев А. М. Введение // Традиционный фольклор народов Дагестана / отв. ред. чл.-корр. РАН Г. Г. Гамзатов, д. ф. н. У. Б. Далгат. М.: Наука, 1991.

Алиханов Р. А. Кубачинские очерки: Записки мастера // Искусство Кубачи / сост. альбома А. А. Иванов. Л., 1976.

Большая российская энциклопедия. Т. 11. М., 2008. С. 750–755. См.: «Ислам и искусство».

Гаджи-Али. Сказания очевидца о Шамиле // перепечатка из книги «Сборник сведений о кавказских горцах: Вып. VII. Махачкала, 1990.

Гаджиева С. Ш. Семья и брак у народов Дагестана в XIX – начале XX в. / отв. ред. А. И. Першиц. М., 1985. Глава 4.

Дадаев Ю. У. Государство Шамиля: Социально-экономическое положение, политико-правовая и военно-административная система управления. Махачкала, 2006.

Дебиров П. М. Резьба по дереву в Дагестане. М., 1982.

Дебиров П. М. Резьба по камню в Дагестане. М., 1966.

Доде З. В. Кубачинские рельефы: Новый взгляд на древние камни. М., 2010.

Дубровин Н. История войны и владычества на Кавказе. СПб., 1871. Т. 1.

Ислам: энциклопедический словарь. М.: Наука, 1991.

Кильчевская Э. В. Декоративное искусство аула Кубачи. М., 1962.

Кильчевская Э. В. От изобразительности к орнаменту. М., 1968.

Магомедов А. Дж. Традиционное искусство Дагестана в контексте социальных преобразований XX в. // Адаптация народов и культур к изменениям природной среды, социальным и техногенным трансформациям: Программа фундаментальных исследований Президиума Российской академии наук / отв. ред.: А. П. Деревянко, А. Б. Куделин, В. А. Тишков. М.: РОССПЭН, 2010. С. 434–442.

Магомедов А. Дж. Современная дагестанская свадьба как феномен культурной глобализации // Искусство и наука в современном мире: сборник материалов Международной научной конференции, проведенной РАН и РАХ. 11–13 ноября 2009 г. М., 2011. С. 305–315.

Маммаев М. М. О влиянии ислама на средневековое изобразительное творчество народов Дагестана // Художественная культура средневекового Дагестана: сб. статей / сост. М. М. Маммаев; отв. ред.: Д. М. Магомедов, М. М. Маммаев. Махачкала, 1987. С. 101–127.

Мухаммед-Тахир аль-Карахи. Блеск дагестанских сабель в некоторых шамилевских битвах / комментированный перевод Т. Айтберова. Ч. 1. Махачкала, 1990.

Мухаметов А. Р. Обратный эффект. Глобализация стимулирует пробуждение исламского мира. URL: www.islam.ru/pressclub/analitika/revival/

Соколов К. Б. Глобализация культуры – благо или новая проблема? // Интернет-сайт РФФИ: Раздел «Научно-популярные статьи 2000–2008 гг.».

Хадж-2008: новые условия проведения // «Дагестанская правда». 28.08.2008 г.

Ярлыкапов А. А. Религиозные верования // Народы Дагестана / отв. ред.: С. А. Арутюнов, А. И. Османов, Г. А. Сергеева. М.: Наука, 2002.

Д. В. Сокаева

К ВОПРОСУ ОБ ИЗУЧЕНИИ ЛЕГЕНД И ПРЕДАНИЙ ОСЕТИН

Легенды и предания представляют собой богатейший материал и пример смешения мифологии и истории под углом сохранения той информации, которая нужна народу для выживания как физического, так и духовного.

Огромное разнообразие осетинских легенд и преданий можно классифицировать исходя из разных принципов: по теме, образу, сюжету. В основу предложенной нами классификации положен принцип даже не главной темы, а главного персонажа, причем в качестве персонажа может выступать не только субъект, но и объект, например, объект почитания – святилище. Тем самым мы подчеркиваем образный характер восприятия мира и принцип воспроизведения модели мира, опять же основанной на образе.

Системный подход в изучении легенд и преданий предполагает определение сквозных сюжетов, мотивов, образов и выяснение функциональной, семантической и структурной роли означенных элементов фольклорного текста с учетом фольклорного и обрядового контекста. Сквозные мотивы и в мировом фольклоре, и в рамках одной фольклорной традиции представляли и представляют интерес как для специалистов, так и для гуманитариев вообще. Они зачастую несут информацию надфольклорную, которую фольклор включил в свою художественную систему.

Рассмотренные в контексте обрядовой жизни осетин и фольклора других (индоевропейских и кавказских) традиций образы, мотивы, сюжеты, темы осетинского фольклора в разных жанрах приобретают разное семантическое наполнение. Акцент на разности отражения реальности несказочной прозой (легендой, преданием, устным рассказом), волшебной сказкой и обрядом позволяет выявить возможности архетипических элементов фольклора, в частности осетинского. Прежде всего, различная установка на отражение действительности в плане достоверности/недостоверности передачи фактов и на создание разной степени художественности картины мира делают различными жанры фольклора между собой и их вместе от ритуальных картин традиционной жизни, кстати сказать, сохранившихся у осетин в достаточно архаической форме. Сравнение разных жанровых реализаций одной

и той же древней структуры позволяет выявить как жанровые особенности вообще, так национальную специфику видения общечеловеческих проблем.

Теория жанров несказочной прозы, в частности, легенд и преданий, в отечественной фольклористике разработана достаточно подробно, если не учитывать некоторых естественных расхождений во взглядах авторов, обусловленных спецификой исследуемого материала. Например, исследовательница преданий 70–80-х гг. прошлого века В. К. Соколова на материале русского фольклора выделила такие самостоятельные жанровые разновидности: предания топонимические, генеалогические, предания об исторических событиях и лицах (Соколова). Н. А. Криничная использует в качестве «единицы измерения» фольклорных текстов мотив, что, по ее мнению, позволяет осуществить более гибкую и последовательную систематизацию общерусского материала (Криничная. С. 2).

Топонимические предания не без влияния западной этнологической науки разделяются (на наш взгляд, справедливо) на мемораты (точное объяснение топонима) и фабулаты (поэтическое истолкование топонима). Проблема определения жанровых особенностей текстов с топонимической темой решается параллельно с проблемой разграничения устных рассказов двух типов, опять же, мемората – устного рассказа от первого лица (воспоминания) и фабулата – устного рассказа, который в процессе бытования уже не связывается со свидетелями события, о котором повествуется (Чистов).

В западной фольклористике созданы указатели сюжетов и мотивов несказочной прозы, а именно, Simonsuuri, Rychnova-Klimova, Klintberg, Jauhiainen, Lena Neuland, Reidar Th. Christiansen и др. Специальная комиссия Sagenkomission при Международном обществе исследователей прозаического фольклора (International Society for Folk-Narrative Research) выработала дескриптивную систему для международного употребления и проверки на национальном материале, которой пользуются и российские фольклористы (Гацак).

Следует оговорить и тот факт, что топонимы и географические названия встречаются и в других жанрах фольклора (Померанцева, 1970; Агеева; Агапкина; Доровских), но, как правило, только в легендах, преданиях и устных рассказах они объясняются.

Определение жанров «предания» и «легенды» до сих пор требует объяснения и разграничения. Например, Э. В. Померанцева, рассматривая различные жанры фольклора с персонажем-водяным, делает вывод о том, что «в зависимости от функциональной направленности повествования, от его внутренней формы в корне меняется единый по своему генезису материал, единый образ, идущий от народного верования к игре народной фантазии» (Померанцева, 1970. С. 168). Рассматривался в фольклористике и вопрос о жанровой природе легенды (Померанцева, 1975; Алпатов; Смирнов; Джанумов). В. К. Соколова предложила термин «народное легендарное предание» (Соколова. С. 270).

Современная фольклористика и фольклористика России, в частности, и другие науки насчитывают немало трудов, рассматривающих жанры предания и легенды с различных точек зрения, и решают при этом разные задачи.

Кроме того, фольклор каждого народа также предлагает свое название жанра преданий и легенд. О названии осетинских легенд и преданий особенно подробно написал Ш. Ф. Джигкаев (Осетинские легенды. С. 4), отмечая, что *таурагъ* – это универсальный термин, обозначающий и предание, и легенду, и устный рассказ. Добавим, что предание, легенда, устный рассказ обозначаются еще и предлогом *тыххай*, смысл которого «о»: «О Холере», «О празднике Хор-хор» и т. д. Для сравнения у адыгов словом *таурыхъ* (араб. *история*) называется сказка, а «этиологические рассказы... и рассказы исторического характера о событиях общественного значения и лицах, игравших сколько-нибудь заметную роль в жизни народа» – *хабар* (Алиева. С. 6).

Исследовательский контекст Кавказа и опубликованные тексты по данной теме достаточно многочисленны, а именно рассмотрены состав несказочной прозы различных кавказских народов, отношения несказочной и сказочной прозы и т. д. Волшебная сказка народов Кавказа изучена с различной степенью глубины, поэтому мы на данный момент обошлись минимумом сравнений с кавказским материалом, предполагая в будущем подробно рассмотреть осетинский и кавказский фольклор в сравнении.

История собирания осетинских преданий, легенд и материала, который мы можем отнести к несказочной прозе, насчитывает полтора века. Исследовательская работа над текстами осетинской несказочной прозы велась учеными В. Ф. Миллером, В. И. Абаевым (Абаев, 1938; Абаев, 1990), Б. А. Калоевым (Калоев, 1983; Калоев, 1984), З. М. Салагаевой, З. Н. Ванеевым, Ш. Ф. Джигкаевым, Ф. Х. Гутновым (Гутнов, 1992; Гутнов, 1989; Гутнов, 1986; Гутов, 1988), С. З. Габисовой (Габисова, 1992; Габисова (а), 1995; Габисова, 1995), В. С. Уарзиати, В. Х. Тменовым и А. В. Тменовым. Р. С. Бзаровым (Бзаров, 1993; Бзаров, 1998; Бзаров, 1987), В. С. Газдановой (Газданова, 2007; Газданова (а), 2007; Газданова (б), 2007; Газданова (в), 2007), А. В. Дарчиевым. К текстам фамильных (генеалогических) легенд и преданий обращаются истори-

ки при составлении генеалогического древа той или иной фамилии (Дзалаева; Марзоев; Томаев). В. И. Абаевым (Абаев, 1962), З. В. Абаевой, И. Маразовым, Д. С. Раевским (Раевский, 1985; Раевский, 2006) рассматривалось содержание скифских этногенетических легенд, зафиксированных древнегреческими авторами, например, Геродотом (Нейхардт; Скрижансая).

Благодаря записям дореволюционных исследователей Осетии и их преемников – акад. В. Ф. Миллера, Г. Ф. Чурсина, М. М. Ковалевского, В. Пфаффа, Дж. и Г. Шанаевых, С. Шульгина, Ф. Такоева, Е. Баранова, Н. Березенова, С. Кучеровского, П. Нищик, В. Переваленко, Р. Сикоева, Б. З. Тулатова, И. Тхостова, Дз. Дзанти и др. – мы имеем возможность сравнения их с современными фольклорными текстами. Огромную работу по сбору полевого материала, в частности преданий и легенд, уже в советское время провела А. Дз. Цагаева.

Литература по теории жанра устного рассказа наталкивает на мысль рассматривать легенды, предания и устные рассказы во взаимосвязи (Ярневский; Исхакова; Райкова). Роль устных рассказов мы рассматриваем и как поддерживающую канонические темы, мотивы и образы традиции.

Исследователи устных рассказов решают, например, такие задачи: определение терминологии наименования жанра, понятие «устного рассказа» как фольклорного жанра, критерии жанрового разграничения устного рассказа от других устных повествовательных жанров, тематическая классификация отобранных текстов, жанровые и художественные особенности устных рассказов того или иного народа (Иванова. С. 5).

Разработка новых методик исследования фольклорных текстов как текстов культуры вообще, введение новых терминов только способствует привлечению материала, который ранее не привлекался при анализе (Дианова; Дедова). Новый этап в освоении жанров фольклора несказочной прозы отмечает тексты, обусловленные не только географическими особенностями той или иной местности, историей народа, ее создававшего, но и ментальностью этого народа либо какого-либо объединения людей, например, по религиозному признаку (А. К. Матвеев, Ю. П. Чумакова, Е. Л. Березович).

Мы проанализировали тексты, собранные как в Северной, так и в Южной Осетии, архивные материалы экспедиций 1932, 1935-х гг., материалы, собранные в экспедициях 1988, 1989-х гг. XX в. и при личном участии автора диссертации – в 1991, 1992, 1993, 1994, 1999-х гг., в 2000, 2001, 2002-е гг. Все тексты преданий, легенд и устных рассказов переведены нами (в подавляющем большинстве) на русский язык и распределены по темам. Устные рассказы мы рассматриваем как функциональное дополнение к легендам и преданиям и как среду, в которой появляются наиболее сохраняемые во времени сюжеты. Такие тексты собирались нами на протяжении 17 лет и впервые опубликованы с подстрочными русскими переводами в Информационном бюллетене отдела литературы и фольклора СОИГСИ им. В. И. Абаева [Информ. бюл. (а); Информ. бюл. (б)] и в приложениях к монографиям «Легенды и предания осетин. Характеристика и систематизация» (Сокаева, 2009), «Легенды и предания осетин. Контекст традиции» (Сокаева, 2010). Материалом исследования стали также тексты сказочной прозы осетин и других индоевропейских и кавказских народов сюжетных типов СУС –365С*, AT 545B, AT 552, AT 530A и описания обрядов осетинского народа («Цоппай», «Обряд по поводу первого весеннего грома», «Ночь чертей»). Нами составлен указатель осетинских волшебных сказок (Сокаева, 2004), что помогло выявить точки соприкосновения сказочной и несказочной прозы осетин.

Целью проделанной работы было рассмотрение функционирования образов, мотивов и сюжетов в несказочной и сказочной прозе осетин с привлечением индоевропейского, кавказского, тюркского фольклорного материала, а также выявление закономерностей отображения обрядовой жизни традиционного осетина в повествовательных структурах.

Нами решались такие задачи, как: рассмотрение всего доступного нам корпуса текстов преданий, легенд и устных рассказов осетин (опубликованного и хранящегося в архиве СОИГСИ); предложения собственной классификации на основе проделанного анализа; выявление наиболее встречающихся структурных элементов преданий, легенд и устных рассказов осетин и рассмотрение их на материале волшебной сказки и обряда; частичное рассмотрение функционирования аналогичных образов, мотивов сюжетов в других индоевропейских (русской, таджикской), кавказских (адыгской, грузинской, дагестанской) и тюркской (карачаево-балкарской) сказочных традициях; выявление локальных особенностей иронских и дигорских текстов, в частности различий в сюжетике и в семантике сюжетов и персонажей несказочной прозы.

Поскольку фольклор любого народа – это организованная система, то для полноты картины функционирования того или иного элемента мы выходили за рамки повествовательных структур и обращались к обрядовой жизни осетинского народа. Более того, мы сочли новым рассмотрение феномена отражения обряда в повествовании в так называемых устных рассказах об обрядовой жизни традиционного осетина. Рефлексия традиционного осетина по поводу обрядовой жизни, которая выражается именно в несказочной прозе, занимает большое место в его жизни.

Мы предложили образно-тематическую классификацию осетинских легенд и преданий:

1. о сакральной сфере традиционного осетина:
   а) о святых, святилищах, об оберегах, атрибутах;
   б) о «делателях судьбы», о судьбе, о встреченных благодетелях;
   в) об ангелах и «дверях неба»;
   г) о культовых животных;
   д) о покровительстве умерших родственников.
2. Этиологические легенды и предания:
   а) о происхождении людей;
   б) о просхождении различных объектов.
3. Легенды и предания, касающиеся устной истории края:
   а) топонимические легенды и предания;
   б) этногенетические предания (о происхождении рода).
4. Эсхатологические легенды и предания:
   а) о холере и ее уходе;
   б) о потопе;
   в) о различых стихийых бедствиях.
5. О реальных и мифологизированных людях, животных:
   а) о Шанаты Щеме;
   б) об абреках;
   в) о чудесных конях;
   г) о знаменитых охотниках, охотничьи предания и легенды;
   д) об исторических деятелях: царице Тамаре, Ос-Багатаре, Давиде-Сослане.

В результате исследования мы сделали следующие выводы:

1. Система образов, мотивов, сюжетов осетинских легенд и преданий связана с аналогичной системой других жанров осетинского и, шире, индоевропейского фольклора и фольклора народов Северного Кавказа.

2. Семантика рассмотренных нами элементов фольклора и их функционирование позволяют говорить об их использовании конкретной традицией с различными параметрами (частотность, развернутость образа и т. д.) и проясняет специфику прочтения образа, символа в каждой рассматриваемой национальной традиции, при том что исходным для нас является осетинский материал.

3. Индивидуальное религиозное переживание божества, представленное в преданиях, легендах и устных рассказах, в деталях часто разнится с коллективным, «канонизированным» мнением, что говорит о сформированной религиозной системе традиционного осетинского общества.

4. Знаковые образы традиционного осетинского фольклора непреходящи и активно функционируют в современной осетинской фольклорной и постфольклорной традиции.

5. Центром обрядового действа может стать человек, предмет (дерево, железный предмет, знак на земле и т. д.). Главным является то, что этот человек и предмет метится небесными силами.

Список литературы

Абаев В. И. Опыт сравнительного анализа легенд о происхождении нартов и римлян // Памяти академика Н. Я. Марра. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1938. С. 317–337.

Абаев В. И. Культ семи богов у скифов // Древний мир. М., 1962. С. 445–450.

Абаев В. И. Происхождение осетинских фамильных имен Cæræzontæ и Aghuzatæ // Абаев В. И. Избранные труды. Религия. Фольклор. Литература. Владикавказ: Ир, 1990. Т. 1. С. 408–422.

Абаева З. В. Легенды и сказания о происхождении скифов и нартов // Известия ЮОНИИ. Вып. XXVII. 1982. С. 117–130.

Агеева Р. А. Пространственные обозначения и топонимы в заговоре как типе текста: (на восточнославянском материале) // Аспекты общей и частной лингвистической теории текста. М., 1982. С. 32–159.

Алиева А. И. Поэтика и стиль волшебных сказок адыгских народов. М.: Наука, 1986.

Алпатов С. В. Повествовательная структура легенды (книжные источники и поэтика фольклорных сюжетов об искушении). Автореферат дис. ... канд. фил. наук. М., 1998.

Березович Е. Л. Русская топонимия в этнолингвистическом аспекте. Мифопоэтический образ пространства. 2-е изд., испр. и доп. М.: КомКнига, 2010.

Бзаров Р. С. Древняя традиция в общественном сознании осетин-алагирцев // Проблемы исторической этнографии осетин. Орджоникидзе, 1987. С. 11–34.

Бзаров Р. С. История в осетинском предании. Владикавказ: Ир, 1993.

Бзаров Р. С. Три осетинских общества в середине XIX века. Орджоникидзе: Ир, 1998.

Ванеев З. Н. Народное предание о происхождении осетин (к проблеме общественного строя Овского царства) // Избранные работы по истории осетинского народа. Цхинвал: Иристон, 1989. Т. 1. С. 315–322.

Габисова С. З. Топонимические и генеалогические народные предания осетин // Осетинская филология. Современность и традиции. Владикавказ. 1992. С. 115–134.

Габисова С. З. (а). Древние исторические предания (анализ мотивов) // Лингвистические этюды. Владикавказ, 1995. С. 141–150.

Габисова С. З. Предания о борьбе с внешними врагами (Анализ мотивов) // Осетинская филология. История и современность. Вып. II. Владикавказ, 1995. С. 23–36.

Газданова В. С. Генеалогические представления осетин // Известия СОИГСИ. Вып. 1 (40). 2007. С. 47–58.

Газданова В. С. (а). Достоинство, благородство и общественный статус индивида // Газданова В. С.

Золотой дождь. Исследования по традиционной культуре осетин. Владикавказ, 2007. С. 52–89.

Газданова В. С. (б). Религиозно-мифологические модели у скифов и осетин // Газданова В. С. Золотой дождь. Исследования по традиционной культуре осетин. Владикавказ, 2007. С. 147–156.

Газданова В. С. (в). Руймон: имя и образ // Газданова В. С. Золотой дождь. Исследования по традиционной культуре осетин. Владикавказ, 2007. С. 232–248.

Гацак В. М. V конгресс Международного общества по изучению народной прозы. Краткие сообщения // Вестник Академии наук СССР. 2. М., 1970. С. 89–91.

Гутнов Ф. Х. Аланский царевич Баракад в древнеармянских фольклорных памятниках // Осетинская филология. Современность и традиции. Владикавказ, 1992. С. 134–148.

Гутнов Ф. Х. Материалы осетинского фольклора о шахе Аббасе // «Мах дуг». 1986. № 9. С. 82–84 (на осет. яз.).

Гутнов Ф. Х. «Сидамонта» в преданиях об Ос-Багатаре // Вопросы осетинской литературы и фольклора. Орджоникидзе, 1988. С. 198–204.

Гутнов Ф. Х. Генеалогические предания осетин как исторический источник. Орджоникидзе, 1989.

Дарчиев А. В. О Таргитае – прародителе скифов // Сайт ANAHARSIS.www.darial-onlane.ru/2000_// darchiev.shtml

Дедова О. В. О гипертекстах: «книжных и «электронных» // Вестник Московского университета. Сер. 9. Филология. 2003. № 3. С. 106–120.

Джанумов А. С. Поэтика христианкой народной легенды. (Исследования и тексты). М., 2003.

Дзалаева К. Р. К вопросу о происхождении наромамисонских фамилий // Современная методология и методика гуманитарных исследований. (Материалы I зимней школы-конференции молодых ученых. 6–7 февраля 2007 г.). Владикавказ, 2007. С. 63–68.

Дианова Т. Б. Текстовое пространство фольклора: методологические заметки к проблеме // Актуальные проблемы полевой фольклористики. Вып. 3. М.: Изд-во Московского университета, 2004. С. 5–17.

Доровских Л. В. Географические названия в русских народных сказках // Вопросы ономастики. Свердловск. Вып. 12. 1982. С. 26–48.

Иванова Э. Ю. Марийские устные рассказы: типология и поэтика: автореферат дис. ... канд. фил. наук: 10.01.09. Казань, 2005.

Информационный бюллетень отдела фольклора СОИГСИ. № 3. Февраль. 2007. (Образ чудесной бусины в осетинском фольклоре). Владикавказ / сост. и автор переводов Д. В. Сокаева. Информационный бюллетень отдела фольклора СОИГСИ. № 1. Сентябрь. 2005. (Устные рассказы о святилищах Осетии). Владикавказ / сост. и автор переводов Д. В. Сокаева.

Исхакова Г. М. Типологические и локальные особенности башкирских преданий и легенд. Автореферат дис. ... канд. фил. наук. Уфа, 2005.

Калоев Б. А. Происхождение некоторых осетинских фамилий по народным преданиям // ПИИЭ. 1979. М., 1983. С. 207–214.

Калоев Б. А. Происхождение некоторых осетиновайнахских фамилий (по народным преданиям) // ПИИЭ. 1980–1981. М., 1984. С. 214–220.

Криничная Н. А. Русская народная историческая проза: вопросы генезиса и структуры. Автореф. дис. ... докт. фил. наук. Петрозаводск, 1991.

Маразов И. К толкованию изображения на арибалле из кургана Куль-оба // ВДИ. 1988. № 4. С. 103–108.

Марзоев И. Т. Потомки Курта: Цаликовы // Современная методология и методика гуманитарных исследований. (Материалы I зимней школы-конференции молодых ученых. 6–7 февраля 2007 г.). Владикавказ, 2007. С. 80–86.

Матвеев А. К. К интерпретации одной условной топонимической системы // Этимология. 1984. М.: Наука, 1986. С. 132–136.

Миллер Вс. Осетинские этюды. Часть первая. Отдел второй. Сказки, местные предания и песни. Ученые записки Императорского Московского Университета. Отдел историко-филологический. Вып. 1. М., 1881.

Нейхардт А. А. Скифский рассказ Геродота в отечественной историографии. Л.: Наука, 1982.

Осетинские легенды / сост. Ш. Ф. Джигкаев. Орджоникидзе: Ир, 1989 (на осет. яз.).

Померанцева Э. В. Народные верования и устное поэтическое творчество // Фольклор и этнография. Л.: Наука, 1970. С. 158–168.

Померанцева Э. В. Соотношение эстетической и информационной функции в разных жанрах устной прозы // Проблемы фольклора. М.: Наука, 1975. С. 75–81.

Раевский Д. С. Модель скифской культуры: Проблемы мировоззрения ираноязычных народов евразийских степей I тысячелетия до н. э. М.: Наука, 1985.

Раевский Д. С. Мир скифской культуры. М.: Языки славянских культур, 2006; Смоленск: Смоленская обл. тип. им. В. И. Смирнова.

Райкова М. Н. Русские предания, легенды, сказки, лубок и массовая литература о «справедливом» царе: традиционные сюжеты, мотивы, поэтика. Автореферат дис. ... канд. фил. наук. М., 1995.

Салагаева З. М. От нузальской надписи к роману. Орджоникидзе: Ир, 1984.

Скрижинская М. В. Скифия глазами эллинов. СПб.: Алетейя, 2001. (Античная библиотека. Исследования). URL: http://www.sno.pro1.ru/lib/skrzhinskaya2/15.htm

Смирнов Ю. И. Предания Европейского Севера о чуди // Проблемы изучения финно-угорского фольклора. Саранск, 1972. С. 55–62.

Сокаева Д. В. Указатель осетинских волшебных сказок. Владикавказ: Изд-во СОГУ, 2004.

Сокаева Д. В. Легенды и предания. Характеристика и систематизация. Владикавказ: ИПО СОИГСИ, 2009.

Сокаева Д. В. Легенды и предания. Контекст традиции. Владикавказ: ИПО СОИГСИ, 2010.

Соколова В. К. Русские исторические предания. М.: Наука, 1970.

Тменов В. Х., Тменов А. В. О стране Терк-Турк в осетинском фольклоре // Ритмы истории. Вып. 2. 1. Археология, этнография, фольклор. Владикавказ, 2004. С. 265–273.

Томаев С. Б. Потомки Агуза. Томаевы // Современная методология и методика гуманитарных исследований. (Материалы I зимней школы-конференции молодых ученых. 6–7 февраля 2007 г.). Владикавказ, 2007. С. 100–106.

Уарзиати В. С. Из истории осетинско-кабардинских взаимоотношений // Проблемы этнографии осетин. Орджоникидзе. С. 79–112.

Чистов К. В. К вопросу о принципах классификации жанров устной народной прозы. М.: Наука, 1964.

Чумакова Ю. А. Расселение славян в Среднем (Рязанском) Поочье по лингвистическим и историческим данным. Уфа, 1992.

Ярневский И. З. Устный рассказ как жанр фольклора. Автореферат дис. ... канд. фил. наук. Улан-Удэ, 1966.

Reidar Th. Christiansen. The Migratory Legends. A Proposed List of Types with a Systematic Catalogue of the Norwegian Variants. FFC. Helsinki, 1958. No. 175. 2. utgave: Arno Press. New York, 1977.

Marjatta Jauhiainen. The Type and Motif Index of Finnish Belief Legends. Revised and enlarged edition of Lauri Simonsuuri's Typen- und Motivverzeichnis der finnischen mythischen Sagen (FFC. No. 182). Folklore Fellows' Communications. No. 267. Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia (Academia Scientiarum Fennica), 1998.

Bengt af Klintberg. The Types of the Swedish Folk Legend. FFC. Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia = Academia Scientiarum Fennica, 2010. № 300.

Klimova-Rychnowa D. Priprava katalogy ceskuch povestich zanru // Slovensky národopis. 1963. № 2–3.

Lena Newland. Motif-Index of Latvian Folktales and Legends. Paperback, 1981.

Lauri Simonsuuri. Typen-und Motivverzeichnis der finischen mythischen Sagen. FFC. Helsinki, 1961. № 182.

Т. М. Хаджиева

РЕЛИГИОЗНО-МИФОЛОГИЧЕСКИЕ МОТИВЫ В НАРТСКОМ ЭПОСЕ КАРАЧАЕВЦЕВ И БАЛКАРЦЕВ

«Нартиада» относится к архаическому типу эпоса. Одной из особенностей нартских песен и сказаний является их интернациональный характер – они известны многим кавказским народам: осетинам, карачаевцам и балкарцам, адыгам, абхазам, ингушам, чеченцам. Нартские сюжеты фрагментарно встречаются и в фольклоре народностей Дагестана, у сванов и рачинцев.

Несмотря на то что в разных версиях Нартиады много общего (общее название эпоса и имен некоторых нартских героев, сходство сюжетов и мотивов и т. д.), в каждой этнической традиции воссоздана своя мировоззренческая картина мира. Так, в частности, в карачаево-балкарской версии кавказские и локальные самобытные эпические традиции сочетаются с эпической традицией тюркских и монгольских народов. Например, в религиозных верованиях балкарцев и карачаевцев главенствующее положение занимал Тейри (Тенгри) – верховное божество этих народов. В эпосе Тейри покровительствует и помогает нартам во всем.

Согласно карачаево-балкарским сказаниям, сотворение мира и нартов связано с деятельностью Богов – Тейри Земли, Тейри Солнца и Тейри Неба, которые принимают самое активное участие в судьбе нартских героев. В сказании «Тейри и нарты» говорится:

«Кюн Тейриси кюнню жаратханды. Жер Тейриси жерни жаратханды. Ючюнчюге тенгизле жаратылгьандыла. Кёк бла жер жаратылгьандан сора экисини ортасында адам улу жаратылгьанды. Кёк бла жер жаратылгьандан сора экисини ортасында адам улу жаратылгьанды» (Нарты. Карач.-балк., 1994. С. 68).

«Тейри Солнца сотворил солнце, Тейри Земли сотворил землю. Моря были сотворены в третью очередь. Когда были сотворены небо и земля, между ними были сотворены люди».

Послн Тейри Неба, Тейри Солнца, Тейри Земли и Тейри Воды посоветовались и решили:

«Суу Тейриси адам улусуна ичерге суула берирге бойнуна алгьанды; Жер Тейриси да юсюнде берекетле битдирип, ашатыргьа, адам улуну кечиндирирге кесине жюкге алгьанды; Кюн Тейриси жылытыргьа; Кёк Тейриси жаунла жаудурургьа дегендиле» (Нарты. Карач.-балк., 1994. С. 68).

«Тейри Воды будет давать нартскому роду воду для питья; Тейри Земли взял на себя растить урожай и кормить их; Тейри Солнца – светить; Тейри Неба – посылать дожди».

В эпосе сохранились яркие реликты почитания солнца, которое выступает как всемогущий предводитель всех Тейри, как один из создателей земли и космоса:

«Кюн Тейриси тейрилени башыды, оноучусуду. Ол сууланы, кёклени, жерлени къудуретли бегимиди. Кюн Тейриси учсуз, бужакъсыз узакъдады. Ол къайнайды, жайда жерге къаты жылыу береди, къышда, бизден жылыуун Ёксюзле дуниясына иеди, аланы жылытады.

Кюн Тейриси, ачыуланса, жерни кюйдюреди, тенгизлени къурутады. Эртте заманланы биринде Кюн Тейрини туманла ачыуландыргьандыла. Туманла, жерни юсюне жатып, кюн жарыгьын иймей тохтагьандыла.

Кюн чамланнганды, ачыуланып, жерге айланып, ахсынып, кюкюрегенди, къусханды. Кюнню ёзегинден ташла, учхунла жерге жаугьандыла. Ма алтын, кюмюш, темир ташла аладан болгьандыла. Ала кюнню къусханындан болгьандыла.

Кюн Тейрисини баш аты Къайнар-тейри болгьанды. Къайнар-тейри бла Жер Тейриси тауланы, жерлени, сууланы, жулдузланы да жаратхандыла, болдургьандыла дейдиле. Ала жерни жаратханда, жер къалтыраукъ, тенгизле чайкъан-тылы, толкъунлу болгьандыла. Нарт улулары, баш уруп, Тейрилеге жети жылны жилягьандыла, айтхандыла:

Жерни жаратхансыз – къалтыратмагьыз, Сууланы болдургьансыз – чайпалатмагьыз! – деп тилегенлеринде. Къайнар-тейри, тауланы жаратып, жерге чюйле этил ургьанды. Андан сора жерни къалтырагьаны, тенгизлени чайпалыулары тохтагьанды» (Нарты. Карач.-балк., 1994. С. 68).

«Тейри Солнца – глава, предводитель [всех] Тейри. Он мощный держатель мира. Тейри Солнца находится в бесконечной, бескрайней дали. Он [все время] кипит: летом дарует свою жару земле, зимой же посылает [часть] этого тепла в Мир сирот и согревает их.

Когда Тейри Солнца гневается, он выжигает землю, иссушает моря. Однажды, в древние времена, туманы рассердили Тейри Солнца: они, обложив всю землю, не пропускали солнечного света.

Солнце рассердилось, разгневалось и, обратившись к земле, загрохотав, начало извергаться. Из сердцевины солнца на землю дождем посыпались искры и камни! Вот откуда появились на земле золото, серебро, железная руда. Все это – извержения солнца.

Главным именем Тейри Солнца было Кайнар Тейри. Говорят, что, когда Кайнар Тейри вместе с Тейри Земли сотворил землю, земля [все время] дрожала, а моря волновались. Племя нартов, поклоняясь Тейри, семь лет плакало и молило:

Землю сотворили вы – не сотрясайте [ее],
Воды явили вы – не волнуйте [их]!

И тогда Кайнар Тейри создал горы и как клинья вбил их в землю. Вот после этого прекратились колебания земли и волнения морей».

В сказании же «Про первого нарта Дебета Золотого», в котором подробно описывается эпоха Первотворения, Бог из частей своего тела создает не только вселенную, но и первочеловека – нартского кузнеца Дебета *(Нарты. Карач.-балк., 1994. С. 304–305)*.

В образе карачаево-балкарского Дебета, как и осетинского кузнеца Курдалагона, адыгского Тлепша, абхазского Айнар-ижи, отразилась эпоха освоения кузнечного ремесла. Он, вероятно, может рассматриваться как развитие в эпическом контексте образа какого-то мифологического существа или божества древних балкарцев и карачаевцев. Подтверждение тому находим в самих сказаниях: согласно одним вариантам, он родился от священного брака неба и земли (мотив космического брака из всех национальных версий встречается только в карачаево-балкарском нартском эпосе):

От Тейриси Жер Тейрини алгьанды,
Кёк кюкюреп жер бууаз болгьанды.
Тогъуз жылны, тогъуз кюнню
Ол бууаз болуп тургьанды
Жер жарылып сора Дебет тугьанды.
(Нарты. Карач.-балк., 1994. С. 302)

Бог Неба на богине Земли женился.
Загремело небо и Земля зачала.
Девять лет и девять дней
Она беременной была
Потом земля разверзлась, и родился Дебет.

А в эпическом тексте «Моление нартов Тейри» нарты сами говорят о своем божественном происхождении:

Тейри, сени къулунгма, кесим да нарт улума!
Суу Тейриси, суудан салгьанса къанымы,
Кёк Тейриси бергенди жанымы.
... Нартла бары жаратылдыкь, Тейри, къанынгдан,
Нартха ётдю хар бир жигинг санынгдан
(Нарты. Карач.-балк., 1994. С. 283)

Тейри! Я, нартов сын,– твой раб!
Тейри Воды сотворил из воды мою кровь,
Тейри Неба даровал мне мою душу,
...В нартах течет твоя кровь, Тейри,
Нарты – часть твоей плоти.

Специфика изображения нартских героев обусловлена героико-эпической эстетикой древнего эпоса. Идеализация большинства из них начинается уже с описания их рождения и детства. В исследуемом эпосе мотив божественного и чудесного рождения связан с образами всех основных нартских героев.

Так, как мы указали выше, Дебет – сын Тейри Неба и Тейри Земли; Сатанай – дочь Солнца и Луны; Ерюзмек появился из хвостатой звезды, упавшей на землю; Сосурук – сын камня; Карашауай – внук Дебета, а мать его – эмегенша (великанша).

С мотивами чудесного рождения нартских героев связаны и другие постоянные архаические общефольклорные мотивы: фантастически быстрый рост, богатырское детство, первый подвиг и т. д.

Мотив божественного или чудесного рождения предопределяет и необыкновенность, исключительность героев (сердце и кровь Дебета из огня, он понимает язык огня, камней, зверей и птиц и т. д.; прекрасная Сатанай – чародейка и провидица; Карашауаю подвластна стихия холода, он и его богатырский конь Гемуда могут менять свой облик и т. д.).

Нартские герои наделяются не только различными сверхъестественными способностями, они обладают и чудесными предметами: бочонок (чаша) Агуна, котел о сорока ушках, меч Ёрюзмека, талисман Чюерды и т. д., а также имеют волшебных помощников (чаще всего это богатырский конь нартского героя). Тот факт, что герои сказаний обладают магическими свойствами и чудесными предметами, является одним из средств эпической идеализации персонажей. В свою очередь, эти магические свойства и предметы им «необходимы для выполнения героических, богатырских задач» (Алиева, 1969. С. 45) в борьбе с различными враждебными существами – эмегенами – чудовищными великанами, агач киши – лесными людьи, сарыуеками – драконами, желмаузами – демоническими существами и др.

Спецификой исследуемой версии является то, что главная ее эпическая тема – борьба нартов с мифологическими чудовищами-эмегенами.

«Между нартами и эмегенами велась постоянная борьба, в которой благодаря своему умственному превосходству нарты всегда оставались победителями... Нарты питали к ним постоянную ненависть за то, что эмегены ели человеческое мясо» (Нарты. Карач.-балк., 1994. С. 600).

Эмегены – не только постоянные эпические враги нартов, они – источник зла и хаоса на земле. Быстро размножаясь (у эмегенши, жены Алаугана, дети рождаются через каждые три месяца; прабабка эмегенов рожает по сто эмегенов), эти ненасытные чудовища пожирают все живое. И чтобы очистить от них землю, Бог создает нартов, которые ведут с ними непрерывную борьбу *(Нарты. Карач.-балк., 1994 . С. 304).*

Здесь, как и в фольклоре многих народов мира, «функция Бога заключается в создании дуального мира, в превращении потенциального мира в мир реальный, где есть оппозиции света и тьмы, жизни и смерти, добра и зла» (*Елизаренкова Т. Я., Сорокина А. Я.,* 1965. С. 18).

Главным же истребителем эмегенов выступает нарт Ёрюзмек. У него, как и у других подобных ему эпических героев (Гильгамеша, Тора, Амирани, Нюр-гун-Боотура, героев бурятских улигеров и др.), задача одна – уничтожение чудовищ, которые нарушают мирную жизнь его племени.

* * *

У балкарцев и карачаевцев, как и у других народов – носителей Нартиады – сказания составляют ряд больших и малых циклов. Каждый цикл – это группа небольших по объему сказаний и песен о появлении на земле нартского племени; о различных этапах и событиях эпической жизни героев (рождение, богатырское детство, первый подвиг, женитьба, борьба с мифическими чудовищами, с кровником и т. д.).

Одни циклы образуются из ряда сказаний, которые группируются вокруг имен нартских героев по биографическому принципу (Ёрюзмек и Сатанай и др.), другие – по генеалогическому (Дебет – Алауган – Карашауай; Ачей – Ачемез, сын Ачея, Бёдене – Рачыкау). Малые циклы складывались из сказаний и песен о нартских героях, с именами которых связано небольшое количество сюжетов и чьи эпические «биографии» детально не разработаны.

Каждый цикл представляет собой достаточно самостоятельную и законченную группу сказаний, однако, все циклы взаимосвязаны (а иногда и взаимообусловлены). С. А. Урусбиев в 1881 г. в своем «Предисловии» к нартским текстам, опубликованным в первом выпуске СМОМПКа, писал: «Сказания о нартах кажутся на первый взгляд не имеющими между собою ничего общего, но при ближайшем рассмотрении нельзя не заметить внутренней связи между ними, как бы между частями одной эпической поэмы» *(Урусбиев С.-А., 1881. С. VIII).*

В целом же карачаево-балкарская версия Нартиады – композиционно разработанный и завершенный эпос: в нем воссоздана жизнь нартского племени от его появления на земле до гибели или переселения его на небо или в подземный мир.

* * *

Сказания о Дебете наряду с сюжетной группой о рождении нартских героев являются наиболее архаическим пластом рассматриваемой версии, так как они испытали сильное влияние языческой мифологии. В образе карачаево-балкарского Дебета, как и осетинского кузнеца Курдалагона, адыгского Тлепша, абхазского Айнар-ижи, отразилась эпоха освоения кузнечного ремесла. Он, вероятно, может рассматриваться как развитие в эпическом контексте образа какого-то мифологического су-

щества или божества древних балкарцев и карачаевцев.

Во всех нартских сказаниях и песнях Дебет – не только первый нарт, но и первый кузнец и оружейник на земле: Бог, создав Дебета, поселил его у подножия Эльбруса и *«обучил его хитрому делу – добывать железо. Из земли добывать, с углем в сталь обжигать. И оружие из стали ковать»* (Нарты. Карач.-балк., 1994. С. 304).

В карачаево-балкарском эпическом памятнике Дебет, как и Сатанай, наделен универсальными функциями. В сказаниях постоянно подчеркивается роль Дебета-первотворца: он первый на земле изготовил различные предметы быта, оружие и доспехи, подковал нартских коней и т. д. Дебет является и учителем нартов: он обучил «своих соплеменников ковать железо», говорится в варианте П. Острякова (Нарты. Карач.-балк., 1994. С. 305).

С именем Дебета связаны и такие космогонические мотивы, как появление звезд, звездопад:

«Были времена, когда на небе не было звезд. В те давние времена ночи были очень темны. Такие темные ночи называли "асууат кечеле". В те века на земле жили сыны нартов, [они] охотились на львов и тигров, сражались с эмегенами, агач киши, алмасты... Среди нартов пелиуаном слыл нартский кузнец по имени Дебет. Он понимал язык всего, что его окружало. Когда Дебет [начал] ковать железо, искры, вылетавшие [из-под его молота], взлетели в небо и превратились в звезды. И ночи асууат стали светлыми» (Нарты. Карач.-балк., 1994. С. 596).

Непобедимость и всесокрушаемость оружия Дебета объясняются и тем, что в выплавляемое железо он добавлял кусочки метеорита, из которого вышел Ёрюзмек (Нарты. Карач.-балк., 1994. С. 308). Мотив меча, выкованного из небесной руды, в Нартиаде встречается и в осетинском сказании «Меч нарта Ахсара» (Нарты. Кн. 2. Осет., 1989–1990. С. 456–458).

Мастерство Дебета в карачаево-балкарском эпосе ценится и воспевается не меньше подвигов нартских героев, ибо, как говорится в одном из сказаний о нем, «нарты не смогли бы победить своих врагов на земле без всесокрушающего оружия Дебета и боевых коней, которых он подковывал».

Карачаево-балкарский Дебет, как и карело-финский Вяйнямейнен, после ряда культурных деяний уходит от своего народа. В сказании «Дебет – небесный кузнец» говорится, «когда Дебет снабдил нартов на земле всем, что им было нужно из железа, и у нартов не стало для него работы, он, сказав: *"Я не смогу жить на земле без работы",– сделал железную колесницу с крыльями, [сел на нее] и улетел на небо. Говорят, он и сейчас там живет и работает кузнецом у солнечных и небесных людей. На небе, как и на земле, он кует железо. Когда он кует железо, искры летят на землю – это мы называем звездопадом. Дебет не умер, [он] – небесный кузнец»* (Нарты. Карач.-балк., 1994. С. 596).

В карачаево-балкарском эпосе у Дебета девятнадцать сыновей, которых он женит, согласно нартскому обычаю, начиная с младшего.

Следование этому обычаю во многом определило судьбу старшего сына Дебета – Алаугана, который состарился, пока очередь дошла до него, и «сделался посмешищем для всего народа».

По другим вариантам могучий исполин Алауган не может найти среди нартских женщин жену себе под стать. Поиски жены и его женитьба – основная сюжетная линия нартских песен и сказаний об Алаугане.

Во всех вариантах сказаний Алауган рисуется как богатырь фантастической силы, благодаря которой он выступает как неутомимый истребитель эмегенов (Нарты. Карач.-балк., 1994. С. 396, 404).

Алауган отобрал у эмегенов и принес нартам волшебный котел о сорока ушках, в который

...мясо класть не надо,
Лишь воды налить да огонь разложить –
Сорока быков он наполнится мясом.

(Нарты. Карач.-балк., 1994. С. 408)

В цикле Дебет – Алауган – Карашауай, как и во всем эпосе балкарцев и карачаевцев, персонажи составляют два враждебных племени – нартов и эмегенов. Одна из самобытных черт этого цикла состоит в том, что именно в нем получил яркую художественную разработку международный мотив брачных связей между племенами-антагонистами. Особый колорит, оригинальность сказаниям об Алаугане придают описания его борьбы с эмегенами, встречи с его будущей тещей, изображение облика эмегенш, их занятий, быта, жилья и т. д.

Женившись на дочери эмегенши (а в нартской песне «Алаутан» говорится, что герой отобрал у эмегена его жену), он привозит ее в страну нартов. Но его чудовищная жена (есть варианты, где она изображается даже пятиглавой) пожирает не только своих детей, но и чужих. Опечаленный этим, старый Алауган по совету Сатанай сам (в некоторых вариантах Сатанай или мать Алаугана) во время очередных родов эмегенши выкрадывает ребенка и прячет его в ледниках Эльбруса, где он и вырастает, вскормленный его ледяными сосульками. Карашауай вырос, питаясь ледниками Эльбруса. «Ты и я вскормлены одной матерью водяною», – говорит Карашауаю его конь Гемуда из породы морских лошадей. В варианте П. Дьячкова-Тарасова Карашауай вскормлен драконьим молоком (Нарты. Карач.-балк., 1994. С. 431).

Нарт Карашауай в карачаево-балкарском эпосе наделен магическими свойствами: он, например, выступает повелителем стужи (Нарты. Карач.-балк., 1994. С. 463; 477; 486).

Карашауай ведет непримиримую борьбу не только с эмегенами («Три нарта и три эмегена», «Шауай и Рачикау»), с его именем связана и классическая тема мирового фольклора – змееборство. Он сражается с огнедышащим многоголовым драконом, который в эпосе символизирует засуху, выступает хранителем воды. *«Через пять лет у вас все реки должны высохнуть... Вот тебе, отец, рыбий глаз. Возьми его и лижи, и тогда у тебя сила увеличится», – так сказал Генджакешауай отцу и дал ему белый камень... «На вершине горы сидит двенадцатиглавый змей Сарубек* (дракон. – *Т. Х.*), *он-то и выпивает всю воду. Когда я был в трещине, я питался молоком Сарубек; теперь же Аллах меня послал, чтобы я своим мечом убил Сарубек, – тогда воды везде будет вдоволь»* (Нарты. Карач.-балк., 1994. С. 431).

Богатырский конь Карашауая Гемуда предстает в исследуемом эпосе как птица-конь-рыба. «Ты – конь земли, воды и воздуха», – говорит ему Карашауай в сказании «Карашауай испытывает Гемуду». На самом деле, для этого коня нет никаких пространственных границ: он связан с подземным и подводным миром.

Помимо варианта, записанного А. Н. Дьячковым-Тарасовым (Нарты. Карач.-балк., 1994. С. 430), в карачаево-балкарском эпосе зафиксировано еще несколько сказаний, где говорится о морском происхождении Гемуды: «Нарт Карашауай и Гемуда», «Карашауай испытывает Гемуду» и др. В сказании же «Карашауай и Гемуда» подчеркивается, что у Гемуды, *«как у рыб, были жабры, и он в морях и озерах дышал через них»* (Нарты. Карач.-балк., 1994. С. 438).

Если в сказаниях о Дебете отразились различные мифологические представления предков балкарцев и карачаевцев, а для сказаний о женитьбе Алаугана характерна сказочно-мифологическая интерпретация, то в сказаниях о Карашауае превалируют богатырские и этиологические мотивы. В цикле Дебет–Алауган–Карашауай специфично своей этиологической архаикой описание пейзажа-панорамы в сказании «Карашауай испытывает Гемуду»:

До отвесной скалы они добрались
Эту скалу на две части раскололи.
Пусть это будет Черекским ущельем, – сказали.
Ударив копытом по земле (Гемуда), открыл Голубое озеро.
Дыханием (своим) вековые горы разрушил.
И появилась теснина Чегема,
И засверкали на ней водопады...
Одним прыжком они (Карашауай и Гемуда) оказались у Эльбруса.
Перепрыгнули через него на другую сторону,
Потом через вершину назад вернулись,
Но копытом задел (Гемуда) вершину,
И образовалась седловина (двухглавая вершина Эльбруса).

(Нарты. Карач.-балк., 1994. С. 438)

В анализируемой версии Нартиады народная фантазия наделила своего любимого героя лучшими качествами. В его образе гармонически сочетаются не только богатырские достоинства (сила, отвага, ловкость и т. д.), но и высокие моральные качества (мужество, скромность, верность данному слову и т. д.). Его образу присущи также черты, соответствующие архаической форме идеализации героя (оборотничество, магия погоды, дар предвидения). К имени Карашауая в эпосе прикреплен и мотив Орфея.

Карашауай карачаево-балкарских сказаний неуязвим, непобедим и бессмертен. В сказании «Карашауай не умер, он жив» повествуется о том, что Карашауай и Гемуда, уничтожив врагов, поднялись на Эльбрус и что они до сих пор там живут: *«Сын Алаугана Карашауай жил на вершине Минги тау. [Он] выкопал в седловине Минги тау [яму], и оттуда забил чистый, прозрачный ключ. Вот это и есть родник, который называют "Родник Минги тау, дающий бессмертие..." И сейчас, когда видят долгожителя, говорят: "Наверное, он пил воду [из родника] Минги тау"»* (Нарты. Карач.-балк., 1994. С. 484). В начале XX в. профессор М. К. Голомбиевский относительно этого поверья карачаевцев и балкарцев писал: *«Легенда говорит, что между вершинами Эльбруса, пониже седловины, есть родник с теплою водой, выходящей наружу двумя струями, одна из которых дает живую воду, другая – мертвую. Стережет этот родник особого вида орел, который на всякого дерзкого, взбиравшегося на вершину, сначала напускает метель, а если это не заставит его вернуться, выклевывает ему глаза»*. (Голомбиевский М. К., 1903. С. 34).

В данном цикле встречаются и реликты мотива изначальности жизни на земле и связанного с ним мотива первоначального одиночества героя.

* * *

Эти мотивы традиционны и для цикла Ёрюзмека и Сатанай, которые занимают центральное место в системе образов карачаево-балкарского нартского эпоса. Сказания и песни о них составляют самостоятельный законченный цикл, в котором различные эпизоды из их «эпических биографий» разработаны во всех деталях.

В сказании «Рождение Ёрюзмека» говорится, что кузнец Дебет в горах увидел, как с неба на зем-

лю упала большая хвостатая звезда. Когда он пришел к месту ее падения, то увидел расколовшийся надвое большой синий камень: между этих обломков лежал младенец-богатырь, который, «крепко схватив за шею громадную волчицу, сосал ее молоко» (Нарты. Карач.-балк., 1994. С. 309).

Первый подвиг юного Ёрюзмека – победа над божеством нартов «всемогущим Пуком» (Фуком). Спасаясь от преследования Ёрюзмека, Пук улетает на небо. По варианту Тульчинского, Пук поселился между «небом и тучами... дождь и росу на небо снес и начал согревать землю» (Нарты. Карач.-балк., 1994. С. 323). По совету Сатанай Ёрюзмека зарядили в пушку (в одном из вариантов Ёрюзмек попадает в небесное жилище Пука при помощи бурдюка, наполненного воздухом), выстрелили в небо, и он очутился в небесной крепости Пука. Здесь, по одним вариантам, он хитростью легко убивает врага, по другим – побеждает в трудной богатырской схватке.

После смерти Пука «семь недель лился дождь с кровью; на земле опять наступил берекет – довольство: хлеба начали цвести, деревья приносить плоды, животные размножаться, женщины – рожать детей» (Нарты. Карач.-балк., 1994. С. 323). Ёрюзмек возвращается на землю на коне-ветре, которого к нему прислала Сатанай. Нарты устраивают в честь него большой той и поют величальную песню, в которой прославляют Ёрюзмека и его подвиг. А в варианте Урусбиева *«Урызмек за свой подвиг был сделан главою нартов, стал общим любимцем и женился на прекрасной всезнающей княжне Сатаной»* (Нарты. Карач.-балк., 1994. С. 323). В вариантах сказаний на этот сюжет большой интерес представляет моделирование пространства, которое имеет ряд специфических особенностей. Пространство в карачаево-балкарском эпосе, как и время, почти всегда носит универсальный характер: «Исходящий из пещеры свет костра освещал всю вселенную».

В эпосе большое значение приобретает схематическое разделение пространства. Так, эпический герой постоянно попадает в ситуацию пространственного выбора. Разделение пространства носит дробный характер типа «небо – земля», «туда–сюда» и т. п. Ёрюзмек сражается с Фуком в его небесном жилище, а результаты боя («кровавый дождь») осознаются на земле. На землю падает и голова Фука. Ёрюзмек же остается в небесном жилище. Таким образом, пространственная соотнесенность событий имеет символическое значение, эпическая же география настолько объемна (небо – земля), что лучше всего реализует универсальность пространства. Этот характер обращения с пространством в эпическом повествовании особенно ярко сказывается при характеристике эпического действия, которое всегда носит пространственно-маркированный и одновременно универсальный характер. Например, при описании добывания Ёрюзмеком огня рассказывается, что герой ударяет камнем о скалу, в результате чего высекаются искры, часть которых поднимается к небу, а часть падает на землю. Те, которые улетели на небо, превратились в звезды, а те, которые пали на землю, послужили огню. Позиция героя в этой ситуации оказывается «пронизывающей», межпространственной. Не случайно поэтому важнейшим параметром, характеризующим превосходные качества героя, является его пространственный, количественный образ: конь – ветер, персонажи необычайных размеров, герой, метающий мельничный жернов. Сравнения, гиперболы, эпические формулы и другие средства эпической поэтики опираются на пространственную образность. В связи с этим качеством находится и третья основная особенность описания пространства в нартском эпосе. Универсальное значение пространства приводит к его детальной разработанности, которая отражает национальную специфику мировосприятия, национальное художественное видение. Потому особое значение приобретают образы камня, горы, неба, коня, преодолевающего расстояния, пещеры, жилища в широком смысле. Именно для названия гор, горных массивов, цепей, различных каменистых участков в эпосе применяется разработанная терминология.

В карачаево-балкарской «Нартиаде» Ёрюзмек предстает не только как «вождь, муж и старец» (Дюмезиль, 1976. С. 51), но и как родоначальник, и могучий богатырь – предводитель нартских воинов: «Нарты перед джортуулами (походами. – *Т. Х.)* собирались у Урызмека и уж тогда оттуда отправлялись в странствия под его предводительством» (Урусбиев, 1881. С. 18). В нартских песнях и сказаниях его устойчивые эпитеты: «деу» – «могучий великан»; «алф» – «богатырь»; «тёбе санлы» – «курганоподобный»; «пелиуан» – «богатырь» и т. д. Постоянно подчеркивается его богатырство, физическая мощь, стремительность:

От его крика горы и скалы дрожали,
Дыханием своим он туманы разгонял.
Он головы рубил, как траву косил...
На вороной лошади с гибкими подпругами,
Крылатей могучего орла,
С молнией равный всадник

(Нарты. Карач.-балк., 1994. С. 320)

В цикле Ёрюзмека и Сатанай особое место занимают и варианты нартских песен и сказаний о том, как Сатанай спасла Ёрюзмека от расправы нартов во время «пира с западней».

Как и во всех версиях Нартиады, в сказаниях балкарцев и карачаевцев, где фигурирует жена

Ёрюзмека Сатанай, подчеркивается ее исключительное место в нартском обществе.

Несмотря на то что Ёрюзмек выступает предводителем нартов почти во всех сказаниях, он ничего не делает без совета и благословения Сатанай. Не только Ёрюзмек, но и все жители нартской земли – «лишь исполнители ее воли и советов» (Урусбиева, 1979. С. 48).

По карачаево-балкарской версии «Солнце – отец Сатанай, Луна – родившая ее любимая мать». В нартских песнях и сказаниях чудесное рождение Сатанай, ее детство разработаны подробно. Так, в нартской песне «Прекрасная Сатанай», в которой отразились архаические мифологические представления древних балкарцев и карачаевцев, повествуется о том, что маленькую Сатанай похитил у ее родителей Тейри Моря – Суу Желмаууз (Морской дракон) – и спрятал ее в своем царстве.

В нартских сказаниях и песнях постоянно подчеркивается лучезарная, ослепляющая красота Сатанай (Нарты. Карач.-балк., 1994. С. 306). Светящееся тело Сатанай – не просто эпическая условность. Образ связан с солярным происхождением героини.

В исследуемом эпосе божественным происхождением Сатанай обусловлен и ее культ как матери-прародительницы нартов. Выйдя замуж за нартского героя Ёрюзмека, она «стала матерью нартов», говорится в песне «Прекрасная Сатанай». А по сказанию, записанному Н. М. Дрягиным в Балкарии. Сатанай – «славная прародительница Шауая, Алаугана и Сосруко» (Дрягин, 1930. С. 28).

Помимо культа матери-прародительницы в ее образе, несомненно, прослеживается и культ какой-то астральной богини предков балкарцев и карачаевцев, связанной с их солярными и лунарными мифами. Кроме этого, мы считаем, что в ее образе нашли отражение и их представления о матери-земле. Наверное, поэтому функции этой мудрой, вещей чародейки универсальны: она и покровительница, и советчица, и помощница всех нартов, восприемница, воспитательница (Сосурука и Карашауая) и исцелительница.

В сказаниях на сюжет о рождении Сосурука один из постоянных эпитетов Сатанай – «каратон» («бездетная»). Нам кажется, что ее «знаковость» – бездетность – эпически предопределена: в силу того что Сатанай сконцентрировала в себе ряд культов древних балкарцев и карачаевцев, она должна заботиться о всех нартских героях и покровительствовать им всем. Свидетельство тому – отсутствие в рассматриваемом эпосе сказаний, где бы она причинила зло кому-нибудь из нартского племени. В отличие от других версий Нартиады мы не находим здесь «момента снижения образа Сатаны» (Абаева, 1978. С. 96, 100–102, 108–119; Мамиева, 1971. С. 127–130, 154–156; Салакая, 1969. С. 398).

Помимо названных функций, в эпосе балкарцев и карачаевцев очень ярко обозначена культурно-цивилизующая роль Сатанай: она научила нартских женщин прясть, шить, готовить бузу (в осетинской версии появление пива также связано с именем Сатанай), выпекать хлеб и т. д. При этом она сама сделала ткацкий станок, чесалку, казан, ручную мельницу. «Не было дня, чтобы Сатанай не научила жителей страны чему-нибудь новому», – говорится в сказании «Как нарты и Сатанай переселились на небо». Кроме того, она научила нартских женщин гадать на фасоли, а мужчин – на бараньей лопатке. В эпосе подчеркивается, что не только Ёрюзмек, но и все нарты «мудрости у нее набирались».

Карачаево-балкарская Сатанай, как и в других национальных версиях, является чародейкой: создает иллюзию звездного неба, может не только сама перевоплощаться в иной образ, но и делает это с другими, владеет магией слова и т. д. Все нарты, кроме Ёрюзмека, в борьбе со своими врагами часто прибегают к хитрости и используют свои магические и колдовские способности. Наверное, это объясняется тем, что всеми этими функциями обладает Сатанай, которая в нужный для Ёрюзмека момент использует их. Вероятно, это тоже своего рода эпическая закономерность: если бы Ёрюзмек был наделен волшебно-магическими свойствами, то помощь и роль Сатанай в их супружеской паре не имели бы такой эпической значимости: в эпосе акцентируется, что Ёрюзмек в большинстве случаев одерживает победу над своими врагами благодаря советам и помощи своей мудрой и вещей жены.

Универсальность функции Сатанай и ее культ в карачаево-балкарском эпосе, как мы уже отметили выше, предопределены ее небесным происхождением. Ее деятельность, как и деятельность нартского кузнеца Дебета, имеет общенартское значение: в большинстве сказаний подчеркивается, что нарты уничтожили всех своих врагов на земле благодаря советам и помощи Сатанай и мастерству кузнеца Дебета.

* * *

В карачаево-балкарской редакции о рождении Сосурука довольно своеобразно трактуются действия Сатанай. Извлекая Сосурука из камня и перерезая ему пуповину, она совершает магический обряд и при этом заклинает Тейри Неба, Тейри Земли, Тейри Воды и Тейри Огня: *«Сделайте его настоящим нартом: пусть его не берут ни меч, ни стрела! Пусть всегда побеждает он своих врагов!»*

Набрав воды из родников семи гор и полоща ею рот малыша, она говорит: *«Эти семь гор твои мате-*

ри, я прополоскала их молоком твой рот» (Нарты. Карач.-балк., 1994. С. 365).

Одной из особенностей карачаево-балкарских вариантов на этот сюжет является и то, что в них, в отличие от других версий, описывается внешний облик новорожденного (Урусбиев. С. 38). В варианте же П. Острякова дается и описание юного Сосурука, впервые появившегося среди нартов (Нарты. Карач.-балк., 1994. С. 335). Другой особенностью карачаево-балкарских сказаний из цикла Сосурука является подробное описание его богатырской силы, которую он проявляет уже в детстве, когда спасает Ёрюзмека во время нартского «пира с западней».

Анализ всей совокупности вариантов сказания о добывании Сосуруком огня показал, что в них основные сюжетные звенья совпадают с аналогичными произведениями других национальных версий. Однако в некоторых вариантах встречаются и существенные отличия. Например, помимо сказаний с традиционной мотивировкой выезда Сосурука за огнем (нартских воинов в пути настигает лютый мороз, они не могут развести костер, и им грозит гибель) имеется вариант (Нарты. Карач.-балк., 1994. С. 367), в котором эта мотивировка носит локальный характер, т. е. если в других национальных редакциях Нартиады Сосурук спасает от гибели только находившихся в походе нартских воинов, то в данном сказании он сохраняет жизнь всему племени нартов. Поэтому здесь его подвиг имеет общенартское значение.

Своеобразную трактовку получил в карачаево-балкарском эпосе эпизод со спинным мозгом (кишкой, жилой и т. д.) эмегена. Увидев, какой способностью обладает пищевод эмегена, Сосурук забирает его с собой и по совету Сатанай делит пищевод между Дебетом и нартскими воинами (Нарты. Карач.-балк., 1994. С. 374). Закаленные или смазанные им мечи и стрелы становятся ядовитыми и всесокрушающими. Непобедимость нартского оружия в сказании объясняется использованием нартами и Дебетом этого ядовитого пищевода эмегена.

Следует отметить, что сюжетообразующие мотивы рассматриваемого сказания – игры Сосурука с великаном, смерть от своего оружия, предсмертная хитрость великана – традиционны не только для общекавказской Нартиады. Они широко представлены в эпической традиции некоторых тюркомонгольских народов (см. [Радлов, 1866. С. 29–58; Никифоров, 1815. С. 107–127; Суразаков, 1985. С. 41]).

В нартских песнях и сказаниях герои предстают богатырями, обладающими большой физической силой, но рядом с огромными эмегенами они ничтожно малы. Эмегенам присуща огромная циклопическая мощь, но они страшно глупы и неразумны. Силе, коварству эмегенов противопоставляются ум, находчивость нартских героев.

Особенно наглядно это представлено в песне «Сосурук и эмеген», где основные функции Сосурука – добывание огня и уничтожение эмегена – строятся на антитезе: хитрость и находчивость Сосурука – сила, глупость и коварство эмегена. Здесь контраст используется для воспевания и идеализации героя.

В сказании о Сосуруке и пауках-людоедах Сосурук выступает как избавитель нартов от огромных пауков, пожирающих людей. С его именем в этом сказании связывают и гибель эмегенов. Неутомимым истребителем многоголовых эмегенов, нарушающих мирную жизнь страны нартов, изображается Сосурук и в сказании «Три нарта и три эмегена» (Нарты. Карач.-балк., 1994. С. 486).

В других национальных версиях Нартиады Сосурук погибает от колеса Бальсага Ойнона (осет.), жан-шерха (адыг.), в анализируемом же эпическом памятнике смертельно раненного нарта спасает вещая Сатанай.

У балкарцев и карачаевцев бытуют также свои локальные версии о смерти Сосурука. В песне «Сосурук и Акбилек» он темной ночью тонет во время переправы через бурную реку. Другая версия содержится в сказании «Смерть Сосурука» (Нарты. Карач.-балк., 1994. С. 390): герой, преследуемый своими братьями, взбирается на высокую скалу. Когда он оттуда начинает угрожать и братьям, и нартам, те с проклятиями желают ему превратиться в камень. И тут же на их глазах Сосурук становится каменным изваянием. Здесь, нам кажется, налицо мотив, столь характерный для тюрко-монгольской эпической традиции: «Умерший богатырь возвращается туда, откуда пришел» (Неклюдов, 1984. С. 92).

В некоторых сказаниях цикла о Сосуруке, как и в эпосе в целом, наблюдается переплетение мифологических, героических и сказочных элементов («Сосурук под землей», «Пищевод эмегена» и др.), но и в этих сказаниях его «мифологическая природа... органически синтезирована с его эпической сущностью» (Далгат, 1972. С. 154).

* * *

В рассматриваемых сказаниях широкое распространение получили мотивы колдовства и магии: чудесное превращение и оборотничество, гибель врага только от своего оружия, военная хитрость (временная смерть), мотив неуязвимости и т. д.

Так, например, как мы отметили выше, Сатанай знает обо всех делах, происходящих на земле На-

ртов, а также предвидит будущие события. В сказаниях она меняет не только свой, но и чужой облик, «создает иллюзию звездного неба» и т. д. Сосурук обладает магической неуязвимостью, верховное божество Тейри всегда выполняет его просьбы. Карашауаю подвластна не только стихия холода. Он и его богатырский конь Гемуда могут менять свой облик. В сказаниях о Рачикау мотив «военная хитрость» реализуется через мотив «временная смерть»; Рачикау, чтобы выманить из замка спрятавшегося от него злоязычного Гиляхсыртана, принимает вид разлагающегося трупа. Как и в других версиях в рассматриваемом эпосе встречается и лечебная магия. Например, от прикосновения уст всезнающей Сатанай и от дыхания жены злого Кубу залечиваются самые глубокие раны. В сказаниях встречаются и волшебные предметы, обладающие лечебными свойствами: черный оселок, полотенце.

Анализ карачаево-балкарских сказаний показал, что в них помимо магических действий герои прибегают и к магии слова, заговорам, обращенным к различным языческим божествам.

Например, Сатанай, вынимая новорожденного Сосурука из камня, перерезал ему пуповину, совершает магический обряд и при этом произносит заклинание:

– «О боги Неба, Земли и Огня! Я заклинаю (прошу) вас, сделайте его настоящим нартом: (пусть его) не берут ни меч, ни пуля, ни огонь, всегда побеждающим своих врагов сделайте!» (Нарты. Карач.-балк., 1994. С. 365).

К заговорам и магическим действиям прибегают и враги нартов. Фук, спасаясь от Ёрюзмека, улетает в свой небесный замок из орлиных крыльев и оттуда грозится и проклинает нартов:

– Пусть страну нартов солнце испепелит,
Пусть пашни нартов перестанут колоситься,
Пусть их снохи не будут рожать сыновей!
Пусть их скот погибнет,
Пусть их нужда одолеет!

(Нарты. Карач.-балк., 1994. С. 319)

В сказаниях же о Сосуруке старая колдунья превращается в золотое кольцо (шлем), чтобы узнать его (Сосурука) уязвимое место.

В Нартиаде олицетворяются окружающая природа, явления, птицы, животные, предметы и т. д. Так, в сказании «Ёрюзмек и Сатанай» солнце, луна, звезды обладают человеческими качествами. В эпосе «очеловечены» птицы, животные, они наделены человеческим разумом, речью.

У многих народов конь был спутником и в мирной жизни, и в боевых походах. Вот почему в народных сказаниях образ коня занимает значительное место. Выбор коня, испытание его – постоянный мотив во всех эпосах.

Конь нартского героя – всемогущее и полуволшебное существо: «Он (Алауган) вывел свою лошадь Гемуду, которая обладала способностью говорить человеческим голосом и принимать вид всякого другого животного и которую до этого времени он держал в подземелье, кормя железными опилками» (Нарты. Карач.-балк., 1994. С. 463).

Балкарцы и карачаевцы вплоть до XIX в. оставались язычниками, несмотря на то что они испытывали определенное влияние мусульманства. Они поклонялись огню, воде, небесным светилам, животным, деревьям, камням и т. п. Языческие божества покровительствуют и во всем помогают нартам, исполняя их просьбы.

Анализ эпических сказаний позволил проследить эволюционную трансформацию архаических мотивов и элементов, встречающихся в исследуемом эпосе. Это объясняется тем, что нартский эпос в своем формировании прошел различные стадии развития, в которых «одни и те же понятия, сюжеты и образы не только изменялись и переосмыслялись, но даже иногда и вовсе заменялись другими, в корне противоречащими прежним понятиям и представлениям народа» (Далгат, 1972. С. 252).

Так, например, одним из древних мифологических образов, олицетворяющих враждебные человеку силы природы, у балкарцев и карачаевцев был одноокий, многоголовый эмеген – людоед. Образ этого чудовища принадлежит к архаическому типу, так как он лишен какой-либо исторической конкретности.

На более ранней стадии развития эпоса образу извечного врага нартов присущи черты и атрибуты фантастического чудовища: гигантские размеры, циклопическая сила, каннибализм; они говорят на своем «эмегенском» языке; их приближение всегда сопряжено с возникновением стихийных явлений природы. У них один глаз видит днем, другой – ночью. Помимо этого, в сказаниях встречаются мотивы волшебного свойства отдельных частей тела эмегенов: съев мясо или выпив кровь эмегена, нарты приобретают его силу, чудесные свойства.

Постепенно фантастический облик эмегенов меняется, приобретая человеческие черты, которые имеют уродливый, гипертрофированный характер. Эмегены уже владеют человеческой речью, варят пищу, ездят на конях, им приписывается коварство и спесивость.

Совершенно иную интерпретацию получает мотив волшебной силы мяса (крови) эмегенов: даже после смерти части их тела обладают сверхъестественной силой и смертельны для нартов.

В более поздних же сказаниях мифологические образы эмегенов постепенно трансформируются в

образы реальных врагов нартов (соперник, кровник, социальный враг).

Исследуемый материал показал, что сказания карачаево-балкарского нартского эпоса, несмотря на некоторые эволюционные изменения, передаваясь из поколения в поколение, сохранили свою архаическую основу.

Сосуществование в эпосе балкарцев и карачаевцев двух эпических традиций – общекавказской и тюрко-монгольской – особенно ярко проявляется в сказаниях, повествующих о судьбе нартского племени после того, как оно уничтожило на земле всех своих врагов. Наряду со сказаниями, в которых, как и у других носителей Нартиады, речь идет о гибели нартского рода, имеются сказания, в которых говорится, что нарты, истребив всех чудовищ на земле, по велению Тейри покинули землю: одни из них улетели на небо на «ветрокрылых конях», другие ушли в подземное царство Тейри Земли.

Обращает на себя внимание и то, что, хотя речь идет о переселении на небо половины нартов, в исследуемом эпосе конкретно называются только имена Дебета (Нарты. Карач.-балк., 1994. С. 596), Ёрюзмека (Нарты. Карач.-балк., 1994. С. 592) и Сатанай (Нарты. Карач.-балк., 1994. С. 597). И это, конечно, не случайность, а логически вытекает из связи героев с небом: они пришли на землю из верхнего мира, и, как это присуще мифо-эпической традиции многих народов, по завершении своего краткого пребывания в земном мире «они возвращаются в собственный – верхний мир» (Мифы народов мира. Т. 1. С. 233).

При этом мотивировка переселения этих героев не только четко определена, но и взаимосвязана со всем сюжетно-тематическим комплексом эпоса балкарцев и карачаевцев: они покидают землю после выполнения своих миссий – Дебет и Сатанай, с именами которых связано время «первопредметов» и «перводействий» (Мелетинский), исполнив свои цивилизующие функции, а Ёрюзмек – уничтожив зло на земле («культурные деяния богатырского плана»).

В сказании «Карашауай не умер, он жив», в котором повествуется о том, что Карашауай, истребив врагов нартов, покинул нартскую страну и поселился на Эльбрусе, читаем: «Почему же Карашауай вернулся туда, на Эльбрус? – Он вернулся потому, что, когда был маленьким, ледники (сосульки) Эльбруса были для него материнской грудью, он вскормлен ими.

Говорят, что, где бы человек ни был и ни скитался, его к старости тянет туда, где он вырос. Вот поэтому он и вернулся на Эльбрус» (Нарты. Карач.-балк., 1994. С. 485).

Нам кажется, что, согласно именно этому представлению балкарцев и карачаевцев, их нартские герои (причем герои, связанные только с архаическим слоем эпики) «возвращаются туда, откуда пришли»: Дебет, Сатанай и Ёрюзмек – в небо, Сосурук – в камень, а Карашауай – на Эльбрус.

Список литературы

Абаева З. В. Сатана – Сатаней– Гуаша (эпический образ и художественный контекст) // Сказания о нартах – эпос народов Кавказа. М., 1969.

Алиева А. И. Адыгский нартский эпос. М.; Нальчик, 1969.

Голомбиевский М. К. Попытка восхождения на Эльбрус в 1887 и 1888 гг. и топография этой горы и ее окрестностей // Известия Кавказского отдела Русского географического общества. 1903. XVI. Вып. 3. С. 34.

Далгат У. Б. Героический эпос чеченцев и ингушей. М., 1972.

Дрягин Н. М. Анализ нескольких карачаевских сказаний о борьбе нартов с еммечь // Яфетический сборник. Л., 1930. Вып. 6.

Елизаренкова Т. Я., Сорокин А. Я. К анализу индийского свадебного гимна // Труды по знаковым системам. Тарту, 1965. № 2.

Мамиева Н. Сатана в осетинском нартском эпосе. Орджоникидзе, 1971.

Неклюдов С. Ю. Героический эпос монгольских народов. М., 1984.

Никифоров Н. Я. Аносский сборник // ЗЗСОРГО. 1915. Т. 37.

Радлов В. В. Образцы народной литературы тюркских племен Южной Сибири и Дзунгарской степи. Ч. 1. СПб., 1866.

Салакая Ш. Х. К вопросу об эволюции эпического образа // Сказания о нартах. Эпос народов Кавказа. М., 1969.

Суразаков С. С. Алтайский героический эпос. М.: Наука, 1985.

Урусбиев С.-А. Сказания о нартских богатырях у татар-горцев (балкарцев – *Т. Х.*) Пятигорского округа Терской области // СМОМПК. 1881. Вып. 1. Отд. 2.

Урусбиева Ф. А. Карачаево-балкарский фольклор. Черкесск, 1979.

Э. А. Гордиенко

ИКОНА «СПАС ЦАРЯ МАНУИЛА» И СКАЗАНИЕ О НЕЙ – ПАМЯТНИК СОСУЩЕСТВОВАНИЯ И РАЗДЕЛЕНИЯ КНЯЖЕСКОЙ И ДУХОВНОЙ ВЛАСТИ В НОВГОРОДЕ

«Сказание о чудном видении Спасова образа Мануилу, царю греческому» – одна из немногих новгородских легенд, удостоившихся внимания ученых. Объяснение находится в отчетливо выраженной в ней идее власти, точнее, проблемы разделения власти духовной, дарованной от «высочайшего первосвященника, князя мира, Христа, и власти мирской, обращенной к преходящей, земной сфере».

Между тем единство двух властей никогда не было гармоничным и больше походило на боевое противостояние, драматическая история которого полна фактов, ставших причиной создания нормативных постановлений, законов и правил, наряду с которыми в повседневной жизни большое значение имел обычай. Обязательная сила его покоилась на убеждении, что в известных случаях необходимо держаться того, а не другого образа действий, и соблюдать неписаные правила, совокупность которых в юриспруденции называется обычным правом (Павлов А. С. 1902. С. 31).

Церковь также создавала свое обычное право. Оно не противоречило канону, но его необходимость доказывалась временем и постепенно усваивалась в сознании людей. Обычное право не только восполняло пробелы писаного церковного законодательства, но и ограничивало его действие, а иногда и заменяло его (Павлов А. С. 1902. С. 42–43). Эту роль не менее успешно, чем в гражданском обычае бросаемый ком земли или несомый на голове дерн, в церковном праве выполняла легенда, нереальность которой придавала убедительность юридическому действию.

К таким легендам относится и «Сказание о Спасовом образе», суть которого сводится к приговору о вмешательстве царя в церковные дела. Повествование в нем ведется от лица грека Дмитрия Ласкирева. Присутствуя на литургии в новгородском Софийском соборе, он обратил внимание священников на икону Всемилостивого Спаса на правом клиросе, «златом риза и икона утворена, а лице и руце и нозе от вапов...». Внимавшие ему служители храма отвечали, что эта «греческого письма» икона была привезена из Корсуни. Дмитрий же пояснил далее, что она «преже володимирова крещения была в Царьграде, а письмо Мануила царя греческого». Продолжая свой рассказ, он раскрыл содержание легенды.

Однажды пришлось царю наказать священника за неподобающие его сану действия. И в ту же ночь явился Мануилу Спас в том образе, что был запечатлен на иконе, и сказал: «Почто, царю, восхищаеши святительский суд, его же ти не предах. Тебе предано началство в человецех и от супостат оборона, святителем же повелено о душевном исполнении пещитися и имеют власть духовные вязати и решати». Указывая перстом «низу», Спас повелел пришедшим ангелам «возложити раны на царя Мануила». Пробудившись ото сна, император увидел раны «на теле своем», а на иконе жест благословляющей руки изменился на указующий вниз, как было в ночном видении. «И оттоле не учал (царь) святительского суда восхищати» (изложение легенды приведено по Волоколамскому списку, наиболее раннему из известных, датируемому по водяным знакам бумаги 1520 г.) (Щапов Я. Н., Брюсова В. Г. 1971. С. 103).

Многочисленные списки «Сказания» собраны и проанализированы Я. Н. Щаповым, выделившим четыре их редакции с изводами и видами, «отличающимися характерными комментариями и вставками» (Щапов Я. Н., Брюсова В. Г. 1971. С. 85–96).

Из этого обширного фонда для нас важны три основных извода первой редакции: Волоколамский, Летописный и Белозерский, ибо именно они демонстрируют главные этапы развития легенды.

Я. Н. Щапов подробно описал каждый из них, и все же обратим внимание на второстепенные детали, не заинтересовавшие исследователей, но, как выясняется, раскрывающие существенные нюансы сюжетного развития легенды.

В Волоколамском изводе отметим название иконы «Милосердный Спас (по списку РГБ. Волок. 491. Л. 184) или «Всемилостивый Спас» (по списку БАН. 21. 2. 18, Плиг. 59), а также известие о существовании иконы «преже Володимерова крещения», написанной царем Мануилом. Этот анахронизм может быть связан с историей самой иконы, созданной, по мнению летописца, в незапамятные времена и изменявшей свой облик в результате различных обстоятельств (Жданов И. Н. 1895. С. 97–98).

В Летописном изводе конца XVII в. (Щапов Я. Н., Брюсова В. Г. 1971. С. 88–89), списки которого восходят к новгородскому архиепископскому летописному своду конца XVI в. (Азбелев С. Н. 1960. С. 28–30), добавлены сведения из дальнейшей истории иконы, переместившейся в Успенский собор, «в царствующем граде Москве», в то время как

в Новгороде ее заменил список «с того чудотворного образа» (НЛ. С. 182–184).

Особую версию легенды, обусловленную инициативой московского царского дома, его интересами и политикой, представляет Белозерский извод, входящий в Кормчую книгу 1590-х гг. (Щапов Я. Н., Брюсова В. Г. 1971. С. 88–89). Здесь Дмитрий Ласкирев и его собеседники взирают уже на икону Спаса Вседержителя. Несколько облегчен и анахронизм с князем Владимиром. Теперь икона создана во времена Владимира Мономаха и его сына Георгия (Юрия Долгорукова). Но, как и в Летописном изводе, в Белозерском сообщается о принесении образа Спаса в Москву, в соборную церковь Успения Богородицы, «идеже и доныне есть верным знаем и от всех поклоняем». О том, что в Новгород был отправлен список иконы, здесь не упоминается (РНБ. Кир./Бел. 3/1080. Л. 430–431).

Обращаясь к главному действующему лицу легенды, Мануилу I Комнину, отметим, что имя его имеет устойчивую традицию на Руси. Развитие ее подробно проследил А. Д. Седельников. Возникновение «Сказания» об иконе царя Мануила он связывал с одним из ярких эпизодов новгородской истории – спором между архиепископом Серапионом и Иосифом Волоцким, длившимся с 1507 по 1516 г. (Седельников А. Д. 1925. С. 606–618). Не вдаваясь в подробности известного конфликта (Житие новгородского архиепископа Серапиона. С. 176, 200, 201; НЛ. С. 141–142; Хрущов И. 1868. С. 215, 237; Казакова Н. А. 1970. С. 76–77; Гордиенко Э. А. 2001. С. 28–33), отметим лишь, что существо его состояло в нарушении права архиерея на распоряжение своими владениями, частью которых в конце XV – начале XVI в. являлся Волоколамский монастырь (РИБ. 1880. Т. 6. Стб. 47, 401–402; АИ. 1841. Т. 1. № 24, 82). Вовлеченный в спор великий князь Василий III как бы повторял ошибку царя Мануила, о чем и должно было напомнить предание, существовавшее задолго до этого момента.

К такому заключению приходит и А. Д. Седельников, изучивший исторические реминисценции имени Мануила в древнерусском письменном наследии в двух направлениях. Продолжение традиции исследователь видел в памятниках российского законодательства середины XVI в., и завершением ее он считал «заповедь благочестивого царя Мануила Комнина греческого на обидящих святыя церкви», помещенную в 61-й главе Стоглава (Седельников А. Д. 1925. С. 616–617; Российское законодательство. 1985. Т. 2. С. 334–335). С именем Мануила в ней связывалось устройство епархиального судопроизводства, которое, как полагал Д. Стефанович, не имело прежде строгой регламентации (Стефанович Д. С. 1909. С. 273). Упорядочение церковного права в русле общих судебных реформ Ивана Грозного проводилось с позиций «царского благозакония и всякого земского строения» [Макарий (Булгаков). 1887. С. 201–202; Павлов А. С. 1902. 170–174; Зимин А. А. 1960. С. 375–391; Носов Н. Е. 1969. С. 72–88; Черепнин Л. В. 1978. С. 83].

Включение «Сказания» в состав Кормчей 1590-х гг., где оно соседствовало с древнейшими памятниками церковного права (Седельников А. Д. 1925. С. 616–617; Щапов Я. Н., Брюсова В. Г. 1971. С. 91), также свидетельствует о придании ему нормативного значения и о переходе его в разряд писаных законов. Название иконы «Вседержитель» и место ее пребывания в Москве значительно снижало направленный против царя тон древнего предания.

В ретроспективном экскурсе А. Д. Седельникова дана историческая перспектива, из которой становится ясно, что обращение к имени Мануила в новгородской легенде не было изобретением XVI в. Уходя от эпизода с архиепископом Серапионом в глубь столетий, исследователь останавливается на Послании митрополита Фотия великому князю Василию около 1410 г. (РИБ. 1880. Т. 6. Стб. 297), где в дословном, хотя и в неясном, переводе даны отрывки из хрисовулов Мануила Комнина в толковании Ф. Вальсамона на 12-е правило XII Вселенского собора. Два отрывка из них имеют сходство с упомянутой «Заповедью благочестивого царя...» (Стефанович Д. С. 1909. С. 253).

Следующий момент переживания образа византийского императора в русском эпосе относится к середине XIV в. В послесловии Сийского Евангелия, имеющем форму «Похвалы великому князю», заказчику Евангелия Ивану Калите, прославляется сооружение им многих церквей, создание учения «божественных словес», прекращение «безбожных ересей», написание многих книг. По мысли сочинителя «Похвалы», установивший законы и правый суд «паче меры» русский князь действовал подобно «правоверному царю Мануилу» (Седельников А. Д. 1925. С. 617; Срезневский И. И. 1879. С. 145; Вздорнов Г. И. 1980. С. 67–69, [29]).

И наконец, наиболее раннее упоминание об императоре находится в Хождении архиепископа Антония (Добрыни Ядрейковича) в Царьград в конце XII – начале XIII в., в котором будущий владыка обращает внимание на благоприятное, с его точки зрения, отношение Мануила к церкви (Путешествие Новгородского архиепископа Антония... 1872. Примеч. 182; Седельников А. Д. 1925. С. 616). Ссылки на постановление царя о казенном содержании церквей и учреждении многочисленного штата константинопольской Софии подтверждаются императорскими хрисовулами 1148–1176 гг. (Путешествие Новгородского архиепископа Антония... 1872. Примеч. 182).

Осведомленность Антония в византийской юриспруденции позволяет думать, что ознакомление его с этим предметом произошло не в Константинополе. Уже в XI в. в Новгороде были известны переводы из византийского законодательства, касавшиеся вопросов церковного права (Павлов А. С. 1869. С. 57–58; Щапов Я. Н. 1977. С. 48; Щапов Я. Н. 1978). Во второй половине XII в. проблема разделения властей обостряется, и разрешению ее способствовало не столько знание царьградских правовых норм, сколько толкование их с собственных позиций.

Поэтому несмотря на то что содержание мануиловых постановлений не вполне отражало интересы епархии, например, не поощряло расширение земельных владений и умножение церковного имущества (Лебедев А. П. 1902. С. 142–144; Каждан А. П. 1967. С. 305–306; Острогорский Г. А. 1958. С. 73), в туманных переводах и толкованиях императорских новелл новгородская церковь представляла имя царя знаменем православия, а его весьма сдержанную политику в сфере духовного права трактовала как благоприятную для себя и пример для государей.

Подобному перевернутому восприятию способствовала интерпретация византийских законодательных постановлений, к которым следует отнести и «Сказание о чудном видении Спасова образа». С конфликтом владыки Серапиона и московского великого князя Василия III, следует скорее всего связывать лишь литературную обработку старого предания, принятого в свод неписаных законов в соответствии с законодательной деятельностью императора Мануила, вероятно, во второй половине XII в.

К этому времени в Новгороде были сделаны уверенные шаги к утверждению независимости церкви. После ухода епископа Нифонта в 1156 г. собравшиеся горожане «изволиша себе епископа поставить Богом избрана Аркадия...» (НПЛ. С. 29–30; 216). И хотя в это время не было митрополита на Руси (НПЛ. С. 29–30; 216) и проведенная новгородцами акция оказалась во многом вынужденной, было положено начало самостоятельному избранию владыки из местных кандидатов, и традиция не замедлила установиться и не прерывалась до 1478 г. В 1165 г. архиепископом был избран Иоанн (Илья). На фоне непрерывной борьбы за княжеский престол жизнь новгородской церкви на этом этапе кажется более ровной и стабильной. После смерти Иоанна кафедру занял его брат Гавриил (Григорий). Завершил спокойную очередность владык второй половины XII в. «избранный Богом» и городом Мартирий (1193–1199) (НПЛ. С. 38, 40, 228–229, 231, 238).

С короткими перерывами ведется строительство храмов. В ближайших окрестностях один за другим возникают монастыри. С 1157 по 1199 г. летопись пристально следит за монастырской жизнью, обстоятельно отмечая поставления, смену и смерть игуменов (НПЛ. С. 39–44, 217–238).

Одновременно с возрастанием роли республиканских органов происходило ослабление княжеской власти в городе. К тому времени в Новгороде укореняется христианская вера, что нашло отражение в сооружении множества храмов, создании обширного штата духовенства, олицетворявшего возвышавшийся Дом Святой Софии (Смирнов С. С. 1913. С. 128).

Укрепляясь материально, церковь уверенно избавляется от излишней княжеской опеки. Со второй половины XII в. главным источником обеспечения церкви становится не выделявшаяся прежде десятина от княжеских поступлений, а своя земельная собственность (Смирнов С. 1913. № 66. С. 138–142). Формирование ее происходило по-разному: и от переданных в дар или по завещанию княжеских волостей, и благодаря освоению незанятых территорий (Щапов Я. Н. 1974. С. 172), а также путем простой покупки. Этот процесс активно проходил в окрестностях Новгорода с середины XII в., когда началось интенсивное строительство монастырей.

Наиболее ранним примером финансовой независимости от князя и даже от владыки служит деятельность Антония Римлянина, купившего на золото и серебро из «чудесного» бочонка окрестную землю устроенного им монастыря. Поступок основателя отражен в его духовной и купчей грамотах (Янин В. Л. 1991. № 122. С. 205–207).

Но кроме этих уцелевших письменных документов правовую силу имели создаваемые тогда легенды, и бочонок с драгоценностями Антония Римлянина имел, быть может, бóльшее значение, чем его же грамоты. Чудный конь с двумя «чемоданцами золота и серебра, на которые братья Иоанн и Гавриил не только достроили церковь Благовещения в создаваемом ими монастыре на озере Мячино, но и «сел довольно купили и предаста монастырю» (Дмитриев Л. А. 1973. С. 169–177), выступал тем же сотворенным чудом, вера в которое была безгранична и не регламентировалась буквой закона. На чудесах и легендах формировалось устное предание, сила которого подтверждалась созданием исполненных сакрального смысла вещей: икон, вкладных крестов, предметов церковной утвари и других знаков проявления божественной воли и благодати.

К ним должен быть отнесен и находившийся в Софийском соборе образ Спаса, историю появления которого доносит «Сказание о Спасовом образе царя Мануила».

Но прежде чем перейти непосредственно к иконе, вернемся к имени византийского императора, чтобы уяснить, почему все-таки с ним связывалась

легенда о софийской иконе. Мы уже могли убедиться, что имя Мануила присутствует в русской истории прежде всего в связи с его законодательной деятельностью. В жизни русского общества второй половины XII в. Мануил был вполне реальным персонажем, а не сказочным, «собирательным» образом византийского царя.

Император находился в самых живых отношениях с Русью. Тесная дружба связывала его с галицко-волынскими князьями (Жданов И. С. 1845. С. 607–608). В вопросе о так называемой леонтинской ереси, о средопятничном посте, он, любитель диспутов и сторонник нестрогих церковных правил, поддержал Андрея Боголюбского (ПСРЛ. Т. 1. Стб. 352; Соколов П. С. 1913. С. 129; Савва. 1901. С. 67; Воронин Н. Н. 1962. С. 36–39).

С именем Мануила в русском эпосе соединялась и легенда о празднике «первого Спаса», установленном по случаю победы русских над болгарами в 1164 г. (Воронин Н. Н. 1962. С. 29–32; Воронин Н. Н. 1963. С. 88–92). Существует предание об эфесской иконе Богоматери, присланной императором Евфросинии Полоцкой (Памятники старинной русской литературы. 1862. С. 172–179). Достоверно известно, что в 1164–1165 г. Мануил отправил князю Ростиславу Мстиславичу дары «...оксамиты и паволокы и вся узорочья различная...» (ПСРЛ. Т. 1. Стб. 522; Dölger F. S. 1925. 77. № 1460) и небескорыстно. В ответ Ростислав должен был отказаться от планов возвращения на него Климента Смолятича и в 1165 г. принять греческого ставленника Иоанна на митрополичий престол (Воронин Н. Н. 1962. С. 39; Мошин В. С. 1950. С. 47).

Окутанное сказаниями имя императора постепенно вошло в русскую эпическую традицию и стало символом отношений Руси и Царьграда, растянувшихся в фантастическом времени с середины XI до конца XII в.

Выбирая из этого ряда смешанных сведений достоверные факты, остановимся на имени Ростислава Мстиславича Смоленского. Князь активно участвовал и в церковной политике. В целом, несмотря на отдельные эпизоды, он вместе с братом Изяславом способствовал укреплению русской церкви созданием самостоятельных русских епархий. Не прошел он и мимо новгородской церкви. Поставление архиепископа Иоанна (Ильи) в 1165 г. происходило явно не только с согласия, но и, возможно, по его воле, что косвенно отмечено в летописи: «при князи рустем Ростиславле» (НПЛ. С. 31, 219). Упоминание имени великого князя при хиротонии неизвестно прежде и может быть объяснено в данном случае его особым участием в этом важном событии. Осознавая силу своей власти, претендуя на боготворение княжеского престола, Ростислав вместе с тем отдавал «божию Богови часть», за что в созданной в его честь «Похвале» было предречено: «... а Бог дасть ему за доброту его сторицей и царствовати в всей Русской земли, а на том свете царство небесное» (Щапов Я. Н. 1974. С. 51–59).

Деятельность Ростислава, совмещавшего интересы государственной власти с интересами церкви, напоминает действия императора Мануила, соблюдавшего равновесие двух рычагов власти и стремившегося к их балансу. И если в «Похвале» Ростислав назван «треблаженным и святым князем» (Щапов Я. Н. 1974. С. 51–59), то Мануил, по словам Никиты Хониата, «обнял своим умом самого Христа и от него самого и яснее и совершеннее наставлен во всем, что до него касается» (Никита Хониат. 1860. С. 272).

Принимая дары от Мануила, Ростислав как бы воспринимал и его государственный опыт, и, возможно, с того времени имя византийского императора входит в русский фольклор, предвосхищая создание легенды, положенной впоследствии в основу духовного законодательства. Предание оказывалось удобным инструментом приспособления княжеских предписаний к нуждам церкви. В нем не было строгих определений, его можно было творить и толковать, и, сохраняя верность «седой старине», по-своему трактовать его ускользающий, двусмысленный образ как символ подлинной реальности (Гуревич А. Я. 1984. С. 186–197).

Достоверное историческое лицо, Мануил, в новгородском «Сказании о Спасовом образе» выполняет абсолютно вымышленную роль. Он никогда не писал иконы, чудесным образом оказавшейся в новгородском соборе. Но именно икона Спаса оказалась реальным предметом «Сказания». Входившая некогда в алтарную преграду храма, ныне она хранится в Новгородском музее (инв. № 7775). Икона не раскрыта и не исследована, и все же есть основания именно с ней связывать предание о чудесном видении Мануилу, царю греческому.

Это утверждение основывается, прежде всего, на полном тождестве материальных данных иконной доски с раскрытой и хорошо известной иконой «Апостолы Петр и Павел» первой половины XII в. из Софийского собора (Ил. 1) (Лазарев В. Н. 1969. С. 6–7. Табл. 1–2; Живопись домонгольской Руси. 1974. С. 23–26). Обе представляют собой большие образа: «Апостолы» – 236х147 см; «Спас» – 240х 148 см, с широкими (15,5 см) полями, довольно глубоким (1 см) и покатым откосом ковчега (Гордиенко Э. А. 1980. С. 161; Гордиенко Э. А. 1984. С. 211–213; Смирнова Э. С. 1991. С. 161. Примеч. 24). Липовая доска обеих икон обработана скобелем, оставившим характерные мягкие следы (на иконе Спаса они сохранились с оборотной стороны под поздней шпонкой). Замечательно, что щит икон сохраняет идеально ровную поверхность без

обычного коробления в местах соединения частей. В иконе Апостолов этому способствуют внутренние шпунты, входящие в соответствующие противоположные пазы. Возможно, и на иконе Спаса есть такие же крепления.

Как свидетельствует источник, первоначально на иконе был изображен Спас стоящий. В Новгородской четвертой летописи по списку Дубровского, а также в Отрывке летописи по Воскресенскому Ново-Иерусалимскому списку содержится пространный рассказ о реконструкции Софийского иконостаса, предпринятой архиепископом Макарием в 1528 г. Переустройство началось с установки новых, бóльших по высоте и ширине царских дверей, из-за чего понадобилось повысить уровень располагавшихся по сторонам икон. Некоторые из них заняли другие места. О перемещении икон Апостолов и Спаса сказано: «*... цареградские иконы Всемилостивый Спас Господь наш Иисус Христос стоящь* от злата и сребра велми чудно устроение, и святи Апостоли Петр и Павел, *такоже стоящи*, от злата и сребра чудно устроении и сии чудные иконы противу своего святительского места постави и пелены от паволоку строи, чудно и лепо видети и прочии иконы по чину повеле поставити» (ПСРЛ. Т. 4. С. 545; Т. 6. С. 285) (курсив мой. – *Э. Г.*).

Отметим здесь название иконы «Всемилостивый Спас...» и напомним, что в Волоколамском списке «Сказания» Спас назван также, что позволяет видеть в совпадении одновременных письменных источников основание для отождествления их сведений с образом, увиденным царем Мануилом, и изображением стоящего Христа в софийской иконе. Обе иконы, Апостолов и Спаса, входили в первоначальную алтарную преграду, один из этапов формирования которой может быть связан с инициативой епископа Нифонта.

Возведенный в 1045–1050 гг. Софийский собор не был сразу полностью расписан фресками и украшен иконами. Состояние храма в немалой степени зависело от общественной ситуации. Христиане и церковнослужители не составляли тогда большинства городского населения и находились под охраной князя и его дружины. Известный в летописи под 1071 г. эпизод, когда хуливший Христа волхв «прельстил» едва ли не весь город, в то время не был единственным и случайным на Руси. Летописец приводит несколько подобных историй с волхованиями, происходивших в Киеве, в Ростовской земле и на Белоозере (Голубинский Е. Е. 1901. Т. 1. Ч. 1. С. 199 и сл.; Воронин Н. Н. 1961. Т. 1. С. 25). В Новгороде волхв поднял мятеж против епископа Федора, и только жестокое и вероломное поведение князя Глеба испугало и утихомирило горожан (НПЛ. С. 191–196). Остановившейся христианизации новгородского общества во второй половине XI в. сопутствует продолжительный перерыв в церковном строительстве. После Софийского собора следующий храм был заложен только в конце столетия и завершен в 1103 г. (НПЛ. С. 191–196). Полвека сооруженный у кремля собор оставался единственным прибежищем для верующих, и только к концу XI в. общество постепенно возвращается к вере (Смирнов С. 1913. С. 128). Значительный вклад в этот неспешный процесс внес епископ Нифонт (1130–1156). Один из активных проповедников новой морали, он неустанно занимался устроением быта горожан, закладывал начала христианской семьи, прививал к повседневной жизни церковный устав (НПЛ. С. 130). С именем Нифонта летописец связывает и возобновление Софийского собора.

Сведения летописи подтверждаются археологическими изысканиями, проведенными В. В. Сусловым в конце XIX в. и продолженными Г. М. Штендером в 1950–1960 гг. Кроме отпечатка деревянного бруса в 1,40 м западнее линии современной алтарной преграды в древнем цемяночном полу, не было обнаружено следов преграды между столпами (Штендер Г. М. 1968. С. 96).

Ссылки исследователей на якобы имевшиеся в главном алтаре следы сечений деревянных опор преграды (Штендер Г. М., Сивак С. И.1991. С. 46; Смирнова Э. С. 1991. С. 159) некорректны, ибо Г. М. Штендер только предполагал их существование, исходя, во-первых, из размера по ширине иконы Апостолов, что является доказательством от предположения, во-вторых, по аналогии с обнаруженными в Рождественском приделе более поздними отверстиями для стоек царских дверей (Штендер Г. М. 1982. С. 20. Рис. 23). Археологические исследования не дают основания для предположений о характере первоначальной алтарной преграды непосредственно между столбами главного алтаря. Не найдено и следов престола XI в., возможно, устроенного тогда в виде отдельного блока (Штендер Г. М. 1982. С. 83–107). Обнаруженные остатки малых форм в алтаре Софии: столбики престола, отверстия от стоек кивория, второй уровень синтрона, мозаичные платы полов и цокольной части стены – составляют единый комплекс находок, который Г. М. Штендер относил к эпохе Нифонта (Штендер Г. М. 1982. С. 106–107).

Отмеченный в летописи киворий, по-видимому, был древнейшей алтарной конструкцией, в которую кроме собственно кивория над престолом входили большие иконы «Апостолы Петр и Павел» и «Спас Всемилостивый», располагавшиеся слева на предалтарных столбах, по сторонам жертвенника (Гордиенко Э. А. 1984. С. 211–213). На столбах по сторонам диаконника могли размещаться еще две иконы, «Богоматерь» и «Благовещение». Всего по сторонам алтаря находилось четыре настолпных

иконы. Присутствие двух последних было, очевидно, традицией новгородских преград.

В Послании Павла к ефесянам (4; 7–12) Христос предстает милосердным пастырем, основателем земной церкви. Он, «победивший смерть, дарует людям жизнь вечную, Он – дверь, которою кто войдет, тот спасется» (Иоанн, 10; 9). И, поставляя своих учеников на служение, он отворяет двери храма.

Изображение Спаса Всемилостивого в рост с благословляющей десницей и Евангелием в левой руке в византийской иконографической традиции представляет собой один из древнейших типов Христа, ведущих начало от полуэллинистического, полухристианского образа Доброго Пастыря. Изображение Христа сопровождается обычно эпитетами Элеймон (Милостивый), Антифонитис (Отзывающийся), Филантропос (Человеколюбец). Текст раскрытого Евангелия, как правило, воспроизводит слова от Иоанна, сказанные Христом перед народом у сокровищницы, когда он учил в храме: «Я свет миру, кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет свет жизни» (8; 12–20).

Несущий свет Христос Милостивый занимал место в храме на предалтарном столбе, напротив предстоящих ему Богоматери, апостолов и святых. Один из ранних примеров подобной композиции находится в кипрской церкви Богоматери Аракиотиссы близ Лагудеры (1192 г.), где «отзывающиеся» изображения Спаса и Богородицы на предалтарных столбах, Благовещения на триумфальной арке, апостолов Петра и Павла, аскетов и мучеников на пилонах составляют верхний слой храмовой декорации (Stylianou A. and Stylianou J. 1985. P. 170). Та же программа первоначально была принята и в церкви Богоматери Форбиотиссы в Асину близ Никитари (начало XII в.), где Богоматери сопутствовала еще фигура Иоанна Предтечи, чем подчеркивался деисусный, предстоятельный характер композиции (Stylianou A. and Stylianou J. 1985. P. 133–134. Fig. 65, 68. Weyel Carr A., Marrocco L. J. 1991. P. 71. Fig. 27). Очевидно, и в церкви святителя Николая в Какопетрии (XI в.) начальная система декорации следовала той же схеме, о чем свидетельствуют ее частичные повторения в нартексе и на восточных столбах подкупольного пространства (Stylianou A. and Stylianou J. 1985. P. 74, 75; Weyel Carr A., Marrocco L. J. 1991. P. 70. Fig. 25).

В соответствии с греческими образцами новгородская икона Спаса в рост называлась «Спас Всемилостивый» или «Милосердный», как и в тексте «Сказания» по Волоколамскому списку. Иконография Христа стоящего, Милостивого, была хорошо известна на Руси. Верхние поля серебряных окладов на иконах «Апостолы Петр и Павел» и «Богоматерь Иерусалимская» (Корсунская), полусферические грани софийских кратиров, резная камея, вправленная в поздний золоченый оклад иконы «Богоматерь Знамение» (все XII в.) составляют ряд памятников, близких по времени и стилю (Мацулевич. 1914; Гордиенко Э. А. 1980. С. 209–220). К их числу следует отнести и рельеф малого деисуса в Георгиевском соборе Юрьева-Польского (Вагнер Г. К. 1966. Табл. 38), которым как бы завершается ранняя традиция стоящей фигуры Христа.

Заложенная в Новгороде она имела продолжительную историю. В 1424 г. за алтарем Софийского собора в один день была сооружена деревянная церковь Спаса Всемилостивого, на месте которой в 1427 г. возвели каменную церковь, «устроенную дивными иконами и книгами» (НПЛ. С. 415). Здание имело значение обетного храма, храмовый образ которого был освящен традицией, представлявшего заказчика, владыку, как воспреемника древнего обычая и правила.

Церковь Спаса Милостивого называлась еще «Происхождение честных древ животворящего креста Господня», что, как известно, было связано с праздником Спаса, установленного Андреем Боголюбским на 1 августа 1164 г. По чину его полагалось крестное шествие к источнику для совершения малого водосвятия (Голубцов А. 1899. С. 134). Молитва «Владыко Милостивый», читаемая на этой службе, дает основание связывать ее текст с изображением Христа в рост на иконах «Происхождение честных древ креста».

Но отмечаемый 1 августа праздник Спаса в Новгороде имел свои особенности. Символом его оставался образ Христа Всемилостивого, с которым новгородская церковь связывала свое историческое право независимости. В первой половине XV в., в момент особенного обострения отношений с Москвой, эта тема была особенно актуальной.

На выходной миниатюре Апостола 1545 г., созданного при архиепископе Феодосии, на фоне белого купольного храма в окружении апостолов изображен стоящий Христос с характерным жестом правой руки. В этой композиции возможно усматривать некоторую контаминацию с иконой Спаса, находившейся в Софийском соборе рядом с иконой Апостолов. На миниатюре из Жития Нифонта (1540-е гг.) Христос также указывает «низу», но среди предстоящих первым изображен князь, что еще больше соответствует тексту «Сказания». Но в обоих случаях очевидна историческая связь с преданием, в мифологическом луче которого осознавалась причастность к историческому времени (Гордиенко Э. А. 2001. С. 251–252. Ил. XLV, 110).

Возвращаясь к истории древней новгородской иконы, отметим, что в момент создания нифонтовской алтарной преграды в Софийском соборе она не была еще образом царя Мануила и вместе с ико-

ной «Апостолы Петр и Павел» оставалась одной из икон, написанных цареградским мастером. Но если по версии Волоколамского списка «Сказания» она связывалась с крестившим Русь Владимиром Святославичем, то по списку Кормчей конца XVI в. – уже с Владимиром Мономахом.

В первой половине XII в. антропоморфный образ Христа символизировал покровительство княжескому дому (Grabar A. 1936. P. 195, 200–205). Изображение благословляющего Христа Эвергетиса в контексте с инвеститурой и другими аспектами царской власти известно по многочисленным примерам византийской пластики, книжной миниатюры и сфрагистики. Одно из ранних его изображений имеется на печати Иоанна Комнина (сына Исаака, брата императора Алексея I Комнина), перестраивавшего монастырь Спаса Эвергетиса между 1104 и 1118 гг. (Gutler A. 1983. DOP. Vol. 37. P. 37).

Образ Христа Благословляющего в Новгороде был созвучен настроениям грекофильского княжеского двора, когда в конце XI – первой половине XII в. на престоле находился ставленник киевского великого князя. Скорее всего, именно с Мстиславом, сыном Владимира Мономаха, следует связывать появление иконы Спаса в рост в Софийском соборе, что могло произойти в первой половине XII в. Князь в качестве помазанника Божия выступал тогда покровителем и защитником церкви и учредителем государственного права.

Положение меняется во второй половине XII в. Расширение прерогатив духовного суда, происходившее на фоне материального укрепления святительского престола, требовало доказательства чудом, превратившим икону Спаса Милостивого в образ царя Мануила. Увиденное императором во сне новое положение руки могло иметь вполне реальное объяснение в обновлении иконы, в результате которого благословляющий жест стал указующим «низу». Соответственно и содержание образа трактовалось как обоснование подчинения мирской власти Богом данному святителю, учителю всех. Тогда, возможно, впервые в иконографии Христа появился тип с указующей вниз десницей.

Новгородская икона имеет свой исторический подтекст. Преображение ее облика произошло, очевидно, вместе с созданием серебряного оклада, на котором, можно предполагать, положение руки также было указующим вниз. Фрагменты оклада сохраняются до сих пор на верхнем поле упомянутой иконы «Богоматерь Иерусалимская» XVI–XIX вв. (Гордиенко Э. А. 1980. С. 215–220), где представлен деисусный чин: Христос стоящий, Богоматерь, Иоанн Предтеча, архангелы Михаил и Гавриил. Фигуры святых чередуются с декоративными восьмилепестковыми розетками, обрамленными вьющимся виноградным стеблем с крином и отростками. Деисусный чин в рост находится и на верхнем поле иконы Апостолов. Но на иконе Богоматери последовательность фигурных и декоративных изображений была нарушена. Орнаментальное клеймо между фигурами Иоанна Предтечи и архангела Гавриила вынуто, а еще одно, слева от изображения Христа, обрезано (Ил. 3) (Гордиенко Э. А. 1980. С. 215–220). Возможно, изменения произошли в то время, когда древний оклад с иконы Спаса подгоняли к иконе Богоматери, ширина которой была меньше длины перемещаемой части оклада. Если восстановить недостающие фрагменты на верхнем поле, то получится, что первоначальный размер оклада (147 см) соответствовал ширине такой иконы, как «Апостолы Петр и Павел» (Ил. 4) и парной ей «Спас царя Мануила». На иконе из Новгородского музея (инв. № 7775) по периметру боковых торцов видны многочисленные крупинки серебряных гвоздей, возможно, не одного серебряного покрытия, украшавших икону Спаса, первым из которых был оклад XII в. Облик деисусного чина на верхнем поле иконы «Богоматерь Иерусалимская» соответствует стилю второй половины XII в. (Гордиенко Э. А. 1980. С. 215–220).

Обновленная икона «Спас царя Мануила» оставалась на левом от диаконника столбе до 1561 г., когда «месяца марта в 9, в неделю великого поста, царь великий Иван Васильевич взял из Великого Новгорода к себе на Москву из Софии Премудрости Божии три образы Спас да другой образ Петр и Павел, да у них в облаци Спас, да третий образ Благовещения святеи Богородицы Юрьева монастыря» (ПСРЛ. Т. 30. С. 174). Спустя 11 лет, в 1572 г., после разгрома Новгорода в 1570 г. «месяца июля в 19 в субботу привезли в Новгород с Москвы две иконы местных *старых* в церковь Софии Премудрости Божии, а те иконы стояли в церкви против валадычня места. *Икона Спасов образ серебром обложена, да другая икона святых апостол верховных Петра и Павла серебром обложена вся*» (курсив мой. – *Э. Г.*) (ПСРЛ. Т. 30. С. 192). Как видно, старые софийские иконы вернулись вместе с окладами.

Приведенные летописные отрывки содержатся в Новгородской второй архивской летописи, список которой конца XVI в. (РГАДА. Ф. 181, МГАМИД, 62/85) (Новикова О. Л. 2005. С. 37–40) является наиболее достоверным источником для выяснения вопроса о возвращении икон в Новгород.

Между тем исследователи обходят молчанием известия Архивской летописи и, ссылаясь только на Летописный список «Сказания», цитируя отрывок, возникший значительно позднее в связи с необходимостью установить иной порядок вещей и событий: «...ныне чудотворная икона у Богородицы Успения в соборной церкви стоит в царствующем граде Москве, а здеся, у Софии Премудрости Бо-

жии в Великом Новеграде, список с того чудотворного образа Спасова стоит... и доныне зрима есть» (НЛ. С. 184).

С середины XVI в. иконография Христа на престоле в большей степени отвечала господствовавшей идее царской власти. Зарождение ее, так же как и идеи независимости духовного престола, уходит к временам принятия христианства на Руси. Первые русские святители поучали паству строго следовать апостольским заветам, проповедуя: «Бога бо бойтесь, а князя чтите» (Лука Жидята. 1987. С. 40).

Но если в Новгороде был принят образ Спаса Милостивого, то во Владимире со времен Андрея Боголюбского существовал свой культ царя Мануила, воина-победителя. Образ его запечатлен в «Сказани о победе над болгарами в 1164 г.», в «Слове о погибели Русской земли», в «Сказании о князьях владимирских». В отличие от клерикальной направленности новгородского культа во Владимире он соединился с политическими мероприятиями князя. Решительный, энергичный Андрей Боголюбский провозгласил его в ознаменование одержанной победы, подчеркивая свое равенство с византийским императором (Седельников А. Д. 1925. С. 606–609; Воронин Н. Н. 1962. С. 88–92). И хотя Мануил не побеждал ни сарацин, ни тем более булгар, а в византийских типиконах нет полного подобия русскому празднику «Первого Спаса», все же икона Спаса в сражении участвовала. Только скорее всего это был не образ Христа Всемилостивого, заповедавшего царям входить в церковные дела, но излучавшая огненный свет ратная реликвия. Своими действиями Андрей Боголюбский показывал, что не только мыслима, но и осуществима «сильная великокняжеская власть, подчиняющая единой цели силы других князей» (Воронин Н. Н. 1961. Т. 1. С. 127).

В той же последовательности действовал и брат Андрея Всеволод III Юрьевич Большое Гнездо, непрестанно подчеркивавший идею «богоустановленности» своего самовластия (ПСРЛ. Т. 1. Стб. 381, 421, 422). В 1185 г., преодолев волю митрополита, он поставил на владимирскую кафедру своего кандидата Луку (ПСРЛ. Т. 1. Стб. 390–391; Воронин Н. Н. 1962. С. 49), а в 1199 г. на новгородский владычный престол его волей был поставлен Митрофан (НПЛ. С. 44–52, 238–250) – факт неслыханный со времени введения в 1156 г. выборов святителя (Воронин Н. Н. 1961. Т. 1. С. 351; Хорошев А. С. 1980. С. 40–44). Волевым поставлением владыки князь Всеволод проводил стратегию борьбы за великокняжеский престол, основание которого теперь мыслилось во Владимире, и включение Новгорода в этот политический замысел способствовало усилению неограниченного владимирского влияния.

С особым усердием идея превосходства княжеского престола разрабатывалась в Москве, где мысль о божественном происхождении царской власти в XVI в. постепенно переросла в ее обожествление. Уже при Иване Калите появляются ростки учения о верховенстве московского государя, отражением чего в художественной культуре было создание спасо-княжеского культа в образе Спаса на престоле. В основе этой древнейшей иконографической традиции лежала идея Бога во славе, главным атрибутом которой был царский трон (Grabar A. 1936. P. 196–200). Возможно, в этом контексте следует рассматривать дарение иконы «Спас на престоле» при Иване Калите новгородскому архиепископу Моисею в 1337 г. (Смирнова Э. С. 1976. С. 69; Смирнова Э. С., Лаурина В. К., Гордиенко Э. А. 1982. С. 183; Качалова И. Я., Маясова Н. А., Щенникова Л. А. 1990. С. 49. Примеч. 51, 52 на с. 75, 76. Табл. 165).

Дарение иконы Спаса могло быть демонстративным жестом, заявляющим как отставленному в то время Моисею и действующему новгородскому святителю Василию, кто настоящий глава государства, неотъемлемой частью которого, «дединой и отчиной» русских князей является Новгород. Икона 1337 г. не была отправлена в Новгород и занимала свое исконное и постоянное место в Благовещенском соборе Московского кремля, выступая символическим уведомлением от «собирателя» русских земель Ивана Калиты. Деятельность великого князя сравнивалась современниками с делами императора Мануила, но в Москве в этом сравнении преобладала интонация, исторически более близкая политике Комнинов, поддерживавших церковь, но не допускавших ее независимости.

Эта иконографическая тенденция, отразившая особенности развития системы государственного управления, постепенно займет определяющую позицию, и образ Спаса на престоле станет ее главным идейно-художественным воплощением. Дипломатический отзыв этой идеи можно видеть и в гибкой политике новгородских владык. В 1362 г. в Новгороде была создана копия благовещенской иконы, заказанная архиепископом Алексеем в память о своем предшественнике и учителе архиепископе Моисее (НПЛ. С. 342–348, 363. Царевская Т. Ю. 2006. С. 471–490). В XV в. архиепископ Иона, стремившийся урегулировать отношения с Москвой, помещает на своей печати изображение Спаса на престоле, как будто уступая свое первенство дарения. Булла владыки вместе с другими магистратскими печатями сохранилась на дарственной грамоте Соловецкому монастырю (Гордиенко Э. А. 1989. С. 217–227).

В конце XV – начале XVI в. иконография Спаса на престоле получает теоретическое обоснование в

учении Иосифа Волоцкого, опиравшегося на византийскую правовую традицию и проводившего идею обожествления личности царя (Дьяконов М. А. 1889. С. 101–103). В Послании И. И. Третьякову, написанному по поводу ссоры с Серапионом, Иосиф, перефразируя библейский текст, утверждал: «Господь Бог устроил *Вседержителя во свое место и посадил на царском престоле* (курсив мой. – *Э. Г.*) суд и милость предасть ему и церковное и монастырское и всего православного христианства всея Русския земли власть и попечение вручена ему» (Послание Ивану Ивановичу Третьякову. 1959. С. 195–196).

Широкое распространение иконографии «Спас на престоле» в XVI в. свидетельствует о торжестве иосифлянской идеи, нашедшей логическое завершение в постановлениях Стоглавого собора 1551 г., на котором существенные ограничения церковной власти были обусловлены судебной реформой царя Ивана Грозного (Зимин А. А. 1960. С. 375–391; Носов Н. Е. 1969. С. 72–88).

В этой последовательности становится закономерным появление иконы «Спас на престоле» XVI в. и в новгородском Софийском соборе, указующий жест на которой получал теперь другой смысл. Из местной традиции икона переходила в сферу общерусских отношений (Гордиенко Э. А. 2001. С. 111–112) и становилась культовым образом митрополичьей кафедры (Щапов Я. Н., Брюсова В. Г. 1971. С. 87), обязанной своим суверенитетом царскому престолу.

В самом конце XVI в., возможно, по воле Бориса Годунова, во время очередного ремонта интерьера Софийского собора, когда были обновлены медные Корсунские врата, подвешены многоярусные паникадила, иконостас пополнен вотивными иконами, по основательно «спемзованной» живописи на древней иконе был написан Спас на престоле. Возможно, тогда же были сняты и перенесены на икону Богоматери остатки старого оклада, а икона Спаса покрыта серебряным басменным окладом, от которого к началу XVIII в. оставался «прежний венец серебряный сканной» с четырьмя простыми камушками. Свидетельством существования на иконе оклада XVI в. могут служить упоминавшиеся следы серебряных гвоздей. Еще позднее басменный оклад заменила чеканная позолоченная риза, известная по храмовым описям XVIII в. (Опись Новгородского Архиерейского дома. 1897. Стб. CCCXLIX, CDXXV; Описи имущества Софийского собора XVIII – начала XIX в. 1988. С. 52).

Изменения отразились и в письменной традиции. В Летописном списке «Сказания» это событие по существу представляет создание копии иконы XII в. (НЛ. С. 184).

В «Сказании» по Белозерскому списку 1590-х гг. императору Мануилу является не Спас Милостивый, но Вседержитель – прообраз московского царя, ставшего, по словам Иосифа Волоцкого, «всея Русския земли государем государь» (Послание Ивану Ивановичу Третьякову. 1959. С. 192–193).

Очевидно, с ней можно связывать и видение золотого венца митрополитом Никоном, рассказавшем о явленном ему чуде в письме царю Алексею Михайловичу: «И вот внезапно я увидел венец царский на воздусе, над Спасовой главою и малопомалу венец этот стал приближаться ко мне. Я от великого страха точно обеспамятствовал, глазами на венец смотрю и свечу пред Спасовым образом, как горит, вижу, а венец пришел и стал на моей главе грешной, я обеими руками его на своей главе осязал, и вдруг венец стал невидим» (Каптерев Н. Ф. 1912. С. 354–355).

Кажется, этот эпизод мог стать началом возвращения идеи превосходства святительства над царством, что, как известно, было целью никоновских преобразований. Возрождение новгородских святынь, установление общерусского почитания митрополита Филиппа Колычева и перенесение его мощей должны были, по мысли Никона, привести светскую власть к покаянию, «разрешить согрешения прадеда нашего царя и великого князя Иоанна...» (Каптерев Н. Ф. 1912. С. 354–355). В подобных отношениях светской и духовной власти икона «Спас царя Мануила на престоле» выступала обновленным символом первостепенства божественного престола, возвысившегося над царским, и образ восседающего Христа трактовался как образ великого архиерея, царя всем царям.

Образ Спаса Всемилостивого окончательно уходил в прошлое. Оставалась легенда, но с середины XIX в. стало принято связывать ее с первоначальным образом Спаса царя Мануила, соединяя с ним икону в Успенском соборе Московского кремля, написанную Кириллом Улановым в 1699 г.

Список литературы

Азбелев С. Н. Новгородское летописи XVII века. Новгород, 1960.

Вагнер Г. К. Мастера древнерусской скульптуры: Рельефы Юрьева Польского. М., 1966.

Вздорнов Г. И. Искусство книги в Древней Руси: Рукописная книга Северо-Руси XII – начала XV века. М., 1980.

Воронин Н. Н. Андрей Боголюбский и Лука Хризоверг: Из истории русско-византийских отношений // ВВ. М., 1962. Т. 21.

Воронин Н. Н. Сказание о победе над болгарами 1164 г. и праздник Спаса // Проблемы общественно-политической истории России и славянских стран. М., 1963.

Воронин Н. Н. Зодчество Северо-Восточной Руси XII–XV веков. М., 1961. Т. 1.

Голубинский Е. Е. История русской церкви. М., 1901. Т. 1. Ч. 1.

Голубцов А. Чиновник Новгородского Софийского собора. М., 1899.

Гордиенко Э. А. Новгород в XVI веке и его духовная жизнь. СПб., 2001.

Гордиенко Э. А. История образования и изучения Новгородского собрания древнерусской живописи // Музей: Художественные собрания СССР. М., 1980. Вып. 1.

Гордиенко Э. А. Большой иконостас Софийского собора (по письменным источникам) // НИС. Л., 1984. Вып. 2 (12).

Гордиенко Э. А. Печати договорных грамот как памятники новгородского изобразительного искусства // ВИД. Л., 1989. Вып. 20.

Гордиенко Э. А. Оклады XII века // Гордиенко Э. А., Трифонова А. Н. Каталог серебряных окладов Новгородского музея-заповедника: Художественные собрания СССР. М., 1980. Т. 6.

Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. М., 1984.

Дмитриев Л. А. Житийные повести Русского Севера как памятники литературы XIII–XVII вв.: Эволюция жанра легендарно-биографических сказаний. Л., 1973.

Дьяконов М. А. Власть московских государей: Очерки из истории политических идей Древней Руси до конца XVI века. СПб., 1889.

Жданов И. Русский былевой эпос: Исследования и материалы. СПб., 1895.

Живопись домонгольской Руси. Каталог выставки. М., 1974.

Житие новгородского архиепископа Серапиона // ТОДРЛ. М.; Л., 1965. Т. 21; ПСРЛ. Т. 30.

Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного: Очерки социально-экономической и политической истории России XVI в. М., 1960.

Каждан А. П. Провинциальная аристократия у власти: Внутренняя политика первых Комнинов // История Византии: в 3 т. М., 1967. Т. 2.

Казакова Н. А. Очерки по истории русской общественной мысли: Первая треть XVI в. Л., 1970.

Каптерев Н. Ф. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович. Сергиев Посад, 1912. Ч. 2. С. 354–355.

Качалова И. Я., Маясова Н. А., Щенникова Л. А. Благовещенский собор Московского Кремля. М., 1990.

Лазарев В. Н. Новгородская иконопись. М., 1969.

Лебедев А. П. Исторические очерки византийско-восточной церкви от конца XI до половины XV века (от начала крестовых походов до падения Константинополя в 1453 году). М., 1902.

Лука Жидята. Поучение // Красноречие Древней Руси (XI–XVII вв.). М., 1987.

Макарий (Булгаков). История русской церкви. СПб., 1887. Т. 6.

Мацулевич Л. Кратиры Софийского собора в Новгороде. СПб., 1914.

Мошин В. Русские на Афоне и русско-византийские отношения в XI–XII вв. // Byzantinoslavica. Praha, 1950. XI/1.

Никита Хониат. История, начинающаяся с царствования Иоанна Комнина. СПб., 1860. Т. 1.

Новикова О. Л. Из истории новгородского летописания XVI в.: Новгородская летопись по списку П. П. Дубровского и родственные ей памятники // Очерки феодальной России. М.; СПб., 2005.

Носов Н. Е. Становлениие сословно-представительских учреждений в России. Л., 1969.

Павлов А. С. Первоначальный славяно-русский Номоканон. Казань, 1869.

Павлов А. С. Курс церковного права. Троице-Сергиева Лавра, 1902.

Описи имущества Софийского собора 1833 г. / публикация Э. А. Гордиенко и Г. К. Маркиной // НИС. СПб., 2003. Вып. 9 (19).

Опись Новгородского Архиерейского дома: Архиерейский дом в Новгороде // Описание документов и дел, хранящихся в архиве святейшего правительствующего Синода. СПб., 1897. Т. 5 (1725).

Описи имущества новгородского Софийского собора XVIII – начала XIX в. / публикация Э. А. Гордиенко, Г. К. Маркиной. М.; Л., 1988. С. 52.

Острогорский Г. А. К истории иммунитета в Византии // ВВ. М., 1958. Т. 13.

Памятники старинной русской литературы. СПб., 1862. Вып. 4.

Послание Ивану Ивановичу Третьякову // Послания Иосифа Волоцкого. М.; Л., 1959. Путешествие Новгородского архиепископа Антония в Царьград в конце XII столетия / изд. П. Савваитова. СПб., 1872.

Российское законодательство X–XX вв. М., 1985. Т. 2.

Савва. Московские цари и византийские василевсы. Харьков, 1901.

Седельников А. Д. Эпическая традиция о Мануиле Комнине // Slavia. Praha, 1925. Roč. 3. Šeš. 4. С. 606–618.

Смирнов С. Древнерусский духовник. М., 1913.

Смирнова Э. С. Живопись Великого Новгорода: середина XIII – начало XV века. М., 1976.

Смирнова Э. С. «Спас Златая риза»: К иконографической реконструкции чтимого образа XI века // Чудотворная икона в Византии и Древней Руси. М., 1991.

Смирнова Э. С., Лаурина В. К., Гордиенко Э. А. Живопись Великого Новгорода: XV век. М., 1982.

Соколов П. Русский архиерей из Византии и право его назначения до начала XV в. Киев, 1913.

Срезневский И. И. Сведения и заметки о малоизвестных памятниках. Главы 81–90. СПб., 1879.

Стефанович Д. О Стоглаве. Его происхождение, редакция и состав: К истории памятников древнерусского церковного права. СПб., 1909.

Хорошев А. С. Церковь в социально-политической системе новгородской феодальной республики. М., 1980.

Хрущов И. Исследование о сочинении Иосифа Санина, преподобного игумена Волоцкого. СПб., 1868.

Царевская Т. Ю. Икона «Спас на престоле» 1362 года как духовное завещание новгородского архиепископа // Σοφια. Сборник статей по искусству Византии и Древней Руси в честь А. И. Комеча. М., 2006.

Черепнин Л. В. Земские соборы Русского государства в XVI–XVII вв. М., 1978.

Штендер Г. М. К вопросу об архитектуре малых форм Софии Новгородской // Древнерусское искусство: Художественная культура Новгорода. М., 1968.

Штендер Г. М., Сивак С. И. Архитектура интерьера новгородского Софийского собора и некоторые вопросы богослужения // Материалы научной конференции «125 лет Новгородскому музею». Новгород, 1991.

Штендер Г. М. К вопросу о галереях Софии Новгородской (по материалам археологических исследований северо-западной части здания) // Реставрация и исследования памятников культуры. М., 1982.

Щапов Я. Н., Брюсова В. Г. Новгородская легенда о Мануиле, царе греческом // ВВ. М., 1971. Т. 32.

Щапов Я. Н. Прохирон в восточно-славянской письменности // ВВ. М., 1977. Т. 38.

Щапов Я. Н. Византийское и южно-славянское правовое наследие на Руси в XI–XII вв. М., 1978.

Щапов Я. Н. К истории отношений светской и церковной юрисдикции на Руси в XII–XIV вв. // Польша и Русь: Черты общности и своеобразия в истории развития Руси и Польши XII–XIV вв. М., 1974.

Щапов Я. Н. Похвала князю Ростиславу Мстиславичу как памятник литературы Смоленска XII в. // ТОДРЛ. Л., 1974. Т. 28.

Янин В. Л. Новгородские акты XII–XV вв.: Хронологический комментарий. М., 1991.

Dölger F. Regesten der Kaiserurkunden des Oströmischen Reiches von 565–1453. München, 1925. Bd. 2. S. 77. № 1460.

Grabar A. L'empereur dans l'art Byzantine. Paris, 1936.

Gutler A. Dumbarton Oars Psalter and New Testament the Moscow Leaf // DOP. 1983. Vol. 37.

Stylianou A. and Stylianou J. The painted Churches of Cyprus. London, 1985.

Weyel Carr A., Marrocco L. J. Byzantine Masterpiece Recorvere, the Thirteenth – Century Murals of Lizi. Cyprus, Austin, 1991.

Список сокращений

АИ – Акты исторические, собранные Археографической экспедицеей: в 5 т. СПб., 1841–1842

БАН – Библиотека Российской Академии наук (Санкт-Петербург)

РИБ – Российская историческая библиотека: в 39 т. СПб., 1872–1927

РНБ – Российская Национальная библиотека (Санкт-Петербург)

НЛ – Новгородские летописи. СПб., 1879

НПЛ – Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. М.; Л., 1950

ПСРЛ – Полное собрание русских летописей Лаврентьевская летопись. М., 2001. Т. 1. Владимирский летописец: Новгородская вторая (Архивская) летопись. М., 2009. Т. 30

РГАДА – Российский архив древних актов (Москва)

И. С. Добровольский, Н. В. Калужнина, А. Г. Кравецкий, Ф. Б. Людоговский, А. А. Плетнева, А. Н. Хитров

КОРПУС СОВРЕМЕННОГО ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКА: ЕДИНСТВО, ВАРИАТИВНОСТЬ, МЕТОДЫ ОПИСАНИЯ

В настоящей статье будут рассмотрены некоторые теоретические и методологические проблемы, с которыми авторы столкнулись при составлении словаря церковнославянского языка. Под церковнославянским языком (цсл) мы в дальнейшем будем понимать тот вариант языка, который до 1917 года использовался в изданиях церковной печати, выпускаемых синодальными типографиями, а во второй половине XX – XXI в. – в книгах, издаваемых издательствами РПЦ[1].

Прежде чем приступать к подобному описанию, следует определить, что собой представляет этот вариант цсл языка. Сложность состоит в том, что церковнославянский язык, с одной стороны, является прямым наследником более архаических версий цсл и восходит в конечном счете к языку кирилло-мефодиевских переводов, а с другой – на этом языке создаются новые тексты, входящие в богослужебную практику.

Объем корпуса

Церковнославянский язык – это язык определенного корпуса текстов. При этом в отличие, на-

пример, от корпуса старославянских памятников, расширение которого возможно лишь в результате обнаружения новых рукописей, а редактирование существующих текстов невозможно в принципе, церковнославянский корпус с течением времени может изменяться. Редактирование церковнославянских текстов было непрерывным процессом на всем этапе существования цсл письменности. Обычно последним исправлением книг церковной печати считают книжную справу XVII в. Однако, пусть и в незначительном объеме, редактирование церковных книг продолжалось и в XVIII, XIX и XX вв., продолжается оно и сегодня.

В истории цсл языка в XX в. произошло по меньшей мере два крупных события. Первое из них относится к началу века (1907–1917). В результате редактирования были выпущены Постная и Цветная Триодь, язык которых подвергся значительным исправлениям (Кравецкий и Плетнева, 2001. С. 74–124; Балашов, 2001. С. 182–259). Вторым событием стала подготовка новой версии служебных Миней (1978–1988), включающих десятки новых служб, созданных в XVIII–XX вв. К этому следует добавить еще тот факт, что в последнее десятилетие в связи со значительным числом новых канонизаций было составлено большое количество новых служб, которые сегодня активно входят в богослужебную практику.

Мы определяем цсл язык через корпус текстов, в который входят Библия, Октоих, обе Триоди Минеи, Часослов, Служебник, Требник, молитвословы, акафистники, агиографические тексты, памятники церковного права и т. д. В этих книгах наблюдается значительный разнобой в морфологии, лексике и синтаксисе. Следовательно, мы получаем систему, лингвистические характеристики которой весьма противоречивы. Если же мы попытаемся сузить круг текстов, на основании которых описывается цсл, например, исключим из рассмотрения агиографические тексты и акафисты (язык этих текстов имеет много отличительных особенностей), то и в оставшихся текстах обнаружится немало употреблений, разрушающих наше представление об унифицированной грамматической структуре и единстве лексики.

Ниже мы предлагаем классификацию текстов, входящих в церковнославянский корпус. Как и всякий корпус, он имеет центр и периферию. Очевидно, что лексикографическое описание должно быть ориентировано в первую очередь на тексты, составляющие ядро корпуса, в то время как материал периферийных текстов привлекается лишь в случае необходимости.

Книги, используемые при совершении общественного богослужения. Именно эти книги являются ядром корпуса, на которое следует опираться при описании лексики церковнославянского языка. При этом необходимо учитывать, что в языковом отношении церковнославянские книги не являются гомогенными. Как известно, свой современный облик наши богослужебные книги приобрели в XVII в. в результате исправления, начавшегося при патриархе Никоне и завершившегося при патриархе Иоакиме. Работа никоновских и иоакимовских справщиков не отличалась особой последовательностью. Принципы, из которых исходили справщики при работе над разными книгами, не всегда совпадали. Поэтому полного языкового единообразия в богослужебных книгах нет.

Заметный языковой разнобой может наблюдаться и внутри одной книги. В наибольшей степени это относится к современным служебным минеям. Дело в том, что службы, входящие в Минеи, относятся к разному времени: они составлялись в том числе и в новое время. Язык новых служб (XVIII–XX вв.) куда ближе к русскому литературному языку, чем язык служб, переведенных с греческого. В течение XIX в. Синод утвердил не менее 70 новых служб, которые сначала печатались в виде отдельных брошюр (Чуриловский, 1909: 2442). В начале XX в. была выпущена Дополнительная минея, в которую вошла некоторая часть этих служб, а в 80-е гг. XX в. Московская Патриархия издала новые по составу Минеи, куда вошло огромное количество служб, созданных в XVIII, XIX и XX вв. В постсоветское время процесс дополнения служебных миней новыми текстами продолжался[2]. Прежде всего, сюда входят службы недавно канонизированным новомученикам и исповедникам XX в.

В результате служебные минеи превратились в собрание текстов, довольно разнородных в языковом отношении. Здесь соседствуют тексты, переведенные с греческого в X–XII вв., службы, созданные в средневековой Руси и других славянских странах, а также тексты, написанные в XX–XXI вв. Встречаются здесь и экзотические тексты, вроде паремийного чтения, заимствованного не из Священного Писания, а из русских летописей[3] и богослужебного канона, написанного силлабо-тоническими стихами (Кравецкий и Плетнева, 2001. С. 272–273).

Кроме Миней в число основных богослужебных книг входят Часослов, Служебник, Требник, Триодь, Октоих, Ирмологий[4]. Состав этих книг стабилен, однако мелкой редактуре и лексическим заменам подвергались и они.

Священное Писание. Говоря о славянском тексте Священного Писания, мы должны иметь в виду, что он существует в двух вариантах – служебном (более архаичном в языковом отношении) и собственно четьем. Богослужебная и четья редакции Писания отличались друг от друга еще в византийской традиции. Эти различия унаследовала и

церковнославянская книжность. В XVIII веке в триодных паремьях богослужебная редакция была заменена четьим текстом, в то время как в минейных паремьях оставалась прежняя редакция. Таким образом, в современной богослужебной практике сосуществуют обе редакции Священного Писания, имеющие заметное количество лексических разночтений[5].

Служебный текст регулярно читается за богослужением, в то время как использование четьего текста церковнославянской Библии достаточно ограничено. Это связано с тем, что большинство верующих читает Библию (за исключением, разве что, Псалтири) на русском языке. Таким образом, четий текст Писания следует отнести скорее к периферии церковнославянского корпуса. При этом вплоть до самого последнего времени именно четий библейский текст оставался для исследователей основным источником сведений о церковнославянском языке. Это было связано с тем, что для Библии существует значительное количество словарей, легко доступен греческий и еврейский оригиналы.

Устав и уставные замечания. Эта рубрика объединяет церковнославянские тексты, в которых описывается порядок совершения богослужения. Это, прежде всего, Церковный устав (Типикон), а также уставные замечания и статьи, входящие непосредственно в богослужебные книги (Марковы главы – в Минеях и Триодях, Известие учительное – в Служебнике и т. д.). Эти тексты стоят особняком от остальных. Типикон не является самодостаточным текстом. Это описание порядка совершения богослужения. Те уставные замечания, которые инкорпорированы в текст служб, как правило, выделяются красным цветом. Таким образом сигнализируется, что эти тексты не предназначены для чтения вслух. Типикон и уставные замечания содержат значительный пласт лексики, в других текстах не встречающихся или встречающихся крайне редко, например, тропа́рь, конда́къ, лжи́ца и т. д.

В начале XX века звучали предложения перевести Типикон на русский язык, но особенно широко это предложение не обсуждалось. В настоящее время параллельно с Типиконом существует значительное количество русскоязычных пособий, описывающих богослужебную практику. Церковнославянский текст Типикона описывает идеальный порядок совершения богослужения, в то время как реальная практика гораздо ближе к традиции, зафиксированной в пособиях на русском языке.

Акафисты. Среди церковнославянских текстов акафисты занимают особое место. Как известно, по степени русификации и размытости языковой нормы акафисты превосходят все другие виды церковнославянской книжности. При этом акафисты пользуются огромной популярностью и в некотором роде формируют массовое представление о церковнославянском языке. В настоящее время общее число цсл акафистов приближается к тысяче.

Составитель акафистов может обойтись без серьезной богословской и филологической подготовки. При этом простота большинства акафистов делает их понятными для самого широкого круга верующих. Благодаря этому в XIX–XX вв. акафисты превратились в излюбленную форму религиозного творчества. До революции распространение акафистов сдерживала духовная цензура, имеющая возможность не допускать к печати низкокачественные тексты. После революции, когда духовная цензура была ликвидирована, популярность акафистов скорее возросла, чем уменьшилась. Это можно объяснить тем, что акафист – тот вид совместной молитвы, который возможен при закрытых храмах, к тому же текст акафиста невелик по объему и легко копируется от руки. В результате в XX в. получило широкое распространение огромное количество текстов, которые не подвергались никакому редактированию и язык которых далеко не всегда можно охарактеризовать как правильный церковнославянский. Акафист становится той поэтической формой, в которой происходит размывание границ церковнославянского языка[6]. Являясь формой массовой церковной культуры, акафисты естественным образом вызывают отторжение у любителей строгого уставного богослужения. Однако акафисты дают исследователям весьма ценный материал, поскольку они отчетливо демонстрируют представления широкой массы верующих о церковнославянском языке (Попов, 1903; Людоговский и Плякин, 2010; Людоговский, 2010 а; Людоговский и Плякин, в печати; Людоговский и Плякин, в печати а).

Памятники канонического права. В этой рубрике следует назвать два текста – так называемую Никоновскую редакцию Кормчей книги (первое издание вышло в 1653, последнее – в 1834 г.) и Книгу правил, которая с 1839 г. заменяет Кормчую. Язык Кормчей достаточно архаичен, в то время как Книга правил[7] сильно русифицирована. Язык церковного права имеет значительное количество особенностей. Поэтому, несмотря на то что в современной церковной жизни эти книги используются очень мало, они все же должны быть включены в церковнославянский корпус.

Святоотеческая литература и агиография. Благодаря деятельности русских переводчиков второй половины XIX в. основной массив святоотеческих текстов существует на русском языке. При этом тексты, изначально написанные по-

гречески, в основном читаются по-русски (даже при наличии церковнославянских переводов), а тексты русских подвижников, как правило, на русский язык не переводятся. По-славянски читаются Иосиф Волоцкий, Нил Сорский, Паисий Величковский, Димитрий Ростовский и др. Язык каждого из этих авторов имеет особенности, выходящие за пределы церковнославянской нормы. Ряд таких исконно церковнославянских текстов был в XVIII–XIX вв. подвергнут языковой унификации. Такой унификации подверглись, например, Минеи Димитрия Ростовского[8], которые представляют собой наиболее полный свод агиографических текстов.

Таким образом, говоря о бытовании святоотеческих и агиографических текстов, мы обнаруживаем сосуществование трех языковых вариантов. На современном русском литературном языке, нередко тяготеющем к нормам XIX в., читаются произведения, изначально написанные по-русски, а также переводы с греческого, латыни и других древних языков. На стандартном церковнославянском – тексты, прошедшие через руки типографских справщиков. И на различных вариантах гибридного церковнославянского читаются тексты, не подвергшиеся редактированию.

Необходимость обращения к святоотеческим и агиографическим текстам связана с тем, что они имеют массу параллелей в гимнографии и зачастую дают материал, позволяющий более точно описать значения слова.

Структура корпуса и проблемы описания лексики. Описывая лексику церковнославянского языка, имеет смысл опираться на те тексты, которые представляют собой ядро корпуса. Вне всякого сомнения, сюда должны войти все богослужебные книги. Вопрос об объеме минейного материала может решаться по-разному. С одной стороны, разумно было бы ограничиться теми текстами, которые входили в предреволюционную редакцию миней. Эти тексты были подвергнуты значительной языковой унификации и являются относительно гомогенными. Что же касается текстов, вошедших в Минею лишь в XX или XXI в., то в них встречается значительное число русизмов и диалектизмов. Вопрос о том, стоит ли расширять объем словаря за счет включения в него явно периферийных лексем, едва ли имеет однозначный ответ. Несомненно лишь то, что полный отказ от использования поздних служб едва ли возможен. Дело в том, что в службах, составленных в XX в., слова могут приобретать новые значения, не представленные в более старых текстах. Приведем лишь один пример. Выражение ѻ҆во́щное храни́лище встречается в Ветхом завете. Оно используется для перевода греческого εἰς ὁπωροφυλάκιον – «сторожка, шалаш, в котором живет сторож огорода». Встречается оно в риторических конструкциях, чтобы показать, в какое ничтожество превратятся большие цветущие города и земли: Бж҃е, прїидо́ша ꙗ҆зы́цы въ достоѧ́нїе твоѐ, ѡ҆скверни́ша хра́мъ ст҃ы́й тво́й, положи́ша і҆ерⷭ҇ли́мъ ꙗ҆́кѡ ѻ҆во́щное храни́лище (ἐρς ὥπωροφυλάκιον): положи́ша трꙋ́пїѧ ра̑бъ твои́хъ бра́шно пти́цамъ небе́снымъ, плѡ́ти прⷣбныхъ твои́хъ ѕвѣре́мъ земны́мъ[9]; И҆ положꙋ̀ самарі́ю во ѻ҆во́щное храни́лище (εἰς ὁπωροφυλάκιον) се́лное[10]; Сегѡ̀ ра́ди ва́съ дѣ́ла сїѡ́нъ ꙗ҆́коже ни́ва и҆з҆ѡре́тсѧ, и҆ і҆ерⷭ҇ли́мъ ꙗ҆́кѡ ѻ҆во́щное храни́лище бꙋ́детъ (ὡς ὁπωροφυλάκιον ἔσται)[11]; Преклони́сѧ и҆ потрѧсе́сѧ землѧ̀ а҆́ки ѻ҆во́щное храни́лище (ὡς ὁπωροφυλάκιον), и҆ а҆́ки пїѧ́нъ и҆ шꙋ́менъ паде́тъ и҆ не возмо́жетъ воста́ти, преѡдолѣ́ бо на не́й беззако́нїе[12]. Во всех этих примерах содержится описание катастрофы, крушения цветущего города и превращение его в убогий шалаш на краю виноградника. А в службе Собору новомучеников и исповедников Российских, составленной в начале XXI в., выражение ѻ҆во́щное храни́лище употребляется в значении «овощехранилище»: «Безбо́жнїи каї́нѡвы внꙋ́цы ст҃ы̑ни црⷦ҇ѡ́вныѧ порꙋга́нїю и҆ ѻ҆гню̀ преда́ша, ѻ҆би́тели разори́ша, храмы ꙗ҆́кѡ ѻ҆вѡ́щнаѧ храни̑лища содѣ́ѧша, хрⷭ҇толюби̑выѧ лю́ди въ темни̑цы заключи́ша и҆ ᲂу҆мꙋ́чиша» (МО, 2011. С. 18). Для современных гимнографов это слово оказалось актуальным, поскольку, как известно, закрытые храмы часто переоборудовались в хранилища для овощей или зерна. Таким образом, старое словоупотребление приобрело совершенно новый смысл. В словаре церковнославянского языка такие новые значения необходимо учитывать.

Если при описании церковнославянской лексики мы не будем привлекать в полном объеме материал поздних служб, то точно также следует поступить и с акафистами. «Великий акафист» войдет в число источников словаря уже потому, что он входит в состав Триоди. А материал остальных акафистов будет привлекаться лишь выборочно. Это же касается канонических, агиографических и святоотеческих текстов.

Электронный корпус

Описание лексики и составление словаря церковнославянского языка стало возможно благодаря деятельности участников Интернет-сообщества славянской типографики (http://www.cslav.org/). Участниками этого сообщества был разработан формат представления церковнославянских текстов (стандарт инвариантного представления церковнославянских текстов HIP и кодировка UCS8) и инструментарий для работы с этими текстами (пакет Ирмологион). Силами Сообщества была оцифрована значительная часть корпуса церковнославянских книг[13]. Для целей нашей работы был создан ряд новых инструментов[14].

С практической точки зрения, перед составителем переводного словаря стоят две основные задачи: 1) определение значений слова и 2) оформление этих значений вместе с примерами словоупотребления и различными сведениями о слове (грамматическими, этимологическими и нек. др.) в виде словарной статьи.

Для облегчения решения первой задачи авторами словаря используется конкордансер AntConc, позволяющий наглядно представлять контексты, в которых то или иное слово встречается в корпусе. Так, результат поиска контекстов (не в полном объеме) для слова внѕти выглядит следующим образом[15]:

...И рече` ємꙋ` гдСь:	**внѧ'лъ**	ли єси` мы'слію твое'ю...
...пре'жде зако'на	**внѧ'тъ**	ємꙋ`, ниже` леѵі'тъ...
...потерпѣ'хъ гдСа, и	**внѧ'тъ**	ми` и ѹслы'ша моли'твꙋ...
...мои'мъ къ бг~ꙋ, и	**внѧ'тъ**	ми`. Въ де'нь ско'рби...
...тѣ'мже и хрСто'съ	**внѧ'тъ**	моли'твѣ твое'й, мꙋ'дре...
...ста'немъ со стра'хомъ,	**во'нмемъ**	ст~о'е возноше'ніе...
...Нб~о и землѧ` да	**во'нметъ,**	и хрСтꙋ` да воспою'тъ...
...не ѿстꙋпи` ѿ мене`.	**Вонми`**	въ по'мощь мою`, гдСи...
...разꙋмѣ'й зва'ніе мое`.	**Вонми`**	гла'сꙋ моле'ніѧ моегѡ`...
...гдСи, моли'твꙋ мою` и	**вонми`**	гла'сꙋ моле'ніѧ моегѡ`...
...къ тебѣ`, ѹслы'ши мѧ`:	**вонми`**	гла'сꙋ моле'ніѧ моегѡ`...
...ско'рѡ ѹслы'ши мѧ`,	**вонми`**	дꙋши` мое'й, и изба'ви...
...Ꙗ'кѡ милосе'рдаѧ,	**вонми`**	моли'твамъ на'шымъ...
...воздыха'ніе и сле'зы, и	**вонми'те**	смире'нномꙋ моле'нію...

Как видно, во-первых, искомые (или «ключевые») словоформы выровнены по центру, т. е. контексты выдаются в формате KWIC (key word in context), общепризнанном в мировой лексикографической практике. Во-вторых, контексты автоматически отсортированы по искомым словоформам и – в рамках контекстов для каждой искомой словоформы – по словоформам, стоящим справа от искомых. Это позволяет сгруппировать повторяющиеся контексты (в данном случае **внѧ́тъ ми и вонмѝ гла́сꙋ моле́нїѧ моегѡ̀**).

Поиск контекстов в AntConc осуществляется с помощью так называемых поисковых запросов, которые включают в себя все словоформы того или иного слова. Поисковые запросы создаются автоматически на основе словника. Таким образом, автору не нужно искать каждую словоформу в отдельности, что имеет особое значение для слов, формы которых образуются от разных основ (как в случае с глаголом **внѧ́ти**).

Для удобства работы в программе AntConc (а также для хранения словарных статей в базе данных, см. ниже) корпус церковнославянских текстов был специальным образом подготовлен. Дело в том, что оцифрованные тексты, которые служат для нас исходным материалом, представлены в формате HIP, предназначенном, как сообщают его разработчики, «для записи в “читаемой” форме церковнославянских текстов с сохранением всех деталей правописания (буквы, надстрочники)». Например, фраза **Терпѧ̀ потерпѣ́хъ гд҃а, и҆ внѧ́тъ мѝ** (с киноварной буквой Т) в формате HIP имеет вид: %<Т%>ерпя` потерпјь'хъ гд\са, и= вня'тъ ми`. Для лингвистической работы с текстами нет необходимости сохранять все особенности оформления и орфографии, в частности, киноварь и знак придыхания (обозначаемые в HIP с помощью символов % и =); а принятая в HIP передача некоторых букв несколькими символами (*е* широкое – <е>, пси – <пс>, от – w\т, ять – јь[16] и др.) значительно усложняет восприятие текстов и формирование поисковых запросов для AntConc. Эти и другие обстоятельства потребовали перевести корпус церковнославянских текстов из формата HIP в формат, основанный на международном стандарте Unicode.

Кроме того, для корректного представления контекстов в формате KWIC был создан специальный шрифт, содержащий символы гражданской графики с добавлением недостающих букв (ѣ, ꙋ, ѿ, ѯ и др.). Все символы шрифта преднамеренно сделаны одинаковой ширины для удобства работы с контекстами в программе AntConc, поэтому у части букв несколько непривычные начертания (например, ук выглядит как ѹ). Для воспроизведения диакритики используется упрощенная запись: так, тильдой (~) передается титло, знак придыхания опускается, выносные буквы передаются в виде прописных (например, влДко, єѵГліе, трОца для вл҃ко, є҆ѵ҃лїє, тр҃ца), при этом знак буквенного титла также опускается и т. п. Именно этим шрифтом набраны вышеприведенные контексты для слова **внѧ́ти**.

Решение второй задачи (собственно составление словарной статьи) оптимизировано с помощью созданной специально для проекта электронной лексикографической системы. Она состоит из базы данных, предназначенной для хранения словарных статей, пользовательского интерфейса, позволяющего вводить данные в базу и редактировать их, и программных компонентов обработки данных, обеспечивающих выполнение различных технических операций.

Важнейшим результатом использования лексикографической системы является унификация структуры и оформления словарных статей. А поскольку система размещена в Интернете (в закрытом доступе), то, во-первых, статьи накапливаются в едином пространстве, во-вторых, появляется возможность совместной работы над одной и той же статьей.

В системе предусмотрены поля для ввода практически всех типов данных, необходимых для создания статьи: грамматических и этимологических сведений о слове, значений слова и/или его тол-

кования, примеров словоупотребления, греческих параллелей, примечаний к различным частям статьи и др. Каждое заголовочное слово дублируется в гражданском написании, что значительно облегчает поиск статей. В самом деле, участники проекта избавлены от необходимости использовать дополнительную раскладку клавиатуры для набора в окне поиска специфических церковнославянских символов и могут легко найти статью, несмотря на возможное многообразие орфографических обликов заголовочного слова. Например, по запросу «Авксентий» будет найдена статья а҆ѵѯе́нтїй, «Богоматерний» – бг҃омт҃рний, «апостол» – а҆по́столъ (а҆п҃толъ, а҆п҃лъ).

Часть статей лексикографическая система генерирует автоматически. Речь идет о статьях, отсылающих к основному орфографическому или грамматическому варианту, к начальной форме слова и нек. др. Примеры отсылочных статей: а҆рома́тъ *см.* а҆рѡма̑тъ, блг҃тный *см.* благода́тный, валѧ́емь *страд. прич. наст. вр. от* валѧ́ти (*см.*), галїле́анинъ *см.* галїле́ане.

Как и в любой базе данных, статьи можно отсортировать по алфавиту, дате изменения статьи, фамилии автора и т. п. Возможна также фильтрация статей по заданным критериям, например, система может выбрать из базы данных только канонические имена собственные женского рода, статьи для которых созданы определенным автором в определенный период.

В зависимости от выполняемой задачи одна и та же статья в системе может иметь разные функциональные представления: версия с рабочими примечаниями автора к статье – окончательная версия, версия для Интернета – версия для печати и нек. др. Помимо этого, статьи могут быть экспортированы в формат PDF или форматы, предназначенные для компьютерных *издательских систем*.

Для полноценной передачи церковнославянской графики все помещаемые в базу данных тексты автоматически переводятся из формата, основанного на Unicode (см. выше), в формат UCS8, т. е. в привычную кириллицу[17]. Кроме того, в системе поддерживаются греческий и латинский языки, а также языки с «экзотической» графикой: иврит, арамейский, аккадский, армянский, грузинский, коптский, сирийский.

Электронная лексикографическая система мыслится как непрерывно развивающийся продукт. В перспективе планируется интеграция системы с корпусом церковнославянских текстов, обеспечение наиболее оптимального взаимодействия участников проекта друг с другом, в частности, возможность добавления комментариев к отдельным статьям, создания ветвей коллективного обсуждения и многое другое.

Словообразовательная вариативность церковнославянского языка

Церковнославянскому языку свойственна широкая вариативность. Она представлена на орфографическом, морфологическом, а также (при надлежащем определении терминов) лексическом и синтаксическом уровнях. При просмотре значительного объема материала, что становится возможным благодаря работе с корпусом, выясняется, что число вариантов часто достигает трех-четырех. Более того: вариативность распространяется не только на элементы церковнославянской языковой системы, но и на церковнославянские (микро)тексты. Один и тот же тропарь, стихира, молитва могут входить в состав разных последований и, оставаясь «одним и тем же» текстом, содержать разного рода отличия (примеры: «Боже духов и всякия плоти...» в Требнике и в Служебнике; «Благообразный Иосиф...» в Триоди Постной, в Триоди Цветной и в Служебнике и др.).

Говоря о вариативности, свойственной церковнославянскому языку, имеет смысл особое внимание обратить на словообразование. Собственно, некоторые словообразовательные варианты хорошо известны: *царство/царствие*, *вдова/вдовица*, *милосердый/милосердный*. Однако получение полной картины до недавнего времени было довольно затруднительным. В качестве примера приведем некоторые словообразовательные варианты, которые были выявлены при работе над словником.

1) вдава́ти / вдаѧ́ти. На долю первого варианта приходится лишь одна словоформа – вдаваеми, которая встречается 4 раза в будничных службах Октоиха в весьма сходных контекстах: На древа̀ возвыша́еми, и҆ въ ро́въ вмета́еми, ѕвѣре́мъ же вдава́еми, во ѻ҆́гнь же и҆ въ во́дꙋ раздѣле́ни быва́юще, стр҃тоно́сцы мч҃нцы, ра́дꙋющесѧ поѧ́хꙋ: гд҃а по́йте, и҆ превозноси́те є҆го̀ во вѣ́ки (Октоих, глас 4, пятница, утреня, канон, песнь 8-я, тропарь 4-й).

Формы глагола вдаѧ́ти отличаются большим разнообразием, но совокупное количество употреблений – то же: вдае́ми (1 раз, в контексте, близком к вышеприведенному), вдаю̀ (1), вдаѧ́й (2), вдаѧ́ше (1).

2) воздава́ти / воздаѧ́ти. Здесь, как видим, то же соотношение основ, что и в предыдущем случае, однако распределение частотности существенно иное. Различные формы глагола воздава́ти встречаются в общей сложности 8 раз, в то время как вариант воздаѧ́ти представлен 68 вхождениями.

3) весели́ти / веселова́ти. Наряду с высокочастотным глаголом в анализируемом массиве церковнославянских текстов представлен также гапакс веселꙋ́емый: Гд҃оимени́таѧ дв҃о, гра́дъ нарече́на цр҃ѧ̀ хр҃та̀, веселꙋ́емый ᲂу҆стремле́нїи мы́сленныѧ рѣкѝ, и҆дѣ́же є҆́сть всѣ́хъ веселѧ́щихсѧ жили́ще, ѻ҆каѧ́ннꙋю мою̀ дꙋ́шꙋ ᲂу҆чинѝ

(25 июня, преподобномученицы Февронии, утреня, канон 1-й, песнь 5-я, Богородичен).

3) **вонзи́ти / вонзи́ти**. В этой паре вызывает вопросы второй вариант. Собственно говоря, инфинитив здесь восстанавливается предположительно. Реально засвидетельствованные формы суть следующие: **вонзѣ́** (5), **вонзо́сте** (1), **вонзо́ша** (1). Инфинитив можно реконструировать либо как **вонзи́ти**, либо **вонзти́**.

4) **возвели́чити / возвелича́ти**. Здесь мы сталкиваемся с проблемами аспектологического характера. Если вообще возможно говорить о глагольном виде в церковнославянском языке в том же смысле, как и в русском, то вариант **возвели́чити** относится к совершенному виду. Что же касается глагола **возвелича́ти**, то его суффиксация (несмотря на приставку **воз-**) говорит о вероятной биаспектуальности. В самом деле, очевидно, что в следующем контексте мы имеем дело с формой несовершенного вида: **Колесни́ца бг҃а на́шегѡ ѣ҆вственна бы́ла є҆сѝ, чи́стымъ се́рдцемъ твои́мъ сего́ носи́ма и҆мѣ́ла, бл҃же́нне, колесни́це же прика́зано, рѣши́ши ѿ ѹ҆зъ, и҆ хр҃то́вѣ прика́за любы́, и҆же та҆ сказа́вшыма: съ ни́ми же ве́рженъ бы́въ въ пе́щь, не ѡпали́лася є҆сѝ, дѣодо́ре, возвелича́ла гдⷭ҇а съ тѣ́ми, досточу́дне** (21 апреля, вечерня, стихиры на Господи воззвах, 2-я стихира мученика Феодора). В то же время можно указать и случай перфективного употребления этого глагола: **Ѹ҆слади́ла ма҆ є҆сѝ любо́вїю хр҃тѣ, и҆ и҆зме́нила ма҆ є҆сѝ бе́ѣ҆ственными твои́ми раче́нїемъ. но попали́ѡгне́мъ невещи́ственными грѣхѝ моа҆, и҆ насы́титися є҆́же въ тебѣ́ наслажде́нїа сподо́би: да ны́нѣ возвелича́ю бл҃же, два҆ прише́ствїа твоа҆** (из последования ко святому причащению).

Таким образом, учет контекста позволяет заключить, что глаголы **возвели́чити** и **возвелича́ти** не являются словообразовательными вариантами в точном смысле слова: первый член пары представляет собой глагол совершенного вида, в то время как второй глагол – двувидовой.

5) **воздвиза́ти / воздвига́ти**. Первый член пары – глагол с нормальной для церковнославянского языка третьей палатализацией, насчитывающий сотни случаев употребления. Второй встречается лишь один раз в форме **воздвига́емꙋю**, причем в тексте, находящемся на периферии минейного корпуса. Служба благоверным князьям Борису и Глебу (2 мая) в дореволюционные минеи не входила и относится к тем текстам, которые были включены в минейный корпус в конце XX века.

6) **воззжада́ти / воззажда́ти / воззажда́ти**. В этой тройке вариантов наличие/отсутствие йотации накладывается на различие в месте ударения. Все три глагола представлены малым числом словоформ. Вариант **воззжада́ти** реализован в трех словоформах: **воззжада́лъ**, **воззжада́хъ**, **воззжда́**. Вариант **воззажда́ти** – формой **воззажда́въ**. Относительно глагола **воззажда́ти**, вообще говоря, нет уверенности в необходимости его постулирования: единственый кандидат на образованную от него форму – **воззажда́дете** – может предположительно трактоваться и как форма от **воззжада́ти**.

7) **воззизда́ти / воззига́ти**. В формальном плане эта пара аналогична паре **воздвизда́ти / воздвига́ти**, однако распределение частности здесь обратное.

8) **впа́сти / впа́дꙋти**. Глагол **впа́сти** представлен разнобразными и достаточно частотными формами. К постулированию же инфинитива **впа́дꙋти** обязывает гапакс **впа́дꙋтъ**. Следует отметить, что эта форма употреблена в «Учительном известии» – уставной заметке, которая до недавнего времени печаталась в Служебнике. То есть это единичное употребление фиксируется в периферийном тексте.

9) **вѣ́ровати / вѣ́рити**. Первый член пары – высокочастотный глагол. Второй представлен едичной формой **вѣ́ритъ** (Требник, последование о исповедании).

10) **вѣнча́ти / вѣнчава́ти / вѣнчева́ти**. Первый вариант – наиболее простой в словообразовательном отношении и наиболее частотный. Второй заметно уступает ему по количеству форм и числу вхождений. Третий представлен гапаксом **вѣнчева́тъ**.

Случаи словообразовательной вариативности не следует смешивать со случаями, когда близкие слова имеют совершенно разное значение. Ярким примером здесь может быть пара **вѣсова́нїе / вѣснова́нїе**. Слово **вѣсова́нїе** имеет значение «сильная, неистовая страсть» [**ны́нѣ же пове́рже сѧ҃тѣ҆мъ писа́мъ ѹ҆ченико́въ, вѣсова́нїе бо сребролю́бїа, на своего́ бл҃ка҆ неи҆стовнитися сотвори́ є҆го́** (Триодь постная, Великий четверг, утреня, стихира на стиховне самогласна, 4)], а ***в*** сочетании с прилагательным **і҆дольское** – идолопоклонство [**Є҆лїссе́й дре́вле и҆з҆ рѣ҆ки́ сѣ́чиво влеки́й, дре́вомъ та҆ кр҃те, живото́дательное дре́во вошбража́ше: и҆́мже и҆зълече́ и҆з҆ глубины́ хр҃то́съ ꙗ҆зы́ки і҆дольскаго вѣсова́нїа** (Триодь постная, среда 4 седмицы, утреня, трипес. 1, песнь 9, тропарь 1)]. Слово **вѣснова́нїе** имеет значение «беснование» [**Ѡ҆ле безꙋмїа і҆конобо́рцевъ, и҆же і҆ко́нꙋ твою, бл҃це, ѿ почае́вскїа ѡ҆бите́ли плѣни́ша, и҆ порꙋга́нїю преда́ю́ще, ка́рꙋ бж҃їю ꙗ҆ѕ҃ве на сѧ҃ наведо́ша, вѣснова́нїемъ же ѡ҆бличе́нѣ бы́вшей женѣ́, ѹ҆жасо́мъ мно́гимъ содержа́хꙋсѧ** (Минея 23 июля, Служба Почаевской иконы Богоматери, утреня, канон, песнь 3, тропарь 6)], а также «гонение, вражда, сопровождающиеся бесовской злобой или под влиянием силы бесовской» [**Ѻ҆номꙋ же сѧ҃лѣ҆ жи҆тїѣ҆ ѿто́ргшꙋ … копрони́мъ кѡнстанти́нъ, нача́льства, нанпа́че же на сѧ҃тыа҆ і҆ко́ны вѣснова́нїа пре҆е́мниκъ быва́етъ** (Триодь постная, неделя 1 седмицы поста, утреня, синаксарь по песне 6)].

Лексические изменения в Библии и богослужебных книгах

История изменений в печатном тексте Священного Писания и богослужебных книгах пока не написана. Отследить эти замены крайне сложно, так как для этого пришлось бы сравнивать между собой тексты огромного объема. Известно, например, что печатный текст Священного Писания был заметно отредактирован в 1900 г., однако эта правка практически не касалась лексики.

В тексте богослужебных книг наибольшее внимание редакторов привлекали слова, восприятию которых мешало значение или стилистическая окрашенность этих слов в русском языке. Перед редакторами вставала проблема, как поступать со словами вроде **поно́съ** («поношение»), **вонѧ** («запах»), **ѝзблева́ти** («извергнуть») и т. д. Иногда эти слова заменялись на более нейтральные. Последовательно такая правка была проведена в начале XX в. при исправлении текста Триоди (Кравецкий и Плетнева, 2001. С. 99–102). Однако в богослужебное использование эта версия текста не вошла, поэтому среди используемых ныне богослужебных книг исправленную Триодь рассматривать не следует.

Но наиболее грубые с точки зрения русского языка из богослужебных книг все-таки исключались. Этот процесс хорошо демонстрирует судьба группы слов с корнем **блад-**. В словаре Г. Дьяченко (Дьяченко, 1899. С. 48–49) обнаруживаем 6 слов с этим корнем (**бладе́нїе, бла́дный, бла́дникъ, бладосло́вить, бладосло́вїе, бла́дь**), в словаре А. Бончева (Бончев, 2002. С. 50–52), опирающегося на русские издания XVIII – начала XX в., находим 9 слов с этим корнем (**бладе́нїе, бла́дный, бладосло́вити, бладосло́вїе, бладословле́нїе, бла́дство, бла́дствовати, бладу́щїй, бла́дь**). В рукописном словаре А. Новоструева (об этом издании см.: Калужнина, 2007; Невоструев, 2008. С. 93–95) – 8 слов (бляденіе, бляди, блядивыи, блядословлю, блядословие, блядство, бляду, блядь). При этом в словнике, составленном на основе электронного корпуса, куда более полного, чем те материалы, которыми пользовались составители словарей, имеется всего 3 слова с этим корнем (**бла́дь, бла́дный, бладосло́вїе**). Незначительное количество слов с корнем **блад-** в современных богослужебных книгах объясняется тем, что редакторы постепенно исключали эти слова, заменяя их синонимами. Что получилось в результате, хорошо видно из словарной статьи **блади́вый**, при составлении которой пришлось обращаться не к материалам оцифрованного корпуса современных богослужебных книг, но и к более ранним изданиям.

блади́вый, блади́въ (прил.)[18].

1. лживый, лжец; ложный, пустословный, фальшивый:

Прїиди́те, честну́ю главу́ ѿсѣче́нную мече́мъ кр҃ти́телеву́ … почти́мъ, ю́же блади́вый и҃рwдъ дре́вле пред҃ѿсѣче́нїе [Минея 24 февраля (Обретение главы Иоанна Предтечи), стихира на стиховне 1] – в современном издании **прелюбодѣ́й**.

бла́днвлѧ ѿсѣ́клъ є҆сѝ оу҃чє́нїѧ всѧ́, и҆ оу҃мнои́лъ є҆сѝ всѣ́мъ тр҃цу́ ѓвѣ [Минея 2 сентября, канон 2 (прп. Иоанна), песнь 6, тропарь 3] – в современом издании **лжи́вѧ**.

Ты҆ злосла́вныхъ ле́сть ѡ҆блични́лъ є҆сѝ, ѻ҆рѓе́на оу҃ченико́въ блади́ваго и҆ блгословца́ [Минея 29 сентября (прп. Кириака), канон, песнь 8, тропарь 3] – в современном издании **бѹ́ѧгw**.

є҆катери́но … ри́торwвъ оу҃толи́ла є҆сѝ блади́выѧ рѣ́чи, многострада́льнаѧ [Минея 24 ноября, стихира на стиховне, слава] – в современном издании **бѹесло́вныѧ**.

2. болтливый:

Единственный пример сохранения этого слова в современном издании[19]: **Кѹ́пнw же и҆ пра́здны, оу҃чи́тсѧ ѡ҆ходи́ти до́мы, не то́чїю же пра́зды, но и҆ блади́вы и҆ ѡплази́вы, глаго́люще҆ѧ ѓже не подоба́етъ** (1 Тим 5,13).

Грамматическая информация при лексикографическом описании

Работа с оцифрованным корпусом позволяет за сравнительно небольшое время проанализировать значительный объем материала. Это позволяет решать не только задачи лексикографического описания, но и сопутствующие грамматические вопросы. Так, например, значение связки для глагола **бы́ти** исторические словари иллюстрируют примерами, где этот глагол находится в личной форме. Между тем работа с оцифрованным корпусом позволила выявить, что в этом значении глагол **бы́ти** может выступать и в других формах.

(а) в инфинитивных конструкциях

– инфинитив с двойным винительным: **ѣ҆́кїе бо и҆сповѣ́да бы́ти тебѣ҆ бл҃года́тнаго бра́тъ, воздви́гшаго є҆гѡ̀ ѿ ѻ҆дра́ болѣ́зненнаго** (Минея 26 ноября, утреня, канон, песнь 6, тропарь 2); **вѣ́рꙋю сѧ́ бж҃їѧ бы́ти їи҃сл хр҃та́**[20];

– инфинитив с дательным: **ѣ҆́ще ли оу҃мретъ мѫ́жъ є҆ѧ́, свобо́дна є҆́сть ѿ зако́на, не бы́ти ей҆ прелюбодѣ́йцѣ, бы́вшей мѫ́жꙋ и҆но́мꙋ** (Рим 7.3).

(б) в причастных конструкциях

– с двойным винительным: **Ви́дитсѧ тво́й гро́бъ, благово́нно мы́ро благода́тїю и҆сточа́ѧ, прп҃бне, и҆ проповѣ́дꙋетъ бг҃ꙋ, бы́вша тѧ̀ благово́нїе, ѻ҆́ѥ҆ сѣмѧе́нне** (Минея 20 апреля, канон, песнь 3, тропарь 3);

– с дательным самостоятельным: **Тѣ́мже оу҃́бо, жи́вꙋ сꙋ́щꙋ мѫ́жꙋ, прелюбодѣ́йца бы́вала́етъ, ѣ҆́ще бꙋдетъ мѫ́жевѣ и҆но́мꙋ** (Рим 7.3).

Еще одно грамматическое наблюдение, сделанное в ходе работы с корпусом, связано с фиксацией в церковнославянских текстах форм, которые должны интерпретироваться как деепричастные. При этом церковнославянские грамматики, как известно, не выделяют в церковнославянском языке деепричастные формы: в цсл причастные формы употребляются как в собственно причастном, так и в деепричастном значении. Причастие **бждущій** употребляется только в собственно причастном значении как определение, а в деепричастном значении, в функции деепричастия вообще не представлено. Эту функцию может брать на себя форма **бждучи**. Вероятно, частеречную принадлежность этой формы следует определять как деепричастие. В данном случае значение этого деепричастия указывает не на будущее время, а просто на одновременность основному действию или состоянию, что обычно для деепричастий. Оно оказывается синонимичным причастию **сы́й**, **сущи** в деепричастном значении. Но если причастия настоящего времени **сущи**, **сы́й** употребляются во всех текстах корпуса (от Октоиха и Миней до Служебника, Добротолюбия, Алфавита духовного и т. д.), то **бждучи** встречается лишь в периферийных текстах, не употребляясь в основных богослужебных книгах.

Список литературы

Апостол, 1989. – Апостол. М.: Издательство Московской Патриархии, 1989.

Балашов, 2001. – Николай Н. Балашов, прот. На пути к литургическому возрождению М., 2001.

Белякова, 2004. – Е. В. Белякова. Церковный суд и проблемы церковной жизни. М., 2004.

Бончев, 2002. – Архимандрит Атанаси Бончев. Речник на църковнославянския език. Т. 1. София, 2002.

Калужнина, 2007. – Калужнина Н. В. О подготовке к изданию словаря церковнославянского языка прот. А. И. Невоструева // Вестник ПСТГУ. Сер. III: Филология. 2007. Вып. 3 (9). С. 173–179.

Королев, в печати. – П. С. Королев. История редакторских изменений церковнославянского текста Деяний и Посланий апостольских в московских печатных книгах XVI–XXI веков // Лингвистическое источниковедение и история русского языка <2011>. М. (в печати).

Кравецкий, 1991. – А. Г. Кравецкий. Из истории Паремейного чтения Борису и Глебу // Традиции древнейшей славянской письменности и языковая культура восточных славян. М., 1991. С. 42–52.

Кравецкий и Плетнева, 2001. – А. Г. Кравецкий, А. А. Плетнева. История церковнославянского языка в России (конец XIX – XX в.). М., 2001.

Людоговский, 2003. – Ф. Б. Людоговский. Современый церковнославянский минейный корпус: состав и структура // Лингвистическое источниковедение и история русского языка. <2002–2003>. М., 2003. С. 500–530.

Людоговский, 2006. – Ф. Б. Людоговский. Функционирование и эволюция служебного и четьего вариантов церковнославянского Евангелия в эпоху книгопечатания: постановка проблемы // Лингвистическое источниковедение и история русского языка. 2004–2005. М., 2006.

Людоговский, 2010. – Ф. Б. Людоговский. Ветхозаветные паремии в составе современного церковнославянского минейного корпуса // Лингвистическое источниковедение и история русского языка. 2006–2009. М., 2010. С. 523–545.

Людоговский, 2010 а. – Свящ. Ф. Людоговский. Церковнославянский акафист: структуры и константы // Славянские языки: единицы, категории, ценностные константы: сб. науч. статей. Волгоград, 2010. С. 47–68.

Людоговский и Плякин, 2010. – Свящ. Ф. Людоговский, диак. Максим Плякин. Хвалебные гимны подвижникам // Журнал Московской Патриархии. 2010. № 6. С. 70–76.

Людоговский и Плякин (в печати). – Свящ. Ф. Людоговский, диак. М. Плякин. Жанр акафиста в XXI веке // Попов А. В. Православные русские акафисты. М. (в печати).

Людоговский и Плякин (в печати 1). – Свящ. Ф. Людоговский, свящ. М. Плякин. Акафисты ангелам: опытный фрагмент каталога церковнославянских акафистов // Лингвистическое источниковедение и история русского языка <2010>. М. (в печати)

МО, 2011. – Минея общая новомученикам и исповедникам Российским. М.: Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2011.

Невоструев, 2008. – Невоструев А. И., прот. Словарь речений из богослужебных книг. Издатели Н. В. Калужнина, М. Э. Давыденкова, О. Л. Стриевская, Е. Е. Серегина // Вестник ПСТГУ. III Филология. 2008. Вып. 4 (14). С. 71–112.

Пантелеймон, 2011. – Пантелеимон (Королев), монах. Эволюция и функционирование служебной и четьей редакции церковнославянского Апостола в эпоху книгопечатания (на материале 91 и 153 зачал). Диссертация на соискание ученой степени кандидата богословия. Сергиев Посад, 2011.

Плякин, 2009. – Диак. Максим Плякин. Квазилитургические тексты как форма существования околоцерковного фольклора. (Доклад на первой конференции «Современная православная гимнография». 24.11. 2009). URL: http://www.ruslang.ru/agens.php?id=conf_church-slav090211

Попов, 1903. – Православные русские акафисты, изданные с благословения Святейшего Синода, история их происхождения и цензуры, особенности содержания и построения. Церковно-литературное исследование Алексея Попова. Казань, 1903.

Успенский, 2000. – Б. А. Успенский. Борис и Глеб: восприятие истории в Древней Руси. М., 2000.

Чуриловский, 2009. – Н. Ф. Чуриловский. Новая богослужебная книга: **Минѣя дополни́тельная** // Прибавления к Церковным ведомостям. 1909. № 51–52. С. 2441–2447.

Примечания

[1] То есть мы не включаем в круг своих источников книги, издаваемые другими славянскими православными церквями, старопечатные книги, старообрядческие и униатские издания.

[2] О первом дополненном издании месячных миней см.: Кравецкий и Плетнева, 2001. С. 269–274. О последующих изданиях см.: Людоговский, 2003.

[3] Речь идет о «летописном» паремейном чтении Борису и Глебу. См.: Успенский, 2000. С. 8–29; Кравецкий, 1991.

[4] О служебных Евангелии и Апостоле речь пойдет в разделе, посвященном Священному Писанию.

[5] О различиях между богослужебной и четьей версиями Священного Писания см.: Людоговский, 2006; Людоговский, 2010; Пантелеймон, 2011; Королев, в печати.

[6] Сегодня появляются и явно нецерковные акафисты, такие, как Акафист Игорю Талькову или неизданный, но представленный в Интернете Акафист младенцам Беслана (Плякин, 2009).

[7] Об этой книге см.: Белякова, 2004. С. 25–27.

[8] Минеи Димитрия Ростовского читаются и в русском переводе.

[9] Пс. 78.1–2. В Синодальном переводе: *Иерусалим превратили в развалины*.

[10] Михей 1.6. В Синодальном переводе: *Сделали Самарию грудой развалин*.

[11] Михей 3.12. В Синодальном переводе: *Сделается грудой развалин*.

[12] Исайя 24.20. В Синодальном переводе: *Шатается земля, как пьяный, и качается, как колыбель*.

[13] Постоянно пополняемая библиотека церковнославянских текстов в формате HIP расположена по адресу: http://www.orthlib.ru/worship/

[14] Автором программных инструментов, созданных специально для нашего проекта, является А. Хитров.

[15] За недостатком места в приведенном примере контексты обрезаны; в программе AntConc автор имеет возможность обратиться к широким контекстам.

[16] Сочетание jь вообще может дезориентировать слависта, привыкшего придавать ему другое значение.

[17] Не вдаваясь в технические подробности, следует отметить, что на данный момент нет возможности ограничиться одним форматом представления церковнославянских текстов — приходится использовать по меньшей мере два формата, один из которых ориентирован на хранение информации (формат на основе Unicode), а другой — на адекватную визуализацию (UCS8).

[18] Все примеры употребления данного слова — из служебных миней 1799 г.

[19] Пример найден в издании: Апостол, 1989. Правда, это издание служебного Апостола, как и ряд последующих вплоть до 2010 г., были репринтными воспроизведениями богослужебных книг XIX в. То есть даже этот единственный пример на самом деле из богослужебной книги XIX в., что лишь подтверждает наше наблюдение о замене рассматриваемых слов синонимами в современных богослужебных книгах Русской Православной Церкви.

[20] Деян 8.37.

М. В. Орешкина

ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ЗАИМСТВОВАННОЙ ЛЕКСИКИ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ (НА МАТЕРИАЛЕ ЗАИМСТВОВАНИЙ ИЗ ЯЗЫКОВ НАРОДОВ РОССИИ И БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ)

В современном языкознании многие исследования посвящены проблемам соотношения языка и культуры, их взаимодополняющей роли в современном обществе, связи языка с социальным и духовно-культурным контекстом времени, отражения в языке контактов между языками и культурных ценностей не только своего, но также и других народов. Эти аспекты указанных проблем продуктивно исследовать на материале *заимствований* в русский язык концептуальной лексики из других языков, что позволяет осмыслить особенности национально-языковой картины мира того или иного народа или сообщества.

В русский лексикон в разные эпохи вошло достаточно большое количество иноязычных заимствований, которые «прижились» и в языке, и в сознании, осели в русском словаре. Обращаясь к проблеме описания национально-специфических *концептов* русской *языковой картины мира*, мы неизбежно сталкиваемся с присутствием инонациональной культуры в этой картине. Это вполне естественно, так как в результате взаимодействия культуры и языка русского народа с культурами и языками других народов, особенно тех, которые на протяжении веков соседствовали с русскими, возникали процессы взаимопроникновения элементов культуры и языка. Примером могут служить контакты русского народа с другими народами России и стран ближнего зарубежья, языки и культуры которых при всем их различии и расхождении во мно-

гом тесно переплелись. О таких этнокультурных и языковых схождениях еще в начале прошлого века писал в статье «Вавилонская башня и смешение языков» (1923 г.) Н. С. Трубецкой: «Случается, что несколько языков одной и той же географической и культурно-исторической области обнаруживают черты специального сходства, несмотря на то что сходство это не обусловлено общим происхождением, а только продолжительным соседством и параллельным развитием» (Трубецкой, 1999).

Интенсивные процессы контактирования и взаимного влияния языков народов нашей страны и стран ближнего зарубежья в современную эпоху привели к значительному изменению словарного состава каждого национального языка, к пополнению его новыми словами и понятиями, к обмену через лексические заимствования социально-экономической и культурно-исторической информацией. В отличие от предшествующих эпох обмен лексикой происходит в основном через литературный язык, письменную речь, средства массовой информации и коммуникации, что объясняет большие потоки заимствований, проникающих как из русского языка в контактирующие с ним языки, так и из многочисленных языков непосредственно в русский язык. В этом массиве заимствований отразились, прежде всего, контакты наших народов и культур, которые были соседями на протяжении веков.

Заимствованные слова как знаки определенной культуры несут в себе важную социальную, культурную и познавательную информацию, отражая явления материальной и духовной культуры другого народа, включающую различные производственные и географические представления, особенности национального быта, обычаев, праздников, традиций, мировоззрения и норм нравственности каждого народа.

Лексический корпус заимствований из языков народов нашей страны и стран ближнего зарубежья в русском языке нуждается в полной инвентаризации и научном описании, систематизации и лексикографической обработке. Однако до настоящего времени не было проведено полного, обобщающего исследования заимствований из национальных языков в русском, не определен и не описан сам лексический состав таких заимствований, сферы их распространения, формы, в которых они бытуют, значение и стилистическая окраска, их лексикографическая освоенность. По данным некоторых исследований, в словарях русского языка содержится около 1 % слов из языков народов России и стран ближнего зарубежья, что явно не отражает реальное положение с этими заимствованиями в русском лексиконе.

Для того чтобы более точно охарактеризовать «присутствие» заимствований из языков народов России и ближнего зарубежья в разных словарях русского языка, надо обратиться к классификации заимствований по степени их освоенности русским литературным языком и сфере распространения.

Заимствования по степени их освоенности русским литературным языком и сфере их распространения мы разделяем на две большие группы: 1. заимствования, освоенные русским литературным языком: а) *этимологические заимствования* и б) *общеупотребительные заимствования*, или *собственно заимствования*; 2. заимствования, не освоенные русским литературным языком: а) *региональные заимствования* и б) *локальные заимствования*.

Заимствования, наделенные национально-культурной семантикой, вошедшие в русский язык в виде культурных концептов, тематически представлены традиционными для заимствованной лексики группами, связанными прежде всего с обозначением специфических реалий и понятий: общественно-исторических (обозначение вида деятельности и рода занятий – *бакши, дехканин, мираб, мугалим, чабан, шоир;* обозначение социальной принадлежности, должности, чинов – *бай, манап, раис, сердар, хан;* обозначение населенных пунктов, жилищ, различных построек – *айван, аул, балахона, дувал, караван-сарай, кибитка, кишлак, чайхана, шипанг, юрта; апилинка, мыза* и др.), природных (обозначение явлений флоры – *арча, вахарман, джида, карагач, сазак, чаир, чинара;* явлений фауны – *аргамак, инер, киик, тэке, улар;* обозначение атмосферных явлений – *бескунак, керимсал, самум, санташ, улан;* видов ландшафта – *адыры, бархан, джайляу, сазы, сай, такыр; овринг* и др.), культурно-бытовых (обозначение обрядов, обычаев, праздников – *адат, аш, бушлук, гелиналджи, джентек, джоро, калым, корундук, суюнчи, той;* видов и жанров народного творчества – *айтыс, дастан, камбаркан, кюй, ляле, санат, сленги, терме; гопак;* обозначение музыкальных инструментов – *домбра, дутар, карнай, комуз, кыяк, тюйдук;* игр и состязаний – *альчики, байга, гореш, джусан, копкари, кураш, тогуз-кумалак;* обозначение предметов одежды, убранства, украшений – *бешмет, кементай, кетени, чапан, чапчак;* блюд, напитков – *айран, бешбармак, боорсок, кок-чай, плов, чурек, ширчай, шурпа; бульба, маца, хала, клумпы;* обозначение домашней утвари, посуды – *дастархан, казан, каса, кумган, ляган, пиала, саба, тостаган, хурджин* и др.).

Заслуживает особого внимания иноязычная ономастика – антропонимика, топонимика и этнонимика, широко представленная в художественных текстах, особенно переводных (антропонимы – *Лейла, Меджнун, Лукман, Махтумкули, Навои, Тамерлан, Тулпар, Тимур, Фархад*; топонимы – *Алатау, Каракумы, Ташкент, Бухара*, в том числе гидронимы – *Джейхун, Иссык, Сыр-Дарья*; этнонимы –

казах, ногай, гоклен и др.). Эта группа культурно-исторической лексики не часто становится объектом словарей, поэтому она нуждается не только в инвентаризации и классификации, но и лексикографической обработке, а также вводе в различные *глоссарии* (к отдельным произведениям и изданиям) или в специальные словари региональной иноязычной лексики в русском языке.

Принимая во внимание классификацию заимствований по степени их освоенности русским литературным языком и сфере их распространения, дадим общую характеристику каждой группе заимствований с точки зрения их включенности в лексическую систему русского литературного языка и в словари русского языка. Заимствования из национальных языков народов России и ближнего зарубежья в русском языке прежде всего необходимо разделить по степени лексикографической освоенности в заимствующем языке на: а) полностью лексикографически освоенные, б) частично лексикографически освоенные, в) лексикографически неосвоенные.

1. Этимологические заимствования – лексические единицы русского литературного языка, давно и полностью освоенные литературным языком, являются заимствованиями лишь по происхождению, обозначают универсальные общераспространенные реалии и полностью утратили связь с чужой, иноземной действительностью (не имеют ассоциаций с культурой другого народа).

Вывод. Этимологические заимствования являются полностью лексикографически освоенными заимствованными словами. Они, естественно, входят в основной словарный состав русского языка, в его активный запас, имеют широкое распространение на всей территории функционирования русского языка, они зафиксированы русскими толковыми словарями, орфографическими, стилистическими, фразеологическими, энциклопедическими и другими словарями русского литературного языка: *алмаз, деньги, карандаш, колбаса, лошадь, сарай, собака, стакан, товар* (из тюрк. яз.); *навага, салака* (из фин.-угор. яз.) и др. В силу своей давней освоенности русским литературным языком, полного слияния с исконным словарным составом русского языка этимологические заимствования не входят, как правило, в словари иностранных (иноязычных) слов, словари заимствований, региональные словари и другие специальные словари. Некоторые региональные словари включают частично этимологические заимствования в свой состав. Однако их можно почти полностью найти в этимологических словарях русского языка.

2. Общеупотребительные заимствования, или собственно заимствованные слова, – лексические единицы русского литературного языка, заимствованные русским языком из других языков для выражения специфических инонациональных реалий, отражающих другую национальную действительность и являющихся характерной для нее. Они так же, как и этимологические заимствования, в основном освоены русским литературным языком, общеупотребительны и общепонятны, входят в словарный состав русского языка, однако они находятся на периферии литературной лексики, в ее пассивном запасе в силу «обуженности» своей семантики; они выражают инонациональные этнокультурные или конфессиональные явления и понятия и вследствие этого употребляются в языке-приемнике, как правило, в текстах, посвященных так называемой национальной тематике (*айва, аллах, аул, бай, казан, мечеть, мулла, отара, паранджа, плов, чабан, юрта* и др.). Эти заимствованные слова выражают специфические явления и понятия «чужой» культуры, связаны в сознании с «чужой», инородной реалией, культурой другого народа или группы народов, живущих в определенном регионе, они имеют экзотический колорит, не утратили, не утеряли оттенок «чужого», имеют ассоциации с определенной культурно-исторической средой: например, слово *юрта* (заимств. из тюрк. яз.) – культурный концепт северных народов; слово *паранджа* (заимств. из тюрк. яз. ← араб.) – культурный концепт восточных мусульманских народов.

Вывод. Общеупотребительные заимствования почти полностью можно отнести к лексикографически освоенным единицам русского языка, часть из них остается частично лексикографически освоенными. Они входят в основной словарный состав русского языка, в его пассивный запас, почти все они зафиксированы русскими толковыми словарями, орфографическими, фразеологическими, энциклопедическими и другими словарями русского литературного языка: *айва, аллах, аул, бай, казан, мечеть, мулла, отара, паранджа, плов, чабан, юрта* (из тюрк. яз.); *мыза* (из фин.-угор., эст. яз.), *гопак* (из слав., укр. яз.), *бульба* (из слав., белорус. яз.) и др. В силу обуженности семантики и экзотичности содержания общеупотребительные заимствования входят, как правило, в словари иностранных (иноязычных) слов, словари заимствований, частично в региональные и другие специальные словари. Большинство из них можно найти в этимологических словарях русского языка.

3. Региональные заимствования, или регионализмы, – речевые единицы, не освоенные или слабо освоенные русским литературным языком, не принадлежащие лексической системе русского литературного языка, перешедшие из других языков и функционирующие в русском языке лишь как факты речи (устной и письменной), территориально ограниченные по употреблению определенным,

но достаточно широким регионом и выражающие национально-специфические понятия и реалии, общие для народов данного региона. Региональные заимствования выражают национальные этнокультурные явления и понятия и вследствие этого употребляются в языке-приемнике, как правило, в текстах, посвященных национальной тематике. Во многих случаях, если контекст не семантизирует заимствование, остается непонятным и неизвестным, с какой реалией оно связано; в этих случаях значения таких заимствований остаются неясными (*борук, килим, ураса, чомуч, ширдак, яшмак* и др.).

Вывод. Региональная заимствованная лексика принадлежит к группе частично лексикографически освоенных, а в большинстве случаев лексикографически неосвоенных иноязычных слов в русском языке. Эти слова не входят в лексическую систему русского литературного языка или находятся глубоко на ее периферии. Они в основном отсутствуют в толковых словарях русского литературного языка, в том числе в энциклопедических словарях и в словарях иностранных (иноязычных) слов. Такая лексика бывает помещена в региональные словари, словари заимствований и другие специальные словари иноязычных слов, отражающих местную лексику определенного региона, однако далеко не в полном объеме (см.: Шипова, 1976; Юналеева, 2005; Шеломенцева, 1971; Кушлина, 1968): *зиндан, каса, хирман, хурджин* и др. Материал такого словаря может ограничиваться заимствованиями из одного языка или одной группы языков, ср., например, «Словарь таджикских заимствований в русском языке» А. Халилова (Халилов, 1988), включающий слова из таджикского языка в русском языке, и «Словарь тюркизмов в русском языке» Е. Н. Шиповой (Шипова, 1976), включающий заимствования из всех тюркских языков в русском языке. В силу того, что эти заимствования остаются за пределами лексической системы русского языка, большинство из них нельзя найти в этимологических словарях русского языка.

4. Локальные заимствования, или локализмы (в том числе окказиональные заимствования, или окказионализмы), – речевые единицы, не освоенные или слабо освоенные русским литературным языком, не принадлежащие лексической системе русского литературного языка, перешедшие из других языков и функционирующие в русской устной и/или письменной речи, также слабоосвоенные или почти не освоенные в русском речевом употреблении, в основном непроизводные и ненормативные, малоупотребительные, территориально ограниченные зоной одной республики, области или района и выражающие национально-специфические понятия и реалии, присущие жителям данной республики, области или района: *адай, жуз, кокпар, кыз куу, шабул* – казахские; *боорсок, корундук, кошеге, чилде* – киргизские; *вахарман, дагдан, дограма, сачак, чокаи, яшули* – туркменские; *ашна, сумалак, сунбул* – узбекские; *сайылык, олонхосут* – якутские; *матнакаш* – армянские; *баде* – молдавские.

Локальные заимствования выражают инонациональные этнокультурные явления и понятия и вследствие этого употребляются в языке-приемнике, как правило, в устной разговорной речи, а также в текстах, посвященных местной, национальной тематике, но во многих случаях значения этих слов без специального пояснения остаются неясными (*аскиябаз, кыз-куу, пышты* и др.).

Вывод. Локальная заимствованная лексика представляет собой в большинстве случаев лексикографически неосвоенную группу иноязычных слов в русском языке, небольшая часть ее относится к группе частично лексикографически освоенных слов. Она не входит в лексическую систему русского литературного языка. Она практически отсутствует в толковых словарях русского литературного языка, в том числе в энциклопедических словарях и в словарях иностранных (иноязычных) слов. Локальную заимствованную лексику трудно найти в любых словарях русского языка. Иногда такая лексика находит объяснение в небольших словариках или глоссариях, прилагаемых к этнографическим и другим научным изданиям или к текстам художественной литературы, особенно переводной, а также в собраниях сочинений национальных писателей на русском языке.

Следует отметить, что границы между подгруппами неосвоенных тюркизмов нечеткие, размытые, в некоторых случаях трудно установимые вследствие их возможной изменчивости, об этом свидетельствуют и наблюдения А. Н. Баскакова, относящиеся к вышеперечисленным группам заимствованных слов: «Все указанные лексические группы, – пишет А. Н. Баскаков, – находятся друг с другом в субординационных отношениях – заимствования из тюркских языков в русский литературный язык поступают преимущественно из числа региональных заимствований, фиксируемых и функционирующих в периодике, художественной или научно-технической литературе, издающейся на русском языке в республиках, т. е. в основном через письменные формы речи. Региональные заимствования пополняются из двух источников: непосредственно из литературных тюркских языков, из различных их функциональных стилей, а также из числа локальных заимствований, бытующих в русских старожильческих диалектах и окказионально функционирующих в устной речи русских, постоянно проживающих в условиях иноязычной языковой среды. Следует подчеркнуть, что как региональные заимствования, так и тем более заимствования,

вошедшие в словарь литературного русского языка, пополняются в основном благодаря национально-русскому двуязычию, осуществляющемуся на уровне литературных – русского и тюркских языков. Что касается локальных заимствований, т. е. заимствований из диалектов и говоров русского и тюркских языков, то в настоящее время повсеместного развития литературных языков они не имеют перспектив для развития и не являются резервами пополнения лексического состава литературного русского языка» (Баскаков, 1987. С. 233–234).

Решению задачи толкования неосвоенных или слабоосвоенных заимствований из языков народов России и ближнего зарубежья в русском языке может служить словарная фиксация и размещение их в региональных словарях и в специальных словарях иноязычной лексики.

Такая поисковая работа по определению состава заимствованных слов в русском языке успешно проводилась в отдельных республиках и регионах России и странах ближнего зарубежья, например, в среднеазиатском, закавказском, прибалтийском и некоторых других регионах, в результате чего была создана серия *региональных* ***контактологических*** (их можно так обобщенно назвать) *словарей заимствований* в русском языке.

Словарей, посвященных заимствованиям из отдельных языков в русском языке, несколько: Словарь Г. Г. Голетиани (Голетиани, 1972) – словарь грузинских слов на русском языке, Словарь И. Е. Гальченко (Гальченко, 1975) – собрание лексики языков народов Северного Кавказа, Словарь А. Халилова (Халилов, 1988) – словарь таджикских слов, Словарь Ю. А. Лаучюте (Лаучюте, 1972) – словарь балтийских слов.

Особо следует выделить словари заимствований из тюркских языков в русском языке. Наибольшее количество заимствований в русском языке наблюдается из тюркских языков, поскольку на территории стран СНГ насчитывается свыше 25 тюркских языков, а по количеству носителей они стоят на втором месте (после славянских языков). К настоящему времени в русском языке сформировались определенные пласты общетюркской заимствованной лексики, общей для большинства или многих тюркских языков. Общетюркская заимствованная лексика, особенно вошедшая в русский язык в прошлые эпохи, достаточно тщательно и добротно описана в многочисленных научных исследованиях и представлена в толковых словарях современного литературного языка. Б. Б. Джапаров в диссертационном исследовании (Джапаров, 1988. С. 2), посвященном анализу региональной лексики тюркского происхождения в толковых словарях современного русского литературного языка, выявляет около 500 словарных статей *тюркизмов* в толковых словарях русского языка советского периода: 1) Словарь современного русского литературного языка: в 17 т. М.; Л., 1948–1965; 2) Толковый словарь русского языка / под ред. Д. Н. Ушакова: в 4 т. М., 1934–1940; 3) Словарь русского языка: в 4 т. М., 1957–1961; 2-е изд. М., 1981–1984; 4) С. И. Ожегов. Словарь русского языка. 16-е изд. М., 1984; 5) Словарь иностранных слов. 1–9 издания. М., 1937–1982.

Однако подобная работа по описанию заимствованной лексики в русском языке из каждого конкретного тюркского языка отдельно проведена далеко не по всем тюркским языкам. В настоящее время издан ряд специальных словарей, отражающих общетюркскую или региональную тюркскую лексику в русском языке, а также имеются словари, находящиеся в приложениях к лингвистическим исследованиям по тюркско-русским языковым контактам. Это прежде всего словари тюркизмов – Е. Н. Шиповой (Шипова, 1976), А. В. Миртова (Миртов, 1941), Н. К. Дмитриева (Дмитриев, 1962), З. С. Шеломенцевой (Шеломенцева, 1971), А. Жаримбетова (Жаримбетов, 1980), Р. А. Юналеевой (Юналеева, 2005), М. Ш. Мусатаевой и Л. А. Шеляховской (Мусатаева и Шеляховская, 1991–1992), М. В. Орешкиной (Орешкина, 1990), Н. Н. Хусаинова (Хусаинов, 2007); киргизских слов – словарь З. С. Шеломенцевой (Шеломенцева, 1980), И. Н. Бажиной (Бажина, 1972), туркменских слов – словарь О. Н. Назарова (Назаров, 1984), узбекских и таджикских слов – словарь Э. Н. Кушлиной (Кушлина, 1968), якутских слов – словарь Н. Г. Самсонова (Самсонов, 1984) и некоторые другие словари, прилагаемые к научным монографиям и диссертационным исследованиям.

Проведение таких разработок по каждому тюркскому языку отдельно и написание соответствующих словарей и словариков регионализмов в тех регионах, где они еще не составлены, позволило бы в будущем говорить о создании фундаментальной общей типологии тюркизмов в русском языке.

Среди отечественных изданий подобного типа можно выделить большой фундаментальный «Словарь тюркизмов в русском языке» Е. Н. Шиповой (Шипова, 1976), содержащий, как говорится во введении, около двух тысяч слов-тюркизмов, вошедших в русский язык из тюркских языков начиная с древнейшего периода тюркско-русских языковых контактов и кончая современными языковыми связями. В Словаре раскрыта этимология слов-тюркизмов и история их появления в русском языке, что является особенно ценным, так как локализация заимствованных тюркизмов в русском языке, т. е. отнесенность того или иного слова к конкретному языку, вызывает большую трудность и удается далеко не во всех случаях. В Словаре представлены разнообразные разряды тюркизмов по степени

их освоенности современным русским языком – от этимологических тюркизмов (*карандаш, товарищ, собака*), общетюркских слов (*джигит, дутар, той*) до локальных заимствований (якут. *тойон*, чуваш. *яшка*), а также архаизмы и диалектизмы. Автор Словаря не ставил целью показать современное словоупотребление и проиллюстрировать заимствования цитатами из художественной или иной литературы, в связи с чем в Словаре далеко не полностью зафиксирована новая заимствованная лексика из тюркских языков последних десятилетий.

Представляет большой теоретический и практический интерес «Словарь туркменских слов, встречающихся в русском тексте» О. Н. Назарова (Назаров, 1984), который соединил в себе тип толкового словаря иноязычных слов с практическим справочным пособием, регламентирующим семантизацию, грамматическое оформление и орфографирование туркменских слов, встречающихся в русских, преимущественно художественных текстах. Вызывает сожаление тот факт, что этот словарь не издан отдельно, а в качестве приложения к монографии он оказывается малодоступным для широкого применения. О. Н. Назаров справедливо отмечает, что «материалы этого словаря призваны помочь в создании сводного глоссария старых и новых заимствований из национальных языков в русском языке в разных регионах его использования как средства межнационального общения».

Словари подобного типа создавались и в зарубежном языкознании. В качестве примера можно привести подробно разработанный «Словарь тюркизмов в сербскохорватском языке» Абдулаха Скалича (Сараево, 1979) (Škaljić, 1979), в котором наряду с апеллятивной лексикой представлена заимствованная антропонимическая лексика, что не часто встречается в толковых словарях и является особенно ценным для словарей иноязычных слов.

Обращает на себя внимание «Словообразовательный словарь тематических групп тюркизмов в русском языке» М. Ш. Мусатаевой и Л. А. Шеляховской (Мусатаева и Шеляховская, 1991–1992), который демонстрирует углубленную разработку проблемы «тюркизмы в русской лексикографии». Здесь в словарном виде представлено словообразовательное освоение тюркизмов различных тематических групп: наименования лиц, мест, одежды и ее деталей, предметов быта, продуктов питания, растений, животных, насекомых, птиц и рыб и т. п.

В Казани подготовлен к изданию «Словарь татарских слов в русских текстах», который будет первым словарем тюркизмов в поволжском регионе. Авторы коллективной монографии «Заимствования русского языка в историко-функциональном аспекте», выпущенной Казанским университетом, справедливо резюмируют, что, «к сожалению, накопленный во многих местах интересный материал по регионализмам еще не нашел должного отражения в русской лексикографии, что объясняется прежде всего отсутствием словарей русских регионализмов иноязычного происхождения» (Заимствования, 1991. С. 147).

В настоящее время значителен интерес исследователей к *лингвокультурологическим* и *лингвоконтактологическим словарям*, которые и аккумулируют, и одновременно репрезентируют в языке национальную картину мира данного народа. Одновременно оформляется также лингвокультурологическая и лингвоконтактологическая лексикография, систематизирующая результаты взаимосвязи и взаимодействия языков и культур, ценности культуры (своей и чужой), заложенные в понятиях, названных *культурными концептами*.

Национально-культурные концепты отражают менталитет определенного народа или группы близких, родственных народов; например, концепты *изба, береза, самовар* отражают русский менталитет; *хата, галушки, гопак* – украинский менталитет; *яранга, ягель, парка* – менталитет северных народов; *сакля, ткемали, бурка* – менталитет кавказских народов; *кишлак, карагач, казан* – менталитет тюркских народов.

В русской лексикографии культурно-языковая традиция нашла яркое воплощение и ведет свое начало от крупнейшего памятника народной культуры – «Толкового словаря живого великорусского языка» В. И. Даля (1-е изд.: 1863–1866; 2-е изд.: 1880–1882; 3-е изд.: 1903–1909) (Даль, 2000), который был, как это ни парадоксально, скорее новаторским, чем традиционным (если иметь в виду академическую лексикографию), так как он базировался не на русском литературном языке, а на диалектной основе. Материалом для него служили не разнообразные книжные источники, а народный великорусский язык во всем его многообразии и единстве. Со времени выхода *Словаря В. И. Даля* прошло почти 150 лет, и хочется отметить, что именно этот словарь впервые через призму диалектной лексики отразил русскую народную, прежде всего крестьянскую языковую стихию, обратился к фольклорно-этнографическим истокам и обогатил представления о русской языковой картине мира, собрав воедино такие ценности культуры, которые заложены в русских пословицах, поговорках, загадках, народной мифологии. Словарь В. И. Даля представляет собой кладезь слов, включающий помимо литературной лексики богатейший лексический материал, связанный с крестьянским бытом, хозяйственным и семейным укладом, обрядами, обычаями, промыслами русского народа и т. п. Этот памятник словесности общенационального масштаба является уникальным явлением как

в русской, так и в мировой лексикографии, при этом он остался одним из самых популярных, востребованных современных словарей русского языка.

Приведем два примера из словаря В. И. Даля заимствованных слов *аул* и *сакля*, входящих в концептуальные поля «селение» и «дом (жилище)».

«**Аýлъ** *м.* почти у всехъ азіятск. народовъ нашихъ (татаръ, башкировъ, киргизовъ, многихъ кавказцевъ; у калмыковъ *хотонъ*), деревня, селеніе, посёлокъ; оседлое или кочевое сборище жилищъ; собраніе избъ, хатъ, мазанокъ, землянокъ, сакль, или шалашей, шатровъ, балагановъ, юртъ, кочевыхъ кибитокъ. **Аýльный** *запахъ*, жилой, дымный» (Даль, 2000. Т. 1. Стб. 75).

«**Сáкля** *ж. квкз.* Хижина, землянка; битая, плетневая или турлучная избушка, хата» (Даль, 2000. Т. 4. Стб. 10).

Значительным этапом в развитии лингвокультурологической лексикографии стало появление крупномасштабного исследования – словаря Ю. С. Степанова «Константы. Словарь русской культуры. Опыт исследования» (1997 г. издания и все последующие издания) (Степанов, 1997). Предметом этого Словаря являются понятия, или концепты, русской культуры, такие как «вечность», «страх», «любовь», «вера» и т. п. Описываются, прежде всего, те из них, которые устойчивы и присутствуют постоянно, т. е. являются, как их называет автор, «константами» культуры: «правда», «слово», «душа», «интеллигенция», а также «огонь», «вода», «хлеб», «дом», «письмо» и др. Концепты русской культуры рассматриваются как часть культуры общеевропейской, взятые, прежде всего, в момент их ответвления от европейского культурного фонда. Они выявляются в своих истоках, предыстории, дописьменной истории концепта и прослеживаются до наших дней. В работе параллельно решаются важные теоретические проблемы языкознания, демонстрируются методы исследования и раскрываются понятия науки о культуре – культурологии.

В нашем обзоре представлены различные словари интересующего нас профиля начиная от традиционного классического лингвокультурологического словаря В. И. Даля до современных словарей.

Вкладом в лингвокультурологию и тюркско-русскую лингвоконтактологию явился фундаментальный словарь Р. А. Юналеевой (Юналеева, 2005), который впервые в отечественной лексикографии представил обширный свод тюркизмов и отразил особенности их функционирования в русском языке на обширном материале творчества русских писателей XIX в. (А. С. Грибоедова, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя, И. А. Гончарова, И. С. Тургенева, Н. А. Некрасова, Ф. М. Достоевского, М. Е. Салтыкова-Щедрина, Л. Н. Толстого, Д. Н. Мамина-Сибиряка, В. Г. Короленко, А. П. Чехова и др.).

В учебной лингвокультурологической лексикографии интересна работа С. К. Бирюковой «Словарь культуроведческой лексики русской классики. По литературным произведениям школьной программы» (1999) (Бирюкова, 1999). Словарь знакомит с культурой, нравами, обычаями, религией различных народов. Он содержит культуроведческие слова, имеющие особо важное значение для понимания художественного текста. В него вошла та этнокультуроведческая лексика, те «национально-характерные» слова художественного произведения, которые играют значительную роль в познании культуры, быта, религии, психологии народов различных национальностей. Это могут быть этнографизмы, как исконно русские, так и иноязычные («зипун», «кацавейка», «бадья»; «бурка», «сакля», «бельведер», «боливар»), историзмы («аршин», «атаман», «барщина», «стряпчий», «кесарь», «мюрид»), устаревшие слова («басурман», «житница», «управа»), религиозная лексика («алтарь», «кутья», «хоругвь»), мифологическая и античная лексика («ведьма», «леший», «домовой»; «аврора», «грация», «марс», «фемида»).

Опытом создания лингвоконтактологического словаря-справочника, посвященного контактированию двух или нескольких языков с привлечением культурно-исторических данных, явился первый выпуск «Контактологического энциклопедического словаря-справочника. Вып. I: Северный регион. Языки народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в контактах с русским языком», содержащий описание более 30 языков коренных народов северного региона России в свете их контактирования с русским языком (1994) (Контактологический словарь, 1994).

Представляет интерес и толковый двуязычный лингвоконтактологический «Словарь заимствований» Ю. Е. Мачкина и Т. С. Коршуновой (Мачкин и Коршунова, 2007), который отразил современные активные контакты русского языка с английским языком.

Приведем для примера и сравнения словарные статьи из разных словарей, упоминаемых в нашем обзоре, с заглавными словами *юрта* и *сакля*, отражающими этнографическую заимствованную лексику концепта «дом», *аил*, *аул* и *улус* (с небольшим сокращением), отражающими этнографическую заимствованную лексику концепта «селение»: из словарей Р. А. Юналеевой (Юналеева, 2005), С. К. Бирюковой (Бирюкова, 1999) и З. С. Шеломенцевой (Шеломенцева, 1971).

«**Ю́РТА**. *Переносное (обычно конусообразное) жилище из жердей, крытое шкурами, войлоком и т. п., у некоторых кочевых народов Азии.* Но, Ксе-

ния Васильевна, мы живем не в юртах, не в кибитках, не в шатрах. Островский А. Н., 9» (Юналеева, 2005. С. 362).

«**СА́КЛЯ**. *Жилище кавказских горцев, хижина, землянка*. В большом ауле, под горою, Близ саклей дымных и простых, Черкесы позднею порою Сидят <...> *Лермонтов, 2*» (Юналеева, 2005. С. 187).

«**СА́КЛЯ,** -и, ж. От груз. "сахли" – дом. Русское название жилища кавказских горцев.

Под влажной буркой, в сакле дымной,
Вкушает путник мирный сон.

(А. Пушкин. Кавказский пленник)

Тут открылась картина довольно занимательная: широкая сакля, которой крыша опиралась на два закопченные столба, была полна народа. Посередине трещал огонек, разложенный на земле <...>

*** Сакли бывают каменные, глинобитные или из саманного кирпича» (Бирюкова, 1999. С. 204).

«**АИ́Л** (аул́), а, м. (кирг. айыл). 1. Низшая административно-территориальная единица, горное селение. – Поговорил с колхозниками, поинтересовался делами, расспросил нас о жизни, а вечером многие жители аила собрались у меня в кибитке (Самохин, Кровью сердца, стр. 79). 2. Становище – до революции и сразу после революции небольшая группа юрт, хозяйства которых были объединены родственными отношениями. Они вместе зимовали, вместе откочевывали на летние пастбища. – Аилы разбили свои юрты в тех же лощинах, что и в прошлые годы (Сыдыкбеков, Среди гор, кн. 1, стр. 3). – Где мой род, мой народ, мой аил? (Токтогул, Тяжкие испытания, стр. 24) <...>» (Шеломенцева, 1971. С. 19).

«**АУ́Л**. Деревня, селение, поселок. <...> *Утих аул; на солнце спят У саклей псы сторожевые* <...> (Пушкин, 3)» (Юналеева, 2005. С. 68); «**АУ́Л**. Деревня, селение, поселок. *На восход и на закат – всё такие же горы, кое-где аулы дымятся в ущельях* <...> (Л. Толстой, 10)» (Юналеева, 2005. С. 419); «**АУ́Л**. Деревня, селение, поселок; оседлое или кочевое сборище жилищ. *Отправился Бухарбай странствовать по степи, из аула в аул, от одного колодца к другому* <...> (Мамин-Сибиряк, 10)» (Юналеева, 2005. С. 576).

«**УЛУ́С**. Становище кочевников, табор юрт, кибиток; аул, селение. *В улусе живет до несколька сот, даже до тысячи и более человек* (Гончаров, 3)» (Юналеева, 2005. С. 166); «**УЛУ́С**. Аул, селение; деревня, район. *Стенька прислал повинную и принял указ государев, которым призывали его в отечество с тем только, чтобы он жил смирно; но, привезенный в Астрахань, бежал оттуда на Дон и снова появился на Волге, завладел в стороне царицынской многими калмыцкими и татарскими улусами, осадил город Царицын и, подкупив гарнизон, состоявший из стрельцов, вошел в оный и убил воеводу Петра Турчанинова* (Писемский, 9)» (Юналеева, 2005. С. 320); «**УЛУ́С**. Аул, селение; деревня, район. *Теперь на месте сведенных лесов ковром расстилались бесконечные пашни, и бывшие башкирские улусы и пастбища поражали своим унылым, русским видом* (Мамин-Сибиряк, 3)» (Юналеева, 2005. С. 617); «**УЛУ́С**. В России административно-территориальная единица типа русской волости у бурят, калмыков и якутов. *Якуты, вообще говоря, народ очень добродушный, и во многих улусах принято, как обычай, оказывать новоприбывшим поселенцам довольно существенную помощь* <...> (Короленко, 1)» (Юналеева, 2005. С. 665–666).

Приведем образец словарной статьи **махалля** из разрабатываемого нами сводного Словаря заимствований из языков народов России и ближнего зарубежья.

«**МАХАЛЛЯ́** 4,5,6,14 (махаля 14, махалла 14, маххалля 14), ж. и м., измен. и неизмен. Название городского квартала в Узбекистане и Таджикистане. «И в бою душа к тебе стремится Махалля твоя, твой милый дом» (Уйгур. Избранное); «В Самарканде в махалле Чорраха было три *чайханы*» (Комс. Таджикистана, 20 июня 1978); «Убирайся из нашей махалли... От твоих мерзких пересудов нет житья в махалле» (Литературный Узбекистан, 1937, № 3); «Таня только вздохнула – что ей было сказать на это? Потом спросила: – А вы что, знаете ее? – Конечно, знаю, мы с ней из одного маххалля» (К. Симонов. Солдатами не рождаются); «В современном понимании в Узбекистане и среднеазиатских республиках бывшего СССР под махаллёй, как правило, понимается традиционный социальный институт общинного типа или квартальная форма организации общественной жизни. То есть это квартал или микрорайон, жители которого осуществляют местное самоуправление путем выбора комитета махалли и его председателя, решающих вопросы организации быта и досуга жителей своей махалли, а также несущих ответственность перед вышестоящими органами городского управления за обеспечение правопорядка в своей махалле» (Интернет: Википедия. Махалля // См. на сайте: http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/101004) // сущ. **махалли́нец**, ж. **махалли́нка**, мн. **махалли́нцы**. «Если уж кого из махаллинцев не жалует, то и разговаривать с ним вовсе не станет» (Мирмухсин. Сын литейщика) // прил. **махалли́нский, -ая, -ое**.

– СЭС: махалла́, махаля́; СВОД: махалла́; Мирт., Хал., Ор.

= Тюрк. (узб.), иран. (тадж.) (из араб.). (См. сокращения и условные обозначения в работе: Орешкина, 1994. С. 107–108.)

Нам представляется, что ныне активно разрабатываемые типы лингвокультурологического и

лингвоконтактологического словаря и в целом само направление в современной лексикографии являются весьма перспективными; лингвокультурологические и лингвоконтактологические исследования и словари играют большую роль в духовной культуре народа, они призваны помочь человеку в познании нашего многообразного и многоликого мира. Эти работы имеют как теоретическое, так и прикладное значение. Выводы таких исследований, а также данные таких словарей могут быть успешно использованы в системе образования при составлении различных курсов русского языка, а также при составлении разнообразных словарей русского языка.

Список литературы

Бажина И. Н. К вопросу о киргизских заимствованиях в русском языке: По материалам художественной и научно-популярной литературы (Список слов) // Сов. тюркология. 1972. № 5.

Баскаков А. Н. Значение тюркских языков социалистических наций в развитии лексики русского языка // Взаимовлияние и взаимообогащение языков народов СССР. М., 1987.

Бирюкова С. К. Словарь культуроведческой лексики русской классики. По литературным произведениям школьной программы. М., 1999.

Гальченко И. Е. Глоссарий лексики языков народов Северного Кавказа в русском языке. Орджоникидзе, 1975.

Голетиани Г. Г. Грузинская лексика в русском языке. Краткий тематический словарь. Тбилиси, 1972.

Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. [Репринтное воспроизведение третьего издания 1903–1909 гг.] / под ред. проф. И. А. Бодуэна де Куртенэ. Т. 1–4. М.: ТЕРРА, 2000. [Т. 1: А – З; Т. 2: И – О; Т. 3: П – Р; Т. 4: С – V].

Джапаров Б. Б. Лексикографическая трактовка этнографической и региональной лексики тюркского происхождения: АКД. М., 1988.

Дмитриев Н. К. Глоссарий // Дмитриев Н. К. Строй тюркских языков. М., 1962.

Жаримбетов А. Историко-этимологический словарь тюркизмов в русских названиях растений // Жаримбетов А. Тюркские лексические элементы в русской номенклатуре растений. Нукус, 1980.

Заимствования русского языка в историко-функциональном аспекте. [Казань]: Изд-во Казанского университета, 1991.

Контактологический энциклопедический словарь-справочник. Вып. I: Северный регион. Языки народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в контактах с русским языком. М., 1994.

Кушлина Э. Н. Словарь местных слов в русской печати Узбекистана и Таджикистана // Кушлина Э. Н. Таджикские и узбекские слова в русском языке. Душанбе, 1968.

Лаучюте Ю. А. Словарь балтизмов в славянских языках. Л., 1972.

Мачкин Ю. Е., Коршунова Т. С. Словарь заимствований (англо-русский). М., 2007.

Миртов А. В. Лексические заимствования в современном русском языке из национальных языков Средней Азии. Ташкент – Самарканд, 1941.

Мусатаева М. Ш., Шеляховская Л. Я. Словообразовательный словарь тематических групп тюркизмов в русском языке. Ч. I–П. Алма-Ата, 1991–1992.

Назаров О. Н. Словарь туркменских слов, встречающихся в русском тексте // Назаров О. Н. Туркменские слова в русском тексте. Ашхабад, 1984.

Орешкина М. В. Опыт Словаря вариантов тюркизмов русской письменной речи // Грамматическая интерференция в условиях национально-русского двуязычия. М., 1990.

Орешкина М. В. Тюркские слова в современном русском языке: Проблемы освоения. М.: Academia, 1994.

Самсонов Н. Г. Слова из языков народов Якутии в русских текстах. Якутск, 1984.

Степанов Ю. С. Константы. Словарь русской культуры. Опыт исследования. М., 1997.

Трубецкой Н. С. Вавилонская башня и смешение языков (1923) // Трубецкой Н. С. Наследие Чингисхана. М., 1999.

Халилов А. Словарь таджикских заимствований в русском языке. Душанбе, 1988.

Хусаинов Н. Н. Краткий словарь тюркских основ и персидско-арабских заимствований (через тюркские языки) русского языка. 2-е изд., испр. и доп. (на рус. и татар. яз.). Набережные Челны, 2007.

Шеломенцева З. С. Словарь тюркизмов в русском языке жителей Киргизии. Фрунзе, 1971.

Шеломенцева З. С. Словарь тюркизмов // Шеломенцева З. С. Взаимодействие русского и тюркских языков. Краснодар, 1980.

Шипова Е. Н. Словарь тюркизмов в русском языке. Алма-Ата, 1976.

Юналеева Р. А. Тюркизмы в русской классике: Словарь с текстовыми иллюстрациями. Казань: Изд-во «Таглимат» Ин-та экономики управления и права, 2005.

Škaljić A. Turcizmi u srpskohrvatskom jeziku. Četvrto izdanje. Sarajevo, 1979.

Н. И. Иванова

СОВРЕМЕННОЕ КОММУНИКАТИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО РУССКОГО ЯЗЫКА В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ): СОЦИОПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

При рассмотрении различных аспектов функционирования языков в регионах Российской Федерации, исследовании проблем лингвистического, психолингвистического, социолингвистического и др. плана в условиях двуязычия, многоязычия, интерес исследователей прежде всего обращен в сторону региональных, титульных языков, языков коренных народов, как правило, в силу различных условий претерпевающих в современных условиях значительные изменения экстенсивного, интенсивного характера.

В якутской лингвистической науке наблюдается заметное оживление исследовательских ресурсов в изучении коренных языков и самих носителей данных языков чаще всего методами психолингвистики. Но в то же время обращает на себя внимание некоторая инерция исследовательского интереса в изучении регионального русского языка. Между тем существующий вакуум в исследовании особенностей современного функционирования русского языка, трансформаций, сужении, расширении либо сохранении его коммуникативных функций, потребностей, предпочтений русскоязычного (не только русского) населения республики представляет собой проблему, незамедлительно требующую описания, осмысления и трансляции.

Изменения этносоциолингвистической реальности в республике, в частности, демографических, миграционных показателей, отражают сужение русскоязычного коммуникативного пространства, значимость этнической толерантности. В целом причины явления совершенно понятны и по сути объективны, устанавливается новый баланс языков, особенно в столице республики, и, надо сказать, по многим признакам более близкое к гармоничному двуязычию, нежели в 70–80-е, да и 90-е гг. Следовательно, начинаются адаптационные явления среди русскоязычных, как среди русских, так и якутов, постепенно подвергаются некоторым изменениям их речевое поведение, языковые ориентации, предпочтения. И в этой ситуации особую значимость приобретает поиск оснований, которые могут объединить представителей различных лингвокультурных общностей далее строить гармоничный диалог культур.

Русский язык относится к языку с глобальными социальными функциями, на что указывают два показателя – демографическая мощность и функциональная мощность языка; якутский язык наряду с татарским, чувашским, башкирским относится ко второму типу.

Русское коммуникативное пространство в Республике Саха (Якутия) определяется функционированием русского языка в качестве: 1) родного языка для этнических русских и лиц других национальностей; 2) функционально первого языка для большинства этнических русских и русскоязычного населения других национальностей; 3) второго языка, язык официального общения для этнических якутов с родным якутским и другими родными нерусскими языками; 4) языка межнационального общения практически для всего населения.

Социопсихолингвистическое описание русского языка в иноязычном окружении, произведенное методами как социолингвистики (социолингвистическое анкетирование, интервьюирование), так и психолингвистики, когнитивной лингвистики (направленный ассоциативный эксперимент), позволило нам представить реальный социальный статус русского языка, ориентации, предпочтения и этноязыковое самочувствие его носителей, а также носителей якутского языка, уровень межъязыковой толерантности, описать особенности фиксации коммуникативным сознанием якутянина-русского концептов *русский язык, якутский язык*, *английский язык, китайский язык,* сопоставить с таковыми в концептосфере якутов.

Для получения результатов об этническом самочувствии русского населения исследованы вопросы межэтнических отношений, вопросы о сегодняшнем софункционировании языков, субъективное мнение о сокращении, расширении использования того или иного языка в разных сферах. Использованы данные социолингвистического опроса 2007–2009 гг., проведенного в 14 объектах республики, в т. ч. опрошено русских – 26,7 % (якутов – 59,6 %). Среди респондентов русской национальности 54,5 % – женщин, и 45,5 % – мужчин. Охвачены опросом 59,1 % русских, родившихся в Якутии, 32 % – свыше 10 лет проживающих в ней, 5,7 % – проживающих 3–10 лет, и 3,2 % – проживающих 3 и менее лет. Возраст респондентов: 37,3 % – 16–25 лет; 19,3 % – 26–35 лет; 24,1 % – 36–50 лет; 19,2 % составляют респонденты старше 50 лет. Почти половину охваченных опросом также составляют люди с высшим образованием (46,0 %); 19,4 % – с не-

законченным высшим; со средним специальным – 18,7 %; среднее общее имеют 9,9 % респондентов; начальное, неполное среднее – 2,1 %. Среди них православных убеждений придерживаются 74,9 % респондентов. Основная доля опрашиваемых занята в сфере промышленности, строительстве, транспорте, связи; в сфере культуры, науки, СМИ, спорта – 16,9 %.

Возраст респондентов якутской национальности: 39,7 % – 16–25 лет; 21,9 % – 26–35 лет; 23,9 % – 36–50 лет; 14,5 % составляют респонденты старше 50 лет. Почти половину охваченных опросом также составляют люди с высшим образованием (49,8 %); 12,2 % – с незаконченным высшим; со средним специальным 15,3 %; среднее общее имеют 24,0 % респондентов; начальное, неполное среднее – 2,5 %. Среди них традиционных религий народов Севера придерживаются 38,2 % опрошенных; православных убеждений придерживаются 12,9 %; *никаких* ответили 47,1 % респондентов. Основная доля опрашиваемых занята в сфере образования, дошкольное воспитания – 29,9 %; в сфере культуры, науки, СМИ, спорта – 16,3 %; промышленности, строительстве, транспорте, связи – 13,2 %; органы управления, финансы, страхование – 12,4 %; сфера услуг, бытовое обслуживание, ЖКХ – 8,2 %.

Для сопоставления в некоторых случаях привлекается анкетный материал этнических якутов с прямой, смещенной и множественной (двойной) идентичностью, а также представителей других этнических групп, объединенных в группу «Другие», а также опыт изучения аналогичных проблем исследователями-предшественниками.

Динамичное развитие и междисциплинарный характер социолингвистической науки, интегрированная природа ее терминов, зависимость задач социолингвистики от различных экстралингвистических обстоятельств, склонность к индивидуальному терминотворчеству авторов представляют собой сложность в установлении единого *терминологического аппарата*. Мы в своей работе в части социолингвистической проблематики придерживаемся толкований «Словаря социолингвистических терминов», разработанного НИЦ НЯО Института языкознания РАН под руководством доктора филологических наук В. Ю. Михальченко (Словарь социолингвистических терминов, 2006. 312 с.). Также в разработке нашего исследования использован трехъязычный словарь терминов казахстанских социолингвистов, в котором для нас созвучны термины по национально-русскому двуязычию (Словарь социолингвистических терминов, 2007. 330 с.), также в казахстанской системе терминов социолингвистики наиболее широко предлагается региональная терминология, отражающая отношения центр-периферия, мажоритарные-минори-тарные языки. В разработке психолингвистической части, в изучении коммуникативного сознания, используется методология Е. А. Стернина, З. Д. Поповой.

Коммуникативное пространство – одно из основных понятий в современной лингвистике – выделено в ходе исследования особенностей категоризации и концептуализации мира, продуктов этого процесса. В словаре социолингвистических терминов ИЯ РАН данный термин наряду с термином «этноязыковое пространство» предложен как вариант основного термина «языковое пространство» и представлен как «совокупность языковых кодов, используемых в том или ином административном и национальном образовании» (Словарь социолингвистических терминов, 2006. С. 271).

В русле формирующейся сейчас отрасли знания, межкультурной коммуникации, *коммуникативное пространство* определяется как «...совокупность сфер речевого общения, в которой определенная языковая личность может реализовать в соответствии в принятыми в данном социуме языковыми, когнитивными и прагматическими правилами необходимые потребности своего бытия» (Прохоров, 2006. С. 44), что не противоречит первому и расширяет его содержание.

Понятие *коммуникативная сфера*, одно из основных в нашей работе, детально разработано в социолингвистике, хотя смысловая наполненность и численность коммуникативных сфер у разных исследователей далеко не всегда совпадают. В словаре ИЯ РАН в качестве основного используется термин *сферы общения*. Нам же ввиду выбранного аспекта исследования удобнее пользоваться термином *коммуникативные сферы*.

В последние годы все более актуальным становится рассмотрение языковых контактов в процессах межкультурного общения и овладения вторым языком с позиций пользующихся контактирующими языками индивидов, т. е. в центре внимания исследователей оказываются проблемы взаимодействия языков в индивидуальном сознании, проблемы коммуникации. Появилось много интересных работ, посвященных проблемам функционирования русского языка, анализу межличностного общения представителей различных культур, изучению национально-культурных особенностей коммуникативного поведения (Кронгауз, 2008; Иссерс, 2008; Ларина, 2009; Владимирова, 2010; Гладкова, 2010 и др.). Региональный материал задействован в психолингвистических исследованиях с использованием ассоциативных экспериментов Заморщиковой Л. С., Атласовой Э. С., Ивановой Н. И., Семеновой Л. Н., Борисовой И. З., Елизаровой Т. М.

Представляется важным подчеркнуть, что для выбранного нами социопсихолингвистического

аспекта в исследовании функционирования языка и концепции языка как достояния индивида, т. е. языка, трактуемого не как системно-структурное образование, а как живое знание, как один из психических процессов, было важно внедриться в область изучения *коммуникативного сознания* наших объектов посредством методов психолингвистики и когнитивистики. Эти две отрасли знания во многом взаимосвязаны, последняя является последовательницей психолингвистики, и основы ее методологии построены на достижениях психолингвистики. Именно психолингвисты обосновали существование невербального мышления, существование в сознании людей концептосферы, состоящей из квантов знания – концептов. Как отмечает Т. Н. Ушакова, «не оказываются посторонними для психолингвистики поиски *когнитивистской ориентации*. Когнитивные науки разрабатывают и применяют ценные способы анализа и описания сложных объектов, к числу которых, несомненно, относятся речь и язык. Их модельные представления дают возможность сделать наглядными и умопостигаемыми теоретические разработки психолингвистов. Применение когнитивистских моделей не является в то же время чем-то искусственным и чуждым для психолингвистических исследований, так как в определенном смысле *речь* и *язык* входят в круг познавательных операций, поскольку служат хранению, передаче и приему знаний» (Ушакова, 2009. С.19).

З. Д. Попова, И. А. Стернин принципиально разграничивают языковое и коммуникативное сознание. *Коммуникативное сознание* – это совокупность коммуникативных знаний и коммуникативных механизмов, которые обеспечивают весь комплекс коммуникативной деятельности человека (Попова, Стернин, 2002. С. 29). Это коммуникативные установки сознания, совокупность ментальных коммуникативных категорий, а также набор принятых в обществе норм и правил коммуникации. Составной частью коммуникативного сознания человека является его языковое сознание — знание системы языковых средств, их значений и правил использования в речи.

В *коммуникативное сознание* входит и информация о других (неродных, изучаемых) языках – отношение к ним, их оценка, характеристика степени трудности, знания о коммуникативном поведении носителей этих языков и др. Поэтому описание коммуникативного сознания в данной работе ограничено освещением круга вопросов, так или иначе связанных с таким ракурсом подхода к обозначенной области научных изысканий. Использован экспериментальный метод психолингвистики – направленный ассоциативный эксперимент, в котором участвовало 255 студентов, в т. ч. 38 % русских студентов; 61 % – якутов. Испытуемым предъявлялся вопрос: «Русский язык – какой?» – и предлагалось записать пять первых ассоциативных реакций, пришедших им в голову. Время на выполнение задания не ограничивалось.

Особенности современной этноязыковой ситуации Республика Саха (Якутия) предопределяются миграционным факторами, определяющими становление нового баланса языков: 1) сужение русскоязычного пространства в республике вследствие массового выезда в другие регионы РФ и страны ближнего зарубежья; 2) возрастание роли внутренней миграции, ее доля возросла с 37,5 до 63,1 % в 2006 г.; 3) переток сельского населения в городскую местность, за последние 17 лет городское население выросло за счет прибывших из сел республики примерно на 51 тыс. человек (по данным ФУГоскомстата РС(Я)).

Доля обосновшихся в столице республики г. Якутске, являющейся средоточием миграционных потоков, имеет тенденцию к возрастанию; следовательно, этноязыковые процессы наиболее активны в столице. В свою очередь, влияние экстралингвистических факторов существенным образом эксплицитно и имплицитно начинает отражаться на этноязыковой ситуации, в частности, на языковой компетенции, этноязыковом самочувствии жителей республики. В современных условиях – повышения национального самосознания, отражающегося в социокультурном процессе, по терминологии социологов; явлений догоняющей модернизации представителей титульного якутского этноса и некоторой части коренных малочисленных народов Севера – характерно стремление якутов к равностатусному контакту, социально-психологической адаптацией русских и русскоязычных к новой ситуации. Адаптивные стратегии, характер и интенсивность межэтнических отношений во многом определяются социально-экономическими параметрами развития региона. В то же время важное значение имеет этнокультурный потенциал этнических групп, в частности, установки и стереотипы их речевого поведения, общий фон межкультурного поведения, что мы обозначили как этноязыковое самочувствие.

Языковая идентификация. Сегодня исследователи говорят о процессах утраты макроидентичности большинством россиян, актуализировавшей микроидентичность; с другой стороны, некоторыми специалистами отмечена тенденция усиления надэтнической, российской, идентичности и постепенно снижающейся актуальности этнической идентичности. Однако и в настоящее время во многих регионах этническая идентичность является одним из средств приспособления, лучшей ориентации в полиэтническом пространстве.

Опрос показал, что у 95,7 % русских и 87,4 % якутов национальная принадлежность и родной

язык совпадают. При преобладающей прямой языковой идентичности русских 2,8 % респондентов признали родным якутский и 2,4 % оба (русский и якутский) языка, 5,5 % якутов признали родным русский язык; 10,3 % – оба языка.

Таблица 1

Родной язык респондентов по РС(Я)	Ваша национальность		
	якуты	русские	другие
якутский	87,4 %	2,8 %	27,8 %
русский	5,5 %	95,7 %	44,4 %
оба (русский и якутский)	10,3 %	2,4 %	8,3 %

Нас всегда интересовали данные о процессах языкового сдвига, известно, что переход на другой язык характерен для многих носителей региональных языков. Данные переписей четко отражают эти процессы перехода на русский язык якутов: 1959 г. – 2,4 %; 1970 г. – 3,7 %; 1979 г. – 4,6 %; 2002 г. – 5,5 %. По нашим данным, доля лиц, признавших родным язык не своей национальности, сократилась за счет того, что мы в своем опроснике ввели вариант *оба языка*, таким образом выявилось, что 10,4 % якутов, а это каждый десятый якут, признает родным оба языка: якутский и русский. А языковой сдвиг тогда обнаруживается у 3,9 % против 6,5 %, что предполагалось по итогам переписи 2002 г. Интересно, что якуты с языковым сдвигом имеют различный уровень владения якутским языком – от свободного активного владения до абсолютного невладения: 32,1 % – совершенно не владеют либо не владеют якутской речью; остальная часть – 67,9 % – свободно владеют либо имеют навыки письма, общения на якутском. Обращает на себя внимание и то, что среди русских с родным якутским 13,6 % владеют якутским в активной форме; 6,8 % могут изъясняться на якутском; 5 % с затруднениями изъясняются на русском. В населенных пунктах, характеризующихся контактным русско-якутским двуязычием, наблюдаются соответствующие явления, когда у молодых респондентов возникают трудности при этнической самоидентификации (в с. Томтор Оймяконского улуса, г. Вилюйске Вилюйского улуса). Также в этих объектах среди этнических русских выше количество признающих родным якутский язык либо оба языка (в с. Томтор – 7,7 %; 7,7 %; в г.Вилюйске – 6,7 %, 6,7 %), для сравнения в г. Якутске таковых – 2, 8 %.

В целом оба языка в качестве родного более всего представлены в ответах у молодых людей со средним образованием и убывают с повышением образовательного уровня. Таким образом, у молодежи устойчиво наблюдается актуальность множественности языковой идентичности, имеющая тенденцию к возрастанию.

В то же время у якутян стремление самоидентифицироваться через родной язык очень сильно, среди прочих факторов, у якутов знание родного языка (73,2 %) и национальное сознание, самосознание (51,6 %) наиболее важно при определении своей этнической принадлежности; у русских и представителей других этносов – только знание родного языка, соответственно – 62,1 % и 45,3 %. Факт, что якутяне, независимо от этнической принадлежности, весьма серьезно относятся к вопросам языкового, этнического взаимодействия. Так, на основе общероссийских итогов социологического опроса и анализа этнокультурной ситуации в регионах В. А. Тишков и В. В. Степанов отмечают, что тех, кто не приемлет множественную этническую идентичность, больше всех наряду с жителями г. Грозный в Якутске. Причем ответов, что этническая принадлежность у человека может быть только одна, преобладает и у русских – 64 %, и у якутов – 68 % (Российская нация: Становление и этнокультурное многообразие, 2008. С. 36–37).

Таким образом, коммуникативное пространство в республике создается функционированием двух государственных, функционально и демографически доминирующих, активно взаимодействующих языков – русским и якутским. У носителей данных языков в основном родной язык и этническая принадлежность совпадают. Родной язык служит основным признаком национальной (этнической) принадлежности как у якутов, так и у русских.

Русский язык как родной актуален для 95,7 % русских и 5,5 % якутов. Языковой сдвиг среди последних имеет два типа: с сохранением знания языка своей национальности и без знания языка. По формальному показателю (признанию родным неэтнического языка), сдвиг языка более характерен для якутов. Однако переход на русский язык перекрывается показателями множественной языковой идентичности, присутствующей у якутской молодежи и имеющей тенденцию к возрастанию.

Уровень владения языками. Свободное владение этническими русскими русским языком по переписи 2002 г. составляет 99,7 %, что подтверждается и нашими данными: 99,2% русских свободно, 99,6 % активно владеют русским языком. Среди других национальностей высок процент владения – 100 %; в т. ч. 94,4 % свободно, 97 % – активно владеют. 11,1 % респондентов говорят на русском с затруднениями, в т. ч. 8,7 % якутов, 0,2 % русских, 2,2 % других. Данные переписей показывают, что доля якутов, свободно владеющих русским языком, возрастает: 1970 г. – 45,4 %; 1979 г. – 60, 3 %; 1989 г. – 65 %; 2002 г. – 87,1 %.

Также известно, что доля русских, свободно владеющих якутским языком, несколько возросла: в 1989 г. – 1,4 %, в 2002 г. – 2 %. Нам удалось полу-

чить более детальное содержание факта включенности якутского языка в русскую языковую компетенцию: 41,2 % русских в той или иной степени (свободно – 4,3 %, в активной форме – 5,8 %), но в основном в пассивной форме владеют якутским языком. В т. ч. значительная часть (25,5 %) понимают общий смысл сказанного, но не говорят; 58,8 % – не владеют. В целом уровень свободного владения во всех группах выше владения якутским языком.

Лучше владеют горожане и люди среднего социально активного возраста, чему способствует, безусловно, языковая практика. Проблемы во владении встречают преимущественно сельские жители: 17,9 % в основном молодых жителей в сельской местности затрудняются в продуцировании русской речи.

Русским языком в той или иной степени владеют 99,8 % якутов: в т. ч. 87,2 % якутов свободно, активно – 89,4 %, пассивно – 10,3 %. Таким образом, преобладающая часть якутского населения двуязычна, причем владение русским языком незначительно, но выше владения родным языком. Если сопоставить с результатами опроса «Межнациональные отношения» 1990 г., выявились следующие качественные изменения: в 2,6 раз возросло количество якутов, свободно владеющих русским, в 2,5 раз сократилось количество говорящих с затруднениями и в 1,5 раза сократилось количество не говорящих. Динамика за неполные 20 лет очевидная в сторону качественного совершенствования.

Таким образом, можно подытожить, что коммуникативное пространство республики формируется в основном языковыми личностями – носителями русского и якутского языков с активным владением русским языком. Среди якутов высоко владение родным якутским. Владение и якутским, и русским языком имеет тенденцию к возрастанию, наиболее выраженное во владении русским языком.

Анализ в разрезе уровня образования показал следующие результаты: высокие количественные и качественные показатели уровня владения русским языком отличают респондентов с высшим образованием; затруднения в речи могут испытывать люди, независимо от уровня образования. Свободное владение якутским высок у респондентов со средним и средним специальным образованием, снижается у людей с высшим и еще ниже у людей с начальным, неполным средним образованием; достаточно значим процент якутян, владеющих речью, чтением, но не умеющих писать. Как правило, это горожане, закончившие школы с русским языком обучения и по роду занятий далекие от лингвистических проблем.

Объем владения другими языками объективизируется в основном во владении иностранными языками, среди которых лидирует знание английского языка.

Проблему языковой устойчивости можно определить посредством выявления установки об обязательности/необязательности владения этническим языком: данный императив в республике высоко значим для якутов (96,2 %), достаточно высоко, но одинаково по сравнению с якутами ценится у русских (83 %) и представителей иных национальностей (86,7 %).

Таблица 2

		Ваша национальность		
		якуты	русские	другие
Согласны ли вы с мнением, что человек должен владеть языком своей национальности?	согласен	96,2 %	83,0 %	86,7 %
	не согласен	2,0 %	7,9 %	5,8 %
	затрудняюсь ответить	1,9 %	9,1 %	7,5 %

Известно, что язык представляет собой две ипостаси: как консолидирующий и дезинтегрирующий потенциал языковых процессов. С целью выявления подобного потенциала, имеющегося в определенных формах во многих полиэтнических сообществах, нами было задано несколько вопросов на данную тему. Ответы на вопрос: «Как Вы относитесь к людям своей национальности, не владеющим родным языком?», заданный с целью выявления стратегий внутриэтнического языкового исключения, оказались неоднозначными (от *отрицательно* до *положительно)*, и этот вопрос оказался одним из наиболее сложных для определения, многие (в основном русские и другие) затруднились ответить. Но значимые результаты говорят в пользу толерантного отношения к подобному явлению: русские – 45,6 %; якуты – 39,4 %; другие – 38,8 %. Толерантное отношение к невладеющим родным языком преобладает во всех возрастных группах, и сильнее проявляется, чем выше уровень образованности респондента; выше всего у 26–35-летних (но данный показатель неодинаков в других опрошенных объектах), а также среди молодых больше людей, положительно реагирующих на данное явление. Нетерпимое отношение проявила часть старших по возрасту респондентов (от 36 и старше). Распределение ответов по месту проживания показывает, что на селе (35,1 %) и в улусных центрах (51,9 %) при преобладающем нетерпимом отношении имеется достаточно значимая по количеству положительная оценка данного явления (32,1 %; 29,6 %). Таким образом, в настоящее время в обществе установилось преобладающее толерантное отношение в вопросах межъязыкового взаимодей-

ствия. Тенденции этноцентризма в доминирующем якутоязычном сообществе проявляются в умеренной степени.

Язык — это средство выражения и символизации этнической принадлежности. Язык выполняет интегрирующую функцию, служит внутринациональным средством общения и формой культуры для данной этнической общности. Как показывают исследования М. Н. Губогло, в ситуации ослабления интегрирующей функции языка другие элементы этноса выполняют ее более усиленно. Эта компенсация, в свою очередь, способствует сохранению этнического самосознания. В другом случае затухание интегрирующей функции языка ведет к усилению индифферентности личности, к остальным элементам этнической идентификации (Губогло, 1998. С. 29–51.). Таким образом, устойчивость интегрирующей функции языка, реальное речевое поведение (уровень знания языка, установки) могут иметь разную степень между членами одной этнической общности, а значит, культурно дистанцировать не только «качественно различные» этнические группы, но и создавать внутриэтнические отличительности. Сюда же можно отнести и возможности в реализации языковых потребностей.

Сфера семейного общения. Общение в семье в зависимости от этнической принадлежности имеет свои особенности, производные от многих экстралингвистических факторов. У русских стабильны и устойчивы позиции языка своей национальности, на вторых позициях – хотя и незначительное, но общение на якутском языке, которое более активно в общении со старшими родственниками (бабушкой, дедушкой) – 2,1 %. У якутов в данной сфере преобладает этнический язык, в сумме с вариантом ответа «преимущественно на якутском языке» колеблется от 72 % в общении с детьми до 89,2 % в общении со старшими родственниками (бабушкой, дедушкой). На второй позиции с незначительным преимуществом – общение на русском (кроме общения с родственниками более дальними); позиция в равной мере на якутском и русском языках после якутского занимает второе место в объектах с доминирующим якутским населением (например, в Вилюйском). Этот факт отражает наличие разговорных ресурсов для поддержания кросскультурного общения, однако отражает и тенденцию убывания этнического языка в семейном общении с сокращением возрастной дистанции.

Для всех опрашиваемых объектов в полиэтнических сообществах характерно (безусловно, по степени частоты после этнического языка для русских и якутов, и русского языка для других этносов) общение на русском языке или преимущественно на русском языке с супругом(ой) в отличие от других ситуаций. Данная реальность, в некоторой степени объясняемая наличием межнациональных семей, как показывает практика, почерпнутая из бесед, интервью, имеет потенциал для сбалансирования, возрастания доли общения на якутском в якутских семьях. В целом среди якутов этнический язык устойчиво является транслятором языка в кросскультурном общении (с бабушкой, дедушкой) – 89 % (% суммированы с вариантом ответа «преимущественно на якутском»); в межпоколенном (с родителями) – 83,5 %. Снижается использование якутского языка во внутрипоколенном общении с супругом(ой), особенно у обеих групп молодых – 76,6 %; и еще реже употребляется в межпоколенном общении с детьми – 72 %. Четко обозначена тенденция к смешанному русско-якутскому общению в семье.

Как показывает социолингвистическая практика, динамика языкового сдвига и становление нового языкового баланса непосредственно отражается во внутрипоколенном общении в семейно-бытовой коммуникации, дружеских контактах, в общении с коллегами в сфере производственной коммуникации. У якутов в семейном общении с супругами преобладает русский язык – 58,7 %, на работе – 25,4 %, и потом с друзьями – 16,2 %.

Якутский язык доминирует в общении с друзьями – 54,2 %; на работе – 43,1 %; с супругами – 34,6 %. Предпочитают общаться в равной мере на якутском и русском языках чаще на работе (31,2 %), с друзьями (29,4 %), и понятно, что такую стратегию выбирают в соответствии с реальной языковой средой, с речевым потенциалом своих друзей; намного реже такой вариант используется в семье (6,2 %).

Во внутрипоколенном общении также выявились некоторые особенности речевого поведения: безусловно, в условиях двуязычия фактор официальность/неофициальность среди прочих экстралингвистических факторов влияет на выбор языка общения. Также можно предположить, что в рассматриваемых условиях в преобладающем якутоязычном сообществе этнический (якутский) язык более сохраняется в неофициальном общении, нежели в официальном, стратегия паритетности общения преобладает на работе, будь это в коллективе со смешанным составом (т. к. общение на работе в основном зависит от состава малой микросоциальной общности), также в общении с клиентами.

Общение в социально значимых сферах. Для анализа языкового баланса выбраны этнически смешанные совокупности с сопоставимыми этногетерогенными долями в г. Якутске, Вилюйском, Оймяконском улусах. Города Мирный, Нерюнгри как сообщества с преобладающим русскоязычным населением не представляют интереса в данном ракурсе, поскольку в этих объектах значительно доминирует русский язык.

В условиях города Якутска якутский язык доминирует в дружеском общении якутов, поскольку менее зависит от экстралингвистических факторов, – 45,1 % (в Вилюйском улусе – 56,9 %, Оймяконском улусе – 50,9 %); сокращается в школах – 43,5 % (в Вилюйском улусе – 53,9 %), наименее используется в сфере среднего специального и высшего образования – 34,3 % (в Оймяконском – 28,9 %; в Вилюйском улусе – 37,1 %), тем самым обнаруживает проблемные несбалансированные сферы в коммуникативной системе якутского и русского языков.

В г. Якутске в сравнении с 80-ми гг. обнаружено, что в настоящее время в общении на работе регламентированность, расширение сфер деятельности, в т. ч. инновационные сферы, где активно используется заимствованная из иностранных языков терминология, не имеющая эквивалентов в якутском, значительно (до 8 раз!) расширяет использование русского и на 15 % сокращает двуязычие; этнодемографические факторы, с другой стороны, незначительно увеличивают объем общения на якутском за счет сокращения двуязычия.

В общей совокупности языкового общения якутов в зависимости от возраста были получены данные, свидетельствующие о том, что чем моложе человек (16–25 лет), тем более у него возрастает значимость родного якутского языка, он более двуязычен в ситуациях обучения в вузе, сузе и школе, чем его старшие соплеменники, но реже пользуется обоими языками на работе и в общении с друзьями, что опять же говорит об увеличении объема общения на якутском языке не только в улусных центрах, но и в столице.

Высокая функциональная значимость якутского языка в сфере среднего и высшего образования в ответах молодых, безусловно, есть показатель нарастающей социальной базы языка, формируемой другими экстралингвистическими факторами, в т. ч. миграционными потоками в столицу.

На работе доминирует русский язык во всех группах, и у двух наиболее молодых групп он возрастает – приближается к 50 %; факторы официальности, терминологической зависимости, этнически смешанного состава в рабочей ситуации играют определяющую роль. В свою очередь, завершение активной трудовой деятельности предполагает возврат к исконному этническому языку.

Речевое поведение, ориентации в сфере публичной коммуникации и личном коммуникативном пространстве. Дистрибуция языков в публичной коммуникации характеризуется разным объемом выполняемых ими социальных функций. Так, языковое соотношение в ситуациях обращения в органы власти, публичных выступлений, в сфере обслуживания детерминировано установившимися социальными функциями, т. е. преобладающей значимостью русского языка в делопроизводстве, в документообороте: 47,7 % якутов в устной форме в органы власти обращаются на русском, в служебной переписке также преобладает русский – 81,0 %; устная/письменная формы речи в речевых преференциях якутов в большей степени, и в меньшей – у русских и у других играют существенную роль – 76,9 %. Обращение к властным структурам происходит в основном на русском, в письменной форме существенно снижается использование якутского языка и равномерного использования обоих языков, что объективно расценивается и объясняется неразработанностью официально-делового стиля и терминологии на якутском языке. Устность снижает объем использования русского языка, передавая часть своих функций двуязычию.

По республике в письменной форме только 7,7 % якутов используют свое право обращения на якутском – одном из двух государственных языков. Наиболее употребляется двуязычие, которое дифференцируется по возрасту: молодые больше на русском (лишь в Вилюйском – на двуязычии) привыкли вести письменные обращения сообразно устоявшемуся режиму. В сельской местности вполне конкурентоспособен якутский.

Интересны данные об ориентациях в устных публичных выступлениях: языке выступления и языке восприятия (аудировании) чужой речи, различающиеся у якутов, и адекватны у русских и других. Безусловно, русские и другие в том и другом случае предпочитают на русском и незначительные сопоставимые доли опрошенных – на двух языках. У якутов наблюдаем несоответствие в аудировании и продуцировании устной речи: в г. Якутске удобнее выступать на русском – 52,7 %, или обоих языках – 27,2 %, а воспринимать публичную речь на русском – 58,6 %, или обоих языках – 30,1 %. У якутов в улусах языковое поведение отличается: удобнее выступать на якутском и русском (в Вилюйском улусе на якутском – 41,4 %, Оймяконском также – 40,6 %); а воспринимать публичную речь на русском или обоих языках.

В целом по республике в устном выступлении доминирует русский, затем якутский, в восприятии – русский и оба языка. Зачастую в улусах на совещаниях администрации улуса, города рабочим языком является русский даже при отсутствии невладеющих якутским. Делопроизводство на якутском также не имеет тенденции к становлению.

В сфере обслуживания для русских значим русский язык, для других русский преобладает, менее значимо двуязычное общение. Среди якутов существуют различные языковые практики, зависящие, видимо, от уровня этнического самосознания в части положительной самооценки, языковой лояльности, установившихся в течение длительного вре-

мени языков общения, языковой толерантности. У якутов по республике преобладает русский – 47,0 % (в г. Якутске – 67, 2 %), в Вилюйском улусе якутский преобладает – 40,8 %, в Оймяконском – двуязычие (46,3 %). Сфера обслуживания в настоящее время, на наш взгляд, является наименее детерминированной от внешних факторов, поскольку снижается фактор официальности, усиливается прагматика коммуникации, целеориентированность. Вследствие этого из всех исследованных сфер общения данная сфера предстает как обладающая наиболее экстенсивной коммуникативной базой, где неякутское население общается на якутском языке (хотя вопрос в анкете был поставлен «На каком языке чаще с Вами общаются работники сферы обслуживания?», предполагающем выявление языка коммуникации адресанта – отправителя информации). Приведем факты: 4,3 % русских, свободно владея якутским языком, и 5,1 %, владея разговорной формой якутского языка, применяют его в данной сфере на 1,5 % на якутском и 3,5 % на двуязычии; 8,5 % представителей других этносов изъясняются на якутском и 14,8 % на двуязычии при владении разговорной речью на 52,8 %.

Также высокую коммуникативную функцию якутского языка в данной сфере отражает сопоставление с данными о языке семейного общения русских: объем общения сопоставим с объемом общения на якутском с детьми – 1,5 % русских изъясняются на якутском в сфере обслуживания, с детьми – 1,2 %. Таким образом, сфера обслуживания в данных условиях исследования предстает как максимально реализующая паритетное русско-национальное и национально-русское двуязычие.

Сфера обслуживания в настоящее время, на наш взгляд, является наименее детерминированной от внешних факторов, поскольку снижается фактор официальности, усиливается прагматика коммуникации, целеориентированность. И эти факторы могли бы способствовать активизации использования якутского языка в данной сфере. И есть этому предпосылки: представители других этнических групп (18,8 %) и русские (3,1 %) ответили, что к ним достаточно часто (по сравнению с другими сферами, безусловно) обращаются на обоих языках. И понятно, что 4,5 % русских, заявивших о владении якутским в активной форме, и 42,5 %, владеющих им в той или иной степени, не реализуют на практике свои навыки. Вследствие этого из всех исследованных сфер общения данная сфера предстает как обладающая потенциальной коммуникативной базой, где неякутское население общалось бы на якутском языке.

Однако фактор установившихся в течение длительного времени языков общения, языковой толерантности является очень устойчивым и представляет собой сдерживающий фактор в развитии социальных функций якутского языка.

В личном коммуникативном пространстве (личная переписка; личные записи, дневники; сочинение стихов, прозы) распределение весьма сложное, различное в опрашиваемых объектах, обусловлено различными факторами. В г. Якутске преобладает русский во всех трех ситуациях. Сопоставления (Аргунова, 1992. С. 66) обозначили отрицательную динамику якутского языка и двуязычия в личной переписке, положительную динамику в реализации русского. В целом по республике якуты в ситуации, обладающей самым глубоким уровнем интимизации, в ведении личных записей, дневников предпочитают русский язык у русских и других. Также обнаружили существование размежевания языков в данной сфере, чаще либо якутский, либо русский, двуязычие – на третьей позиции в этот раз.

С разворачивающимся развитием новых информационных технологий в XXI в., внесшем существенные изменения в личное языковое пространство, активное употребление русского в данной сфере становится устойчивее и шире распространяется: интернет, сотовая связь, интерфейс которых на русском языке вынуждает личное общение строить только на русском.

Попытка коррелировать язык восприятия, понимания публичной информации на якутском и русском языках, как показывает наш материал, не зависит только лишь от уровня владения языком: устная публичная якутская речь лучше воспринимается лишь 21,3 % якутов (тогда как свободно ею владеют 84,5 % якутов); 41,1 % ориентированы на русский и 37,6 % – на двуязычие. Таким образом, кроме уровня владения языком в данной коммуникативной ситуации играет значительную роль фактор доминирующего языка, проникающий и в более глубинные участки языкового сознания нерусских.

Таблица 3

Речевое поведение в других сферах жизнедеятельности		Ваша национальность		
		якуты	русские	другие
На каком языке обращаетесь в органы власти в устной форме?	на якутском	20,8 %	0,6 %	5,8 %
	на русском	47,7 %	98,3 %	82,2 %
	на якутском и русском	31,5 %	0,6 %	10,8 %
	на другом	0,0 %	0,4 %	1,2 %

Окончание таблицы 3

Речевое поведение в других сферах жизнедеятельности		Ваша национальность		
		якуты	русские	другие
На каком языке обращаетесь в органы власти в письменной форме?	на якутском	7,7 %	0,2 %	2,5 %
	на русском	76,9 %	99,6 %	92,9 %
	на якутском и русском	15,4 %	0,2 %	4,6 %
	на другом	0,0 %	0,0 %	0,0 %
На каком языке ведете документацию, служебную переписку?	на якутском	5,6 %	0,2 %	3,4 %
	на русском	81,0 %	99,6 %	92,7 %
	на якутском и русском	13,5 %	0,0 %	3,8 %
	на другом	0,0 %	0,2 %	0,0 %
На каком языке Вам удобно выступать на собраниях?	на якутском	36,7 %	0,4 %	8,2 %
	на русском	37,2 %	99,3 %	80,7 %
	на якутском и русском	26,2 %	0,2 %	11,2 %
	на другом	0,0 %	0,0 %	0,0 %
На каком языке Вы лучше воспринимаете лекции, доклады?	на якутском	20,1 %	0,2 %	5,5 %
	на русском	46,4 %	98,9 %	82,2 %
	на якутском и русском	33,5 %	0,9 %	12,3 %
	на другом	0,0 %	0,0 %	0,0 %
На каком языке чаще с Вами общаются работники сферы обслуживания?	на якутском	22,3 %	1,5 %	8,5 %
	на русском	47,0 %	95,0 %	76,7 %
	на якутском и русском	30,7 %	3,5 %	14,8 %
	на другом	0,0 %	0,0 %	0,0 %
На каком языке ведете личную переписку?	на якутском	36,2 %	0,4 %	8,9 %
	на русском	33,8 %	98,9 %	78,8 %
	на якутском и русском	30,0 %	0,7 %	11,0 %
	на другом	0,0 %	0,0 %	0,8 %
На каком языке ведете личные записи, дневник?	на якутском	30,6 %	0,4 %	8,0 %
	на русском	41,3 %	99,3 %	80,1 %
	на якутском и русском	28,1 %	0,2 %	9,7 %
	на другом	0,0 %	0,0 %	1,8 %
Если пишете стихи, прозу, то чаще на каком языке?	на якутском	40,7 %	0,5 %	9,2 %
	на русском	37,7 %	98,7 %	78,2 %
	на якутском и русском	21,5 %	0,5 %	11,5 %
	на другом	0,0 %	0,3 %	0,6 %

Внутри преобладающего якутоязычного сообщества также наблюдается зависимость выбора языка от письменной/устной формы организации речи, преобладание русского языка в официальной сфере устойчиво, имеет тенденцию к возрастанию.

В восприятии и продуцировании публичной речи якутское население в основном ориентировано больше на русский язык, употребление которого по сравнению с 1985 г. (Аргунова, 1992. С. 65) выросло соответственно в 3 и 6 раз, и на двуязычие. В устных публичных выступлениях у респондентов старше 36 больше навыков говорить по-якутски. У молодых в устных выступлениях отмечена тенденция к сокращению объема на русском и увеличения на якутском.

Ориентации в сфере образования. Наши результаты, объединяющие мнение родителей разных национальностей, проживающих в различных территориальных образованиях, возрастных групп, уровней образования, представляют следующий сводный вид (см. табл. 4). Предпочтения в дистрибуции языков в школьном обучении: у якутов преобладает потребность в обучении на родном языке с изучением русского языка (30,0 %), у русских и других – в русской школе с углубленным изучением иностранных языков (40,2 %; 31,1 %).

Таблица 4

Школу с каким языком обучения выбрали бы Вы для своих детей? РС(Я)	Ваша национальность		
	якуты	русские	другие
Школу, где преподавание ведется только на якутском языке	6,3 %	0,3 %	1,7 %
Школу, где преподавание ведется только на русском языке	3,9 %	24,8 %	12,8 %

Окончание таблицы 4

Школу с каким языком обучения выбрали бы Вы для своих детей? РС(Я)	Ваша национальность		
	якуты	русские	другие
Русскую школу с изучением якутского языка	20,7 %	28,9 %	19,1 %
Якутскую школу с изучением языков МНС	0,6 %	0,5 %	5,4 %
Русскую школу с изучением языков МНС	0,8 %	1,7 %	14,2 %
Якутскую школу с углубленным изучением иностранных языков	23,1 %	2,3 %	6,6 %
Русскую школу с углубленным изучением иностранных языков	14,7 %	40,2 %	31,1 %

Во всех опрашиваемых пунктах выбор языка воспитания и обучения в дошкольном учреждении оказался сложным для молодых якутов – много затруднившихся ответить. У всех групп просматривается стратегия раннего приобщения к другому, неродному языку – одному из доминирующих языков республики: так, якуты с целью раннего активного приобщения к русскому языку выбирают детсад с русским языком обучения и воспитания. Такая стратегия актуальна больше для женщин в возрасте 26–35 лет со средним специальным образованием, чаще горожанок или жительниц поселков. Данная тенденция билингвального характера укрепляется с возрастом – у молодых в возрасте 16–25 лет выражена менее всего, пик наблюдается у респондентов 26–35 лет, реальных родителей. Русские выбирают данный вариант с целью приобщения детей к местному языку, культуре, другие – в целях приобщения как к языку с нарастающими социальными функциями, и подобное мнение также с возрастом возрастает. Мнение о русском языке обучения и воспитания в ДОУ с изучением якутского доминирует во всех возрастных группах, укрепляется с возрастом. В среднем возрасте, когда вопрос выбора предстает реально, значимо предпочтение воспитания на якутском языке для детей, потенциальные родители ориентированы на русский язык (25,7 %) и на якутский (23,6 %).

В настоящее время мы видим, что коренное сельское население видит будущее своих детей связанным с родным языком, но расширение коммуникативного пространства в современном обществе весьма существенно актуализирует для родителей компонент иностранных языков. Таким образом, у родителей-якутов в сфере образования по сравнению с 1989 г. ориентация на русский и якутский сократилась, происходит переориентация на иностранные языки, потребность в билингвальном типе школ устойчива.

Языковые предпочтения в сфере радио- и телевещания. В получении телевизионной информации у русских приоритет за русскоязычными передачами, незначительно, но присутствуют передачи на якутском и двуязычные передачи. У якутов в потреблении ТВ-продукции двуязычные передачи преобладают.

Опрос показал резкое снижение интереса к ТВ-передачам на родном языке, на что, безусловно, в числе прочих повлияло развитие технических ресурсов телевидения по сравнению с 2001 г. – увеличилось количество каналов, появился массовый доступ к возможностям кабельного ТВ. Имеет место и ограниченность предлагаемого ассортимента, поскольку на якутском языке полноценно вещает лишь один Национальный канал «Саха», хотя в общей совокупности ответов местный канал «Саха» (12,6 %) за Первым российским каналом (16,9 %) занимает второе место в рейтинге просмотров, на котором с 2006 по 2009 г. зафиксировано сокращение объема информации и количества передач на якутском языке в пользу двуязычных передач. Среди якутов в 6 раз возрос интерес к радиопередачам на родном языке, значительно снижение прослушивания на русском и сохраняется стабильно высокий уровень прослушивания на обоих языках. Спрос на якутские радиопередачи объясняется, безусловно, разнообразием каналов и средств приема радиопередач, например, по мобильному телефону, мобильным плеерам, ноутбуку, что предпочитается молодыми людьми как доступное, мобильное и в немалой степени в силу индивидуальности использования обладающее долей интимизации средство.

В 2008 г. за счет количественного и качественного развития радио в Якутии удовлетворен спрос в потреблении продукции на обоих государственных языках, о чем выразило мнение большинство респондентов – представителей различных этнических групп, сосуществующих в Якутии. Наиболее проблемна сфера ТВ, о недостаточности ТВ-передач на якутском выразили мнение 75 % якутов, 59 % представителей других национальностей, 14,5 % русских. Аудитория преимущественно удовлетворена объемом вещания на русском, но 27,7 % русских, 22,4 % представителей других национальностей и 17,8 % якутов желают на ведущем республиканском канале больше смотреть передачи на русском.

Прессу (газеты, журналы), художественную литературу якутяне потребляют в основном на русском. На вопрос, удовлетворяет ли Вас количество изданий, книг на якутском, в т. ч. детского книжного ассортимента на якутском, многие якуты затруднились ответить.

Вопрос о культуре речи ведущих на телевидении и радио, об уровне грамотности изданий республиканской прессы дал возможность понять лингвоэкологическую составляющую языковой

личности-якутянина. Общество больше озабочено состоянием русского языка, нежели якутского, большинство из них носители языка. За чистотой якутского языка следят в 2 раза меньше, большинство якутов довольны уровнем грамотности республиканской прессы.

Также исследования показали весьма высокую степень толерантности в вопросах ранжирования языков в визуальной информации, несоответствие спроса и предложения в потреблении данного информпродукта, что представляет в данный период объект для языкового планирования с максимально благоприятными условиями для регулирования. Реальное соотношение языков в массовой визуальной информации, которое указали респонденты, отражает единодушное мнение о том, что в этнолингвоинформационном пространстве существующий языковой дисбаланс не удовлетворяет потребностям этнических групп, так, все группы единодушны в расширении использования двуязычия, якутского языка, спорадично – компонента иностранного языка и сокращении только лишь русскоязычной информации.

Тенденции в функционировании языков, мнение людей о проводимой языковой политике попытались получить в ответах на вопрос: «Наблюдаются ли, по Вашему мнению, изменения в использовании государственного якутского языка (русского языка, языков коренных малочисленных народов Севера) в следующих сферах?» Использование русского языка в исследуемый период во всех сферах оценено большинством представителей всех опрашиваемых групп стабильным, т. е. без изменений, что очень важно нам знать при имеющемся дискурсе последних лет о вытеснении русского языка в регионах.

Таблица 5

Наблюдаются ли, по Вашему мнению, изменения в использовании государственного русского языка в след. сферах?		Ваша национальность		
		якуты	русские	другие
В семье	Сократилось	6,1 %	5,3 %	5,0 %
	Осталось прежним	69,4 %	79,6 %	72,5 %
	Расширилось	21,5 %	11,2 %	17,5 %
	Расширилось значительно	3,0 %	3,9 %	5,0 %
В сфере обслуживания	Сократилось	3,8 %	18,2 %	5,0 %
	Осталось прежним	61,3 %	67,9 %	57,5 %
	Расширилось	30,5 %	11,3 %	27,5 %
	Расширилось значительно	4,5 %	2,5 %	10,0 %
На радио/ ТВ	Сократилось	3,4 %	19,6 %	7,3 %
	Осталось прежним	65,3 %	61,4 %	63,4 %
	Расширилось	27,9 %	15,8 %	22,0 %
	Расширилось значительно	3,4 %	3,2 %	7,3 %
В газетах/ журналах	Сократилось	2,7 %	13,6 %	7,5 %
	Осталось прежним	64,3 %	68,2 %	62,5 %
	Расширилось	29,3 %	15,6 %	20,0 %
	Расширилось значительно	3,7 %	2,6 %	10,0 %
На работе	Сократилось	3,1 %	12,1 %	7,3 %
	Осталось прежним	63,3 %	75,2 %	65,9 %
	Расширилось	29,4 %	9,6 %	19,5 %
	Расширилось значительно	4,2 %	3,2 %	7,3 %
В госучреждениях	Сократилось	4,1 %	24,4 %	7,5 %
	Осталось прежним	60,2 %	61,5 %	60,0 %
	Расширилось	31,3 %	11,5 %	25,0 %
	Расширилось значительно	4,4 %	2,6 %	7,5 %
В системе образования	Сократилось	3,8 %	23,5 %	10,0 %
	Осталось прежним	58,9 %	62,1 %	52,5 %
	Расширилось	32,5 %	11,1 %	30,0 %
	Расширилось значительно	4,8 %	3,3 %	7,5 %

Окончание таблицы 5

Наблюдаются ли, по Вашему мнению, изменения в использовании государственного русского языка в след. сферах?		Ваша национальность		
		якуты	русские	другие
На улице	Сократилось	9,9 %	30,1 %	14,3 %
	Осталось прежним	56,0 %	54,5 %	47,6 %
	Расширилось	27,0 %	11,5 %	28,6 %
	Расширилось значительно	7,2 %	3,8 %	9,5 %

Мотивация к изучению якутского языка невладеющими. В республике главенствующей тенденцией является значительный интерес к иностранным языкам, в основном респондентов молодого и среднего возраста (в т. ч. китайскому, корейскому, японскому). Речевое поведение по отношению к овладению (совершенствованию владения) русским языком коррелирует с уровнем языковой компетенции: чем выше языковая компетенция, тем ниже интерес к изучению. В этнически гомогенной моноэтнической якутской среде высока потребность в изучении русского языка. В этнически гетерогенных сообществах речевое поведение в силу распространенности, демографической, коммуникативной мощности русского языка в регионе наименее осложнена различиями стратегий языкового интегрирования.

Создание равновесной языковой ситуации при имеющихся типологических признаках, как экзоглоссность, поликомпонентность, активный контактный тип двуязычия, преимущественно якутско-русского, предполагает создание условий для встречно направленного двуязычия. В Республике Саха (Якутия) кроме носителей государствообразующего русского, титульного якутского языков, представителей коренных малочисленных народов Севера, в той или иной степени владеющих родными языками, проживает 24 053 чел., владеющих украинским, 5758 чел. – татарским, 4251 чел. – бурятским языками, что говорит о существовании других сообществ со своим языком, культурой. И бесспорно, среди населения республики существует достаточно значительная группа людей, желающих выучить-использовать-писать-читать-понимать определенный язык для определенных целей. Данная группа населения присутствует в разных этнических, возрастных сообществах и независимо от места проживания.

У этнических якутов, не владеющих языком этноса, притязание на чувство национальной общности проявляется в процессе обратной инкультурации в условиях контактного двуязычия. Вектор изменений в языковых установках этнических якутов, не владеющих якутским языком, состоит в ослаблении нигилизма в отношении к якутскому языку.

В изучении и использовании якутского языка русским населением актуальна детерминированность от моно- и полиэтничности, урбанизированности. Как видно, желание больше интегрироваться посредством языка выше у русского населения, проживающего в условиях контактного двуязычия. Русское население в целом положительно относится к необходимости изучения якутского языка, что вполне объяснимо: 1) в основном с позиций гражданского сознания: «...я живу в Якутии и должна знать местный язык»; 2) прагматическими целями – знание языка титульной нации содействует социальной мобильности; 3) психологическими преимуществами – одноязычные русские в отличие от двуязычных якутов ограничены в получении информации на якутском языке, информации на актуальную местную тематику, лишены доступа к якутской культуре, что отрицательно сказывается на их психологическом самочувствии.

В целом ответы отразили открытость разных этнических сообществ, достаточно высокую этническую и языковую толерантность и особенности стратегии в изучении языков. Отличительной особенностью нового века является то, что объективная логика развития всех социокультурных процессов современности: растущая интенсификация межэтнических контактов на российском и международном уровнях, трудовая миграция, туризм, мощные информационные потоки (телевидение, реклама, игровые технологии современных СМИ, интернет и т. д.) – ведет к нарастанию интегративных тенденций, взаимному приспособлению разных групп в социальном пространстве одного региона. Международная, межгосударственная интеграция имеет не только экономические, политические, культурные, образовательные, информационные измерения, но и языковые, поскольку коммуникации происходят как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскостях.

Результаты экспериментального исследования мотивации изучения якутского языка, потенциальные мотивационные структуры связаны с экстралингвистическими социальными, психологическими факторами, внутренними индивидуальными установками. Корпус мотивов у этнических якутов, не владеющих якутским языком, которым руководствуются респонденты при изучении якутского языка, отражает институциональные потребности – адекватность общения в межнациональной

семье, на работе в смешанном или преобладающем якутоязычном коллективе. Потребность в этнической идентификации отчетливо не выражена, находится несколько в стихийной форме. Потребность в прямой этнической идентификации выражена у респондентов старшего возраста. У потомков смешанных русско-якутских браков имеется вполне осознанная гражданская позиция по поводу необходимости функционального двуязычия, но не реализующегося в реальной жизни по причине недостаточности личностной мотивации для изучения якутского языка или его совершенствования.

Носители других языков, не владеющие якутским языком, руководствуются институциональными и лингвокультурологическими потребностями: кроме функционального использования глубже познать язык, например, понимать юмор.

Желание членов иной этнокультурной общности изучать язык коренного населения, основного культурного маркера – чрезвычайно яркий показатель, ценностная установка, выявляющая языковую, межэтническую толерантность по отношению к титульному этносу, переживающему рост этнического самосознания, стремящемуся к повышению престижа родного языка, выравниванию социальных функций обоих государственных языков. Современная реальность – мы имеем в виду этнический парадокс современности, отражающийся в социально-психологическом феномене конца XX в., при котором особенности этнической культуры стираются, а этническое самосознание растет – диктует свои условия, порождает свои социально-психологические феномены. «Согласно так называемой гипотезе контакта, предубеждения (если они не коренятся глубоко в структуре характера индивида) могут быть снижены путем равностатусного контакта между группами большинства и меньшинства в ситуации достижения общих целей. Эффект усилится, если этот контакт поддержан общественными институтами (т. е. законами, обычаями или местной атмосферой) или если он ведет к восприятию общих интересов и формирует гуманные взаимоотношения» (Лебедева, 2005. С. 50).

Таким образом, этнокультурный мир, действительно, сохраняя своеобразие, самобытность, становится все более взаимосвязанным, взаимозависимым. Этнический статус в полиэтнических регионах является важнейшей составляющей социального самочувствия человека. Опираясь на идею культурного релятивизма, провозглашающую особую ценность, значимость каждой культуры для всего человечества, мы попытались взглянуть на природу межэтнических отношений с точки зрения ее главного культурного маркера – языка. Очевидно, что современные социальные, этнические процессы могут объективироваться в описанных выше и других явлениях социокультурной реальности, требующих дальнейшего изучения.

Также полевые исследования дали возможность получить информацию о том, что в совокупности все жители столицы, независимо от этнической принадлежности, в той или иной степени испытывали трудности из-за незнания или несовершенного знания якутского языка, в том числе: якуты – 47,5 %, русские – 64,6 %, представители иных национальностей – 77,8 %.

Тем не менее жители столицы, по результатам других исследований, обнаруживают релятивистский взгляд на функционирование языков в регионе: так, 46 % якутов и 39 % русских за равноправие всех языков (Российская нация: Становление и... 2008. С. 35). Также при указании различий в целом в стране по этническим (52,7 %) и лингвистическим признакам (30,4 %), что достаточно значимо вслед за доминирующими экономическими (61,4 %) и демографическими (53,9 %) признаками, в то же время лишь 1,4 % якутян в перечне проблем, вызывающих серьезную озабоченность, указали на этнически маркированные фобии (Российская нация: Становление и... 2008. С. 231).

В целом полевые исследования выявили неоднозначность языкового и этнического взаимодействия в регионе при преобладающем нейтральном самочувствии русских, при всем отсутствии видимых противоречий в межнациональных отношениях двух государствообразующих этносов некая напряженность ситуации чувствуется в ответах. Данная реалия, природу которой непросто вычленить из всей совокупности факторов, подмечена и якутскими этносоциологами (Российская нация: Становление и... 2008. С. 236).

В таблице 6, на наш взгляд, посредством вопроса об установке на языковое взаимодействие или восприятие другого языка получена существующая на данный период картина межэтнических отношений между двумя основными этносами или наиболее эксплицитное выражение этноязыкового самочувствия – стремление к равностатусному контакту со стороны якутов, приводящее русских к напряжениям в межэтнических отношениях в силу непродолжительности адаптационного периода в продолжающихся условиях повышения национального самосознания. Гетеростереотип как элемент идентичности и как индикатор отношений в данном случае очень показателен; полное отсутствие способности якутского языка обслуживать какую-либо коммуникативную сферу при реальном использовании якутского языка в ряде названных областей четко обозначает конфликтогенную зону – интеллектуальную, представленную в форме предубеждений. В то же время автостереотипы якутов отражают отсутствие гиперболизации этни-

Таблица 6

Согласны ли Вы с утверждением, что якутский язык способен быть языком в след. областях?		Ваша национальность		
		якут	русский	другие
Науки	согласен	34,9 %	10,2 %	22,0 %
	не согласен	37,5 %	59,7 %	51,2 %
	затрудняюсь ответить	27,6 %	30,1 %	26,8 %
Образования	согласен	62,2 %	19,7 %	48,8 %
	не согласен	18,1 %	52,0 %	34,1 %
	затрудняюсь ответить	19,7 %	28,3 %	17,1 %
Дипломатии	согласен	35,0 %	10,3 %	33,3 %
	не согласен	36,6 %	55,7 %	42,9 %
	затрудняюсь ответить	28,4 %	33,9 %	23,8 %
СМИ	согласен	72,2 %	24,4 %	67,4 %
	не согласен	13,2 %	44,2 %	20,9 %
	затрудняюсь ответить	14,5 %	31,4 %	11,6 %
Делопроизводства	согласен	39,5 %	9,3 %	41,5 %
	не согласен	36,9 %	57,6 %	36,6 %
	затрудняюсь ответить	23,5 %	33,1 %	22,0 %
Судопроизводства	согласен	34,8 %	8,2 %	34,1 %
	не согласен	39,3 %	59,6 %	39,0 %
	затрудняюсь ответить	25,9 %	32,2 %	26,8 %
Бизнеса	согласен	38,2 %	8,2 %	36,6 %
	не согласен	35,0 %	61,4 %	43,9 %
	затрудняюсь ответить	26,8 %	30,4 %	19,5 %
Межэтнического общения	согласен	51,1 %	32,4 %	53,7 %
	не согласен	23,9 %	35,8 %	24,4 %
	затрудняюсь ответить	24,9 %	31,8 %	22,0 %
Государственного управления	согласен	40,6 %	10,3 %	36,6 %
	не согласен	31,2 %	58,6 %	41,5 %
	затрудняюсь ответить	28,2 %	31,0 %	22,0 %
Сферы обслуживания	согласен	56,4 %	20,8 %	46,3 %
	не согласен	21,8 %	48,0 %	39,0 %
	затрудняюсь ответить	21,8 %	31,2 %	14,6 %

ческого самосознания, отрицательно влияющего на толерантность. Оценки адекватны реальному функциональному состоянию якутского языка в данных сферах, объективизируют среднестатистического горожанина – носителя якутского языка.

Социолингвистические данные показали, что проблема языка и толерантности многоаспектна: представлены наиболее значимые социолингвистические факторы как предпочтения и ориентации в речевом поведении, межэтнических отношениях.

Концепты «русский язык», «якутский язык», «английский язык», «китайский язык» в концептосфере студента – носителя русского языка. Лингвоконцептологическое описание национальной концептосферы по результатам направленного ассоциативного эксперимента выявило особенности фиксации коммуникативным сознанием якутянина-русского концептов *русский язык, якутский язык, английский язык, китайский язык*, сопоставленные с таковыми в концептосфере якутов. В целом в концепте «русский язык» в русском когнитивном сознании якутянина доминируют позитивная эстетическая оценка и положительная функциональная характеристика языка. По сравнению с результатами экспериментальных данных Л. А. Тавдгиридзе (*Попова З. Д., Стернин И. А., 2010. С. 232–292)*, полученным по г. Воронежу и Воронежской области, у испытуемых-якутян более значимо ценностное отношение к этническому языку как национально-культурному явлению, также со-

вершенно отсутствует негативная оценка русского языка испытуемыми. В целом в русском коммуникативном сознании в концепте *русский язык* наиболее яркими когнитивными признаками можно признать следующие: *красивый, трудный, богатый, родной, могучий, великий.* В условиях двуязычия, многоязычия, т. е. в условиях активной функциональной конкуренции языков, высока коммуникативная релевантность концептов, обозначающих языки данного региона.

У якутов в концепте русский язык доминируют позитивная эстетическая оценка языка в силу его высокого социального статуса, доминирующих социальных функций, прагматическое представление.

Таблица 7

Категориальная структура когнитивных классификационных признаков концепта «русский язык»	
в восприятии русских студентов	в восприятии студентов-якутов
1. Мифологемы (71 – 20 %) 2. Степень близости носителям (50– 14,28 %) 3. Возможность освоения (47 – 13,42 %) 4. Объем словарного состава (43 – 12,28 %) 5. Красивый (33 – 9,42 %) 6. Сфера использования (18 – 5,14 %) 7. Общая оценка (18 – 5,14 %) 8. Физическая характеристика (16 – 4,57 %) 9. Престижность (12 – 3,42 %) 10. Вызываемый интерес (9 – 2,5 %) 11. Эмоциональная оценка (8 – 2,2 %) 12. Нравственная оценка (6 – 1,7 %) 13. Интеллектуальная оценка (6 – 1,7 %) 14. Индивидуальная характеристика (6 – 1,7 %) 15. Темпоральная характеристика (4 – 1,1 %) 16. Особенности звучания (4 – 1,1 %) 17. Функциональная характеристика (2 – 0,5 %) 18. Основная функция (2 – 0,5 %) 19. Необходимость соблюдения норм культуры общения (1 – 0,2 %) 20. Особенности словарного запаса (1 – 0,2 %) 21. Связь с национальными традициями – 0 22. Необходимость изучения – 0	1. Возможность освоения (70 – 15,9 %) 2. Мифологемы (59 – 13,4 %) 3. Сфера использования (43 – 9,7 %) 4. Степень близости носителям (9,3 %) 5. Эмоциональная оценка (36 – 8,1 %) 6. Объем словарного состава (31 – 7 %) 7. Престижность (30 – 6,8 %) 8. Эстетическая оценка (29 – 6,5 %) 9. Общая оценка (26 – 5,9 %) 10. Вызываемый интерес (16 – 3,6 %) 11. Необходимость изучения (13 – 2,9 %) 12. Физическая характеристика (9 – 2 %) 13. Интеллектуальная оценка (9 – 2 %) 14. Темпоральная характеристика (8 – 1,8 %) 15. Индивидуальная характеристика (6 – 1,3 %) 16. Нравственная оценка (4 – 0,9 %) 17. Основная функция (4 – 0,9 %) 18. Особенности звучания (3 – 0,6 %) 19. Функциональная характеристика (1 – 0,2 %) 20. Особенности словарного запаса (1 – 0,2 %) 21. Необходимость соблюдения норм культуры общения – 0 22. Связь с национальными традициями – 0

В целом в концепте «якутский язык» в русском когнитивном сознании якутянина ведущую роль играет оценочно-прагматическое содержание интерпретационного поля концепта. Наиболее заметными в интерпретационном поле концепта являются *зона возможности освоения* якутского языка (87 – 33 %), преимущественно представленная трудностями освоения, и *общая оценка* (70 – 26,6 %), в которой доминирует негативная характеристика концепта «якутский язык».

Признаки, имеющие отношение к концепту «якутский язык», объективируют как положительные, так и отрицательные характеристики. Негативные характеристики якутского языка (37 %) присутствуют в существенно большем количестве, чем позитивные (17,4 %). Таким образом, концепт в целом преимущественно отрицательно маркирован. Если на наш результат обратить внимание с того ракурса, что на язык переносятся признаки с человека, который владеет языком, тем самым создавая антропоморфный образ языка как человека – носителя определенных качеств (*Тавдгиридзе Л. А., 2005*), то отношение к носителям якутского языка сформировано в основном недружелюбное, полное предрассудков.

Английский язык в концептосфере русского студента репрезентируется лексемами *сложный* (18 – 5,1 %), *интересный* (21 – 5,9 %), *международный* (25 – 7,1 %), отражающими основные мотивации изучения данного высокопрестижного языка. В исследовании концепта «английский язык», проведенном Л. А. Тавдгиридзе (*Попова З. Д., Стернин И. А., 2010. С. 162*), ядро составляют признаки *всемирный* (34 %); *прекрасный* (34 %). Таким образом, яркость когнитивных признаков в ядре концептосферы якутян уступает таковым воронежских респондентов и имеет прагматический характер, у воронежских респондентов, видимо, – эмоционально-оценочный.

Китайский, весьма популярный в Якутии, язык в восприятии русских студентов охарактеризован довольно противоречиво, что свидетельствует лишь о том, что китайский язык является новым компонентом местной языковой ситуации, еще не нашедшим свое место в иерархии языков в социокультурном пространстве республики. Поэтому коммуникативное сознание молодежи не включает однозначное представление о характеристиках языка, кроме непонятности, сложности.

Таким образом, коммуникативное пространство в республике создается функционированием двух государственных, функционально и демографически доминирующих, активно взаимодействующих русским и якутским языками. У носителей данных языков в основном родной язык и этническая принадлежность совпадают. Родной язык служит основным признаком этнической принадлежности как у якутов, так и у русских.

Таблица 8

Ядро концепта				
	«русский язык»	«якутский язык»	«английский язык»	«китайский язык»
Русские студенты	родной, сложный, могучий, великий, красивый, богатый	непонятный, сложный, странный, трудный, тюркский, некрасивый, интересный	международный, интересный, сложный	непонятный, сложный, смешной
Студенты-якуты	великий, красивый, родной, богатый, понятный, интересный, могучий, сложный	родной (93)	всемирный, сложный, трудный, интересный, международный	сложный, непонятный, интересный, трудный, смешной
Студенты-якуты, обучающиеся в Китае	родной, красивый, сложный, богатый	Родной (15)	красивый, всемирный, нужный, легкий, обязательный, международный	сложный, трудный, интересный, некрасивый

Русский язык как родной актуален для 95,7 % русских и 5,5 % якутов. Языковой сдвиг среди последних имеет два типа: с сохранением знания языка своей национальности и без знания языка. По формальному показателю (признанию родным неэтнического языка), сдвиг языка более характерен для якутов. Однако переход на русский язык перекрывается показателями множественной языковой идентичности, присутствующей у якутской молодежи и имеющей тенденцию к возрастанию.

В этнически гомогенной якутской среде, т. е. в основном в сельской местности, высока потребность в изучении русского языка. По сравнению с 90-ми гг. очевиден качественный сдвиг в овладении русским языком.

И надо сказать, что между русскими и якутами в вопросах предпочтений, ориентаций в сфере образования, межнациональных отношений, вопросах гражданской идентичности больше общего, нежели различного. Так, например, стратегии в сфере образования, в частности в выборе языка обучения и воспитания, наблюдаем совершенно одинаковые стратегии: в раннем детстве приобщать ко второму языку – у русских к якутскому языку, у якутов – к русскому.

Русский язык продолжает оставаться в республике, где проживает более 120 национальностей, средством межнационального общения, имеет высокие социальные функции: в регулируемых языковом законодательством сферах общения (государственном управлении, делопроизводстве, общественно-политической деятельности, СМИ, производстве, торговле и экономике, обслуживании) безусловно преобладание либо исключительное использование государственного русского языка.

В сопоставлении с 80-ми гг. обнаружено, что в настоящее время в общении на работе регламентированность, расширение сфер деятельности, в т. ч. инновационные сферы, где активно используется заимствованная из иностранных языков терминология, не имеющая эквивалентов в якутском, значительно (до восьми раз) расширяет использование русского, а этнодемографические факторы, с другой стороны, незначительно увеличивают объем общения на якутском, сокращается двуязычие. В целом в сфере профессиональной деятельности (на работе), в восприятии и воспроизведении публичной речи доминирует русский язык во всех группах, чему способствует фактор официальности, терминологической зависимости, этнически смешанного состава в рабочей ситуации. Сфера обслуживания предстает как максимально реализующая паритетное русско-национальное и национально-русское двуязычие.

Желание интегрироваться посредством языка выше у русского населения, проживающего в условиях контактного двуязычия. Ведущей тенденцией является выраженная приверженность к использованию двуязычия, что менее было представлено в остальной визуальной информации.

С развитием новых информационных технологий в XXI в., внесших существенные изменения в личное языковое пространство, активное употребление русского языка становится устойчивее и шире распространяется: интернет, сотовая связь, интерфейс которых на русском языке вынуждает личное общение строить только на русском. Почти все население Якутии двуязычно. Среди русских около 40 % в какой-либо мере, в основном в пассивной форме, владеют якутским языком; например, у молодежи до 25 лет их количество составляет 30 %, у взрослых старше 50 лет такое явление обнаружено у 58 %. И среди якутян русской национальности желание изучать якутский язык, как никогда, проявляется в данное время.

В целом полевые исследования выявили неоднозначность языкового и этнического взаимодействия в регионе при преобладающем нейтральном самочувствии русских. В концепте «русский язык» в русском когнитивном сознании якутянина доми-

нируют позитивная эстетическая оценка и положительная функциональная характеристика языка; также у них более значимо ценностное отношение к этническому языку как национально-культурному явлению и совершенно отсутствует негативная оценка русского языка испытуемыми. В русском коммуникативном сознании в концепте *русский язык* наиболее яркими когнитивными признаками можно признать следующие: *красивый, трудный, богатый, родной, могучий, великий*. В условиях двуязычия, многоязычия, т. е. в условиях активной функциональной конкуренции языков, высока коммуникативная релевантность концептов, обозначающих языки данного региона.

Важно понять, что сохраняется функция русского языка как языка межнационального общения благодаря прагматическим потребностям, среди которых самое важное место занимает возможность торгово-экономических отношений с быстро растущим российским рынком, а также реальная возможность получения одного из лучших образований в мире, наконец, приобщение к внесшим весомый вклад в мировую цивилизацию русской культуре и русскому искусству.

Список литературы

Аргунова Т. В. Якутско-русское двуязычие (социолингвистический аспект). Якутск: ЯНЦ СО РАН, 1992. 88 с.

Владимирова Т. Е. Призванные в общение: Русский дискурс в межкультурной коммуникации. 2-е изд., испр. и доп. М.: Книжный дом «Либроком», 2010. 340 с.

Кронгауз М. Русский язык на грани нервного срыва. М.: Языки славянских культур, 2008. 232 с.

Гладкова А. Русская культурная семантика: Эмоции, ценности, жизненные установки. М.: Языки славянских культур, 2010. 304 с.

Губогло М. Н. Языки этнической мобилизации. М., 1998. С. 29–51.

Иссерс О. С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи. 5-е. изд. М.: Изд-во ЛКИ, 2008. 288 с.

Ларина Т. В. Категория вежливости и стиль коммуникации: Сопоставление английских и русских лингвокультурных традиций. М.: Рукописные памятники Древней Руси, 2009. 512 с.

Лебедева Н. М. Этническая толерантность и техники улучшения межкультурного взаимодействия // Кросскультурная психология: актуальные проблемы: Сб. ст. / под ред. Л. Г. Почебут, И. А. Шмелевой. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2005. С. 337; 26–61.

Попова З. Д., Стернин И. А. Когнитивная лингвистика. М.: АСТ; Восток-Запад, 2010. 314 с.

Попова З. Д., Стернин И. А. Концептосфера и картина мира // Язык и национальное сознание. Вып. 3. Воронеж: Истоки, 2002. 179 с.

Прохоров Ю. Е. Русские: коммуникативное поведение / Ю. Е. Прохоров, И. А. Стернин. 2-е изд., испр. и доп. М.: Флинта; Наука, 2006. 328 с.

Российская нация: Становление и этнокультурное многообразие / отв. ред. В. А. Тишков. М., 2008. 308 с.

Словарь социолингвистических терминов / Э. Д. Сулейменова, Н. Ж. Шаймерденова, Ж. С. Смагулова, Д. Х. Аканова; отв. ред. Э. Д. Сулейменова. 2-е изд., доп. и перераб. Алматы: Қазақ университеті, 2007. 330 с.

Словарь социолингвистических терминов. М., 2006. 312 с.

Тавдгиридзе Л. А. Концепт «русский язык» в русском языковом сознании. Автореферат дис. ... канд. филол. наук. Воронеж, 2005.

Ушакова Т. Н. Существует ли общий и неизменный предмет психолингвистики?// Язык и сознание: психолингвистические аспекты. Сб. ст. / под ред. Н. В. Уфимцевой, Т. Н. Ушаковой. М.; Калуга: Изд-во «Эйдос», 2009. 324 с.

Л. Б. Бадмаева, Л. Д. Шагдаров

ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ СТАРОМОНГОЛЬСКИХ ТЕКСТОВ БУРЯТСКИХ ЛЕТОПИСЕЙ

История письменности и книжной культуры монголоязычных народов, в том числе бурят, имеет многовековые традиции. В ходе исторического развития письменной культуры монгольских народов были выработаны разнообразные жанры литературы на старописьменном монгольском языке. Старописьменный монгольский язык был общемонгольским письменным языком и являлся средством культурного общения всех монгольских племен. Среди памятников этой письменности летописи занимают исключительно важное место. Они, являясь наиболее крупными светскими произведениями, представляют собой не только ценные источники исторической и культурологической информации, но и значимые оригинальные литературные памятники. С литературно-художественной точки зрения, в летописях отразились не только историко-летописный жанр, но и другие письменные и устные, повествовательные и фольклорные жанры старописьменного монгольского языка.

Долгое время наука о языке ограничивалась изучением отдельных единиц языка – звуков, слов,

словосочетаний и предложений. Теперь лингвисты начали изучать более крупные отрезки речи: сочетания предложений, сложное синтаксическое целое, абзац и целый законченный текст. Выяснилось, что текст имеет свои принципы построения. Наблюдения над характером связи между частями текста показали, что отдельные части текста объединяются не только привычными формами связи – союзами, союзными словами, но и другими, менее четко выделяемыми в ткани текста. К ним относятся анафорические слова, словосочетания, повторы однотипных структур. Такие средства связи получили название *когезии*.

Основными свойствами текста являются цельность и завершенность. Текст заключает в себе разные виды сообщений или информаций. В зависимости от того, что именно сообщается, можно выделить три вида информаций: фактуальная, концептуальная и подтекстовая.

Фактуальная информация текста – это описание фактов, событий, места действия и времени протекания этого действия, рассуждения автора, движение сюжета и т. д.

Концептуальная информация – это выражение мировоззрения автора, основной мысли, идеи произведения. Концептуальная информация раскрывает замысел автора, рисует картину мира такой, какой он ее себе представляет. Данная информация не всегда ясно и четко выражена словами. Она выводится из взаимодействия разных видов фактуальной информации. Более того, концептуальная информация предполагает различное толкование, поскольку она словесно не уточняется.

Подтекстовая информация также не выражена словами, она только подразумевается. Эта информация возникает благодаря способности слов, словосочетаний, предложений в отдельных небольших отрезках текста таить в себе скрытый смысл.

При изучении текста существенны такие характеристики личности автора, как мировоззрение, теоретический и практический опыт. Необходимо учесть также и особенности получателя информации – адресата, реципиента с его социальным положением, мировоззрением, видом трудовой и общественно-политической деятельности, с образованием, потребностями и интересами. В связи с этим исследователи оперируют еще понятием *пресуппозиции*, под данным термином понимается база для той информации, которую автор хочет донести адресату, фонд общих знаний читателя.

При исследовании текстов бурятских летописей в этом плане вырисовывается такая картина. Летописи относятся к историческим сочинениям, которые составляли один из важнейших жанров бурятской дореволюционной светской письменной литературы.

Как известно, составители летописей и исторических сочинений кроме устного народного творчества (преданий, легенд, мифов и т. д.), своих личных наблюдений или услышанных от старых людей широко используют для своей работы документальные материалы бурятских канцелярий и личных архивов тайшей и нойонов, архивные документы бурятских дацанов, личные архивы хамболам, а также материалы монгольских летописей, в частности «Erdeni-yin tobči» Саган Сэцэна и Анонимной летописи «Алтан Тобчи», изданной Галсан Гомбоевым в 1858 г.

Особенно положительное влияние на них оказали традиции русской исторической науки. Это проявилось, например, в том, что, восприняв форму и композицию монгольских летописей, бурятские авторы стали делать ссылки на сообщаемые ими факты, указывая даже дату и номер документа. Они также были хорошо знакомы с русской монголоведной литературой, в частности с «Сибирской историей» И. Фишера, с «Полным собранием законов Российской империи» и другими работами.

Ввиду всего этого многие из летописей по своему содержанию, исполнению и композиции не стали укладываться в понятия «летопись» или «хроника». Некоторые бурятские летописи, например летопись Вандана Юмсунова, перерастают рамки хроник и представляют историко-этнографические очерки, разделенные на главы по тематическому, а не хронологическому принципу. В этих документальных очерках излагаются факты и явления общественной жизни, как правило, в сопровождении прямого истолкования их автором, зачастую воспроизводятся реальные факты, события, лица, увиденные автором непосредственно в самой жизни или пишутся со слов очевидцев. Последнему обстоятельству исследователи придают весьма большое значение, ибо многие документы, на которые ссылаются авторы, не сохранились в наших государственных архивах. Кроме того, сообщаются также детали, основанные на личном наблюдении, которые отражают настроение бурятского общества того времени.

Итак, с точки зрения коммуникативной задачи, изучаемые нами летописи относятся в основном к классу информирующих текстов с элементами активизирующих текстов, в частности, к текстам научно-популярного характера, знакомящих читателя со знаниями, добытыми путем исследования и анализа или путем прагматических умозаключений.

Таким образом, в бурятских летописях доминирует первый вид информации (фактуальный), лишь отчасти наличествует второй вид (концептуальный).

Лингвистика текста охватывает любые знаковые последовательности, однако основным ее объ-

ектом является вербальный текст. Исследования по лингвистике текста направлены на два основных свойства текста – связность и цельность. При ориентации на связность на первый план выступает проблема правильности-неправильности построения связного текста.

Текст может иметь разную протяженность – от объединений двух и более предложений, образующих более крупные, чем предложение, единицы речи – сверхфразовые единства (СФЕ), до глав, разделов, повестей, романов, научных монографий и т. д. Обычно законченное речевое произведение называется текстом в широком смысле слова, или макротекстом. Тексты в узком смысле слова, или микротексты, представляют собой тематические отрезки текста. Вместе с тем минитексты могут составлять и законченное речевое произведение, когда они состоят из одного СФЕ (газетная заметка, короткий рассказ, анекдот, объявление и т. д.). Таким образом, единицами текста считаются: 1) СФЕ (микротекст), 2) целое законченное произведение (макротекст).

Важно отметить, что функциональный анализ текста учитывает предварительную обусловленность свободы авторского выбора тех или иных средств выражения смысловой структуры. Этим лингвистика текста отличается от стилистики, которая изучает обусловленность языковых приемов и единиц требованиями стиля.

Таким образом, в тексте, как и во всяком человеческом самовыражении, обнаруживаются сознательные, управляемые и бессознательные, но столь же объективные компоненты.

Под текстом понимается литературное произведение, сочинение, документ, а также часть, отрывок из них. В частности, Л. А. Черняховская под *текстом* понимает: «... такую упорядоченную и письменно зафиксированную совокупность языковых знаков, которая вместе с заголовком образует законченное и литературно обработанное речевое произведение» (1983. С. 117). Аналогичную трактовку термина «текст» наблюдаем и у И. Р. Гальперина (1981. С. 18).

При анализе текста лингвисты обычно имеют дело со сверхфразовыми единствами (СФЕ), которые описаны в трудах А. М. Пешковского, Н. С. Поспелова, И. А. Фигуровского, О. И. Москальской, Т. М. Николаевой, Н. И. Серковой, И. Р. Гальперина, С. И. Гиндина, Т. И. Сильман, И. А. Слюсаревой, Е. А. Реферовской, Л. М. Лосевой, З. А. Тураевой, Л. А. Черняховской и др.

СФЕ в свою очередь состоят из двух и более цепочек предложений, структурно-смысловых блоков, объединенных общностью содержания и структуры. При изучении текстов бурятских летописей нами выделена еще одна единица – ССК (*сложный синтаксический комплекс*), полипредикативная конструкция с финитным сказуемым (Бадмаева, 2005. С. 141–162). Поскольку она обладает рядом признаков, присущих ССЦ (сложным синтаксическим целым), мы ССК наряду с ССЦ относим к СФЕ, т. е. последнее считаем родовой единицей, которой охватываются ССЦ и ССК. В бурятском языкознании в качестве родового (СФЕ) принят термин *үгүүлэл* (Цыдыпов, 1985; Шагдаров, 1986).

Предложения в составе СФЕ объединяются разными типами лексической, грамматической, логической, стилистической связи. Кроме того, оно имеет определенную прагматическую установку.

Одной из важнейших характеристик СФЕ является общность темы предложений, объединенных в нем, т. е. любое СФЕ всегда монотематично. Смысловая целостность текста подкрепляется структурным объединением предложений при помощи лексико-грамматических средств.

Тематическая и структурная целостность СФЕ предполагает, что каждое последующее предложение продвигает высказывание от известного к новому. Этот признак текста – тема-рематическое членение предложений на данное и новое. Тема (или данное) – это информация, известная читателю, рема – часть сообщения, которая содержит новую информацию, неизвестную читателю из предшествующего текста.

Следующим признаком текста является то, что он относится к одному из функциональных стилей литературного языка (художественному, деловому, научно-популярному, публицистическому).

Некоторые ученые считают единицы сверхфразового уровня особыми функционально-смысловыми типами речи, этими типами речи являются описание, повествование и рассуждение (Нечаева, 1975. С. 3).

ССК бурятских летописей по своей конкретной структуре отличаются от сверхфразовых единств, изучаемых русистами, но они по своему содержанию и языковой организации относятся именно к этому классу явлений. Поэтому, на наш взгляд, их вполне можно рассматривать как функционально-смысловые типы речи, складывающиеся не из одного или двух языковых средств, а являющиеся совокупностью, целостной системой выражения мысли.

По функциональному признаку ССК бурятских летописей принадлежат в основном к повествовательному типу. О. А. Нечаева к повествовательному типу речи относит «сообщения о развивающихся действиях или состояниях, располагающих для реализации своей функции специфическими языковыми средствами» (там же. С. 99).

Например, рассмотрим один ССК из хоринской летописи В. Юмсунова: teyin bayitala: tede yeke degedü ejin imperatur nigedüger ilaγsangdur qaγan ber:

arad amitan-i angqaran öršiyejü: tedeger-iyen eldeb buduγ ba ičirgene ning qalaγun taqul-nud-ača aršilaquyin tulada: 1808 on-du qori-yin medel-ün jon doturača: 19 böged uqaγan ba šidal-tai niγur-nud-i sungγaγulan: tedeger-ün ros emči-ner liikar-nud-un surγaγulin-a abču: abural-tu üker čečeg tariqu-yin tula surγaγad: teden-dur sang-ača salin ögčü: teden-ü alba pobinosti eldeb egeljiyen-nüd-i künggülejü: jon doturača morisud-i unaju saγad-ügei yabuqu-yin uluγan-u jakirultanudi qayiralan: jon-dur yabuγulaju: abural-tu üker-ün čečeg-i čimdaγulan tariγulaγsan-iyar uriduni boluduγ buduγ-a taqul anu joγsoju: arad ber tegün-eče ayuqu-ügei amuraγad: tedeger čečeg tariγčid anu: abural-tu üker čečeg-üd-ün ušinig kemen nerelegdededeg bui: (ЛХБ, 1935. С. 154–155).

Данный фрагмент в переводе Н. Н. Поппе на русский язык звучит следующим образом: «Тем временем его величество государь император Александр I оказал внимание и милосердие к людям и приказал в 1808 году, в целях охранения их от оспы и различных сыпей, горячек и поветрий, выбрать из среды хоринского народа 19 умных и способных лиц и, приняв их в русские лекарские школы, обучать их производству предохранительных прививок коровьей оспы, дать им казенное содержание, освободить их от повинностей и соблюдения всяких казенных нарядов. Он соизволил издать распоряжение насчет подвод на предмет беспрепятственного передвижения их верхом на конях[,] (которые предоставлялись бы им) народом, послал их к народу и приказал производить предохранительные прививки коровьей оспы, благодаря чему прежде появлявшиеся эпидемии оспы приостановились, народ перестал их бояться и получил покой. Что же касается тех, прививающих оспу, то они называются “оспопрививательными учениками”» (ЛХБ, 1940. С. 85).

Этот ССК представляет собой довольно подробное информационное повествование, т. к. в нем сообщается о расчлененных, хронологически последовательных действиях или состояниях одного и того же или нескольких субъектов в данной конкретной обстановке в пределах одной микротемы («Оспопрививание»).

Данный ССК состоит из 4 блоков, в первом подлежащее – ilaγsangdur qaγan, во втором – taqul anu, в третьем – arad ber, в четвертом – čečeg tariγčid anu. Опустив некоторые несущественные второстепенные члены, данный ССК можно трансформировать в ряд самостоятельных предложений, связанных по смыслу: nigedüger ilaγsangdur qaγan ber üker-ün čečeg-i čimdaγulan tariγulabai (tegün-eče) buduγ-a taqul anu joγsobai. arad anu amurabai. tedeger čečeg tariγčid anu ušinig kemen nerelegdededeg bui.

Такая трансформация свидетельствует о том, что инфинитные формы в этих блоках функционируют в роли финитных форм.

Таковыми здесь являются: tariγulaγsan-iyar (прич. прош. вр. в орудн. пад.), joγsoju (соединит. дееприч.), amuraγad (раздел. дееприч.). Следует отметить, что данные формы, функционируя в роли сказуемых, не зависят от конечного сказуемого nerelegdededeg bui.

В отличие от них инфинитные формы внутри этих блоков зависят от субъекта и сказуемого этих блоков. Например, к субъекту ilaγsangdur относятся öršiyejü (соед. деепр.), aršilaqu-yin tulada (буд. прич. в род. п. с предлогом tulada), abču (соед. деепр), surγaγad (разделит. дееприч.), ögčü (соед. деепр), künggülejü (соед. дееприч.), qayiralan (слит. деепр.), yabuγulaju (соед. деепр.). Все они по традиционной терминологии образуют простые деепричастные и причастные обороты. Следует отметить, что сказуемые блоков выполняют функцию связи между блоками.

Все 4 блока, если не иметь в виду тот факт, что их предикаты не являются конечными формами, соответствуют по структуре и содержанию простым предложениям. Если учесть, что 2-й и 3-й блоки производят действия, которые предшествуют результату, представленному в 1-м блоке, то между ними и 1-м блоком можно усмотреть отношение подчиненности, а именно причинно-следственное отношение. Первый, второй, третий блоки условно представляют собой сложную полипредикативную конструкцию, в которой 1-я часть является зависимой, а 2-я, 3-я части – главными.

Конечный предикат этого ССК выражен многократным причастием в форме страдательного залога nerelegdededeg с глагольной связкой bui, являющейся формой причастия настоящего времени вспомогательного глагола bö = «быть».

Данный ССК имеет общий связующий элемент – teyin bayitala «тем временем». Кроме того, в качестве средств когезии выступают формы указательных местоимений: tegün-eče (3-й блок), tedeger (4-й блок).

Этот фрагмент в трансформации на современном бурятском языке выглядит следующим образом: «*Тиин байтар, тэдэ ехэ дээдэ эзэн император нэгэдүгээр Александр хаан арад амитанше анхаран үршөөжэ, тэдэнше элдэб будаа ба эшэргэнэ, нин халуун тахалнуудһаа аршалхын тулада 1808 ондо Хориин мэдэлэй зон соohоо 19 ухаатай ба шадалтай нюурнуудые һунгуулан, тэдэнше ород эмшэ лекарьнүүдэй һургуулида абажа, абаралта “үхэр сэсэг” тарихын тула һургаад, тэдэндэ һангһаа салин үгэжэ, тэдэнэй алба повинность болон элдэб ээлжээнүүдые хүнгэлжэ, зон доторһоо моридые унажа, һаадгүй ябахын улаагай захиралтануудые хайрлан, зондо ябуулжа, абаралта үхэр сэсэгые шамдуулан тарюулһан дээрэһээнь урдань болодог будаа, тахал зогсожо, арад зон тэрээнһээ айхагүй амаржа,*

тэдэ сэсэг таригшадынь абаралта үхэр сэсэгүүдэй ученик гэжэ нэрлэгдэдэг болоһон бэлэй» (БТБ, 1992. С. 82).

Кроме повествований встречаются описания и, реже, рассуждения, а также контаминированные функционально-смысловые типы речи. Для синтаксиса бурятских летописей характерны ССК и такого синтаксического построения: angqan čaγ-tu: burqan-u šašin: baγ-a delgeregsen: blam-a baγši-nar üčeken-eče γadna: nige jarim-ud ber: böge-nerün mörgül-i šitüdeg aγsan-iyar: buyan nigül-ün ilγal-ba nom-un-ču činar medekü-ügei: aburi jang anu qataγu širigün: nasun anu urtu: beye yasun anu tomu: tusburi öber öberün γurim durabar aγačilan yabuqu: qoγordumda-ban obuγ obuγ-iyar buyu: yasu-bar bolun bölüg ayil-nud-iyar qamturan neyilekü: nögüge šidurki: jon-iyar aliba mal-nud bolun: ed tavar-i degermedelge-ber buliyan abqu kiged: nomu somu saγadaγ quyaγ duulγ-a terigüten-i čidaqu činege-ber kičiyenggüyilen: čerig-üd jebseg-üd-i tükiyeren beledkejü tede-iyen aγsaju yabuγad: qoγordumda-ban tonoγul alalčaγan boluduγ bölüge (ЛХБ, 1935. С. 141).

В переводе Н. Н. Поппе данный сложный синтаксический комплекс представлен следующим образом: «В прежнее время религия Будды была слабо распространена, лам и учителей было мало, и так как, кроме того, некоторые исповедовали шаманские верования, они не знали различий между добродетелью и грехами, а также свойств учения. Нравы были жестоки и грубы, жизнь долгой, тело и костяк – большие, каждый вел себя так, как он хотел и как он считал правильным. Объединялись родами, костями или группами юрт. Грабили и отнимали друг у друга разный скот и имущество и, проявляя радение, по мере сил, к лукам, стрелам, колчанам, панцирям, шлемам и прочему, подготовляли войска и оружие. Последние они носили и совершали в своей среде грабежи и убийства» (ЛХБ, 1940. С. 79).

Этот фрагмент представляет собой описательный вид речи, поскольку показывает синхронную картину нравов хоринских бурят XVII–XVIII вв. Он представляет собой экспозицию к подтеме «О нравах хори-бурят».

О. А. Нечаева определяет описание как «функционально-смысловой тип речи, являющейся ее типизированной разновидностью, как образец, модель монологического сообщения в виде перечисления одновременных или постоянных признаков предмета в широком понимании и имеющий для этого определенную языковую структуру» [1974. С. 94]. В то же время в данном ССК имеются и элементы повествования.

ССК состоит из 8 блоков, в 1-м субъект – šašin, во 2-м – blam-a baγši-nar, в 3-м – nige jarim-ud, в 4-м – aburi jang anu, в 5-м – nasun anu, в 6-м – beye yasun anu, в 7-м – субъект опущен, предполагается tedener, в 8-м – также отсутствует, предполагается tedener.

В блоках в качестве сказуемых выступают: 1) delgeregsen (прич. прош. вр.); 2) üčüken-eče (прилагательное в форме исходного падежа с послелогом γadna); 3) medekü-ügei (отриц. форма будущего прич.); 4) qataγu širiγün (парное прил.); 5) urtu (прил.); 6) tomu (прил.); 7) aγačilan yabuqu (аналит. форма будущ. прич., состоящая из слитного деепричастия aγačilan и вспомогательного глагола *яба* (в форме прич. буд. времени)); qamturun neyilekü (аналит. образование будущего прич.), состоит из синонимичных слов, первый компонент – в форме слитного деепр.; buliyan abqu (аналит. форма буд. прич.) состоит из слитного деепр. buliyan и вспомог. гл. abqu; 8) boluduγ bölüge (многократное прич. с глаг. связкой).

Эти сказуемые блоков не зависят от конечного сказуемого последнего звена (qoγordumda-ban tonoγul alalčaγan boluduγ bölüge). Выделенные блоки по структуре и содержанию соответствуют простым предложениям.

В 3-м блоке имеется инфинитное сказуемое šitüdeg aγsan-iyar, подчиняющееся предикату данного блока. Оно выражено сочетанием многократного причастия (šitüdeg) с формой орудного падежа прошедшего причастия (aγsan-iyar) вспомогательного глагола a= «быть».

В 7-м блоке представлены три однородных сказуемых блока, выраженных причастием будущего времени (aγačilan yabuqu, qamturun neyilekü, buliyan abqu).

1, 2 и 3-й блоки грамматически и по смыслу можно объединить в одну сложную полипредикативную конструкцию, связанную посредством скрепы γadna.

8-й блок – моносубъектная простая полипредикативная конструкция с двумя сказуемыми, выраженными соответственно слитным деепричастием (kičiyenggüyilen) и (tükiyeren beledkejü) парный глагол в форме соединительного деепричастия, первый компонент – слитное деепричастие.

Конечное сказуемое данного ССК выражено многократным причастием boluduγ в сочетании с глагольной связкой bölüge, являющейся формой заведомо-прошедшего времени вспомогательного глагола bö= «быть».

Каждый из этих блоков может составить в современном литературном бурятском языке самостоятельное предложение, некоторые из них будут неполными, двусоставными. Но в старомонгольском языке они приобретали окончательный вид только с помощью финитной связки bölüge. Анализируемый ССК в трансформированном виде на современном литературном бурятском языке

выглядит так: «*Анхан сагта бурханай шажан бага дэлгэрһэн; лама багшанар үсөөхэнһөө гадна, нэгэ зариманууд, бөөнэрэй мургэлые шүтэдэг ушарһаа буян нүгэлэй илгал ба номойшье шанар мэдэхэгүй; абари зангынь хатуу шэрүүн, наһанишнь ута, бэе яһаншнь томо; тус бүри өөр өөрын гурим дураар аашалан ябадаг, хоорондоо обог обогоор хамтаран ниилэдэг, өөрынгөө шадархи зонойнгоо алибаа малнууд болон эд товарые дээрмэдэлгээр буляан абадаг ба номо һсмо, һаадаг, хуяг дуулга гэхэ мэтые шадаха шэнээгээр хэшээнгылэн, сэрэг зэбсэгүүдые түхеэрэн бэлэдхэжэ, тэдэнээ агсажа (үлгэжэ, зүүжэ) ябаад, хоорондоо тонуул алалсаан болодог байһан бэлэй*» (БТБ, 1992. С. 75).

Все единство объединено конечными показателями bölüge (совр. *бэлэй*), т. е. его можно присоединить ко всем выделенным звеньям. Иными словами, все части предложения, за исключением последнего звена, характеризуются отсутствием связки bölüge. Таким образом, данный ССК имеет параллельный вид паратаксиса, что характерно для описательного типа речи.

Восьмое и девятое звенья соединены союзом kiged (совр. союз *ба* «и»). Кроме того, компоненты с третьего по девятый объединены эксплицитно не выраженным, но подразумевающимся субъектом «хоринский народ», который также можно присовокупить к каждому из указанных компонентов. В целом следует отметить, что автор летописи придерживается единого плана повествовательно-описательного тона, стремясь придать более достоверный и объективный характер изложению. В повествовании не встречаются авторские отступления, которые могли бы отразить субъективное отношение пишущего к изображаемым эпизодам, а также конструкции с модальными показателями. Лишь в редких рассуждениях можно увидеть авторскую позицию к сообщаемому факту в тексте.

Важно отметить, что единицы языка (лексические, морфологические, синтаксические), функционируя в составе текста, сверхфразовых единств (СФЕ), обретают новые признаки. Например, в монгольских языках имеется своеобразная категория *притяжания*, которая выражает отношения между предметами по их принадлежности в широком смысле слова [Бобровников, 1849. С. 101]. Категорию *притяжания* в XX в. изучали Г. Д. Санжеев, Д. Д. Амоголонов, Ц. Б. Цыдендамбаев, Т. А. Бертагаев, С. Л. Чареков, Ц. Ц. Цыдыпов, Л. Д. Шагдаров, Д. Д. Доржиев и другие. Монголисты выделяют в качестве морфологических средств выражения значения этой категории личное и безличное (возвратное) притяжание. Личное притяжание показывает «принадлежность одного предмета другому», которая выражается с помощью окончаний родительного падежа, в том числе и личными местоимениями в родительном падеже (Санжеев, 1953. С. 96; Амоголонов, 1958. С. 144). Эти местоимения чаще всего представлены “усеченными” формами (-мни, -ни, -мнай, -най, -шни, -тнай; -нь, -ынь, -иинь), которые употребляются постпозитивно после определяемого слова, они пишутся слитно с ним и обычно называются лично-притяжательными частицами. Безличное притяжание показывает принадлежность предмета действующему лицу и передает понятие «свой» (Санжеев, 1953; Амоголонов, 1958).

Монголисты рассматривали употребление категории притяжания не только с именами существительными, но и с именами прилагательными, именами числительными, местоимениями, при присоединении к которым происходит субстантивация этих частей речи.

Аффиксы безличного притяжания не способны самостоятельно указывать на лицо, которому принадлежит предмет. Это значение реализуется лишь при наличии субъекта действия. Как указывает Д. Д. Амоголонов, такое действующее лицо выполняет в предложении функцию подлежащего (1958).

Представители Новосибирской синтаксической школы (Черемисина, Скрибник, 1988. С. 20–27) рассматривают категорию притяжания в единстве с категорией абсолютного и относительного (зависимого) лица. Эти показатели ими квалифицируются как аффиксы личного и субъектного притяжания.

Как отмечено в исследовании Б. Д. Цырендоржиевой (2008 а), в рамках сверхфразовых единств в зависимости от синтаксического контекста морфологические признаки аффиксов притяжания (семы: обозначение принадлежности, субъекта обладания и т. д.) нейтрализуются, и эти показатели становятся мощным средством межфразовой связи, объединяющими составные части СФЕ в единое тематическое, коммуникативное, структурное целое.

Автор приходит к мнению, что частицы притяжания служат средством когезии не только на уровне предложения, но и на уровне СФЕ и в целом текста.

На наш взгляд, все, что сказано выше о признаках текста, в полной мере присуще и бурятским старописьменным текстам. Для того чтобы подтвердить эту мысль, проиллюстрируем ее на примере одного СФЕ из летописи Вандана Юмсунова.

Одним из обязательных признаков текста, как отмечается специалистами, является цельность текста, которая достигается благодаря единой теме и структурному единству. Текст должен быть посвящен какому-то одному предмету (явлению), одной теме. Она обеспечивает смысловое единство текста. А другой его обязательный признак – структурное единство – состоит в том, что все составляющие СФЕ предложения объединены вокруг обозначенной темы.

В качестве примера возьмем отрывок текста, в котором говорится о Чингисхане. В связи с этим

следует сказать, что текст летописи В. Юмсунова подразделен на множество пронумерованных отрывков (параграфов) и в большинстве своем эти отрывки совпадают с СФЕ, выделяемыми нами. Рассказ о Чингисхане (тема данного текста) В. Юмсунова изложен в двух отрывках – в 4-м и 5-м. Приведем этот текст целиком.

4. (1). degere ögülegsen-ber börtü činu-a-yin 11-düki üy-e-yin yisügei baγatur-tur 1162 on-du öngge jisü sayiqan laγsin belges tegülder nigen köbegün törügsen-i temüjin kemen neridbei:(.)[1] (2). egünü degüü-ner anu: tabun köbegün nige ökin bölüge:(.) (3). ene-anu yeke bolju kümüjikü-degen kümün-ü yabudalača ketürkei: (,) oyun bilig-inu qurča:(,) küčün joriγanu yeke aγsan-iyar:(,) bide qori-yin ijaγur-un böged: börtü činu-a-yin-ču ijaγur-un jon ber edüge bayiγsan engdeki biden-ü onong mürin-ü köbege degere čiγulju qamturan kelelčeged:(,) yisügei baγatur-un köbegün temüjin-i öber-ün dumda qaγan kemen ergümjilen:(,) tegün-ü medel-dü degereki ayimaγ-un yisün qošiγun jon qamturaju köke mongγol kemen nerejijü 9 köke mongγol-un degere 1188 on-du qaγan širegen-e jalaju:(,) ene anu čoγtu očir pani-yin qubilγan tngri-eče jayaγ-a-tai γajar-un esrua küčün-ü kürdün-i ergigülegči temüjin cutu boγda činggis qaγan kemen aldaršibai:(.)

5. (4). tere-anu degereki 9 köke mongγol jon-iyan daqaγulan yabuju:(,) kitad töbed terigülen baraγun ba: qoyitu jüg-üd-ün eris-ün 13 qaγan orud-i medel-degen abuγad:(,) ner-e aldar-anu edüge tuqayilabasu:(,) edüge-yin yirtinču-yin ajiy-a yebropu qoyar γajar-tur degurun aldaršiju: tedeger orud-tur yeke erke medeltei boluγsan ajuγu:(.) (ЛХБ, 1935. С. 56–57).

Приведем перевод данного текста в переводе Н. Н. Поппе.

4. «Родившегося у Исугей батура, в 11-м поколении от вышеупомянутого Бурту Чоно, в 1162 году сына, преисполненного телесных признаков и внешностью прекрасного, назвали Тэмуджином. Братьев и сестер моложе его было у него пять юношей и одна девица. Когда он подрос и возмужал, он превысил обычные поступки людские. Ум его был остер, а сила и смелость его велики. Вследствие этого народ нашего хоринского происхождения и ведущий род от Бурту Чоно созвал сборище на берегу нашего нынешнего здешнего Онона, устроил совещание и возвел Тэмуджина, сына Исугей батура, ханом в своей среде. Под его властью объединился народ девяти хошунов вышеупомянутых аймаков и стал называться “синими монголами”. Он был возведен на ханский престол над девятью синими монголами в 1188 году и прославился как Тэмуджин, гениальный богдо Чингисхан, вращающий колесо могущества земного Эсруа, небом предопределенный перерожденец лучезарного Ваджрапани.

5. Он повел за собою свой народ вышеупомянутых девяти синих монголов, подчинил своей власти Китай, Тибет и прочие тринадцать царств героев запада и севера. Слава о нем прогремела примерно повсюду в Азии и Европе нынешнего мира, и он получил большую силу и власть над теми странами» (ЛХБ, 1940. С. 44).

Данный текст состоит из двух частей. В первой части (§ 4 у В. Юмсунова) говорится о рождении Тэмуджина, о его братьях и сестре, о его великолепных личных достоинствах, благодаря которым он был возведен ханом над объединенными им монгольскими племенами. Во второй части (§ 5 у В. Юмсунова) сказано о его внешних завоеваниях и о его всемирной славе.

Текст состоит из одной полипредикативной конструкции, одного простого предложения, одного ССК и одного СФЕ. Первое (полипредикативное) предложение представляет собой зачин текста. В нем говорится о том, у кого родился герой и кто был его предком, какими признаками обладал герой и как его назвали. Средняя часть текста представлена коротким простым предложением о его братьях и сестре и одним ССК, в котором повествуется о том, каким он стал, когда подрос и возмужал, и о том, кто его возвел в ханы и каких монголов он объединил, и кем он прославился. В СФЕ (4) описывается о том, кого он повел за собой и какие страны он покорил. В конечной части текста сказано о том, что Чингисхан получил большую силу и власть в покоренных странах и слава о нем прогремела по всей Евразии.

Как известно, тексты обладают коммуникативной целеустановкой. В литературе этот признак иногда называется «основной мыслью», «идеей», т. е. то, о чем хочет сказать автор в своем тексте. Основная мысль может быть сформулирована в разных частях текста – в зачине, средней части или в концовке. Если она прямо не выражена каким-либо предложением, то может вытекать из общего содержания связного высказывания. В приведенном тексте концептуальная информация состоит в том, что Чингисхан своими деяниями прославился как гениальный полководец. В этом тексте усматривается еще одна, прямо не выраженная целеустановка. Подтекстовая информация состоит в том, что «мы, хоринский народ», участвовали в выдвижении Темуджина в ханы, входили в состав так называемых синих монголов, т. е. в ядро монгольской народности того времени, участвовали во всех его делах.

Кроме того, неотъемлемым признаком любого текста является его связность, которая выражается

[1] Цифры в скобках указывают порядковый номер предложения в составе СФЕ. Чтобы показать, насколько совпадают проставленные в старомонгольском тексте знаки препинания с тем, как принято в бурятском литературном языке, после знака в скобках дается его современный эквивалент.

в связях между словами, предложениями и частями высказывания, проявляется в сцеплении отдельных членов текста между собой. В результате этого сцепления и образуется формально-смысловое единство, именуемое текстом. Наблюдается два типа связи: связь между соседними предложениями (контактная связь) и связь между предложениями, отделенными друг от друга другими предложениями (дистантная связь). При этом одна и та же единица может быть связана с несколькими другими смысловыми единицами различных рангов. В этом случае можно говорить о зонтичной связи смысловой единицы с другими. Между компонентами текста могут наблюдаться логико-семантические отношения: противопоставление, причина, следствие, вывод. Связь может быть эксплицитной (открыто выраженной, маркированной) и имплицитной (невыраженной, подразумеваемой).

В предикативной конструкции (1) первый предикативный узел (nigen köbegün törügsen-i) «родившегося ... сына» выражен причастием прошедшего времени в винительном падеже и отнесен к финитному сказуемому neridbei «назвали». Предикативная конструкция (1) связывается со вторым предложением (2) посредством указательного местоимения ene «этот» в родительном падеже – egün-ü «этого». Эти конструкции связаны единым планом прошедшего времени сказуемых neridbei «назвали» и bölüge (форма заведомо-прошедшего времени вспомогательного глагола bö «быть»).

Следующий ССК начинается местоимением ene в сопровождении притяжательной частицы 3-го лица *inu*. Это сочетание связывает данный комплекс с первым предложением, т. е. в этом случае, в отличие от предыдущих случаев, имеет место дистантная связь.

Этот ССК состоит из 10 предикативных единиц, которые связываются между собой различными способами. Данный ССК подразделяется на несколько цепочек предложений или структурно-смысловых блоков, связывающихся между собой конечными элементами. Первый блок: ene anu yeke bolju kümüjikü-degen (1) kümün-ü yabudal-ača ketürkei (2) oyun bilig-inu qurča (3) küčün joriγ-anu yeke (4) aγsan-iyar состоит из 4 предикативных единиц, соединяется со следующей предикативной единицей вспомогательным глаголом a= «быть» в форме причастия прошедшего времени в орудном падеже – *aγsan-iyar*, приобретающего причинное значение. Форма *aγsan-iyar* в указанном значении довольно часто встречается в бурятских летописях в связующей функции.

В рассматриваемом блоке первая предикативная единица соединяется со следующим предложением при помощи причастия будущего времени с частицей безличного притяжания: ene anu yeke bolju kümüjikü-degen «когда он подрос и возмужал». В свою очередь, эта единица соединяется посредством однородных именных предикатов, выраженных именами прилагательными, а также параллельным строением именных предложений: kümün-ü yabudal-ača ketürkei, oyun bilig-inu qurča, küčün joriγ-anu yeke «он превысил обычные поступки людские. Ум его был остер, а сила и смелость его велики».

Последний блок данного ССК, состоящий из предикативных единиц, соединен с именными предложениями, как отмечалось, посредством формы *aγsan-iyar*, которая переведена причинным союзом «вследствие»: (küčün joriγ anu yeke aγsan-iyar) bide qori-yin ijaγur-un böged: börtu činu-a-yin-ču ijaγur-un jon ber edüge bayiγsan engdeki biden-ü onong müren-ü köbege degere čiγulju qamturan kelelčeged: (1), yisügei baγatur-un köbegün temüjin-i öber-ün dumda qaγan kemen ergümjilen: (2), tegün-ü medel-dü degereki ayimaγ-un yisun qošiγun jon qamturaju (3) köke mongγol kemen nerejijü (4) 9 köke mongγol-un degere 1188 on-du qaγan širegen-e jalaju: (5), ene-anu čoγtu očir pani-yin qubilγan tngri-eče jayaγ-a-tai γajar-un esrua küčün-ü kürdün-i ergigülegči temüjin cutu boγda činggis qaγan kemen aldaršibai: (6). – «Вследствие этого народ нашего хоринского происхождения и ведущий род от Бурту Чоно созвал сборище на берегу нашего нынешнего здешнего Онона, устроил совещание и возвел Тэмуджина, сына Исугей батура, ханом в своей среде. Под его властью объединился народ девяти хошунов вышеупомянутых аймаков и стал называться “синими монголами”. Он был возведен на ханский престол над девятью синими монголами в 1188 году и прославился как Тэмуджин, гениальный богдо Чингисхан, вращающий колесо могущества земного Эсруа, небом предопределенный перерожденец лучезарного Ваджрапани».

Последнее СФЕ, состоящее из 4 предикативных единиц, соединено с предыдущим ССК контактной связью указательным местоимением с показателем *anu – tere anu*. Предикаты внутри СФЕ выражены соединительным и разделительным деепричастиями, а финитное сказуемое – парным существительным со связками boluγsan, ajuγu, в котором boluγsan – форма причастия прошедшего времени от связки *bol-*.

ССК, в котором говорится о провозглашении Тэмуджина императором, и последнее СФЕ о его победах и всемирной славе изложен высоким стилем, в связи с чем в нем использованы архаичные слова и грамматические элементы, чуждые разговорному бурятскому языку: köbege «берег», ergümjilen «возвел (ханом)», köke mongγol «синие монголы», čoγtu «лучезарный», kürdün «колесо», cutu «гениальный», terigülen «прочие», eris-ün «героев».

Кроме того, в этой части текста, посвященном Чингисхану, встречаются архаичные формы мно-

жественного числа: orud-i (ср. лит. бур. *оронуудые*) «царств», orud-tur «в странах» (ср. лит. бур. *оронуудта*).

Следующим признаком текста является законченность, которая в этом тексте выражена единой формой прошедшего времени на – *bai*: neridbei «назвали», aldaršibai «прославился», а также другими формами прошедшего времени: bölüge «было», boluγsan ajuγu «получил». Данные формы прошедшего времени в этом тексте также выполняют функцию объединения СФЕ в единое целое. Завершенность текста показывает форма прошедшего времени *ajuγu* от вспомогательного глагола *a=*.

Таким образом, изучение текстовой организации бурятских летописей показало, что частицы притяжания служат средством *когезии* не только на уровне предложения, но и на уровне СФЕ, а также на более протяженных отрезках текста:

на уровне предложения – связывают слова в предложении;

на уровне СФЕ – создают как контактную, так и дистантную связь между предложениями в СФЕ;

на уровне более протяженного, чем СФЕ, текста (например, между главами летописи) – обеспечивают связь между разделами исторического текста.

Анализ построения старомонгольских текстов бурятских летописей показал, что тексты имеют довольно развитую систему авторской сегментации текста: подтемы вынесены в главы, в каждой главе выделены субподтемы, сегментированные маркированными абзацами и графическим знаком (qoyar čeg). Каждый абзац, в большинстве случаев, совпадает с границами сложного синтаксического комплекса (ССК). Сложные синтаксические комплексы (ССК), являющиеся основным смысловым и структурным элементом текстов бурятских летописей, представляют собой полипредикативные конструкции с зависимыми предикативными единицами и монофинитным механизмом построения.

Исследования старописьменных текстов с позиции лингвистики текста кроме теоретической значимости имеют и прикладную ценность. Результаты подобных исследований могут быть использованы при обучении чтению, пониманию и переводу старописьменных монгольских текстов.

Список литературы

Амоголонов Д. Д. Современный бурятский язык: учеб. для высших учебных заведений. Улан-Удэ: Бурмонгиз, 1958. 337 с.

Бадмаева Л. Б. Язык бурятских летописей. Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2005. 215 с.

Бадмаева Л. Б., Шагдаров Л. Д. Особенности текстовой организации бурятских летописных текстов // Языки и письменные источники монгольских народов. Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2010. С. 99–106.

Бобровников А. А. Грамматика монгольско-калмыцкого языка. Казань, 1849. 403 с.

Ван Дейк Т. А., Кинч В. Стратегии понимания связного текста // Новое в зарубежной лингвистике. М.: Прогресс, 1988. С. 153–211.

Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического исследования. М.: Наука, 1981. 139 с.

Гиндин С. И. Советская лингвистика текста // Некоторые проблемы и результаты (1948–1975) // Известия АН СССР. Сер. литературы и языка. 1977. Т. 36. № 4. С. 348–361.

Летописи хоринских бурят. Вып. 1. Хроники Тугултур Тобоева и Вандана Юмсунова // Тр. Института востоковедения. Текст издал Н. Н. Поппе. Т. IX. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1935 (ЛХБ, 1935).

Летописи хоринских бурят. Хроники Тугултур Тобоева и Вандана Юмсунова / пер. Н. Н. Поппе // Тр. Института востоковедения. Т. XXXIII. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1940. 106 с. (ЛХБ, 1940).

Левицкий Ю. А. Лингвистика текста. М., 2006. 208 с.

Москальская О. И. Грамматика текста. М.: Наука, 1981. 183 с.

Мыркин В. Я. Текст, подтекст и контекст // Вопросы языкознания. 1976. № 2. С. 86–93.

Николаева Т. М. Лингвистика текста и проблемы общей лингвистики // Известия АН СССР. Сер. литературы и языка. 1977. Т. 36. № 4. С. 304–313.

Новиков А. И. Семантика текста и ее формализация. М.: Наука, 1983. 215 с.

Санжеев Г. Д. Сравнительная грамматика монгольских языков. М.: Изд-во АН СССР, 1953. 237 с.

Цырендоржиева Б. Д. Особенности структурной организации сверхфразового единства в современном бурятском языке // Вестник Бурятского университета. Вып. 10. Улан-Удэ: Изд-во БГУ, 2008. С. 9–21.

Цырендоржиева Б. Д. Межфразовые связи в современном бурятском языке (на материале категории личного притяжания). Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Улан-Удэ, 2008 а. 22 с.

Черемисина М. И., Скрибник Е. К. Опыт формального описания причастно-послеложных конструкций // Подчинение в полипредикативных конструкциях. Новосибирск, 1980.

Черняховская Л. А. Смысловая структура текста и ее единицы // Вопросы языкознания. 1983. № 6. С. 117–126.

Шагдаров Л. Д. Функционально-стилистическая дифференциация бурятского литературного языка. Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 1974. 345 с.

Буряадай түүхэ бэшэгүүд / сост. Ш. Б. Чимитдоржиев. Улан-Удэ, 1992. 240 с. (БТБ).

Цыдыпов Ц. Ц. Буряад хэлэнэй синтаксис. Улан-Удэ, 1985. 174 с.

Шагдаров Л. Д. Буряад хэлэн (синтаксис). Улан-Удэ, 1986. 192 с.

А. М. Певнов, А. Ю. Урманчиева

О НОВЫХ МАТЕРИАЛАХ ПО ТАЙМЫРСКОЙ «ГОВОРКЕ» И ПО ОРОКСКОМУ ЯЗЫКУ[1]

План работы над проектом «Последние фольклорные записи на языках четырех самых малочисленных народов Сибири и Дальнего Востока» пришлось корректировать уже в конце 2009 г. (весь проект был рассчитан на три года: 2009, 2010, 2011). Дело в том, что собранных и полученных в 2009 г. материалов по фольклору энцев и ороков (у́ильта[2]) оказалось так много, что на их обработку и хотя бы частичную подготовку к изданию требовалось значительно больше времени, чем мы предполагали. Оценив наши возможности, мы решили основное внимание в 2010 и 2011 гг. уделить работе с последними фольклорными записями на орокском[3] и энецком[4] языках, а также на еще одном (на «говорке»), ставшем предметом нашего пристального внимания во время экспедиции на Таймыр в августе 2009 г., речь о нем будет идти дальше. Что касается негидальского и орочского фольклора, то в данном проекте мы вынуждены ограничиться выявлением корпуса текстов, работа с которыми планируется на более поздний срок, в рамках уже иного проекта.

Новые материалы по таймырскому пиджину (говорке)

В августе 2009 г. А. М. Певнов (Институт лингвистических исследований РАН, Санкт-Петербург) и А. Ю. Урманчиева (Институт языкознания РАН, Москва) – оба участники данного проекта – работали на Таймыре в г. Дудинке с ныне наиболее компетентным в традиционной культуре энцев восьмидесятипятилетним знатоком энецкого и нганасанского языков Курума́ку Федоровичем Туглаковым.

Результаты этой поездки превзошли наши ожидания: мы интенсивно работали каждый день в течение трех недель с нашим единственным информантом и записали большое количество фольклорных текстов на энецком языке, в целом получилось примерно 22 часа записи на диктофон (кроме того, исполнение всех этих фольклорных произведений мы снимали видеокамерой).

Сенсационной неожиданностью стало то, что Курумаку Федорович стал переводить все эти тексты на «говорку» – грамматически существенно редуцированный язык на русской лексической основе (пиджин), который некогда служил средством межнационального общения на Таймыре. Первым кратко описал этот «независимый лингвистический феномен» Е. А. Хелимский (Хелимский, 2000. С. 378–395).

Нам необычайно повезло, мы записали на диктофон в качестве переводов с энецкого очень много текстов (в целом также около 22 часов) на говорке (правда, иногда рассказчик допускал так называемое смешение кодов: русский язык + говорка).

Приведем примеры на говорке (таймырском пиджине):

Там ***меня*** *саманить буду* ‘Там я шаманить буду’ (редукция гласных здесь не передается; например, вместо *бада* ‘вода’ написано *бода*, вместо *андатр* ‘ондатра’ – *ондатр*); *Я* ***тебя*** *подарку дам* ‘Я тебе подарок дам (я тебе подарю)’ (Не «меня тебя...», а «я тебя...»); ***Меня*** *сторона бетер идет* ‘Ко мне ветер идет; в мою сторону ветер дует’; *Не забывайте* ***меня*** *слово!* ‘Не забывайте мои слова!’; ***Меня*** *игра день севодня* ‘Сегодня день моей игры (сегодня я буду играть)’; ***тебя*** *ребята* ‘твои дети’.

Упал прямо дорога ***место*** ‘Упал прямо на дорогу’ (служебное слово *место* заменяет в говорке все падежи, кроме винительного и родительного, а также некоторые предлоги в сочетании с падежами); *Меня* ***место*** *он сутит* ‘Он шутит надо мной’; *Усол бода* ***место*** ‘Ушла за водой (старушка)’; *Осеро край* ***место*** *дошли* ‘Дошли до берега озера’; *Коробка улетел рука* ***место*** ‘Коробка улетела из рук’; *Молоток* ***место*** *ударил* ‘Молотком ударил’; *Нос* ***место*** *нюхает* ‘Носом нюхает’; *Хобо́ст* ***место*** *поймал* ‘За хвост поймал (парень щуку)’; *Характер-то другой тал* (стал) *первый* ***место*** ‘Характер другой стал в сравнении с прежним’; *Там сумит свой голос* ***место*** ‘Там кричит своим голосом’; *энцы говорка* ***место*** ‘на энецком языке’; *Тут беремя* ***место***... ‘В это время...’; *дикай плавать* ***время*** ‘когда плавают (через реку) дикие олени’ (слово *время* выступает здесь как служебное и функционально напоминает служебное слово *место*).

Бода ***нис*** ‘под водой’ (в этом примере, как и в следующем, вместо предлога мы видим послелог); *чум* ***за́ди*** (*са́ди*?) ‘за чумом’; *тян****ил*** ‘тянул’; *унес****ил*** ‘унес’.

Приведем еще примеры, иллюстрирующие фонетическое, грамматическое, лексическое и даже фразеологическое (*Опять так плюнул нос*) своеобразие говорки:

Селый день огонь не топил ‘Целый день не разводил огонь’; *Опять так плюнул нос* ‘Опять так сморкнулся’; *Не чесняй!* ‘Не стесняйся!’; *сильно не тарýха* ‘не очень старая’; *силéза чум* ‘железный чум’; *один ребята* ‘один ребенок’; *один люди* ‘один человек’; *ребята потерял* ‘детей потерял’; *бóлко* ‘волк’; *сугрок* ‘сугроб’; *погудóк* ‘поводок’; *река голова* ‘исток реки’; *река горло* ‘устье реки’; *туркучан* (< эвенк.) ‘нарты’; *сурóко* (< ?) ‘деревянная длинная посуда’; *Какой-то аланга* (< эвенк.) *стоит, два пуля-то* (есть) ‘Какой-то лук стоит, две стрелы (есть)’; *Уголь песок тал* (стал) ‘Угольной пылью стал’; *Тяй поели* ‘Чаю попили’; *Болеет рука* ‘Болит рука’; *Я даром отец-то...* ‘Я хоть и отец... ’; *Ондатр – бода миська* ‘Ондатра – водяная мышь’; *Они самерс* ‘Они замерзли’; *один летовáть земля* ‘одна земля, на которой проводят лето («летýют»)’; *нога-то совсем длинный конь* ‘конь с очень длинными ногами’; *куда усли куда усли* ‘неизвестно, куда ушли’; *Никто убить не будет* ‘Никто не убьет’; *Мы будем пойти* ‘Мы пойдем’; *День-то только буходит* ‘Солнце только восходит’[5]; *совсем больсой гора* ‘очень большая гора’; *Такой депка бýсел* ‘Такая девушка вышла’; *Бек* (< русск. *век*) *меня помогал* ‘Всегда мне помогал’; *Пать* (спать) *охота*, *бек* (долго) *не пал* (не спал) ‘Спать хочется, долго не спал’; *... тобы меня помогал его* ‘... чтобы (?) я помогал ему’; *Пускай буходи!* ‘Выходи!’; *Пускай спи*! ‘Спи!’; *Обратно бернул* ‘Обратно вернулся’; *Депка-то догадал* ‘Девушка догадалась’; *Куда я прячу?* ‘Куда я спрячусь?’; *Не серди!* ‘Не сердись!’; *Даже люди дорога не бидать* ‘Даже следов людей не видно’.

Как видим, говорка сравнительно мало изменила русский глагол, однако имя существительное было в ней «переформатировано» кардинальным образом: оно утратило все (или почти все) формы. Интересно, что в смешанных языках (например, в медновском) именная морфология тяготеет к одному языку-предку (в медновском к алеутскому), а глагольная – к другому (в медновском к русскому) (Головко, 1997. С. 120, 122).

В 2010 г. участником проекта А. Ю. Урманчиевой была продолжена работа с материалами по говорке: ею была расшифрована часть записанных нами в 2009 г. текстов (4 часа звучания). Полученный материал позволил осуществить более детальный лингвистический анализ этого языка.

Имеющиеся описания говорки (Хелимский, 2000), (Stern, 2005) построены по принципу сравнения говорки со «стандартным русским языком». Такой подход позволяет наглядно продемонстрировать все лингвистическое своеобразие говорки и с несомненностью доказывает, что мы имеем дело с оригинальным языковым образованием, а не с «коверканьем» русского языка. Однако говорка, как контактный язык, включает в себя собственно русский компонент, ставший ее материальной основой. Этот русский компонент был определенным образом преобразован под влиянием какого-то одного (или нескольких) аборигенных языков Таймыра, который послужил, образно говоря, «структурным лекалом», сформировавшим основные грамматические конструкции говорки. Можно ли указать конкретный аборигенный язык, внесший вклад в формирование оригинальных, «нерусских» грамматических конструкций говорки?

Если принять гипотезу о формировании говорки в XVIII–XIX вв. в южной части Таймыра, то на роль аборигенного языка, внесшего «грамматический вклад» в говорку, могут претендовать 1) якутский, а несколько позже – долганский; 2) самодийские языки – нганасанский, энецкий, а также начиная со второй половины XIX в. ненецкий; 3) эвенкийский [ср.: «некоторые черты говорки могут быть правдоподобно объяснены тунгусским субстратом» (Хелимский, 2000. С. 380)].

Рассмотрим падежную систему говорки с точки зрения того, насколько выражаемые в ней грамматические значения характерны для аборигенных языков данного региона.

<table>
<tr><th rowspan="2">Падежные функции</th><th colspan="4">Языки</th></tr>
<tr><th>эвенкийский</th><th>долганский</th><th>энецкий</th><th>говорка</th></tr>
<tr><td>номинативная</td><td>именительный</td><td>именительный</td><td>номинатив</td><td rowspan="3">Ø</td></tr>
<tr><td>аккузативная</td><td>винительный</td><td>винительный</td><td>аккузатив</td></tr>
<tr><td>генитивная</td><td>изафетная конструкция</td><td>изафетная конструкция</td><td>генитив</td></tr>
<tr><td>пролативная</td><td>продольный</td><td rowspan="2">творительный</td><td>пролатив</td><td rowspan="4">место</td></tr>
<tr><td>инструментальная</td><td>творительный</td><td rowspan="2">локатив</td></tr>
<tr><td>локативная</td><td rowspan="2">дательно-местный</td><td rowspan="3">дательный</td></tr>
<tr><td>дативная</td><td rowspan="2">латив</td></tr>
<tr><td>контактно-лативная</td><td>местный</td></tr>
<tr><td>бесконтактно-лативная (директивная)</td><td>направительный</td><td>квазипадежная форма с частицей дэк ~ дэт</td><td>послелог по-</td><td>(с)торона</td></tr>
<tr><td>контактно-элативная</td><td>отложительный</td><td rowspan="2">исходный</td><td>элатив</td><td>место</td></tr>
<tr><td>бесконтактно-элативная</td><td>исходный</td><td>послелог по-</td><td>(с)торона</td></tr>
<tr><td>комитативная</td><td>совместный</td><td>выражается послелогом</td><td>послелог пе-</td><td>месте</td></tr>
</table>

Что можно сказать в целом о сложившемся в говорке функциональном аналоге падежной системы? Очевидно, он не является «калькой» ни северно-самодийской, ни эвенкийской, ни долганской падежной систем. Мы имеем дело с несомненным случаем пиджинизации. А именно, функциональные аналоги падежных форм в говорке сведены к четырем: синтаксические функции номинатива, аккузатива и генитива кодирует абсолютная форма существительного, все остальные падежные функции передают конструкции с послелогами *место, (с)торона* и *месте*. Очевидно, что такая «квазипадежная» система является оригинальной чертой говорки, возникшей в результате пиджинизации. Однако в том, как распределены падежные значения в сфере послеложных конструкций говорки, можно усмотреть, прежде всего, влияние северно-самодийской падежной системы:

– функции послелога *место* в говорке передают значения самодийских пространственных падежей, – и только их;

– значения бесконтактных пространственных падежей в энецком передаются послелогом *по-*, в говорке – послелогом *(с)торона*;

– комитативное значение передает в энецком послелог *пе-*, в говорке – послелог *месте*.

Если мы посмотрим на приведенную выше таблицу, то окажется, что противопоставления в «падежной» системе говорки в наибольшей степени соответствуют противопоставлениям внутри северно-самодийской (а не эвенкийской или долганской) падежной системы.

Конструкции со значением сравнения (‘как’)

В наших записях говорки представлено два послелога, передающих значение сравнения: послелог *меря* (< русск.) передает количественное сравнение, послелог *токобада* (этимология его нам неизвестна) передает качественное сравнение. Оба этих послелога могут употребляться не только в сочетании с именами, они могут присоединяться также к различным глагольным формам (см. примеры ниже). Только первый из этих послелогов упомянут в (Хелимский, 2000), причем в форме *мера* и только в значении количественного сравнения. В записанных нами текстах функции этого послелога более разнообразны: (1) количественное сравнение, (2) приблизительное количество, а в сочетании с инфинитивом – (3) обозначение внутренней возможности (ability) субъекта совершить данное действие:

(1) *Сапсем* ***дом меря*** *или* ***болок меря*** *такой камень* (*с*)*тал* ‘Прямо размером с дом или с болок[6] камень появился’; ***Люди выходить меря*** *дыра* ‘Такая дыра, что человек может через нее выйти’; ***Сила меря*** *два мешка мясо положил* ‘В два мешка себе по силам мясо положили’.

(2) ***Двадцать меря*** *чум видали* ‘Примерно двадцать чумов увидели’; *Аргис-то много,* ***тридцать меря олень*** ‘Аргишей-то много, около тридцати оленей’.

(3) *Так-то большой* ***че-то делать меря*** ‘В общем-то уже взрослый настолько, что может что-то делать’.

В северно-самодийских языках есть точный функциональный эквивалент многозначного слова *меря*, ср. энецкое слово *piro* ‘высота’: им выражается и значение количественного сравнения, и значение приблизительного количества, в сочетании же с отглагольным именем слово *piro* обозначает внутреннюю возможность.

Далее приводятся примеры сравнительной конструкции со словом *токобада*:

Мячик токобада *катился там* ‘Как мячик катился там’; ***Меня токобада*** *пускай придет* ‘Как я пускай придет’; *Бода-то тут* ***кипит токобада*** ‘Вода словно кипит’; ***Рубить токобада*** *один раз так бросил* ‘Один раз <топор> воткнул <в таком положении,> как рубят’; *Такой че-та тут* ***дрова таскать токобада*** ‘Кто-то непонятный, словно ветки на себе носит <описание рогатого оленя>’; ***Меня че делал тут токобада*** *твой сын пускай придет меня дорога место* ‘Вот как я делал, таким же образом пускай твой сын придет по моим следам’; *Дом близко тут какой-то дрова место так* ***положенный токобада люди положил токобада*** *маленький топор тут зелезный уручка* ‘Возле дома на каком-то бревне, как положенный, как будто человек его положил, маленький топор с железной ручкой’.

Ниже приводится фрагмент текста на говорке. Напомним, что тексты на говорке были записаны от Курумаку Федоровича Туглакова, 1924 г. рождения (мать Курумаку Федоровича – нганасанка, отец – энец, Курумаку Федорович владеет языками обоих родителей, но большую часть жизни он прожил среди нганасан, поэтому по-нганасански изъясняется более свободно). Мы записывали от Курумаку Федоровича фольклорные тексты на энецком языке. Курумаку Федорович пересказывал нам по-энецки тексты, услышанные им от отца-энца по-энецки, а также известные ему нганасанские и долганские фольклорные произведения, первые были им услышаны по-нганасански, вторые – вероятно, на говорке. Тексты на говорке были нами записаны от него в качестве переводов рассказанных им по-энецки фольклорных произведений.

Приведем фрагмент текста, записанного нами на диктофон от Курумаку Федоровича Туглакова 7 августа 2009 года в г. Дудинке Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края. Расшифровала текст и перевела его на русский язык А. Ю. Урманчиева.

«Меня токобаða пускай придет. Хоросэнько меня мотри», – говорит.

Сапсем ясной погода, сапсем. Теперя тут каслять начинал. Прямо через озеро плюнул. Агонь-та есть эта камень бывает тут такой. Белый камень стал сапсем. Сапсем дом меря или болок меря или как – эта такой, такой камень стал.

«Меня че делал, тут токобаða твой сын пускай придет меня дорога места».

Тут луку бытащил нога места, так тут мяса-та се резал, так, потом тут места два пуля тут. Тут-та целил прямо камень места. Тут камень-та пополам колол. Так де прям открытай. Ну серабно бидит такой сильна не таруха.

«Меня дорога место пусть придет че делал пускай так будет делать».

Тут... biðo nion to... бода берху тут бегом ушел. Сопсем не тонет даже маленько. Пар только бидна, бегом ушел. Тут дыра места не бидна там камень середина места куда упал.

«Ооо, – таруха пугался, – меня наберна глаза такой стал или че ли. Дабай не буду говорить сына. Че он умрет куда он какой дорога у нево эта, бада. Он утонет, че буду говорить, я не скажу».

Теперя тут домой дошел. Ну копсик места бода черпал таруха. Тут теперя сын места дабал. Тут сын-та брал. Бода-то тут копсик-то губы близко положил. Дазе бода не пил.

«Оо, бабуска, какой тобарищ тебя насол, кем разговаривал? Бода-то дбоем кем-то аразговаривал ты».

«Ооо, ниче не насел, какой вода...»

Чево-та тихонько одел прямо. Бабка не успел поймать эта. Он озеро край место бегал, озеро край дошел. Потом касель-то чево-то упал такой. Так же белой камень стал прямо тот камень рядом который ушел. Нозик какой-та есть, наберна, маленький нозик. Нога-то так колол нога потом нога место так резал. Алаŋас, алаŋас бывает игруска лук. Два пуля зелезный ли че ли. Те трелял, тот камень-та середина место колол. Тот парень-то бегом бабуска теперь место бысел. Это бремя уже там озеро край место бегал далеко усел. Тут место теперь упал. Это камень который дыра место, нога вперед бывает, голова вперед.

Мячик токобаða катился там. Какой-то земля дыра попал. Ооо, там упал. Маленько синяк есть земля.

Тут канава место мотрел – «ооу, куда я упал теперь? Тобарись куда усол? Туда мозет, дорога-то есть, может недалеко тут какой-то маленький место-то синяк место бидно. Человек как будто тут – синяк черный дорога-то тут, сразу видать – бегом ушел».

Оо, только тут дорога место он парень-то бегал.

«Ээй, дорога место какой-то черный лежит. Эээ, другая лебой стороны рука-то лопатами се резал оказывает тут-то бросал дорога место, поперек дорога».

Ээй, тот место дошел, нозик тозе вытащил. Эээ рука-то тозе лебой урука-то тут резал се лопатами так бро... Товарись рука рядом там бросил рука, лебой рука. Теперя дальсе одна эта одна рука места теперь бегал.

Перевод

«Как я, пускай придет. Хорошенько на меня смотри», – говорит.

Совсем ясная погода, совсем. Потом кашлять начал. Прямо через озеро плюнул. Кремень – есть такой камень, бывает такой. Совсем белый камень появился. Прямо размером с дом или с болок, ну или как – такой, такой камень появился.

«Что я делал, подобно этому твой сын пускай придет по моим следам».

Тут лук вытащил из ноги, так тут мышцы все разрезал, так, потом оттуда две стрелы <достал>... Потом прицелился прямо в камень. Тут камень пополам расколол. Так, где прямо открытый <был>...

Ну, все равно она <все это> видит, не очень она старая.

«По моим следам пускай придет, что <я> делал, пускай <он> так же будет делать».

Тут... по воде... по воде убежал. Совсем не тонет, даже немножко. Пар только видно, бегом ушел. Через дыру не видно, там, в середине камня, куда упал.

«Ооо, – старуха испугалась, – мне, наверное, померещилось, или что-то подобное приключилось. Давай-ка я не буду рассказывать об этом сыну. Зачем ему умирать, куда ему, какая дорога у него <= у этого человека>, вода. Он утонет, зачем я буду говорить, я не скажу».

Потом домой пришла. Ну, ковшиком воды зачерпнула старуха. Потом сыну дала. Сын взял. К воде, к ковшику губы приблизил. Даже воды не пил.

«Оо, бабушка, какой человек с тобой повстречался, с кем ты разговаривала? В воде-то <видно, что> вдвоем с кем-то ты разговаривала».

«Ооо, никого я не встретила, какая такая вода...»

Что-то тихонько <он> надел. Бабка не успела схватить его. Он к озеру побежал, до озера дошел. Потом кашель на него вдруг напал. Так же белый камень появился прямо рядом с тем камнем, через который <тот человек> ушел. Ножик какой-то <у него> есть, наверное, маленький ножик. В ногу-то вот так <показывает> воткнул, потом ногу так разрезал. Алангас, алангас бывает, игрушечный лук. Две железных стрелы, кажется. Выстрелил ими, тот

камень посередине расколол. За тем парнем бабушка бегом прибежала. Он в то время уже по краю озера бежал, далеко ушел. Туда упал, в дыру, которая в камне, то ногами вперед, то головой вперед (катится). Как мячик катился там. В какую-то дыру в земле попал. Ооо, упал туда. Немного снега есть на земле.

Тогда в канаву посмотрел – «ооу, куда это я упал? Товарищ мой куда ушел? Может быть, туда, след-то есть, может, недалеко <ушел>, тут на небольшое расстояние на снегу видно.

Как будто человек тут – на снегу следы-то чернеют, сразу видно – бегом ушел».

Оо, сразу по этому следу парень побежал.

«Ээй, на дороге что-то черное лежит. Эээ, левую руку с костями напрочь отрезал, оказывается, бросил тут, на дороге, поперек дороги».

Ээй, до того места дошел, ножик тоже вытащил. Эээ, руку тоже, левую руку отрезал целиком с костями, так бро<сил>... Рядом с <отрезанной> рукой товарища бросил руку, левую руку. Дальше с одной рукой побежал.

Новые материалы по орокскому языку

В первой половине 2009 г. Т. Ю. Сем по нашей инициативе передала Институту лингвистических исследований РАН большое количество фольклорных записей на орокском языке, сделанных Л. И. Сем (мамой Татьяны Юрьевны) на Сахалине, вероятно, в 80-е гг.; все тексты переведены на русский язык (154 рукописные страницы текстов на орокском, 165 страниц перевода).

Несколько ранее Л. В. Озолиня (Институт филологии СО РАН) прислала нам для публикации значительное количество орокских фольклорных текстов, записанных в 1949 г. К. А. Новиковой на Сахалине (эти материалы в настоящее время принадлежат Институту филологии СО РАН). Объем этих текстов с переводом на русский язык составляет примерно 6,5 а. л. Надо сказать, что тексты К. А. Новиковой готовы к изданию: Л. В. Озолиня проделала большую работу – набрала их на компьютере вместе с переводом.

В октябре 2009 г. А. М. Певнов был в экспедиции на Сахалине, пригласил его Центр по сохранению и развитию традиционной культуры коренных малочисленных народов Сахалина «Кыхкых» («Лебедь»), который находится в селе Некрасовка на северо-западе острова. В течение 12 дней в селе Вал Ногликского района мы с И. Я. Федяевой (Л. И. Сем немало работала с ее мамой) занимались проверкой орокских текстов, записанных Л. И. Сем. К сожалению, как правило, неясно, от кого, где и когда эти тексты были записаны; возможно, это удастся установить в будущем, прослушивая соответствующие магнитозаписи.

В 2009 г. в селе Вал Ногликского района Сахалинской области на орокском языке способны были говорить лишь несколько человек[7]: Э. А. Кириллова (1942 г. р.), Л. Н. Конусова (1949 г. р.), И. Г. Курушина (1939 г. р.), В. А. Михеев (1956 г. р.), И. Н. Михеев (1967 г. р.; временно живет в Южно-Сахалинске), И. Я. Федяева (1940 г. р.). В меньшей степени знают орокский язык еще примерно 15 человек (из них бóльшая часть занимается оленеводством, при этом семьи их живут осенью, зимой и весной в с. Вал). В районном центре Ногliки знает орокский язык Е. А. Бибикова (1940 г. р.). Приблизительно 10–15 человек лучше или хуже знают орокский язык (южный его диалект) в г. Поронайске Сахалинской области [это, в частности, Л. Х. (Сюрюко) Минато (1943 г. р.) и Л. Р. Китазима (1945 г. р.)].

Таким образом, в 2009 г. орокский язык в той или иной мере знали от 30 до 40 человек. Согласно переписи населения 2002 г., ороков насчитывалось 346 человек; возможно, в действительности эта цифра несколько меньше, И. Я. Федяева предполагает, что ороков на самом деле от 250 до 300.

Орокский язык привлекал и продолжает привлекать внимание как отечественных специалистов (Т. И. Петрова, К. А. Новикова, Л. И. Сем, И. В. Недялков, В. Ю. Гусев, М. М. Брыкина, С. Ю. Толдова, А. М. Певнов), так и японских (А. Наканомэ, Дз. Икэгами, Х. Магата, Т. Хаята, Т. Цумагари, Е. Ямада).

Тем не менее орокский язык остается явно недостаточно изученным (то же самое можно сказать и об орокском фольклоре). Язык этот представляет большой интерес для науки, особенно в историческом плане, в нем произошли существенные изменения как в результате контактов, так и вследствие внутренних причин.

Орокский язык относится к числу подверженных угрозе исчезновения в первую очередь потому, что он не переориентировался на обслуживание иной, современной культуры.

Что касается традиционной культуры ороков, то можно привести один поразительный пример. Во время беседы с И. Я. Федяевой – в прошлом учителем начальных классов, человеком, сознательно и целеустремленно поддерживающим существование своего родного, как она его называет, уилтинского языка (Ирина Яковлевна усвоила его от своей мамы, папа ее был русский), – совершенно неожиданно выяснилось, что еще на ее памяти ороки иногда добывали огонь трением: в палочке вырезали желобок и другой палочкой старательно водили по нему до тех пор, пока от трения обе они не нагревались настолько, что воспламенялся находившийся тут же сухой мох. Естественно, такого рода культурная информация, перестав быть актуальной,

очень быстро уходит в небытие. Однако в то же время есть и актуальные для ороков традиционно-культурные навыки и особенности. Для всех ороков это традиционная пища, а для некоторых – занятие оленеводством; именно среди небольшой группы орокских оленеводов еще в какой-то мере продолжает жить язык их предков – факт этот свидетельствует о том, что орокский, являясь «языком традиционной культуры», ориентирован на нее и только на нее; когда жива традиционная культура, жив и обслуживающий ее язык, если же традиционная культура уходит в небытие, то обслуживавший ее язык или адаптируется к новым культурным реалиям, или же постепенно забывается.

Поездка А. М. Певнова на Сахалин в октябре 2009 г. позволила сделать ряд интересных лингвистических наблюдений.

Удивительно, например, что в отличие от близкородственных орокскому языков (ульчского, нанайского) увулярные звуки встречаются в нем весьма редко. Можно предположить, что увулярных не было в языке, на котором когда-то говорили предки ороков. Примечательно, что увулярных звуков нет в эвенкийском языке, а также в «верховскóм» диалекте негидальского; в то же время они есть в эвенском языке и в «низовскóм» диалекте негидальского языка.

Характерные для тунгусо-маньчжурских языков среднеязычные *ч*, *ǯ*, *н'* некогда подверглись в орокском языке необъяснимой депалатализации и превратились в переднеязычные *т*, *д*, *н*, например: *тэддэ* ‘правда’ < **тэǯэ̄*, *тāгда* ‘белый’ < **чāгǯан*, *нари* ‘человек’ < **н'ари*. Однако имеются исключения, например: *кучэ̄* ‘нож’, *чӯ* ‘камень, при помощи которого точили ножи (им водили по лезвию ножа («правили») поочередно сверху и снизу)’ [в словаре Л. В. Озолини приведено иное значение: *чу*(*н-*) (*чу*) ‘огниво, кремень, кресало’, но *чӯ-* ‘точить, наточить’ (Озолиня, 2001. С. 401)], *ǯапку* ‘восемь’. Следует подчеркнуть, что в типологическом плане депалатализация относится к числу, по-видимому, крайне редких звуковых изменений, при этом влиянием соседних языков (нивхского, эвенкийского, а в прошлом и айнского) она не объясняется; вероятно, начало ей было положено в относительно далеком прошлом еще на континенте, так, в близкородственном орокскому нанайском языке в единичных случаях наблюдается аналогичный переход: *нај* ‘человек’ < **нари* < **н'ари*; *насал* ‘глаз, глаза́’ < **н'а-сал* < **ја-сал*.

Наряду с депалатализацией орокскому языку свойственно удвоение согласных в интервокальной позиции перед долгим гласным (...VCVV... > ...VCCV(V)...). Примеры: *сэ̄пэ* ‘соболь’ – винит. падеж *сэ̄ппэ* ‘соболя’ (< **сэ̄пэ̄* < **сэ̄пэ-вэ*); *нари-дда* ‘и человек’ (< **нари-дā*); *ŋэн'н'ē* ‘идущий’ (<**ŋэнтӣ* < **ŋэнэи* < **ŋэнэ-ри*). В последнем случае долгий узкий гласный, способствовавший удлинению предшествующего ему согласного, подвергся изменению (**ӣ* > *ē*, т. е. **ŋэнтӣ* > *ŋэн'н'ē*). В отличие от депалатализации, являющейся исключительно фактом истории орокского языка, орокская геминация согласных может быть не только результатом диахронических преобразований, но и проявляться в действующих на синхронном уровне морфонологических процессах.

Привлекает внимание система орокских указательных местоимений: наряду с *эри* ‘этот’ и *тари* ‘тот’ [в несубъектной позиции имеет место супплетивизм: соответственно *јэ*(-) и *т'а*(-)] в этом языке существуют еще, оказывается, *тӯ*, *отӯ* (*атӯ*), *тāтаду*, *тōтаду* (точное их значение предстоит выяснить; два последних оформлены локативным показателем *-ду*).

Трудно не заметить многочисленные и весьма глубокие схождения орокского с эвенкийским на всех языковых уровнях, сходства эти имеют «постгенетическую» природу, т. е. появились в орокском в результате контактов с родственным ему эвенкийским языком. Примером может служить форма прошедшего времени на *-та* (< **-ча*) – возможно, она эвенкийского происхождения, приведем примеры: *бӣ-тэ* ‘был’, *бā-та* ‘нашел’, *анду-та* ‘сделал’, *дапа-та* ‘схватил’[8]. В фольклорных текстах, записанных Л. И. Сем, встретилось деепричастие на *-ми* со значением не одновременности с главным действием, а с условным (потенциально-условным) значением, что опять же имеет явное соответствие в эвенкийском языке; проиллюстрируем это следующим примером, взятым из текста «Геохату»: *Хэјэј ŋэнэми*, *наррē бāллиси*; *солој ŋэнэми*, *наррē бāллиси* ‘Если вниз по реке отправишься, человека найдешь; если вверх по реке отправишься, то (тоже) человека найдешь’. Обнаружился в текстах и заимствованный из эвенкийского показатель одновременного деепричастия: *пурэŋэннē би-нэ* ‘будучи молодым человеком’ (пока таких примеров немного, причем все с глагольной основой *би-* ‘быть’).

Судя по текстам, в орокском языке два прошедших времени (на *-ха* и на *-та*) и три будущих [1. *-рила-* (один из алломорфов), 2. *-ли-* (*-лли-*), 3. *-*(*ра*)*-ŋа*]. Чем различаются времена внутри каждой из этих групп, пока непонятно.

Для выражения повеления, обращенного ко второму лицу, используются три формы, например: 1. *ŋэнну*! ‘иди! (уходи!)’, *тӯккусу*! ‘падайте!’ (по разъяснениям И. Я. Федяевой, это резкое, категорическое повеление); 2. *ŋэнуј*э ‘иди; уходи’, *ŋэнујэлтэ* ‘идите; уходите’ (как считает И. Я. Федяева, «это уже помягче», т. е. скорее это просьба); 3. *биссэ̄ри*! ‘живи!’ (форма императива относительно более далекого будущего времени).

Очень странной выглядит аналитическая конструкция типа *гата-тт'и-н'и би-т'т'и* '(она) собрала (собирала?) ягоду' (собрать.ягоду-PST-3SG быть-PTCP.PST), *вā-ха-т'и би-т'т'и* 'убили' (убить-PST-3PL быть-PTCP.PST), в которой показателями лица оформляется главный глагол, а не вспомогательный (кстати, последний восходит к **би-чӣн*).

Привлекает внимание не только весьма инновационная на тунгусо-маньчжурском фоне морфология орокского языка, но также его лексика, в которой произошли значительные изменения как в результате заимствования из разных источников, так и вследствие внутренних причин. Приведем ряд орокских слов неизвестного происхождения (некоторые из них отсутствуют в «Сравнительном словаре тунгусо-маньчжурских языков» (ССТМЯ, 1975, 1977)):

сэгдэ- 'лететь'; *ису-* 'вернуться'; *āпту-* 'дойти'; *кāпа-* 'подняться'; *эксэ-* 'положить'; *эсэрэј-* 'забеременеть'; *сā*? 'где?' (например: *Гэ*, *Удала*, *синиӈи сā сэдухиӈуси*? 'Ну, Лягушка, где твоя ягода?'); *оту* (*ату*) 'самый' (например: *оту нэудумэ нэут'и* 'самая младшая их сестра'); *пō* 'место'; *котō* 'палец'; *кэ̄кку* 'пустой'; *ипкэ* 'костер'; *кипоро* 'горизонтально расположенный шест под потолком в орокском жилище (в палатке), на нем вялили мясо и рыбу, а также сушили одежду'; *вэ̄ну* 'прилив' (вин. пад. *вэ̄нумбэ*); *чу* 'длинные углубления, в частности, на дне Чайвинского залива Охотского моря около села Вал – в этих углублениях после отлива остается вода, в которой можно поймать рыбу; во время отлива можно плыть по этому *чу* и на лодке' (толкование значения этого слова принадлежит И. Я. Федяевой); *эмму* 'краб'; *кекпари* 'рак'; *наталбори* 'морская звезда'.

Что касается орокского фольклора, то в нем, по мнению И. Я. Федяевой, были представлены три основных жанра: 1. *сахури* [сказка (в том числе о животных) – нарратив, в реальность которого никто не верит; 2. *тэ̄луӈу* (нарратив, в реальность которого верят); 3. *нимӈа* (песенное произведение, исполняемое в особых случаях, например, как сказала И. Я. Федяева, если кто-то умер или родился, а также во время какого-либо праздника (*анара*); Ирина Яковлевна уточнила, что пели при этом не на орокском языке, а на эвенкийском, однако исполнитель время от времени переводил то, что он пел, на орокский].

Надо сказать, что эвенки называют сказку *нимӈакāн*. У негидальцев этого слова нет, сказка по-негидальски называется *тэ̄луӈ* (*тāлуӈ*), а то, что ороки называют *тэ̄луӈгу*, негидальцы именуют *улгу*(*й*). Таким образом, у ороков и у негидальцев произошли существенные замены названий фольклорных жанров.

В октябре 2010 г. в селе Вал Ногликского района Сахалинской области А. М. Певнов продолжил начатую им в 2009 г. на Сахалине работу с рукописными фольклорными текстами, записанными Л. И. Сем на орокском языке. В результате А. М. Певнов пришел к следующим выводам: 1) все или по чти все тексты на орокском языке были записаны Л. И. Сем не под диктовку, по всей вероятности, они являются расшифровкой магнитозаписей (об этом свидетельствуют пометки на некоторых листах с указанием стороны магнитофонной кассеты); 2) для того чтобы опубликовать рукописные орокские тексты Л. И. Сем, желательно иметь их звуковые прототипы, т. е. магнитозаписи. Пока эти записи отсутствуют.

Сданные Т. Ю. Сем на хранение в Институт лингвистических исследований РАН магнитозаписи орокских фольклорных текстов (самые ранние датированы 1962 г.) были по нашей просьбе оцифрованы Д. В. Шиффом в фонограммархиве Пушкинского Дома (в Институте русской литературы РАН), а также в отделе языков народов России в Институте лингвистических исследований РАН. Предварительное ознакомление с магнитозаписями показало, что сделаны они Л. И. Сем и Ю. А. Семом в Поронайском районе Сахалинской области. Рукописные же фольклорные тексты Л. И. Сем являются расшифровкой магнитозаписей, сделанных ею в Ногликском районе Сахалинской области (в Поронайском районе говорят на южном диалекте орокского языка, а в Ногликском – на северном). Возможно, более внимательное изучение хранящегося ныне в Институте лингвистических исследований РАН звукового архива Л. И. Сем и Ю. А. Сема позволит обнаружить хотя бы часть тех записей, которые расшифровывала Л. И. Сем.

Поскольку в настоящее время последние носители орокского языка уже не способны исполнять фольклорные произведения, А. М. Певнов начал записывать под диктовку бытовые тексты («life-stories»).

Результаты работы таковы.

С 11 по 25 октября 2010 г. А. М. Певнов записал под диктовку (и одновременно на диктофон) на орокском языке от И. Я. Федяевой (70 лет, село Вал) 16 текстов с переводом на русский.

26 и 27 октября 2010 г. А. М. Певнов записал под диктовку (и одновременно на диктофон) на орокском языке от Е. А. Бибиковой (70 лет, пос. Ноглики) 2 текста с переводом на русский.

Эти 18 текстов представляют собой рассказы информантов в основном об их детстве и молодости. Синтаксических калек русских конструкций много, однако в то же время рассказчицы использовали причастные и деепричастные обороты, которым в русском языке функционально соответствуют при-

даточные предложения. В целом тексты представляют собой осознанный или неосознаваемый перевод с русского языка на орокский, по-видимому, рассказчицы или не хотели, или не могли излагать текст иначе, т. е. не опираясь на построенную ими русскую фразу. Такие русифицированные тексты мало что могут дать для изучения «подлинного» орокского синтаксиса, однако морфология в них явно не выглядит сильно пострадавшей, не утрачена, например, даже архаичная категория отчуждаемой/неотчуждаемой принадлежности.

Далее приводится один из восемнадцати орокских текстов, записанных А. М. Певновым.

Текст, названный рассказчицей *Толт'и* 'Сновидение' (сон этот приснился когда-то маме рассказчицы), записан 11 октября 2010 г. в селе Вал Ногликского района Сахалинской области под диктовку с включенным диктофоном (для потенциальной проверки фонетической точности записи). Рассказчица – Ирина Яковлевна Федяева – родилась 26 июля 1940 г. Папа ее был русским, мама – Ольга Николаевна Семенова – была представителем орокского народа. С мамой, с бабушкой (по материнской линии), а также с отчимом (по прозвищу Борода) Ирина Яковлевна разговаривала на орокском языке.

Орокские словоформы разделены на морфемы, граница между морфемами обозначается дефисом, частицу отделяет от того слова, к которому она относится, знак равенства. Служебные слова вроде *тани* (по-видимому, оно выражает некоторую неуверенность) отделены от того слова, к которому они относятся, одним пробелом, в то время как все прочие слова – как орокские, так и русские – отделены друг от друга тремя пробелами. Следует сказать, что одним пробелом в переводе отделяется и слово, которым переводится, например, аффикс с посессивным значением (*пуjэ-л-би* 'раны свои').

Если морфема представляет собой результат фузии, то такая морфема выделяется подчеркиванием: *синд'ē-ни* (< **синдаи-ни* < **синда-ри-ни*) 'идет (сюда)' (идти.сюда:PTCP.PRS-3SG); *толт'ē* (< **толт'иа* < **толт'и-ва*) сновидение:ACC; *дукутакки* (< **дуку-такū* < **дуку-таки-ви*) 'к себе домой' (дом-ALL:REFL.SG)).

Перевод орокского текста на русский язык – пословный. В тех случаях, когда есть сомнения в правильности перевода, указывается его вариант в скобках или же приводится глоссинг. В скобках даются также слова, уточняющие перевод. В орокском тексте в скобки заключены либо варианты слов, предложенные рассказчицей, либо варианты слов, транскрипция которых остается под вопросом. Знак ô передает гласный более высокого подъема, чем гласный «о» (гласные ô и *о* относятся к разным сингармоническим «сериям»).

Гēда-ра эним-би тэлуŋу-т'и-хэ-ни итэ-хэм-би
Однажды моя мать рассказывала увиденный (ею)

толт'ē хōни нō-ни би-т'т'и-ни буни-ду.
сон – как она была в загробном мире.

«Т'а-ла ŋэнэ-хэм-бú – ун-д'и-ни – ajāā нōн-ду-т'и,
«Туда ходила – говорит – хорошооо у них,

уэ̄э̄м бū-ни. Поӷто-т'и (*покто-т'и?*) *т'илум.*
светлооо есть. Дорога у них (дорога их) ровная.

Палāтка-т'и э-вве та-вве поӷто-ду.
Их палатки по обеим сторонам дороги (от дороги).

Т'а-ду д'иŋ барā улā-л: пēмура=дда, гэлчи?=ддэ,
Там очень много оленей: и пестрые, и серые,

карав=ддā, тāгда=дда. Д'иŋ бôдô (*бодо?*) *ула-л.*
и коричневые, и белые. Очень жирные олени.

Аja-аja гэ̄м бū-т'и. «О-о-о, Барада
Хорошо-хорошо, чисто живут. «О-о-о, Борода

покто-кки синд'ē-ни. «Мин-ду гэсэ лэ̄дэ-лу-хэ-ни,
по дороге идет. «Со мной стал разговаривать,

пану-си-ни?: «Пūввэ орок-т'и-си?» Эни-ни дапка-ду-ни
спрашивает: «Пиво принесла?» Его мать рядом с ним

или-си-ни, ун'-д'и-ни: «Хаj пūвэ-ни гэллē-се Ōлга-ду?
стоит, говорит: «Что (за) брусок просишь у Ольги?

Jэ-ду ŋуj-ду=ддэ т'ипāли бū-ни пūвэ».
Здесь у всех есть брусок».

Барада ун'-д'и-ни: «Анā эннэ. Эри гоj пūвэ,
Борода говорит: «Нет, мама. Это другое (слово) пиво,

мӯ-ŋэт'и, араки-ŋат'и. Ум-ми-си –
(оно) как вода, как алкоголь (водка, вино). (Когда) пьешь,

сокт'ē-си». «Хаj тари пūвэ? Хамат'а нō-ни?», –
пьянеешь». «Что это (за) пиво? Какое оно?», –

ун'-д'и-ни Барада эни-ни. «Тар пūввэ ум-мури», –
говорит Бороды мать. «То пиво пьют»,

ут'-т'и-ни Барада. Т'от'т'и Барада мин-ду пану-си-ни?:

сказал Борода. Потом Борода у меня спрашивает:

«Хāли мут-тэj синда-ли-се?» Эни-ни ун'-д'и-ни,
«Когда к нам придешь?» Его мать говорит,

Барада эни-ни: *«Хаj-ва* (*хаj-буд'д'и*) *ӈāрри-се*
Бороды мать: «Зачем зовешь

нōм-ба-ни, *Олга-мба? Гэгдык кулпилла тāни jэ-лэ*
ее, Ольгу? Всегда успеет, наверно, сюда

синда-буд'д'и. Би-д'и-ни пу-рил'-д'и гэсэ бūлō.
прийти. Пусть живет с детьми PTCL.

Нада а-ввутаннē синд'ēлла тāни мэ̄нэ
Надо когда станет, придет, наверно, сама,

бул-ми (*бул-кэ̄т'т'и*)*». Инэӈи-ддо-ккэ. «Ӈэну-jэ*
умерев». Наступает день. «Иди обратно

дуку-такки, э-ми итэ-т'т'э хама-саj», –
к себе домой, не глядя назад

ун'-д'и-ни Барада эн'и-н'и. «Ээ ис-си-ви
говорит Бороды мать. «Ну вот, иду (я)

дуку-би бāруни. Или-си-ни гēда палāтка.
в сторону своего дома. Стоúт одна палатка.

Т'а-ду Гēна тэ̄-си-ни, *пujэ-л-би оӄт'и-т'т'и-ни.*
Там Гена сидит, раны свои лечит.

«Си нōн-ду-т'и гэсэ хаj-ми э-си-си бū=γэ?»
«Ты с ними почему не живешь?»

«Мимбе т'а-ла э-си-т'и́ га-да, *пujэ̄ -лу-бе?=т'и.*
«Меня туда не берут, я же с болячками (с ранами).

Т'а-ӈӈу-би (*т'а-ӈу-би?*) *оӄт'и-т'и-писса=мали т'а-ла*
Те свои (раны) когда вылечу, туда

ӈэнэ-ли-ви». *«Оӄт'и-т'и-jjэ̄»*, – *ук-кэт'т'и ӈэну-хэм-би*
пойду». «(Ну ладно,) лечи», – сказав, (я) пошла

дуку-такки. Тар бū дуку-такки ису-хам-би. Элэ.
к себе домой. Так я к себе домой вернулась. Все.

Дэрэjд'и-писсэ=лэккэ т'а-ду, *эсинэуи бу-д'илэхэм-би.*
Если бы (я) осталась там сегодня умерла бы.

Список литературы

Головко, 1997. – Головко Е. В. Медновских алеутов язык // Языки мира. Палеоазиатские языки. М., 1997. С. 117–125.

Кузнецова, Хелимский, Грушкина, 1980. – Кузнецова А. И., Хелимский Е. А., Грушкина Е. В. Очерки по селькупскому языку. Тазовский диалект. Т. I. Изд-во Московского университета. Публикации отделения структурной и прикладной лингвистики. Вып. 8. Материалы полевых исследований / под общ. ред. В. А. Звегинцева. М., 1980.

Озолиня, 2001. – Озолиня Л. В. Орокско-русский словарь. Новосибирск, 2001.

ССТМЯ, 1975, 1977. – Сравнительный словарь тунгусо-маньчжурских языков. Л. Т. 1. 1975; Т. 2. 1977.

Хелимский, 2000. – «Говорка» – таймырский пиджин на русской лексической основе // Хелимский Е. А. Компаративистика, уралистика: лекции и статьи. М., 2000.

Stern, 2005. – Stern Dieter. Taimyr Pidgin Russian (Govorka) // Russian Linguistics. Vol. 29. № 3. 2005. P. 289–318.

Примечания

[1] Статья написана в рамках проекта «Последние фольклорные записи на языках четырех самых малочисленных народов Сибири и Дальнего Востока» по Программе фундаментальных исследований Президиума РАН «Историко-культурное наследие и духовные ценности России» [раздел программы: «Историко-культурное наследие в языках, литературах и фольклоре народов России» (Направление 6)].

[2] По сложившейся в тунгусо-маньчжуроведении традиции в данной статье мы будем употреблять этноним «о́роки» (и соответственно «о́рокский»), однако следует иметь в виду, что сами представители этого народа (по крайней мере, некоторые) предпочитают называть себя у́ильта (у́илта), а свой язык – уильтинским (уилтинским). Отметим, что И. Я. Федяева – одна из немногих, кто еще помнит исчезающий орокский язык, – произносит это слово как *ујилта*.

[3] Орокский относится к тунгусо-маньчжурской языковой семье, в ней он генетически ближе всего к ульчскому и нанайскому. На орокский существенное влияние (в том числе и на морфологию) оказал эвенкийский язык. Последние носители орокского языка живут на Сахалине; нет никаких фактов, свидетельствующих о том, что на нем говорили на материке.

[4] Энецкий язык относится к числу северно-самодийских.

[5] День и солнце называются одинаково не только в говорке (ср.: *Селый день огонь не топил* «Целый день не разводил огонь» и *День-то только буходит* «Солнце только восходит»), но и в селькупском языке, ср.: сельк. *сēly* «день», «свет», «солнце» (Кузнецова, Хелимский, Грушкина, 1980. С. 18). Из сибирских уральских языков аналогичная полисемия характерна также для мансийского, хантыйского и лесного ненецкого.

[6] Болок – небольшое (около 4–5 м^2) легкое жилище на полозьях.

[7] Сведения о тех, кто в разной степени знает орокский язык, сообщили И. Я. Федяева и Е. А. Бибикова.

[8] Впрочем, в эвенкийском показателе причастия прошедшего времени гласный долгий (*-чā*); при заимствовании этого аффикса в орокский язык имела бы место геминация согласного, т. е. *-чā* > *-ттта*.

Т. Е. Андреева, К. Н. Стручков

СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ГЛАГОЛА В ЭВЕНКИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Словообразование – один из важнейших источников пополнения словарного запаса языка, один из главных путей образования новых слов. «Объектом изучения в словообразовании являются словообразовательно мотивированные слова, т. е. слова, значение и звучание которых обусловлены другими однокоренными словами». «Исчерпывающее рассмотрение всех слов, имеющих более чем одну мотивацию, – задача словообразовательного словаря» (Русская грамматика, 1980. С. 131–132).

Действительно, термин «словообразование», принятый в языкознании, означает ряд разных явлений: структура слова, структурно-семантические связи между родственными словами и процессы возникновения новых слов. По своему значению это различные явления и обозначение их одним названием придает термину «словообразование» в некоторой мере условный характер. Эту условность термина, по мнению лингвистов, можно объяснить и двуплановостью значения отыменных глаголов, которые могут обозначать, с одной стороны, предмет, с другой стороны, его результат. Поэтому словообразование – процесс создания, образования нового слова и то, как слово образовано, из чего образуется.

Основная задача словообразовательного словаря эвенкийского языка (глагол) – отражение словообразовательной структуры эвенкийского слова (глагола). Составляемый словарь является словарем гнездового типа, так как в качестве основной единицы здесь выступают целые гнезда слов, т. е. слова, «происходящие от одного корня». Этот термин понимается и как этимологическое гнездо, и как «современные морфологические группы слов, но этимологически также связанные между собой». Это позволит охватить словообразовательные гнезда. В словообразовательных гнездах структурные связи опираются на семантические признаки.

При изучении словообразовательной системы гнездовой подход представляется наиболее оптимальным, так как словообразовательное гнездо – микросистема, отражающая закономерные связи производных единиц. В гнезде находят отражение все основные виды отношений, устанавливающиеся для словообразовательной подсистемы – парадигматические, синтагматические, иерархические.

Под образовательным гнездом понимается совокупность слов, характеризующихся общностью корня. Общность однокоренных слов проявляется не только в плане выражения (в наличии у них одного и того же корня), но и в плане содержания (корень выражает общий для всех родственных слов элемент значения), т. е. слова, объединяющиеся в словообразовательное гнездо, имеют и смысловую, и материальную общность.

Построенные таким путем гнезда подтверждают, что словообразовательная структура любого слова может быть выявлена, правильно понята лишь на фоне всей его семьи, т. е. в той среде, в которой оно рождается, живет, умирает, ведь большинство слов в языке живет семьями.

Для решения поставленной задачи необходимо было решить вопросы о составе словаря, принципов отбора слов. Были определены границы лексики, включаемой в словарь. Он охватывает достаточно обширный круг лексики современного эвенкийского языка – включает все словарные единицы, которые являются показателями эвенкийского словообразования: общеупотребительную лексику и некоторые терминологические слова, новые слова, историзмы, диалектные слова, отдельные типы наречий, формы оценки прилагательных, существительных, этнонимы и названия жителей стран, слова с нулевой «производительностью» и некоторые другие разряды слов.

Новизна. Имеющиеся словари эвенкийского языка отражают материальную и духовную деятельность эвенков, уровень развития общественного устройства, науки, культуры и искусства, отражают состояние лексики современного эвенкийского языка, с достаточной полнотой представляют лексико-семантическую систему современного языка эвенков. Впервые в тунгусоведении разрабатывается словообразовательный словарь эвенкийского языка. В таком словаре нуждается широкий круг читателей, интересующихся словообразованием, научные работники и аспиранты, изучающие различные теоретические и прикладные проблемы эвенкийского языка, преподаватели, учителя родного языка, которые могут использовать его в качестве справочного пособия. Отсутствие опыта и традиции затрудняет работу над созданием словообразовательного словаря, который был бы в состоянии удовлетворить все эти нужды. Однако имеется в нем острая необходимость, и это в какой-то мере оправдывает такое «широкое» его назначение. Только словообразовательный словарь может дать ответы на такие вопросы, как сочетаемость определенных корней с определенными наборами суффиксов, валентности суффиксов, присутствие разнотипных распространителей –

мономорфемных и полиморфемных – в словах, образованных от одного и того же корня посредством одних и тех же суффиксов и т. п.

Значительное место вопросам словообразования отведено в работах известных тунгусоведов Г. М. Василевич, О. А. Константиновой, А. Ф. Бойцовой, Б. В. Болдырева, Н. Я. Булатовой, А. Н. Мыреевой, А. А. Бурыкина и др., однако, традиционно для тунгусо-маньчжуроведения словообразование растворяется в морфологии или сливается с этимологией. Специальных работ, посвященных словообразованию в эвенкийском языке, нет, кроме книги Б. В. Болдырева (Болдырев, Новосибирск, 1987). Хотя важнейшие понятия теории словообразования – морфемный состав и словообразовательная структура слова – рассматриваются в трудах тунгусоведов.

Словообразовательную систему эвенкийского языка, как и в других агглютинативных языках, можно представить как две большие подсистемы (Харанутова, 2011. С. 54). По мнению лингвистов, первую подсистему формирует совокупность словообразовательных типов всех частей речи в их взаимодействии и взаимоотношениях, вторую подсистему – совокупность словообразовательных гнезд всех частей речи. Словообразовательные типы и словообразовательные гнезда представляют собой разнонаправленные классификации: в типе главное аффикс, формант, в гнезде – корень. Исходя из этого лингвисты приходят к выводу, что словообразовательную систему образуют две производные – корневая и аффиксальная. Они тесно взаимосвязаны между собой. Каждая подсистема характеризует специфику языковых отношений внутри системы, а также способы объединения и классификации производных слов. По мнению Д. Ш. Харанутовой, «...словообразовательную систему надо рассматривать как корневую совокупность, опираясь на перспективный подход» (Харанутова, 2011. С. 56). В доказательство автор ссылается на точку зрения Ширшова И. А., который считает: «При корневом подходе в центре внимания оказывается не аффикс, хотя он присутствует в структуре производного слова, а корень. Аспект изучения производного слова меняется: на первое место выдвигается проблема словопорождающих возможностей именно этого корня. Ввиду индивидуального характера значения корня для нас важно выявить не то общее значение, которое вносит аффикс в производное слово, а то индивидуальное значение, которое формируется в словообразовательном акте и которым родственное слово отличается от другого» (Ширшов, 1999. С. 137). Совершенно очевидно, приходят специалисты к выводу, что при исследовании словообразовательной системы как корневой общности в перспективном аспекте, при построении типовой модели отношений «производящее – производное» словообразовательная система предстанет как порождающий механизм.

Словообразовательные гнезда являются важной лингвистической классификацией словарного состава. Иерархическая организация по частеречной принадлежности (гнезда глаголов, гнезда прилагательных) и отнесенности к разным лексико-грамматическим и семантическим группам предопределяет системный подход к описанию словообразовательной системы в целом. Таким образом, исследование потенциальных возможностей каждой части речи в функции производящего позволяет представить словообразовательную систему любого языка, в том числе и эвенкийского, в перспективном аспекте (Харанутова, 2011. С. 58).

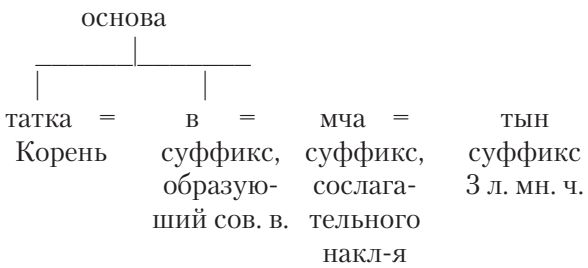
Из известных основных способов, используемых в разной мере в языках различных типов для выражения производных лексических и грамматических значений, в эвенкийском языке употребляются следующие: агглютинативная аффиксация, служебные слова, интонация, порядок слов. Имеет место также чередование звуков, сложение основ, редупликация, супплетивизм, которые, однако, играют довольно ограниченную роль и не могут считаться характерными для эвенкийского языка.

Агглютинативная аффиксация является для эвенкийского языка господствующей, она определяет специфику его морфологической структуры. При этом она не теряет ведущей роли и в случае применения одновременно каждого из остальных названных выше способов, которые обычно лишь способствуют главному. При этом аффикс, как правило, выражает в слове одно значение, например: в глаголе *эмэ-ŋэты-в (я) должен приехать* суффикс *-ŋэты* образует глагол долженствовательного наклонения, суффикс -в – личный глагольный суффикс.

Тунгусоведы выделяют базовые для эвенкийского глагола категории времени, вида, наклонения, а также залоговые формы. Грамматические значения глаголов выражаются с помощью суффиксов, каждый из которых в глагольной структуре имеет свое определенное место: в самом начале слова всегда стоит корень, за корнем следуют словообразовательные, образуя основу слова; за основой следуют словоизменительные суффиксы (см. схемы).

Дуку	=	вкан	=	ча	=	в
||		||				
Основа слова, совпадающая с корнем		суф-с побудительного залога		суффикс прош. вр. изъявит-го накл-ния		личный глагольный суффикс 1-го л. ед. ч.

Я заставил написать



Они учились бы

Рассмотрим отдельно каждое из явлений, относящихся к словообразованию в эвенкийском языке в традиционном значении этого термина.

Большая часть глаголов эвенкийского языка мотивируется существительными, прилагательными и глаголами. Глаголы, мотивированные числительными, местоимениями и наречиями, ***немногочисленны.***

Материальная структура слов эвенкийского языка. Большинство слов эвенкийского языка *морфологически членимы,* т. е. в них выделяются морфемы, наименьшие значимые части слова, не существующие, однако, вне состава слова. Несмотря на это, они имеют как бы некоторую лексическую определенность. Например, весьма обобщенное лексическое значение суффиксов существительного *–-г, -сāг, -вāг, – кāг, -лта, –кта и др*. показывает, что слова, образованные с их помощью, имеют собирательное значение (чука-г *луг*, гулэ-сэг *селение,* гӯ-ктэ *высказанная мысль, слово)*; глагольный суффикс *–ча/-чэ/,-чо* показывает, что совершено действие, отдаленное от момента речи время.

Морфемы по функции в слове определяются как корневые, словообразовательные и формообразующие. Корневая морфема составляет непроизводную и непременную его часть, без которой не могут выявляться другие морфемы, служащие целям словообразования и формообразования. Корень выражает вещественное значение слова и как его часть не имеет тех грамматических признаков, которыми обладает целое слово.

В эвенкийском языке корень довольно часто совпадает с целым словом, т. е. вещественное значение корня совпадает с лексическим значением слова, например: *арба-* 'обмелеть' — *арба* 'мель', *агди-* 'греметь'—*агди* 'гром', *колто-* 'ударить (кулаком)'— *колто* 'кулак', *бала-* 'ослепнуть'—*бали* 'слепой' и т. д. (Костантинова, 1964. С. 31).

Часть слова, выражающая главное значение слова и противопоставляемая формообразующим аффиксам числа, падежа, притяжения, наклонения, времени, лица и т. д., является его основой. Основа может совпадать с корнем, если она не имеет основообразующих аффиксов (непроизводная основа), например, в слове *му* 'вода'; ср.: *мумэ* 'водяной', *мулэ-* 'пойти за водой', *мулэнгки* 'ведро', *мучи* 'содержащий воду' и т. д. Здесь морфема *му-* является корнем, повторяющимся в ряде однокоренных, но семантически различных слов. В парадигматическом ряду, который образуют различные формы одного и того же слова, например при склонении слова *му* 'вода' *(мувэ* 'воду', *муду* 'в воде', *мудук* 'из воды' и т. д.) морфема *му-* является основой, которая выражает основное значение слова и повторяется при изменении форм одного и того же слова. Основа является производной, если в составе ее, кроме корня, имеются основообразующие морфемы. К последним относятся, прежде всего, морфемы словообразования, служащие для выражения и изменения лексических значений [*мо* 'дерево', *моты* 'лось (букв.: деревоед)', *мома* 'деревянный', *мола-* 'идти за дровами'], а также такие морфемы формообразования, значения которых тесно смыкаются с лексическими значениями, например, формы уменьшительности: *(сен* 'ухо', *сенкан* 'ушко; серьга'), формы переходности (*кэсэ-*'мучиться', *кэсэги-* 'мучить'), формы залога (*нгэнэ-,* 'идти', нгэнэв-'нести', *ичэ-* 'увидеть', *ичэвкэн-* 'показать, заставить видеть'), формы вида (*ичэ* 'увидеть', *ичэсин-* 'взглянуть') и т. д. Формообразующие морфемы подразделяются на морфемы синтаксического формообразования (реляционные), выражающие отношения между словами (например, формы падежа, принадлежности, наклонения и др.) и морфемы несинтаксического формообразования (деривационные). Последние (например, формы вида, субъективной оценки и др.) не связаны с выражением синтаксических отношений, но имеют общий признак с реляционными морфемами, так как и те, и другие служат целям образования новых форм и в этом отношении противопоставляются словообразующим морфемам.

В эвенкийском языке все словообразовательные и формообразующие морфемы (аффиксы) следуют за корневой морфемой. Аффиксы следуют один за другим в строгом порядке: словообразовательные аффиксы предшествуют формообразующим, которые также располагаются в определенной последовательности; аффиксы более широкого значения предшествуют аффиксам с более узким значением, аффиксы залога, например, предшествуют видовым, за которыми следуют показатели наклонения и времени, лица. Например, словоформа *бэюмэвкэндечэтын* 'они заставляли охотиться на зверя' разделяется на составляющие его морфемы следующим образом: *бэю-мэ-вкэн-де-чэ-тын,* где *бэю-* корень слова (ср.: *бэюн* 'крупный промысловый зверь; дикий олень, лось'), *-мэ* аффикс, образующий отыменные глаголы со значением «охотиться на данного зверя», *-вкэн* аффикс побудительного залога, *-де* аффикс несовершенного вида, *-чэ* аффикс прошед-

шего времени изъявительного наклонения, *-тын* аффикс 3-го л. мн. ч. При соединении аффиксы могут видоизменяться в соответствии с фонетическими нормами языка.

В эвенкийском языке имеются аффиксы, которые могут служить как целям производства новых слов, так и целям образования форм слова. Аффикс *-нгат* является показателем желательного, а также долженствовательного наклонения, например, *бакангатыв* 'как бы мне найти, я должен найти', и образует имена существительные (как от глагольных, так и от именных основ), например *илангат* (из *ила-* 'сжечь') ~- *монгат* (из *мо* 'дерево, топливо'. Аффикс *-кӣт* образует отглагольные существительные с разным значением: *улумикӣт* 'место охоты на белку; охота на белку' *(улумӣ-* 'охотиться на белку'). Имя с аффиксом *-кӣт* может служить также определением, выражая признак другого предмета, например, *хавалкӣт столкан* 'рабочий столик'.

Вместе с тем слово в форме на *кӣт* с притяжательным аффиксом, выполняющим роль показателя лица, обозначает долженствовательное действие: *эмэкӣчин* 'он должен прийти' (*эмэ-* 'прийти').

Материальное совпадение некоторых аффиксов при значительном расхождении выражаемых ими грамматических значений могло возникнуть в связи с естественным развитием языка, когда потребность выражения новых значений или оттенков одного значения не обеспечивалась имеющимися в языке средствами. Одна форма в разных словах стала выражать разные или значительно различающиеся грамматические значения.

Случаи фузионного соединения морфем в эвенкийском языке немногочисленны и вызываются, как правило, следующими причинами: регрессивной ассимиляцией (*даг-рэн* 'переехал реку', но *даккэл* 'переезжай реку'; *гаг-ду* 'лебедю', но *гав-ва* 'лебедя'; *дев-рэн* 'съел', но *дем-нэм* 'я пошел поесть'), усечением основы или корня (*орон* 'олень', но *ороды* 'олений'; *гун-чэ* 'сказал', но *гу-кэл* 'скажи'; *ичэсинденэв* 'я взгляну', но *ичэс-кэл* 'взгляни'; *улукӣ* 'белка', но *улу-мэ* 'пойти белковать'; *хунат* 'девушка', но *хун-ил* 'девушки'; *экӣн* 'сестра', но *экнил* ~ *экнил* 'сестры' и т. д.), изменением конечного узкого гласного корня в широкий гласный (*аси* 'женщина', но *аса-л* 'женщины'; *эдӣ* 'муж', но *эдз-л* 'мужья'), удлинением конечного гласного корня (*чука* 'трава', но *чука-г* 'луг'; *ирэктэ* 'лиственница', но *ирэктэ-г* 'лиственничник').

Из других способов, посредством которых происходит образование новых слов и форм слов, значительное место в эвенкийском языке занимает использование служебных слов: вспомогательных глаголов (*тавичимни бичэв* 'я был кузнецом', *ей омнгопкӣ бисинне* 'ты забывчив', *этэкэл тандеми* 'перестань курить', *итигаран пэктирэндэвӣ* 'собрался выстрелить' и т. д.), служебных имен, в качестве послелогов (*самолет додукин* 'из самолета', *урэ угӣдэлӣн* 'над горой', *мӧ дагадун* 'около дерева' и т. д.), союзных слов (*Гулэсэгтыкӣ дагамаран тадук дэрумкичиллэн* 'Подошел к селению, затем стал отдыхать'; *Си дэручэс, тарит аран-аран нгэнэденни* 'Ты устал, поэтому идешь едва-едва'); словуточнителей *(элгэвумнӣ-*асӣ 'проводница (букв.: 'проводник-женщина)', *мӧты-энӣн* 'лосиха (букв.: лось-мать)' и т. д.

Как способ выражения грамматических значений используется также интонация, она связана с предложением. При помощи интонации, в частности, различаются предложения по цели высказывания, выражается различный характер связи при сочинении и подчинении предложений; посредством интонации и пауз все предложение делится на отдельные по значению части — синтагмы.

Порядок слов в предложении может являться одним из способов выражения синтаксических отношений между членами предложения: например, одно и то же слово в зависимости от своего места в предложении служит определением или сказуемым (*хэгди гулэ* 'большой дом', *гулэ хэгди* 'дом большой').

Способ фонетического чередования звуков в корне используется как в грамматических, так и в лексических целях. Посредством чередования широких гласных *а, э, о* с узкими *и, у* выражается различие видовых значений *(усэндэ-* 'бросить' — *усэнду- 'бросать', унгкеро-* 'поклониться' — *унгкеру-* 'кланяться', *деромо* 'украсть' — *дероми-* 'красть'). Посредством чередования выражается значение переходности и непереходности (*олго-*'высохнуть' — *олги-* 'высушить', *дегды-* 'зажечь' — дегдэ 'сгореть', *локо-* 'повесить' — локуча- 'висеть' и т. д.). При помощи чередования гласных образовались слова с новым значением *(энгтэ-* 'реветь (об олене-самке)' — *энгты-* 'реветь (об олене-быке), *нэнэ-* 'пройти' — нгэну- 'вернуться', *би-* 'быть, жить'—*бу-* 'умереть' и т. д.).

Способ сложения основ используется для выражения производных лексических значений, причем большинство слов, образованных путем сложения, относится к глаголам. Компонентами, составляющими сложный глагол, обычно являются основы так называемых образных слов с аффиксом -с или -р и основа глагола о- 'сделать, стать': *богисо-* 'вздрогнуть', *дерисо-* 'мелькнуть', *мисо-* 'скрыться' и т. д.; *бачэро-* 'соскользнуть', *лупуро-* 'пройти сквозь', *нэптэро-* 'разгладить' и т. д. Значительно меньше производных сложных слов является именами существительными или числительными: *дыннанна* 'шкура с головы зверя' *дыл* 'голова' + *нанна* 'шкура зверя'), *умуннэлэкэ* 'одиннадцать' (< *умунди* 'одним' + *(хэ)лэкэ* 'лишний') и т. д.

Способ редупликации встречается чаще всего в наречиях, звукоподражаниях: *аран-аран* 'едва-едва', *туги-туги* 'так-так', *ку-ку,* 'ку-ку', *чи-чи* (передает щебет). Посредством редупликации могут быть образованы новые слова: *дулин-дулин* 'середина' (от *дулин* 'половина'). Редуплицироваться могут не только основы, но и аффиксы: *аямама* 'очень хороший', *хэгдымэмэ* 'очень большой' *аякакан* 'хорошенький'.

Пример супплетивизма корней имеем в склоняемых формах личных местоимений 1-го и 2-го л. ед. и мн. ч.: *би* 'я', но *минду* 'мне', *миндулэ* 'ко мне', *миндук* 'от меня' и т. д.; *бу* 'мы'., но *мунду* 'нам', *мундулэ* 'к нам', *мундук* 'от нас' и т. д.

Примерами супплетивизма основ служат также формы множественного числа некоторых имен существительных: *ге* 'товарищ', но *дял* 'товарищи'.

Важнейшие научные результаты работы по проекту. Материалы словаря показывают, что словообразование в эвенкийском языке является не только средством обогащения его словарного состава, оно показывает и морфологический состав уже имеющихся в языке слов. В период с 2009 по 2011 г. было проанализировано примерно 1500 словообразовательных гнезд.

Словообразование и анализ эвенкийских слов по составу дают возможность вести углубленную, теоретически обоснованную работу над правилами орфографии, которые еще не разработаны для эвенкийского языка. В настоящей работе словообразовательная система эвенкийского языка лишь относительно стабильна. Языкотворческий процесс в языке не прекращается.

В языке глагольное словообразование по характеру производящей основы бывает внутриглагольное (от глагольных основ) и отыменное (от основ именных частей речи). Как показывают материалы, эвенкийские глаголы весьма емки в смысловом отношении, часто многозначны [колболидя-ми оглядеться, озираться; посматривать; акчу-ми 1) рваться (к чему-л.], 2) тосковать после отъезда кого-л.), могут использоваться в переносном значении, богаты синонимикой; примеры: имэннудеми, имэннэдеми, имэннэвдеми, топчиладеми, сапункилгэдеми «застегивать»; нодадеми, нодудями, усэндэдеми, усэгэтчэми «перебрасывать» и т. д. Выразительность эвенкийского глагола достигается широким использованием различных видовых и залоговых аффиксов: бэю/мэ/ми «пойти на охоту», бэю/син/ми «отправились охотиться», бэю/ктэ/ми «охотится», бэю/ктэ/мэлчэ/ми «быстро поохотится» и т. д. Как видно, глагольное словообразование тесно связано с категориями вида и залога и поэтому образование видов включается в общую систему глагольного словообразования. Примеры: авгара *здоровье, здоровый;* авгара/ми *1) поправиться; выздороветь; вылечиться; 2) зажить (о ране);* 3) *лечить;* авгара/в/канн/ми *вылечить*; *заставить вылечиться;* авгара/в/ми *быть вылеченным;* авгара/н/му/ми *быть вылеченным;* авгара/лды- *выздороветь;* авгара/мат- *выздоравливать*; авгара/му/де/ми *хотеть выздороветь;* авгара/п/канн *заставить выздороветь* и т. п.

Глаголы, образованные от именных основ, представляют весьма многочисленную группу. Образование глагольных основ с новым лексическим значением от именных основ осуществляется посредством специальных аффиксов. Кроме продуктивного аффиксального способа образования глаголов, в языке существуют и непродуктивные – способы сложения и флексия.

Глагольное словообразование в эвенкийском языке тесно связано с категориями вида и залога, и поэтому образование видов включается в общую систему глагольного словообразования. Примеры: авгара *здоровье, здоровый;* авгара/ми *1) поправиться; выздороветь; вылечиться; 2) зажить (о ране); 3) лечить;* авгара/в/канн/ми *вылечить*; *заставить вылечиться;* авгара/в/ми *быть вылеченным;* авгара/н/му/ми *быть вылеченным;* авгара/лды- *выздороветь;* авгара/мат- *выздоравливать*; авгара/му/де/ми *хотеть выздороветь;* авгара/п/канн *заставить выздороветь* и т. п.

Словарь представляет словообразовательную систему эвенкийского языка. Заглавные слова расположены в словаре в алфавитном порядке, объединенных в гнезда. В качестве заглавных слов в Словарь включены: 1) Общеупотребительная лексика эвенкийского литературного языка. Материальной базой для этого послужила картотека сектора эвенкийской филологии ИГИиПМНС СО РАН.

В период с 2009 по 2011 г. в соответствии с календарным планом совершены экспедиционные поездки и командировки в места компактного проживания эвенков: в Эвенкию, Бурятию, Внутреннюю Монголию (КНР), Иенгру Нерюнгринского района РС(Я) для сбора языкового и фольклорного материалов эвенков, также командировка в Москву для работы в библиотеке по теме проекта.

Исходными выступают наиболее употребительные слова эвенкийского языка. Практически каждое из них является стилистически нейтральным и широко употребительным. Большинство из представленных в начале словарных статей являются непроизводными. Это означает, что именно от этих ключевых слов образуются с помощью суффиксов многие другие. 2) Новые слова, возникшие с помощью различных словообразовательных суффиксов. 3) Широкоупотребительные фонетические или морфологические варианты слов, которые уже стали литературной нормой и традиционно включаются в словари.

В Словарь не включаются: 1) слова из русского языка, которые используются в разговор-

ной речи эвенков или в печати на эвенкийском языке единично и больше не повторяются; 2) искусственные новообразования, не получившие «гражданства» в языке, а также неологизмы отдельных писателей; 3) диалектные слова, их фонетические и морфологические варианты, не получившие широкого распространения в источниках; 4) формы слов, не являющиеся литературными.

Словник Словаря делится на две большие группы слов: производные глагольные основы, образованные при помощи суффиксов от именных основ и производные глагольные основы, образованные при помощи суффиксов от глагольных основ. Приведем пример из словаря: *от именной основы*

I. - Л -

ЛАБГАН ледяной затор на реке
ЛАБГАН/МИ нагромоздиться (*о льдинах*)

ЛАВНАН место, покрытое ягелем (*оленьим мхом*)
ЛАВЛА/МИ пастись на лишайнике (*об оленях*)
ЛАВСА лапша
ЛАВСАҿ/МИ готовить лапшу
ЛАВСА/ТЫ/МИ есть лапшу

ЛАЛБУКА мох
ЛАЛБУКА/ЛА/МИ отправиться за мхом; собирать мох для дымокура
ЛАЛБУКА/ЛА/МИ отправиться за мхом; собирать мох для дымокура

ЛАМА испорченная рыба, мясо; ягоды, тронутые морозом
ЛАМА/МИ протухнуть (*о рыбе, мясе*); стать водянистым (*о ягодах*); устать, ослабнуть, раскиснуть (*о человеке*)

ЛАМБА вьюк, навьюченный без седла
ЛАМБА/МИ навьючить вьюк без седла
ЛАМБА/В/ЛА/МИ наброситься, лечь поперек чего-либо
ЛАМБА/В/ЛАКАН/МИ набросить что-либо мягкое, длинное, широкое на твердый предмет

ЛАМБАРА лопух; колючка лопуха
ЛАМБАРА/МИ прилипнуть к чему-либо; зацепиться за что-либо шершавое
ЛАМБАРА/ЛДЫ/МИ слипнуться; срастись (*о костях*)
ЛАМБАРАН-МИ наклеить

ЛАМУС южный, теплый ветер; глубокий снег, при котором прекращается охота с собакой на пушного зверя; плохая погода
ЛАМУС/МИ дуть теплому южному ветру; выпасть глубокому снегу

ЛАҿ пасть-ловушка на зверя
ЛАҿ/ЛИ/МИ наладить слопец (*ловушку*)
ЛАҿИ/МИ открыть (*пасть-ловушку*)
ЛАҿИ/ҿ/МИ сделать ловушку
ЛАҿИ/В/МИ открываться, приподниматься (*от ветра*)

ЛАҿАРА беззубый
ЛАҿА/МИ сломать зуб

ЛАПКИ засунутая ветка (*в засек или между двумя ветвями – дорожный знак*)
ЛАПКИ/МИ засунуть в засек ветку – дорожный знак; зажать что-либо между двумя предметами

ЛАПКУ засунутая ветка (*в засек или между двумя ветвями – дорожный знак*)
ЛАПКУ/МИ засунуть в засек ветку – дорожный знак; зажать что-либо между двумя предметами
ЛАПКУ/ЧА/МИ торчать (*обычно о дорожном знаке*); быть зажатым (*между ветвями*), прищемленным, воткнутым (*за ветку*)

II. От глагольной основы

- Л -

ЛАБГАН/МИ нагромоздиться (*о льдинах*)
ЛАБГАН/ДЯ/РА громоздятся (*о льдинах*)
ЛАВЛА/МИ пастись на лишайнике (*об оленях*)
ЛАВЛА/ВКАН/МИ заставить пастись
ЛАВЛА/ДЯ/РА пасутся на лишайнике (*об оленях*)

ЛАВСАҿ/МИ готовить лапшу
ЛАВСА/ТЫ/МИ есть лапшу
ЛАВСА/МУ/МИ пахнуть лапшой
ЛАВСАҊ/МУКАН/МИ заставить делать лапшу
ЛАВСА/ТЫ/ДЯ/РА едят лапшу
ЛАВСА/ТЫ/Л/ЛА начали есть лапшу
ЛАВСАҊ/МАЛЧА/РАН быстро сделал лапшу

ЛАЛБУКА/ЛА/МИ отправиться за мхом; собирать мох для дымокура
ЛАЛБУКА/ЛА/ВКАН/МИ заставить отправиться за мхом; собирать мох для дымокура
ЛАЛБУКА/ЛА/ЛДЫ/МИ вместе отправиться за мхом; собирать мох для дымокура
ЛАЛБУКА/ЛА/ДЯ/РА отправиться за мхом; собирать мох для дымокура
ЛАЛБУКА/ЛА/СИН/ЧЭВ отправился за мхом; собирать мох для дымокура
ЛАЛБУКА/ЛА/С/ЧА/Л отправились за мхом; собирать мох для дымокура

ЛАМА/МИ протухнуть (*о рыбе, мясе*); стать водянистым (*о ягодах*); устать, ослабнуть, раскиснуть (*о человеке*)

ЛАМА/ВКАН/АН дать протухнуть (*о рыбе, мясе*); стать водянистым (*о ягодах*)

ЛАМА/РАН устать, ослабнуть, раскиснуть (*о человеке*)

ЛАМА/Л/ЛАН начал уставать

ЛАМА/ҤНА/М обычно устаю

ЛАМА/МАЛЧА/М быстро устал

ЛАМБА/МИ навьючить вьюк без седла

ЛАМБА/В/ЛА/МИ набросить, лечь поперек чего-либо

ЛАМБА/В/ЛА/КАН/МИ набросить что-либо мягкое, длинное, широкое на твердый предмет

ЛАМБА/В/ЛА/ДЕ/М набросить что-либо мягкое, длинное, широкое на твердый предмет

ЛАМБА/В/ЛА/ҤНЭ/М обычно набросить что-либо мягкое, длинное, широкое на твердый предмет

ЛАМБА/В/ЛА/МЭЛЧЭ/М быстро набросить что-либо мягкое, длинное, широкое на твердый предмет

ЛАМБАРА/МИ прилипнуть к чему-либо; приклеиться

ЛАМБАРА/ВКАН/МИ склеить, приклеить

ЛАМБАРА/ЛДЫ/МИ слипнуться; срастись (*о костях*)

ЛАМБАРА/Н/МИ наклеить

ЛАМБАРА/ҤНА/РА обычно наклеивают, приклеивают

ЛАМБАРА/МАЛЧА/РАН быстро приклеился, склеился

ЛАМБАРА/РАН приклеился

Материалы словаря свидетельствуют, что словообразовательный словарь более наглядно, чем другие способы описания словообразовательных ресурсов языка, демонстрирует морфологический состав уже имеющихся в языке слов и показывает, что словообразование является средством обогащения его словарного состава. Словообразование и анализ эвенкийских слов по составу дают возможность вести углубленную, теоретически обоснованную работу над правилами орфографии, которые еще не разработаны для эвенкийского языка. В настоящей работе отмечается, что словообразовательная система эвенкийского языка лишь относительно стабильна. Языкотворческий процесс в языке не прекращается

Список литературы

Болдырев Б. В. Словообразование имен существительных в тунгусо-маньчжурских языках. Новосибирск: Наука, 1987.

Болдырев Б. В. Эвенкийский язык. Морфология. Новосибирск: Наука, 2001.

Булатова Н. Я. Говоры эвенков Амурской области. Л.: Наука, 1987.

Василевич Г. М. Эвенкийско-русский словарь. С приложениями и грамматическим очерком эвенкийского языка. М., 1958.

Грамматика бурятского языка. Фонетика и морфология. М., 1962.

Колесникова В. Д. Основные черты фонетики и морфологии подкаменно-тунгусских говоров // Ученые записки ЛГПИ им. А. И. Герцена, фак-т народов Севера. Л., 1954. Т. 101. С. 29–49.

Константинова О. А. Эвенкийский язык. Фонетика и морфология. М.; Л.: Наука, 1964.

Лебедева Е. П., Константинова О. А., Монахова И. В. Эвенкийский язык. Л.: Просвещение, 1985.

Русская грамматика. М.: Наука, 1980.

Харанутова Д. Ш. Новые аспекты в изучении словообразовательной системы бурятского языка. Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2011. С. 54–67.

Ширшов И. А. Теоретические проблемы гнездования. М.: Прометей, 1999.

Л. Н. Романова, М. Н. Дьячковская

ФОЛЬКЛОР КАК ЖАНРО- И СТИЛЕОБРАЗУЮЩИЙ ФАКТОР ЯКУТСКОЙ ПОЭЗИИ ПЕРВОЙ ТРЕТИ XX в. (НА МАТЕРИАЛЕ ПОЭЗИИ А. Е. КУЛАКОВСКОГО, А. И. СОФРОНОВА, П. А. ОЙУНСКОГО)

Изучение фольклорных традиций в литературе – одна из наиболее актуальных и сложных задач современного литературоведения. Фольклор и литература как формы художественного освоения мира, при всей их специфичности, имеют между собой диалектическую связь, выражающуюся в способах отображения и моделирования окружающего мира, общности задач и относительному совпадению их форм и видов.

Исследование взаимоотношений фольклора и литературы в последнее время из частной проблемы фольклористики или литературоведения превратилось в отдельное исследовательское направление. Данный вопрос представляет обоюдный интерес для смежных научных дисциплин. Однако необходимо признать, что это направление более продуктивно и перспективно для литературоведения. В

литературоведении исследование данной проблемы подразумевает раскрытие вопросов о целях, путях, способах освоения фольклорных традиций литературой в отношении как целых литературных эпох и периодов, направлений и течений, так и творчества отдельных писателей. Процесс этот представляется не статичным, а развивающимся, имеющим множество трансформаций и модификаций, которые зависят от художественно-эстетических предпочтений, потребностей и ценностных ориентиров эпохи.

Фольклорная поэтика занимает особое место в истории зарождения и становления письменной литературы в целом и ее стилевой системы в частности. Литературная обработка и переработка автохтонных текстов, сюжетов, образов и мотивов, стилизация и имитация фольклорных произведений, трансформация фольклорных жанров, активное использование традиционных изобразительно-выразительных средств, сохранение и развитие ритмико-интонационной и звуковой организации народного стиха – это вполне естественные процессы на начальной стадии развития любой национальной письменной литературы. Устное народное творчество на данном этапе явилось не только богатым источником, основной базой для возникновения художественной литературы, но и мощным движущим фактором ее эволюции.

В истории национальных (особенно тюркоязычных) литератур России начала XX века наблюдаются схожие типологические явления, свидетельствующие о сильнейшем влиянии устного народного творчества на формирование индивидуального авторского стиля в художественной литературе. Благодатной почвой для литературы становятся **народный эпос, героические сказания** [якутские *олонхо*, бурятские *улигеры*, башкирские *дастаны*, *кубаиры* (*кобайыр*), казахские *жыры*, кавказские *нарты*], **танцевально-песенное наследие** (*осуохай*, импровизационные песни, эпическая песня *тойук,* песни-перепевы *туойсуу* якутов, *ёхорные* песни бурятов, *айтыши, баиты* башкир, *кожонги* алтайцев), **обрядовая поэзия сакрального характера** [*алгысы*-благопожелания, *андаҕар*-клятва, *кырыыс*-проклятие, *шаманское камлание* в якутском фольклоре; *алкыши*-благопожелания, *каргыши*-проклятия, *сургалы*-поучения, нравоучения, «плач» или «слава» (*мактал*) – в алтайском] и **образный афористический (паремиологический) фонд** (пословицы, поговорки, загадки).

Особый интерес представляет изучение степени влияния фольклора, его трансформаций и модификаций в разные исторические этапы развития национальных литератур, в частности, так называемых младописьменных литератур, которые, минуя ряд обязательных и исторически последовательных для классических литератур стадий развития, сложились как литературные традиции на базе активно бытовавшего, живого, высокоразвитого фольклора. К данному типу литератур относится якутская литература, формирование и становление художественных принципов которой как уникального этнокультурного явления пришлось на начало XX в.

Факт зарождения письменной якутской литературы связан с появлением первого письменного историко-литературного памятника «Воспоминания» А. Я. Уваровского (1848). Однако в силу того что сочинение не получило массового распространения среди носителей языка и литературное движение далее не оформилось в равномерно развивающийся художественно-эстетический процесс с осознанием исторической изменяемости стиля и языка, справедливо считается, что переход к осознанному авторству с системным представлением о внутренних законах литературного развития и с четким представлением гносеологической связи «автор – читатель» осуществляется позднее – в начале XX в. в поэзии А. Е. Кулаковского, первое произведение которого датировано 1900 г. И его поэзия наглядно показывает процесс перехода от фольклора к литературе, от устно-поэтической традиции к литературной, от певца к поэту.

Творческий импульс, данный первопоэтом литературной традиции, был получен его последователями поэтами А. И. Софроновым и П. А. Ойунским, которые осуществили переход на качественно новый уровень освоения литературой фольклорных традиций.

Проект «Фольклор как стилеобразующий фактор якутской поэзии первой трети XX в.» в рамках Программы фундаментальных исследований Президиума РАН имел целью определить роль и значение фольклорных стилеобразующих компонентов (жанр, композиция, язык, стиховая форма) в зарождении и становлении индивидуально-авторского стиля первых якутских поэтов, оказавших влияние на развитие всей стилевой системы якутской поэзии XX в.

Как известно, фольклорные традиции осуществляют себя, прежде всего, в качестве *влияний*, которые имеют более обширное значение, охватывающее мировоззренческие, ценностные, внутрилитературные проблемы фольклорного и литературного взаимодействия, и *заимствований*, предполагающих конкретные, наглядные формы использования, модификации, трансформации фольклорных жанров, образов и мотивов, изобразительно-выразительных средств. Согласно поставленным целям и задачам в работе над проектом предпринята попытка систематизации фольклорных заимствований в области генологии (жанрообразования), стиля и выявления генетической обусловленности стиховой формы на материале творчества основоположников якутской

литературы, первых национальных поэтов А. Е. Кулаковского, А. И. Софронова, П. А. Ойунского.

В проекте осуществлен анализ более 400 поэтических произведений вышеназванных поэтов по следующим исследовательским направлениям:

– выявление специфики освоения (адаптации, трансформации и модификации) фольклорных жанровых форм литературой и формирование жанровой систематики национальной поэзии;

– раскрытие индивидуально-авторского творческого использования возможностей поэтического языка фольклора (формульного фонда устной поэзии);

– изучение базисной роли фольклорного стиха в формировании системы национального стихосложения;

1. Жанр является одной из важнейших категорий истории и теории литературы. Жанр, с одной стороны, обладая «геном культурной памяти» (по М. Бахтину), является носителем многовековых «затвердевших» традиций, инвариантной структуры художественного мышления, с другой – в силу своей конкретной неповторимости в разные исторические эпохи и в разных персональных моделях литературного творчества расценивается как величина непостоянная и динамично развивающаяся. Уникальное свойство жанра как носителя генетических кодов и как развивающейся, динамичной, восприимчивой к традициям системы, реально осознали первые якутские поэты, которые рассматривали фольклорные жанровые формы как матричные базовые модели для литературных (поэтических) жанров. При этом у каждого из трех рассматриваемых поэтов свой путь творческого заимствования жанровых генотипов.

Знаменательно то, что первые поэтические сборники на якутском языке издавались под названием «Ырыа-хоһоон» (‘Песни-стихи’) (Кулаковский, 1924–1925; Ойунский, 1923, 1927, 1930); это название как нельзя более точно передает специфику процесса формирования жанровой систематики поэзии. Оно может оцениваться как теоретический термин, характеризующий переходное состояние от одного типа художественного сознания к другому (от устно-поэтического к литературному, предполагающему осознанное авторство). Позиция *«ырыа хоһоон»* свидетельствует о создании литературных жанров на базе песенной культуры народа (обрядовой и необрядовой). Данное понятие, по мнению Н. В. Покатиловой, является «переходной жанровой формой», «непосредственной предтечей *хо оон*» (Покатилова, 2003. С. 153).

Народно-песенное творчество проникает во все пласты поэтики якутской лирики и переосмысливается, трансформируется и модифицируется в соответствии с авторскими интенциями, стилем и требованиями литературного жанра.

А. Е. Кулаковский первым из поэтов показал возможности творческого освоения генологических возможностей устной поэтической традиции, активно введя в первую очередь формы обрядовой лирики народа саха (*алгыс*-заклинание, *алгыс*-благопожелание, *андагар*-клятва, *шаманское песнопение* и т. д.). Они вошли в литературу как твердые, канонизированные формы с точки зрения устойчивости основных жанровых маркеров: композиции, лексического состава (или системы поэтических средств – варьируемых или инвариантных), метрики, ритма, фоники.

В сборнике А. Е. Кулаковского 1925–1926 гг. из 33 произведений 7 произведений имеют прямую отсылку к обрядовой поэзии. Это: *алгысы* «Байанай алгыһа» (‘Заклинание Байаная’), «Оттоку олук алгыһа» (‘Благословение среднего поколения’), «Былыргылыы алгыс» (‘Старинное благословение’), *андагар*-клятвы «Былыргы саха андаҕара» (‘Старинная якутская клятва’), *ритуальный плач* «Эр аһыыта» (‘Плач по умершему мужу’); *календарные или сезонные обрядовые песни* – «Бүлүүлүү үҥкүү» (‘Вилюйский танец’), поэма «Сайын кэлиитэ» (‘Наступление лета’); *шаманское песнопение*, исполняемое во время камлания – «Ойуун түүлэ» (‘Сон шамана’). Более 10 произведений имеют непосредственное отношение к импровизационной песенной культуре народа саха. Например, в основу стихотворения «Вино» легли широко известные в народе песни о вине, в основу стихотворных портретов «Портреты якутских женщин», «Улусная женщина», «Красивая девушка» положены народные сатирические и лирические любовные песни-перепевы *туойсуу*, воспевающие красоту девушки или парня и т. д.

В жанровых предпочтениях Кулаковского прежде всего нужно исходить из проблемно-тематической направленности его поэтического творчества, которая может быть определена как нравоописательность. Этологические взгляды поэта в программном виде находят соответствующие жанровые формы, которые в целом не вписываются в сетку европейской (русской) поэтики, но порождены устно-поэтической традицией, определившей природную органичность существования фольклорных жанров в письменной литературе.

Глубина философских взглядов первого якутского поэта закономерно подводит его к рождению крупного жанра – поэмы «Сон шамана», где наиболее наглядно показан процесс окончательного перехода Кулаковского от устно-поэтической традиции (ритуально-мифологического материала) к литературной. Исследователи в связи с этим отмечают характерную стилевую черту его поэзии как эпизация лирики, «поэмное начало», выражающееся в эпической основе его творчества (Максимова, 2005. С. 44).

Творческое освоение и авторская индивидуализация фольклорных жанров и жанровых форм у Кулаковского происходит путем подчинения архаичных реликтов авторской интенции, авторской гуманистической и просветительской концепции. Впоследствии эти формы полноправно утвердились в жанровой системе якутской литературы всего XX в. При этом мы имеем право говорить о национальной самобытности жанровой классификации якутской поэзии, предполагающей самостоятельное существование и развитие жанровых образований, перешедших из фольклора в литературу.

Если для творчества Кулаковского опорной точкой стала в основном обрядовая поэзия народа саха, то для творчества А. И. Софронова базовой стала лирическая песня (любовная, философская, пейзажная), в особенности ее элегичные формы.

В творчестве А. И. Софронова-Алампа, основателя медитативной якутской лирики, наблюдается переход на качественно другой уровень фольклоризма, который характеризуется глубокой трансформацией устно-поэтических традиций, «растворением» жанровых признаков фольклора в литературной жанровой систематике.

В сборнике избранных произведений А. И. Софронова 1965 г. из 169 произведений к фольклорной видовой категории условно могут быть отнесены 11 стихотворений, из сборника «Лебединая песня» – 3. В его поэтическом арсенале есть календарные или сезонные песни, образующие *циклические образования* («Күһүн кэлиитэ» ‘Наступление осени’, «Кыһын кэлиитэ» ‘Наступление зимы’, «Кыһын» ‘Зима’, «Өрүс эстиитэ» ‘Ледоход’ и т. д.), *хороводные песни* («Оҕо-оҕо эрдэххэ» ‘Покуда мы дети-дети’» (1917), «Тулук-туллук доҕоттор» ‘Мои дружочки – снегири-снегири’ (1917), *скороговорки*, *отрывки из олонхо* и т. д. Обновляется в его творчестве и ритуальный благопожелательный (алгысный) жанр. В произведениях «Аттанар алгыс» (‘Алгыс на дальнюю дорогу’, 1925), «Үөлээннээхтэрбэр» (‘Моим ровесникам’, 1925) очевиден процесс своеобразного «отталкивания» от архаичного фольклора, преодоления фольклора изнутри, когда меняется рецептивная установка традиционного жанра.

Исследователи творчества Софронова, подчеркивая особую жанровую организованность его поэзии, уходящую корнями в устную народную традицию, выделяют в его творчестве жанры **песни**, **тойука** (песнопения, в т. ч. туойсуу, хоһуйуу – воспевание: «Белая пуночка», «Моей молодости», «Отчего ты запрещаешь петь...»), **алгыса** (благословения: «Пожелания на дальнюю дорогу»), **чабыргаха** (скороговорки: «Чабыргах»), **поэмы, лирических стихотворений** (посвящения, воззвания и т. д.) и **элегий** – *кэп туонуу* (сожаление о своей участи), *кутуруйуу* (скорбь, горевание о своей судьбе), *муҥатыйыы* (или муҥаныы – жалоба на судьбу), *суланыы* (раскаивание). В постижении особенностей индивидуального стиля поэта особую роль играют произведения последнего ряда. По характеру воспроизведения тех или иных состояний, эмоциональной напряженности переживаний, эти лирические стихотворения, без сомнения, относятся к элегии, уходящей корнями в фольклорную поэтику (лирические народные песни суггестивного плана). Однако своеобразие творческой манеры Софронова-лирика, глубина психологического раскрытия им человеческой природы в ее онтологической и гносеологической обусловленности, национальной идентичности выводит его произведения далеко за пределы жанровых границ «жалобной песни». Что касается нововведений в дефинициях жанра – *кэп туонуу*, *муҥаныы*, *суланыы* и т. д., то они, по сути, представляют собой синонимический ряд понятий более семантического характера, нежели жанрово-структурного. Здесь, на наш взгляд, речь идет не об определенных жанровых формах (т. к., по сути, ни в устном народном творчестве, ни в письменной литературе данных жанров как самостоятельных структурных образований не существует[1]), а о тематике медитативно-лирических произведений поэта. Произведения рассматриваемого типа в основном заключают в себе эмоциональную и мыслительную рефлексию, которая по преимуществу обращена к самоанализу. В них часто лирическая медитация, основанная на субъективных впечатлениях и переживаниях, органично переходит в философическую, ведущую к обобщенной типизации человеческой жизни («Мин кимминий?» ‘Кто я?’», «Баарбын барытын» ‘Все, что есть у меня’, «Миигин көрүмэҥ» ‘На меня не смотрите’, «Кырыйдым» ‘Состарился’ и т. д.).

Таким образом, жанровым воплощением нового стиля, зачинателем которого стал А. И. Софронов, стала элегия – социальная и философская, как наиболее полно отвечающая идеологии и творческому методу поэта. В начале его творческого пути элегия носит больше отвлеченно-медитативный характер, который выражается в склонности к отвлеченным олицетворениям, в стремлении видеть в природных явлениях отражение человеческих чувств и переживаний («Аан дойду ахтылҕана» ‘Тоска по родине’, «Күһүҥҥү түүн» ‘Осенняя ночь’, «Күн киириитэ» ‘На закате’ и т. д.). Эмоциональная рефлексия в лирике поэта приводит к углубленной психологизации лирического образа. Однако коренные изменения в социальной сфере жизни, переоценка духовных ценностей в начале XX в. влечет за собой изменение содержания софроновских произведений и обуславливает возникновение со-

[1] Они являются эмоционально окрашенной, семантической основой народных жалобных песен.

циальной элегии, в которой лирический герой уже не живет в отвлеченно-эмоциональном мире, а вынужден выражать свое отношение к окружающей действительности, к происходящим судьбоносным событиям. Но все же главным для поэта остается художественное осмысление законов бытия, ценностей человеческой жизни, что находит воплощение в философских элегиях. По своей сути элегии Софронова нравоописательные, «этологические», т. к. авторское внимание сосредоточено на становлении личности в его социальной, нравственной, психологической (духовной) особенностях. И в этом отношении, конечно, мы говорим о расширении жанровых границ традиционно-поэтической элегии.

С именем П. А. Ойунского связано формирование гражданской лирики в якутской литературе. Жанровые предпочтения поэта продиктованы его политическими убеждениями и жизненной позицией. Ойунский, восторженно воспринявший Октябрьскую революцию, был приверженцем пролетарской литературы. В соответствии с этим в его творчестве преобладают жанры, отвечающие требованиям времени, утверждающие «исторический оптимизм» при изображении современной автору действительности. В поэзии Ойунского преобладают произведения маршевого, декларативного характера, призывающие к активизации действия. Но при этом Ойунский в процессе «отталкивания» от фольклора на новом витке литературного развития не отказывается от фольклорной поэтики, активно «переплавляя» в своем творчестве жанровые формы, сюжеты, образы и мотивы, поэтическую лексику. Продуктивными выступают в его творчестве стихи, восходящие к трудовым народным песням («Артыаллар, уруйдаан!» ‘Славьте артели’), хороводным песням – *осуохай* («Эргэ үңкүүлэр – саңа хоһооттор» ‘Старые танцы – новые стихи’), *алгысным* формам («Алгыс» ‘Благопожелание’, «Аҕа алгыһа» ‘Благопожелание отца’), *үгэ* – басням («Мөккүөр» ‘Спор’), *андагар* – клятвам («Андаҕар» ‘Клятва’), народным лирическим песням («Таатта үрэх үрдүгэр» ‘На берегу реки Татты’, «Эмээхсин эгэлгэтэ» ‘Причуды старухи’, «Туйаарар туойбута» ‘Песня жаворонка’) и т. д. Для Ойунского фольклорный жанр осознанно служит, во-первых, оптимальной формой для восприятия читателя, воспитанного на эстетических традициях устной словесности; во-вторых, источником изобразительно-выразительных потенций жанра; в-третьих, каноном, образцом стихового (метрического, ритмического, звукового) строя.

Поэт в своем творчестве предпринимал попытки не только канонизирования стиховых форм, но и полноправного включения в литературную типологию жанров якутской поэзии форм, имеющих фольклорное начало. Так, программное произведение поэта «Красный шаман» идентифицируется самим автором как *олонхо-тойук* (олонхо-эпическая песнь). Действительно, произведение по своей структуре не вписывается в рамки европейской систематики жанров, хотя достаточно приближено к жанру драматической поэмы. Но введение в ткань произведения мифа в качестве одной из форм художественной условности, актуализация фольклорного сюжета, образов и мотивов, системы средств поэтической образности (формул, постоянных эпитетов, аллегорий, метафор и т. д.) делает это произведение уникальным в отношении жанровой идентификации. Произведение поистине несет в себе традиции эпического сказания – олонхо и не вписывается в рамки чисто литературного жанра в современном его понимании.

2. Фольклорная традиция наиболее отчетливо проявляется в языке и стиле литературного произведения, базирующегося на устной традиции. С точки зрения исследования генезиса и эволюции письменной литературы на начальном этапе ее развития, интересна природа возникновения и формирования поэтической образности в индивидуальном стиле первых национальных авторов. Закономерно, что традиционные развернутые эпитеты и сравнения, гиперболы, эпические формулы, повторы, синтаксический параллелизм, олицетворение и т. д. органично вошли в литературное пространство, обеспечивая художественным произведениям неповторимый национальный колорит. Вместе с тем они приобрели и собственно-авторское звучание.

Одним из наиболее значимых стилеобразующих элементов поэзии стал формульный фонд народной поэзии – стереотипные формулы, «универсальные средства языка устной поэзии» (Слепцов, 1990. С. 209), возникшие в эпоху синкретизма.

Для творческого освоения фольклорных традиций письменной литературой характерно перенесение формульных выражений в литературный текст в качестве базового стилеобразующего компонента. Здесь наблюдается как механическое заимствование фольклорных клише, так и свободное варьирование формулы в соответствии с новыми художественными задачами. Таковы в бурятской поэзии улигерные формулы и зачины в лирике Х. Намсараева и в поэмах Б. Абидуева, традиционные алтайские поэтические формулы плача в лирике П. А. Чагат-Строева и описательные формулы кожонгов в пейзажной лирике М. В. Мундус-Эдокова, аллегорическое толкование природных явлений формульного характера в поэзии тувинского автора С. Пюрбю и т. д.

Как известно, стилевая структура якутского героического эпоса олонхо в целом строится на формульном каркасе. Так, в олонхо «Нюргун Боотур Стремительный» в записи К. Г. Оросина (1895) содержится около 650 формул и формульных выра-

жений, на основе которых можно выявить основные типы традиционных формул: 1) **по характеру изображения**: формулы описания и действия; 2) **по семантике**: ритуальные формулы (космогонические, формулы обрядовых песен), формулы психологического состояния, формулы речевого этикета, хронотопические (формулы пространства и времени); 3) **по структурообразующим функциям**: начальные (инициальные), переходные (медиальные), концовочные, расчленяющие текст на смысловые части.

Фольклорные формулы в эпосе выполняют следующие взаимообусловленные и взаимопроникающие функции: 1) композиционно-организующие, 2) ритмико-образующие; 3) изобразительно-выразительные (украшающие). Кроме того, формулы являются одним из основных структурообразующих элементов, обеспечивающих жанровую синкретичность эпоса (формирование эпических формул из малых жанров фольклора: паремий, скороговорок, обрядовых жанров [алгыса (благословения, заклинания), кырыыс (проклятия) и пр.].

В целом при переходе от устной словесности в письменную литературу на начальном этапе развития литературы формулы сохраняют свои основные типы и функции. Однако если у Кулаковского формула использована в традиционном виде как инвариантная структура, сохранившая тирадную форму в виде фразовой синонимии, числовой вариации и т. д., то у Софронова и Ойунского наблюдается разложение формульной конструкции и его «растворение» в художественной ткани произведения.

Наглядным примером эстетического осмысления формульного богатства устной традиции стало поэтическое наследие первого якутского поэта Алексея Кулаковского. Поэзия А. Е. Кулаковского насыщена формульными выражениями. Кроме того, как и в фольклоре, малые жанры его поэзии в целом носят формульный характер (**алгысы**-заклинания, **алгысы**-благопожелания, хороводная песня, клятва, скороговорка), т. е. в определенной степени формула в этих произведениях является жанровым маркером, «эстетическим знаком, по которому легко узнается характер повествования» (Восточно-славянский фольклор, 1993. С. 423).

Большинство из формул представлены в традиционном, неизмененном виде, но есть и такие устойчивые выражения, художественные функции которых в связи с переменами, происходящими в мире, стране, современной автору окружающей действительностью и, главное, со своеобразием авторского видения мира, изменены. Так, готовые фольклорные формулы в поэзии Кулаковского приобретают художественную самостоятельность («Благословение среднего поколения»).

Характер изменений традиционных формул в его поэтических текстах можно определить как *явные*, предполагающие варьирование опорного текста путем амплификации[2] новыми формульными выражениями, и *латентные*, имеющие в виду насыщение традиционной формулы (при сохранении внешней формы) новым смысловым содержанием, вытекающим из контекста.

В поэзии Кулаковского представлен богатейший арсенал фольклорных формульных моделей: формулы, связанные с космогоническими мифами (миф о божественном создании мира, мифологическое время первотворения, мифологическая модель трехмерного мира), формулы благословения, заклинания, клятвы, числовые вариации, оценочно-характеризующие, нравоописательные формулы. Многие из них переосмыслены и значительно обработаны автором в семантическом плане. Не трансформируются формальные признаки, в основу новых формул также заложен синтаксический параллелизм, фразовая синонимия.

В каноническом виде в основном сохранены формулы, связанные с мифологическим мышлением, где человек как микрокосм является органической частью (моделью) космоса (в «Старинном благословении», «Заклинании Байаная», «Старинной якутской клятве», поэмы «Сон шамана» и «Наступление лета»). Модификация универсалий чаще носит скрытый характер, как в описании времени первотворения и заложенной Создателем – Юрюнг Аар тойоном «программы» гармоничного существования мира в поэме «Сон шамана». Мифологизированные формулы, сохраненные в архаическом виде, в этом произведении подчинены авторскому замыслу, направленному на раскрытие глобальных проблем человеческой цивилизации. Идея взаимосвязанности и взаимозависимости всего сущего на земле придает эпическим формулам современное звучание.

Наиболее ярко индивидуальный авторский стиль проявился в алгысных формулах и афористических выражениях (пословицах и поговорках).

Своеобразное применение фольклорная универсалия нашла у А. И. Софронова, чье творчество стало образцом органического соединения фольклорной поэтики с индивидуально-авторским стилем. В отношении формул необходимо отметить, что готовые клише о **верхних божествах и духах** («Олох уларыйыыта» ‘Перемены жизни’, «Ырыа таңарата» ‘Бог творчества’), **формулы алгыса** («Аттанар алгыс» ‘Благословение на дорогу’), **клятвы-заклинания** («Кэриэс» ‘Завещание’), формулы-портреты («Киһи» ‘Человек’), **формулы описания** («Этиңнээх ардах» ‘Гроза’) в его стихах и поэмах, освобождаясь от эпической монументальности, приобретают личностное звучание. Вариации образных конструкций формульного типа в лирике

[2] Амплификация – расширение, дополнение.

Софронова намного шире и свободнее, чем их прототипы.

Другой способ использования фольклорных универсалий наблюдается в его поэмах, где автор стремится к наибольшей эпизации. Здесь формулы сохраняют свою традиционную художественную функцию создания «высокого» (торжественного) стиля – это зачин, подготавливающий читателя к восприятию эпических масштабных картин, и детализированная оценочно-поэтизирующая характеристика. Однако меняется их семантическая основа, обусловленная авторским замыслом, его мировидением и эстетическими ориентирами.

В лирических стихотворениях П. Ойунского в основном наблюдается разложение формульной тирады и широкое использование постоянных эпитетов, генетически сводимых к формульности, свободное варьирование, уместное использование которых свидетельствует о глубоком знании поэтом законов фольклорного стиля. Этому, бесспорно, способствовала его кропотливая работа над творческим воссозданием монументального памятника – олонхо «Нюргун Боотур Стремительный».

Вместе с тем мастерское владение сказительским инструментарием (в т. ч. формульной его системой) налицо в олонхо-тойуке «Красный шаман», олонхо «Туналҕаннаах ньуурдаах Туйаарыма Куо» (‘Луноликая Туйарыма куо’), повестях «Великий кудангса» и «Дитя земли – удалец Николай Дорогунов».

3. В якутской поэзии, сохранившей элементы гетероморфности и асимметрии в построении стиха (астрофический стих, трансформации и модификации фольклорного стиха, переходные формы и полиметрические композиции), также можно выделить два направления движения — к канонизации и кристаллизации жестких форм и к созданию форм «освобожденных». Так, творчество А. Кулаковского — живая предыстория метрического письменного стиха, в его поэзии доведен до совершенства народный стих, в лирике же А. Софронова были предприняты попытки создания «правильного» по современным меркам свободного стиха. А П. Ойунский уже в 20-е гг. стал канонизатором строгой силлабической системы. Современная же якутская поэзия в основном вернулась к неоднородному стиху и верлибру, сочетающим в себе архаическую традицию с новейшими модерновыми тенденциями литературного развития, поэтому обращение к проблеме свободного стиха актуализировано самим ходом истории якутского стиха.

В якутском стихе, в котором не просто жива «генетическая память» о фольклорном стихе, но существует и параллельное, можно сказать, его бытование, данный вопрос наименее изучен.

В первую очередь речь идет о таком принципиальном вопросе, как существование системы стихосложения в фольклоре. Как известно, фольклорный стих в основе своей импровизационен, а в бытовании и развитии — текуч и вариативен, что чуждо любой метрической системе стихосложения с ее заданностью, подчиненностью определенным установленным законам. Иначе говоря, фольклорный стих по своей природе является дисметрическим. Хотя следует иметь в виду наличие более урегулированной стихотворной речи в обрядовой поэзии, лирических народных песнях, малых жанрах, что говорит о жанровой обусловленности народно-поэтических традиций. В связи с этим, с точки зрения исторической поэтики, концептуально значимыми являются взгляды Г. М. Васильева о тесной связи двух стилей пения с двумя видами стиха в письменной якутской традиции: *«дьиэрэтии»* с его ладовым своеобразием и многообразием мелодий песен со свободной организацией народного стихосложения и *«дэгэрэҥ»* с более четкой ритмической организацией с силлабическим стихосложением. Они вполне соответствуют положению Ю. Н. Тынянова о «динамическом принципе метра», постепенно вызревающего в историческом стиховом развитии и внутренне связанного с национальной языковой стихией (Тынянов, 1965. С. 65).

Якутский эпический стих с его ритмической неоднородностью имеет свободный характер, и эта свобода допускает замену одних слов и словосочетаний другими, неравносложными, в результате чего слоговый состав стиха принципиально непостоянен. Количество слогов в эпической строке колеблется от 1–3 до 20 слогов, хотя силлабических рядов в пределах одного текста может встречаться десятками, особенно в клишированных формулах, но чередоваться они могут совершенно беспорядочно. Также свою лепту вносят речитативная манера исполнения и напев, которые ослабляют регламентированность слогоисчисления. Однако из этого не следует, что силлабический принцип не имеет никакого отношения к народному стиху. Его влияние распространяется на отдельные компоненты стиха — формульные клише, начало и конец, обозначенные также и анафорическими созвучиями и фономорфологическями рифмами. Особое тяготение к силлабизму проявляется в окончании стихов, где довольно часто встречается трехсложная клаузула. Недаром в поэзии П. Ойунского, непревзойденного знатока фольклора и автора знаменитого олонхо «Ньургун Боотур Стремительный», трехсложная дактилическая клаузула, усиленная второй конечной, тоже трехсложной рифмой, стала национальной особенностью его стиха (Тобуроков, 1985. С. 102).

Ключевым моментом в определении природы стиха является его ритмическая характеристика.

Как известно, текст олонхо — это канонизированный формульный текст, где формулы представляют собой его матричную схему. По определению Р. Якобсона, «чем древнее черты, наблюдаемые в культурной модели того или иного тюркского народа, тем более выдержанными оказываются параллелистические основания их устной поэзии, в особенности эпоса» (Якобсон, 1987. С. 104). Эти слова с полным основанием можно отнести к олонхо, где строго выдержанный параллелизм со смысловым, логическим членением является основой его ритмической организации, средством активизации всех уровней. Не вдаваясь во все подробности сложной лингвофольклористической проблемы, следует выделить следующий аспект: параллелизм в олонхо — это, прежде всего, синонимическая, вариативная синтаксическая конструкция определительного характера, ритмически организующая текст олонхо. Множественность описаний, перечислений, различных градаций, выстроенных по определенному канону, является в тексте олонхо той структурой, в которой задействованы все ее составляющие: звуковое, лексическое, морфолого-грамматическое наполнение. Все это вместе взятое образует тираду — основную, целостную ритмико-интонационную единицу астрофической архитектоники эпического текста.

Подводя итог, можно сказать, что отсутствие в олонхо именно выдержанной метрической меры выдвигает на первое место другие существенные факторы композиционного построения — различные формы ритмико-синтаксического параллелизма. В связи с этим достаточно серьезной представляется проблема разграничения понятий, актуальных для народного стиха, как «аллитерационный принцип» и «аллитерационный стих — аллитерационная поэзия», где, по нашему мнению, необходимо различать историко-литературные и стиховедческие понятия.

Со стиховедческой точки зрения, звуковые повторы (аллитерация, рифма) не меняют характера системы стиха, например, рифмой пользуются и силлабический, и силлабо-тонический, и тонический стих. «Рифма, как эвфонический элемент, — писал А. П. Квятковский, — с неизменной добросовестностью обслуживает и метрический, и дисметрический стих; непосредственного отношения к ритму и метру она не имеет» (Квятковский, 1966. С. 248). Об этом же свидетельствуют данные Н. Н. Тобурокова: «Действительно, в олонхо, как и в народных песнях, аллитерация играет значительную роль. Если просмотреть строки олонхо “Мюльджю...” с самого начала, то окажется, что межстрочная аллитерация охватывает в среднем 45 %. То есть созвучие начальных слогов в олонхо не является всеобщим, обязательным правилом. Оно усиливается и уменьшается в зависимости от содержания. В данном случае в просмотренных мною 27 страницах текста аллитерация превышает 50 %, а в остальных же 22 — менее 50 %. Правда, есть места, где начальное созвучие доходит до 73,2 %, но есть отрывки, в которых аллитерация равна лишь 19,5 %. Таким образом, видимо, следует сделать вывод, что аллитерация является вспомогательным, дополнительным средством звуковой организации стиха олонхо» (Тобуроков, 2000. С. 145–146). К аналогичным выводам о роли аллитерации в эпическом стихе приходит и С. Ш. Чагдуров — бурятский исследователь «Гэсэра»: «... начальные аллитерации (обнаруживаемые в вертикальных сопоставлениях) и внутренние аллитерации (обнаруживаемые в горизонтальных сопоставлениях), а также конечные рифмы, включая рифмы полустиший, безусловно, усиливают и украшают собой основу улигерных стихов — синтаксические параллелизмы, а внутри строк — ритмические полустишия» (Чагдуров, 1984. С. 116). Следовательно, в стиховедческом плане относительно народного стиха речь может идти скорее об аллитерационном принципе, который основан на языковых законах гармонии гласных и сингармонизма и выполняет дополнительную ритмическую функцию, а не об аллитерационном стихе как таковом. А традиционное понятие якутской аллитерационной поэзии, используемое в общепринятой практике, применяется в историко-литературном толковании как закрепившийся способ маркировки фольклорного стиха и вкупе с ним и стиха Кулаковского. Как показывают последние исследования в этой области, Кулаковский, следуя традициям народного стихосложения и являясь по существу поэтом переходного типа, дал в своем творчестве прекрасные образцы фольклорного верлибра, доведенного до совершенства (Тобуроков, 2004. С. 171–178).

Попытка обосновать аллитерационный путь развития якутской поэзии и создать систему литературного аллитерационного стиха была предпринята Кулаковским в начале XX в. Об этом говорит совокупность его версификационных правил, стремление в своей поэтической практике следовать им, а самое главное то, какой резонанс получила его теория «Правила якутского стихосложения» (1925 г.). Она вызвала ряд дискуссий о специфике национального стиха в целом (1928–1929 гг.) и имела общекультурную значимость: влияние на литературную жизнь и творчество отдельных поэтов, а в современной поэзии ориентацию многих поэтов не столько на народный стих, сколько на традицию Кулаковского. Таким образом, именно в историко-литературном толковании используется понятие аллитерационного стиха в нашей поэзии как закрепившегося способа мар-

кировки народного стиха и стиха Кулаковского. Обсудив некоторые дискуссионные вопросы о характере фольклорного стиха, мы можем попытаться выделить его типологию с учетом национальных языковых и просодических особенностей, его специфики как архаической системы. Так, релевантными для якутского фольклорного (эпического) стиха являются следующие признаки: 1) метрическая неурегулированность и неоднородность стихотворного текста, предполагающего значительные асимметрические колебания в слоговом объеме строк в тексте; 2) синтаксический параллелизм как основа ритмической организации, построенный на смысловом членении стихотворных строк, где отсутствуют асинтаксические переносы; 3) канонизированная, формульная организация текста, ведущая к широкой синонимической вариативности параллельных синтаксических конструкций, в результате дающих объемные описания, перечисления, градации и другие виды логико-синтаксических фигур; 4) «полиметричность» – неоднородность композиции олонхо, где наряду с верлибром присутствуют тенденция к силлабизации и широкая аллитерированность в роли своеобразного маркера фольклорного стиха; 5) массивное использование различных видов аллитерации (строфической, горизонтальной) как способа звуковой организации текста, играющей как эстетическую роль, так и вторичную ритмическую функцию в скрепе частей формулы; 6) совпадение окончаний строк в виде фономорфологических рифм вследствие параллельности синтаксических конструкций; 7) тирадное композиционное построение текста и удлиненный эпический характер стиха, его астрофичность; 8) архаизированность стиля.

Представленная типология, на наш взгляд, дает возможность определить эпический стих как **фольклорный предверлибр** (Москвин, 2009. С. 283–294) и проследить в общих чертах характер развития свободного стиха литературной традиции, ведущего свои генетические истоки от фольклорного предверлибра.

В ретроспекции фольклорный предверлибр, как было сказано выше, стал базовой моделью для создания переходной формы литературного, письменного стиха Кулаковского, в котором он был доведен до совершенства. Также полиметричность текста олонхо, его ритмическая неоднородность в виде зачатков разных систем стиха, присутствующих в нем как тенденция, дали возможность развития строгой силлабической системы в реформаторской, гражданской поэзии П. Ойунского и трансформации фольклорного предверлибра в философской лирике А. Софронова, где организующим принципом стало личностное, рефлексирующее начало в отличие от эпической традиции А. Кулаковского.

Таким образом, исследование поэтического творчества якутских авторов периода становления дает поразительные результаты с точки зрения жанро- и стилеобразования, формирования национальной системы стихосложения.

Список литературы

Восточно-славянский фольклор: Словарь научной и народной терминологии. Минск: Наука и техника, 1993.

Квятковский А. П. Поэтический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1966.

Максимова П. В. Жанровая типология якутской поэзии: Вопросы эволюции и классификации форм. Новосибирск: Наука, 2002. 255 с.

Покатилова Н. В. А. Е. Кулаковский – первопоэт якутской традиции (истоки, эволюция, поэтика литературного творчества) // Кулаковский и время. Сб. науч. статей. М., 2003. 448 с.

Слепцов П. А. Якутский литературный язык. Истоки, становление норм. Новосибирск: Наука, 1990. 277 с.

Тобуроков Н. Н. Якутский стих. Якутск, 1985.

Тобуроков Н. Н. Ритмико-интонационная структура олонхо // Олонхо – духовное наследие народа саха. Якутск, 2000.

Тобуроков Н. Н. Стих Кулаковского // А. Е. Кулаковский в контексте историко-культурного развития XX в. Якутск, 2004. С. 171–178.

Тынянов Ю. Н. Проблема стихотворного языка. М.: Сов. писатель, 1965.

Чагдуров С. Ш. Стихосложение «Гэсэриады». Улан-Батор, 1984.

Якобсон Р. Работы по поэтике. М., 1987.

РАЗДЕЛ 6. ФИЛОСОФСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

А. М. Аблажей

ХРИСТИАНИЗАЦИЯ КОРЕННЫХ НАРОДОВ СИБИРИ КАК ПОПЫТКА ВОПЛОЩЕНИЯ «РУССКОЙ ИДЕИ»

Реальностью нашего времени стало кризисное состояние традиционной культуры коренных народов Севера, не выдерживающей столкновения с массовой культурой современной техногенной цивилизации. Кризис затронул практически все ее сферы, но одна из наиболее острых проблем – кризис сложившейся системы образования, которая, по сути, лишает народы их культурного своеобразия. Большие нарекания вызывает функционирование школ-интернатов, острой критике подвергается содержание традиционно преподаваемых учебных дисциплин, угрожающими темпами сокращаются сферы применения родных языков и т. д. Одновременно налицо попытки искусственного возрождения традиционной культуры, прежде всего религии, а некоторые ученые предлагают вообще ограничить образование детей аборигенов четырьмя-пятью классами, поскольку, по их мнению, продолжение обучения в школе в русле сложившихся стандартов неизбежно приводит к их культурной и социальной маргинализации. В этой связи особое значение приобретает анализ и интерпретация исторического опыта взаимодействия культуры аборигенов Сибири и русской культуры как досоветского, так и советского периодов, в ходе которого возникали, по сути, проблемы того же порядка. Одним из наиболее ярких и поучительных примеров такого рода могут служить усилия православной церкви по христианскому и, шире, общекультурному просвещению коренного населения Сибири.

Особый интерес представляет анализ истории православного миссионерства в Сибири в контексте генезиса и реализации «русской идеи». Напомню, что в отечественной социально-философской традиции под ней, в широком смысле, подразумеваются все особенности русского духа и русской культуры, в более узком она представляет собой не что иное, как телеологию России, учение о конечной цели ее национально-исторического бытия [Бойко, 2004]. Н. А. Бердяев в статье «Русская идея: основные проблемы русской мысли XIX века и начала XX века» определял русскую идею как основную проблему русской теоретической мысли и публицистики: «Русская мысль, русские искания XIX и начала XX в. свидетельствуют о существовании русской идеи, которая соответствует характеру и призванию русского народа». И. А. Ильин в статье «О русской идее» подчеркивал, что она выражает «русское историческое своеобразие» и в то же время – русское историческое призвание... указывает нам нашу историческую задачу и наш духовный путь... это творческая идея России» [Цит. по: Гидиринский, 2004. С.14].

Н. Данилевский и К. Леонтьев развивали свои философско-исторические воззрения в рамках органической теории социальных процессов. История в их понимании представляет собой своеобразное «поле», на котором «произрастают» отдельные культурно-исторические типы. Каждый из них является самобытным организмом, развивающимся по определенным естественным законам. Истории как единого целого, поднимающегося по ступеням прогресса, не существует. Модель выстроенного в одну линию человечества не более чем абстрактное представление. Но это не означает, что у истории нет никакого единства и конечной цели. «Прогресс состоит не в том, чтобы идти всем в одном направлении (в таком случае оно скоро бы прекратилось), а в том, чтобы исходить все поле, составляющее поприще исторической деятельности человечества, во всех направлениях» [Данилевский, 1995. С. 92]. Отсюда целью истории является достижение такого состояния, при котором все возможности культурной деятельности (в рамках какого-либо исторического типа) оказываются полностью реализованными.

Когда определенный исторический организм осуществит синтез всех возможных типов культурной деятельности (по Данилевскому – религиозной, собственно культурной, политической и социально-экономической), тогда и будет достигнута высшая провиденциально определенная цель истории. «Историческое поле», таким образом, будет пройдено во всех направлениях. Данилевский полагал, что подобным всесторонним культурно-историческим типом станет славянский мир во главе с Россией.

Не последнюю роль в создании такого мира играли попытки выстраивания религиозного единства государства в самой России. Не будем забывать, что первое место в уваровской триаде занимало именно православие. Активная борьба с иноверием, которое, по сути, подрывало нравственно-духовные основы государства, начинается именно со второй половины XIX в. Более того, следует также подчеркнуть, что в России для миссионерского дела изначально была характерна тесная связь как с образованием, так и с развитием русской государственности. В 1865 г. создается общероссийское «Миссионерское общество для содействия распространению христианства между язычниками», в 1870 г. получившее новое название – «Православное миссионерское общество». С этого момента миссионерская деятельность приобрела характер государственной политики, что подчеркивалось и статусом покровительницы – императрицы Марии Федоровны. Одной из главных задач «Православного миссионерского общества» провозглашалась борьба с язычеством. Действовало несколько особых противоязыческих миссий, главным образом среди сибирских народов: алтайская, иркутская, киргизская, забайкальская, камчатская, обдорская, сургутская, енисейская, якутская. В конце XIX в. в составе Православного миссионерского общества насчитывалось 44 епархиальных комитета, общая численность членов – около 14 тыс. чел.; капитал – около 1,6 млн руб., формировавшийся из членских взносов и добровольных пожертвований; ежегодно проводились миссионерские съезды [Словарь, 1896. С. 449].

Что касается Сибири, то здесь история распространения христианства берет свое начало в 1600 г., когда указом Бориса Годунова было «велено строить церкви для новокрещеных инородцев». Однако в XVII в. случаи крещения были единичны и связаны обычно с приездом «остяцких князей» в Москву для встречи с царем и подтверждения права на власть над своими соплеменниками. В «Описании Тобольской губернии» указывается, что «в течение всего XVII в. были отдельные случаи, когда князья остяцкие, ездившие в Москву, принимали со своими семействами православие и по возвращении строили у себя церкви... но об обращении простого народа не осталось никаких указаний» [Тобольская губерния, 1871. С. 59]. В 1602 г. была построена первая церковь в Обдорске (современный Салехард). В этот период особой миссионерской политики не проводилось; крещение являлось полностью добровольным поступком, что было еще раз подтверждено указом царевны Софьи от 1685 г.: «...которые иноземцы похотят креститься в православную христианскую веру волею своей и их велеть принимать и крестить, а не волею никаких иноземцев крестить не велеть» [Тобольские губернские ведомости, 1885].

Тема христианизации языческих народов Севера Сибири, продолжавшейся более трех столетий, неоднократно исследовалась отечественными и зарубежными авторами, прежде всего историками и этнографами, фиксировались изменения мировоззрения, культовой практики, религиозных представлений северных народов в результате взаимодействия традиционных религий и православия [Кононенко, 1971; Хомич, 1979; Алексеенко, 1979; Грачева, 1979; Сагалаев, 1991, и др.]. Из вышедших в последние годы работ следует особо выделить фундаментальный труд американского историка А. А. Знаменского, в котором предпринята попытка построения типологии межконфессионального взаимодействия (в данном случае – шаманизма и христианства). Основной вывод автора сводится к тому, что сибирские, чукотские и аляскинские аборигены отвергали, усваивали или переосмысливали элементы христианства, исходя из особенностей традиционной культуры и конкретных исторических обстоятельств [Znamenski, 1999; см. также: Зорин, 2001].

Говоря о христианизации сибирских аборигенов, необходимо иметь в виду существование двух ее типов, которые постоянно пересекались, обладая при этом ярко выраженным своеобразием. Первый связан с существованием духовных миссий, когда обращение язычников в христианство является целью деятельности не только отдельных людей, а специально учрежденных организаций – духовных миссий, а зачастую и государства; второй подразумевает непосредственное, стихийное взаимодействие широких слоев населения в условиях совместного проживания и сходных видов хозяйственной деятельности. В данном случае процесс взаимного восприятия новых мировоззренческих установок, религиозных представлений и обрядов растягивается на длительный срок, но оказывается более естественным и потому устойчивым.

Миссионерская деятельность, как особая церковная политика, со своими специфическими методами, задачами и целями, поддержанная государственной властью, начинается в царствование Петра Первого и связана в первую очередь с именем сибирского митрополита Филофея Лещинского, занимавшего этот пост в 1700–1709 и 1715–1720 гг. В 1706 г. царь издает специальный указ, по которому митрополиту Филофею предписывалось «...ехать во всю землю вогульскую и остяцкую, и в татары, в тунгусы и якуты, и в волостях, где найдет кумиры и кумирницы и нечестивые их жилища, и то все пожечь, и их, вогулов и остяков, Божию помощью и своими труды приводить в Христову веру» [Поселянин, 1992. С. 151]. После смерти Филофея

в 1727 г. миссионерство в Сибири надолго ослабло, поскольку ему, по мнению Н. Абрамова, «...не нашлось подражателей среди сибирского духовенства, а равным образом и преемники Петра далеко не с таким вниманием относились к распространению христианства в Сибири» [Абрамов, 1854. С. 58].

В 1745 г. при сибирском митрополите Антонии Втором в Обдорске была заложена церковь Петра и Павла, освященная спустя шесть лет. На причте этой церкви лежала задача обращения в христианство обдорского населения и «утверждение в вере уже принявших православие»; особой миссионерской должности при церкви предусмотрено не было. В 1789 г. миссионерская деятельность в Обдорском крае была полностью прекращена. По свидетельству автора «Истории Обдорской миссии» иеромонаха Иринарха, причиной этого стали «...волнения между инородцами восточной части России по случаю разжигания между ними слуха, что их хотят крестить насильно; действия проповедников постановлением Правительствующего Сената были остановлены... с 1789 по 1825 г. никаких мер к поддержанию и развитию миссионерства предпринимаемо не было» [Тобольский филиал Государственного архива Тюменской области (ТФ ГАТюмО). Ф. 144 (фонд протоиерея Александра Сулоцкого). Д. 10 (рукопись «Истории Обдорской миссии» иеромонаха Иринарха). Л. 3].

С целью усиления просветительской роли православной церкви большое значение придавалось переводческой деятельности, призванной способствовать возникновению и развитию письменной культуры коренных народов Севера, не имевших собственной письменности. Первые опыты по переводу христианских текстов на местные языки отмечены уже в конце XVIII в., большую активность в первые десятилетия XIX в. здесь проявили члены тобольского отделения «Библейского общества», предпринявшие попытки перевода Св. Писания на языки коренного населения. Член «Библейского общества» протоиерей Вергунов пытался переводить на «остяцкий язык» отдельные места Священного Писания, однако в 1821 г. эти переводы особая комиссия Академии наук сочла неудовлетворительными. Неудача в деле перевода священных христианских текстов на местные языки объясняется не в последнюю очередь тем обстоятельством, что такие переводы выступали не чем иным, как попыткой транслировать элементы православной культуры языковыми средствами и при использовании структурных элементов иной культуры – языческой. При этом христианский «Бог», «Господь» обозначался местным эквивалентом «Торум». Формально это правильно – в угорских языках «Торум» переводится как «бог». Однако в аборигенных религиозных культах «Торум» никогда не употреблялся в безличной форме, неизменно следовало какое-то личное имя: Нуми, Полум и т. п. С христианским «Богом» произошло то же самое, когда, следуя сложившейся структуре, к «Торуму» присоединялось личное имя, например Николая Чудотворца («Микола-Торум»), что в корне противоречит христианским представлениям о вседержителе, едином божестве.

Новый период в истории духовных миссий на Ямальском севере начинается с 1826 г., когда священный Синод выпустил указ «Об обращении инородцев в христианство». В 1829 г. тобольский архиепископ Евгений предпринял поездку в Обдорск и остался крайне разочарован состоянием православия у местных аборигенов, поскольку «...нашел, что так называемые остяки-христиане не только не имеют понятия о началах христианской религии, но даже не знают имени Иисуса Христа и пребывают в идолопоклонничестве» [ТФ ГАТюмО. Ф. 530 (Тобольская духовная семинария). Д. 3. Л. 49–50].

В 1832 г. в Тобольск приехал из Калужской губернии иеромонах Макарий (Боголепов), который подал на имя нового Тобольского архиепископа Афанасия прошение с просьбой направить его в Обдорск в качестве миссионера. Ему в помощники были определены послушник Соловьев и ученик Тобольской духовной семинарии Лука Вологодский, которому вменялось в обязанность изучать языки коренного населения. Миссия Макария продолжалась всего 8 месяцев, с июля 1832 по март 1833 г. За это время он сумел обратить в православие только 17 человек – восемь мужчин и девять женщин. Объясняя причины своего поступка, Макарий, прежде всего, сетовал на то, что миссионерская работа в Обдорске была возможна только в период январской ярмарки и сбора ясака, «...после чего сыскать их весьма неудобно» [ТФ ГАТюмО. Ф. 530. Д. 3. Л. 67].

Помимо этого, находясь в Обдорске, Макарий столкнулся с противодействием местного остяцкого князя, который «...никому не подает совета креститься: чрез сие самая немалая трудность предлежит приводить их в христианскую веру» [ТФ ГАТюмО. Ф. 156 (Тобольская духовная консистория). Оп. 25. Д. 9. Л. 102]. Особые трудности встретил Макарий и его помощники при попытках обращения в православие ненцев, приезжавших сюда с Ямала и из соседних с ним районов. Большой проблемой, по мнению все того же Макария, было и то, что «... язык их весьма недостаточен для объяснения истин христианской религии, от чего и крещеные остяки никакого почти понятия не имеют об оной» [ТФ ГАТюмО. Ф. 156. (Тобольская духовная консистория). Оп. 25. Д. 9. Л. 106].

В силу всех этих причин, а также по «слабости здоровья» и собственной просьбе Макарий был уво-

лен с поста миссионера. Вскоре в Тобольск возвратились и его помощники. На этом недолгая история миссионерской деятельности иеромонаха Макария закончилась; архиепископ Афанасий сообщил в Синод «...о прекращении действия миссии» [Тобольская духовная консистория). Оп. 25. Д. 9. Л. 123]. Однако формально она была упразднена только в 1836 г. Синод в своем постановлении отметил, что в Обдорске, «...по неимению в виду довольно способов и надежд, до времени не учреждать миссии (не назначать туда специального миссионера), а назначить туда священника, который своей жизнью, своим обращением привлекал бы к себе инородцев и, крестя по крайней мере немногих из них, приготовлял бы почву к будущему просвещению сего племени» [ТФ ГАТюмО. Ф. 144. Д. 10. Л. 7]. Тем не менее Лука Вологодский, следуя постановлению Синода, еще около двух лет успешно трудился на ниве миссионерства.

С прекращением деятельности иеромонаха Макария и Луки Вологодского проповеднические обязанности в регионе стала исполнять основанная в 1836 г. духовная миссия при Кондинском монастыре [ТФ ГАТюмО. Ф. 156. Оп. 25. Д. 70. Л. 2]. Однако большая удаленность от Обдорска и нехватка подготовленных миссионеров делали ее действия малоэффективными. В 1848 г. Тобольская духовная консистория на своем заседании разбирала вопрос о создании особой Обдорской миссионерской церкви для «распространения и проповедования христианства самоедам-язычникам» [ТФ ГАТюмО. Ф. 156. Оп. 25. Д. 77. Л. 40]. При ней предполагалось учредить походную церковь для проповеди в местах кочевок ненцев, что позволило бы «лучше узнать инородцев, войти к ним в доверие» [ТФ ГАТюмО. Ф. 156. Оп. 25. Д. 77. Л. 40]. Миссионер обязан был изучать местные языки, «домашний и общинный быт инородцев, топографию и все заметное между ними относительно их ремесел, поверий, привычек и необходимых жизненных условий». Примечательно, что миссионерам не рекомендовалось вступать в брак в течение как минимум пяти лет, учитывая суровые условия края и постоянные разъезды. Чтобы обезопасить миссионеров от обвинений в мздоимстве, предписывалось все требы «совершать безвозмездно»; жалованье миссионера должно было составлять 300 рублей в год [ТФ ГАТюмО. Ф. 156. Оп. 25. Д. 77. Л. 42]. Однако Синод не дал разрешения на учреждение новой миссии, ссылаясь на волнения среди «самоедов», имевших место в 1839 и 1841 гг. и произошедших якобы из-за действий духовенства.

Подготовительным шагом к созданию Обдорской духовной миссии послужило назначение на должность священника Петропавловской церкви в Обдорске молодого, только что окончившего семинарию Петра Попова, учредившего школу при церкви, где обучалось несколько мальчиков – детей коренных жителей. Толчком к созданию миссии послужило назначение на пост тобольского губернатора Г. Х. Гасфорта, который после инспекторской поездки в Обдорск посчитал необходимым усилить действия на ниве «христианского и гражданского просвещения», так как от этого, по его мнению, зависело «...уничтожение вредной для развития края обособленности и замкнутости инородцев» [ТФ ГАТюмО. Ф. 144. Д. 10. Л. 10]. Кроме того, распространение грамотности благодаря миссионерской деятельности могло оказать «...существенное влияние на успех поднятия их из того жалкого положения, в каком, благодаря своей неразвитости, они очутились в столкновении с относительно развитыми русскими колонистами» [ТФ ГАТюмО. Ф. 144. Д. 10. Л. 12]. Что касается волнений 1839 и 1841 гг., то они, по мнению Гасфорта, представляли собой «...не что иное, как результат лишь внутренней неурядицы среди инородцев Обдорских, проживавших совершенно изолированно от русского населения» [ТФ ГАТюмО. Ф. 144. Д. 10. Л. 12].

Заручившись поддержкой губернатора, тобольский архиепископ Евлампий отправил в Синод предложение об открытии духовной миссии в Обдорске, при местной церкви. Соответствующий указ Синода последовал в 1853 г. Согласно данному указу, перед вновь образованной миссией ставилась задача «...обращения в христианскую веру необращенных заобдорских остяков и самоедов, живущих к берегам Ледовитого океана... для чего необходимо послать в эти кочевья приспособленных миссионеров, старались бы вообще сделаться полезнее» [ТФ ГАТюмО. Ф. 156. Оп. 25. Д. 127 (5). Л. 3]. Во исполнение данного указа Тобольская духовная консистория выпустила собственный указ, в котором, прежде всего, обращалось внимание на то, что «некрещеные остяки и самоеды есть только в приходе Обдорской Петропавловской церкви, стоящей вниз по течению Оби, самой последней к Ледовитому морю, и живущие здесь некрещеные инородцы постоянного жительства не имеют» [ТФ ГАТюмО. Ф. 156. Оп. 25. Д. 127 (5). Л. 7]. Исходя из этого, учреждалась должность миссионера Обдорской церкви, в обязанности которого входили постоянные разъезды по «чумам инородцев» и их «просвещение в христианской вере»; обязанности миссионера были возложены также на приходского священника.

Одновременно с Обдорской миссией было создано Березовское военно-окружное управление, которое вместе с инородческой управой должно было оказывать помощь миссии в деле христианского просвещения, утверждения грамотности и гражданского устройства. В 1864 г. архиепископ

пу Феогносту поступило предложение из Управления Тобольской губернии о целесообразности введения при Обдорской духовной миссии должности особого священника для миссионерской работы среди «самоедов» Ямала, при одновременном учреждении у них отдельного родового управления, что диктовалось специфическими условиями их жизни. Феогност сделал в связи с этим запрос в миссию: сколько среди «самоедов» окрещенных, какие способы миссионерской деятельности предпочтительнее? Дм. Попов в своем ответе указал на острую потребность в учреждении отдельного миссионерского стана для «самоедов», поскольку «поездки к ним очень затруднительны» и единственная возможность общения – посещение ими в зимние месяцы Обдорска для сдачи ясака [ТФ ГАТюмО. Ф. 144. Д. 10. Л. 61].

Год спустя последовал указ Синода, предписывавший учредить «особую миссию в низовых кочевьях самоедов для водворения христианства и развития в них стремления к образованию и оседлости» [ТФ ГАТюмО. Ф. 144. Д. 10. Л. 62]. Одновременно указывалось на предполагаемую поддержку данному начинанию со стороны ряда старшин нескольких ненецких родов – Окотетто, Худи-Лахури, Адер-Хамданов. В том же году П. Попов предпринял специальную поездку по местам предполагаемого размещения новой миссии и выбрал два места – около Хаманельского мыса на п-ве Ямал и на месте впадения рек Пур и Таз к Обскую губу. В 1867 г. Синод постановил учредить при Обдорской миссии два стана: Обдорский и Тазовский.

Практическое воплощение в жизнь планов создания при Обдорской миссии особой школы для детей аборигенов произошло в том же 1867 г., после открытия Тазовского стана Обдорской духовной миссии, когда в связи с учреждением должности третьего миссионера диакону миссии было предписано заняться организацией школы и преподаванием в ней. В 1869 г. при Обдорской миссионерской школе числилось 28 мальчиков, из них 2 – дети коренных жителей. Период учебы продолжался с 15 сентября по 23 декабря и с 15 января по 7 июня. В отчете миссии за 1876 г. указывается, что существуют 2 школы: женская, с 14 ученицами, из них 5 ненецких девочек, с преподаванием грамоты и рукоделия, и мужская, с 50 учениками, из них 16 ненцев и 2 ханты, с преподаванием Закона Божьего, Св. Истории, чтения и чистописания. Дети коренных жителей, прежде чем перейти к изучению этих предметов, проходили курс в «подготовительном отделении» школы, где обучались русскому языку.

К концу XIX в., в период, когда Обдорской миссией руководил иеромонах Иринарх (И. С. Шемановский), в качестве базовой модели начального образования детей аборигенов была принята система Ильминского, предполагавшая первоначальное обучение (по крайней мере, в течение первого года) на родном языке. В связи с этим миссионерами был подготовлен ряд переводов наиболее употребимых текстов на местные языки. Еще раньше, в 1887 г., И. Егоров создал азбуку хантыйского языка, написал первые буквари на хантыйском и ненецком языках, перевел на хантыйский «Священное слово».

С начала 1890-х гг. и до начала XX в. в миссии активно работал Иоанн Егоров (ханты), дьякон, переводчик и учитель миссионерской школы. В 1898 г. Настоятелем миссии становится иеромонах Иринарх (Иван Семенович Шемановский), написавший «Историю Обдорской духовной миссии», впервые опубликованную в 1905 г. в журнале «Православный благовестник». При нем была реализована идея открытия миссионерского стана в поселке Хэ, напротив Хаманельского мыса. С этого времени постоянно один из миссионеров находился там, совершая путешествия по берегам Обской губы и на Ямал – летом по воде, зимой на оленях. Последний известный по архивным документам член Обдорской духовной миссии – священник Андрей Шихалев, сведения о котором датируются 1919 г. Окончательное прекращение деятельности миссии относится к началу 1920-х гг.

На всем протяжении истории существования Обдорской духовной миссии большое значение придавалось школьному делу, поскольку такой способ приобщения к русской культуре вообще и православному христианству в частности должен был, по мнению миссионеров, приносить наиболее ощутимые результаты в сфере христианского просвещения аборигенов. Несколько выпускников продолжили обучение в Тобольской семинарии, где было открыто специальное инородческое отделение и где в 1892 г. училось 7 ханты и 1 ненец. В 1885 г.трое учеников Обдорской миссионерской школы были отправлены для продолжения образования в Тобольское духовное училище. Известно, что организатор и первый учитель одной из первых советских школ П. Хатанзеев, истории жизни которого посвящен специальный стенд в Тобольском краеведческом музее, был выпускником миссионерской школы и при подготовке первого хантыйского букваря использовал опыт и учебники своего учителя, преподавателя Обдорской миссионерской школы Иоанна Герасимова.

Если говорить в целом о той культурной ситуации, которая сложилась на Обском Севере в результате деятельности православных духовных миссий, с одной стороны, и естественного процесса этноконфессионального взаимодействия коренных жителей и русских переселенцев, с другой, то наиболее распространенное ее определение как «двоеверия», когда «крещеный инородец, не покидая своих прежних богов, переносил на новую религию

свои прежние языческие понятия и воззрения. Вот почему религиозные взгляды инородцев представляют из себя смесь плохо привившегося христианства и язычества с преобладанием последнего». [ТФ ГАТО. Ф. 58. Оп. 1. Д. 5. Л. 11].

Более того, к концу XIX – началу XX в. среди целого ряда этноконфессиональных групп коренного населения региона наблюдался явный спад интереса к христианству. По описанию Н. Носилова, «еще всего 12 лет назад (в 1894 г. – *А. А.*), живя среди них целые три года, я едва с трудом мог уговорить некоторых из них, чтобы они мне показали своих богов и позволили присутствовать на их жертвоприношениях... они все делали тайно, скрывались даже от меня, не говоря уже о том, что они все это делали в великом секрете от начальства и "батюшки", а теперь так открыто, ясно говорили об этом деле даже с приглашением нас... на свои праздники. Это меня поразило... разговаривая с батюшкой, узнал еще больше – вогулы (устаревшее название манси. – *А. А.*) стали явными идолопоклонниками, мало уже встретишь в храме вогулов. Они плохо, лениво, неохотно посещают свой храм в праздники; в посты их ныне собирается самая малость; прежде я даже замечал среди них такую веру, которой можно позавидовать, но ныне я ничего подобного уже не видел, и это подтверждает и само духовенство края» [Носилов, 1914. С. 151].

Подобный ренессанс традиционных верований мог произойти в силу ряда причин: с одной стороны, поскольку манси считались давно окрещенными, наметилось явное падение активности миссионерской деятельности церкви; с другой – активизировалось самосознание этнической культуры, более выраженными становились процессы актуализации ее наличного содержания. Отсюда и определенная реставрация традиционной религии, резкое падение авторитета христианства. Но там, где процессы трансформации еще не достигли пика активности, например у северных хантов и ненцев, ничего подобного не было. Миссионеры, наоборот, отмечали повышение интереса к христианству, к школьному обучению, в целом ряде случаев к миссионерам обращались за советом, помощью, содействием.

Отдельные элементы христианства прочно закрепилась в традиционной культуре коренных народов Севера. Свидетельством может служить, например, тот высокий авторитет, которым обладает здесь такой христианский святой, как Николай Чудотворец; шаманы и в наши дни просят привезти им в подарок иконки с изображением «Миколы». Элементы христианской обрядности проникли даже в один из наиболее знаковых обрядов – медвежий праздник. В его описании, сделанном в 1930-е гг. В. Н. Чернецовым, приводятся примеры активного сатирического обыгрывания фигуры православного священника [Источники по этнографии.., 1987. С. 218–230].

Анализ исторического опыта деятельности православных духовных миссий убедительно показывает: инокультурные элементы не могли оцениваться, закрепляться и транслироваться в культуре иначе, чем в составе уже существующих элементов, в ходе межкультурного взаимодействия использовались лишь уже имеющиеся в локальной культуре структуры. И чем более схожи структуры, тем успешнее и плодотворнее межкультурные контакты. Специфика религиозного мировоззрения русских переселенцев, которое обычно классифицируют как народное православие (сочетание христианства и элементов дохристианского язычества), не могла не наложить глубокий отпечаток на его взаимодействие с традиционными культурами коренного населения Севера. Известно, что и русское население зачастую, подобно аборигенам, достаточно безболезненно включало персонажей местной религии (духов мест и т. д.) в повседневную религиозную практику. Столкновение двух различных религиозных систем демонстрирует факты, позволяющие говорить о том, что взаимодействие национальных культур происходит по пересекающимся нормам сторон взаимодействия. Таким образом, восприятие христианства происходило лишь в той мере, в какой его символика, обрядность и риторика вписывались в систему языческих представлений, традиционного хозяйственного календаря и повседневного поведения аборигенов Севера.

В целом попытки наладить школьное дело в рамках процесса христианизации были малоуспешными. Относительно небольшим на протяжении всего периода существования миссионерских школ был контингент учащихся, полученные знания и навыки при возвращении в привычное культурное окружение быстро забывались. Миссионеры признавали, что дети, учившиеся в школах, мало чем отличаются от остальных своих сородичей по поведению и образу мыслей. Важнейшей причиной этого был резкий отрыв предложенной модели, форм и методов, содержания школьного образования от повседневных нужд, привычек местного населения. Идея организации церковных школ в таком варианте означала слишком резкое и явное нарушение традиции и не нашла отклика в местной среде.

Несмотря на это, историческое значение деятельности миссионеров на Приобском Севере весьма значимо. Прежде всего, трудно переоценить то огромное влияние, которое оказало на судьбы традиционной культуры аборигенов появление письменности и приобщение народов региона к русскому языку и русской культуре, хотя процесс массового овладения русским языком растянулся на долгие года. Колоссальное значение имело и

включение коренного населения в общероссийский социокультурный контекст.

Есть все основания утверждать, что задача христианизации коренного населения в том виде, как она была сформулирована и реализована на том же ямальском Севере в течение второй половины XIX – начала XX в., представляла собой, по сути, цивилизаторский проект – проект ускоренного приобщения аборигенов Сибири к русской цивилизации. В конечном итоге задачей только *христианского* просвещения дело не ограничивалось – не меньшее значение придавалось овладению русским языком, русской культурой в широком смысле слова, расширения в конечном счете русского культурного пространства. Исходя из такой постановки вопроса, мы имеем полное право квалифицировать христианизацию как оригинальный вариант попытки воплощения «русской идеи».

Список литературы

Абрамов Н. Проповедь Евангелия сибирским вогулам // Журнал Министерства народного просвещения. 1854, август. С. 40–59.

Алексеенко Е. А. Христианизация на Туруханском Севере и ее влияние на мировоззрение и религиозные культы кетов // Христианство и ламаизм у коренного населения Сибири. Л., 1979. С. 50–61.

Бойко П. Е. Этапы эволюции русской идеи в отечественной историософской мысли // ТОТИМ. Философский журнал, 2004, № 1. Взято: http://korfo.kubsu.ru/totum/eng/012002/boyko.html (режим доступа: 3.09.2011)

Гидиринский В. И. Проблемы русской идеи в отечественной философии: история и современность // Вестник ТГПУ. 2004. Вып. 2 (39). Сер.: Гуманитарные науки. С. 11–20.

Грачева Г. Н. К вопросу о влиянии христианизации на религиозные представления нганасан // Вопросы научного атеизма, этики и эстетики. Л., 1971. С. 29–49.

Данилевский Н. Я. Россия и Европа. СПб., 1995.

Зорин А. В. Рецензия на книгу А. А. Знаменского «Shamanism and Christianity» // Вопросы истории. 2001. № 9. С. 167.

Источники по этнографии Западной Сибири. Томск, 1987.

Кононенко В. А. Влияние христианства на религиозные верования народностей Северо-Западной Сибири // Вопросы научного атеизма, этики и эстетики. Л., 1971. С. 100–109.

Носилов Н. Путешествие в страну вогулов. СПб., 1914.

Покровский Н. Н. Русская Православная Церковь в освоении Сибири. URL: http://zaimka.ru/religion/pokrovsky1.shtml (режим доступа 5.03.2010).

Поселянин Е. Русская церковь и русские подвижники XVIII в. М., 1992.

Сагалаев А. М. Урало-алтайская мифология. Символ и архетип. Новосибирск: Наука, 1991.

Словарь Брокгауза и Эфрона. Т. 37. СПб., 1896.

Тобольская губерния. Список населенных мест по сведениям 1868–1869 гг. СПб., 1871.

Тобольские губернские ведомости (ТГВ). 1885. № 14.

Хомич Л. В. Влияние христианизации на религиозные представления и культы ненцев // Христианство и ламаизм у коренного населения Сибири. Л., 1979. С. 12–28.

Znamenski A. A. Shamanism and Christianity. Native Encounters with Russian Orthodox Missions in Siberia and Alaska, 1820–1917. Greenwood Press. Westport, Connecticut, London, 1999.

Р. Г. Апресян

ЛОГИКА НЕНАСИЛИЯ И ЭТИКА СИЛЫ

Идея ненасилия, как и другие близкие ей идеи толерантности, культуры мира и др., в какой-то момент получили в России широкое и благотворное распространение, главным образом благодаря частным исследовательским и образовательным инициативам конца 1980-х – начала 1990-х гг. Тогда ненасилие в первую очередь осмыслялось как принцип, предъявляемый к государству и призванный ограничить всевластие государства. Сегодня, к сожалению, можно говорить о практически полной редукции общественного воодушевления по поводу философии ненасилия. Прививка философией ненасилия рубежа 1990-х гг. оказалась слишком слабой, чтобы произвести какие-то системные изменения в российском общественном сознании. Постсоветское российское общество не выдержало проверку на ненасилие.

Фиаско философии ненасилия в современной России было предопределено не только инертностью народного и общественного духа, на протяжении столетий находившегося под гнетом авторитарной или тоталитарной власти, неразвитостью

массового правового сознания и общественных демократических традиций. Его причины кроются и в том, каким образом эта философия продвигалась в обществе и в каких формах она воспринималась и выражалась образованными людьми. Идея ненасилия оказалась слабо концептуализированной. Ее этический, социологический, политологический контекст оставался неясным. Ее отличал нормативно-ценностный абсолютизм и, следовательно, непрактичность. Наконец, ненасилие обсуждалось абстрактно – как некий универсальный нравственный принцип, не преломленный в индивидуально-поведенческие, общественные и политические тактики, учитывающие во всей полноте живую практику разрешения и неразрешения конфликтов.

Понятия насилия и ненасилия

Негативное ценностное значение слова «насилие» можно считать устоявшимся. Соответствующий глагол «насиловать» подтверждает это. Хотя насилие означает использование силы, воздействие силой, я отличаю выражение «применение силы» как ценностно нейтральное от слова «насилие», обозначающего неправомерное применение силы. Теоретический опыт такого различения достаточен, что хорошо видно хотя бы по трудам таких русских мыслителей, как Н. А. Бердяев (Бердяев, 1993. С. 308–309) или И. А. Ильин (Ильин, 1993. С. 35–36).

Говоря об *идее* ненасилия, я имею в виду общее понятие, во многих учениях императивное, т. е. требующее своего непременного применения в практике человеческих и общественных отношений. *Под насилием* же я понимаю все то, что неправомерно понижает нравственный (духовный), социальный (в том числе правовой) и жизненный статус человека, а также угроза этого. Таковы четко обозначенные границы насилия. Ключевыми в этом определении являются два понятия: «неправомерно» и «понижение статуса». Неправомерность следует понимать в буквальном смысле этого слова – как соразмерность праву. «Правомерность» – это не чья-то (субъективная, случайная) точка зрения, это точка зрения права. Для нашего времени универсальным выражением права являются «Всеобщая декларация прав человека» (принятая ООН в 1948 г.) и другие международные правовые документы по гуманитарным проблемам. Под «понижением статуса» следует понимать в объективном плане лишение жизни и имущества, нанесение ущерба здоровью, имуществу, положению, попрание прав, – любое нарушение статус-кво; а в субъективном плане – разрушение, нарушение идентичности индивида. Очевидно, что определения насилия, типа толстовского, как действия, совершаемого в отношении другого против воли другого, предлагаемой про-правовой трактовке насилия не отвечают. Ненасилие – обратно насилию, в том смысле, что им подтверждается статус-кво. Это такое по характеру отношение к другому, при котором другому не причиняется вред, права другого не нарушаются и тем самым соблюдается минимальная справедливость. Ненасилие – это не забота, не благотворение, не милосердие и даже не уважение. Это всего лишь невреждение[1]. И если здесь остается уместным говорить о самоценности личности, то лишь в смысле ее автономии, суверенности.

Насилие и ненасилие – парные понятия, и по инерции восприятия парных понятий они могут ошибочно рассматриваться как оппозиционно симметричные не только по своему фактическому содержанию, но и по этическому статусу. Однако они не полностью симметричны. По своему фактическому содержанию и насилие, и ненасилие характеризуют действия (череду действий, политику). При этом в отличие от насилия ненасилие является еще и этическим (моральным) принципом. Даже для злого сознания нет необходимости в принципе насилия. Насилие повседневно, обычно, инерционно. Повседневное и стихийное не нуждается в нормативном оформлении и тем более этической аргументации. Мир погряз в насилии, и, наоборот, необходимо усилие для осознания возможности и предпочтительности ненасилия. Даже в этом насильственном мире. Необходимость такого усилия делает ненасилие этико-мировоззренческой и практически-нравственной проблемой. Это уже в ответ на проповедь и наставление ненасилия и развивающие их учения (в наиболее полной форме данные Толстым, Ганди, Кингом) были предприняты попытки оправдания и обоснования необходимости применения силы[2].

Ненасилие является одним из *первостепенных* нравственных принципов, т. е. таким, исполнение которого необходимо в первую очередь, с которого начинается нравственность, нравственное отношение к другому. В этом смысле ненасилие насущнее благотворения, милосердия, заботы. Благотворением и заботой задается одно измерение морали, а именно то, которое ориентирует человека на совершение добра, и здесь ненасилие первичнее в том смысле, что сначала надо быть ненасильственным, а потом уже благотворительным, милосердным, заботливым. Тем самым гарантируется, что в благотворении и заботе не будет нарушено достоинство и права того, по отношению к кому они направлены. Ненасилие первостепенно и в действиях другого рода – в противостоянии неправому и злому. И здесь следует, прежде всего, воздерживаться от

применения силы, далее следует воздерживаться от применения ограничивающей силы, далее – от подавляющей силы, далее – от разрушительной силы.

Однако определенностью к добру, ориентацией на добро не исчерпывается мораль. Другим ее измерением является противостояние злу, отвращение от зла. Собственно говоря, утверждением ненасилия в качестве предшествующего благотворению и заботе устанавливается приоритетность противостояния злу в сравнении с обращенностью к добру и противостояния злу в сравнении с творением добра. Если можно говорить об абсолютных нравственных принципах, то таков, по сути, один: противостояние злу. Требование творить добро обусловлено им: твори добро при условии, что не допускаешь зла. Принципом противостояния злу обусловлен и принцип ненасилия. По отношению к нему принцип ненасилия является вторичным. Поэтому хотя ненасилие – само по себе благо, принцип ненасилия не безусловен, поскольку и в императивно-ценностном, и практически-поведенческом планах он контекстуализируется противоположностью добра и зла и опосредован этой противоположностью.

Насилие и ненасилие – характеристики действий. Действия бывают инициативными и реактивными. Нравственность однозначно предопределяет инициативные действия – они должны быть добродетельными, т. е. не наносящими вреда, справедливыми, милосердными, заботливыми. В общем виде принцип инициативного действия задается в морали *золотым правилом*. В христианстве принцип инициативного действия был усилен *заповедью любви*, содержательно более определенной по сравнению с золотым правилом. В своей радикальной форме она выражена в *заповеди любви к врагам*. Однако эта заповедь касалась инициативного отношения и инициативных действий. Вопрос огромного напряжения касается того, как проявлять любовь к врагам не когда они пленены и скованы, не когда они по слабости, благодушию, тактическому умыслу или тем более внутренней духовной перемене оказываются миролюбивы, и даже не когда они только сквернословят и наносят оскорбления, – но когда они однозначно ведут себя как враги, т. е. наносят вред имуществу, похищают или уничтожают его, угрожают здоровью и жизни соратников, близких и вообще невинных людей. Иными словами, как проявлять любовь к врагам в условиях, когда этой любовью может быть поставлена под сомнение и ущемлена любовь к близким, друзьям, неврагам?

Настаивающие на безусловном нравственном приоритете ненасилия и безусловном недопущении применения силы в отношении несущего зло не только уходят от ответа на этот вопрос (подменяя прямой ответ утонченными философскими разъяснениями и этическими убеждениями), но и по существу подталкивают к попустительству злу.

Наряду с инициативными действиями нравственность регламентирует и реактивные действия – посредством *принципа равного воздаяния*, причем двояко. Реакции на положительные, благотворные действия регулируются *правилом благодарности*; на отрицательные, тлетворные действия – *правилом талиона*. По-своему обе стороны принципа равного воздаяния раскрываются в известном наставлении Конфуция. На вопрос: «Правильно ли отвечать добром на зло?» – он ответил: «Как можно отвечать добром? На зло отвечают справедливостью. На добро отвечают добром» (Лунь Юй, 1972. С. 165).

Таким образом, в отличие от инициативных действий некоторые реактивные действия, а именно действия, совершаемые в ответ на нанесенный ущерб, допускают в определенных границах применение силы, что и устанавливается правилом талиона. По степени «реактивности» ответные действия разнородны, и соответственно различны масштабы применения силы. В ответ на неминуемую угрозу злодеяния допустимы все необходимые усилия по его предотвращению, т. е. у каждого есть право на защиту себя и своих близких от посягательств на жизнь, здоровье и благополучие. С этической точки зрения от каждого ожидается помощь и поддержка в защите от посягательства на жизнь, здоровье и благополучие любых людей – как ближних. Нравственная допустимость применения силы в ответ на уже нанесенный ущерб меньше. Еще меньше нравственная допустимость применения силы в ответ на ущерб, нанесенный в прошлом, тем более в отдаленном прошлом.

Противостоять насилию – моральная обязанность человека. Это обязанность справедливости. Как принцип индивидуального поведения *справедливость* в первую очередь призвана установить предел индивидуальному произволу. Как требование и обязанность она противодействует эгоистическим мотивам и удерживает человека от причинения другому вреда, страдания, она требует уважать права другого человека и, значит, не посягать на чужую личность и ее собственность. Если соблюдение справедливости в отношении *других* предполагает исполнение своих обязанностей, то справедливость в отношении *себя* предполагает защиту собственных прав. В утверждении собственной воли есть первый шаг свободы; защищая собственные права, индивид подтверждает свою свободу как гражданин. Терпеливое перенесение несправедливости в отношении себя, даже не сопровождаемое чувством собственной униженности, представляет собой попустительство злу, хотя пассивное и косвенное, но

содействие ему и уже потому является проявлением несвободы.

Эти характеристики справедливости имеют неоднозначные практические следствия. Что нужно делать при встрече с несправедливостью и принуждением, когда несправедливость насильственна, принуждение неправое, а творящий несправедливость бесчувствен к обращенным к нему вразумлениям, основанным на справедливости, добре и просто здравом смысле?

Этические дилеммы ненасилия

Считается, что этически наиболее оправданный ответ на этот вопрос состоит в том, что *злу не следует противиться с помощью насилия*. Таково одно из основных наставлений Иисуса: «Не противься злому» (Мф. 5:39), даваемых в Нагорной проповеди в противовес правилу талиона. Этим наставлением опосредованы заповеди любви, прощения, любви к врагам и другие прилежащие им. Внутренний этический смысл заповеди «Не противься злому» и ее ближайший нормативный контекст как в Нагорной проповеди, так и у апостолов, особенно у Павла, показывают ее непосредственное сопряжение с заповедью любви и тем самым во многом разъясняются ею. Как бы отвечая Конфуцию ап. Павел говорит: «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром» (Рим. 12:21), – побеждай благоволением, благословением, смирением.

Формула «Не противься злому» безапелляционна, однако лишь в определенном смысле она однозначна, универсальна и абсолютна. И поскольку в определенном, то, значит, ограниченно однозначна и универсальна и, следовательно, не абсолютна. Абсолютность заповеди «Не противься злому» в этике, проповедуемой Иисусом, кажущаяся. Это выражается не только в том, что в двух случаях из четырех она высказывается не в универсальной форме, а однажды косвенно прямо предполагается условность ее применения (Рим 12:18). Она абсолютна в тех ограниченных рамках, которые, согласно раннехристианским представлениям, подлежат личной ответственности человека. Но этими рамками не исчерпывается сфера этического ни в христианской этике, ни тем более в современном понимании морали. Христианская мораль – другая: это мораль индивидуального спасения и полной подотчетности Божеству, и этими направляющими задается ответственность христианского человека; это мораль, разделенная на человеческий и Божеский удел, мораль, даже в миру опосредованная Богом. Так что полнота восприятия нормативного содержания христианской этики предполагает признание сугубо религиозного характера этой этики как этики, выстроенной в уверенности соприсутствия Бога человеку. Человеку предписана забота о своем спасении и, как предпосылка этого, забота о собственной внутренней чистоте, которая невозможна без исполнения заповедей, данных Богом.

Этика непротивления никогда не была и не могла быть доминирующей даже в христианской культуре. Но у нее всегда были свои сторонники, активно проявлявшие себя как в теории, так и на практике. В новое время эта этика получила наиболее яркое развитие в учении Л. Н. Толстого о непротивлении злу насилием. Заповедь непротивления злу (насилием) Толстой считал важнейшей в христианстве, с наибольшей полнотой выражающей основополагающую – заповедь любви. И не просто важнейшей, но связующей все учение Иисуса в одно целое (Толстой, 1993. С. 185). Именно он обратил внимание на то, что смысл этой заповеди заключается в универсализации заповеди любви, расширения ее на всех людей. Ведь «...нельзя любить личных врагов. Но людей вражеского народа можно любить точно так же, как и своих» (Толстой, 1989. С. 97). Не только в этой заповеди, но и всем духом Нагорной проповеди Иисус утверждает всеобщность своего учения. Толстой, чьи философские работы распространялись по всему миру, может быть, даже быстрее, чем его художественные произведения, несомненно, является первоапостолом философии ненасилия новейшего времени. Нельзя не видеть, что у Толстого христианская этика предстает только как этика, вне собственно христианского, т. е. нуминозно опосредованного воззрения на мир. Толстой оторвал Христа от христианства, ограничил христианство Евангелием, к тому же синоптически выправленным, и таким образом эсхатологически-индифферентно обрек христианскую этику на простоту морализирующего утопизма. Тем не менее благодаря ему идея ненасилия была явлена в качестве практической философии, и он оказал несомненное воздействие на таких учителей философии ненасилия – лидеров ненасильственного движения новейшего времени, как М. Ганди и М. Л. Кинг, а также многих современных приверженцев принципа ненасилия.

Про-толстовской версии философии ненасилия, а иной, сопоставимой с ней по обоснованности, пока нет, свойствен нормативно-ценностный абсолютизм. Ненасилие трактуется в ней абстрактно – как безусловный и универсальный нравственный принцип, не преломленный в поведенческие и социально-политические тактики и не учитывающий во всей полноте действительную практику разрешения и неразрешения конфликтов. Между тем в рамках христианства же получила развитие и другая традиция в ответ на вопрос о должном поведении перед лицом угрозы несправедливости и реально творящейся несправедливости. Эта традиция отстаивала возможность, допустимость и нравственную

оправданность применения силы для противостояния агрессивной и разрушительной враждебной силе. Эта традиция восходит к Амвросию Медиоланскому и Августину Блаженному, который, в свою очередь, опирался на античных авторов, в первую очередь Цицерона. Но наиболее значимое классическое выражение она получила в поздней схоластике – у Фомы Аквинского, Ф. де Виториа и Ф. Суареса, а современный вид приняла благодаря Г. Гроцию, чей трактат «О праве войны и мира» лег в основу международного права. Эта традиция оформилась в учении о справедливой, или оправданной, войне, принципы которой выводились из норм допустимой самообороны. На российской почве этот подход был обоснован и всесторонне развит И. А. Ильиным в концепции *сопротивления злу силой*, направленной против толстовства (Ильин, 1993), однако в разных своих формах он получил развитие и у других мыслителей, например у В. С. Соловьева и Н. А. Бердяева (Бакунин, Ткачев и Троцкий здесь во внимание не принимаются, поскольку в отличие от названных мыслителей их оправдание силы сводилось в результате к оправданию насилия, было в целом антигуманистическим и основывалось на окончательном разделении людей на «хороших» и «плохих»).

Абсолютистское этическое сознание, мыслящее в категориях идеальных моральных форм, высшего совершенства, радикальной противоположности добра и зла, воспринимает эту традицию как этически ничтожную попытку оправдать насилие с помощью морализаторских ухищрений. Однако теория «справедливой войны», напротив, настаивает на жестких моральных ограничениях на применение силы, реалистически признавая необходимость ее использования в земных делах, далеких от совершенства. Заслуживает внимания, что в отношении военной силы, усилия философов, начиная с Августина, были направлены на то, чтобы ограничить возможность ее применения лишь санкцией законных властей. Таким образом выражалось понимание, что применение силы это – социально и политически обусловленная акция, выходящая за узкие рамки личных отношений. В равной мере это касается применения силы для сохранения общественного порядка. То, что на протяжении всей истории человечества использование военной и полицейской силы, как правило, было сопряжено с драматическими гуманитарными и социальными издержками, а нередко и политическими и лично-корыстными злоупотреблениями со стороны как политиков, так и силовых структур, только подтверждает необходимость таких ограничений. Для современного демократического этико-политического мышления субъектом этих ограничений выступают отнюдь не политики и генералы, а общество. Непризнание, говоря словами Бердяева, «общественных форм борьбы со злом и общественых форм творческого созидания жизни и культуры» (Бердяев, 1994. С. 464–465) может отражать либо индивидуализм, причем крайне антиобщественный (в чем Бердяев упрекал Толстого), и анархизм, либо этатизм, который также имеет тенденцию к крайним формам авторитаризма и тоталитаризма.

Интересно отметить, как абсолютистское этическое сознание своеобычно воспроизводит нормативную логику раннехристианской «этики непротивления». Аналогично тому, как заповедь «Не противься злу» комплиментарно сопоставляется в Библии со словами Господа: «Мне отмщение, Аз воздам», – нравственная установка людей на непременное противление злу воспринимается абсолютистским этическим сознанием как проявление чуть ли ни сверхчеловеческих амбиций человека, тем более низких при таком взгляде, что они непременно сопряжены с желанием совершить насилие. Типично в свете этого известное практическое рассуждение Толстого: «Злодей занес нож над своей жертвой, у меня в руке пистолет, я убью его. Но ведь я не знаю и никак не могу знать, совершил ли бы, или не совершил бы занесший нож свое намерение. Он мог бы не совершить своего злого намерения, я уже наверное совершу свое злое дело. И потому одно, что может и должен человек сделать как в этом, так и во всех подобных случаях, это то, что должно делать всегда во всех возможных случаях: делать то, что он считает должным перед Богом, перед своей совестью. Совесть же человека может требовать от него жертвы своей, но никак не чужой жизни. То же самое относится и к способам противодействия злу общественному» (Толстой, 2002. С. 70)[3]. Таким образом, человеку отказывается в способности определить, что есть зло и что есть добро, и сама попытка такого определения рассматривается уже как насилие. Об этом не раз прямо говорит, ссылаясь на учение Иисуса, Толстой (Толстой, 1993. С. 170). Американский философ и признанный специалист в области философии мира и ненасилия Р. Холмс, обращаясь к толстовской воображаемой ситуации угрозы жертве со стороны вооруженного ножом злодея, замечает, что мы никогда не можем с уверенностью сказать, что ребенок – абсолютно невинный, а взрослый – абсолютно злодей. Если брать воображаемую ситуацию, нельзя не довообразить, что рядом Бог, и, «может быть, как в случае с Авраамом, ребенок является сыном этого человека, и этот человек получил приказание Бога совершить ритуальное убийство сына» (Холмс, 1993. С. 36–37). Только при исключительно абсолютистском понимании морали возникает убеждение, что любое моральное суждение является предельным или что человек каждый поступок совершает так,

как будто бы только от этого и будет зависеть получение им пропуска в рай. Дело не только в этом. Считать, что человек не может различить добро и зло, более того, что у него нет морального права высказывать на этот счет суждения, значит отказывать человеку в статусе морального субъекта.

Другой крен в аргументации представителей абсолютистского мышления против сопротивления злу состоит в том, что, не разбирая возможностей различных способов сопротивления, кроме самопожертвования, от самых невинных (которые тоже могут быть действенными) до силовых, они рассматривают любое решительное противодействие злу как чреватое убийством. Вот и в приведенном, упрощенном и схематичном примере Толстого перед «злодеем с ножом» оказывается человек с пистолетом с единственной альтернативой: либо молниеносно заградить своим телом возможную жертву, либо выстрелить наповал. «Насилие же по существу своему неизбежно ведет к убийству», – убежден Толстой и обосновывает этот тезис тем, что любая попытка принудить человека сделать что-то с угрозой применения силы предполагает готовность и возможность применения силы вплоть до крайних ее форм (Толстой, 1993. С. 177). Хотя авторы, пишущие о ненасилии, вроде бы понимают неисчерпываемость силового противодействия физической силой, главный упор они делают именно на физической силе, причем в ее радикальном выражении – убийстве. При этом они не замечают принципиальные утверждения сторонников теории «справедливой войны», что использование силы оправданно лишь в крайнем случае, после настойчивых попыток разрешить конфликт мирными и ненасильственными средствами. Или не желают доверять этим утверждениям.

Еще одно положение, связанное с этически-абсолютистским принятием идеи ненасилия, касается трактовки природы насилия. По Толстому, «всякое насилие состоит в том, что одни люди под угрозой страданий или смерти заставляют других делать, чего не хотят насилуемые» (Толстой, 2002. С. 15). Более точное определение насилия, именно в его противоположности любви, заключается в представлении насилия как того, «что одни люди могут силой заставить других людей жить по своей воле» (Толстой, 1993. С. 168). Такие определения насилия не дают критерия для строгой и универсализуемой квалификации тех или иных действий как насильственных. Насилие оппозиционно не любви, как думал Толстой, а ненасилию. Любви оппозиционны вражда и равнодушие.

Наконец, еще один тезис представителей этического абсолютизма состоит в том, что силой нельзя побороть насилие и искоренить зло. Предполагается ли при этом, что ненасилием и добром можно побороть насилие и зло? Прояснение этого вопроса потребовало бы расширения теоретических рамок обсуждения и обращения к вопросу о природе зла, морального и социального, что неисполнимо в рамках данной статьи. Замечу лишь очевидное: истоки зла далеко не исчерпываются неинформированностью, заблуждением, корыстью и внутренней злобой людей. На тезис о том, что зло побеждается добром, достаточно пока посмотреть в том же ключе, что и на другой, вышеназванный, относительно того, что, выступая против зла, человек вынужден выносить моральное суждение относительно другого, а на это у него нет морального права. Только моралисты, святоши и романтические революционеры полагают, что, совершая конкретные поступки, пусть и добродетельные, они выступают против зла вообще. В земных делах противостояние злу выражается в разного рода действиях: в предотвращении вреда, пресечении наглеца, противодействии агрессору, отпоре хулигану и насильнику, в разоблачении мошенничества и т. д. В обычной речи нравственной повседневности слово «зло» – это экспрессивное обозначение таких вещей, как халатная непредусмотрительность, неправота, неправильность, несправедливость, злодейство. Люди противодействуют конкретным поступкам конкретных людей, отстаивая собственные интересы, достигнутые договоренности, существующие обычаи и принятые установления или добиваясь изменения последних. Все это философствующий наблюдатель может обозначить абстрактным словом «зло», а философствующий аналитик – отличить от деятельности идеологов и морализирующих политиков или интриганов, манипулирующих словами «добро» и «зло» для провоцирования людей на выгодные им действия.

На зло, конечно, не следует отвечать злом. В ответ на вредничанье не следует вредничать, в ответ на интригу – интриговать, на коварство отвечать коварством, тем более на наглость и преступление – наглостью и преступлением. Но не противиться злу – безнравственно. За нанесенный ущерб, тем более сознательно нанесенный, за проступок и преступление виновный должен ответить в соответствии с принятыми в данном сообществе в данное время нормами. Злу (в обозначенном чуть выше разнообразии его конкретных проявлений) следует сопротивляться. Иначе его не остановить. Сопротивляться – это значит предпринимать активные усилия – моральные, социальные, политико-правовые, силовые, – направленные на создание условий, делающих невозможными чьи-то опасные действия. Сопротивление может принимать формы устыжения и усовестливания того, чьи действия неоправданно нарушают чужие интересы и права, а может быть, и молитвенно-духовного упования, – но также и пресекающего окрика, объявления тревоги, учине-

ния всяческих организационных и физических препятствий, силового ограничения и подавления. При этом сопротивляющийся злу должен понимать всю меру принимаемой на себя ответственности и, следовательно, быть готовым ответить перед собой и другими, а то и перед законом, если предпринятые усилия по сопротивлению оказались отрицательно несоразмерными, т. е. чрезмерными. Последнее относится к *прагматике сопротивления* и непременно подлежит отдельному анализу.

Этика силы

Выражение «этика силы» может показаться оксюмороном для тех, кто понимает этику, или мораль, как умеренность, сдержанность, мягкость и если действие, то бес-сильное. Можно, конечно, имея в виду выражение «сила убеждения», предположить, что речь идет о силе духа, или идеальной силе. Но я хотел бы оговориться, что имею в виду силу вообще, т. е. в том числе и силу духа, однако в первую очередь силу как таковую и считаю, что в ответ на агрессию и в ответ на насилие надо использовать все возможные средства для их предотвращения. Если можно предотвратить силой духа – хорошо, но если силы духа недостаточно или агрессор бесчувствен к тонким воздействиям, нужно использовать по нарастающей все необходимые средства. Этика призвана задать границы применения средств противодействия насилию.

Рассмотрим два реальных случая.

Дело Александры И. Осенью 2003 г. Александра И. остановила ночью машину, чтобы доехать на ней до дома. Водитель Сергей Б., 24 года, вместо того, чтобы отвезти женщину в указанное место, свернул в темный двор и попытался принудить женщину к сексу. Александра И. сделала вид, что согласилась, но предложила воспользоваться презервативом из своей сумочки. Открыв сумочку, она выхватила оттуда кухонный нож (с лезвием в 20 см) и ударила им в бедро насильника. Она попала в бедренную артерию, что вызвало сильное кровотечение, в результате чего мужчина спустя некоторое время скончался. Намерения насильника не могут вызывать сомнений. Удар был нанесен, когда у того были спущены штаны и он был отчасти просто обнажен. Мы не знаем, куда метила Александра И. Наличие ножа в сумочке она объяснила тем, что в 16 лет уже подвергалась сексуальному нападению и с тех пор всегда носила с собой в сумочке кухонный нож. В июне 2005 г. районный суд Москвы приговорил Александру И. к двум годам лишения свободы условно и выплате более 200 тыс. руб. в качестве компенсации за убийство Сергея Б. Однако уже через несколько дней Московская прокуратура потребовала отменить приговор и закрыть уголовное дело.

Александра И. применила силу для собственной защиты. По трагической случайности применение силы оказалось несоразмерным. Александра И. хотела остановить насильника, в результате же нанесла ему рану, не совместимую с жизнью. Предположим, что Александра И. была бы более точной в своих оборонительных действиях. Можно ли назвать ее действие насилием? Как следовало бы поступить Александре И. в ответ на однозначные требования Сергея Б.? Как следовало бы ей поступить, если бы она исповедовала принцип непротивления злу силой?

Рассказ Генерала. В. С. Соловьев в «Трех разговорах» устами Генерала описывает реальный эпизод (рассказанный Н. А. Вельяминовым), происшедший 28 октября 1877 г. во время Русско-турецкой войны. Однажды им повстречалось сожженное турецкими башибузуками армянское село с останками жестоко растерзанных жителей. От одного чудом оставшегося в живых армянина они узнали, что турки (потом в разговоре, правда, оговаривается, что это были не турки, а курды), числом несколько тысяч, двинулись к другому селу, которое, понятно, ожидала та же судьба. Воспользовавшись выжившим как проводником, русское войско предприняло бросок по горной дороге и вышло наперерез турецкому войску, которому дало с ходу бой. В ходе боя почти все турки были уничтожены – как ради спасения второго армянского села, так и в порядке наказания за свершенные незадолго до этого зверства.

Сам Генерал считал свои действия проявлением традиционной христолюбивости русского войска (Соловьев, 1988. С. 640). Можно ли назвать действия Генерала насилием? Как следовало бы поступить Генералу перед лицом реальной и неминуемой угрозы разорения и гибели для целого села? Как следовало бы ему поступить, если бы он исповедовал принцип непротивления злу силой?

В. С. Соловьев в «Трех разговорах» ставит и по-своему интересно решает вопрос о борьбе со злом. Он различает три практических подхода к этой проблеме: «религиозно-бытовой», «культурно-прогрессивный» и «безусловно-религиозный». Эти подходы дифференцированы как бы исторически, т. е. принадлежат прошлому, настоящему и будущему (Соловьев, 1988. С. 640).

Понятно, что в качестве способов действия они современны в каждую эпоху, – предполагая различные подходы борьбы со злом – сообразные обстоятельствам, общим и частным. Возможна расширенная интерпретация позиции Соловьева. Принцип ненасилия по-разному применяется в естественном состоянии, общественно-договорном и моральном, или, говоря в терминах Л. Кольберга: на предконвенциональном, конвенциональном и постконвенциональном уровне отношений. И тогда вопрос будет состоять, во-

первых, в том, как актуализируется принцип ненасилия на каждом из этих уровней, и, во-вторых, в том, как поступать правильно и результативно по отношению к людям, идентифицируемых принадлежащими к тому или другому уровню. В практическом плане этот вопрос оказывается критическим в отношении тех, кто находится на предконвенциональном уровне. Понятое абсолютно и принятое безусловно, требование ненасилия в условиях столкновения с явным и непосредственно угрожающим злом может оказаться лишь средством адаптивного, конформистского или эскапистского поведения.

В этом контексте нельзя признать убедительными отвлеченные аргументы типа того, что никто не может взять на себя ответственность судить ближнего своего, говорить «от имени морали» и определять, что есть добро и что есть зло. В конкретной ситуации человеку, подвергающемуся неминуемой опасности, не нужно быть философом, чтобы понять, кто зол. Святой и праведник может позволить себе выбор между тем, принять ли зло *самому* от злодея или своей силой пресечь злодеяние. Известно по агиографиям, что многие праведники могли пресечь злодеяние силой своего духа. Однако не все, как свидетельствуют те же агиографии. Что же делать тому, силы которого не хватает для духовного пресечения зла? Толстому и его сентиментальным последователям казалось, что сила, направленная на пресечение действий и намерений неправого, есть насилие и, следовательно, по определению, зло, что ею выражается недоверие к личности, ее автономии и способности к моральному совершенствованию. По поводу такой философии Политик в «Трех разговорах» ехидно спрашивал у Князя, может ли тот считать хотя бы до трех: ведь помимо злодея и защитника есть еще и жертва. Как быть с ее автономией и ее способностью к духовному возвышению? Не только праведник, но и этический ригорист может позволить себе вышеуказанный выбор: стать ли жертвой злодеяния или пресечь злодея[4]. Но ни этический ригорист, ни праведник не должен приносить в жертву своему этическому пуризму жизнь и благополучие других людей. Отказ от защиты невинных есть корень нового зла и потому сам является злом. Неспособность противостоять конкретному злу рождает у неспособного муки совести.

Таким образом, требованием активного противостояния и сопротивления злу, реально угрожающего мне, моим близким и моим ближним, ответственность за которых я принимаю на себя (ответственность, которая выражается в том, что я защищаю их от зла), – ограничивается принцип ненасилия и допускается применение всех необходимых для этого средств.

С этической точки зрения, очевидно, что применение силы есть вынужденная мера, обусловленная тем, что зло агрессивно и изливается во внешних поступках. Но даже как вынужденная мера сила должна быть ограниченной. Основополагающие параметры этих ограничений были предложены в полемике с Толстым и его абсолютизацией принципа ненасилия И. А. Ильиным. Применение силы против зла неспособно побороть зло как таковое и уничтожить насилие. Использование силы, убежден Ильин, не может заменить «внутреннее, органическое воспитание в духе и любви»; на пути зла «нельзя погасить зло, живущее в душе, нельзя перевоспитать человека или облагородить его чувство и волю». Внешнее подавление зла не обеспечивает умножения добра, оно лишь содействует «уменьшению числа злодеяний» (Ильин, 1993. С. 98). Это очень важный аргумент в споре с философией ненасилия. Сторонники абсолютного ненасилия указывают на то, что применением силы не уничтожается зло и насилие, но только умножается, – не принимая во внимание, что в конкретных ситуациях сила направлена не на уничтожение зла и насилия, а на недопущение конкретных действий, обобщенно квалифицируемых как злые потому, что несут собой ущерб, разрушение, угрозу здоровью и жизни, увечье, смерть.

Применение силы оправдано, по Ильину, тремя целями. Во-первых, предотвращением совершения данным человеком данного злодеяния. Во-вторых – «ограждением всех других людей от злодеяния и его отравляющего воздействия» (Ильин, 1993. С. 99), в чем нуждаются прежде всего дети, слабые, беззащитные и больные, а далее и все остальные – самим фактом угрозы со стороны зла. В-третьих – удержанием от пути злодейства тех, кто по слабости может прельститься им. Это именно *отрицательные* задачи, но они необходимы для решения позитивной задачи утверждения примиренности между людьми и действительного их единения.

Важно отметить, что общеэтическая позиция, выраженная Ильиным в критике толстовской проповеди непротивления злу насилием, разнообразно развивалась и прежде – Н. А. Бердяевым, В. С. Соловьевым, Г. В. Гегелем, И. Г. Фихте и другими. Ее радикально выразил, например, А. Шопенгауэр в рассуждении о праве применять силу против совершающейся несправедливости (Шопенгауэр, 1992. С. 320–321). В уяснении логики этического оправдания силы не обойтись без учета этого интеллектуального наследия.

Другой вопрос, что этико-философское рассуждение непременно должно быть переведено на язык практики, а значит, язык тактики и конкретных действий, разумных и уместных, позволяющих эффективно и с наименьшим моральным ущербом для самого противостоящего злу пресекать злодея.

Принципы такой тактики и соответствующие правила применения силы при сопротивлении злу (на деле, именно ограничивающие применение силы) были выработаны на материале частной практики – практики войны, в так называемой теории справедливой, или оправданной, войны (Апресян, 2002. С. 385–403). Так что этика ненасилия (как социально-практическое выражение этики милосердия) должна быть дополнена, т. е. ограничена этикой справедливости, одним из требований которой является недопущение несправедливости, или этикой активного, деятельного добра, одним из требований которой является последовательное противостояние злу.

Список литературы

Апресян Р. Г. Метанормативное содержание принципов справедливой войны // Полис. 2002. № 3. С. 385–403.

Бердяев Н. А. Ветхий и Новый Завет в религиозном сознании Л. Толстого // Бердяев Н. А. Философия творчества, культуры и искусства. Т. 2. М.: Искусство; Лига, 1994.

Бердяев Н. А. Экзистенциальная диалектика божественного и человеческого [Война] // Бердяев Н. А. О назначении человека. М.: Республика, 1993.

Ильин И. А. О сопротивлении злу силою // Ильин И. А.Путь к очевидности. М.: Республика, 1993.

Лунь Юй // Древнекитайская философия. Собр. текстов: в 2 т. Т. 1. М.: Мысль, 1972.

Соловьев В. С. Три разговора // Соловьев В. С. Соч.: в 2 т. Т. 2. М.: Мысль, 1988.

Толстой Л. Н. В чем моя вера? // Толстой Л. Н. В чем моя вера? Тула: Приокское книжное изд-во, 1989.

Толстой Л. Н. Закон насилия и закон любви // Философия ненасилия Л. Н. Толстого: Точки зрения. Екатеринбург: Изд-во Екатеринбургского университета, 2002.

Толстой Л. Н. Путь жизни. М.: Республика, 1993.

Холмс Р. Ненасилие как моральный принцип // Ненасилие: философия, этика, политика / отв. ред. А. А. Гусейнов. М.: Наука, 1993.

Шопенгауэр А. Мир как воля представление / пер. Ю. И. Айхенвальда // А. Шопенгауэр. Собр. соч.: в 5 т. Т. I. М.: Московский Клуб, 1992.

Примечания

1 В этом смысле ненасилие есть *ахимса*, что на санскрите и означает буквально «невреждение».

2 Известно, что во многих языках, но не в русском, слово «насилие» восходит к латинскому «violentia», что и означает *попрание*, *нарушение* (прав, договоренностей, положения), не обязательно с помощью силы, а если применение силы, то незаконное. В русском языке в слове «насилие» слышится в первую очередь применение силы, правовой и нравственный статус которой не подчеркивается.

3 Не стоит замечания то, что Толстой, в принципе не допуская возможности точного определения характера поступка, который уже по сути начался, называет тем не менее человека с ножом в руке «злодеем»: если характер человека нам понятен, отчего же нельзя предвидеть, хотя бы приблизительно, какой совершится поступок?

4 Речь идет именно о пресечении злодея, т. е. того, кто совершает злодеяние или намерен его совершить. Сторонники абсолютного ненасилия, опровергая возможность применения даже в особых случаях силы, неоправданно сводят это применение сразу к убиению. Между тем убиение есть лишь исключительное, *крайнее средство* пресечения злодея, к которому прибегают после попыток использовать иные средства – не силовые и не исключительные.

С. А. Мадюкова, Ю. В. Попков

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ НЕОТРАДИЦИОНАЛИЗМ КАК СПОСОБ СУЩЕСТВОВАНИЯ ТРАДИЦИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Тема традиций и их соотношения с новациями (инновациями) стала в последнее время весьма популярной в социогуманитарных науках, прежде всего в этнологии. Чтобы убедиться в этом, достаточно обратиться к материалам IX Конгресса этнографов и антропологов России, проходившего в июле 2011 г. в Петрозаводске и обсуждавшего в качестве главной проблему культурного наследия как ресурса инновационного развития. Тема традиций и инноваций была изначально определена в числе основных, и ей посвящено огромное количество докладов на разных секциях (IX Конгресс этнографов и антропологов России).

Для отражения связи традиции с современностью исследователи все чаще используют термин «неотрадиционализм». Однако в большинстве

случаев он употребляется некатегориально, интуитивно, без четкого понимания и фиксации того глубинного смысла, который данный термин подразумевает. В условиях расширяющейся практики его применения он нуждается в более строгой научной интерпретации, в том числе в соотношении с такими понятиями, как «традиция», «традиционализм», «неотрадиция» и др. Ситуация с неотрадиционализмом аналогична той, которую обозначил А. В. Головнев в своем докладе на пленарном заседании Конгресса, рассуждая о возросшей роли визуальной информации в гуманитарных науках: «Впрочем, современная экспансия визуальной культуры – не инновация, а возвращение древней традиции. Пещерные рисунки в десять раз старше письменности, в сто – печати. Возвращение к изображению как языку исконному, но технологически обновленному предполагает его специальное гуманитарно-научное освоение» (Головнев А. В., 2011. С. 7). В таком же специальном освоении нуждается тема неотрадиционализма вообще и социокультурного неотрадиционализма в частности.

Актуализация проблемы социокультурного неотрадиционализма вызвана необходимостью осмысления особенностей сохранения и развития традиционных локальных культур в условиях усиления процесса глобализации. Будучи противоречивым, неоднозначным, многоликим процессом с не всегда прогнозируемыми результатами, глобализация имеет разнообразные последствия, порой существенно отличающиеся по характеру и конкретному содержанию своих проявлений. В частности, следует констатировать наличие прямо противоположных тенденций: с одной стороны, усиление взаимосвязи и взаимозависимости различных стран и народов, с другой стороны, стимулирование разных форм фрагментации, локализации, регионализации. Соответственно можно говорить об эффектах как сближения и унификации культур, так и их относительного обособления. Реальное противоречие состоит в том, что в ответ на унифицирующие тенденции развития повсеместно растет стремление представителей этнокультурных сообществ возрождать традиции и поддерживать культурное своеобразие.

Современный мир переживает своеобразный этнический бум, этнический ренессанс, конкретными проявлениями которого являются рост значимости этнической идентичности, повышение интереса людей к своим этническим корням, традициям, культуре, истории. Мировое сообщество отреагировало на усиление данной тенденции принятием многочисленных международных документов, направленных на правовую защиту отдельных групп народов и сохранение культурного разнообразия. Среди них можно назвать, в частности, принятую в сентябре 2007 г. Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных наций Декларацию о правах коренных народов. Немного раньше ООН провозгласила Второе десятилетие коренных народов мира (с 2005 г.). Многие международные документы направлены на сохранение самобытности, разнообразия и плюрализма. Прежде всего, это Всеобщая декларация ЮНЕСКО о культурном разнообразии (2001 г.) и «Конвенция по вопросам охраны нематериального культурного наследия» (2003 г.), которая является дополнением к принятой в 1972 г. «Конвенции ЮНЕСКО по вопросам охраны мирового культурного и природного наследия». При этом разработчики исходят из убеждения, «что культура должна рассматриваться как совокупность присущих обществу или социальной группе отличительных признаков – духовных и материальных, интеллектуальных и эмоциональных – и что помимо искусства и литературы она охватывает образ жизни, “умение жить вместе”, системы ценностей, традиции и верования» (Всеобщая декларация о культурном разнообразии), а культурное разнообразие оценивается в качестве общего достояния человечества.

В этих условиях принципиально важной является задача изучения современных способов и механизмов сохранения и развития локальных культур и традиций, а также возможностей поддержки этнокультурного разнообразия. И здесь нельзя ограничиваться абстрактными разговорами о необходимости возрождения традиций, как это часто делается. Существенно значимым является понимание того, что именно возрождается, в какой форме, каким образом и с какой целью.

Как представляется, социокультурный неотрадиционализм можно рассматривать в качестве эффективного способа разрешения культурных конфликтов, возникающих в процессе глобализации и модернизации традиционных обществ, когда разного рода инновации используются как инструмент возрождения и сохранения этнокультурных традиций. В то же время социокультурный неотрадиционализм характеризует новую жизнь традиционной культуры в современных условиях.

Мы переживаем эпоху повышенного интереса к наследию прошлого. Все чаще находит подтверждение формула: борьба за прошлое становится составной частью борьбы за настоящее и будущее (А. Б. Гофман). Многое из того, что происходит в современном мире, так или иначе связано с прошлым, с историей. История подчиняется определенным законам, в которых находят отражение необходимые, повторяющиеся, устойчивые связи явлений. К существенно значимым формам устойчивости принадлежит традиция. Через обращение к ней во многом реализуется интерес к прошлому. Она является важным компонентом историко-культурного на-

следия и одновременно выступает способом трансляции социокультурного опыта, передачи его от поколения к поколению.

Приверженность аутентичной традиции, ориентацию на нее и процесс следования ей в реальном поведении конкретных людей и социальных групп можно определить как традиционализм. В отличие от доминирующего в литературе представления о традиционализме как мировоззрении, учении (доктрине) или идеологии (Традиционализм // Википедия [Электронный ресурс]; Макаров А. И., Пигалев А. И.; Традиционализм // Новейший философский словарь [Электронный ресурс]), мы склонны рассматривать его не только в этом качестве, но в первую очередь как основанный на соблюдении людьми исходной традиции, способ организации самой жизни. Важную особенность данного процесса в свое время зафиксировал К. Манхейм, подчеркивая, что традиционализм – это неотрефлексированная массовая реакция низов на изменения социума (Манхейм, 1994. С. 593). Следуя ему, а также В. А. Ачкасову (Ачкасов, 1997. С. 29–30; Ачкасов, 2004. С. 173–191), справедливо будет утверждать, что в предельном варианте традиционализм есть автоматическое, нерефлексивное, подсознательное следование традиции, признаваемой представителями данного этнокультурного сообщества естественной, само собой разумеющейся, а потому всеобщей и универсальной для них. Традиция скорее переживается, а не осознается людьми.

Говоря о возрождении традиции, надо иметь в виду, что обращение к прошлому, к аутентичной традиции зачастую происходит тогда, когда с ними уже произошел определенный разрыв. Известно, например, что в советский период старались забыть досоветские традиции, а реформаторы 1990-х гг. строили свою деятельность на абсолютном отрицании советского опыта. Но даже если бы сохранялась высокая степень преемственности, очевидно, что традиция в традиционном обществе и возрожденная в современных условиях традиция – не одно и то же. Возрожденная традиция не может быть точно такой же, какой она была, скажем, 100 лет назад уже по той причине, что условия жизни изменились.

Одной из наиболее важных характеристик традиционного общества в сравнении с обществом современным является особая система регламентации повседневного поведения людей: все значимые социальные изменения в жизни человека освящаются определенными ритуалами. Традиция вплетена в повседневную жизнь, и усвоение ее новым поколением происходит естественно, как бы автоматически.

Принципиально важно, что в традиционном обществе при передаче информации исключительно устно-зрительным путем ее накопление и хранение осуществляется с помощью «живой» человеческой памяти. С переходом от устного (предполагающего особую роль наставника) к письменному (безличному) способу хранения и трансляции информации расширяется спектр возможных интерпретаций передаваемых сообщений. Они становятся более открытыми, неоднозначными, не имеющими единственно правильной трактовки. Одновременно с этим возникают предпосылки для искажения передаваемой информации. Если закрепление полученной с помощью «живого» опыта информации обеспечивалось в процессе адекватного усвоения семейных и общественных традиций благодаря непосредственному участию человека в повседневных практиках, устоявшихся обрядах, культах, ритуалах, то в новых условиях не всегда сохраняется исходное значение и содержание информации при ее передаче. Возможны также ситуации, когда реальная традиция искажается и прерывается, и ее целостное восстановление не всегда может быть успешно.

Неотрадиционализм, как и традиционализм, – это тоже процесс следования традиции, но обладающий иными характеристиками. Уже исходя из этимологии слова неотрадиционализм предполагает, помимо собственно традиции, также определенную новизну, новацию. Он представляет взаимообусловленный процесс непрерывного воспроизводства традиции и ее видоизменения, адаптации к современным условиям. В результате осуществляется не просто следование «образцу», а развитие традиции за счет инкорпорации новации.

В неотрадиционализме модифицируется назначение и содержание традиции. Принципиальное отличие неотрадиционализма от традиционализма видится в приоритете рефлексирующего сознания как основы воспроизводства традиции. В рамках неотрадиционализма способ исполнения действия основан на рациональной целесообразности и на символьном обозначении социальной причастности, а исполнение определенных обычаев и ритуалов призвано осуществить рациональную функцию самоидентификации того или иного социального субъекта.

Таким образом, можно выделить следующие значимые характеристики социокультурного неотрадиционализма: 1) единство, взаимообусловленность воспроизводства традиции и ее видоизменения, адаптации к современным условиям, 2) не следование «образцу», а развитие традиции за счет инкорпорации новации, 3) приоритет рефлексирующего сознания над ценностно-иррациональным как основы воспроизводства традиции, 4) вытеснение сакрального содержания традиции рациональным объяснением необходимости ее выполнения [См.: Иванова, (Мадюкова), 2006. С. 93–97;

Мадюкова, 2008; Мадюкова, 2008 а. С. 65–70; Мадюкова, 2009. С. 113–117; Попков, 2010. С. 37–48, Мадюкова, Попков, 2010. С. 821–833]. Отличие социокультурного неотрадиционализма от других его видов (экономического, политического) состоит в том, что он тесно связан с семейно-бытовой сферой жизнедеятельности и этнической культурой конкретных народов. Принципиально важной его характеристикой является то, что он не вытесняет традиционную культуру, а инкорпорирует, включает ее в себя. В то же время в этом симбиозе традиционная культура не остается неизменной. Она приобретает новые свойства и выполняет новые специфические социальные функции. Традиция в форме неотрадиции выступает здесь в качестве постоянно воспроизводимой знаковой системы, посредством которой осуществляется, в частности, функция этнической идентификации индивида и локального сообщества.

Воспроизведенная традиция существует в виде неотрадиции как основы неотрадиционализма и имеет, как правило, обновленный смысл, обновленное содержание и обновленную форму. Яркими примерами, подтверждающими такой вывод, являются многие традиционные, исходно этнические праздники, ставшие в настоящее время праздниками общими, например Эл-Ойын – в Республике Алтай, Тун Пайрам – в Республике Хакасия, Ысыах – в Республике Саха (Якутия), Сурхарбан – в Республике Бурятия; Шагаа и Наадым – в Республике Тыва, Наадам – в Монголии. На них приезжает много людей разных национальностей, в том числе туристов, а в самих праздничных мероприятиях участвуют порой даже иностранные коллективы. К примерам подобного рода можно отнести также предназначенные для туристов шаманские ритуалы, использование традиционного для кочевников жилища – юрты – в качестве музеев, ресторанов, гостиниц, а элементов горлового пения – в репертуаре популярных эстрадных групп и др.

Связь социокультурного неотрадиционализма с традиционной этнической культурой выражается также в его взаимосвязи с процессом этнической идентификации и воспроизводством этничности. Нередко разрешение кризиса идентичности отдельных людей и социальных групп предполагает становление и развитие самобытной неотрадиции, которая проявляется в актуализации и возрождении разнообразных обрядов, обычаев и ритуалов, в частности, комплекса обрядов жизненного цикла. Это возрождение происходит, по преимуществу, в форме ревитализации и характеризуется заметным упрощением соответствующих практик, их рефлексивностью и символической нагруженностью. Публичная демонстрация неотрадиций позволяет осуществлять демаркацию этнических сообществ. Так, упоминавшиеся праздники Эл-Ойын, Тун Пайрам, Ысыах, Сурхарбан, Шагаа и Наадым, хотя и стали общими для своих республик, в первую очередь выполняют функцию самовыражения и сплочения соответственно алтайского, хакасского, якутского, бурятского, тувинского, монгольского народов.

Неотрадиционализм характеризует изменение не только содержания и назначения традиций, но и механизма их трансляции. Особая роль в данном процессе теперь принадлежит системам образования, науки, культуры. Если в традиционном обществе традиция, как отмечалось, вплетена в повседневную жизнь людей, а ее носителями являются массы населения (прежде всего старшее поколение), то теперь возрождение традиций часто происходит «по книжкам», на основе информации, содержащейся в научных работах и учебниках этнографов, специалистов-регионоведов. Нередки случаи, когда о той или иной конкретной традиции или обряде узнают сначала молодые люди из школьных и вузовских программ, а потом рассказывают о них своим родителям (в данном случае имеет место эффект смены вектора наследования традиции). Поэтому особая роль здесь принадлежит гуманитарной интеллигенции (ученым, преподавателям), работникам учреждений культуры. В деле возрождения общезначимых традиций многое зависит также от представителей органов власти. Таким образом, можно говорить о том, что в социокультурном неотрадиционализме меняются источники информации о традиции, инициаторы ее возрождения и носители.

Заслуживает внимания еще один аспект проблемы. Оживление неотрадиционализма в настоящее время стимулировано включением локальных культур в глобальный контекст. Именно этим во многих случаях объясняется возросший интерес и спрос на объекты материальной и нематериальной традиционной культуры разных народов, в том числе со стороны туристов. Этническая культура стала объектом купли-продажи, и уже по этой причине во многом изменила свое предназначение. К тому же обновленная жизнь многих традиций приобрела черты театрализованности. Есть зритель, и для него традиционное действие (обряд, ритуал) подается иначе, чем это было в жизни (кино и сама жизнь, как известно, похожи, но все-таки разные явления).

Театрализованность выступает важной и достаточно распространенной характеристикой современной жизни традиционной культуры. Однако не менее существенно понимание того, что обновленная традиция в целом – это не только праздник, театр, но и значимая составляющая реальной жизни этнокультурных сообществ, помогающая им успешно адаптироваться к современным условиям. Так, неотъемлемыми элементами повседневной

жизни монголов-животноводов стали в настоящее время автомобильный транспорт, спутниковые антенны, солнечные батареи, телевизор, радиоприемник и др.

Возрождение, переосмысление и сохранение этнических традиций, в том числе обрядов жизненного цикла в современных условиях играет все возрастающую роль в процессах идентификации и самоопределения отдельных личностей, групп и целых сообществ. На постсоветском пространстве именно этническая идентичность во многих случаях стала основной формой идентичности. Социокультурный неотрадиционализм здесь проявляется в обозначении границ «своей» общности, поиска возможностей символического самоутверждения в реальности постсоветского пространства. Социокультурный неотрадиционализм (в том числе ревитализация традиционных обрядов жизненного цикла) способствует воспроизводству этничности на новых основах, которые, в терминологии Ф. Барта, выступают как «этнические маркеры», формирующие культурные этнические границы (Цит. по: Паин, 2004. С. 80).

В контексте воспроизводства этничности приобретают значимость такие проявления новой реальности, как актуализация моноэтничных браков, повышение ценности родного языка, рост популярности «своих» имен либо имен на двух языках, горлового пения как важного элемента этнической культуры, этнической атрибутики в одежде и прическе, возрождение традиционных верований и такой формы идентификации, как принадлежность к кланово-родовым группам, мода на национальную кухню, популярность этнопедагогики и проч. Эти проявления современной жизни можно назвать своеобразными маркерами социокультурного неотрадиционализма.

Одной из задач настоящего исследования являлся анализ ценностных ориентаций людей в сфере сохранения и возрождения традиций своего народа как важных составляющих этнической идентичности и процесса воспроизводства этничности. Особый акцент был сделан на молодежи, поскольку новый историко-политический контекст развития России требует эмпирических знаний об изменениях, происходящих в молодежной среде и новом ценностном запросе, который формируется у разных этнических групп постсоветской молодежи под влиянием комплекса политических, экономических, социокультурных факторов. Это позволяет рассматривать проблематику ценностных ориентаций в этносоциальном аспекте, улавливать уже происходящие и грядущие изменения в развитии традиционных культур народов России.

Опираясь на результаты проведенного с помощью качественных методов авторского конкретно-социологического исследования, покажем далее, насколько и в какой форме современная молодежь обладает информацией о важных элементах собственной традиционной этнической культуры, представленных, в частности, в обрядах жизненного цикла, и как она их оценивает с точки зрения значимости для себя и своего народа. Иначе говоря, проиллюстрируем некоторые проявления социокультурного неотрадиционализма, как они представлены в массовом сознании молодых людей. Будут использованы данные индивидуального и группового интервьюирования среди представителей титульных национальностей из школьной и студенческой молодежи в республиках Тыва, Хакасия и Алтай, а также мнения экспертов, в качестве которых выступили школьные учителя и преподаватели вузов. Общее количество проведенных интервью – 70. В них приняли участие 118 молодых людей. Число опрошенных экспертов – 33 чел.

Прежде всего, отметим, что респонденты осознают важную роль семьи в сохранении традиций и стимулировании интереса молодых людей к участию в этнических обрядах. Выполнение семейного традиционного обряда каждый раз является своеобразным возрождением (ренессансом) целого комплекса элементов традиционной культуры, а также способствует утверждению национального достоинства и укреплению этнического самосознания: «*Моя семья такая религиозная. Недавно у моей сестры свадьба была, ее там украли*» (из интервью с ученицей 8-го класса Тувинского республиканского лицея); «*Когда я буду выходить замуж, наверно, на моей свадьбе будут выполняться тувинские обряды, потому что у меня родители такие*» (из интервью с ученицей 11-го класса Тувинского республиканского лицея); «*Просто нас родители сюда отправляют, чтобы пополнять свои знания о национальной культуре, языке и т. д.*» (из интервью с учениками 9-го класса Национальной гимназии г. Горно-Алтайска).

В современных условиях существенно меняются каналы трансляции традиционной культуры. Наряду с приватными каналами (через семью) все большее значение приобретают, а иногда превалируют каналы публичные (через систему образования, средства массовой информации и др.). Наши многочисленные интервью с молодыми людьми подтверждают этот вывод: «*У нас национальная школа, единственная в городе, и ведется такой предмет “культура Алтая”, там нас учат традициям, что нужно делать. Например, про свадьбу говорят*»; «*Какая-то разница есть между тем, что говорят родители, бабушки и дедушки, и тем, чему нас учат. Потому что традиция она одна, но здесь, в школе, как-то по-книжному, что ли, а дома уже на бытовом уровне, какими-то правилами можно немного*

пренебречь, какими-то – ни в коем случае нельзя» (из серии интервью с ученицами 9-го класса Национальной гимназии г. Горно-Алтайска); «*Сейчас национальное развитие идет очень сильно. Сейчас обучают этому всему*» (из интервью с учениками 9-го класса Национальной гимназии г. Горно-Алтайска); «*Традиции должны передаваться в школе. Что знаю, я могу своим детям сама передать, но хорошо было бы, чтобы в школе изучали, некоторые же родители не знают традиций*» (из интервью с ученицей 11-го класса средней школы № 7 г. Кызыла); «*В семье основы знают. Но и в школе надо изучать*» (из интервью со студентами Института Саяно-Алтайской тюркологии Хакасского госуниверситета).

Респондентами отмечается изменение отношения к этническим обрядам у современной молодежи, в частности – к свадебным обрядам: «*Брак нужно зарегистрировать обязательно, а свадьбу можно проводить по обычаям*» (из интервью со студентами IV курса Тувинского госуниверситета); «*В 90-е годы пошла мода такая, нововведения всякие. Сейчас начали возвращаться к старым обычаям, начали надевать свои костюмы на свадьбу. Но регистрировать брак обязательно в загсе. Есть такое даже Шын Куда и Меге Куда. Шын Куда – это по традициям, а Меге Куда – просто зарегистрировались, и все*» (из интервью со студентами II курса Тувинского госуниверситета). Респондентами отмечается сопряженность традиционных, этнических свадебных обрядов с современными: «*Это зависит от супругов. Если они хотят провести свадьбу по традициям предков, можно, но в настоящее время модно стало белое платье, загс. Однако были такие случаи, когда супруг приезжает на конях, встречает невесту*» (из интервью со студентами IV курса Тувинского госуниверситета); «*Невеста, конечно, в белом платье, но "саас той"* (хакасский свадебный обряд "пир волос". – *Авт.*) *все равно проводят, даже если у невесты волосы короткие, хвостики завяжут*» (из интервью с преподавателем Института истории и права Хакасского госуниверситета).

Проведенное исследование выявило осознанную заинтересованность молодых людей в получении определенных знаний о традиционной этнической культуре. Они хотят участвовать в тех или иных этнических обрядах и получать информацию о традициях и обычаях в системе среднего образования: «*Чтобы традиции существовали, ты сам должен их делать. Не только теоретически знать, но и практически выполнять*» (из интервью с ученицами 11-го класса Тувинского республиканского лицея); «*Выполнять обряды или нет, это от тебя зависит. Но в школе мы это обязательно изучаем. У нас предмет такой есть – культура Алтая. Там мы и изучаем все обычаи*» (из интервью с учениками 9-го класса Национальной гимназии г. Горно-Алтайска).

Сами респонденты понимают, что потребность погружения в национальные традиции существовала не всегда: «*Раньше не сильно давали свободу национальным движениям-то, а сейчас уже более свободно. Это еще зависит от того, что раньше в городе большинство было русских, а сейчас приток алтайцев из деревень большой*» (из интервью с учениками 9-го класса Национальной гимназии г. Горно-Алтайска). Акцентируется внимание на том, что одной из причин возрождения этнических обрядов является внутренняя миграция населения в республиках, приток титульного населения в города.

Важным представляется осознание респондентами того, что обряды жизненного цикла, как и прочие этнические обряды, приобретают в современных условиях иное, чем раньше, значение, начинают обладать символическими характеристиками: «*Я бы согласился жить в аиле* (алтайская юрта. – *Авт.*), *если его европеизировать. Форму сохранить, а внутри евроремонт сделать (смех)*» (из интервью с учениками 9-го класса Национальной гимназии г. Горно-Алтайска). Несмотря на то, что со временем трансформировалась смысловая нагрузка обряда воровства невесты, сам обряд по-прежнему существует: «*В древней Тыве увозили куда угодно невесту, а сейчас человек в любом месте узнает, где он находится и куда ему надо*» (из интервью с ученицей 8-го класса Тувинского республиканского лицея); «*Условия изменились, потому что сам смысл обряда в том, что надо украсть невесту и доставить ее домой к мужу. Здесь является условием то, что надо закрыть глаза невесте, чтобы она не увидела дорогу, чтобы не нашла пути назад, но это просто условность, а сам смысл традиции в том, что надо украсть невесту*» (из интервью с ученицей 11-го класса Тувинского республиканского лицея).

Наличие взаимного влияния обрядов русского и титульного населения четко фиксируется в оценках молодых людей: «*Выкуп невест у русских есть, и у хакасов сейчас тоже*» (из интервью со студенткой Института истории и права Хакасского госуниверситета); «*В Тыве все происходит по-русски сейчас, по-европейски. Невеста в белом платье, жених в смокинге*» (из интервью с ученицей 11-го класса Тувинского республиканского лицея); «*В 90-е годы пошла такая мода – деньги дарить, это у нас осталось, кто не подарил – к ним относятся плохо*» (из интервью со студентами II курса Тувинского госуниверситета).

Не остается без внимания респондентов процесс трансформации традиций: «*Я думаю, что как-то сохранились традиции, но то, что мы сохранили – не так похоже на то, как когда-то было. Потому что развивается страна*» (из интервью с ученицами 11-го класса Тувинского республиканского лицея);

«*Это все же со временем забывается, что-то новое добавляется, что-то теряется с поколениями*» (из интервью с ученицами 9-го класса Национальной гимназии г. Горно-Алтайска). Одновременно фиксируется проблема упрощения отдельных традиций по сравнению с тем, какими они были ранее: «*Конечно, основные традиции одни, но разделяются на бытовом уровне, если все в книжке прочитать, то кажется, что все в костюмах на сцене, а на бытовом уровне гораздо проще*» (из интервью с ученицами 9-го класса Национальной гимназии г. Горно-Алтайска).

Особо важную, адаптирующую роль в современном обществе этнические традиции приобретают именно как маркеры этнической идентичности. Респонденты неоднократно подчеркивали это в разной форме: «*Сейчас традиции нужны для разнообразия культур*»; «*Традиции нужны для того, чтобы почувствовать себя тувинкой*»; «*И традиции, и обряды – это наша культура. Человека, который не верит ни во что, космополит, который верит во вселенную, – нет, человек всегда должен любить свою страну. И у него должно быть внутри что-то, что дает ему силу жить*» (из интервью с ученицами 8, 9 и 11-го классов Тувинского республиканского лицея); «*Не хочется быть оторванным от тувинцев*» (из интервью со студентами IV курса Тувинского госуниверситета); «*У меня есть родственники и хакасы, и узбеки, и корейцы, но так как я живу в Республике Тыва, то пытаюсь соблюдать местные традиции, хотя я не "чистый" тувинец. Принял веру, когда был маленький. И родители тоже буддисты, и тоже недавно приняли. Соблюдаем традиции, хотя только начинаем, потому что мы жители республики, должны соблюдать*» (из интервью со студентом II курса Тувинского госуниверситета).

Принципиально важное значение при исследовании процесса ревитализации обрядов жизненного цикла имеет акцентированная респондентами осознанность выполнения этнических обрядов и обычаев, поскольку именно рефлексивность, как было показано ранее, является существенно значимой характеристикой социокультурного неотрадиционализма: «*Мне ничто не помешает выполнять мои традиции и обычаи, даже если я буду жить в Испании или путешествовать, я буду делать их сознательно*» (из интервью с ученицей 11-го класса Тувинского республиканского лицея); «*Для меня осознавать себя тувинцем – это очень важно, потому что мы должны продолжать свой род тувинский. Я* осознал *это, кто я, как меня зовут, кто мои родители, когда начал говорить, все понимать в окружающем. И по тувинским обычаям я сейчас живу. Это очень важно, я считаю, нам, тувинцам. Не забывать свою национальность, чтобы продолжать род, не забывать наших предков*» (из интервью со студентами II курса Тувинского госуниверситета); «*Если ты не знаешь, тебе ничего не будет, а мы же это изучаем, и мы теперь, можно сказать, обязаны соблюдать все традиции*»; «*Мы соблюдаем традиции, потому что так воспитаны, такая вера. Воспитывают эту веру родители, бабушки, дедушки. И учителя. Вот, по культуре Алтая учитель. Просто ты, когда понимаешь уже* осознанно, *то стараешься уже сам выполнять. Это осознается уже постарше, ближе к седьмому-восьмому классу. А до этого как-то в порядке вещей, должен, да и должен. Потом уже, когда больше осознаешь, сам стараешься понять, в чем смысл. А до этого, в младших классах – это просто вызубривание*»; «*У нас некоторые родители даже меньше нас знают, раньше же не было таких предметов вообще*» (из серии интервью с учениками 9-го класса Национальной гимназии г. Горно-Алтайска).

Приведенные суждения свидетельствуют не только о вполне осознанном отношении к традициям и конкретным обрядам, но также о том, что в массовом сознании молодежи четко отражен факт превалирования в современных условиях публичных каналов трансляции этнической культуры (прежде всего, системы образования) перед приватными (семьей). В целом это свидетельствует о высокой значимости сознательной составляющей в трансляции этнокультурного опыта. В свою очередь, это означает, что социокультурный неотрадиционализм неизбежно связан с процессом конструирования неотрадиции.

Мера соотношения «идущих от жизни» и «изобретенных» моментов в рамках социокультурного неотрадиционализма является разной в каждом конкретном случае. Сам же факт наличия того и другого дает основание не только для взвешенной, но и для крайних позиций в интерпретации этого соотношения. С одной стороны, общим местом стало в последнее время говорить о возрождении традиций, не задумываясь о том, что в действительности возрождается не аутентичная, а обновленная традиция (в виде неотрадиции). С другой стороны, имеет место точка зрения, что традиционной культуры вообще не осталось или она сходит на нет. Такая позиция присутствует не только в среде исследователей, но и в массовом сознании. Характерными являются следующие высказанные во время нашего опроса в Хакасии суждения респондентов: «*В данное время, мне кажется, идет такая тенденция, чтоб хакасская культура вообще умерла*» (из интервью со студенткой Института истории и права Хакасского госуниверситета)*; «Сейчас в основном уже смешанные браки существуют, и все прививается, а вот традиционное, само коренное – оно исчезает в наше время*» (из интервью со студенткой Института истории и права Хакасского госуниверситета).

Подобно тому, как аутентичная традиция все больше замещается некоторыми идеальными конструкциями, меняется представление о соотношении материальных и идеальных компонентов в связке «традиция – национальная (этническая) идентичность». Крайняя позиция состоит в утверждении, что «национальная идентичность – полностью сконструированный феномен, которому недостает бытийной привязки. Другими словами, национальное якобы не существует, хотя считается существующим теми людьми, которые находятся под действием национальной идеи» (*Ионин*, 2004. С. 207–208). Мы не можем согласиться с такой точкой зрения. В то же время нельзя не признать, что идеальные конструкции играют важную роль в формировании этнической идентичности, особенно в современных условиях. Разные народы формируют ее разными путями и в разных формах. Многое зависит от конкретно-исторических условий, содержания и степени сохранности этнических традиций, политического контекста и др.

Можно заключить, что социокультурный неотрадиционализм имеет сложную природу. Не будучи исключительно сконструированным явлением и не выступая феноменом с изначально (примордиально) и навсегда установленным набором культурных свойств, лишь адаптированных к современности, социокультурный неотрадиционализм характеризует борьбу противоположных начал – традиции и новации, одновременно выражая их определенное системное единство.

Подводя обобщающие итоги проведенного исследования по проекту, можно заключить следующее. Особенностью современного развития многих этнокультурных сообществ является опора на историческую память, использование потенциала прошлого, воспроизведение традиций. Традиция выступает значимой формой устойчивости, будучи важным компонентом историко-культурного наследия и способом трансляции этнокультурного опыта, передачи его от поколения к поколению. Проблема, однако, в том, что аутентичная традиция практически не сохранилась. Видоизменившись под влиянием новаций, она существует в виде обновленной традиции, неотрадиции. Последняя выступает основой социокультурного неотрадиционализма, характеризующего одновременно преемственность, социальное наследование и новацию, изменение. Воспроизведенная традиция имеет, как правило, обновленный смысл, обновленное содержание и обновленную форму.

Социокультурный неотрадиционализм представляет собой не только определенное мировоззрение, концептуальное видение действительности, но и организацию самой жизни, устройство мира этнокультурного сообщества. Он выступает способом современного развития этнических культур в целом, условием благополучного развития отдельных народов в процессе глобализации и усиливающихся межэтнических взаимодействий. Неотрадиционализм отличается от сходных процессов, но ведущих в конечном итоге к разрушению традиционной культуры, тем, что он характеризует становление такой неотрадиции, которая формируется на основе логики развития собственной этнической культуры, а новация не является деструктивной.

Список литературы

IX Конгресс этнографов и антропологов России: тезисы докладов. Петрозаводск, 4–8 июля 2011 г. Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2011. 565 с.

Ачкасов В. А. Традиционализм в политической жизни России: Автореф. дис. ... д-ра полит. наук: 23.00.03 / С.-Петерб. гос. ун-т. СПб., 1997. 30 с.

Ачкасов В. А. Трансформация традиций и политическая модернизация: феномен российского традиционализма // Философия и социально-политические ценности консерватизма в общественном сознании России (от истоков к современности). Сб. ст. Вып. 1 / под ред. Ю. Н. Солонина. СПб., 2004. С. 173–191.

Всеобщая декларация о культурном разнообразии [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.ifapcom.ru/files/Documents/declar_cult_diversity.pdf (Дата обращения: 20.03.2010).

Головнев А. В. Культурное наследие и гуманитарные технологии // IX Конгресс этнографов и антропологов России: тезисы докладов. Петрозаводск, 4–8 июля 2011 г. Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2011. С. 5–7.

Иванова (Мадюкова) С. А. Феномен социокультурного неотрадиционализма: к постановке проблемы // Вестник НГУ. Сер.: Философия. 2006. Т. 4. Вып. 2. С. 93–97.

Ионин Л. Г. Социология культуры. М., 2004. 427 с.

Мадюкова С. А. Социокультурный неотрадиционализм в обрядах жизненного цикла (на примере женщин тюркских этносов Южной Сибири): Автореф. дис. ... канд. филос. наук. Новосибирск, 2008. 25 с.

Мадюкова С. А. Проблемы воспроизводства этничности с точки зрения концепции социокультурного неотрадиционализма // Гуманитарные науки в Сибири. Сер.: Философия и право. 2008. № 1. С. 65–70.

Мадюкова С. А. Социокультурный неотрадиционализм как современная форма снятия противоречий этнокультурных традиций и социокультурных новаций // Вестник НГУ. Серия: Философия. 2009. Т. 7. Вып. 1. С. 113–117.

Мадюкова С. А., Попков Ю. В. Социокультурный неотрадиционализм: воспроизведение традиций и

воспроизводство этничности // Регионы России для устойчивого развития: образование и культура народов Российской Федерации. Материалы международной научно-практической конференции. Новосибирск, 2010. С. 821–833.

Макаров А. И., Пигалев А. И. Традиционализм // Новейший философский словарь [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://slovari.yandex.ru/dict/phil_dict/article/filo/filo-812.htm (Дата обращения: 18.03.2010 г.).

Манхейм К. Диагноз нашего времени. М., 1994. 606 с.

Паин Э. А. Между империей и нацией: модернистский проект и его традиционалистская альтернатива в национальной политике России. 2-е изд., доп. М., 2004. 248 с.

Попков Ю. В. Социокультурный неотрадиционализм и проблемы современного развития локальных культур // Регионы России для устойчивого развития: образование и культура народов Российской Федерации. Материалы международной научно-практической конференции. Новосибирск, 2010. С. 37–48.

Традиционализм // Википедия [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://society.polbu.ru/fedorova_modernism/ch03_iii.html (Дата обращения: 18.03.2010 г.).

Н. Сосна

ФОТОГРАФИЯ 1920–1930-х гг.: ОПЫТ ФИЛОСОФСКО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

Интерес к фотографии эпохи первых десятилетий существования в новых политических и гражданских условиях, в период, когда власть еще не сконцентрировалась в нескольких руках, а страх, отчаяние и тоска еще не доминировали в эмоциональном поле, объясняется моментами неразделимости, нерасчленимости, неопределимости, недифференцируемости, высокой интенсивности жизненных событий, которые характеризуют то время и следы которых фиксировались при помощи разных средств. Непосредственное ощущение новизны происходящего, эксперименты как условие деятельности, «жизнестроительство» как насущное действие, которое имеет место здесь и сейчас и не носит проективных или утопических, т. е. отсроченных или возможных лишь в воображаемой перспективе достраивания целого устремлений, – это черты не только нового искусства, но и самой повседневности, захватившей всех. Среди опытов в прозе А. Платонова и поэзии В. Маяковского и В. Хлебникова, музыке А. Скрябина, живописи К. Малевича и В. Кандинского, кинематографе С. Эйзенштейна и Д. Вертова, архитектуре В. Татлина и так далее, и так далее фотографические эксперименты Г. Клуциса и тем более А. Родченко выглядят, возможно, холодновато, «объективно», отстраненно. Однако они не становятся оттого менее ценными свидетельствами времени и продолжают служить частью того наследия, с которым мы продолжаем быть связанными сегодня.

Нам, существующим в условиях, когда фотография используется главным образом для того, чтобы обновить личные страницы в социальных сетях, нам – пользователям, регулярно просматривающим десятки видео на ресурсах twitter и flicr, уже трудно представить себе ту бурю эмоций, которую вызывало развитие техники и работа с новыми техническими устройствами в первые десятилетия XX в. [Не исключено, что именно апатичное отношение современных пользователей как раз к технической составляющей заставляет некоторых исследователей полагать, что эстетика интернета – эстетика домодерная (Cramer F., 2009)]. Нам, пережившим эпоху распространения *культуриндустрии*[1], существующим в условиях *общества зрелища* (Дебор Г., 1999), предлагают сегодня сложные способы актуализации наследия периода больших обещаний и почти религиозных упований на развитие искусства в новых формах, имевших место в начале XX в.[2] Эти актуализации, отталкиваясь от анализа визуального, шли различными путями. Наиболее традиционным и распространенным является, ввиду выраженной визуальной составляющей этого наследия, анализ внутри парадигмы теории искусства и эстетической теории. Примеры такой работы накапливались десятилетиями. Однако невозможно отрицать тот факт, что развитие технологий и их культурное и экономическое использование привели в настоящее время к аналитической работе, связанной с поиском нового языка для описания происходящего. В результате становится все более очевидным, что переопределения требуют и такие «устоявшиеся» термины, как «эстетика» и «искусство»[3]. Двадцать лет назад известный теоретик искусства Артур

Данто (Данто А., 1991) еще мог сетовать на превращение в элементы дизайна работ супрематиста К. Малевича: «Статья о супрематизме в Оксфордском словаре искусства заканчивается замечанием о том, что хотя деятельность прямых наследников Малевича в России большого значения не имела, он в большой степени повлиял на развитие искусства и дизайна на Западе <...>. Человек, давший грандиозное имя “супрематизм” своим работам, считавший свою жизнь супрематической, полагавший, что прорвался за рамки, в которые было заключено человеческое сознание, приступивший к изучению нового пространства, которое никто не мог себе ранее вообразить, едва ли был бы доволен признанием того, что его дизайн великолепен». Далее, в так называемые нулевые годы следующего столетия уже появляются возможности для сопоставления «дизайна» Малевича не только с другими представителями живописной традиции, но практически с любыми элементами, которые можно локализовать в визуальном поле. Так, Лев Манович строит компьютерный анализ всех известных оцифрованных работ абстракциониста П. Мондриана, чтобы показать, что само понятие *стиля*, активно применяемое в искусствоведении, делается проблематичным, если мы начинаем анализировать большие объемы данных: «Это понятие предполагает, что мы можем выделить в работах в целом несколько дискретных категорий. Однако когда мы сталкиваемся с большим количеством вариаций при очень небольших различиях между отдельными работами, говорить о “стиле” становится невозможным. Более оправданным представляется использовать визуализацию и/или математические модели описания пространства возможных и осуществленных вариантов» (Manovich L., 2011)[4].

Второй из упомянутых типов анализа предполагает иной тип обращения с визуальным. То широкое и сравнительно молодое поле исследований, к которому он принадлежит, демонстрирует границы применимости собственно методов исследования визуального. Исследования в этом поле отстаивают необходимость различения между живописью, фотографией, кино, компьютерной графикой: несмотря на то что и фотографии, и живописные полотна поставляют визуальный материал, точнее «выглядят» как визуальное, они не могут анализироваться одними и теми же средствами. Верно, что статус основного понятия, медиа, остается проблематичным: его используют в единственном и множественном числе (хотя формально medium – ед. ч., а media – мн. ч. (об этом W. J. T. Mitchell and Mark B. N. Hansen, 2010)), с переводом на русский язык или без него[5], иногда отказываясь определять его как таковое (Pias, J. Vogl, L. Engell, 2002. С. 106). Не вдаваясь в рамках этой статьи в подробности обширной дискуссии о медиа, отметим роль *медиального*. Проблема не в том, чтобы увидеть в экранном изображении, звучащем слове, в кинетике жеста *дополнение* к литературному тексту, например, в виде иллюстрации: дело не столько в том, что различные медиа наращивают на наших глазах свое представительство внутри литературного текста, «прорастают» в нем, сколько в том, что множественность медиа уже не позволяет редуцировать себя к какой-либо одной составляющей, будь то нарративные структуры или способы предъявления изображения. Исследователю приходится иметь дело со *множественностью* влияния медиа. Собственно говоря, только сейчас, по прошествии десятков лет развития истории науки и техники и благодаря последним медиаисследованиям, мы можем проследить, как меняется структура нашего восприятия, как медиа справляются с нашими привычками – привычками видеть, привычками концептуализировать. Так *медиальное*, связанное с техникой, неожиданным образом позволяет вести разговор в антропологических терминах, так как позволяет говорить об изменяющихся структурах, восприятии прежде всего.

То, что обнаруживает советская фотография 1920–30-х гг., не локализуется только в рамках истории искусства по многим причинам. По необходимости кратко соглашаясь здесь с положениями о том, что фотография может рассматриваться как не-искусство (и тогда методы истории искусства уже не будут к ней применимы), что история этого периода необходимым образом должна включать элементы концептуально-политического анализа (политический характер высказываний на разных фронтах, в том числе на условно называемом эстетическим, неэлиминируем), обратимся к тому, что можно было бы назвать технической причиной, как ее может формулировать философский медиаанализ. Как раз активное использование новых технических возможностей, в том числе различных аппаратов, немаловажное для оперирования термином «медиальное», позволяет аналитически развести два мощных периода культурных высказываний: эпохи рубежа веков и до начала 20-х гг., и интересующей нас эпохи от начала 20-х гг. приблизительно до середины 30-х гг.

В первый из указанных периодов художники, творцы визуального стремились объединить в одном произведении несколько, как мы сказали бы сейчас, медиа – соединить живопись и скульптуру, добавляя рельефности холсту и сдерживая корпус скульптуры (от совмещавших фронтальные и профильные виды в одном изображении картины и впоследствии коллажей Пикассо до пространственных объектов Мохоли-Надя); соединить визуальные и аудиальные моменты восприятия стихотво-

рения (Крученых, Маяковский); соединить цвет и звук и вплоть до опытов в области синастезии, долженствовавших воздействовать на все органы восприятия «зрителей» (Малевич, Кандинский, Скрябин в России, Шенберг в Германии, Маринетти и Ручио в Италии мечтали о «тотальном произведении искусства»[7], логика которого развивалась еще в постановках Вагнера в Байрейте). И хотя эффект, который должно было вызвать такое произведение, задумывался как трансформирующий воспринимающего и переводящий его в другое состояние, некоторая нутряная цельность этого воспринимающего, если угодно, существо его человеческого (восприятие, чувственность) не подвергались сомнению. Именно здесь невозможно не отметить специфический *утопический* характер этих проектов, их ориентированность на будущее, на то, что еще не является наличным, на то, что явится доступным в результате освобождения посредством переживания эстетического в своей основе.

Для следующего же периода характерен повышенный интерес к техническому, аппаратному, машинному аспекту этого перехода в другое состояние, каковой аспект виделся уже в большей степени целью и ориентиром, чем лишь одним из средств. Машина рассматривается уже как образец, как некоторый предел, к которому должен стремиться человек, и, надо сказать, человек на глазах терял свои главенствующие позиции, его способности, его чувственность рассматривались уже по меньшей мере наряду (а иногда и оценивались ниже) с возможностями аппаратов. Дзига Вертов, чьи самые известные фильмы были созданы примерно десятилетием позже[8], уже несомненно ориентируется на техническое и машинное: «Стыдно перед машинами за неумение людей держать себя, но что же делать, когда безошибочные манеры электричества волнуют нас больше, чем беспорядочная спешка активных... я двигаюсь рядом с мордой бегущей лошади, я врезаюсь на полном ходу в толпу... я поднимаюсь вместе с аэропланами, я падаю и взлетаю вместе с падающими и взлетающими телами» (Вертов Д., 1966. С. 75). Ему словно вторит и А. Родченко: «Современный город с его многоэтажными домами, фабриками, двух- и трехэтажными витринами, трамваями, световой рекламой, а также океанские пароходы, аэропланы – поневоле, хотя и понемногу сдвинуло психику зрительных восприятий» (Лаврентьев А. Н., 1992). Достаточно сравнить эти цитаты с одним из самоописаний проекта Малевича[9], чтобы оценить совершенно различный характер этих периодов: если первый скорее утопичен, проективен, ориентирован на будущее, оставил нам множество описаний событий, которые должны были произойти, чертежей, рисунков, мизансцен, то второй гораздо более материалистичен, занят настоящим, пристально разглядывает через линзы и который сохранил для нас множество отражений времени. Некоторые исследователи (Morgolin V., 1997) склонны полагать, правда, что эти два периода отличаются различными представлениями об утопии – феноменологической для первого и материалистической для второго, однако «материалистичность» утопии второго периода, на наш взгляд, близко подходит к материализуемости утопии, что может повлечь за собой противоречивое употребление терминов.

Итак, мы вплотную приблизились к фотографическим свидетельствам того времени. Самые значительные дошли до нас благодаря усилиям Г. Клуциса, А. Родченко, прежде всего, членов группы «Октябрь» (Стигнеев В., 2005). Будущий мастер фотомантажей Г. Клуцис учился у Малевича, и одно из самых известных ранних его произведений – коллаж «Динамический город» (1919), несомненно, является выражением не только приемов, общих работам других художников круга Малевича, но и настроению той эпохи, активно занимавшейся поиском новых выразительных форм и их сочетаемости. Из написанного Клуцисом в автобиографии мы узнаем, что в выставленных им в 1921 г. произведениях намечается сближение с конструктивистами: «[Были] выставлены цветотоновые, плоскостно-пространственные построения и в рельефе из разных материалов, в дальнейшем развитии положившие начало новому методу организации художественно-производственной вещи» (Шатских А., 2001. С. 130). Впоследствии Клуцис, как и многие художники того времени, пробовал и более формальные выразительные средства: «Начались поиски новой сильной революционной формы. Начался самый невероятный формалистический период, от которого я, к счастью, освободился, изживая его постепенно». Затем Клуцис сосредоточился на том, чтобы в меньшей стпени следовать формальному принципу «искусство ради искусства», считая его бессодержательным и полагая, что искусство может быть лишь средством – средством политической агитации и пропаганды прежде всего. «В то время я был убежден, что революция требует от искусства совершенно новых форм, не существовавших никогда раньше. Я ставил себе своеобразную задачу – в напряженной работе исчерпать все течения, «измы» и таким образом освободиться от груза прошлого, от старой школы и найти новые формы для настоящего» (Шатских А. С., 2001. С. 142).

Первые фотографические опыты А. Родченко относятся к середине 20-х гг. – до этого Родченко, как и другие деятели того времени, экспериментировал с живописью и с пространственными объектами. Широко распространенные в то время пои-

ски выразительных средств, которыми занимался и Родченко в разных областях искусства, сослужили ему важную службу, и он не отказывался от них и впоследствии. Так, в лекциях, которые он читал почти десятилетием позже в Союзфото, приводились примеры фотографической композиции не на снимках, а на произведениях графических – например, на офортах Гойи: «Я считаю, что эти офорты дают фотографу представление о соотношении черного и белого, о качестве изображения, о композиции. Своим слушателям я предлагаю сделать композиции на основе заданных геометрических схем: пирамида, вертикаль или горизонталь, диагональ, и т. д.» (Родченко А., 1936).

Интересно, что несмотря на проникнутость фотографий Родченко историческим материалом (глядя на нах, легко диагностировать время, в которое они были сделаны, потому что эти фотографии представляют характерные черты этого времени: строительство «Беломорканала», заводы, рабочие и т. д.), характер их визуальности ближе к нам сегодня, чем фотоколлажи Клуциса. Последние требуют восстановления контекста эпохи в гораздо большем смысле и гораздо детальнее. Их автор от критики «формализма, техницизма, самодовлеющей формы» перешел к «идейно насыщенной партийной тематике». Формальные средства (многочисленные, не только фотография, почти mixed media, как сказали бы сейчас, монтажные плакаты или коллажная техника, как он писал: «Я создаю свои работы не на основе отдельных фотокадров, а использую фототехнику, химию, оптику и аппаратуру, как новую изобразительную технику, для создания художественно-идеологического образа» (Шатских А. С., 2001. С. 144), которые использовал Клуцис, должны были привести к решению вполне определенных задач – «превратить плакат, книгу, иллюстрацию, открытку в массовые проводники лозунгов партии». «Реализм» (как известно, не самый удачный термин истории искусства, однако применяемый как раз к интересующему нас периоду) направления, которое представлял Клуцис, стремился перейти «от изображения к конструкции», и далее «от конструкции к производству». Определенные способы конструирования этих произведений и их плакатная выразительность в большей степени нуждаются сегодня в дискурсивных реконструкциях для прояснения своей размеченной политической ориентации, чем более холодные, более строгие с формальной точки зрения, бесстрастные снимки А. Родченко (за что, кстати, его критиковали не раз – за формализм, за уподобление примерам фотографов других стран, в том числе, очевидно, буржуазных и т. д.[10]).

Фотографии Родченко на первый взгляд не нуждаются в дополнительных свидетельствах и в сопоставлении с другими высказываниями того же или исторически близкого периода, продолжая действовать как бы непосредственно, «из себя». В случае Родченко мы имеем дело только с фотографиями – не коллажами, не конструкциями, не поиском новых живописных возможностей, не использованием приемов «подобных фигур» или мультиплицирования элементов изображения путем физического вмешательства в изображение. Но парадоксальным образом этот медиальный минимализм черно-белой фотографии создает эффект едва ли не больший, чем многокрасочные и технически сложно устроенные произведения коллег из смежных цехов.

Наследие А. Родченко специфично вот в каком отношении. С одной стороны, имя это широко известно, его фотографии продолжают включаться в выставочные проекты и сегодня, его проекты (такие, как «Рабочий клуб») продолжают имитироваться сегодня. Они как бы у всех перед глазами. С другой стороны, работ о фотографии Родченко крайне мало. Вообще, дискурсивное наследие и самого А. Родченко, и о его фотографиях довольно скудно. Он как бы оказался записанным в наше великое наследие как самоочевидное. Как будто его фотографии «нужно видеть» – как «программа минимум», потому что трудно описать эти фотографии и объяснить их значение тому, кто никогда их не видел; и как «программа максимум» в то же время, потому что ставит вопрос о том, насколько необходима дальнейшая интерпретация этих фотографий, должно ли их разглядывание приводить к выводам, лежащим вне сферы изобразимого и фотографируемого, или их следует счесть самореференциальными. Нет почти никаких манифестов (несколько небольших статей в «Советском фото»), практически никакой автобиографии, немногие дошедшие до нас свидетельства современников, несколько альбомов фотографий, изданных при участии его родственников, Варвары Родченко (дочери) и Александра Лаврентьева (внука), снабженных минимальным комментарием, несколько весьма разнородных интерпретаций (например, Тупицына М., 2008)[11] (видимо, спровоцированных вообще многое допускающей фотографией), его собственное признание, что писать гораздо труднее, чем фотографировать.

Первые снимки (1924 г.) – это фактически портреты знакомых и близких друзей. Поэты В. Маяковский и Н. Асеев, Лиля Брик, художница В. Степанова. Они почти также обещающи (в беньяминовском смысле) и также интимны, как первая любительская фотография середины XIX в. Произведя в дальнейшем большое количество опытов с уровнями съемки, предметами, искажающими прямое изображение (сетками, источниками света) и т. д., практически в домашних условиях (в значительной степени благодаря по-

мощи В. Степановой), Родченко перешел к другим сюжетам – к деталям производственных машин на заводах, башням, рабочим на заводе, обедам в производственных масштабах, наконец, к большим скоплениям людей – марширующих на демонстрации 1 мая, участвующих в параде физкультурников [серии соответственно «Сборочный цех завода АМО» (1929), «Фабрика-кухня», «Спортивный парад на Красной площади», «Сбор на демонстрацию» (1932), «Театральная площадь» (1932)].

Более всего фотографии Родченко запоминаются не из-за сюжетов или героев (участники парадов, строек, пионервожатые и т. д. анонимны, и их количество превосходит сравнительно немногочисленные фотографии тех, на кого также изредка направлялся его аппарат и кого мы еще можем узнать и сегодня), не из-за партийной агитации или пропагандистских приемов, но благодаря его главному изобретению – съемке с необычных точек зрения. Особенно известна перспектива сверху вниз – фотографии улиц с высоты здания, или слишком близко – детали железных конструкций (как детали передатчика 1929 г. или Эйфелевой башни), лица пионеров (1930 г.). Создающийся такой перспективой эффект делает эти фотографии более чем документальными – в том смысле, что документировали обстоятельства, (с) которыми все жили, но на которые не обращали внимания.

Здесь нам придется несколько задержаться на понятии документальности в связи с фотографией того периода. Хронологически он является своеобразной реакцией на увлечения фотографов конца XIX – начала XX в. эстетическими качествами получаемых изображений, о чем говорит и название соответствующей школы – «пикторализм», т. е. живописной, красивой фотографии, какой мы и видим ее в работах А. Мазурина, А. Стиглица, Э. Стайхена, которые для снижения «документальных» качеств фотографии использовали специальные способы печати (пигментная, гуммиарабиковая, масляная, бромойль и т. д.), что позволяло существенно менять рисунок изображения, технику «лучистый гумми», добиваясь эффекта структуры поверхности живописного полотна, а также бумагу особой фактуры. В интересующий нас период фотографы, напротив, признают скорее «протокольную сущность» фотографии, т. е., прежде всего, ее способность бесстрастной и объективной записи реальности. Эти новые веяния в наибольшей степени характеризует, пожалуй, название школы «новая вещественность»: Ренгер-Патч, который достиг большой виртуозности в фотографировании растений, или А. Зандер, собиравший «атлас» человеческих лиц XX в., – все они стремились воспользоваться камерой лишь как средством, ничего не привносящим в изображение[12]. Это только впоследствии, несколько десятилетий спустя, выяснилось, что фотография, даже не рассматриваясь прямо как искусство, так или иначе позволяет ощутить зазор, который существует между вполне научно (химически, оптически, физически) объяснимой процедурой возникновения изображения на том или ином носителе и тем магическим эффектом, который он все-таки производит на зрителя. Но Родченко еще видит свою задачу как фотограф именно в документировании, во внимании к производственным вещам. Он стремился сам и старался внушить слушателям своих лекций, что не фотографируемое должно приходить к фотографу (дабы фотограф установил его в позу), но фотограф сам должен двигаться к своему предмету. Поэтому Родченко неустанно искал этих позиций съемки – в разных точках на разных высотах в Москве, в Крыму, вокруг Беломорканала, в Донбассе, чтобы захватить происходящее как бы изнутри, не через позы, но в непосредственной деятельности, «занятости своим делом». В то же время он был безусловным сторонником метода фотографа, его позиции, его особого взгляда и способностей[13], которые не могут не влиять на изображение.

Однако есть еще один важный аспект этой «новой вещественности», на которую следует обратить внимание в связи с фотографией Родченко. Это невидимость этой вещественности. С одной стороны, камера, действительно, направлялась на вещи, «объекты мира» – лица людей в их множестве и разнообразии, рисунки фактур листьев растений, насекомых, снятых очень близко, крупным планом, больше чем в натуральную величину, фрагменты зданий, балконы, лестницы и т. д. С другой стороны, это был именно взгляд камеры – бесстрастно проникающей не только дальше человеческого взгляда, работающей быстрее него (что показали еще опыты Мейбриджа), открывающей *оптическое бессознательное*, но и способной смотреть иначе, отчужденно, видящей то, что человеческий взгляд проскальзывает, не замечает. Это видимая невидимость, которую фотография и должна была предъявить человеку как часть его мира, мира, который он и видел ежедневно, и мимо которого ежедневно проходил.

К этой невидимости можно было выходить, застигая реальность из определенной точки зрения. Вот она-то как раз и делает фотографии Родченко такими особенными, отличными от того же Зандера. Точка зрения – понятие настолько важное для Родченко, что фактически именно его он обсуждает в письме Кушнеру от 18 августа 1928 г. Проводя границу между живописной манерой и фотографической техникой, Родченко отмечает, что фотография как «новый быстрый отображатель мира» при всех ее возможностях должна была бы показывать мир со всех точек, «воспитывать умение видеть со

всех сторон». Но это, по его мнению, происходило крайне редко, так как подавляющее количество фотографов продолжали делать снимки в перспективе «с пупа». Это значит, фотографировался некий усредненный вид, «фасадный», «проектированный»: «...допотопные законы зрительного мышления признавали фотографию лишь какой-то низшей ступенью живописи, офорта и гравюры с их реакционными перспективами. Волей этой традиции 68-этажный дом Америки снимается с его пупа. Но пуп этот находится на 34-м этаже. Поэтому лезут на соседний дом и с 34-го этажа снимают 68-этажный гигант. А если соседнего нет, то при помощи ретуши добиваются этого фасадного, проектированного вида» (Родченко А., 1982. С. 105–109). Так написаны, по мнению Родченко, все картины («за ничтожным исключением») – «с пупа или с уровня глаз», в том числе кажущиеся организованными по иным принципам картины примитивистов, иконы, дальневосточная живопись. В них может быть несколько фигур, но каждая представляется с уровня глаз (важное добавление: «...все в целом не соответствует ни действительности, ни точке с птичьего полета»), каждая имеет правильный фас и профиль. Это – однобокое извращение зрительной мысли, которая не занимается ни поисками точек зрения, ни перспективами, ни ракурсами, а видит или композицию, фактуру, вес и пространство (как манерная живопись ради живописи Ван Гога или Пикассо, имеющая к вещи чисто научный интерес), или всегда один и тот же тип (например, в индивидуально-психологических картинах Леонардо). Но не нужно, пишет Родченко, «работать под офорт, под японскую гравюру или под “Рембранта”». Не нужно, разыскивая новые объекты для съемки, снимать в соответствии со старинной традицией, когда «и комары будут сняты фотографом с пупа и по канону “Запорожцев” Репина». Фотографией должна решаться другая задача – показ объекта «с таких точек зрения, с которых *мы смотрим, но не видим*» (курсив наш. – *Н. С.*). Далее Родченко пытается пояснить эту загадочную фразу: задачей фотографа является «снимать обыкновенные, хорошо знакомые ему (человеку) предметы с совершенно неожиданных точек и в неожиданных положениях, а новые объекты снимать с разных точек, давая полное представление об объекте», «как бы обсматривая его, а не подглядывать в одну замочную скважину». То есть если имеется задача фотографировать завод, не нужно фотографировать его издали с серединной точки (хотя с такой точки зрения человек может смотреть на объект-завод, такая точка зрения вполне представима для человека, только Родченко не считал ее интересной), а нужно осматривать его подробно – внутри, сверху вниз и снизу вверх (так сказать, в лобовом столкновении, когда приблизиться еще больше уже невозможно для фотографа). Далее, проходя по улице и видя здания снизу вверх, рассматривая улицу с верхних этажей с десятками пешеходов на ней, или видя изображение сверху вниз из амфитеатра, не нужно изменять изображение, «выпрямляя в классический вид “с пупа”».

Подчеркнем эту постоянно возникающую двойственность: с одной стороны, фотографу следует фотографировать так, как *может видеть обыкновенный человек с улицы* – фрагментами, недостроенными до некоторой целостности видами (и даже не видами в этом смысле – потому что за ними нет представления о более общем); но этот *человек почти никогда так не видит*, потому что он вообще не видит того, что составляет часть его повседневной жизни, и виной тому не только воспитание в традиции идеализирующего перспективного зрения живописи, но даже скорее антропологическая привычка не производить дополнительных усилий для того, чтобы увидеть. И объяснением здесь может служить не только социологическая теория повседневности, но и теория образа, например, разрабатываемая М. Ж. Мондзэн, которая доказывает невозможность прямого видения и подчеркивает различные способы введения опосредования, медиальных условий, в том числе предлагаемых фотографиическим медиумом. С другой стороны, это невозможность усредненного типического зрения: приводя очередной пример, Родченко заключает, что фотографии, которые изображают города Америки такими, какими ее представляют себе и американцы, и европейцы, воспитанные на законах правильной перспективы, изображают то, что в «в действительности нельзя никак увидеть». С какой стороны не смотри, получается, что фотография показывает то, что никто не видит, показывает так, как не способен видеть человек. Вопрос, который возникает в связи с этим, связан с тем, в какой мере и как существует то, что предъявляет фотография? И как фотография функционирует, находя свой путь между документальностью и утопией?

Разумеется, этот тяжелый вопрос связан и с контекстом науки. Науки, развитие которой привело к экспериментированию с различными аппаратами, от камеры-обскуры до волшебного фонаря, и различными средствами, которые позволяли проявлять и фиксировать изображение на бумаге. Науки, которая предлагает объяснения того, что нельзя увидеть, – действие магнитных полей, поведение микрочастиц, поверхность Марса, реальность, описываемую уравнениями Максвелла. Однако уже фотография Родченко показывала не далекие миры (невидимые макро- или микрособытия), но самую привычную повседневность как не то чтобы отчужденную, но как ту, которая никогда и не приближа-

лась, как мир, к которому еще нужно учиться выходить навстречу.

Действительно, что это за перспектива «не с пупа» или «не с уровня глаз»? Кто смотрит в такой перспективе, где, иными словами, исходная точка такой перспективы? Как мы уже выяснили, она едва ли принадлежит субъектам, о которых обычно пишут: ни тот, кто смотрит непосредственно (прохожий с улицы), ни тот, кто вводит опосредующие операции разума для выстраивания типичного вида (фотохудожник), не видит того, что изображают фотографии Родченко.

Ответ, к которому подводит наше исследование, таков: эта перспектива не принадлежит никому. Точнее, она не принадлежит кому-то в отдельности. Или, если выразиться еще более точно, речь должна идти не столько о *перспективе*, сколько опять-таки о понятии *медиального*. Ибо с помощью этого понятия описываются отношения – между тем, кто видит, и тем, кто смотрит; отношения, особым образом опосредованные материальностью фотографии в данном случае. Фотография Родченко в чистом виде (с точки зрения отмеченного нами минимального минимализма) свидетельствует об этих пределах – как приближения (к балкону или лестнице), так и удаления (от завода), в которых эти отношения разыгрываются. Невозможно не вспомнить в связи с этим специфические фотографии Родченко, которые обычно называют «Пионерами» (заметим, что та же манера обнаруживается в некоторых фотографиях Н. Асеева, В. Степановой) – слишком близкий и крупный план преимущественно лица, многократно увеличивающий сходство фотографируемых со скульптурами. Эти фотографии вызвали негативную реакцию в Новом ЛЕФе (1928) и «Советской фотографии» (1931, середина 1930-х гг.). Сейчас можно видеть в них проявление монументального могущества империи, особые превращения политического режима; можно видеть в них следование «мумифицирующей» природе фотографии (о которой писали многие, от теоретика кино Андрэ Базена (Базен А., 1972) до семиолога Ролана Барта (Барт Р., 1996)); однако в контексте *медиального* мы видим, как слишком активные эксперименты с прямым фиксирующим зрением и фактическим уничтожением дистанции приводят к утрате человеческого в этих лицах, подменяя его статуарностью памятника. Получающаяся в результате видимая вещественность (лиц), слишком видимая, слишком прямо увиденная, фактически лишает зрителя возможности выстроить отношение, воздвигая перед ним материальную заслонку. Такое использование фотографического «средства», беззастенчиво преодолевающего скромные возможности глаза и наглядно демонстрирующего результат, не позволяет задействовать *медиальные* условия. Оно ограничивается нанесением зрителю травмы от прямого, неопосредованного контакта. Многие же другие серии фотографий Родченко, апробируя способы взаимодействия со зрителем, в большинстве случаев позволяют медиальному явиться условием возможности восприятия. Они связаны, на наш взгляд, с непосредственными экспериментами с видением, которые в дальнейшем и позволяют оформиться представлениям о новых возможностях социального существования.

Список литературы

Базен А. Что такое кино? Сб. ст. М.: Искусство, 1972.

Барт Р. Мифологии. М.: Изд-во им. Сабашниковых, 1996.

Вертов Дзига. Статьи, дневники, замыслы. М.: Искусство, 1966.

Дебор Г. Общество спектакля / пер. с фр. С. Офертаса и М. Якубович. М.: Изд-во «Логос», 1999.

Лаврентьев А. Н. Ракурсы Родченко. Революционный фоторепортер. М.: Искусство, 1992.

Малевич К. Супрематизм // Малевич К. Собрание сочинений: в 5 т. Т. 1. Статьи, манифесты, теоретические сочинения и др. работы. 1913–1929 / общ. ред., вступ. ст., сост., подг. текстов и комм. А. С. Шатских; раздел «Статьи в газете “Анархия” (1918)» – публ., сост., подг. текста А. Д. Сарабьянова (1995).

Родченко А. Перестройка художника. Советское фото, 1936.

Родченко А. Революционный фоторепортер. Доклад 1929 г. М.: Искусство, 1992.

Родченко А. М. Статьи. Воспоминания. Автобиографические записки. Письма / под ред. В. А. Родченко. М.: Советский художник, 1982.

Стигнеев В. Век фотографии. 1894–1994. М.: КомКнига, 2005.

Тупицына М. Александр Родченко: «Девушка с “Лейкой”», или «Письма не о любви» // Синий диван-12, М.: Три квадрата, 2008.

Шатских А. Витебск. Жизнь искусства. 1917–1922. М.: Языки русской культуры, 2001.

Шатских А. Казимир Малевич и общество Супремус. М.: Три квадрата, 2009.

Cramer F. What is interface aesthetics, or What could it be (not)? (18.9.2009) .

Danto Arthur C. Supreme being in Russia. (Suprematist art movement in 1915 Russia) // The Nation, April 8, 1991. Vol. 252. Nr. 13. P. 452 (5).

Manovich L. http://manovich.net

Mitchell W. J. T. and Hansen Mark B. N. (ed.) Critical Terms for Media Studies. Chicago, IL: University of Chicago Press, 2010.

Morgolin V. The struggle for utopia: Rodchenko, Lissitzky, Moholy-Nagy: 1917–1946. University of Chicago Press, 1997.

Примечания

1 Термин принадлежит Т. Адорно. Ср.: «Вину за это (распространение культуриндустрии) никоим образом не следует возлагать на некий закон развития техники как таковой, но только лишь – на способ ее функционирования в экономике сегодня» // Хоркхаймер М., Адорно Т. В. Диалектика просвещения. Философские фрагменты. М.; СПб., 1997. С. 149–209.

2 Один из самых ярких примеров тому – размышления В. Беньямина о роли фотографии и кино, т. е. тех выразительных средств, для которых технически осуществляемые тиражируемость и распространение играют важную роль. В ранней фотографии и раннем кинематографе он видел обещание, выполняя которое искусство может исполнять новые социальные функции, а не следовать безличной логике капитализации // Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости / пер. с нем. С. Ромашко. М.: Медиум, 1996. Однако идеи Беньямина долго никак не использовались, и ренессанс изучения его трудов связан с серединой 1990-х гг.

3 Так, все большую силу набирают критические голоса, заявляющие о не- или даже антиэстетическом, противопоставляющие успешности художника, оцениваемой в экономических, а не искусствоведческих терминах, еще возможные стратегии творческой деятельности.

4 См. и другие проекты Л. Мановича, такие: Content and communication strategies in 4535 covers of Time magazine (April 2nd, 2011) и Computational analysis of one million manga pages (March 9th, 2011) на http://manovich.net/

5 Исследования, ведущиеся на русском языке, имеют свои затруднения, связанные с тем, что «медиум» понимается, прежде всего, как человеческое тело, выступавшее посредником для «чужого духа» во время спиритических сеансов конца XIX в. «Средство» – это возможный перевод термина medium. О роли этого понятия в зарубежных исследованях см., например: Krauss R. A Voyage on the North See. Art in the Age of the Post-Medium Condition. London, 2000. P. 5–7. Здесь Краусс, с одной стороны, указывает на перегруженность этого термина, но также специально оговаривает возможности его иного использования.

6 «Первая аксиома теории медиа могла бы звучать так: медиа в субстанциальном и исторически стабильном смысле не существуют. Медиа несводимы к таким формам репрезентации, как театр или фильм, к таким техническим приспособлениям, как печатный станок или телевизор, или к таким символическим техникам, как письмо или изображение, – хотя и населяют их все» // C. Pias, J. Vogl, L. Engell et al. (Hg). Kursbuch Medienkultur, 4 Aufl. Stuttgart, 2002. S. 10.

7 Работа над декорациями и костюмами к постановке в конце 1913 г. футуристической оперы «Победа над Солнцем» (текст А. Крученых, музыка М. Матюшина, пролог В. Хлебникова) впоследствии была осмыслена Малевичем как становление супрематизма. В статье «Театр» (1917) он подчеркнул оглушительное новаторство спектакля: «Звук Матюшина расшибал налипшую, засаленную аплодисментами кору звуков старой музыки, слова и буквозвуки Алексея Крученых распылили вещевое слово. Завеса разорвалась, разорвав одновременно вопль сознания старого мозга» // Шатских А. 2009.

8 Главнейшие фильмы Д. Вертова, составившие славу мирового кинематографа, это «Кино-глаз» (1924), «Человек с киноаппаратом» (1929), «Энтузиазм (Симфония Донбасса)» (1930).

9 Ср.: «Через супрематическое философское цветовое мышление уяснилось, что воля может тогда проявить творческую систему, когда в художнике будет аннулирована вещь как остов живописный, как средство, и пока вещи будут остовом и средством, воля его будет вращаться среди композиционного круга, вещевых форм. Все, что мы видим, возникло из цветовой массы, превращенной в плоскость и объем, и всякая машина, дом, человек, стол – все живописные объемные системы, предназначенные для определенных целей. И если даже будет построено и беспредметно, но основано на цвето-взаимоотношениях, воля его будет заперта среди стен эстетических плоскостей вместо философского проникновения. Только тогда я свободен, когда моя воля через критическое и философское обоснование из существующего сможет вынести обоснование новых явлений. Я прорвал синий абажур цветных ограничений, вышел в белое; за мной, товарищи авиаторы, плывите в бездну, я установил семафоры супрематизма» (Малевич К.).

10 «Вы от меня ждете доклада о “левой” фотографии, но напрасно, так как я считаю, что это вопрос несколько запоздавший. Во-первых, уже многие из Вас снимают “по-левому”, а во-вторых, вопрос потерял актуальность. Есть более первостепенный вопрос: каким должен быть советский фоторепортер, что он должен знать, как и для чего работать» // Родченко А. Революционный фоторепортер (доклад 1929 г.).

11 Здесь, например, разбираются несколько фотографий, считавшихся демонстрацией освобождения Родченко от уз социально-политической специализации, выглядевшие неясно «как среди документальных фотографий Родченко, так и среди тех, что были сделаны “для души”» (с. 96). Подчеркнув, что

«не стоит преуменьшать воздействие личной жизни на создание художественных произведений даже в условиях жесточайшего политического контроля» (с. 97), Тупицина затем погружает анализ фотографий в психоаналитический контекст [например: «Родченко преуспевает в адаптации мазохистского идеала, покоящегося на условии, что “грубая натура управляется сама собой: хитростью и жестокостью, ненавистью и разрушением, беспорядком и похотью”» – о поездке Родченко в Беломорск, цитата взята из произведения Делеза (Тупицына М., 2008. С. 111)].

12 Хотя некоторые политизированные исследователи полагают, что сам выбор этих фигур и лиц производился для того, чтобы легче было опознать классового врага. См.: Ranciere J. Ce que «medium» peut vouloir dire: l'exemple de la photographie, in: Revue Appareil, Nr. 1, 2008 (русский перевод в печати).

13 Меня не раз обвиняли за мое «как снимать» в период моей экспериментальной работы, говорили, что это аполитично и абстрактно, что главное – «что снимать» и «для кого снимать». Но я считаю, что, пока у фоторепортера не будет вооруженности «как снимать» или своего подхода, метода, своей направленности и грамотности, с помощью которых он может подать или заснять объект в очень многих возможностях в смысле точек съемки, света, глубинных отношений, подчеркнутости, остроты и прочее, он не сможет идти «что снимать» и «для чего снимать», так как тогда он будет только бухгалтер, а не фоторепортер» (Родченко А. М., 1982).

РАЗДЕЛ 7. МУЗЕЙНЫЕ И АРХИВНЫЕ ФОНДЫ: ИЗУЧЕНИЕ, ВВЕДЕНИЕ В НАУЧНЫЙ ОБОРОТ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ НОВОГО КАЧЕСТВА ДОСТУПА К КУЛЬТУРНОМУ НАСЛЕДИЮ

И. В. Тункина

МОДЕРНИЗАЦИЯ НАУЧНО-СПРАВОЧНОГО АППАРАТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ФИЛИАЛА АРХИВА РАН

Документы Санкт-Петербургского филиала Архива РАН (СПФ АРАН) – первого научного архива России (основан в 1728 г.) и крупнейшего центра документации Академии наук за 287-летний период ее существования – входят в Архивный фонд Российской Федерации. К материалам академического архива ежегодно обращаются исследователи не только из России, но и из десятков стран мира. Однако потенциал СПФ АРАН как хранителя ценнейшей ретроспективной документальной информации XV–XX вв. и старейшего научно-исследовательского учреждения РАН на сегодняшний день в достаточной мере не реализован. Успешное решение как архивоведческих, так и научно-исследовательских задач требует хорошо поставленной службы информационного обеспечения всех направлений деятельности архива.

Научно-справочный аппарат (НСА) СПФ АРАН является одним из основных инструментов, обеспечивающих полноценную научную работу исследователей и сотрудников архива. Вплоть до настоящего времени ученые, работающие в читальном зале, пользовались рукописными карточными каталогами, рукописными и машинописными описями и указателями к фондам, созданными в 1908–1980-х гг. При этом огромный пласт документной информации оставался недоступным исследователям в разных областях науки, так как каталогизация документов академического архива была прекращена в начале 1990-х гг. Из-за отсутствия в СПФ АРАН специального Отдела учета и каталогизации документов и специалистов в области компьютерных технологий академический архив десятилетиями не имел возможности пополнять свои каталоги, перепроверять устаревшие шифры рукописных каталогов и переводить НСА в электронный вид [общее количество фондов СПФ АРАН – 755, разрядов (коллекций) – 16, описей – 2065, дел – 482 061 ед. хр.]. Ретроспективная документальная информация о сотнях ученых и деятелях науки XVIII–XX вв. оставалась «погребенной» под безликими названиями архивных дел, которые не подверглись каталогизации, поэтому поиск сведений о том или ином персонаже требовал огромных временных затрат, просмотра десятков описей и единиц хранения.

В начале XXI в. очевидна необходимость в модернизации НСА СПФ АРАН с целью усовершенствования и перевода в электронный формат устаревших рукописных алфавитных и предметных каталогов, создания постоянно пополняющейся новой электронной системы НСА в виде электронной базы данных, так как эпоха карточных каталогов безвозвратно ушла в прошлое. Компьютерные базы данных помогают обеспечить оперативный и адресный доступ к документной информации на качественно новом уровне как в стенах архива, так и в сети Интернет, что позволяет значительно расширить сферу ее использования и круг пользователей программного продукта. Постепенное создание баз аннотированных документов по различным принципам дает возможность получать информацию, не обращаясь непосредственно к архивному документу, способствует повышению эффективности исследований как читателей, так и сотрудников архива. В результате архивисты освобождаются от многих видов технического обслуживания пользователей – выдачи десятков томов описей и долговременного поиска информации по каталогам для ответа на запросы исследователей, что позволяет значительно интенсифицировать информационную и научно-исследовательскую работу архива. Решение поставленных задач в полном объеме позволит СПФ АРАН выйти на мировой уровень архивной практики и соответствовать Международному стандарту архивного описания документов – General International Standard Archival Description (ISAD).

В 2009–2011 гг. академические архивисты приступили к разработке принципов и к начальной реализации проекта перевода НСА академического архива в электронный формат для оптимизации процесса обслуживания исследователей, повыше-

ния эффективности в использовании документальных ресурсов СПФ АРАН и введения в научный оборот новых данных. К проекту были привлечены как архивисты, так и сторонние специалисты в области компьютерных технологий для создания специального программного продукта и защиты внутренней информации от несанкционированных вторжений.

Петербургская компьютерная компания «Alko Design» в 2009 г. создала основные модули базы данных (http://db.ranar.spb.ru) и вебсайта (http://ranar.spb.ru) СПФ АРАН, которые обеспечивают решение следующих задач:

1. Работа с электронным каталогом сотрудников СПбФ Архива РАН: ввод данных; коррекция данных; загрузка изображений; поиск по архивному шифру; контекстный поиск;

2. Ограниченный доступ к данным через Интернет;

3. Расширенный доступ к данным из читального зала и для авторизованных пользователей;

4. Контроль, протоколирование и анализ действий пользователей.

Система предусматривает использование нескольких языков как для интерфейса, так и для хранимых данных (русский и английский языки). На первом этапе система должна быть рассчитана на хранение информации о 100 тысячах документов и иметь возможность последующего расширения до 100 миллионов.

По электронной базе данных СПФ АРАН созданы:

1. Выпадающие списки номеров и названий фондов/разрядов (коллекций) и описей, что позволяет выбирать название из списка предложенных, а не вводить их каждый раз заново (см. вклейку: с. 91, ил. 1).

2. Поисковая система по базе данных, позволяющая находить нужную запись без пролистывания всей базы (см. вклейку: с. 92, ил. 2).

3. База пользователей: зарегистрированный пользователь имеет учетную запись и может продолжать работу, начатую в предыдущую сессию. Пользователи ранжируются по уровню доступа к материалам базы и возможности их модифицировать.

4. Проверка скриптом (программа, обращающаяся к базе данных) на предмет безопасности.

5. Функции сервера и его настройка, а также возможности работы с базой данных для сотрудников и пользователей через Интернет, все попытки которой документируются.

Участниками проекта был начат ввод в электронную базу данных алфавитного карточного каталога личных дел сотрудников Академии наук СССР 1920–1950-х гг. Наполнение электронного каталога сочеталось с апробацией поисковой базы, формированием необходимых полей для заполнения, определением количества допустимых значений по числу символов, условий поиска и их ограничений. Каталог личных дел, создававшийся несколькими поколениями архивистов, – один из наиболее востребованных в работе читального зала СПФ АРАН и в научной работе сотрудников архива. В него были внесены личные дела сотрудников из фондов научных учреждений г. Ленинграда советского периода, находящихся на государственном хранении в СПФ АРАН. Каталог является уникальным комплексом, так как в систематизированном виде карточки на личные дела существуют в единственном экземпляре. В электронный каталог вносились все личные дела сотрудников АН СССР, как научных (академиков, членов-корреспондентов, известных ученых), так и технического персонала.

За 2009–2011 гг. в базу было внесено свыше 16,5 тыс. заголовков единиц хранения, с одновременной проверкой шифров рукописного каталога по архивным описям и делам и уточнением фамилий и инициалов сотрудников по документам (см. вклейку: с. 92, ил. 3). При работе с описями частично дополнялись отсутствующие в рукописном каталоге сведения: вносились даты, сведения об объеме единиц хранения, видах документов и проч. Одновременно проводилась работа с учетными документами архива – делами фондов, содержащими информацию об их научно-технической переработке в разные годы, что позволяло уточнять шифры единиц хранения и вносить коррективы в электронную базу.

В ходе работы были выявлены карточки рукописного каталога по личному составу учреждений АН СССР, утратившие свою практическую значимость. В 1970-х–1980-х гг. в архиве проводилось научно-техническое усовершенствование фондов и описей и передача их в другие учреждения, некоторые из фондов и описей были аннулированы и исключны из учета, что, однако, не нашло отражения в карточном каталоге. Например, еще в 1979 г. из-за нехватки места в архивохранилищах СПФ АРАН Фонд 315 – Государственный радиевый институт (создан в 1922 г. акад. В. И. Вернадским) – был передан на хранение в Радиевый институт им. В. Г. Хлопина, ныне не входящий в структуру РАН (дочернее предприятие госкорпорации «Росатом» ФГУП НПО «Радиевый институт им. В. Г. Хлопина»). При научно-технической переработке фондов в 1970-х гг. были ликвидированы опись 10 фонда 18 (Издательство АН СССР) и Опись 3 Фонда 222 (Управление подготовки научных кадров АН СССР), дела из которых оказались включены в другие описи тех же фондов. Однако карточки на личные дела сотрудников всех усовершенствован-

ных или переданных в другие учреждения фондов остались в каталоге документов по личному составу со старыми шифрами. Так, личные дела из Ф. 18. Оп. 10 (Издательство АН) были перемещены в ф. 344. Оп. 1 (Ленинградское отделение конторы по распространению изданий Издательства АН СССР «Академкнига»); материалы личного состава из Ф. 47. Оп. 5 (Комиссия по изучению Якутской ССР, документы и дневники полярного исследователя Н. А. Бегичева) вошли в состав Ф. 47. Оп. 4 (Личные дела), при этом изменились номера единиц хранения, что не нашло отражения в каталоге личных дел. В ходе работы с описями и делами отдельных фондов архивные шифры были исправлены и дополнены, дублетные описания ликвидированы, а заголовки дел отредактированы. В их числе документы Ф. 302. Оп. 2 (Научно-исследовательский институт языкознания. Личный состав); Ф. 703. Оп. 3 (Главная астрономическая обсерватория в Пулкове. Личные дела и трудовые списки); Ф. 806. Оп. 2 (Научно-исследовательский институт эволюционной физиологии и патологии им. И. П. Павлова в Колтушах. Личный состав); Ф. 822. Оп. 2 (Реставрационно-полиграфические мастерские Библиотеки АН СССР. Личные дела) и др.

Таким образом, внесение документов о личном составе в электронный каталог позволило систематизировать данные о происшедших в течение последних десятилетий изменениях в структуре фондов академических учреждений и отразить их в учетных документах СПФ АРАН (делах фондов, описях и проч.). Проведенная работа показала, что уточнение введенного в электронный каталог дел невозможно без непосредственной работы с описями фондов и документами отдельных единиц хранения. В ходе выполнения проекта проводилось постоянное консультирование всех его участников по составу научно-справочного аппарата архива, оказывалась оперативная квалифицированная помощь в работе с программой. Для молодых сотрудников СПФ АРАН участие в создании электронного каталога имело важное значение, так как эта работа дала представление о состоянии научно-справочного аппарата архива, и как следствие – умение лучше ориентироваться в составе и содержании фондов учреждений, хранящихся в СПФ АРАН и включающих документы по личному составу.

В базе данных архива размещена подборка документов к 300-летию со дня рождения М. В. Ломоносова с их аннотациями и сканированными копиями. Это рукописи и печатные экземпляры его работ, документы к биографии и по деятельности в Академии наук, в том числе научно-организационного характера, рисунки, портреты, изобразительные материалы и проч. Завершено заполнение данных в соответствующих полях электронного каталога, содержащих обширную информацию об отдельных ученых, изучавших жизнь и деятельность М. В. Ломоносова, входящие в раздел Ломоносовиана (всего свыше 2200 аннотаций). Экспортированный из базы данных перечень документов и их изображений составил электронный сборник «Ломоносов и Ломоносовиана в Санкт-Петербургском филиале Архива РАН: к 300-летию со дня рождения М. В. Ломоносова» (ориентировочное время выхода издания – ноябрь 2011 г.) (см. вклейку: с. 93, ил. 4).

Интерактивный защищенный сайт СПФ АРАН связан ссылками с другими сайтами РАН, наполнен базовой информацией и зарегистрирован в поисковых сетях для быстрого обнаружения потенциальным пользователем. Он оснащен типовыми страницами, страницами поиска, обратной связи, картой сайта и т. п. и защищен от упрощенного скачивания изображений пользователем, что предотвращает массовое нелегальное использование архивных документов без ведома СПФ АРАН.

На сайт СПФ АРАН выложены отдельные материалы научно-справочного аппарата архива – представленные в пдф-формате «Реестр описей фондов» (763 фондов), 4 электронные описи четырех фондов учреждений и личных фондов ученых, сданных в последние годы на государственное хранение (Ф. 703: Главная астрономическая обсерватория в Пулкове. Оп. 12: Дополнения; Ф. 998: Дембская В. Е. (см. вклейку: с. 94, ил. 5); Ф. 1015: Линник Ю. В.; Ф. 1078: Давиденков Н. Н.). В ближайшее время планируется перевести старые описи, находящиеся в плохом физическом состоянии, в электронный вид и выложить их на сайт СПФ АРАН.

В рамках проекта разработана многоуровневая система доступа на сайте СПФ АРАН к графическим копиям книг по истории Императорской Санкт-Петербургской–Всесоюзной–Российской академии наук, изданных на материалах архива XVIII–XX вв. В их числе протоколы заседаний Конференции (Общего собрания) и всех отделений (см. вклейку: с. 94, ил. 6), отчеты АН, публикации с грифами Архива АН СССР–СПФ АРАН, архивные справочники и путеводители (97 изданий объемом около 23 тыс. страниц). На отдельном разделе сайта доступна подробная библиография серии «Труды Архива АН СССР» (1933–1986), причем каждое описание снабжено гиперссылкой на сканы представленных книг (30 описаний).

На веб-сайте СПФ АРАН размещены также online выставки 2009-2011 гг. документов архива, в том числе «Акварели М. С. Мериан (1647–1717) и ее последователей», «Президенты Академии наук, 1724–1936), к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне «От 1941 до 1945 г.», выставки к юбилейным датам выдающихся членов Академии

наук XVIII–XX вв. – об академиках С. П. Крашенинникове (1713–1755), М. Ф. Броссе (1802–1880), Е. Ф. Карском (1860–1931), С. Ф. Платонове (1960–1933), П. С. Палласе (1741–1811) (см. вклейку: с. 95, ил. 7), к 300-летию М. В. Ломоносова – жалованная грамота императрицы Елизаветы Петровны М. В. Ломоносову на земли в Копорском уезде Петербургской губ., где ученым была построена фабрика для производства цветного стекла (1756 г.). Часть материалов дается со ссылкой на электронные копии документов и научных статей, представленных на портале РАН.

Таким образом, за три года выполнения проекта разработана и создана многомодульная электронная база данных (http://db.ranar.spb.ru) и вебсайт (http://ranar.spb.ru) Санкт-Петербургского филиала Архива РАН, позволяющие авторизованному пользователю пополнять и редактировать информацию через Интернет. В электронную базу данных, помимо перечня всех фондов/разрядов и описей СПФ АРАН, введен алфавитный карточный каталог личных дел сотрудников учреждений Академии наук СССР 1920–1950-х гг. (свыше 16,5 тыс. заголовков), документов М. В. Ломоносова и Ломоносовианы (свыше 2,2 тыс. заголовков). На сайте СПФ АРАН размещены реестр описей фондов, описи четырех фондов, принятых на государственное хранение в последние годы, on-line выставки 2009–2011 гг., отсканированные труды Архива Академии наук, в том числе «Обозрения архивных материалов», научные описания рукописей отдельных ученых, издания по истории АН, отчеты и протоколы заседаний Императорской–Российской АН за XVIII–XX вв. Перевод в электронную форму научно-справочной информации СПФ АРАН позволил значительно расширить круг пользователей программного продукта, в число которых сегодня вошли исследователи разных стран, имеющие доступ во всемирную паутину.

С. М. Демкина

ЭЛЕКТРОННЫЙ КАТАЛОГ ФОНДОВЫХ КОЛЛЕКЦИЙ МУЗЕЯ А. М. ГОРЬКОГО ИМЛИ РАН. ОПЫТ СОЗДАНИЯ

В феврале 1937 г. президиум ЦИК принял решение об организации при Институте литературы им. А. М. Горького Архива писателя и Музея, «доступного для широкого обозрения» в особняке Доменико Жилярди (Поварская, 25-а). 1 ноября 1937 г. первые посетители переступили порог нового Музея. 28 мая 1965 года в особняке на М. Никитской, 6, где М. Горький прожил последние годы, открылся филиал Музея – мемориальная квартира писателя. Дом, выстроенный в начале XX столетия архитектором Ф. О. Шехтелем – блестящий образец московского модерна, памятник архитектуры. В момент основания и последующие годы постановление Президиума ЦИК обеспечило фондам Музея богатейшие поступления из личных и государственных собраний. В Музее хранятся работы М. В. Нестерова, В. А. Серова, Б. Д. Григорьева, Л. О. Пастернака, А. Д. и П. Д. Кориных, А. Н. и Н. А. Бенуа, Б. М. Кустодиева, Ю. А. Анненкова, В. Д. Поленова, В. Д. Фалилеева, А. Остроумовой-Лебедевой, Е. С. Кругликовой, И. И. Машкова, В. Д. Фаворского, Кукрыниксов и др., скульптура С. Т. Коненкова, И. Д. Шадра, В. И. Мухиной, Н. В. Томского, В. Сапика, Н. В. Крандиевской и др. Музейный фотофонд представлен произведениями М. П. Дмитриева, А. О. Карелина, Шерера и Набгольца, Д. Лейбовского, М. Наппельбаума, П. Оцупа, Н. Петрова, М. Альперта, М. Ошуркова и многих других.

Экспонаты Музея весьма разнообразны: от бронзовой скульптуры (В. И. Мухина. А. М. Горький), украшающей двор Института Мировой литературы, до крохотного бумажного петушка, сделанного Львом Толстым для маленького Максима, сына Горького. Здесь хранятся автографы Чехова, Бунина, Станиславского, Шаляпина, предметы прикладного искусства, нумизматика, коллекция восточной миниатюры, личная библиотека (12 000 томов), свыше 2000 иллюстраций к произведениям Горького, офорты и гравюры, оригинальные стеклянные негативы, фотодокументы и личные вещи писателя, театральные афиши и макеты, посмертные маски, слепки и многое другое.

При сравнении современных технологий музейного хранения с действующей системой Музея А. М. Горького работники музея пришли к решению о модернизации. Создание электронного каталога фондовых коллекций Музея – проект, основной целью которого полагалось формирование новой структуры хранения экспонатов. При выработке

данной концепции учитывались преимущества традиционных форм работы и современные достижения, позволяющие по-новому организовать основные виды музейной деятельности: собирание, хранение и изучение материалов. Общий фонд Музея А. М. Горького – основной, мемориальный и научно-вспомогательный насчитывает около 100 000 единиц. Его состав по технике и материалу весьма разнообразен: живопись, графика уникальная и тиражная, скульптура, медальерное искусство, макеты, мемориальные предметы, негативы, фотодокументы, печатные издания (книги, афиши, плакаты, программы, билеты и проч.). В силу различных обстоятельств значительная часть экспонатов требует специальных условий хранения и особой системы доступа. Создание электронного эквивалента фондовых коллекций позволит, соблюдая все музейные нормативы, обеспечить новое качество доступа к ним.

Научная концепция проекта и его пошаговая реализация разрабатывались с учетом разнообразия и большого объема музейных материалов. Проанализировав тематические разделы хранения, наличие необходимого оборудования и технические возможности, научные сотрудники определили приоритет данного проекта – фотофонд Музея А. М. Горького. Основанием для подобного решения послужило сочетание нескольких факторов: необходимость постепенного накапливания опыта работы по оцифровке экспонатов и составлению сопровождающих характеристик, что предпочтительнее осуществлять с небольшими по формату и относительно легкими в обращении материалами. Также принималось во внимание наличие в Музее значительного числа ранее не изученных фотографий и растущий интерес исследователей к оригинальным фотодокументам.

Музей А. М. Горького ИМЛИ РАН располагает уникальной фотоколлекцией, характеризующейся количественным объемом, мастерством исполнения, хронологической и тематической широтой. Здесь собрана иконография писателя и групповые снимки с Горьким, портреты его современников (забытые и малоизвестные фамилии соседствуют с громкими именами деятелей культуры и политики, сделавшими значительный вклад в историю нашей страны), изображения мест жизни и творчества, виды городов, исторические события, типажи, фотодокументы, характеризующие горьковскую эпоху – период последней трети XIX в. и более трех десятилетий XX в.; сотни снимков театральных постановок горьковских пьес с начала 1900-х гг. до наших дней и т. д.

Процесс обработки фотографий состоял из отбора, оцифровки и научного описания снимка. «Электронный паспорт» каждой единицы фотоархива содержит специальную музейную характеристику: название, дату, место съемки, имя фотографа, краткое содержание. Затем следуют размеры фотографии и паспарту (при его наличии), номер в книге поступлений. Все надписи на лицевой и оборотной сторонах фотографии и паспарту воспроизводятся (по возможности) с указанием, чьей рукой они сделаны. Завершается описание каждой фотографии сведениями, когда и от кого она поступила (передана в дар), а также обоснованием датировки. В тех случаях, когда фотография имеется в нескольких вариантах, для описания выбирается наиболее полный ее вариант, а в скобках, вслед за названием фотографии, указывается количество ее вариантов и экземпляров. Иногда, в целях лучшей организации материала и для облегчения его восприятия, группа фотографий объединяется в серию. Эти снимки сделаны обязательно одним фотографом и, как правило, в одном месте, в течение одного или нескольких дней. Фотографии одной серии связаны одними и теми же личностями и событиями. Во многих случаях описание сопровождается иллюстративными текстами, имеющими отношение к представленным лицам, событиям или местам. В разделе снимков «горьковской тематики» приводятся тексты из произведений и писем Горького, отрывки из воспоминаний и писем изображенных на фотографиях персон, а также сведения, сообщенные ими при передаче материалов Музею.

Проект создания электронного фотофонда предполагал три стадии реализации. Участники проекта, завершив первую его часть, проанализировали все плюсы и минусы с тем, чтобы в дальнейшем избежать ошибок и использовать найденные удачные решения. Было обработано 700 единиц хранения, произведена их оцифровка, систематизация и научное описание, сформирована картотека профессиональных фотохудожников и фотографов – любителей. Научным сотрудникам удалось ввести в научный оборот ценные музейные материалы, содержащие информацию, необходимую ученым, литературоведам, музейщикам, студентам, режиссерам; всем, кто изучает историю России и ее духовное наследие. Исследователи, живущие в других городах, получили возможность воспользоваться дистанционным доступом в фотоархив Музея.

Приступая к выполнению второго этапа проекта «Создание электронного каталога фондовых коллекций Музея А. М. Горького ИМЛИ РАН», исполнители скорректировали (уточнили и дополнили) основные, значимые графы «электронного паспорта» экспонатов фотоархива Музея; закрепили оптимальные схемы по использованию создаваемого каталога хранения, задали параметры поисковой базы.

Второй год был посвящен систематизации фотоархива Музея А. М. Горького; оцифровке, обработ-

ке и сохранению 1000 изображений. Уже на этом этапе специалисты смогли получить доступ к малоизученным и неопубликованным материалам, хранящимся в запасниках. Качественно новый уровень работы с исследователями позволил расширить круг взаимодействия Музея с коллегами из других научных и культурных институций. Данная стадия создания электронного каталога фондовых коллекций подтвердила потенциал современных технологий, способных изменить музейную повседневность. Основными результатами сделанного можно назвать структуризацию значительного фондового массива; введение в научный оборот неопубликованных материалов; совершенствование системы хранения, поиска и облегченного доступа к музейным экспонатам. В ходе работы участники проекта удостоверились в правильности ранее сформулированных приоритетов.

Важнейшим этапом стала обработка части фотофонда Музея А. М. Горького, представленного произведениями М. П. Дмитриева, А. О. Карелина, Шерера и Набгольца, Д. Лейбовского, М. Наппельбаума, П. Оцупа, Н. Петрова, М. Альперта, М. Ошуркова и др. Весьма существенно, что в процессе данной работы впервые в электронный каталог и соответственно в научный оборот введены все обнаруженные сопровождающие тот или иной снимок документы: справки, пояснительные акты, письма, вырезки из газет с пометами, рукописи дарителей с краткими воспоминаниями, имеющими отношение к запечатленному на фотографии.

Большой блок малоизученных, чрезвычайно важных не только для горьковедения, но и шире – для изучения истории России фотоматериалов, над которыми работали сотрудники в течение года, условно можно назвать «памятные горьковские места». Это виды стран, европейских столиц, памятников архитектуры, маленьких (отечественных и зарубежных) городков и их обитателей начала прошлого столетия, деревни, исчезнувшие церкви, пристани, пароходства, типажи и др. Что касается основной тематики Музея (жизнь и творчество А. М. Горького), то весьма интересен обработанный массив «мемориальных» фотографий, напрямую связанный с биографией писателя, например, история Поволжья, волжские города, в частности Казань, Нижний Новгород, Самара и т. д. Многое из изображенного давно утрачено и представляет ценный материал для специалистов. Для литературоведов важны не только фотографии персоналий, знакомых с Горьким, но и снимки, подробнейшим образом зафиксировавшие места, где жил писатель. Это улицы, дома, квартиры, комнаты, предметы мебели, вид из окна и т. д. Все это важно для тех, кто продолжает изучать жизнь и творчество писателя, в биографии которого, как это ни странно, осталось много белых пятен. Хронология снимков и подробные письменные пояснения очевидцев – таких, например, как Е. П. Пешкова, дают богатый материал к составлению новой полной научной биографии А. М. Горького. В марте 2011 г. обработанные материалы использовались в научно-практической конференции «Казанские горьковские чтения» «М. Горький и Восток». Казанским коллегам был представлен изобразительный ряд, иллюстрирующий доклады сотрудников московского Музея А. М. Горького. Особый интерес вызвала тематическая презентация снимков «Горьковские места в Казани (по материалам фондов Музея А. М. Горького ИМЛИ РАН)».

Следующей страницей в электронном каталоге фондовых коллекций Музея А. М. Горького стали новые 1000 единиц хранения, их оцифровка, систематизация и научное описание; пополнение картотеки авторов фотографий. Эти данные также были введены в научный оборот и сегодня открыты для исследователей. Уже в ходе работы сотрудники Музея смогли, воспользовавшись новыми возможностями, консультировать коллег, в том числе ведущих свою научную деятельность в других городах и странах. В будущем дистанционный облегченный доступ в фотоархив значительно расширит рамки привычного взаимодействия нашего Музея и специалистов в разных областях знания.

Заключительный этап выполнения проекта совпал с перекрестным годом Россия – Италия. Музей А. М. Горького участвовал в нескольких мероприятиях официальной программы Министерства культуры Российской Федерации. В мае 2011 г. на острове Капри при участии Муниципалитета Капри, Ассоциации «Премия Горького», «Музея А. М. Горького ИМЛИ РАН» и Посольства России в Италии прошли горьковские дни. Весьма содержательной и неожиданной для зрителя стала выставка редких фотографий из фондовых материалов Музея А. М. Горького ИМЛИ РАН «Очарованный островом», посвященная пребыванию Горького на Капри. Отсканированные изображения были переведены на изготовленные по специальному проекту стенды и баннеры. Малоизвестные любительские снимки, в большинстве своем шуточные, запечатлели Горького, его близких, друзей и гостей во время прогулок, купаний, разыгрывавших живые картины и т. д. Выставка была открыта в монастыре Ла Чертоза ди Сан Джакомо, заняла всю внутреннюю аллею, причем в начале, при входе в монастырь, посетителей встречали две огромные фигуры Горького в полный рост, вырезанные из увеличенных фотографий и прикрепленных прямо к стене. В дальнейшем Муниципалитет Капри планирует «перемещать» выставку по острову, располагая ее

в историко-архитектурных памятниках и наиболее посещаемых живописных уголках.

При реализации проекта «Русские культурные маршруты в Италии. Наследие А. М. Горького», включавшего фотовыставку «Италия на Малой Никитской» и научный коллоквиум «Италия в жизни и творчестве А. М. Горького»; сотрудниками Музея была использована тематическая фотоколлекция «Горький и Италия». Выставка, подготовленная для Неаполя, в основном имела отношение к пребыванию писателя в Сорренто и его окрестностях. Виды старого Неаполя, Везувий, живописные панорамы побережья; виллы, в которых жил Горький, его кабинет, семейные снимки и многое другое посетители выставки увидели в сентябре 2011 г. Чтение некоторых докладов, например, «М. Горький на музыкальной сцене», постановка оперы «На дне» в Ла Скала (по материалам фондов Музея А. М. Горького ИМЛИ РАН») и «Образы Италии в иллюстрациях к произведениям М. Горького. Из фондовых коллекций Музея А. М. Горького ИМЛИ РАН» удачно сопровождались демонстрацией изображений из электронного фондового каталога Музея. Два «итальянских» проекта во многом стали возможны благодаря тематической систематизации и новой электронной базе хранения, облегчивших работу с фотоматериалами фондов.

Опыт организации и проведения этих научно-просветительских мероприятий показал, что найденное решение – использование электронных экспонатов – имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционными формами выставочной деятельности. В настоящее время наряду с увеличившимся интересом публики к предметам искусства, хранящимся в различных музеях, повышаются требования к уровню организации выставок подлинных экспонатов. Музейщики в большинстве своем неохотно расстаются с редкими предметами хранения. Это объясняется рядом объективных причин: сложнейшие организационные моменты, особые условия транспортировки и страхования, обилие сопровождающей документации, отсутствие серьезного финансирования и т. д. Масштабные выставки в основном организуют крупные культурные институции, небольшим музеям (в том числе литературным и особенно мемориальным) в современных условиях это не по силам. Помимо перечисленных выше трудностей, маленькие музеи, отправляя коллегам свои лучшие экспонаты, зачастую «оголяют» постоянную экспозицию. Кроме того, важно отметить, что мемориальная экспозиция, в отличие от обычных выставочных залов, является по определению постоянной, законсервированной, навсегда зафиксировавшей присутствие «великого» человека – писателя, ученого, композитора – в доме, где он жил. Появление в фондах электронного аналога экспонатов, представленных в экспозиционных залах и хранящихся в запасниках, расширяет музейные возможности. Организация небольших мобильных тематических выставок позволяет научным сотрудникам по-новому организовать культурно-просветительскую деятельность. Используя потенциал электронного фондового каталога, Музей существенно расширил свое представительство в культурно-научном пространстве. С учетом новых технических средств сотрудники Музея планируют и реализуют различные, в том числе и иностранные, просветительские программы. В рамках этих проектов организовываются фотовыставки из художественно оформленных отсканированных изображений, создаются тематические презентации, иллюстрируются научные выступления на конференциях и коллоквиумах, оказывается помощь коллегам. Электронный фотоархив широко используется при издании книг, путеводителей, каталогов; консультировании коллег; создании телевизионных передач и кинофильмов.

К истории отечественной культуры относится раздел хранения, включающий снимки русских писателей, художников, режиссеров, актеров. Это собрание, безусловно, рассчитано на самый широкий круг исследователей. К примеру, затронутая при формировании электронного фотоархива толстовская тема интересна не только горьковедам и филологам, но всей думающей и читающей публике. Портреты Толстого, профессионально выполненные М. П. Дмитриевым; снимки великого писателя с Чеховым, Горьким (в том числе сделанные С. А. Толстой: «А. М. Горький и Л. Н. Толстой. 8 окт. 1900. Ясная Поляна»), не только заняли достойное место в электронной фотоколлекции, но и использовались в докладе на юбилейной Всероссийской научной конференции «Актуальные проблемы источниковедения и текстологии в контексте современных информационных технологий», посвященной 100-летнему юбилею Государственного музея Л. Н. Толстого (16–18 ноября 2011 г.).

В 2011 г. исполнители проекта «Создание электронного каталога фондовых коллекций Музея А. М. Горького ИМЛИ РАН» продолжили работу с фотодокументами и выборочно приступили к художественным коллекциям. Специальная программа этого года, по замыслу научных сотрудников музея, предполагала изучить, обработать и сделать доступным редкий и необычайно интересный раздел, тематически связанный с местами пребывания писателя. География «горьковских» мест чрезвычайно велика – он жил и побывал не только во многих городах России, но и за рубежом – в США, Италии, Франции, Англии, Германии, Чехословакии и других странах.

Создатели электронного архива посчитали весьма логичным, параллельно с обработкой фотоархива горьковских мест, произвести копирование и описание тематически близких художественных произведений. В коллекциях Музея хранятся полотна, изображающие виды России, Италии, Франции и т. д. Особое место в собрании Музея А. М. Горького занимает тема прекрасной Италии, что объясняется особым отношением Горького к этой стране. Венеция кисти К. И. Горбатова (1912) и А. И. Кравченко (1925–1926); Неаполь в акварелях Н. П. Ульянова (1912); Рим в работах Д. Джиганте, Ульянова (1912) и Кравченко (1928); Сиена и Сан Джиминьяно в рисунках Кравченко [1925]; а также многое другое – картины неизвестных художников и произведения, созданные после смерти Горького. Интересен также раздел коллекции, рассказывающий о жизни Горького в Италии. Художники, гостившие у писателя, старались запечатлеть все увиденное. На работах, созданных в 1911–1913 гг. на Капри Г. М. Бобровским, В. Д. Фалилеевым, А. А. Чумаковым, Н. А. Праховым, С. Н. Зенковым, А. А. Маневичем можно увидеть Везувий, Piccola Marina и Марина Гранде, Фаральони, улочки, барки, лодки и самих итальянцев. Важно отметить, что живописные, как и фотографические работы, хранящиеся в Музее А. М. Горького, представляют непреходящую документальную ценность, ибо ранее запечатленные на них места неузнаваемо изменились, а многое исчезло навсегда. Творчество этих художников позволяет сегодня обрести утраченное: например, увидеть не сохранившуюся виллу «Сеттани» (Горький жил здесь с ноября 1906 до февраля 1909 г.) и перестроенную виллу «Спинола» (была арендована с февраля 1909 по февраль 1911 г.). Большинство работ написано с натуры и имеет высокую художественную ценность (например, полотна А. Кравченко с видами Италии демонстрировались в 2009 г. на крупнейшей юбилейной выставке в Государственной Третьяковской галерее). В 2011 г. портрет А. М. Горького, написанный с натуры в Сорренто Борисом Григорьевым, участвовал в персональной выставке художника в С.-Петербурге (Государственный Русский Музей) и Москве (ГТГ). Изображения экспонировавшихся полотен вошли в специализированные художественные каталоги, сопровождающие выставки.

Важнейшая цель создания данного раздела электронного фондового каталога – увеличение степени сохранности, открытие новых возможностей работы с редкими произведениями искусства и популяризация значимых, но малоизвестных экспонатов коллекций музея. Среди планируемых работ издание иллюстрированных каталогов оцифрованных разделов фондовых коллекций, небольших тематических альбомов с сопровождающими справочными текстами, участие в выставочных проектах.

По многим параметрам работа с художественными произведениями, хранящимися в Музее, гораздо сложнее, нежели с фотографиями. Особые требования обращения с живописью и графикой обусловили специфику обработки этих единиц хранения – картин, набросков, этюдов, иллюстраций к произведениям Горького и дружеских шаржей на него. Приоритетами в данном случае стали наиболее интересные и востребованные полотна, хранящиеся в разделе «Места пребывания А. М. Горького», «Иконография А. М. Горького», «Иллюстрации к произведениям А. М. Горького». Вошедшие в электронное хранение картины могут иллюстрировать научные и популярно-просветительские работы, монографии, брошюры и путеводители; использоваться как наглядное пособие в лекциях и образовательных программах. Помимо участия в совместных выставочных проектах, организуемых культурными институциями и фондами, очень важно для Музея А. М. Горького ИМЛИ РАН творческое и научное сотрудничество с ближайшими коллегами – горьковскими музеями: Нижегородским, Казанским, Арзамасским; обществами друзей А. М. Горького в России и за рубежом. В настоящее время отчетливо ощущается отсутствие новой, научно выверенной, без идеологических искажений и пробелов, биографии писателя. Последнее подобное издание – четырехтомная «Летопись жизни и творчества А. М. Горького» – вышло более пятидесяти лет назад (Издательство Академии наук СССР. М., 1958–1960). В научной работе над данным проектом горьковедами будут использованы все виды музейных документов, в том числе возможности электронного фондового каталога.

Заключительный период данного проекта ни в коем случае не ставит точку в деле создания электронного архива фондов Музея А. М. Горького ИМЛИ РАН. Работа над переводом основного фонда хранения на электронные носители будет продолжена. Размышления об итогах сделанного и перспективах развития данного направления фондовой деятельности нашли отражение в научном докладе руководителя проекта на межмузейной конференции «Экспозиция литературного музея в современном мире. Традиции и новации», организованной Государственным литературным музеем (5–7 октября 2011 г.). Опыт трех лет, отданных осуществлению этого проекта, убедил авторов в его необходимости. Среди неверных шагов и неудач, в основном имевших место в самом начале, можно назвать отсутствие необходимых навыков исполнителей, недостаточно высокий уровень технического оснащения, не всегда справедливая оценка своих возможностей и трудоемкости проекта. Объем и

содержание работы обогатили молодых сотрудников широким спектром знаний: прежде всего, сведениями, так или иначе имеющими отношение к жизни и творчеству А. М. Горького; затем знакомством с материалами отечественной истории и культуры, документальными свидетельствами эпохи. Штудирование и оценка обширных фондовых материалов в части, не считавшейся ранее особо значимой, позволили включить в активный научно-просветительский процесс важнейшие единицы хранения. Среди удач, по достоинству оцененных фондовиками и горьковедами, – расшифрованные и атрибутированные автографы, ранее не публиковавшиеся рукописные документы, редкие снимки.

Трехлетнее участие в программе фундаментальных исследований Президиума РАН «Историко-культурное наследие и духовные ценности России» дало Музею А. М. Горького очень много: несколько тысяч единиц электронного хранения, новые возможности, колоссальный опыт; а главное – уверенность в своих силах и основания для планирования будущих проектов.

В. И. Хартанович, В. Г. Моисеев, И. Г. Широбоков

БАЗЫ ДАННЫХ МУЗЕЯ АНТРОПОЛОГИИ И ЭТНОГРАФИИ им. ПЕТРА ВЕЛИКОГО (КУНСТКАМЕРА) РАН КАК ИСТОЧНИК ИЗУЧЕНИЯ АНТРОПОЛОГИЧЕСКОГО СОСТАВА НАРОДОВ РОССИИ (АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ИЗ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ВОЛОГДЫ)

В 2006 г. в МАЭ РАН была внедрена «Комплексная автоматизированная музейная информационная система» (КАМИС – http://www.kamis.ru/). Система предназначена для компьютеризации учетно-хранительской, научной, реставрационной, издательской и административной деятельности сотрудников музея и реализована на современной СУБД Oracle. КАМИС представляет собой совокупность Автоматизированных рабочих мест (АРМ): хранителей, научных сотрудников и работников отдела учета, объединенных в единую систему. Вместе с тем базовый пакет КАМИС, внедренный в МАЭ РАН, предусматривал информационные поля, отражающие и обрабатывающие только основные музейно-хранительские сведения о коллекциях и предметах, но не научную антропологическую информацию.

В рамках реализации Проекта «Антропологические фонды МАЭ РАН – источник изучения происхождения народов Северо-Запада России», в разделе подготовки баз данных был разработан, отлажен и интегрирован в систему КАМИС научно-исследовательский модуль, позволяющий вводить и обрабатывать основными статистическими методами информацию по краниологии и остеологии предметов палеоантропологического музейного фонда МАЭ. Модуль основан на стандартных краниологическом и остеологическом бланках, содержит основные, принятые в российской антропологии, измерения и указатели черепов и костей посткраниального скелета. На основании заполненных карт формируется единая, интегрированная в общемузейную систему КАМИС база индивидуальных данных черепов и костей посткраниального скелета. По запросу пользователя генерируются выборки с автоматизированным подсчетом основных статистик – численностей по признакам, средних значений, квадратических отклонений.

Были выполнены работы по формированию кранио-остеологической базы данных КАМИС МАЭ РАН. В базу были введены индивидуальные краниометрические данные по материалам ряда палеоантропологических коллекций отдела антропологии:

– по прибалтийско-финскому населению Северной Европы, в том числе финнам, эстонцам, карелам, ижоре, саамам;

– по славяноязычному населению Восточной Европы, в том числе полякам, украинцам и русским;

– по финно- и тюркоязычным народам Поволжья и Приуралья, в том числе казанским татарам, башкирам, удмуртам, марийцам, мордве, мокше и коми-зырянам;

– по средневековому населению Северо-Запада России;

– по средневековому населению Поволжья и Приуралья;

– по населению Южной Сибири и Казахстана конца I тыс. до н. э. – начала II тыс.

Кроме того, в краниологическую базу были внесены данные серии черепов Южного Оленьего

острова и некоторых мезо-неолитических коллекций с территории Украины.

Всего в электронную базу были включены индивидуальные краниометрические данные более 2500 черепов. База ориентирована на максимальное число измерительных признаков и позволяет производить отбор краниологических материалов по каждому из них или по их комбинации. Созданная и пополняемая остео-краниологическая база данных МАЭ РАН предоставляет пользователю возможности:

– обрабатывать, хранить и публиковать информацию об антропологических коллекциях;

– определять условия поиска и выборки по географическому, этническому, хронологическому, культурному и другим факторам, а также получать по запросу данные по коллекциям в виде картотек, каталогов, списков и т. п.;

– проводить статистическую обработку хранимой информации;

– подготавливать материалы для проведения научного анализа и оформления его результатов в виде таблиц в публикации.

В научно-исследовательском разделе Проекта исследовались антропологические материалы с территории Северо-Запада России. Были проведены работы в Вологодском государственном историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике по изучению кранио-остеологических серий, полученных при проведении охранно-строительных работ в г. Вологде (см. вклейку: с. 100, ил. 1–2, с. 101, ил. 3), в Парковом переулке, XV–XVII вв. н. э. (раскопки М. Л. Мокрушина), и из скудельницы у Софийского собора (авторы раскопок И. П. Кукушкин и И. В. Папин). Это первые палеоантропологические материалы из центральной части Вологодского региона, вводимые в научный оборот. Существенно, что при их анализе участниками проекта применялись базы данных, созданные в КАМИС РАН. Очевидно, что данные палеоантропологии могли бы способствовать детализации сложной картины взаимодействия разнообразных компонентов в историческом процессе сложения современного русского населения Вологодского края, всего Севера Европейской России.

Предварительные результаты сравнительного анализа краниологических серий с территории Вологды были доложены на IX Конгрессе этнографов и антропологов России в Петрозаводске (Хартанович и др., 2011). Остановимся на некоторых из них.

Для серии как мужских, так и женских черепов из скудельницы у Софийского собора характерна мезо-брахикранная по указателю, широкая средней длины черепная коробка. Высота черепа большая. Лоб довольно широкий, прямой. Лицевой скелет мезогнатный по указателю выступания лица, мезо-ортогнатный и по общему, и по среднему лицевым углам. Альвеолярный отросток мезогнатный. Скуловой диаметр большой по абсолютному размеру. При достаточно широкой черепной коробке, горизонтальный фацио-церебральный указатель попадает в категорию средних величин. Лицо средней высоты. При значительных величинах высоты черепной коробки и ширины лица, вертикальный фацио-церебральный и верхний лицевой указатели показывают малые значения. Орбиты широкие и низкие и по абсолютным размерам, и по указателям, как и грушевидное отверстие. Переносье и носовые кости широкие, высокие. Нос к линии профиля выступает сильно, однако лицевой скелет несколько уплощен на обоих уровнях горизонтальной профилировки (таблица 1).

Краниологическая серия, происходящая из раскопа в Парковом переулке, характеризуется несколько иным морфологическим комплексом (таблица 2). Мужские черепа имеют черепную коробку мезокранной формы. Все основные диаметры имеют средние величины. Лоб средней ширины, прямой. Лицевой скелет средней высоты, ортогнатный по указателю, мезогнатный по обоим лицевым углам. Скуловой диаметр и горизонтальный фацио-церебральный указатель относятся к категории средних величин. Орбиты имеют средние размеры, мезоконхны по указателю. Грушевидное отверстие скорее широкое, средней высоты, широкое по указателю. Переносье и носовые кости широкие, высокие. Нос к линии профиля выступает сильно, но лицевой скелет имеет несколько уплощенную горизонтальную профилировку. Характеристики женских черепов в целом соответствуют представленным у мужчин.

Внутригрупповой анализ серии из Паркового переулка показал, что наиболее значимыми признаками для ее дифференциации являются угол выступания носа, высота переносья, высота свода черепа, высота лицевого скелета и степень его уплощенности на нижнем уровне горизонтальной профилировки. При этом в выборке достаточно отчетливо выделяются два морфологических комплекса. Первый комплекс характеризуется значительной высотой черепа, средней высоты лицевым скелетом, сочетанием некоторой уплощенности лицевого скелета на верхнем уровне с его клиногнатностью на нижнем, и сильно выступающими носовыми костями. Второй – при относительно меньших размерах черепа отличается средней высотой его свода; уплощенным на обоих уровнях горизонтальной профилировки, скорее низким лицевым скелетом, относительно слабо выступающими носовыми костями. В целом сходные различия проявляются не только в мужской, но и в женской части рассматриваемой выборки.

Проведенный сравнительный анализ групп на фоне различных популяций Северо-Восточной Европы позволил прийти к следующим выводам:

1. Выявленные на позднесредневековых черепах из г. Вологды антропологические комплексы в целом не характерны, судя по имеющимся сейчас краниологическим данным, для русского населения более поздних эпох, в том числе русских Вологодской губернии XVIII – начала XX вв.

2. Один из отмеченных в составе серии из Паркового переулка морфологических комплексов сближает часть его носителей с финноязычным населением Поволжья и Финляндии. Присутствие комплекса на территории Вологодчины может быть связано как с сохранением местных субстратных групп населения, так и с колонизацией Русского Севера древнерусским населением, включавшим в себя значительный финноязычный компонент.

3. Второй («высокоголовый») морфологический комплекс, представленный как в серии из Паркового переулка, так и в выборке Софийского собора, сходен со специфическим комплексом признаков, характерным для ряда прибалтийских и пермских финно-угорских групп (карел, ижоры и коми-зырян) и резко отличающим последних от большинства популяций региона (Хартанович и др., 2011).

В настоящей статье представлены новые результаты изучения краниологических серий с территории Вологды. Группы сопоставлялись с более широким кругом сравнительных материалов (в том числе за счет применения базы данных КАМИС). Привлекались дополнительные источники информации – результаты внутригрупповой дифференциации признаков в серии из Паркового переулка (метод главных компонент) сопоставлены с планиграфией могильника. Целью анализа был поиск связей между морфологическим обликом черепов и территориальным расположением погребений, которые могли бы свидетельствовать о возможных родственных связях погребенных.

Анализ главных компонент проводился по десяти признакам (№ по Мартину: 1, 8, 9, 17, 45, 48, 77, zm, 75(1), SS:SC). Поскольку часть черепов имеет плохую сохранность, их численность при анализе была сокращена и составила 22 черепа для мужской части выборки и 13 – для женской.

Результаты анализа позволили выявить определенные закономерности между морфологическим сходством черепов и относительным расположением могильных ям (см. вклейку: с. 101, ил. 4; с. 102, ил. 5). Для мужской части выборки такое сближение данных прослеживается в качестве тенденции, проявляющейся на уровне двух основных выделенных внутри серии морфологических комплексов. Черепа с высоким сводом и средневысоким лицевым скелетом с сильно выступающим носом концентрируются в западной части раскопа. Исключением является положение черепа № 163, происходящего из нарушенного погребения, первоначальное месторасположение которого неизвестно. Черепа, характеризующиеся низким уплощенным лицевым скелетом и средней высотой свода, относятся к погребениям, фиксировавшимся на всей площади раскопа. Однако во всех случаях, когда фиксировалось нарушение одной могильной ямы раскопками второй, захоронения, в которых был встречен второй комплекс, были перекрыты более поздними захоронениями умерших, морфологический комплекс которых выше условно обозначен как «высокоголовый».

Связь между территориальной близостью погребений и морфологическими характеристиками черепов на уровне выделенных комплексов отчетливо прослеживается и в женской части выборки. При этом между зонами, в которых располагаются могильные ямы умерших, характеризующихся разными комплексами, не наблюдается трасгрессии. Единственное исключение составляет положение черепа № 117, однако оно может быть следствием перезахоронения, так как череп был зафиксирован в заполнении могильной ямы № 119. По всей видимости, наблюдаемые закономерности являются отражением генетических связей между умершими, родственники которых старались хоронить их ближе к могилам предков. Одновременно в какой-то мере они могут служить показателем объективности существования выделенных в серии морфологических комплексов. Безусловно, зафиксированный факт перекрытия в западной части раскопа могильных ям поздними захоронениями не может рассматриваться в качестве свидетельства смены морфологического облика населения, оставившего могильник. Однако он может говорить о включении в состав городского населения каких-то новых локальных групп пришельцев, возможно связанных между собой родственными связями.

С целью уточнения вопроса об истоках данных комплексов методом канонических корреляций была проанализирована 71 выборка, относящаяся к эпохе от позднего средневековья до начала XX в. В анализ, помимо трех серий из Вологды, были включены материалы по русским, карелам, ижоре, финнам Финляндии, саамам, марийцам, удмуртам, латышам, литовцам и эстонцам. Результаты анализа дифференциации групп в пространстве I и II канонических векторов были перенесены на географическую карту (см. вклейку: с. 102, ил. 6; с. 103, ил. 7).

Для первого канонического вектора признаками, определяющими различия между привлеченными к анализу группами, являются в первую очередь

продольный диаметр, углы горизонтальной профилировки лицевого скелета и выступания носовых костей к линии профиля. Наиболее долихокранные группы отличаются наиболее клиногнатным лицевым скелетом и выступающими носовыми костями. Такой комплекс признаков в наибольшей степени выражен в группах населения в западнобалтийском регионе – на территории Латвии, Южной и Западной Финляндии (см. вклейку: с. 102, ил. 6). Прослеживается отчетливый плавный тренд к ослаблению данного комплекса в двух основных географических направлениях – в северо-восточном и восточном. На территории Северной Финляндии, Восточной Карелии и Кольского полуострова, с одной стороны, и на территории Поволжско-Приуральского региона – с другой, указанный морфологический комплекс сменяется на брахикранный, с уплощенным лицевым скелетом и относительно слабо выступающими носовыми костями. Эти признаки находят максимальное выражение в группах кольских и финских саамов, а также у марийцев и удмуртов.

Две серии с территории Вологды (серия из скудельницы близ Софийского собора и высокоголовая серия из Паркового переулка) демонстрируют на этом фоне большее сходство с западнобалтийскими группами, нежели с соседними группами русских, за исключением серии из Новгородской области. Зафиксированная у населения Вологды «суперевропеоидность» (в рамках севера европейской части России) в определенной степени согласуется с результатами анализа краниоскопических признаков, приведенными ниже. Вторая группа из Паркового переулка в целом выделяется среди русских групп региона и тяготеет к финноязычным популяциям севера России.

Различия между группами в пространстве второго канонического вектора определяются высотой свода черепа и высотой лица, имеющих одинаковое направление изменчивости. Дифференциация отражает в первую очередь различия между комплексами, характеризующие современных саамов и карел. Две из трех вологодских серий («высокоголовая» серия из Паркового переулка и выборка из Софийского собора) вписываются в зону распространения специфического для карельских и коми-зырянских групп антропологического варианта. Третья выборка (представленная группой черепов из Паркового переулка) сближается с финноязычными группами Прибалтики и Поволжья.

Следует отметить, что тогда как в дифференциации групп по первому каноническому вектору прослеживается достаточно плавная географическая изменчивость, изменчивость групп по второму вектору носит более прерывистый характер. Группы, характеризующиеся наиболее контрастными комплексами признаков – саамы и северные карелы, находятся в относительной географической близости между собой.

Собранные к настоящему времени близкие к современности краниологические серии с территории Северной и Северо-Восточной Европы позволяют выделить в составе отдельных прибалтийско-финских (карел и ижоры), а также пермских (коми-зырян) групп специфический антропологический комплекс, который резко отличает данные группы от наиболее близких в языковом отношении народов. Можно предположить, что в XIX – начале XX в. южная область распространения данного комплекса не выходила за пределы 60-й параллели.

Вместе с тем высокоголовый краниологический комплекс с уплощенным на уровне орбит лицевым скелетом и сильно выступающими носовыми костями известен по материалам целого ряда неолитических могильников Балтийского региона и Восточной Европы в целом (Звейниеки, Дудка, Васильевка II, Вовниги I, Капуловка, Никольский, Госпитальный Холм), что свидетельствует о его широком распространении в ранние эпохи (Хартанович, 1986; Хартанович, 1990; Хартанович, 1991; Хартанович, 2004; Хартанович, Широбоков, Пантелеева, 2011).

Впервые полученные позднесредневековые краниологические материалы из Вологды свидетельствуют о том, что по меньшей мере часть местного населения в XV–XVII вв. в антропологическом отношении характеризуется принадлежностью к тому же древнейшему североевропеоидному комплексу. Эти данные наряду с ранее опубликованными материалами по ряду средневековых памятников – Кюлялахти в Приладожье, Раглицы в Новгородской области (Хартанович, Широбоков, 2010) – свидетельствуют о том, что область распространения данного комплекса еще в XIV–XVII вв. охватывала южные территории рассматриваемого региона, возможно, образуя единый антропологический пласт на значительной части территории севера европейской части России – от Прибалтики до Пермского Предуралья.

К XIX в. комплекс сохранился в наиболее изолированных областях, в наименьшей степени подверженных процессам ассимиляции группах различного этнического происхождения. При этом наиболее северные группы карел в наибольшей степени сближаются с архаичным комплексом, представленным в ряде средневековых и неолитических серий балтийского региона. Краниологические материалы из Вологды свидетельствуют как о присутствии данного комплекса на территории города в XV–XVII вв., так и о влиянии процессов смешения на состав местного населения в условиях функционирования городского населения.

Кроме исследования черепов из Паркового собора и скудельницы Софийского собора по стандартной краниометрической программе обе серии были изучены В. Г. Моисеевым по краниоскопической программе А. Г. Козинцева (Козинцев, 1988; Kozintsev, 1992). Программа включает шесть признаков: затылочный индекс (ЗИ), частоты клиновидно-верхнечелюстного шва (КВШ), заднескулового шва (ЗСШ), подглазничного узора типа II (ПГУ II), индекса поперечного небного шва (ИПНШ) и частоты надглазничных отверстий (НО). Главной отличительной чертой данной краниоскопической программы является то, что основным критерием для отбора признаков была их значимость для популяционной дифференциации. Для ЗИ, ЗСШ, ПГУ II, ИПНШ и НО данные суммированы без учета пола, для КВШ вычислялись полусуммы мужских и женских значений. Частоты признаков в исследованных группах и сериях с территории европейской части России, Финляндии и стран Балтии, привлеченные для сравнительного анализа, приведены в таблице 3.

Четыре исходных признака, а именно ЗИ, ЗСШ, ИПНШ и НО являются значимыми для дифференцирования современных европейских и азиатских популяций, при этом для европейских групп характерны низкие частоты ЗИ, ЗСШ, НО и высокие частоты ИПНШ. Частоты всех вышеперечисленных признаков у вологодских серий находятся в пределах вариабельности европейских серий, привлеченных для анализа (см. вклейку: с. 104, ил. 8). При этом несомненной является выраженная тенденция в сторону крайних европеоидных значений практически по всем признакам. Так, по частоте ЗИ серия из Паркового переулка уступает только литовцам, а частота ИПНШ по сравнению с обеими вологодскими сериями выше только у эстонцев. По частоте НО серия из вологодского городища вообще занимает крайнее европеоидное положение среди всех групп, привлеченных для анализа. То же можно сказать и в отношении частот ЗСШ, но в отношении уже обеих вологодских серий. Таким образом, на основе анализа отдельных признаков уже можно уверенно говорить, что городское население Вологды эпохи позднего Средневековья характеризуется крайней степенью выраженности европеоидных краниоскопических особенностей, что исключает наличие у них существенной в популяционном отношении монголоидной примеси.

Два оставшихся признака – КВШ и ПГУ II эффективно маркируют уралоязычные группы, которые характеризуются сочетанием низкой частоты КВШ и высокой ПГУ II. Например, среди анализируемых групп наиболее выраженное «уральское» сочетание признаков фиксируется у обеих саамских групп и горных марийцев. Ни для одной из вологодских серий данное сочетание признаков не характерно. Более того, по частотам КВШ серия из Софийского собора занимает наиболее контрастное к «ауральскому» (высокие частоты КВШ) положение среди всех групп, привлеченных для анализа.

Для сравнительного анализа рассматриваемых групп по комплексу краниоскопических признаков был проведен анализ главных компонент. Предварительно частоты исходных признаков у 14 близких к современности групп населения с территории севера европейской части России, Финляндии и стран Балтии, а также двух вологодских серий с целью стабилизации дисперсий были преобразованы в радианы.

Как видно из таблицы 4 собственные числа первых двух ГК превышают 1.0, т. е. их разграничительная способность больше, чем любого из исходных признаков. На первую главную компоненту (I ГК) приходится около 42 % общей изменчивости. При этом наибольшее значение здесь имеют три признака: КВШ, ЗСШ и ПГУ II. КВШ связан с I ГК положительной корреляционной связью, ЗСШ и ПГУ II – отрицательной. Таким образом, исходя из представленной выше маркирующей способности признаков, можно сказать, что первый вектор сочетает в себе два направления изменчивости, которые обычно выступают как независимые при совместном анализе европейских и азиатских групп. В данном же случае усиление европеоидности групп (уменьшение частоты ЗСШ) сочетается с уменьшением их «уралоидности» (увеличение частоты КВШ и сокращение частоты ПГУ II). Подобная ситуация уже встречалась при раздельном анализе как европейских, так и азиатских групп (Моисеев, 1999). В последнем случае большая выраженность монголоидных особенностей также приводит к ослаблению выраженности «уральского» комплекса признаков. По всей вероятности, данная ситуация является следствием процессов метисации уралоидных групп европеоидными популяциями в Европе и монголоидными в Азии.

Согласно результатам проделанного анализа отрицательными значениями I ГК характеризуется большинство финноязычных групп, при этом крайние значения фиксируются у обеих саамских серий и горных марийцев (см. вклейку: с. 104, ил. 9). Противоположный полюс занимают как раз вологодские серии, которые таким образом сочетают крайнюю степень выраженности европеоидных и контрастных к «уралоидным» черт в своей краниоскопической характеристике, опережая в этом отношении русских, а также все балтийские группы.

На вторую ГК приходится практически вдвое меньшая доля изменчивости (22 %), при этом в основном она определяется лишь одним признаком – ИПНШ. Распределение групп в пределах данной

ГК на настоящий момент сложно прокомментировать с точки зрения популяционной истории региона, и, возможно, что это распределение в большой степени случайно.

Для проверки соответствия данных краниоскопии и краниометрии, был проведен анализ с использованием метрических характеристик тех же групп, краниоскопические характеристики которых анализировались выше. Поскольку краниометрические признаки, в отличие от краниоскопических, не являются независимыми на внутригрупповом уровне, для их анализа использовался канонический анализ. В исследовании использовались данные по 14 признакам, в том числе: основным диаметрам черепной коробки, ширине и высоте лица, минимальной ширине лба, ширине и высоте глазниц и носового отверстия, назомалярному и зигомаксиллярному углам, симотическому указателю и углу выступания носа (№ 1, 8, 17, 45, 48, 9, 51, 52, 54, 55, 77, Zm, SS:SC, 75/1, по Мартину и др., соответственно).

Как показал дальнейший анализ результатов канонического анализа, краниометрические и краниоскопические данные имеют высокий уровень взаимного соответствия (см.: табл. 5 в конце статьи). Так, корреляционная связь между I КВ и I ГК очень высока, достигая величины 0.8 ($p<0.05$). Можно уверенно утверждать, что эти вектора отражают сходное по содержанию направление межпопуляционной изменчивости. Последнее означает, что I КВ, так же как и I ГК фиксирует ослабление выраженности «уральского» комплекса признаков у анализируемых групп с одновременным увеличением уровня их европеоидности. Как видно из графиков (см. вклейку: с. 103, ил. 7) в пространстве I КВ и I ГК, достаточно отчетливо выделяются две группы. В первую, характеризующуюся слабой степенью выраженности европеоидных особенностей с хорошо выраженным «уральским» комплексом признаков, входят обе саамские серии, луговые марийцы, удмурты и чуваши. Во вторую входят русские, финны, эстонцы, коми-зыряне, латыши, литовцы, а также обе вологодские серии. Данные серии характеризуются высоким уровнем европеоидности и ослаблением выраженности «уральских» особенностей. Горные марийцы, мордва эрзя и карелы занимают промежуточное положение между двумя основными группами, сближаясь с одной из двух описанных групп лишь по одной системе признаков. При этом наибольшие различия между результатами анализа краниоскопических и краниометрических данных фиксируются у карел.

Наиболее важным итогом проделанного сравнительного анализа краниоскопических и краниометрических данных для обсуждаемой темы является то, что по обеим системам признаков вологодские серии достаточно неожиданно оказываются в числе наиболее европеоидных и одновременно контрастных «уральским» группам севера европейской части России. Поскольку об этом свидетельствуют две независимые системы признаков, данный результат не может быть случайным. Специального комментария требуют два момента. Во-первых, «антиуральская» позиция позднесредневекового населения Вологды, видимо, является однозначным указанием на ограниченность контактов вологодцев с популяциями-носителями уральского комплекса признаков. Здесь следует заметить, что не все уралоязычные группы согласно результатам проведенного и анализа, и предыдущих исследований оказываются родственными между собой. Так, у коми-зырян и, видимо, карел «уральский» комплекс признаков не выражен (Моисеев, 1999; 2001; 2006; Хартанович, 1986, 1991, 2004, 2006), поэтому популяционные контакты с этими группами не могут быть исключены. Во-вторых, отдельного объяснения требует крайняя степень выраженности европеоидных особенностей «вологодцев». На настоящий момент говорить об истоках антропологических особенностей позднесредневекового населения Вологды можно только на основании косвенных данных. Так, можно предположить, что поскольку серия русских (Себеж и Старая Ладога) значительно уступает «вологодцам» в выраженности данных показателей, то имеющаяся «суперевропеоидность» материалов из Вологды не может быть объяснена только посредством их контактов со средневековыми славяноязычными группами населения. Возможно, мы имеем здесь указание на наличие в составе средневековых «вологодцев» древнего европеоидного антропологического компонента, сохранившегося, вероятно, благодаря территориальной удаленности региона от основных путей миграции Средневековье и более раннем времени.

Таблица 1

Средние размеры и указатели краниологической серии из скудельницы у Софийского собора

№ по Мартину и др.	Признаки	Мужские черепа			Женские черепа		
		n	X	sd	n	X	sd
1	Продольный диаметр	20	182.4	7.0	33	174.8	5.8
8	Поперечный диаметр	18	144.9	4.9	29	138.6	3.1
8:1	Черепной указатель	18	79.6	3.5	28	79.6	3.0

Окончание табл. 1

№ по Мартину и др.	Признаки	Мужские черепа			Женские черепа		
		n	X	sd	n	X	sd
5	Длина основания черепа	9	102.8	5.6	14	94.7	3.8
9	Наименьшая ширина лба	18	98.7	4.4	31	95.3	4.9
45	Скуловой диаметр	10	137.2	5.6	8	123.9	2.7
40	Длина основания лица	8	100.9	6.8	7	91.4	2.2
48	Верхняя высота лица	9	70.8	2.9	8	64.6	3.5
55	Высота носа	10	50.7	3.1	8	47.1	3.3
54	Ширина носа	10	26.7	2.9	8	25.5	1.3
54:55	Носовой указатель	10	52.7	5.2	7	53.5	5.2
51	Ширина орбиты от mf	10	43.0	2.4	9	40.1	2.1
52	Высота орбиты	9	31.7	2.2	9	31.3	2.6
52:51	Орбитный указатель от mf	9	74.2	5.7	9	78.1	5.1
77	Назомалярный угол	8	143.1	6.7	8	144.3	3.3
zm’	Зигомаксиллярный угол	7	130.9	2.2	7	130.3	4.3
SC	Симотическая ширина	9	9.9	2.2	10	9.6	1.8
SS	Симотическая высота	9	5.0	1.4	10	3.9	1.1
SS:SC	Симотический указатель	9	51.0	11.5	10	41.9	11.0
DC	Дакриальная ширина	8	24.6	1.4	6	22.2	1.4
DS	Дакриальная высота	8	12.3	2.1	6	10.1	1.2
DS:DC	Дакриальный указатель	8	49.8	8.3	6	45.9	8.1
72	Общий лицевой угол	8	83.9	3.1	7	85.7	2.3
75(1)	Угол выступания носа	6	31.7	6.6	6	28.2	6.1

Таблица 2

Средние размеры и указатели краниологической серии из раскопа в Парковом переулке города Вологды

№ по Мартину и др.	Признаки	Мужские черепа			Женские черепа		
		n	X	sd	n	X	sd
1	Продольный диаметр	45	180.8	5.8	31	174.9	5.2
8	Поперечный диаметр	44	140.3	4.8	30	137.2	4.9
8:1	Черепной указатель	44	77.7	2.9	30	78.6	3.8
17	Высотный диаметр	38	135.2	5.4	27	132.3	4.9
5	Длина основания черепа	38	102.2	8.5	27	97.7	3.9
9	Наименьшая ширина лба	47	97.0	4.1	32	94.7	3.8
45	Скуловой диаметр	34	130.6	5.8	22	121.1	4.5
40	Длина основания лица	33	98.2	5.1	22	93.7	3.6
48	Верхняя высота лица	37	69.5	3.3	25	64.2	4.4
55	Высота носа	40	50.4	2.7	26	47.7	2.3
54	Ширина носа	39	25.9	2.4	26	26.2	3.0
54:55	Носовой указатель	39	51.4	5.6	26	54.9	6.4
51	Ширина орбиты от mf	42	40.9	1.9	26	39.3	1.5
52	Высота орбиты	42	33.1	2.7	26	32.6	2.4
52:51	Орбитный указатель от mf	42	81.3	7.7	26	82.8	5.0
77	Назомалярный угол	40	140.5	4.7	26	139.9	4.3
zm’	Зигомаксиллярный угол	37	129.9	6.3	26	128.5	6.3
SC	Симотическая ширина	40	10.2	1.9	25	10.2	2.4
SS	Симотическая высота	40	4.7	1.3	25	4.1	1.1
SS:SC	Симотический указатель	40	47.2	14.7	25	41.4	10.2
DC	Дакриальная ширина	31	24.0	3.3	15	22.7	2.2
DS	Дакриальная высота	31	13.8	2.3	15	12.6	1.8
DS:DC	Дакриальный указатель	31	58.5	12.2	15	56.0	9.5
72	Общий лицевой угол	34	83.5	3.2	23	82.9	5.0
75(1)	Угол выступания носа	33	30.5	5.5	18	26.1	4.8

Таблица 3

Частоты (%) краниоскопических признаков в сериях из европейской части России и стран Балтии

№/пп	Группа	ЗИ	КВШ	ЗСШ	ПГУ II	ИПНШ	НО
1.	Вологодское городище	3.5 (29)	29.6 (209)	1.8 (110)	56.8 (81)	77.0 (100)	27.7 (141)
2.	Софийский собор	11.6* (41)	51.8 (56)	0 (27)	52.4 (21)	84.4 (32)	39.4 (66)
3.	Финны (восточная, центральная, северная Финляндия)	7.5 (106)	26.1 (745)	5.9 (353)	63.1 (312)	71.8 (387)	28.9 (152)
4.	Карелы	15.2 (33)	26.5 (292)	8.9 (158)	61.5 (135)	59.9 (167)	42.4 (236)
5.	Саамы кольские	4.8 (21)	10.8 (255)	10.3 (156)	73.6 (106)	65.6 (151)	50.5 (218)
6.	Саамы финские	6.7 (30)	16.9 (476)	15.9 (164)	75.8 (157)	67.3 (248)	–
7.	Коми-зыряне	4.8 (42)	32.8 (274)	12.6 (135)	45.7 (92)	71.5 (137)	34.7 (193)
8.	Эстонцы	6.7 (15)	34.3* (69)	8.2 (49)	58.8 (34)	86.4 (44)	–
9.	Удмурты	11.3 (45)	11.6 (367)	13.7 (170)	55.2 (159)	58.1 (214)	34.7 (334)
10.	Марийцы луговые	21.1 (19)	27.1 (125)	8.0 (50)	70.1 (67)	64.8 (71)	38.4 (80)
11.	Марийцы горные	6.5 (31)	12.2 (162)	4.5 (67)	67.8 (87)	76.6 (94)	40.7 (153)
12.	Мордва эрзя	8.0 (25)	10.2 (175)	8.6 (93)	57.6 (99)	60.2 (98)	36.2 (116)
13.	Чуваши северные	18.5 (27)	27.6 (157)	9.0 (89)	75.0 (96)	69 (76)	43.8 (136)
14.	Русские (Старая Ладога, Себеж)	10.7 (84)	26.2 (606)	6.9 (346)	58.3 (309)	67.7 (341)	32.8 (481)
15.	Литовцы	2.0 (51)	37.7 (329)	3.8 (157)	59.7 (139)	68.9 (190)	34.4 (343)
16.	Латыши	5.9 (34)	40.3 (163)	10.7 (75)	51.7 (29)	60.2 (93)	30.3 (131)

Примечание. ЗИ – затылочный индекс, КВШ – клиновидно-верхнечелюстной шов, ЗСШ – заднескуловой шов, ПГУ II – подглазничный узор типа II, ИПНШ – индекс поперечного небного шва, НО – надглазничные отверстия. В скобках дана общая численность наблюдений. * – величины, вычисленные по уравнению регрессии.

Таблица 4

Коэффициенты корреляции между шестью исходными краниоскопическими признаками и первыми тремя главными компонентами

	I ГК	II ГК	III ГК
ЗИ	–0,399	0,001	–0,889
КВШ	0,811*	0,007	–0,375
ЗСШ	–0,720*	–0,426	0,011
ПГУ II	–0,700*	0,499	0,135
ИПНШ	0,580	0,708*	–0,003
НО	–0,596	0,626	–0,091
Собственное число:	2,51	1,323	0,960
% общей вариации:	0,419	0,221	0,160

*Коэффициенты корреляции, превышающие 0,7.

Таблица 5

Коэффициенты корреляции между двумя первыми главными компонентами и тремя каноническими векторами

	I КВ	II КВ	III КВ	I ГК	II ГК
I КВ	1,00				
II КВ	0,00	1,00			
III КВ	–0,00	0,00	1,00		
I ГК	0,80*	0,16	0,24	1,00	
II ГК	–0,08	0,22	0,52*	0,00	1,00

*Коэффициенты корреляции, значимые при $p < 0,05$.

Список литературы

Козинцев А. Г. Этническая краниоскопия: Расовая изменчивость швов черепа современного человека. Л.: Наука, 1988. 168 с.

Моисеев В. Г. Происхождение уралоязычных народов по данным краниологии. СПб.: Наука, 1999. 133 с.

Моисеев В. Г. Северная Евразия: языковая дифференциация и данные физической антропологии // Археология, этнография и антропология Евразии. 2001. № 4. С. 154–159.

Моисеев В. Г. Происхождение уралоязычных народов по антропологическим данным: результаты межсистемного анализа // II Северный археологический конгресс: докл. Екатеринбург; Ханты-Мансийск: Чароид, 2006. С. 240–263.

Хартанович В. И. Краниология карел // Антропология современного и древнего населения европейской части СССР. Л.: Наука, 1986. С. 63–120.

Хартанович В. И. К краниологии населения северо-западного Приладожья XIX – начала XX в. // Балты, славяне, финны. Этногенетические процессы. Рига: Зинатне, 1990. С. 216–229.

Хартанович В. И. Краниология коми-зырян // Новые коллекции и исследования по антропологии и археологии (Сб. МАЭ, Т. 44). Л.: Наука. 1991. С. 108–125.

Хартанович В. И. Краниология ижор // Расы и народы. Вып. 30. М.: Наука, 2004. С. 96–124.

Хартанович В. И. О «лапоноидности» на Севере Европы (по антропологическим материалам из могильников Большого Оленьего острова в Кольском заливе Баренцева моря и Южного Оленьего о-ва Онежского озера // Первобытная и средневековая история и культура Европейского Севера: проблемы изучения и научной реконструкции. Соловки, 2006. С. 143–156.

Хартанович В. И., Широбоков И. Г. Новые краниологические данные к происхождению карел (Могильник Кюлялахти Калмистомяки) // Археология, этнография и антропология Евразии. Новосибирск, 2010. № 1. С. 138–147.

Хартанович В. И., Широбоков И. Г., Пантелеева Т. А. К проблеме формирования антропологического состава Северо-Запада России (по антропологическим материалам из позднесредневековой Вологды) // IX Конгресс этнографов и антропологов России. Тезисы докладов. Петрозаводск, 2011. С. 27–31.

Kozintsev A. G. Ethnic epigenetics: A new approach // Homo. 1992. Vol. 43. № 3. P. 213–244.

Ю. В. Норманская, С. Е. Шешенин, Н. Л. Федотова

РАЗНОМЕСТНОЕ УДАРЕНИЕ В СЕЛЬКУПСКОМ ЯЗЫКЕ И ПРАСАМОДИЙСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОКАЛИЗМА

Часть I. Ударение в южных и центральных диалектах селькупского языка

Как неоднократно отмечалось, в настоящее время в российской лингвистике является приоритетным направлением исследование и фиксация языков России, которые близки к исчезновению. На территории России весьма много языков, носителей которых через десять, а, возможно, и через пять лет уже не будет в живых. И если сейчас в кратчайшие сроки эти языки должным образом не будут задокументированы, то часто бесценный материал, который представлен в них для синхронной и сравнительно-исторической лингвистики, будет навсегда утерян для ученых современности и будущего.

Именно таково положение селькупского языка. Североселькупскими диалектами еще хорошо владеют несколько десятков носителей языка, на южноселькупских диалектах, которые значительно отличаются от североселькупских, говорят, по данным последних экспедиций томских и московских исследователей, три человека (два носителя нарымского диалекта и один носитель кетского диалекта).

Надо сказать, что ученые XX столетия понимали, насколько критична ситуация с носителями селькупского языка. А. П. Дульзон и его последователи постоянно организовывали экспедиции к южным селькупам. В результате этой работы собран огромный бесценный материал экспедиционных записей (более 60 томов, каждый из которых содержит около тысячи страниц). Этот материал хранится в г. Томске на кафедре-лаборатории Языков Сибири. Надо отдать должное томским ученым, которые во многом переработали материал экспедиционных записей и создали картотеку селькупско-русского и русско-селькупского словарей. Каждая из этих картотек содержит более 100 тысяч словоформ.

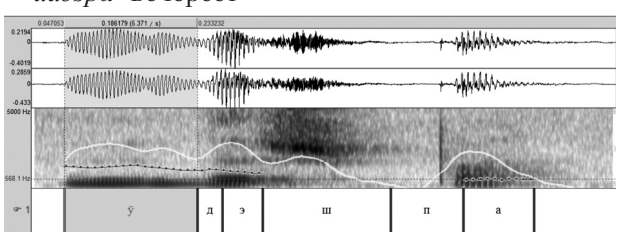
В 2005 г. в Томске под редакцией В. В. Быкони был издан селькупско-русский словарь, который содержит более 25 тысяч слов [Быконя, 2005]. Конечно, издание этого словаря чрезвычайно важно

для уральской лингвистики и для изучения языков Сибири в целом. Большая часть слов из этого словаря отсутствовала в других словарях языка, изданных А. И. Кузнецовой, Е. А. Хелимским, Я. Алатало и др. исследователями [Кузнецова, Хелимский, Грушкина, 1980; Кузнецова, Казакевич, Иоффе, Хелимский, 1993; Хелимский 2007; Alatalo, 2004; Helimski, 2007].

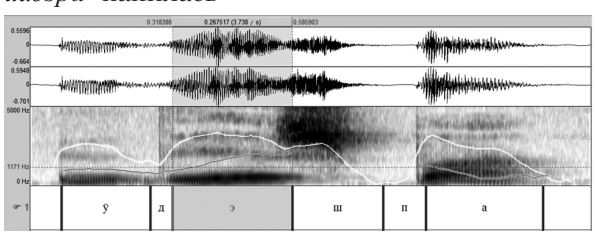
Но, к сожалению, как это отмечено в работах Е. А. Хелимского, в издании, подготовленном под редакцией В. В. Быкони, опущено достаточно много информации, которая представлена в картотеке словаря. Наиболее важные упрощения, принятые В. В. Быконя, касаются следующих пунктов: 1) в словаре опущены диакритические значки над буквами, в первую очередь ударение и 2) в картотеке словаря для каждой словоформы указан населенный пункт, в котором она была зафиксирована, в словаре указывается этническое название (по А. П. Дульзону) селькупов, живших в этих населенных пунктах. Как выяснилось в результате работы с картотекой, описывать говоры более целесообразно по населенным пунктам, в которых они были записаны. Мы планируем показать в дальнейших публикациях, даже в рамках одного диалекта, например нарымского[1], в населенных пунктах Парабель, Тюхтерево, Ласкино рефлексация праселькупских гласных довольно сильно различается. Но внутри каждого из рассмотренных населенных пунктов она по записям из архива А. П. Дульзона абсолютно последовательна. Как будет показано ниже, и система ударения в каждом из этих населенных пунктов имеет небольшие отличия. К сожалению, упрощения в [Быконя, 2005] делают невозможным полноценное использование словаря акцентологами и специалистами по сравнительно-исторической фонетике уральских языков. Но работа с картотекой дает возможность восстановить эту информацию. В частности, на материале картотеки селькупского языка, собранной А. П. Дульзоном и его последователями (наиболее полно представлены южноселькупские диалекты) даже при беглом просмотре нами выявлено более 30 минимальных пар, слов, которые имеют разное значение, а фонетически различаются лишь местом ударения. Это доказывает, что ударение в селькупском языке существовало, оно было фонологическим и подвижным (т. е. аналогичным ударению, которое представлено в современном русском языке).

Приведем несколько примеров минимальных пар, различающихся лишь местом ударения, на материале нарымского диалекта говора с. Парабель, снабженных фонетическими графиками этих слов, построенными в системе Praat.

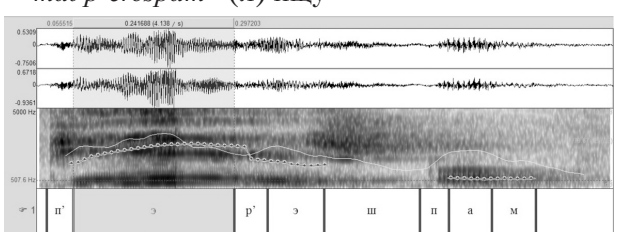
ӣdəšpa ‘вечереет’



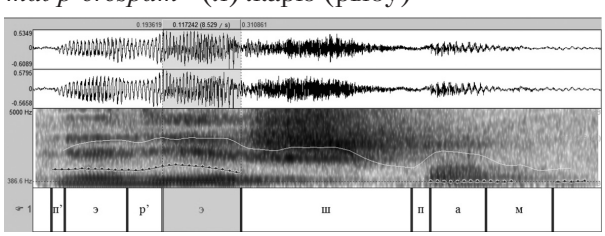
ӱdə́špa ‘напилась’



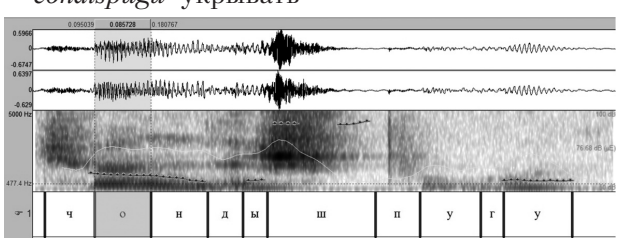
mat p’ére̮špam ‘(я) ищу’



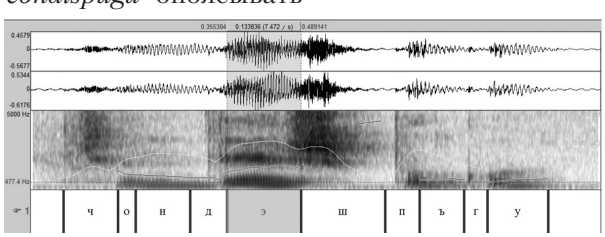
mat p’eré̮špam ‘(я) жарю (рыбу)’



čönd́išpugu ‘укрывать’



čöndíšpugu ‘опоясывать’



В рамках проекта Президиума РАН «Акцентологические характеристики селькупского языка» мы исследовали правила постановки ударения в говоре южных и центральных селькупских диалектов[2].

I. Источники данных о месте ударения в селькупских диалектах

I.1. Полевая работа с носителями нарымского и кетского диалектов

Было проведено анкетирование последних живых носителей селькупских диалектов, которые еще владеют своим родным языком достаточно свободно для того, чтобы порождать различные с точки зрения словообразования формы от исконных корней. Это Ирина Анатольевна Коробейникова[3], проживающая в с. Парабель, Яков Яковлевич Мартынов, проживающий в с. Нарым, которые владеют нарымским (центральными) диалектом, и Василий Васильевич Арбалдаев, проживающий в с. Белый Яр, носитель кетского диалекта (южноселькупского). Работа с носителями языка была проведена Н. Л. Федотовой (с И. А. Коробейниковой и Я. Я. Мартыновым) и Н. К. Амелиной (с В. В. Арбалдаевым). Обработка собранного материала в фонетической системе Praat была произведена С. Е. Шешениным. Для нарезки записей на слова и предложения использовалась программа Sound Forge 10.0, дальнейший спектрографический анализ производился при помощи программ Praat, Speech Analyser и Multispeech. Более подробный анализ проведенной работы и отдельных фонем нарымского диалекта в селе Парабель[4] языка можно найти в статье [Шешенин, 2011].

На основании собранного в полевых условиях материала для нарымского диалекта (с. Парабель) была создана полная акцентная грамматика[5]: описаны правила постановки ударения в непроизводных основах селькупского языка; изменения места ударения при спряжении и склонении и в словообразовательных производных. Мы обратили внимание, что четко выявляются два типа корневых морфем: корневые морфемы, на которые всегда падает ударение (далее они считаются плюсовыми), vs. корневые морфемы, которые в ряде случаев оказываются безударными (далее они считаются минусовыми), и два типа аффиксальных морфем: аффиксальные морфемы, на которые в ряде случаев падает ударение (далее они считаются плюсовыми), vs. корневые морфемы, на которые никогда не падает ударение (далее они считаются минусовыми).

Правило постановки ударения в нарымском селькупского языка может быть сформулировано следующим образом:

Если в словоформе есть плюсовые морфемы, то ударение ставится на первую плюсовую морфему. Если в словоформе только минусовые морфемы, то ударение ставится на первую минусовую морфему.

Нами подготовлено описание, где каждой корневой и суффиксальной морфеме дана характеристика + или –.

I.2. Обработка данных архива, собранного под руководством А. П. Дульзона

Во время двух командировок в г. Томск я с помощью аспирантов кафедры-лаборатории языков Сибири: Н. Л. Федотовой (в 2008 г.) и Н. В. Дубровской и Г. П. Поздеевой (в 2011 г.) отцифровала все карточки с селькупскими словоформами, в которых встречается ударение. Цифровой архив, сделанный нами, предоставлен кафедре-лаборатории языков Сибири.

В настоящее время ведется активная обработка этого архива. В результате сплошной обработки картотеки, сделанной томскими исследователями по архиву, собранному под руководством А. П. Дульзона, выяснилось, что богатый материал по системам ударения удается собрать по следующим населенным пунктам: центральные диалекты – нарымский (Тюхтерево, Ласкино), тымский диалект (Напас); южные диалекты – обской (Иванкино). По другим населенным пунктам (более 25), есть также информация о постановке ударения в некоторых словоформах, но она менее богатая и не позволяет описать полные акцентологические системы этих диалектов.

В результате анализа собранного материала мы пришли к выводу, что во всех вышеперечисленных диалектах ударение является смыслоразличительным (собраны минимальные пары) и разноместным. Правила его постановки фактически идентичны тем, которые были выявлены нами при обработке полевого материала по нарымскому диалекту. Выделяются два типа корневых и суффиксальных морфем – плюсовые и минусовые. Правило постановки такое же: ударение ставится на первую плюсовую морфему; если таковая в словоформе отсутствует, то на первую минусовую, т. е. если корень имеет плюсовую маркировку, то во всех формах лексемы представлено ударение, фиксированное на корне, а если минусовую, тогда в сочетании корня с плюсовыми суффиксами ударение передвигается на суффикс, в сочетании с минусовыми суффиксами сохраняется на корне.

Отличие диалектных систем в разных населенных пунктах в маркировках конкретных суффиксов (подробнее об этом см. ниже).

I.3. Описание системы ударения в языке первых селькупских книг, которые были составлены Н. П. Григоровским в конце XIX в. и изданы Е. А. Хелимским [Хелимский, 2007]

Оказалось, что язык первых селькупских книг («Азбука» и три религиозные издания переводного

характера) и южноселькупский словарь (в котором последовательно даются отсылки и на книги), которые были составлены Н. П. Григоровским в конце XIX в. и изданы Е. А. Хелимским [Хелимский, 2007], – представляют собой единственный словарь диалекта селькупского языка с последовательно проставленным ударением. Язык, на котором написаны книги, Е. А. Хелимский считает «крайним южным диалектом» селькупского языка.

Анализ данных, собранных Н. П. Григоровским, показывает, что мы так же, как и в случае нарымского диалекта (с. Парабель) имеем дело с разноместным парадигматическим ударением, место постановки которого в непроизводных словах задается списком, а в производных зависит от маркировки производящей основы. Отличие этой системы от других диалектов также заключается в маркировках суффиксов.

II. Сходства и различия в системах ударения в южных и центральных селькупских диалектах

Как было показано выше, собран материал по системам ударения в следующих шести говорах: центральные диалекты: нарымский (Парабель, Тюхтерево, Ласкино), тымский (Напас); южные диалекты: обской (Иванкино) и крайне-южный диалект (Чая: язык первых селькупских книг).

Во всех диалектах ударение имеет смыслоразличительный парадигматический характер. Контурное правило следующее: **если в словоформе есть плюсовые морфемы, то ударение ставится на первую плюсовую морфему. Если в словоформе только минусовые морфемы, то ударение ставится на первую минусовую морфему.**

Различие в месте ударения в ряде словоформ, собранных в разных населенных пунктах, объясняется разными маркировками суффиксов в этих диалектах. Поэтому для каждого из диалектов мы попытались описать систему, где корням и суффиксам будет присвоена постоянная маркировка. Выяснилось, что корни бывают плюсовые и минусовые, а суффиксы – плюсовые и минусовые и «категоризующие акцент», т. е. такие, на которые ударение падает всегда вне зависимости от маркировки корня. Как пишет В. А. Дыбо в [Дыбо, 2000] и других работах, посвященных типологии акцентных систем, системы с парадигматическим акцентом, которые являются типичными для носителей балтийских и славянских языков (в частности, русского), на самом деле весьма редки и часто видоизменяются в системы с категориальным ударением, т. е. таким, которое всегда падает на определенные аффиксальные морфемы (в словоизменительной парадигме и при словообразовании), а на другие аффиксальные морфемы, наоборот, никогда не падает.

Но из сформулированного нами правила о постановке ударения становится ясно, что для выявления маркировки селькупских корней в разных диалектах словоформы с минусовыми суффиксами или суффиксами, категоризующими ударение, не представляют интереса, потому что в случае минусовых суффиксов ударение всегда будет стоять на корне, а в случае категоризующих – на суффиксе, вне зависимости от маркировки корня. Таким образом, в нашем проекте, ориентированном в первую очередь на диахроническую перспективу и реконструкцию прасамодийских маркировок корней, внимание привлекли в первую очередь плюсовые суффиксы. Для того чтобы их выявить, нами был проанализирован полный акцентный материал по указанным диалектам и выбраны такие суффиксы, которые в сочетании с некоторыми корнями бывают безударными, а в сочетании с другими – ударными. Оказалось, что набор таких суффиксов не очень велик, и его отличия по диалектам тоже, в общем, не очень большие, и описаны в нижеприведенной таблице.

В таблице приведены такие суффиксы, которые в двух или более из рассмотренных диалектов являются плюсовыми. Распределение их маркировок по диалектам выглядит следующим образом:

Плюсовые суффиксы[6]	Нарымский диал. (Парабель)	Нарымский диал. (Тюхтерево)	Нарымский диал. (Ласкино)	Тымский диал. (Напас)	Обской диал. (Иванкино)	Крайне южный диал. (Чая)
-э	+	+	+	–	?	+
-а	+	+	–	–	+	+
-гу/ку	+	?[7]	+	+	+	–
-ы/е-гу	+	+	+	+	–	–
-ы/ем-бу/е-гу	+	?	–	+	+	–
-о/ал-гу	генерал. удар. на суф.	?	генерал. удар. на суф.	+	+	+
-о/ал-бы-гу	+	?	+	+	+	+
-о/ал-жӭ/и-гу	+	?	+	+	+	+
-эш-пу-гу	+	+	+	+	+	нет суф.

Полный список примеров словоформ с этими суффиксами в разных селькупских диалектах занимает около 30 страниц, поэтому мы не имеем возможности привести его полностью в настоящей статье, и дадим лишь несколько иллюстративных примеров.

Именные суффиксы:

Центральные диалекты							
Нарымский диалект (Парабель) ПМА 2009		**Нарымский диалект (Тюхтерево) архив А. П. Дульзона**		**Нарымский диалект (Ласкино) архив А. П. Дульзона**		**Тымский диалект (Напас) архив А. П. Дульзона**	
Именные суффиксы							
маркировка суффикса +		**маркировка суффикса +**		**маркировка суффикса +**		**маркировка суффикса –**	
корень +	**корень –**	**корень +**	**корень –**	**корень +**	**корень –**		
ка́дэ ‘пихта, ель’ *ку́же* ‘моча’ *у́нэ* ‘ремень’ *ч'ич'э* ‘дядя’	*нэвре́* ‘мошка’ *у́дэ* ‘вода;		*н'ал'азде́* ‘оленуха’ *тау́'е ‘зад’*	*ча́мдже* ‘жаба’	*чапте́* ‘сказка’	*а́́де* ‘олень’ *а́нсе* ‘еда’ *'а́нте* ‘запах’	
маркировка суффикса +		**маркировка суффикса +**		**маркировка суффикса –**		**маркировка суффикса –**	
корень +	**корень –**	**корень +**	**корень –**				
а́рма ‘прохлада’ *ка́га* ‘покойник’ *мы́да* ‘печень’	*кала́* ‘чашка’ кукла’ *пажа́* ‘туесок’ *тэша́* ‘мороз’	*н'ева* ‘заяц’ *'а́рма* ‘ячмень’	*н'ӓджа́* ‘лужа’ *ceFá* ‘мусор’	*ч'ёга* ‘сирота’ *шо́́ва* ‘копалуха’ *а́́рма* ‘ячмень’ *ка́за* ‘окунь’		*н'у́́мба* ‘бабушка’ *са́ла* ‘молоток’ *шу́́ма* ‘копылуха’ *ка́га* ‘кладбище’ *ка́за* ‘окунь’	

Южные диалекты			
Крайне южный диалект (Чая: язык первых селькупских книг) [Helimski, 2007]		**Обской диалект (Иванкино) архив А. П. Дульзона**	
маркировка суффикса +		**маркировка суффикса ?**	
корень +	**корень –**	**корень +**	**корень –**
ка́де ‘пихта’ *кво́́ре* ‘ворона’ *ко́́мде* ‘серебро’ *ма́́рте* ‘щека’	*лакче́* ‘тлен’ *пагэ́* ‘утка’ *нядре́* ‘река’	*ча́́мдже* ’лягушка’ , *сако́́дз'е* селезень	
маркировка суффикса +		**маркировка суффикса +**	
корень +	**корень –**	**корень +**	**корень –**
ка́га ‘покойник’ *ка́за* ‘окунь’ *ма́да* ‘дверь’	*када́* ‘крюк’ *кала́* ‘чашка’	*т'ега* ‘сирота’ *а́́рма* ‘прохлада’ *ка́́га* ‘могила’	*кыба́* ‘маленькая’ *съба́* ‘большая мошка’

Показатель инфинитива:

Нарымский диалект (Парабель) ПМА 2009		**Нарымский диалект (Тюхтерево) архив А. П. Дульзона**		**Нарымский диалект (Ласкино) архив А. П. Дульзона**		**Тымский диалект (Напас) архив А. П. Дульзона**	
маркировка суффикса +		**маркировка суффикса ?**		**маркировка суффикса +**		**маркировка суффикса +**	
корень +	**корень –**	**корень +**		**корень +**	**корень –**	**корень +**	**корень –**
по́лгу ‘глотать’ *та́ргу* ‘менять’ *твэ́лгу* ‘красть’ *ту́гу* ‘грести’ *у́ргу* 'плавать'	*калгу́* ‘остаться’ *кургу́* ‘бежать’ *патку́* ‘залезть’ *пэргу́* ‘поискать’ *ӱргу́* ‘потеряться’	*у́рчу* ‘купаться’ *твы́ргу* ‘воровать’ *квёнгу* ‘идти’		*ёгу* ‘побывать’ *ӣгу* ‘получить’ *ка́́жгу* ‘нестись’ *квёнгу* ‘уйти’	*ыгу́* ‘натачивать’ *амгу́* ‘съесть’ *кватку́* ‘уничтожить‘	*нёлгу* ‘обтачивать’ *твёl/ргу* ‘обокрасть’ *та́ргу* ‘отделить’ *'ёгу* ‘есть’ *kwёнгу* ‘уйти’	*ыдгу́* ‘навешать’ *ка́дгу́* ‘очистить’ *калгу́* ‘оставить’

Южные диалекты			
Крайне южный диалект (Чая: язык первых селькупских книг) [Helimski, 2007]		**Обской диалект (Иванкино) архив А. П. Дульзона**	
-ку/гу	**маркировка суффикса –**	**маркировка суффикса +**	
		корень +	**корень –**
	и́гу ‘брать, взять’ *ка́лгу* ‘остаться’ *ме́гу* ‘делать, сделать’	*то́ргу* ‘считать’ *ме́гу* ‘сделать’ *и́гу* ‘взять’	*таwгу́* ‘выкупить’ кабгу́ ‘чинить’

Часть II. Соответствия систем ударения в селькупском и ненецком языках. Генезис системы прасамодийского вокализма в зависимости от места ударения

III. Происхождение долгих и кратких гласных в тундровом диалекте ненецкого языка

В результате анализа рефлексации прасамодийских гласных в ненецком языке мы обнаружили, **что любая нейтральная по долготе прауральская гласная за исключением *i̯[8] (т. е. ПУ *i, *e, *ä, *a, *o, *u) могут быть как источником долгих, так и кратких гласных в тундровом диалекте ненецкого языка**. Приведем примеры:

Подобная двойная с точки зрения количественной характеристики гласных рефлексация наводит на мысль о различных просодических характеристиках прасамодийских и, возможно, даже прауральских гласных.

Долгий гласный в первом слоге	Краткий гласный в первом слоге
ПУ[9] **kaδa* > ПС **kåjä* > ненец. тунд. *xāje-* ‘оставлять’, *xājo-* ‘оставить’ ПУ **kalma* > ПС **kålmƷ* > ненец. тунд. *xā́lmə̀er* ‘труп’, *xā́lmeŕʔ* ‘умершие, кладище’	
ПУ **koje* > ПС **kåjå* > ненец. тунд. *xājerʔ* ‘солнце, ясный (о погоде)’ ПУ **koska* > ПС **kåtå* > ненец. тунд. *xāda* ‘бабушка’	ПУ **joke* > ПС **jə̀kå* > ненец. тунд. *jaxä* ‘река’ ПУ **korŋa* > ПС **kərə̀* > ненец. тунд. *xarā-* ‘прибиться к земле течением или ветром’
ПУ **kulV*(*-kV*) > ПС **kulə̀jə̀*> ненец. тунд. *xūlī* ‘ворон’ ПУ **kure* > ПС **kurə̃* ~ (? **kujrə̂*) > ненец. тунд. *xūrā-* ‘укреплять груз на санях’	ПУ **čukka* > ПС **tə̀k-* ~ *tə̀kkə̀l* > ненец. тунд. *takal-* (О) ‘прятать’ ПУ **puna* > ПС **pə̀n* > ненец. тунд. *paŋkāl-*, *panor-* (О) ‘плести’
ПУ **maksa* > ПС **miû̯tə* > ненец. тунд. *mūδ*^{æ} ‘печень’	ПУ **lampe* > ПС **lî̯mpä* > ненец. тунд. *limbad* ‘болото, трясина’ ПУ **s'arV* > ПС **sî̯ra* > ненец. тунд. *sirra* ‘снег, зима’
ПУ **äjmä* > ПС **ejmä* ~ *nejmä* > ненец. тунд. *nī́pe* ‘игла’ ПУ **päwe* ([Janh.; Sammallahti 1998]: **päjwä*) > ПС **pejwä* > ненец. тунд. *pīw* ‘сухой, теплый ветер летом’	ПУ **älV-* > ПС **ilə̀* > ненец. тунд. *ila-* ‘успокаивать’ ПУ **kakta* ~ **käktä* > ПС **kitä* > ненец. тунд. *śid́e* ‘два’
ПУ **δ́imä* (*δ́ümä*) > ПС **jimä* > ненец. тунд. *jī́be*, *jīmé* ‘клей’ ПУ **sile* (**süle*) > ПС **tij* > ненец. тунд. *c'ī́be* ‘морская сажень’	ПУ **kije* (**küje*) > ПС **sə̀jwå* > ненец. тунд. *xăeββəə* ‘водяное насекомое’ [Janhunen 1977, 132] ПУ **künče* > ПС **kə̀ta* > ненец. тунд. *xada* ‘ноготь, коготь’
ПУ **kepä* > ПС **kejpƷ-* > ненец. тунд. *sībī* ‘легкий’ ПУ **pele* > ПС **pij-* > ненец. тунд. *pī́lī-* ‘бояться’	ПУ **ćečä* > ПС **cicä* > ненец. тунд. *t́id́e* ‘дядя, младший брат матери’ ПУ **en*ä > ПС **inä* > ненец. тунд. *nʹínéka* ‘старший брат младший брат отца’
ПУ **ic'ä* > ПС **ejsä* > ненец. тунд. *nīs'e* ‘отец’ ПУ **piŋse-me*, **pise-me* > ПС **peptän*$_2$ ~ *piptän*$_2$ > ненец. тунд. *pībtī́ʔ* ‘нижняя губа’	ПУ **piša* > ПС **pə̀tä* > ненец. тунд. *paḋe* ‘желчь’, *paḋe jīlaxā* ‘зеленый’, *paḋerāxā* ‘цета желчи, желтый’ ПУ **piδe* (~ *-kä*) > ПС **pirə̀* > ненец. тунд. *pirće* ‘высокий’

М. К. Амелина в своей статье [Амелина, 2011] показала, что в ямальском и каннинском тундровых диалектах ненецкого языка следует говорить о разноместном фонологически значимом ударении. Интересно, что фонетическая природа акцентного выделения в этих говорах различна:

«1. Квантитативному выделению первого слога фонетического слова в канинском говоре соответствует экспираторно-квантитативное ударение на первом слоге в ямальском диалекте. Первый слог фонетического слова в Т канин. не выделен квантитативно (длительность гласного второго слога превышает длительность гласного первого слога), если в Т ямал. ударение падает на второй слог.

2. Частота основного тона в канинском говоре обычно повышается на втором (конечном) слоге двусложного (бисиллабического) фонетического слова (часто структуры *CVCV*), в ямальском говоре тон, как правило, остается ровным на протяжении всего слова.

3. Признак интенсивности нерелевантен при определении ударения в канинском говоре: все гласные звуки фонетического слова произносятся примерно с одинаковой интенсивностью. В ямальском говоре ударный гласный выделяется с помощью признака интенсивности: если ударение падает на первый слог, то интенсивность 1С обычно значительно превосходит интенсивность гласного 2С; если ударение падает на второй слог, то интенсивность гласных 1С и 2С количественно почти совпадают, т. к. гласный звук начального слога фонетического слова в Т ямал. обычно несет на себе экспираторное выделение», [Амелина, 2011].

В докладе на семинаре в отделе Урало-алтайских языков Института языкознания РАН М. К. Амелина рассказывала об анализе места ударения в имен-

ных непроизводных словоформах в тундровых диалектах и его соответствия долгим гласным в лесных диалектах. Выяснилось, что когда в тундровых диалектах ударение фиксировано на корне, то в лесных диалектах в первом слоге представлен долгий гласный, когда в тундровых диалектах ударение в словоформах может сдвигаться на ряд формантов, то в лесных диалектах представлен краткий гласный в первом слоге. Таким образом, можно реконструировать праненецкое ударение или долготу, место которых без изменений сохранилось и в тундровых (в виде ударения), и в лесных (в виде долготы[10]) диалектах.

Учитывая тот факт, что в селькупском языке реально представлено разноместное ударение, мы предположили, что следует сравнить позиции появления тундровых ненецких долгих и кратких гласных (или по М. К. Амелиной ударных и безударных) и плюсовые/минусовые основы в селькупском языке.

Выводы

В результате сравнения места праненецкого ударения или долготы и праселькупского ударения мы пришли к следующим неожиданным выводам.

1) На материале этимологий [UEW], которые имеют ПС этимологию по [Janhunen, 1977], и рефлексы в лесных или тундровых диалектах ненецкого языка, и в рассмотренных нами центральных и южных селькупских диалектах оказывается, что есть два типа ПС гласных:

ПС ударные гласные имеют рефлексы

нейтральные гласные (в терминологии Т. Салминена) в лесных диалектах ненецкого языка;

ударные гласные первого слога в тундровых диалектах ненецкого языка;

плюсовая акцентная маркировка в селькупских диалектах (т. е. когда ударение во всех производных фиксировано на корне);

ПС безударные гласные имеют рефлексы

краткие гласные в лесных диалектах;

безударные гласные в тундровых диалектах ненецкого языка;

корни с минусовой маркировкой в селькупских диалектах (т. е. когда ударение в производных, перечисленных в части I настоящей статьи, падает не на первый слог).

2) Оказалось, что **принципиально различается рефлексация ПУ гласных в ПС языке, в позициях, под ПС ударением и без ПС ударения.**

Генезис прасамодийского вокализма в зависимости от просодических факторов

В таблице ниже предложена схема развития вокализма от прауральского к прасамодийскому языку в зависимости от этих позиций. В настоящей статье из-за ограничений по объему приводятся лишь иллюстративные примеры, весь материал[11], на основании которого предложены соответствия в нижеследующей таблице, планируется опубликовать в дальнейшем.

ПУ	Под ПС ударением	Без ПС ударения
a	**ПС **å***	**ПС **u*, * ę, *ə**
o	**ПС **å* , **o***	**ПС **ə***
u	**ПС **å* , **u***	**ПС **ə***
**ɨ*	**ПС **ɨ***	**ПС **ɨ***
ä	**? ПС **ä***	**ПС **i***
ü	**ПС **ę***	**ПС **ə***
e	**ПС **e***	**ПС **i, *ə***
i	**ПС **ej, *ä***	**ПС **i, *ə***

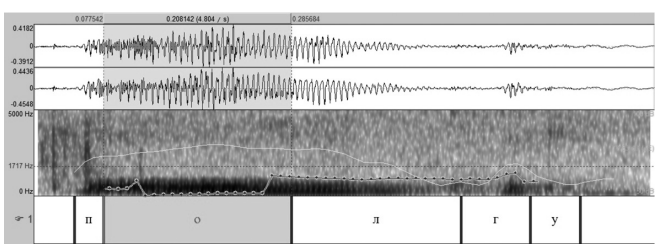
ПУ **a*

Под ПС ударением

ПУ[12] **sala* > ПС **tålä* > Пселькуп. **tuələ* > сельк. цент. Пар. *twélgu* ‘красть’, Нап. *твéлгу* ‘обокрасть’, *твéргу* ‘воровать’, Тюхт. *твы́ргу* ‘воровать’, *твéлегу* ‘украсть’; юж. Григ. *твы́олгу*, *то́лбыгу*, GH *твы́олы-*; ненец. тунд. *tāl̓l̓ē-* (O) ‘воровать’;

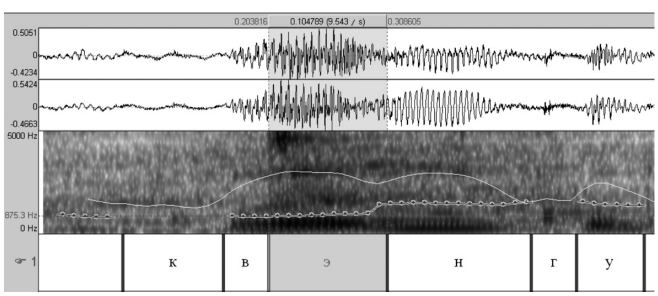
ПУ **pala* > ПС **palä* > Пселькуп. **pōlə* > сельк. цент. Пар. *pólgu* ‘проглотить’; юж. Григ., GH *по́лы-* ‘проглотить’; ненец. тунд. *pāl̓l̓ē* (O) ‘глотать’;

Нарымский диалект



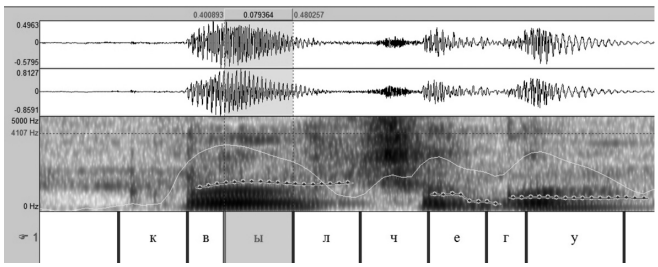
ПУ **kanta* > ПС **kåntä* > Пселькуп. **k̨ ān* > сельк. цент. Пар. *kwéngu* ‘привезти’, Нап. *kwéнгу / квынгу́* ‘уйти’; Тюхт. *квéнгу* ‘идти’; Ласк. *квéнгу* ‘уйти’; *kwéндугу* ‘переносить’; Параб. *kwéндугу* ‘переносить’; юж. Григ., GH *ква́нгу* ‘уехать, съездить, въехать, протесниться’, Иван. *квангу́* / квы́нгу ‘выходить’; ненец. тунд. *хāñnā-* (O) ‘нести’;

Нарымский диалект



ПУ **kala* > ПС **kålä* > Пселък. **kuələ* > селк. цент. Пар. *kwi̇́lčegu*[13] ‘рыбачить’; ненец. тунд. *χāl̓ĺe* (О) ‘рыба’.

Нарымский диалект



ПУ **káćV* > ПС **kåsəj* > Пселък. **kōś* > селк. цент. Пар. *kóssi*[14] ‘жертва’; ненец. тунд. *χāššū* (О) ‘плата шаману’;

ПУ **wasa* > ПС **wåtʒ* > юж. Григ. *кво́дте* ‘левые’; ненец. тунд. *wād̓ĭśej* (О) ‘левый, левая рука’;

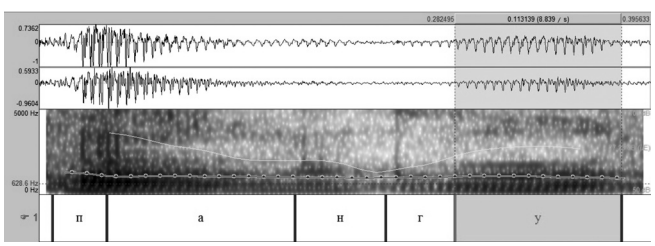
ПУ **ńačV* > ПС **ńaåc ~ *nåcə ~ ńåcaå*[15] > селк. юж. Иван. *ну́джеп*[16] ‘траву’; ненец. тунд. *ńāv* (О) ‘олений мох’;

ПУ **kaδa* > ПС **kåjä* > селк. цент. Нап. *ка́тембугу́* ‘запихать’; ненец. тунд. *χāj̓j̓ē* (О) ‘оставлять’.

Без ПС ударения

ПУ **pane* > ПС **pę̄n-* > Пселък. **pę̄n-* > селк. цент. Пар. *pangú* ‘положить’; ненец. тунд. *pằènt̓ś-* (О) ‘класть’;

Нарымский диалект



ПУ **lamte* > ПС **lə̨mtV* > Пселък. **lamtu* ‘низкий’ > селк. цент. Пар. *labdəlžugú*[17] ‘опустить; склонить голову’; ненец. тунд. *lamtú* (О) ‘низкий’;

ПУ **wata* ‘удочка для ловли рыбы’ (сравнение с ПС предложено нами) > ПС **wətå-* ‘крючок’ > ПСелък *k,otə-* ‘крючок’ > селк. цент. Нап. *кода́л̓жугу / кода́л̓жугу́* ‘застегнуть’, Ласк. *кода́лжугу* ‘застегнуть’; юж. Иван *кода́* ‘вязальный крючок’; ненец. тунд. *βadv* (О) ‘крючок’.

ПУ *o

Под ПС ударением

ПУ **ńoŋδa-* (**ńowδa-*) > ПС **ńo-* > Пселък. **ńō-* > селк. цент. Пар. *ńŏ̈digu* ‘погнать’; ненец. тунд. *ńŏ̈δā* (О) ‘следовать’.

ПУ **kopa* > ПС **kopå* > селк. цент. Пар. *kъ̆боп*[18] Асс ‘шкуру’; ненец. тунд. *χōBv* (О) ‘шкура’.

Без ПС ударения

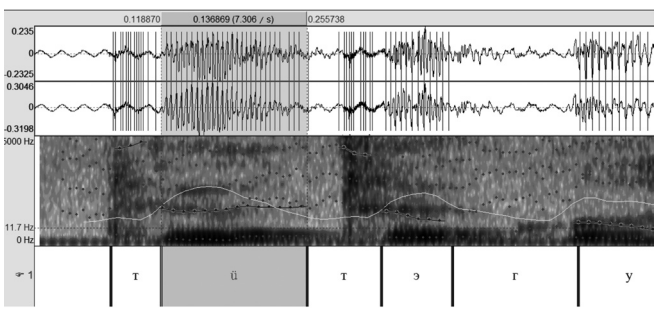
ПУ **konta* > **kə nt3-* (*?*kə ntä-*) > Пселък. **k̨antə-* > селк. цент. Пар. *kannəmbugú* ‘морозить’, Нап. *кандыгу́ / ка́ндугу* ‘замерзать’, *канде́шпугу́* ‘замерзать’, Ласк. *ка́нде́гу* ‘обмерзать’, *канде́мбугу* ‘обмерзать’ / *ка́ннъмбугу* ‘остыть’, *ка́ндешпугу / кàндéшпугу* ‘стыть’; ненец. тунд. *χàn̓”* (О) ‘легкие заморозки зимой’;

ПУ *u

Под ПС ударением

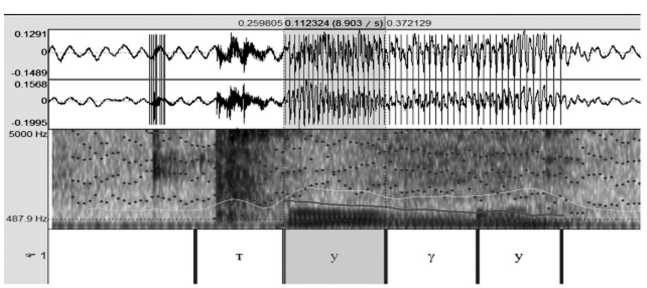
ПУ **tule* > ПС **tuj* > Пселък. **tū* > селк. цент. Пар. *tŭ́tegu* ‘гореть’, ненец. тунд. *tū* (О) ‘огонь’

Нарымский диалект



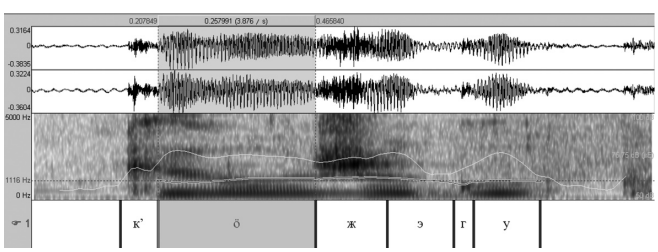
ПУ **tulka* > ПС **tuəj* > Пселък. **tū* ‘перо’ > селк. цент. Пар. *túgu* ‘летать’; ненец. тунд. *tō* (О) ‘перья’.

Нарымский диалект



ПУ **kuńće* > ПС **kunsə* > Пселък. **küsə- / *kūsə* > селк. цент. Пар. *kŏ̈žegu* ‘мочиться’.

Нарымский диалект



ПУ *uje ~ *oje > ПС *u- > Пселькь. *ū > сельк. цент. Пар. *úrgu* ‘плавать’; Тюхт. *у́рчу* ‘купаться’; ненец. тунд. *ŋūś* (О) ‘плавать’;

ПУ *tule > ПС *toj- ~ *tuj- > Пселькь. *tū̄ > сельк. цент. Пар. *tṓkkugu* ‘приходить’; ненец. тунд. *tōś* (О) ‘приходить’;

ПУ *juta > ПС *jåtə̀ > Пселькь. *ćuətə- > сельк. цент. Пар. *čwódɨgu* ‘встретить, застать’, Ласк. *чве́с'е* ‘назад’, Нап. *чвы́се тӱ́гу* ‘возвратиться (назад прийти)’; ненец. тунд. *jā̄δā-* (О) ‘ходить пешком’;

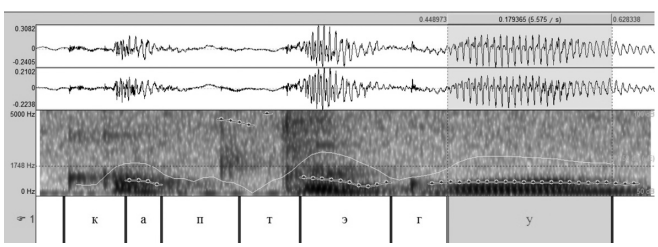
ПУ *kumpa > ПС *kåmpaå (северно-самодийские) ~ *kämpå (сельк.)[19] > Пселькь. *kāmpə-> сельк. цент. Пар. *kámbɨĺdžegu* ‘навалить лодку на бок, навалиться’; юж. Григ. *ка́мбальджигу* ‘выплыть, всплыть’; ненец. тунд. *χāmpɒ* (О) ‘волна’;

ПУ *kuse > ПС *kot > сельк. цент. Нап. *kṓдегу* ‘болеть’; ненец. тунд. *χō̆ᵊ* (О) ‘кашлять’;

Без ПС ударения[20]

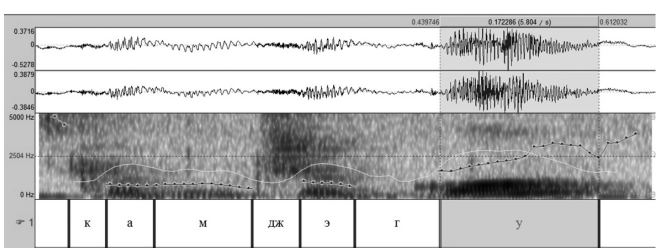
ПУ *kupsa > ПС *kə̀ptå > Пселькь. *k̥aptə- > сельк. цент. Пар. *kaptegú* ‘потушить’, Нап. *капте́шпугу́* ‘залить огонь’, *каптыгу́* ‘тушить’; ненец. тунд. *χa̯ptā-* (О) ‘гасить, тушить’;

Нарымский диалект



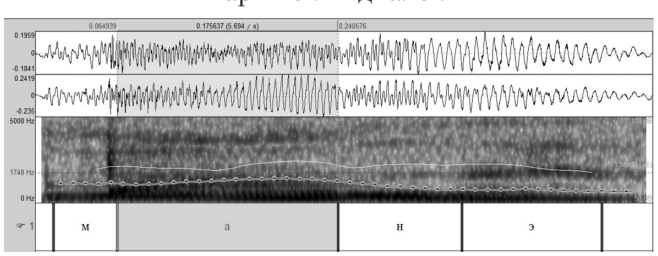
ПУ *kuma > ПС *kə̀mə̀ > Пселькь. *k̥amtə > сельк. цент. Пар. *кавтэ́* ‘лицом навзничь’, Ласк. *кавте́* ‘навзничь’; ненец. тунд. *χă̆β̆βā-* (О) ‘падать’;

Нарымский диалект



ПУ *muna > ПС *mə̀nå > Пселькь. *manə > сельк. цент. Пар. *máné*[21] ‘пенис’

Нарымский диалект



ПУ *čukka > ПС *tə̀k- (сельк.) ~ tə̀kkə̀l > Пселькь. *tak̥- > сельк. цент. Пар. *čagɨnbádɨt;* **юж. Григ.** *ча́гольджигу / чаго́льджигу* ‘**задвинуть, сдвинуть**’, **ненец. тунд.** *ta̯k̆ka̯lt́s-* (О) ‘закрыть, спрятать’;

ПУ *mura > ПС *mə̀rə̀ > Пселькь. *mor-/mōr-/*mur- > сельк. цент. Пар. *морелгу́* ‘**обломить**’, *морелешпугу́* ‘**наломать веток**’; **ненец. тунд.** *ma̯rδā̯* (О) ‘ломать’;

ПУ *kurke > ПС *kə̀rə̀- (?*kə̀rə̀jə̀j) > сельк. юж. Григ. *кара́* ‘журавль’, Иван. *кара́* ‘журавль’; тунд. ненец. *χà̯r'ṷ̀* (О) ‘журавль’;

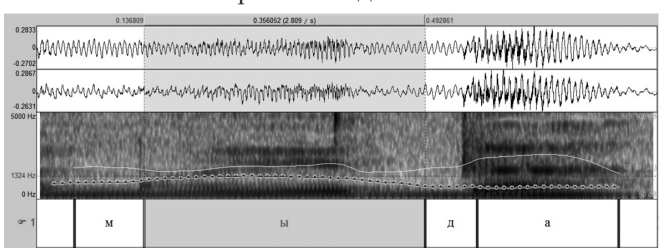
ПУ *muka > ПС *mə̀kå > об. ч. *mogné* ‘назад’, ю.-сельк. Григ. *мого́ль* ‘спина’, *могне́* ‘назад’; тунд. ненец. *màχā̯* (О) ‘спина’;

ПУ *ɨ

Под ПС ударением

ПУ *mɨksa > ПС *mi̯tə > Пселькь. *mī̯tə > сельк. цент. Пар. *mɨ́da*[22] ‘печень’; ненец. тунд. *mɨ́æ* (О) ‘печень’;

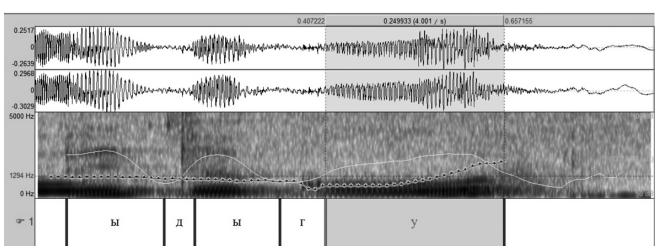
Нарымский диалект



Без ПС ударения

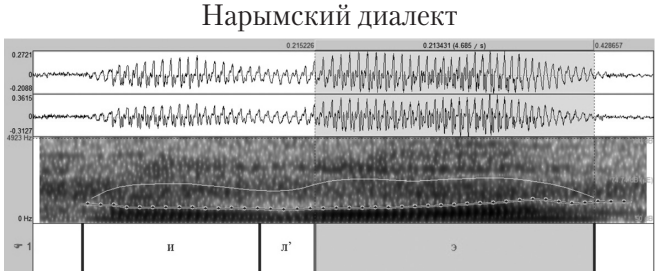
ПУ *ɨkta > ПС *i̯kta[23] > Пселькь. *i̯t(t)ə- > сельк. цент. Пар. *ɨdɨgú* ‘висеть’, ненец. тунд. *ŋiδā-* (О) ‘вешать’;

Нарымский диалект



ПУ *ɨla > ПС *i̯lə > Пселькь. *i̯l > сельк. цент. Параб. *il'é* ‘находящийся под’, Тюхт. *ел̄'é* ‘вниз’, Ласк. *ел'л'é* ‘вниз’; юж. Иван. *elle'* ‘вниз’; ненец. тунд. *ŋi̯l'ᵊ* (О) ‘вниз, внизу’;

Нарымский диалект



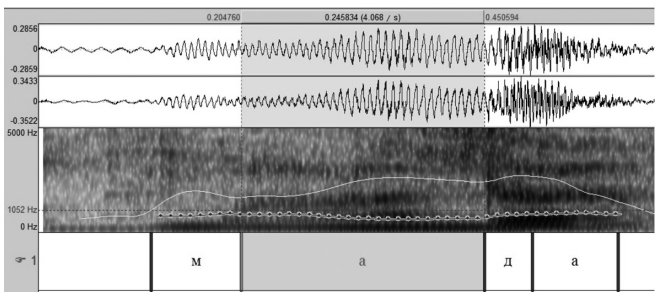
ПУ *ä

Под ПС ударением

ПУ *jäpśe > ПС *jäpsə- ‘тонкие палочки для жарки’ > сельк. цент. Нап. *ча́бгу* ‘гореть’, *ча́бъгу* ‘разгораться’; Ласк. *ча́бугу* ‘подпалить’, *ч́а́дешпугу* ‘угли нажигать, пережигать’; ненец. тунд. *jā̄p̥ʈʂā* (О) ‘жарить’;

ПУ *mättV > ПС *mät > Псельк. *mātā > сельк. цент. Пар. *ма́да* ‘дверь’, Тюхт. *ма́да* ‘дверь’; юж. Григ. *ма́да* ‘дверь’, Иван. *ма́доп*[24] Асс ‘дом’; ненец. тунд. *ма́ā̄δō”* (О) ‘дом’;

Нарымский диалект



ПУ *ü

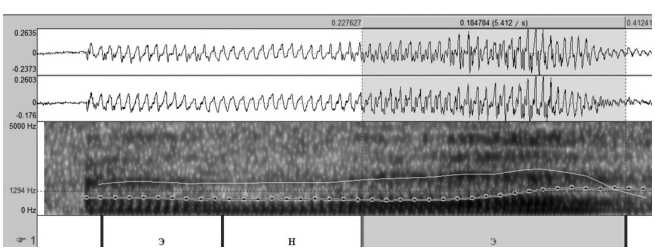
Под ПС ударением

ПУ *ürV > ПС *e̯r > Псельк. *ē̯r- ‘пить’ > сельк. цент. Нап. *ы́ргу* ‘погулять, пьянствовать’, Ласк. *ы́ргу* ‘погулять’, *ъ́ръгу* ‘гулять’; ненец. тунд. *ŋä̆èrʈ́ʂ́* (О) ‘пить’;

Без ПС ударения

ПУ *wülä > ПС *i(-)~ *ni > Псельк. *i- > сельк. цент. Пар. *ене́* ‘верх’, Нап. *ене́* ‘вверх’ (*ене́ wа́чегу* ‘поднимать’); Ласк. *ынне́* ‘вверх’; юж. Григ. *и́нне* ‘верх’, GH *инне́* ‘верх’, Иван. *енне́* ‘вверх’; ненец. тунд. *ńī”Ǝ* (О) ‘на’;

Нарымский диалект



ПУ *e

ПУ *meke (? *meɣe) > ПС *mej- ‘делать’ > ПСельк *mē- ‘делать’ > сельк. юж. Иван. *ме́гу* ‘сделать’; ненец. тунд. *mīrk̆kā* (О) ‘немного делать’;

Без ПС ударения

ПУ *pečkä- (*päčkä-) > ПС *picə̇~ *pücə̇ > Псельк. *püčə- > сельк. цент. Пар. *pödžе́gu* ‘**стричь**’, **юж.** Иван. *пöдже́шпугу* ‘состригать’, *п'öджгу́* ‘стричь’; **ненец. тунд.** *piδā-* (О) ‘стричь, резать (волосы, бороду)’;

ПУ *i

Под ПС ударением

ПУ *kičV ‘болеть’ (сближение с ПС предложено нами) > ПС *käcə- ‘чихать’> сельк. цент. Нап. *ка́чембугу́* ‘чихать’, *ка́ччегу* ‘чихать’, Ласк. *ка́чешпугу* ‘чихать’, *ка́чугу* ‘зачихать’;

Без ПС ударения

ПУ *ime- > ПС *n'im- > Псельк. *ńim- > сельк. цент. Пар. *newréšpegu* ‘сосать’, Тюхт. *н'ивър'е́шпа* ‘сосет’; Иван. *н'емгу́* ‘обсасывать’; **ненец. тунд.** *ńimńe* (О) ‘сосать’;

ПУ *itä > ПС *ətə-; *ətə-/jVj/m- > Псельк. *atu- > сельк. цент. Пар. *adegú* ‘виднеться’**, Нап.** *адгу́* ‘быть видным’; **ненец. тунд.** *ŋad́ā̄* (О) ‘быть видимым’.

Список сокращений

Ласк. – материалы из архива А. П. Дульзона, собранные в с. Ласкино

Нап. – материалы из архива А. П. Дульзона, собранные в с. Напас

ненец. лесн. – лесной диалект ненецкого языка

ненец. тунд. – тундровый диалект ненецкого языка

О – обдорский говор тундрового диалекта ненецкого языка

Пар. – полевые материалы, собранные в 2009 г. в с. Парабель

Параб. – материалы из архива А. П. Дульзона, собранные в с. Парабель

ПП – прапермский

ПС – прасамодийский

Псельк. – праселькупский

ПУ – прауральский

сельк. – селькупский

Тюхт. – материалы из архива А. П. Дульзона, собранные в с. Тюхтерево

ФВ – финно-волжский

ФУ – финно-угорский

цент. – центральный

ю.-сельк. Григ. – южно-селькупский диалект в записях Н. П. Григоровского по [Хелимский, 2007]

юж. – южный

Асс – винительный падеж

GH – язык первых селькупских книг по [Helimski, 1983]

Список литературы

Амелина, 2011. – Амелина М. К. Акцентные характеристики имен в тундровом наречии ненецкого языка (ямальский и канинский говоры) // Урало-алтайские исследования. 2(5). 2011.

Быконя, 2005. – Селькупско-русский диалектный словарь / ред. В. В. Быконя. Томск, 2005.

Кузнецова, Казакевич, Иоффе, Хелимский, 1993. – Кузнецова А. И., Казакевич О. А., Иоффе Л. Ю., Хелимский Е. А. Очерки по селькупскому языку. Т. 2. Тазовский диалект. М., 1993.

Кузнецова, Хелимский, Грушкина, 1980. – Кузнецова А. И., Хелимский Е. А., Грушкина Е. В. Очерки по селькупскому языку. Тазовский диалект. М., 1980.

Лыткин, 1964. – Лыткин В. И. Исторический вокализм пермских языков. М., 1964.

Лыткин, Гуляев, 1970. – Лыткин В. И., Гуляев Е. С. Краткий этимологический словарь коми языка. М., 1970.

Морев, 1973. – Морев Ю. А. Звуковой строй среднеобского (ласкинского) говора селькупского языка. Томск, 1973.

Мосин, 1987. – Мосин М. В. Эволюция структуры прафинно-угорской основы слова в мордовских языках автореферат. дис. ... докт. филол. наук. Тарту, 1987.

Норманнская, 2008. – Норманская Ю. В. Реконструкция прафинно-волжского ударения. М., 2008.

Норманнская, 2009. – Норманская Ю. В. Новый взгляд на историю пермского вокализма: описание развития вокализма первого слога в коми и удмуртском языках в зависимости от прапермского ударения и гласного второго слога // Уралистика. СПб., 2009.

Норманнская, 2010 a. – Норманская Ю. В. при участии Дыбо А. В. Место ударения и диалектологические особенности удмуртских материалов, собранных в XVIII в. Г. Ф. Миллером и Й. Э. Фишером // Урало-алтайские исследования–2. М., 2010.

Норманнская, 2010 b. – Норманская Ю. В. Соотношение прапермской и прафинно-волжской акцентных систем // В пространстве языка и культуры: звук, знак, смысл. Сб. ст. к юбилею В. А. Виноградова. М., 2010.

Хелимский, 2007. – Южноселькупский словарь Н. П. Григоровского / обр. и изд. Е. Хелимского. Hamburg, 2001. (HSFUM. 4).

Шешенин, 2011. – Шешенин С. Е. О некоторых особенностях вокализма говора обских чумылькупов в экспериментально-фонетическом освещении // Урало-алтайские исследования. IV. М., в печати.

Alatalo, 2004. – Sölkupisches Wörterbuch aus Aufzeichnungen von Donner K., Sirelius U. T. und Alatalo J. Zusammengestellt und hrsg. von J. Alatalo. Helsinki, 2004.

Bereczki, 1988. – Bereczki G. Geschichte der wolgafinnischen Sprachen. // The Uralic Languages: Description, History, and Foreign In-fluences. Brill, 1988.

Geisler, 2005. – Geisler M. Vokal-Null-Alternation, Synkope und Akzent in den permischen Sprachen. Wiesbaden, 2005.

Helimski, 1983. – Helimski E. The Language of the First Selkup Books. Szeged, 1983.

Helimski, 2007. – Селькупские словарные материалы на сайте www.helimski.com

Itkonen, 1946. – Itkonen E. Zur Frage nach der Entwicklung des Vokalismus der ersten Silbe in den finnisch-ugrischen Sprachen, insbesondere im Mordwinischen // FUF. 1946. 29. S. 222–337.

Itkonen, 1953. – Itkonen E. Zur Geschichte des Vokalismus der ersten Silbe im Tscheremissischen und in permischen Sprachen // FUF. 1953. B. 31. S. 150–345.

Janh. – Janhunen J. Uralilaisen kantakielen sanastosta // JSFOu. B. 77. S. 219–274.

Janhunen, 1977. – Janhunen J. Samojedischer Wortschatz. Gemeinsamojedische Etymologien. Helsinki, 1977. (Castrenianumin toimitteita, 17).

Lehtisalo, 1956. – Lehtisalo T. Juraksamojedisches Wörterbuch. Lexica Societatis Fenno-Ugricae 13. Helsinki, 1956.

Salminen ,1993. – Salminen T. On identifying basic vowel distinctions in Tundra Nenets // Finnisch-Ugrische Forschungen 51. S. 177–187.

Salminen, 2007. – Salminen T. Notes on Forest Nenets phonology // Mémoires de la Société Finno-Ougrienne H 253.

Samallahti, 1974. – Sammallahti P. Material from Forest Nenets. Castrenianumin toimitteita 2.

Helsinki, 1974.

Sammallahti, 1988. – Sammallahti P. Historical Phonology of the Uralic Languages // The Uralic Languages: Description, History, and Foreign Influences. Leiden: Brill, 1988. P. 478–554.

UEW – Rédei K. Uralisches etymologisches Wörterbuch. Budapest, 1986–1988.

Wichmann, 1987. – Wichmann Y. Wotjakische Wortschatz / Aufgezeichnet Y. Wichmann, bearb. T. E. Uotila, M. Korhonen, hrsg. M. Korhonen. Helsinki, 1987. (= Lexica Sosietatis Fenno-Ugricae, XXI).

Примечания

1 Все носители этого диалекта называют себя обские чумылькупы.

2 В вопросах о классификации селькупских диалектов мы следуем за Е. А. Хелимским [Хелимский, 2000], который выделял три основные диалектные группы: северную (Таз с Пуром, Карасино, Турухан с Баихой, Елогуй), центральную или среднюю (тымский и нарымский диалекты), южную (кетский и обский диалекты).

3 И. А. Коробейникова владеет языком достаточно свободно в отличие от двух других носителей, с которыми удалось записать весьма ограниченное количество слов, поэтому Н. Л. Федотова в результате работы с Ириной Анатольевной записала полный словарь нарымского диалекта, говора с. Парабель (около 20 тыс. слов).

4 В статье С. Е. Шешенин вслед за А. П. Дульзоном называет его говор обских чумылькупов селькупского языка.

5 Для кетского диалекта данные, полученные от В. В. Арбалдаева столь скудны, что в настоящее время говорить о полном акцентологическом очерке этого диалекта пока не приходится. Возможно, привлечение материалов К. Доннера и У.Т. Сирелиуса, которые изданы Я. Алатало [Alatalo, 2004], позволят существенно уточнить наши представления об акцентологической системе в кетском диалекте.

[6] В настоящее время нам неизвестны работы, в которых была бы сделана реконструкция праселькупских суффиксов. В статье [Зырянова, 2002] собраны воедино данные по глагольным селькупским суффиксам в южных и северных диалектах. Оказалось, что плюсовые суффиксы, отобранные нами по выше оговоренным принципам, засвидетельствованы во всех диалектах селькупского языка, фактически в единообразной форме. Но поскольку работ по реконструкции суффиксов все же нет, то мы приводим их в тех формах, в которых они реально встречаются в диалектах. Как видно из таблицы, не вполне ясен статус чередующихся первых гласных суффиксов, нам представляется, что их реализация зависит от места ударения и от правил сингармонизма. Но уточнение их статуса нуждается в дальнейшем исследовании. Информацию о семантике суффиксов можно найти в статье [Зырянова, 2002] с подробными отсылками на монографии, в которых подробно описано значение каждого конкретного суффикса.

[7] В таблице знак вопроса стоит в тех клетках, где в соответствующем диалекте в образованиях с этим суффиксом ударение всегда падает на первый слог словоформы, но эти образования засвидетельствованы только от тех корней, которые в других диалектах являются плюсовыми, т. е. вне зависимости от типа суффикса имеют ударение на первом слоге.

[8] Мы предполагаем, что у ПУ *ɨ hen двух типов рефлексации в ПС языке, поскольку эта фонема реконструируется исключительно на основании ПС рефлекса *ɨ, т. е. в тех случаях, когда в ПС другой рефлекс, например, *å, то просто реконструируется не ПУ *ɨ, а ПУ *a.

[9] В таблице ПУ, ненец. тунд. формы приводятся по [UEW], ПС по [Janhunen, 1977].

[10] Представляется целесообразным проведение полевого анкетирования носителей лесных диалектов и описания выделения слогов в них с помощью фонетической программы Praat. Насколько нам известно, раньше такое исследование не проводилось, но только по его результатам можно решить, идет ли речь о долготе (в случае, если слог выделяется только по долготе) или об ударении (в случае, если слог выделяется и/или только по другим параметрам).

[11] Он состоит из слов, удовлетворяющих следующим условиям: 1) селькупское слово имеет по словарям [Janhunen, 1977] и [UEW] прасамодийскую и прауральскую этимологии соответственно, 2) рефлекс этого слова с плюсовым суффиксом представлен в одном из шести вышеперечисленных селькупских диалектов, по которым удалось собрать достаточно представительный материал.

[12] Здесь и далее для ПУ слова приводятся по [UEW], для ПС по [Janhunen, 1977], для Псельк. по [Alatalo, 2004], для ненецкого по [Lehtisalo, 1956].

[13] Суффикс *-чегу* в нарымском диалекте (Парабель) является плюсовым, поскольку при образовании словоформ с помощью этого суффикса от минусовых корней ударение падает на суффикс, например, *ӱрчӓгу́* ‘потерять’, *пэрчэгу́* ‘кипеть’.

[14] Суффикс *-ы* в нарымском диалекте (Парабель) является плюсовым, поскольку при образовании словоформ с помощью этого суффикса от минусовых корней ударение падает на суффикс, например, *апты́* ‘запах’.

[15] Маркировка маркера аккузатива в кетском диалекте не вполне ясна, поэтому здесь форму кет. *ню́чам* Acc ‘траву’ в настоящее время нельзя считать еще одним доказательством минусового характера корня. Но, учитывая, что в большинстве других селькупских диалектов маркер аккузатива имеет плюсовую маркировку, представляется, что кетскую форму все же следует принимать во внимание.

[16] Маркер аккузатива *-en* в обском диалекте (Иванкино) является плюсовым, поскольку при образовании словоформ с помощью этого суффикса от минусовых корней ударение падает на суффикс, например, *тӱ́л’сén* Acc‘ружья’.

[17] Суффикс *-əlžugu* в нарымском диалекте (Парабель) является плюсовым, поскольку при образовании словоформ с помощью этого суффикса от минусовых корней ударение падает на суффикс (пример см. в тексте этимологии), а от плюсовых корней на корень, например, *чве́дəлжугу* ‘встретиться’.

[18] Как было сказано выше, маркер аккузатива в большинстве селькупских диалектов, в том числе и в говоре с. Парабель имеет плюсовую маркировку, потому что в словоформах, образованных с помощью маркера аккузатива от минусовых корней ударение падает на падежный показатель, ср. *ажа́п* Acc ‘отца’.

[19] Как видно из ПС реконструкции, предложенной Ю. Янхуненом, принадлежность селькупских форм к этой этимологии проблематична. Она отличается от других форм как семантически (в северосамодийских языках рефлексы имеют значение ‘волна’, в селькупском ‘плавать’), так и фонетически (в северосамодийских языках представлены рефлексы гласного переднего, а в селькупском – гласного заднего ряда).

[20] Здесь не рассматривается слово ПУ *kun′a > ПС *kə̀n′V ‘закрывать’ > сельк. юж. Иван ка́йгу ‘укрывать’, потому что реконструкция вокализма не представляется надежной (гласный первого слога в финском языке в фин. kyyny 'полузакрытое состояние глаз' должен быть рефлексом ПУ *ü, а в морд. kon′a (E), kon′e- (M) 'закрывать глаза' должно быть рефлексом ПУ *u, *o).

[21] Место ударения в этом слове не вполне ясно.

[22] Место ударения в этой форме не вполне ясно.

[23] Ю.-сельк. Григ. *ы́дыгу* не является формой, релевантной для определения маркировки корня, поскольку суффикс инфинитива в языке первых селькупских книг имеет минусовую маркировку и, соответственно, вне зависимости от маркировки корня ударение в формах инфинитива будет падать на первый слог слова.

[24] Как было показано выше, маркеры аккузатива в обском диалекте (с. Иванкино) имеют плюсовую маркировку.

С. М. Каштанов, Л. В. Столярова, С. Ю. Королева

НОВЫЕ ИСТОЧНИКИ ПО ИСТОРИИ РУССКО-ГРЕЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ В XVI в.

Поиск и изучение документов по истории сношений России с греческим миром, или «православным Востоком», имеют длительную традицию. Выявление афонских грамот в XVIII–XX вв. шло двумя путями. Во-первых, предпринимались путешествия на Афон, где и осуществлялся просмотр подлинников, иногда сопровождавшийся снятием с них копий. Во-вторых, работа в русских архивах приводила к открытию списков с грамот, оригиналы которых были в свое время выданы представителям афонских монастырей. Сохранность копий в русских архивохранилищах оказалась лучшей, чем сохранность подлинников на Афоне. О частой гибели там документов не раз писали со слов очевидцев путешественники XIX в. Русских грамот на Афоне было выявлено в XVIII–XX вв. сравнительно мало, причем большинство из них относится к XVII в. В. Григорович-Барский-Плака-Албов, бывший на Афоне в 1744 г., указал 11 русских грамот XVI–XVII вв. (*Григорович-Барский-Плака-Албов В.*, 1793. С. 580, 593, 641, 653–657, 695, 735, 742), архимандрит Порфирий Успенский, работавший в афонских архивах в 1845–1846 гг., называет 23 документа XVI–XVIII вв. (*Порфирий Успенский*, 1847. С. 194–196), но поскольку он в трех случаях считает за отдельные документы позднейшие подтверждения к грамотам, общее количество выявленных им актов должно быть уменьшено до 20. Сербский художник Д. Авраамович, опубликовавший свои книги о Святой Горе в 1847 и 1848 гг.. обнаружил 7 русских царских грамот в архиве Хиландарского монастыря (*Авраамовићъ Д.*, 1847. С. 15).

Из всех указанных в этих работах документов царскими грамотами XVI в. являются, по Григоровичу-Барскому, две (1552 и 1571 гг.), по Порфирию – три (1571, 1588, 1591 гг.), по Авраамовичу – четыре (все без дат: две Ивана IV и две Федора Ивановича). Между тем в Архиве Иностранной коллегии, где хранился фонд «Греческих дел», на рубеже XVIII–XIX вв. были сняты копии с целого ряда списков грамот XVI–XVII вв. Общее число коллежских копий великокняжеских и царских грамот афонским монастырям XVI в. – 9 (РГАДА. Ф. 52. Оп. 3. № 1, 2. 5–7, 9, 10). Эти копии не охватывают всего состава имеющихся в фонде списков.

В XVI–XVII вв. сношения с «православным Востоком» документировались в особых посольских книгах, в составе которых и сохранились наиболее ранние копии великокняжеских и царских грамот афонским монастырям, вселенским патриархам и др., а также грамот, присылаемых в Россию иерархами и монастырями греческого мира. Фиксировались приезды в Москву и отъезды из Москвы церковных иерархов и посланников государя и митрополита (доставщиков «*милостыни*»), а также привозимые и вывозимые ими грамоты. Наибольший интерес в связи с этим представляют первые три книги «греческих дел» РГАДА, копии актов которых более или менее современны подлинникам. Древнейшая «греческая» посольская книга (№ 1) содержит материалы за 1509–1571 гг., книга 2 – за 1582–1588 гг., книга 3 – за 1588–1594 гг. (РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. Кн. 1–3). Первая (древнейшая) книга этого фонда была издана в 2004 г. С. М. Каштановым и Л. В. Столяровой. Вторая греческая посольская книга в настоящее время готовится к печати ими же. Третья книга была опубликована в 1988 г. М. П. Лукичевым и Н. М. Рогожиным [см.: Посольская книга по связям России с Грецией (православными иерархами и монастырями 1588–1594 гг.) / отв. ред. В. И. Буганов; подгот. текста М. П. Лукичева и Н. М. Рогожина; предисловие Н. М. Рогожина. М., 1988; Россия и греческий мир в XVI в. / отв. ред. С. М. Каштанов; подгот. к публ. С. М. Каштанов и Л. В. Столярова, при участии Б. Л. Фонкича. М., 2004. Т. 1].

К истории сношений России с Афоном в разное время обращались многие как отечественные, так и зарубежные исследователи (А. В. Горский, Порфирий Успенский, А. Н. Муравьев. архим. Леонид, Н. Ф. Каптерев, С. А. Белокуров, А. П. Касторский, М. Н. Тихомиров, А. А. Зимин, А. И. Клибанов, Н. В. Синицына, Б. Л. Фонкич, А. Л. Хорошкевич, С. М. Каштанов, А. В. Соловьев, Ф. Кемпфер, К.-Д. Зееман и др.; подробный обзор историографии см.: Каштанов С. М., 2004. С. 8–15). Однако вопрос об обмене дарами между русским правительством и Афоном прежде специально не ставился (исключение составляют труды С. А. Белокурова, посвященные в основном денежным вкладам). В настоящей статье делается попытка восполнить этот пробел за счет обращения к грамотам и записям, сохранившимся в составе «греческих» посольских книг № 1 и 2 и отразившим контакты России с Афонскими монастырями в 1509–1588 гг., т. е. в период правления Василия III, Ивана Грозного и Федора Иоанновича.

В «греческой» посольской книге № 1 помещены тексты 95 грамот, из которых 74 упоминают денеж-

ную милостыню и дары «рухляди» и реликвий, отправляемые московскими государями на христианский Восток или полученные ими от иерархов и православных монастырей Афона, Синая, Константинополя и др. В книге 1 зафиксированы сношения между Россией и греческим Востоком за 1509–1519 гг. и 1549–1571 гг. Обмен дарами между русским правительством и Афоном зафиксирован в 31 документе. Остальные 43 грамоты с упоминанием даров распределились следующим образом: 19 документируют сношения русского правительства с Константинопольским патриархатом; 3 – с Антиохийским, 6 – с Иерусалимским, 9 – с Александрийским, 2 – с Евгрипским, 9 – с Синаем, 4 – с Сербией. При этом следует иметь в виду, что 9 документов книги № 1 фиксируют отправку милостыни московским правительством сразу в несколько зарубежных центров православия. В книге № 1 нет указаний на переводной характер грамот, присланных в Россию из-за рубежа, что отличает ее от книги № 2, в которой эти сведения имеются (см. ниже).

Как показал С. М. Каштанов, «греческая» посольская книга 1 велась постепенно, в хронологической последовательности сношений русского правительства с представителями зарубежных православных иерархов и монастырей (Каштанов С. М., 2004. С. 19). Пропуск в 28 лет в документировании сношений России с православным Востоком (материалы за 1520–1548 гг. в книге 1 отсутствуют) Каштанов объяснил в гипотезе о полной или частичной передаче фиксации этих сношений после 1519 г. в руки митрополичьей кафедры (Каштанов С. М., 2004. С. 16). Несколько ранее С. М. Каштанов высказывал предположение о том, что после 1519 г. функции регистрации, копирования и выдачи грамот по делам греческой церкви перешли в руки новоспасского архимандрита Саввы. После 1525 г. это дело оказалось под контролем митрополита Даниила и вплоть до начала реформ Избранной Рады продолжало ведаться митрополичьей канцелярией (Каштанов С. М., 2001. С. 216).

Связи митрополита с зарубежными центрами православия в 1515–1518 гг. отразились в митрополичьем формулярнике – сборнике документов по сношениям русской митрополичьей кафедры с Константинополем, с зарубежными православными монастырями (в том числе с Афоном), церковными иерархами и светскими властями XIV – начала XVI в. в России и за ее пределами (Русские феодальные архивы. М., 1986–1992. Ч. 1–5).

Копии двух грамот 1543 г. – Ивана IV Пантелеймонову монастырю и 1547 г. – митрополита Макария о правах тому же монастырю, помещенные в одной и той же рукописной тетради конца 40-х – начала 50-х гг. XVI в. Волоколамского сборника РНБ (РНБ. Т. XVII. № 50. Л. 349–353; Акты исторические... 1841. Т. 1. № 300; Акты, относящиеся до юридического быта Древней России, 1857. Т. 1. № 40.), свидетельствуют о том, что духовные корпорации могли самостоятельно копировать документы, исходившие в это время не только от главы митрополичьей кафедры, но и от московского великого князя (Каштанов С. М., 2004. С. 16).

Со второй половины XVI в. самостоятельность митрополичьей кафедры в документировании этих контактов сузилась. Так, в книге № 1 помещена «память» 1557 г. архимандриту Феодорту о милостыне митрополита всея Руси Макария и удельных князей Юрия Васильевича и Владимира Андреевича, посылаемой константинопольскому патриарху Иоасафу II с евгрипским митрополитом Иоасафом, а также о милостыне последнему от Ивана Грозного (РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. Кн. 1. Л. 106 об. – 107; Россия и греческий мир, 2004. № 95. С. 223). В том же 1571 г. в царский регестр попал и текст грамоты митрополита Кирилла константинопольскому патриарху Митрофану III об исполнении просьбы ходатайствовать перед царем о пожертвовании на великое миро, а также о посылке самим митрополитом 120 рублей на великое миро (Каштанов С. М., 2004. С. 19).

Василий III проявил себя щедрым милостынником зарубежным центрам православия. Документы, сохранившиеся в составе «греческой» посольской книги № 1, фиксируют его контакты с Константинопольским патриархатом [грамоты 1516 г. (одна)], Белградской митрополией и православными монастырями Сербии [грамоты 1508 г. (пять), 1509 г. (четыре), 1516 г. (одна), 1519 г. (одна)], Синайской горой [грамоты 1516 г. (одна), 1519 г. (три)] и Афоном [грамоты 1508 г. (две), 1509 г. (четыре), 1515 г. (три), 1516 г. (две)].

Иван Грозный несравнимо больше, чем его отец, уделял внимания контактам с высшими церковными иерархами православного Востока. Он щедро одаривал патриаршие престолы: Константинопольский [грамоты 1549 г. (две), 1551 г. (одна), 1554–1555 гг. (одна), 1557 г. (семь), 1558 г. (одна), 1560 г. (четыре); 1561 г. (одна), 1564 г. (две), 1571 г. (три)], Иерусалимский [грамоты 1547 г. (одна), 1550 г. (одна), 1558 г. (шесть), 1560 г. (одна), 1561 г. (одна)], Антиохийский [грамоты 1558 г. (пять)], Александрийский [грамоты 1556 г. (одна), 1558 г. (шесть), 1559–1560 гг. (одна), 1560 г. (одна), 1561 г. (одна), 1571 г. (пять)]. Крупные дары посылались из Москвы на Синай [грамоты 1558 г. (три), 1560 г. (одна), 1571 г. (пять)] и Евгрипскому митрополиту [грамоты 1557 г. (три), 1560 г. (две), 1561 г. (одна), 1564 г. (три), 1571 г. (одна)]. Деньгами, мехом и реликвиями жаловал Иван Грозный и монастыри Афона (см. ниже). Во второй половине XVI в. объектом пристального внимания русского царя

стали христианские святыни Иерусалима. Так, в 1558 г. богатые милостыни «рухлядью» были посланы Храму Гроба Господня и «*ко храму Распятия Господня, иже на Голгофе*» (РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. Кн. 1. Л. 140–142; Россия и греческий мир, 2004. № 110. С. 243–244). В том же году денежное пожертвование получил игумен иерусалимской Лавры св. Саввы Освященного Иоасаф (РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. Кн. 1. Л. 147 об. – 149 об.; Россия и греческий мир, 2004. № 114. С. 248).

Особыми актами русское правительство извещало об отправляемых дарах и заверяло в своем намерении жаловать новые ценности. Присылаемые в Москву грамоты монастырей и церковных иерархов изобиловали просьбами о заступничестве и «милостыне» русского правительства православным монастырям Афона, Синая, Константинополя и другим центрам православия (в том числе и на «*обновление монастырей*»). В них сообщалось о бедственном положении афонских монастырей и содержались просьбы о заступничестве перед турецким султаном. Московское правительство извещалось о получении очередной милостыни, а также о том, что в силу тех или иных обстоятельств государевы дары дошли до получателя не полностью или же вообще получены не были. Сообщалось и о препятствиях, которые время от времени чинились доставщикам даров на территориях, через которые пролегал путь посланников московского государя. Так, в 1558 г. в Литве у царского посланника купца Василия Позднякова отобрали шесть сороков соболей (РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. Кн. 1. Л. 169; Россия и греческий мир, 2004. № 123. С. 260). В июле 1560 г. в Москве узнали о доставке тем же Василием Поздняковым милостыни константинопольскому патриарху Иоасафу II с «*убытком... [в] триста рублев*» и об утрате 400 рублей милостинных денег, посланных иерусалимскому патриарху Герману II (РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. Кн. 1. Л. 158 об.–159, 161 об.; Россия и греческий мир, 2004. № 121, 122. С. 255, 257). Осенью 1567 г. челобитной еклисиарха Лавры св. Афанасия Афонского правительство Ивана Грозного извещалось о конфискации грузинским кн. Леваном (Леоном) царских милостинных денег, предназначавшихся в дар константинопольской церкви. В той же грамоте сообщалось и об израсходовании афонскими старцами пожалованных им царем денег во время трудного перехода из Грузии в Кафу (РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. Кн. 1. Л. 209–211 об.; Россия и греческий мир, 2004. № 140. С. 287–288).

Сношения правительства Василия III с монастырями Афонской горы отразились в 11 грамотах «греческой» посольской книги № 1 (Россия и греческий мир... Т. 1. № 2, 3, 5, 6, 25–27, 32, 38–40). Наиболее ранние грамоты Василия III, скопированные в книге № 1, датируются 27 июля 1509 г. Это две великокняжеские грамоты проту Святой Горы Паисию о раздаче милостыни, посланной со старцами Пантелеймонова монастыря Семионом и Иаковом, «*по всем монастырям*» (РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. Кн. 1. Л. 13–14 об.; Россия и греческий мир, 2004. № 24, 25. С. 145–146). В качестве милостыни, посланной «*чтобы наших родителей и прародителей поминали по вся дни, а о нашем здравье и о тишине о христианской, и о всем нашем устроении молили Бога и пречистую его матерь*», на Афон правительством Василия III было отправлено меха пять сороков соболей и 5000 белок (РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. Кн. 1. Л. 13 об.; Россия и греческий мир, 2004. № 24. С. 146). В первой из двух грамот Василия III 1509 г. упоминается о его пожаловании Афонским монастырям 160 золотых монет («*златниц*»), сделанном «в прошлои год» (РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. Кн. 1. Л. 13–13 об.; Россия и греческий мир, 2004. № 24. С. 145–146; см.: Словарь русского языка XI–XVII вв. М., 1979. Вып. 6. С. 7). Вторая из названных грамот Василия III содержит разрешение вновь присылать пантелеймоновских старцев в Москву за милостыней и обещание выдавать ее и впредь: «*...а вперед коли похотите к нам послати милостыни ради, и вы бы посылали к нам с сею нашею грамотою, а мы, оже даст Бог, хотим честныя обители, иже в Святеи Горе Афонстеи, и вперед дозирати и милостынями помогати доколе Бог взвелит*» (РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. Кн. 1. Л. 13 об. – 14; Россия и греческий мир, 2004. № 25. С. 146).

Милостыня Афонским монастырям в 160 златниц, пожалованная Василием III «*в прошлои год*», также сопровождалась грамотой, текст которой не известен. Об этой грамоте, равно как и об упомянутой денежной милостыне, свидетельствует доставленная в Москву в январе 1509 г. грамота от прота Паисия, не имеющая даты. В ней говорится о возвращении на Св. Гору архидьякона Пахомия – доставщика великокняжеского дара на Афон (РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. Кн. 1. Л. 5–5 об.; Россия и греческий мир, 2004. № 5. С. 131–133). Еще одна недошедшая грамота Василия III на Святую Гору и отправленная с нею в Пантелеймонов монастырь «*на монастырские потребы*» милостыня (мех пяти сороков соболей, 5000 белок и серебряная чаша) упомянута в присланной в Москву в том же 1509 г. грамоте игумена Пантелеймонова монастыря Саввы (РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. Кн. 1. Л. 5 об. – 7; Россия и греческий мир, 2004. № 6. С. 134–136). В грамоте игумена Саввы содержится просьба о новой великокняжеской милостыне (РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. Кн. 1. Л. 7; Россия и греческий мир, 2004. № 6. С. 135). Архидьякон Пантелеймонова монастыря Пахомий и старец того же монастыря Иаков, привезшие грамоты от прота Паисия и от игумена Пантелеймонова монастыря Саввы, прибыли в Москву в ноябре 1506 г.,

а уехали на Афон 9 мая 1507 г. (ПСРЛ. СПб., 1904. Т. XIII, первая половина. С. 4–5). Дары Василия III проту Святой Горы и Пантелеймонову монастырю вместе с сопровождавшими их грамотами были отправлены из Москвы скорее всего в марте–апреле 1507 г. (Каштанов С. М., 2004. С. 27).

Вывезенные на Святую Гору дары Василия III, занявшего великокняжеский стол незадолго до прибытия в столицу Русского государства афонских посланников – архидьякона Пахомия и старца Иакова, – должны были продемонстрировать заботу нового московского правительства о крупнейших центрах православия за рубежом и способствовать укреплению авторитета Москвы на христианском Востоке. Это подтверждается богатыми дарами «на церковные потребы», сделанными Василием III в июле 1509 г. не только проту Пахомию и Пантелеймонову монастырю, но и Белградскому митрополиту Феофану (мех трех сороков соболей и 3000 белок и серебряный ковш), игумену сербского Спасо-Преображенского Сысоева монастыря Феофану (мех 40 соболей и 500 белок), а также бывшей сербской деспотице монахине Ангелине (мех четырех сороков соболей и 4000 белок) (Каштанов С. М., 2004. С. 27).

Пожалования 1509 г. на Афон и в Сербию были прямым следствием упрочения положения Василия III на великокняжеском престоле. 14 февраля 1509 г. в темнице умер его давний политический соперник и претендент на престол Дмитрий Иванович Внук. Отправляя свои дары на Афон и в Сербию, Василий III сопроводил их просьбами «*в сенаник написати... и поминати по вся дни*» своих родителей – «*великого князя Ивана и ... великую княгиню Софью*», а также всех усопших членов своего рода («*прародителей и родителей*») (РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. Кн. 1. Л. 15 об. – 16; Россия и греческий мир, 2004. № 29. С. 149). Акцентированное упоминание матери Василия III – великой княгини Софьи Палеолог – в связи с посылаемыми дарами было для Москвы особенно важным, т. к. содержало намек на преемственность великого князя от византийских Палеологов, а русской церкви – от Константинополя (Каштанов С. М., 2004. С. 27). Эта тенденция прослеживается и в последующих пожалованиях Москвы Афону. В марте 1515 г. Василий III отправил проту Святой Горы Семиону грамоту, сопровождающую «*большую милостыню*» для раздачи ее «*по монастырям*». «*Большая милостыня*» состояла из двойного пожалования. 1000 рублей Василий III посылал как бы «*по приказу отца своего великого государя Ивана, божиею милостию государя всеа Руси и великого князя, и по своеи матери, великои государыне Софье, и по всех нашых прародителех*». Столько же – милостыню «*на тысячю же рублев*» – Василий III жаловал «*от себя*» (РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. Кн. 1. Л. 18 об. – 19 об.; Россия и греческий мир, 2004. № 38. С. 156; см. также: Каштанов С. М., 2004. С. 27).

Кроме милостыни проту Семиону царские посланники Василий Копыл Спячий и Иван Варавин должны были доставить в Лавру Афанасия Великого «*чару серебряну, да ризы камчаты, да пелену к иконе – образу Афанасия Великого*» (РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. Кн. 1. Л. 18 об. – 19 об.; Россия и греческий мир, 2004. № 38. С. 156). Серебряная чара, риза и пелена к иконе Благовещения Богородице адресовались Ватопедскому монастырю. Около марта – июня 1516 г. из этой обители в Москву была привезена грамота о том, что великокняжескую милостыню – «*серебряную чару великую и иные священные одежи*» – Василию Копылу удалось благополучно доставить представителям братии Ватопедского монастыря (РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. Кн. 1. Л. 4 об.; Россия и греческий мир, 2004. № 3. С. 129). Беспрецедентно щедрый дар Афонским монастырям, таким образом, должен был, вероятно, еще раз подчеркнуть тесную династическую связь московского великокняжеского дома с византийскими императорами через Софью Палеолог – племянницу Константина XI. В целом дары Василия III отразили две линии его политики – просербскую и направленную на установление широких связей с Афоном и греческим миром в целом.

Если в правление Василия III безусловным расположением русского правительства пользовались Святая Гора и особо – Пантелеймонов монастырь, то правительство Ивана Грозного в разное время отдавало предпочтение поддержке трех афонских монастырей: Пантелеймонова [грамоты ок. 1549–1950 гг. (две), 1550 г. (одна), 1551 г. (одна), 1554 г. (три) и 1571 г. (четыре)], Хиландарского [грамоты ок. 1549–1550 гг. (одна), 1550 г. (одна), 1556 г. (три), 1557 г. (три), 1559 г. (одна), 1571 г. (пять)] и Ватопедского (грамоты 1581 и 1583 гг.).

Прямых известий о посылке в Пантелеймонов монастырь царских даров и их составе до 1571 г. в «греческой» посольской книге № 1 нет. За 1549–1550 гг. сохранились копии грамот Ивану Грозному игумена Пантелеймонова монастыря Павла о бедственном положении обители с благодарностью за прежнюю милостыню и просьбой о заступничестве перед турецким султаном (ок. 1549 г. мая 1 – 1550 г. февраля 15) и проигумена Хиландарского монастыря Геннадия о бедственном положении Хиландарского и Пантелеймонова монастырей с просьбой о милостыне (ок. 1549 г. июня 1 – 1550 г. марта 15; см.: Россия и греческий мир, 2004. № 63, 65). В 1550 г. турецкому султану Сулейману I правительством Ивана IV была послана грамота с просьбой об облегчении от даней и защите от притеснений Пантелеймонова и Хиландарского монастырей, в

которой русский царь выступал в роли заступника этих афонских обителей (Россия и греческий мир, 2004. № 67). В 1551 г. в Пантелеймонов монастырь для обучения греческому языку отправился «*паробок*» Обрюта Михайлов сын Грекова, о чем игумену Павлу из Москвы была послана соответствующая грамота (Россия и греческий мир, 2004. № 74; см.: Каштанов С. М., 2006. 201–214). В 1554 г. Пантелеймонову монастырю были оказаны последние до начала 70-х гг. знаки царского внимания. За этот год в книге № 1 сохранились: 1) заголовок тетради с копиями жалованных (проезжих грамот) игумену и старцам монастыря; 2) жалованная проезжая грамота на беспрепятственный и беспошлинный проезд за милостыней по территории Русского государства и 3) жалованная проезжая грамота на беспрепятственный и беспошлинный проезд монастырских старцев по территории Русского государства при их возвращении на Святую Гору (Россия и греческий мир, 2004. № 75, 77, 78).

В марте 1571 г. игумен Пантелеймонова монастыря Диомид и монастырская братия получили присланную с купцом Семеном Борзуновым из Москвы милостыню. На помин души царицы Анастасии Романовны Иван IV жаловал 200 рублей, царицы Марии Темрюковны – серебряную чашу весом в 31 гривенку и 38 золотников. «*По брате своем*» князе Юрии (Георгии) Васильевиче царь жаловал монастырю 150 рублей (РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. Кн. 1. Л. 230–233, 237–238 об.; Россия и греческий мир, 2004. № 149. 151. С. 302–303, 305–306).

Вероятно, после 1554 г. и до 1571 г. царские грамоты и милостыня в Пантелеймонов монастырь не посылались. Однако в книге № 1 сохранились сведения о прибытии 22 июля 1550 г. в Москву старцев Пантелеймонова монастыря Иакова и Мартирея с грамотой и «*поминками*» от игумена Павла и братии. «*Поминки*» (памятные подарки) немедленно попали в царскую казну: «*А что поминков, то писано у казначеев*» (РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. Кн. 1. Л. 49 об.–54).

Около 1573 г. Пантелеймонов монастырь запустел и захирел. О необходимости обновления монастыря еще в 1508 г. писал Василию III игумен Савва (РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. Кн. 1. Л. 7; Россия и греческий мир, 2004. № 6. С. 135). В июле 1550 г. о бедственном положении Пантелеймонова монастыря московское правительство должно было узнать из грамоты игумена Павла: «*...и много нам досаждают туркы и греци, отняша нам много; и пакы беспрестанно досажают, взимают нам дань на всяк год, и ныне должен монастырь шестьсот рублев*» (РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. Кн. 1. Л. 53; Россия и греческий мир, 2004. № 63. С. 180). Спустя месяц, в августе 1550 г. те же сведения о бедствиях уже двух монастырей – Пантелеймонова и Хиландарского – нашли подтверждение в грамоте проигумена Геннадия. Вместе с предназначенными в дар царю реликвиями ее доставили с Афонской горы игумен Паисий и три хиландарских старца (РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. Кн. 1. Л. 54–65; Россия и греческий мир, 2004. № 64–65. С. 181–186). Об окончательном упадке монастыря к началу 70-х гг. прямо говорится в грамоте прота Пахомия, присланной Ивану Грозному 5 марта 1583 г. в ответ на получение из Москвы денежной милостыни – 500 рублей по душе царевича Ивана Ивановича: «*А Пантелеимонов монастырь пуст десять лет, а строитель Матвей умерл на Москве, и не имам, кому дати те денги*» (РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. Кн. 1. Л. 67).

Со второй половины 1550-х гг. объектом повышенного интереса со стороны России стал сербский Хиландарский монастырь. В марте 1556 г. монастырь получил в дар «*на покои приездныи архимариту и священником и всеи братье*» двор в Москве в Китае-городе возле Устюжского двора. Пожалование сопровождалось требованием заздравных и заупокойных молитв по членам царского рода (РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. Кн. 1. Л. 81 об. –82; Россия и греческий мир, 2004. № 81. С. 199. С. 202). В июле 1556 г. была выдана царская «проезжая» грамота наместникам, волостелям, мытчикам, перевозчикам, мостовщикам и всем пошлинникам от Москвы до Смоленска о беспошлинном пропуске в Москву и обратно старцев афонского Хиландарского монастыря с их людьми и о предоставлении им подвод, кормов и проводников.

В феврале 1557 г. из Москвы с ценным даром архимандриту Прохору на Святую Гору отправился посланник Хиландарского монастыря к московскому государю священноинок Сильвестр. Он вез денежную милостыню царя – 300 рублей, а также катапетазму (завесу для царских врат) и полицу (принадлежность епископского облачения). Тогда же из Москвы в Литву королю Сигизмунду Августу была направлена грамота с просьбой о беспрепятственном пропуске доставщиков этой милостыни. Документы книги 1, содержащие описание катапетазмы и полицы, позволяют заключить, что оба этих дара Хиландарскому монастырю были поистине драгоценными. Катапетазма, «*а на неи образ господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа и пречистые его матери, и святаго пророка и Педтечи*» была расшита золотом, серебром и жемчугом, «*а в венцах яхонты и жемчуг, а около шит деисус*». Унизанная жемчугом полица «*з дробницею и с каменьем*» весила «*гривенку и полсемнатцата золотника*». Вместе с царским даром Хиландарский монастырь получил «понагею серебряну золочену» от царевича Ивана Ивановича и 50 рублей от князя Юрия (Георгия) Васильевича – брата Ивана IV. Пожалование сопровождалось требованием молиться

за царя и его здравствующих родственников (царицу Анастасию, царевича Ивана Ивановича, князя Юрия Васильевича и его жену княгиню Ульяну) и поминать умерших отца и мать государя и «*весь род*» (РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. Кн. 1. Л. 109–109 об., 110–111; Россия и греческий мир, 2004. № 97–98. С. 225–226).

В челобитной Хиландарского монастыря, написанной ок. 1558 г., упоминаются дары, посланные в разное время этой обители Иваном Грозным (ризы и другие предметы церковного облачения, 10 образов, 200 рублей, катапетазма, Псалтирь толковая, 4 книги Златоуста, 300 рублей), царевичем Иваном Ивановичем (панагия), князем Юрием Васильевичем (50 рублей). Текст этой грамоты, опубликованной С. М. Димитриевичем, в книгу № 1 не вошел (Димитријевић С. А., 1903. С. 29–31. № 21). Челобитная содержит сведения как о пожалованиях Хиландарскому монастырю 1557 г. (300 рублей, катапетазма, панагия, 50 рублей), так и о вкладах более раннего времени. В мае 1559 г. с архимандритом Прохором в Хиландарский монастырь была отправлена новая милостыня – 300 рублей (РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. Кн. 1. Л. 155 об.; Россия и греческий мир, 2004. № 119. С. 253).

В марте 1571 г. Иван Грозный дал Хиландарскому монастырю 500 рублей «по царице своеи и великои княгине» Анастасии и 150 рублей «*по брате своем*» князе Юрие Васильевиче. Пожалование сопровождалось требованием записи имен усопших царицы и князя во вседневный синодик и совершения молитв за здравие царя и его сыновей – царевичей Ивана и Федора Ивановичей (РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. Кн. 1. Л. 230–230 об.; Россия и греческий мир, 2004. № 148. С. 301).

Пожалования, сделанные по душе цариц Анастасии Романовны и Марии Темрюковны, а также князя Юрия Васильевича, отличались поистине царской щедростью. В апреле 1571 г. денежные милостыни были посланы Константинопольскому (200 рублей) и Александрийскому патриархам (100 рублей), на Афон «*проту и игуменом*» (700 рублей; «*оприч Хилондаря монастыря и Пантелеиманова монастыря*», которым милостыня жаловалась особо, по 500 и 200 рублей соответственно), на Синайскую Гору (100 рублей). При этом единовременно отправляемая с царским посланцем купцом Семеном Борзуновым милостыня составила 1300 рублей (в эту сумму не вошли милостинные деньги по Анастасии, данные Хиландарскому монастырю еще в марте, а также стоимость серебряной чары, отправленной тогда же в Пантелеймонов монастырь по душе Марии Темрюковны) (РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. Кн. 1. Л. 237–238 об.; Россия и греческий мир, 2004. № 151. С. 305–306).

Тесные связи Русского государства XVI в. с сербским Хиландарским монастырем совершенно очевидны. Они находятся в прямой зависимости от династических связей московских великих князей и царей с Сербией. «Сербский след» в генеалогии Василия III прослеживается, с одной стороны, по линии деспота Артского и Сербского Карла III Токко – внучатого племянника Софьи Палеолог (Каштанов С. М., 1989. С. 24–25), с другой стороны – по линии его второй жены Елены Стефановны Глинской – внучке сербского воеводы Стефана Якшича. Покровительство Москвы Хиландарскому монастырю, безусловно, отразило борьбу за сохранение династии, знаменем которой являлась Елена Глинская. Не случайно гибель царевича Дмитрия в Угличе 15 мая 1591 г. позволила Борису Годунову уже в августе того же года усилить контакты с Пантелеймоновым монастырем и отказаться от приверженности Русского государства сербской идее (РГАДА. Ф. 52. Оп. 3. № 14; см.: Каштанов С. М., 2004. С. 30).

Усиленное внимание к нуждам Хиландарского монастыря четко прослеживается начиная с середины XVI в. В это время Ивану Грозному пришлось вплотную столкнуться с опасностью династического кризиса (имеем в виду болезнь царя в 1553 г. и мятеж бояр во главе с Семеном Васильевичем Звягой Ростовским в пользу Владимира Андреевича Старицкого, смерть во младенчестве старших дочерей царя и трагическую гибель наследника – «*пеленочника*» Дмитрия). М. Н. Тихомиров прямо писал о роли «сербской идеи» в самосознании Ивана Грозного» (Тихомиров М. Н., 1969. С. 83–93). Обращает на себя внимание, что в грамотах, сопровождавших отправку даров Хиландарскому монастырю в 1557 г., упомянуты брат царя и его супруга, но обойден молчанием Старицкий князь Владимир Андреевич – двоюродный брат и соперник Ивана Грозного.

Пожалования 1557 г. афонским монастырям делались тогда, когда Иван Грозный был особенно озабочен идеей получения соборной грамоты о царском венчании, в которой бы признавался его новый титул. Это требовало огромных финансовых затрат, чрезвычайно обременительных в условиях кануна и начала Ливонской войны. Милостыню «*соболми*» на 2000 золотых (РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. Кн. 1. Л. 94 об.–95; Россия и греческий мир, 2004. 1. № 89. С. 212), посылаемую лично царем Иваном, в 1557 г. получил константинопольский патриарх Иоасаф II. Тогда же от имени брата царя удельного князя Юрия Васильевича в Константинополь были отправлены 100 гривенок рыбьево зубу [общее название для моржовой или слоновой кости (бивней)], мех десяти сороков куниц и 8000 белок общей стоимостью 200 рублей («*а цена всему тому двесте рублев*») (РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. Кн. 1. Л. 104 об.–105). С евгрипским митрополитом Иоасафом константинопольскому патриарху были

посланы милостыни митрополита всея Руси Макария (100 рублей) и князя Владимира Андреевича Старицкого (100 рублей). Особо деньгами был пожалован доставщик этих даров в Константинополь евгрипский митрополит Иоасаф. От царя он получил 200 рублей. Наделили его «милостыней» (состав которой, впрочем, документы книги № 1 не раскрывают) и митрополит Макарий с князьями Юрием Васильевичем и Владимиром Андреевичем: «*...а митрополит Макареи и князь Юрьи Васильевич, и князь Володимер Андреевич милостыню ему дали же*») (РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. Кн. 1. Л. 106 об.–107). Посылка этих даров в Константинополь, безусловно, должна была, по мысли московского правительства, стимулировать Константинопольский патриархат к утверждению царского титула Ивана Грозного, венчанного на царство митрополитом Макарием еще в январе 1547 г. Константинопольский собор, давший утверждение деяниям митрополита Макария, состоялся в декабре 1560 г. Грамота Иоасафа II и собора восточной церкви, утверждающая царский титул Ивана IV, была доставлена в Москву только в сентябре 1561 г. (Фонкич Б. Л., 2004. С. 381–388). В качестве благодарности в сентябре 1564 г. Иван Грозный роздал участникам собора огромную денежную милостыню: 7470 рублей, из которых 270 предназначались Иоасафу II (Каштанов С. М., 2005. С. 20–28).

В конце правления Иван Грозный обратил свою милость в сторону Ватопедского монастыря. Потрясенный смертью царевича Ивана Ивановича (19 ноября 1581 г.) и занятый покаянием, царь принялся рассылать огромные вклады в русские монастыри. В 1581/82 г. в Кириллов монастырь им было послано 2000 рублей по душе наследника и 4754 рубля по «*убиенным*». В 1582/83 г. Иосифо-Волоколамский монастырь получил по царевиче 1243 рублей, а по опальным – 4000 рублей (1583/84 г.). В 1583/84 г. в Кирилло-Белозерский монастырь поступило еще 10 000, в Симонов – 2200, а в Троице-Сергиев – 5000 рублей (Зимин А. А., 1986. С. 94–95). Не были обойдены царской милостью и Афонские монастыри, в особенности Ватопедский. 30 марта 1582 г. со своим посланником Иваном Мишениным в Константинополь и на Афон Иван Грозный отправил по душе старшего сына большое денежное пожертвование. После разбора опричной «рухляди» (конфискованного имущества опальных) на все монастыри Святой Горы жаловалось 2870 рублей (от 50 до 350 рублей каждому). Пантелеймонов, Хиландарский и Ватопедский получали свои милостыни отдельно. Так, в Ватопедский монастырь было пожаловано 820 рублей, в Пантелеймонов – 700. Большая часть вклада, предназначенного Ватопедскому монастырю (720 рублей), была получена еще в Москве в 1581/82 г. находившимся там в это время ватопедским архимандритом Акакием. Оставшиеся 100 рублей монастырь получил из рук царского посланника Ивана Мишенина, прибывшего на Афон 3 июля 1583 г. Все эти баснословно щедрые вклады по монастырям как в России, так и за ее пределами делались в условиях жесточайшего финансового кризиса.

Примечательно, что по душе самого Ивана Грозного особым распоряжением Федора Ивановича в Ватопед были переданы ризы, посланные его отцом еще по душе старшего сына – царевича Ивана Ивановича в Пантелеймонов монастырь. Однако вследствие запустения последнего еклесиарху Хиландарского монастыря Григорию было поручено передать в Ватопед эти пантелеймоновские ризы на помин души усопшего Ивана IV (РГАДА. Ф 52. Оп. 1. Кн. 2. Л. 75–75 об., 82–83; см.: Каштанов С. М., 2004. С. 25). Почему Федор Иванович распорядился об этом в грамоте, адресованной не прямо Ватопедскому, а Хиландарскому монастырю – не ясно.

Книга 2, содержащая материалы за 1582–1588 гг., состоит из тетрадей с варьирующимися водяными знаками. Как и книга 1, она писалась постепенно, по ходу событий. В ней уже в записях 1582–1584 гг. начинают делаться указания на то, что тот или иной текст является переводом (*«а се перевод с цареградцкого патриаршей грамоты ко государю», «а се перевод [грамоты] патриярха Иерусалимского», «а се перевод греческие грамоты патриарха цареградцкого...», «а се перевод з греческие грамоты патриярха Александрейского»*). Как уже говорилось, в книге 1 подобных указаний нет. Появление их в книге 2 свидетельствует о повышении культуры приказного делопроизводства в 80-х гг. XVI в.

В выдаче грамот афонским монастырям значительную роль играла, видимо, казна. Именно казначеями, согласно грамотам, старцам должны были уплачивать штрафы за провоз чужих людей и товаров; от казначеев они получали пособия в Москве. 9 апреля 1550 г. казначеи Иван Петров (Головин) и Федор Сукин докладывали царю о приезде от турецкого султана его купца Андреяна Грека, который привез от него грамоту (РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. Кн. 1. Л. 37). И все же грамоты, видимо, составлялись в посольской канцелярии; отсутствие подлинников и невозможность идентификации почерков мешает прояснению вопроса о канцелярском происхождении жалованных грамот афонским монастырям. Дипломатический разбор грамот афонцам позволяет сделать вывод о значительной политической роли этих документов. В грамотах Хиландарскому монастырю заметны явные признаки составления черного текста самим получателем, что небезынтересно для изучения механизма действия великокняжеской канцелярии (Каштанов С. М., 2004. С. 40).

В качестве благодарности за расположение великих князей и царей к делам православного Востока и в порядке признания за московскими государями их особой роли заступников, покровителей и жертвователей, а также желая добиться дальнейшего расположения русского правительства, иерархи и монастыри присылали в Москву ответные дары. Как правило, таковыми были христианские реликвии – своеобразные гаранты благополучия московского государя, его семьи и подданных, а также признания значимости Русского государства на международной арене и в христианском мире. Так, в августе 1550 г. царь Иван Грозный получил в дар от игумена Хиландарского монастыря Паисия крест с животворящим древом и мощи св. первомученика Стефана (РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. Кн. 1. Л. 54–55). В 1560 г. московскому государю были присланы мощи св. Иакова (Якова) Перского и «един зуб» св. преподобной Анастасии (РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. Кн. 1. Л. 173) – дар антиохийского патриарха Иоакима IV. В том же году иерусалимский патриарх Герман II прислал Ивану Грозному из храма Гроба Господня елей «*от святого кандила, что есмя поставили ради имени твоего царского*». Однако вплоть до 80-х гг. XVI в. дары московским государям были явлением исключительным и редким.

Книга № 1 фиксирует всего два упоминания даров, присланных царю с Афона. По всей видимости, переживаемые бедствия и хозяйственный упадок не позволяли афонским монастырям отвечать дарами на царские пожалования и превращали их лишь в благодарных получателей и просителей милостыни.

22 июля 1550 г. старцы афонского Пантелеймонова монастыря Иаков и Мартирий «*с товарищи, 4 человека*» привезли в Москву грамоту игумена Паисия, в которой сообщалось о бедственном положении этой обители, содержались благодарности за прежнюю царскую милостыню, а также просьбы о новых дарах и заступничестве перед турецким султаном. Вместе с грамотой старец Иаков «*явил*» царю от игумена и монастырской братии памятные подарки, описание которых заменено словом «*поминки*» (РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. Кн. 1. Л. 49 об.–50). По-видимому, дары Пантелеймонова монастыря не показались сколько-нибудь значительными, а потому не удостоились подробного описания. Появившиеся в Москве вслед за пантелеймоновскими старцами в августе того же года хиландарский игумен Паисий, «*да с ним три старци*» «*явили*» царю дары, по-видимому, куда более поразившие его воображение, а потому детально описанные (Россия и греческий мир, 2004. № 63. С. 179). Вместе с грамотой, сообщавшей о бедствиях Хиландарского и Пантелеймонова монастырей и содержавшей просьбы о милостыне и заступничестве перед турецким султаном (Россия и греческий мир... Т. 1. № 63. С. 182–186), Ивану Грозному были вручены иконы св. Саввы и св. Симеона Сербских в серебряных окладах («*обложены серебром*») размером в пядь («*пядници*»). Были дарованы и реликвии: «*крест Семиона же чюдотворца, что носил на себе, а в нем животворящее древо*», а также мощи св. первомученика архидьякона Стефана «*в серебре*».

В грамоте проигумена Хиландарского монастыря Геннадия, привезенной игуменом Паисием, упоминаются дары, которые не были документированы в Москве (иконы св. короля Милутина и св. князя Сербского Лазаря, церковные службы этим святым, а также реликвии – детали облачения св. Саввы, сербского архиепископа («*потребы с жемчюгом и съ камением, что е носил святыи Сава*»). В некоторых деталях расходятся и описания хиландарских подарков. Почему в царский реестр попали не все дары Хиландарского монастыря – не ясно. Не исключено, что они не были «явлены», будучи утраченными по дороге в Русское государство.

С конца 1880-х гг. дары московским государям с Афона стали поступать куда более часто. Впрочем, не исключено, что сношения со Святой Горой стали более детально документироваться, да и в Москве появлялись представители куда большего числа афонских монастырей, чем до этого.

Таким образом, в виде великокняжеской и царской милостыни в 1507–1571 гг. в Афонские монастыри были сделаны огромные вклады мягкой рухлядью, церковной утварью и деньгами. Проту Святой Горы для раздачи по монастырям был отправлен мех пяти сороков соболей и 5000 белок, 160 златниц и по крайней мере 2200 рублей. Пантелеймонов монастырь получил мех пяти сороков соболей и 5000 белок, две серебряные чаши и не менее 350 рублей, Хиландарский монастырь – катапетазму, 10 образов, толковую Псалтирь, 4 книги Златоуста, серебряную позолоченную панагию, полицу и не менее 1500 рублей. Ватопедский монастырь и Великая лавра Афанасия Афонского получили в дар по ризе, пелене и серебряной чаше. Однако со всеми этими дарами едва ли не конкурируют по их баснословной щедрости пожалования, сделанные в 1582 г. по душе царевича Ивана Ивановича (4390 рублей) (см.: Белокуров С. А., 1897. С. 25).

В Константинополь, Иерусалим, Александрию, Антиохию (прежде всего, главам патриарших кафедр и особенно – константинопольскому патриарху Иоасафу II), на Синай и в Сербию из Москвы в 1509–1571 гг. поступило значительно больше ценностей, чем на Афон в это же время. Наиболее крупные пожалования православным иерархам были сделаны в связи с вопросом о признании царского титула Ивана Грозного. Всего за указанный период, согласно документам книги № 1, константинопольскому патриарху было отправлено не менее

1070 рублей деньгами (включая 270 рублей, подаренных Иоасафу II по случаю утверждения царского титула), а также 1200 рублей мягкой рухлядью (мехом соболя, белки и куницы) и рыбьим зубом. В Иерусалим патриарху и на разные церковные нужды были пожалованы 1322 рубля, 400 золотых угорских, бархатная шуба на собольем меху и «*рухлядь*» на 600 золотых угорских. Александрийскому патриарху было послано «*рухляди*» на 1000 золотых, бархатная шуба на соболях и 150 рублей денег. На Синайскую Гору и синайскому архиепископу из Москвы было отправлено не менее 1600 золотых, 650 рублей, «*рухляди*» на 800 золотых угорских, соболья шуба под бархатом и «*вещи*» – рыбий зуб, соболий и беличий мех (без указания их количества и стоимости). Пожалования в Сербию в основном делались «*мягкой рухлядью*» и утварью: мехом более семи сороков соболей, 8500 белок и серебряным ковшом. Только участникам Константинопольского собора, утвердившего царский титул Ивана Грозного, было роздано 1530 рублей.

В 1509–1571 гг. правительство Василия III и Ивана Грозного было сосредоточено на решении своих политических задач и утверждении авторитета Москвы на христианском Востоке. Иными словами, наиболее значительные вклады в зарубежные монастыри и ценные подарки православным иерархам были сделаны тогда, когда московские государи решали насущные политические, династические и идеологические вопросы. Щедрой рукой милостынника двигал холодный политический расчет. Только покаянные вклады Ивана Грозного по душе царевича Ивана Ивановича в монастыри Афонской горы 1582 г. соперничают по своей значительности со всеми предшествующими пожертвованиями монастырям и демонстрируют глубочайшее эмоциональное потрясение, которое царь испытал в связи со смертью своего старшего сына и наследника.

Присылая реликвии в качестве ответных даров, зарубежные центры православия, в свою очередь, отдавали должное усилиям Москвы, направленным на укрепление отношений Русского государства с христианским Востоком и упрочению международного авторитета русской церкви.

Список литературы

Авраамовићъ Д. Описание древностей (живописец) Србски у Светой (Атонской) Горы, с. XIII: Литографирана таблица. Београд, 1847. С. 8–40.

Акты исторические, собранные и изданные Археографическою комиссиею. СПб., 1841. Т. 1. № 300.

Акты, относящиеся до юридического быта Древней России. СПб., 1857. Т. 1. № 40.

Белокуров С. А. Монастыри Константинопольские и афонские в 1582 году // Чтения в Обществе истории и древностей Российских. 1897. Кн. 3. Отд. 4. С. 25.

Григорович-Барский-Плаки-Албов В. Пешеходца Василия Григоровича-Барского-Плаки-Албова, уроженца киевского, монаха антиохийского, Путешествие к святым местам в Европе, Азии и Африке находящимся, предпринятое в 1723 году и оконченное в 1747 году, им самим писанное. СПб., 1793.

Димитријевић С. А. Документи који се тичу односа између српске цркве и Русије у XVI. веку: Исписи изъ «Греческих статейныхъ списках» Главног Архива Министарства Иностранных Дела у Москви // Српска Краљевска Академија: Споменик. Београд, 1903. Књ. XXXIX. Други разред 35. С. 29–31. № 21.

Зимин А. А. В канун грозных потрясений. М., 1986. С. 94–95.

Каштанов С. М. Кто был Карл, «сестричич» Василия III // Генеалогия: Источники. Проблемы. Методы исследования: Тезисы докладов и сообщений межвузовской научной конференции. М., 1989. С. 24–25.

Каштанов С. М. К истории русско-греческих культурных связей в XVI в. // MOCXOBIA: Проблемы византийской и новогреческой филологии. К 60-летию Б. Л. Фонкича. М., 2001. С. 209–218.

Каштанов С. М. Состав и содержание документов «греческих» посольских книг № 1 и 2 // Россия и греческий мир в XVI веке. М., 2004. Т. 1.

Каштанов С. М. О взаимоотношениях русского правительства с Константинопольским патриархатом в 1557–1561 гг. // Общественная мысль и традиции русской духовной культуры в исторических и литературных памятниках XVI–XX вв. Новосибирск, 2005. С. 20–28.

Каштанов С. М. Русский ученик в Константинополе в середине XVI века // Вестник истории, литературы, искусства. М., 2006. Т. 3. С. 201–214.

Порфирий Успенский. Указатель актов, хранящихся в обителях СВ. Горы Афонской // ЖМНП. 1847. Ч. 55. № 7–9. Отд. 2.

Россия и греческий мир в XVI веке / сост. С. М. Каштанов и Л. В. Столярова, при участии Б. Л. Фонкича. М., 2004.

Русские феодальные архивы. М., 1986–1992. Ч. 1–5.

Словарь русского языка XI–XVII вв. М., 1979. Вып. 6.

Тихомиров М. Н. Исторические связи России со славянскими странами и Византией. М., 1969. С. 83–93.

Фонкич Б. Л. Грамота Константинопольского патриарха Иоасафа II и собора Восточной церкви, утверждающая царский титул Ивана IV // Россия и греческий мир. М., 2004. Т. 1. С. 381–388.

А. Е. Загребин

ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ ФИННО-УГРОВЕДЕНИЕ В РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ ПОИСКА НОВЫХ ИСТОЧНИКОВ

Особенностью корпуса сведений по истории и культуре финно-угорских народов России является то, что на сегодняшний день значительную часть источниковой базы составляют материалы, датируемые второй половиной XVIII – началом XX в., когда во многом сложился свод знаний о народной жизни, который ныне принято ассоциировать с традиционной культурой. Хотя следует сразу оговориться, что в этом корпусе источников также возможны свои неожиданные находки (Салмин, Терюков, 2010).

Вполне оправданное многократное обращение исследователей к ранее известным источникам тем не менее ведет к их истощению, требуя появления новых данных, еще не ставших в силу частого цитирования «хрестоматийными» (Загребин, 2009. С. 254). В этом отношении значительный интерес представляют этнографические тексты, анкеты, полевые дневники и письма, по разным причинам не ставшие достоянием научной печати и как следствие не раскрывшие своих познавательных возможностей. В истории отечественной этнографии есть период, в ходе которого были собраны ценные описания постепенно уходящего в прошлое быта народов России и среди них финно-угорских этносов. Смена методологической парадигмы и идеологическая корректировка научного продукта, имевшая место в ранней советской этнографии, привела к тому, что немало перспективных работ было принудительно архивировано либо репрессировано вместе с их авторами. «Забытые тексты» 1920-х – начала 1930-х гг. долгое время оставались вне поля зрения науки, что актуализирует задачу по их выявлению, археографической обработке и публикации.

Восточно-финские народы и раннее советское финно-угроведение

Локализация и конкретизация предпринятых в ходе проекта источниковедческих штудий предполагала выбор в качестве целевой группы исследования финно-угорские этносы Среднего Поволжья и Приуралья (мордва, мари, коми, коми-пермяки и удмурты), в современной историографии именуемые восточно-финскими народами. Пристальный интерес к этнографии восточных финнов со стороны отечественных и зарубежных ученых в имперский период истории России был обусловлен как рациональным стремлением к узнаванию внутренних окраин, так и романтическими поисками финно-угорского родства, особенно актуальными для нациестроительства западных финнов. Крушение империи на фоне незавершенности модернизационных процессов в восточно-финской этносреде (Калинин И. К., 2000) создало ситуацию возможности, когда представители национальной интеллигенции, координируя свои действия с новыми властями и столичными научными организациями, приступили к изучению своих народов.

Раннее советское финно-угроведение рассматривалась властью в качестве одного из научных направлений с особыми идеологическими задачами (Загребин, Куликов, 2011. С. 149). Дело в том, что ученые являлись проводниками идей культурной революции. Еще одной функцией науки было определение количества и распределения этнических групп, актуализировавшейся при создании национально-территориальных автономий. Ввиду наметившейся кооперации науки и политики, финно-угроведы должны были искать хрупкий баланс между позитивистскими практиками, отражающими мозаичную картину народной жизни, и ангажированными текстами официальных отчетов. Этнографам, придерживавшимся теории развития, не могла не импонировать роль наблюдателя эволюции народов, лишь в малой степени затронутых влиянием буржуазии. Власти хотели руководить процессом осовременивания, и в этих условиях люди науки должны были принять предлагаемые темпы культурных изменений, переключая внимание с народных традиций на классы (даже там, где их не было). Вместе с тем значительный прирост эмпирических данных не позволял окончательно облечь их в жесткую оболочку свыше одобренных умозаключений.

Опираясь на опыт дооктябрьской этнографии, молодые ученые смогли сохранить, пожалуй, главную отличительную черту «старой школы» – сочетание романтической мотивации с прагматизмом в достижении релевантного результата (Поппе, 1928). Истоки данного явления, наверное, можно искать в материнских субстанциях, что сформировали мировоззрение первых советских финно-угроведов. С одной стороны, это был «высокий стиль» университетов, академических и музейных центров, столичных и провинциальных научных обществ; с другой – чувство родины и национальной гордости

и одновременно неудовлетворенности существующим порядком, где все близкое и родное пребывало в забвении, невежестве и осмеянии. В большинстве своем выйдя из крестьянской среды, они проделали путь, отделивший их от стези молчаливых отцов и приблизивший к новому состоянию – людей говорящих и пишущих. Неслучайно многим из них было не чуждо литературное творчество, ставшее еще одним инструментом в деле построения здания национальной истории и культуры.

Процесс национально-государственного строительства, развернувшийся в 1920-е гг., в форме автономизации населенных финно-угорскими народами областей России, нуждался в научном обосновании законодательных и административных решений советской власти. Вопросы коренизации управленческого аппарата, проведения границ автономий, взаимоотношений этнических групп и языковая политика стали сферой социальной активности местных этнографов, фольклористов и лингвистов. В начале 1930-х гг. при правительствах Мордовской, Марийской, Коми и Удмуртской автономных республик были основаны научно-исследовательские учреждения, ориентированные на создание новой «социалистической культуры» (Юманкулов, 1932. С. 19). Примечательно, что идеологические задачи до времени не вступали в противоречие с научными интересами ученых, ощущавших поддержку их патриотических замыслов. Власти, в свою очередь, не препятствовали открытому обсуждению проблем этничности и диалогу между различными течениями в этнологии.

Стремление к интеллектуальному общению приобрело в пореволюционные годы тенденцию к расширению дискурсивного спектра науки о народах и культурах, чему способствовал известный теоретико-методологический плюрализм. Но довольно скоро возможности для вариативности суждений были поставлены под сомнение. Осложнения возникли в 1929 г., когда в Государственной академии истории материальной культуры состоялось совещание этнографов Москвы и Ленинграда, известное выступлениями радикалов от науки (Слезкин, 1993. С. 116–117). Последовавший затем разгром этнологии и свертывание краеведения вел к тому, что не соответствовавшие установленным рамкам научные работы замалчивались либо изымались.

Особой страницей в истории советского финно-угроведения была совместная работа местных энтузиастов с финскими и венгерскими учеными, еще в XIX в. проложившими дорогу к родственным народам России (Загребин, 2009 а. С. 328). Эта традиция принесла несомненную пользу и, к сожалению, большую беду. Прямо либо косвенно влияя на мировоззрение своих помощников, финны приняли участие в нациестроительстве российских финно-угров. Работая совместно, полемизируя и споря, они взяли на себя роль транслятора новых ценностных ориентиров, одним из которых стала «любовь к родному краю». Можно сказать, что интерес к краеведению стал важным стимулом для развития советского финно-угроведения (Жеребцов и др., 2008). Развернувшееся в стране в начале 1920-х гг. краеведческое движение способствовало организации местных научных обществ, благодаря которым сформировался фонд новых знаний, существенно расширивший источниковую базу, в том числе по истории и культуре финно-угорских народов России.

Инициативы местных «просвещенцев» по изучению финно-угорских народов находили поддержку со стороны центральных научных учреждений и институтов власти. В течение двух первых советских десятилетий, при содействии органов исполнительной власти, на территории Волго-Уральского региона работали экспедиции Центрального музея народоведения, Института народов Востока СССР, Института истории материальной культуры, возглавляемые известными учеными, среди которых выделяются имена Н. Я. Марра, Д. К. Зеленина, Н. М. Маторина, М. Г. Худякова, М. Т. Маркелова, В. П. Налимова и К. П. Герда. Ученые из московских и ленинградских научных центров, опираясь на помощь аспирантов и местных «просвещенцев», выполняли не только сугубо научную миссию, но и способствовали укреплению этничности во вновь образованных восточно-финских автономиях. Совместными усилиями был собран богатый этнографический и фольклорный материал, лишь частично введенный в научный оборот, в силу наметившейся на рубеже 1920–1930-х гг. тенденции к занижению роли краеведения и репрессивных действий по отношению к организаторам науки. Смена политического курса, сопровождавшаяся унификацией и постепенным свертыванием национально ориентированных проектов, вела к роспуску краеведческих обществ, минимизации экспедиционной деятельности и гибели многих ученых, научное наследие которых было утрачено либо надежно скрыто в архивохранилищах.

Мрачной страницей в истории раннего советского финно-угроведения стало сфабрикованное органами Нижегородского ОГПУ в 1932–1933 гг. так называемое дело Союза освобождения финских народов (сокращенно СОФИН) (Куликов, 1997). Практически все этнографы, чьи материалы прямо либо косвенно рассматривались в рамках исследования, прошли по дороге страданий, ведущей кого на Соловки, кого на Колыму, что накладывало на нашу работу особую ответственность.

В поисках крестьянина

Пожалуй, самым весомым фактором, разумеется, кроме языкового родства, сближающим восточно-финские этносы, являлся образ жизни, или лучше сказать – образ хозяйствования, заключающийся в подчинении себя, своих интересов, будней и праздников требованиям земледелия (исключение могли составить только некоторые группы коми, живущие преимущественно охотой, рыбной ловлей, оленеводством). Неслучайно В. П. Налимов отмечал, характеризуя ценности удмуртского крестьянина, что сущностью его духовного бытия является религия труда (Налимов, 2010. С. 242–243).

Стремление участников проекта «найти крестьянина» было вполне понятно, поскольку в рассматриваемый период подавляющее большинство мордвы, мари, удмуртов, коми и коми-пермяков являлись сельскими жителями. Неудивительно, что своего крестьянина искали и этнографы, работавшие в то «золотое десятилетие» советского краеведения, оставившее о себе память не только вкладом научно-исследовательских учреждений и общественных организаций в изучение родного края, но и тем, что выдвинуло плеяду ученых-профессионалов и любителей-энтузиастов, работавших над сохранением документального наследия современников, устной истории и всего того, что в противном случае было бы обречено на исчезновение (Шмидт, 1990).

Спектр вопросов, интересовавших исследователей родного края, был чрезвычайно широк. Но особую страницу их изысканий составили явления и факты совсем недавних событий, и прежде всего связанные с Октябрьской революцией 1917 г. Почти сразу обнаружились различные направления поисков, одним из которых была попытка выяснить, как повлияла революция на повседневную жизнь простого человека – обычного крестьянина (Иванов, 2009. С. 82). Подобные задачи ставились многими учреждениями, одним из которых был Вятский научно-исследовательский институт краеведения. Разработки сотрудников Института краеведения составили впечатляющий корпус источников. Изданный Удмуртским институтом истории, языка и литературы УрО РАН и Марийским госуниверситетом сборник документов о жизни нерусского крестьянства («нацменах») Вятского края в 1920-х гг. был лишь первым шагом на пути освоения выявленных источников (Революция для всех, 2008).

Лидером крестьяноведческих исследований тех лет в Камско-Вятском регионе был Павел Николаевич Луппов (1867–1949) – заведующий отделом истории местного края Вятского НИИ краеведения и преподаватель Вятского пединститута им. В. И. Ленина, дополнявший свои научные поиски данными, собираемыми путем опроса местного населения по специальным вопросникам (анкетам) (Загребин, Иванов, 2008. С. 76). Живой эмпирический материал, собранный подобным путем, мог существенно насытить общеизвестные факты, в том числе придать им своеобразный национальный колорит. Имеющиеся в нашем распоряжении сохранившиеся подлинники документов действительно подтверждают задумку П. Н. Луппова и по своему содержанию являются важным дополнением к информационной базе целой группы гуманитарных наук: истории, этнографии, фольклористики, языкознанию и т. д.

Напомним, что научные планы П. Н. Луппова не ограничивались вятской историей. Много внимания им уделялось прошлому и настоящему финно-угорских народов края. Большой вклад он внес в историографию и источниковедение истории удмуртов. Тесное сотрудничество с научными организациями Удмуртии, публикация своих трудов в Ижевске способствовали тому, что часть его личного архива вошла в состав научно-отраслевого архива УдНИИ (ныне УИИЯЛ УрО РАН). Среди бумаг П. Н. Луппова было обнаружено дело, состоящее из заполненных анкет и результатов их первичной обработки в виде сводок. Подробный разбор документов выявил в этом деле две составляющие, выполненные по собственным тематическим планам. Большая часть архивного тома представлена ответами на программу о пореволюционных изменениях в экономике, социальной и духовной жизни «нацменов», т. е. по терминологии того времени, любых нерусских этносов, не обязательно уступавших по численности русскому населению. Вторая часть дела представлена анкетами, заполненными по условно обозначенной «Программе по собиранию сведений о прошлых временах Вятского края». К настоящему времени эти материалы введены в научный оборот (Загребин, Иванов, 2010).

Известно, что идея анкетирования зародилась в ходе институтских занятий по методике краеведения в 1924–1925 учебном году. Тогда же был разработан первый рукописный вариант опросного листа под заголовком «Влияние революции на быт нацменов». Формуляр опросного листа открывался указанием на административную подчиненность населенного пункта и на этническую принадлежность его жителей. Основная часть анкеты включала 79 формальных пунктов, в большинстве своем с одним, реже с двумя-тремя вопросами, помещенными в пять разделов: «Влияние революции на экономическое положение нацмен», «Влияние революции на нацмен в области семейной жизни», «Влияние революции на общественный быт нацмен», «Влияние революции в области религии», «Влияние революции в области языка и народного творчества».

В фондах научно-отраслевого архива УИИЯЛ УрО РАН выявлено 59 документов, имеющих отношение к сбору сведений о «бытовых» изменениях в послереволюционный период. Заполненные опросные листы, датируемые серединой 1920-х гг., дополнены своеобразными сводками целиком или частью обработанных первичных материалов. Большая часть опросных листов поступила из удмуртских населенных пунктов, охватившими в территориальном плане все три уезда Вотской автономной области, два уезда Вятской губернии и три кантона Татарской АССР. Полиэтничностью отличаются анкеты по Вятской губернии, где наряду с удмуртами были опрошены представители татарского и коми-пермяцкого народов. Две анкеты были заполнены в марийских деревнях Марийской автономной области.

Информация, помещенная в анкетах П. Н. Луппова, оказалась настолько обильна и многогранна, что для всестороннего ее анализа потребовалось бы написание небольшой монографии. В этой связи участники проекта решили, что, безусловно, интересный, но контекстуально не выдержанный материал будет менее ценен, нежели его представительство в обобщающем труде по истории пореволюционных аграрных преобразований на территории Среднего Поволжья и Приуралья. В результате источниковедческому анализу были подвергнуты делопроизводственные документы государственных учреждений, научных организаций, краеведческих обществ, общественных организаций и самодеятельных крестьянских представительств, рельефно отображающих ход крестьянской революции в регионе (Иванов, 2010).

Следует также заметить, что, занимаясь с архивными материалами по истории восточно-финского крестьянства, мы нередко встречали тексты (чаще фрагменты) 1920-х – начала 1930-х гг., имеющие отношение к экспедиционной деятельности этнографов, лингвистов и фольклористов на территориях компактного проживания мордвы, мари, коми, коми-пермяков и удмуртов.

Экспедиционные тексты и личные истории

Размышления над тем, где и как начинать поисковую деятельность в отношении неопубликованных источников названного круга в определенном временном промежутке, при всех равных и прочих, складывались в некую последовательность: местные архивы – столичные архивы – зарубежные архивы. В такой последовательности строилась работа с фондами первого профессора-этнографа из числа российских финно-угров – Василия Петровича Налимова (1879–1939).

Первоначально коллеги из ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН обнаружили фрагмент рукописи В. П. Налимова, в котором речь шла об удмуртской культуре, причем из текста было ясно, что перед нами оригинальный полевой материал, указывавший на непосредственное наблюдение автором различных сторон жизни родственного народа. В истории же удмуртской этнографии таковых свидетельств не находилось. Но проблема вскоре разрешилась в виде объемистой папки, примерно в 200 страниц машинописи, озаглавленной «В. П. Налимов. Отчет об этнографической экспедиции 1926 года», все эти годы хранившийся в Научно-отраслевом архиве Удмуртского ИИЯЛ УрО РАН. Дальнейший библиографический поиск выявил заметки о «налимовской экспедиции» в местной периодической печати (Чураков, 2010. С. 106–107). Также начал складываться событийный контекст, на фоне которого проходила поездка В. П. Налимова в Удмуртию.

Приехав в Ижевск по приглашению Научного общества по изучению Вотского края, с разрешения и при поддержке Обкома, В. П. Налимов со своими спутниками из числа удмуртской интеллигенции побывал у различных групп удмуртов. Мало того, он в короткие сроки подготовил к печати книгу «К познанию удмуртов» и даже заключил договор с издательством на ее публикацию. Но книге не суждено было выйти в свет, поскольку менялись приоритеты Советского государства в области национальной политики. Усмотрев в рукописи В. П. Налимова недостаточную «материалистическую выдержанность», чиновные критики не просто запретили публикацию, они по большому счету на долгие годы определили ход этнографических исследований, уложив их в прокрустово ложе идеологической догмы. В этой связи возрастает ценность публикации «этнографического архива» В. П. Налимова, представляющего современному читателю «другую этнографию», лишенную осознания теоретико-методологической истины.

Задавшись целью опубликовать экспедиционный отчет В. П. Налимова, участники проекта постепенно пришли к осознанию того, что научное творчество классика коми и финно-угорской этнографии представлено работами статейного типа, написанными как в дооктябрьский период, так и в раннее советское время, наряду с рукописными материалами, отложившимися в личных собраниях, государственных и ведомственных архивах. Особый интерес представлял архив Финно-угорского общества в Хельсинки, в котором находится обширный рукописный фонд В. П. Налимова, с 1908 г. являвшегося корреспондентом общества (Терюков, 2010. С. 145). Одновременно были задействованы документы из личного архива сына В. П. Налимова, из-

вестного ученого-математика и философа – В. В. Налимова (Несанелис, 2010). В результате появился корпус монографии, состоящий из ранее опубликованных трудов этнографа, его же архивных материалов, дополненных статьями участников проекта, по различным аспектам научной жизни В. П. Налимова (Налимов, 2010). Таким образом, удалось не просто ввести в научный оборот новые или хорошо забытые сведения по народной культуре коми, коми-пермяков и удмуртов, но и по сути дела издать книгу памяти репрессированного первопроходца финно-угорской этнографии.

Еще одним направлением проектных исследований, объединяющим региональную финно-угорскую проблематику, стало изучение текстового наследия Восточно-финской экспедиции Центрального музея народоведения, работавшей в 1925–1928 гг. среди мари, удмуртов и мордвы. Ключевой фигурой той экспедиции, ориентированной на изучение культуры, этнической истории и современных преобразований в быте народов Волго-Камья, был Михаил Тимофеевич Маркелов (1899–1939) (Мокшин, 1994).

Мордвин – эрзя по национальности, выпускник Саратовской духовной семинарии и Саратовского университета, в 1924 г. он становится сотрудником Центрального музея народоведения в Москве, возглавив этнологический отряд Восточно-финской экспедиции.

Деятельность М. Т. Маркелова была разносторонней. В 1928 г., когда московские кинематографисты приступили к работе над художественным фильмом «Соперницы», в котором решили показать жизнь удмуртов, он оказал им большую консультационную помощь (Федорова, 2009). Фильм был создан и оценен как одно из лучших произведений кинематографии того времени. Переломным временем для научного и социального миров этнографа стали летние месяцы 1930 и 1931 гг., проведенные в экспедициях к удмуртам. Имея задание выявлять успехи современного хозяйственного строительства в автономной области и пережитки родового строя, т. е. вполне закономерные темы, актуализированные массовой коллективизацией, раскулачиванием и борьбой властей с органом сельского самоуправления удмуртов – кенешем, М. Т. Маркелов тем не менее стремился к объективности в своих оценках ситуации. Как следствие – критика подготовленного в результате полевых исследований сборника «Удмурты». В «Ижевской правде» появилась статья, автор которой, громя этнографов, утверждал: «Задача научной экспедиции в том, чтобы всю работу подчинить целиком интересам социалистического строительства, дать марксистско-ленинское описание действительности... Аполитичное изучение и освещение хозяйственной и культурной жизни как прошлого, так и настоящего, где вопросы рассматриваются вне связи с классовой борьбой, нужно признать не только недопустимым, но и вредным» (Зеленцов, 1931).

В этих условиях логично было предположить, что М. Т. Маркелов издал далеко не всю собранную информацию, пропуская полевые записи через строгую цензуру самосохранения. В. Н. Белицер, участвовавшая в тех удмуртских исследованиях, писала: «Экспедиция присутствовала на многих, даже “особо важных” ночных молениях, происходящих в священных рощах – “лудах” и родовых “куалах”. Михаилу Тимофеевичу удалось записать сроки и назначение молений, тексты молитв, ритуал жертвоприношений, выяснить роль жрецов и т. д. Он был всегда почетным гостем на жертвенных обедах и непременным участником веселых праздничных гуляний» (Белицер, 1970. С. 22). Наше предположение оправдалось. В фондах Мордовского объединенного краеведческого музея хранится полевая тетрадь этнографической экспедиции М. Т. Маркелова в Удмуртию в 1931 г., копия которой ныне находится в работе, на предмет ее полной, либо частичной публикации. И таких ожидаемых и неожиданных находок в ходе реализации проекта было немало. В особенности это касалось рукописей этнографов, таких, как В. П. Налимов и М. Т. Маркелов, репрессированных по делу СОФИН.

Этнографический музей как институт народной культуры

В ходе работы с биографическими материалами эпохи раннего советского финно-угроведения выявился примечательный момент, связавший судьбы и интересы многих этнографов той поры. Речь идет о создании этнографических (краеведческих) музеев, представляющих культуру местного края. Опираясь на опыт, почерпнутый из общения с финскими и венгерскими этнографами, активно работавшими на рубеже XIX–XX вв. над созданием экспозиций, характеризующих жизнь и быт родственных народов России, а также на знания, приобретенные за время учебы в столичных вузах, молодые народоведы из числа восточно-финской интеллигенции принялись за музейное строительство. Хотя первые удачные опыты собирания этнографических коллекций и составления описаний предпринимались и в предшествующий период, преимущественно корреспондентами Русского музея и местными земскими деятелями (Никитина, 2010; Юрпалов, 2010).

Тем не менее замысел «зырянского музея» во многом приобрел конкретное содержание в результате экспедиции финского этнографа У. Т. Сирелиуса к пермским народам летом 1907 г. и после-

дующей многолетней переписки с его местными корреспондентами (Загребин, Шарапов, 2008; Шарапов, 2011. С. 211–212). Стажировки, уже в следующем году пройденные в Гельсингфорском университете и этнографическом музее, коми студентом В. П. Налимовым и марийским сельским учителем Т. Е. Евсевьевым, наверняка сыграли свою роль при создании музеев в Усть-Сысольске (Сыктывкаре) и Царевококшайске (Йошкар-Оле), призванных быть базовыми элементами формирующейся национальной культуры. Применительно к целям проекта национальные музеи республик Среднего Поволжья и Приуралья стали одним из мест поиска «новых источников», прежде всего, неопубликованных экспедиционных материалов.

Пример несколько иного рода представляет история Музея местного края в г. Малмыже Вятской губернии, возникшего в 1921 г. благодаря энтузиазму известного в будущем этнографа, историка и археолога М. Г. Худякова, а тогда вернувшегося с фронта выпускника Казанского университета (Юрпалов, 2010. С. 71). Русский уездный город в марийском, татарском и удмуртском сельском окружении постепенно становился поликультурным сообществом, отражением которого стал музей. Рукописные труды Малмыжского музея местного края, готовившиеся сотрудниками музея, являют собой редкий образец регионального сознания, органично включающего этнически окрашенные материалы, без ущерба друг другу раскрывающие этнокультурные особенности края. В настоящее время участники проекта завершают подготовку к изданию комментированных трудов музея, общим объемом более 30 печатных листов, под названием «Малмыжская сторона: этнические группы и локальные сообщества. Рукописные труды Малмыжского музея местного края (1923–1926 гг.)».

С Малмыжем оказалась связана исследовательская деятельность удмуртского поэта и этнографа Кузьмы Павловича Герда (1898–1937), ставшего не только символом пробуждающейся «удмуртскости», но и человеком, которому суждено было начать строительство «удмуртского музея» как института народной культуры. Учеба в Москве, создание Общества по изучению удмуртской культуры «Бöляк», одним из учредителей которого стал профессор МГУ-2 В. П. Налимов, тот самый студент, пятнадцать лет назад мечтавший о «зырянском музее». Эти факты наряду с участием в Восточно-финской этнографической экспедиции, работой в Центральном музее народоведения и аспирантурой НИИ народов Востока СССР подготовили его к вступлению в 1926 г. в должность директора Областного музея. Пробыв на этом посту всего несколько месяцев, он заложил те принципы, на которых и сейчас строится работа Национального музея Удмуртской Республики им. К. Герда.

В том же, памятном 1926 г. В. П. Налимов, побывав в поездке к удмуртам, еще более укрепился во мнении, что ценность народной культуры и значимость ее изучения была осознана самими финно-уграми, для которых этнография стала тем средством, с помощью которого можно было заявить о себе научному миру (Загребин, Шарапов, 2010. С. 10). Спустя почти двадцать лет, минувших с «пермской экспедиции», У. Т. Сирелиус наверняка и не предполагал, что резонанс от его собирательской деятельности коснется проблем идентитета родственных народов, сложно преломляясь в историографическом спектре и находя себя в музейных коллекциях.

Некоторые выводы и размышления

Подводя итоги трехлетней исследовательской работе участников проекта важно отметить – мы еще раз убедились в том, что процесс формирования финно-угорских исследований в России к началу 1920-х гг. достиг той стадии, когда ценность народной культуры и значимость ее научного изучения была осознана самими российскими финно-уграми, когда из среды вчерашних просвещаемых выделились собственные просветители, для которых этнография стала тем средством, с помощью которого можно было заявить о себе научному миру. Работая, полемизируя и строя, этнографы взяли на себя роль трансляторов новых ценностных ориентиров. Можно сказать, что зародившийся в те годы интерес к изучению и сохранению народной культуры и вкупе с этим к музейному делу стал одним из важных стимулов развития современной финно-угорской этнографии.

Список литературы

Белицер В. Н. М. Т. Маркелов (из воспоминаний этнографа) // Исследования по археологии и этнографии Мордовской АССР. Саранск, 1970. С. 15–25.

Жеребцов И. Л., Таскаев М. В., Кузнецова Т. Л. Их объединило краеведение. Сыктывкар: ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН, 2008. 128 с.

Загребин А. Е. Этнографические материалы 1920–1930-х гг.: к проблеме источников по истории и культуре финно-угорских народов Среднего Поволжья и Приуралья // Известия Самарского научного центра РАН. 2009. Т. 11. № 6. С. 254–260.

Загребин А. Е. Этнографическое финно-угроведение в России: некоторые проблемы источниковедения и историографии // Финно-угры – славяне – тюрки: опыт взаимодействия (традиции и новации). Ижевск: УдГУ, 2009. С. 327–334.

Загребин А. Е., Иванов А. А. Анкеты 1920-х гг.: из документального наследия Вятского института краеведения // Отечественные архивы. 2008. № 4. С. 76–83.

Загребин А. Е., Иванов А. А. Штрихи к истории крестьянства Урало-Поволжья в первое пореволюционное десятилетие (по новым источникам из НОА УИИЯЛ УрО РАН) // Вестник Удмуртского университета. Сер. 5: история и филология. 2010. Вып. 1. С. 46–56.

Загребин А. Е., Куликов К. И. Советское финно-угроведение 1920-х – начала 1930-х гг.: первые действия и противодействия // Проникновение и применение дискурса национальности в России и СССР в конце XVIII – первой половине XX вв. Тарту: ЭНМ, 2011. С. 149–163.

Загребин А. Е., Шарапов В. Э. К истории «пермской экспедиции» У. Т. Сирелиуса // Этнографическое обозрение. 2008. № 1. С. 110–117.

Загребин А. Е., Шарапов В. Э. Новые материалы об экспедиции В. П. Налимова в Удмуртию (1926 г.) // Вестник Поморского университета. Сер.: гуманитарные и социальные науки. 2010. № 6. С. 10–14.

Зеленцов В. Культурническая прогулка или научная экспедиция? // Ижевская правда. 1931. 28 июля.

Иванов А. А. Проблемы и перспективы публикации исторических источников об аграрных преобразованиях в Среднем Поволжье и Приуралье 1917–1922 гг. // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: история и политические науки. 2009. № 2. С. 82–88.

Иванов А. А. Аграрные преобразования в России в 1917 – начале 1920-х годов: Источниковедческие очерки (по материалам Среднего Поволжья и Приуралья). Йошкар-Ола: МарГУ, 2010. 288 с.

Калинин И. К. Восточно-финские народы в процессе модернизации. М.: Наука, 2000.

Куликов К. И. Дело «СОФИН». Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН, 1997. 368 с.

Мокшин Н. Ф. М. Т. Маркелов и этнографическое изучение финно-угорских народов // Этнографическое обозрение. 1994. № 6. С. 130–137.

Налимов В. П. Очерки по этнографии финно-угорских народов. Ижевск–Сыктывкар: УИИЯЛ УрО РАН; ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН, 2010. 336 с.

Несанелис Д. А. Благодарная память. К 100-летию со дня рождения Василия Васильевича Налимова // Антропологический форум. 2010. № 13. С. 191–215.

Никитина Г. А. Роль региональных корреспондентов в формировании этнографических коллекций Русского музея (по финно-угорским материалам И. К. Зеленова) // Вестник Удмуртского университета. Сер. 5: история и филология. 2010. Вып. 3. С. 113–120.

Поппе Н. Н. Этнографическое изучение финно-угорских народов в СССР // Финно-угорский сборник. Труды КИПС. Вып. 15. Л., 1928. С. 27–76.

Революция для всех: Анкеты Вятского научно-исследовательского института краеведения «Влияние революции на быт нацмен (1924–1927 гг.)». Ижевск–Йошкар-Ола: УИИЯЛ УрО РАН; МарГУ, 2008. 500 с.

Салмин А. К., Терюков А. И. Первая музейная коллекция одежды народов Волго-Камья в Кунсткамере Санкт-Петербургской Академии наук // Вестник Удмуртского университета. Сер. 5: история и филология. 2010. Вып. 3. С. 42–51.

Слезкин Ю. Советская этнография в нокдауне: 1928–1938 // Этнографическое обозрение. 1993. № 2. С. 113–125.

Терюков А. И. Рукописный фонд В. П. Налимова в архиве Финно-угорского общества // Налимов В. П. Очерки по этнографии финно-угорских народов. Ижевск–Сыктывкар: УИИЯЛ УрО РАН; ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН, 2010. С. 144–147.

Федорова И. М. Фильм «Соперницы» как этнографический источник: обзор и анализ // Связующая нить этнокультуры. Ижевск, 2009. С. 193–199.

Чураков В. С. Обзор фольклорно-лингвистических и археолого-этнографических экспедиций, работавших среди удмуртов в 20-е – 30-е гг. XX века // Ежегодник финно-угорских исследований. 2010. Вып. 2. С. 102–115.

Шарапов В. Э. «Зырянский этнографический музей» в переписке У. Т. Сирелиуса с представителями коми интеллигенции начала XX века // Труды Национального музея Республики Коми. Сыктывкар, 2011. Вып. 8. С. 210–212.

Шмидт С. О. «Золотое десятилетие» советского краеведения // Отечество. Краеведческий альманах. М., 1990. Вып. 1. С. 11–27.

Юманкулов. Работа научно-исследовательских краеведческих институтов // Советское краеведение. 1932. № 1. С. 19.

Юрпалов А. Ю. Этнографические исследования Малмыжского музея местного края в 1920-е годы // Вестник Удмуртского университета. Сер. 5: история и филология. 2010. Вып. 1. С. 71–74.

Юрпалов А. Ю. Роль музея Сарапульского уездного земства в этнографическом изучении Среднего Прикамья // Ежегодник финно-угорских исследований. 2010. Вып. 2. С. 116–120.

СОДЕРЖАНИЕ

Вступление 5

Раздел 1. Древнейшее наследие и истоки творческих начал человека 10

Беляева Е. В., Любин В. П. Развитие технологий и протодизайна в раннем палеолите на примере ашельских рубил Кавказа 10

Леонова Е. В., Александрова О. И. Динамика культурных процессов в верхнем палеолите – мезолите Северо-Западного Кавказа (по материалам многослойных памятников навес Чыгай и пещера Двойная) 21

Лбова Л. В. Формы знакового поведения в комплексах ранней стадии верхнего палеолита Сибири (предварительные данные) 28

Питулько В. В., Павлова Е. Ю., Никольский П. А., Иванова В. В. Символическая деятельность верхнепалеолитического населения арктической Сибири (бусы и подвески янской стоянки) 35

Бужилова А. П., Добровольская М. В., Медникова М. Б. Позднепалеолитические антропологические материалы Русской равнины в исследовании истоков культурной деятельности человека 52

Дэвлет Е. Г., Гиря Е. Ю. Трасологическое исследование петроглифов Среднего Енисея 60

Король Г. Г. Средневековое искусство Саяно-Алтая (торевтика малых форм: возможности исторической интерпретации) 65

Крадин Н. Н. Взаимодействие кочевых империй Центральной Азии и государств Дальнего Востока 74

Анойкин А. А. Многослойная стоянка среднего–верхнего палеолита Тинит-1 (Республика Дагестан) 82

Акимова Е. В.,Стасюк И. В., Кукса Е. Н., Махлаева Ю. М., Томилова Е. А., Харевич В. М. Сохранение древнейшего археологического наследия в зонах искусственных водохранилищ Средней Сибири 90

Деревянко А. П., Маркин С. В. Сибирячихинский вариант среднего палеолита как элемент культуры второй половины верхнего плейстоцена Алтая 96

Деревянко А. П., Шуньков М. В., Рыбин Е. П. Культура первобытного населения Северной Азии на рубеже среднего и верхнего палеолита 100

Зенин А. Н., Зенин В. Н., Кулик Н. А. Феномен бифасиальных индустрий раннего и среднего палеолита Каспийско-Аральского региона 108

Медведев В. Е. О некоторых памятниках осиповской культуры начального неолита (Приамурье) 113

Шорин А. Ф. Чаиркина Н. М., Широков В. Н. Исследования по проекту «Истоки культурного наследия древнего населения Урала» 118

Раздел 2. Археологические древности России 125

Ковтун И. В. Шаманские» сюжеты писаниц р. Томи 125

Лазаретов И. П., Поляков А. В., Есин Ю. Н., Лазаретова Н. И. Новые данные по формированию окуневского культурного феномена 130

Гуляев В. И., Добровольская М. В., Шевченко А. А. На северо-восточных рубежах Скифии: политическая ситуация в лесостепном Подонье в конце V–IV вв. до н. э. 137

Виноградов Ю. А., Вахтина М. Ю., Горончаровский В. А., Кашаев С. В., Стоянов Р. В., Шаров О. В., Шауб И. Ю. Курганные древности Боспора Киммерийского 143

Макаров Н. А., Красникова А. В., Зайцева И. Е. Финские древности первой половины – середины I тыс. н. э. в Суздальском Ополье 151

Зиливинская Э. Д., Васильев Д. В., Попов П. В. Исследования Самосдельского городища в 2009–2011 гг. 162

Чернецов А. В. Старая Рязань – эталонный памятник средневековой русской археологии 170

Беляев Л. А. Археология и большой нарратив русской истории: от основания Москвы к Петровским преобразованиям 179

Кисель В. А. Новые находки этнографических петроглифов в Тыве 191

Зах В. А., Скочина С. Н., Зимина О. Ю., Рябогина Н. Е., Волков Е. Н., Иванов С. Н., Еньшин Д. Н. Древности побережья озера Мергень 195

Степанова Н. Ф. Эпоха бронзы Горного Алтая: куротинский тип погребений 203

Раздел 3. Цивилизационные и геополитические особенности истории, становление гражданского общества в России 211

Алексеев В. В. Цивилизационное своеобразие российских модернизаций 211

Зубков К. И. Геополитическая арена российских модернизаций XVIII–XX вв.: методологический аспект 219

Поткина И. В. Гражданские права в России (в контексте эволюции права собственности) 228

Трепавлов В. В. Образы регионов в общественном сознании и культуре России XVI–XIX вв. 246

Мельникова Е. А. Геополитические и геоэкономические предпосылки возникновения Древнерусского государства 254

Лисейцев Д. В. К характеристике государственной системы Московского царства в XVI–XVII вв. 262

Марасинова Е. Н. Образ самодержавного законодателя и наказ уложенной комиссии (К истории правового сознания русского общества второй половины XVIII века) 270

Сафонов М. М. Процесс по делу декабристов как феномен общественно-политической жизни России 279

Черникова Н. В. Законность и формирование гражданского общества в России второй половины XIX столетия 286

Куликов С. В. Проекты конституций Харитонова П. А., Саломона А. П. и графа Гейдена А. Ф. (ноябрь–декабрь 1905 г.): неизвестные этапы создания Основных законов 1906 г. 293

Миронов Б. Н. К вопросу о причинах русских революций начала XX в. 301

Бибиков М. В., Токарева Е. С., Энеева Н. Т. Духовное наследие русского православия за рубежом (Русское православное присутствие в мире до революции 1917 г.) 310

Жиромская В. Б. Принципы формирования административно-управленческого аппарата в 1920–1930-е годы 324

Раздел 4. Традиции и новации в культуре народов России 333

Красовицкая Т. Ю., Тишков В. А. Этнические элиты рубежа XIX–XX веков: между традицией и модерностью 333

Головнев А. В. Диалог культур и этничность в контексте колонизации 334

Романова Е. Н. «Биографика» национальной культуры: этнокультурное наследие народа саха в зеркале исторического метанарратива конца XX – начала XXI в. 354

Ларионова М. Ч. Региональная традиционная культура в творчестве А. П. Чехова 363

Бабич И. Л., Кратов Е. В., Кратова Н. В. Возрождение христианских традиций на современном Северном Кавказе 370

Морозов И. А., Бутовская М. Л. Социальное пространство и регуляция социальной напряженности: традиционные и современные контексты 380

Разумова И. А., Змеева О. В. Ритуальное поминовение в культуре современных семей 391

Октябрьская И. В., Сураганова З. К. Лоскуты на счастье. Вещный мир казахской культуры – живая традиция 399

Тадина Н. А., Арзютов Д. В., Кисель В. А. Ак-Јанг на Алтае: дискурс и практики «религиозного возрождения» 407

Пушкарева Н. Л. Российская повседневность в зеркале гендерных отношений: тенденции, динамика, перспективы изменений (X – начало XXI в.) 415

Губаева Б. С. Этнокультурные и конфессиональные особенности репродуктивного поведения женщин в республиках Северного Кавказа 424

Пислегин Н. В., Субботина А. М. Удмуртское крестьянское хозяйство как объект инновационного воздействия в XIX – начале XX века: преемственность и трансформация народной агрикультуры 428

Шелегина О. Н. Проект «Культура жизнеобеспечения русского населения Сибири в XVII–XX вв.: традиционные, новационные, информационные аспекты»: результаты и перспективы 437

Волжанина Е. А. Традиционное хозяйство вынгапуровских ненцев в первой трети XX и первом десятилетии XXI века: сравнительный анализ 445

Раздел 5. Историко-культурное наследие в языках, литературах и фольклоре народов России 452

Алиева А. И. Академик А. М. Шёгрен – основоположник российского академического кавказоведения 452

Гамзатов Г. Г. Культурное и природное наследие народов Дагестана: сохранение, изучение, приумножение 458

Магомедов А. Дж. Традиционное искусство Дагестана в условиях глобализации 464

Сокаева Д. В. К вопросу об изучении легенд и преданий осетин 472

Хаджиева Т. М. Религиозно-мифологические мотивы в нартском эпосе карачаевцев и балкарцев 477

Гордиенко Э. А. Икона «Спас царя Мануила» и Сказание о ней – памятник сосуществования и разделения княжеской и духовной власти в Новгороде 487

Добровольский И. С., Калужнина Н. В., Кравецкий А. Г., Людоговский Ф. Б., Плетнева А. А., Хитров А. Н. Корпус современного церковнославянского языка: единство, вариантивность, методы описания 497

Орешкина М. В. Лексикографическое описание заимствованной лексики в русском языке (на материале заимствований из языков народов России и ближнего зарубежья) 506

Иванова Н. И. Современное коммуникативное пространство русского языка в Республике Саха (Якутия): социопсихолингвистический аспект 515

Бадмаева Л. Б., Шагдаров Л. Д. Особенности построения старомонгольских текстов бурятских летописей 531

Певнов А. М., Урманчиева А. Ю. О новых материалах по таймырской «говорке» и по орокскому языку 540

Андреева Т. Е., Стручков К. Н. Словообразовательная система глагола в эвенкийском языке 549

Романова Л. Н., Дьячковская М. Н. Фольклор как жанро- и стилеобразующий фактор якутской поэзии первой трети XX в. (на материале поэзии А. Е. Кулаковского, А. И. Софронова, П. А. Ойунского). 555

Раздел 6. Философское осмысление историко-культурного наследия 564

Аблажей А. М. Христианизация коренных народов Сибири как попытка воплощения «русской идеи» 564

Апресян Р. Г. Логика ненасилия и этика силы 570

Мадюкова С. А., Попков Ю. В. Социокультурный неотрадиционализм как способ существования традиций в современных условиях 578

Сосна Н. Н. Фотография 1920–1930-х гг.: опыт философско-антропологического анализа 586

Раздел 7. Музейные и архивные фонды: изучение, введение в научный оборот, обеспечение нового качества доступа к культурному наследию 595

Тункина И. В. Модернизация научно-справочного аппарата Санкт-Петербургского филиала Архива РАН 595

Демкина С. М. Электронный каталог фондовых коллекций Музея А. М. Горького ИМЛИ РАН. Опыт создания. 598

Хартанович В. И. Моисеев В. Г., Широбоков И. Г. Базы данных Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН как источник изучения антропологического состава народов России (антропологические материалы из средневековой Вологды) 603

Норманская Ю. В. Шешенин С. Е., Федотова Н. Л. Разноместное ударение селькупском языке и прасамодийская реконструкция вокализма 611

Каштанов С. М. Столярова Л. В., Королева С. Ю. Новые источники по истории русско-греческих отношений в XVI в. 623

Загребин А. Е. Этнографическое финно-угроведение в России: проблемы поиска новых источников 632

Научное издание

Историко-культурное наследие и духовные ценности России

Ведущий редактор *Е. А. Кочанова*
Художественный редактор *А. К. Сорокин*
Художественное оформление *А. Ю. Никулин*
Технический редактор *М. М. Ветрова*
Компьютерная верстка *С. В. Ветрова*
Корректоры *А. В. Голубцова, Н. Н. Доломанова, Н. А. Самсонова*
Выпускающий редактор *Н. Н. Доломанова*

ЛР № 066009 от 22.07.1998. Подписано в печать
Формат 60x90/8. Печать офсетная. Усл.-печ. л. 80,5 + 13 вкл.
Тираж 1000 экз. Заказ

Издательство «Российская политическая энциклопедия»
(РОССПЭН)
117393, Москва, ул. Профсоюзная, д. 82.
Тел.: 334-81-87 (дирекция), 334-82-42 (отдел реализации)